

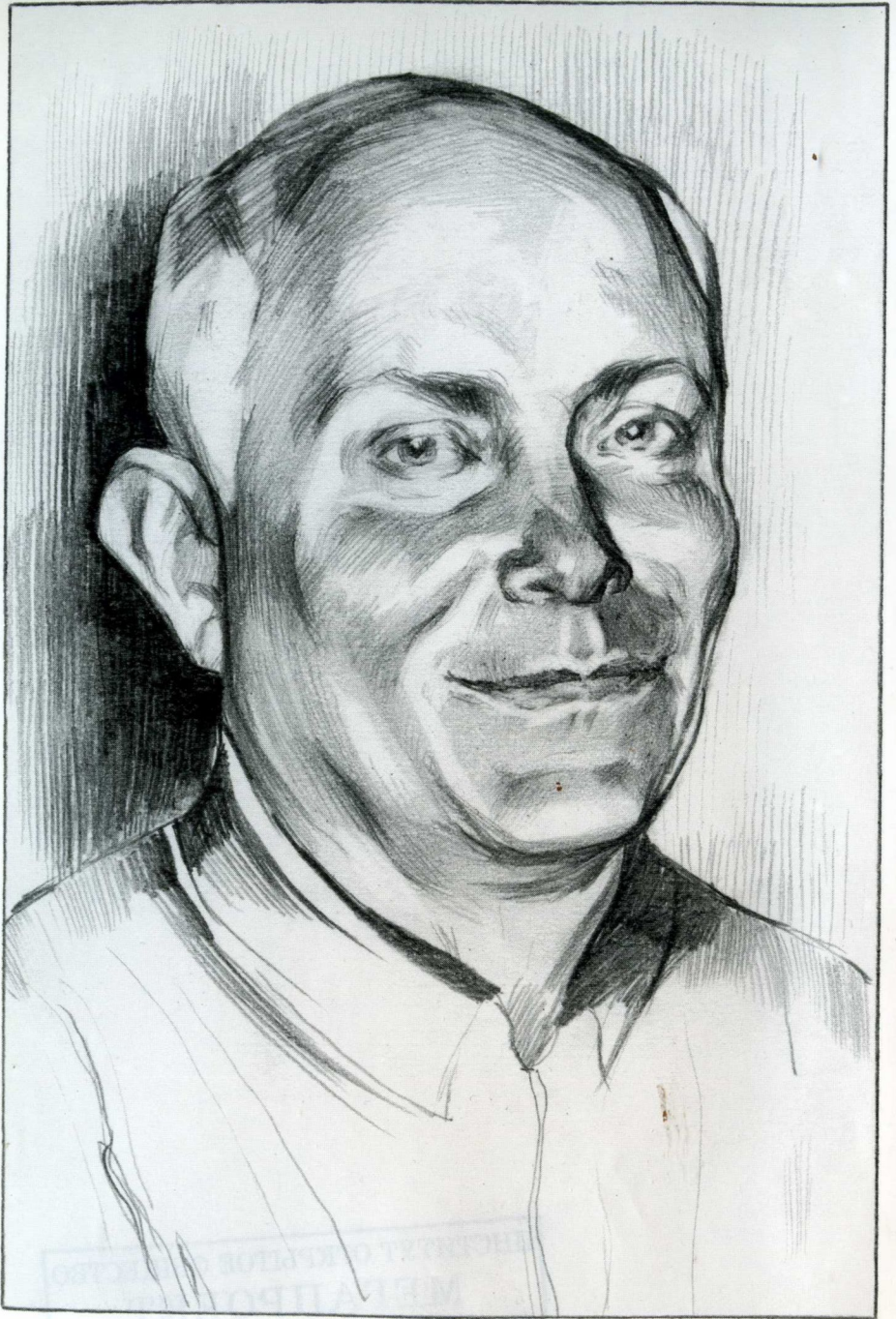


А. С. ДЁМИН

О ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
ДРЕВНЕРУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ОЧЕРКИ
ДРЕВНЕРУССКОГО
МИРОВИДЕНИЯ

ОТ
«ПОВЕСТИ
ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
ДО
СОЧИНЕНИЙ
АВВАКУМА



MEYER
VERLAG
LEIPZIG

ЯЗЫК СЕМИОТИКА КУЛЬТУРА



О ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
ДРЕВНЕРУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Москва 1998

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 98-04-16337

Демин А. С.

Д 30

О художественности древнерусской литературы / Отв. ред.
В. П. Гребенюк — М.: «Языки русской культуры», 1998. —
848 с., 1 ил.

ISBN 5-7859-0064-5

В книге характеризуются представления древнерусских писателей XI–XVII вв. о природе, животных, человеке, его внешности и энергичности, о женщинах, о Русской земле, богатстве и бедности, политике и культуре, о других странах и народах, наконец, о веземных мирах, — все это и составляет художественное содержание древнерусской литературы, исследованием которого занимается сравнительно новая отрасль литературоведения — эстетическая герменевтика древнерусской литературы.

Наибольшее внимание в книге уделено «Повести временных лет», «Слову о полку Игореве» и памятникам Куликовского цикла, повестям XVII в., сочинениям Аввакума и ранней русской драматургии. Дается также несколько тематических очерков истории древнерусской литературы в целом.

ББК 83.3(2Рос=Рус)3-001.3

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su)
the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavice@gad.dk)
has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

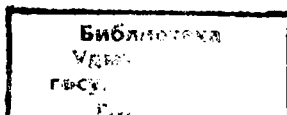
ISBN 5-7859-0064-5



9 785785 900646 >

- © А. С. Демин, 1998
- © А. Д. Кошелев. Серия «Язык. Семиотика. Культура», 1995
- © В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995

677782



СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге 9

I. Представления о природе

«Слово о полку Игореве»	13
1. К вопросу о пейзаже в «Слове о полку Игореве»	13
2. Мир животных «Слова о полку Игореве»	22
Орнитологическая зарисовка в «Галицко-Волынской летописи» под 1249 г.	33
Изобразительная анималистика «Сказания о Мамаевом побоище»	39
Анималистические темы повестей о Смуте и Азове	48
«Житие» Аввакума	55
1. Наблюдения над пейзажем в «Житии» протопопа Аввакума	55
2. Реально-бытовые детали в «Житии» протопопа Аввакума (о «природоведческом» таланте писателя)	61
3. «Густота» природы у Аввакума	76
4. Сумрачные оттенки в пейзажах Аввакума	81

II. Представления о человеке

Внешность человека в древнейших славянских житиях	89
Женские загадки в древнерусской литературе XI—XIV в.	100
«Живость» литературных героев XVII в.	105
1. «Живость» драматических героев 1670-х годов	105
2. Описание движений героев в литературе до XVII в.	108
3. «Живость» литературных героев в XVII в.	116

III. Представления об обществе и государстве

Краткая история древнерусской литературы (тема Русской земли).....	131
1. Древнерусская литература (XI — первая треть XIII вв.)	132
2. Литература XIII—XV вв.	150
3. Литература XVI в.	165
4. Литература XVII в.	178

Социальные традиции древнерусской литературы	199
Имущественные темы древнерусской литературы	208
1. XI — первая треть XIII вв.	208
2. XIII—XIV вв.	218
3. XV в.	224
4. XVI в.	241
5. Первая четверть XVII в.	247
6. Первая треть XVII в.	254
7. Вторая половина XVII в.	258
Крещение Руси и древнерусская литература XI—XII вв.	267
Социальный облик автора «Жития Александра Невского»	278
Социальная энергия в творчестве русских писателей с XV до середины XVIII в.	286
1. Представления об энергичности человека в литературе второй половины XVII в.	286
2. Представления о «тихости» человека в литературе XV—XVI вв.	297
3. Выступления против лени в XVI — первой половине XVII вв.	314
4. Стиль работы практических деятелей второй половины XVII в. и литература	316
5. Представления некоторых авторов второй половины XVII в. о насыщенности человеческой жизни	331
6. Представления о переменчивости жизни в русской литературе второй половины XVII в.	360
Общественные настроения XVII в. по литературным памятникам.	382
1. Начало XVII в. «Великая слабость и небрежение» общества в православии	382
2. Конец 1610-х — 1630-е годы. Ублаготворенность и уступчивость верхов общества.	395
3. Конец 1630-х — 1640-е годы. Благодушные верхов общества и назревание недовольства низов	416
4. 1650-е — первая половина 1660-х годов. Стремление верхов к умиротворению общества, но отгороженность от «нагих-босых»	438
5. Конец XVII в. В атмосфере социальной вражды	459
Театр в культурной жизни XVII—XVIII вв.	478
1. Русские пьесы 1670-х годов и придворная культура	478
2. «Артаксерксово действо»	488
3. «О Навходоносоре-царе» Симеона Полоцкого	492
4. Старейшие интермедии	498
5. «Действо о семи свободных науках»	504
6. Поздняя московская школьная драматургия	514

7. «Шутовская комедия»	518
8. «О Сарпиде, дуксе ассирийском»	525
9. «О премудрей Июдифе»	531
10. Пьеса о воцарении Кира	534
11. «Акт о Кире и Тамире»	545

IV. Представления о народах и странах

Неславянские соседи в русской литературе XI—XIII вв.	555
«Свои» и «чужие» этносы в «Повести временных лет»	566
Заметки о восприятии Запада древнерусскими писателями XI—XIV вв.	578
1. «Слово о законе и благодати» Илариона	578
2. «Хождение» Даниила	580
3. «Повесть временных лет»	585
4. «Новгородская первая летопись»	635
5. «Киевская летопись»	654
6. «Владими́ро-Суздальская летопись»	661
7. «Повесть о Довмонте»	663
Индия в русской литературе XI—XVIII вв.	668
Элементы тюркской культуры в литературе Древней Руси XV—XVII вв.	674

V. Фантастика

Древнерусская фантастика	695
Загробный мир в памятниках XI—XVII вв.	703
«Послание о рае» Василия Калики	729
«Слово о Вавилоне»	732
«Житие Авраамия Ростовского»	739
«Повесть об Уруслане»	743
Переводные и сатирические повести XVII в.	745
Надчеловеческий мир литературы первой четверти XVIII в.	751
1. Представления о надчеловеческом мире в русской драматургии начала XVIII в.	751
2. «Очеловечивание» аллегорических героев в первой четверти XVIII в.	773
Список сокращений	787
<i>Библиография научных трудов А. С. Дёмина</i> (составила Т. В. Нечаева)	791
<i>Именной указатель</i> (составила А. Г. Мирзоян)	801
<i>Указатель произведений</i> (составила А. Г. Мирзоян)	815

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

В этой книге рассматриваются художественное, то есть образное, по преимуществу изобразительное содержание древнерусских литературных памятников, кроющиеся за этим содержанием обобщающие темы и мотивы, то есть художественно-философские представления, мироотношение и мироощущение писателей, иными словами, эстетическая направленность их литературного творчества.

Научная отрасль с таким специфическим комплексом задач (включая способность исследователя чувствовать и определять образный смысл литературных форм) пока еще не имеет собственного названия. Это не стилистика, не поэтика, не эстетика, не семиотика, не психология творчества. Герменевтика древнерусской литературы? Обозначения типа «представлениеведение», «изображениеведение» или «образование» не употребляются в научных трудах. Изредка мелькающий на Западе термин «имагология» (от латинского *imago* — образ), по мнению академика Н. И. Балашова, все-таки темен и относится не к филологии и искусствознанию, а к кругу фрейдистских понятий.

Тем не менее художественную сторону древнерусской литературы исследователи ценили с самого начала ее изучения. Многие для художественно-эстетической ее характеристики сделали академики Ф. И. Буслаев, А. С. Орлов, В. В. Виноградов, но в особенности — Д. С. Лихачев. В этом же ряду следует упомянуть И. П. Еремина, академика А. М. Панченко, Н. С. Демкову. Отдельные молодые филологи также неравнодушны к анализу художественного содержания древнерусских памятников.

В предлагаемой книге объединены историко-литературные исследования А. С. Демина, опубликованные в 1970-е — 1990-е годы, в том числе три монографии. Однако материал дан выборочно и в совершенно новой композиционной разбивке очерков: книга рассказывает о составе и эволюции некоторых художественных представлений в древнерусской и русской литературе с XI по XVII вв., а иногда и по середину XVIII в. Термины «представление», «мироотношение», «образ», «ассоциация» и пр. понимаются не психологически, а литературоведчески — как смысловые явления в тексте произведения. Вне данной книги остались: исследования о структуре художественных образов и о своеобразии литературного творчества древнерусских писателей и книжников (эти исследования составляют другую большую книгу), а также узко текстологические, историографические, эдиционные и археографические работы А. С. Демина.

Мысль о создании предлагаемой большой книги подали и оказали важное содействие для ее воплощения А. Д. Кошелев, М. И. Козлов и прежде всего Т. В. Нечаева. Большая им благодарность, а еще — Л. А. Софрановой и В. И. Федорову.

Несколько замечаний о редактировании текста данной книги как единого целого. Названия конкретных произведений имеют четыре

варианта оформления. 1) Названия литературных произведений, а также книг, гравюр и икон заключаются в кавычки и начинаются с прописной буквы в повествовательном тексте. Названия литературных произведений в отсылках также приводятся в кавычках и с прописной буквы. Например: «Повесть временных лет» Нестора, «Апостол» Ивана Федорова. Названия во множественном числе, напротив, печатаются без кавычек и со строчной буквы. Например: хронографы, жития. 2) Жанрово-описательные обозначения литературных, документальных и церковнослужебных сочинений, в том числе посланий, речей и пр., не в роли индивидуальных названий, приводятся без кавычек и начинаются со строчной буквы как в повествовании, так и в отсылках. Например: пьеса об Адаме, первая челобитная Аввакума царю Алексею Михайловичу. Но обозначения в специфически «древнерусской» форме заключаются в кавычки. Например: «покаянен», «приповесть». 3) При указании на Библию и библейские книги, однако не на конкретное издание или список, названия даются без кавычек, но с прописной буквы. Например: Псалтырь; Евангелие. 4) В отсылках название конкретного издания, редакции или списка приводится тоже без кавычек и с прописной буквы. Например: Апостол. М., 1564; Волоколамский список; Киприановская редакция. Однако описательные обозначения начинаются со строчной буквы. Например: древнейший список, краткая редакция.

Отсылки — двух видов. 1) Внутритекстовые примечания, заключенные в скобки, используются при многократных ссылках на произведение, а также при ссылках на Библию. 2) Подстрочные сноски используются для вводного обозрения часто цитируемых произведений или же, если это удобнее, для последовательных ссылок на произведения и научные исследования по мере их привлечения. У каждой отдельной работы и у каждого нумерованного раздела большой работы — своя нумерация сносок. В работах, написанных в форме комментариев, употребляются только внутритекстовые примечания.

Сокращенные обозначения изданий и их выходные данные раскрываются в Списке сокращений. Цитаты из древнерусских текстов даются орфографически упрощенно, буква «ять» заменяется буквой «е». В книге применяются только круглые скобки.

В конце каждой работы указывается год ее первой публикации, иногда и год переиздания в переработанном виде. Но это не значит, что теперь тексты перепечатаны без изменений. Напротив, переработана вся система отсылок, а в тексты внесено множество исправлений для большей ясности изложения, а иногда и фактические уточнения.

Библиографию научных трудов А. С. Дёмина подготовила Т. В. Нечаева. Указатели к книге составила А. Г. Мирзоян.

I

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

1. К ВОПРОСУ О ПЕЙЗАЖЕ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В «Слове о полку Игореве» преобладают проявления так называемого «панорамного зрения» автора — охват огромных пространств, как бы наблюдаемых с огромной высоты¹. Однако подлинно пространственно-изобразительных картин, рисуемых сверху, «Слово» все же не содержит. В этом памятнике есть картины природы, увиденной хоть и издалека, но не сверху, а как бы сбоку. Примерно так смотрит на мир Ярославна. Она стоит на забрале в Путивле и «видит» далекие земли и реки, море и поле, на котором потерпела поражение дружина Игоря. В таких «бокковых» описаниях всегда упоминаются небо, облака или солнце. Не приближаются ли подобные описания природы к самостоятельным литературным пейзажам, образным и объемным?

Самый выразительный пример встречается в начале «Слова» — в характеристике пения Бояна: «Боянъ бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеться мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы» (43)². Здесь перечислены три пространственных элемента: облака, ассоциировавшиеся с небом, с пространственным верхом, земля, ассоциировавшаяся с пространственным низом, и некое древо, представляемое между верхом и низом. Думается, не нужно специально доказывать то, что подобные ассоциации действительно существовали у автора «Слова», который в одном месте прямо сказал по поводу облаков: «горé подъ облакы» (54) — вверху под облаками (правда, если исправленное издателями слово «горъ» значило «горé», а

¹ Прекрасный очерк этого: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени, 2-е изд., доп. Л., 1985, с. 29—75.

² Цитируемые произведения: «Галицко-Волынская летопись» — ПСРЛ, 1970, т. 2; «Житие Вита» — Успенский сборник; Книга пророка Исаии — Адрианова-Перетц; «Минеи служебные» — Адрианова-Перетц; «Повесть временных лет» — Летопись по Лаврентьевскому списку; «Повесть пророка Иеремии о пленении Иерусалима» — Успенский сборник; «Похвала Кириллу Философу» Климента Охридского — *Климент Охридский. Събрани съчинения.* София, 1970, т. 1 / Изд. подгот. Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов; «Псалтырь толковая» — Срезневский, 1970, т. 2; «Слово» Моисея Выдубицкого — ПСРЛ, т. 2; «Слово в великий четверток» Иоанна Златоуста — Успенский сборник; «Слово о десяти девицах» Иоанна Златоуста — Успенский сборник; «Слово о полку Игореве» — Слово о полку Игореве / Тексты подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967; «Слово о самаряныни» Иоанна Златоуста — Успенский сборник; «Слово об иссохшей смоковнице» Иоанна Дамаскина — Успенский сборник; «Слово по пасхе» Кирилла Туровского — *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ, 1970, т. 13; «Слово похвальное Кириллу и Мефодию» — Успенский сборник; «Хождение Агапия в рай» — Успенский сборник.

не «горы»). Как отметил Д. С. Лихачев, «мысль, песнь, слава Бояна движется в трех сферах пространства: верхнем, нижнем и среднем»³. Три пространственных элемента складываются, и возникает реальный, пейзажный, «высотный» образ огромного пространства, которое снизу доверху заполнял своим пением Боян. Таким на первый взгляд кажется авторский смысл этого места «Слова».

Однако дальнейшие наблюдения заставляют отказаться от столь заманчивой трактовки. «Древо» в данном отрывке не было похоже на реалию, являясь скорее символом, притом не совсем понятным нам. Значит, «нагнетания» трех однородных элементов в образ не происходило у автора, который и в контексте высказывания нигде не развил и не поддержал тему огромности пространства, охватываемого пением Бояна.

Поиски аналогий в «Слове», более четких по реально-пространственному смыслу, заводят в тупик. Самая близкая аналогия: «О Бояне, соловию стараго времени! А бы ты сиа плъкы ущекоталь, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы» (44). Облака означали верх, поля — низ, древо и горы помещались между небом и землей. В пространственном ассоциировании подобных реалий сомневаться не приходится. Ср. пояснение, например, в «Псалтыри толковой» XII в.: «възвышаються, яко горы; низеуть же, яко поле» (449). Но все дело в том, что не все являлось реалиями и в этой, второй характеристике Боянова пения: символичны, а не реальны и «мысленое древо», и «тропа Трояня». Предметная картина рассыпается. Тема огромности пространства пения Бояна не выдвигалась у автора и здесь.

В «Слове о полку Игореве» еще есть места, содержащие упоминания небесного верха, земного низа и середины между ними, но тоже не составившие пространственного образа. Например, автор сообщил: «Темно бо бе въ 3 день: два солнца померкоста, оба багряная стлъпа погасоста, и въ море погрузиста, и съ нима молодая месяца, Олегъ и Святъславъ, тьмою ся поволокоста» (50—51). Формально мы можем указать пространственные элементы в приведенном отрывке: «два солнца — оба багряная стлъпа — море». Столп привычно мыслился между верхом и низом, как, например, в «Повести временных лет»: «Явися столпъ огненъ от земля до небеси» (273, под 1110 г.). Однако все элементы «Слова» имели символический смысл, чего и не скрывал автор, упомянувший два солнца и два месяца, в небе одновременные. Автор иносказательно говорил о поражении русских князей и не думал о создании картины тьмы с моря до неба.

Точно так же не складывалось в единый реальный пейзаж красочное описание: «Другаго дни велми рано кровавыя зори светъ поведаютъ,

³ Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени, с. 49.

чръныя тучя съ моря идуть, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещутъ синии мльнии. Быти грому великому, итти дождю стрелами съ Дону Великаго» (47). Что это за четыре солнца? И солнце, и тучи, и дождь — это символы, обозначавшие русских князей, половцев и их битву. Описание было символичным, а если брать только его реальную сторону, то реалии оказывались пространственно не связанными друг с другом: солнце мыслилось автором вовсе не над морем, но отдельно от моря.

Пейзаж отсутствовал и в отрывках уже преимущественно реального, а не только символического содержания. Ярославна плачет: «Светлое и тресветлое слънце!.. чему, господине, простре горячую свою лучю на ладе вои? Въ поле безводне жаждею имъ лучи съпряже» (55). Три пространственные реалии — солнце, его луч, поле — могли бы создать объемный образ. Солнечный луч привычно мыслился связывающим солнце и землю. Ср. в «Минях служебных» 1095 и 1097 гг.: «Солнце земли луча простърл̄ есть» (176). Однако и в данном месте «Слова» пространственный образ не складывался, потому что, судя по последовательности фраз, солнце простерло луч только на воинов, а с полем был связан иной мотив.

Прочие аналогии в «Слове» лишь укрепляют сделанный вывод. Например, обращение Ярославны: «О ветре, ветрило!.. Мало ли ти бьшеть горé подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море?» (54). Здесь упомянуты пространственные элементы только верха и низа — солнце и море. Ветер тоже относится к верху, дует вверху. Ср. в «Слове» же: «Высоко плаваеши... на ветрехъ» (52). Но остался не названным средний пространственный уровень. Ветер словно бросается из-под облаков на сине море, между облаками и морем зияет как бы белое пятно. Законченного образа нет. Правда, слово «горъ» в данном месте, исправленное при издании на «горé», можно истолковать как «горы» — «ветер горы под облаками обвевае»⁴. Однако и в таком случае автору «Слова» мы не можем приписать стремления к созданию образа: не связаны эти облака и сине море — ветер обвевае отдельно горы под облаками и отдельно лелеет корабли на море (так построена фраза).

Прочие примеры отвести совсем легко. «Тъгда въступи Игорь князь въ златъ стремянь и поеха по чистому полю. Солнце ему тъмою путь заступаше» (46) — солнце не обязательно над чистым полем, оба эти элемента, скорее, мыслились автором по отдельности, и остался никак не упомянут промежуточный пространственный элемент между солнцем и полем. «Игорю утръпе солнцю светъ, древо небогомъ листовие срони» (52) — есть пространственные элементы верхний, солнце, и сред-

⁴ См. реконструкцию древнерусского текста «Слова» и комментарии Н. А. Мещерского и А. А. Бурыкина: Слово о полку Игоре. Л., 1985, с. 33, 44, 478.

ний, древо, но не назван низ. Да и вряд ли имелось в виду солнце именно над реальным деревом. «Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось» (49), «уныша цветы жалобю, я древо с тугою къ земле преклонилось» (55) — обозначены пространственные элементы нижний (земля, трава, цветы) и средний (древцо), но зато не назван верх. «Небрежность» автора «Слова» объяснима одним: не реально-пространственные образы его привлекали, а символика гора. «Слово о полку Игореве» настойчиво указывает на старания автора совсем в иной сфере творчества, нежели создание литературных пейзажей. «„пейзажи“ «Слова о полку Игореве» — это плоды нашего воображения, действующего под влиянием воспитанной на литературе нового времени потребности «видеть» то, что описывается в литературном произведении» (Лихачев Д. С.)⁵.

Попытки найти пейзажные образы в других памятниках древнерусской литературы XI—XII вв. тоже заканчиваются неудачей, в том числе, например, в сочинениях Кирилла Туровского. Приведем лишь небольшой отрывок из огромного описания весны «Слова по пасхе»: «Ныне небеса... темных облак, яко вретича, съвълекъше... Ныне солнце, красуясь, к высоте въсходить и, радуясь, землю огреваеть... Ныня древа леторасли испущають...» (416—417). Можно выделить элементы всех трех пространственных уровней — верха (небо, солнце, облака), низа (земля) и середины (древца), но сделать это можно только чисто искусственно, так как пространственные элементы не связаны в предметное целое. Кирилл Туровский описывал символическую весну — победу христианства на Руси — и к четкому пространственному образу не стремился.

В отрывке о Бояне преобладало абстрактное, а не изобразительное содержание. Глагол «растекашеться» имел не предметный, а абстрактный смысл «двигаться», «распространяться», «следовать», отчего стало возможным отнести его к трем разнородным существительным сразу — «мыслию», «вълкомъ», «орломъ». В тексте «Слова» автор время от времени превращал предметный глагол в более абстрактный по значению, относя его сразу к двум-трем существительным: «поскочи горнастаемъ къ тростию и белымъ гоголемъ на воду» (55) — слово «поскочити», чтобы подходить не только к горностаю, но и к гоголю, обозначало стремительное движение вообще; «стрежаше е гоголемъ на воде, чаицами на струяхъ, чрънядьми на ветрехъ» (55) — «стрежаше» больше обозначало, пожалуй, «присутствовать перед кем-либо», «сопровождать кого-либо»; «въстона... Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми» — «въстона» означало, скорее, «заскорбел», «стал мучиться», недаром эта фраза была продолжена упоминаниями о тоске и печали. Глагол «растекашеться» еще относился и к Бояну, обозначая энергию его мысли. Недаром «растекашеться» было окружено обозначениями мыслительной деятельно-

⁵ Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986, с. 227.

сти этого лица»: «по замышлению... вещей... хотяще песнь творити... помняшеть...» (43). Дополнительные детали — «по древу», «по земли», «подъ облакы» — символизировали многообразие или изобретательность пения Бояна, как последующие символы — «10 соколовъ на стадо лебедей» (44) — указывали на его искусство.

Однако наряду с главным абстрактно-символическим смыслом в характеристике пения Бояна в качестве второстепенных присутствовали и предметные смыслы. Во-первых, автор, возможно, подразумевал, что Боян в своем пении «растекался» очень далеко, за пределы Руси, пел о далеких походах. Ассоциативно важными в характеристике Бояна явились четыре слова: «мыслию по древу — вълкомъ — орломъ», благодаря им нагнетались пространственные ассоциации с отдельными местностями или далекими частями мира⁶. Волки, судя по всему тексту произведения, представлялись автору всегда где-то в полях, вне границ Руси: «серый вльци въ поле» за Курском (46), «вльци... по яругамъ» у Дона (46), «бежить серымъ вълкомъ... къ Дону Великому» (47), «вълкомъ... дорискаше до куръ Тмутороканя» (54), «вълкомъ потече къ лугу Донца» по степи половецкой (55). Боян-волк, по авторскому изображению, следовательно, тоже растекался мыслью где-то по далеким степям.

Замечание о том, что Боян растекался «шизымъ орломъ подъ облакы» (43) указывало на далекий полет орла. Орлы в «Слове» далеко клекотали — в поле, у Дона, за Русской землей (46). В других памятниках орлы — реальные и в сравнениях — летали очень далеко. В «Похвале Кириллу Философу» Климента Охридского: «Прелатая, яко, орель на вся страны от вьстока до запада и от севера и юга» (426). В «Повести пророка Иеремии о пленении Иерусалима» орел летал «на всякъ путь» из Иерусалима в Вавилон и обратно (34.2, 36.1). Орел посещал человека в далеком путешествии в «Житии Вита» (225.1). «Орьль идущь съ небесе» показывал путь к раю в «Хождении Агапия в рай» (467.1, 470.1). В «Галицко-Волынской летописи» под 1201 г. выражение «прехожаше землю ихъ, яко и орель» (716) тоже имело в виду далекий, через всю «землю», полет орла. Боян-орел, вероятно, казался автору «Слова» улетающим очень далеко своей мыслью, во всяком случае, за пределы Руси.

Древо у автора «Слова» тоже помещалось на дальних рубежах. С древа начинались неведомые земли: «Дивъ кличеть врѣху древа, велить послушати земли незнаеме, Вльзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутороканьскый блъванъ» (46). Древо соотносилось с пограничными реками: «древо не бологомъ листвие срони: по Руси и по Сули гради поделиша» (52). Древо стояло на берегу Донца

⁶ О «локальном признаке дальности» см.: Лотман Ю. М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1965, вып. 181, с. 210—216.

677782

(55). Древо преклонялось к земле на берегу Каялы (49) и на берегу Стугны, разделившей русских и половцев (55). Древо, в обозначениях автора, тоже служило вехой далекой перспективы, куда уносилась мысль Бояна.

Наконец, Боян растекался «мыслию», — если полагать, что автор говорил о мысли, но не о белке, — а мысль в «Слове» имела свойство лететь далеко: можно было «мыслию... прелетети издалеча» (51), мыслью можно было мерить огромные поля (55). Если уж кого-то нельзя «ни мыслию смыслити», то, значит, он пребывает совсем далеко — на том свете (49). И в других древнерусских памятниках мысль не только возносилась высоко, но и неслась далеко⁷. Таким образом, есть основания предполагать, что в высказывании о пении Бояна автор подчеркнул дальность бега Бояновой мысли.

Действительно, после этой характеристики автор пояснил конкретнее, насколько далеко «растекалось» пение Бояна: Боян пел «Храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ пълки Касожьскими» (44), то есть мысль Бояна «дотекала» до касогов. Сказано также, что Боян помнил «първыхъ времянь усобице» (43), а слово «усобицы» означало здесь не ссоры между князьями, но их довольно дальние походы на врагов вонне Руси. Ср. в «Слове»: «Усобица княземъ на поганяя» (49). Боян помнил о далеких походах.

В том же контексте следовало знаменитое сопоставление: поющий Боян «пуцашеть 10 соколовъ на стадо лебедеи» (43—44). Упоминание соколов и лебедей имело пространственный оттенок. По изображению автора «Слова», соколы неуклонно устремлялись за пределы Руси: «буря соколы занесе чрьсь поля широкая... къ Дону Великому» (44), «о, далече заиде соколь: птиць бя, — къ морю» (49), «два сокола слетеста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя... Дону» (50). Сокол находился вне своего гнезда: «соколь... высоко птиць възбиваетъ, не дастъ гнезда своего въ обиду» (51). Сокол летал к своему гнезду, но опять-таки над полем половецким, вне Руси: «полете соколомъ», «соколь къ гнезду летить... въ поле Половецкомъ» (55, 56). Лебедей, на которых охотились соколы, автор «Слова» мыслил тоже только вне Руси, в половецких степях (46, 55). Так что темы песен Бояна касались именно дальних мест — автор «Слова» снова давал понять это.

И еще. Во второй характеристике Бояна автор «Слова» говорил, что поющий Боян «рица... чрьсь поля на горы» (44): через те самые «поля широкая» и «великая поля», куда отправлялись русские князья «копие приломити конецъ поля Половецкаго» (44). Это поле казалось автору очень далеким: «Дремлетъ въ поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело!» (47). Все вдаль и вдаль от пределов Руси устремля-

⁷ Примеры см.: Адрианова-Перетц, с. 28—29, 177—178.

лась мысль Бояна, так ее характеризовал автор в начале «Слова о полку Игореве».

В древнерусской литературе XI—XIII вв. нет близкой аналогии рассмотренной фразе о Бояновом пении, но есть косвенные подтверждения ее смысла — нередкие упоминания о дальности распространения высказываний известных проповедников и правителей. Например, Моисей Выдубицкий в «Слове» 1199 г. поминал широкое распространение речей киевского князя Рюрика Ростиславича: «Во всю бо землю изидоша, по пророку, богомирная словеса твоя» (713). Такой же пространственный смысл неоднократно выражался в «Слове похвальном Кириллу и Мефодию»: «словесе Божия... излия ся устьяма его и всю вселеную сластно възвесели», «словеса ваю... насладиста всю вселеную» (200.1, 207.2). О дальнем распространении «словес» повествовали «Слово об иссохшей смоковнице» Иоанна Дамаскина, «Слово о самаряныни» Иоанна Златоуста и др.: «По всеи бо земли изиде гласъ ихъ и въ страну вселеня глаголи ихъ» (302.2), «въ всю землю изиде вещание ихъ и въ конць вселеня глаголи ихъ» (423.2).

В начальном высказывании автора «Слова» о Бояне можно предположить отражение еще одной пространственной темы — о быстроте «растекания» мыслей у Бояна, быстром охвате им многих сюжетов. Творительный оборот в сопоставлении Бояна с волком и орлом — «растекашеться вълкомъ, орломъ» — передавал ощущение быстроты передвижения так же, как потом при описании стремительного бегства Игоря из плена: «А Игорьъ князь поскочи горнастаемъ... гоголемъ... и скочи... вълкомъ и полете соколомъ... Игорь соколомъ полете... Влуръ вълкомъ потече» — двигались так быстро, что «претръгоста бо своя бръзая комоня» (55). Так же автор рассказал о таинственном Всеславе: «Скочи... лютымъ зверемъ... скочи вълкомъ... вълкомъ рыскаше... вълкомъ путь прерыскаше» (53—54) — стремительно скакал из города в город. Быстротой передвижения в пространстве отличались герои в литературе динамичного монументализма (термин Д. С. Лихачева⁸).

Сходными по смыслу с «творительными» оборотами были «убыстряющие» сравнения с животными. Из древнерусской литературы XI—XII вв. их можно привести несколько — они хорошо известны. В «Повести временных лет» (под 964 г.) говорилось о быстроте походов Святослава: «и легъко ходя, аки пардусъ, войны многи творяше» (63). В «Галицко-Волынской летописи» (под 1201 г.) отмечалась стремитель-

⁸ О стиле монументализма см. работы Д. С. Лихачева: 1) Человек в литературе Древней Руси, 2-е изд. М., 1970, с. 25—62. 2) Развитие русской литературы X—XVIII вв.: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 64—67, 73—74; 3) Стилеформирующая доминанта древнерусского домонгольского искусства и литературы // Средневековая Русь. М., 1976, с. 131—134; 4) Поэтика древнерусской литературы, 3-е изд., доп. М., 1979, с. 80—102; 5) «Слово о полку Игореве» и культура его времени, с. 39—75.

ность напора князя Романа Галицкого: «Устремил бо ся бяше на поганья, яко и левъ, сердить же бысть, яко и рысь, и губяше, яко и коркодиль, и прехожаше землю ихъ, яко и орель» (716). В библейской Книге пророка Исаии подобными же средствами изображался воинский натиск: «Колеса колесницам их, акы буря. Устремляются, акы лвы, и предстают, акы львичища» (67). Смысл всех этих открытых и скрытых сопоставлений сводился к утверждению стремительности деяний героев, в том числе и пения Бояна.

Образ далеко и стремительно растекавшегося пения Бояна находит объяснение в особом художественном представлении автора «Слова». Описания природы, упоминавшие небо, солнце или облака, служили своего рода гигантским «экраном», на котором действия героев отражались и преображались в огромном увеличении, укрупненно. Вот движутся по степи навстречу друг другу войска русских князей и половцев, и тут же на небесном «экране» движутся тучи на солнце, трепещут молнии и пр. Вот русские князья потерпели поражение — и на великом «экране» с неба до земли происходят свои изменения: меркнет солнце, гаснут багряные столпы, погружаются в море; или меркнет солнце, а дерево роняет листья; или солнце простирает особо горячий луч в безводном поле; или ветер бросается вниз из-под облаков и не «ледеет», а дует «по ковылию». Пение Бояна тоже укрупненно отражалось на этом постоянном «экране»: Боян «хотяше песнь творити», и уже под облаками парил орел, по земле бежал волк, в некое действие вовлекались древо, облака, поля, горы. Этот вертикальный «экран» отражал не психологические состояния героев, не их чувства и переживания, а именно их внешние действия, поступки. Герои в качестве реалий или символов были включены в укрупняющую их поступки картину природы с небом, солнцем или облаками.

Природа отзывалась на действия не только вплоть до неба, но и широко по земной плоскости. Например, как только Игорь начал поход «и поеха по чистому полю», то «солнце ему тьмою путь заступаше, нощь стонуци ему грозою птичь убуди, свистъ зверинъ вьста, збися Дивъ, кличетъ врѣху древа, велить послушати земли незнаеме, Вльзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню» и т. д. (46).

Укрупняющий деяния человека «экран» природы над героями или вокруг героев, более узкий или более широкий, присутствовал в «Слове» почти всегда. Битва с половцами еще не началась, а уже «земля тутнетъ, реки мутно текутъ, пороси поля прикрывають» (47). Поражение: «Подоша стязи Игоревы... Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось» (49). «Игорь къ Дону вои ведеть. — Уже бо беды его пасеть птичь по дубию, вльци грозу вьсрожать по яругамъ, орли клеткомъ на кости звери зовуть, лисици брешуть на чрьленыя щиты» (46). Игорь бежит из плена и от погони — «тогда врани не граахуть, галици помлькоша, сорокы не трескоташа, полозие ползоша только.

Дятлове тектомъ путь къ реце кажутъ, соловии веселыми песньми светъ поведаютъ» (56). Отклик в природе находит даже движение рук Бояна: «Тогда пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедеи... — своя вещиа прѣсты на живая струны въскладаше» (43—44). Природа в «Слове о полку Игореве» была не пейзажная, она способствовала монументальности изображения людей. Ср. вывод Д. С. Лихачева об авторе «Слова»: «Говоря о природе, он не дает пейзажей, а описывает реакцию природы на события, происходящие у людей», «большинство действий и событий в «Слове» указывают на участие природных явлений в происходящем»⁹.

Для древнерусской литературы XI—XIII вв. все это типично. В ее памятниках не наблюдалось самостоятельных, самодовлеющих пейзажей, высотных или плоскостных. Описаниями природы подчеркивалась важность человеческих деяний. Например, крещение Руси возвеличивали длинные описания природы в поучениях митрополита Илариона и Кирилла Туровского. Древнерусские писатели исходили из традиционного представления о первенстве, главности человека в мире реальной природы. Как говорил Иоанн Златоуст: «Въсе ставлено житию нашему», «всье бо бысть... намъ же на потребу: солнце, да человеки освещаетъ, облаци — на дъждевное служение, земля — на плодovьное гобиньство, море же — на обилие купьцемъ, всье, тебе, человеку, служить» («Слово о десяти девицах», 315.1; «Слово в великий четверток», 340.2).

Однако «Слово о полку Игореве» и тут уникально. Если в остальных памятниках «экранируются» на природу эпохальные, очень крупные, итоговые деяния людей, вроде крещения Руси, то в «Слове» речь идет о довольно частных, вовсе не вселенских действиях героев: Боян поет, Игорь выступает в поход, Игорь продолжает поход, битва начинается, Игорь разгромлен, Игорь бежит из плена, Игорь возвращается («Солнце светится на небесе — Игорь князь въ Руской земли», 56). Автор «Слова», вероятно, исходил из более внимательного, более уютно-интимного, более «аборигенного» отношения к природе, чем предыдущие древнерусские писатели. Опять сошлемся на Д. С. Лихачева: «„Легкое“ про странство соответствует человечности окружающей природы», «„Слово о полку Игореве“... отмечено печатью человечности, особенно внимательного отношения к человеческой личности»¹⁰.

Монументализм автора «Слова» был даже немного «хозяйственным». Не оттого ли поступки героев ставились в связь и со сценами сельскохозяйственными, свадебными, охотничьими? Такой подход, возможно, проявился кроме «Слова о полку Игореве» еще в «Слове о гибели Русской земли»: торжествующая над врагами Русь — и отражение этого в картинном богатстве ее природы и хозяйства, с озерами

⁹ Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 1, с. 646; т. 3, с. 192.

¹⁰ Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах, т. 1, с. 646; т. 2, с. 211.

реками, дубравами, зверьми и птицами, городами и селами, обитателями и церквями. Не была ли навеяна уютная дробность явлений природы в литературе конца XII — начала XIII вв. набравшим силу процессом феодального дробления Руси?

В целом период XI—XII вв. представляется временем закладки огромного художественного потенциала благодаря широкой открытости древнерусских авторов реальному миру и особенно благодаря удивительному дару автора «Слова о полку Игореве» свободно мыслить и ассоциировать во многих духовных мирах сразу — абстрактном и предметном, символическом и изобразительном, языческом и христианском, политическом и философском и пр.

1988, 1993 гг.

2. МИР ЖИВОТНЫХ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Чаще всего исследователей интересует богатейшая христианская и языческая, литературная и фольклорная символика, связанная с животными. Это тема преимущественно идеологическая и религиоведческая. Некоторые исследователи очерчивают круг знаний древнерусских книжников о реальной природе. История естествознания? Но мало кто раскрывает изобразительную сторону древнерусских анималистических описаний и воплотившиеся в них творческие черты личностей авторов или книжников¹. Вот что прямо относится к истории литературы.

Эстетическое своеобразие автора «Слова о полку Игореве» виднее на традиционном анималистическом фоне переводных произведений, которые специально описывали животных. Так, две «Александрии»,

¹ По первой теме — о литературной символике животных — см., например: *Дурново Н. Н.* К истории сказаний о животных в старинной русской литературе. М., 1901; *Орлов А. С.* Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М., 1902; *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. М., 1987, т. 1, с. 438—439; т. 2, с. 143; т. 3, с. 92; *Лихачева О. П.* Некоторые замечания об образах животных в древнерусской литературе // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976, с. 99—105. По второй теме — о реальных анималистических знаниях древнерусских писателей — см., например, работы Н. В. Шарлеманя и Г. В. Сумарукова, ссылки на них далее. По третьей теме — о манере изображения животных — нет специальных работ.

сначала хронографическая, затем так называемая сербская, наряду с упоминанием реальных животных, использовали все мыслимые варианты конструирования фантастических существ. В «Александриях» были описаны «звери человекообразны»: «двоглавнии змиевы», но «ноги имейху» («Александрия» сербская, 54)²; «половину человекъ, половину песь» («Александрия» хронографическая, 188); «все тело их человеческо, глава же песья» («Александрия» сербская, 102); «до пояса имуще образ человекъ, рогы же на главе — оленя, прочее же от пояса зверино тело имуща, нозе же прежнии — птичьи, заднии же — коневе» («Александрия» хронографическая, 234). Изображены огромные твари: «блѣхы скачюща, яко и жабы» («Александрия» хронографическая, 76); «рацы исходяще, кони ухапаху» («Александрия» сербская, 202). И необычайно миниатюрные люди: «локтя величеством» (98). Упомянуты существа с устрашающе большим числом членов: «о шести ногъ и о трехъ очесехъ и о пяти очесехъ» («Александрия» хронографическая, 77). И, напротив, с недостатком или вообще отсутствием отдельных частей тела: «люди... о единой ноги... по каменью скачюще» («Александрия» серб-

² Цитируемые произведения: «Александрия» сербская — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. Е. И. Ванеева; «Александрия» хронографическая — *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: исследование и текст. М., 1893. Приложения; «Беседа трех святителей» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. М. В. Рождественская; «Библия» — Библия. Острог. 1581. Указываются листы и столбцы издания; «Вольга» — Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года, 4-е изд. М.; Л., 1950, т. 2; «Житие Андрея Юродивого» — ВМЧ. Октябрь 1—3; «Житие Василия Нового» — *Вилинский С. Г.* Житие св. Василия Нового в русской литературе. Одесса, 1911, ч. 2: Тексты жития; «Житие Макария Римского» — Адрианова-Перетц; «Луцидариус» — *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях. СПб., 1890; «Моление Даниила Заточника» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев; «Палея толковая» 1406 г. — Палея толковая по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г. / Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892, вып. 1; «Палея толковая» 1477 г. — Толковая палея 1477 года: Воспроизведение синодальной рукописи № 210 / Под наблюдением П. Поновичего. СПб., 1892. Указываются листы и столбцы издания; «Повесть об Акире Премудром» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Поучение Кирилла Философа» — Адрианова-Перетц; «Синайский патерик» — Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Гольщенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967; «Сказание Агапия о рае» — Успенский сборник; «Сказание об Индийском царстве» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров; «Слово о полку Игореве» — Слово о полку Игореве / Изд. подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967; «Слово о прилюблении убогих» Иоанна Златоуста — Успенский сборник; «Слово о трех мнисех» — Тихонравов, т. 2; «Слово похвальное Кириллу и Мефодию» — Успенский сборник; «Физиолог» — *Карнеев А. Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб., 1890; «Хроника Константина Манассии» — Староболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах / Тексты памятника подгот. М. А. Салмина; словоуказатели подгот. О. В. Творогов. София, 1988; «Шестоднев» Иоанна Экзарха — Шестоднев.

ская, 114), «человеци безглавни» («Александрия» хронографическая, 77). В отношении последних в «Луцидариусе» было пояснено: «люди безглавнии, им же очи на плечахъ, и место усть и носа имеютъ на персехъ две дыры» (432). В «Александриях» действовали существа, для кого смертельны обычные земные условия: «ветру студену дохнувшю на них, вси изомроша» («Александрия» сербская, 114). И те, кто невероятно жизнестоек: «повар рыбы сухие... во езере... измочи и рыбы сухие ожипа и во езеро втекоша» (112). И те, кто неуязвим в самых губельных обстоятельствах: «птици... приближашеся къ огню, вхожаху въ огонь и паки без вреда вылетаху изъ огня» («Александрия» хронографическая, 188).

Та же фантастическая комбинаторика проявилась и в «Физиологе», «Сказании об Индийском царстве», «шестодневах» и «палеях», в некоторых житиях.

Ни пейзажей, ни прочих картин с участием фантастических или реальных животных древнейшие памятники не развертывали. Они обычно связывали каждого животного только с одной деталью природы. Например, в «Физиологе» такой деталью было древо, реке — гора или река, иногда — пустыня или небо, но без малейшей картинности. Совокупность всех рассказов «Физиолога» не объединяла животных в цельный мир. Разрозненными оставались и детали природы, сопровождавшие животных. К примеру, деревья в рассказах «Физиолога» никак не связаны друг с другом: то это «древа ливаньска» (203), то это дуб в Индии (340), то древо у Евфрата (351), то дуб близ рая (366) и т.д.

Изолированными друг от друга оставались детали природы и в «Александрии», в «Космографии» Козмы Индикоплова и пр.

Правда, в памятниках обозначались и сборища животных, но очень лаконично. Так, в рассказах того же «Физиолога» разные типы животных были связаны друг с другом попарно. В одном рассказе действуют лиса и птицы, в другом — кит и рыбы, в третьем — ибис и рыбы, в четвертом — выдра и крокодил, в следующем далее — ихневмон и змей, затем — олень и змей, или голубь и змей, либо — слон и змей и т. п. В «Физиологе» наблюдается лишь одно исключение — в сказании о том, как слетались на брань враждующие стаи птиц: «Да есть слышати до небеси голву... и отпадению перию бес числа» (XV—XVI), — детали (птичий крик до неба и устиление земли перьями) создавали образ пространства, охваченного птичьим сражением. Но это образ явно поздний: лишь в списке XVI в. данное сказание было присоединено к концу старого текста «Физиолога».

В «шестодневах», «палеях», «хрониках» животные перечислялись в рассказах о пятом дне творения мира только для пояснения библейской идеи о внезапной заполненности всего мира. Ср. Бытие, гл. 1: «И наполните воды, яже въ морехъ, и птицы да умножатся на земли» (1.2); «Шестоднев» Иоанна Экзарха: «И плъни беаху въси брезии; нирааху сквозе глубины; такожде и морские удоли, и великие и малые пучины

всеческихъ и различныхъ рыбъ плъны беаху», «не бы же праздна ни тина, ни калъ», «овы по ширине плавающе, а другые — по краю, а другые — по глубине, а другые — подъ камениемъ» (162.2—162 об. 1, 164.2, 165.1). То же в «Палее толковой» 1477 г. (20 об. 2, 21.1 и сл.).

Теперь рассмотрим мир «Слова о полку Игореве», отвлекшись от его символики и сосредоточившись на изобразительных чертах памятника. «Слово о полку Игореве», обходившееся без фантастики и подробного описания животных, кое в чем все же смыкалось с традиционным литературно-анималистическим фоном. Когда автор «Слова» упоминал реальное животное, то он не давал развернутых описаний и довольствовался одной-единственной деталью из мира природы. Например, автор связывал орла с облаками: «растекашется... подъ облакы» (43). Сокола — с ветром: «на ветрехъ ширяся» (52). Автор избегал жесткой привязки конкретных деталей к определенным зверям или птицам и в других местах «Слова» с облаками и с небесной высотой связывал сокола: «полете... подъ мъглами» (55), «высоко плаваеши» (52), «высоко птицъ възбиваетъ» (51), а с ветром связывал чернядь: «стрежаше... на ветрехъ» (55). В общем, автор «Слова» представлял птиц летящими в небесном верху.

Подобные связи наличествовали почти во всех произведениях древнейшей литературы. Орел связывался с облаками в хронографической «Александрии»: «Възлете на облакы»; в другом списке — «под облакы» (34). С небесами был связан орел в «Сказании Агапия о рае»: «идуць съ небесе» (467.1), в «Житии Макария Римского»: «Летай... под небесем» (53). С воздухом связывался орел в «Поучении» Кирилла Философа (53), «Молении Даниила Заточника» (394). С высотой связан орел в «Физиологе» (VI), в «Слове о прилюблении убогих» Иоанна Златоуста (321.2), «Слове похвальном Кириллу и Мефодию» (200.1). Птицы связаны с небом в Библии («Библия», 1.2. Бытие, гл. 1), «Шестодневе» Иоанна Экзарха (160.2, 161 об. 2, 162.1). С воздухом связывались птицы в «Шестодневе» Иоанна Экзарха (175 об. 1—2), «Палее толковой» 1406 г. (20 об.2), «Повести об Акире Премудром» (254). С высотой связаны птицы в «Синайском патерике» (60), «Шестодневе» Иоанна Экзарха (236.1) «Слове о трех мнисех» (61).

Автор «Слова о полку Игореве» упоминал, правда, и не летящих в небе, но, как можно догадаться, лишь попархивающих птиц, однако тоже в связи только с одной деталью из мира природы — с деревьями: соловей скачет «по древу», а птицы — «по дубию» (44,46). Связь «птицы — древо» тоже являлась распространеннейшей в литературе, начиная с Библии: птицы приходят на древо («Библия» 8.1. Евангелие от Матфея, гл. 13), сидят на деревьях («Сказание Агапия о рае», 468.1; «Слов о трех мнисех», 62; «Беседа трех святителей», 140; «Физиолог», VIII; «Житие Андрея Юродивого», 141), гнездятся на древе («Житие Василия Нового», 372) и т.д. Связь птиц с дубами также повторялась в памятни-

ках: птицы поют в дубраве («Александрия» хронографическая, 122), вселяются на дубе («Физиолог», 340—341), вьют гнездо на дубах («Сказание об Индийском царстве», 466).

Однако автор «Слова о полку Игореве» вышел за пределы литературных традиций к изображению необычайно широкого целого. Каждое животное в «Слове» сплочено в однородную группу с объединяющими признаками. Волки — серые (43, 46, 55), бегущие, скачущие, рыскающие (43, 46, 47, 53, 54, 55). Различий у них нет. Соловей или соловьи — поют, издают щекот (44, 46, 56). Сокол или соколы — прекрасно и целеустремленно летают, догоняют и бьют птиц (44, 49, 50, 51, 52, 56). Галки — «говорят» или молчат (46, 48, 56). Вороны — «грают» или не «грают» (48, 50, 56).

Разные группы животных, в свою очередь, связаны в сообщества: соколы и лебеди (44); соколы и галки (44); птицы, волки, орлы, лисицы (46); соловьи и галки (46); враны и галки (48); чайки и черняди (55); сороки, враны, галки, дятлы, соловьи (56). Птичий мир мыслился цельным — недаром автор неоднократно употреблял обобщающее слово «птицы» (46, 49, 51, 52, 53, 56). А звери и птицы в «Слове» тоже объединились в цельный животный мир — «птичь... зверинъ» (46).

Детали ландшафта в «Слове» представляли в однотипном виде. Земля в «Слове» — это одна и та же почва, которая зловеще гудит, дрожит, стучит (47, 52, 55). По земле «растекаются», по земле сеют, земля — под копытами коней, к ней клонятся, на нее свергаются (43, 48, 49, 51, 55). Облака в «Слове» — это один и тот же род легких высоких облаков, под которыми парят, летают, веют (43, 44, 54, 55), а иногда их и пронизывают (52). Низкие облака, или туманы, в «Слове» — это уже «мгла» или «мьглы» — 46, 53, 55).

Поля в «Слове» — всегда просторные. Для героев — «великая поля», для отдельного героя — «чистое поле» (46). Через поля рыщут и несутся (44). В поле свободно скачут и далеко заходят (46, 47). По полю беспрепятственно едут и рассыпаются (46). Поля покрывают, их пытаются частично перегородить или измерить (46, 47, 55). Поле с иными эпитетами — «поле Половецкое», «поле незнаемо», «поле безводно» — это всегда место сражения (44, 48, 52, 55, 56).

«Синее море» в «Слове» — это постоянно некий пограничный предел, отнюдь не идиллический, а больше тревожный и тревожащий (47, 49, 50, 51, 54, 55). Синий цвет, кстати говоря, вообще тревожен в «Слове» — синие молнии перед битвой (47), синее вино печали в мутном сне Святослава (50), синяя мгла Всеслава-оборотня (53), синий Дон как объект страстного желания, мутящего ум Игорю (44), на синем море плещет крылами Обида (49), на синем море «лелеют мечь» Руси (51), на синем море ветер беспокойно качает-лелет корабли (54).

Из всех ландшафтных деталей в «Слове» лишь «древо» менее однородно, чем остальные. То это «зелено древо», с тенью (55). То «древо»

«лиственные срони» и клонится, как бы увядая (49, 52, 55). А то «мыслено древо» (44). Временами же вообще не ясно, какое «древцо» автор имел в виду (43, 46). Однако оно, пожалуй, оставалось одним и тем же, потому что, во-первых, слово «древцо» в тексте «Слова» всегда употреблялось в единственном числе; потому что, во-вторых, это «древцо» при всех обстоятельствах оказывалось объектом активной деятельности, местом энергичных поступков: по нему «растекаются» и скачут, с него «кличут», под ним одевают и пр. (43, 44, 55); и потому что, в-третьих, «древцо» каждый раз мыслилось находящимся на дальнем рубеже от Руси.

Ландшафтные детали в «Слове» тоже в разных вариациях сцеплялись друг с другом, особенно часто — земля, море, облака, древо, трава. В «Слове» присутствует цельный ландшафтный мир — тот, что «за шеломянемъ» Русской земли.

Постоянно связывая животных с ландшафтом, автор создал назревающий стихийно по всему тексту «Слова» образ природы, которую освещает «солнцу светъ». Мир заполнен животными. Животные вездесущи. Оттого, например, волки связаны помимо земли еще и с полем: «вльци въ поле» (46), и с яругами: «вльци... по яругамъ» (46), и с лугом: «влькомъ... къ лугу» (55). К каждой детали ландшафта кто-то приставлен: в частности, горностаи — «къ тростию», а чайки — «на струяхъ» (55). Каждая часть ландшафта в «Слове» населена живностью, и, например, в поле действуют соколы, орлы, соловьи, галки, кречеты, враны, волки, лисицы, туры. Эстетический эффект связности.

В тексте «Слова» выделились и отдельные образы связности. Животные окружают людей, зашедших в поле: «Игорь къ Дону вои ведеть. Уже бо беды его пасеть птиць по дубию, вльци грозу въсрожатъ по яругамъ, орли клеткомъ на кости звери зовуть, лисици брешуть на чръленья щиты» (46). Автор «Слова» поднялся до предметно-изобразительного шедевра: «О, Донче! Не мало ти величия, лелеявшу князя на вльнахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребренныхъ брезехъ, одевавшу его теплыми мьглами подь сению зелену древу. Стрежаше е гоголемъ на воде, чаицами на струяхъ, чрънядеми на ветрехъ» (55).

Эти картинные связности не восходили к традиционным описаниям животных и природы. В фольклоре аналогичное множество животных, напротив, рассеивалось по миру, как например, в древней былине «Вольга»:

Уходили все рыбы во синии моря,
Улетали все птицы за облака,
Ускакали все звери во темнии леса (537).

Люди в «Слове» также представляли в обильном предметном окружении, особенно Игорь, — воинском (конь — 44, 46, 55; стремя — 46; седло — 50; шлем — 44; копьё — 44, 47; щиты — 46; мечи — 51; стяги — 44, 47,

49; и пр.), ландшафтном (поле — 44, 55; дерево с листвою и тенью — 49, 52, 55; трава — 49, 55; ковыль — 54; луг — 55; река — 44, 46, 50, 52, 55, 56; берега — 49, 55, 56; волны и струи — 55; море — 49, 55), суточном (солнце — 44, 46, 52, 55, 56; полдень — 49; тьма — 44, 46; ночь — 46; полночь — 55; зори — 47, 48, 55, 56; раннее утро — 46, 55), фенологическом (ветры — 47, 54, 55; мгла — 47, 55; роса — 55). Богато были связаны с предметным миром Боян, русское войско, в том числе куряне, русские князья (включая сон Святослава и плач Ярославны), половцы и т. д. Автор «Слова» свободно связывал разнообразные явления — предметные и символические, христианские и языческие, политические и философские, исторические и сиюминутные, и пр. По широте связей автору «Слова о полку Игореве» не подыскивается близких аналогий ни среди древнерусских писателей того времени, ни в фольклоре.

Но широкое мироизображение в «Слове» имело одну ограниченную особенность. Мир природы в «Слове» более всего был переполнен птицами. Автор связывал птиц не только традиционно с небом и деревьями, но и со всеми основными частями ландшафта. С полем: «птици... въ поле Половецкомъ» (56, здесь имеются в виду и страна, и собственно поле), «соколы... чресь поля широкая» (44), «врани на болони» — на дугу. Птицы связаны и с водой: «гоголемъ на воду» (55), «соколъ... къ морю» (49), «дятлове... къ реце» (56); «галицы... къ Дону Великому» (44), «зегзицею по Дунаеви» (54). Птицы мельтешат или слышатся всюду. Тут и «лебеди роспущени», и «щекоть славии», и «говоръ галичь» (46), и «часто врани граяхуть» (48, 50), и «куръ Тмутороканя» (54, если имелись в виду петухи), и «гуси и лебеди завтроку, и обеду, и ужине» (55), и «сорокы не троскоташа» (56), и многие другие упоминания птиц, а также птицеобразных существ, например, Обиды с «лебединными крылы» (49). Даже у ветра упоминаются «крыльца» (54). Заполненность мира существами в «Слове» напоминает о «Шестодневе» Иоанна Экзарха, но со странным различием: «Шестоднев» подчеркивал заполненность мира в основном рыбами, а «Слово» — птицами. «Заптиченность» «Слова» сочеталась с полным отсутствием упоминаний о рыбах. Глубины рек и моря оказывались пусты и словно безрыбны у автора «Слова». В лучшем случае упоминалось речное дно (50, 55). Отсутствовали также упоминания о насекомых. А гад (гад ли, а не птица?) был назван лишь однажды — «полозие» (56).

Преобладание упоминаний о рыбах объяснимо богословскими интересами автора «Шестоднева». Преобладание же упоминаний о птицах свидетельствовало об ином круге интересов, по поводу которого давно уже замечено: «Автор, без сомнения, был „птицегараздом“ — птицеведом. Из всех животных он лучше всего знал птиц, их повадки»³.

³ Шарлемань Н. В. Природа в «Слове о полку Игореве» // Слово о полку Игореве: Сборник исследований и статей. М., Л., 1950, с. 217. Ср. различие

Можно предположить даже большее: что автор «Слова» заполнил природу как раз тем, что наиболее заметно наблюдательному человеку привычно вступившему «въ стремя» и едущему по степи, — птицаи и зверями. Автор проявил свойство, так сказать, «аборигена», верне отличался некими «аборигенными» чертами.

Правомерно ли применять обозначение «абориген» к автору «Слова» Ведь неизвестно, уроженцем какой местности он являлся или где пр вык жить. «Слово» не отразило точной географической и биологическ реальности — об этом написано исследование⁴. «Слово» пестрит геогр фическими названиями от гор Угорских и от Дуная до Волги, от Тмутор кани до Новгорода и Литвы. О многих деталях природы в «Слове» нель сказать с уверенностью, южные они либо северные.

«Аборигенность» автора «Слова» проистекала из его острой вп чатливости по отношению к конкретно зримой природе, не уз местной, но по преимуществу, пожалуй, степной. Это дало знать о се небывалой многочисленностью реальных цветовых и световых обозн чений в тексте памятника. Серые волки (43, 46, 47, 55), сизый орел (4: светлое солнце (44, 55, 56), синий Дон (44), черный ворон, кровавые зор черные тучи, синие молнии, мутные реки (47), черная земля (48), сив море (49, 50, 51, 54), багряные столпы (50), серебряные струи, синяя мг (53), белый гоголь, зеленая трава, серебряные берега, зеленое дерево, те ный берег (55). Эти цветообозначения сохраняли реальное содержани а не стерлись в условные топосы. Оттого они образовывали гармони ные цветовые сочетания во фразах. Серое с сизым: «серым вълкомъ шизымъ орломъ» (43). Черное с серым: «чръныи воронъ... серыи вълкомъ» (47). Красное, черное, синее: «кровавыя зори... чръныя тучя синии мльнии» (47). Зеленое и серебряное: «зелену траву... сребр ныхъ брезехъ... подъ сению зелену древу» (55). В «Слове» обильны еи цветовые обозначения лишь воинских предметов: червленые щиты (4 47, 53), «чръленъ стягъ, бела хорюговъ, чрълена чолка, сребрено стружи (47), «златым шеломомъ посвечивая» (47), золоченые шлемы (52), зол ченые стрелы (56). Сочетались природа и война: кровавая трава (5: кровавый берег (54).

Не заимствовал ли откуда-нибудь автор «Слова» подобную, редку для Древней Руси, манеру изложения? Из всех известных нам памятн

между «Шестодневом» Иоанна Экзарха и испытавшим его влияние «Поучением Владимира Мономаха при выражении ими одной и той же основной полит: ческой мысли: «В „Поучении“ эта мысль приводится на примере поведени птиц, в „Шестодневе“ — на сходном примере из жизни рыб... Русь была дал ка от морей» (Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах, т. 2, с. 148).

⁴ Сумаруков Г. В. Кто есть кто в «Слове о полку Игореве». М., 1983. «Пр странство в „Слове“ художественно сокращено, — сгруппировано и „символиз: ровано“» (Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л., 1989, с. 135).

ков той эпохи богатой «цветностью» повествования отличается «Хроника» Константина Манассии, особенно в начальных главках о сотворении мира и животных. Но «Хроника» Манассии не могла непосредственно повлиять на «Слово о полку Игореве», будучи переведена на болгарский язык в середине XIV в., а на русский — в начале XVI в. При всем том между «Хроникой» и «Словом» наблюдается целый ряд соответствий в темах и мотивах. Одно из соответствий уже было отмечено в науке: рассуждения Манассии о своем стиле, его отличии от Гомера (127), и высказывания автора «Слова» о своем стиле и его отличии от Бояна (54)⁵.

Некоторые другие переключки мотивов и литературных приемов укажем по ходу повествования «Хроники». В общем виде сходны высказывания о неизбежности смерти даже самого крупного человека («Хроника», 124, и «Слово», 54). Перекликаются многочисленные сны героев с последующими истолкованиями в «Хронике» и «Сон Святослава» с боярским истолкованием в «Слове». Сходны привычка ссылаться на притчи и чужие изречения в «Хронике» и та же склонность у автора в «Слове».

При общем сходстве мотивов обнаруживаются даже лексические параллели между «Хроникой» и «Словом». Например, потоп: «Львъ беше въ водахъ затворенъ» («Хроника», 113); персонаж утонул: «затвори дне» («Слово», 55). Воспитание воинов: «въ оружихъ въспитана», «копиемъ потрясати научен и лукъ тяглити» («Хроника», 130, 207); «подъ шеломы възлелеяны, конецъ копия въскрѣмлени... луци у нихъ напряжени» («Слово», 46). Знамена: «влѣкъ искача некуду ис хлѣма... Орелъ же прилетау, птищъ великокрилен... Лисица же некаа лукава симъ съпротивлеущи ся» («Хроника», 193); «пасеть птищъ... влѣци грозу въсрожать по яругамъ, орли клеткомъ... зовуть, лисици брешуть» («Слово», 46). Пересказ содержания чужого сочинения: «съписания рекошу, яко... прехраберъ явивъ ся, егда... копиемъ прободъ съпротивнааго и уязвивъ... того на земля наизврѣже и от сего име... красное звание» («Хроника», 138); «песнь пояше... храброму Мстиславу, иже зареза Редедю... красному Романови Святъславличю» («Слово», 44). Смерть: «изврѣже душу» («Хроника», 146); «изрони душу» («Слово», 53).

Относительные фразеологические соответствия встречаются и вне сходства мотивов. «Птища же... криле свои распростерта и творяща сению» («Хроника», 156); «дружину... птищъ крилы приоде» («Слово», 53). «И скочи... акы зверь» («Хроника», 222); «скочи... лютымъ зверемъ» («Слово», 53). Наконец, в обоих памятниках читаются сходные слова, не так уже часто употребляемые в литературе: «обеси ся», «съмысленъ», «струя» (речные), «насады», «судъ» (смерть) и пр.

⁵ См.: Орлов А. С. Слово о полку Игореве. М.; Л., 1938, с. 42—44; Jakobson R. L'authenticité du Slovo // La Geste du prince Igor' epporée russe du douzième siècle. New York, 1948, p. 292—293; Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 38.

«Хроника» была составлена Манассией не позднее 1187 г. (как и «Слово»?). Этим хронологическим совпадением подсказывается разгадка эпизодического сходства «Слова о полку Игореве» с болгарским переводом «Хроники» Манассии. Оба произведения, по всей вероятности, использовали общий фонд литературных средств византийской литературы, в том числе и «цветность» в изображении природы, а болгарский перевод и «Слово» имели еще и общую фразеологию, восходящую к староболгарской литературе.

Но автор «Слова» не утратил своеобразия. Большинство носителей цвета у него не те, что у Манассии. Например, у Манассии нет черной земли и черных туч, нет белого гоголя или иной белой птицы, нет зеленой травы и зеленого древа и пр. У автора «Слова» как раз больше окрашена природа, а у Манассии — быт. Автор «Слова» называет цвета, которые отсутствуют у Манассии, — «серыи» и «шизыи». Кроме того, он гораздо чаще употребляет обозначения цветов, редких или редкостных у Манассии — «чръныи», «синии», «сребряныи» и «зеленыи». Не «аборигенна» ли такая сдержанная гамма цветов у автора «Слова» и их большая примененность к природе сравнительно с пряной яркостью, но в основном быта в «Хронике» Манассии?

«Аборигенной» впечатлительностью автора «Слова» объяснимо еще и то, что он «никогда не вводит в свое произведение иноземных зверей. Он реально представляет себе все то, о чем рассказывает и с чем сравнивает. Он прибегает только к образам русской природы, избегает всяких сравнений, не прочувствованных им самим и не ясных для читателей» (Д. С. Лихачев⁶).

Наконец, «аборигенные» корни имела тонкая слуховая восприимчивость автора, проявившаяся в тексте «Слова»: «струны... рокотаху», «комони ржуть... трубы трубятъ» (44), «ночь стонуци... грозою... Свистъ зверинъ въста... Крычатъ телегы... Орли клеткомъ... зовуть, лисици брешуть... Щекоть славии успе, говоръ галичъ убудися» (46), «дети бевосви кликомъ поля прегородиша... Гремлещи о шеломы мечи харалужными» (47), «звонъ слыша... уши закладаше... ретко ратаеве кикахуть... галици свою речь говоряхуть... Гримлють сабли о шеломы, трещать копия харалужныя... Что ми шумить, что ми звенить» (48), «звоня Рускымъ златомъ... Тии бо... кликомъ плъкы побеждають кричатъ подъ саблями» (51); «храбрая дружина рыкають» (52); «позвони своими ост-

⁶ Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» // Слово о полку Игореве. Л., 1990, с. 40. Ср.: Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах, т. 2, с. 176. Ср. также: «... памятник этот, тесно связанный с фольклором, берет для сравнения только тех зверей и птиц, которые реально существовали на Руси» (Там же, т. 1, с. 459); у автора «любовь к Родине... обострила его слух, зрение, его поэтическое воображение» (Там же, т. 2, с. 214). Недаром у автора «Слова» отмечена «разнообразная наблюдательность» (Лихачев Д. С. «Задонщина» // Литературная учеба, 1941, № 3, с. 96).

рыми мечи о шеломы... трубы трубятъ» (53), «позвониша заутреннюю... въ колоколы... звонъ слыша... зегзицею... кычеть» (54), «свисну за рекою... кликну, стукну земля, въшуме трава» (55), «сорокы... трескотаща... дятлове тектомъ путь къ реце кажутъ, соловии веселыми песньми светъ поведаютъ... вьются голоси» (56). В «Слове» слышны рокот, стон, свист, боевое ржание, крики и клики, громоухание, шум и звон, треск, рык, клекот, щекот, стрекотанье, постукивание, лай, человеческие голоса и пенье. Опора автора на слух и на слуховую память заметна еще: по всепроникающей и разнообразной речевой ритмичности; по заполненности «Слова» речами персонажей настолько, что иногда не ясно, где кончается одна речь и начинается другая; по своеобразной «диалогичности» «Слова»⁷; по цитированию запомненных на слух песен и «припевок» Бояна.

Причислить личность автора «Слова» полностью к «аборигенам», конечно, невозможно, но «аборигенность» налицо. Подобный тип предметной и широкоохватной впечатлительности, как у автора «Слова о полку Игореве», больше никогда не повторился в древнерусской и новой русской литературе, хотя подлинные писатели-аборигены позднее появлялись в России регулярно и живописали свои местные пейзажи.

1992 г.

⁷ Лихачев Д. С. Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986, с. 9—38.

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАРИСОВКА В «ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ» ПОД 1249 Г.

На образное восприятие мира древнерусскими писателями наложили отпечаток их социальная среда, их средневековая «профессия», общественное положение, занимаемая должность, корпоративная принадлежность и пр. В раннем периоде такое «профессиональное» влияние на литературу все-таки было однообразным — вспомним, например, о писателях-церковниках или писателях-дружинниках в XI—XII вв. С XIII—XIV вв. воздействие расширилось и стало тоньше¹.

Вырисовывается странная картина, правда, пока неполная: XIII—XIV вв. — это время установления татаро-монгольского ига, но в литературе — вовсе не время упадка. Вырос «ассортимент профессий», наложивших отпечаток на литературу. Эстетически влиятельными оказались довольно прозаичные «профессии». Так и хочется сказать, что XIII—XIV вв. — это время дисциплинированных служащих, организаторов и хозяйственников в литературе.

Один из примеров сказанному — «Галицко-Волынская летопись», ее вторая половина (первая половина более традиционна). Обратим внимание на повесть под 1249 г. — об очередном сражении между князьями, произошедшем в 1245 г.: хронология летописи, как известно, неточна. Автор повести описал знамение: над войском, готовящимся к битве, слетелось множество птиц, «пришедшимъ орломъ и многимъ ворономъ» (308)². Слово «пришедшим» по отношению к птицам означало

¹ Ср. работу Д. С. Лихачева 1954 г. «Социальные основы стиля „Моления“ Даниила Заточника» // *Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе*. Л., 1986, с. 185—200.

² Цитируемые произведения: «Александрия» — *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Приложение; «Галицко-Волынская летопись» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева; «Житие Афанасия Александрийского» — Успенский сборник; «История Иудейской войны» Иосифа Флавия — *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958; «Киево-Печерский патерик» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; Книга Иова, Книга пророка Иезкииля, Книга пророка Иеремии, Книга пророка Исаии, Книга Чисел — Библия. Острог, 1581. Указываются листы и столбцы издания; «Мучение Иринии» — Успенский сборник; «Повесть временных лет» — Летопись по Лаврентьевскому списку; «Повесть пророка Иеремии о пленении Иерусалима» — Успенский сборник; «Сказание Агапия о рае» — Успенский сборник; «Слово о полку Игореве» — Слово о полку Игореве / Тексты подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967; «Суздальская летопись» — Летопись по Лаврентьевскому списку; «Хроника» Георгия Амартола — *Истрин В. М.* Книги

их прибытие, передвижение вообще, но не собственно полет. В таком значении слова «идти», «пойти», «прийти» и пр. по отношению к орлу употреблялись в памятниках. В апокрифической «Повести пророка Иеремии о пленении Иерусалима»: «Придеть ти къ тебе въ часъ света орль и посълещи ѿ къ Иеремии» (34.2) — имелись в виду само прибытие и отсылка орла, не важно, летит он или передвигается иначе. Или: «И лете орль и приде въ Иерусалимъ» (37.1) — «приде» означало результат более абстрактно: достиг Иерусалима. В апокрифическом «Сказании Агапия о рае» тоже обозначалось, в первую очередь, передвижение орла, но не подчеркивался полет: когда Агапий «пойде путемъ, узре ѿ орль, идущъ съ небесе къ себе... Орль же пришьдъ къ нему, пойде предъ нимъ, путь кажа... И доведе ѿ орль морьскыя луки и отиде от него» (467.1) — формы глагола «прийти» и «идти» по отношению к орлу означали здесь передвижение вообще, без специального различения его на пешее или полетное. То же словоупотребление и в «Мучении Иринии»: «въниде орль, нося веньць, и положъ на трапезе, изиде» (137.2) — орел, конечно, не пешком вошел, но не это главное, а главное — что он появился и удалился. Соответственно говорилось и в самом начале «Галицко-Волынской летописи»: «И прехожаше землю ихъ, яко и орель» (236), — то есть обозначен не полет орла по поднебесью, а лишь абстрактно его продвижение через страну насквозь. И под 1249 г. автор следовал тому же словоупотреблению: орлы и вороны просто объявились в данном месте.

В каком виде? В той же фразе автор употребил непривычное словосочетание — «орломъ и многимъ ворономъ». Обычно в памятниках говорилось отдельно об орлах и отдельно о других существах. Например, в «Слове о полку Игореве»: «пасеть птиць по дубию, вльци грозу въсрочать по яругамъ, орли клетомъ на кости звери зовуть, лисици брешуть на чръленыя щиты» (46) — каждый род животных выступал отдельной стаей. В произведениях ворон и орел, а тем более ворона и орел никогда не сочетались вместе. Могли упоминаться ворон и сова: «и въгнездятъ в немъ птица — нежеве, совы, вранове» (81.2. Книга пророка Исаии, гл. 34), могли упоминаться вороны и псы: «бе тело его ядь псомъ и ворономъ» («Суздальская летопись» под 1262 г., 453), но не вороны с орлами. Правда, в «Шестодневе» Иоанна Экзарха встречается фраза: «Акы орли или враны... въ сей живъ жизни» (82.1), однако здесь орлы и вороны подразумевались отдельно друг от друга, соответственно употреблен разделительный союз «или». Выражение же «пришедшимъ орломъ и многимъ ворономъ» подразумевало единое место их действия, единую стаю. Дружная стая из орлов и воронов — образ, конечно, невидан-

временныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920, т. 1: Текст; «Шестоднев» Иоанна Экзарха — Шестоднев.

ный. Но, может быть, именно так произошло в тот один-единственный раз? Автор ведь отметил: «яко же иногда и николи же не бе».

Автор, однако, создал образ именно тесной стаи, сравнив ее с облаком: «Яко же оболоку велику». Великое облако ассоциировалось с чем-то совокупным, отделенным от окружающего пространства. Вот аналогии из некоторых памятников. «Александрия»: «Облакъ великъ ратных поведаяще ему бесчисленных мужь и храбрых вся на Египта идуща» (6) — войско огромное, но не бесформенное, а слившееся в тесную массу. «Суздальская летопись» под 1230 г.: «Таче сниде огонь с небеси, аки облакъ великъ, над ручай Лыбедь» (432) — огонь оформленный, четко ограниченный. Так и в «Галицко-Волынской летописи» облако из птиц означало стаю, ясно очерченную и достаточно тесную. Орлы не парили под облаками, а находились внутри облака стоячего. Думается, что на самом деле сборище птиц не было таким дисциплинированным. Автор, кажется, проявил склонность к утеснению изображаемого.

Кроме того, автор добавил еще одно сопоставление: «играющимъ же птичамъ». Слова «играти» или «игра» означали активное действие, но на специально выделенном месте, в пределах ограниченного пространства, в данном случае в облаке. Этот ограничивающий оттенок заметен в самых разных памятниках. Например, «Житие Афанасия Александрийского» сообщало: «Виде на чисте месте дети играюща» (38.1) — играют на небольшой площадке. В Книге Иова, гл. 39: «Или вложилъ еси коню силу... на поли играетъ» (276.1); гл. 40: «поиграеши же ли с нимъ, яко же съ птицею... на поли» (276.2) — здесь поле тоже являлось некоей выделенной площадкой. Но наиболее част этот ассоциативный оттенок в «Галицко-Волынской летописи». Под тем же 1249 г.: «И створи игру предъ градомъ» (308) — подразумевался воинский турнир, на площадке же, у городских стен. И далее в той же летописи: «И гонишася на поли подобно игре» (322) — гонялись в рамках поля, как на турнире³. Еще один оттенок: «игра» представлялась тесным действием, играющие теснятся. В «Повести временных лет», к примеру, под 1097 г. проводилось такое сравнение: «И сбиша угры, аky в мячь, яко се соколъ сбиваетъ галице» (262) — играющие сбиваются в кучу. Таким образом, в статье 1249 г. «играющие» птицы, по всей вероятности, тоже мыслились тесно сбившимися в предназначенных границах. Однако в действительности птичье сборище составилось не по правилам турнирной или иной «игры». Игровое утеснение стаи — образ.

Автор очень точно «подвесил» знамение: «И бывшу знамению сиче надъ полкомъ сиче» (308) — «сиче над сиче». В литературе того времени небесные знамения изображались широкоохватными — «надо все-

³ О значении «игра-турнир» см.: Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис: (лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості). Київ, 1961, с. 57, 259.

ми горе бѣше», «яко видети всей земли», «и весь миръ виде» и пр. («Суздальская летопись» под 1141 г., 293; «Повесть временных лет» под 1028 и 1110 гг., 164 и 274). Знаменія вставали над целыми городами, как в летописи, или над чистым полем, как в «Слове о полку Игореве». Узко местные знаменія сжимались в сияющие столпы — «столпъ огненъ явися от земля до небеси овогда же облакъ, иногда же яко дуга» («Киево-Печерский патерик», 422). Над людским сонмом вставал столп: «И облакъ твой ста над ними. И столпомъ облачнымъ идеши ты пред ними въ день и столпомъ огненом в нощи» (67.2. Книга Чисел, гл. 14). Или даже над отдельными предметами: «Сей же столпъ первее ста на трапезници каменей... и постоявъ мало, съступи на церковь и ста над гробомъ Феодосьевым, и потом ступи на верхъ» («Повесть временных лет» под 1110 г., 214, 276). Но все равно и эти знаменія были относительно широкими, потому что столпы не стояли на месте и в результате охватывали многое: «облакъ великъ», ставший над ручьем, затем проходил над всем городом — «и паде в Днепръ реку» («Суздальская летопись» под 1230 г., 432). Однако в рассматриваемой статьѣ «Галицко-Волынской летописи» местное знаменіе никуда не передвигалось. Застывшее над войском облако словно распирало от тесно набившихся птиц.

Подобного тесного знаменія еще никто не изображал. Знаменіе в небе над полком как бы отражало полковое построение на земле: в это время «всемъ... соседшим на поли вооружиться» (308). Птичье сборище отчасти напоминало строящееся войско — птицы метались в поисках своего места. Теснота птичьей стаи повторяла тесноту воинского строя. На изображение знаменія, по-видимому, повлияли картины воинского строя.

И действительно: в статьѣ под 1249 г. теснота воинского строя изображалась не раз. Например, автор описал польское войско, оно пело: «Сильнѣнь гласъ ревуце в полку ихъ» (310). Не совсем привычно уточнение о мере распространения сильного «гласа»: «в полку ихъ». Рев не вырывался за пределы полка. Но в памятниках клич или шум войска обычно слышался издалека или разносился очень далеко. В Книге пророка Иезекииля, гл. 1 слышимый шум речей сравнивался с шумом войска: «И внегда идяху, сии гласъ словес, яко гласъ полка» (125 об. 2.). А когда войско «въскликше с трубами», то «темъ гласом и земля тряса-шеся, и горы колебахуся, и холми скакаху» («Исторія Иудейской войны» Иосифа Флавия, 435). В Книге пророка Иеремии, гл. 47 шум войска потрясал слышащих: «Възопиють людие и въсплачутся вси живущи на земли от шума гордости въоруженных и воинъ его, от греमेंія колесницъ его и множества колъ его» (115.1)⁴. Соответственно говорилось о войске в «Хронике» Георгия Амартола: «вси видяще и слышаще глаго-

⁴ Другие примеры из Библии см.: Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи // ИОРЯС. Л., 1926, т. 31, с. 192.

ла множества скрипания колесницъ» (204). И в начале «Галицко-Волынской летописи»: «И не бе слышати от гласа скрипания телегъ его, множества ревения вельблудъ его, и ръжания от гласа стадь конь его» (294). Все это больше соответствовало реальной действительности, чем рев, искусственно замкнутый в пределах полка. Сам полк от этого выглядел монолитно стиснутым целым. Теснота привлекала воображение автора, притом теснота воинского строя.

Еще одно «утесняющее» место находится в конце рассматриваемой летописной статьи: военачальник «ста на месте воинномъ посреде трупья, являюща победу своя» (312). До того в «Галицко-Волынской летописи» было принято говорить, что победитель «стал на костях» поверженных врагов. «Стать посреде трупья» пребывать в большей тесноте, чем «на костях».

Весь рассказ под 1249 г. был пронизан частыми повторами о сборах воинов в единый строй: «Поимъ вои... исполчивъ воя своя... начаста сбирати вое... скоро собравше воя... поем вои свое... исполчивша же коньники с пешьцы... исполчивъ же вои свое... исполчився» и т. д. (306, 308, 310). Повторы делались даже в кратчайшем эпизоде, буквально через каждую фразу: «Ростиславъ... исполчивъ же вои свое, русь и угры и ляхы... Ростиславъ же исполчився» (310) — подобная частота повторов нешаблонна. Люди все время в строю. По всему рассказу рассеяны многочисленные замечания о состоянии воинского строя: кто стоял «напередъ», выставлен ли «стражъ», кого видно «в заднемъ полку стояща», как «раздруши полкъ» и пр. (308, 310). Таких замечаний в предыдущих рассказах «Галицко-Волынской летописи» все-таки меньше. Внимание же к воинскому строю у автора данной повести просто исключительное.

Склонность к изображению тесного воинского строя проявилась и в последующих статьях «Галицко-Волынской летописи», преимущественно под 1250-ми годами: описывались воинские строи под 1251 г. (318), под 1252 г. (320 и 322), под 1256 г. (334). Например, под 1251 г. рассказывалось о строе воинов: «Копиемъ же ихъ дръжащимъ в руках, яко трости мнози, стрелчемъ же обаполь идущимъ и держащимъ в рукахъ рожанци свое и наложившимъ на не стрелы своя» (318) — нарисован тесно сжатый, идеально четкий строй, с идеально выдерживаемой дистанцией. И иначе подчеркивалась теснота строя — употреблялись глаголы, обозначающие переполнение некоего объема скопившимися воинами: «собравшася вои... яко и лесомъ ихъ наполнитися» (под 1251 г., 316). То же касалось и мертвых воинов, словно сохранивших тесный строй: «яко же наполнити болота ятвяжская полкомъ» (под 1256 г., 334), «и нагряже озеро труповъ, и щитовъ, и шеломовъ» (под 1259 г., 342). Раньше картины в литературе были иными: обычно отмечалась широкая плоскость, покрытая войсками, — поле, степь, земля и пр.: «И покрыша Днепръ от множества вой» («Суздальская летопись» под 1151 г., 315). Даже в

первой части «Галицко-Волынской летописи»: «яко же покрыти воде быти от множества людии» (под 1223 г., 258) — и плоскость широка, и войску просторно. Однако под 1250-ми годами, напротив, проявилось авторское увлечение изображением сжатых воинских строев, наблюдаемых скорее со стороны, чем изнутри.

Мы не знаем, был ли один автор у статей под 1249 г. и под 1250-ми годами. Во всяком случае, В. Т. Пашуто считал эту часть летописи составленной холмским епископом Иоанном⁵, а А. И. Генсерский — редакцией боярина Дионисия Павловича. Последнее больше нас устраивает: Дионисий Павлович как раз мог знать, что такое воинский строй; для «строевой» настроенности ему не обязательно было непосредственно служить в войсках; однако вблизи строя ему пришлось находиться неоднократно⁶. А. Н. Ужанков относит статью под 1249 г. к творчеству галицкого печатника (канцлера) Кирилла, а это лицо еще больше соответствует облику автора-«строевика»⁷.

1993 г.

⁵ Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950, с. 92—101.

⁶ Ср. выводы, сделанные на основе иных наблюдений над текстом, — «про знания військової справи та велику любов до неї» у Дионисия Павловича. «Автор виступає як державний службовець канцелярії Данила або як активний дипломат... високий урядовець при дворі Данила», «наш редактор довгий час служив у короля Данила як світська особа на посаді печатника чи нотаріуса»; «функція Діонісія Павловича має теж більш адміністративний, ніж військово-оперативний характер», он принадлежал «більш до цивільної, ніж до військової служби» (Генсьорський А. Галицько-Волыньський літопис: (процесс складання; редакції і редактори). Київ, 1958, с. 78, 75. 80, 81).

⁷ Ужанков А. Н. «Летописец Данила Галицкого»: проблема авторства // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1992, Сб., с. 149—180. Ср.: «Печатник Кирилл представляется нам как человек военный» (Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1900, т. 2. ч. 1, с. 53, сноска 2); «но летописи наши не дают ни единой черты и ни единого штриха этого образа» (Там же, с. 89). Ср. также: Пауткин А. А. Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси. М., 1990, с. 40—55.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ АНИМАЛИСТИКА «СКАЗАНИЯ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ»

По анималистическим картинам «Сказания о Мамаевом побоище» творчество автора вырисовывается отчетливо. В «Сказании о Мамаевом побоище», точнее, в Основной редакции повести, наиболее близкой к авторскому тексту (по классификации Л. А. Дмитриева), неизвестный нам автор изобразил два отличающихся животных мира. Первым в последовательности изложения и наиболее заметным предстал героический животный мир, связанный с ратными деяниями людей, вторым и гораздо менее заметным — мир идиллический.

Скажем о специфичности изображения героического животного мира. В начале повести, в энергичном рассказе о появлении татар автор заклеил Мамаю, который «аки левъ ревый пыхаа, аки неутолимая ехидна гневом дыша» (26)¹. Хотя использованные сравнения и метафоры в отдельности традиционны, их сочетание обладало относительно новым смыслом. Автор обозначил злобный звериный мирок, со свирепыми животными, готовыми броситься на людей. Ни в зоологической реальности, ни в литературной традиции лев и ехидна не были дружны, они действовали воедино лишь в данном отрывке текста. То же автор почти дословно повторил в конце «Сказания»: «аки левъ рыкаа и аки неутолимаа ехидна», — и сильнее подчеркнул злобность такого мирка: «гневашеся, яряся зело, и еще зло мысля» (48). Это лишь элементарный образ-зародыш, но все же...

¹ Цитируемые произведения: «Галицко-Волынская летопись» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева; «Житие Авраамия Смоленского» — Древнерусские предания: (XI—XVI вв.) / Текст памятника подгот. В. В. Кусков. М., 1982; «Задонщина» — Тексты «Задонщины» / Подгот. Р. П. Дмитриева // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966; Летописная повесть о Куликовской битве, пространная — Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Л., 1982; «Повесть о Тимофее Владимирском» — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; «Сказание о Мамаевом побоище», Забелинский список — Повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. М. Н. Тихомиров. М., 1959; «Сказание о Мамаевом побоище», Киприановская редакция — Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. Л., 1982; «Сказание о Мамаевом побоище». Летописная редакция — Повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. М. Н. Тихомиров. М., 1959; «Сказание о Мамаевом побоище». Основная редакция — Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. В. П. Бударягин и Л. А. Дмитриев. Л., 1982; Печатный вариант Основной редакции — Там же / Текст памятника подгот. Л. А. Чуркина; Распространенная редакция — Там же / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Л. А. Чуркина; «Степенная книга» — ПСРЛ, т. 21, ч. 2; «Хроника» Константи-

Данный образ был навеян автору не припоминаниями из области геральдики, например, гербом со львом и ехидной, а более общей литературной традицией². В памятниках часто нагнетались «звериные» сравнения, в том числе с участием льва, и семантически не важно было, кто действовал вкупе со львом, — все равно намечался образ злобных звериных мирков. Упоминания льва и змия вкупе нередко встречались в переводной литературе — в библейских Премудростях Соломона, «Шестодневе» Иоанна Экзарха, житиях и поучениях «Успенского сборника», в «Александрии», «Пчеле», «Параллелях» Иоанна Дамаскина и т.д. Лев с другими зверями тоже выступал в произведениях переводных, наподобие «Хроники» Константина Манассии: «Яко левъ велми рыкаущи, яко пардось наскочи люте» (196). Лютый звериный мир обозначился и в оригинальных древнерусских произведениях. Лев несся в сонме зверей в «Галицко-Волынской летописи», в статье под 1201 г.: «Устремил бо ся на поганя, яко и левъ; сердит же бысть, яко и рысь; и губяше, яко и коркодилъ, и прехожаше землю ихъ, яко и орелъ; храборъ бо бе, яко и туръ» (236). Лев свирепствовал со зверьми в «Житии Авраамия Смоленского»: «И паки яко лев нападая, яко зверие лютии устрашающе» (80).

В последующих редакциях «Сказания о Мамаевом побоище», которые местами служили истолкованием авторского текста, добавлялись, так сказать, в стаю ко льву новые хищники. Например, в Киприановской редакции повести (по иному называнию, в редакции «Никоновской летописи»): «яко лев ревый, и яко медведь пыхаа, и аки демон гордяся» (50). Однако образ злобного звериного мира оставался тем же самым. Отсюда явствует, что автор «Сказания», связавший воедино два сравнения — со львом и с ехидной, не добавил ничего принципиально нового к традиции и проявил себя лишь плодовитым книжником.

Упоминания львов со зверьми в «Сказании» больше не встречаются, кроме еще одного случая: в битве с татарами русские воины «сердца имуща аки лвовы, аки лютии вльци на овчии стада приидоша» (45). Весь эпизод восходит к «Задонщине» и к главе 18 из библейской второй Книги Царств, но фраза необычна, содержит случайно получившееся обозначение фантастических животных — волков со лвыными сердцами. Волки были традиционно люты в литературе³, а «сдвоенные» волкольвы могли мыслиться тем более лютыми; и действительно, они «яко лютии зверие ристаху» (45). Образ, однако, остался слишком неотчет-

на Манассии — Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах / Тексты памятника подгот. М. А. Салмина. София, 1988.

² См.: Дурново Н. Н. К истории сказаний о животных в старинной русской литературе. М., 1901, с. 3. 8—9. 36—37; Орлов А. С. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М., 1901, с. 5, 29—32.

³ См.: Дурново Н. Н. Указ. соч., с. 3; Орлов А. С. Указ. соч., с. 32—33.

ливым в Основной редакции, и поэтому он распался в последующих вариантах и редакциях «Сказания». Автор не вышел за пределы компилирования тропов.

В «Сказании» есть картины героического, но не агрессивного животного мира. Укажем, например, на описание выезда русского войска в поход — в форме развернутого сравнения с миром птиц: «Уже бо тогда аки соколи урваша от златых колодиць ис камена града Москвы, и възлетеша под синиа небеса, и възгремеша своими златыми колоколы, и хотять ударитися на многы стада лебедины и гусины» (33). Судя по деталям, соколы не злобны, а энергичны, элегантны, парадны. Однако весь данный текст почти дословно был заимствован автором из «Задонщины» (ср. 537—538, 542—543), скорее всего, из ее Синодального извода (552)⁴. Автор «Сказания» с удовольствием работал с чужим словом, но не создавал своего резко оригинального изложения.

Накануне битвы героический животный мир выглядел не молодевающим, а растревоженным, мятущимся: «мнози вльци... выюще грозно... галици же своею речию говорят, орли же мнози... слетошася, по аеру летаючи клекчють, и мнози зверие грозно выють» (38). Однако и данный текст оказался заимствованным из «Задонщины» (ср. 536 и 537; 542 и 544; 549; 552 и 555)⁵. Авторское добавление — о многих воющих зверях — явилось абстрактным обобщением, сделанным на основе текста источника же. Воображение автора «Сказания» питалось книжностью.

В описании животного мира автор «Сказания» ориентировался не на одну только «Задонщину». Вот в «Сказании» развертывается рассказ о предзнаменованиях за ночь до битвы. Животный мир, окружавший татарское войско, распределен автором по четким секторам: «Съзяди же плъку татарскаго вольци выють грозно велми; по десной же стране плъку татарскаго ворони кличюще, и бысть трепеть птичей великъ велми; а по левой же стране, аки горам играющимъ — гроза велика зело; по реце же Непрядве гуси и лебеди крылми плещуще, необычную грозу подающе» (40). Детали, все до одной, заимствованы из «Задонщины»⁶, но использованы автором по-своему: отряды животных соответствуют размещению людей по полкам, подчинены единой воинской «диспозиции». Это воздействие традиций военно-деловой письменности. В «Сказании» часто встречается изложение таких «диспозиций», только

⁴ О соотношении этого места «Сказания» с «Задонщиной» см.: *Дмитриев Л. А.* Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966, с. 396—397.

⁵ О соотношении с «Задонщиной» см.: *Дмитриев Л. А.* Указ. соч., с. 407—409.

⁶ Там же, с. 410—411.

не звериных, а людских. Так, до эпизода с предзнаменованиями автор рассказал с «диспозиционным» уклоном о том, как великий князь уряжал полки: кого «себе же князь великий взя в полкъ», кого в «правую руку уряди себе», кого в «левую руку себе сътвори», кого — в «передовой же плъкъ» и пр. (34). После эпизода с предзнаменованиями автор снова разметил, кто «передовой плъкъ», кто «с правую руку плъка ведеть», кто «левую же руку плъкъ ведеть» (43). Расположение войск и княжеских свит неоднократно описывалось в «Сказании» с деловитым распределением по секторам в соответствии с традициями документалистики. Автор являлся многоопытным книжником.

Об изощренном книжнике-компиляторе свидетельствует в «Сказании» второй мир природы, не сразу бросающийся в глаза, идиллический, ласкающий, как бы не зависимый от битв. В него на правах детали входили боевые кони (вместе со всадниками) — только кони и никакие иные животные.

Например, в сцене выезда в поход великому князю сопутствует прекрасное утро: «Солнце ему на востоце ясно сияеть, путь ему поведает» (33). Текст дословно заимствован, конечно, из «Задонщины»: «Солнце ему на восток сияет и путь поведает» (537. Ср. в других списках — 543, 549, 553⁷). Сцена символична и в «Задонщине», и в «Сказании», но, в отличие от «Задонщины», автор «Сказания» добавил предметные детали: «Напреди же ему солнце добре сияеть, а по нем кроткий ветрець вееть». Войско комфортно выезжало, словно не на битву, а на отдохновение: солнце исполнено доброты, «ветрець» необычно ласков, не дует даже, а веет, и не в лицо войску, а в спину. Эту картину продолжили последующие варианты и редакции текста «Сказания», приводя все новые идиллические детали. Так, в Печатном варианте Основной редакции была усилена ласковость солнца, которое не только сияет, но «и добре греет» (111). В Киприановской редакции (редакции «Никоновской летописи») была усилена ласковость ветра: «А ззади по нем кроткий и тихий ветр веаше и дыхаше» (57).

Картина идеально мягкого и приветливого утра не встречалась ни в «Задонщине», ни в «Слове о полку Игореве», ни в летописях, ни в иных, предшествовавших «Сказанию» древнерусских памятниках, она не принадлежала к литературной или фольклорной традиции. Однако ни одна деталь этой картины не была найдена в реальной жизни самим автором «Сказания», каждую из них он взял из литературы и усилил, следуя обычной манере украшенного повествования, создал ювелирную литературную инкрустацию. Правда, не известно, откуда заимствовано выражение «кроткий ветрець», — возможно, из обыденной речи. Автор был творчески смелым компилятором.

⁷ См.: Дмитриев Л. А. Указ. соч., с. 396—397.

Совершим экскурс на тему о художественной роли коней в «Сказаниях». В составе рассмотренного эпизода упоминались кони: великий князь «възыде на избранный свой конь, и вси князи и воеводы вседоша на коня своа». Отличие от «Задонщины»: упоминания коней в «Задонщине», как и во многих памятниках, относились к героической воинской сюжетике — кони представляли оседланными, со золотыми стремянами, «поскакивали» парадно. В «Сказании» же кони лишились этого. Зато конь назван «избранным», то есть отменным (тот же эпитет в Распространенной редакции и в Забелинском списке. В Печатном варианте Основной редакции — конь «любимый», в Летописной редакции — конь «любезный», в Киприановской редакции — без эпитета). Отменна и приятна погода, отменны и приятны кони, которые отделены от героики и вставлены в картину мирной природы. Кстати, «синиа небеса», упомянутые в этом же отрывке, тоже переместились из мира героического, характерного для «Задонщины», в мир идиллический, в картину идеального утра. Внутри традиционно героических картин автор «Сказания» стал изображать идиллическую природу.

И далее, по тексту, в эпизоде смотра русского войска великий князь видит: знамена «аки некии светилници солнечнии светящися въ время ведра... просьтирающися, аки облаци, тихо трепещущи доспехы же русских сыновъ, аки вода въ вся ветры колыбашешя, шоломы же на главах ихъ, аки заря утреняя въ время ведра светящися» (39). Нарисованы две картины: одна, главная — построенного войска; другая, создаваемая дополнительно сочетанием сравнений, — картина погожего утра: ведро, утренняя заря, встающее солнце, легкие облака, тихо трепещущий ветерок и слегка колеблющиеся воды. Картина утра была не символической, а реальной: автор указывал даже реальное время — смотр проходил не быстро, «до шестаго чяса» дня (38), то есть до полудня⁸. Но утро изображалось настолько прекрасным, бодрящим, сияющим и свежим, что его образ противоречил обстановке горестного и напряженного смотра, когда обреченных на гибель воинов, как говорилось тут же, «умилено бо видети и жалостно зрети» (39).

Некоторые детали образа идеального утра принадлежали литературной традиции; в частности, сопоставление воинских доспехов и солнечного света. Так, например, в «Галицко-Волынской летописи», в повести под 1251 г. содержалось сходное описание войска: «Щите же ихъ, яко заря бе, шоломъ же ихъ, яко солнцю восходящю» (318)⁹. Ср. в «Хронике» Константина Манассии: «облиставааху копия, сиааху же шлемове, и щитове зореаху ся, и въздухъ облиставааше ся сулицами» (203). В

⁸ См.: Кирпичников А. Н. Великое Донское побоище // Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 292; Дмитриев Л. А., Лихачева О. П. Историко-литературный комментарий // Там же, с. 390.

⁹ Связь замечена: Орлов А. С. Указ. соч., с. 15.

летописи и «Хронике» мотив света скользнул, как солнечный зайчик, и не был продолжен; автор же «Сказания о Мамаевом побоище» собрал чужие сравнения, не добавив ни одного своего, но составил из них образ утра.

Тут же был упомянут и конь: «Князь же великий, видевъ плъци свои достойно уряжены, и спед с коня своего» (39). Княжеский конь, разумеется, относился к воинской картине, но одновременно, благодаря нейтральности упоминания и отсутствию явных воинских признаков, вошел и в картину утра, находясь на периферии этого образа в качестве добавочной, «тихой» детали.

Мирное преображение коня повторилось в последующем эпизоде — ночном испытании примет князем. Ночь изображена исключительно уютной: «Бысть же въ ту ночь теплота велика, и тихо велми, и мрази роснии явишася» (40). Автор в связи с этим процитировал высказывание якобы из пророческих книг: «Нощь не светла неверным, а верным просвещена» — то есть косвенно указал еще на одну реальную особенность ночи, не только теплой, тихой, росистой, но и светлой. Конь снова был упомянут: когда «заря померкла, нощи глубоце суши», один из персонажей, выехав в поле, «сниде с коня». Конь не связывался со зловещими или жалостливыми приметами, которые исходили издалека, на пределе зрения и слуха наблюдавших, а входил в картину идеально мягкой и обволакивающей ночи как дополнительная мирная деталь.

Далее в повести, в эпизоде выезда к месту битвы, когда русские воины принялись «рано утре... подвизатися на кони своа» (40) и «великому же князю преседающу на избранный конь» (41), кони со всадниками словно растворились в тумане, что и отметил автор: «Въсходящу солнцу, мгляну утру сущу... Плъки же еще не видятя, зане же утро мгляно» (41) — картина опять смягченная, изображено нежное утро, продолжившее уютность ночи; во всяком случае, «мгляность» не толковалась отрицательно автором «Сказания» (в противоположность так называемой пространной летописной повести о Куликовской битве, по которой туман в то утро выглядел зловещим: «Бысть тма велика по всей земли: мгляне бо было беаше того от утра» — 20). Кони в «Сказании» опять связывались с покоем, умиротворенностью природы, а тяжкие предзнаменования, о которых говорилось дальше («реки же выступаху из местъ своихъ» и пр.), коней не касались.

Конь связывался с хорошей погодой и мирной природой в таких эпизодах «Сказания», где этого не приходилось ожидать, — в повествовании о самой битве: «На том бо поле... выступали кровавыа зари, а в них трепеталися силнии мльниа... люди, аки древа дубравнаа, клонятя на землю... небо разврѣсто, из него же изыде облакъ, яко багрянаа заря... дрѣжашесе низко... и опустишася над плѣком» (43—44) — все это символы ожесточенной битвы, но параллельно и реалии, составляющие картину грозной, потрясенной и взбаламученной природы. Кони, упоминавшиеся здесь («и удари всякъ въинѣ по своему коню» — 43), участвовали

в свалке битвы и в вихре природы. В картине наметились три уровня. Верхний: разыгравшиеся небеса, зори, молнии, облака; средний: дубравные, мечущиеся кони; нижний: гибнущие под конями люди («под коньскими ногами издыхаху» — 43, падали «под коньскыа копыта», даже «самого же великого князя, с коня его збиша» — 44). Это не значит, что связь «кони — мирная природа» прервалась у автора — ведь описывал он именно нарушения, отклонения от нормального мира: «Яко не мощно бе сего гръкаго часа зрети никако же» (43—44). А что «мощно зрети», что не «гръко»? Естественный, не вызывающий горечи порядок вещей автор подразумевал следующим: нормально, когда зори не кровавые, да еще с молниями, а ясные и спокойные; нормально, когда небо не разверсто, а образует ровный свод; нормально, когда облака не багряные, да еще низкие, а белые и высокие; нормально, когда дубрава не клонится, а стоит стройно; нормально, наконец, когда всадники находятся на конях, а не под копытами. В подразумеваемой автором нормальной картине все трафаретно; непривычна лишь прибавка коней, которые все-таки связывались у автора именно с покоем, тихой погодой, прекрасной природой.

Подобная же скрытая связь повторялась и в заключительном рассказе о тяготах битвы: «сечаху... аки лес клоняху, аки трава от косы постилается... изрываху, аки овчье стадо кони их утомишася» (45). Естественным, не тягостным состоянием подразумевалось то, когда лес не клонится, а стоит ровно; когда трава не постилается, а тянется вверх; когда овчье стадо не разгоняемо, а цело; когда кони не утомлены, а бодры, — это картина мирной природы, в которую включены и кони.

И далее, при подведении итогов закончившейся битвы: «грозно, братие, зрети тогда, а жалостно видети и горько посмотри... а трупу чловечья — аки сенныа громады; борзь конь не можѣт скочити, а в крови по колени бродяху, а реки по три дни кровию течаху» (45). А что же представлялось автору не грозным, не «жалостным» и не горьким, на что ему было смотреть приятно? — На мирный пейзаж: на стога сена, на чистые реки, на беспрепятственно скачущего коня. Место коню — в идиллическом мире природы, — опять та же связь.

Но вот воины, снедаемые беспокойством, ищут пропавшего великого князя — и находят: «уклонишася в дуброву... и наехаша великого князя бита, и язвена вельми, и трудна, отдыхаючи ему под сению ссечена древа березова» (45), — картина, редчайшая для древнерусской литературы, лишенная воинской героики и содержащая мотив обессиленного отдохновения человека, его оцепенения вместе с природой: в дуброве (она названа и «дебрю» — 44) упала ссеченная береза, лежит в ее тени контуженный князь (в Киприановской редакции добавлено: «Под ветми лежаше, аки мрътв» — 67). Сразу следуют упоминания коней, хотя упоминать их было не обязательно: «И видеша его и, спадше с коней... и приведоша ему конь». Природа смиренна, смиренны люди и смиренны

кони (недаром добавлено: «И приведоша великому князю конь кроток» — Печатный вариант Основной редакции, 124) — кони опять связывались с покоем, пусть и болезненным.

Конечно, в «Сказании» встречались эпизоды, где конь упоминался только с ратью, входил в воинскую картину, например: «И вседе на избранный свой конь, и вземъ копие свое и палицу железную, и подвижесе ис полку» — о природе ничего не сказано (42). Но такие случаи единичны. В подавляющем большинстве эпизодов кони связывались у автора с тихостью, с хорошей погодой, с приятным ландшафтом, с отдохновением от напряжения, с мирной или смиренной природой. Связь «конь — мирная природа» пронизала все «Сказание», хотя конь оставался боевым и не становился «сельскохозяйственным» орудием.

Автор «Сказания» не мог перенять анималистическую манеру из «Задонщины», а тем более из «Слова о полку Игореве», которые не связывали коней со спокойной природой. Однако нечто похожее на мирных коней «Сказания» существовало в фольклоре, например, в былинах, где не раз упоминались кони во зеленых тихих заводях («Алеша Попович», «Михайла Казаринов», «Потук Михайла Иванович», «Царь Саул Леванидович» — перечисляем былины, как они следуют в сборнике Кириши Данилова. Ср. также былины «Илья Муромец и Сокольник», «Сухман» и др.). Конь упоминался и у березы «покляпяя» (в былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник»). Связь коней с тихой природой в «Сказании о Мамаевом побоище», вероятно, была навеяна поэтикой устных преданий. Странного тут нет: исследователи отмечали в «Сказании» и многие другие фольклорные мотивы¹⁰. Автор проявил себя как памятный, переимчивый, достигающий художественного эффекта компилятор.

В эстетическую заслугу автору «Сказания» можно вменить то, что в письменности он одним из первых подключил коня (со всадником) к идиллической картине природы. В литературе XV в. аналогий этому не подыскивается. Лишь с конца XV — начала XVI в. конь появился в идиллической обстановке, — например, в «Повести о Тимофее Владимировском», где герой и его конь действовали в покойном и умирительном месте: «Идущу же ему чистым и великимъ полемъ... едущу же ему на коне своемъ... и пояше умило красный стих любимый пресвятеи Богородице: „О тебе радуется, обрадованная, всякая тварь“» (60) — здесь каждая деталь украшала и успокаивала, здесь герой «свое сердце во умиление положи» и «спа до утра на траве» (60, 62). Затем конь стал

¹⁰ Ср., например: *Адриакова-Перетц В. П.* Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974, с. 56; *Путилов Б. Н.* Куликовская битва в фольклоре // ТОДРЛ, т. 17, с. 115—128; *Азбелев С. Н.* Об устных источниках летописных текстов (на материале Куликовского цикла) // Летописи и хроники: 1976. М., 1976, с. 98—101; *Дмитриев Л. А.* Сказание о Мамаевом побоище // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989, вып. 2, ч. 2, с. 379—380.

являться в светлых, благостных видениях. Например, в «Степенной книге» рассказывалось о том, что в 1491 г. Александр Невский привиделся «на кони... яздыща» в облаке, а «облак легкий протяжашеся или, яко дымъ тонокъ, изливаясь, белостию же яко иней чистъ, светлостию же, яко солнцу подобообразно, блещася» (569). В сиянии предстал конь в рассказе о явлении Николы Мирликийского в 1559 г.: «Светлый онъ мужъ, на кони ездя... вниде на кони въ церковь. И въ церкви тако же светъ велий явися» (672). К началу XVII в. конь занял постоянное место в красивых, цветных, почти лубочных пейзажах повестей о Бове и о Еруслане Лазаревиче.

Итак, в «Сказании» было изображено два мира животных: один — героический, а другой — идиллический. Но возьмем почти любой эпизод, например, сцены начала похода: здесь одновременно и бок о бок действовали и героически неукротимые соколы со стадами лебедиными и гусяными, и комфортные кони, овеваемые «ветрецом» и озаряемые тихим утренним солнцем. Миры легко и пестро сочетались в «Сказании», не порождая принципиально нового целого, потому что автор всюду основывался на одинаковом принципе, высококвалифицированном по тем временам, — на игре формулами и шаблонами, на эклектическом эффекте украшенности¹¹. Почти каждый эпизод он насыщал небывалым множеством традиционных деталей, книжных и фольклорных.

Почти каждый эпизод в «Сказании» сопровождался неоднократными замечаниями о том, как все это «видети», «зрети» или «посмотрити» — и персонажам, и авторам, и читателям: «въехавъ на высоко место и увидевъ» (39), «на висоце месте стоя, видети» (40), «выехав на высоко место... зряй» (43), «особъ стояти и нас смотрити» (42), «и видети добре» (41), «видиши ли что, княже? — ...Вижу» (40) и т. д. и т. п. В древнерусских памятниках учащение упоминаний о зрении и смотре-нии всегда было связано с усилением изобразительности повествования. Автор «Сказания» тоже склонялся к усилению зримости картин, но делал он это, оставаясь энергичным и тонким книжником-компилятором, однако без привлечения деталей, им лично наблюденных. Творчество этого автора знаменовало собой напряжение старой манеры описаний, но еще без открытия манеры новой.

1992 г.

¹¹ Ср.: Колесов В. В. Стилистическая функция лексических вариантов в Сказании о Мамаевом побоище // ТОДРЛ, т. 34, с. 33—48. В. А. Кучкин видит в «Сказании» «творчество умного человека» (устное высказывание исследователя на обсуждении моего доклада в ИМЛИ в 1989 г.). Ср.: «Отдельные элементы старой формы используются в новом произведении как своего рода украшения» (Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 1, с. 464); «оставаясь эстетически неполноценным, эклектизм тем не менее в историческом может развивать в себе элементы будущего искусства» (Там же. Л., 1987, т. 3, с. 448).

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ПОВЕСТЕЙ О СМУТЕ И АЗОВЕ

В течение XVI в. русская литература проявила невнимание к изображению животных, лишь человеческое общество находилось в центре прямолинейного взгляда писателей. Новации во многовековой литературной анималистической традиции и авторских настроениях появились лишь с начала XVII в. — в сочиненной не ранее 1613 г. небольшой «Повести о некоей брани», автор которой, некто Евстратий, кажется, служащий Посольского приказа, был не чужд новомодным литературным упражнениям¹. Евстратий описал виденное им гигантское небесное знамение — облака в виде животных: «Зрю льва, зверя зело превелика» и «змия прелюта и прегорда», «а окрест льва великаго — множество зверей различными образы, змия же прелютаго окрест — множество змий малых» (158)². Этот образ, традиционный по составу животных, все же действительно «пречюден». Сила и напор злобной рати ослаблены. Лев и змий действуют не совместно, как это всегда было во множестве предыдущих памятников, а нейтрализуют друг друга противоборством: «хочет яко един единаго восхитити и растерзати». Необычная нерешительность охватила этих агрессивных животных, «стоящих неподвижно» и не нападающих. Их ярость вдруг исчезает и угрожающие позы деформируются. Вопреки логике ожидающейся битвы фигура змея стала расползаться и переворачиваться, а фигура льва — проседать: «змий опружишася выпсрь ногами... Лев же припаде на чрево свое».

Описание животных в «Повести о некоей брани» содержало еще один оттенок: грозные звери представляли собой бессильную, тающую оболочку, которая «нача помалу исчезати... и нача помалу убывати»

¹ См.: Белоброва О. А. К изучению «Повести о некоей брани» // ТОДРЛ, т. 25, с. 154.

² Цитируемые произведения: «Баснословие Езопа» — ПЛДР, т. 11 / Текст памятника подгот. Р. Б. Тарковский; «Житие Иринарха» — РИБ, т. 13; «Новая повесть о преславном Российском царстве» — ПЛДР, т. 9 / Текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова; «Писание о преставлении и о погребении Михаила Скопина-Шуйского» — РИБ, т. 13; «Повесть известно сказуема на память Димитрия» Семена Шаховского — РИБ, т. 13; «Повесть о некоей брани» Евстратия — Белоброва О. А. К изучению «Повести некоей брани» // ТОДРЛ; «Повесть о некоем мнисе» Семена Шаховского — РИБ, т. 13; «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» — ПЛДР, т. 10 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; «Сказание» Авраамия Палицына — Сказание Авраамия Палицына / Изд. подгот. О. А. Державина и Е. В. Колосова. М.; Л., 1955; «Сказание» о Гришке Отрепьеве — РИБ, т. 13; «Хронограф» 1617 г. — РИБ, т. 13.

(158); от зверей ничего не осталось — «ни один не видим бысть... и облака паки устраишася во своем естестве».

Появление новых литературных мотивов было связано с появлением нового авторского мироощущения: Евстратий не хотел вдаваться в тягостные переживания. Изложение в «Повести», предшествующее эпизоду о знамении, тоже велось Евстратием в «легкой» манере. Несчастья Смуты изображены традиционно: враги по России «устремишася, яко неутолима ехидна, и яко змии прелютии, яко злии волцы» (156) и т. д.; но несчастья не давят, а представляются почти невесомыми, как тонкий слой воды, как пыль, как сухие листья и колосья: «И разлишася, яко вода, и разсыпашася, яко прах, по Расийскому царствию... и земля трупием мертвых, яко древием и листвием, покрывашеся, и главы, яко класие, по земли валяхуся» (156—157). Рассказ о знамении Евстратий завершил оптимистическим благодарением и бодрой молитвой к Богу: «по слезах и плачи радость и веселие изливаеши» (160). Повествование Евстратия напоминает нарядное, мелкое и невесомое письмо икон строгановской школы начала XVII в. Настроенность Евстратия оказалась неожиданно легкой, скользкой, поверхностной.

Свою «Повесть» Евстратий написал лет через пять после виденного знамения, когда к концу Смуты уже изменилась к лучшему общественная обстановка. Вероятно, этим объясняется, так сказать, сангвиническое уклонение Евстратия от трагической трактовки темы. Недаром один из исследователей «Повести» отметил: «Мне кажется вполне возможным, что... автору „Повести о некоей брани“... решил искать „тихого пристанища“ в какой-нибудь из тогдашних обителей»³.

Целый ряд произведений начала и даже первой половины XVII в. использовал новый анималистический мотив ослабления и усмирения диких животных, бывших в литературе неудержимо агрессивными. Уже в переводном 1607 г. «Баснословии Езопа» лев зачастую предстал спокойным или больным, старым, потерявшим силы, так что его уже не боялись; волка обманывали, либо он болел, а то с него живого сдирали шкуру; орла подстреливали, а орлята спекались в огне; ворон болел и погибал (27, 29, 34, 40, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54); «змей многими мужьми попираемъ» (49) и т. д. и т. п. Конечно, эти звери проявляли и свою злобность, но в редких случаях и не настойчиво.

В «Новой повести о преславном Российском царстве» 1611 г. бесящиеся звери были придержаны: «И аки прехрабрый воин лютаго, и свирепаго, и неукротимаго жребца, ревущего на мску, браздами челюсти его удерживаетъ, и все тело его к себе обращаетъ, и воли ему не подасть» (34). И еще: «аки змей дыша или аки левъ рыкая», однако уже присмирив — «стули лице свое» и лишь «дышитъ и сипитъ, аки скоропия» (42).

Назаревский А. А. Очерки из области исторической повести начала XVII века. Киев, 1958, с. 149—150.

В другой повести — «Писании о преставлении и о погребении Михаила Скопина-Шуйского» 1612 г. — в сравнениях, употребленных в тексте, промелькнул мотив зажатого и страдающего дикого животного: «Уловити, аки въ лесе птицу подобну, аky рысь, изжарити» (1331), «мечущаяся, и биющаяся, и стонуще, и кричаще люто зело, аky зверь подъ землею» (1335).

В произведениях, составленных после «Повести о некоей брани», литературный мотив ослабленности диких зверей повторялся. Например, в «Хронографе» 1617 г. среди множества традиционных упоминаний агрессивных животных нашлось место растерянному «орлу бесперу и не имущу клюва и ногтей» (1303). Изображение усмирённых диких животных дополнилось мотивом исчезновения носителей злобности (в «Житии Иринарха» те «ово волцы, ово медведи», которые «зубы скрегчюще», вдруг «исчезаху и безъ вести погибаху» — 1358), мотивом мирного проникновения диких животных в мир людей (в 6-й главе «Сказания» Авраамия Палицына «медведи, и волцы, и лисицы, и зайцы на градскаяа пространнаа места прешедше... И звери и птица малыя в главах, и в чревех, и в трупех человеческих гнезда соделаשא» — 122⁴), мотивом сосуществования агрессивных животных с мирными (в «Сказании о Гришке Отрепьеве» соседствовали как бы в едином стаде «лвы рыкающе» и «серны скачюще» — 749).

Новое мироощущение усилилось в литературе в 1630—1640-е годы. Неиссякаемой «сангвиничностью» отличился Семен Шаховской в его повестях — о царевиче Димитрии («Повесть известно сказуема» на память Димитрия) и о Григории Отрепьеве («Повесть о некоем мнисе»). В начале «Повести известно сказуемой» С. И. Шаховской переписал самый длинный рассказ о мирной жизни отшельников в «пустыни», взяв его, с несколькими мелкими сокращениями и изменениями, из послания Илариона Великого «к некоему брату» и «наказания ко отрешившимся мира», напечатанного в «Потребнике иноческом»⁵. Значит, «Повесть известно сказуема» была составлена С. И. Шаховским не ранее 1639 г., и послание Илариона Великого отвечало настроенности С. И. Шаховского.

Какова эта настроенность? В Послании Илариона, а затем у С. И. Шаховского изображен окружающий отшельников мир животных и природы. Животные не то чтобы усталые, но совершенно тихие. Они по-ярусно заселили «горы высокия» и совершенно не мешают друг другу: ласточки — «на версехъ горъ», олени — на их среднем ярусе, а зайцы, — скорее всего, в нижней, подошвенной части гор, ближе к скоро текущим источникам (839), птицы же — всюду «кояждо свою песнь воспеваю-

⁴ Первая часть «Сказания» была написана и затем отредактирована Авраамием Палицыным в конце 1618 — начале 1620 гг. См.: *Солодкин Я. Г.* О датировке начальных глав «Истории» Авраамия Палицына // ТОДРЛ, т. 32, с. 290—304.

⁵ Потребник иноческий. М., 1639, л. 380 об. — 383.

ще» (840). Агрессивные звери отсутствуют, а все мирные животные пребывают в покое: ласточки — «вогнездившеся», олени — «былиемъ пустыннымъ доволие утробы своея имяху», зайцы — «въ камени прибежище творяху». Вся природа отдыхает «на ветре, тихо веющемъ», «токмо... древесное двизание, ветвей шумение, источникъ звонениемъ, птиц пение» (840). Стоит такая тишина, что источники, когда местами они скоро текут, то «звонениемъ страшнымъ оглашахуся» (839—840). Любопытно, что в тексте Илариона тишина не подчеркнута: «звонениемъ сладкимъ уши оглашаху» — 381). Ничего не меняется в том мире: проходят «дние, яко степени», и каждый раз идиллическую картину «утро же паки осветше» (841). На этих горах и холмах можно разглядеть отшельников, неслышных (они «безмолвия же возлюбиа» и лишь «шептаху» молитвы — 839), убогаторенных (они «напивающесе... прохлажахуся... и куци на холмех подкнуша» — 840, 841), неспешно передвигающихся (они «горы... обхожаху... сходяху... восходяще же...» — 839, 840), осторожно жестикулирующих (они «дело въ рукахъ держаще... руце и очи... возводяще... руки къ Вышнему воздеваху» — 839, 840, 841) и остающихся в полном одиночестве (они «избежавше отъ мира... мира отшедша... избежаша отъ человекъ... едини» и т. д. — 840, 841). Реально действующих животных в «пустыни» тоже нет: животные упомянуты лишь в сравнениях. Беспечальный мир: отшельники «ни оплетаеми житейскими печалми... не бе имъ печали, избежаша бо печали» и т. д. (840).

Судя по такому вступлению к повести, С. И. Шаховской очень хотел душевного покоя: чтобы не видеть «всего окаянства», «сохранити умъ, не врежень от суеты века сего, и душу чисту» (840). Недаром отшельники «не слышаху клопота, ни игранья... граднаго мятежа и народнаго клича... блудницъ скверныя песни, не видеша землю на землю на сечю сошедшуса, ни видиша крови проливаемы» и пр. (840) — того мятежного мира, где пребывал сам С. И. Шаховской.

Но любование беспечальным миром отшельников не помешало С. И. Шаховскому переписать указания на нечто противоположное у них: «Не бяше кто печали отлагая имъ» (841). Отшельники физически несчастны: они «всеми образы тело свое оскорбиша... быша алчни и жадни... слезни, поникли, дряхли, умилени... не умовенни ... нищи, нази» и пр. (841). Некому им помочь, обслужить, поухаживать: «Кто бо темъ воды на руце возлия? Кто обувение подаде? Кто пойла, кто брашно различно устрой? Кто чехъ въ болезнехъ посети?» и т. д. (841—842). Неприятно без удобств мира сего. По-видимому, С.И. Шаховской не собирався отвергнуть «покой и веселие мирское... имения и славу» (841). Хотя он и искал «покоя» и ему нужна была «утеха и отрада» (842), однако чересчур тягостные вещи он не принимал.

В тексте собственно «Повести известно сказуемы» С.И. Шаховской постоянно выражал свою настроенность на физическое и душев-

ное успокоение и убаготворение. Еще до рассказа об отшельниках, в самом начале повести, он использовал серию сравнений из области благополучного питания и лечения человека: «И приемемъ... яко же пища, греючи тело... яко же всегдашнее напоение новосажденному древеси... яко же некий добръ пластырь недужныма очима... и брежемся» (838). И после рассказа об отшельниках С. И. Шаховской продолжал использовать те же сравнения и метафоры: «трапезы останокъ крупиць, взявше, насладитися... Не возможно бо есть язву сквозе ризу лековати» (846), «яко врачъ бо, а не судия» (849).

С. И. Шаховской, в сущности, призывал людей не слишком ущемлять себя: даже монахи — пусть себя не истомляют, хотя и ограничивают в жизненных радостях («сонъ умеренъ... брашномъ маломъ питаюся, а не чревообъядениемъ, отъ многословия соблюдениемъ...» — 842); мирское богатство богатым вовсе не вредит («въ богатстве и во обилии живуца, обаче не повреди ихъ ничто же мирское попечение» — 843); простым людям вполне естественно заботиться сначала о себе, а потом уж о политике («не прилежать уже къ тому пещися... но каждо о своихъ домашнихъ скорбехъ помышляше», «людие о своихъ напастехъ имели попечение» — 853); и вообще — если что-то делать, то только посильно (не впадать в «неистовство, но везде тщатися, яже отъ себе самехъ вносити по силе нашей» — 856); хуже всего «отложивше велемудренный свой и многоразсудный разумъ» превратиться в безудержного «тлетворного льва» (857). Всюду в «Повести известно сказуеме» С. И. Шаховской исповедывал стремление к комфорту.

В «Повести о некоем мнисе», непосредственном продолжении «Повести известно сказуемы», С. И. Шаховской не отступил от своей душевной приверженности к умеренному благополучию. У него «окаянным» назван тот, кто «многу ненависть и рвение воздвизаетъ» (865—866). С. И. Шаховскому нравилась судьба птицы феникс, которая «сама едина во своемъ гнезде пребываетъ» (этого комфортного мотива в «Физиологе» нет) и умеет восстанавливать свое здоровье и довольство: «того же нрава и естество тожде имать, яко и первие» (868). С. И. Шаховской с оттенком душевной легкости вспоминал о несчастьях Смуты (как Евстратий в «Повести о некоей брани»): враги не подавляют, они всего лишь невесомо «разсыпашася по всей земли Рустей, яко птица по воздуху» (868); убиенный царевич, оказывается, не сломлен — он «отъ земля возлете, крыле имуще обагрены кровию» (872, 874). Принцип «сангвинического» отношения к миру и к людям был даже сформулирован С. И. Шаховским: пусть каждый «въ покое будетъ», пусть «не прикоснетца ихъ мука»; те, кто «вмале наказани быша, и великая восприимуть» (868). Недаром, составляя сборник своих сочинений, С. И. Шаховской включил обе повести в раздел именно «праздников» («Повесть преславно сказуема» о пренесении ризы Христовой; «Слово похваль-

ное» на память митрополитам Петру, Алексию и Ионе; «Повесть известно сказуема на память Димитрия» и пр.)⁶.

По жизнерадостной настроенности авторов к повестям Евстратия и Семена Шаховского примыкает «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков», написанная, возможно, войсковым подъячим Федором Порошиным в 1641—1642 гг.⁷ В повести встречался литературный мотив усталого, ослабевшего животного, но совсем в ином значении. Это турки стращали казаков: «Не перелетитъ черезъ силу нашу турецкую никакова птица парящая: от страху людей ево и от множества сил наших валитца с высоты на землю» (142—143). Именно турки внушали казакам ощущение утомления и безысходности: «Несытые ваши очи, неполное ваше чрево — николи не наполнится... аки волцы гладные... конца в немъ своего дожидаетесь... к вам не будет русскихъ помощи и выручки» и т. д. (141—143). Однако настроение самого автора повести являлось совершенно иным, по существу, противоположным. Мотивы обессиливающего уныния отсутствовали в авторском повествовании. Хотя казаки однажды и жалуются на истому, изнеможение и бессилие, но только в молитве Николе-чудотворцу (150—151). Речи же казаков к туркам и рассказы автора были полны энергии. Восприятие казаков ничуть не притупилось. Казаки видят свой мир природы свежим, действующим, ярким, цветным и с удовольствием показывают его туркам: «Давно у насъ в полях наших летаючи, а васъ ожидаючи, хлещут орлы сизые и грають вороны черные, подле Дону у нас всегда брешутъ лисицы бурые» (144—145). В данной фразе, заимствованной, как известно, из «Сказания о Мамаевом побоище», были усилены указания на цветность животных и на неиссякаемость их деятельности. Изображение врагов в повести тоже приобрело насыщенную и контрастную цветность: в начале повести турки предстают в контрасте темного и белого — «что великия непроходимыя леса темные», а шатры их «яко горы страшны забелилися» (140); затем автор отмечает, что знамена их черные, а остальное «все у них огненно» — доспехи «яко зоря кажется», «фитили у них... что свечи горять» и пр. (141); потом автор расцветчивает и их знамена: «Знамена их зацвели на поле и прапоры какъ есть по полю цветы многая» (147). Автор вовсе не любовался врагами, но запомнил в красках и блистании этот мир, этот, по выражению казаков, «пресветлой светъ здешной» (146).

⁶ См. описание сборника РГБ, собрание Троице-Сергиево, № 213: *Леонид*. Сведение о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища Св. Троицкой Сергиевой лавры в библиотеку Троицкой Духовной Семинарии в 1747 г. М., 1887, вып. 2, с. 244—251.

⁷ Атрибуцию повести см.: *Робинсон А. Н.* Вопросы авторства и датировки поэтической повести об Азове // Доклады и сообщения филологического факультета МГУ. М., 1948, вып. 5, с. 65—70.

Все три автора — Евстратий, Семен Шаховской, Федор Порошин — участвовали в тяжких военных событиях, то есть являлись ветеранами в той или иной степени. Они выстояли! Этим объясняется общее для их личностей стойкое жизнеутверждающее мироотношение.

1993 г.

«ЖИТИЕ» АВВАКУМА

1. НАБЛЮДЕНИЯ НАД ПЕЙЗАЖЕМ В «ЖИТИИ» ПРОТОПОПА АВВАКУМА

Сибирские пейзажи¹ Аввакума неизменно привлекают внимание со времени открытия «Жития». О них писали почти все исследователи этого произведения, какова бы ни была их главная тема. Природа у Аввакума, несомненно, заслуживает пристального рассмотрения. Однако еще рано говорить о всестороннем исследовании пейзажей даже одного древнерусского писателя. Задача оказывается очень широкой: и потому, что изображение природы тесно связано с изображением интерьера, города и вообще мира, окружающего человека; и потому, что возникают вопросы специфические, не характерные для проблемы изображения только человека. Специфическим вопросом изучения является, например, изображение пространства и перспективы. В искусствоведении этот вопрос изучен больше, чем в литературоведении². В литературоведении же он, пожалуй, только поставлен. Ясно, что необходимы наблюдения пока над какими-то отдельными сторонами пейзажей Аввакума. В данной статье мы скажем об одной из них — о том, как Аввакуму удается создать впечатление громадного пространства, хотя он описывает только часть берега Ангары и Байкала.

Как ни странно, но, когда «огнепальный» протопоп начинает описывать природу, его рассказ превращается в перечень. Так о природе он пишет всю жизнь, — не только в «Житии», но и в других сочинениях, написанных и до, и после «Жития»³. Своеобразие Аввакума, как известно, многим обязано стилю деловой письменности. И на этот раз он, несомненно, использует выразительные возможности предметных перечней. Перечни как литературное средство — интересная тема специального исследования. Главным образом благодаря им аввакумовские пейзажи, интерьер, описания обстановки в определенной степени становятся объемными.

Под пейзажем мы понимаем изображение какой-либо местности, имеющее относительно самостоятельную эстетическую ценность.

² Из новейших работ см., например: *Жегин Л. Ф.* Некоторые пространственные формы в древнерусской живописи // *Древнерусское искусство: XVII в. М., 1964*, с. 175—214.

³ Наиболее крупные описания природы в сочинениях Аввакума см.: «Житие» — РИБ, т. 39, стб. 22, 42, 46, 232—233; «Книга бесед» — Там же, стб. 286; «Книга обличений» — Там же, стб. 593; «Книга толкований» — Там же, стб. 524; «О сотворении мира» — Там же, стб. 666—667; послание Симеону, Ксении Ивановне и Александре Григорьевне — *Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960*, с. 266, 268, 271—272.

Нетрудно заметить, что природу Аввакум описывает строго по частям ландшафта («ландшафт» в широком смысле слова). По частям ландшафта группируются перечни. Не перемешиваясь, отдельно перечисляются разные звери, отдельно растения, отдельно птицы, отдельно рыбы, отдельно виды скал и т. д. Природа у Аввакума расчленена так, что, казалось бы, цельная ее картина невозможна. Однако перечни — особый способ описания. В них больше подразумевается, чем вводится в изложение. Когда Аввакум пишет, например, что на горах у Ангары «гуляют звери многие дикие: козы и олени, и (и)зубри, и лоси, и кабаны, вольки, бараны дикие, — во очию нашу; а взять нельзя» (22), то прежде всего подразумевается одновременность существования всех зверей в одном месте. За каждым элементом перечня в данном случае за каждым зверем — предполагается какой-то «минимум» пространства, довольно большой, так как Аввакум описывает не Ноев ковчег, переполненный животными, а мир, свободно ими населенный. Части ландшафта составляются из пространственных единиц. Чем больше перечень, тем шире кажется пространство⁴.

Пространственный эффект перечней замечается в «Житии» и в описаниях интерьера, если даже говорится о совершенно темной «полатке», вкопанной в землю, куда бросили Аввакума. Достаточно Аввакуму сказать, что никто к нему не приходил, «токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно» (16), и уже можно представить пол и стены темницы и узника в ней.

Природу Аввакум представляет обозреваемой как бы с вершины некоего конуса. Объем подобного конуса может увеличиваться почти до бесконечности, и в этом одна из особенностей Аввакума. Ощущение высоты конуса создается в описании наложении ландшафтных групп разного пространственного уровня — от рыб в озере и комаров над болотом до птиц, парящих над горами. В самой вершине конуса находится, разумеется, Бог. Недаром все пейзажи Аввакума заканчиваются напоминаниями о Боге, «призирающем» сверху на мир⁵. Основание конуса, — поверхность обозреваемого мира, — расширяется тоже почти беспредельно, так как Аввакум постоянно напоминает, что представленная картина является только частью тех 20 тысяч верст, которые он «волочился», лишь частью земли вообще, только частью всей «бездны» мира. Каждое описание природы служит поводом к генерализации и заключается выводом — всегда с обобщающим словом «все» — о всей природе в целом: «А все то у Христа-тово-света наделано для человеков...», «Вся бо та увиди и настрой благий Божия нас ради человек...» и т. п.

⁴ Нельзя ли провести параллель между пространственной функцией системы перечней в литературе и ролью системы планов, кулис в изобразительном искусстве XVI—XVII вв.?

⁵ Ср. изображение Бога и ангелов в верхнем углу икон и миниатюр, особенно распространившееся в XVII в.

Аввакум словно ясно видит перед собой ту или иную местность, но «боковым зрением» охватывает всю природу (42)⁶.

Впечатление громадности пространства поддерживается еще тем, что в сибирские пейзажи Аввакума вписан человек. Фигурка его кажется очень маленькой. Окружающие его детали ландшафта, даже самые мелкие, предстают увеличенными: луковицы растений необычно большие, рыбы невиданно крупные, лед чрезвычайно толстый и т. д. Человек ставится рядом с колоссальным каменным утесом или великой горой льда. Он находится как бы в середине громадного пространства, иногда под сияющим звездами небом, и сравнивается с червем, с угасающей искрой... В сибирских пейзажах два Аввакума: один — крупным планом, рядом с пейзажем; другой, миниатюрный, в самом пейзаже, затерянный в дебрях непроходимых⁷.

Однако благодаря второму, «маленькому» Аввакуму в описания природы вносятся разрозненные элементы перспективы. Он показан всматривающимся в те или иные детали. Небольшое сравнение — и деталь подмечена в перспективном удалении, когда подробности красок и форм сливаются: «утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову», «птиц зело много, гусей и лебедей, — по морю, яко снег, — плавают» (22, 42). Животные группируются в перечнях Аввакума не столько по степени промысловой ценности или распространенности, сколько по приблизительному сходству издали: гуси с утками, вороны с галками, пеликаны с лебедями, осетры с тайменями и стерлядями, а омули с сигами, козы с оленями, изюбрями и лосями, кабаны с волками и баранами и пр. Видение мира в перспективе оказывает влияние на композицию рассказа.

Особенно заметно такое влияние, когда части ландшафтов Аввакум перечисляет в той последовательности, в какой он мог их видеть. Рассказывая об ангарской природе, Аввакум сначала описывает горы, прежде всего бросающиеся в глаза человеку, высаженному на берег. Затем перечисляются животные в том порядке, в каком могут быть замечены «бредущим» человеком: змеи, потом пролетающие птицы и в конце рассказа звери, не заметные сразу, прячущиеся в лесу.

В байкальском пейзаже описание делает «петлю» вместе с путешественником, который с берега Байкала поднялся на гору и, обозрев окрестности, вернулся к озеру, к виденной издали снежной пелене птиц. При этом то, что Аввакум видел на горах, тоже перечисляется именно в том порядке, в каком можно рассмотреть причудливые каменные россыпи, постепенно приближаясь к ним и входя через «врата» во «двор»: ка-

⁶ Ср. «установку на всеохват» в изображении природы на фресках и иконах XVII в., когда художник «хочет показать сразу все» (*Михайловский Б. В., Пуришев Б. И.* Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV до начала XVIII в. М.; Л., 1941, с. 120).

⁷ Ср. подобное явление на одноличных иконах святых XVII в.

менные «полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и двory», и травы во «дворах» (42).

Элементы перспективы и косвенного ее отражения встречаются только в сибирских пейзажах Аввакума, очевидцем которых он был. Из «библейских» пейзажей лишь в изображении Вавилона, явной параллели Боровска («но Бог дал дома Вавилон, в Боровске пещь халдейская» — 286), можно отметить отражение точки зрения приближающегося наблюдателя. Видны сначала «верхи» теремов и палат, затем городские стены и «преграды», потом мощные пути, затем наблюдатель видит сады и зверей в садах и, наконец, вдыхает благоухание садовых цветов и трав.

Таким образом, в пейзажах Аввакума выражаются два принципа изображения пространства. Главенствует принцип «божественного» конуса, расширяющегося откуда-то с небес на землю. В этом проявляется религиозное мировоззрение Аввакума. Но одновременно в «Житии» формируется выражение другого конуса, «земного», — конуса реальной перспективы от «взирающего» человека. Аввакум, очевидно, не стремился изображать пространство по какому-либо одному принципу. Для него был важен конечный результат — передать впечатление громадности, необъятности сибирской природы.

Однако громадность пространства у Аввакума не самоцель, а важная сторона, но все-таки одна из сторон изображения природы величественной. Природа у Аввакума величественна своей независимостью от человека и противоречивостью сторон. Разбор этого — особая тема. Ограничимся лишь одним примером. Особенность сибирских пейзажей заключается в том, что они не однотонны, природа в них не только «хорошая» или «плохая». Человек может быть обласкан ее обилием и «домашностью» и одновременно утрашен ее суровостью. Иногда одна и та же деталь в «Житии» объединяет оба впечатления. Так, каменные россыпи на байкальских горах Аввакум описывает понятиями древнерусского жилища или усадьбы («полатки», «врата», «дворы» и пр.). Упоминания о луке и чесноке, растущем там, как бы напоминают об огороде. Но следующая деталь, казалось бы усиливающая приветливую «домашность» природы, — «травы красныя, и цветныя, и благовоны гораздо», которыми заросли «дворы», — нарушает иллюзию. Дворы, заросшие травой, — символ безлюдья и пустынности — сразу напоминают о том, где Аввакум находится. Сложна по смыслу и следующая деталь — сравнение птиц, плавающих по озеру, со снегом: оно напоминает о белоснежном домашнем выводке на пруду и одновременно о безлюдной заснеженной равнине.

Еще, вероятно, нельзя четко определить место аввакумовских пейзажей в русской литературе и искусстве XVI—XVII вв. Необходимы общая классификация того, как изображали природу в Древней Руси, и обширные источниковедческие разыскания по этой теме. Поэтому наблюдения, излагаемые ниже, в заключение нашей заметки, имеют пред-

варительный характер. Они лишь вводят в новое исследование, без которого невозможна верная оценка Аввакума-пейзажиста.

В русской литературе XVI—XVII вв. можно выделить две темы изображений природы. Одна тема, так сказать, фенологическая, с центром внимания на изображении времен года, времени суток и погоды⁸, причем преимущественно в местах обжитых (например, изображения весны в «Повести» Ивана Катырева-Ростовского и «Есиповской летописи», изображения лета, дня и вечера в стихотворениях Симеона Полоцкого и пр.). Другая тема — ландшафтная, в которую включаются описания рая и земли, только что сотворенной Богом; земель неведомых, населенных неизвестными народами; земель диких, пустынь и вообще безлюдных «дебрей». Конечно, между обеими темами много точек соприкосновения (см., например, описания бурь и гроз над «дебрями» в житиях или сценку осенней ночи в «дебри» из «Повести о начале Москвы»). Пейзажи Аввакума, несомненно, посвящены второй теме.

На эту тему, как, впрочем, и на первую, существует много нелитературных описаний природы, в которых пространство только декларируется, но не изображается. И очень немного описаний, где чувствуется пространство и живые черты природы. Они встречаются довольно часто в житиях и хождениях XVII в., но их еще требуется собрать, особенно по множеству неизданных северных житий XVII в. Предварительные наблюдения показывают, что описания природы в этих жанрах, пожалуй, несравнимы с мощной аввакумовской природой. «Пустыни» и «дебри», страшные и не страшные, описываемые в житиях и хождениях, в общем как-то камерны и опрятны по сравнению с аввакумовскими⁹.

⁸ Известна, например, работа о ряде пейзажей этой темы: *Никольская А. В.* К вопросу о пейзаже в древнерусской литературе. (Несколько описаний весны) // Сборник статей в честь А. И. Соболевского. Л., 1928, с. 433—439.

⁹ Ср., например, изображения небольших «пустынь» в лицевых житиях, «иконописных подлинниках» и пр.: Иоанн Предтеча перед густой зеленой чащей с белым зайчиком, притаившимся у стволов («Сийское евангелие» БАН, собрание Археографической комиссии, № 339, л. 76 об. См. также л. 199, 799, 800); Варлаам в пустыне, напоминающей светлую поляну (*Успенский В., Писарев С.* Лицевое житие преп. Иоасафа, царевича индийского. СПб., 1908, с. 22); Зосима в не очень широкой пустыне (*Покровский Н. В.* Сийский иконописный подлинник. СПб., 1896, вып. 2, с. 103, 104); лесные деревья, окружающие стены монастыря, за которыми стоит Сергей Радонежский, и играющие у стен животные с их замкнуто-круговым движением (*Владимиров М., Георгиевский Г. П.* Древнерусская миниатюра. Academia, 1933, № 79). Иногда в одном и том же сборнике характер «пустыни» может резко меняться. Оставаясь в общем небольшой, пустыня то сумрачно-таинственна, то светла и тиха, то с реалистической передачей разных видов деревьев — хвойных и лиственных, с характерным наклоном их верхушек и ветвей (лицевой сборник житий БАН, 34.3.27, л. 41, 66, 95). В связи с «житийными» пустынями, может быть, не лишне упомянуть многочисленные гравюры, изображающие местности вокруг монастырей.

В результате можно указать лишь на несколько произведений XVI—XVII вв., где описания природы по производимому впечатлению отчасти приближаются к аввакумовским. В их составе при этом важную роль играют перечни. Это описание природы, окружающей усадьбу, в 12-м «Наказании» митрополита Даниила¹⁰, описание пустыни в «Повести о царевице Димитрии» С. И. Шаховского¹¹, описание Сибирской земли в «Строгановской летописи»¹² и описание природы вокруг некоей усадьбы в сатирическом «Сказании о роскошном житии и веселии»¹³. При всем различии пейзажей (кроме описаний Даниила и Шаховского, остальные более плоскостны) у них есть общая черта. Природа описывается для того, чтобы показать, что существует мир, где социальную жизнь людей можно построить заново, лучше прежней. Поучение Даниила зовет человека «прохлажатися» от суеты и разврата, повесть Шаховского — «избежать от печали» и «мятежей» Смуты, «Житие» Аввакума — «упокоиться» от никониан, «Строгановская летопись» — заселить богатый край. «Сказание о роскошном житии и веселии» посмеивается над этой мечтой: нет такой земли, где все готово для сытой и беззаботной жизни каждому, кто бы ни приехал. Таким образом, пейзажи Аввакума не стоят в литературе особняком. Наблюдения над отдельными, частными их элементами вводят в широкий круг эстетических проблем литературы и искусства.

1966 г.

¹⁰ Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. Приложения, с. 25—26.

¹¹ РИБ, т. 13. СПб., 1909, с. 839—842.

¹² Сибирские летописи. СПб., 1907, с. 59—60.

¹³ Русская демократическая сатира XVII в. / Изд. подгот. В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л., 1954, с. 39—42.

Стремление показать мир природы, громадный и беспредельный, можно, по видимому, заметить и в некоторых памятниках русского искусства XVII в. Например, если в первую треть XVII в. пейзаж на иконах «Иоанн Предтеча в пустыне» производит впечатление «лирического отступления» (см.: Федоров-Давыдов А. Из истории древнерусского искусства // Искусство, 1940, № 5, с. 92.), то в последнюю четверть XVII в. за фигурой святого виден бесконечный лес из слившихся «пейзажных» клейм, который обходить можно целую жизнь (см.: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи XI — начала XVIII в. М., 1963, т. 2, с. 472—473. № 997; Древние иконы старообрядческого кафедрального покровского собора при Рогожском кладбище в Москве. М., 1956, с. 117, № 46).

Беличественный пейзаж не «паркового» характера встречается в скромных рисунках пером сборной житийной рукописи конца XVII — начала XVIII в. (БАН, собрание Плюшкина, № 103). Иллюстрировано только «Житие Кирилла Белозерского», причем все пять рисунков посвящены одному и тому же сюжету: явление Богородицы Кириллу, которая указывает на громаздящийся

2. РЕАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ДЕТАЛИ В «ЖИТИИ» ПРОТОПОПА АВВАКУМА

(о «природоведческом» таланте писателя)

Художественные средства древнерусской литературы изучаются, если так можно выразиться, довольно осторожно. До последнего времени исследователи проводили наблюдения преимущественно лишь над устойчивыми формулами и метафорами-символами в литературе древней Руси, да и то работы подобного рода появлялись редко и с большими перерывами. Если, например, устойчивыми литературными сочетаниями занимался до революции А. С. Орлов¹, то лишь полвека спустя к ним снова обратились А. Н. Робинсон², Д. С. Лихачев³, а затем О. В. Творогов⁴. Если в начале 20-х годов древнерусские метафоры и символы исследовал В. В. Виноградов⁵, то лишь через двадцать с лишним лет они вновь стали объектом изучения В. П. Адриановой-Перетц⁶ и еще через десятилетие послужили темой статьи Д. С. Лихачева⁷, включенной затем в его книгу «Поэтика древнерусской литературы»⁸.

лес. В нем, за горами и за озером, будет основан монастырь, который, впрочем, уже виден (л. 174 об., 190, 192, 258, 259 об.). Наиболее удачен третий рисунок, где сплошные лесные купы, перерезаемые по диагоналям цепями овальных крутых гор и видимые как бы далеко сверху, все повторяются и повторяются до верхнего края листа. Создается впечатление громадного лесного массива с сильно повышенным горизонтом, словно нависшим над наблюдателем. Все рисунки вклеены в рукопись и написаны другими чернилами, нежели текст жития. Судя по характеру штриховки гор, куп деревьев и складок одежд, они, возможно, перерисованы с какой-то гравюры (у Д. Ровинского и А. А. Сидорова о такой гравюре не упоминается).

¹ Орлов А. С. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М., 1902.

² Робинсон А. Н. К вопросу о народно-поэтических истоках стиля «воинских» повестей Древней Руси // Основные проблемы эпоса восточных славян: Сборник статей. М., 1958, с. 131—157.

³ Лихачев Д. С. Литературный этикет Древней Руси (к проблеме изучения) // ТОДРЛ, т. 17, с. 5—16.

⁴ Творогов О. В. Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси // ТОДРЛ, т. 20, с. 29—40.

⁵ Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума. // Русская речь: Сборники статей. Пг., 1923, т. 7, с. 217—293.

⁶ Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947.

⁷ Лихачев Д. С. Средневековый символизм в стилистических системах Древней Руси на пути его преодоления. (К постановке вопроса.) // Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию: Сборник статей. М., 1956, с. 165—171.

⁸ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 158—167.

Названная книга Д. С. Лихачева гораздо решительнее прокладывает пути в неизведанную область изучения литературных средств Древней Руси. Д. С. Лихачев привлекает к исследованию и такие художественные средства, которые до сих пор не были известны в науке. Достаточно напомнить открытые им бинарные построения в древнерусской литературе⁹.

Но, конечно, нельзя объять необъятное. И поэтому интересующему нас средству — художественной детали — ни Д. С. Лихачев, ни, насколько мне известно, другие исследователи древнерусской литературы не уделяют особого внимания.

Художественная деталь, по-видимому, не без оснований выпадает из поля зрения исследователей литературы Древней Руси. Дело не в том, что пока еще не выработано общепринятого определения художественной детали¹⁰. Это было бы полбеды. Дело в том, что такие детали появляются в литературе не ранее XVII в. Так что «виноватыми» оказываются не исследователи, а древнерусская литература.

Если все же предпринять изучение художественных деталей в древнерусской литературе, то лучше всего начать наблюдения с произведения, исключительно богатого яркими деталями, — с «Жития» протопопа Аввакума. Так как большинство художественных деталей этого знаменитого «Жития» имеют, как кажется, реально-бытовой характер, то есть выступают в виде подробностей быта и природы, то данную работу я и посвящаю реально-бытовым деталям в «Житии» протопопа Аввакума.

Богатство «Жития» художественными деталями, конечно, относительно. Оно бросается в глаза, если сопоставлять «Житие» с другими древнерусскими произведениями. Фактически же художественных деталей у Аввакума не так уж много; они рассеяны в море реально-быто-

⁹ Лихачев Д. С. Стилистическая симметрия в древнерусской литературе // Проблемы современной филологии: Сборник статей к семидесятилетию академика В. В. Виноградова. М., 1965, с. 418—422. Ср.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы, с. 168—175.

¹⁰ Одно из определений художественной детали, данное в последнее время, см. в кн.: Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. 2-е вид., перероб. і доп. Київ, 1965, с. 96: «Деталь художня (від. фр. détail — подробиця) — така характерна риса чи подробиця, яка має відносно самостійне значення і служить для того, щоб глибше і яскравіше змалювати картини чи образ, підкреслити важливість і створити ілюзію неповторного».

Приведенное определение (а подобных определений отыскивается немало) может быть использовано в качестве «рабочего», предварительного. В данной статье я исходил также из следующего, тоже «рабочего», представления о художественной детали: 1) художественная деталь вместе с иными литературными средствами отражает картину, бывшую в воображении писателя; 2) художественная деталь обычно многозначна, то есть отражает сразу несколько предметных признаков воображаемого автором явления; 3) на художественной детали в основном «держится» вся картина, без детали отражение картины беднеет и тускнеет, если вообще не пропадает.

вых деталей, которые используются лишь как средство правдивого документального повествования. Отсюда неудивительно, что при сходстве ситуаций, описываемых в «Житии» и в каких-либо документах XVII в., нередко сходны и отбираемые авторами реально-бытовые детали.

Можно отметить общее сходство рассказа Аввакума о том, как в церкви на дьячка Антония напал никонианин Иван Струна, — «вскокчил в церковь, ухватил Антона на крылосе за бороду» (18)¹¹ и стал бить, — и других его рассказов о нападениях никониан на правоверных около церкви, когда «пришед сонмом, до смерти задавили» (10), с явочными челобитными аналогичного содержания, например, с холмогорской челобитной 1666 г.: и внезапно тот дьякон Дмитрией пьян, пришел в олтарь тайно, и похватил меня, богомолца твоего нищего, рукою за бороду, а другою рукою ударил меня, богомолца твоего нищего, по лицу, да и о помост меня о олтарной бросил, и похватя меня за горло, и задавил до смерти...» (337).

Замечается общее сходство частых жалоб Аввакума в «Житии» на наготу, смрад и дым, на болезни, на то, что ноги пухнут, с жалобами, например, бывшего патриарха Никона, писавшего в 1671 г. к царю из ссылки: «И есмь ныне болен и наг, и бос; обжогся и обносился до нага; и креста на мне нет третьей год; стыдно и во другую келью выйти, идеже хлебы пеку и варю, понеж многие части зазорные не покровены, и со всякия нужды келейныя и недостатков оцелженел; руки больны, левая не подымается; очи чадом и дымом выело, и есть на них бельма, и из зубов кровь идет смердящая, и есть не терпят ни горячева, ни студенова, ни кислова; ноги пухнут...» (109).

То же общее сходство наблюдается в описаниях смертей и тяжелых болезней в «Житии» Аввакума и, например, в статейном списке о смерти патриарха Иосифа, посланном в 1652 г. царем Алексеем Михайловичем Никону. «И мы со архиепископом, — пишет царь, — кликали и трясли за ручки-те, чтоб промолвил, отнюдь не говорит, толке глядит, а лихорадка-та знобит и дрожит весь, зуб о зуб бьет», «толко

Цитируемые произведения: «Видение Исаии» — Успенский сборник; «Житие» Аввакума и другие его сочинения — РИБ, т. 39; «Житие Иоанна и Логгина Яренгских» — РНБ, собрание Погодина, № 728. Указываются листы рукописи; «Житие Никодима Кожеозерского» — Православный собеседник. Казань, 1865, ч. 1, март; «Житие Симона Юрьевоцкого» — РНБ, собрание Погодина, № 757. Указываются листы рукописи; «Житие Трифона Вятского» — Православный собеседник. Казань, 1868, октябрь; «Житие Улиании Осорьинной» — Русская повесть XVII века. М., 1954; послание Никона царю Алексею Михайловичу — Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912; «Сказание» Авраамия Палицына / Изд. подгот. О. А. Державина и Е. В. Колосова. М.; Л., 1955; статейный список Алексея Михайловича о смерти патриарха Иосифа — ААЭ, т. 4; «Хождение Агапия в рай» — Успенский сборник; холмогорская челобитная 1666 г. — РИБ, т. 14.

очами зрит на нас быстро, а не говорит, знатно то, что хочет молвит, да не сможет», «сжался двожды прытко да и отшел к господу Богу» (79—81).

Общее сходство деталей «Жития» и документов может объясняться сходством самих случаев, послуживших предметом описания. Но, как бы ни объяснять подобное сходство, оно симптоматично. В документах, особенно в явочных челобитных, детали подчиняются жестким требованиям точности, правдивости изложения и выразительного выделения главного. Реально-бытовые детали «Жития» Аввакума, как бы проверяемые и подтверждаемые документами, свидетельствуют об аналогичных целях протопопа.

Документальная точность аввакумовских деталей не мешает им, однако, участвовать в создании целых картин и приобретать добавочные, уже точно не перечислимые оттенки. Свидетельствует ли это о сознательных художественных намерениях автора «Жития»? Думается, что нет. Чтобы убедиться в стихийности творчества Аввакума, обратимся к некоторым примерам.

Рассмотрим, например, рассказ Аввакума о том, как он сидел в темнице Андроньева монастыря (16). Внешне повторяется давно известная житийная ситуация: мученик после надругательства брошен в темницу, где молится в одиночестве, и вдруг перед ним является ангел. Но обратим внимание на начало рассказа. «На чеши кинули в темную полатку, — пишет Аввакум, — ушла в землю... во тме сидя, кланялся на чеши, не знаю — на восток, не знаю — на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно». (В редакции Б добавлено: «сверчки кричат, и около меня ползают» — 98).

Эти детали оказываются удивительно многозначными, способными передать сразу несколько реальных признаков одиночества Аввакума: и темноту, с оживленной деятельностью ночных животных и насекомых; и тесноту «полатки», где вокруг узника ползают тараканы и пробегают никем не пугаемые мыши; и полную тишину в «земляной» темнице, не прерываемую извне ни одним человеческим голосом. Отражение этого находим в указанной реально-бытовой детали: сверчки у Аввакума не стрекочут, а «кричат». Это преувеличение, так как словом «кричать» Аввакум всегда обозначает громкие звуки, а между тем он очень точно называет звуки, издаваемые разными животными (ср.: «Как поехали, лошади под ними взоржали вдруг, и коровы тут взревели, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки, завыли» — 35. Знаменательно различие — «взвыли» и «завыли»! Или другой пример: «учала кричать и вопить, собакою лаять, и козою блекотать, и кокушкою куковать» — 79). То, что сверчки у Аввакума «кричат», указывает, по-видимому, на полную тишину, в которой он их слышал.

Подведем небольшой итог. Живо рисуя свое одиночество в темнице Андроньева монастыря, Аввакум предпочел показать это через детали, сумев выбрать выразительные и емкие по смыслу. Но если ему и

Удалось нарисовать картину одиночества, то вряд ли он сделал так с полным пониманием роли художественных деталей в передаче картин действительности. В «Житии» воссоздано немало картин с использованием деталей, но не наблюдается никакого, хотя бы слабо выдержанного единообразия в использовании этого художественного средства. То деталей несколько, и все они явственно многозначны, как в примере, приведенном выше. То деталь одна, и смысл, вкладываемый в нее Аввакумом, ограничивается только одним оттенком. То деталей довольно много, но их добавочный, «недокументальный» смысл очень расплывчат, об оттенках его приходится лишь догадываться. Все это говорит о том, что Аввакум писал, «как Бог на душу положит», а художественные картины в «Житии» получались в силу природного литературного таланта этого писателя.

Однако на одну закономерность, притом важную, указать все-таки можно. Речь пойдет о том общем смысловом оттенке, который реально-бытовые детали вносят в создаваемые Аввакумом картины. Значение реально-бытовых деталей в «Житии» Аввакума заключается не только в том, что они, как указывают Н. К. Гудзий и А. Н. Робинсон, «материализуют» изображаемые чудеса, делают их более «картинными» и «физически ощутимыми»; наконец, «опускают в быт» деятельность мучеников за правую веру¹². Это верно, но, думается, недостаточно. Реально-бытовые детали «Жития» «вводят» не столько в быт, сколько в природу. Благодаря им природа становится постоянным фоном жизни человека. Как ни странно, эту черту «Жития» Аввакума почти не замечали, хотя важность и своеобразие ее вне всяких сомнений.

Вернемся, например, к рассмотренной картине одиночества Аввакума-узника. Она отличается от того, как обычно изображается одиночество подвижника в житиях. В житиях одинокий подвижник находится как бы в пустоте. У Аввакума же благодаря реально-бытовым деталям это одиночество в реальном мире, с его шорохами, потемками и «мышью жизни беготней». Аввакум, вспоминая, как его в ссылке даурской, на Долгом пороге воевода Пашков «на те горы выбивал... со зверми, и со змиями, и со птицами витать», представляет себя — через детали — словно в окружении животных, до которых почти можно дотянуться рукой: «На тех же горах гуляют звери многие дикие: козы и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, вольки, бараны дикие, — во очию нашу, а взять нельзя!» (22).

¹² Гудзий Н. К. История древней русской литературы, 7-е изд., испр. и доп. М., 1966, с. 492 и сл.; Робинсон А. Н. Жизнеописание Аввакума и Епифания: Исследование и тексты. М., 1963, с. 46. См. также: Робинсон А. Н. Исповедь-проповедь (о художественности «Жития» Аввакума) // Историко-филологические исследования: Сборник статей к 75-летию академика Н. И. Конрада. М., 1967, с. 358—370.

Сходная же картина одиночества с обязательным присутствием животных в качестве художественных свидетельств об одиночестве человека рисуется в рассказе Аввакума о тюрьме в Братском остроге: «Таже привезли в Брацкой острог, и кинули в студеную тюрьму... Что собачка, в соломе лежу на брюхе... Караулщики по пяти человек одаль стоят. Щелка на стене была, — собачка ко мне по вся дни приходила, да поглядит на меня... и я со своею собачкою поговаривал; а человецы далече окрест меня ходят и поглядеть на тюрьму не смеют» (179; ср. 24). Реально-бытовые детали отражают не только представление Аввакума о своем одиночестве в тюрьме, но, как и в ранее приведенных примерах, передают тесное окружение узника животными, — на расстоянии вытянутой руки: «Мышей много было, я их скуфьею бил, — и батюшка не дадут дурачки!» (24—25; ср. 179).

Но, конечно, не только в картинах одиночества можно заметить своеобразную «пейзажную» роль реально-бытовых деталей «Жития» Аввакума. Они «вводят» в природу везде, где используются; даже тогда, когда Аввакум изображает собственно быт.

Быт Аввакума беден так же, как у житийных мучеников. Например, свое зимовье у Иргень-озера Аввакум описывает следующим образом: «А я лежу под берестом наг на печи, — пишет Аввакум, — а протопопица в печи; а дети кое-где: в дождь прилучилось; одежды не стало, а зимовье каплет, — всяко мотаемся» (33). Как это характерно для Аввакума, он обязательно подчеркивает смысл приводимых деталей: «всяко мотаемся» (в редакции В добавлено: «а дети кое-где перебиваются» — 187). И действительно, детали отражают картину крайней нищеты протопопа и его семьи, «всяко мотающейся» и «перебивающейся». Это показывает еще одна деталь, которую добавляет Аввакум в приводимом рассказе: «...а зимовье каплет, — всяко мотаемся... Я-су встал, добыл в грязи патрахель и масло священное нашел» (33). Епитрахиль в грязи! В зимовье так грязно, протопоп так беден, что нечем предохранить одеяние для церковной службы.

Правда, эта деталь, столь выразительная для нас, занимает в рассказе явно второстепенное место. Аввакум никак ее не выделяет. Более традиционная деталь о наготе, — «лежу под берестом наг», — нравится ему больше; ее он поясняет: «одежды не стало»; ее он помнит еще с той поры, как писал первую челобитную царю Алексею Михайловичу: «...без обуви и без одежды, яко во иное время берестами вместо одеяния одевался» (727).

Но в целом получается, что быт Аввакума совсем не пуст, как обычно в житиях. Он наполнен вещами, которые вопиют о бедности протопопа. А реально-бытовые детали и здесь пронизывают быт природой: нагота Аввакума не мыслится вне дождя, снега, грязи, бересты и пр. О своей промокшей, замерзшей, грязной одежде Аввакум часто вспоминает в «Житии» как о наглядном результате переносимых муче-

ний, и за этим всегда стоит реальная погода, реальная зима, реальное наводнение: «Сверху дождь и снег; а на мне на плеча накинута кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, — нужно было гораздо» (24); «Все розмыло до крохи!.. а люди-те охают, платье мое по кустам развешивая, шубы отласные и тафтяные... все с тех мест перегнило, — наги стали» (26); «...все замерзло: и безлуки на ногах замерзли, шубенко тонко, и живот озяб весь; увы, Аввакум, бедная сиротина, яко искра огня, угасает...» (233).

И вообще — любая ситуация из жизни мученика за правую веру у Аввакума имеет своим фоном природу, даже мученическая смерть: «...наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачimy; так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти», «а по смерти нашей грешная телеса наша добро так, царю, ты придумал со властями своими, что псом пометати или птицам на растерзание отдати» (пятая челобитная, 761, 764). Аввакум почти с естествоиспытательской точностью наблюдает за этими «телесами» мучеников. «На Устюге пять лет безпрестанно меръз на морозе бос, бродя в одной рубашке, — вспоминает протопоп об одном из мучеников, о Федоре-юродивом, — ...у церкви в полатке, — прибегал молитвы ради, — ...по кирпичью тому ногами теми стучает, что коченьем!» (57). Ноги — коченья!

Чем объяснить то явление, что природа постоянно присутствует в воспоминаниях Аввакума, даже там, где она «необязательна» и «неуместна» с точки зрения житийных канонов? Конечно, Аввакуму в ссылки пришлось немало путешествовать по Сибири и по Северу, видеть столько разных мест и диких углов, сколько другие не видали за всю свою жизнь (или в какой-то степени могли повидать лишь с помощью «нечистой силы» — вспомним «Повесть о Савве Грудцыне»). Жизнь в ссылках, конечно, наложила отпечаток на сочинения Аввакума, способствуя их «насыщению» природой. И все-таки подобное «насыщение» беспрецедентно. Ведь сколько ссыльных и опальных писали до Аввакума, но почти всегда «без природы». Протопоп же Аввакум был, очевидно, в высшей степени равнодушен к природе; она производила на него глубокое впечатление и запоминалась надолго, так, что и через десять лет он мог ярко описать поразивший его пейзаж; его литературный талант имел своеобразную «природоведческую» сторону — вот то объяснение, которое можно дать аввакумовскому феномену.

И действительно, об этом свидетельствуют автобиографические признания Аввакума в «Житии». Еще задолго до ссылки, когда Аввакум был совсем молод и жил с отцом и матерью в селе Григорове, что поразило его до глубины души? — Умершая скотина. «Аз же некогда видеу у соседа скотину умершу, — начинает свое «Житие» Аввакум, — и той ноци, возставше, пред образом плакався довольно о душе своей,

поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся нощи молиться» (8).

Или другой пример особой впечатлительности Аввакума по отношению к природе. Когда ему плохо, «нужно», когда он почти теряет сознание, что остается в его памяти? — Дождь и снег, вершина дерева, а иногда и сияющие звезды («...влез на вершину дерева... только смерть пришла. Взираю на небо и на сияющия звезды, тамо помышляю Владыку, а сам и перекрестится не смогу, весь замерз» — 233). Так вспоминает Аввакум, как он замерзал в тайге.

У Аввакума в «Житии» мы находим точное различие многочисленных разновидностей животных и растений, деталей их окраски, формы и пр., — все то, что, в сущности, не нужно для житийного произведения и излишне даже для «географической» отписки (например, замечания о «перии красном» у утиц и сером у галок в Даурии или упоминание о в общем-то бесполезных «травях красных и цветных и благовонных» у Байкала — 22, 42).

Наконец, «природоведческой» особенностью литературного таланта Аввакума объясняется не только то, что именно у него в сочинениях появляются большие описания природы, но и то, что толкованиям природы он посвящает некоторые сочинения целиком (например, сочинение «О сотворении мира», толкование на Книгу пророка Исаии — 510 и сл., 651 и сл.).

Любопытной особенностью «природоведческого» таланта Аввакума является следующее: писателю удается передать разнообразные пространственные оттенки окружающего мира, и в этом не последнюю роль играют реально-бытовые детали.

В «Житии» Аввакума действие разворачивается в двух основных типах художественного пространства¹³. Одно пространство — замкнутое как бы на расстоянии вытянутой руки протопопа. Мы уже приводили пример подобного замкнутого пространства в рассказе протопопа о заключении в темнице Андроньева монастыря. Дальнейшие события, о которых повествует протопоп, разворачиваются также на расстоянии вытянутой руки от героя. Является ангел и берет Аввакума за плечо: «...ста предо мною, — пишет протопоп, — не вем — ангел, не вем — человек... и взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил, и лошку в руки дал, и хлебца немношко и штец дал похлебать...» (16). Примечательно, что обычно ангел менее стеснен, берет человека за руку, а не за плечо, ведет далеко и пр. (Ср. «Видение Исаии»: «и емъ мя за руку, възведе мя...» — 170.1). Затем Аввакума выводят из темницы, но он снова оказывается в замкнутом пространстве, на этот раз в тесном окружении никониан, на расстоянии их вытянутых рук, что хорошо пере-

¹³ О поэтике художественного пространства в древнерусской литературе см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы, с. 353—363.

дается такими деталями: «Сняли болшую чепь, да малую наложили. Отдали чернцу под начал, велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь торгают, и в глаза плюют» (17).

Итак, один тип пространства в «Житии» — это замкнутая темница вокруг узника или тесное кольцо никониан вокруг одинокого борца за правую веру (ср. послание Аввакума «стаду верных», где никонианское окружение вокруг «правоверного» ассоциируется с волчьей пещерой: «...а в одном хлеве и один волчищо сотню ягнят передавит. А ты только сам забредешь в их волчью пещеру, идеже жилище бесом, сиречь в никониянскую церковь, как не пропал? И играючи, волчата задавят» — 822).

Другой тип художественного пространства в «Житии» — это огромный мир, в который заброшен Аввакум. В отражении представлений Аввакума о громадных пространствах, его окружавших, важную роль играют детали тела человека, их сопоставление с объектами природы: «утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову!» (22); спина и плечи человека противостоят всей массе падающего сверху дождя и снега, как бы облепляющего фигуру страдальца: «Сверху дождь и снег; а на мне на плеча накинута кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, нужно было гораздо» (24); наконец, противопоставляется вся фигурка человека бесконечной ледяной равнине озера Шакша: «...по льду зимою по озеру бежал на базлуках; там снегу не живет, морозы велики живут и льды тольсты намерзают, — блиско человека тольщины... гораздо от жажды томим, итти не могу; среди озера стало... озеро веръст с восьм» (46).

Бесконечные пространства Аввакум словно мерит распростертым телом человека, упавшего на лед: «Пять недель по лду голому... сам и протопопица брели пеши, убивающесея о лед... Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кольско гораздо!» (31). Особенно ярко это выражение бесконечности пространства через «укладывание» падающего тела человека на всем протяжении его пути видно в рассказе протопопа о том, как он возвращался домой с озера Шакши. Повторяющиеся детали — какое время прошло, сколько верст пройти осталось и как их протопоп преодолевает, таща нарту с рыбой, — хорошо передают пространственную протяженность памятной для Аввакума дороги. «...Ходил я на Шакшу-озеро к детям по рыбу, — от двора верст с пятнатцеть», — начинает с обозначения полного расстояния от озера до дому свой рассказ Аввакум. «И егда буду нареди дороги, изнемог... ночь постигла, выбился из силы, вспотел и ноги не служат. Верст с восьм до двора», — снова повторяет Аввакум сведения о времени, о сократившемся расстоянии и о падениях на дороге. И снова: «потаща гоны места, ноги задрожат, да и паду в лямке среди пути ниц лицом, что пьяной; и озябше, встав, еще попойду столко жь, и паки упаду; бился так много, блиско полуночи». И затем опять те же детали; но остается пройти уже не

пятнадцать, а четыре версты, и Аввакум все падает и падает: «...опять потащил; ино нет силки; еще версты с четыре до двора... тащился с версту, да и повалился... На коленех и на руках полз с версту... опять лег». Наконец остается совсем мало: «уже двор и не само далеко... на гужне по маленьку ползу... у дверей лежу, промолвить не могу, а отворить дверей не могу же». И, наконец, завершение этих бесконечных пятнадцати верст: «Ко утру уже встали; уразумев протопопица втащи-ла меня бытто мертвова в ызбу» (232—233).

Как видим, Аввакум не побоялся повторения однотипных деталей: они помогли ему передать во времени и пространстве такое однообразное, трудно поддающееся образному отражению явление, как пешее передвижение. Но в его воображении жила настолько яркая картина громадного ночного пространства вокруг одинокого путника, что даже на себя он смотрел как бы сверху и видел себя червем и угасающей искрой в ночи («яко червь, исчезаю», «увы, Аввакум, бедная сиротина, яко искра огня, угасает»).

Кроме умения рисовать словами пространственные картины, «природоведческая» особенность литературного таланта Аввакума сказывается и, если можно так выразиться, в световых эффектах. Дело в том, что неземной, условный символический свет в видениях у Аввакума представляется вполне реальным и вещественным.

В начале «Жития» протопоп рассказывает, например, о трех символических кораблях, которые он увидел в забытии: «Вижу: плвуют стройно два корабля златы, и весла на них златы, и шесты златы, и все злато...» (9). Появление в видениях предметов или существ, испускающих сияние, ослепляющих белизной и красотой, обычно. Без них не обходится почти ни одно видение, в том числе и у Аввакума. Но среди этих традиционных деталей выделяется деталь, указывающая на блеск золотых весел и шестов у двух кораблей. Если сверкают такие рабочие части, как весла и шесты, то каким новым, празднично сияющим золотом должен казаться весь корабль! И одновременно благодаря такой детали это вполне земной, реальный блеск прозаических предметов — весел, шестов... Недаром Аввакум в видении задает также вполне прозаический вопрос о том, кому принадлежат суда: «чье корабли?» Недаром третий корабль «не златом украшен, но разными пестротами — красно, и бело, и сине, и черно, и пепелесо» (10), — вполне земная красота, не появляющаяся обычно в древнерусских видениях (ср. в «Книге бесед» Аввакума описание земли во второй день творения: «И израстиша былия прекрасная, травы цветныя разными процветении: червонныя, лазоревыя, зеленыя, белыя, голубыя и иныя многия цветы пестры и пепелесы» — 666). Хотя некоторый «райский» оттенок в этих описаниях тоже есть. Ср. описание райских птиц в «Хождении Агапия в рай»: «злато перие», «различьными красотами и пестротами украшены» (468.1).

Сходную по функции деталь, усиливающую и сияние предмета, и предметность сияния, находим, например, в видении Анны, духовной дочери протопопа, которое Аввакум пересказывает в своем «Житии». Анна во сне попадает, очевидно, в рай, «во светлое место, зело гораздо красно», где все сверкает белизной и «неизреченною красотою сияет». Ангелы показывают ей «многие красные жилища и полаты», — уже не совсем «райская» детали! — вводят в одну из них: «ано-де стоят столы, и на них послано бело, и блюда з брашнами стоят» (78). Неземное сияние превращается в белизну чистой скатерти на обеденном столе.

Так чуткость по отношению к природе и реальному, физически ощущаемому миру, органически свойственная Аввакуму, помогла этому писателю без особого труда отражать природу как фон, как пространство, как свет и как цветовые оттенки, не воспроизводимые под пером на бумаге без особого «природоведческого» таланта.

В этом отношении положение «Жития» в творчестве Аввакума остается своего рода загадкой, потому что неясно, как подготовлялось накопление «природоведческих» элементов в предыдущих произведениях протопопа и в предыдущих произведениях древнерусской литературы (и искусства также). Вряд ли все началось внезапно с «Жития». Однако в данной статье подобную самостоятельную тему приходится оставить в стороне: для нее необходимы новые поиски.

Реально-бытовые детали Жития позволяют поставить и другой вопрос: о месте «природоведческой» черты Аввакума в системе остальных особенностей его творчества. Пример, приводимый ниже из «Жития», помогает, пожалуй, частично наметить ответ на поставленный вопрос.

Иногда через реально-бытовую деталь Аввакума может раскрыться очень сложный характер человека. Таково, например, изображение воеводы Пашкова в «Житии». В общем, это «дивий зверь», злодей, мучитель, довольно характерный для житийного жанра. Аввакум много рассказывает о его злодействах. Вот он опять намеревается мучить Аввакума: учрежден застенок, разожжен огонь, приготовились палачи. Должны привести Аввакума на пытку, а «после огня-тово мало у него живут» (37). Аввакум в этом эпизоде сравнивает Пашкова со зверем — медведем, который хочет проглотить правоверного: «жива бы меня проглотил, да Господь не выдаст» (38). Сравнение для Аввакума не редкое. Но уже сложившееся представление о Пашкове переворачивает одна деталь. Пашков напоминает протопопу именно белого медведя, которого не раз он мог видеть на Севере: «Пашков же, возвед очи свои на меня, — слово в слово что медведь морьской белой...» (38). Это сравнение, взятое из мира природы, изображает вспоминаемую Аввакумом кудлатую седину Пашкова, которому в то время было уже около 50 или даже за 50 лет. Упоминание о седине противника, злодея совершенно необычно. Древнерусские авторы обычно отмечают седину достойных людей, святых страдальцев и т. п., начиная с «доброрепных седин» Владимира в

«Сказании о Борисе и Глебе» и «серебряной седины» Святослава «Слова о полку Игореве» и кончая «иконописными подлинниками» времен Аввакума. Но в этом эпизоде страдальцем выглядит Пашков. Только что вернулся из неудачного похода по Даурии его сын Еремей, раненный и чудом один оставшийся в живых из всего отряда. Пашков идет к сыну, «яко пьяной с кручины». И в кручине даже к Аввакуму обращается со вздохом: «вздохня говорит». Седина показывает стареющего, страдающего, вдруг посмиревшего человека. И окружен Пашков в этот момент смиренными людьми: кланяющимся Аввакумом, сыном Еремеем, который, как сказано в предыдущем рассказе «Жития», «разумен и добр человек: уж у него и своя седа борода, а гораздо почитает отца и боится его» (37). В том же рассказе, где упоминается седая борода пашковско-го сына, рассказывается, как Пашков плакал и каялся в грехах: «Сел Пашков на стул, шпагою подперся, задумався и плакать стал; а сам говорит: „согрешил окаянной...“» (36). Так подготавливается изображение в воеводе Пашкове совсем других свойств человека, другой, человеческой стороны злодея, и реально-бытовая деталь играет здесь очень важную роль¹⁴. Но самое интересное то, что указанная реально-бытовая деталь отражает сразу две особенности литературного таланта Аввакума: и его «природоведческую» наблюдательность, и его лирический подход к человеку, даже к своему врагу.

Приведенный пример, как нам кажется, подводит к вопросу об Аввакуме-лирике. Крупный писатель, по-видимому, не может не быть лириком в той или иной степени. «Природоведческое» и лирическое начала у Аввакума тесно связаны. Достаточно вспомнить, например, лирический байкальский пейзаж в «Житии», переходящий во взволнованное рассуждение протопопы о человеке, который вместо «упокоения» всю жизнь проводит в суете, «дни его, яко сень, преходят» (42). Однако лирическая струя в творчестве Аввакума почти совершенно не исследована. Вопрос о лиричности Аввакума как об особой теме исследования до сих пор фактически даже не ставился.

Такова еще одна важная особенность Аввакума-писателя — лиричность, — к которой подводят реально-бытовые детали его «Жития».

Но кроме «природоведческой» и лирической (возможно, и психологической) сторон литературного таланта Аввакума реально-бытовые детали позволяют поставить вопрос и шире — вообще о художественных деталях в сочинениях Аввакума и в древнерусской литературе.

В порядке постановки вопроса по этой, также самостоятельной теме можно привести следующие выборочные наблюдения.

В произведениях Аввакума, предшествующих «Житию», и в житийной литературе его времени художественные детали встречаются довольно редко. Так, в одном из самых ранних произведений, написанных Авваку-

¹⁴ См. о сочувствии Аввакума своим врагам в кн.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси, 2-е изд. М., 1970, с. 142—143.

мом за 11—12 лет до «Жития», — в первой челобитной царю Алексею Михайловичу 1664 г., — реально-бытовые детали встречаются, но не имеют художественного значения, так как используются лишь для усугубления жалоб челобитчика добавочными фактами и подробностями.

В произведениях Аввакума, написанных позднее первой челобитной, художественные детали встречаются лишь изредка. Например, в послании Андрею Плещееву Аввакум изображает никонианских глав церкви как горьких пьяниц. «Нынешних ваших пьяных апостолов исправление, которые всегда с похмелья мудрствуют», — обличает Аввакум и далее рисует целую картину: «Яко ваши нынешния, дрождами прокислые, мудрецы, трясущимися руками пишут, ползающе по земле, яко гадове» (882, 884). Эти трясущиеся руки ползающих пьяниц действительно убийственны в качестве уничижительной детали: ведь речь идет о пишущих «правые догматы». Из всех произведений Аввакума, созданных до «Жития», это место отмечено, пожалуй, самой яркой художественной деталью.

Обычно же реально-бытовые детали у «раннего» (сорокалетнего) Аввакума лишь приближаются к художественным, еще не становясь таковыми. Например, в пятой челобитной, посланной царю Алексею Михайловичу года за три до написания «Жития», Аввакум рассказывает о своем видении в темнице и мимоходом обрисовывает темничную обстановку. «Яко древле и еретиков так не ругали, яко же меня ныне, — замечает протопоп, — волосы и бороду остригли, и прокляли, и в темнице затворили». И далее говорит о своем положении: «И в полунощи во всенощное чтущу ми наизусть святое евангелие утреннее, над ледником на солошке стоя, в одной рубашке и без пояса» (765). Перечисляемые реально-бытовые детали свидетельствуют о том, что в памяти Аввакума вставала картина того, как он жил в темнице. Но приводимые им детали еще не обладают той многозначностью, благодаря которой картина действительности отражается в ее полнокровной живости и цельности, что затем увидим в «Житии». В данном же случае детали поясняют только одно то, что Аввакум был наг в холодной темнице. Но примечательно, что и здесь Аввакум уже не обходится без «природной» детали, помня и о «солошке», на которой он стоял.

Относительное обилие художественных деталей в «Житии» Аввакума и их редкость в произведениях Аввакума, написанных до «Жития» можно было бы объяснить жанровой разницей (до «Жития» Аввакум писал письма, послания, челобитные, записки), если вообще в житиях XVII в. художественные детали также были бы нередки. Но в житиях XVII в. художественные детали почти не встречаются.

Например, «Житие Иоанна и Логгина Яренгских» отличается множеством скрупулезных реально-бытовых деталей, тем не менее не имеющих художественного значения. Протокольный характер имеет, например, сообщение о мощах Иоанна: «... а саван и покров яко вчера положен,

токмо пожелте, глава же святого от телесе отлучися, но саваном держа ся неотлучена, шии часть земли отдалася, лице же святого цело и невредимо, токмо пожелте яко воск, власы же его ко главе и к лицу присхли беша» (64—64 об.).

В житии любопытны «этнографические» и «краеведческие» отступления. Описывается земля Севера: «в Примории земля негодзозателна, каменна и плодоносных нив не имеет». Говорится об обряде погребения на такой земле: «аще случится жестока земля и каменна, то камения нань могилу насыпают». Возможно, по каким-то источникам дается описание Белого моря: «Северское море, рекше полунощное, мелко есть и удобь от ветр мутится, зане из дна е могут возмутити бурнии ветри, яко поддонный песок с волнами размесити; многими же реками исполняемо, слаждышу воду паче инех морь имать...» — и далее о ловле китов, называемых «лежаси» (39 об., 40 об., 58 об. — 59 об.).

«Этнографические» и «краеведческие» подробности появляются и в других житиях XVII в. Например, в «Житии Никодима Кожеозерского» рассказывается, как святой готовит себе пищу: «Ловяше же преподобный и рыбу малою удицею в реке Хозюге; и егда хотяше рыбы вкусити, и тогда бе прежде квасяше ю, дондеже бы червем от нея исходити и являтися, и потом убо вкушаше» (218). Так до сих пор делают на Севере. Но в общем все эти детали также не имеют художественного значения.

Среди реально-бытовых деталей в житиях играют не информационную, а изобразительную роль чаще всего детали, относящиеся к одежде и обуви святого. Симон Юрьевецкий зимой «бос, во единой худой ляннице до заутрия во граде по стогнам и по леду реки Волги ходаше в таковыя студеныя и долгиа нощи... его же стопы ног босых многажды на утрии обретаху людие в снезе водружены...» (9—9 об.).

Но в этих деталях чувствуется уже отработанный прием; некоторые из них начинают становиться традиционными. В «Житии Трифона Вятского» упоминается о его сапогах: «Скут (онучи) же блаженный никогда не имяше, точию едины сапози ношаше, в ня же снегу многу всыпавшуся» (19). Сходные сапоги вспоминаются в «Житии Улиании Осорьбиной», написанном ее сыном: «сама же без теплыя одежды в зиму хождаше, в сапоги же босыма ногама обувашеся, точию под нозе свои ореховы скорлупы и чрепие острые вместо стелек подкладаше» (43).

В общем же в житиях XVII в. реально-бытовые детали могут сцепляться в большие повествовательные куски, отличающиеся от традиционного-житийного стиля изложения, но, к сожалению, нехудожественные, несмотря даже на старания составителей украсить жития.

Итак, появление художественных деталей в произведениях XVII в. не объясняется их жанром непосредственно. Потенциальный литературный талант автора также не гарантирует обильного использования ху-

дожественных деталей (что мы и видели на примере произведений Аввакума, предшествовавших «Житию»). Вероятно, решающим условием, толчком к «выходу» художественных деталей на листы произведения является цель писателя. Аввакум, например, не ставил своей главной целью обобщенное, или символическое, или «научно-познавательное» изложение событий. В своем «Житии» он обращал главное внимание на подробное описание конкретных эпизодов из своей жизни; хотя сами события были необычны, протопопа тянуло к описанию их обыденного, будничного течения. И именно тогда стали в массе «прорываться» художественные детали.

Подобное объяснение требует проверки; оно выдвигается в качестве предположения: будничное рождает художественное, а стремление к «высокому» нередко уводит далеко в сторону. Подтверждение этому можно найти, например, в «Сказании» Авраамия Палицына, произведении нежитийного жанра, примечательном, кстати, обилием именно реально-бытовых деталей, среди которых немало деталей художественных.

Не свидетельствуя о «природоведческой» или о лирической сторонах литературного таланта Авраамия Палицына, реально-бытовые детали «Сказания» выполняют ту функцию, которая в свое время была отмечена Н. К. Гудзием и А. Н. Робинсоном в отношении «Жития» Аввакума: вводят в быт страдающих в осаде в Троице-Сергиевом монастыре, «материализуя» чудеса. Таково, например, видение огненного столпа. Инок Пимин ночью в келье видит сначала не сам чудесный свет над церковью, а его скромное бытовое отражение. Он мог бы его и не заметить, не взгляни он на оконце кельи: «И се оконце келии его свет освети». Он воспринимает это как явление быта осажденных: «и виде светло, яко пожар; и мнев, яко врази зажгоша монастырь». И по-бытовому пытается стать повыше, чтобы лучше рассмотреть, в чем дело: «в той час изшед на рундук келейной» (133—134).

Так же разворачивается другое чудо. Святой Сергий скромно входит в монастырскую больницу. Большой старец, лежавший в больнице лицом к стене, «слышит больницу ту отворшуся и топот ног идущу». Старцу наскучила беспрестанная толкотня больных: «Он же не обрати ся позрети, занеже много вход и исход больным тогда в келий той; и мнози бедни от мирских чади ту живуще». И реагирует на появление очередного посетителя по-бытовому, чуть ли не огрызаясь: «Скажи, брате, что есть; не могу убо превратиться; веси и сам, яко болен есмь», «не хочу вредиться, поведай просто». А когда Сергий все-таки понуждает его встать, старец с досады «всею силою двгся». Интересно, что по-бытовому реагирует и сам Сергий: «И премолачав предстояй начат поносити ему». Сергий так похож на реальное лицо, что старец узнает его лишь по сходству с иконой: «И позна чудотворца по образу написанному на иконе» (186). Не икона теперь пишется со святого, а святой с иконы...

Итак, краткое резюме. Стоит ли изучать такое «мелкое» и сравнительно редкое в древнерусской литературе средство, как художественная деталь? Думается, что стоит, хотя не надо чересчур увлекаться. Реально-бытовые детали «Жития» протопопа Аввакума хорошо показывают «природоведческую» сторону таланта этого крупнейшего писателя древней Руси. Без реально-бытовых деталей подобная направленность таланта Аввакума выразилась бы не так ярко и отчетливо. Тема — Аввакум и природа — без изучения его художественных деталей не может быть удовлетворительно раскрыта. Но на этом «запасы» детали кончаются. За нею скрывается, как видим, не много явлений. Например, вопрос о связи «природоведческого» и лирического начал у Аввакума на материале деталей лишь можно поставить, но нельзя разрешить. Здесь необходимы наблюдения над иными изобразительными средствами. И совсем зыбкий материал дают детали по таким широким вопросам, как сочетание сознательного и неосознаваемого художественного творчества, влияние сознательно преследуемых «нехудожественных» целей на художественные результаты изложения и пр., то есть по кругу вопросов, относящихся к деятельности писателей Древней Руси, когда художественное творчество еще не считалось безусловно необходимым фактором литературного сочинения.

1971 г.

3. «ГУСТОТА» ПРИРОДЫ У АВВАКУМА

Не отступал ли Аввакум когда-либо от своего представления о «густоте» мира и человеческой жизни? Как писал он в тех случаях, когда рассказывал о ссылке, о томлении в одиночестве, о безлюдье и пр.? Рассказы на такие темы, казалось бы, предполагали изображение «пустого» мира, куда заброшен герой. Но в том-то и дело, что у Аввакума плотное, предметное окружение вокруг одинокого героя оставалось; только менялся состав окружающих.

Остановимся, например, на «Житии», в котором Аввакум особенно много писал об арестах, ссылках, скитаниях. «Человецы далече окрест меня ходят и поглядеть на тюрьму не смеют», «никто ко мне не приходил» (24, 16)¹, — нередко повторял заключенный свои жалобы на одиночество. Но одиночество это было особого рода. Бросали ли героя в темную «полатку», гнали ли в непроходимые дебри — всюду у Аввакума сохранялась возможность, по его словам, «со зверьми, и со змиями, и со птицами витать» (22).

И действительно, в изображении Аввакума живые существа — звери, птицы, насекомые, на худой конец, — растения и камни составляли постоянное, тесное окружение одинокого узника. Природа сопровождала его. Вот, например, следующий эпизод из «Жития». Как-то протопоп, для усугубления его мучений, заставили отдельно от партии ссыльных брести по сибирской тайге у реки Ангары. «О, горе стало! — повествует об этом Аввакум. — Горы высокие, дебри непроходимы... В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы — перие красное, вороны черные, а галки серые; в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, и курята индейские, и бабы (пеликаны), и лебеди, и иные дикие — многое множество птиц разные. На тех же горах гуляют звери многие дикие: козы, и олени, изюбри, и лоси, и кабаны, вольки, бараны дикие — во очию нашу, а взять нельзя!» (22). Последние слова очень важны, вносят оттенок изобразительности в перечень. Аввакум перечисляет животных и птиц так, будто они разом, одновременно возникают перед ним в сибирской тайге; они видны всюду, куда ни брошишь взгляд — «во очию нашу». Реальная точность деталей у Аввакума в этом описании общепризнанна. Но нетрудно заметить, что получающаяся общая картина не совсем соответствует действительности. Наполненность тайги зверями и птицами у Аввакума выглядит преувеличенной, потому что он перечисляет наблюденное в разное время, подмеченное постепенно, по мере хождения по тайге, как обозримое сразу, в один момент, стоит только повести «очами». Да и группируются животные в перечне не по тому, как они попадались Аввакуму в пути, а по их приблизительному зрительному сходству, если наблюдать их одновременно: гуси с утками, вороны с галками, пеликаны с лебедями, козы с оленями, изюблями и лосями, кабаны с волками и баранами. Аввакум исподволь «сгущает» картину, добиваясь изобразительного эффекта, если можно так назвать, «выставки» природы перед ссыльным человеком.

Сходный смысловой оттенок, выражаемый сходными же литературными средствами, обнаруживаем и в других эпизодах «Жития», в которых герой оказывается удаленным от человеческого общества. Вот другое глухое сибирское место, уже у озера Байкал, описываемое в «Житии» тем не менее так же, как и предыдущее: «Горы высокие... не

¹ «Житие» и «Книга бесед» Аввакума — РИБ, т. 39.

видал таких нигде... Лук на них растет и чеснок... там же растут и конопли... Птиц зело много, гусей и лебедей, по морю, яко снег плавают. Рыба в нем — осетры, и таймени, стерледи, и омули, и сиги, и прочих родов много... нерпы и зайцы великия в нем... таких не видал. А рыбы зело густо в нем...» (42). Такое же, как и ранее, перечисление элементов природы с напоминаниями о том, что человек смотрит на них, снова создает сходное впечатление густоты мира, словно растения, птицы, рыбы все одновременно находятся в поле зрения Аввакума, то обозревающего местность «на горах», то затем глядящего на озеро. Аввакум рисует обобщенные картины местности перед взором единичного наблюдателя.

Кстати, склонность к обобщенным картинам протопоп проявлял и в тех случаях, когда местности он сам не мог видеть и должен был исходить из воображения. Например, в «Книге бесед» он описал землю во второй день творения: «И израстиша былия прекрасная, травы цветныя разными процветении: червонныя, лазоревыя, зеленыя, белыя, голубыя и иныя многия цветы пестры и пепелесы» (666). Так говорится о земле, на которой еще не появились животные и человек: но подразумевается некий одинокий наблюдатель растительного изобилия; он видит все сразу; перед ним расстилается опять-таки максимально полный набор трав и цветов. Пейзаж у Аввакума, как правило, обобщен и оттого «сгущен» перед наблюдателем.

Аввакум стремился к концентрированным картинам и тогда, когда он рассказывал не о больших открытых пространствах, увиденных в свете дня, но о тесном, погруженном во тьму помещении. «Кинули в темную полатку, — вспоминает Аввакум о своем заключении в московском Андроньевом монастыре — и сидел три дни... во тме сидя... токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно» (16). Несмотря на описание совершенно иной обстановки, приведенный отрывок имеет сходный смысловой оттенок с отрывками, цитированными выше. Перечисление животных и насекомых опять создает ощущение одновременного, постоянного присутствия их всех сразу во тьме перед протопопом. Трехдневные впечатления протопоба спрессовались в единую цельную картину. Ощущение присутствия всех существ перед человеком на этот раз подкрепляется упоминаниями не о том, что он видит, а о том, что он в темноте их слышит, — «сверчки кричат»... Таким образом, птицы, рыбы, животные, насекомые в полном составе, «зело густо», в изобилии предстают перед Аввакумом, когда он лишен человеческого общества. Арестант или ссыльный оказывается не одиноким: перед ним насыщенный живыми существами мир природы. Такой смысловой оттенок в большей или меньшей степени характерен почти для всех эпизодов в «Житии», изображающих жизнь ссыльного или заключенного, хотя, нужно сказать, нигде он демонстративно не подчеркивается.

Отчего получилось вольное или невольное «сгущение» природы в описаниях Аввакума? Каким-либо прямым отражением реальных обстоятельств это литературное явление объяснить не удастся. Можно, например, предположить, что в приангарских и прибайкальских «горах» Аввакум обозревал местность с высокой «горы» и сверху мог увидеть многое сразу. Но такое предположение не подтверждается текстами. Аввакум нигде не охватывает мир с птичьего полета; всюду он рассказывает как нормальный ходок, не забиравшийся на вершины специально для широкого обзора местности. В каждый момент Аввакум описывал то, что представало перед ним в непосредственной близости, а не в далекой перспективе. Следовательно, не какое-то особо возвышенное положение реального наблюдения послужило причиной «густоты» пейзажей Аввакума.

Тогда не оказали ли влияния на писателя некоторые жанровые традиции в описании «густой» природы? К перечневому изложению богатств природы очень часто прибегали авторы так называемых «географических», в особенности сибирских отписок XVII в. Первооткрыватели — купцы, служилые люди, путешественники — в своих отписках перечисляли растения, животных, рыб и пр., которые водились в тех или иных местах, и картины, действительно, получались «густыми». Сибирские летописи XVII в., использовавшие документы, обратились и к этому способу обобщенного изображения местностей. В различные «хождения», в отдельные жития XVII в. с сильной документальной основой подобная манера описания также проникла. Вполне возможно, что Аввакум усвоил распространившийся способ изображения природы.

И все-таки между перечнями в отписках и рассказами в «Житии» есть существенная разница. В отписках элементы природы перечисляются обычно безотносительно к автору или наблюдателю, существуют сами по себе. У Аввакума же природа обильно раскрывается обязательно в присутствии героя, перед героем. В отписках важна информация о природных ресурсах края, в писаниях Аввакума главное — это рассказ о положении героя.

Разумеется, не Аввакум открыл в литературе сопровождение человека природой. Но, пожалуй, ни в каких древнерусских произведениях природа, сопровождающая героя, не предстает такой «густой» и насыщенной, как в «Житии» Аввакума. «Сгущение» природы перед наблюдателем у Аввакума нельзя полностью свести к какой-либо литературной традиции. В данном случае перед нами индивидуальное творчество самого Аввакума. Притом творчество не бессознательное, результаты не случайные. Иначе эпизоды подобного содержания и в сходной форме не повторялись бы в «Житии» и в других сочинениях протопопа.

Художественное представление писателя о «густой» природе перед одиноким героем примыкает к представлению, о «густой» окруженности героя людьми и предметами. В подтверждение сходства представле-

ний приведем дополнительные наблюдения над рассмотренными уже отрывками из «Жития». Вспомним, например, эпизод в «полатке» Андроньева монастыря, где протопоп, «во тме сидя, кланялся на чеши» (16). Мыши, тараканы, сверчки, пожалуй, образуют тесный круг вокруг кланяющегося протопопа. Недаром в редакции Б в этом месте писатель говорит: «сверчки кричат и около меня ползают» (98). Создается впечатление, что существа располагаются около узника близко, на расстоянии его кланяющегося туловища, его вытянутой руки. Впечатление замкнутого окружения поддерживается тем, что прочие персонажи в эпизоде действуют в такой же тесноте, в пределах вытянутой руки. Ангел появляется в «полатке» перед Аввакумом совсем рядом и легко дотягивается до протопопа рукой: «...и взяв меня за плечо, — рассказывает Аввакум, — с чепью к лавке привел, и посадил, и лошку в руки дал...» Протопоп все время находится от ангела на расстоянии протянутой руки. Затем Аввакума выводят из «полатки», и он снова попадает в тесный круг, на этот раз «никониан», которые протопопа «за волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь торгают, и в глаза плюют» (16). Ранее мы упоминали об этой картине: «никониане» и спереди, и с боков, и сзади дотягиваются до узника руками, дерут его, толкают, дергают. Животные и насекомые в рассматриваемом эпизоде не исключение: они также тесно сомкнулись вокруг протопопа.

Впечатление окруженности героя животными возникает и в другом эпизоде, отрывок из которого уже цитировался. В сибирской тайге козы, олени, изюбри, лоси, кабаны, волки «гуляют» перед протопопом как бы все сразу одновременно и настолько близко, что к ним тянется рука — «во очию нашу, а взять нельзя!» (22). Правда, и в этом отрывке «Жития» представление о круговом движении животных и о вытянутой руке очевидца выражено смутно. Все зависит от истолкования значения слова «гулять» и в особенности слова «взять» в данном контексте. Возможно, что слово «взять» здесь имеет не только абстрактное значение «получить, овладеть», но и сохраняет оттенок пространственный — «протянуть руку, схватить рукой». Проследим за употреблением слова «взять» в ближайших фразах того же эпизода: «А се бегут человек с пятьдесят, взяли мой дощеник и помчали... Привели дощеник, взяли меня палачи, привели...» (22). Это «взять» — «взять руками». Так что Аввакум, действительно, намекает по крайней мере на свое близкое, измеряемое вытянутой рукой, соседство с «гуляющими» животными.

Несколько явственней это ощущение досягаемости рукой до животных, бегающих вокруг героя, выражается, когда Аввакум упоминает о каком-нибудь орудии в своих руках. Например, повествуя о тюрьме в сибирском Братском остроге, где он «все на брюхе лежал: спина гнила», писатель отмечает: «Мышей много было, я их скуфьею бил, — и батюшка не дадут дурачки!» (25, ср. 179). Эта фраза опять вносит уже

знакомый нам пространственный изобразительный оттенок в описании: мыши от лежащего узника на расстоянии взмаха руки.

На этот раз нет повода сомневаться в том, что на самом деле именно так близко животные окружали заключенного или сосланного протоппа. Но симптоматичен способ, к которому тяготеет Аввакум, описывая это тесное окружение, — через косвенное упоминание протянутой руки. Почему именно руки? Вряд ли тут дань какой-нибудь литературной традиции. Видимо, представление о протянутой руке героя, почти дотрагивающегося до животных, представление, пусть расплывчатое, полусознанное, руководило Аввакумом, когда он рассказывал о человеке, лишенном общества людей. Природа «сгущенная», насыщенная, не только являлась перед героем, но тесно подступала к нему. Подобное представление Аввакума составляет комплекс с представлением писателя о постоянной окруженности героя людьми и предметами. Это части единого представления Аввакума о насыщенном предметном окружении энергичного героя в мире. Если нет людей, то героя тесно окружает «густая» природа; отсутствует природа — плотно окружают люди.

Ощущение сомкнутости с природой правомерно присоединяется к комплексу представлений Аввакума о насыщенном предметном окружении героя в мире, составляя уже совсем расплывчатый компонент в составе представлений писателя о радостной или трагичной «густоте» мира вокруг энергичного героя. Энергичного художника энергично же окружает предметный мир.

1977 г.

4. СУМРАЧНЫЕ ОТТЕНКИ В ПЕЙЗАЖАХ АВВАКУМА

Сумрачное ощущение выразил в «Житии» протопп Аввакум, в частности, в сибирских пейзажах — даурском и байкальском, притом преимущественно своим словоупотреблением.

Описание природы и животных Даурии Аввакум начал с горестного восклицания: «О, горе стало!» (21. Редакцию А далее цитируем без специальных оговорок.)¹ Обычно Аввакум уточнял, кому именно приходилось испытывать горе: «Ох, горе мне!» Без такого уточнения

¹ Цитируемые произведения: «Житие» Аввакума, редакция А — РИБ, т. 39; «Житие» Аввакума, редакция В — Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова. Л., 1975;

горе мыслилось всеобщим, что подтверждал контекст аналогичных восклицаний: «Охъ, горе! Всякъ... да блюдется» (16), «люди голодные... Охъ, времени тому!» (26), «горе, горе, братия... намъ живущимъ... О горе, горе и увы, братие, яко время зло наступило на ны» (803). Первой же фразой был задан горестный тон описания Даурии.

Далее рассказывалось о местных животных, из которых первыми Аввакум назвал змей, а они вызывали у него чувство опасности. В «Житии» и в других произведениях Аввакум отрицательно отзывался о змеях, видя в них «гада ядовитаго» (новонайденн., 198) и угрожающего: «съесть хоцетъ, яко змея» (42), «злонравие... в змее той, ползющей гадине» (новонайденн., 206), напоминал из Библии, каково было людям «уязвленнымъ отъ змей ядовитыхъ» (300) и как люди «отъ змей погибоша» (488). Даурский пейзаж был начат со зловещей детали, тем более что упоминались не просто змеи, а «змеи великие» (22).

Затем Аввакум перешел к описанию птиц: в даурских горах «витаютъ гуси и утицы» (22). Отрицательный экспрессивный оттенок имело слово «витаютъ», употребленное не без припоминания Псалтыри: «превитай по горам, яко птица» (X.1)², однако и не без дополнительных отрицательных ассоциаций. Слово «витать» в применении к какому-нибудь животному или существу означало у Аввакума пребывание без человека или вне человеческого общества, в «дебрях непроходимых». Например: «еродий, птица большая... витает со птицами на кедрах ливанских», то есть вне людей; конь — «или человек на нем едет, или просто в дебрях витает», то есть «витают» без человека, сам по себе (новонайденн., 196, 195). Если же подразумевалось неотступное присутствие человека, то тогда Аввакум пользовался не словом «витают» а иным: «О, душе моя! ...съ зверми дивими житие свое имеешь» (719). Так что гуси и утицы даурские «витают», не имея отношения к человеку, — Аввакум добавил еще один штрих в суровую даурскую картину.

Далее следовало отнюдь не нейтральное пояснение о своеобразии даурских птиц: «Тамо же вороны — черные, а галки — серые, — изменено при русских птицах имеютъ перие» (редакция В, 29). Слово «изменено» усиливало в рассказе оттенок неблагоприятности, ибо слова «изменить», «изменение», «пременение» и пр. в произведениях Аввакума всегда обозначали нечто резко отрицательное, изменение обязательно к худшему. Худшее имелось в виду, когда речь шла о переменах в церковных догматах, обрядах, книгах, иконах и одеждах: «образы, писанные по-немецкому. Да и много же у нихъ изменение... и ризы измененны» (287). Когда говорилось о переменах в социальном поведении: «аще же

сочинения Аввакума кроме «Жития» — РИБ, т. 39; сочинения новонайденные Аввакума — Житие протопопы Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Тексты памятников подгот. Н. С. Демкова. Иркутск, 1979.

² См.: Демкова Н. С. Источники и параллели к текстам (комментарий) // Пустозерский сборник, с. 235—236.

рабъ изменить подражание» своему господину, то это «укорно» (583). Когда сообщалось о переменах в людском настроении: «изменился весь, зыблется весь, зыблется, тужит и плачет» (новонайденн., 208). Когда указывались перемены в природе: «еще же и воздух изменяет: овогда студень, овогда сухо бывает и не подаст влаги на плоды земныя» (новонайденн., 202). И об изменчивости внешнего вида животного Аввакум писал тоже в осудительном контексте: «есть в мори рыба многоножица, пронырлива глубоце, изменяет вид своего естества... Мног же дробной живот, аки бы не разумив, заплывает в челюсти ея, она же поглотающе. Тацы мнози суть человецы во градах пронырливы, коварни суть, пременяются на нравы различныя, друг друга оманывая... изменяют лица своя» (новонайденн., 201).

Последующее сообщение о птицах в «Житии» внешне противоречило складывающемуся сумрачному образу Даурии: «гуси и утицы — перие красное» (22). Однако «красные» предметы у Аввакума предвещали опасность или горе: было «древо красно видениемъ» и «красенъ бе и добръ в снеть... плодъ» его — «смоковь красная», но они «уморили» Адама (540, 551, 670); была «тыковъ... красна и лепо», но суждено ее «червю ночному подгрысти, и изсше изъ корени» (478); хотя «трава и крины — красные», но они «засыхають» (674) и т. д. Упоминание Аввакумом «перия красного» даурских птиц, пожалуй, добавило в повествование оттенок настороженности.

Затем Аввакум перешел к характеристике даурских зверей: «На техъ же горахъ гуляютъ звери многие» (22). Метафора «гулять» у него означала неприятно-одичалое отчуждение от людей. Ср. словоупотребление Аввакума в сходном эпизоде его другого произведения: «Миленкой дитятко, где ты гулял? Не слыхат было про тебя. В лесу болшо ты, Алексей, бродил и в разселинах каменных или по холмамъ скакаль?» (947).

В даурском пейзаже звери предстали совершенно равнодушными к людям. Аввакум даже досадовал на недоступность даурских зверей: «Во очию нашу, а взять нельзя!» (22). Ср. явно горестное восклицание Аввакума по поводу аналогичной недоступности воды в замерзшем озере: «Воды добыть нельзя... Охъ, горел!» (46).

Мотив отчужденности природы от человека, скрыто выраженный, присутствовал в даурском описании. Недаром Аввакум трижды подряд упомянул о дикости встреченных птиц и зверей: «дикие... птицы разные... звери многие дикие... бараны дикие» (22).

Ландшафтные детали в пейзаже также передавали тяжелое авторское чувство: «Горы высокия, дебри непроходимыя, утесъ каменной, як стена, стоитъ, и поглядеть — заломя голову!» (21—22). Ср. далее в «Житии» аналогичное горестное перечисление: «Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, пальки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие... Охъ...» (26). Сумрачными выглядели даурские горы. Человек остановлен: утес «яко стена стоитъ». Упоминание

стены обозначало преграду движению. Ср. в других произведениях Аввакума: «преграды и стены» (286), «на стене — стой тутъ неподвижно» (270). Человеку физически неудобно перед даурским утесом: «заломя голову». Ср. то же значение у аналогичных выражений в других сочинениях Аввакума: бес «завернулъ мою голову. Аз же томяся» (редакция В, 70), бес «завернулъ мне голову. Азъ же едва-едва могу отдохнуть» (690), бес «мне завернулъ голову... Только издыхания стало» (935). Слово «заломить» имело отрицательный смысл, как и все связанное с насильственным ломанием. Ср.: «ломилися в избу, хотя меня взять» (19), «понеси да ломай... осуждай въ ссылки» (459), «пьянъ бывъ, реветъ да ломаетъ» (647), «мучить, душить и ломать» (новонайденн., 210).

Завершалось изображение Даурии жалобой Аввакума: «На те горы выбиваль меня Пашковъ со зверми, и со змиями, и со птицами витать» (22). Слово «выбивать», конечно же, указывало на крайние неприятности. Ср.: «дворъ у меня отнялъ, а меня выбилъ, всего ограбя» (II); «исполняя зависти, збилъ меня с тово места» (редакция В, 231); «выбился из силы, вспотель» (редакция В, 232). Слово же «витать» — по отношению к людям, а не к животным — обозначало скудное, нищенское существование отшельников. Ср. аналогичное, но более поясненное место в другом сочинении Аввакума: «безъ одеждъ, наги, и безъ пищи человеческия... миленкие голубчики со зверми витали» (510). Это слово Аввакум применял именно к отшельникам: «витают святии мужие и жены» (новонайденн., 224). Или, в крайнем случае, к изгоям: «Нищимъ и сиротамъ... витати» (417). Когда же жизнь изгнанника казалась менее тяжелой среди зверей, чем среди никониан, то Аввакум вместо горестного «витати» употреблял более нейтральное слово «жити»: «Отраднее бы ему было со змиями и со зверми в расселинахъ каменныхъ живучи, нежели з гордыми в пещерахъ одныхъ» (482). Весь даурский пейзаж содержал массу разнообразных, правда, скупо и неотчетливо выраженных, но все-таки накапливающихся горестных оттенков и передавал ощущения неуютности, отчужденности, отчаяния: «Грустко гораздо» (24). Аввакума везли в ссылку, это окрасило его в общем-то энергичные воспоминания о Даурии.

Второй — байкальский — пейзаж в «Житии», уже в повествовании о возвращении Аввакума из ссылки, был гораздо бодрей, но и в нем отразилось авторское ощущение безлюдности природы. Упоминание о невиданной высоте прибайкальских гор, возможно, обозначало у Аввакума прочную огражденность этого края от человека, и оттого он отметил, что около гор, на берегу озера, путники «насилу место обрели» для высадки (42). Замечания о том, что на этих горах дворы, строения и насаждения — «все богоделанно», даже «конопли — богорасленные», также указывало на исконное отсутствие здесь людей. Еще одна деталь — «во дворахъ — травы», то есть дворы заросли травой, — служила признаком заброшенности того места. Указания Аввакума на то, что «птиць зло

много, гусей и лебедей, — по морю, яко снегъ, плавають... А рыбы зело густо в немъ», обозначали безлюдный глубокий покой, непо потревоженность животных человеком. К сожалению, об этих смыслах описания Байкала, не выраженных явно, можно только догадываться. Зато в иных эпизодах «Жития» неспугнутое обилие животных существ явственно связывалось с одиночеством протоппа. Ср. в «темной полатке»: «Никто ко мне не приходилъ, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричатъ, и блохъ довольно» (16). В «студеной тюрьме»: «А человецы далече окрестъ меня ходят и поглядеть на тюрьму не смеютъ. Мышей много у меня было... блох да вшей было много» (редакция В, 32).

Рассказ о Байкале Аввакум завершил кратким поучением, используя высказывания Иоанна Златоуста³: «А все то у Христа-тово-света наделано для человековъ» и пр. Однако знаменательно, что Аввакума беспокоил именно тот «человекъ, суete которой уподобится», который избегает мирной и обильной природы, остающейся, таким образом, безлюдной. О суетных людях, избегающих благ природы, Аввакум написал в настоящем «вечном» времени, не сулящем перемен в будущем: «исчезает, и не вем, камо отходит». В «Житии» и других произведениях места своей ссылки Аввакум называл вечно «пустыми» (38, 702, 724, 727 и пр.). В обоих пейзажах, даурском и байкальском, можно выделить сумрачный элемент в преобладающей борцовской настроенности автора.

Свидетельства сумрачного авторского настроения рассеяны по всему «Житию». Аввакум время от времени упоминал о живости горестных чувств в своей душе: «И нынеча мне жаль... какъ на разумъ придеть» (32), «охъ, душе моей тогда горко и ныне не сладко» (35), «и смех и горе, как помянутся дние оны» (редакция В, 33), «увы, грешной душе! Кто дастъ главе моей воду и источникъ слезъ, да же оплачу бедную душу свою» (27). Аввакум наставлял постоянно помнить о душевном напряжении и о горестях: «Намъ надобе вся сия помнить и не забывать» (49), «ну, помни же себя, что нетъ тебя ни со што» (редакция В, 76). Наконец, Аввакум оправдывал — цитатами и своими словами — неотвратимость горя ныне и в будущем: «Многими скорбьми подобаесть намъ внити во царство небесное» (23), «на томъ положено, ино мучитца веры ради Христовы... люби же и терпеть, горемыка, до конца» (28), «терпение убогих не погибнет до конца» (редакция В, 74) и т. п. Думается, что сумрачность, не являясь ведущим качеством, все же была присуща личности Аввакума, хотя бы тогда, когда он писал и редактировал свое «Житие».

1993 г.

³ См.: Демкова Н. С. Источники и параллели к текстам, с. 238; Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963, с. 258—259.

II

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ЖИТИЯХ

Несомненный эстетический интерес представляют описания внешности персонажей в памятниках. Научных работ по этой теме мало¹. Мы берем лишь древнейшие жития, самые основные, всего 25 произведений, в их числе 15 древнерусских, староболгарских и старосербских житий, еще 9 переводных сочинений, вошедших в состав общеславянской литературы и переписанных, в частности, в знаменитом «Успенском сборнике» XII—XIII вв., и еще — единственное древнечешское славяноязычное, а не латинское, «Житие Вячеслава».

Первая и главная особенность житий того периода — описание внешности героев было неразвернутым, но всеобъемлющим. Всегда находились слова, дававшие оценку внешности в целом. Автор мог упомянуть, например, «дъщерь красну» («Житие Константина», 5)², и эта шаблонная оценка уже передавала какое-то представление о внешности

¹ См., например: *Никольская А. Б.* К вопросу о «словесном портрете» в древнерусской литературе // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934, с. 191—200; *Трифонов Ю.* Иоанъ Екзархъ Български и неговото описание на човешкото тело // Български прегледъ: Списание за славянска филология. София, 1929, кн. 2, с. 165—202; *Трифунувич Дж.* Портрет у српској средњовековној књижевности. Крушевац, 1971.

² Цитируемые произведения: «Житие Вита» — Успенский сборник; «Житие Вячеслава» — *Никольский Н. К.* Легенда мантуанского епископа Гумпольда о св. Вячеславе Чешском в славяно-русском переложении. СПб., 1909; «Житие Епифана», оба — Успенский сборник; «Житие Еразма» — Успенский сборник; «Житие Иоакима Сарнадапорского» — *Новакович С.* Прилози к историји српске књижевности // Гласник Српског ученог друштва. Београд, 1867, кн. 5, свеска 22 старога реда; «Житие Иоанна Рыльского», так называемое народное — *Гильфердинг А. Ф.* Собрание сочинений. СПб., 1868, т. 1; «Житие Иринии» — Успенский сборник; «Житие Константина Философа», пространное — *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930; «Житие Наума Охридского», оба — *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930; «Житие Пахомия» — Успенский сборник; «Житие Симеона Неманя» Савы Сербского — Списки св. Саве / Издао их В. Чорович. Београд, 1928; «Житие Симеона Неманя» Стефана Первовенчанного — *Чорович В.* Житије Симеона Неманье до Стевана Првовенчаного // Светосавски зборник. Београд, 1939, кн. 2; «Житие Февронии» — Успенский сборник; «Житие Феодосия Печерского» Нестора — Успенский сборник; «Житие Христофора» — Успенский сборник; «Сказание о Борисе и Глебе» — Успенский сборник; «Сказание чудес Бориса и Глеба» — Успенский сборник; «Слово о первых черноризцах печерских» — Летопись по Лаврентьевскому списку; «Успение Кирилла Философа» — *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930; «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора — *Абрамович Д. И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг.,

девушки. Автор жития мог восхититься «светящимися красотама блаженнаго уноши» («Житие Вячеслава», 16) и тем самым выразить ощущение сияющей юношеской красоты.

Даже краткие замечания об одежде очень проясняли внешность человека: виделся монах — «приеть чръньчський образъ» (первое «Житие Наума», 182), «приель иночьскый образъ» («Житие Иоанна Рыльского», 128), «расою обить» (то есть рясою обвит. «Житие Симеона» Савы, 169), либо мирской человек, облеченный «въ одежу славьну и светьлу, яко же е лепо боляромъ», или «светель отрокъ въ воиньстей одении» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 84, 101), или женщина, которую «въ ризы многоценьны облече... и вонями помазавъ» («Житие Христофора», 181).

Упоминания наготы тоже делали облик цельным: «раздравъше ризы ея, и пъртици препоясавъше, поставиша предъ вьсеми нагу» («Житие Февронии», 240). Оговорки о физическом состоянии тоже помогали представить облик персонажа: «отроча 7 летъ, утрапиво и зело исъхло» («Житие Иринии», 153).

Рисовалась вся фигура человека, когда агиограф прямо или косвенно упоминал о «всемъ» герое: например, выражение «вьсь слъзами обляивъ ся» («Сказание о Борисе и Глебе», 49) означало, что подвижник залит слезами во весь свой рост.

Агиографы именно «видели» человека: «Видехъ... мужа высока видъмь и красьна добротую» («Житие Христофора», 185), «видехъ подружие свое боляще, огнем люте держиму» («Чудо Георгия о болгарине», 257), «видя и нага» («Житие Константина», 13), «видяще ница въ одежи худе» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 110), «азъ же глядавъ и смотривъ всихъ, видехъ едину краснеишу всехъ... украшену вельми монисты златыми, и бисеромъ, и вьсею красотою» («Житие Константина», 2).

Тело являлось безусловно самым часто упоминаемым компонентом внешности людей почти во всех житийных произведениях. Тело своих героев как реалию агиографы упоминали на протяжении всего изложения, начиная с юности: «бе унъ тельмъ... бяста бо уна теломъ» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 6—7), «узревъ философа уна теломъ» («Житие Константина», 6), «мужъ говейнъ ун сы тельмъ» («Житие Епифана» Иоанна, 263). Будущий подвижник думал о том, как «се вьспитати прьстьное ми тело» («Житие Симеона» Стефана, 44), «растыи убо тельмъ» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 74). Агиографы дивились красоте и крепости тела героя: «тельмъ бяше красьнъ...

1916; «Чудо Георгия о болгарине» — Динев П., Куев К., Петканова Д. Христоматия по старобългарска литература, 3-е изд. София, 1974; «Чудо Георгия о змие» — Рыстенко А. В. Легенды о св. Георгии и драконе в византийской и славянорусской литературах. Одесса, 1909.

крепкъ тельмь» («Сказание о Борисе и Глебе», 58), «бе бо и тельмь крепъка и сильна... бяше бо и тельмь благъ и крепкъ» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 75, 87), «бе же тельмь блаженни Вить румянь, яко огньнъ, и красьнъ зело» («Житие Вита», 225), «свърьшено тело имущи» («Житие Февронии», 231), «красьна тельмь, яко чудити ся вьсемъ человекомъ о доброте ея» («Житие Иринии», 135). Тело мучеников светилось и белело: «Ти видеша тело блаженою... и беста, акы снегъ, белеющаяся» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 17), «святяше же ся тело его, яко снегъ» («Житие Вита», 227), «и се, яко луча солнечная, тако просвете ся тело ея» («Житие Февронии», 248).

Агиографы следили за тем, какой ущерб телу героя был причиняем во время жизненных испытаний, прегрешений и мучений. Тело слабело: «начать тельмь утьрпывати», «красота тела твоего увядаетъ» («Сказание о Борисе и Глебе», 44, 51, 48—49), «бе бо раслаблень тельмь» («Слово о первых черноризцах», 188), «трудень сы тельмъ и болень» («Житие Константина», 26—27). Враги подвижников, мучители и преступники претерпевали то же: «И начать оканьнии ть пенити ся и тело его растаяше ся, яко снегъ отъ уга» («Житие Христофора», 187), тяжкий грех «раждизаетъ тело» («Житие Епифана» Поливия, 290). Агиографы отмечали и сравнительно небольшие неудобства телу подвижников, например, от холодной или жесткой одежды либо от вериг: «довълеетъ едина свита на телеси» («Житие Епифана» Поливия, 271), «тело честеише власяницею подь ризами цесарскими облачашеся... бось и пещь к нивамъ своимъ идяше» («Житие Вячеслава», 26), «железу же узьку суцю и грызуцю ся въ тело его» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 78). Агиографы со вниманием описывали добровольные и насильственные «язвы святого тела» героев, «таяния тела», то, как «телеса мучить»: «Убивае тело свое мразомъ и бурюю», «обнаживъ тело свое до пояса... отъ множества же овада и комара все тело его покръвено будяше и ядыху плоть его», «чюдное тело мое повеле острьгати», «мечемъ и огньмъ погублю тело твое... тело Февронино тако съсечено», «тело же... аки от песь растерзася» и т. д. и т. п. («Житие Февронии», 246; «Житие Симеона» Стефана, 66; «Чудо Георгия о змие», 26; «Житие Иоанна Рыльского», 127; «Житие Феодосия Печерского» Нестора, 87; «Житие Еразма», 214; «Житие Февронии», 242, 245; «Житие Вячеслава», 56). Бывало так, что у мученика после истязаний «на теле его ни едина рана не обрете ся», «ни единого же вреда не имыи на теле своемъ» («Житие Еразма», 214; «Житие Вита», 227).

Провидя свою смерть, подвижник «омочивъ все тело свое слъзами пречьстными... поливае слъзами тело свое» («Житие Симеона» Стефана, 50, 52). Затем агиографы описывали мертвое тело. Вот его положили, повергли, метнули наземь, и вот тело лежит — таких указаний делалось множество почти во всех житийных произведениях. Нередко следовал эпизод: «И лежа тело светому не ведешу никому же», тогда

тело начинали искать и «видеше тело светаго» («Житие Иоанна Рыльского», 130). Тело оказывалось целым: «тело святого то же не врежено пребыть... цело» («Сказание о Борисе и Глебе», 55), «и обретохъ чьстье тело его цело и невредимо» («Житие Симеона» Савы, 172), «и се тело плотию и еще цело явися и от всех язвъ, бывших на немъ, ицелено... не гневше, ни стлевше, но ицеленами язвами» («Житие Вячеслава», 62, 64).

Следующий этап из истории тела: подвижник «лежаше мъртвъ, и тело его готовляху къ гробу» («Житие Еразма», 216) — целая церемония. Как показывали писатели, тело хранили или стерегли, — «следимъ окрестъ телесе его» («Житие Симеона» Стефана, 52), пока за телом не прибывала достойная депутация. Тело брали и несли, «да въздвигнуть тело... и донесуть е» («Житие Февронии», 245). Тело несли и клали «на месте знаменито» или «на явлене месте» («Житие Февронии», 246; «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 16). Вокруг тела разыгрывались горестные сцены: кто «преклонъ колене надъ тельмъ, възъпи гласомъ велиемъ» («Житие Еразма», 216), а кто «върже ся на тело блаженнаго» («Сказание о Борисе и Глебе», 48) и «осяза ему все тело» («Житие Епифана» Поливия, 277), иные и того больше — «припадъше къ телу, въпияху» («Житие Февронии», 245—246; «Житие Симеона» Савы, 171) и даже «облобизав же пакъ... тело» («Успение Кирилла», 156).

Заключительные картины в житиях относились к омыванию и одеванию тела подвижника: «и вечеру бывъшую умывъше святое тело» («Житие Февронии», 246). Правда, иногда этого не делали, если подвижник завещал: «Ни же омывайте убогаго моего тела» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 129). И вот «тело святаго мученика помаза муръмь и понявицею обить» («Житие Христофора», 187), «съкутавше тело блаженнаго» («Житие Симеона» Стефана, 53), «събъра святая телеса ихъ и съ вонями повить» («Житие Вита», 229). Наконец, тело хоронили, погребали, «спрятавше», «затворивше» или даже «заклепше» от людских взоров — об этом повествовали все жития. История тела героя проходила перед глазами агиографов.

Слово «тело» писатели употребляли в качестве обозначения именно всего человека в целом, всей его фигуры, всего его облика, с головы до ног. Части тела всегда мыслились в теснейшей с ним связи: «Бе бо раслабленъ теломъ... и червье въкыняхуся подъ бедру ему» («Слово о первых черноризцах», 188), «Селинь рече къ ней: „Азь... погублю тело твое“... и повеле врачу пьрси ея отрезати» («Житие Февронии», 242), «и никто же его николи же виде... воду възливающа на тело, разве тъкмо руце умывающа» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 97—98), «съвьршено тело имущи, светълъмь лицъмъ» («Житие Февронии», 231), «бе же тельмъ блаженный Вить румян, яко огоньъ, и краснь зело, очи же ему, яко луча солнечная» («Житие Вита», 225) и т. п. Цельным, но неразвернутым представлением о телесном облике человека была проникнута вся древнейшая житийная славянская литература.

Вторая особенность описаний внешности человека в X—XII вв.: все тело, стоящее или лежащее, агиографы стихийно членили на последовательные части — верх, середину, низ. Таковы были их главные пространственные ассоциации, отражавшие цельное представление о теле. Более подробного, четырех- или пятичастного деления не прослеживается как распространенного принципа описания. Например, в «Житии Иоанна Рыльского» автор сообщил, что Иоанн «бие пръси свое, и колене прекланяе, и слъзы точе постомъ и бдениемъ, убивае тело свое мразомъ и бурю» (127). В этом эпизоде, хотя смутно и сбивчиво, но все-таки в относительном членении обозревалось все тело Иоанна — от середины, от персей, и до низу, до колен, и от низа до верха, до слез на лице. В «Житии Феодосия Печерского» автор рассказал о преследовании одного благочестивого юноши его знатным отцом: «Имъ сына своего божествънааго Варлаама... сънъмъ съ него святую мантию... иже бе на главе его... облече въ одежду славьну и светьлу... Онъ же съврже ю долу... То же повеле отецъ его съ гневъмъ съвязати ему руце и одети и въ преже реченую одежду... Варламъ... съврже одежду съ себе и своима ногама попирашеть ю» (84). Расплывчатый облик Варлаама вырисовывается в данном отрывке: его голова, то покрытая, то обнаженная, руки, которые связаны, ноги, которыми он попирал одежду.

Склонность агиографов к цельному обозрению тела через указание трех частей проявлялась в важнейших местах житий, и прежде всего при изображении мученичества героя: «повеле въбити еи въ пяте 300 гвоздii, и, насыпавъше вретиче песька, възложиша на плечи ея, и въложиши еи въ уста бръзды» («Житие Иринии», 152) — пяты, плечи, уста, то есть низ, середина, верх. Изображение смерти подвижника также сопровождалось объединительной детализацией его тела: «Лице весело имыи... нозе простърь и руце на пъръсьхъ кръстообразне положъ, предасть святую ту душу въ руце Божие» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 130) — лицо, верх, затем ноги, низ, и руки на груди, средняя часть. Чудеса и исцеления людей различными святыми тоже побуждали агиографов представлять цельное человеческое тело в трехчастном членении: «имша за руку... прекрестиста... ногу его... Люди же... видеша, яко ни устну можеть отврести» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 22—23) — нога, рука, уста, то есть три части тела человека обозначены снизу доверху.

Однако двухчастные, менее детализированные обозначения тела встречались в гораздо более многочисленных эпизодах житий. В сущности, двухчастным являлось известное описание внешности Бориса в «Сказании о Борисе и Глебе»: «Телъмъ бяше красьнъ — высокъ, лицъмъ круглъмъ, плечи велице, тьнъкъ въ чресла, очима добраама, весель лицъмъ, борода мала и ус — младъ бо бе еще, светь ся царьскы, крепкъ тельмъ...» (58) — указаны верх тела, лицо, очи и пр., затем его средняя часть — плечи, чресла, но низ тела не упомянут.

Трудно сказать, ощущалась ли писателями незавершенность цело-го в двухчастных описаниях внешности. Во всяком случае, однажды было обращено внимание на подобную неполноту изображения человека, правда, на иконе: «Како... вы, аще лице до прьсии токмо будеть, иконную честь ему творяще, не стыдитесь?» Но тут же объяснялось, что незаконченное изображение все равно обозначает цельный «образ»: «А икона отъ лица образъ являеть и подобие того, его же ради будеть писана» («Житие Константина», 5—7).

Так или иначе, но при обозначении внешности очень достойного, уважаемого человека агиографы предпочитали указывать лишь две крайние части его тела. Верх и низ: «Очи твои право да зрите, и вежди твои да помагае праведна, права течения твори твоима ногама» («Житие Симеона» Савы, 166), «виде... лице еи, и платъ на главе еи по челу, и падъ на ногу еи» («Житие Пахомия», 212). Низ и верх: «нъ тъкмо, Господи, нозе, нъ и главу» («Житие Симеона» Стефана, 46), «обувъ нозе свои и умывъ лице свое» («Сказание о Борисе и Глебе», 47), «облобыза честней нозе его, и паки въставъ, обуимъ выю его» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 7), «лъвъ предъ ногама его паде и языкъмъ своимъ отираше потъ лица его» («Житие Вита», 228).

Если герой молился, то авторы тоже обычно упоминали два телесных элемента, чаще — колени и слезы: «И преклонъ колене свои на зьмлю съ слъзами» («Житие Симеона» Стефана, 56), жития были заполнены «бесчисльными коленопреклоненьми... и топыми слъзами» («Житие Иоакима», 248). Или же упоминались руки и слезы: «И въздвигъ къ Богу руце свои и сътвори молитву съ слъзами» («Житие Константина», 35), «въздевь руце, начеть съ слъзами глаголати» («Житие Симеона» Савы, 168). Встречались упоминания рук и коленей: «въздевьши руце горé и преклонивъши колене» («Житие Февронии», 235).

При изображении болезней, заточений и казней тоже присутствовали два элемента, чаще всего руки и ноги героев: «бывъшимъ съкърчене рукама и ногама» («Сказание чудес Бориса и Глеба», 64), «лазе на руку своею, влачаше по себе нозе свои» («Житие Симеона» Савы, 58), «руками же и ногами оковани люте же» («Житие Вячеслава», 64), «обе руце отсеци Февронии и десную ногу» («Житие Февронии», 244) и мн. др. В эпизодах внезапных освобождений от заточения и мук упоминались те же руки и ноги: «И веригы разрешаюте от ногах и рукахъ» («Житие Наума» второе, 183).

При изображении раскаяния неправедных мучителей и горя мирских людей снова выделялись два элемента — руки, которые били по лицу или голове: «рукою бити своею лице свое» («Житие Еразма», 216), «ударяя дланию въ чело» («Житие Вита», 228).

В этих случаях цельный облик человека создавался всем произведением. Сочетания из двух элементов в текстах житий использовались во всех мыслимых вариантах, сумма которых вела к полному целому.

Например, в «Житии Феодосия Печерского» Нестора, помимо полной трехчастной характеристики облика Феодосия, присутствовали все варианты двухчастные. То указывались верх и низ тела Феодосия, очи и колени: «Начахъ прилежно Бога молити, — рассказывал Феодосий о своей борьбе с бесами, — и часто поклонение коленомъ творити... яко же отъ того часа не бояти ми ся ихъ, аще предъ очима моима являхуть ми ся» (99—100). То обозначались верх и середина тела Феодосия, слезы на лице и перси: «съ слъзаами учааше... бия въ пърси своя» (127). То середина и низ Феодосиева тела, руки и ноги: «Не дада рукама своима, ни ногама покоя» (96) и т. д.

Так же отражалось цельное представление о теле, например, в «Житии Симеона» Стефана. То облик Симеона охватывался снизу доверху, колени и слезы: «и поклонише колене... съ слъзами» (41). То выделялись верхняя и средняя части тела Симеона, очи и руки: «Он же въздвигъ очи и руце свои» (25). То части средняя и нижняя, руки и ноги: «Оковаше ему руце и нозе» (22). Взгляд автора, в сущности, скользил по всему телу Симеона, с головы до ног.

Двухчастными сочетаниями иногда досконально размечалось все тело героя. Так, в «Житии Иринии» изложение следовало от плеч к устам мученицы: «вретище песька възложиша на плещи ея и възложиша ея въ уста бръзды» (152). Затем — от плеч к ногам: «испаду же гвоздие из ногу и вретище песька съ плещю ея» (152). И в заключение — от ног к устам: «и къ ногама ея припадъ... Блаженная же... отвързъши уста своя» (154). Общий результат — цельное тело.

Однако в житиях преобладали указания на всего лишь одну часть или на один член тела. В сумме, за этими, казалось бы, изолированными, одиночными реальными указаниями стояло то же самое представление писателей о человеческом теле в целом. Вот отчего в житиях безусловно чаще всех прочих элементов называлось тело в целом, а также ответственные элементы каждой из трех частей тела: верхние — лицо, очи, средние — руки, нижние — ноги. Например в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора чаще всех повторялись указания на тело (14 раз), на руки (9 раз), на ноги (7 раз) и на очи героев (5 раз). В «Житии Февронии» чаще всех упоминались тело (10 раз), руки (12 раз) и ноги (9 раз). В «Житии Феодосия Печерского» руки (19 раз), тело (14 раз) и лицо (6 раз). В «Житии Вячеслава» — руки (13 раз) и тело (12 раз). В «Сказании о Борисе и Глебе» — тело (16 раз) и слезы (9 раз). В «Житии Симеона» Стефана — тоже тело (11 раз) и слезы (7 раз). В относительно небольших произведениях пропорция в частоте упоминаний сохранялась: например, в «Сказании чудес Бориса и Глеба» чаще всех упоминались тело (9 раз), руки и ноги (по 7 раз) и очи (5 раз), в «Слове о первых черноризцах печерских» тело упоминалось 4 раза, а очи, руки и ноги — по 3 раза, все остальное — реже. Тело, лицо и руки многократно упоминались в 22 из 25 названных житийных памятников, а ноги — в 18

произведениях. Иначе говоря, славянские агиографы представляли облик своих героев не отрывочно, не изолированными частями, а цельно, с головы до ног.

Третья особенность: из трех уровней человеческого тела внимание писателей больше всего было сосредоточено на верхней части. Верх тела героев упоминался в подавляющем большинстве житийных эпизодов, а в половине всех житий из 25 — всегда, как только речь заходила о теле человека. В многочисленных характеристиках тела перечень элементов верхнего ряда редко когда количественно уступал перечню элементов ряда среднего или нижнего. Чаще всего их было поровну, вроде таких сочетаний: «помазовати ему главу, и по лицу, и по рукамъ, такожде и пръси» («Житие Иоакима», 251) — два элемента верхней части тела, голова и лицо, и два элемента средней части, руки и грудь. Или: «И съжигаху ребра ея. Феврония же на небо възведъши очи... извесивъши языкъ... Сквърньныи Селинъ повеле зубы ея ис корене избити... И повеле врачу пръси ея отрезати... и имъ за дъсныи съсъць девицу» и т.д. (242). Элементы верхней и средней частей тела все время численно соответствовали друг другу по ходу повествования: ребра — очи; затем язык, зубы — груди, сосцы. Взгляд писателя равномерно переходил выше — ниже.

Во многих эпизодах житий сдвиг писательского внимания был явно в сторону верха. Например, в известном описании внешности Бориса из «Сказания о Борисе и Глебе» (58) перечислялись четыре элемента верхнего ряда тела — лицо, очи, борода, усы, но лишь два элемента среднего ряда — плечи, чресла. В эпизоде из «Жития Христофора» — «и власы своя распостъръ кругъмъ главы, и лице свое на колену положъ» (178) — указывались три элемента верхних — власы, глаза, лицо, но лишь единственный элемент нижний — колени. В «Житии Вячеслава» говорилось: «Мечь из руку ужасьшася слугы диаволя испаде, иже... святыи Вячеславъ... за власы держа и потрясая главою его» (54) — даже у мимолетного персонажа — одного из мучителей Вячеслава — писатель больше внимания обращал на верх тела, голову и волосы, чем на остальное.

Кстати говоря, у этого персонажа рука оказалась поднятой: «Онъ безумныи... изнесъ воскоре мечъ на святого главу верхъ» (53—54) — рука как бы тоже принадлежала верху тела. Подобные случаи возвышения рук были нередки: «Он же въздвигъ очи и руце свои» («Житие Симеона» Стефана, 25), «онъ же въздевь руце свои» («Житие Симеона» Савы, 168), «и въздвигъ к Богу руце свои» («Житие Константина», 35), «рукою бити своею лице свое» («Житие Еразма», 216) и мн. др. В таких отрывках речь шла уже только о верхе тела.

Для агиографов были характерны эпизоды со сосредоточением исключительно на верхе тела своих героев, без упоминания прочих частей тела: «Сльзами лице свое омочивъ... и преклонивъ ему вию свою и... отъеть власи главы свое» («Житие Иоакима», 252). Глава, власы, лицо, слезы, шея — упомянуты только верхние члены. «И дръжащ свя-

тааго руку, прилагааше къ вреду, имь же боляше на шии, и къ очима, и къ темени» («Сказание чудес Бориса и Глеба», 62) — голова и шея. «Положи на выи моеи грешней... и положивь на главе моей... Аз же... съ слъзми глаголахъ» («Житие Симеона» Савы, 167) — автор вспоминал только о голове с шеей. «Яви ся предъ людьми мужь... глава его, яко песья, а власи его превелици простърти, очи же его, акы звезда утрянная, и зубы его измьлять, аки веprü дивьему» («Житие Христофора», 178) — описана только голова страшилища. «И възревъ къ нимъ умиленама очима, и спадъшемъ лицьмъ, и въсь слъзми обливься» («Сказание о Борисе и Глебе», 49) — описано только лицо героя. «Кама бо очима омраченый азъ смею узрети... или которима устнама призову» («Житие Симеона» Стефана, 24) — автор тоже говорил только о лице. «Мужь голоусь, светель, и не можахъ зрети на лице ему» («Чудо Георгия о болгарине», 256) — снова о лице. «Святыи же Еразмъ... на небо възвожа очи свои... пресвятеи ланите его...» («Житие Еразма», 217) — о лице. И т. д.

Наиболее часто в житиях упоминалось примерно 15 элементов тела: 7 верхних — голова, волосы, лицо, очи, слезы, уста, шея, 5 средних — плечи, руки, грудь, ребра, чресла и 2 нижних — ноги и колени. Предпочтительное внимание писателей к верхней части тела героев было бесспорным.

И, наконец, четвертая особенность описаний XI—XII вв.: тело человека как статическая данность не интересовало агиографов, которые отмечали лишь то, что двигалось, действовало, менялось. Покажем это на примере «Сказания о Борисе и Глебе». Тело человека в целом и его части редко когда мыслились автором в неизменности их качеств: тело — честное (44, 48, 55), слезы — горькие (47), глава — святая (50), седины — добролепные (44) — вот, пожалуй, и все обозначения немногих неизменных свойств. Прочие эпитеты и метафоры «Сказания» относились к телу человека, которое меняется внешне. Оно крепкое, красивое и светлое (44, 45, 55, 58), но оно слабеет, «утърпаеть» у человека горюющего или ужасающегося (44, 51, 54), но «красота тела... увядаетъ» (48) у больного или раненного человека, а потом и чернеет тело, «яко же обычаи имуть телеса мъртвыхъ» (55). Борис «лицьмъ круглъмъ» и «весель лицьмъ» (58), но он же в горе становится «спадъшемъ лицьмъ» (49).

Тело и его части упоминались в «Сказании» преимущественно тогда, когда они являлись объектом или участником активных действий. Тела страдальцев ранили и пробивали: «И без милости прободено бысть чьстьное и многомилостивое тело святого и блаженааго Христова стратотърпыца Бориса, насунуша копицъ оканьнии» (48). Голову приподымали: «начать въскланяти святую главу свою» (50), отсекали и отбрасывали: «и отъсекъше главу, отъвъргоша ѿ кромѣ» (49). Седины целовали (44). Лицо заливали слезами (44, 47, 51). Очами эти слезы выпускали (47) и очами зрели (49, 51). Уста открывали (46). Руки воздевали (54) делали ими дело или хотя бы что-то в них держали: «обнажены мечи

имуще въ рукахъ своихъ» (51). Ноги обували (47), ногами шли (49), колени преклоняли (52) и т. д. Человек ни одним членом тела не пребывал в бездействии.

Да и отдельное описание, казалось бы, застывшей внешности Бориса в «Сказании» тоже рисовало человека, готового к действию и действующего: он полон сил — высок, широкоплеч, молод, крепок, от него исходит сияние энергии — «светя ся цесарьскы... акы цвѣть цвѣтыи въ уности своеи... и благодать Божия цвѣтяше на немъ», он и поступает как надо — «покаряя ся при всемъ отцю... въ ратьхъ хъбър, въ съветехъ мудръ, и разумънь при всемъ» (58). И во многих других житиях внешность героев выявлялась через их действия и движения.

За изображением агиографами XI—XII вв. внешности человека раскрывается особенность их мироотношения: каждый объект описания воспринимался ими как некая отчетливая цельность, в которой они выделяли лишь немногие, важнейшие части, преимущественно даже какую-нибудь одну главную часть, притом энергично действующую. Опять-таки типично «Сказание о Борисе и Глебе». Например, жизнь князей была обрисована как цельная картина, составленная из важнейших частей. Главное содержание княжеского «жития» подчеркнуто автором: «славы ради... слава мира сего... чьсти... гърдения». «Слава» дана в ее динамичном воплощении — в одеяниях, пирах, поездках, чествованиях и прочих церемониях.

Какого бы предмета ни касался автор «Сказания», он его представлял цельно, выделяя преимущественно одну, с его точки зрения, самую существенную и притом динамичную черту. Главное у коней — на них сидят: «въседъ на конь» (50), «на кони седети» (54). Звери — свирепые: «сверѣпа звери» (51), «сверѣпии зверие» (52). Обнаженные мечи блестят: «блистание оружия и мечьное оцещение» (48), «обнажены меча... бльщаща ся» (51). Оружие пронзает сердце: «прободоста и мечьмъ въ сердце» (50), «оружие ихъ вънидетъ въ сердца» (53), «бысть копиемъ въ сердце въдруженъ» (55). Свеча горит и светит: «свеще горуще» (54), «видѣша светъ и свеще» (55), «свеще въжъгыше... да светить» (56). В житиях использовалась масса подобных лапидарных штампов.

Можно говорить об особом, «широком» стиле мышления агиографов X—XII вв.: какой бы ни была главная тема жития и как бы ни проповедовал агиограф отречение от мирского, но он держал, не научился еще не держать, в поле зрения весь христианский мир и порывался затронуть множество явлений, событий, лиц, предметов, не углубляясь в изолированное описание чего-либо одного. Ср. сформулированную Д. С. Лихачевым одну из особенностей «стиля монументального историзма»: «Произведения литературы поражают своей энциклопедичностью, стремлением рассказать сюжет от начала и до конца, передать мировую историю „от Адама“ или от Вавилонского столпотворения до настоящего времени, рассказать об устройстве мира в целом и т. д.»; «охватить воз-

можно шире мироздание в целом, видеть в каждой детали всю вселенную (своеобразный „универсализм“ видения); «идейно человек стремился охватить весь мир»³. Вероятно, оттого целый ряд житий агиографы начинали с сотворения мира, а автор «Сказания о Борисе и Глебе» стремился сначала рассказать о делах Владимира, крестителя Руси, и о его детях.

Влияние подвижника, мученика, святого агиографы распространяли на весь мир: «Тако и си святая постави светити въ мире премногими чудесы сияти в Русьскеи стороне велицеи... и не ту единде, нъ и по вьсемъ сторонам и вьсемъ землямъ преходяща» («Сказание о Борисе и Глебе», 56), «светило въ вьсемъ мире видимое» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 96), «по всемъ землямъ ходя величаа словесы проповедааше» («Житие Вячеслава», 70) и мн. др. Агиографы охотно повествовали о путешествиях святого и особенно о чудесах у его мощей: «творимая чудесы по истине ни вьсь миръ можетъ понести» («Сказание о Борисе и Глебе», 56).

Еще очень многое нужно исследовать в «широком», «каталогичном» стиле мышления славянских писателей X—XII вв., и не только по житиям, но, например, по поучениям и посланиям.

1988 г.

³ Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 1, с. 93, 294; т. 2, с. 20.

ЖЕНСКИЕ ЗАГАДКИ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XI—XIV ВВ.

В мировосприятии писателей XI—XIV вв. сохранились очень древние предубеждения, одно из которых, относительно женщин, отразилось в более чем 20 произведениях древнейшего периода, так или иначе касающихся женских загадок, вернее, женской иносказательной речи, связанной с загадками¹.

Древнерусские памятники вплоть до XIV в. внушали представление о тонкости владения женщиной языком, об их языковом хитроумии. Эту женскую способность определил сборник поучений «Измарагд»: женщина «глаголетъ бо-клюками» (121)², то есть говорит хитро, загадками, обиняками. Такая формулировка, приведенная в «Слове Иоанна Златоуста о добрых женах и о злых», относилась, судя по контексту, к женщинам вообще, а не только к «злым женам», и вряд ли принадлежала Иоанну Златоусту в этом сборном тексте, скорее всего, русского компилятора.

¹ См.: Митрофанова В. В. Русские народные загадки. Л., 1978, с. 7, 34, 37, 111—112. Много загадок и иносказательных речей из древнерусских памятников приведено в работе: Перетц В. М. Студії над загадками // Етнографічний вісник. Київ, 1932, кн. 10, с. 123—204. См. также: Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861, т. 2, с. 26—27; Колесницкая И. М. Загадка в сказке // Ученые записки ЛГУ Серия филологических наук. Л., 1941, вып. 12, № 81, с. 96—142.

² Цитируемые произведения: Апокрифы о Соломоне и Китоврасе, о Соломоне и Малкатошке — ПЛДР, т. 4 / Тексты памятников подгот. Г. М. Прохоров; «Вопросы апостола Варфоломея» — Пам. СРЛ, вып. 3; «Житие Феодосия Печерского» Нестора — ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Изборник» 1076 г. — Изборник 1076 года / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965; «Измарагд» — Памятники древнерусской церковно-учительной литературы / Под редакцией А. И. Пономарева. СПб., 1897, вып. 3; «Исповедание Евы» — Тихонравов, т. 1; «История Иудейской войны» Иосифа Флавия — Мещерский Н. А. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958; «Киево-Печерский патерик» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Параллели» Иоанна Дамаскина — Сперанский М. Н. Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности: Исследование и тексты. М., 1904. Приложения; «Повесть временных лет» — ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Повесть о Басарге и о сыне его Борзосмысле» — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. Я. С. Лурье; «Повесть о Варлааме и Иоасафе» — повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI—XII вв. / Изд. подгот. И. Н. Лебедева. Л., 1985; «Пчела» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. В. В. Колесов; «Слово о Меркурии Смоленском» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. В. В. Колесов; «Слово о полку Игореве» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Хождение Богородицы по мукам» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. М. В. Рождественская; «Чудо Георгия о змие» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. В. В. Колесов.

Сцены говорения «клюками» содержал целый ряд древнейших памятников. Женщины высказывались настолько ловко, основываясь на «незаметном» смысле слов, что мужчины даже не замечали предлагаемых им загадок и, конечно, попадали впросак. Например, княгиня Ольга в «Повести временных лет», в летописных статьях под 945 и 946 гг., в скрытой форме задавала древлянам четыре загадки подряд, используя многозначность семантики предметов и обычаев³. Отсюда двусмысленность ее словоупотребления, полностью еще не разгаданная.

Вот рассказ о ее первой мести древлянам за убийство ее мужа. Ольга предложила древлянским послам: «А ныне идете в ладью свою, и ляжете в лодьи, величающесе... и възнесутъ вы в лодьи» (70). Ольга недаром послала древлян именно лечь в ладью — чтобы несли лодью с лежащими мертвецами. Ольга задала загадку древлянам об их похоронах. Но древляне не поняли, вернулись на ночь в ладью, пролежали и сами подтвердили приговор, будто они мертвы. Оставалось их действительно похоронить, что наутро и было сделано, хотя ничего не заподозрившие древляне гордо сидели в ладье, пока не «вринуша е в яму и с лодьею» и не похоронили заживо.

В речах Ольги содержались и другие вскользь или в необычной последовательности упомянутые детали, которые снова и снова подтверждали взгляд на древлян как на мертвецов. Древляне же невольно принимали правила этой страшной игры. Ольга, в частности, обещала древлянам: «Но хочю вы почтити наутрия предъ людьми своими». Почему утром? Потому что вечером не хоронят. Она заверила древлян, убивших ее мужа: «Уже мне мужа своего не кресити; но хочю вы почтити...» В устах Ольги слово «почтити» получало зловеющий смысл, который ясно раскрылся немного далее. Ольга, «приникъши» к могиле, куда сбросили еще живых древлян, спросили: «Добра ли вы честь?» Древляне ответили: «Пуще ни Игоревы смерти». То есть «честь» — это «бесчестная смерть». Таково женское говорение «клюками» в рассказе о первой мести Ольги древлянам.

В слишком кратком эпизоде о второй мести двусмысленность Ольгиных слов почти не выражена, но она вновь проявилась в более подробном рассказе о ее третьей мести. Древляне спросили Ольгу: «Кде суть дружина наша, ихъ же послахомъ по тя?» Ольга ответила: «Идутъ по мне съ дружиною мужа моего» (70, 72). Но что значит выражение «идуть... съ дружиною мужа моего»? Почему Ольга употребила несколько странное словосочетание «дружина мужа моего»? Почему о заживо погребенных древлянах она сказала «идуть»? Потому что обе дружины были одинаково перебиты: дружина Игоря — древлянами, а дружина древлян — Ольгой. Древляне по милости Ольги действительно «идуть»

³ См.: Русское народное поэтическое творчество. М., Л., 1953, с. 165—167. Раздел написан Д. С. Лихачевым.

вслед за дружиной ее мужа. Ольга вовсе не пошла на примитивный обман, а ответила скрытой и довольно изощренной «загадкой».

Особенно острым выглядело языковое коварство Ольги в повествовании о ее четвертой мести древлянам. Она убеждала древлян, повторяя с необычной настойчивостью; «А уже не хоцю мѣщати, но хоцю дань имати помалу... Но мало у васъ прошю... Сего прошю у васъ мало... Да сего у васъ прошю мала» (72). Если вспомнить, что древлянского князя звали Мал (об этом в повествовании сообщено), то можно сообразить, что Ольга использовала каламбур и самую простую фразу превратила в загадку. Она снова не обманывала, добываясь уже не мести, а гораздо большего. Ольга потребовала от древлян их князя, то есть всей их независимости, которую и искоренила полностью. С тех пор о древлянах как о племени летопись не упоминает.

Тут же «Повесть временных лет» рассказала еще об одной хитрости Ольги — о том, как она «переключала» византийского царя (76). Склонность Ольги к говорению «клюками» показана в летописи выразительно и разнообразно.

По-видимому, не всяким, а лишь знатым женщинам вменялось в древности умение говорить «клюками». Так, в древнерусской переводной «Повести о Варлааме и Иоасафе» излагалась притча о богатом князе, полюбившем бедную девушку. На самом деле девушка только прикинулась бедной, чтобы проверить истинность чувств юноши, и на его вопрос отвечала: «Азь же убо ныня дщи суци старца убогаго» (174). В ее ответе вроде бы нет загадки, кроме незаметного, но странного слова «ныня», на которое юноша, разумеется, не обратил внимания: девушка только «ныня» бедна, а вообще-то она гораздо богаче юноши. Все кончилось благополучно. Но, оказывается, пресловутого «ныня» не было в греческом оригинале повести, его вставил древнерусский переводчик⁴, который и сделал девицу более словесно хитроумной, чем в греческом тексте. Подспудная мысль о том, что женщинам свойственно говорить «клюками», дала о себе знать и здесь. Показательно, что языковой тонкостью опять отличилась не простолюдинка, а какая-то очень знатная и необычайно богатая девица, женившись на которой, как подчеркнуто в повести, «юноша всехъ превзиде славныхъ и богатыхъ, суцих на земле» (175).

Когда же мужчины пытались задавать загадки, то они больше оперировали предметами, чем языком, и обходились без тонкой словесной игры и без незаметных слов, подсказывающих отгадку. Персонажи прямо объявляли: «Отгадывай загадки мои» — и формулировали их нарочито нелепо и туманно. Например, в апокрифе о Соломоне и Малкатошке: «Аще възрастетъ нива ножи, чем ю пожати можете?» (76) Или в «Повести о Басарге и о сыне его Борзосмысле»: «Много ли от востока до запада?» (572)

⁴ См. комментарий И. Н. Лебедевой: Повесть о Варлааме и Иоасафе, с. 272.

В женское глаголение «клюками» входили, конечно, и иные проявления языковой тонкости. Так, сродни загадкам выступали не прямые, а метафорические, «кудрявые» высказывания женщин. Примеров довольно много: от переводной «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия с едкими речами Мариам по поводу цесарской любви: «Любовь, юже имаше ко мне... — убити мя» (210), от «Повести временных лет», где Рогнеда (под 980 г.) грубо, но изысканно отказывала Владимиру Святославичу: «Не хочу розути робичича» (90), то есть не хочу выйти замуж и разувать сына рабыни, до «Слова о полку Игореве», где «жены руския въсплакашась, аркучи: „Уже намъ своихъ милыхъ ладь ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати“ (378), то есть мужья погибли. Красиво высказывались в произведениях, в том числе в «Слове о полку Игореве», и мужские персонажи, но более абстрактно-символически, более искусственно, более церковно. Позднее в памятниках литературы русские женщины, подобно мужчинам, тоже научились говорить символами и притчами, например, в «Житии Евфросинии Суздальской». Однако в древнейших произведениях женские речи отличались все же большей языковой языческой утонченностью, чем мужские, христианские речи.

«Глаголали клюками», как правило, молодые женщины. Так, молоденькая отроковица, царская дочь, отвечала не совсем на то, о чем спрашивал Георгий Победоносец. Вот он, возвращаясь из похода, встречает отроковицу на берегу озера и спрашивает: «Что зде стоиши, отроковице?» А она говорит храброму и непобедимому воину: «Отойди, господи мой, отсюду, скоро отойди, да не зле умреши» («Чудо Георгия о змие», 522). Это фактически загадка, и Георгий далее без успеха пытается отгадать, какая опасность угрожает, пока отроковица ему то сама не растолковывает.

В общем, женщины выделялись догадливостью. Они, как отметил Ф. И. Буслаев, считались способными отгадывать руны: «Под именем рун разумелись не только письма, но и таинственные изречения. В древнейшую пору чтение рун предоставлялось только избранному классу людей. Замечательно, что особенно женщинам приписывалось это почетное умение»⁵.

Еще одним проявлением интригующей языковой одаренности женщин, притом уже чаще незнатных, признавалась необычайная бойкость, неустанность и изобилие их речевой деятельности. Ева в апокрифическом своем «исповедании» признавалась Адаму: «Азь есми уста отверзох, и языкъ мой во мне сам глаголаше» (299). Наставления женам помолчать хоть немного повторялись неоднократно. Добрая жена хороша тем, что «уста же своя мирно отверзаеть» («Слово Иоанна Златоуста о добрых женах», в «Измарагде», 120). Некий вздох слышался в

Буслаев Ф. И. О литературе: Исследования. Статьи / Изд. подгот. Э. Л. Афанасьев. М., 1990, с. 124.

афоризме: «Часть блага, дание Господне — жена молчалива» («Параллели» Иоанна Дамаскина, 35). Злоязычные и сварливые женские персонажи нередко действовали в древнейших памятниках. Вот, например, сценка: «Вышла по воду некая девица... и начат святого нелепо бранити», невзирая на то, что этот святой шел, неся в руках свою отсеченную голову («Слово о Меркурии Смоленском», 206). Женщину, за то, что она всю жизнь «слагаючи словеса неприязнена», помещали в ад «висящу за зубъ, и различныя змия исхожаху изо усть ея» («Хождение Богородицы по мукам», 170).

Женщины, которые не обладали умением говорить «клюками» или отказывались от «язычности», выглядели в литературе на редкость топорно и напоминали мужчин, вроде прямолинейной и яростной матери в «Житии Феодосия Печерского» Нестора, которая, по замечанию автора, действительно, была повадками и «тельмь... яко же и мужъ» (310). Такие женщины не имели успеха ни в чем.

Ни изысканное говорение «клюками», ни простая «язычность» женщин не вызывали положительных чувств у древнерусских писателей XI—XIV вв. По отношению к подобным женским качествам у мужчин преобладало опасение на грани страха, древнего языческого ужаса. Ведь даже кроткая, но апокрифическая Богородица предупреждала окружавших ее апостолов: «Аще начну глаголати, огонь изидет из усть моих и поясть вы» («Вопросы апостола Варфоломея», 110). С сумрачным сарказмом отзывался другой апокриф (о Соломоне и Китоврасе): «Женский языкъ мякокъ — кость ломить» (68). Отсюда лейтмотив древнерусских поучений и наставлений — об опасности женщин: «Языку убо женнину не веруй» («Измарагд», 121), «уне жити въ пустыни съ львомъ и съ змиею, неже жити с женою лукавою и язычною» («Пчела», 518). И следовал даже такой крайний совет: «Паче же всего достоить человеку въздръжати ся отъ беседъ женьскихъ» («Изборник» 1076 г., 469), «да николи же речеши слова никацей жене в животе своем» («Киево-Печерский патерик», 552). Мир, как дом, разделялся мудрецами на мужскую и женскую половины, и общение не рекомендовалось. Это был тупик, который древнерусская литература преодолела, как это ни парадоксально, в страшное время Ивана Грозного. Тогда-то на литературной сцене появилась незнатная дева Феврония, которая своими загадками уже привлекала мужчин, а не губила или ужасала их. Но это уже иная тема⁶.

1993 г.

⁶ Библиографию работ по «женскому вопросу» см.: *Пушкарева Н. Л.* Женщины Древней Руси. М., 1989. В более позднее время «женщина была менее „официальна“, ее изображение меньше подчинялось литературному этикету. И древняя русская литература знает удивительные по своей человечности образы тихих и мудрых женщин» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Л., 1987, с. 28).

«ЖИВОСТЬ» ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ XVII В.

1. «ЖИВОСТЬ» ДРАМАТИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ 1670-Х ГОДОВ

Выделение новых художественных черт русской литературы второй половины XVII в. удобно начать с первых пьес русского театра 1670-х годов.

Укажем на важнейшее из таких качеств — подвижность персонажей. С небывалой подробностью и детальностью авторы пьес изображали внешние, физические действия людей. Персонажи у авторов пьес много передвигались, пребывали в постоянном движении. Они не представляли перед зрителями, уже расположившимися на сцене, но выходили на глазах у зрителей, шли по сцене, уходили и приходили непрерывно в течение представления. Об этом свидетельствуют авторские ремарки в текстах пьес и сами речи героев. Первая «сень» первой же пьесы «Артаксерсова действия» начиналась с торжественного выхода действующих лиц. «Выдут, — сообщалось в ремарке, — царь Артаксеркс, Мемухан, Мерес, Харсена, Сефар, Мегуман. И сядет царь Артаксеркс с теми своими князьми, и начинают говорить». Заканчивалась первая «сень» уходом одного из героев. «Немедленно иди», — повелевал Артаксеркс, Мегуман отвечал: «Аз пошел», и уходил (105—108)¹. Такое построение «сений» многократно повторялось в «Артаксерсовом действе» и в последующих пьесах.

Целый процесс выхода героев предусматривали и пьесы Симеона Полоцкого. Например, драма о Навуходоносоре открывалась ремаркой «Изыдет Навуходоносор с боляры и слугами шестию человек, а вооруженных вои за ним станет шесть же человек. Царь убо, сед на месте уготованном, начнет глаголати». А в конце пьесы герои публично покидали сцену: «И отидут за завесы» (162, 170).

Впечатление активности героев усиливалось еще оттого, что в течение одной только «сени» неоднократно приходило и уходило несколько разных лиц. Например, в одной из «сений» «Артаксерсова действия» придворный Гатах трижды появлялся на сцене, предупреждая собесед

¹ Цитируемые произведения: «Артаксергово действо» — РРД, т. 1 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк; «Жалобная комедия об Адаме и Еве» — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и А. С. Демин; «Иудифь» — РРД, т. 1 / Текст памятника подгот. Е. К. Ромодановская; «Комидия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. А. С. Демин; «Малая прохладная комедия об Иосифе» — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и А. С. Демин; «О Навуходоносоре-царе» Симеона Полоцкого — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. А. С. Демин; «Темир-Аксаково действо» — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк.

ника: «И ты мало и zde потерпи, аз отхожу», «жди zde», — вновь удалялся и снова приходил. А в пьесе Симеона Полоцкого о блудном сыне даже в кратких эпизодах число проходящих и отлучавшихся было особенно велико — слуги, купец, богатый господин, приказчик, пастухи, блудный сын и пр. Герои почти не останавливались.

Малоподвижных персонажей не было. Недолгая задумчивость героя обязательно прерывалась приходом кого-либо. Только задумается Артаксеркс «о семь же, что есть мое житие», как приходит Есфирь и события вновь захватывают царя (205). Или, например, Темир-Аксак, «сedia и на коленях моляшеся», только начинал произносить первые слова молитвы, — как прибежал караул и объявлялся «всполох» (86). Если герою мешали двигаться, насильно препятствовали тому, чтобы он уходил со сцены, опускали его в ров, как Иосифа, хватали его, задерживая, как Вильга Иосифа, или привязывали к столбу, как Ахиора, и оставляли в пустынном месте, то тут же на сцену прибегало множество «людей глаголющих», воинов (в «Иудифи», 393), или слуг (в «Малой прохладной комедии об Иосифе», 114), и действие развивалось дальше.

Пребывание каждого персонажа на сцене было заполнено обилием передвижений, действий, поз, жестов. Герои, появившись на сцене, многократно кланялись и преклоняли «колена свои» (ср. многочисленные ремарки): «били челом», иногда до земли (блудный сын говорил отцу: «Отче любезны! Се ти челом бию, под твое нозе преклоняю выю», 144); вставали и вскакивали; поднимались в спускались по ступенькам (Мардохей в «Артаксерксовом действе» просил разрешения «токмо две ступени отступити», 128); оглядывались, показывали и «помаали» рукой (ср. ремарки в «Иудифи», 447; «Темир-Аксаковом действе», 90; «О Навходоносоре», 165).

Герои на сцене находились в состоянии энергичного физического действия. Искали друг друга (например, архангел Гавриил искал на сцене спрятавшегося Адама: «Взыскую, ничтоже обретаю. Адаме! Адаме! Где еси ты?.. Не слышиш ли, Адаме! Изыди! Где еси ты?», 128). Шептали друг другу на ухо (Мардохей говорил Есфири «словце токмо, во ухо», 130). Обнимались, «напад на выю» (так отмечено в ремарке пьесы о блудном сыне, 156) и целовались. Притом эти поцелуи на сцене иногда имели ясно выраженный любовный характер, как, например, «лобзания» Артаксеркса, целовавшего Есфирь (206). Герои ели и пили, и зрители, судя по ремаркам, видели, как герой «принимает стокан», «наполнивши»; «держит кубок в руке и говорит» или уже «приходит, скачючи, имея в руках две крушки вина и поет» («Темир-Аксаково действо», 88, 75; «Иудифь», 446; «Комидия притчи о блуднем сыне», 145). На сцене заключали сделки, бив по рукам, и считали деньги («Зде по рукам бьют... Зде считают», — сообщали ремарки в пьесе об Иосифе, 101—102). Зрители видели, как герои «сядут играти», одни — «в зерни», «прочии — в

карты, в тавлеи», как «будут добро проигравати», меняться одеждами и пр. (пьеса о блудном сыне, 147 и сл.).

Особенно насыщены физическими действиями были сцены стычек драк и казней персонажей, когда, например, «о землю ударят и бьют по ногам» («Иудифь», 441), «падут на землю обои; бьют и вопят» («Темир Аксаково действие», 72), или когда все вдруг нападали и грабили одного «Зде вси крикнут: „Емлим, емлим, емлим!“ И расхитят останки» («Комидия притчи о блудном сыне», 150). На сцене «вязали людей (пьеса об Иосифе и Навуходоносоре, 102, 167) и обыскивали настолько рьяно что один из обыскиваемых кричал: «Что же сие движение и осязание Коего беса ищещи тамо!» («Артаксерксово действие», 165).

Не менее многообразными были уходы героев со сцены. Герои уходили, качаясь («пойдет, сланяся», — говорилось в одной из ремарок о блудном сыне, 147); падали в обморок, «обомирали» (ср. пьесу об Иосифе, 104). Заключенный бился головой так, что «голову всю сокрушил и мозг видеть» («Темир-Аксаково действие», 91). Повешенный метался и содрогался, и палач, глядя на него, говорил: «Виси же, движесея... мечи ся, здрогнися» («Артаксерксово действие», 242).

Жизнь персонажей выражалась не только в грубых, заметных перемещениях и телодвижениях, но и во множестве мелких движений нередко относящихся к области мимики. Герой не только «трепещет от страху» (пьеса об Адаме, 128) или «глаголет, дрожаще, яко бы ужаснувся» («Иудифь», 327), но выражает это более тонко. Все детали поведения персонажей, конечно, невозможно было исчерпывающе описать в ремарках, но многое сверх ремарок предусматривалось драматургами и поэтому косвенно отразилось в речах героев. Так, например, можно восстановить то, как Астинь в «Артаксерковом действе» выражала смятение, выслушав царский указ о ее изгнании, потому что о ее растерянности вспоминал затем один из придворных: «Вспоминаю на ея горки: слезы... како очи тамо абие водою заплылись, яко к тому отдыхати не могла, како к земли упала, яко рыдая стояла и так жалобно жалела» (122). По-видимому, выразительны были мимика и вздохи Олоферна который, по словам одного персонажа, в течение «больши трех часов.. овогда уста отверже, въздыхающе; овогда же очеса свои перемени, розде жену сушу» на Иудифь (453). Менялась в лице и Вильга в пьесе об Иосифе, и это отмечалось во всеуслышание: «Истинно вижу, — говорил ее супруг, — яко лицом переменялась ... или ея и некая нужда предстоит о ней ж никому явно чинити не хочет?» (113). Лицо героя не было маской, его выражение все время менялось.

Первые драматурги вполне сознавали особенность своих творений и в предисловиях к пьесам почти постоянно упоминали о «живости» персонажей. «Яко Артаксеркс, еще и мертв», — свидетельствовало, на пример, предисловие к «Артаксеркову действу», но пьеса — «того на жива представляет» (103). Предисловие к «Темир-Аксакову действу

содержало целое рассуждение о драматической «живости»: «И для того камедия нарицаетца мастерством, потому что она... живых персон в речении и ризах показывати приводит» (59—60). О «живости» действующих лиц предупреждал зрителей и Симеон Полоцкий: «Аки вещь живу узрит милость ваша», «то камидийно мы хоцем явити и аки само дело представити» (138, 162). Драматурги 1670-х годов сознательно с невиданной детальностью изображали действия, жесты, мимику персонажей. Вот такое подробное, можно сказать, живописание авторами физических движений героев мы, пользуясь эпитетом самих авторов пьес, будем называть «живостью» героев. «Живость» героев — это эстетический результат детального прослеживания авторами процесса действий человека.

«Живость» героев в произведении не следует смешивать с динамичностью произведения. Это различные качества. Существовали динамичные произведения без подробного изображения движений героев (к примеру, «Александрия»). Могли быть подвижны персонажи в нединамичном произведении (вроде «Домостроя»). О героях в памятниках иных жанров, кроме драматического, будем говорить далее.

2. ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ ГЕРОЕВ В ЛИТЕРАТУРЕ ДО XVII В.

Чем была вызвана «живость» героев в первых русских пьесах? Проверим прежде всего, не оказалось ли здесь решающим воздействие литературных традиций прошлого. Ведь и в прошлом герои литературы не были «мертвыми».

Правда, нам придется сопоставлять драматургию и прозу, первые пьесы и предшествовавшие им прозаические памятники. Но общий критерий для сопоставления, несомненно, существует. Это подробность, развитость описания движений и действий человека в текстах произведений, включая речи героев, ремарки, повествование от автора и пр. В самом деле, если в одном памятнике, к какому бы жанру он ни принадлежал, упомянуто лишь одной краткой фразой, что герой пришел откуда-то туда-то, то в этом случае действия человека остаются не описанными, фиксируется лишь результат его действий. Если же в другом памятнике, того же или иного жанра, будет сказано в большой фразе или в нескольких фразах о том, как пришел герой, как начал хождение, как шел и т. п., то в таком случае уже описывается сам процесс действия, его элементы и детали, и, следовательно, подробность описания данного действия больше. Тогда можно выяснить, в каком круге произведений «живость» героев сильнее, а в каком слабее или отсутствует. Сходные виды «живости» героев могут встречаться в разных жанрах, и, наоборот, разные виды «живости» могут присутствовать в произведениях одинакового жанра.

Так как наша цель состоит в доказательстве принципиальной новизны «живости» драматических героев для древнерусской литературы, то контрастный фон создают в основном памятники по XVI в. включительно.

Предлагаемый обзор видов «живости» героев не полон ввиду выборочного просмотра памятников XII—XVI вв. Для сопоставления с пьесами мы в первую очередь привлекали те повествовательные произведения, в которых наиболее велика вероятность найти примеры «живости» героев, обнаружить отрывки с подробным описанием движений и жестов персонажей. Это главным образом повести и сказания.

Но и при выборочном, неполном обзоре, как нам кажется, достаточно ясно вырисовывается основная черта: независимо от жанров и социальной ориентации в сочинениях до XVI в. включительно движения, жесты и позы героев описывались относительно редко и лаконично. Мы говорим о преобладающей тенденции (об исключениях и отклонениях скажем после).

Начнем обзор с явления, резко противоположного «живости» героев. Масса памятников до XVII в., особенно в XII—XIV вв., излагала преимущественно ход событий и речи героев, без подробного живописания действий человека в обыденной жизни, в быту. Обратим внимание, например, на поведение людей во время произнесения речей. В некоторых произведениях позы и движения героев лишь подразумевались, но не описывались непосредственно. Здесь уместно с драмами сравнить Библию, которая, как известно, послужила источником почти всех первых пьес русского театра. Но известна и классическая лаконичность Библии; на ее фоне «живость» драматических персонажей XVII в. разительна.

Можно сопоставить с пьесами комплекс древнейших сочинений, разрабатывавших и продолжавших библейские сюжеты, к примеру, апокрифы. Различия апокрифов и пьес, понятно, огромны и по форме, и по социальным тенденциям, и вообще по эпохам, их породившим. Но с точки зрения поэтики общая основа для сравнения пьес и апокрифов все-таки есть. Ведь большинство первых пьес тоже относится к комплексу произведений на библейские темы и в некотором роде представляет собой «апокрифы». Где же движения персонажей изображались подробнее? Ответить нетрудно. Лаконичность старинных апокрифов несомненна, действия персонажей в них также нередко лишь подразумевались. Так, в апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» Богородица, сойдя в ад в сопровождении архангела Михаила, очевидно, переходила от одной группы грешников к другой. Однако о ее передвижениях можно только догадываться по речам архангела: «И рече архистратиг: „Поиди, госпоже, да ти покажу где мучат ереи“ — и виде попы висяща» (121)¹. Опу-

¹ Цитируемые произведения: «Александрия» — Александрия: Роман об Александре Македонском по рукописи XV века / Текст памятника подгот. Я. С. Лурье и О. В. Творогов. М.; Л., 1965; «Артаксерксово действо» — РРД,

щение указаний на действия Богородицы повторяется в тексте апокрифа неоднократно. То есть движения персонажа не представляют важности и поэтому вообще не упоминаются.

Правда, в отдельных древнейших переводных житиях, непосредственно примыкавших к сочинениям на библейско-апостольские темы, вроде житий Феодора Тирона или Никиты-мученика, ощущается некоторое внимание авторов к телодвижениям и мимике главных героев. Перед нами, вероятно, отголоски византийской литературной традиции, не получившие на Руси распространения.

Но нельзя считать «живость» драматических героев способом изображения людей в XVII в., абсолютно противоположным всем предыдущим способам. Степень подробности повествования в произведениях до XVII в. могла быть и большей. В качестве примера привлечем повести XV—XVI вв. Разумеется, повести и драмы — жанры тоже очень разные. Но их объединяет существенное для нашего обзора свойство. В той или иной форме, с большей или меньшей церковной нравучительностью, это рассказы об интересных событиях, о занимательных перипетиях в жизни героев, в том числе и об их приключениях. Но на этом общем фоне видно, как все-таки по-разному в них изображались действия героев.

В повестях XV—XVI вв. нередко перечислялись основные действия людей в эпизодах. Так, в «Троянской истории» герои не просто прибыли

т. 1 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк; «Домострой» — Домострой по Коншинскому списку и подобным / Текст памятника подгот. А. С. Орлов. М., 1908, отдел второй; «Жалобная комедия об Адаме и Еве» — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и А. С. Демин; «История о великом князе московском» Андрея Курбского — РИБ, т. 31; «Иудифь» — РРД, т. 1 / Текст памятника подгот. Е. К. Ромодановская; «Казанская история» — Казанская история / Текст памятника подгот. Г. Н. Моисеева. М.; Л., 1954; «Комидия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. А. С. Демин; легенда о происхождении винокурения — Пам. СРЛ, вып. 1; «О Навходоносоре-царе» Симеона Полоцкого — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. А. С. Демин; «Об искушении бесом старца-страннолюбца» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть о Дмитрии Басарге» — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть о московском взятии царя Тахтамыша» — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть о новгородском белом клубуке» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть об осаде Пскова Стефаном Баторием» — Русские повести XV—XVI веков; послание Андрея Курбского Ивану Грозному — РИБ, т. 31; послание Ивана Грозного Андрею Курбскому — Послания Ивана Грозного / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев и Я. С. Лурье; М.; Л., 1951; поучения Даниила — *Жмакин В. И.* Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. Приложения; «Сказание о Мамаевом побоище» — Русские повести XV—XVI веков; «Слово о полку Игореве» — Слово о полку Игореве / Изд. подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967; «Темир-Аксаково действо» — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк; «Троянская история» — Троянские сказания: Средневековые рыцарские романы о Троянской войне по русским рукописям XVI—XVII веков / Текст памятника подгот. О. В. Творогов. Л., 1972; «Хожделение Богородицы по мукам» — Пам. СРЛ, вып. 3.

туда-то, но «в корабль входят, и парусы простирают, и пучине морстей последуют. И скоро к желаемым пределом — царства Троянского придут» (22); или в «Повести о Дмитрие Басарге»: «И прииде на корабль свой... взяв дары, и поиде ко царю, и ста пред царем, и рече...» (79).

Однако перечни действий, составляющие эпизод, в повестях XV—XVI вв. не превратились в детальное изображение человеческих движений, как было затем в драмах XVII в. Подробности движений и поз обозначались расплывчато. Их в повестях заменяли слова «много», «скоро», «всяко», «изрядно» и пр. Ср. в «Троянской истории»: «Сиде Уликс и Диомид ис полаты исходят, и на коне подвизаютца, и скорыми стопами к войску приходят» (35); ср. еще: «Инии скоро рещуще, изучени суще; а друзии от них на конех скоро ездяще... скоро и улучно без прогрехи стреляху» («Повесть о московском взятии от царя Тахтамышша», 44); или в «Казанской истории»: «И спешесе с ним на поле чисте внезапно, много бившесе с ним», «и плакашесе бо много, стонав» (57, 52); или в «Повести об осаде Пскова Стефаном Баторием»: «бе крик велик, и стенание много, и вопль несказанен» (147).

Заменяли детальное описание и различные «максимальные» по смыслу эпитеты: «възваша с радостью великою», «воплю и плачу велику бывшу зело», «с дары великими сретоша его» и т.п.² В других случаях детали замещались сравнением: «И начаша бегати казанцы сюду и сюду по улицам градным, яко буря морская» («Казанская история», 152). Сходный способ описания движений можно указать и в «Слове о полку Игореве»: «А Игорь князь поскочи горнастаем к тростию, и белым гоголем на воду, въвржеся на брѣз комонь и скочи с него босым вльком... и полете соколом под мъглами...» (55). Дальше этого литература до XVII в. в целом не пошла. «Живость» драматических героев XVII в. была качественно новым явлением.

Таково отличие пьес от предшествующих древнерусских повестей в способе изображения действий человека. Но в течение XV—XVI вв. накопились и многочисленные исключения. В отдельных памятниках встречались иногда выразительные описания поз, движений, жестов персонажей. Эти факты разнородны и тоже отличаются от бытовой «живости» драматических героев XVII в.

Живые детали при описании человеческого поведения проникали в письменные памятники прежде всего благодаря воздействию фольклора. Бесспорные примеры этого известны в «Повести временных лет», в житиях XIII—XV вв., в повестях XV в. — о Дракуле, о Петре и Февронии и т. д. Что касается придворных драм XVII в., то в них нет следов

² О стилистическом приеме «максимализма» см.: Творогов О. В. Стилистические особенности романа об Александре Македонском // Александрия: Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века. М.; Л., 1965, с. 182.

русского фольклорного влияния и, следовательно, «живость» драматических героев имеет иной характер.

Подробность некоторых мест в повестях и сказаниях XII—XVI вв. вызывалась также соображениями литературного этикета³. В повестях описывались действия, важные для средневекового церемониала. Указывалось, например, как начиналась дальняя поездка князя: «Тогда вступил Игорь князь в злат стремя и поехал по чистому полю» («Слово о полку Игореве», 46); или «Князь же... спеш с коня своего и пад на землю... и нача со слезами молитися... По молитве востав от земли, сед на конь свой и поехал...» («Сказание о Мамаевом побоище», 30).

Этикетными были рассказы о встрече хозяином почетных гостей: «Их же любезно целова, и тихим образом восприят, и по степенем мраморным на высокая места восходят, и в полатные комары входят» («Троянская история», 15); или: «Скоро истек встречи его... и охавившеся оба и плакашася много... и взявшеся за руже свои и поидоша в полату» («Казанская история», 69).

Традиционные были эпизоды плачей: «На постели своей сед, плакаше горко» («Александрия», 62); «и раздра верхняя ризы своя, и паде у гроба царева, власы своя терзающе, и ноготми лицо свое деруще, и в перси своя бьюще» («Казанская история», 98). Этикетно изображено недовольство у Александра: «Сие слышав, Александр образ свой изменяти начат, зубы своими скрежеташе и очима своима семо и овамо позирая» («Александрия», с. 59). Можно привести немало описаний разнообразных этикетных движений, жестов и поз из памятников XII—XV вв.

Однако в драмах XVII в. этикетных действий было немного, в основном, пожалуй, молитвы и поклоны. Персонажи заботились о том, «чиновно ль приступали» они к царю или царице («Артаксерксово действо», 113). Нетрудно убедиться, что «живость» драматических героев создавалась преимущественно за счет движений, которые с точки зрения этикета были просто незначительны. Кому раньше было интересно, как ест и пьет какой-нибудь солдат или слуга, как заплетается язык у опьяневшего царского полководца и он еле «припадает на одр свой» («Иудифь», 450), как выходит из себя и начинает «вопить» и «клясть» сам царь («Темир-Аксаково действо», 61, 84) или как агонизирует повешенный («Артаксерксово действо», 242)

«Фонд» движений драматических персонажей был неизмеримо шире этикетного. Авторы пьес интересовали не только этикетные, но, по признанию составителей «Темир-Аксакова действия», «многие потешные и разумительные дела, паче действия» (60). Недаром составители

³ О литературном этикете см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы, 2-е изд., доп. Л., 1971, с. 95—122. О воздействии этикета на описание действия князей см.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Л., 1970, с. 46, 48 и др.

сравнивали свою пьесу не с этикетным, а с «простотным поклоном» (91). Не случайно и авторы пьесы об Адаме и Еве видели в театральном зрелище ситуацию, «егда мы, простые человецы в зеркале рассмотримся» (116). Таким образом, пьесы XVII в. значительно отличаются от повестей XII—XVI вв. разносторонней «живостью» своих героев.

Живые детали в повествование древнерусских памятников вносили еще так называемые элементы реалистичности⁴. По определению Д. С. Лихачева, «элементы реалистичности чаще всего появляются там, где необходимо объективное изображение действительности, где нужно ее эмпирическое познание, где необходимо изменение действительности»; «писатель прибегает к реалистическому изображению действительности особенно там, где он критически настроен, пытается воздействовать на своих современников, изменить мир»⁵.

Элементы реалистичности не были характерны для каких-то определенных жанров. Они могли проникнуть и в отдельные летописные повести, и в отдельные церковные поучения, и в отдельные послания политического содержания. В этих разнородных произведениях для нас важен внешне сходный с драмами способ подробного изображения поведения людей, с деталями их движения, с обрисовкой жестов и пр.

Один из ранних примеров появления элементов реалистичности — рассказ об ослеплении Василька Теребовльского в «Повести временных лет» под 1097 г. В XVI в. умножилось количество ярких осудительных описаний того, как люди нарушали церковные, дипломатические, придворные, домашние и т. п. правила поведения. Эти картины хорошо известны. Митрополит Даниил в своих поучениях обличал развратника, обнимающего женщину: «...объем, целуеши, мызжеши и рукама осязаеши... аки бы ея внутрь себе вместити... употеваеши и пены испущаеши... яко жребець некий»; или показывал недостойное поведение в церкви: «...позеваеши, и протяжаяся, и ногу на ногу поставляеши, и бедру въставляеши, и потрясаеши, и кривляешися, яко похабный» (19, 10). Иван Грозный в послании Курбскому с яростью вспоминал о наглой позе боярина: «Едино воспоминаюти: нам бо во юности детская играющим, а князь Иван Васильевич Шуйской седит на лавке, локтем опершися об отца нашего постелю, ногу положи на стул»; или в ином послании иронически писал о кирилло-белозерских монахах: «Мы же своего чина не храняще, в мале поседим поникши, и потом возведем брови, таже и горло, и прием, донеле же в смех и детем будем» (33, 183).

А. М. Курбский в своих ответах Грозному также набрасывал сцены вызывающе греховного поведения человека, например: «Вскую так долго лежишь простерт и храпиши на одре, зело болезненном, объят будучи аки леторъгитцким сном?» (158)

⁴ Об элементах реалистичности см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы, с. 137—174.

⁵ Там же, с. 142, 151, 152.

Живыми деталями прежде всего иллюстрировалось именно то, как не надо себя вести. Подобные описания были обильны в «Домострое»: «А в церькви ни с кем не беседовати... никуда не обзыраяся, ни на стену не прикланяться, ни к столпу; ни с посохом не стояти, ни с ногу на ногу не преступати; руце согбени к персем...»; или: «А про всякую вину по уху, ни по видению не бити, ни кулаком под сердце, ни пинком, ни посохом ни колоти... А толко... плеткою вежливенко побить, за руки держа» (12, 37). В повестях и сказаниях XV—XVI вв. выразительные детали нередко встречаются при зарисовке именно различных греховных поступков. Например, поддавшись бесовскому искушению, старец начинает есть мясо: «Взем же старец мясо, и на части ссек, и прилежно мыв, посоли, и начат пещи» («Об искушении бесом старца-страннолюбца», по списку конца XV—XVI вв., 205). Еще подробнее зафиксированы действия человека, виновного в изготовлении хмельного напитка (легенда о происхождении винокурения, по списку XVI в., 137). Динамичны жесты особо нечестивых лиц, вроде папы римского, который «ужасеся страхом велиим, и нача браду свою терзати и кусати», «въскочи от сна весь трясыися», «яко пес, платно хотяще ухватити зубы своими и вотче себе в горло» («Повесть о новгородском белом клобуке», с. 294—295). Все это нравоучительные картины того, чему не надо подражать, чего надо избегать и т. п.

Можно ли считать «живость» драматических героев XVII в. результатом критических и воспитательных устремлений драматургов? Больше всего подходит для такого объяснения «Комидия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого. В послесловии к пьесе Полоцкий поясняет: «Юным се образ старейших слушати... Старим, — да юных добре наставляют» (160). Изображение разгула блудного сына в пьесе имеет открыто осудительный оттенок и сопровождается нравоучениями: «Кто сладко яст, пьет, въскоре обнищает... Кто отцу преслушник, не послушен Богу; за то тя обыдут скорби попремную» (150).

И все-таки ясно ощущается отличие «живости» героев в пьесах XVII в. от элементов реалистичности XII—XVI вв. Оно прежде всего в том, что «живость» изображения не была связана преимущественно с социально-критическими настроениями авторов, как это происходило в XII—XVI вв. Несмотря на то, что в ранней русской драматургии критические тенденции были выражены слабее, чем в произведениях XVI в., «живых», подвижных героев в пьесах было гораздо больше, чем ранее. Пьесы, в том числе «комидия» о блудном сыне, одинаково картинно показывали и отрицательные, и положительные явления; с одинаковой подробностью изображали действия тех персонажей, которые нарушают правила благопристойной жизни, и тех, которые остаются в рамках правил и приличий. Пожалуй, большинство движений, поз, жестов персонажей вообще были нейтральны по отношению к моральной оценке. Ме-

няться в лице, проявлять испуг или радость, вскакивать, садиться и пр могли и хорошие, и плохие герои.

Дело в различии целей. Драматурги XVII в. ставили перед собой более широкие и многообразные задачи, чем авторы произведений XII—XVI вв. с элементами реалистичности. Драматургов интересовали не столько утилитарные обличения конкретных пороков, сколько общие уроки истории, общие выводы из исторических и библейских событий «В комедиях многие благие научения, так же и красные приговоры выразумети мочно... — декларировало, например, «Темир-Аксаково действо». — А кто ис того научения прошлые прилучения увидит, тому впредь в забвении не будут... от таких припадков (примеров. — А. Д. можем узнать благоумия... чтоб всего злодейства отстать и ко всему благому приставать» (59—60). Вот почему с равной «живостью» в пьесах изображалось и хорошее, и плохое, зримое в обыденной жизни.

Кроме того, у драматургов было еще одно желание, как раз нехарактерное для строгих авторов произведений XII—XVI вв. с элементами реалистичности. Драматурги большое значение придавали занимательности и увлекательности своих произведений, «занеже комедия человека увеселити может и всю кручину человеческую в радость превратить» («Темир-Аксаково действо», 59). Симеон Полоцкий признавал что он сочиняет пьесы и «утехи ради», «во утеху сердец» (138, 161). На сцене русского театра пьесы чередовались таким образом, «чтоб... при потешных радостных комедиях и едину малую жалобную комедию при мешат» — ради вящей занимательности («Жалобная комедия об Адам и Еве», 116). Калейдоскоп «живых» героев в особенности способствовал увлекательности пьес.

Следовательно, бытовая «живость» героев XVII в. как литературное явление было сложнее и шире элементов реалистичности XII—XVI вв., хотя, возможно, какие-то импульсы получила и от них. Мы кратко указали важнейшие виды случаев подробного изображения движения человека в некоторых произведениях и жанрах древнерусской литературы (прежде всего в повестях). При более полном обозрении всех жанров и памятников XII—XVI вв., вероятно, найдется еще много новых фактов. Однако полагаем, что в письменности XII—XVI вв. не было чего-либо принципиально тождественного «живости» драматически героев XVII в.

Добавим еще один любопытный случай внешнего сходства с «живостью» героев. Андрей Курбский в «Истории о великом князе московском» упоминал иногда позы и жесты людей, но, как правило, не в предметном, а переносном смысле. Так, выражение «начал шептати ему в ухо» совсем не означало конкретного действия. Этой метафорой Курбский сообщал лишь, что одному герою долгое время наговаривали в другого. Или еще: «И возвратился тощима руками», то есть без успеха.

«Живость» героев — новое явление в русской литературе XVII в.

3. «ЖИВОСТЬ» ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ В XVII В.

Каковы же были основные причины «живости» драматических героев? Что заставляло драматургов изображать столь детально движения, позы и жесты персонажей?

Подробное изображение движений персонажей драматургами объясняется в первую очередь органической особенностью самой драматической формы. Насыщенность движениями и действиями как отличительная черта драматургии общепризнана со времен Аристотеля¹. И действительно, обилие движений драматических персонажей явственно выделяется при сравнении пьес 1670-х годов с современными им прозаическими и стихотворными переложениями тех же библейских сюжетов во второй половине XVII в. То, что, например, в «Артаксерксовом действе» рассказывалось об Артаксерксе, было самым подробным в изобразительном отношении описанием его действий (ср. «Хронограф» астраханского архиепископа Пахомия середины XVII в., «Хрисмологион» Николая Спафария 1673 г., «Виршевую библию» Мардария Хоникова 1679 г. и пр.).

Значение драматической формы оценили и на Руси, притом даже до того, как был заведен театр. Вот характерный случай. Когда в 1659 г. царский посол В. Лихачев, вернувшись из Флоренции, дал в статейном списке подробное описание виденного им театрального представления, то он ни словом не упомянул о содержании «комедии». Посол доложил царю лишь о том, что зримо «объявлялось» на сцене: «Объявились палаты... объявилось море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят... объявилось поле, полно костей человеческих, и враны прилетели... объявилось человек с 50 в латах и почали саблями и шпагами рубиться...» Столь странное, на наш взгляд, молчание посла о содержании «комедии» нельзя объяснить незнанием языка или непривычностью зрелища. Все остальное виденное и слышанное в Италии русский посол понял и передал отлично. Театр же интересовал В. Лихачева, так сказать, с формальной стороны. Он перечислил сценические картины, в которых люди, животные, природа казались живыми, настоящими: «...а аргамачки под коретами как быть живы, ногами подрягивают». Описание спектакля в посольском отчете следовало в ряду описаний различных итальянских «вымыслов мастерских» для имитации живого мира: яства, в которых «деланы», как живые, звери, птицы и рыбы; «шкату-

¹ Об этом же писали Г. Гегель и В. Г. Белинский. Ср. также: *Кургинян В. С.* Драма // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. М., 1964, с. 245—252; *Волькенштейн В. М.* Драматургия, 5-е изд., доп. М., 1969, с. 10, 183; *Карягин А. А.* Драма как эстетическая проблема. М., 1971, с. 65—66, 76, 150, 153; *Владимиров С. В.* Действие в драме. Л., 1972.

лы», — «а как их отомкнут, и почнут в них люди ходити, как быть живые», и пр. (348, 350—351)².

Интерес царского посла к живому воспроизведению действительности на сцене, несомненно, отражал интересы самого царя. Ведь царь Алексей Михайлович, еще не заведя театра человеческого, поручал, например, разыскать или сделать такое устройство, «чтоб всякие птицы пели, и ходили, и кланялись, и говорили, как в комедии делаетца»³. Драматические произведения были привлекательны «живостью» действующих лиц.

И все-таки драматическая форма не выступала единственным и самым важным условием «живости» героев. Напомним о школьных пьесах начала XVIII в., пришедших на смену драмам 1670-х годов. Несмотря на ту же форму, школьные пьесы страдали статичностью, а их герои нередко застывали в неподвижности.

Или другой пример. По документам XVII в. видно, насколько тесно первый русский театр был связан с живописным делом, с невиданным на Руси «перспективным письмом», заимствованным с Запада и создававшим иллюзию «живости» изображаемого. Но и иные художники второй половины XVII в., не работавшие для театра, тоже начали подробно изображать позы, жесты, движения людей. Обратимся к великолепной характеристике русского изобразительного искусства, данной

² Цитируемые произведения: «Великое Зерцало» — Державина О. А. «Великое Зерцало» и его судьба на русской почве. М., 1965; «выходы патриаршие» — ДАИ, т. 5; грамота патриарха 1668 г. — Пекарский П. П. Материалы по истории иконописания в России // Известия имп. Археологического общества. СПб., 1865, т. 5, вып. 5. Указываются столбцы издания; грамота царя 1669 г. — Там же; «Житие Прокопия Устюжского» — Житие преподобного Прокопия Устюжского. СПб., 1893; «Извещение чудесе...» — Извещение чудесе, бывшего в царствующем и богоспасаемом граде Москве о сложении триех первых перстов... М., 1677. Указываются листы издания; «Повесть о бесноватой Соломонии» — Пам. СРЛ, вып. 2; «Повесть о женской злобе» — Пам. СРЛ, вып. 2; «Повесть об Оттоне» — Повесть зело душе полезна, выписана от древних летописцов и римских хроников... М., 1848; «Повесть царя Давида и сына его Соломона» — Пам. СРЛ, вып. 3; послание Иосифа Владимировича Симону Ушакову — Овчинникова Е. С. Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве // Древнерусское искусство: XVII век. М., 1964; «Прение о вере скомороха с философом» — Малышев В. И. Древнерусские рукописи Пушкинского дома (обзор фондов). М.; Л., 1965. Приложения; «Сказание» Авраамия Палицына — Сказание Авраамия Палицына / Изд. подгот. О. А. Державина и Е. В. Колосова. М.; Л., 1955; сочинения Аввакума — РИБ, т. 39; статеиный список Алексея Михайловича — ААЭ, т. 4; статеиный список В. Лихачева — Древняя российская вивлиофика, издаваемая Н. И. Новиковым, 2-е изд. М., 1788, ч. 4; «Урядник сокольничья пути» — ПСЗ, т. 1; челобитная А. С. Матвеева — История о невинном заточении ближняго боярина Артемона Сергеевича Матвеева. СПб., 1776.

³ Заозерский А. И. Царская вотчина XVII в.: Из истории хозяйственной и приказной политики царя Алексея Михайловича. М., 1937, с. 196.

Б. В. Михайловским и Б. И. Пуришевым. Даже на церковных фресках XVII в., в том числе на библейские темы, говорят исследователи, «мы постоянно видим людей, захваченных оживленной деятельностью, находящихся в состоянии движения; они выполняют всяческие работы... сражаются, стреляют, бьют, пляшут, лезут, цепляются, убегают... Художники XVII века находят великое множество всяческих ракурсов, поз, жестов, движений», даже ангелы оживленно жестикулируют⁴. Можно привести целый ряд аналогичных высказываний искусствоведов, находящихся в русской живописи второй половины XVII в. «динамику повествования, живые позы, напряженное выражение лиц и сильно выявленное движение фигур» реально-бытового характера⁵. Театральная живопись и бутафория XVII в. до нас не дошли. По документам можно судить, насколько тщательно оформляли декорации, как заботились о естественной внешности героев; и если ставили «Комедию о Давиде и Голиафе», то обязательно были «Голиаду... для вышины подделаны ноги большие деревянные... да руки большие же». Или, очевидно, добываясь полноты иллюзии, трижды возили к иноземному мастеру «аленью голову и иные потешные дела для указыванья, как делать». Все это было «никогда преж сего на Москве не слыхано»⁶. Любопытно, что у организатора первого русского театра, боярина А. С. Матвеева, дома висела живописная картина на ту же тему, что и одна, из поставленных пьес, — «как Иосиф бежал от Перфиевы жены»⁷. Налицо сходное устремление интересов художников и драматургов XVII в. к движениям людей, к изображению процесса действий.

Ранняя русская драматургия не чуждалась сюжетов, хорошо разработанных иконописанием. Так, авторы пьесы об изгнании Адама и Евы из рая или пьесы о Навуходоносоре и трех отроках, в печи не сгоревших, вероятно, были широко знакомы с соответствующим иконописным материалом. И удивительней всего то, что в способе изображения людей уже нельзя провести резкого противопоставления драматургии иконописанию второй половины XVII в. Некоторое «оживление» коснулось персонажей на иконах. Достижения Симона Ушакова и его школы достаточно известны. Недаром Симеон Полоцкий написал серию стихотворений об оживших и двигавшихся героях икон и картин. Рассуждения иконописцев ушаковской школы о «живстве», о необходимости

⁴ Михайловский Б. В., Пуришев Б. И. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV до начала XVIII в. М.; Л., 1941, с. 125.

⁵ Данилова И. Е., Мнева Н. Е. Живопись XVII века // История русского искусства. М., 1959, с. 412.

⁶ Московский театр при царях Алексее и Петре: Материалы, собранные С. К. Богоявленским. М., 1914, с. 71, 53, 5.

⁷ Упоминание о картине см.: Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. М., 1918, т. 1. ч. 1, с. 232.

«живоподобия» изображаемых людей и существ, всего, что можно «видети чювственныма очима», в какой-то степени напоминают рассуждения драматургов о «живости» их героев (послание Иосифа Владимирова около 1664 г. Симону Ушакову, 26, 32, 52). Патриаршая грамота об иконописании 1668 г. подтверждала, что «образ есть аки некое подражание... с неким подобием» живому миру; а царская окружная грамота 1669 г. одобряла: «...изряднейшая бываще утеха кистию и шары различно цветными... естеству подражати» (321, 329)⁸.

Характерно различие между временем до XVII в. и XVII в. По наблюдению Д. С. Лихачева, «один из излюбленных мотивов древнерусской литературы — мотив оживающих изображений: изображения говорящего и самоизменяющегося, переносящегося в пространстве...»⁹. Но, добавим, это мотив изображения существа, до XVII в. не двигавшего своими членами, а с XVII в. действительно полностью ожившего.

Конечно, «живость» икон ушаковской школы была узко ограниченной, касалась главным образом подвижного выражения лица отдельных персонажей, редко — их позы и жеста. Персонаж в сущности лишь переходил к активности: он покрывался легким румянцем, у него начинали блестеть глаза, он поворачивался или наклонялся, проявляя тенденцию к более решительному действию, но не больше. Однако в такой консервативной области искусства, как иконописание, значительны даже небольшие новации в изображении человека и даже частные точки соприкосновения с «живыми» героями пьес. В общем же в изобразительном искусстве России второй половины XVII в. появились персонажи, «живость» изображения которых так или иначе перекликалась с «живостью» драматических героев. Следовательно, внимание авторов к движениям, позам, жестам, мимике героев не диктовалось только специфическими условиями театра и сцены.

Может быть, заимствование сыграло решающую роль? Ведь большое участие в составлении первых пьес русского театра приняли приезжие немцы и поляки. Роль пастора И.-Г. Грегори была очень значительной. Кроме того, в 60—70-е годы XVII в. в России появились переводные повести и сборники повестей, в которых с приближающейся к драмам подробностью изображались действия и жесты людей. «Повесть о Петре Златых Ключей» прослеживала, например, как идет ее герой, как поднимается по лестнице и отворяет двери, как входит в палату, кланяется, садится и т. п. В «Повести об Оттоне» почти все ходили до изнеможения; беспокойными были даже младенцы, непрерывно «ползающе под

⁸ Ср. также: Салтыков А. А. Эстетические взгляды Иосифа Владимирова (по Посланию к Симону Ушакову) // ТОДРЛ, т. 28, с. 271—288.

⁹ Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVIII веков: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 27.

ногами и хватаяще за нозе», «осязавше руками своима» своих родителей (20, 22, 37). «Великое Зерцало» передавало фамильярные жесты и телодвижения пьяниц, которые требовали выпивки, «перстом к щеке щелкнув», а потом «нача тонцовати, часто выскакуя и вертяся, мерзкие песни припевая» (201, 244).

Показателен следующий факт. Как известно, одновременно с заведением театра был составлен в 1672—1673 гг. свод портретов русских царей и иностранных правителей, получивший название «Титулярника». Портреты в «Титулярнике» были в основном вымышленные, как, впрочем, вымышленным был облик правителей в драмах. Но в пьесах действовали лишь иностранные цари, кесари, султаны. «Титулярник» же дает возможность противопоставить два типа портретов. В «Титулярнике» очень «живыми» были, как правило, портреты именно иностранных правителей: по наблюдениям исследователей, «перед нами вполне живые люди, с свободными движениями головы и торса, с горящими глазами...»¹⁰. Художники здесь использовали западноевропейские источники. Фигуры же русских царей такой «живостью» не отличались. Это еще один факт в пользу «оживляющего» влияния заимствования. В «Книге о сивиллах» 1673 г. необычайно живые портреты «сивилл» были близки к работам западноевропейских художников середины XVII в.¹¹.

Заимствование западных образцов, несомненно, способствовало «оживлению» героев русской литературы и искусства. Но это не значит, что способ подробного изображения движений и жестов человека целиком был перенесен в литературу с Запада. Еще в первой половине XVII в., до того, как переводные произведения с «живыми» персонажами проникли в Россию, русские авторы специально описывали позы и жесты людей. Один из ярких ранних примеров — «Сказание» Авраамия Палицына. Сочинение Палицына в основной своей части построено из длинной цепи главок, изображающих эпизоды из деятельности защитников Троице-Сергиевой монастырской крепости. Движения и жесты людей у Палицына обрисовываются иногда с детальной наблюдательностью. Вот, например, повествование о немом человеке. Этот немой, общаясь с людьми, «глухоты же ради своя... вертящися и обзираися», «вместо глагола рукама разводя и... указуя персты» и «по кулаку кулаком биаше», — переданы типичные повадки и жесты немых (173—174). В пьесах 1670-х годов немые не выступали; но жесты людей, на время потерявших речь, — озадаченных, пораженных, испуганных, огорченных, разъяренных, — передавались часто. С точки зрения «живости» героев «Сказание» Палицына являлось одним из русских предшественников пьес.

¹⁰ Трутовский В. Боярин и оружничий Богдан Матвеевич Хитрово и Московская оружейная палата // Старые годы, 1909, июль—сентябрь, с. 366.

¹¹ См.: Свирин А. Н. Древнерусская миниатюра. М., 1950, с. 128—129.

Стремление описать человека в его выразительных и поразительных движениях широко распространилось во второй половине XVII в., притом в жанрах, далеких от прямых заимствований с Запада. Возьмем, например, жития севернорусских святых и неканонизированных угодников второй половины XVII в., особенно их посмертные чудеса. «Живость» персонажей, в известной степени сходная с драматической, наблюдается и здесь. Казалось бы, что общего может быть между драмами XVII в. и житийными чудесами? Если не считать не дошедшей до нас драмы о Егории Храбром, пьесы 1670-х годов не касались житийных тем. К тому же многие рассказы о чудесах создавались в демократической среде, а первые пьесы шли в кругу придворном. Но с точки зрения поэтики нечто общее у первых пьес и житийных чудес второй половины XVII в. имеется: и те и другие представляют собой серию четко разграниченных эпизодов или сцен, расположенных в хронологическом порядке и сообщающих о резких поворотах в обыденной жизни людей. И в тех и в других живописуются жесты и движения героев.

Так, в чудесах к «Житию Прокопия Устюжского», включая известную «Повесть о бесноватой Соломонии», метко описывается огромное количество удивительных людских телодвижений. Мученица Соломония не знает покоя, ее всю словно разрывает и выворачивает. Демоны передышки насылают на Соломонию «трясение и великий лютый озноб» и одновременно ее беспрестанно бросают: «И начаша ея бросати ов демон во един угол храмины, ин такожде во иный угол, ов на палати, ин же на печь», «и взяша за руки и за ноги и бросиша ея на землю» и т. д. (153—154). Люди в чудесах «Жития Прокопия» корчатся в самых разнообразных позах: «Та бо жена главу имеяши извращенну на шуюю страну, рекше на левую раму опровержену в тыл, и руку свою левую суху имея в хребет ей водружену, стоя и трясыйся» (289). У драматургов, пожалуй, не было повода для собирания такой коллекции болезненных человеческих поз. «Чудеса» заполняли этот пробел.

Наблюдение за неестественными жестами велось с высокой точностью. Например, в печатной брошюре 1677 г. «Извещение чюдесе...» на этот раз в официальном сочинении, рассказывалось о новоявленных чудесах в Москве. Автор отмечал даже мелкое движение кистью руки у персонажа. Так, ясельничий Феодор Вышеславцев, «лежаще на одре своем неподвижно... на правом боце, десницу свою низвесив из ложа.. И внезапно нача десница его трястися и... разведошася нужно персти десницы его и жилы в руце остро напрягошася... мизинец и со близ егс сущим ко длани напрягошася неразводимо» (2 об. — 3). В «чудесах» до XVII в. не уделялось столько места описанию частных поз или жеста.

Реальная бытовая русская действительность давала материал для самых детальных описаний — вот более важная, чем заимствование с Запада, причина «живости» литературных героев. Значит, нужно ожи

дать широких проявлений этой черты в различных жанрах, в том числе документальных. И верно. В изобилии фиксировать движения, позы, жесты людей стали произведения так называемой деловой письменности второй половины XVII в. Произведения деловой письменности не всегда только сухо называли происшедший факт. В них тоже создавались свои людские образы и действовали свои герои.

Просмотрим грамоты царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. И грамоты, и пьесы изображали иногда одни и те же человеческие состояния, например, физические страдания, смерть и пр. И нужно сказать, что в некоторых грамотах такие описания были даже более подробными и более натуралистичными, чем в пьесах. В статейном списке о смерти патриарха Иосифа, который Алексей Михайлович в 1652 г. послал Никону, с потрясающей обстоятельностью рассказывалось о последних часах и последних содроганиях патриарха. «Дрожит весь, зуб о зуб бьет, — описывая царь умирающего, — ...очми зрит на нас быстро, а не говорит... да повел очми-теми вверх, да почал с краютого жаться к стене... почал пристално и быстро смотреть... и почал руками закрываться... да затрясся весь... сжался двжды прытко да и отшел к господу Богу». Изображение покойника также было исполнено зловещего напряжения и динамики. «Смотрю на лице его, — вспоминал Алексей Михайлович, — и он безмерно пухнет: борода-то вся сжалась, а лицо розно пухнет; да в ту ж пору как есть треснуло так-то у него в устех... да и уста-те стало воротить при мне розно... и из ноздрей кровь живая». И еще одна удивительная по своей силе деталь; покойник словно готов кинуться на царя. «Да и мне прииде помышление такое, — добавляет Алексей Михайлович, — ...побеги-де ты вон, тотчас-де тебя, вскоча, удавит» (79—82). Картина, в некоторой степени напоминающая о повестях Н. В. Гоголя и А. К. Толстого! Ничего подобного в грамотах до XVII в. не встречалось.

Но, может быть, подробно описывали только удивительное, из ряда вон выходящее? Нет, в документальной письменности детально изображалось и нормальное поведение людей. Например, в официальных руководствах и «чинах» второй половины XVII в. были нарисованы исключительно подробные картины действий и движений конкретных придворных лиц. Это были именно картины, судя по сравнительно вольному течению фраз в руководствах и отсутствию единообразной сухой перечислительности, обычной для более раннего времени. Недаром «чины» второй половины XVII в. иллюстрировались большими, многофигурными миниатюрами. Драмы тоже изображали поведение придворных; но «чины» детальностью картин даже превосходили драмы.

Так, вниманием даже к мимолетной позе и жесту человека отличался отредактированный и частично написанный царем «Урядник, или новое уложение и устройство чина сокольничья пути» 1668 г. Вот характерный отрывок, в котором регламентировалось, как подсокольни-

чий должен был подходить к царю: «И молвит ясно, громогласно... Надевает рукавицу тихо, стройно... Пооправся и поучиняся и перекрестя лице свое, принимает... челига.. премудровато и образцовато... И приняв кречета, подступает к царю благочинно, смирно, урядне. И станет поодаль царя и великаго князя человечно, тихо, бережно, весело. И кречета держит честно, явно, опасно, стройно, подаравительно, подъявительно к видению человеческому...», «и стоит урядно, радостно, уповательно, удивительно», — передана целая гамма движений и жестов! (764, 768). Это быт, хоть и быт придворный. Жесты стали упоминать и в «Выходах патриарших», например, под 26 сентября 1667 г. в сообщении о надгробной речи проповедника Паисия Газского: «...говорил своим языком и рассуждал, руками указючи на гроб» (115). Ср. также «Чин божественных литургий» (М., 1668). И в «Уряднике», и в других «чинах» описывались действия определенных конкретных лиц, которые назывались по именам.

Изобразительные памятники второй половины XVII в. тоже стали рисовать в движении многолюдные официальные сборища. В непривычно крупных миниатюрах «Книги о избрании на превысочайший престол... царя и великаго князя Михаила Федоровича» 1673 г. разворачивались массовые сцены церемоний. В рисунках, по определению искусствоведа, «значительно ослаблена «иконописность» в трактовке фигур, лиц», «каждое действие иллюстрируется отдельно»¹². На некоторых иконах 1670-х годов живыми жестами и позой обращают на себя внимание царь Алексей Михайлович, царица Мария Ильинична, патриарх Никон, боярин А. С. Матвеев¹³.

Новое стилистическое явление охватило изображения и описания не только лиц официальных. Раскованные движения и жесты собеседников начали отмечаться в документальных записях о разнообразных «прениях» 1660—1670-х годов. «Прения» записывались и в придворной, и в старообрядческой, и в демократической среде. При всех идейных и тематических различиях у «прений» выделялась общая формальная черта. Главным структурным стержнем в «прениях» являлся диалог. Из прозаических жанров «прения» по форме наиболее близко соприкасались с драмами. Недаром в пьесах были нередки сцены прений и споров действующих лиц, а в «прениях», в свою очередь, авторские замечания о поведении спорящих походили на драматические ремарки. Сочные «ремарки» о позах и жестах персонажей постоянно наличествовали в «прениях» второй половины XVII в., но редко встречались в «прениях» более раннего времени¹⁴. А в недокументальном, юмористическом «Пре-

¹² Свирин А. Н. Древнерусская миниатюра, с. 134, 130.

¹³ См.: Овчинникова Е. С. Портрет в русском искусстве XVII века: Материалы и исследования. М., 1955, с. 28—29.

¹⁴ Ср. зались о «нечаянном состязании» придворных ученых 1671 г.: Голубев И. Ф. Встреча Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого и Паисия Лигарида с Николаем Спафарием и их беседа // ТОДРЛ, т. 26, с. 299—301.

нии о вере скomorоха с философом жидовином Тарасием» важны были уже не столько речи спорящих, сколько их действия: «И устави жидовский философ перст един против скomorаха... И показа скomorах два перста... И удари жидовский философ скomorаха по уху... И удари скomorах жидовина дланию по плещи» и т. д. (183). Здесь уже нет и тени официальной обстановки; «прение» происходит в быту.

Со второй половины XVII в. авторы деловых документов стали детально живописать разного рода неофициальные, неприличные бытовые поступки людей, особенно похождения пьяниц, драчунов, развратников и пр. В некоторых письмах и челобитных детали недостойного поведения личности отбирались и подавались прямо-таки с литературным вкусом. Так, боярин А. С. Матвеев в своей челобитной царю мастерски описал буйное беспамятство одного из гуляк: «От всех друзей ево возили, чрез лошадь и чрез седло перекиня пьянаго; в корете — положи верх ногами пьянаго...». Он же, «пьян, разрезал рюмкою горло» собутельнику, а другому «шандалом пьян голову пробил... А робята вопили во след: „Пьяница! Пьяница! Шиш на кокуй!“» (111—112). Такая выразительная благодаря нетрадиционным подробностям зарисовка поведения пьяницы может быть сопоставлена с соответствующими сценками пьянства, например, в пьесах и выглядит даже беспощаднее их. Автор челобитной располагал обильными житейскими наблюдениями.

Итак, источником «живости» персонажей в документальных жанрах, от челобитных и грамот до «прений» и «чинов», служило не заимствование западноевропейских образцов, а бытовая «живость» и подвижность реальных людей на Руси. Однако и это объяснение «живости» недостаточно. Реальные люди были подвижны во все времена; почему же только со второй половины XVII в. документальная письменность и литература проявили исключительное внимание к описанию физических движений человека?

Возникают и другие недоуменные вопросы. Если «живость» персонажей — это непосредственное отражение в памятниках подвижности конкретных людей, то чем объяснить в произведениях, особенно в непереводах, не имеющих отношения к западноевропейской литературе, появление таких «живых» героев, которых невозможно свести к отдельным реальным прототипам?

Вот распространенный случай. Авторы второй половины XVII в. подробно описывали действия и позы собирательных персонажей. Собирательные «живые» персонажи характерны для сочинений Аввакума. Например, когда в одном из посланий протопоп советовал, как вести себя «правоверному» перед «никонианином»: «...а ты ляг перед ним, да и ноги вверх подыми, да слюни попусти, так он и сам от тебя победит», — то тут Аввакум картинно описывал действия не какого-то реального, названного по имени «правоверного», но движения безымянного, обоб-

ценного персонажа, вобравшего в себя однотипные действия многих реальных лиц. Или вот как в поучительном сочинении Аввакум рисовал современных ему блудниц: «А прелюбодейца белилами-румянами умазалася, брови и очи подсурмила, уста багряноносна, поклоны niskи, словеса гладки, вопросы тихи, ответы мяжки, приветы сладки, взгляды благочинны, шествие по пути изрядно, рубаха белая, риза красная, сапоги сафьянные...» (839, 541—542). Образ, созданный Аввакумом, не подчинен всецело морализующей оценке. Он даже интригует. Героиня словно пытается сдержать свою «живость», и от этого ее «живость» чувствуется сильнее. Но персонаж это собирательный.

Не содержат ли приведенные описания поведения людей у Аввакума нравоучительные элементы реалистичности? Отчасти это так. Элементы реалистичности как раз чаще всего и возникали при осудительном изображении действий отрицательных собирательных персонажей. Вспомним, например, о поучениях митрополита Даниила, обличавшего блудников и блудниц.

Но, думается, «живость» собирательных героев Аввакума нельзя ограничить только элементами реалистичности. Картины, рисуемые Аввакумом, уже не были обязательно вызваны прямолинейным осуждением греховных дел. Аввакум подробно изображал действия и положительных собирательных персонажей — «правоверных». Сами действия людей у Аввакума уже не разделялись непримиримо на праведные и греховные. Аввакум мог живописать неприличные движения и позы правоверных, не осуждая их, а поощряя. И наоборот, он мог рисовать вполне благопристойные движения «никониан», но описывать их саркастически.

Наконец, подбор деталей в описаниях Аввакума отличался от обычного состава деталей в сценах с элементами реалистичности. Если, например, просмотреть отрывки древнерусских произведений, где с использованием элементов реалистичности изображались блудники или пьяницы, то в общем набор подробностей будет повторяться. У Аввакума же детали резко нетрадиционны, остры, индивидуальны для этого писателя. «Живость» собирательных героев Аввакума — явление более мощное, чем элементы реалистичности.

Аналогична ли «живость» собирательных персонажей из сочинений Аввакума «живости» героев драматических? Очень велико идеологическое, жанровое, языковое различие между писаниями бунтаря Аввакума и пьесами придворных драматургов. Более того. В пьесах не выводились собирательные персонажи, подобные аввакумовским. Действительность отражалась в пьесах более косвенно, более опосредствованно. Героями пьес были герои вымышленные, хотя и носящие библейские и исторические имена¹⁵. Но несмотря на множество различий, у

¹⁵ О типах литературного обобщения и именах героев XVII в. см.: *Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, с. 107—126.*

Аввакума и у драматургов знаменательно стремление к увлекательной подробности изображения движений, поз, жестов, мимики человека. Тогда вполне сравнима «живость», например, блудницы у Аввакума и «живость» соблазнительницы Вильги в пьесе об Иосифе. У Аввакума детали поведения блудницы, пожалуй, даже еще более неожиданны, чем в пьесе.

Таким образом, во второй половине XVII в. «живость» героев вышла далеко за пределы придворной литературы и официальной письменности. «Живые» собирательные персонажи появились и в придворной, и в демократической литературе. Уловки и движения тех же «жен» описывали Симеон Полоцкий в своих стихотворениях и «Повесть о женской злобе» (по списку XVII в., текстуально отличающемуся от более ранних списков повести): «И она близ оконъца приседит, семо и овамо колеблющися, а со смирением не седит, скачет и пляшет, и всем телом движеться... ходит быстро, и очима обзорлива» и т. п. (463—464). «Живость» многих собирательных персонажей очевидна.

Но отчего новый способ подробного изображения движений и жестов человека распространился и на персонажей собирательных? Почему авторы второй половины XVII в. стали объединять наблюдения над живыми действиями отдельных реальных лиц в описание движений «живого» собирательного героя? Ясно, что недостаточно объяснять данный процесс только фактом подвижности реальных людей.

Такой же вопрос возникает и при рассмотрении героев вымышленных, независимо от того, имеют они имена или безымянные. Например, выделяется «живостью» Татьяна в «Повести о Карпе Сутулове». В разных вариациях повесть описывает, как Татьяна сидит, вскакивает, смотрит в оконце, всплескивает руками и т. д. Конечно, в отличие от придворных драм, перед нами персонаж демократической, посадской литературы, действующий в иной обстановке, чем царица и ее приближенные в пьесах. Татьяна, искушаемая своими поклонниками, может быть, более суетлива, чем, например, царица Есфирь, на которую зарится Аман в «Артаксерксовом действе», или Ева, искушаемая Змием в пьесе об Адаме. Но способ подробного воспроизведения движений человека в их естественной последовательности, вплоть до мелких действий, — этот способ, примерно, сходен и в повести, и в пьесах. Такой относительно «живой» добродетельной женщины, как Татьяна Сутулова, не было в литературе до XVII в. Но Татьяна Сутулова — вымышленный персонаж, хотя и тесно связанный с реальным бытом. Каким же образом подвижность людей в реальном быту привела к «живости» вымышленных литературных героев? Ответить на этот вопрос невозможно, ограничиваясь только утверждением обилия движений людей в реальной действительности.

Не ясна также причина возможного «оживления» полусказочных литературных персонажей, которые с русским бытом непосредственно не были связаны. Так, в «Повести царя Давида и сына его Соломона и о их премудрости» активно двигались библейские герои, например: «И

царь Пор с царицею падают на свои царские колени пред царем Соломаном... и царь Пор повесил главу свою буйную» и т. д. (70). Вероятно, в этой повести использованы фольклорные средства описания поведения человека. Но до XVII в. в повестях, испытавших фольклорное влияние, движения героев все-таки не излагались столь мелко. Впрочем, «живость» героев в фольклоре и проникновение в литературу фольклорных способов изображения человека — тема особая. Мы упомянули «Повесть царя Давида», чтобы еще раз подчеркнуть, насколько недостаточно объяснение «живости» героев только подвижностью реально живших людей.

При желании можно собрать большую хрестоматию текстов нового изобразительного стиля второй половины XVII в. По своему количеству памятники русского происхождения будут преобладать над заимствованиями, переводами и переделками; проза — над драматургией; литература — над деловыми документами. Здесь будут памятники придворные и памятники демократической литературы. Такую хрестоматию можно иллюстрировать соответствующими произведениями живописи. Разумеется, степень и оттенки «живости» героев различаются в зависимости от жанра, от тематики, от социальной принадлежности произведений и прочих обстоятельств. Дифференциация оттенков и проведение границ — дело будущего. Мы же пытаемся охватить явление в целом, без определения точного состава памятников нового стиля. Повышенное внимание авторов к описанию действий, движений, поз, жестов, мимики человека — общая черта большого круга произведений второй половины XVII в., в остальном разных или даже противоположных¹⁶.

1977 г.

¹⁶ Социальные объяснения «живости» литературных героев см. со с. 286 данной книги.

III

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(тема Русской земли)

Древнерусская и средневековая русская литература изучается более двухсот лет. Создано немало обобщающих трудов, в которых с разной степенью подробности и с разных точек зрения обзревается история русской литературы XI—XVII вв. В данной работе в центре внимания — процесс развития представлений русских писателей XI—XVII вв. о самых главных и общих для них предметах — о Вселенной, о человечестве, о православном обществе и о Русской земле. Изменения в изображении Русской земли характеризуют каждый период истории отечественной литературы того времени. Создание цельного описания каждого из этих периодов является основной задачей данного краткого очерка, в котором обзревается преимущественно лишь большие памятники, бытовавшие в виде отдельных книг, а также небольшие, но наиболее известные произведения.

По давней научной традиции русская литература XI—XVII вв. называется древнерусской. Главные периоды ее истории долгое время имели политико-географическое обозначение: литература Киевской Руси XI — первой четверти XIII в., литература Северо-Восточной Руси XIII—XV вв., литература Московской Руси XV—XVI вв. и литература России XVII в. В настоящее время, по предложению Д. С. Лихачева, принцип обозначения периодов изменился. Только литературу XI — первой четверти XIII в. целесообразно называть древнерусской — по древнерусской народности (русичи, или русцы, так она поименована в «Слове о полку Игореве»). Русичи, русцы или русины явились родоначальниками трех братских народов — русского, украинского и белорусского, а древнерусская литература послужила истоком трех литератур — русской, украинской и белорусской. В литературе же, созданной русским народом, необходимо различать средневековую русскую литературу (XIII—XVI вв.) и русскую литературу переходного периода от средневековья к новому времени (XVII — начало XVIII в.). Такой периодизации мы в основном и придерживаемся в настоящей работе. Исключение составляет, пожалуй, лишь выделение в самостоятельный раздел литературы XVI в., времени образования централизованного русского государства и превращения Руси в Россию, что отразилось в представлениях писателей тех лет.

1. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (XI — первая треть XIII вв.)

«Появление русской литературы в конце X — начале XI века „дивлению подобно“, — отмечает Д. С. Лихачев. — Перед нами как бы сразу произведения литературы зрелой и совершенной, сложной и глубокой по содержанию, свидетельствующей о развитом национальном и историческом самосознании»¹. Уже в самый ранний период необыкновенной широтой отличался круг космологических, природоведческих и земледельческих представлений древнерусских писателей. Немало в то время появилось книг, более или менее образно повествовавших о сотворении Вселенной, Земли и человека, о расселении людей по Земле, о частях света, о свойствах животных на Земле, о будущих судьбах Земли.

Вот, например, «Шестоднев» болгарского автора Иоанна Экзарха. Эту переводную книгу читали на Руси уже в XI в. Правда, сохранилась она в пергаменной рукописи лишь 1263 г. и в более поздних списках. «Шестоднев» повествовал о шести днях сотворения мира. В предисловии к книге автор восхищался красотой мира: небом, которое украшают то восходящее или заходящее солнце, то увеличивающаяся или убывающая луна; землей, которую украшают зеленеющие дубравы, волнующиеся нивы, пение соловьев и пр. Далее в книге следовало шесть больших «слов», или повестей, поэтически описывавших процесс сотворения мира. В частности, третье слово рассказывало о том, каковы бывают моря на земле, какие встречаются травы и прочие растения. Пятое слово рассказывало о зверях, птицах и рыбах. Шестое слово говорило о появлении человека на земле. «Шестоднев» провозглашал неисчерпаемое многообразие мира.

Образному изложению космологических и земледельческих представлений были посвящены «Книга Небеса» византийского автора Иоанна Дамаскина, «Христианская топография» александрийского автора Козмы Индикоплова и др., а также небольшие сочинения, переведенные в XI—XII вв. и рассеянные по разным сборникам, — произведения в форме вопросов-ответов о том, «от чего земля сотворена бысть»; повести о загробном мире, рае и аде типа «Хождения» монаха Агапия в рай, «Хождения Богородицы по мукам», «Видения пророка Исаии», «Откровения апостола Павла»; циклы рассказов о фантастических животных и растениях, вроде «Физиолога», который излагал, например, легенду о птице феникс: ее оперение будто усыпано драгоценными камнями и на голове венец; прожив пятьсот лет без пищи, феникс прилетает в некий солнечный город в Индии, превращается в пепел, а наутро из пепла возникает новый феникс, такой же красивый.

Особенность этих книг и сочинений — в открытом, радостном отношении к миру и природе. «Христианство пришло на смену язычеству... —

¹ Лихачев Д. С. Величие древней литературы // ПЛДР, т. 1, с. 14.

пишет Д. С. Лихачев. — В древнеславянском язычестве гнезился страх перед могуществом природы — природы, враждебной человеку и властвующей над ним. Вместе с феодализмом и христианством пришло новое художественное познание мира, создавшее великий монументальный стиль искусства и новое отношение к окружающему человека миру... Первые южно- и восточнославянские произведения полны восторга перед мудростью мироустройства, но мироустройство это не замкнуто в самом себе; природа служит человеку, она не враждебна ему и именно потому прекрасна»².

Исключительно много в Киевской Руси переводилось и сочинялось книг об истории стран народов мира. В этих книгах излагалась история человечества от Адама до Христа, история древневосточных и античных государств, начальная история христианской церкви и ее подвижников, а также повествовалось о самых разнообразных землях, странах, народах, лицах. Преимущественно с Палестиной были связаны события, о которых рассказывали такие книги, как Евангелие, «Житие Саввы Освященного», «История» Иосифа Флавия о разорении Иерусалима римлянами, «Синайский патерик» (сборник преданий о жизни монахов на Синае, имевший и другое название — «Луг духовный»). С Византией и Константинополем был связан длинный ряд пространных, переписываемых и в виде отдельных книг житий Нифонта, Феодора Студита, Феодора Тирона, Феодора Стратилата, Георгия Победоносца, Николая Мирликийского, Иоанна Златоуста. О жизни своих героев в Египте повествовали «Египетский патерик» (или «Лавсаик») и «Житие Антония Великого». О Персии и Индии говорилось в «Александрии» — захватывающей повести-книге о походах Александра Македонского, а также в «Сказании Афродитиана о Персиде» и «Сказании об Индийском царстве». Рим и итало-германские земли фигурировали в «Римском патерике» и житиях Алексея, человека Божия, Анастасии Римлянки, Евстафия Плакиды и пр. Наконец, событиям на славянских землях были посвящены жития Вячеслава Чешского и Мефодия Моравского.

Сведения, излагавшиеся в этих сочинениях, нередко являлись фантастическими. Например, «Сказание об Индийском царстве» описывало людей, живших в Индии: одни — рогатые, другие — трехногие, иные — о шести руках, есть люди — полуптицы, а есть и с песьей головой. Есть в Индии такие большие петухи, что на них ездят верхом. И нет в той земле ни разбойников, ни завистников. Царь индийский настолько богат, что пять дней идти мимо его золотых и серебряных палат, наполненных сапфирами, топазами, алмазами. Обедает с царем в палате одно-

² Лихачев Д. С. Монументально-исторический стиль древнеславянских литератур // Славянские литературы: VIII Международный съезд славистов. Загреб — Любляна, сентябрь 1978 г. Доклады советской делегации. М., 1978, с. 144—145.

временно две тысячи с лишним человек, а в огромном зеркале сразу видно по лицу человека, о чем он думает.

Представления писателей о странах и народах мира неустанно систематизировались. Пестрая и, казалось бы, рассыпающаяся масса переводных произведений на исторические темы с самого начала своего появления в Киевской Руси тяготела к двум сильным книжным центрам притяжения. Одним таким центром являлись хроники, которые охватывали «всю» историю с библейских времен, историю Иудеи, Вавилона, Персии, Римской империи, Византии. Так, в XI в. на Руси была переведена огромная книга — «Хроника» византийского монаха Георгия Амартола. До нас дошел с оборванным концом пергаменный том «Хроники», переписанный в XIII — начале XIV в., а также рукописи XV—XVII вв. «Хроника» Амартола состояла из четырех частей. Первая часть рассказывала о событиях от Адама до смерти Александра Македонского; вторая — об истории еврейского народа; третья — преимущественно о Римской империи; четвертая — о Византии. Повествование было насыщено множеством рассказов о судьбах царей и императоров, об удивительных и чудесных случаях с людьми, о стихийных бедствиях и зловещих предзнаменованиях для народов в мире природы. В целом «Хроника» Амартола охватывала многовековую историю народов на колоссальном пространстве. На Руси рано появились также «Хроника» Иоанна Малалы, «Хроника» Георгия Синкелла, «Летописец вскоре» патриарха Никифора. Разнообразные историко-описательные сочинения то входили в состав хроник, то присоединялись к ним в качестве продолжений.

Другим центром притяжения выступали «прóлоги» и «минеи четъи», вообразившие в себя различные жития и жизнеописания. Рассказы в этих сборниках были распределены по дням памяти святых и подвижников, фактически по всем дням года. Под каждым днем можно было прочесть два-три, а иногда и более десяти житийных и иных сказаний. Например, в древнейшем «Прóлоге», который сохранился во многих зачитанных и рваных списках XIII—XIV вв., под днем 1 сентября, начавшим древнерусский год, можно было прочесть краткие сказания о том, откуда повелся обычай встречать Новый год; о некоей иконе, которую утопили злодеи в озере, а она через некоторое время всплыла; об удивительной жизни Симеона Столпника, 14 лет обитавшего на высоком столпе и не сходявшего на землю; о ратных подвигах библейского Иисуса Наввина и о солнце, которое остановилось в небе, пока Наввин не разгромил врагов на поле битвы, и пр. «Прóлог» создавал гигантскую картину людской массы, состоящей из многих сотен названных по именам античных, византийских, ближневосточных и изредка славянских персонажей и из неисчислимого множества персонажей безымянных. В «минеях четъих» сказаний и житий насчитывалось меньше, но зато они

были подробней, чем в «прологе». Оба типа сборников были очень велики; каждый не умещался в одной, даже объемистой книге.

Книги и сборники произведений на темы из библейской, византийской и церковной истории, по-видимому, особенно ценились в Киевской Руси. Недаром самые древние рукописные книги, которые дошли до нас со времен Киевской Руси, содержат памятники именно этой группы. Например, так называемая «Супрасльская рукопись» начала XI в. содержит четыминейные тексты за март; в рукописях 1056—1057 и 1143 гг. дошли до нас «Остромирово евангелие» и «Галичское евангелие»; в списках XI и XII вв. сохранились различные жития, «Синайский патерик» и «Паралипоменон пророка Иеремии» о запустении Иерусалима. По наблюдениям Д.С. Лихачева, «это был период открытия истории. В язычестве доминировал годовой круг праздников, оно не было связано с историей. Христианство принесло сведения о тысячелетних изменениях в судьбах многих народов мира. История получала определенный мировоззренческий смысл и должна была принести с собой спасение человечеству»³.

Систематизация исторических представлений перерастала в творчество. Переводные исторические сочинения начали пополняться оригинальными древнерусскими переработками. Вот особенно выразительный пример. Необычайно рано, уже в конце X в., при жизни киевского князя Владимира Святославича, крестившего Русь, неизвестный нам автор составил довольно длинное сочинение, так называемую «Речь философа», которой некий греческий философ якобы просвещал князя Владимира перед крещением. «Речь философа», затем включенная в состав летописи под 988 г., искусно и сжато пересказывала библейскую историю человечества вплоть до деяний Иисуса Христа и его последователей-апостолов. Это было, как предполагает Д. С. Лихачев, одно из самых ранних дошедших до нас литературных произведений Древней Руси.

В ранний период древнерусской литературы активно развивались представления о том, каким должен быть моральный и интеллектуальный облик некоего собрания православных людей или всего православного мира, занимавшего так называемую восточную часть земли (в основном Византию, Болгарию, Русь) и, по убеждению древнерусских писателей, резко отличавшегося от западной, католической, «латинской» части. Осуждение «латинства» постоянно присутствовало в соответствующих книгах и сочинениях.

Эти представления получают отражение в двух типах сборников. К первому относились переводные сборники кратких наставлений, толкований, изречений и афоризмов, вроде «Пандектов» палестинского монаха Антиоха, «Пандектов» антиохийского монаха Никона Черногорца

³ Лихачев Д. С. Монументально-исторический стиль древнеславянских литератур, с. 147.

или вроде знаменитых «Изборников» 1073 и 1076 гг. В подготовленный для киевского князя Святослава Ярославича тяжелый пергаменный фолиант — «Изборник» 1073 г. — входило, например, около двухсот кратких статей. Одни статьи сжато поясняли, что есть правая вера; другие статьи были составлены из библейских афоризмов об искренности и любви; иные статьи словами «святых отцов» лаконично побуждали читателя к добродетельной жизни и к покаянию в житейских грехах; некоторые статьи отговаривали от женитьбы на злых женах, от игры на гусях и от плясок; попадались статьи о человеческом лице и о человеческом теле как отражении духовной сущности человека и статьи о смысле языковых метафор. Через мозаичную тематику «Изборника» проглядывал желаемый составителями облик высоконравственного, по их представлениям, человека.

Сборники второго типа содержали циклы длинных поучений византийских проповедников. Это — живой «Златоструй» Иоанна Златоуста, мрачный «Паренесис» Ефрема Сирина, благостная «Лествица» Иоанна Синайского, строгие «Оглашения» Кирилла Иерусалимского и др., а также сборники без определенных названий с назидательными толкованиями библейских и иных притч.

Творческий вклад древнерусских писателей в систему православно-учительных представлений был значителен. Очень рано сборники стали дополняться проповедями, поучающими толкованиями и антилатинской полемикой видных древнерусских авторов XI—XII вв. — новгородского епископа Луки Жидяты, основателя Киево-Печерской лавры Феодосия Печерского, митрополита Климента Смолятича, епископа Кирилла Туровского, новгородского священника Ильи, зарубского монаха Георгия, белгородского епископа Григория Философа и др. В их речах, особенно в торжественно-лирических проповедях Кирилла Туровского на различные церковные праздники, древнерусские «хрестьяне» представляли равноправными членами всего православного мира. Кирилл Туровский сравнивал крещение Руси с наступлением весны, когда стихли бурные ветры, зазеленела трава, стали благоухать цветы, вышли в поля пастухи со стадами, а рыбаки поплыли по реке.

Традиционные изречения и афоризмы остроумно применялись писателями к явлениям древнерусской жизни. Ярким примером тому служит целиком сплетенное из афоризмов, благочестивых высказываний и пословиц «Послание Даниила Заточника» (оно называется еще «Словом» и «Молением») к какому-то великому князю Ярославу Всеволодовичу. Ни автор, ни адресат, ни время создания «Послания» точно нам не известны — предположительно, не позднее 1230-х годов. В «Послании» нет четкой композиции, оно касается самых разнообразных тем, но особенно изобретательным был автор в нанизывании высказываний о том, как плохо жить бедному и зависимому человеку. «Княже, господине мои! — писал Заточник. — Избави мя от нищеты сея, яко

серна от тенета, яко птица от кляпци (силков), яко утя от ногти носимаго ястребя, яко овца от усть лвовъ... Яко же олово гинеть часто разливаемо, тако и человекъ, приемля многы беды...» (116)⁴.

Все отмеченные представления — космологические, исторические, учительно-православные — были тесно связаны. Не существовало книг, сборников или отдельных произведений, которые были бы посвящены, например, исключительно исторической теме и ничему другому. Авторы или составители книг начинали, как правило, свое повествование с сотворения мира, потом переходили к древней истории человечества, а затем — к общехристианским поучениям. Тематическое построение книг и сборников имело свои закономерности, еще малоизученные; однако не было произведений, в которых две или три темы занимали бы совершенно равноправное место. Всегда выделялась главная тема.

Одновременно с космологическими, историческими и учительными книгами появились книги и сочинения, отражавшие представления писателей о самой Руси. Главными здесь стали летописи, которые велись при монастырях и при дворах митрополитов и князей. Прочие произведения о Руси, гораздо меньшие по объему, нередко включались в летописи.

Хронология создания летописей в настоящее время выглядит следующим образом (хотя точное время их возникновения не всегда можно определить с уверенностью). В конце X в. были сделаны первые летописные записи в Киеве; с 1017 г. стали вести летопись в Новгороде; в 1039 г. или в начале 1040-х годов был создан «Древнейший Киевский летописный свод» (по гипотезе А. А. Шахматова) или «Сказание о распространении христианства на Руси» (по гипотезе Д. С. Лихачева); в 1073 г. монах Киево-Печерского монастыря Никон создал «Первый Киево-Печерский летописный свод», гораздо более обширный, чем свод «Древнейший»; в 1093—1095 гг. появился «Второй Киево-Печерский летописный свод», или «Начальный свод», или «Временник», иже нарицается:

⁴ Цитируемые произведения: «Владими́ро-Сузда́льская летопись» — ПСРЛ, т. 1, вып. 2; «Галицко-Волынская летопись» — ПСРЛ, т. 2; «Киевская летопись» — ПСРЛ, т. 2; «Повесть временных лет» — ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов, перевел на современный русский язык Д. С. Лихачев; «Послание Даниила Заточника» — Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII веков и их переделкам / Изд. подгот. Н. Н. Зарубин. Л., 1932; «Почуение» и письмо Владимира Мономаха — ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Сказание о Борисе и Глебе» — Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916; «Слово о законе и благодати» Илариона — Розов Н. Н. Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в. // Slavia. Прага, 1962, № 2; «Слово о полку Игореве» — Слово о полку Игореве / Изд. подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев, перевели на современный русский язык Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев и О. В. Творогов. Л., 1967.

летописание Русьскихъ князь и земля Русьскыя»; около 1113 г. киево-печерский монах Нестор составил знаменитую летопись «Повести временных лет, откуда есть пошла Руская земля».

Памятники древнейшего летописания в первоначальном виде до нас не дошли. Не сохранилось ни «Древнейшего свода» времен киевского князя Ярослава Владимировича Мудрого, ни свода Никона, относящегося ко времени распрей между сыновьями Ярослава, ни «Начального свода», ни даже «Повести временных лет» Нестора, которая ориентировалась на политические интересы внука Ярослава, киевского князя Святополка Изяславича. В настоящее время в нашем распоряжении имеются лишь две переработки редакции «Повести временных лет», дошедшие в поздних списках. Одну переработку, в 1116 г., предпринял игумен киевского Выдубицкого монастыря Сильвестр, сторонник другого внука Ярослава — Владимира Всеволодовича Мономаха. Следующую переработку, в 1118 г., сделал неизвестный редактор для сына Мономаха — Мстислава. Редакция Сильвестра сохранилась в составе «Лаврентьевской летописи» 1377 г. и в составе некоторых летописей XV в. Последующая же редакция дошла в «Ипатьевской летописи», в списке первой четверти XV в. и в еще более поздних списках. Однако, несмотря на многослойность редакций и поздние списки «Повести временных лет», ученым, в особенности А. А. Шахматову, удалось восстановить примерный состав летописи на каждом этапе ее существования, начиная с «Древнейшего свода».

Реально дошедшая до нас «Повесть временных лет» (второй и третьей редакции) начинается с рассказа о разделении земли после потопа между сыновьями библейского Ноя и о расселении славян по Дунаю, Висле, Днепру, Двине, Десне и другим рекам и озерам. Затем на пергаменных страницах летописи излагается множество эпизодов из жизни Руси: о создании Киева братьями Кием, Щеком и Хоривом, о нравах разных славянских племен, о походах Олега и Игоря на Царьград, о княжении Ольги, о крещении Владимира и т.д. С 852 г. и далее под каждым годом летопись повествует о тех или иных случаях, событиях, социальных и природных явлениях на Руси; эти рассказы нередко превращаются в довольно большие повести.

В «Повести временных лет» не было особо выделенного, цельного описания Русской земли. Более того, в летописи названия «Русь» и «Русская земля» употреблялись то в широком смысле, обозначая все восточнославянские земли, то в узком смысле и тогда обозначали лишь земли Поднепровья и Посемья⁵. Однако в обоих случаях подразумевалась обширная территория, указывались некоторые общие черты облика Руси.

Независимо от того, в узком или широком смысле употреблялись понятия «Русь» и «Русская земля», древнейшая часть летописи была

⁵ См.: Робинсон А. Н. «Русская земля» в Слове о полку Игореве // ТОДРЛ, т. 31, с. 122—136. Здесь же указаны и предыдущие работы об объеме понятий «Русь» и «Русская земля».

проникнута теплым чувством по отношению к этой земле. Летопись изображала благоденствующую Русскую землю, озаренную солнечным восходом после крещения. По-видимому, уже в «Древнейшем летописном своде» говорилось, что княгиня Ольга, принявшая христианство еще в 955 г., явилась на Руси «аки деньница предъ солнцемъ и аки зоря предъ светомъ» (82). Сыновья князя Владимира Борис и Глеб «луча светозарна явистася, яко светила озаряюща всю землю Русьскую» (152).

У Руси появились надежные заступники. Первым из них в «Древнейшем летописном своде» был назван киевский князь Владимир Святославич, крестивший Русь. Когда он умер, вспоминает летопись, «людье бещисла снидошася и плакашася по немъ, бояре — акы заступника, узобии (бедные) — акы заступника и кормителя» (144).

«Древнейший летописный свод» рисовал ряд картин полного благополучия Русской земли. Например, о Руси времени Ярослава Мудрого говорилось не только то, что на Руси Ярослав «церкви ставляше по градомъ и по местомъ... и умножишася прозвутери (пресвитеры) и людье хрестьяньстии». Но разворачивалось и изображение духовной «сытости»: «Якоже бо се некто землю разореть (вспашет), другой же насеетъ, ини же пожинають и ядятъ пищу бескудну (неоскудевающую), — тако и съ (сей). Отецъ бо сего Володимерьъ землю взора (вспахал) и умягчи, рекше крещеньемъ просветивъ. Се (сей) же насея книжными словесы сердца верныхъ людии, а мы пожинаемъ, ученье приемлюще книжное» (160).

Продолжатели «Древнейшего свода» вставили в летопись рассказы, свидетельствовавшие о материальном благополучии Руси еще до крещения, в период язычества. Так, излагая легенду о призвании первых князей на Русь из варягов, летописец привел и знаменитое высказывание тогдашних обитателей Руси: «Земля наша велика и обилна, а наряда (порядка) в ней нетъ» (36). В рассказе о киевском князе Святославе, отце Владимира, перечислялись богатства его земель. Святослав говорил своим боярам: не Киев, а Переяславец на Дунае «есть середя земли моей, яко ту вся благая сходятся; от Грекъъ злато, паволоки, вина и оwoщеве разноличныя, изъ Чехъ же, из Угорь (из Венгрии) сребро и комони (кони), из Руси же скоро (меха) и воскъ, медь и челяд (рабы)» (80, 82).

Другие ранние произведения вносили новые краски при создании образа благополучной Русской земли.

Так, где-то между 1037 и 1050 г. пресвитер киевского князя Ярослава Владимировича Мудрого, а затем первый русский митрополит Иларион написал и, вероятно публично, произнес «Слово о законе и благодати». Искусно составленное «Слово» Илариона с богословских позиций обосновывало закономерность принятия христианства Русью. Последняя часть «Слова» была посвящена восхвалению Руси и ее крестителя князя Владимира. Неизвестно, в какую книгу первоначально входило «Слово». До нас дошел лишь пергаменный лист XII—XIII вв. с фрагментом «Слова» и полные списки «Слова» в сборниках XIV—XVI вв. К счастью,

редакторы и переписчики с пиететом и тщательностью переписывали высказывания Илариона о Русской земле.

Как проявление благополучия Русской земли Иларион выставлял ее застроенность и ухоженность. Он с горделивой благодарностью обращался к умершему Владимиру Святославичу, который «славный градъ твои Кыевъ величьствомъ, яко венцемъ, обложилъ»: «Въстани, о честнаа главо, от гроба твоего, въстани, отряси сонъ! ... Отряси сонъ, възведи очи.... Виждь вѣнуку твоа и правнуку, како живутъ... Виждь же и градъ, величьствомъ сияющъ, виждь церкви цветущи, виждь христианство растуще, виждь град иконами святыхъ освещаемъ и блистающесе, и тимьяномъ обухаемъ (фимиамом благоухающий), и хвалами и божественами пении святыми оглашаемъ» (168—169).

Картину благополучия Руси завершали упоминания о мировой славе Русской земли. Иларион провозглашал в «Слове о законе и благодати», что русские князья «мужьствомъ же и храборьствомъ прослуша (прослыли) въ странахъ многих и победами и крепостию поминаются ныне и словуть. Не въ худе бо и не неведоме земли владычествоваша, нъ (но) въ Руське, яже ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли» (164).

Лирическое одушевление «Слова» Илариона было подхвачено и усилено «Сказанием о Борисе и Глебе», которое в 1050-х годах было сочинено неизвестным нам автором. Правда, о времени появления «Сказания» существуют разногласия: некоторые ученые относят его к 1089—1115 гг. Но редкий случай: «Сказание о Борисе и Глебе» дошло до нас в пергаменных «Минеях Четых» конца XII — начала XIII в., написанных всего лишь через 100—150 лет после составления «Сказания». Однако трудно решить, где «Сказание» находилось первоначально. Ведь родственная «Сказанию» повесть «Об убыньи Борисове» под 1015 г. была вставлена в летопись — в «Повесть временных лет».

«Сказание о Борисе и Глебе» начиналось с рассказа о двенадцати сыновьях Владимира, которые были посажены отцом княжить в разных городах Руси. Как только скончался Владимир, один из его сыновей — Святополк — решил избавиться от Бориса и Глеба: их особенно любил Владимир. Основное содержание «Сказания» и составляет рассказ о том, как Борис и Глеб, зная о замысле окаянного Святополка, не подняли меча на старшего брата и по его приказу были зарезаны, как агнцы. Но тут Святополка постиг недуг и злая смерть, а у могил Бориса и Глеба стали происходить чудеса.

Образ Русской земли в «Сказании» трогателен и мягок. Благополучие добыто братской кровью, и Русская земля в «Сказании» выглядит особенно человеколюбивой. Заботами Бориса и Глеба «въ Русьские стороне велицей... множество стражующиихъ съпасени бывають: слепии прозирають, хромии быстрее сърны рищють, сълуции (горбатые) простърение приемлють»; братья «болезни вься и недугы отьгонита, сущиихъ в тьмьницахъ и въ узахъ посещающа» (48—49); братья могут

«въ стране сеи земля Русьске пращати и исцелити всяк страсть и е дугъ» (59—60).

Слава о братьях-исцелителях привлекает другие народы: «И не единде (не единственно на Руси), нъ (но) и по вьсемъ сторонамъ и вьсемъ землямъ преходяща»; от них «не нашему единому языку (наг ду) тькъмо подано бысть Бъгъмъ (Богом), нъ и вьсеи земли спасени отъ всехъ бо странъ ту (к нам сюда) приходяще...»; «яко многомъ прходящемъ и от Грекъ (греков) и отъ инехъ же земель и глаголати: „Ни где же сицея (такой) красоты несть...“» (49, 50, 63).

Русская земля, по «Сказанию о Борисе и Глебе», защищена не толь от болезней, но и от врагов. «Ваю (вашим) пособиемъ и защищениемъ, обращается автор «Сказания» к братьям, — князи наши противу вьстащя (нападающих) державно побежають и ваю помощию хвалятьс Вы бо темъ (князьям) и намъ оружие, земля Русьскыя забрала и утвежение и меча обоюду остра»; «также и въ молитвахъ вьсегда молит ся о нас, да не придетъ на ны зъло и рана да не приступитъ къ тел си...»; «всего меча браньна избавита насъ и усобичьныя брани чюя сьтворита (от усобныхъ браней освобождаете) и вьсего греха и нападени заступита насъ» (49, 50, 51).

Аналогичный образ благополучной и осиянной Русской земли рисовали и другие произведения, сочиненные в конце XI — начале XII в. например, «Память и похвала Владимиру», «Похвала Феодосию Печескому», игумену первого на Руси Киево-Печерского монастыря, сказания о чудесах Николая Мирликийского на Руси.

Образ цветущей и мирной Русской земли в произведениях XI начала XII в. отражал быстроту успехов Руси в политическом и культурном развитии после принятия христианства. Всю древнерусскую культуру того времени отличает оптимистический, жизнерадостный, тожествующий характер, который особо выделяют ученые (Н.К. Никольский, Е. В. Аничков, М. Д. Приселков, Д. С. Лихачев, В. В. Мавродин).

Повествование о Руси в памятниках велось в особом литературном стиле, выработанном не без влияния библейских книг — в стил «монументального историзма», как определил его Д. С. Лихачев. Этот стиль «характеризуется прежде всего стремлением рассматривать предмет изображения с больших дистанций: пространственных, временных иерархических. Это стиль, в пределах которого все наиболее значимое красивое представляется монументальным, величественным. Стремясь видеть окружающее в рамках представлений этого стиля, летописцы авторы житий, церковных слов смотрят на мир как бы с большой высоты или с большого удаления — удаления времени или пространства»

⁶ Лихачев Д. С. Монументально-исторический стиль древнеславянских литератур, с. 120. О стиле монументального историзма см. также: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973; Он же. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.

Процесс феодального дробления древнерусского государства в конце XI — начале XII в. и формирование сильных самостоятельных удельных княжеств способствовали пробуждению и усилению интереса к событиям, имевшим местное значение. Областная тематика прочно возобладала в летописях XII в., служивших продолжением «Повести временных лет», — в летописях киевской, новгородской, владими́ро-суздальской, галицко-во-лынской. «Киевская летопись» рассказывала преимущественно о военных событиях на юге Руси с 1117 до 1200 г. «Владими́ро-Суздальская летопись» также тяготела к изложению местных — владимирских, ростовских и тверских — событий. «Галицко-Волинская летопись» с 1201 г. внешне как бы продолжила «Киевскую летопись», но фактически явилась жизнеописанием нескольких галицких и волинских князей. Наконец, «Новгородская летопись» XII в., как видно по ее старейшему пергаменному списку XIII—XIV вв., была летописью узкогородской.

Примерно с конца XI — начала XII в. в произведениях изменился и образ Русской земли. Первым свидетельством перемен послужило то, что авторы гораздо реже стали изображать всю Русскую землю в целом, они больше и охотней писали о событиях местных или частных. Широкий образ Русской земли уже отсутствовал в сочинениях монаха Нестора — в «Житии Феодосия Печерского» (1080-е годы) и в «Чтении о житии и погублении Бориса и Глеба» (около 1108 г.), хотя составитель говорил о событиях общерусского значения. Широкого образа Русской земли не находим и в «Слове похвальном на перенесение мощей Бориса и Глеба», созданном в 1175 г. К сочинениям местной ориентации следует отнести коротенькую «Похвалу смоленскому князю Ростиславу Мстиславичу», написанную во второй половине XII в., краткое «Житие Леонтия Ростовского», составленное в 1194—1204 гг., «Повесть о новгородском посаднике Добрыне» конца XII — начала XIII в. Местные интересы преобладали и в такой обширной книге, как «Киево-Печерский патерик». Хотя он дошел до нас в рукописи 1406 г. и появился, как полагают, в 1220-е годы, но ряд его повестей возник гораздо раньше. Рассказывал же этот сборник повестей о создании и расширении Киево-Печерского монастыря и о жизни в нем монахов: то о чудесах при возведении Печерской церкви; то о монахе, заставившем беса намолоть пять возов зерна; то об умершем человеке, который ожил и сутки молча ожидал, пока замешкавшийся монах не окончит рыть ему могилу; то о соре монастыря с киевским князем и о покаянии князя после монастырских чудес и т. п.

И все-таки местные интересы не вытравивали из сознания древнерусских писателей представления о всей Русской земле. Так, название «Русская земля» продолжало употребляться в летописях конца XI—XII в. с большей или меньшей широтой значения и, в общем, образ Русской земли из них не исчез, он только разительно изменился. Русь в летописях теперь предстаёт терзаемой княжескими распрями и вра-

жескими нашествиями. «Повесть временных лет» рассказала о пророческом заветании Ярослава Мудрого своим сыновьям в 1054 г. «Сез азъ отхожу света сего, сынове мои, — говорил умирающий Ярослав, — имейте в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца и матере. Да аще (если) будете в любви межю собою, Богъ будетъ в васъ, и покорить вы противныя (врагов) подъ вы. И будете мирно живуще. Аще ли будете ненавидно (в ненависти) живуще, в распряхъ и которающесея (ссора), то погыбнете сами, и погубите землю отецъ своихъ и дедъ своихъ, иже налезоса (добыли ее) трудомъ своимъ великимъ» (174).

Однако ни сыновья, ни внуки, ни правнуки Ярослава не последовали его завету, и «Повесть временных лет» с конца XI в. из года в год повествовала о многих междуусобицах и многих несчатьях Русской земли — «быша усобице многы и нашествие поганыхъ (половцев) на Русьскую землю» (1781).

Летопись наполнена обвинениями князьям. «...Наша земля оскудела есть от рати и от продажъ (от войны и от поборов)... Почто вы распря имата межю собою? А погании губять землю Русьскую», — пеняли князьям в 1093 г. «мужи смыслении», — разумные (228). В 1097 г. князья собрались на съезд, чтобы как-то умерить распри, и «глаголаша к собе, рекуще (говорили друг ко другу): „Почто губим Русьскую землю, сами на ся котору (распря) декуще? А половци землю нашу несутъ розно, и ради суть, оже межю нами рати (берут по частям и рады, что между нами войны)“» (248). Но распри, злодейские убийства, ослепления князей князьями продолжались и после съезда. То одному, то другому предьявлялось обвинение: «Что се зло створилъ еси в Русьстей земли и ввергль еси ножъ в ны? Чему еси слепилъ брат свой?» (254); «...ввергль еси ножъ в ны, его же не было в Русской земли» (266).

Владимир Всеволодович Мономах, самый дальновидный из князей, не раз повторял: «Сего не бывало есть в Русьской земли ни при дедех наших, ни при отцихъ наших, сякого зла... Да поправи сего зла, еже ся створи се в Русьской земли и в насъ, в братья, оже вверженъ в ны ножъ. Да аще сего не правимъ, то большее зло встанеть в нас, и начнетъ брат брата закалати, и погыбнетъ земля Руская, и врази (враги) наши, половци, пришедше возмутъ землю Русьскую... Поистине, отци наши и деди наши зблюли землю Русьскую, а мы хотим погубити» (254).

Киевляне молили князей: «...Не можете погубити Русьские земли. Аще бо възмете (начнете) рать межю собою, погании имуть радоватися, и возмутъ землю нашу, иже беша стяжали (которую оборонили) отци ваши и деди ваши трудом великим и храбрством, побарающе по Русьской земли (борясь за Русскую землю), ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую» (254).

Уговоры и мольбы почти не имели влияния на соперничавших князей, а набеги половцев на Русь все усиливались. В рассказе под 1068 г.

«Повесть временных лет» сообщала: «Приидоша иноплемьници на Русьску землю, половьци мнози... Грех же ради нашихъ пусти Богъ на ны (на нас) поганья, и побегоша русьскыи князи, и победита (князей) половьци» (180), «половци росулися (рассеялись) по земли», «половцемъ воюющимъ по земле Русьсте» (184). Половцев удалось прогнать, но в 1078 г. уже некоторые из русских князей «приводе... поганья на Русьскую землю... мняще одолевше (думая победить своих соперников), а земле Русьской много зло створше, проливше кровь хрестьянску» (212).

В 1093 г., рассказывает летопись, вспыхнула новая распря между князьями. «Слышавше же се половци, почаша воевати», «поидоша половци на Русьскую землю» (228), «пустиша по земли воююще», «и побегоша наши пред иноплемьники, и падаху язвени (ранены) предъ врагы нашими, и мнози погыбоша» (230). «Сотвори бо ся плачь великъ в земли нашей, — записал летописец, — опустеша села наша и городи наши, быхом бегаючи пред врагы нашими... Ибо лукавии сынове измаилеви (половцы) пожигаху села и гумна, и многы церкви запалиша огнемъ... Сего ради земля мучена бысть: ови ведутся полонени (одних ведут в плен), друзии (другие) посекаемы бывають, друзии на мечь даемь бывають, горкую смерть приемлюще, друзии трепечють (трепещут), зряще убиваемых, друзии гладомъ умаряемь и водною жажею... овы вяжемь и пятами пхаемь, и на зиме (на морозе) держимь и ураняемь (уязвляемь ранами)... Городи вси опустеша, села опустеша; преидемъ поля, идеже пасомь беша стада конь, овця и волове, — все тще (пустым) ноне видимъ, нивы поростыше зверемъ жилища быша... Ноне же вся полна суть слезь... Ноне же плачь по всемъ улицамъ упространися (распространился) избьеных ради, иже избиша безаконьнии (половцы)» (232—234).

И вот, заканчивал летописец свою скорбную запись, половцы русских людей «разделиша (между собой) и ведоша в веже к сердоболем (в шатры к семьям) своимъ и сродникомъ своимъ мьного роду хрестьянска». И люди, «стражюще (страждущие), печални, мучими, зимю оцепляемь (стужей скованные), въ алчи и в жажи (в голоде и в жажде) и в беде, опустневше лица (с осунувшимися лицами), почерневше телесы; незнаемою странюю (в незнаемую страну гонимые), языкомъ испаленымъ (воспаленнымъ), нази (нагие) ходяще и боси, ноги имуще сбодены (исколоты) терньемъ, со слезами отвещеваху другъ къ другу, глаголюще: „Азь бехъ сего города (я был из того города)“, и други: „А язь сея вси (а я из того села)“, — тако съупрашаются (вопрошают друг друга) со слезами, родъ свой поведающе и въздышюче (вздыхая), очи возводяще на небо...» (234)

Киевская, новгородская, владими́ро-суздальская, галицко-волы́нская летописи время от времени также упоминали «мятежь мнгогъ в Руской земле» и упрекали враждующих князей за то, что они половцам «отвориша ворота на Русьскую землю».

Как подчеркивают исследователи, древнерусская литература XII в. «неспокойна и тревожна», проникнута «настроением тревоги за судьбу родины»⁷, в книжности «звучит усиливающийся в XII в. трагический вариант темы о Русской земле, родине народа, страдающего от хищников-кочевников»⁸.

Однако образ Русской земли в летописях XII в. не стал безнадежно печальным. Надежда писателей на скорую перемену к лучшему, на единение Руси и на победу над врагами была очень прочной. «Да никтоже дерзнуть рещи (сказать), яко ненавидими Богомъ есмы! — восклицал летописец, закончив рассказ о страшном половецком нападении 1093 г. — Да не будетъ! Кого бо тако Богъ любить, якоже ны (нас) възлюбиль есть? Кого тако почель есть, якоже ны прославиль есть и възнесль? Никого же! Имъ же паче ярость свою въздвиже на ны, яко паче всех почтени бывше, горее (хуже) всех сдеяхом грехы» (234).

Сходную мысль повторяла и «Киевская летопись» через пятьдесят с лишним лет, под 1152 г.: «Богъ всегда Рускы земле и Руских сыновъ въ бещестьи не положилъ есть, на всих местех честь свою взимали суть. Ныне же, братие, ревнуимы тому вси, у сих земляхъ и перед чюжими языки дай ны Богъ честь свою взяти» (448—449).

Княжеские раздоры, казалось писателям, скоро будут преодолены. В памятниках XII в. большинство князей изображалось приходящими к осознанию гибельности междоусобиц и желающими добра Русской земле. «А мы доколе хочемъ Рускую землю губити?» — вопрошала, например, группа князей в «Киевской летописи» (364). «Киевская летопись» нередко употребляла формулу, характеризующую примирительную настроенность князей: «...не хотяче губити Руской земли и крестьянской (христианской) крови проливати» (429, 605 и др.). Князья собирались «Руской земли блюсти и быти всимъ за одинъ братъ», «бы земля Руская расплодилася и розмогла въ братолюбьи князии» (366, 392).

Князья обращались друг ко другу в «Киевской летописи»: «А ты постережи земле Руской»; «пожалте си о Руской земли и о своей отцине и децине... а лепо ны было, братье... поискати отецъ своихъ и дедъ своих пути и своей чести»; «а думай-гадаи о Руской земли, о своей чести и о нашей» (368, 373, 646, 538, 686 и др.). И летописец подтверждал, что то один князь, то другой имел «мысль благу о Руской земли, занеже се хотяше добра всимъ сердцемъ», что «всегда бо тосняшеться (тщился) умрети за Рускую землю и за хрестьяны» (638, 611).

Русская земля не выглядела беззащитной. Летописи XII в. показывали благие результаты объединенных ударов князей по половцам. «Повесть временных лет» (в редакции 1118 г.) завершалась оптимисти-

Лихачев Д. С. Национальное самосознание Древней Руси: Очерки из области русской литературы XI—XVII вв. М.; Л., 1945, с. 39, 48.

⁸ Богуславский С. А. Русская земля в литературе Киевской Руси XI—XII веков // Ученые записки МГУ, 1946, вып. 118, с. 8.

чeskими рассказами о победах Владимира Мономаха над половцами: «Избьени быша иноплеменнице многое множество», русские «взяша полонна много — и скоты, и кони, и овце, и колодниковъ (пленных) много изомаша руками», и «възратишася Русьстии князи въ свояси съ славою великою, къ своимъ людемъ и ко всимъ странамъ далнимъ рекуще, — къ Грекомъ, и Угромъ (венграм), и Ляхомъ, и Чехомъ, дондеже (даже) и до Рима проиде на славу Богу всегда, и ныня, и присно во веки, аминь» (268, 273).

Об успехах Владимира Мономаха и его сына Изяслава вспоминала «Киевская летопись»: «...его же слухъ (слух о нем) произиде по всимъ странамъ, наипаче ж бе страшень поганымъ; братолюбецъ и нищелюбецъ, и добрый страдалецъ за Рускую землю»; «Владимиро-Суздальская летопись»: «Володимеръ самъ собою постоя на Дону и многа пота утеръ за землю Рускую, а Мьстиславъ, мужи свои посла (послав), загна половци за Донъ, и за Волгу, за Гиикъ (Яик), и тако избави Богъ Рускую землю от поганыхъ, и упорозьняся (освободился) Мьстилавъ от рати (от войны)» (293—294).

Похвалы Владимиру Мономаху, в которых вновь прозвучала гордость за Русскую землю, обошли все русские летописи XII в. «Владимиро-Суздальская летопись» писала: «...великий князь Русский Володимеръ, сынъ благоверна отца Всеволода, украшени добрыми нравы, прослувыи в победах, его имене трепетаху вся страны, и по всем землям изиде слух его... Вся бо зломыслы его (зломыслящих на него) вда Богъ подъ руце (выдал Бог в руки его)... и Богъ покаряше подъ нозе (под ноги) его вся врагы» (293—294). «Галицко-Волынская летопись» (созданная одновременно с «Киевской летописью») также посвятила похвальное слово «Мономаху, погубившему поганья измаилтяны, рекомыя Половцы... Володимеръи Мономахъ пилъ золотом шоломомъ Донъ и приемшю землю ихъ всю и загнавшю (прогнав) оканьныя агаряны» (716).

И в период после смерти Мономаха, в конце XII — начале XIII в., летописцы использовали каждую возможность объявить о победах Руси над половцами. В «Киевской летописи» летописец с радостью и облегчением рассказывал о том, как в 1190 г. русские князья, объединившись, «утишивъша землю Рускую и половци примиривша в волю свою», а в 1192 г. князья стояли на границе, «стерегучи земли Руские, а тако соблюдше землю свою от поганых» (668, 673). Или, например, в 1205 г., как сообщала «Владимиро-Суздальская летопись», «ходиша Рустии князи на половцы... бысть же тогда зима люта, и половцем бысть тегота велика, посланая на нь (на них) от Бога. И взяша Рускии князи полону много, и стада их заяша (захватили), и возвратишася во своя си (домой) с полоном многимъ, и бысть радость велика всем христяном Руской земли» (420).

Но радостное чувство сразу же омрачалось, потому что летописцам приходилось снова поминать очередные княжеские распри и новые «напасти и взятыя» от половцев.

В XII в. было создано два замечательных произведения, сохранивших общерусский кругозор, — «Поучение» Владимира Мономаха и «Слово о полку Игореве».

Владимир Мономах составил «Поучение» своим детям-князьям, вероятно, в 1117 г. В нем он образно изложил основы поведения деятельного и гуманного правителя, а затем рассказал о своей жизни, напомнил о своих походах, поездках и охотах. «Поучение» Мономаха было вставлено в «Повесть временных лет» (в «Лаврентьевской летописи»), где оно объединено с горестным письмом Мономаха (1096 г.) к черниговскому князю Олегу Святославичу, убившему его сына.

Когда Мономах в «Поучении» касается судеб Русской земли, то у него, как и у летописцев, преобладают два чувства — жалость от разорения Руси и порывистое желание помочь своей земле. Тревогу и горе выразил Мономах в «Поучении» когда вспомнил о половцах, которые «облизахутся на нас акы волци стояще», и о том, что он, Мономах «съжаливсьи хрестьяных душъ и сель горящих и монастырь», подожженных половцами. Искренне он хотел уладить княжеские распри. «Ладимься и смиримся (договоримся и помиримся)... а Русьскы земли не погубим», — такие слова стояли в начале письма Владимира Мономаха к Олегу Святославичу. «Не хочю я лиха, но добра хочю братъи и Русьскей земли», — заканчивал свое письмо Владимир Мономах (404, 410, 412).

«Слово о полку Игореве» сочинено было в конце XII в., скорее всего черниговцем или киевлянином, и посвящено трагическому походу новгород-северского князя Игоря Святославича от Десны к Дону против половцев в 1185 г. «Слово» поэтически рассказывает о событиях, начиная с приготовления Игоря к походу и кончая его возвращением из половецкого плена. В каком виде и в какой книге первоначально находилось «Слово», мы не знаем. Оно было обнаружено в историческом сборнике XVI—XVII вв. Но рукопись сгорела в московском пожаре 1812 г., и в настоящее время мы располагаем лишь копиями текста «Слова» из этого сборника — писарским списком 1795—1796 гг., сделанным для императрицы Екатерины II, и печатным изданием «Слова» 1800 г.

«Слово о полку Игореве» рисовало печальные картины разорения Руси: «Ужо бо, братие, невеселая година вѣстала... И начыша князи про малое „се великое“ мльвити (молвити), а сами на себе крамолу ковати, а погании съ всехъ странъ прихождаху съ победами на землю Рускую... А вѣстона бо, братие, Киевѣ тугою (от горя), а Черниговѣ напастыми (от напастей). Тоска разлилася по Руской земли, печаль жирна (обильная) тече средь земли Рускыи. А князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами, победами нарищуце (с победами нарыскивая) на Рускую землю, емляху (брали) дань по беле (по белке) отъ двора» (49). «По Руской земли прострошася (простерлись) половци, аки пардуже гнездо (как выводок гепардов)» (51). «Тогда... въ княжихъ крамолахъ вѣци челове-

комъ скратишась (жизни людские сокращались)... Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть (редко пахари покрикивали на лошадей), нъ часто врани граяхуть (вороны граяли), трупиа себе деляче...» (48).

«Слово о полку Игореве» говорило о силе князей, которая, если ее объединить, позволит разгромить половцев. Оно призывало киевского князя Рюрика Ростиславича и его брата: «Вступита, господина, въ злата стремя за обиду сего времени, за землю Русскую!» (52). Оно отмечало мощь галицкого князя Ярослава Осмомысла: «Высоко седиши на своемъ златоконаннемъ столе (престоле), подперъ горы Угорскыи (венгерские) своими железными плъки, заступивъ королеви путь (загородив венгерскому королю проходы через Карпаты)... Грозы твоя по землямъ текуть... Стреляй, господине, Кончака, поганого кощя (раба), за землю Рускую!..» (52). Вот каков боевой напор волынского князя Романа Мстиславича и других волынских князей: у них «железные паворзи (латы) подъ шеломы латинскими. Теми тресну (от них дрогнула) земля, и многи страны — Хинова (кочевники), Литва, Ятвязи, Деремела (литовские племена) и Половци — сулицы своя повръгоша (копья свои повергли), а главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужные (булатные)... Кое (где) ваши златыи шеломы и сулицы ляцкыи (польские) и щиты? Загородите полю ворота (русскую границу со степью) своими острыми стрелами за землю Русскую!..» (52—53).

Особенности исторической обстановки заставляли писателей XII в. зорко следить за землями, граничившими с Русью, особенно за Подем половецким, которое изображалось в «Повести временных лет», в «Киевской летописи», но наиболее ярко — в «Слове о полку Игореве».

В «Слове о полку Игореве» путь Игоря на Дон казался настолько далеким, настолько «далече залетело» Игореве войско, что до его последней остановки в Поле надо бы лететь соколом: «О далече заиде соколъ, птицъ бя, — къ морю» (47, 49). Автор «Слова» полагал, что его предшественник песнотворец Боян сказал бы о походе Игоря то же: буря занесе соколы чресь поля широкая» (44). Жена Игоря Ярославна мыслила попасть туда только летящей птицей: «Полечю, рече (говорит она), зегзицею... омочю бибрянъ (шелковый или бобровый) рукавъ в Каяле реце (реке), утру князю кровавыя его раны...» (54). И возвращается Игорь домой, лишь когда «полете соколомъ подъ мыглами (под облаками)». Игорь со своим помощником Овлуром «претръгоста бо своя бръзая комоня», — загнали на Поле своих борзых коней (55, 65).

Автор «Слова» заставил своих героев как бы лететь или рассчитывать на возможность полета, потому что воображал необозримо широкое открытое пространство за границей Руси, — «великая поля» (46). Здесь скачут, мчатся, несутся войска, «рассушясь стрелами по полю» (46). Здесь во все небо встают зори и «чръныя тучя съ моря идуть» (47). Здесь ветер может «подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море» и многое «по ковылию развья» (54). Беспредельность этих полей можно

обнять только мыслью, — и «Игорь мыслию поля мерить от великаго Дону до малаго Донца» (55).

При всем том Поле в «Слове о полку Игореве», в сущности, имеет два облика. Для русских князей, кроме Игоря, Поле — не препятствие. По словам родного брата Игоря курского князя Всеволода Святославича, его курянам «пути имь ведоми, яругы имь знаеми... сами скачють, акы серыи вльци въ поле» (46). Двоюродный брат Игоря киевский великий князь Святослав Всеволодович «наступи на землю Половецкую, притопта хльми и яругы, реки и озера, иссуши потоки и болота». Святослав действовал «яко вихрь» (50). Четвероюродный брат Игоря Всеволод Юрьевич, по прозванию Большое Гнездо, может «Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти» (51).

Для Игоря же переход Поля — трудное испытание в «земли незнаеме» (46). Все время что-то мешает свободному и легкому продвижению Игоря в чуждом Поле: «Солнце ему тьмою путь заступаше, ночь стонуци ему грозою... свистъ зверинь вьста... вльци грозу вьсрожатъ (накликают) по яругамъ, орли клеткомъ на кости звери зовуть, лисици брешуть на чръленыя (червленые, красные) щиты» (46). Вот войны Игоря «начаша мосты мостити по болотомъ и грязивымъ местомъ», но уже «земля тутнетъ (гудит), реки мутно текуть, пороси (пыль) поля прикрываютъ» (47). Всюду препятствия!

Наконец, дальше пробиться нельзя: «Половцы идуть отъ Дона, и от моря, и отъ всехъ странъ Рускыя плъкы оступиша» (47).

«Незнаема земля» стала землей мучительной: «Съ зараниа до вечера, съ вечера до света летятъ стрелы каленыя, гримлють сабли о шеломы, трещатъ копия харалужныя в поле незнаеме среди земли Половецкыи. Чръна земля подъ копыты, костьюи была посеяна, а кровию польяна» (48).

Были «ранены саблями калеными на поле незнаеме» дружинники киевского князя Рюрика Ростиславича и смоленского князя Давыда Ростиславича. Это вспоминает Святослав в «Златом слове». К Игорю же Поле гораздо более жестоко: «...Игорева храбраго плъку не кресити! (не воскресити!)» (52); Игорь «погрузи жиръ (богатство) во дне Каялы, реки Половецкия» (50). Даже то солнце, которое «всемъ тепло и красно», здесь «простре горячую свою лучю на... вои», «в поле безводне жажду имь лучи съпряже (луки согнуло)» (55). Так оплакивает дружину жена князя Игоря Ярославна.

И когда Игорь бежит из половецкого плена, Поле все-таки остается зловещим: «Прысну море полунощи; идуть сморци (смерчи) мъглами... стукну земля, вьшуме (зашумела) трава, вежи (шатры) ся половецкыи подвизашася (задвигались)» (55).

Лишь когда Игорю удалось достичь русского пограничного города Донца, он ступил на ласковую землю. Игорь говорит: «О, Донче!.. лелеявшу князя на вльнахъ (на волнах), стлавшу ему зелену траву на своихъ

сребренныхъ брезехъ, одевавшу его теплыми мѣглами под сению зелену древу» (55). Игорю «дятлове (дятлы) тектомъ путь къ реце кажутъ, соловии веселыми песнями светъ (рассвет) поведаютъ» (56).

Автор «Слова», создав образ обширной, могучей, но раздробленной и разобщенной Руси, показал одновременно бесконечно уходящее в даль и бесконечно опасное Поле у южной и юго-восточной ее границы. Именно оттуда и пришла на Русь великая беда...

Обзор книг и произведений XI — первой четверти XIII в., изображавших Русскую землю, от «Древнейшего Киевского летописного свода» до «Галицко-Волынской летописи», от «Слова» Илариона о законе и благодати до «Слова о полку Игореве», свидетельствует об известной эволюции настроений древнерусских писателей — от светлых и радостных XI — начала XII в. к более сумрачным второй половины XII — начала XIII в., обусловленных процессом феодального дробления Руси.

2. ЛИТЕРАТУРА XIII—XV ВВ.

XIII—XIV вв. — трагическое время нашествия Орды на Русь и ордынского ига. Никто не сможет точно подсчитать, сколько тысяч и тысяч человек было убито или уведено в Орду, сколько памятников культуры было уничтожено, какое количество книг сгорело. Однако древнерусская литература не погибла. Все важнейшее из наследия Киевской Руси сохранилось в Северо-Восточной Руси, особенно в Новгороде.

Из космологических сочинений до нас дошел, например, «Шестоднев», переписанный в 1374 г., из исторических — множество «прблогов» в списках XIII и XIV вв., списки «Хроники» Георгия Амартола конца XIII и XIV в., «Минеи четъи» в списке XIV в.; из учительноправославных произведений дошли до нас в списках XIII—XIV вв. «Паренесис» Ефрема Сирина, «Пандекты» Антиоха Черноризца, «Пандекты» Никона Черногорца, «Алфавитный патерик». В течение XIII—XIV вв. продолжали переписывать, редактировать и дополнять «Повесть временных лет» — главный памятник древнерусской литературы.

В XIII—XIV вв. появляются и новые произведения и книги. Космологическим темам были посвящены произведения о рае и околорайских странах — переводные «Хождение Зосимы к рахманам» и «Слово о Макарии Римском» и оригинальное «Послание» 1347 г. новгородского архиепископа Василия к тверскому епископу Федору.

В своем «Послании» Василий использовал многообразные легенды и утверждал, что рай (эдем) находится на земле, где-то на Востоке, за высокими отвесными горами, с которых стекает Нил. Это место непроходимо для людей, а наверху его живут рахманы, блаженный народ, который пребывает на всем готовом, ничего не производит и ничего не сеет. Новгородцы, утверждает Василий, доплывали до этих сияющих

гор; двое поднялись, заглянули за гору и, охваченные небывалой радостью, забыли о своих товарищах, сбежали в рай, а остальные, испугавшись, повернули назад.

Живой интерес сохранялся к темам историческим, и сочинения на исторические темы в XIII в. пополнились новыми редакциями и переделками «Еллинского и Римского летописца» и «Александрии», новыми сборниками, объединившими сведения из «Хронографа», из «Хроник» Амартола и Малалы, из «Истории Иудейской войны» и пр. В XIII в. на Руси появилась и «Толковая палея», книга, объяснявшая события преимущественно библейской истории; получило распространение и фантастическое «Сказание об Индийском царстве». В первой половине XIV в. составила также целая серия новых литературно-исторических описаний Царьграда-Константинополя, в том числе «Беседа о святынях Царьграда», «Сказание о Царьграде», «Хождение в Царьград» Стефана Новгородца. Рассказы о светлых и благодатных местах, естественно, привлекали внимание русских читателей в злое время господства ордынцев, или, как тогда говорили, во времена «глухого царства».

Большое место в литературе XIII—XIV вв. занимали сочинения с учительско-православной тематикой. В середине XIII в. на Руси перевели сборник афоризмов, рассуждений и анекдотов под названием «Пчела». Библейские и античные высказывания, изречения отцов церкви были в нем распределены по морализующим разделам — «о добродетели», «о чистоте», «о мужестве» и пр. Дошел до нас и сборник XIII в., составленный из проповедей Кирилла Туровского, Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, Василия Великого. В списках XIV в. дошли поучительные сборники «Златоуст», «Измарагд», «Златая цепь», в составе которых переписывались поучения и русских авторов XIII—XIV вв.

Заметное пристрастие русских авторов и читателей к поучению и нравоучительному размышлению в XIII—XIV вв., несомненно, было вызвано тяжкими условиями ордынского ига и ожесточенными междоусобными войнами русских князей, которых сознательно стравливали ордынские ханы.

Однако несмотря на все обрушившиеся на нее беды Русская земля жила и русская культура развивалась. В XIII—XIV вв. в разных местах Руси — Новгороде, Пскове, Владимире, Ростове, Суздале, Твери, Рязани, Москве — вели летописи, сочиняли жития новых русских игуменов, епископов, митрополитов: Варлаама Хутынского, Аркадия Новгородского, Авраамия Смоленского, Исая Ростовского, Игнатия Ростовского, Петра Московского. Были созданы жития князей и повести о сопротивлении русских князей иноземным врагам — «Житие Александра Невского», «Повесть о Довмонте Псковском», «Повесть об убиении в Орде Михаила Черниговского» и «Повесть об убиении в Орде Михаила Тверского».

По горячим следам событий создается прекрасная и печальная «Повесть о разорении Рязани Батыем» в 1237 г. Она рассказывала о

том, как Батый с огромным войском подошел к Рязани и потребовал у рязанского князя не только дани, но и его жену-красавицу. Князя погибли в битве, а жена рязанского князя вместе со своим маленьким сыном бросилась с высокого храма. Далее говорится о рязанском богатыре Евпатии Коловрате, который поскакал с дружиной вдогонку за ордынским войском, изрубил многие Батыевы полки, но и сам погиб: в него стреляли из «камнеметов».

Автор «Повести» писал о Рязани, но за нею виделась вся Русская земля, истерзанная полчищами Батыя: «Сии бо град Резань и земля Резанская, изменися доброта ея, и отиде слава ея, и не бе в ней ничто благо видети — токмо дым и пепел, а церкви все погореша, а великая церковь внутрь погоре и почернеша. Не един бо сии град пленен бысть, но и инии мнози. Не бе бо в граде пения, ни звона, в радости место всегда плач творяще... Побьени быша... многия князи месныя, и бояре, и воеводы, и все воинство, и удалцы, и резвцы — узорочие резанское. Лежаша на земли пuste, на траве ковыле, снегом и ледом померзоша, ни ким брегома. От зверей телеса их снедаема, и от множества птиц разъстерзаемо. Вси бо лежаша, купно умроша, едину чашу испиша смертную» (15)¹.

В летописях того времени речь шла преимущественно о страданиях Руси. «Тверская летопись», например, сообщала под 1224 г. в «Повести о Калкском побоище»: ордынцам «бысть победа на князи рускиа, якоже не бывала отъ начала Руские земли... и бысть плачь и вопль по всемъ градомъ и по селомъ». Под 1237 г. в «Сказании о пленении Русской земли от Батыя» она отмечала: «...попусти на землю нашу таковую

¹ Цитируемые произведения: «Ермолинская летопись» — ПСРЛ, т. 23; «Житие Александра Невского» — см. «Слово о погибели...»; «Житие новгородского епископа Ионы» — Пам. СРЛ, вып. 4; «Житие Стефана Пермского» — Житие святого Стефана епископа пермского, написанное Епифанием Премудрым / Изд. подгот. В. Г. Дружинин. СПб., 1897; «Задонщина» — «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Текст памятника подгот. Р. П. Дмитриева. М.; Л., 1966; «Новгородская четвертая летопись» — ПСРЛ, т. 4, ч. 1, вып. 1—2; «О приходе безбожного царя Ахмата на Угру» — ПСРЛ, т. 26; «Повесть о Калкском побоище» — ПСРЛ, т. 15; «Повесть о нападении царя Ахмата» — ПСРЛ, т. 23; «Повесть о нашествии Едигея» — ПСРЛ, т. 15, вып. 1; «Повесть о разорении Рязани Батыем» — Воинские повести Древней Руси / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М.; Л., 1949; «Повесть о Темир-Аксаке» — ПСРЛ, т. 6; «Повесть об убиении в Орде князя Михаила Тверского» — ПСРЛ, т. 10; поучения Серапиона Владимирского — Петухов Е. В. Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. СПб., 1888. Прибавление к исследованию; «Сказание о Мамаевом побоище» — Повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. М., 1959; «Слово о погибели Русской земли» и «Житие Александра Невского» — Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века: Слово о погибели Русской земли. М.; Л., 1965; «Слово похвальное» инока Фомы — Инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче / Изд. подгот. Н. П. Лихачев. СПб., 1908; «Тверская летопись» — ПСРЛ, т. 15.

всепугубную рану; еще бо и сеа крови не отмыхомъ Калкацкого бою...» Под 1246 г. в «Повести об убиении в Орде князя Михаила Черниговского» «Тверская летопись» добавляла к этой горестной картине: «...мнози грады поплнены быша, иже донныне места ихъ стоять пуста, и многыа монастыри и честныа церкви и села отъ того нечестиваго Батыева пленения запустеша и ныне лесомъ зарастоша, точию знамениа именъ имъ памятию рода въ родъ предпосылаются...». Причина несчастий, по «Тверской летописи»: «...понеже княземъ въ Руси велико неустроение и части боеве (часты бои друг с другом); ордынцам «ведомо тамо бысть и междусобныа брани Рускыа земля, и глады, и море (моры) велицеи, и оскудение рускаго воинства, и разньствие въ братии, и просто все земское неустроение» (342, 343, 365, 386).

Аналогичные картины страданий Русской земли рисовал в своих поучениях 1270-х годов и Серапион Владимирский: «Се уже к 40 лет приближаетъ(ся) томление и мука, и дане тяжкыа на ны не престануть, гладе, морове животъ наших (на жизнь нашу), и в сласть хлеба своего изъести не можем, и въздыхание наше и печаль сушать кости наши»; «...наведе на ны языкъ (народ) немилостивъ, языкъ лють, языкъ, не щадящъ красы уны (юных), немощи старецъ, младости детии... Кровь и отецъ и братия наша, аки вода многа, землю напои; князии наших воеводъ крепость ищезе; храбрии наши, страха наполньшеся, бежаша; мьножаиша же братия и чада наши въ пленъ ведени быша; села наши лядиною поростоша. И величъство наше смерися, красота наша погыбе, богатство наше онемъ (ордынцам) в користъ бысть, трудъ нашъ погании наследоваша, земля наша иноплеменикомъ в достояние бысть. В поношение быхомъ живущимъ въскрай земля наша, в посмехъ быхом врагомъ нашимъ» (5, 8).

Вместе с тем появляются сочинения, в которых вспоминалось славное прошлое Руси и изображалась вся ширь Русской земли. Примером тому служит «Слово о погибели Русской земли», сочиненное где-то между 1238 и 1246 г. и дошедшее до нас в составе «Жития Александра Невского»: «О светло светло светлая и украсно украшена земля Русьская и многыми красотами! Удивлена еси озера многыми, удивлена еси реками и кладязьми, месточестными горами, крутыми холми, высокими дубравами, ч(и)стыми польми, дивными зверьми, различными птицами, бесчисленными городы, великыми селы, дивными винограды — обителными дома церковными, и князьями грозными, бояры честными, вельможами многыми, — всего еси исполнена земля Руская...» (154. Знаки препинания расставлены нами несколько иначе, чем в цитируемом издании).

В традиционной для литературы Киевской Руси манере поминало далее «Слово» неуязвимость границ Руси при Владимире Мономахе, именем котораго пугали половцы своих детей в колыбели.

В XIII в. был повод сказать не о давно прошедших, а о современных военных успехах на северо-западной границе Руси в борьбе против

немецких рыцарей и шведских феодалов, что и получило отражение в «Житии Александра Невского», сочиненном в 1282—1283 гг. и повествовавшем о битве на Неве в 1240 г. и Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 г. В стиле высокой похвалы автор «Жития» охарактеризовал княжеских дружинников и само «солнце земли Суздальской» — князя Александра Невского: «И нача слыти имя его по всеь странамъ и до моря Египетьскаго, и до горъ Араратьскихъ, и об ону страну моря Варяжьскаго, и до великаго Риму... И промчеша вестъ его и до устья Волгы. И начаша жены моавитьскыя (ордынские) полошати (пугать) дети своя, ркуще: „Александръ едет!“» (173—174).

Новые художественные элементы в литературе намечались еще только слегка. Так, стал формироваться в произведениях образ, которому суждено было потом развиться, — образ чужой, пограничной с Русью земли, до предела заполненной людским множеством. Такой представляла Орда, например, в «Повести об убиении в Орде князя Михаила Тверского», составленной в 1319—1320 гг. и переписанной, в частности, в «Никоновской летописи»: «Бяху же тамо мнози народи, аки песокъ собращася... бе бо тогда все земли сошлися тамо, яко трава и яко песокъ людие — и Цареградци, и Немцы, и Литва, и Русь, и мнози православнии» (184).

В XIV в. в летописях начали появляться сообщения, предвосхищавшие будущие оптимистические рассказы о борьбе Руси с ордынцами. Например, под 1328 г. ряд летописей, в том числе «Тверская летопись», повторили запись об Иване Калите: «Того же лета сяде Иоанъ Даниловичъ на великомъ княжении всеа Руси, и бысть тишина велика на 40 летъ, и престаша поганыи воевати Рускую землю и закалати христианъ. И отдохнуша и упочинуша христиане отъ великиа истомы, и многиа тягости, и отъ насилия татарского, и бысть оттоле тишина велика по всей земли» (417).

Пергаменная «Лаврентьевская летопись», написанная в январе-марте 1377 г. и дошедшая до нас, уже призывала русских князей, хотя и в завуалированной форме, к освободительной войне против ордынцев.

Победа на Куликовом поле в сентябре 1380 г. дала мощный толчок и для развития русской литературы. Существенно изменились художественные представления наших писателей, отражая комплекс многообразных проявлений эпохи Предвозрождения на Руси. Термином «Предвозрождение» Д. С. Лихачев обозначил элементы гуманистического, светского, оптимистического, широкого мировоззрения в русской литературе и искусстве конца XIV—XV вв.²

² См.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 75—126; Он же. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, с. 72—92; Он же. Поэтика древнерусской литературы, 3-е изд., доп. М.,

Черты нового стали заметны во всем, начиная с привычных космологических и землеведческих представлений. Уже с конца XIV в. переводятся новые «Шестодневы» — Севериана Гавальского и Георгия Писидийского. Любопытно, что «Шестоднев» Георгия был греческой поэмой, в первой части которой описывалось величие природы и ее стихий, а во второй части содержались выбранные из античных авторов сведения о зверях, птицах, рыбах и драгоценных камнях.

Больше всего новые черты проникли в писательские представления о мировой истории. К старым переводным хроникам добавились в XV в. византийские «Хроники» Иоанна Зонары и Константина Манассии; к старым хронографам добавились «Хронограф», составленный в 1442 г., затем так называемый «Русский хронограф» середины XV в. и ряд последующих; к патерикам прибавился самый полный «Сводный патерик». В сочинениях на исторические темы явственно начали усиливаться беллетристические тенденции.

В XV в. получили заметное распространение апокрифические и занимательные сочинения, например «Никодимово евангелие», затем запрещенное, и цикл рассказов о царе Соломоне и его премудрости. Так, в одном из них говорилось, что к Соломону пришли две женщины, которые называли одного и того же мальчика своим сыном. Надо было указать истинную мать. Соломон предложил разрубить мальчика и каждой женщине отдать по половине. Настоящая мать в смятении отказалась от сына в пользу другой женщины, лишь бы его не убивали. А чужая женщина настаивала: «Пусть не будет ни мне, ни ей». Так Соломон узнал правду.

Из многочисленных исторических повестей XV в., созданных русскими авторами, можно назвать, например, огромную «Повесть о взятии Царьграда турками» в 1453 г. Нестора-Искандера, включенную в «Хронограф». Ее автор, находившийся в то время в турецком плену, стал очевидцем драматической осады Царьграда-Константинополя — столицы Византии. Падение Константинополя произвело большое впечатление во всем христианском мире, и автор «Повести» подробно рассказал, как это случилось, нарисовал панораму штурма города турками и разгрома осажденного византийского войска. В «Повести» важное значение имел увлекательный сюжет, передающий растущее напряжение событий.

В исторических представлениях писателей все сильнее давали о себе знать художественные, образные элементы. В XV в. появилось множество небольших, совершенно светских, занимательных произведений, в том числе цикл повестей о Вавилонском царстве, «Повесть о Дмитриии Басарге

1979, с. 102—129; *Он же*. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.; Л., 1962. См. также: Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970, с. 208—386.

и сыне его Борзосмысле», «Повесть о грузинской царице Динаре», «Повесть о валашском воеводе Дракуле» и пр. Здесь ощущалось влияние фольклора, сказки. Исторические припоминания смешивались с вымыслом.

Так, в повестях о Вавилоне рассказывалось, что царь Навуходоносор велел построить город о семи стенах, но с единственными воротами, около которых был изваян каменный змей. Змеи были изображены и на всех предметах в городе. После смерти Навуходоносора все змеи ожили и пожрали вавилонян. Город заустел. Прошло много времени, и византийский царь послал за царской порфирой и драгоценностями в Вавилон трех человек — грека, абхазца и русского. С большими приключениями посланцы попали в опасный город, смогли разыскать все, что нужно, но на обратном пути неосторожно разбудили каменного змея у ворот и еле спаслись («Слово о Вавилоне»).

Беллетризация исторических представлений разнообразно проявлялась в сочинениях того времени. В некоторых повестях, например, в новой сербской переработке «Александрии», перенесенной на Русь, наряду с занимательным сюжетом давал о себе знать лиризм повествования; в других повестях, например, в повестях о знаменитой Троянской войне, изображались любовные сцены. Большая группа произведений, включая «Хронику» Константина Манассии и переводные жития «сербских кралей» (королей), была написана в новом, необычном, взволнованно-риторическом стиле, с обилием пышных эпитетов, метафор и восклицаний.

Беллетризацию можно усмотреть и в том, что во второй половине XV в. появился новый тип рукописных сборников — так называемые «четы» сборники энциклопедического типа, предназначавшиеся составителями для своего собственного, личного чтения и состоявшие преимущественно из массы мелких статей. Обычно в них преобладали рассказы на исторические темы, в том числе и о событиях на Руси, но со значительной добавкой космологических и землеведческих, богословских и полемических сочинений. Составители подобных сборников в сжатом виде включали все, что было им интересно и любопытно³.

В XV в. светские, беллетристические тенденции стали проявляться и в учебно-православных сочинениях. Примером может служить связанная с интересами новгородских еретиков книга «Тайная тайных», или «Аристотелевы врата», которая содержала наставления Аристотеля его ученику Александру Македонскому о том, как управлять людьми, государством, вселенной. Особенно же беллетристична «Стефанит и Ихнилат» — книга нравоучительных притч и басен, рассказываемых царю Льву его вельможами — осторожным Стефанитом и лстивым Ихнилатом. В книге (до нас дошла рукопись 1478 г.) содержится множество разнообразных и поучительных сюжетов. В одной из притч, на-

³ См.: Дмитриева Р. П. Четы сборники XV в. как жанр // ТОДРЛ, т. 27, с. 150—180.

пример, говорится о стае голубей, которая попала в сети, ее предводитель отказывается от освобождения, пока не выпустят всех членов его стаи. Далее следует вывод: царь должен быть справедлив.

Предвозрожденческие настроения заметны и в сочинениях о Руси. И здесь усилились элементы беллетристики, а также повышено-эмоциональной риторики и изображения бурных чувств. Это очень заметно в больших житиях русских церковных деятелей, написанных в новом, украшенном стиле писателями конца XIV — начала XV в. — Киприаном, Пахомием Логофетом и в особенности Епифанием Премудрым.

В течение XV в. появилось довольно много рассказов о путешествиях русских людей в чужие страны, которые, как правило, включались в летописи. Так было с «Хожением» Игнатия Смольнянина в Царьград в 1389 г., с «Хожением» Зосимы в Иерусалим в 1420 г., «Хожением» во Флоренцию 1437—1440 гг. неизвестного автора (здесь описывалось и театральное представление), с «Хожением» Василия в Палестину в 1465—1466 гг., со знаменитым «Хожением» Афанасия Никитина за три моря, в Индию в 1466—1472 гг. и пр. Где только не побывал Афанасий Никитин! Но, рассказывая о далеких странах, он постоянно вспоминал Русскую землю, сравнивал увиденное им с привычным на Руси и завершил свое «Хожение» молитвой о благоденствии русского народа.

Произведения местные, локальные по своей основной тематике в XV в. стали характеризовать ту или иную область Руси как своего рода общерусский центр или даже как место, славное во всем мире. Например, некоторые писатели восхваляли Тверь. Так, в «Тверской летописи» о князе Александре Михайловиче, который несколько лет правил Тверью в 20-е годы XIV в., в трудные годы ордынского ига, занимая одновременно великокняжеский престол, говорилось в таком возвышенном тоне: «...дрьжавному Александру владеюще землею Рускою, Володимиремъ, и Великимъ Новымгородомъ, и всею странюю до моря Варяжского, и паки Новымградомъ Нижнимъ, и до пределъ Измаилтескихъ, и въсточными странами обонъполь Устюга до рекъ Угорьскихъ, даже и до моря Печерскаго, и повсюду честному его имени възносящесе» (465).

Тверские же князья, современные тверским писателям XV в., рисовались еще более величественными. Например, писатель Фома в обширном «Слове похвальном» тверскому великому князю Борису Александровичу около 1453 г. писал, что «о сем бо государе слышавшие мнози людие в далних землях и въ царствях и абие радостно прихожаху, видити его хотяше... славимо имя его от востока и до запада и до самого царствующаго града, реку же, и до Рима». В сочинении Фомы Тверская земля XV в. изображалась самостоятельным государством, ведущим переписку с византийским царем и другими иностранными правителями. Тверь, кроме того, авторитетна для прочих русских земель: скажет слово князь Борис и -- шутка сказать! — «промчися слово то и до Московския земли» (2, 3, 42).

В XV в. были писатели, которые главным на Руси считали Новгород. Соответственно менялись картины, ими изображаемые. Например, в «Житии новгородского архиепископа Ионы» сообщалось: «Не точию Московьстии князи велиции к сему преподобному мноюю любовию упространишася, но и Тверьстии, и Литовьстии, и Смоленьстии, и Полотстии, и Немецстии, и вси округ седающи страны во вся лета епископства его тверду любовь имеаху к нему и мир велик к Великому Новуграду имеаху, такоже и ко всем пределом его и глубоку тишину та страна вся прият...» (34).

В Новгород, по рассказам различных новгородских повестей XV в., из Рима и Константинополя чудесным образом стекались исторические ценности и прибывали знаменитые люди.

В конце XIV в. Епифаний Премудрый составил «Житие Стефана Пермского», где даже Пермская земля представлялась в качестве автономного государственного образования, поддерживающего связи со всем миром: «Не от нашея ли ловля и во Орду посылаются и доязать даже и до самого того мнимаго (ордынского) царя, но и въ Царьград, и в Немцы, и в Литву, и въ прочаа грады и страны и далняя языки... Вести у нас вьскоре бывають: еже что сдеется в далней стране, на иномъ городе, на девятой земли, сего дни доспелося что, а сего дни в томъ часе вести у нас полные обретаются...» (47). Однако показательно, что в «Житии» такие речи были вложены в уста отрицательного персонажа, пермского кудесника-язычника, которого побеждал в долгом споре сторонник Москвы Стефан.

Писатели XV в., при всех различиях в их политической ориентации, предчувствовали неизбежность объединения разрозненных русских феодальных княжеств вокруг единого центра. Они вновь стали создавать образ усиливающейся, богатеющей и независимой Русской земли. По замечанию Д. С. Лихачева, «характерною чертой русского культурного подъема было особое внимание к государственным интересам страны»⁴.

Оптимистическое изображение Русской земли особенно характерно для летописей середины XV в. — так называемых «Софийской первой летописи» и в «Новгородской четвертой летописи». В основу летописей лег уже не узкоместный, а общерусский летописный свод, составленный в Москве в 1448 г. Сам свод 1448 г. до нас непосредственно не дошел, но хорошо восстановим по названным летописям. Так как «Новгородская четвертая летопись» сохранилась в виде рукописной книги последней четверти XV в., то о ней мы и будем говорить далее, подразумевая одновременно и свод 1448 г.

Русская земля в «Новгородской четвертой летописи» выступала уже как единая в своей мощи и силе. В рассказах летописи постоянно

⁴ Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого, с. 18.

перечислялись войска княжеств и областей, объединившиеся под водительством московского великого князя. Например, под 1375 г., в рассказе о походе московского великого князя Дмитрия Ивановича на Тверь — главного соперника Москвы, перечисление князей и войск заключалось таким обобщением: «И вси князи рустии, коиждо отъ своихъ градовъ, съ своими полки, служаще князю великому»; Дмитрий Иванович «пиде... съ всею силою русскою» (301).

В известной летописной повести о Куликовской битве 1380 г., сочиненной в 1440-х годах и рассказывающей о замечательной победе русских над ордынцами, Русь также мыслилась единой военной силой. Мамай шел походом «на всю силу русскую» (311); Дмитрий Иванович, он же Дмитрий Донской, обращался «къ всемъ княземъ рускимъ и воеводамъ» (313); и летописец отмечал: «...отъ начала миру не бывала такова сила русскихъ князей и воеводъ местныхъ» (313). Правда, земля за границей Руси еще казалась автору летописной «Повести» страшной и зловещей. По поводу смелого похода Дмитрия Донского автор восклицал: «О, како не убоялся, ни усумняся толика множества народа ратныхъ, ибо въсташа на нь три земли, три рати... и земля тутнаше, горы и холми трясахуса отъ множества вои бесчисленныхъ...» (318).

Русь в летописи середины XV в. представляла уже как целое государство. В этом отношении характерно, например, включенное в летопись под 1389 г. «Слово о житии и о представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго» (оно сочинено тоже в 1440-х годах). Дмитрий Донской, деятельность которого описывает это «Слово», — уже сильный государь: «И примшю ему скипетръ дръжавный земля Рускыя» (352), «...господинъ всей земли Руской былъ еси» (359), «...великие царство сътвори и настолье земли Руской явися» (362—363). Князя и вельможи беспрекословно подчиняются Дмитрию Донскому, восклицая: «Господине Руской царю! Ръкли еси тобе служа животъ свои скончати...» (354). «И вси подъ ногу его поклонишася; раскольници же и мятежници царства его погибоша» (355). Русь сильна и славна: «И въскипи земля Руская въ дне княжения его... Страхомъ господства своего огради всю землю; отъ востокъ и до западъ хвално имя его, от моря и до моря, от рекъ до конца вселеня превознесеса честь его; и многы страны ужасошася» (353).

В летописях XV в. Русская земля изображалась набирающей силу и становящейся на путь благоденствия. В «Повести о нашествии Едигея», например, которая находится в составе различных летописей, в том числе и в «Рогожском летописце», подчеркивалось, что очередной ордынский правитель Едигей в 1408 г. осмелился напасть на Русь, пребывавшую в покое и благоцветии: в то время сын Дмитрия Донского великий князь Василий Дмитриевич «столь русскыя хоругви дръжащу и христиане благоденствовахуть в дръжаве его, и земля Русскаа, миромъ украшаема, всехъ добрыхъ исполнився, благоцветяше». Нашествие

Едигея удалось отразить, и «Повесть» давала такие советы для будущего, еще более прочного порядка на Руси: «...юнии старцевъ да почитаютъ и сами едини, безъ искуснейшихъ старцевъ всякого земьскаго правления да не самочиннують» (178, 185).

Тема борьбы за независимость Руси приобрела исключительную остроту в летописях и летописных повестях XV в. Теперь, по рассказам летописей, уже ордынцы нередко боялись русских и бежали от них. Например, в «Повести о Темир-Аксаке» (Тамерлане), читающейся в разных летописях под 1395 г., сообщалось, что Темир-Аксак, покоривший огромную территорию в Азии, «хоте итти на всю Русьскую землю, аки второй Батый». Но когда Темир-Аксак с бесчисленным войском вошел в пределы Руси, то вдруг «вниде страхъ во сердце его и ужась въ душу его... скорее грядяху къ Орде, а къ Руси тыль показавши... земле Русьстей не прикоснуса» (125, 127). Под 1438 г. летописи, например «Ермолинская летопись», подчеркивали, что татары «убоявся князей Русскихъ и нача ся давати имъ въ всю волю ихъ, и въ закладе дети своя давати, и что где взяли, и не въ великого князя отчине, полону, то все отдавали, и по тотъ день не чинити им пакости» (149). В «Повести о нападении царя Ахмата» на Русь в 1472 г. летописи отмечали, что ордынцы боялись не только русского войска и великого князя московского, но даже имени его брата: «И бе видети татаромъ велми страшно, такоже и самому царю, множество воа Русского», «наипаче бояхуса князя Юрья Васильевича, понеже бо имени его трепетаху» (160—161).

Летописная повесть «О приходе безбожнаго царя Ахмата на Угру» в 1480 г. как бы венчала длинный ряд летописных повестей о борьбе русских с ордынцами с XIII по XV вв. Она также вставлялась в разные летописи, в том числе в «Вологодско-Пермскую летопись». Эта «Повесть» рассказывала об окончательном освобождении Руси от власти Орды и от уплаты ей дани. В «Повести» приводилось послание, с которым перед битвой к великому князю московскому Ивану III обратился ростовский архиепископ Вассиан. Он призывал Ивана III к решительной борьбе, приводил в пример Дмитрия Донского — прадеда Ивана III — и вопрошал по поводу ордынского царя Ахмата: «И се убо, который пророк пророчествова, или апостоль который, или святитель научи — сему богостудному и скверному, самому называющуся царю повиноватися тебе, великому русских стран христианскому царю?» Вассиан обещал Ивану III после победы «твердое, и честное, и крепкое царство».

Побуждаемый Вассианом Иван III выступил навстречу ордынскому войску к реке Угре, притоку Оки на юго-западе от Москвы. Но сражения не произошло. Ахмат испугался: «...нападе на нь страх велик... а сам побеже» (270, 272, 273).

После повествования о победе некоторые летописи, в том числе «Ермолинская летопись», под 1481 г. поместили, несомненно, выстра-

данный патриотический призыв летописца: «О храбрии, мужествении сынове Рустии! Подщитесь схранити свое отечество, Рускую землю, отъ поганыхъ! Не пощадите своихъ главъ, да не узрятъ очи ваши пленения и грабленія святымъ церквемъ и домомъ вашимъ, и убиения чадъ вашихъ, и поруганія женамъ и дочеремъ вашимъ, якоже пострадаша инии в лице и славнии земли отъ Турковъ, еже, глаголю, Болгари, и Серби, и Греци, и Трапизонъ, и Амориа, и Аръбанасы, и Хорваты, и Босна, и Манкупъ, и Кафа и инии мнози земли, иже не сташа мужествене, и погыбоша, и отечество свое изгубиша, и землю, и государьство, и скитаются по чужимъ странамъ, бедне воистинну и странне...» (182).

Образ освобожденной Русской земли создан в двух известнейших произведениях, посвященных Куликовской битве, — «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище». Оба произведения включались чаще всего в исторические сборники, а «Сказание о Мамаевом побоище» бытовало и в виде отдельной рукописной книги.

Ни время создания, ни автор «Задонщины» точно неизвестны. Старейший из сохранившихся списков «Задонщины» датируется 1470-ми годами. Но «Задонщина» здесь уже сильно сокращена. Ученые относят сочинение первоначального, полного текста «Задонщины» к широкому отрезку времени — с 1380-х по 1440-е годы. По последним данным, неизвестный нам автор «Задонщины» использовал не только «Слово о полку Игореве», но и не дошедшее до нас произведение — «Слово о Мамаевом побоище», составленное неким Софонием Рязанцем.

В «Задонщине» нет подробного, связного рассказа о Куликовской битве. Это лирическая похвала русским князьям и русскому войску. Тем не менее в «Задонщине» картинно изображаются основные эпизоды подготовки к сражению и сцены самого сражения.

Русская земля в «Задонщине» представляется большой страной, единодушно поднявшейся на борьбу с Ордой. «Взыдем на горы Киевския, — призывает автор, — и посмотрим с равнаго Непра (в других списках — «славного Днепра») и посмотрим по всей земли Руской... На Москве кони ржут, звенит слава по всей земли Руской, в трубы трубят на Коломне, в бубны бьют в Серпугове, стоят стязи у Дунаю великого на брезе, звонять в колоколы вечныя в Великом Новегороде... К славному граду Москве съехались вси князи руские...» (536).

Ощущение простора Русской земли вносят в «Задонщине» образы, заимствованные из «Слова о полку Игореве». То, что в «Слове» относится к характеристике Поля половецкого, в «Задонщине» обычно перенесено на Русскую землю. Например, если автор «Слова» слышал в Поле клекот орлов и лай лисиц, то у автора «Задонщины» все это происходит на просторной, готовой к отпору Русской земле: «...поганыи Момаи пришел на Рускую землю и воеводы своя привел. А уже беды их пасоша птицы крилати под облак летят, вороны часто грают, а галицы (гал-

ки) свою речь говорят, орлы хлещут, а волцы грозно воют, а лисицы на костях бряжут (лают)» (537).

Ярок в «Задонщине» и образ Поля, граничащего с Русью. Это уже не то Поле, какое мы видели в «Слове о полку Игореве». Автор «Задонщины» четко различает границу, на которой остановились ордынцы: «...стоят татаровя поганые и Момаи царь на реки на Мечи», «...и притекоша серые волцы от усть Дону и Непра и ставши воют на реке, хотят на Мечи поступити в Рускую землю. И то были не серые волцы, приидоша поганые татаровя, хотят проити воюючи всю Рускую землю» (536, 537). Некоторые высказывания «Слова», относившиеся к Русской земле и к «русичам», перенесены в «Задонщине» на Поле и на татар. Теперь — это земля, горестная для татар: «...костми татарскими поля насеяша, а кровью ихъ земля пролита бысть» (538), «...уже бо востона земля татарская, бедами и тугою покрыта бо сердца ихъ» (539)⁵.

Поле в «Задонщине» уже не напоминает зловещую для русских «землю незнаемую», изображенную «Словом о полку Игореве». Поле здесь превратилось в место приложения молодецких сил. Здесь «ступишася руские удалцы»; «...а силныи полки ступишася вместо (вместе) и протопташа холми и луги, и возмутишася реки и потоки и озера» (538); «...а в трупы челоувече борзи кони не могут скочити, а в крови по колению бродят», «...а трупми татарскими поля насеяша и кровию ихъ реки протекли» (539), «...а Дон река три дни кровию текла» (540) и т. п.

Сравнительно со «Словом», в «Задонщине» подчеркнут мотив размашистой и красивой молодецкости русского войска в Поле, где русский богатырь Пересвет «поскакивает на своем добре коне, а злаченым доспехом посвелчивает» (538), «...а руские князи, и бояры, и воеводы, и все великое войско широкие поля кликом огородиша и злачеными доспехами осветиша» (539). Русские женщины в «Задонщине» верят, что великий князь Дмитрий Донской может «весла Непра (веслами Днепр) запрудити, а Дон шеломомъ вычерпати, а Мечю трупы татарскими запрудити» (544).

Но главным в «Задонщине», конечно, является лирический образ спасенной Русской земли: «Нам земля есть Русская милому младенцу у матери, его же мати тешить, а рать лозою казнит, а добрая дела и милуют его» (545).

Из произведений, посвященных Куликовской битве, наиболее распространена на Руси была не «Задонщина», а «Сказание о Мамаевом побоище»: «Сказание» понятней «Задонщины», оно последовательно, подробно и ясно рассказывает о событиях. «Сказание» к тому же и наиболее полно, ибо автор использовал много письменных и устных источников, касающихся Куликовской битвы, в том числе «Задонщину» и не дошедшее до нас «Слово о Мамаевом побоище» Софония Рязанца.

⁵ Другие примеры см. в кн.: Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого, с. 91—92.

Художественны преимущественно те отрывки «Сказания», в которых использована «Задонщина». По ним можно убедиться, что автора «Сказания» уже меньше интересовали и великое Поле, и далекие татарские земли. Его внимание было приковано к относительно близкому и небольшому участку — к полю Куликову. Автор «Сказания» изображает поле Куликово заполненным людьми и тесным: «...великое же то поле Куликово прегигающеся; реки же выступаху из мест своих, яко николи же быти толиким людем на месте том» (66); сражающимся «несть бо им места, где разступитися» (68); «от великиа тесноты под коньскими ногами издыхаху, яко немощно бе (нельзя было) вместитися на том поле Куликове: бе место то тесно между Доном и Мечю» (69).

Однако не место, а событие интересует автора. Художественные детали, взятые из «Задонщины», в «Сказании о Мамаевом побоище» включены в церковно-назидательный контекст; они служат для подчеркивания значимости и божественной предопределенности события на Куликовом поле: «За многыже дни мнози (многие) вльци (волки) притекоша на место то, выюще грозно, непрестанно по вся ноци, слышати гроза велика... зане же мнози рати необычно събрашася, не умлѣкающе глаголють, галици (галки) же своею речию говорить, орли же мнози от усть Дону слетошася, по веру летаючи клекчють, и мнози зверие грозно выють, ждуще того дни грознаго, Богом изволеного, в нь (оный) же имать пасти трупа челоуеча, таково кровопролитие, акы вода морскаа. От такового бо страха и грозы великыа древа прекланяются и трава посьстиляется» (61).

Автор «Сказания» пишет не столько о признаках местности, сколько о признаках самого события. Он настойчиво перечисляет многочисленные, как он их называет, «приметы» и «знамения»: перед полком татарским «слышеть стук велик и кличь и вопль, аки тръги (торги) снимаются, аки град зиждуще и аки гром великий громить. Съзиди же плъку (полка) татарскаго вольци выют грозно вельми. По десной же стране плъку татарскаго ворони кличуще и бысть трепет птичей, велик вельми, а по левой же стране, аки горам играющим, гроза велика зело. По реце (реке) же Непрядве гуси и лебеди крыльми плещуще, необычную грозу подающе» (64). Участники битвы слышат «землю плачущую», видят на небе великие багряные облака с сияющими юношами и множеством человеческих рук и т. п. Тут же все явления истолковываются. Поле Куликово в «Сказании» — это поле божественных знамений, для которых могло быть выбрано и любое другое место.

Нетрудно заметить, что беспокоящие явления природы в «Сказании» окружают именно татар. Русское же войско лелеемо природой. Когда Дмитрий Донской выезжает к Куликову полю, то «напреди же ему солнце добре сияеть, а по нем кроткий ветрец вееть» (55). Когда Дмитрий Донской оглядывает свое войско на Поле, то «увидев образы

святых иконы... аки некий светилници солнечнии светящися в время ведра, и стязи (стяги) их золоченыя ревуть, простьрающися, аки облаци, тихо трепещущи... Богатыри же русские и их хоругови, аки живи пащутся (колышатся). Доспехи же русских сынов, аки вода в вся ветры колыбашеся. Шоломы злаченыя на главах их, аки заря утренняя в время ведра светящися» (62—63). Все тихо и чинно.

Наконец автор описывает ночь на Поле перед битвой: «Бысть же в ту ноц теплота велика и тихо вельми, и мраци (заморозки) роснии явишася. Поистине бо рече пророк: Ночь не светла неверным, а верным просвещена» (64). Все в природе автор осмысляет как знамения и все благополучное в природе относит на долю русских.

В результате компиляции различных источников в «Сказании» возникает неожиданная контрастная картина. Тяжко русским биться с татарами на Куликовом поле, но само поле — уже не чуждая русским «земля незнаема» и не нейтральное место для молодецких забав, а очень знакомое уголье, где зеленеет дубрава, где косят траву и собирают сено, где тень дает одинокая береза... Хотел этого автор или нет, но мирный образ просвечивает у него сквозь описание битвы: вот русские «выседоша из дубравы зелены, аки соколи искушены... ударилися на великиа стада жировины (журавлиные)»; «аки лес клоняху, аки трава от косы постигается у русских сынов под конские копыта»; «един русин сто поганых гонить... аки овчье стадо» (71). На поле «трупы челоувеча, аки сennyя громады» (72). Вот израненный Дмитрий Донской, которого «Сказание» здесь называет пастырем, — «отдыхающи ему под сению ссечена древа березова» (73). Он говорит: «...възрадуемся и възвеселимся, людие» (73). И победившие русские на Поле «грядуще же весело, ликующе, песни пояху... Кийждо въин едет, радуася...» (74).

В «Сказании о Мамаевом побоище» предстает благочинное и даже уютное Куликово поле. Таков плод церковной переработки автором вовсе не церковных и «неподатливых» для оцерковливания художественных элементов, взятых из «Задонщины», из фольклора и, может быть, даже непосредственно из «Слова о полку Игореве».

Если сравнить образ Русской земли в произведениях Киевской Руси XI—XII вв. с образом Руси в произведениях XV в., то наряду с общим сходством радостно-патриотического тона и уверенностью авторов в победоносной силе Руси бросаются в глаза и существенные различия. Писатели XV в. уже более разнотипны и разностильны, более многоопытны и зрелы; они острее ценят новообретенную независимость Русской земли; они рачительным оком следят за государственным и хозяйственным строительством возрождающейся Руси.

3. ЛИТЕРАТУРА XVI В.

XVI в. — время формирования на Руси мощного централизованного государства, расширения общекультурных интересов, стремления русских писателей к монументальности, грандиозности в своих литературных начинаниях.

Книжники XVI в. не только продолжали переписывать популярные произведения, но и возрождали давно забытые сочинения. Недаром подавляющее большинство литературных памятников Киевской Руси дошло до нас в списках XV и, особенно, XVI в.

Гораздо реже, чем раньше, стали встречаться космологические и землеведческие сборники¹. За весь XVI в. перевели всего две соответствующие книги: одну в начале века — «Луцидариус» (другое название: «Златой бисер»), и вторую в конце — «Космографию» Мартина Бельского. Составленный в виде вопросов ученика и ответов учителя о земле, о кометах, о чудовищах и т. д. «Луцидариус» не вносил в космографические представления русских писателей ничего принципиально нового, напоминая и как бы продолжая устремления книжников прошедшего XV в. к энциклопедичности знаний. Традиционна была и «Космография» Мартина Бельского, переведенная в 1584 г. с польского. Однако в ней уже упоминалась Русь.

Много сил русские книжники XVI в. потратили на соби́рание по преимуществу уже известного материала в гигантские по своему объему тома. Так, еще в 1499 г. под руководством новгородского архиепископа Геннадия после долгих трудов были собраны в единый свод все библейские книги, ранее обращавшиеся на Руси порознь или в отрывках. В начале XVI в. подобные попытки предпринимаются заново.

Все более укрупнялся «Хронограф», превращаясь в малоподъемную книгу. Новые редакции «Хронографа» создаются на протяжении всего века, причем каждая последующая редакция неизменно шире предыдущей. В «Хронографы» регулярно вставлялись почти все новонаписанные или новопереведенные сочинения историко-географического содержания. Среди них были — «Хроника» Мартина Бельского, переведенная в 1565 г.; «Хожение» купца Василия Познякава в 1558—1561 гг. в Царьград, Иерусалим и Египет, переделанное затем в обширное «Хожение» купца Трифона Коробейникова; относительно небольшие переводные сообщения вроде описания путешествия «римлянина» Людовика в Мекку и Медину, рассказа о Молуккских островах в Индонезии или повести о домике Богородицы, чудесным образом перекочевавшем из Иерусалима в Италию, и т. п.

¹ См.: Дмитриева Р. П. Волоколамские четьи сборники XVI в. // ТОДРЛ, т. 28, с. 229.

Другим примером концентрации старых и новых произведений письменности служат «Великие Минеи Четьи». На Руси XVI в. ясно ощущали значительность достижений русской книжности. К середине XVI в. была предпринята попытка собрать все важнейшие произведения, обращавшиеся на Руси, в единый колоссальный, многотомный сборник — «Великие Минеи Четьи». Для «Великих Минеи Четых» разыскивали, сверяли, редактировали, переписывали многообразный фонд произведений — от древних Евангелий, патериков, кормчих до новосочиненных житий, повестей, хожений, грамот, посланий и письмовников. «Великие Минеи Четьи» вобрала в себя обе главнейшие редакции «Прблага», а сверх того и различные четыминеиные сборники. Богатства русской письменности оказались почти необозримыми. Работа по созданию «Великих Минеи Четых» под руководством митрополита всея Руси Макария длилась не менее 20 лет, но так и не была закончена. Многие памятники остались не учтенными собирателями либо намеренно не включенными в «Минеи».

В представлениях писателей XVI в. история мира и история Руси были связаны уже неразрывно. Книжники стали последовательно включать произведения открыто русской тематики во все исторические повествования. Именно в XVI в. «Хронограф» пополняется рассказами о русской истории, и его каждая новая редакция была нова прежде всего своей заключительной русской частью. В «Великих Минеях Четых» также необычайно весомым получился русский материал: сюда собрали великое множество житий древнерусских митрополитов, игуменов, князей. Некоторые жития русских князей и церковных деятелей специально были составлены для «Великих Минеи Четых».

Сборники исторические и хронографические, повестей и сказаний, житийные и четыминеиные уже обычно не мыслились без произведений XV—XVI вв. на русскую тему — житий Евфросина Псковского, Пафнутия Боровского, Иосифа Волоцкого, Серапиона Новгородского, Евфросинии Суздальской, Адриана Пошехонского и пр., повестей о новгородском белом клобуке, о выдропускской иконе Богородицы, о царевиче Петре Ордынском, о походе Ивана Грозного на Новгород, о взятии Смоленска Иваном Грозным, об осаде польским королем Стефаном Баторием града Пскова и т. д.

«Повесть о новгородском белом клобуке», например, рассказывала длинную историю того, как белый клобук, которым венчались папы римские, оказался в Новгороде. Римский император Константин в знак благодарности за свое чудесное исцеление от проказы провозгласил римского епископа Сильвестра папой римским и торжественно возложил на него особо почитаемый белый клобук. После смерти Сильвестра папы римские вели неблагоприятную жизнь и ненавидели белый клобук, который в конце концов и отослали в Константинополь. Константинопольскому патриарху Филофею в ночном видении явился юноша светел и потре-

бывал переправить белый клобук в Русскую землю, в великий Новгород. Филофей колебался, но его посещали новые видения, побуждавшие передать клобук новгородцам, и он согласился. Белый клобук был положен на золотое блюдо и со многими иными дарами в сопровождении посольства был отправлен в Новгород, где его ждал предупрежденный также видением новгородский архиепископ и толпы народа.

В XVI в. появляются сочинения, в которых уже можно заметить прямое или завуалированное, но исключительно настойчивое внимание авторов к государственно-русской тематике. Антибоярской по своей направленности была созданная в середине XVI в. «Повесть о Петре и Февронии Муромских», рассказывающая о любви князя Петра к простой девице Февронии, об интригах и распрах местных бояр, о призвании Петра народом в град Муром, о счастливой жизни Петра и Февронии до скончания их дней.

Показательны произведения Ивана Семеновича Пересветова, бытовавшие в виде отдельных сборников. Частично они включались и в «Хронограф», и в летописи. Из сохранившихся челобитных, которые Пересветов подавал Ивану IV, мы знаем, что первоначально он нес дворянскую службу у польского, венгерского и чешского королей, а затем в 1538 или 1539 г. переехал из Литвы на службу к малолетнему русскому царю. Созданные им произведения — «Сказание о греческом царе Константине», «Сказание о греческих книгах», «Сказание о турецком царе Магмете-салтане», «Речи мудрых философов и докторов» и «Речь молдавского воеводы Петра» — относятся к 40-м годам. Они написаны простым языком и предназначались для царя.

Для русской литературы эти произведения были существенно новы. Пересветов вовсе не старался изложить реальные события из жизни Византии, Турции, Валахии или припомнить слышанные им легенды. «Сказания» Пересветова являлись иносказанием. На основе якобы достоверных примеров из жизни той или иной страны Пересветов предлагал молодому Ивану IV проекты кардинальных государственных реформ на Руси. Использование исторических и псевдоисторических примеров с целью иносказательного поучения было знакомо русской литературе, но до Пересветова такой способ изложения не вырастал до целой программы политического переустройства. Пересветов предлагал максимально ограничить роль боярства в Русском государстве. «Сказание о Константине» считало своекорыстие вельмож главной причиной гибели Византии. «Сказание о Магмете-салтане» показывало, как турецкий царь свел на нет власть вельмож, приблизив к себе помощников за заслуги, а не по родovitости, посадив вельмож на государево жалование вместо «кормления» с мест и предав непокорных лютой смерти.

Пересветов призывал к созданию постоянного войска на Руси Магмет-салтан, к примеру, держит постоянно сорок тысяч образцов

«янычан», платит им жалованье и ежедневно кормит их финиками. Намекал Пересветов и на необходимость отмены «рабства» крестьян. Тот же Магмет-салтан, сообщал Пересветов, отменил у себя рабство, сжег кабальные книги, заявив, что холопы хуже трудятся и хуже воюют, чем люди, освобожденные от порабощения.

В своих сочинениях Пересветов рисовал облик идеального правителя, который вводит «грозу» и «правду» в свою страну и руководствуется праведными книгами. Магмет-салтан, рассказывал Пересветов, после взятия Царьграда велел собрать христианские книги и перевести их на турецкий язык. Их рекомендации он и проводит в жизнь.

Сочинения Пересветова были рассчитаны на непосредственное побуждение молодого Ивана IV к действиям. Так, например, «Речи мудрых философов и докторов» в большей своей части оказались заняты прямыми советами Ивану IV, похвалами ему за якобы уже проделанные нововведения и предсказаниями великого будущего Русского государства.

Энергично участвовали в идейной борьбе того времени и авторы сочинений, посвященных устоям православного общества. Каким бы отвлеченным ни казалось содержание их учительных, полемических, богословских произведений, речь всегда шла о Руси и ее делах. Отсюда проистекала напряженная публицистичность произведений таких известных и плодовитых писателей XVI в., как Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, митрополит Даниил, Максим Грек, Зиновий Отенский, Ермолай-Еразм.

В богословско-учительных произведениях XVI в. выделялось примерно пять главнейших тем, касавшихся внутренней жизни России.

Важнейшей из них было обличение разного рода еретиков. За рассуждениями еретиков по богословским и обрядовым вопросам писатели XVI в. правильно угадывали их оппозицию российской церкви и государственной власти. Особенно нетерпимым к еретикам проявил себя основатель влиятельного Волоцкого монастыря, советник царей Ивана III и Василия III Иосиф Санин, прозванный Иосифом Волоцким. В конце XV — начале XVI в. Иосиф составил резкое «Сказание о новоявившейся ереси» новгородских еретиков, а затем антиеретический сборник «Просветитель», или «Книгу на новгородских еретиков». Иосиф обвинил еретиков в желании отделиться от Руси, от Москвы, призывал казнить их и добился своего: специальный собор в Москве осудил еретиков, некоторых из них сожгли, а других сослали.

Другой важнейшей и горячо обсуждавшейся в церковно-публицистической литературе XVI в. темой был вопрос о землевладениях монастырей. Писатели разделились на два враждовавших лагеря — на тех, кто защищал право монастырей владеть землями, и на тех, кто это право отвергал и порицал. Защитников монастырского землевладения, а следовательно, и определенной независимости церкви от государства, называли иосифлянами, по имени главы этой группировки Иосифа Во-

лоцкого. Противников монастырского землевладения, предлагавших отобрать земли у монастырей, называли нестяжателями или нилсорцами, по имени главы данной группировки старца Нила Сорского. Особенно значительными были произведения писателей, примыкавших к нестяжателям. Против вотчин монастырей, против корыстолюбия и торгашества монахов, против алчности и властолюбия иосифлян писали в многочисленных поучениях ученик Нила Сорского Вассиан Патрикеев и переехавший из Италии в Россию знаменитый переводчик и писатель Максим Грек.

Третьей важной темой публицистики того времени была тема крестьянская. Нестяжатели стали активно, со слезой описывать нищету и тяготы крестьян, особенно монастырских, и бесчеловечие их хозяев. К середине XVI в. появилась целая серия таких сочинений, в том числе составленная неизвестным автором большая «Беседа валаамских чудотворцев Сергия и Германа», обличавшая монахов. К тому же времени писатель Ермолай-Еразм подготовил трактат о необходимости облегчить положение крестьян, называвшийся «Благохотящим царем правительница и землемерие».

Еще одной важной темой являлась тема бытовая. Древнерусские церковные поучения издавна учили слушателей и читателей праведному поведению. Но с XVI в. русский быт начал широко отражаться и в поучениях на общеправославные темы. Яркими эпизодами были наполнены, например, наставления митрополита Даниила. Он изображал и современного похотливого щеголя, и празднослоняющегося человека, позевывающего в церкви, и сутолоку боярской поварни. Более яркие бытовые картины рисовал «Домострой» — произведение, до мелочей регламентировавшее поведение мирянина и его домочадцев, перечислявшее, какие припасы должны быть сделаны дома и где они должны храниться, учившее, как вытирать пыль, мыть посуду, сколько мыла тратить на стирку и т. д. «Домострой» одновременно и «советовал» отцам непослушных сына или дочь «плеткою вежливенко побить».

Наконец, в важную тему публицистики XVI в. выделилось обсуждение состава русской книжности. Максим Грек, например, специально писал о вздорности и вредности «Луцидариуса». Многие писатели выступали за критический пересмотр переводов священного писания и сочинений отцов церкви, сильно искаженных на Руси в процессе длительной переписки до прямых нелепиц. Началась эпоха книжных исправлений, продолжавшаяся и в XVII, и в XVIII в. В Москве было заведено книгопечатание. И в первом печатном послесловии к «Апостолу» Ивана Федорова и Петра Мстиславца, вышедшем 1 марта 1564 г., тоже говорилось о необходимости исправления и размножения русских книг.

В XVI в. русское государство стало многонациональным, и представления писателей о Руси постепенно превратились в представления

о России. Хотя в произведениях XVI в. по традиции еще преобладали местные или частные темы из жизни Руси, однако широкий образ России уже отчетливо рисовался в ряде сочинений тех лет. Недаром летописи в это время развернулись в огромные произведения, вроде «Никоновской летописи», и даже перестали иногда походить на летописи, представляя собой обширные цельные литературно-исторические повествования, например «Степенная книга» и «История о Казанском царстве».

В первой трети XVI в. авторы высказывались о России в радостных тонах довольства и горделивости и создавали образ мощного Российского государства. Существенным в этом образе было утверждение авторами ряда посланий и повестей начала XVI в. идеи исключительного значения России как оплота и центра мирового православия. Так, например, монах псковского Елеазарова монастыря Филофей обратился к Василию III с посланием, в котором разбирались догматические вопросы, но выводы делались политические. Филофей провозглашал перед Василием III: «...вся царства православныя христианский веры снисдошася в твое едино царство, един ты во всеи поднебесной христианом царь»; «...вся христьянская царства снисдошася в твое едино царствие. Два убо Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не быти» (50, 56)². Подобную мысль Филофей повторял и в других своих посланиях: первый центр христианства, первый Рим — античный, он пал от варваров; второй Рим — Царьград, или Константинополь, его захватили турки вместе с Византией; последний, третий Рим — Москва и Россия; а четвертому не бывать.

Идею «Москва — третий Рим» подхватили другие писатели. В 1511—1521 гг. бывший киевский митрополит Спиридон-Савва, возможно, по официальному поручению, составил послание, вернее, историческую повесть, в которой доказывал, что род русских великих князей ведет свое начало от римского кесаря Августа и что царские регалии русских великих князей принесены из Византии. Так называемое «Ска-

² Цитируемые произведения: «Иоасафовская летопись» — Иоасафовская летопись / Изд. подгот. А. А. Зимин и С. А. Левина. М., 1957; «История о великом князе московском» Андрея Курбского — РИБ, т. 31; «История о Казанском царстве» — Казанская история / Изд. подгот. Г. Н. Моисеева. М.; Л., 1954; «Летописец начала царства» — ПСРЛ, т. 29; «Никоновская летопись» — ПСРЛ, т. 13, ч. 1; «О приходе крымского царя Сафа Киреа» — ПСРЛ, т. 8; «Повесть о взятии Пскова Василием III» — Псковские летописи / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М., 1955; «Повесть о нападении крымского царя Магмет-Гирея» — ПСРЛ, т. 13, ч. 1; послание Андрея Курбского Вассиану — ПСРЛ, т. 13, ч. 2; послания Ивана Грозного митрополиту всея Руси — ПСРЛ, т. 13, ч. 2; послания Филофея — *Малинин В. Н.* Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. Приложение; похвала Василию III — *Демин А. С.* Отрывки из неизвестных посланий и писем XVI—XVII вв. // ТОДРЛ, т. 21; «Псковская первая летопись» — ПСРЛ, т. 4; «Степенная книга» — ПСРЛ, т. 21, ч. 2; «Царственная книга» — ПСРЛ, т. 13, ч. 2.

зание о князьях владимирских», сочиненное в 1520-е годы неизвестным автором, развило эти легендарные сведения о связи московских великих князей через владимирских и киевских князей с византийскими и римскими цесарями.

К середине XVI в. идея «Москва — третий Рим» стала одной из важнейших, основополагающих официальных версий и повторялась многими памятниками в течение XVI и XVII вв.

Писатели первой трети XVI в. рисовали картины того, как враги боятся России, русского войска. Сравнительно с XV в. такие описания более решительны и лапидарны. В первой трети XVI в. составилаься, например, целая серия торжественных произведений-похвал Василию III. В одной из них читаем: «...есть бо по всем морем и островем грозная твоя и крестная херугви. Их же боятца латынстии языци — литва, ляхи, немци — и всяко бесерменское племя. Тии бо исчезают по темным нырищам дикаго и глубокаго поля. Еще бо грозы твоя боятца и не кочюют сильные орды на Рускую украйну, на твою вотчину государеву...» (191)³.

Похвалы продолжали составляться и при Иване Грозном.

Паническая боязнь врагов неоднократно служила предметом изображения в «Никоновской летописи», пожалуй, самой большой русской летописи, созданной в Москве при митрополичьем дворе в 1520—1530-х годах и затем почти полвека пополнявшейся. Например, под 1522 г. в летописной «Повести о нападении крымского царя Магмет-Гирея на Москву» рассказывалось о том, как растет страх врагов при виде русского войска. Первый отряд увидел «полны поля бесчисленаго множества русскаго воинства», и «велий страх нападе» на татар. Магмет-Гирей послал второй отряд, и разведчики второго отряда уже «видеша того сугубейше воинство русское, и паче первых ужасошася, и многою боязнью одрѣжими прибегоша к царю». Магмет послал разведчика в третий раз, но тот «узре неисчетное множество московскаго воинства, и велми ужасеся, и трепеща скоро прибежа и вопия: О царю! Что косниши? Побегнем быстрейше! Не вемы, аще възможем убежати, сверепоустремительно бо грядут на нас безмерное множество войска от Москвы!» (42—43). И татары, конечно, бежали, не приняв сражения. «Никоновская летопись» под 1530 г. дала очень выразительное обобщенное изображение боящихся, поджавших хвост врагов: «...варваром же иноплеменником и супостатным ратником... мимоидуще руския пределы, яко хищнии волцы, шею протязающе, опашию же след заглаживающе, и друг друга женуще (гоня), бежаху» (52—53).

³ Ср. еще: Розов Н. Н. Похвальное слово великому князю Василию III // Археографический ежегодник за 1964 г. М., 1965. Похвальное слово Василию III было частично внесено в «Степенную книгу». См.: ПСРЛ, т. 21, ч. 2, с. 610. Об этом см.: Васенко П. Г. Дьяк Иван Тимофеев... // ЖМНП, 1908, № 3, отдел 2, с. 99, примечание 2.

Этот образ потом был использован в одном из обширных похвальных слов Василию III.

В образ мощного Российского государства входил и образ его столицы — благополучной и многонародной Москвы. О Москве отзывались преимущественно летописи первой трети XVI в., и это была сравнительно новая для них тема. Так, «Иоасафовская летопись», составленная в начале 1520-х годов и сохранившаяся в виде рукописной книги, а также «Софийская вторая летопись», вобравшая в себя общерусские летописные своды 1518 и 1534 гг., поминали «преименитый и славный град Москву» — постоянно в сопровождении таких эпитетов. Например, в летописном рассказе под 1518 г. в «Иоасафовской» и «Софийской второй летописи» сам Василий III восхвалял Москву: «...в благодости державы моя... источник благодатный в граде нашем Москве, творящая нам дивьная чудеса». Эти слова слушал «народ славнаго града Москвы, безчисленное многое множество, мужи и жены и младенци». Похвалы даже воздействовали на погоду. В тот июльский день «облачное темное небо с своими стихиями благо и растворено бысть и яснысолнечныя заря изъяви с теплотою» (178).

Искренние или вынужденные похвалы Москве и силе ее великого князя встречаются во многих произведениях XVI в., они перешли также и в летописи местные, немосковские и противомосковские. Так, в горестной летописной «Повести о взятии Пскова Василием III» в 1510 г. (из «Псковской третьей летописи» 1560-х годов) сетования от имени града Пскова выглядели похвалой Москве: «И прилетел бо на мя многокрыльный орел, — плачет Псков, — исполнь крыле, львовых ногтеи... и красоту мою и богатество и чада моя восхити...» (257)

В середине XVI в. летописные рассказы о судьбах России становятся более драматичными, чем в первой трети XVI в. Речь в них обычно идет о бедах России во времена малолетства Ивана IV и о радости побед Ивана IV в молодом возрасте. Эти две контрастные темы составили главное содержание летописей того времени.

Вот, например, «Летописец начала царства Ивана Васильевича», составленный в середине XVI в. и дошедший до нас в копиях XVI же века, в том числе в виде отдельных рукописных книг. По сравнению с произведениями первой трети XVI в. в нем тон благополучия сменился острой тревогой. России стало худо: из-за боярского засилья «многие люди московские поколебались были», «...и был мятеж велик в то время на Москве», «...бояре безчинье и самовольство чинят без великого князя веления, своим советом единомысленных своих советников многие убиства сотвориша своим хотением и многие неправды земле учиниша», бояре «великое мздоимство учинили и многие мятежи и бояр без великого государя веления многих побили...» — так под 1537, 1542, 1543, 1544 гг. сообщал этот «Летописец». Но после рассказов о венчании Ивана IV на царство в 1547 г. и о его расправах с боярами тон

повествования вновь стал торжественным и горделивым, когда речь шла о судьбе России. Особенно величавым было повествование «Летописца» о победе России над Казанским царством в 1552 г. и о результатах присоединения Казани к России: «...и тмочисленное множество христьянского плена мужеска полу и женска, юношь и девиць и младенецъ, от поганых рук с радостью возвращахуся во свояси»; разные цари, короли и князья «с мировыми грамотами и с чесными дары о любви и о миру своя посланники к нашему царю и государю присылаху, и вси концы земнии устрашилися, и от многих стран цари и царевичи и иных великих держав дети к нашему царю и государю прихожаху своею волею служити на его ласку и великое жалованье. И грады наша и страны мирны быша и без мятежа пребываху» (29, 42, 45, 46, 76).

Сам момент перелома в летописном повествовании, этот разительный переход от несколько жалостливого тона к победному хорошо наблюдается в произведении, появившемся немного раньше «Летописца начала царства», — в «Воскресенской летописи», которая донесла до нас текст летописного свода 1542 г.

В конце «Воскресенской летописи», под 1541 г., помещена повесть «О приходе крымского царя Сафа Киреа на Русскую землю к Оке реке на берег». Повесть начинается с описания трагической ситуации. На Россию, ослабленную боярскими распрями, двинулись татары. Прибывший «с Поля станичник» сообщает о них: «...шли через весь день полки, а конца им не дождался». Десятилетний Иван IV жалуется: «...ни откуды себе на земле утехи не имеем, и ныне прииде на нас великаа натуга от бесерменства». Но тут происходит перелом: «А которым въеводам межъ себя и роскол был, и начаша со смирением и с слезами прощатися». И сказали воеводы: «Послужим государю малу, а от великаго честь приимем... а мы не токмо зде славы улучим, но и в далных странах». И все войско подтвердило: «Хотим с татары смертную чашу пити». И увидел крымский царь надвигавшееся на него русское войско: «...идут люди многие, учредив полки красно видети, и люди цветны и доспешны, кийждо въеводы в своемь плъку». Началась битва, «и полетеша стрелы, аки дождь». Крымский царь «подивися русских сынов храбрости», испугался и бежал: «...привел с собою многих орд люди, а Русской земле не учинил ничего» (296—300).

Драматичность рассказов о судьбах России была типичной и для других летописей середины XVI в., а также для различных сочинений последующего времени, например для послания Ивана Грозного 1564 г. к защитнику боярства, изменнику Андрею Курбскому.

Обе эти темы получили развитие в огромной «Степенной книге», составленной в 1560—1563 гг. по инициативе митрополита Макария. «Степенная книга» вела изложение не по годам, а по «степеням», — по ступеням родословной великих князей от Владимира, крестившего Русь, до Ивана

Грозного. «Степенная книга» являлась уже не летописью, а историко-публицистическим трудом, прославлявшим русских государей.

Рассказы о боярском бесчинье вылились в «Степенной книге» в большое обвинительное повествование: «...благонадежнии бояре великаго князя и прочии вельможи яко благополучно и самовластно время себе улучивше и изволиша собрати себе множество имения... Кииждо себе различных и высочайших санов желажу, инии же получажу, обаче на мало время. И нача в них быти самолюбие и неправда и желание на восхищение чужаго имения. И воздвигоша велию крамолу между себе и властолюбия ради друг друга коварствоваху. И не токмо в заточение посылажу или в темницах затворяжу и узами облагажу, но и самой смерти предаваху, навикше господоубийственному совету... Тако же и на своих друзей встающе, и домы и села их себе притяжаша» и т. д. Но затем «Степенная книга» торжественно переходила к теме побед Ивана IV и подробно излагала историю покорения Казани. Даже природа благоприятствовала начинаниям Ивана IV, она «подчиняется автором Степенной книги государственному параду»⁴. Еще не была взята Казань, еще предстояла ее осада, еще русское войско только приближалось к границам Казанского царства, но уже ласкова и тиха была когда-то зловещая «украйна»; российское войско «от града Мурома поиде частым лесом и чистым полем. И таковое многое воинство всюду яко Богом уготовану пищу обретаху. На поли убо всяким благовонным овощием довляхуся и животных же лоси яко самозвании на заколение приходяху. В реках же множество рыб ловяху. От воздуха же множество бесчисленное птиц прилетаху и во всех полцех на землю припадаху, яко сами дающесе человеком на пищу, ими же все бесчисленное воинство нетрудно доволяшесе...» (643).

Синтез всех основных идей о Российском государстве первой половины XVI в. был дан в большом литературно-историческом сочинении, составившем целую книгу, — в «Истории о Казанском царстве». Автор, не назвав себя по имени, кратко сообщил о себе в предисловии к «Истории». Двадцать лет он протомился в казанском плену. После взятия Казани он вернулся в Россию и получил от царя надел земли. По-видимому, в 1564—1565 гг. он написал свою «Историю», которая стала исключительно популярной. Дошли ее ранние списки (XVI в.), а общее число сохранившихся списков «Истории» приближается к 250.

«История о Казанском царстве» последовательно и художественно, в картинах и лицах, рассказывала о взаимоотношениях русских и татар со времени основания, еще до нашествия Батыя, Казани, до момента ее взятия русским войском и пышного возвращения Ивана Грозного в Москву. Большую часть «Истории» занимали эпизоды борьбы рус-

⁴ Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, с. 101.

ских с татарами при Василии III и Иване IV, и особенно казанская эпопея 1552 г.

В «Истории о Казанском царстве» ощущался широкий взгляд автора на Россию. Вспоминается в ней время боярского самоуправства при малолетнем Иване IV: «Всем тогда князем и бояром и велможам и судьям градским самовластием живущим, не по правде судящим — по мзде, и насилствуя людям... и не брегущим от супостат своих Руския земли... и велможи крестьян губяху продажею великою... и умножишася обиды, татбы, и разбоя, и убийства, по всей земли рыдания и вопль велик». Однако контраст между прошлым неблагополучием и наступившим радостным периодом в «Истории» смягчен. На все падает отблеск побед Ивана IV: «И от сего самодержца почашася воем быти труд велик и печали величьи и брани и кровопролитие. И блещашеся копя медныя и щиты и златыя шлемы, железныя одеяние на всех» (72—74).

Основное чувство автора «Истории» — благоговейное восхищение победами Ивана IV: «...и стеснившаяся от супостат руския пределы ныне все страны разшири и продолжи их до край морских и наполни безчисленными селенми людскими» (176). Силы российской опасаются не только вражеские войска, но и целые царства. Султан турецкий, отмечает автор «Истории», даже посылает Ивану IV нечто вроде торжественной похвалы «Удивляет бо нас и ужасает превеликая твоя власть и слава. И огненна твоя хоругвь прогоняет и поалает воздвижущихся. Уже отныне вси боятся орды наши, на твоя пределы наступати не смеют» (73).

Автор «Истории» — приверженец идеи «Москва — третий Рим» «...великая наша Руская земля освободися от ярма и покорения бусурманскаго... и возсия ныне стольный и преславный град Москва, яко второй Киев... и третий новый великий Рим» (57). Есть в его сочинении и собственно образ российской столицы. Многолюдная, праздничная, блистательная Москва изображена им в конце «Истории» с грядями высоких храмин, облепленных «множеством безчисленным народом московского», с турецкими, армянскими, немецкими, литовскими, английскими купцами, с нагайскими, польскими, шведскими, датскими, валахскими послами и с разными странниками, стоящими на улицах. Все они смотрят на победоносное войско, вступающее в Москву и ведущее пленных казанцев.

В «Истории о Казанском царстве», как в произведении, выразившем основные идеи своего времени, содержалось и некое предвидение будущего социально-общественного кризиса. Автор обратил внимание на следующее: «И скорбь велика обдержаше много лет все христьянство Руския земля... Изнемогаху бо земския люди и простыя с частыми податей и великих и не успеваху даючи царския оброки. Воеводы же и воины не опочиваючи во бранех тружахуся... и с коней своих н

снимающе; подвории своих и жен и малых своих детей не знающе, и гостем толко прихождаху на час являющийся домови к женам своим и к детям. И мнози тогда худоумнии человецы... негодоваху и роптаху на самодержца...» (173).

Внутренний кризис в России получил непосредственное отражение в литературе 1560—1570-х годов. Власти неохотно, вынужденно допускали описание такого рода социальных явлений. Этой темы касались в основном официозные летописные книги, обычно лишь в самом конце летописи, притом изложение зачастую имело полужерновой характер, неоднократно редактировалось.

Так, на протяжении 1568—1576 гг. в Александровской слободе, под Москвой, куда перенес свою резиденцию Иван Грозный после введения опричнины, создавался гигантский «Лицевой летописный свод». Одних только рисунков-миниатюр в нем сделано более 16 тысяч. До нас дошло 10 последовательных томов «Лицевого свода», на самом деле их было больше. События царствования Ивана Грозного излагал и показывал в миниатюрах один из последних томов «Лицевого свода», называемый «Царственной книгой». В первоначальном варианте «Царственную книгу» закончили около 1575 г. и представили на рассмотрение царя. Иван Грозный остался недоволен. Он сводил счеты с боярами. Текст подвергся существенной антибоярской переработке, притом переработка по каким-то причинам остановилась на черновой стадии. На полях летописи появились обширные приписки о боярских «смутах и мятежах».

В приписках на полях «Царственной книги» мы и находим косвенные признания о начале широкого, отнюдь не дворцового кризиса в России. Например, в приписках, относящихся к 1553 г., рассказывалось о тяжелой болезни царя после взятия Казани и о подавлении заговора бояр, отказавшихся подчиняться Ивану IV. Здесь между прочим давалась и общая оценка обстановки: бояре «от великаго такого подвига и труда утомишася, и (даже) малого подвига и труда не стерпеша докончати, и възжелеша богатества, и начаша о кормлениях седети (заниматься своими вотчинами, собственным благополучием), а Казанское строение поотложиша», «и оттоле бысть... в боярех смута и мятеж, а царству почала быти во всем скудость» (523, 526).

Сам царь Иван Грозный косвенно тоже признавал создавшееся глубокое неблагополучие в стране. В добавлениях к «Никоновской летописи» под 1565 г. приведено его послание митрополиту всея Руси, объяснявшее причину введения опричнины. Иван Грозный видел причину в самоуправстве бояр, неистребимом со времен его малолетства: царь на всех «опалу свою положил в том, что... бояре и все приказные люди его государства людем многие убытки делали и казны его государские тощили, а прибитков его казне государьской никоторой не прибавливали, также бояре его и воеводы земли его государские себе розоимали и другом своим и племяни его государские земли роздавали... и сами

от службы учили удаляться и за православных крестьян кровопролитие против безсермен и против латын и немец стояти не похотели», а преступников стали «покрывати» и т. д. (392).

Наиболее яркое и последовательное отражение внутривоспитательский социальный кризис получил в сочинениях Андрея Курбского, написанных после его бегства за границу в 1564 г. Например, в переправленном через рубеж послании ко псковско-печерскому старцу Вассиану Курбский указывал на разброд в разных слоях России сверху донизу. «Державные (правители), — писал Курбский, — свереписе зверей кровоядцов обретаются... О нерадении же державы и кривине суда и о несытстве граблении чужих имени ни изрещи риторскими языки сея днешняя беды возможно». Священники же, продолжал Курбский, «села себе устроают и великие храмины поставляют и богатъства многими кипят и корыстми, яко благочестием, ся украшают»; «Купецкий же чин и земледелец — всех днес зрим, како стражут безмерными данми продаваемы и от немилостивых приставов влачими и без милосердия мучими...» (395, 396, 398).

По-видимому, в 1573 г. Курбским было завершено большое сочинение — «История о великом князе московском еже слышахом у достоверных и еже видехом очима нашими». Курбский рассказал здесь об основных событиях царствования Ивана Грозного и о своей деятельности как помощника и воеводы у царя. Курбский, конечно, старался оправдать свой побег в Литву внезапными злодействами царя. В «Истории» Курбского Россия, овеянная славными победами Ивана Грозного, явственно противопоставлялась России, терзаемой массовыми казнями. Вначале, писал Курбский, «множаише пределы христианские разширшася за малые лета: идеже были прежде в пустошенных краях русских зимовища татарские, тамо грады и места сооружишася. И не токмо кони русских сынов во Азии с текущих рек напиташася, с Танаиса (Дона) и Куалы (Медведицы) и з прочих, но и грады тамо поставишася». Однако потом Иван Грозный по дьявольскому наущению, гордыни и мизантропии «яко многое воинство, так бесчисленное множество всенародных человек... различными смертми погубил» (173, 174, 217).

«История» Курбского стала известна в России лишь в XVII в. Однако независимо от Курбского новое противопоставление периодов царствования Грозного было проведено и собственно русскими летописцами. Так, в «Псковской первой летописи» под 1547 г., но, вероятно, после смерти царя, была дана схожая итоговая оценка дел Ивана Грозного: сначала «бысть... на Москве и во всей Русской земли в государево вотчине тишина и благоденствие великое и рука государева высока над всеми ордами, многие грады и земли прикланялися под его государеву державу... И потом... возташа мятежь велик и ненависть во всех людех и межусобная брань и беда велика... государь царь учиниша опричнину... И оттого бысть запустение велие Руской земли». «...И вознесся

гордостью и начат братиться и дружбу имети с далними цари и короли — с цысарем и с турским, — а с ближними землями заратися и начат воеватися. И в тех ратех и войнах ходя свою землю запустошил» (342, 343).

Под 1571 г. была помещена еще более острая оценка Ивана Грозного. Некий немчин волхв Елисей, сообщала полуфантастические сведения летопись, «на русских людей царю возложи сверепство, а к немцам на любовь преложи... и самого приводе наконец еже бежати в Аглинскую землю и тамо женитися, а свои было бояре оставшие побити... Сицева (такова) бысть держава грозного царя Ивана Васильевича» (318).

Если изображение Русской земли в памятниках XI—XII вв. напоминает цельный широкий рисунок, а в XV в. — легкую акварель, то в XVI в. перед нами огромная картина, выполненная как бы масляными красками, местами в теплых, а местами в холодных тонах. Радостные, оптимистические настроения в XVI в. часто сменялись тревожными, и перевес остался за чувствами тревоги и горестного удивления: авторы, гордившиеся все растущей мощью России, поражались тем приступам «ненависти» и «свирепства», которые внезапно охватывали правившие верхи и несли с собой неисчислимые бедствия Русской земле и страдания народу.

4. ЛИТЕРАТУРА XVII В.

XVII в. начался в России Смутой, а завершился воцарением Петра I. «Бунташный» век стал временем расцвета обширного а быстро развивавшегося российского феодально-самодержавного государства. В качестве одной из сильнейших держав Россия вышла на мировую арену. Стали чрезвычайно многообразными и тесными ее экономические и культурные связи с Западной Европой.

Русская литература в XVII в. вступила в период небывалого, всеохватывающего подъема. С исключительной активностью в русской литературе использовались и творчески перерабатывались произведения и традиции западноевропейских литератур. В XVII в. появилось столько новых книг, сколько их не было, пожалуй, за все предшествующие века.

В это время формируется в России тип профессионального писателя: при царском дворе стали жить и работать люди, занимавшиеся писательским трудом по преимуществу. Первым среди них был Симеон Полоцкий. Белорус, преподаватель «братской» школы в Полоцке, он в 1664 г. переехал в Москву и, благодаря своей образованности, трудолюбию, умению сочинять невиданно гладкие для того времени стихи, речи, проповеди, пьесы в новом литературном стиле — барокко, выступил в роли первого придворного поэта. За шестнадцать лет своего пребывания при царском дворе, вплоть до внезапной смерти, Симеон Полоцкий написал большое количество произведений, частично успел

объединить их в циклы и в сборники и издать, но многое осталось разрозненным в его бумагах. Литературного деятеля такого размаха в России до того еще не было.

Значительную пищу для воображения читателей продолжали давать сочинения на космологические и землеведческие темы. Среди новых книг на эти темы были «Космография» Меркатора, переведенная в 1637 г.; «Космография» Ортелиуса; «Космография» Ботера; огромная «Книга, глаголемая Козмография» — из 76 глав, составленная в 1670 г.; «Селенография» Гевелия, переведенная в 1676—1682 гг., названная в переводе «Книгой о Луне и о всех планетах»; многотомный «Атлас» Блеу, переведенный по распоряжению патриарха Никона в 1650-х годах и названный «Позорище всея Вселенная»; «География», «Описание света и всех в нем государств» Линды; «Перевод с книги, именуемой Водный мир, сииречь Краткое описание обретения первого морского корабельного ходу и новых незнаемых земель» и т. д. В книгах упоминались новейшие географические открытия и новейшие астрономические теории, излагались, в частности, взгляды Коперника, Кеплера, Галилея.

К такого рода сочинениям относились и книги астрологические, например: «Бéги небесные» и «Планидник, или Календарь месячных человеческим нравом», вместе с рядом других переведенные и скомпилированные в 60—70-х годах XVII в.; анатомические и медицинские труды, вроде переводных «Таинств женских, еще о силах трав» Альберта Великого, «Анатомии» Везалия и «Слова о разсечении человеческого естества»; гадательные «Физиогномика» и «Хиромантия»; книги по военному делу — «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки», составленный из разных источников в 1620 г., и «Художества огненные и разныя воинския орудия» Лангрини, переведенные в 1685 г.; книги по живописи, по сельскому хозяйству, о коннозаводстве, о псовой охоте, поваренные книги и пр.¹ Отдельные из подобных сочинений являлись стихотворными и переводились стихами же как, например, медицинское «Управление здравия врачей парижских царю аглицкому списанное».

К книгам на исторические темы добавились новые хронографы хроники, истории, в основном переводные. Так, в середине XVII в. перевели «Гранограф» Пясецкого, посвященный истории Европы XVI—XVII вв. в 1665 г. по повелению царя Алексея Михайловича перевели «Хронограф» Дорофея Монеувасийского, содержащий много рассказов о временах «от сотворения мира» и до завоевания Царьграда турками. Перевод «Хронографа» Дорофея даже подготовили к печати, но по каким-то причинам так и не издали. Заново, теперь уже с польского, перевели

¹ Ср.: *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903.

«Историю Иудейской войны» Иосифа Флавия. Переводили «Хронику» Стрыковского, «Историю Сарматии Европейской» Гваньини, «О четырех великих монархиях» Слейдана — труд о Вавилоне, Персии, Греции, Риме, «Историю» Мартиниуса о Китае, «Историю ефиопскую, или Краткое описание царства Габессинского» и т. д.

Из хроник и историй выбирали и обрабатывали повести о разных любопытных событиях, обычаях и лицах: «Повесть о турках», рассказывавшую о «дворе турецкого салтана» (ее в XVII в. перелагали заново, по крайней мере, шесть раз), «Повесть о Скандербеге» — албанском полководце, «Историю вкратце о Бохеме, еже есть о земле Чешской». Статьи на темы мировой истории публиковались в составе московских старопечатных книг XVII в., например «Соборное изложение» истории ересей в печатном «Потребнике мирском» 1639 г.

Появляются литературно-публицистические трактаты на темы мировой истории, наподобие трактата начала XVII в. «Описание вин, ими же к погибели и к разорению всякая царства приходят», или переведенного в 1678 г. сочинения Модржевского «О исправлении гражданского жития». Значителен был вклад писателя и дипломата Николая Спафария, жившего в России с 1671 г. и создавшего в 70-х годах «Хрисмологион» и «Василиологион» — большие сочинения с многочисленными рассуждениями о древневосточных и античных правителях.

К концу XVII в. появились и оригинальные, с большой долей фантастических сказаний, исторические сочинения российских авторов, вроде «Книги, именуемой История» Т. Каменевича-Рвовского и «Скифской истории» А. И. Лызлова.

Разнообразно и богато в XVII в. были представлены хождения и путешествия. Среди них «Роспись Китайскому государству» 1618—1619 гг. толмача Ивана Петлина, «Сказание о хождении в Персидское царство» в 1623—1624 гг. московского купца Федота Котова, «Хождение» в Палестину в 1634 г. казанского купца Василия Гагары, «Хождение в Иерусалим» — «Проскинитарий» (1649) кремлевского старца Арсения Суханова, статейный список посла Василия Лихачева о поездке в Италию в 1659 г., статейные списки о посольстве П. И. Потемкина в Испанию и Францию в 1667—1668 гг., обширнейшее «Описание Китайского государства» (1675) Николая Спафария, «Путешествие» на Мальту боярина Бориса Шереметева и «Дневник путешествия» в Италию стольника Петра Толстого в 1697—1699 гг. и многие другие. Появились и переводные путешествия, вроде «Описания плаваний в Индию», «Описания Персии» Сансона, «Путешествия в Московию и Персию» Олеария.

Большинство русских хождений повествовало о современных событиях и явлениях, включая и культурные. Например, в статейном списке В. Лихачева имелась особая глава «О комидиях», описывавшая театральные представления, виденные послом во Флоренции. В статейном списке П. Потемкина рассказывалось о постановке новой пьесы Ж.-Б. Молье-

ра «Амфитрион» в Париже. Сказания об Афонских монастырях были даже изданы в 1659 г. в печатной книге «Рай мысленный».

К путешествиям и хождениям примыкали и географические «отписки», то есть отчеты служилых людей о поездках и экспедициях в Сибирь и на Дальний Восток.

В XVII в. появились и первые русские рукописные газеты, формировавшиеся на основе западноевропейских печатных газет, — «Куранты». Они сохранились с 1621 г.

В XVII в. распространяются первые «научные» сочинения: создаются и переводятся трактаты, излагавшие историю наук и пояснявшие главнейшие термины. Чаще всего такие сочинения предваряли «грамматики», «риторики», «диалектики». Такого рода трактат — «По хвала» грамматике — был включен, например, в московское издание «Грамматики» Мелетия Смотрицкого в 1648 г. В развитии эстетической мысли России конца XVII в. несомненны заслуги Николая Спафария, который составил несколько трактатов о науках и искусствах — «Книгу, избранную вкратце о девятих мусах и о седмих свободных художествах», «Книгу о сивиллах, колика быша и киими имяны», «Книгу иероглифийскую» и др. Стихотворным трактатом о сущности наук были «Книга Полис, си есть град царства небесного» (1694) Кариона Истомина

XVI в. был знаменит «Великими Минеями Четвыми» митрополита Макария. В XVII в. одна за другой были составлены, по крайней мере три разные многотомные «Минеи Четви» — Германом Тулуповым в 1630-е годы, Иоанном Милютиным в 1646—1654 гг. и Димитрием Ростовским в 1689—1705 гг. В 1641 г. в Москве впервые напечатали «Прóлог» использовав все его основные рукописные редакции. До конца XVII в. печатный «Прóлог» переиздавали восемь раз, с существенными дополнениями. Вне «Прóлога» много заново переведенных или отредактированных житий печаталось в Москве. Например, сборник разных редакций «Жития Николы Чудотворца» напечатали в 1640 г., в течение XVII в. его переиздавали семь раз; сборник «Анфологион» — заново переведенных с греческого житий, в том числе «Житие Алексея, человека Божия», — опубликовали в 1660 г. Сочинялись и новые по форме жития — стихотворные. Например, поэтом Карионом Истоминым в 1690 г. была составлена «Книга Стамна духовная, или Ведры...» — сборник стихотворений в честь Богородицы и святых, а в 1693 г. — стихотворная биография Иисуса Христа.

Литература XVII в. пополнилась большим, не поддающимся точному подсчету количеством поучений и проповедей. Сборники сочинений «отцов церкви», вроде Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста, Иоанна Лествичника, многократно переиздавались в XVII в. Огромные сборники из «слов» были напечатаны в 1647 и 1665 гг. С поучениями выступали все русские патриархи XVII в. — Филарет, Иосиф, Никон, Иоаким, Адриан. Некоторые из этих поучений также были напечатаны.

В Москве трудились необычайно плодовитые проповедники — Епифаний Славинецкий, Евфимий Чудовский, Симеон Полоцкий и др. Симеон Полоцкий, например, подготовил к печати почти все свои проповеди, и два толстейших тома с его поучениями — «Обед душевный» и «Вечера душевная» — вышли в Москве в 1681 и 1683 гг. Книги поучений составлялись и вне Москвы. Так, на Урале, около Перми, в 1684 г. неизвестным проповедником был подготовлен большой дошедший до нас рукописный сборник проповедей под названием «Статир».

Ожили в XVII в. и сборники афоризмов. В конце XVII в. с польского были переведены «Апофегматы» — сборник изречений и остроумных ответов, приписываемых древнегреческим и римским философам, писателям, правителям. К традиционным учительным сочинениям относились «История о Варлааме и Иоасафе», изданная Симеоном Полоцким в 1681 г., а также, несмотря на новизну литературной формы, стихотворное переложение Псалтыри, подготовленное и опубликованное Полоцким же в 1680 г.

XVII век дал исключительно много полемических сочинений, связанных с теми или иными идеологическими дискуссиями в России того времени. Одни были направлены против католичества и протестантизма. Особенно старательно русские писатели обличали «латинскую веру» после преодоления последствий так называемого Смутного времени. Так, в 20-е годы XVII в. Иван Хворостинин сочинил пространное «Изложение противу римской веры и о папе римском» и «Изложение на еретики и злохулники — люторы, новокрещенцы, кальвины»; Иван Наседка создал большое «Изложение на люторы» и ряд других трактатов.

Другие полемические сочинения были связаны с перипетиями исправления церковных книг в России — делом почетным, трудоемким и неблагодарным. Власти сначала настойчиво поручали исправление книг определенным лицам, а потом их же и карали. Так повторялось неоднократно после долгих разбирательств. Один из ранних памятников такого разбирательства в XVII в. — «Прение Лаврентия Зизания с московскими справщиками» (1626). К концу XVII в. письменные разборы ошибок печатных книг приобрели прямо-таки огромные размеры.

Третьи — были порождены церковными реформами патриарха Никона в середине XVII в. и борьбой «никониан» и старообрядцев в течение всей второй половины XVII в. В эту ожесточенную борьбу оказались вовлечены все более или менее крупные сочинители XVII в. В поддержку никоновских реформ и против раскольников выступили официальные печатные издания: «Скрижаль» (1655), «Жезл правления» Симеона Полоцкого (1667), «Увет духовный» Афанасия Холмогорского (1682) и многие другие. Против властей, принявших никоновские нововведения, без устали писали протопоп Аввакум и его сподвижники. Аввакуму принадлежат, например, созданные в 70-е годы «Книга

бесед», «Книга толкований», «Книга обличений». Многие старообрядцы составляли обширные полемические трактаты в виде челобитных царю.

Наряду с полемическими трактатами, имевшими определенные традиции в предшествовавшей русской литературе, в XVII в. появились и сравнительно новые типы трактатов — нравоучительные. В основном они были переводными — «О добронравии» Запчица, «Купель душевная, или Учение жития духовного» и т. п. Нравоучительные трактаты резко отличались от поучений и проповедей своей «научностью», детальностью и систематичностью изложения, а нередко и преобладавшим светским содержанием. В качестве примера можно указать «Арифмологию», приписываемую Николаю Спафарию, где в замысловатом порядке перечислялись добродетели и грехи, признаки пьяниц, свойства дружбы, основы здоровья, нравы разных народов, афоризмы разных мудрецов и т. д. и т. п. Во второй половине XVII в. дважды издавался в Москве «Тестамент греческого царя Василия к сыну своему Льву Философу» о правилах управления государством и подданными.

В общем, круг сочинений на учительные темы никогда еще не приобретал такой пестроты, живости и даже известного щегольства, как в XVII в.

В XVII в. среди литературно-повествовательных сочинений начинает заметно выделяться группа произведений, построенных на вымышленных происшествиях, созданных писательской фантазией, отличительным качеством которых являлись образное обобщение и откровенная занимательность. Иными словами, формируется то, что впоследствии будет названо собственно художественной литературой. Основу ее заложили сборники разных историй, анекдотов и притч. Внешне эти сборники продолжали тематику повествования на историко-мировые темы, а на самом деле место действия в них было условным; они содержали эпизоды сплошь занимательные, вымышленные, беллетристические, авантюрные. Нравоучения в них лишь искусственно были притянуты к рассказам.

Из таких сборников ранее всех появились в России переводные сборники новелл. Например, уже с 1630-х годов стала популярной в России «История о семи мудрецах». В ней повествовалось о том, что овдовевший римский царь Елиазар отдал своего сына Диоклетиана в учение семи мудрецам на семь лет. Ко времени возвращения царевича царь был уже снова женат, а мудрецы по звездам предсказали царевичу верную смерть, если он дома в течение семи дней вымолвит хотя бы одно слово. Мачеха влюбилась в Диоклетиана, но, молча отвергнутая им, изодрала на себе платье, расцарапала лицо, а в попытке насилия обвинила молчавшего царевича. Елиазар во гневе повелел повесить продолжавшего молчать сына. Но тут выступили со своими историями семь мудрецов, склонявшие царя отменить казнь. Мачеха тоже рассказыва-

ла царю разные истории, пытаясь ускорить казнь. Так длилось семь дней, а на восьмой день заговорил сам Диоклетиан и изложил еще одну повесть. В результате Елиазар отдал царство сыну, а жену казнил.

Повести, рассказанные действующими лицами «Истории», были одна любопытнее другой. Как поведала, например, мачеха, жили-были король, королева и рыцарь. Рыцарь стал любовником королевы и устроил подземный ход из своего дома во дворец к королеве. Как-то король заметил, что рыцарь пришел на королевский пир с перстнем королевы на руке. Пока разгневанный король за объяснениями шел к королеве, рыцарь воспользовался подземным ходом и вернул перстень владелице. Так они не раз обманывали короля.

В другом сборнике, переведенном в России в 1660—1670-х годах под названием «Римские деяния», более 1000 занимательных повестей и рассказов. В них говорилось то о рыцаре, вылечившем льва; то о пустынноике, встретившем ангела; то о королевне, выбравшей в мужья бедного рыцаря; то о царе, одежды которого надел двойник и стал царствовать и т. п. Однажды король, говорится в одной из повестей сборника, велел рыцарю прийти к нему и верхом, и пешком, и с другом, и с врагом. Рыцарь пришел к королю, перекинув ногу через пса. А когда король спросил, где же друг и враг, рыцарь указал на сопровождавшую его жену. В сборнике «Вертоград многоцветный», составленном Симеоном Полоцким в 1678 г., подобного же типа истории излагались стихами. Более 1200 стихотворений, иногда довольно длинных, были расположены в нем по алфавиту заглавий стихотворных циклов.

Огромное число сюжетов приводилось в сборниках анекдотов, — кратких забавных историй. Например, по заказу царя в 1677 г. был закончен перевод сборника «Великое Зерцало», в котором показная благочестивость изложения вовсе не мешала лукавым и даже рискованным рассказам о скупцах, упрямяцах, гордецах, пьяницах, блудницах, ворах, о семейных скандалах, о разных обманах и интригах, в которых участвовали и лица духовного звания. Еще более обильно был наполнен анекдотами открыто «смехотворный» сборник «Фацеции», переведенный в 1680 г.

К новеллистическим сборникам примыкали книги басен. Некоторые басни Эзопа были переведены еще в 1607 г., но наиболее полно и беллетризовано в 1674 г. под заглавием «Зрелище жития человеческого». В 1675 г. были переведены сразу три книги басен — Эзопа, Бабрия и Абстемия.

Стали сочинять повести о вымышленных лицах. Одни повести начали бытовать самостоятельно, будучи извлечены из названных сборников; другие, появившись независимо, затем связывались с различными сборниками повестей. Возникали и распадалась разнообразнейшие повествовательные сборники, сохранявшие отголоски новеллистических сборников. Среди больших переводных повестей выделялись «История о храб-

ром рыцаре Петре Златых Ключей и о прекрасной королевне неаполитанской Магилене», «Повесть о римском цесаре Оттоне», «История о славном короле Брунцвике и о великом его разуме, како он ходил по отоцех морских с великим зверем львом», «История о Мелюзине-королевне и о чудных ее детях» и др.

Например, в повести о Петре Златых Ключей рассказывалась история любви молодого французского рыцаря Петра, у которого на шлеме были прикреплены два золотых ключа. В Неаполе на одном из турниров королевна Магилена влюбилась в Петра, а затем тайно бежала с ним к его родителям, дабы заручиться их благословением на брак. В дороге они случайно разлучились. Петр попал на службу к турецкому султану, а Магилена добралась до родного города Петра, основала больницу и ухаживала за больными мореплавателями. В эту-то больницу и попал изможденный Петр, покинувший султана. Взаимное узнавание героев венчает свадьба.

В XVII в. западноевропейские сюжеты перерабатывались так основательно и без оглядки на источники, что составлялись повести, в сущности, уже оригинальные. В их числе были «Повесть о Бове», «Повесть о Еруслане Лазаревиче», «Повесть о Василии Златовласом», «Повесть об Иване Пономаревиче», многочисленные повести о купцах. Так, бесконечные приключения и подвиги рыцаря и богатыря Бовы Гвидоновича в «Повести о Бове» не пересказать кратко. Они начались с раннего детства. Кончалась же повесть трагической смертью друга Бовы — богатыря Полкана, у которого песьи ноги, и соединением Бовы с его возлюбленной, «арменской» королевой Дружневной, у которой к тому времени от Бовы уже родилось двое сыновей.

Всю эту массу новелл и повестей уже к XVII в. выделяли в особый раздел литературы. Один из сочинителей 1640-х годов — Иван Бегичев — прямо относил их к группе «баснословных повестей и смехотворных писем» и противопоставлял «божественным книгам»².

Эти произведения необратимо изменили и атмосферу повествования об исторических лицах и библейских персонажах, хорошо известных на Руси. Интерпретация связанных с ними событий и деяний стала неприкрыто вольной, фантастической, а иногда и несомненно сказочной. Распространилось множество апокрифических сказаний о героях — от Адама и Евы до восточных правителей. Очень популярными были повести о Соломоне и сыне его Давиде и их премудрости. Возник комплекс повестей о византийском царе Михаиле и его сыне Левтасаре: у Михаила имелось золотое древо, которому дивились послы стран всего света; после смерти отца Левтасар промотал все богатства, и осталась у него лишь одна ветка золотого древа с сидящим на ней золотым попугаем; однаж-

² Яцимирский А. И. Послание Ивана Бегичева о видимом образе Божиим // ЧОИДР, 1898, кн. 2.

ды во время очередного пира попугай человеческим голосом предсказал Левтасару смерть этой же ночью; царь окружил себя стражей, на заре решил стражу проверить; некий стражник спросонья не узнал царя и заколол его копьем.

С 30-х годов XVII в. вошло в моду сочинительство длинных стихотворных посланий друзьям и недругам. Их писали поэты так называемой приказной школы, служащие центральных московских приказов и Печатного двора: Алексей Романчуков, инок Савватий, Петр Самсонов и др.³. Со второй трети XVII в. появилась масса стихотворных панегириков царям, членам царского семейства, царским приближенным. Авторами панегириков чаще всего являлись Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Карион Истомина.

При царском дворе с 1672 г. начали ставить пьесы, преимущественно на библейские темы — «Артаксерксово действо», «Иудифь», «Малую прохладную комедию об Иосифе», «Жалобную комедию об Адаме и Еве», а также пьесы на исторические темы, например «Малую комедию о Баязете и Тамерлане». В этих пьесах, кроме хитросплетения дворцовых интриг и заговоров, изображалась частная жизнь монархов, ставились любовные сцены, выводились обжоры и мелкие мошенники. Две пьесы на библейские темы сочинил Симеон Полоцкий: «О Навходоносоре-царе, о теле злате и о трех отрочех, в печи не сожженных» и «Комидию притчи о блудном сыне».

Даже Богородица, Христос, святые со второй половины XVII в. стали постоянным поводом для длинной цепи занимательных бытовых новелл или для длинных описательных стихотворений. Так, были переведены три прозаических сборника повестей о чудесах Богородицы — «Звезда пресветлая» (1668), «Небо новое» (1677), «Грешных спасение» (1690-е годы). О чудесах Богородицы повествовало и «Великое Зерцало». Во всех этих рассказах действовали личности совсем незначительные — отроки, девицы, иноки, воины, пахари, а если позначительней, то нередко просто недостойные — «хульный епископ», пьяный поп, насильник-воевода, князь, продавший душу дьяволу, и пр.

Увлекательными были сказания о дьяволе и его проделках в быту, об аде и о рае. Распространились апокрифические повести о хмеле и о табаке. Например, хмель в одной из таких повестей учил пьяницу, как надо опохмеляться. В конце XVII в. поэт-переводчик Андрей Белобоцкий в стихотворной поэме живописал ад и орудия адских мучений.

Пожалуй, больше к художественной литературе, чем к традиционным поучениям или трактатам можно отнести стихотворные наставления учителям и ученикам о правилах поведения школьников, вроде «Домостроя» Кариона Истомина, диалога «Школьное благочиние» поэта Прохора

³ См.: Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973, с. 34—102.

Коломнятина или назидательных стихотворений в печатных букварях, а также размышления в стихах и прозе о светлых и темных сторонах семейной жизни, вроде переводного «Златого ига супружества».

Необычайно разнообразными и по форме, и по содержанию становятся в XVII в. сочинения о России. В литературу все настойчивее вторгается реальная жизнь, современная тематика и проблематика. Значительным был цикл произведений, посвященных событиям так называемого Смутного времени. Сочинения о драматической судьбе России во время Смуты появлялись с самого начала XVII в., когда разразились первые несчастья, и вплоть до середины XVII в., когда последствия Смуты были уже давно ликвидированы, но еще не забыты.

Одним из ранних произведений о Смуте считается составленная в мае или июне 1606 г. «Повесть, како отомсти всевидящее око-Христос Борису Годунову пролитие неповинные крови... царевича Дмитрея Угличского». Автор ее неизвестен. Последним же произведением в XVII в., подробно касавшимся Смуты, стала, пожалуй, «Повесть о разорении Московского государства и всеа Российския земли». Ее в 1654 г. закончил троице-сергиевский писатель Симон Азарьин.

В промежутке между этими двумя датами было сочинено большое число произведений о Смуте, преимущественно повестей: «Повесть о видении некоему мужу духовну» (1606), «Новая повесть о преславном Российском царстве и о великом государстве Московском» (1610 или 1611), «Повесть о видении мниху Варлааму в Великом Новгороде» (1611), «Плач о пленении и о конечном разорении превысокаго и пресветлейшаго Московского государства» (1612), «Писание о преставлении» воеводы М. В. Скопина-Шуйского и т. д.

В начале Смуты сочинялись лишь очень небольшие повести. Чем дальше отодвигалось время Смуты, тем крупнее становились произведения о нем.

Первыми большими сочинениями о том суровом времени, самостоятельными книгами, явились «Временник» Ивана Тимофеева, законченный в 1619 г., и «Сказание» Авраамия Палицына, законченное в 1620 г. Затем последовали обширное «Иное сказание» 1620-х годов, произведения Семена Шаховского, написавшего три повести о Смуте, в том числе «Повесть книги сея от прежних лет» (1626); официальная и пространная «Книга, глаголемая Новый летописец» (1630). В более поздние произведения включались тексты предшествующих памятников о Смуте. Например, упомянутая «Повесть, како отомсти...» была переработана в «Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов». Ту, в свою очередь, использовали вместе с другими многочисленными источниками в «Ином сказании». «Иное сказание» не было забыто в «Новом летописце». «Новым летописцем» дополнил свою «Повесть» Симон Азарьин. В этих произведениях говорилось о мрачном

конец царствования Ивана Грозного, о шатком правлении Бориса Годунова, о неотвратимом приближении Лжедмитрия к Москве, о бесчинствах и злодействах интервентов, о кратком царствовании Василия Шуйского, об избрании на престол Михаила Романова, об окончательном изгнании врагов из пределов России.

Определенное однообразие ощущалось и в образе России, созданном произведениями о Смуте. Авторы испытывали недоумение и горечь: «Како таковая и великая и преславная земля во всех землях стала в разорении и такое великое царство в запустении?» (208)⁴.

Наиболее значительным произведением о Смуте было «Сказание», или «История в память предыдущим родом» (последующим поколениям) видного деятеля того периода, келаря Троице-Сергиева монастыря Авраамия Палицына. Его «Сказание» имело 77 глав. Первые шесть вводили в общую историю России времени Смуты. Ученые предполагают, что эти главы первоначально являлись отдельным сочинением, которое Авраамий Палицын написал незадолго до «Сказания» и затем включил в него. В остальных главах излагалась история осады Троице-Сергиева монастыря интервентами. И завершилось «Сказание» рассказом о торжествах по случаю победы над врагами.

«Двигнута же и Росия бысть нелепо, — писал Авраамий Палицын. — Все Российское государство в безумство дашася». Началось все с глубоких внутренних неурядиц после смерти Ивана Грозного: «Всяк же от своего чину, в неже зван бысть, выше начата восходити: раби убо господие хотяще быти, и невольнии к свободе прескачюще; воинственный же чин боярствовати начинаху... Царем же играху, яко детищем, и всяк вышши меры своя жалования хотяще». Разразился всероссийский неурожай и голод: «И не толико бревн и дров на возилех, яко же мертвых нагих телес всегда влечаще...» Интервенты захватили Москву: «И тогда убо во святых божиих церквах кони затворяху и псов во олтарех церковных питаху»; «...иныя же святыя иконы колюще и вариво и печиво строяще»; «...и старыя и святолепныя мужи у ног их валяюще»

⁴ Цитируемые произведения: «Житие» Аввакума — Житие Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Текст памятника подгот. В. Е. Гусев. Иркутск, 1979; «Новая повесть» — Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Росийском царстве» и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 1960; «Повесть о Горе-Злочастии» — «Изборник»: (Сборник произведений литературы Древней Руси) / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М., 1969; «Повесть о Ерше Ершовиче» — РДС; «Повесть об азовском осадном сидении» — ПЛДР, т. 11, кн. 1 / Текст памятника подгот. Н. В. Поньрко; «прощание» казаков по другому списку той же повести — Воинские повести Древней Руси / Текст памятника подгот. А. Н. Робинсон. М.; Л., 1949; «Сказание» Авраамия Палицына — Сказание Авраамия Палицына / Изд. подгот. О. А. Державина и Е. В. Колосова. М.; Л., 1955; «Слово» Кирилла Александрийского — Сборник из 71 слова. М., 1647. Указываются листы издания.

ся, аки сиротки». Запустили города и села: «И вместо темных луны многия пожары поля и леса освещавашу нощию». Власти быстро сменялись: «И от лета до лета и от месяца на месяц новыя власти вертящияся являху»; «И тако во всей России изыде с мечем друг на друга» (252, 254, 262, 266, 269, 271, 272—275).

Подобные же картины встречаются и в других сочинениях о Смутном времени.

Примерно со второй трети XVII в. начинает расширяться география отечественного летописания. Появляются книги, рассказывающие об обширных далеких окраинах Российского государства. Например, о Сибири, ее природе, народностях и истории присоединения к России повествовали сибирские летописные книги 1620—1640-х годов — «Киприановская», «Кунгурская», «Есиповская», «Строгановская» летописи.

В XVII в. создаются многочисленные жития местных подвижников, например северно-русских — Прокопия и Иоанна Устюжских, Иоанна и Логгина Яренгских, Варлаама Керетского, Артемия Веркольского и многих других. Местной тематикой ограничивалась и житийная «Повесть об Улиянии Осорьиной», которую написал сын Улиянии в 1620—1630-х годах, рассказав о тихом домашнем благочестии своей матери с детства до старости. Местные житийные материалы издавались печатно в 1640-х — 1650-х годах, вроде «Жития Саввы Сторожевского» или рассказа о мощах Иакова Боровицкого. Вплоть до стен кельи сузил тему своего «Жития», сочиненного в 1675—1676 гг., один из основателей раскола соловецкий инок Епифаний.

В литературе XVII в. получают непосредственный отклик и события крестьянской войны под руководством Степана Разина. О взятии Разиным Астрахани в 1670 г. рассказало «Сказание о граде Астрахани», а об осаде восставшими крепости под Нижним Новгородом поведало «Сказание о нашествии на обитель Макария Желтоводского от воровских казаков».

Во второй половине XVII в. появляются сочинения, касающиеся государственного устройства России. Среди них трактат «Политика», или, как его еще называют, «Разговоры о владетельству» (1663) эмигрировавшего в Россию хорвата Юрия Крижанича; описание государственного строя России и обычаев русского народа, подготовленное в 1666—1667 гг. в Швеции беглецом из России Григорием Котошихиным; «Тетради» старца Авраамия Петру I (1696). Суть подобных произведений заключалась в том, что авторы, размышляя о достоинствах и недостатках России, предлагали провести социальные и политические реформы. Проекты всеобъемлющих реформ стали заметным явлением лишь в первой четверти XVIII в. Сочиняются и книги, где давалась приглаженная картина жизни России. Например, «История о царях и великих князьях земли Русской» Федора Грибоедова (1669) и «Родословие великих князей...» Лаврентия Хурелича (1673).

Принципиально новыми средствами по сравнению с летописными повестями и историческими сочинениями образ России был создан в художественных произведениях XVII в. Их немного, и они невелики: всего лишь несколько повестей, житий, панегириков. Но ценность их исключительна. Особенно произведений, созданных демократическими писателями XVII в., которые стремились к типизации литературных героев⁵. Через повествование о жизни героя раскрывалась и жизнь России.

Попытки типизации героев были, конечно, многообразными. При этом, пожалуй, ранее всего писатели стали обращаться к фольклору и выводить открыто вымышленных героев. Таковыми, например, являются герои знаменитой «Повести о Горе-Злочастии».

Ни автор, ни время, ни место создания «Повести о Горе-Злочастии» точно не известны. «Повесть» была обнаружена в единственном историко-литературном сборнике первой половины XVIII в. и предположительно датирована второй четвертью или даже второй половиной XVII в. Несомненна связь «Повести» с народными песнями о Горе. «Повесть» в стихах (но без рифм) рассказывала о том, как некий молодец — очевидно, из купеческой семьи — нажил денег, но дал себя заманить в кабак, все пропил с дружками, в пьяном виде был раздет и так и оставлен, посовестился возвратиться домой, покинул родную сторону, но и на чужой стороне молодец, только нажил состояние и надумал жениться, опять горько запил по-прежнему и бросил все. Где бы ни бродил молодец, через какие бы реки ни переправлялся, всюду его сопровождало со своими речами и ужимками Горе-Злочастие, от которого он не мог отделаться даже во сне. В самом конце «Повести», в одной из последних фраз сообщалось, что молодец все-таки спасся от Гора-Злочастия, постригшись в монахи.

Образ молодца в «Повести» приобрел черты типичности, понимается, не оттого только, что молодец упоминался без личного имени, а места, где он жил или побывал, не назывались конкретно. Более важно то, что сам автор «Повести» сразу же давал понять читателям в предисловии: «Ино зло племя человеческо... ко отцову учению зазорчиво, к своей матери непокорливо», — примером этого и является судьба молодца, представителя «племени человеческого». В начале и в конце «Повести» автор даже обмолвился, что молодец — это один из «нас»: жизнь смирила молодца, так и «нас» — «смиряючи нас, наказуя и приводя нас на спасенный путь» (598).

Во внешности молодца нет ничего резко индивидуального, все обобщено. Он вспоминает свое детство: «Безпечална мати меня породила,

⁵ О значении вымышленных героев в русской литературе XVII в. см.: *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, с. 107—126. О роли эмансипации личности в XVII в. для литературы см.: *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 138—164.

гребешком кудерцы разчесывала, драгими порты меня одеяла и отшел под ручку посмотрела, хорошо ли мое чадо в драгих портах? — а в драгих портах чаду и цены нет!» (606). Это образ ребенка вообще. В «драгих портах» молодец предстает в «Повести» поначалу: «...драги порты, чиры и чулочки... рубашка и портки» (600). Далее можно узнать лишь, что у него «тело белое», «скоры ноги», «белое лице», «ясныя очи», «речистой язык» и что «горазд он крестится» (600—602, 605) — опять все типичное для благополучного человека.

Типична, усреднена и обстановка вокруг молодца. Примечательно где он сидит на пиру: «...емлють его люди добрыя под руки, посадили ево за дубовой стол, не в большее место, не в меньшее, — сядят ево в месте среднее, где седают дети гостиные» (601). Вот он у реки, и место опять типичное: «Пошел-поскочил доброй молодец по круту по красну березжу, по желтому песочику» (606).

Молодец всегда соответствует среде, в которой находится, всюду он «свой»: «люди добрые» учат его, как жить — «и учал он жить умеючи» в обычае было жениться — «присмотрил невесту себе по обычаю» (603) Оказывается молодец в кабаке, и вот уже «кирпичек положен под буйну его голову, он накинута гункою кабацкою, в ногах у него лежат лапотки-отопочки» (600). Вновь воспрял молодец, смог войти в круг «добрых людей» — и снова на нем «платье гостиное» (604). Опять «сошел он пропивать свои животы, — а скинул он платье гостиное, надевал он гунку кабацкую» (604—605).

Сошелся он в далекой стороне с иными «людьми добрыми» — «сняли с него гунку кабацкую, дали ему порты крестьянские» (607).

Молодец неоднократно меняет не только свой внешний, но и внутренний облик. Он каждый раз слушается того, кого встретил в последний момент. Так, после долгих родительских наставлений («...не знайся, чадо, з головами кабацкими») встретил молодец друга, а тот «прелсти его речми прелесными, зазвал его на кабацкий двор» (599). Или же после многих несчастий сетовал молодец на свою нищенскую жизнь готов решительно покончить с нею, но тут появилось Горе из-за камня и богатырским голосом воскликнуло: «А в горе жить — некручинну быть... Покорися мне, Горю нечистому, поклонися мне, Горю, до сырь земли!». И молодец «поклонился Горю нечистому, поклонился Горю до сыры земли... Идет весел — некручиноват... а сам идучи думу думает „Когда у меня нет ничево, и тужить мне не о чем!“» (605—606). Что сказал Горе, то он и думает.

Изображения такого рода переходов молодца из одного состояния в другое помогают созданию в «Повести» широкого художественного обобщения. В образе молодца автор показал разные типы бражников живших на Руси, — и совсем неопытных, растерянных; и зрелых, важных похвалявшихся на пиру; и нагих-босых, бездомных, молодцеватых, ком;

«шумить розбой» (604), кто может «убити и ограбить, чтобы... за то повесили или с камнем в воду посадили» (608).

Авторское сочувствие и сострадание к людям помогало нарисовать общую картину: куда ни пойдешь на Руси, всюду встретятся «люди добрые» и неудачники, отколовшиеся от «добрых людей»; всюду благополучию угрожают «пиры и братчины», «красные жены», «костари и корчемники» (598—599); всюду это благополучие зыбко; перед любым может возникнуть «серо Горе-горинское», «нет на Горе ни ниточки, еще лычком Горе подпоясано» (604, 605). Это Горе похваляется: «Хочу я, Горе, в людех жить, и батагом меня не выгонить» (604). Полети ты хоть ясным соколом, побегии серым волком, стань ковыль-травой, бросься в море рыбою, — всюду настигнет Горе, да еще и насмеется.

Образ России, созданный «Повестью о Горе-Злочастии», был кардинально новым художественным достижением в русской литературе. Никогда еще так глубоко и органично типическое не изображалось через частное, а социальное через бытовое, «низкое».

Сходными способами обобщения, хотя и в более слабой степени, пользовались сочинители некоторых небольших сатирических и юмористических повестей XVII в. — «Азбуки о голом и небогатом человеке», «Сказания о птицах небесных», «Повести о Ерше Ершовиче».

Так, в «Повести о Ерше Ершовиче», появившейся, вероятно, еще в первой половине XVII в., выводился тип ловкого, неистребимого пройдохи, который захватил чужие владения и пытался потеснить всех, кого только можно. Лукавая и ироничная «Повесть» рассказывала о безуспешной попытке засудить героя, с сочувствием его нахальству и со злорадством по отношению к суду. Обобщенность ситуации подчеркивалась тем, что персонажи носили имена рыб и имели рыбью, а на самом деле человеческую внешность: вор и обманщик Ерш Ершов сын, «раковые глаза», «щетины, что лютые рогатины», «что змия ис-под куста глядять»; судья, воевода и окольный Сом, «уоставя свою непригожую рожу широкую и ус роздув»; понятой Мень, «глаза малы... губы толсты» (7, 9—11).

«Повесть» внушала мысль о типичности Ерша, указывая на его повсеместность, — всюду он есть и везде его знают. «Человек я доброй, — похвалялся Ерш, — знают меня на Москве князи и бояря и дети боярские, и головы стрелецкие, и дьяки и подьячие, и гости торговые, и земские люди, и весь мир во многих людях и городех, и едят меня в ухе с перцем и шавфраномь, и с уксусомь... и многие люди с похмеля мною оправливаютца» (8).

«Повесть о Ерше» тоже изображала, хотя, быть может, бледнее «Повести о Горе-Злочастии», зловещее соседство мира благополучных людей с миром людей неблагополучных.

Следующим этапом в развитии художественного обобщения явилось «Житие» протопopa Аввакума — по праву одно из самых знаменитых ныне произведений XVII в.

Аввакум родился в 1620 или 1621 г. в нижегородском селе Григорове. Смолodu стал сельским священником, и уже тогда проявил себя как фанатик веры. Не раз его изгоняли из сел и городков, где он служил, даже били до полусмерти. В молодости же Аввакум стал известен влиятельнейшим церковным деятелям в Москве и самому царю. Будущий патриарх Никон был его земляком и другом. Аввакум мог сделать великолепную карьеру. Однако против церковных нововведений Никона Аввакум выступил резко и бескомпромиссно. У Аввакума нашлось множество сторонников. Так возник церковный раскол и оформилось старообрядчество.

Далее для Аввакума начались беды и напасти. Его посадили в темницу, сослали в Сибирь, всячески мучили в течение десяти лет. После того, как Никон покинул патриарший престол и тоже был сослан, Аввакума вернули в Москву, обещали ему даже почетное место справщика Печатного двора, но, столкнувшись с его упорным отвержением всех церковных нововведений, вновь сослали, теперь уже в глухие уральские места, на Мезень. Потом Аввакума опять вернули, уговаривали, но безуспешно, и тогда окончательно сослали в Пустозерск. Здесь Аввакум пробыл 15 лет, написал большинство своих произведений и «за великие на царский дом хулы» был сожжен в 1682 г.

Аввакум был яростным борцом и ревностным писателем. В своих сочинениях, даже на самые высокие темы, он не мог обойтись без широкого, образного, темпераментного просторечия. Он сам занимался распространением своих сочинений и сам многократно и решительно перedelывал их. Свое «Житие», созданное в Пустозерске, Аввакум в течение 1672—1674 гг. перedelывал, по крайней мере, трижды. Из этих редакций две редакции «Жития» дошли до нас в автографах Аввакума в составе старообрядческих сборников, составленных в 1670-х годах в Пустозерске.

В «Житии» Аввакум изложил эпизоды из своей биографии, в основном в хронологическом порядке, нередко возвращаясь назад или забегая вперед, отвлекаясь к нравоучениям или к рассказам о других лицах — жене и детях, друзьях и врагах.

Новизна художественного обобщения в «Житии» Аввакума заключалась в том, что жизнь России изображалась здесь не через жизнь вымышленного героя, а через биографию конкретного исторического лица. Стремление Аввакума к типизации было более осознанным и мощным, чем у предшествующих ему авторов русских повестей. Аввакум без обиняков связывал то один, то другой частный эпизод с судьбами России: «Верный разумеет, что делается в земли нашей за нестроение церковное»; «...виждь, слышателю: необходимая наша беда, невозможно миновать!.. Выпросил у Бога светлую Росию сатона, да же очервлени ю кровию мученическою» (20, 53). Аввакум постоянно пояснял, что его рассказы отражают происходящее «везде», показывают «дни наше

ныне», «люто время», раскол России на два лагеря — на «правоверных» и на «никониан».

Историки литературы давно заметили, что описание путешествия героя в произведениях литературы нового времени — это способ типизации событий. Подобное встречаем уже у Аввакума. Герой «Жития» не с опаской, а с какой-то жадностью посещает места, куда забросили его обстоятельства. Как бы вся Россия охвачена его деятельностью. «Три тысячи верст», например, волокся Аввакум в Сибирь, а потом и обратно. «Не почивая, — вспоминает Аввакум, — аз, грешный, прилежа во церквах, и в домех, и на распутиях, по градом и селам, еще же и в царствующем граде (Москве) и во стране Сибирской проповедуя и уча...» (23); «...по всем городам и по селам, во церквах и на торгах кричал, проповедаая...» (47).

Присутствие Аввакума ощущается всюду. Рассказывая о том, что с ним произошло на воеводском судне, «пловучи Волгою в Казань», Аввакум может тут же вспомнить о событиях, которые произошли спустя несколько лет, когда он пребывал «у царя на сеньях» (25). Герой «Жития» может одновременно действовать в разных местах: пасть в избе «на землю на лица своем» и одновременно стоять и смотреть «при реке Волге» (23); находиться в Даурии, но явиться русским людям, зашедшим в «Мунгальское царство», то есть в Монголию (40—42). Герой «Жития» вырастает в поднявшегося до небес титана: «...не сведу рук с высоты небесных», — заявляет Аввакум (61). Так в «Житии» изображается повсеместность, повседневность, грандиозность борьбы раскола с «никонианами» в России.

Эпизоды, изложенные в «Житии», обычно насыщены массой приземленных бытовых деталей. Упоминаются и синие ноги героя, и его мокрая одежда, и корм из корыта, и сковородка, и мыши с тараканами, и многое другое в том же роде. Однако эти детали в «Житии» в еще большей мере раскрывают размах развернувшейся борьбы, ибо Аввакум сопровождает свои рассказы соответствующими нравочениями и комментариями, преподносит эпизоды из своей жизни как образец поведения, одобренный высшими силами: «Да што петъ делать, коли Христос и пречистая Богородица изволили так?» (34); «...быть тому так за Божию помощию, на том положено, ино мучитца веры ради Христовы» (36); нам надобе вся сия помнить и не забывать... и не менять на прелесть сего суетнаго века» (50).

Есть в «Житии», особенно во второй половине, эпизоды более узкие, местные; в конце «Жития», куда Аввакум свел рассказы о своей способности исцелять больных, следуют эпизоды совсем камерные. Но и они не выпадают из общей картины, а, наоборот, углубляют ее и сами становятся шире и значительней. Например, конкретные места Сибири Аввакум описывал, как известно, с большой фактической точностью, нарисовал в «Житии» даже два развернутых сибирских пейзажа. Но у Аввакума в фактическом вмещалось и нечто широко обобщающее. Та-

ково изображение и тяжкого лесосплава, проходившего по реке Ингоде, восточнее Байкала: «Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие... Ох, времени тому!» (35). Ср. «Слово о исходе души от тела» Кирилла Александрийского: «Непроходна дебрь, и безмерна пропасть, неизбежно затворение... немилосерды блюстители... тверды ногти... жестоки говядинные жилы» и т. д. (115 — 115 об.) Поэтика обобщений у Аввакума — святоотеческая.

В каждом эпизоде «Жития» Аввакума сквозит образ России, в которой схлестнулись две силы — обездоленные раскольники и благополучные «никониане». «Житие» Аввакума с небывалой рельефностью и художественной подробностью показало Россию гонимых и страдающих.

Типизация жизни конкретного исторического лица — правда, менее насыщено и целеустремленно, чем в «Житии» Аввакума, — проводилась в отдельных повестях последней трети XVII в. Так, в 1660-е или в 1670-е годы появилась повесть, рассказывавшая о сыне великоустюжского купца Савве Фомиче Грудцыне-Усове. С первых же строк «Повесть» определенно указывала, в каком году отец Саввы перехал в Казань, с какими городами торговал, сколько лет было Савве, в какой город впервые самостоятельно поплыл с товарами Савва и в каких городах жил потом. Историки знают купеческую фамилию Грудцыных-Усовых, ее генеалогию, но вот Савву опознать никак не могут. Дело в том, что в «Повести» под вроде бы реальное лицо подставлен вымышленный персонаж.

«Повесть» рассказывала о том, как на поле у соликамского городка Орла Савва познакомился с дьяволом, принявшим обличье молодого купчика, дал на себя «рукописание», и за это дьявол исполнял все желания Саввы. Прошло несколько лет, Савва уже жил в Москве, на Сретенке, в Зимине приказе, в доме стрелецкого сотника Якова Шилова, смертельно заболел и так искренне раскаялся, что сама Богородица заступилась за него. Савву принесли в Кремлевский Успенский собор, и здесь откуда-то сверху упал листок Саввиного «писания», но совершенно чистый. Савва выздоровел и постригся в Чудов монастырь.

Благодаря помощи дьявола все деяния Саввы переходили за грань возможного. Если Савва разъезжал по торгам, то за ночь покрывал расстояние более 2000 «поприщ» и объявлялся то на Волге в граде Космодемьянске, то на Оке в селе Павлов Перевоз, то в граде Шуе. Если Савва вдруг решил заняться военным делом, то, записавшись в солдаты, быстро превзошел в воинском «артикуле» всех старых воинов и начальников, тоже стал начальником и совершил такие подвиги под Смоленском, осажденном поляками, что Савве и его популярности в войсках стал завидовать сам командующий полками боярин Федор Иванович Шейн. В Савве как бы объединились силы множества людей, создавая в целом образ строгой и лихой «служивой» России XVII в.

Облик не «служивой», а «служилой» России отразила «Повесть о Фроле Скобееве», сочиненная в конце XVII или в первой четверти XVIII в. В ней рассказывалось, каким способом бедный, но изворотливый новгородский дворянин Фрол Скобеев, промышлявший ходатайствами по чужим делам, смог жениться на дочери стольника Нардина-Нащокина и получить большое богатство. Фрол — конечно, вымышленный персонаж. «Повесть» демонстрировала образцы ловкости Фрола как хорошо усвоенную систему, включая твердое знание им того, сколько денег нужно давать и в какие моменты на подкуп «мамки», приставленной к стольничьей дочери.

Произведения демократических писателей второй половины XVII в. благодаря типизации героев нарисовали обобщенный облик различных социальных слоев России, преимущественно низших и средних. Именно с этих произведений началась собственно художественная русская литература.

Значителен уже был охват действительности в сочинениях придворных писателей. Традиционная прямота характеристик России у них соседствовала с новомодными барочными сравнениями, аллегориями и символами. Такова, например, стихотворная книга «Орел российский», составленная Симеоном Полоцким и в 1667 г. преподнесенная царю. Полоцкий восхвалял силу и славу Орла российского: его знают в странах Титана, Нептуна, Эола; он превосходит Соломона, Александра Македонского, римского императора Тита; он богаче Ганга и светлее Феба; Аполлон и его музы славят Орла российского, утверждая, в частности, что ни Вергилий, ни Овидий, ни Цицерон, ни Аристотель не в силах достойно воспеть Орла; Феб и Эхо превозносят добродетели царя и т. п. Роскошества похвал усиливались всяческими акростихами, анаграммами, аллегорическими рисунками, наконец, стихами, написанными в виде рисунков. Подобные сочинения явились провозвестниками од XVIII в.

Специфической особенностью художественных произведений XVII в. стала множественность образов России и множественность способов художественного решения, навеянных жизнью тем. В разных местах России сочинялись интереснейшие юмористические и сатирические истории о продажных судьях, о пьющих монахах, о жадных попах, о расчетливых купеческих женах («Повесть о Шемякином суде», «Калаязинская челобитная», «Сказание о попе Саве», «Повесть о Карпе Сутулове»); повести историко-романического содержания: о любви князя и его отрока к одной девице («Повесть о тверском Отроче монастыре»), о женском вероломстве («Повесть о зачале Москвы»), о женской дружбе («Повесть о Марфе и Марии»).

Особенно значимым был вклад писателей XVII в. в изображение южных пограничных окраин России. Былины о борьбе с ордынцами использовались, например, в «Сказании о киевских богатырях» и «Повести

о Сухане». Создался цикл повестей об Азове: «Повесть о взятии Азова» донскими казаками у турков в 1637 г. и три «Повести об азовском осадном сидении донских казаков» в 1641 г. — документальная, «поэтическая» и сказочная.

В «поэтической» «Повести об азовском осадном сидении», написанной в 1642 г. казачьим войсковым дьяком Федором Порошиным, с использованием традиций документальных казачьих «отписок» и действительно поэтично изображавшей сцены борьбы казаков с осаждавшим их бесчисленным турецким войском, был создан и новый образ когда-то дикой и зловещей области у границы Российского государства. Донские и азовские степи теперь объявлялись «нашими»: «наши поля чистые», «в полях у нас», «земля у нас под Азовым», «у нас по Дону». Даже турецкий царь в «Повести» в своей речи к казакам вынужден упомянуть «степь вашу казачю великую», где, признает турецкий царь, «ни кем в пустынях (безлюдных местах) водимы или посылаемы, яко орли парящи без страха по воздуху летаете и яко лви свирепыи в пустыняхъ рыскаете, казачество донское и волское...» (141).

Ощущением об уютности и покойности донского края пронизано обращение казаков перед битвой к земле, которую они считают своей: «Простите нас, леса темныя и дубравы зеленыя. Простите нас, поля чистые и тихие заводи. Простите нас, море Синее и реки быстрые. Прости нас, море Черное. Прости нас, государь наш тихой Дон Иванович, уже нам по тебе, атаману нашему, з грозным войским не ездить, дикова зверя в чистом поле не стреливать, в тихом Дону Ивановиче рыбы не лавливать» (77).

Турки в «Повести» вовсе не страшны. Ни автор «Повести», ни его герои не испытывают страха или тягостных чувств перед турками. Правда, автор, говоря о турках, часто употребляет слово «страшный», но оно здесь обозначает «ошеломляющий, поразительный, внушительный, дивный». Да и герои «Повести» перед лицом турок бодры и задористы — «Дону славнаго рыцари знатныя».

В «Повести об азовском осадном сидении донских казаков» нагнетанием огромного количества деталей создан широкомасштабный художественный образ азовской степи: «Все наши поля чистые от орды нагайския изнасеяны. Где у насъ была степь чистая, тутъ стали у насъ одним часомъ людми их многими, что великия непроходимыя леса темныя. От силы их турецкие и от уристания конского земля у нас под Азовым погнулась и реки у насъ из Дону вода волны на берегу показала, уступила мечь своихъ, что в водополи». Чистая и светлая степь стала темной, просторная и пустая — непроходимой и тесной, ровная — прогнувшейся, сухая — залитой, спокойная — зыблящейся волнами и т. д.

Это описание затем дополнилось новыми деталями. Степь грозно потемнела: «Какъ есть стояла над нами страшная гроза небесная, будто молние» (140), «какъ есть наступила тма темная», «черныя бе знамена»

(141), «воздух... отемниша» (152). Степь оказалась тесно заставлена: турки «стали... в восемь рядовъ от Дона, захватя до моря рука за руку» (141), «не могутъ... очи... видеть другова краю силъ» (142). Степь от тяжести войск начала проваливаться: «подкопы... все обвалились: не удержала силы их земля» (148). Тихая степь огласилась шумом: «Почали у них в полках их быти трубы болшия в трубы великия, игры многия, пiski великия несказанные, голосами страшными их бусурманскими. После того у них в полках их почала быть стрелба мушкетная и пушечная великая» (140), «набаты у них гремять, и в трубы трубять, и в барабаны бьют» (141), «рати великия топеря в полях у насъ ревут» (144). Тусклая, потемневшая степь «засверкала огнями»: «Фитили у них у всех янычар кипят у мушкетов их, что свечи горять... а на янычанях на всех збруям их одинакая красная, яко зоря кажется... а на главах у всех янычаней шишаки, яко звезды кажутся» (141); «...знамена их зацвели... и прапоры (флаги), какъ есть... цветы многия» (147). Вот, например, в какую красивую степь казаки в своем послании к янычарам вписывают турецкое войско: «Давно у насъ в полях наших летаючи, а васъ ожидаючи, хлекчут орлы сизые и грають вороны черные, подле Дона у нас всегда брешут лисицы бурые, а все они ожидаючи вапшево трупу бусурманского» (144—145).

Исследователи русской литературы нередко называют XVII в. «пестрым». В понятии «пестроты» объединяются представления о красочности, дробности, разнообразии и многогранности новых литературных начинаний и достижений того века. Самым важным и перспективным среди этих начинаний и достижений было выделение уже собственно художественной русской литературы, ее явственное тяготение к живой фантазии, вымыслу и изобразительности. Предложенный стремительный очерк древнерусской литературы указывает на необходимость дальнейших исследований мироотношения и мироощущения, то есть направленности литературного творчества древнерусских писателей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

После семи с половиной веков развития русская литература пришла к Новому времени с многообразными традициями. Какие из них главные? Ясно, что нельзя замыкаться в пределах узко литературных традиций, идейных или жанровых, вне связи с обществом. В данном случае речь пойдет о традициях общественного мышления и общественной психологии, которые складывались веками и формировали лицо литературы. Еще не проведено их систематического изучения. Но заранее можно предвидеть, что в обществе Руси, а затем России существовали традиции верхов и традиции низов. Это главный социальный багаж древнерусской литературы.

В самом сжатом и еще прямолинейном виде социально-психологическая история древнерусской литературы выглядит следующим образом. Резкой разницей во взглядах и настроениях верхов и низов был проникнут уже древнейший, собственно древнерусский период истории литературы XI — начала XIII в. Различалось, например, отношение к князьям, к их делам и богатствам. Верхи Киевской Руси приняли церковную точку зрения и расценивали князей прежде всего по их соответствию православным установлениям. Об этой официальной позиции свидетельствуют многие оригинальные, то есть непереводаемые произведения, созданные в те времена. В старейшем из дошедших до нас проповедническом памятнике — «Слове о законе и благодати» 1030-х — 1040-х годов — его автор Иларион, ставший вскоре киевским митрополитом, искусно восхвалял князей Владимира Крестителя и Ярослава Мудрого за распространение христианства на Руси, за постройку и украшение церквей, за соблюдение благоверия. Церковные характеристики князей и оцерковленные княжеские речи были включены в древнейшую летопись, которую составляли киевские монахи с 1040-х годов по начало XII в. Она получила название «Повести временных лет». Со временем церковный подход к людям и событиям усилился и стал абсолютно преобладать, например в житиях князей-мучеников Бориса и Глеба середины XI — начала XII в., в изысканных проповедях Кирилла Туровского конца XII в., во Владимиро-Суздальском летописании XII—XIII вв.

Для общественных низов, для народа в XI—XII вв. было характерно совсем иное представление о князьях и социальной действительности. Взять хотя бы былины. В них нет и следа церковной целеустремленности. Князь Владимир Красное Солнышко и богатыри в былинах вовсе не благочестивы и вовсе не думают о церковных делах и христианских добродетелях. Народные представления отразились не только в фольклоре, но и в литературных произведениях, вышедших из дружин-

ной и монастырской среды, — из той социальной «середины», которая оказалась подверженной влияниям как сверху, так и снизу. Например, в «Повести временных лет» писатели-монахи изложили некоторые предания о княгине Ольге и князе Владимире, и в результате в летописном повествовании о князьях церковная и народная версии перебивали друг друга. Получилось, что, по церковной версии, Ольга и Владимир неудержимо стремились принять христианство и быть образцовыми христианами, но, по народной версии, не так уж они и спешили, думали о земных делах, хитрили, обманывали, мстили врагам, пиروвали, а с принятием христианства рассчитывали на какие-то выгоды. Церковная традиция требовала, чтобы жизнеописание князя заканчивалось поучительной похвалой его благочестию, а народная традиция обращалась к форме причетей и слав князю за его удаль и щедрость. И то и другое вошло в «Повесть временных лет». Летопись также передала живую, а не только условно-церковную речь персонажей. Так, византийский царь признавался княгине Ольге после ее крещения: «Переключокала мя еси, Ольга», то есть «перехитрила ты меня, Ольга». Князь Владимир, имевший 5 жен и 800 наложниц, лукаво говаривал, когда пришло время принимать христианскую веру: «Руси есть веселье питье, не можем бес того быти». Живой бытовой речью особенно отличалось новгородское летописание XII в.

Феодальные распри князей явились одной из распространенных тем литературных памятников XI—XII вв., но в изображении распрей тоже выделялись две главные точки зрения. В одних случаях памятники обязательно становились на сторону одного из князей или одной из княжеских коалиций, хотя рассказывали о распрах по-разному — в церковно-поучительном тоне или более деловито, как, например, киевское летописание XII в. Но в других случаях, когда литературные произведения отражали народную точку зрения на княжеские распри, авторы поминали горькую участь простых людей, пахарей и смердов, страдавших от междукняжеских войн. Об этом с исключительной выразительностью писали в начале XII в. знаменитый киевский князь, демократически настроенный Владимир Мономах, а в конце XII в. неизвестный автор знаменитейшего «Слова о полку Игореве». Церковно-идеализирующие представления верхов и этико-бытовые представления социальных низов противостояли друг другу уже с самого начального периода истории русской литературы.

В XIII—XIV вв., в период потрясений и несчастий от глубоко зашедшей феодальной раздробленности Руси, от нашествий ордынцев и установления ордынского ига не только сохранились, но даже расширились различия в мироощущении общественных верхов и низов. Например, упрочилась разница между церковной предвзятостью верхов и мирским свободомыслием низов в отношении к князьям, к властям. Так, «Моление Даниила Заточника» и «Житие Александра Невского» были созданы в XIII в. и оба, по-видимому, во Владимиро-Суздальском кня-

жестве. Но в «Житии» князь, прославившийся своими победами, представлен прежде всего как праведный борец за православие. В «Молении Заточника» же князь — это, «богат муж», от которого умному холопу хорошо бы получить милость, да бояре мешают избавлению от нищеты. Служить князю и боярам в надежде на милости? Что ж, «добра пса князи и бояре любят». Но автор «Моления» проговаривается о совсем ином желании: «Княже мои, господине! Аще бы умел украсти, то селико бых к тебе не скорбел».

В XIII—XIV вв. усилилось разделение представлений верхов и низов о сражениях, поражениях и несчастьях. Верхи опирались на церковную традицию, а низы — на традицию эпическую. Верхи, особенно церковные, больше, чем низы, думали об ордынском нашествии как о наказании за грехи, о борьбе как мученичестве за веру. Эти настроения проповедовали, например, поучения владимирского епископа Серапиона XIII в., повесть об убиении черниговского князя Михаила и его боярина Федора в Орде конца XIII — начала XIV в., «Житие Михаила Ярославича Тверского» XIV в.

Низы же грезили образами удалства и молодечества и хорошо помнили мощь Руси и своих богатырей. Подобные мотивы отражались в литературных памятниках, и чем дальше, тем острее. В Галицко-Волынском летописании XIII в., наиболее дружинно-рыцарственном по духу из всех древнерусских летописей, уже содержались эпически преувеличенные картины битв, создаваемые народно-ритмизированным изложением. «Слово о погибели Русской земли» XIII в. рисовало эпически гиперболизированный образ Руси, но обрывалось на теме ее поражения — «болезни». В «Житии Александра Невского» было использовано предание (или героическая песня) о новгородских удалцах, их силе и храбрости. Но ярче всего эпическую стихию впитала в себя «Повесть о разорении Рязани Батыем», составленная в первой половине или середине XIV в. Здесь звучали отзвуки эпических песен о подвиге нового богатыря Евпатия Коловрата и славы-плачи по «удальцам, и рязанцам, узорочию рязанскому» — князьям и воинству, polegшим в неравной битве с ордынцами. Можно предположить, что к концу XIV в. два типа мышления, книжно-церковный и устно-эпический, стали различаться еще сильнее, а писатели с еще большим старанием пытались сочетать их в то или иное целое.

Следующий период конца XIV—XV вв., от Куликовской битвы 1380 г., подорвавшей власть Орды на Руси, и до окончательного уничтожения ордынского ига в 1480 г., отмечен небывало обильным духовным развитием русского общества. В этот период мышление низов менялось медленнее, чем мышление средних и высших общественных слоев. В народе продолжало преобладать эпическое понимание событий. Правда, народное сознание стало более социально-фактичным. Свидетельством тому служит появление нового фольклорного жанра исторических пе-

сен, распространение апокрифов, противоречащих церковной теории сотворения мира и жизни человечества, и, наконец, возникновение ересей, очень тревоживших верхи.

Расширение духовного кругозора общества шло гораздо более быстрыми темпами вверху и, так сказать, в середине. Заявила о своей силе торговая, купеческая среда, и ее отношение к социальным явлениям отразилось в литературе. О купцах говорилось в «Задонщине» — в памятнике XIV—XV вв., воспевшем победу русских в Куликовской битве. Роль купцов в борьбе с Ордой особенно была подчеркнута «Повестью о нашествии Тохтамыша» конца XIV в. Рассказывая об ордынском нападении на Москву, повесть резко противостояла официозным панегирикам и выставляла князя Дмитрия Донского и священников как трусливых и нерешительных людей. Лояльное отношение к разным вероисповеданиям и не стесненную ничем бытовую наблюдательность продемонстрировал купец Афанасий Никитин в своем «Хождении за три моря» в Индию 1460-х — 1470-х годов. Купеческий сын побеждал царя и сам становился царем в «Повести о Дмитрие Басарге и о сыне его Борзосмысле». В целом по особенностям своего сознания купеческая среда XV в., вероятно, была ближе к низам, чем к феодальным верхам.

Разительно стронулось традиционно строгое церковное мышление верхов русского общества — в направлении широчайшей эклектики и украшательства. С конца XIV — первой половины XV в. произошел стилистический сдвиг, и писатели, приближенные к верхам, стали сочинять свои произведения так, чтобы факты были собраны как можно полнее, чтобы литературные и документальные источники прошлого были использованы как можно богаче и чтобы все изложение и каждая фраза приобрели небывалую эмоционально-риторическую пышность, иногда в ущерб ясности смысла. Именно в это время появилась «Задонщина» с ее размахистым использованием «Слова о полку Игореве». В стиле вселенского раздувания значения фактов, нагнетания библейских и прочих цитат и общего «плетения словес» написал книжник Епифаний Премудрый «Житие Стефана Пермского» и «Житие Сергия Радонежского», неизвестный автор — «Слово о житии Дмитрия Донского», инок Фома — «Слово похвальное» тверскому князю и т. д.

Примерно со второй половины XV в. усилилось тяготение верхов к фольклору, русскому и нерусскому. Произошло это из желания властей широко использовать материальные и духовные ценности в своих интересах. К этому были все возможности на Руси, освободившейся от ордынского ига. Вот когда окниженный фольклор стал важной составной частью житий, например «Жития Михаила Клопского» и многих повестей, — «Задонщины», «Повести о Темир-Аксаке», «Повести о старце, просившем руки царской дочери», «Сказания о Вавилоне», «Повести о Дракуле». Так, в «Повести о Дракуле», по всей вероятности, сочиненной известным русским дипломатом Федором Курицыным, воевода

Дракула всю жизнь занимался тем, что с прибаутками и загадками быстро и жестоко казнил людей, недостаточно почитавших его или неприлежно трудившихся, особенно бедняков и нищих. Купцов же Дракула уважал.

Духовная экспансия верхов способствовала формированию эклектического стиля мышления и изложения XV в., в котором в меру были перемешаны фактичность и риторичность, фольклорность и церковность. В таком стиле были написаны и очень большие повествовательные памятники — «Сказание о Мамаевом побоище» и «Повесть о взятии Царьграда турками». Верхи внешне приблизились к народу, но вот низы не сделали своего шага навстречу, а словно остановились в ожидании.

Дальше, в XVI в., произошел крутой поворот в интеллектуальных отношениях верхов и низов. Кровью и потом было построено суровое централизованное самодержавное государство. Общественное мышление и воображение российских верхов и низов прошло разную школу. Высшие, а затем и средние слои общества приучались мыслить необычно большими, «государственными» категориями, оценивать явления в их многосоставности, противоречиях и длительной истории. Начало новому, сложному типу мышления положили споры, которые в течение XVI в. велись повсеместно почти по всем важнейшим вопросам государственной и духовной жизни. Участникам эти споры нередко стоили головы. По церковно-государственным вопросам яростно столкнулись две группировки. Одну возглавлял игумен и писатель Иосиф Волоцкий, другую — игумен и писатель же Нил Сорский. У каждого лагеря были свои влиятельные сторонники, обильно писавшие. Например, на стороне «иосифлян» выступил сам московский митрополит Даниил, а на стороне «нилсорцев» насильно постриженный в монахи князь Вассиан Патрикеев. При всех идеологических различиях писателей общим являлось понимание ими неизмеримо возросшей роли церкви в централизованном государстве.

Немало писалось сочинений на широкие светские темы — о социально-политическом состоянии Российского государства и о месте его социальных слоев. Максим Грек много спорил по вопросам просвещения. Иван Пересветов призвал царя поддерживать не «вельмож», а незнатных «воинников». Ермолай-Еразм обращал внимание на тяжкое положение крестьян. Андрей Курбский сожалел о пошатнувшейся власти боярства. Сам царь Иван Грозный тоже много писал, отстаивая полную свободу воли царского «самодержавства». Различны были устремления писателей, но общей платформой для них опять-таки явилась зрелая государственная точка зрения на затрагиваемые темы, а общим стилистическим принципом их посланий и трактатов — переплетение церковной риторики с народным просторечием.

Общественные верхи XVI в. были также заинтересованы в том, чтобы проследить становление политических явлений, притом с очень даль-

них исторических истоков, пусть даже вымышленных. Так, в начале XVI в. в посланиях игумена Филофея и затем в официальном «Сказании о князьях владимирских» российский царский род выводился из рода римских императоров, что позволило провозгласить государственную доктрину «третьего Рима»: первый Рим — античный — пал под натиском варваров, второй Рим — византийская столица Константинополь — захвачен иноверными турками, третий Рим — это Москва — цветет и благоденствует, а четвертому Риму не бывать. Соответственно от римского же императора велось происхождение наряда новгородских архиепископов в «Повести о новгородском белом клобуке». Изложение событий царства Ивана Грозного также велось с отдаленной предыстории. Например, в «Казанской истории» повествование о взятии Казани в 1552 г. начиналось с предания о борьбе со страшным змеем-людоедом о двух головах на месте Казани в незапамятные времена и с ряда других легенд. В подобного рода повестях особенно активно перемешивались разные стили — фольклорный, просторечный, документальный, церковный и пр.

Верхи российского общества стремились к выработке всеобъемлющих, государственно унифицированных концепций и композиций — исторических, политических, юридических, нравоучительных, хозяйственных. Вот почему в XVI в. появились огромные, даже гигантские памятники, так или иначе вобравшие в себя почти все написанное в предыдущие века: житийно-проповеднические «Великие Минеи Четии», «Никоновская летопись» и летописно-историческая «Степенная книга», иллюстрированный исторический «Лицевой свод», церковно-юридический «Стоглав», бытовой «Домострой».

На фоне интенсивной умственной деятельности верхов, занятых систематизацией и циклизацией всевозможных материалов, развитие сознания низов выглядело совсем скромно. Народное сознание как бы отказалось от создания широких систем и выхватывало из современной жизни лишь отдельные эпизоды и частности. Складывались исторические песни о разных случаях из походов и сражений при взятии Казани и Астрахани, при отражении набегов крымчаков, при завоевании Сибири. Пелись песни и рассказывались сказки и легенды об Иване Грозном, например о его женитьбе на кабардинской княжне, о его роковом гневе на сына, об опале на слуг, о щедрости к народу и жестокости к боярам. Появились и памфлеты на бояр. Общественные низы выбрали иной способ обобщения, чем верхи: через выразительные частности давать цельное представление о герое и окружающей его обстановке. После некоторого сближения в XV в. пути мышления верхов и низов в XVI в. снова сильно разошлись. Правда, писатель Ермолай-Еразм в середине XVI в. попытался фольклорные рассказы про мудрую деву положить в основу своей «Повести о Петре и Февронии», которая поэтому получилась необычно поэтичной и не похожей ни на какие

иные литературные произведения XVI в. Но тогда это был уникальный факт.

Уникальное для XVI в. стало широко распространившимся явлением в XVII в. Укрепление российского самодержавного государства в XVII в. дало неожиданные результаты: рост демократической массы населения, усиление давления (вплоть до бунтов и восстаний) торгово-служилой, посадской, казачьей и крестьянской среды, наступление народной культуры на духовный мир всех слоев общества. В XVII в. оживилось общественное мышление низов, что сказалось в обилии новых фольклорных произведений, а главное, в их циклизации: в циклы объединялись былины с новыми историческими и жанровыми элементами, народная лирика, исторические песни (возник, например, цикл песен о Степане Разине). Составлялись сборники пословиц и поговорок.

Возникла целая литература средних слоев населения, кровно связанная с фольклором. Народная среда прежде всего воздействовала на литературу своим юмором, сатирическим и оппозиционным отношением к верхам. Уже в самом начале XVII в. ходило по рукам «Послание дворянина дворянину», которое прибауточно-рифмованной речью рассказывало о расправах мужиков с помещиком: дворянина «мужики... приводили к плахе, за старые шашни хотели сбросить с башни... мазали кожу кнутом» и т. д. В продолжение всего XVII в. с неотразимой дерзостью высмеивались судьи и воеводы, духовенство и церковные службы — в «Повести о Ерше Ершовиче», «Повести о Шемякином суде», «Сказании о Куре и Лисице», «Службе кабаку», «Калязинской челобитной» и других.

Писатели не только из средних общественных слоев, но и из верхов поддались саркастической манере просторечно-афористических высказываний. Подобными выражениями во множестве были пересыпаны произведения о событиях Смутного времени начала XVII в., хотя писали их люди разного социального происхождения. Со знанием дела употреблял «се всяк глас просторечие» и влиятельный церковный деятель Авраамий Палицын в своем большом «Сказании» о Смуте. Во второй половине XVII в. афористическое просторечие особенно напористо использовалось в сочинениях писателей-старобрядцев как способ вынесения народной ядовито-независимой оценки лиц и событий. Вот в каких выражениях, например, протопоп Аввакум, автор всемирно известного автобиографического «Жития», рисовал в своих сочинениях образ толстого монаха: «А ты, что чреватая жонка, не извредить бы в брюхе ребенка, подпоясываеся по титькам». От Аввакума доставалось всем высшим церковным иерархам вместе с патриархом — «с носатым, и с брюхатым, с борзым кобелем». Доставалось богачам: «Плюнул бы ему в рожу ту и в брюхо тз толстое пнул бы ногою»; и даже самому царю — «бедному царшке»: «Накудесил много, горюн, в жизни сей, яко козел, скача по холмам».

Народное мироощущение влияло на литературу XVII в. и в песенно-лирических формах. Самые яркие примеры: в начале XVII в. — «Писание о преставлении воеводы Михаила Скопина-Шуйского», об отравлении его на «почестном пиру» чарой «пития смертного» и всенародных плачах по нем и похоронах; во второй же половине XVII в. — необыкновенная по своим художественным достоинствам «Повесть о Горе-Злочастии», о несчастной жизни купеческого сына, о том, как мятущийся в довольстве молодец «испывал чару зелена вина... упился он без памяти», надевал «на себя гунку кабацкую» и «пошел он на чюжу страну, далну, незнаему». Здесь Горе-Злочастие и «научает молодца богато жить — убить и ограбить, чтобы молотца за то повесили».

Сильно воздействовали на литературу средних слоев российского общества XVII в. былинно-сказочные мотивы и язык. Чаще всего это были произведения о подвигах богатырей, удалстве «витязей» или мужестве простых казаков на границах государства — «Повесть о Сухане», «Повесть о Бове-королевиче», «Повесть о Еруслане Лазаревиче», цикл повестей об азовском осадном сидении донских казаков. Использовалось и сказочно-бытовое повествование, например, в «Сказании о древе златом и о златом попугае и о царе Михаиле». Литература средних слоев населения явилась органическим продолжением, синтезом и развитием фольклора.

Некоторые писатели средних слоев, правда, предпочитали не выпячивать устные истоки своих произведений и повествовали в традиционном эклектическом стиле, смешивая церковные, документальные и просторечные элементы в примерно равной пропорции. Подобным образом были составлены такие значительные по содержанию произведения, как «Повесть об Улянии Осорьиной», об обыденной жизни жены служилого человека, и «Повесть о Савве Грудцыне», о фантастических приключениях купеческого сына. И все-таки перевес был на стороне тех, кто ориентировался на народный сказ. Во второй половине XVII в. от литературы уже заметно стали отделяться публицистика, философско-историческое и естественно-научное изложение. Если говорить собственно о литературе, то XVII в. — это время торжества демократического мышления и мироощущения.

В этих условиях верхи общества не дремали, а боролись. Последовали указы о запрещении скоморошества. Увеличилось печатание церковных книг. Верхи бросились создавать свою, удобную для себя литературу, в основном придворную, — нарядную, панегирическую, смягчающую острые углы и развлекательную. При царском дворе испытывались новые или резко обновленные роды и жанры литературы — драматургия, силлабическая поэзия, ораторская проза. Придворные писатели, поэты, драматурги, проповедники, переводчики — Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Карион Истомина, Евфимий Чудовский и многие другие — взяли за образец «греческую» или «латин-

скую», то есть барочно-европейскую образованность, и писали искусственным, сложным языком, хотя временами понимали, что надо бы писать проще. «Политичность» и эрудиция заменяли талант. Эти новомодные сочинения тоже издавались печатно. К концу XVII в. расхождение между придворной и демократической литературой получилось разительным. В России XVII в. оформились две культуры — культура низов со средними слоями общества и культура верхов.

Можно подытожить так. В верхах общества всегда были сильны традиции церковного мышления. Они владели литературой многие века. Кроме того, верхи общества обладали многовековым опытом государственно-упорядочивающего и систематизирующего мышления. На литературу эти тенденции стали влиять довольно поздно, примерно с XVI в., но с быстро возросшей мощностью. К фольклору и народной речи у верхов тоже сложилось традиционное отношение: фольклор никогда ими не отвергался, но перерабатывался в иных социальных интересах.

Развитие духовных традиций низов вырисовывается с меньшей отчетливостью. Эпическое сознание низов держалось долго и долго «обволакивало» литературу. Но с XVI в. эти традиции неуклонно стали ослабевать. Выдвигаться начала другая манера мышления — умение обобщать ярким эпизодом или метким словом. В XVII в. произошло массовое проникновение такой экономной и быстрой манеры мышления в литературу. Что же касается отношения низов к верхам, то тут, за единичными исключениями, характерным было постоянное и молчаливое неприятие идеологической заданности духовного творчества верхов.

Средние социальные слои как литературная сила заявили о себе с XV в. Их значение росло. Именно в этой очень неоднородной среде делались небезуспешные попытки примирения и синтеза различных традиций. Русские писатели XVIII в. застали повсеместную смену главенствующих традиций общественного мышления и стояли перед небывало резко разными возможностями выбора.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

У древнерусских писателей существовала своего рода имущественная жизненная «философия» — частично в форме осознанных и сформулированных идей и доктрин, но больше в виде стихийных умонастроений, которые лишь неявно выражались в произведениях. В данной работе рассматривается эта вторая часть социально-имущественной «философии» писателей, менее определенная и цельная, но зато более широкая и богатая, изменчивая и тонкая, к тому же гораздо менее исследованная, чем область идей; дается лишь беглый и фрагментарный обзор самых заметных социально-имущественных писательских представлений по мере их возникновения и перемен с XI в. по XVII в.

1. XI — ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIII ВВ.

Представления о социально-имущественном делении общества древнейших писателей не сформировались в отчетливое учение. Об этом прежде всего свидетельствовала расплывчатость соответствующих терминов. В памятниках нередко перечислялись слои древнерусского общества, однако собственно социально-имущественные обозначения были скупы и сбивчивы. Например, «Житие Авраамия Смоленского» XIII в. завершал длинейший, претендовавший на исчерпанность перечень людских групп Руси (92)¹. Но социально-имущественные элементы здесь

¹ Цитируемые произведения: «Галицко-Волынская летопись» — ПСРЛ, т. 2; «Житие Авраамия Смоленского» Ефрема — Древнерусские предания: (XV—XVI вв.) / Текст памятника подгот. В. В. Кусков. М., 1982; «Житие Иринии» — Успенский сборник; «Житие Феодосия Печерского» Нестора — Успенский сборник; «Киево-Печерский патерик» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Киевская летопись» — ПСРЛ, т. 2; «Моление Даниила Заточника» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев; «Наказание богатым» — Изборник 1076 года / Изд. подгот. В. С. Гольщенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965; «Новгородская первая летопись» — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950; «О сказании евангельском» Кирилла Туровского — Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ, т. 13; «Повесть временных лет» — Летопись по Лаврентиевскому списку; «Повесть о белоризце» Кирилла Туровского — Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ, т. 12; «Повесть об Акире Премудром» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. В. В. Колесов; «Почучение» Владимира Мономаха — Летопись по Лаврентиевскому списку; «Почучение, како подобает христианам жити» Козьмы Пресвитера — Яковлев; «Сказание о Борисе и Глебе» — Успенский сборник; «Сказание о чудесах Бориса и

почти незаметны: упоминались только «богатии» и «нищии, убозии»; больше примешивалось элементов внесоциальных («всяк, реку, взрасть мужеск и женеск, уноша и старци»); а преобладали элементы административные («цари, и князи... судьи»), но в особенности церковные («патриарси, епископи, архимандрити, игумени, иереи, и дьякони, и весь черноризьческий чин»).

В «Слове о законе и благодати» мысль Илариона обращалась к «малымъ и великимъ, рабомъ и свободнымъ... унымъ и старымъ, бояромъ и простымъ, богатымъ и убогимъ» — такова, по представлению Илариона, «вся земля наша» (93); в перечне видна та же смесь политических, возрастных и имущественных категорий. И в «Слове на вознесение Господне» Кирилла Туровского перечислялись «малыя с великими, нищя с богатыми, рабы с свободными, старьце с унотами, и женимыя с девицями, матери с младенци, и сироты с вдовицами» (343) — все, кто угодно, а не общественные слои специально.

В перечнях XI—XII вв. социальность многих элементов также была неопределенной. В частности, слово «нищий» пояснялось словом «убогий» («нищим, убогим всем подая» — «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 21; «разумевай на нища и убога» — «Суздальская летопись», 279, 402, 421; «убози суть нищии» — «Слово о богаче и о Лазаре», 32), но дальше этого социальная характеристика нищих не шла. Мысль писателей отклонялась в сторону, и нищие перечислялись в одном семейно-жалостливом ряду со вдовами и сиротами: «Знаемая твори дом свои ништиимъ, въдовицамъ, сиротам, не имуштиимъ, кде главы подъклони ти» («Слово некоего отца к сыну своему», 180); «милостивъ к нищимъ, и к сиротамъ, и ко вдовицамъ» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 4, 5, 7 и др.); «раздая нищимъ, и сирымъ, и въдовицамъ» («Сказание о чуде-

Глеба» — Успенский сборник; «Словеса еже убо правоверну веру имети» — Изборник 1076 года. М., 1965; «Слово, како достоит имети челядь», «Слово, како подобает в ночь молитися», «Слово, како подобает приходити в церковь с верою» Иоанна Златоуста — Яковлев; «Слово на вознесение Господне» Кирилла Туровского — *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ, т. 15; «Слово некоего отца к сыну» — Яковлев; «Слово некоего отца к сыну своему» — Изборник 1076 года. М., 1965; «Слово о богатых и немилостивых» Иоанна Златоуста — Яковлев; «Слово о богаче и о Лазаре» — *Срезневский И. И.* Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. СПб., 1866, вып. 3; «Слово о вере к князю Изяславу» Феодосия Печерского — *Еремин И. П.* Литературное наследие Феодосия Печерского // ТОДРЛ, т. 5; «Слово о желании богатства» — Яковлев; «Слово о законе и благодати» Илариона — *Молдован А. М.* «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984; «Слово о слепце» Иоанна Златоуста — Яковлев; «Слово о терпении и любви и о посте» Феодосия Печерского — *Еремин И. П.* Литературное наследие Феодосия Печерского // ТОДРЛ, т. 5; «Суздальская летопись» — Летопись по Лаврентиевскому списку; «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора — *Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916.*

сах Бориса и Глеба», 62.1); «дати вѣдовам, и сирымъ и нищимъ» («Житие Иринии», 139.1).

Писатели XI—XII вв. также относили нищих и «медицински» к калекам: «множество везде нищии, убозии, слепии же, и хромии, трудоватии, и вси просители» («Житие Авраамия Смоленского» Ефрема, 92); «болний и нищъ, не могы ходити» («Повесть временных лет», 123); «къ убогимъ... к сирымъ, къ болящимъ» («Слово о законе и благодати» Илариона, 95); «нищимъ, и слепымъ, и хромымъ, и трудоватымъ» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 110.1).

С течением времени — и довольно скоро — писатели стали мыслить нищих и убогих в тесной связи с церквями, церковниками и монахами — в одном ряду, в единых перечнях: «набдя убогыя, въздая честь епископомъ и прозвутеромъ, излиха же любяше черноризци» («Повесть временных лет», 209); «кормитель башеть чернцемъ, и черницамъ, и убогимъ» («Повесть об убиении Андрея Боголюбского», 326); «всеми церковникомъ и нищимъ» («Суздальская летопись», 402); «чернецкий чинъ чешяше, нищия добре набдяше» («Киевская летопись», 563). Исследователи уже давно отметили подобное словоупотребление: «Под нищими здесь надо разуметь людей... вынужденных искать прибежища, между прочим, и у церкви»²; «при Ярославе они делаются... людьми церковными», «нищие считались красю церковною, Христовою братиею, церковными людьми... Написано было об этом много „слов“ и „поучений“»³.

Социальные темы у писателей XI—XII вв. редко когда были представлены в чистом виде, но во многих случаях были слиты с иными, более сильными церковными, политическими и прочими темами.

Социально-имущественные представления XI—XII вв. не отличались широкой обобщенностью: писатели касались социального состава не всей Руси, а ограниченных, местных обществ. Так, в перечнях «Киевской летописи» в лучшем случае упоминался состав только городского, а не вообще древнерусского общества, например «все множество новгородское — и силнии, и худии, и нищии, и и убозей, и черноризьсце» (610). Еще больше привлекали внимание писателей сиюминутные людские собрания, в частности на пирах: «Створи же... пиръ не токмо боляромъ, нъ и всеми людемъ, паче же нищимъ, и всеми вдовицамъ, и всеми убогимъ» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 19); на пир «позва же... и нищяя, и силныя, и худыя» («Киевская летопись», 655). Нередко перечни сводились к обозначению только «полюсов» местных обществ — богатых и бедных, или господ и слуг, или бояр и смердов, так что «вся земля» — это боярин и смерд: «И вся земля поплена бысть: бояринъ боярина пленившу, смердъ — смерда» («Галицко-Волынская летопись», 739).

² Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953, с. 155.

³ Прыжов И. Нищие на святой Руси: Материалы для истории общественного и народного быта в России. М., 1862, с. 71, 58.

Древнерусские писатели XI—XII вв. почти не задумывались над типичностью или распространенностью социальных явлений на Руси: рассуждения на этот счет в памятниках не велись и лишь в единичных случаях при упоминании отдельных персонажей вставлялись краткие обобщающие пояснения о том, что именно «е лепо болярюмъ» или «обычай есть предъ князьмъ» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 84.2 132.2). Чаще же только повторение разными авторами одного и того же качества, приписываемого разным князьям в разных ситуациях, позволяет догадываться о существовании у писателей XI—XII вв. неотчетливого представления о князьях вообще (пользуясь именно таким способом изучения, Д. С. Лихачев выявил княжеский идеал у древнерусских писателей XI—XII вв.⁴).

Социально-имущественные представления в литературе XI—XII вв. своеобразны лапидарной простотой, вернее, неразвитостью, упрощенностью. В высказываниях писателей о богатстве и нищете выражалось не поколебимое представление о заданности существующего порядка на вечные времена: «Богать ли... худъ ли — все то Божиимъ промышлениемъ» («Слово некоего отца к сыну», 62); слуги — «на послушани предани суть Богомъ» («Слово, како достоит имети челядь» Иоанна Златоуста, 96); нищета — извечна: «И не стыдися ништетою, поне же большая часть мира сего въ ништете есть» («Словеса еже убо правоверну веру имети», 210); труд — неизбежен: «Мнози бо во мире семь труждают ся имения деля чрезъ всю ночь, трепещуще зимою, другоици же измокнувше и омерзъше, и то точию имения деля коликую печаль имеютъ и трудъ» («Слово, како подобает в ночь молитися» Иоанна Златоуста, 83). Конечно, с отдельными людьми случаются перемены: «Убогъ богатъ бываетъ, а богатъ убогъ бываетъ, и высокъ обнижается, а низокъ възноситься» («Повесть об Акире Премудром», 252); но само разделение на богатых и бедных нерушимо: «Пропастъ велика есть межю вами и нами и никто же можетъ прейти ни от нас къ вамъ, ни от васъ къ намъ» («Слово о богаче и о Лазаре», 32).

Просты были представления и об отдельных социальных слоях. Довольно однообразен контекст, в котором упоминались князья как отдельный имущественный слой, — писатели первым делом отмечали то, где кто «сидит», как поряжены, управлены, розданы, поделены меж князьями земли, волости, грады и всякое материальное «собрание»; или наоборот, кто из князей «преселен» или прогнан из своих владений лишен богатства, просит «не лишать земли» и т. д., — все это постоянные темы летописей на протяжении многих десятилетий. Авторы прежде всего стремились предупредить о владениях каждого из упоминаемых князей, а уже потом рассказать обо всем остальном; внимание к владе

⁴ Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси, 2-е изд. М., 1970, с. 30—51.

ниям перевешивало все прочие темы, даже такую традиционную тему, как рассказ о сотворении мира, с которого обычно начинались исторические сочинения. Показательно, что «Повесть временных лет» (как она сложилась в XII в.) имела своим началом не рассказ о сотворении мира, а обзорение владений того, как «по потопе трие сынове Ноеви разделиша землю, — Симъ, Хамъ, Афеть» (1—4). И «Сказание о Борисе и Глебе» тоже начиналось со сходной темы: «А о сих по ряду сице есть. Съ убо Володимиръ имейше сыновъ 12... и посажа вся по роснамъ землямъ въ княжении...» (43.1—2) — и следовали перечни, где кто посажен.

К социально-имущественной характеристике князей добавлялась всего лишь одна деталь — о «веселии»: князья, мол, сидя по своим землям, с «веселием» пользуются своими богатствами. О подобном княжеском настроении и времяпрепровождении говорил автор «Сказания о Борисе и Глебе» («веселити ся съ чъстьными вельможами» — 45.2), указывая на его распространенность («братия отьца моего и или отьць мои... ихъ жития» — 45.1), рисуя его материальные истоки: «багряница, и брячины⁵, сребро, и золото, вина, и медове, брашна чъстная, и быстрии кони, и домове красънии и велиции, и имения многа, и и дани, и чъсти бещисльны, и гърдения яже о болярехъ своихъ... множества рабъ» (45.1). В «Житии Феодосия Печерского» Нестора даже открыто подчеркивалась эта типичность княжеского «веселия» среди благ: у князя «многашьды бо рабомъ... устроишемъ различная и многоценная брашна» (106.2), «и тако всемъ играющемъ и веселящемъ ся, яко же обычаи есть предъ княземъ» (123.2). Соответственно и иноземные (вымышленные) цесари и цесаревичи в памятниках были «веселы» («Повесть об Акире Премудром», 246).

Других деталей при упоминании князей было немного: писатели, с одной стороны, благочестиво осуждали суетность «веселия» князей, а с другой стороны, с сочувствием отмечали их приверженность «до всего любимаго имения», включая «оружья княже милостъное» (то есть заветное); «Повесть об убиении Андрея Боголюбского», 332). С сочувствием изображался и осмотр казны, когда князь-наследник «каза нести именье отца своего передъ ся: и порты, и золото, и серебро» («Киевская летопись», 474). И еще сочувствовали князю, если тому не удалось пожить в «веселии»: «Камо не въсхоте веселити ся... Къто не почюдить ся?..» («Сказание о Борисе и Глебе», 49.2). Владение и «веселие» — вот, пожалуй, и все оттенки в социально-имущественных представлениях писателей о князьях.

В высказываниях о знати — о боярах, вельможах, богачах, ближайших княжеских слугах и дружине — постоянно подчеркивалось одно:

⁵ Брачина, брячина — шелковая ткань, род парчи. См.: *Срезневский И. И.*, т. 1, стб. 175, 187; *Словарь русского языка XI—XVII вв.* М., 1975, вып. 1, с. 327; *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964, т. 1, с. 208—209.

знатные очень богаты. Например, «Слово о богаче и о Лазаре» (в двух различающихся списках XII в.) с еще большим рвением, чем это рассказывалось о князьях, живописало роскошество жизни богатого человека: «Тъ богатыи... въ багъре (и въ паволоце) хожааше. Кони его бели беша (тучьни иноходи), златъмь (и тварьми) украшени, седъла его позлащена. Раби его предътекуще мнози въ брачине... На обеде же его служба бе многа злата и сребрьна (съсуди златъмь съковани и сребромь), вино (брашно) много» и т. д. и т. п. (29—30). Считалось непреложным правилом: раз человек богат, то есть у него свой собственный дом; памятники уважительно повторяли: «се бо боляре... мянщесе велиции быти и славнии... дома велики сътворше» («Киево-Печерский патерик», 500); «богатъ ли — имеши домъ свой» («Слово некоего отца к сыну», 62).

Особо уважительный взгляд писатели бросали на богатую, светлую, «красную» одежду людей знатных — подобных деталей в памятниках встречается, пожалуй, больше всех прочих. В какой одежде должно ходить боярину? Ответ: «...и облече ся въ одежду славьну и светьлу, яко же е льпо боляромъ» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 84.2). За что почитают знатного человека? Ответ находим в том же «Житии»: «...чьстяху чьстьныхъ ради пъртъгъ или светелья одежа или имения ради мъногаго» (126.2). Знатный человек и его супруга заметны по одежде: жена «сугуба оденья сотворить мужеви своему, очервьлена и багряна собе оденья. Взоренъ бываетъ... мужъ ея...» («Повесть временных лет», 79; ср.: Притчи Соломона, гл. 31). В одежде знатных людей писатели нередко выделяли золотую деталь — «гривну, юже ношаше, в ней же веса 100 гривень злата» («Киево-Печерский патерик», 452), «луда... золотомъ истъкана» («Повесть временных лет», 144), «на немъ крестъ и чеши в гривну золота», «золотомъ шито облечье» («Суздальская летопись», 301, 470), «златии колци, иже ношаше въ ушю своюю» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 24) и пр. Или что-либо другое броское: «въ великихъ сустугахъ гордящесе» («Повесть временных лет», 55), «в оксамите стоиши» («Повесть об убиении Андрея Боголюбского», 332). Однако, кроме открытого или скрытого восхищения богатством и одежаниями знати, ничего больше об их социально-имущественном положении писатели не высказали.

Еще беднее были представления писателей о «рабах» (низших слугах) и об «убогих». Термины «раб» и «убогий» по значению разные, но о таких лицах в памятниках говорилось примерно одинаково — это те, кто «работаютъ», обязаны работать: «последнии ся въсехъ творя и службьбникъ», «руками своима делахуть дело», «съ всякымъ съмерениемъ» и «съ поспешьствъмъ» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 97.2, 75.1, 87.2, 87.1), «койждо рабъ свою работу творить» («Слово, како подобает приходить в церковь с верою» Иоанна Златоуста, 199). То же и об «убогих»: «Аще ли убогъ кто, то своима рукама делаю, свой хлебъ

яжь, своя си отъ того кормя» («Поучение, како подобает христианам жити» Козьмы Пресвитера, 68). Отсюда следовали соответствующие размышления литературных персонажей: «Азь есмь жена вдова, убога, да достоинь ми делати» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 23). В некоторых памятниках со знанием дела описывались различные виды работ, которые «раби работаютъ» (больше всего в «Житии Феодосия Печерского» Нестора и «Киево-Печерском патерике»).

Совсем скудными по реальному содержанию являлись высказывания о крайних низах, о нищих и «убогих» («убогие» в текстах могли присоединяться то к «рабам», то к нищим). Нищие — наги; слова «нищета» и «нагота» выступали в памятниках как синонимы: «Нищету же и наготу... кто может исповедати?» («Житие Авраамия Смоленского» Ефрема, 77). Нищие живут милостыней, им нужно помогать, — ничего, кроме этих сочувственных предложений, нельзя извлечь из массы упоминаний о нищих и «убогих» во множестве памятников, оригинальных и переводных: «Лепо бо бяше намь от трудовъ своихъ крѣмити убогыя и странныя» («Слово о терпении и любви и о посте» Феодосия Печерского, 175), «аще ли видиши нага, или голодна, или зимою или бедою одержима... — всякого помилуй и от беды избави я, яже можеши» («Слово о вере к князю Изяславу» Феодосия Печерского, 172). Иногда встречались образные описания крайней нищеты: «Помяни наго лежаштааго подъ единомъ рубьмъ и не дрѣзнушта ногу своею прострети зимы дея»... Помысли о убогихъ, како лежать ныня, дѣждевными каплями, яко стрелами, пронажяеми... въздѣхни, помысливъ о убогихъ, како клячатъ надъ малымъ огньцмъ съкрѣчивъше ся, большу же беду очима отъ дыма имуште, руце же тъкмо съгревающе, плешти же и въсе тело морозьмъ измързъше... Приклони ухо свое к... обништавъшюуму въ житьи семь, заплати избываюштиимъ своимъ, оного недостатъчную диру его» («Слова еже убо правоверну веру имети», 232—235). Все эти детали часто повторялись в памятниках, составляя своего рода типовой набор, довольно однообразный по содержанию.

Можно рассмотреть высказывания писателей и об иных социальных группах — монахах, «татах» и т.д.; вывод об относительной элементарности социально-имущественных представлений писателей XI—XII вв. только подтвердится. Система их социально-имущественных представлений по простоте своей структуры была в какой-то степени сходна с лапидарными идеалами поведения в те же века: «Эти идеалы ясно определимы. Их несколько, и они очень четко обозначены социально»⁶.

Наконец, о неразвитости социально-имущественных представлений в цельную характеристику действительности свидетельствовала их стилистическая противоречивость. Писатели могли провозглашать принцип помощи неимущим, нищим, вдовам, сиротам: «До пота попры по сироте»

⁶ Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси, с. 26.

(«Словеса еже убо правоверну веру имети», 257), приводить факты такой помощи отдельных лиц: «Кто исповесть многыя твоя нощныя милостыня и дневныя щедроты, яже къ убогимъ творяше, къ сирымъ, къ болящимъ, к дѣлжнымъ, къ вдовамъ...» («Слово о законе и благодати» Илариона, 95); но одновременно они с не меньшей страстностью утверждали и противоположное: «Сироты и вдовици, от велможь погружаемы» («Моление Даниила Заточника», 390). Кто только не поминал властителей, «обидящих вдовица и сироты», «бояръ, обидящихъ меньшихъ, и роботящихъ сироты, и насилье творящихъ» («Житие Авраамия Смоленского» Ефрема, 82; «Суздальская летопись», 415); почти каждому вспоминалась «убога вдовица, яже бе от судии обидима» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 126.1).

То же происходило в литературе с высказываниями о нищих. Нищим должно было помогать милостыней, о чем напоминалось часто; но одновременно писатели свидетельствовали о противоположном: «Множество везде нищии, убозии... озлоблении, и прогнани, и разграблени бес правды от вельможь и от судьи неправедныхъ» («Житие Авраамия Смоленского» Ефрема, 92), «убогъ в своей стране ненавидим ходить» («Моление Даниила Заточника», 390), «о, богатый... прииде убогий... его же ты приобиде... Да лутче бы тебе, беззакониче, престати отъ насилія худыхъ и отъ грабление убогихъ» («Слово о богатых и немилостивых» Иоанна Златоуста, 77), «аще убогий приидеть къ тебе, ты же овогда даси ему укрукъ хлеба... да аще ли и даси когда, а боле поносиши» («Слово о слепце» Иоанна Златоуста, 219). Конкретных случаев, поименно упоминалось также немало — о нищем, о чьей «одежи худеи мнози несъмысленни ругахуся ему, укаряюще его» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 98.1), о богаче, который «никогда не подаде единое цять убогому, ниже хлеба» («Киево-Печерский патерик», 510) и т. д.

«Вопль нищих («Слово о лихоимании и пьянстве» в «Измарагде» редко слышали богатые»⁷. Идеологу, публицисту не давали бы покоя подобные расхождения, сосуществование противоречивых выводов о действительности, преобладание отрицательного над положительным. Писатели же приходили то к одному, то к другому представлению (или идее) и не пытались прийти к единому мнению об окружающей реальности. То были пестрые умонастроения.

Очень высока была степень их несвязанности и потому — противоречивости. Так, из высказываний о «рабах» следовало, что к рабам писатели относились и хорошо и плохо: «Твердо разумеш... еже николи же людина обидети» («Наказание богатым», 201); «зане князь щедр отець есть слугамъ многимъ» («Моление Даниила Заточника», 392) — и одновременно: «Зде рабы нагы и ранены ходять», «многашьды же 1

⁷ Адрианова-Перетц В. П. Человек в учительной литературе Древней Руси // ТОДРЛ, т. 27, с. 19.

биеми суть от приставьникъ» («Слово о богатых и немилостивых» Иоанна Златоуста, 77; «Житие Феодосия Печерского» Нестора, 107.1). К смердам относились хорошо и одновременно плохо: «Не дайте пакости деяти... ни в селехъ, ни в житехъ» («Поучение» Владимира Мономаха, 237), «а не губите своихъ смърдь» («Новгородская первая летопись», 240); но: «Не блюдетъ смърдь» («Новгородская первая летопись», 24), «оже лошадей жалуете, ею же кто ореть, а сего чему не промыслите, оже то начнетъ орати смърдь... то лошади жаль, а самого не жаль ли?» («Повесть временных лет», 267).

Низы послушны верхам и одновременно непослушны: «Киждо бо раб своего господина хвалит» («О сказании евангельском» Кирилла Туровского, 409), «сыну, господина своего чти... еже ти речеть, то твори» («Повесть об Акире Премудром», 256); но: «Сыну, не рци, яко мой осподин безуменъ есть, азъ уменъ есть», «не купи раба величава, ни рабы тативы, да те имения не расточать» («Повесть об Акире Премудром», 250), раб «аще ли отъ дель ослабеетъ, а искати начнетъ свободы, мнози бо злобе научаетъ...», такие рабы «крадутъ и разбиваютъ» («Слово, како достоит имети челядь» Иоанна Златоуста, 96—97), или совсем худшее: «То суть неистовии, иже приемше отъ князя или отъ господина своего честь ли дары, ти мыслять о главе князя своего на погубленье» («Повесть временных лет», 75); писателями нередко упоминались — как характерная черта городских низов — «к власти обида зла», «молва», «мятежь» («Повесть о белоризце» Кирилла Туровского, 349), неоднократно выражавшиеся, например, в том, что «простая чадь... злии человеци почаша добрыхъ людии дома зажигати... и тако разграбливахуть имение ихъ» («Новгородская первая летопись», 70—71). Делались и такие решительные выводы: «Не мощно убогу съ богатымъ дружбу держати, яко же волку съ агнцемъ» («Слово о желании богатства», 107).

Писатели XI—XII вв. не замечали подобной противоречивости, и только один мыслитель ее почувствовал — Владимир Мономах. В своем «Поучении» он, конечно, не дал изложения цельной программы действий, но по его высказываниям (о богатстве, о нищих и пр.) видно, что этот энергичнейший и дальновидный князь искал золотую середину буквально во всем: «со всех страниц Поучения веет духом умеренного реформаторства»⁸, «добросовестной умеренности и аккуратности»⁹. Да, есть имущие и неимущие, но пусть тогда имущий имеет поменьше: «Луче есть праведнику малое, паче богатства грешныхъ многа» (233); и пусть обладает имуществом не так уж вечно: «Се все, что ны еси вдаль, не наше, но твое, поручилъ ны еси на мало дний» (237); и пусть богатый

⁸ Будовниц И. У. Общественно-политическая жизнь Древней Руси: (XI—XIV вв.). М., 1960, с. 140.

⁹ Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки, 2-е изд. М.; Л., 1966, с. 128.

не будет весь поглощен борьбой за богатство: «Лишаемъ — не мести» (234—235); только кроткие станут действительно имущими: «Терпящи же Господа, ти обладають землею. Кротции же наследять землю, насладяться на множестве мира» (233). Верно определено: «Владимир Мономах... вынужден несколько умерить аппетиты „славы хотящих и богатством ненасыщающихся“»¹⁰.

И в богоугодных делах Владимир Мономах предлагал отказаться от деяний «тяжких», иступленных, чрезмерных, а заниматься делом «малым», умеренным, посильным: «Не бо суть тяжка: ни одиночество, ни чернечество, ни голодь, яко инии добрии терпятъ, но малымъ деломъ уллучити милость Божью» (235); надо помогать беднякам и нищим, но опять-таки в меру: «Всего же паче убогихъ не забывайте, но елико могуще по силе кормите» (236). Поэтому и себе Владимир Мономах ставил в заслугу социальную деятельность, так сказать, среднюю по результатам — не то чтобы облагодетельствовал милостями, но защитил хотя бы от притеснений: «Тоже и худаго смерда и убогие вдовице не даль есмь сильнымъ обидети» (242). Даже на собственное «Поучение» Владимир Мономах распространил эту программу реально достижимой половинчатости деяний: «Послушайте мене, аще не всего примете, то половину» (236).

«В основе социальных взглядов Мономаха лежит та же теория общественного примирения, которая подробно разработана в «Изборнике Святослава» 1076 г.»; «теория общественного примирения не изобретена в 70-х годах XI в., она существовала и раньше»¹¹. Однако наиболее явственно и полно в едином авторском произведении подобные мысли были высказаны только Мономахом. Другие древнерусские писатели XI—XII вв. так и не стали сторонниками идеи социальной умеренности: «Мономахова идеология не захватила их в орбиту своего влияния»¹²; социально-имущественные представления их не приблизились по своему статусу к системе отчетливых, крупных и непротиворечивых социальных идей, но остались в пределах неопределившегося социального мироощущения, несвязавшихся умонастроений.

Почему же социально-имущественные представления древнерусских писателей XI—XII вв. не сформировались в цельную систему? Наш ответ сугубо предварителен. Думается, помешало быстро наступившее феодальное раздробление Руси: «Древнерусское государство подобно другим раннесредневековым государствам было недолговечно»¹³. Раздробленность политическая, государственная, хозяйственная вела к дробности и разнородности идейной, эстетической, литературной, жанровой и т. д.: «Вместе с раздроблением страны мельчает и общественная

¹⁰ Греков Б. Д. Указ соч., с. 119.

¹¹ Будовниц И. У. Указ. соч., с. 136, 124.

¹² Романов Б. А. Указ. соч., с. 149.

¹³ Греков Б. Д. Указ. соч., с. 505.

мысль»¹⁴. Недаром все литературные произведения, явно выпадавшие из системы жанров XI—XII вв., появились на Руси именно в период наступления феодальной раздробленности — «Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть временных лет», «Повесть об ослеплении Василька Теребовльского», «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника» и др.: «Это типично именно для этого времени. В последующее время, в XIV—XV вв., литературные произведения легче укладываются в установившиеся жанры»¹⁵.

Но нельзя не признать относительно цельным явлением стиль монументального историзма (по терминологии Д. С. Лихачева) в литературе XI—XII вв. Все дело в том, что для возникновения литературного стиля или отдельных общественных настроений нужно меньше времени, чем для формирования идеологической системы. Стиль монументального историзма возник в древнерусской литературе, по-видимому, до явственного развития феодальной раздробленности, которая затем и мешала ему менее роковым образом; а вот сумма социально-имущественных умонастроений «не успела» кристаллизироваться в целое до феодального раздробления Руси.

2. XIII—XIV ВВ.

Социально-имущественные умонастроения, конечно, не исчезли у писателей XIII—XIV вв., но, пожалуй, сделали шаг назад в своем развитии. Прежде всего, уменьшилась даже та слабая степень социальной содержательности высказываний, которая существовала в XI—XII вв.; писатели XIII—XIV вв. растерянно характеризовали состояние общества как сплошные нападения одних людей на других, без деления на социальные лагеря: «Жадаемъ и не престанем, абы всехъ погубити» («Поучение третье» Серапиона Владимирского, 9)¹; «и ничто же несть

¹⁴ Будовниц И. У. Указ. соч., с. 22.

¹⁵ Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 56—57.

¹ Цитируемые произведения: «Галицко-Волынская летопись» — ПСРЛ, т. 2; «Житие Александра Невского» — Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века «Слово о гибели Русской земли». М.; Л., 1965; «Житие Петра Московского» — Макарий. История русской церкви. СПб., 1866, т. 4, кн. 1; «Наказание князем, иже дают волость и суд небогобойным и лукавым мужем» — Мерило праведное по рукописи XIV века. М., 1961. Указываются листы рукописи; «Наказание» тверского епископа Семена — «Изборник»: (Сборник произведений литературы Древней Руси) / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М., 1969; «Новгородская первая летопись» — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950; «От шестоденца избрано о животех» — Дурново Н. Н. К истории сказаний о животных в старинной русской литературе. М., 1901; «Паримейник» 1313 г. — Покровский А. А. Древнее псковско-новгородское письменное наследие. М., 1916;

известо в человецехъ, но вся сут стропотна суть» («Слово о мятежи житиа сего» Ефрема, 481); «издвоишася людие... и створиша супоръ», «оканнии человеци... ни жалобы имеюще», «и много пакости бысть людемъ», «и бысть мятежь силенъ... много же и невиноватых людии погибло тогда» («Новгородская первая летопись», 310, 334, 347, 353, 355, 365 и пр.). Выразительная формулировка найдена в «Никоновской летописи» под 1367 г.; летопись поздняя, но изложение соответствует обстановке XIV в.: «...цари, и князи, и бояре, и велможи, и гости, и купцы, и ремесвеницы, и работнии людие... забывшеся, друг на друга враждуют, и ненавидят, и грызут, и кусают»², — все на всех. Для подведения итогов и для предсказаний на будущее использовались и переводные повести: «Прииде время то злое от вѣстока до запада, и по всемъ градомъ зло много будет и мятежь въ всехъ человецех... и вси велможи будут крамолници, которници» («Сказание о двенадцати снах царя Шахаиши», 5).

Писатели видели вокруг себя только борьбу за «имения», мздоимство, грабежи; выводы следовали однотипные: «Несытовство именье поработи ны... жадаемъ... горкое то именье и кровавое к себе пограбити... Того добывше, другаго желаемъ» («Поучение третье» Серапиона Владимирского, 9); «имения не насыщашася... крадут и разбивают, а имение хоцют собрати» («Слово о мятежи житиа сего» Ефрема, 481—482); «насилъемъ немощнейшая пожираемъ, онъ будеть отяль убогому именье, а ты того и с темъ къ своему имению приложиши... Урубляемъ землю и совкупляемъ к дому, да от ближняго уимемъ» («От шестоденца избрано о животех», 9—10; ср. «Шестоднев» Иоанна Экзарха по списку 1263 г., 167.1); «в то же время злое князи, и бояре, и старци, и ратаи и вси люди купци будут... вси человеци купци будут — богатии и убозии, — лжею, и клятвою, и лестию стяжут богатство много... Егда приидеть время то злое, все людие будут скупии... сверепии мздоимци» («Сказание

«Повесть временных лет» — Летопись по Лаврентиевскому списку; «поучения» Серапиона Владимирского — *Петухов Е.* Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. СПб., 1888. Прибавление; «Псковская первая летопись» — Псковские летописи / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1941, вып. 1; «Рогожский летописец» — ПСРЛ, т. 15, вып. 1 / Изд. подгот. Н. П. Лихачев; «Сказание о двенадцати снах царя Шахаиши» — *Веселовский А. Н.* Слово о двенадцати снах Шахаиши: По рукописи XV века // СОРЯС. СПб., 1879, т. 20, № 2; «Сказание о Соломоне и Китоврасе» — ПЛДР, т. 4 / Тексты памятника подгот. Г. М. Прохоров; «Сказание об Индийском царстве», Волоколамский список — *Истрин В. М.* Сказание об Индийском царстве. М., 1893; «Сказание об Индийском царстве», Кирилло-Белозерский список — «Изборник»: (Сборник произведений литературы Древней Руси) / Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров. М., 1969; «Слово о мятежи житиа сего» Ефрема — Новые поучения Серапиона, епископа владимирского (XIII века) // Православный собеседник, издаваемый при Казанской духовной академии, 1858, ч. 2; «Шестоднев» Иоанна Экзарха — Шестоднев.

² См.: *Будовниц И. У.* Общественно-политическая жизнь Древней Руси: (XI—XIV вв.). М., 1960, с. 420.

о двенадцати снах царя Шахаиши», 5, 8, 9; слово «купци» употреблено в значении «алчные покупатели», ср.: «Наказание князем, иже дают волюсть и суд небогобойным и лукавым мужем», 63). Только в отдаленной, социально абстрактной, фантастической стране не было ни грабежей, ни лихоимства, «ни татя, ни разбоиника, ни завидлива человека» («Сказание об Индийском царстве», Кирилло-Белозерский список, 362).

Да и сами писатели прониклись узкоимущественными интересами. Серапион Владимирский горько сожалел: «Богатство наше инемь в користь бысть» («Поучение третье», 8); тут имелось в виду не только поражение и пленение, а и судьба богатства как такового. Писатели XIII—XIV вв. ценили богатство, «имение» уже само по себе, вне социального деления общества. Рассуждения о вторичности богатства перед оружием («сребромъ и златомъ не имамъ налести дружины, а дружиною налезу сребро и злато» — «Повесть временных лет», 123) исчезли. Писатели XIII—XIV вв. только и делали, что оценивали, перечисляли, пересчитывали отнятые, или сохранившиеся, или раздаваемые богатства, притом с подробностью, ранее не виданной: держали на учете «все золото, и серебро, и камене дорогое, и поясы золотыи... и блюда великаа сребрянаа, и кубькы золотые и серебряные... гривны и мониста великия золотая...» («Галицко-Волынская летопись», 914); детально описывали, например, наряд князя: «Бе бо конь под нимь дивлению подобенъ и седло от злата жъжена; и стрелы и сабля златомъ украшена, иными хитростыми, яко же дивитися; кожуюъ же оловира грецького; и круживы златыми полосками ошитъ; и сапозы зеленого хъза шити золотомъ...» (там же, 814). Оттого в XIII—XIV вв. пришлось ко двору «Сказание об Индийском царстве», загроможденное перечислениями фантастических богатств индийского царя.

Самым важным считалось, пожалуй, не столько общественное положение и «слава» человека, сколько то, чем он обладает материально: можно только посочувствовать «убогымъ людемь, у кого то книи нетуть» («Галицко-Волынская летопись», 914); зато о ремесленниках уже нельзя не отозваться уважительно: ведь они — «седелници, и лучници, и тульници, и кузнице железу, и меди, и сребру» (там же, 843), ведь «многым ремесвеником принесоша дела своя людие дающе делати... златом, и сребром, и медию, и порты» («Сказание о двенадцати снах царя Шахаиши», 8).

Симптомом значительного ослабления социального чувства писателей XIII—XIV вв. служило то, что разница между богатыми и бедными ощущалась не такой уж резкой. Конечно, деление на богатых и бедных сохранялось, никто его не отрицал; и все-таки не совсем привычные нотки стали звучать в высказываниях авторов. Они с удовлетворением объявляли об огромных милостынях нищим: то один князь «розда убогымъ имение свое... и розъсла милостыню по всеи земли» («Галицко-Волынская летопись», 914), то «друзии же в миру... имение свое отдаю-

ще въ милостыню... нищим, маломощным, убогим, кормяще и напаяюще и милостынею учрежающе» («Псковская первая летопись», 21). «Именья» из-за грабежей и насилия все время переходили из рук в руки, меняя и как бы уравнивая владельцев. Ведь это было «время татарского разорения с характерным для эпохи социальных потрясений перераспределением богатств и ценностей»³; отсюда ощущение бесконечности имущественных перемен: «...иному землю изхвати, а инъ имение отъят; и того село слышавше, а домъ иного ныне есть» («Слово о мятежи житиа сего» Ефрема, 481).

Богатый и убогий уже даже ходили друг на друга, становились взаимозаменяемы в ядовитой поговорке-приписке дьяка Кузьмы Поповича в «Паримейнике» 1313 г.: «Богъ дай съдоровие къ сему богатю: что кунъ, то все въ калите: что пѣртъ, то все на себе; удавися, убожие, смотря на мене» (61). Это упоминаемое богатство походит на бедность («что пѣртъ, то все на себе»): ведь именно бедняк имел только ту одежду, что на нем. Ср. высказывание о бедняке в «Повести временных лет»: «Аще ли есть неимовтъ... яко да и порты, в нихъ же ходить, да и то с него сняти» (51). И наоборот: «убожие», упомянутое далее в приписке, своей завистью к кунам и порткам как раз больше было похоже на человека «имовитого». Отмечалось и прямое равенство богатых и убогих — в реквиеме «Псковской первой летописи» под 1352 г. — правда, равенство перед смертью: «...внидыше... въ богатии или въ простыя люди, сиреч и до убогих, болезнь люта... Санъ светлостью не умолена бывает смерть: на всех вынизает многоядныя своя зубы» (22).

Ближе к XIV в. социальное стало сильнее замещаться церковным. Так, в летописном повествовании социальные обозначения людей нередко заменялись церковно-психологическими обозначениями. «Новгородская первая летопись» чаще говорила о столкновениях не богатых верхов и бедных низов общества, а о столкновениях добрых, богобоязненных людей со злыми, небогобоязненными людьми: «...добрии люди уяша, а злеи человеци падоша на грабежи... все разграбиша, Бога не боящяся»; подобные высказывания повторялись многократно: «А злеи человеци недобрии, Бога не боящяся... падоша на грабежи, пограбиша чюжая имениа... А оканьнии человеци, тако же Бога не помнящи, ни суда Божиа, ни жалобы имеюще, пограбиша чюжая имениа»; «почале бяху грабити недобрии людие села и дворы в городе и клетки на городе»; «злии человеци разграбиша, иже Бога не боятся, ни чають въскресения мертвымъ, ни суда Божиа, ни въздания по деломъ»; «и много пакости бысть людемъ и убытка от лихых людии, иже Бога не боятся» и т. д. и т. п. (329, 334—336, 351, 355).

В литературе XIII—XIV вв. оцерковились и перечни общественных слоев — церковники и нищие заместили всех прочих или преобладали в перечнях: «И раздая именье свое не токмо нищимъ, но иереом,

³ Будовниц И. У. Указ. соч., с. 324.

черноризцемъ, черноризицамъ, всемъ церковникомъ и домочадцамъ» («Житие Петра Московского», 311); «иереи, и диаконы, черноризцы, нищии, и богатии, и вси людии» («Житие Александра Невского», 178); «игумени, прозвитери, черньци, и нищии, и убозии, и всякъ возрастъ — мужи, и жены, и дети, и младеньци» («Рогожский летописец», 144). И вот чем хвалился индийский царь в «Сказании об Индийском царстве»: «А обедаютъ со мною на трапезе по вся дни 12 патриархов, 10 цареи, 12 митрополитов, 45 протопопов, 300 попов, 100 диаконов, 50 певцев, 900 крилосников, 365 игуменов, 300 князей; а во зборной моей церкви служить 300 игуменов да 65, да 50 попов, да 30 диконов, и обедаютъ со мною» (366), то есть сидят за царским столом в основном только церковники, вплоть до довольно мелких.

Происходило дальнейшее, и почти полное, замещение общерусского местным; в произведениях XIII—XIV вв. уже только в редчайших случаях можно встретить обобщающие замечания о том, какому социальному слою что «достоит», как, скажем, в «Галицко-Волынской летописи»: «Увиша ѿ оксамитомъ со круживомъ, яко же достоить цесаремъ» (918). Собственно социальная мысль писателей кружила в узких местных пределах: «политический горизонт замыкается феодальной околицей»⁴. Если рассказывалось, например, о князьях или о нищих, то имелись в виду именно местные, областные князья и местные городские нищие.

Художественным сужением социально-географического горизонта отличалось «Сказание об Индийском царстве». Все Индийское царство представлялось жестко ограниченным: граница с одной стороны — «тамо соткнуся небо з землею» (362), другая граница — море, «того же моря не преходить никаков человек ни кораблем, ни которым промыслом. И за тем морем не ведает никаков человек, есть ли тамо люди, нет ли» (364); еще одна граница — «горы высоки и толсты, не лзе на них человеку зрети» (364). Создавалось ощущение не простора, а подавляющей утесненности этого царства: идти по нему, казалось бы, многие версты, да все забито гигантскими существами, гигантскими птицами на гигантских гнездах («гнездо на 15 дубов» — 362), колоссальными песчаными валами, громадными каменными реками, к тому же непроходимому «пылаеть огонь по многым местом» (364).

Если отвлечься от гиперболических цифр и определений, то реальный социальный кругозор «Сказания об Индийском царстве» придется свести к городку или царскому «двору»; двор, палаты, процессии, обеды — вот о чем рассказывал индийский царь: «Двор у мене имею таков... А во дворе моем...» (366, 368) Из социальных тем затрагивались лишь хозяйственно-семейные — о детях и женах, их обыденных занятиях: «Люди же тоя земли... кормяць свои дети сырыми рыбами, и понируютъ в реку... ищуть камения драгаго. За тою рекою... живутъ черви... и те черви точать

⁴ Будовниц И. У. Указ. соч., с. 375.

ис себе нити... и в техъ нитех наши жены делаютъ нам порты, и те порты, коли ся изрудятъ, водою их не мыють...» и т. п. (364). В другом списке «Сказания» (не Кирилло-Белозерском, а Волоколамском) индийский царь советовал греческому царю: «Продай же землю свою греческую всу да приди ко мне сам, послужиши мне» (71), — как будто речь шла о продаже земельного поместья, а не государства.

«Сказание об Индийском царстве» считается переводным произведением, но веет от него русским областническим, удельным духом. Оно вписывается в процесс ослабления и сужения социального мироощущения на Руси XIII—XIV вв.

Далее. Усилилась бессистемность социально-имущественных представлений — настолько противоречивыми по содержанию стали высказывания даже у одних и тех же авторов. Например, вечный вопрос о помощи нищим и убогим, вдовам и сиротам теперь получил двоящееся разрешение: с одной стороны, писатели постоянно поощряли за такую помощь, а с другой стороны, они же вопияли о ее отсутствии. Серапион Владимирский поучал: «Милостыню к нищим по силе створим», но одновременно не надеялся на эту милость: «Несытовъство именье... не дасть миловати ны сиротъ» («Поучение второе», 6; «Поучение третье», 9). Чем отчаянней писатели призывали помнить о нищих и сиротах, тем жестче те же писатели и отзывались: «Мы же обидимъ еще сирот и вдовам насилуемъ и убогихъ отъимаемъ» («Слово о мятежи житиа сего» Ефрема, 483); «когда придет година та злая, богатии поперут убогыя» («Сказание о двенадцати снах царя Шахайши», 9). Помощь и насилие представляли как два равносильных отношения к убогим, вдовам и сиротам. Не даром в своем «Наказании» тверской епископ Семен употребил следующую фразу: «Будуть ли князь... сирот не милуетъ и вдовицам не печалуетъ...» (376), — то есть князь может миловать, а может и не миловать, то и другое одинаково возможно. Похожий смысл имело обращение вдовицы в апокрифическом «Сказании о Соломоне и Китоврасе»: «Господине, вдовица есмь убога. Не оскорби мя!» (68), — ожидать можно всякого, господин может «оскорбить» или не «оскорбить» вдовицу.

Подобная двойственность встречалась на каждом шагу. Например, проповедовалась верность слуги господину: «Отца бо оставити человекъ может, а добра господина не мощно оставити: аще бы лзе, и въ гробъ бы лезлъ с ним!» («Житие Александра Невского», 178). Но с той же вероятностью допускалась противоположная возможность: слуга или подданный «мыслить зло на своего господаря» («Сказание об Индийском царстве», Кирилло-Белозерский список, 368). Неискренность и корыстная хитрость отмечались уже как вполне допустимое обыкновение: «А богатым и бо всякъ ся тщится послужити и въ животе и при смерти, да наследует что от имениа их» («Псковская первая летопись», 22); «и аще видять кого багата или въ власти, к темъ присваивають ся

и дарове имъ приносят гортани ради своего» («Сказание о двенадцати снах царя Шахаиши», 6). Все зыбко...

В XIII—XIV вв. социально-имущественные умонастроения писателей стали деформироваться и расплываться в своих важнейших основаниях.

3. XV В.

Казалось бы, что нового можно вычитать из текста хорошо известного древнерусского памятника, составленного не ранее 1380 г., из «Задонщины», со всей ее подражательностью «Слову о полку Игореве», с ее фанфарно-патриотическим духом и вместе с тем довольно сильной невразумительностью текста? Однако целый ряд деталей противоречит сложившемуся мнению о «Задонщине» как о памятнике художественно неинтересном и заставляет внимательней вчитаться в авторский текст, пусть реконструированный, но все же дающий возможность охарактеризовать подлинное, неофициальное и нерекламируемое мировосприятие автора «Задонщины» — имеем в виду хозяйственно-имущественные литературные мотивы в этом произведении.

Прежде всего автор высказался о «богатстве». Уже в самом начале «Задонщины» высокий рыцарственный тон несколько снижает фразу: «Князи, и бояря, и удалые люди, иже оставиша вся дома своя и богатество, жены и дети и скот, честь и славу мира сего получивши, главы своя положиша за землю за Русскую и за веру христианскую» (цитируем список Ундольского, 535)¹. Все детали и все выражения здесь

¹ Цитируемые произведения: «Библия» — Библия. Острог, 1581. Указываются листы издания; «Галицко-Волынская летопись» — ПСРЛ, т. 2; «Задонщина» — «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Тексты «Задонщины» подгот. Р. П. Дмитриева. М.; Л., 1966; «История Иудейской войны» Иосифа Флавия — *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958; «О побоище, иже на Дону» — Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Л., 1982; «Повесть временных лет» — Летопись по Лаврентиевскому списку; «Поучение» Владимира Мономаха — Летопись по Лаврентиевскому списку; «Сказание о Мамаевом побоище», Печатный вариант Основной редакции — Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Чуркина. Л., 1982; «Слово о всех святых» Иоанна Златоуста — Успенский сборник; «Слово о погибели Русской земли» — *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы XIII века: Слово о погибели Русской земли. М.; Л., 1965; «Слово о полку Игореве» — Слово о полку Игореве / Изд. подгот. А. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967; «Софийская первая летопись» — ПСРЛ, т. 5; «Суздальская летопись» — Летопись по Лаврентиевскому списку; «Тверская летопись» — ПСРЛ, т. 15, вып. 2; «Хроника» Георгия Амартола — *Истрин В. М.* Книги временныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920, т. 1.

традиционны, их во множестве можно найти в летописании, особенно в статьях на воинские темы, да и в иных памятниках. Но совершенно необычен порядок изложения: на первое место вынесена мысль, почти что сожаление, о потере домов и богатств, а потом уж о чести и славе. Не означало ли это, что для автора «Задонщины» на первом месте стояло материальное богатство, а на втором — честь, что богатство для автора «Задонщины» значило очень и очень много? Конечно, можно предположить здесь порчу авторского текста — в данном списке или изводе, или же неудачливость композиции, допущенную автором невольно. Но тем не менее подозрение в «меркантильности» на автора «Задонщины» все же ложится.

Свидетельства действительно хозяйственной настроенности автора «Задонщины» содержат следующие далее в тексте любопытные упоминания полей и вотчины. Князю Дмитрию Донскому жалуется его брат: «Уже бо поганые (на) поля русские наступают и вотчину отнимают» (снова цитируем список Ундольского, 537). Эта фраза, несомненно, входила в авторский текст, ибо ее повторяют дошедшие списки обоих изводов «Задонщины» — например, в Музейном первом списке того же извода Ундольского стоит: татары «поля наступают, отнимают отчину нашу» (543), в Кирилло-Белозерском списке, хотя и другого Синодального извода, сказано сходно: «татарове на поля на наши наступают, а вотчину нашу у нас отнимают» (548—549).

Словосочетание «поля наступают» (или «на поля наступают») не встречалось в других памятниках и, вероятно, было навеяно «Словом о полку Игореве»: «Наступи на землю Половецкую». Но «Слово» обозначило победоносное наступление ногами: «Наступи... притопта... взмути...» (50). В «Задонщине» же смысл фразы изменился, и говорилось о занимаии полей как территории, о захвате чужого владения. Автор смотрел на поля, так сказать, с землевладельческой точки зрения.

Это же словосочетание автор повторил еще раз, в совсем другом месте «Задонщины»: «Уже бо поганые татары поля наступают» (539. Сходно в списках обоих изводов — 544, 546, 549, 555). Поля представляли местом сражений, но одновременно и средой обитания: в них кони «бродят», — так продолжена фраза о наступлении на поля.

Немного далее в «Задонщине» слово «поля» (во множественном числе) употреблялось еще дважды, притом в одной фразе: «И все великое войско широкие поля кликом огородиша... а трупми татарскими поля насеяша» (539. Фраза принадлежала автору и однотипно отразилась в списках обоих изводов — 544, 547, 549). Сначала кажется, что автор «Задонщины» полностью шел за «Словом о полку Игореве». Однако словосочетание «поля насеяша» специфически «задонщинское». В «Слове» говорилось о земле, а не о поле: «Чръна земля... была посеяна» (48), о засеянных полях в «Слове» не упоминалось нигде. Упоминание засеянных полей — это особенность «Задонщины». Ее автор исто-

дил из представления, скрытого, неразвернутого, о сельскохозяйственной освоенности полей — на его основе он построил метафору.

Правда, другое словосочетание — «поля огородиша» — почти совпало со «Словом». В «Слове о полку Игореве»: «поля прегородиша... преградиша» (47); в «Задонщине»: «поля огородиша» (в Кирилло-Белозерском списке: «поля перегороди», 550). И все-таки формы «прегородить» и «огородить» различались не просто морфологически, а семантически. «Слово» указывало на преграды — для продвижения войска в полях. «Задонщина» же указывала на ограды: автор, хоть и неясно, представлял поля огороженными, как бы хозяйственно поделенными — вот на чем основывалась его метафора.

Четыре примера (других нет) позволяют сделать вывод, что автор, пусть неотчетливо, представлял «поля» (во множественном числе) как территорию, принадлежащую кому-то, огороженную и засеянную, ставшую хозяйственным объектом. В «Слове о полку Игореве» же поля представляли только местом походов: через поля рыскали, через поля неслись, их меряли мыслью, чтобы быстро пересечь, их прикрывала пыль, поднятая мчавшимися войсками (44, 46, 47, 55). Автор же «Задонщины» стал мерять поля не столько военной, сколько хозяйственной мыслью.

Слово «поле» (в единственном числе) в «Задонщине» означало место битвы, это традиционно, но однажды и в него проник новый смысл. Говоря о перипетиях сражения, автор выразился так: «И в то время по Рязанской земле около Дону ни ратаи, ни пастухи в поле не кличут... трава кровию пролита бысть, а дрeвеса тугою к земли приклонишася» (538. Текст аналогичен в списках обоих изводов). Соответствующие выражения были собраны из «Слова о полку Игореве»: «Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть... чръна земля... кровию поляна... Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось» (48—49). Но в соответственном отрывке «Слова» речь шла не о поле, а о Русской земле, слово «поле» здесь даже не употреблялось. Автор же «Задонщины» мыслил менее масштабно, но более хозяйственно, — категорией поля, в котором растут трава и «древеса», в котором трудятся ратаи, а сверх того находятся и пастухи, вовсе не упоминаемые «Словом». Приземленность настроения автора «Задонщины» проявилась явственно.

Во фразе «Ужо бо поганые поля руские наступают и вотчину отнимают» (537) автор «Задонщины» употребил и слово «вотчина» в своеобразном, хозяйственном значении: подобно тому, как слова «наступают» и «отнимают» выступили в роли синонимов, так и слова «поля» и «вотчина» связались как близкие по смыслу, то есть слово «вотчина» автор приравнял к хозяйственным «полям». В памятниках XII—XIV вв., и в литературных, и даже в деловых, слово «отчина» понималось иначе — соответствующие приравнивания были политическими. «Отчина» означала город, принадлежащий князю: «Княжащу ему въ отъчине своей, во Тфери», «въ Суздаль, въ свою отчину» («Софийская первая летопись»,

под 1319 и 1362 гг., 207, 229), «на Москву, въ свою отчину» («О побоище, иже на Дону», краткая повесть, 15) и т.д. «Отчина» означала и княжество, страну, землю: «свою отчину и великое свое княжение» («О побоище, иже на Дону», пространная повесть, 18), «въ свою отчину, въ землю Залесскую» («Тверская летопись» под 1380 г., 440), «расудивъ имъ кождо в свою отчину, и приежаша съ честью на свою землю» («Суздальская летопись» под 1244 г., 447). «Задонщина» же во фразе о вотчине, сохраняя, быть может, старый, политический оттенок слова (отчина-страна), выдвинула на первый план новый оттенок хозяйственный (отчина-поля).

Кстати говоря, еще одно приравнивание вотчины к полям замечается в Синодальном списке «Задонщины», где употреблена фраза: «Замкни отчин ворота» (554). Сразу вспоминается «Слово о полку Игореве»: «Загородите полю ворота» (53). В Синодальном списке «Задонщины» слово «поле» заменено на слово «отчины» как синоним.

Выражение «вотчину отнимают» также указывало не столько на политические, сколько на имущественные отношения сторон. Другие памятники при упоминании отчины делали акцент как раз на отношениях военно-государственных: «боронити своя отчины», «вотчина... въ полону будеть», «искаше подъ ними отчины ихъ» и пр. («Софийская первая летопись» под 1347, 1319, 1139 г., 226, 210, 158). Автор же «Задонщины» больше склонялся к тем имущественным представлениям о «вотчине», какие выражались в хозяйственной документалистике (ср. формулу «давать вотчину» в грамотах и письмах)².

Этот хозяйственный оттенок — об отнимаемой «вотчине» — получился не соответствующим исторической действительности. Мамай вовсе не стремился присвоить именно «вотчину», именно поля. Действительные цели Мамай являлись военно-политическими, что сформулировала, например, краткая летописная повесть «О побоище, иже на Дону»: Мамай «хотя пленити землю Русскую» (14). Да и сама «Задонщина» в начале подтверждала: татары «хотят пройти всю Рускую землю» (537, ср. 552)³. Но затем автор «Задонщины» вдруг испытал вотчинно-владельческое беспокойство — «наступают... отнимают» — опять проявив именно хозяйственную настроенность. «Домы и богатства», земельные владения и обработанные поля — вот что занимало автора «Задонщины», наряду с воинско-героической темой.

Конец «Задонщины» дарит еще одну драгоценную хозяйственную деталь. Автор перечислил трофеи: русское войско захватило «татарская узорочья, доспехи, и кони, волю, и велблуды, вино, сахарь, дорогое узорочье, камкы, насыचेва» (545. Цитируем Музейский список). Подобный перечень был традиционен, включая упоминание и такого экзотиче-

² Примеры см.: *Срезневский*, т. 1, с. 308; т. 2, с. 831.

³ О целях Мамай см., например: *Черепнин Л. В.* Образование русского централизованного государства в XIV—XV вв.: Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960, с. 106—603.

ского трофея, как верблюды. Аналогичный состав трофеев перечислялся во многих памятниках, в том числе в летописной повести «О побоище, иже на Дону»: «многа стада кони, и вельблуды, и волы... и доспех, и порты, и товаръ» (15, ср. 23), в «Повести временных лет» под 1103 г.: «скоты, и овце. и коне, и вельблуды, и веже с добыткомъ и с челядью» (269), под 1095 г.: «скоты, и коне, вельблуды, и челядь» (221), в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия: «Скот же, и кони, и вельблуды, и ослы» (343), в Библии: «на скоты... и на коня, и на ослы, и на вельблуды, и на говяда, и на овца» («Библия», 28 об. 2. Исход, гл. 9. Ср. 138.2, 254.2 и др. Первая книга Царств, гл. 27; Иудифь, гл. 2).

Индивидуальным для «Задонщины», притом для авторского текста, было упоминание сахара. Этот элемент налицо в изводе Ундольского, а в Синодальном изводе он, скорее всего, присутствовал тоже: хотя в дошедших списках Синодального извода текст дефектен в силу разных причин (в Кирилло-Белозерском списке нет всего этого перечня, а в Синодальном списке сахар не упомянут), но сахар все-таки из «Задонщины» именно Синодального извода отразился в соответствующем перечне в «Сказании о Мамаевом побоище», в списках Печатного варианта Основной редакции «Сказания»⁴: «коней, и волы, и вельблуды, меды, и вина, и сахары» (126).

Но сахар был непривычен и даже неведом для древнерусского быта того времени⁵, и в авторском тексте «Задонщины» он мог появиться в результате воздействия Библии, где в Первой книге Паралипоменон, гл. 12, говорилось о пропитании войска Давида: «Но иже близъ бяху до Исахара, и Заулона, и Нефалима принесоша имъ хлебы на осলেখъ, и вельбудехъ, и мскахъ, и волехъ на ядение, муку, перевясла, смокви, и гроздие сухое, вино, и елеи, и волы, и овны» (191 об. 1). Каким-то образом географическое название «Исахар» исказилось в «сахар», редкостный, привозной продукт, который вместе с другой экзотикой проник в «Задонщину». Для хозяйственно настроенного автора «Задонщины» такая ассоциация была вполне естественна.

Упоминания сахара и других трофеев в данном месте «Задонщины» отличаются «домашним» оттенком: они завершаются добавлением, будто взятые трофеи «руския сынове... везут женам своим». В прочих произведениях трофеи обычно везли в свою землю или в свой город, но не специально женам — внезапному объекту забот как раз автора «Задонщины».

⁴ См.: Дмитриев Л. А. Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966, с. 431—434.

⁵ См., например: Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988, с. 218, 238.

Тут припоминаются промелькнувшие раньше в «Задонщине» странные слова, вложенные в уста князя Дмитрия Донского, которые он произнес в разгар битвы, в ответственный момент: «Братия... то ти ваши московские слаткие меды и великие места. Туто добудете себе места и своим женам» (539. Ср. 544, 547, 555)⁶. В отличие от рыцарственного «Слова о полку Игореве» герои «Задонщины» в запале сражения не только не забывают своих «хотей», но, не стесняясь меркантильности, надеются заполучить сласти и «места» для своих жен. Хозяйственно настроенный автор «Задонщины» вовсе не чуждался подобных соображений даже в самые патетические моменты. Круг замкнулся — «домы», «богатства», вотчины, обработанные поля и обеспеченные жены — вот солидные хозяйственные мотивы, «подстилающие» все высокое воинское повествование в «Задонщине».

После всего сказанного раскрываются глаза и на главную, воинскую тему «Задонщины», которая, казалось бы, составляет всеобъемлющую суть памятника. В «Задонщине» автору принадлежит не менее десятка описаний русского войска, что очень много для небольшого произведения, но теперь нельзя не заметить, что все они воспевали не столько боевой дух русского войска и его готовность к бою, сколько делали хозяйственный акцент на материальном, парадном снаряжении воинов. Самое длинное из описаний явно содержало хозяйственный оттенок, заметный с самого начала. Тот же Дмитрий Донской, отправившись навстречу татарам, довольно неуклюже охарактеризовал свое войско (цитируем по списку Ундольского): «а под собою имеем добрые кони, а на себе — злоченыи доспехи» (537. Ср. 543, 553). Делопроизводственное, запасливое слово «имеем», конечно, необычно для воинских описаний; в «Слове о полку Игореве» более изящно сказано: «Суть бо у ваю...» (52)⁷.

Дальше следовал длинный, так сказать, «снабженческий» перечень предметов, преимущественно с географическими эпитетами — якобы по месту, где их лучше всего производят, — шесть и более элементов: «злеченыи доспехи, а шеломы черкаские, а щиты московские, а сулицы немецкие, а кинжалы фряские, а мечи булатные» (537. Вариации: в Музейском первом списке упомянуты «сулицы ординские, а чары франьския» — 543. В Синодальном списке — «кофыи фразския, а кинжалы мисурскими» — 543). Даже в «Слове о полку Игореве» при самом ярком описании

⁶ «В этом нельзя не видеть отображения московского феодального быта» (Ржигза В. Ф. Слово Софония Рязанца о Куликовской битве (Задонщина) как литературный памятник 80-х годов XIV в. // Повести о Куликовской битве. М., 1959, с. 389); «типичный московский бюрократизм XIV—XV вв.» (Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986, с. 293).

⁷ О делопроизводственном стиле в «Задонщине» см.: Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе, с. 291—296. Ср. еще: «Так как автор „Задонщины“ не ощущал стиля «Слова», то он и смешивал его со стилем ему привычным — деловым московским» (там же, с. 307).

воинских доспехов лаконично упоминались два предмета: «железные паворзи подъ шеломы Латинскими» (52), однажды — три предмета: «златыи шеломы, и сулицы Ляцкии, и щиты» (53). Автор же «Задонщины» обозрел войсковое снаряжение как хозяйственник, ценящий вещи, в особенности «импортные».

В последующих описаниях «Задонщины» доспехи представляли празднично сияющими на воинах: «А в них сияли сильные доспехи злаченые» (538. Ср. 553, 543). Это сияние имело связь с библейскими картинами: «И яко въсия солнце на щиты златы, и обсиаша горы от нихъ и облисташа, яко лампы огненыя» (6.2. Первая книга Маккавейская, гл. 6). Ср. в «Хронике» Георгия Амартола: «Яко же въсия солнце на златыя щиты и на оружия, блистахуся горы от нихъ и сияху, яко светил горящъ» (203—204). Ср. еще: «блистающе ся оружиемъ и землю светяще» («Слово о всех святых» Иоанна Златоуста, 460.1), «и бе полковъ его светлость велика от оружья блистающаяся» («Галицко-Волынская летопись», 322). Та же тема была усилена в «Задонщине» в изводе Ундольского: снаряжение стало настолько сияющим, что «все великое войско широкие поля... злачеными доспехами осветиша» (539. Ср. 544, 547). Однако цитированная выше фраза о «сильных» доспехах отклонялась от книжно-библейской традиции: доспехи ничего не освещали, а камерно сияли сами по себе — подразумевалась их целость, необбитость, новизна, чистота, то есть у автора «Задонщины» опять выделялся жизненный хозяйственно-снаряженческий мотив.

В «Задонщине» то один, то другой герой «злаченным доспехом посвельчивает» (538. Ср. 543, 554), «а златым тым шеломом посвельчивает» (539. Ср. 544, 546, 554) — упоминания, несомненно, были заимствованы из «Слова о полку Игореве»: «Камо, Туръ, поскачаше, своимъ златымъ шеломомъ посвечивая, тамо лежатъ поганья головы Половецкыя» (47). Но в «Слове» златой шлем посвечивал, проявляя резвость сражавшегося; в «Задонщине» же доспехи выставлялись просто напоказ, словно парад продолжался и в бою: посвечивали, когда картинно «то ти ступишася руские удалцы с погаными татары» (538), когда аккуратно «Пересвет поскакивает на своем добре коне» (538), когда стройно «Владимеръ Андреевичъ... скакаше во полцех поганых татарских... а скакаша со всем своим войским» (539). В Кирилло-Белозерском списке парадно-световая тема была по-своему продолжена: «Пашутся хоригови берчати, светяться калантыри злачены» (548) — все парадно-новенькое.

Ряд описаний снаряжения выражал авторское ощущение прочности доспехов — опять-таки не столько для боя, сколько для парада: на смотрах «стучит великая сильная рать... громят удалцы руские злаченными доспехи и черлеными щиты московскими» (537. Ср. 542, 549, 552). Правда, в «Задонщине» оружие применялось и в бою, но тоже как бы для испытания его надежности. Испытание прямо предлагалось: «Ис-

пытаем мечев своих литовских о шеломы татарские, а сулицъ немецких о боеданы бусурманские» (537. Ср. 542, 549, 552). В «Слове о полку Игореве» громыхание оружия было иным — непосредственно в бою: «саблямъ потручяти о шеломы Половецкыя», «гремлеши о шеломы мечи харалужными» (47), «гримлють сабли о шеломы» (48), «позвони своими острыми мечи о шеломы Литовския» (53). Говорилось только о непосредственной боевой применимости доспехов и оружия: «Луци... напряжени, тули отворени, сабли изъострени» («Слово о полку Игореве», 46). В отличие от «Слова», в сущности, через всю «Задонщину» проходила хозяйственная тема добротности изделий. Не таким уж обильным, добротным и новеньким являлось снаряжение русского войска в той суровой реальности. Но видеть войско почти в совершенстве снаряженным очень хотелось хозяйственно идеализировавшему воинов автору.

Вполне естественно, что, когда автор сравнил изготовившееся войско с ловчими соколами и ястребами, то и в это сравнение, вполне традиционное, он добавил мотив снаряжения птиц новенькими золотыми колодками и злаченными колокольчиками: «То уже соколи белозерстии и ястреби хваруются от златых колодиць... възгремеша злаченными колоколы» (537. Ср. 542, 549. В Синодальном списке была добавлена еще одна деталь снаряжения — «шевковыя опутины» — 552). Тут хозяйственно-эстетические склонности автора опять индивидуальны: другие памятники не обращали внимания на детали птичьего снаряжения, тем более не «золотили» его (лишь однажды Владимир Мономах в своем «Почении» упомянул, да и то лишь в самой общей форме, «ловчий нарядъ... о соколахъ и о ястребахъ» — 408).

В «Задонщине» даже географические упоминания насыщались «снаряжением». Поэтому автор сообщал, что войско собралось «в каменном граде Москве» и пошло «ис камена града Москвы» (537. Ср. 542, 549, 552). Как бы вся Москва представлялась каменной (чего тогда еще не было). Эпитет «каменный» по отношению к Москве не применялся раньше «Задонщины». Однако в литературных памятниках словосочетание «каменный град» прямо связывалось с темой городской обустроенности. Такими представали города, например, в «Слове о погибели Русской земли»: «твердыху каменныи городаы железными вороты» (157). Автор «Задонщины» расширил идеализирующее хозяйственное представление: с хорошо снаряженным войске в хорошо обустроенной Москве.

При упоминании Новгорода автор тоже ввел детали городской обустроенности: «Звонять в колоколы вечныя в Великом Новегороде. Стоят мужи навгородцкие у Софьи премудрые» (536. Ср. 541, 548, 561). Упоминания колоколов Софии характерны для новгородской литературы, но не при сообщениях, обычно лапидарных, о вече — «сзвониша вече у святеи Софьи» или «сташа вецемъ» — и все. Автор же «Задонщины» упомянув о вече и колоколах вместе, обозначил материальные условия

сборов, постоянно оставаясь хозяйственно ориентированным певцом воинства.

И последняя, опять же хозяйственно-эстетическая особенность «Задонщины» — «счетность». Когда мы в самом конце «Задонщины» читаем заключительный, статистический перечень числа погибших в битве, который вызывал сомнения у некоторых исследователей в его принадлежности к первоначальному, якобы чисто поэтичному авторскому тексту, то теперь мы понимаем как раз органичность и этого перечня хозяйственному настрою автора. Недаром даже главный герой «Задонщины» призывал к счету: «И рече князь великий Дмитрей Иванович: „Считаетесь, братия, колько у нас воевод нет и колько молодых людей нет“» (540. Ср. 545, а также Печатный вариант «Сказания о Мамаевом побоище», 126). В Библии иногда попадались аналогичные эпизоды, например, в Первой книге Царств, гл. 14: «И рече Сауль людемъ сущим с нимъ: „Считаетесь ныне и дозрета, егда где кто есть отшелъ от насъ“. И съчтошася» (129 об. 2). Есть сходный эпизод в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия: «И повеле писцемъ своимъ исчести каждо их по ряду» (435). В летописях встречались подобные подсчеты и перечни, но не так часто. Автор же «Задонщины» «считался» многократно, приводя новые и новые цифры: «7000 воиска», «7000 окованные рати», «70 бояринов», «триста тысящ окованные рати», «четыреста тысящ окованные рати», «40 бояринов московских, 12 князей белозерских, 30 новгородских посадников» и т. д. и т. п. (536, 537, 540. Ср. 541, 542, 543, 545, 551, 552, 553, 555). Перечислялись имена то назначенных, то погибших воевод (537, 538. Ср. 543, 550, 552, 553). В «Задонщине» «счетны» ее первая половина и самый конец, но, конечно, нет уверенности в достоверности приведенных цифр, особенно «круглых». Статистика «Задонщины» эстетична: она лишь создавала видимость рачительного учета, выдавая душевную настроенность автора — хозяйственную.

Статистика «Задонщины» была основана на теме воображаемого смотра. Постоянно повторялся глагол «посмотрети»: «Посмотрим своих полков» — и приводились итоговые цифры собранного войска; «посмотрети иже лежат трупы крестьянские» — и шел перечень погибших воинов, именной и числовой; «посмотри к сильному граду Москве» — и далее говорилось о сборах, новгородских и московских; «посмотрим по всей земли Руской» — и давался общий обзор состояния дел, в том числе русских «богатств» (537, 540, 536, 535. Ср. 542 и 552, 545, 541 и 551; 547 и 551). В памятниках не было столь частых смотров и обзоров (ср. лишь однажды в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия: «то бо есть гора, и лзе оттуда видети и знати храмы и церкъвь» — 362). Автор «Задонщины» уже не мыслил мир без надзора и счета.

В общем, читая «Задонщину», нельзя ни на минуту забывать, что перед нами не мертвый сколок со «Слова о полку Игореве», а живое произведение конца XIV — начала XV в., времени политического и эко-

номического возрождения Руси⁸, что хозяйственное возрождение — всему голова, оно приводит к возрождению культурному, вносит переворот в литературу, в том числе в литературные детали и мотивы; что с конца XIV в. хозяйственно-эстетические мотивы проникли и в другие произведения древнерусской литературы и стали неотъемлемы от военных сюжетов; что «Задонщина» явилась ранней предтечей нового явления — развития, так сказать, хозяйственно-производственной художественной темы, уже никогда не покидавшей русскую литературу.

Но на примере «Задонщины» видна и иная сторона процесса: хозяйственная душевная установка автора не способствовала формированию оригинальных, тонких художественных образов, а лишь огрубляла старые образцы. XIII—XIV вв. в древнерусской литературе — все-таки время художественного спада, общая причина которого понятна — татаро-монгольское иго.

Обратимся к другим памятникам. С конца XIV в. усиливается писательское внимание к вопросу о накоплении и сохранности имущества и богатства. Возможно, одним из первых поднял такую тему митрополит Киприан в послании игуменам Сергию и Феодору 1378 г.; он вполне оправдывал имущественные устремления мирян, отчего в соответствующих декларациях употреблял глаголы в «вечном» настоящем времени: «миряне... у нихъ жены и дети, стяжания и богатства, и того не хотять погубити» (432); «купляй... владыка хочет быти купимому» (434)⁹.

⁸ Ср.: «„Задонщина“ — не подражание „Слову о полку Игореве“, а произведение... обращающее поражение в победу, мир несчастья в мир благополучия» (Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 2, с. 389).

⁹ Цитируемые произведения: «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого — ПЛДР, т. 4 / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин; «Московский летописный свод» конца XV в. — ПСРЛ, т. 25; «О поезде великого князя в Великий Новгород» — ПСРЛ, т. 5; т. 6; «Повесть о Благовещенской церкви» — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Повесть о Горе-Злочасти» — Повесть о Горе-Злочасти / Изд. подгот. Д. С. Лихачев, Е. И. Ванеева. Л., 1984; «Повесть о житии Михаила Клопского» — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Повесть о Луке Колоцком» — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Л. И. Журова; «Повесть о нашествии Тохтамыша» — ПЛДР, т. 4 / Текст памятника подгот. М. А. Салмина; «Повесть о Петре Ордынском» — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Р. П. Дмитриева; «Повесть о походе Ивана III на Новгород», московская и новгородская — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. В. П. Бударагин; «Повесть о Тимофее Владимирском» — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; «Повесть о Щиле» — Гудзий Н. К. Хрестоматия по древней русской литературе XI—XVII веков, 6-е изд., испр. М., 1955; «Повесть об Антонии Римляине» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть об Ионе Новгородском» — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. М. В. Рождественская; послание Иосифа Волоцкого Ивану Третьякову — послание Иосифа Волоцкого / Изд. подгот. А. А. Зимин, Я. С. Лурье. М.; Л., 1959; Послание Иосифа Волоцкого Марии Голениной — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Я. С. Лурье; послание Киприана Сергию и Феодору — ПЛДР, т. 4 /

Киприан ратовал и за сохранность церковного имущества, поэтому он запрещал епископам его раздаривать: «Котории бо яже стяжаша имена въ своего епископства времени, не имут власти оставляти, им же хотят» (432). О себе Киприан свидетельствовал как о собирателе и хранителе церковного имущества: «Места церковная, запустошена давными леты, оправиль есмь приложити к митрополии всея Руси», и еще целый городок — «яз его оправиль и десятину доспел к митрополии же и села», и в большой области «места исправиль», а еще иные места — «и язь тых доискываюся» (438), — неукротимый хозяин. И за совсем чужое имущество, даже имущество своего врага, великого князя, Киприан счел нужным вступиться и ругал расхитителей: «Тако ли не обретеса никто же на Москве добра похотети души князя великаго и всей отчине его? от 40 и штий коний ни единъ не осталъся целъ — все заморили, похромил... и нынече теряются» (430, 432). Тема сохранения имущества не являлась главной в послании Киприана, но при всей своей второстепенности она оказалась сравнительно новой: раньше в посланиях (и в поучениях) чаще всего говорилось о безнадежном разорении, а не о сбережении и накоплении богатства.

Послание Киприана прямо высказывало его мнение и больше относилось к публицистике. Однако и в собственно литературе проявилось соответствующее умонастроение писателей видеть богатство в целостности и сохранности. Так, в «Повести о нашествии Тохтамышша» автор страстно желал, чтобы богатство хранилось, собиралось, пополнялось. Довольно большой отрывок в повести служил своего рода гимном богатству — церковному, княжескому, боярскому, купеческому, хотя внешне речь шла об обратном — о разорении, истощении, расхищении богатства врагами. Стенания о разграбленном богатстве были обычны для произведений того времени; необычно то, что в данной повести очень горячи и благоговейны эпитеты — «многоскоровенное скровище», «велехранное богатство и богатотворное имение», «казны долговременствомъ сбираемы и благоденьствомъ наплъняемы, и хранилища их исплънь богатства и имения многоценнаго и неизчетнаго», «храмины ихъ наполнены всякого добра, и клетки их нанесены всякого товара разноличнаго» (198, 200) и т. д.; ранее в литературе не встречалось таких прочувствованных эпитетов по отношению к богатству. В сущности, автор «Повести» ввел в литературу тему благоговения перед богатством — не любования его красотой, а довольства запасами, если таковые имелись.

Писательское внимание к имуществу проявилось в постоянном касательстве вопросов о том, как хранить и как тратить имущество,

Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров; «Просветитель» Иосифа Волоцкого — Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих / Творение преподобного отца нашего Иосифа, игумена волоцкого. Казань, 1855; «Сказание о Дракуле» — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. Я. С. Лурье.

мирское ли, церковное ли. С открытым интересом о таких делах говорилось в публицистике, больше всего в посланиях Иосифа Волоцкого. Вот один из его решительных указов: «Аще кто прост человек богатство свое, а не церковное, раздает богатым и пьяницам, — ино не похвально ни от Бога, ни от человек» (послание Ивану Третьякову, 206—207). И подобных примеров из посланий Волоцкого можно привести немало. Автора, столь поглощенного распределением имущества, предыдущая эпистолярная традиция не знала.

Авторы житийных произведений XV в. тоже оказались неравнодушны к тому, как тратить «имение». Так, «Повесть об Ионе Новгородском» уже не мимоходом сообщала о тратах; автор различал два рода средств, которые могли быть употреблены на ремонт монастыря: собственные доходы Ионы, «приходящее имение», и церковные средства, «церковное стяжание», — и пояснял, как ими распоряжались: «церковное стяжание» не трогали, то было «невредимо имение», а тратили средства Ионы, «имение избываемо». Это звучало в житии как некий экономический отчет: «Изволи же ся честному отце Ионе, архиепископу нашему, поновити обитель... — от приходящаго ему имениа, но не от церковнаго стяжания... и невредимо имение то снабдимо бе. Тому же особъ приходящее имение избываемо, им же обнови...» (358). Автор заботливо обставлял оговорками (о видах расходов) весь дальнейший рассказ о ремонте: «Толико же любоместень о Божиих угодницех и теплъ, яко вся своя особная имениа светлости их ради истощевати» (360). И в других эпизодах: «Тои же приходящая ему имениа не себе сокровиществует, но въ общину всем живущимъ ему полагает» (354). И далее: «одаривъ... множеством сребра, куны же и соболми почтивъ зело... не пощадевъ имениа множества истощевати светлости ради памятем Божиих угодникъ» (362). Автор «тепло» относился не только к Ионе, но и к имуществу. Для житий предыдущих периодов подобные, упрямо сообщаемые экономические подробности были необычны. Имущественная тема, конечно, лишь фон в «Повести об Ионе Новгородском», но фон очень характерный для XV в.

Внимание к распоряжению имуществом было особенно присуще новгородским агиографам. Например, в другом новгородском житии XV в. — в «Повести об Антонии Римлянине» — имущество уже служило двигателем сюжета: нашлась бочка, наполненная драгоценной посудой, золотом и серебром, и автор подробно прослеживает судьбу богатства, объясняя, каким образом ценности попали в бочку (267); рассказывает, как они хранились (герой «полагаетъ сокровище свое во святительстей ризнице на соблюдение» — 268); вникает, как производились траты (герой «имения же... ни от кого же не восприятъ», только «ценою изъ пречистыя сосуда, сиречь из бочки» — 268, 270).

И все-таки не одни только новгородцы живо отзывались на имущественные расходы. В «Житии Сергия Радонежского» Епифания Пре-

мудрого был помещен рассказ о причинах обнищания отца героя: «Сей убо... Кириль преже имееше житие велико в Ростовстей области, бояринъ сый, единъ от славных и нарочитых боярь, богатством многим изъобилуя, но напослед на старость обнища и оскуде. Како же и что ради обнища, да скажем и се...» — далее следовал рассказ о том, как «имения обнажени быша» (288—289). А раньше кому из писателей было дело, почему человек обнищал? (Однако и в «Житии» подобный эпизод единичен).

Имущественно-эстетические умонастроения писателей XV в. проявлялись еще в довольно частом и равнодушном упоминании денег, без их упоминания не обходилось почти ни одно литературное произведение XV в. Например, в «Повести о Благовещенской церкви» (из житийного цикла об Иоанне Новгородском) не скрывалось, что персонажи молились о даровании им именно денег. И вот произошло чудесное обретение: «...видяще... конь велми дивенъ предстоящъ... приступиста к коню и видят два чомоданца, — сиречь сумочки две — не малы, по обе страны седла висяща, полна суща. И дивястася коня оного стоянию, и красоте, и кротости... взяста мешсца она оба с седла — и начаша, радуящася, разрешати мешсца, и обретоша во едином злато, и в другомъ сребро, полна суща оба» (466). Необыкновенна ласковость авторского тона: мешки большие, «не малы», а он их называет умильно — «два чомоданца», «сумочки две», «мешсца оба» («мешци» — мешки, а «мешсци» — мешочки); и ласковость эта относится только к мешкам с деньгами — не к коню, не к седлу и пр. Автор с удовлетворением подчеркивает и увесистость мешков с деньгами — «полна суща», «полна суща оба», на них «сель доволно куписта». И характерно это настроение именно для XV — начала XVI в., а не для более раннего времени, — агиограф любил деньги и не скрывал этого (правда, дополнительных свидетельств такой настроенности нет — повесть слишком коротка).

В других повестях XV в. писателям нравилось указывать на большие деньги — не вообще, а во впечатляющем весе и объеме: герой «тяжестию сребра утоляя», «многу и велику тяжесть имениа ту истоци» («Повесть об Ионе Новгородском», 352, 360); «и обрете... басманы великие, полны насыпаны злата и сребра и драгихъ каменей» («Повесть о Тимофее Владимирском», 64, 66); «наполниша възила... кунъ и ты колесницы... едва можаху како двизатися им» («Повесть о Петре Ордынском», 28). Раньше такой традиции в описании денег не существовало, а в XV в. деньги не так уж потяжелели, чтобы вслед за этим «потяжелели» литературные описания, — «утяжеляющие» пояснения о деньгах авторы делали из уважения к деньгам.

Пробудившееся эстетическое отношение к деньгам отражалось и в эффектных денежно-цифровых подсчетах. Так, в конце «Повести о нашествии Тохтамыша» автор подводил итоги, но какие, — сначала он задумывался о расходах на погребение убитых, а затем прикидывал

сумму убытков вообще: «И съчтоша: того всего дано бысть от погребания мертвых 300 рублей. А опрочь того, елико зделаша татари напасти же и убытка Руси и княжению великому!.. А аще бы мощно было то вси убытки, и напасти, и проторы исчитати, убо не смею рещи, мню, яко ни тысяща тысящ рублей не имет число!» (204). Никогда еще до этого в повестях не подводился именно денежный итог событиям, в рублях, пусть и неточный. Сам ли автор повести придумал подобную форму итога или заимствовал ее из деловых либо летописных выкладок, но налицо склонность считать деньги, придавать большое значение деньгам даже в самый эмоционально напряженный момент.

Мотив скрупулезного подсчета денег персонажами вообще стал распространенным в повестях (и житиях) XV в. Деньги в реальности считали всегда, но до XV в. писатели об этом почти не упоминали. В XV в. в новгородских житиях этим делом уже не стеснялись заниматься и самые благочестивые герои: «И начать преподобный разчитати обретенное в бочки серебро и злато...» («Повесть об Антонии Римлянине», 268); считали деньги и князья: «И урядися князь с мастерами: и даст имъ задатка 30 рублей, а после имъ взята 100 рублей да по однорядки» («Повесть о житии Михаила Клопского», 338). Притом ничто в сюжетах не заставляло авторов обязательно упоминать подсчет денег; видимо, самим авторам подобные операции казались важными. Когда же подсчет денег был необходим и по сюжету, то персонаж пересчитывал деньги дважды: «Купец же вставъ, и обрете злато, и прочет единою и дващи» («Сказание о Дракуле», 558). Даже святые, являвшиеся герою во сне, советовали отсчитывать деньги с максимальным вниманием: «А въпросят менящи 9 серебряных, а 10-й златъ. И ты даждь по единому», — то есть отсчитывай по одной монете («Повесть о Петре Ордынском», 24). Ценили деньги, как видим, не только новгородские писатели; небывало дотошно рассуждал по поводу денежных расчетов Иосиф Волоцкий в своих душеспасительных посланиях (например, в послании Марии Голениной).

Эстетическую привычку к деньгам, возможно, демонстрировала также одна статья в «Московском летописном своде» конца XV в. Под 1472 г. описывалось войско: «И видевъ многие полки великого князя, аки море колеблющися, доспеси же на них бяху чисты велми, яко серебро, блистаючи» (297), — доспеси были сравнены с серебром: редкостное сравнение для доспехов; если вспомнить, что деньги в XV в. обычно назывались «серебро», то можно думать о денежной ассоциации у кого-то из редакторов статьи в своде XV в. В других летописях это сообщение содержало традиционные тропы: полки в доспехах «яко море колеблющася или яко озеро сияющися», — серебра тут нет.

Сравнительно с писателями предыдущих периодов авторы повестей XV в. больше приглядывались к составу различных богатств, больше были склонны к созданию эстетически впечатляющих описей пред-

метов. Такова уже упоминавшаяся «Повесть о нашествии Тохтамыша». Вот, например, эпизод разграбления татарами московских церквей: «И церкви съборныа разграбиша; и олтаря святыа места попраша; и кресты честныа и иконы чюдныа одраша, украшенныа златомъ, и серебромъ, и женчюгом, и бисеромъ, и каменнемъ драгымъ; и пелены, златомъ шитыа и женчюгомъ саженыа, оборваша; и съ святых икон кузнь съдравше, а святыа иконы попраша; и съсуды церковныа, служебныа, священныа, златокованыа, и серебряныа, многоценныа, поймаша; и ризы поповскыа многоценныа расхитиша» (198), — повествовалось с отчаянием, эмоционально (кресты — честные, иконы — чудные, сосуды и ризы — многоценные, и все это украшено золотом, золотом шито, златоковано, — порядок и повторы слов тоже имели эмоциональное значение). И все-таки основу изложения составила своего рода опись ценностей (по разделам — какое украшение крестов и икон, какие пелены, какая посуда, какая одежда). Конечно, в литературе и до «Повести о нашествии Тохтамыша» было высказано немало жалоб о разграблении церквей или, наоборот, похвал их обустройству, но эти описания не отличались систематичностью. В «Повести о нашествии Тохтамыша» же, пожалуй впервые, объединились эмоции и упорядоченная опись вещей.

Автор повести горестно рассказал о Москве, осажденной татарами: «Татарове... поехаша около града, обзирающе и разсматряюще приступы, и рвы, и врата, и забралы, и стрелници» (194) — это сжатая, простейшая опись видов оборонительных сооружений Москвы. Или: «Гражане же воду в котлех варяще, кипятню и ляху на ня... ови стрелами стреляху съ заборол, овии же каменнемъ шихаху на ня, друзии же тюфяки пуцаху на них, а инии самострелы напязяюще, пругаху и пороки. Есть же неции, егда и самыа ты пушки пуцаху» (196) — кипяток, стрелы, камни, тюфяки, самострелы, пороки, пушки; это эмоциональная картина, но одновременно — и чуть завуалированная опись видов оборонительных средств москвичей. К некоей социальной описи восходили упоминания об оборонявшихся: «Приключишася в то время бояре, сурожане, суконники и прочии купцы, архимандрити, и игумени, протопопы, прозвитеры, дьяконы, черньци, и всякъ възрасть» (194); «и отвориша врата градная, и выйдоша съ своимъ княземъ... архимандритове, игумени, и попове... и по них бояре, и лучшие мужи, и потом народъ, и черныи люди» (198). Длинная опись церковных действий составляла основу плача: «...престала служба... престала святаа литургия, престала святаа просфира приношение еже на святомъ жрътвнице, престала молитва заутренняа и вечерняя, преста гласъ псалму... Где благочиние и благостоание церковное? Где четцы и певцы? Где клиросници церковнии? Где суть священници, служащии Богу день и ночь?... Неть позвонения в колоколы; и в било неть зовущаго, ни текущаго; не слышати в церкви гласа поюща; неть слышати славословия, ни хвалословия; не бысть по церквамъ стихословия и благодарения» (202). Даже рассказ о чувствах горо-

жан приобрел вид описи: «И бяше видети тогда в граде плач, и рыдание, и вопль многъ, слезы неисчетенныа, крикъ неутолимый, стонание многое, оханье сетованное, печаль горкаа, скорбь неугишимаа, беда нестерпимаа, нужда ужаснаа, горестъ смертнаа, страх, трепет, ужасъ, дряхлование» и т. д. и т. п. (200), — тут ощутим стиль не только «плетения словес», но и предметной описи. «Повесть о нашествии Тохтамыша» знаменовала еще большее усиление материальной обстоятельности литературных описаний в произведениях середины XV в.

Большая статья под названием «О поезде великого князя в Великий Новгород» («миром») под 1476 г. помещена в «Софийских летописях», причем в «Софийской второй летописи» помещена первоначальная, пространная редакция статьи (см. примечание издателей на с. 17). В ее последней части рассказывалось о дарах новгородцев великому князю — свидетельство того, насколько Новгород покорился Москве; перечисление даров перемежалось сообщениями о явно политических деяниях князя: кого он «пожаловал», на кого «озлобился», чье челобитье отверг, как кого рассудил и пр. (200—205). В «Софийской первой летописи» же, не позднее XV в., статья была резко сокращена (оставлена лишь последняя часть), политические сведения убраны, а упоминания о дарах дополнены, и в результате вся статья превратилась в сплошной и длиннейший хозяйственно-цифровой перечень: царю подарены «три постава сукна ипского, а поставъ по 30 рублевъ, да 100 золотыхъ корабленыхъ... бочка вина красного, а другая белого... два кречета да соколъ... да жеребець... да 20 бочки меду... да 2 зуба рыбьихъ... да два сорока соболей... да лошакъ серъ... да ковшъ золотъ съ жемчюгомъ, а въ немъ 2 гривенки злата, да 2 рога окованы серебромъ, да мису серебряну, а въ ней 12 гривенокъ сребра... чепъ злату... да другое чарку златую же... да поясъ сребрянъ золоченъ великий оковы...» и т. д. (16—18). В чисто документальные устремления редактора поверить нельзя: его повествование грешит ошибками в датах и даже нарушением хронологии, да и грубо он сводит статьи, находившиеся в первоначальной редакции под разными годами.

Но при всем своем пиетете по отношению к «имению» и деньгам значительное, а тем более чрезмерное обогащение писатели не одобряли. Очень богатый литературный герой, судя по эпитетам, стал для авторов повестей XV в. героем отрицательным: «а богатства много безчислено собра... сотвори же ся Лука напрасен и безстуден» («Повесть о Луке Колоцком», 54), «золъ гонитель бысть и лють кровопийца христианскъ... и разбогатель вельми» («Повесть о Тимофее Владимирском», 60). Образ немилостивого богача давно был знаком литературе, но это не значило, что всякий богач считался немилостивым. И только в повестях XV в. начала выделяться более постоянная связь: очень богатый — очень злой; сюда, возможно, тяготело и замечание о поступке Дракулы: «Учишиша же ему мастери бочки железны; он же насыпа их злата, в реку

положи. А мастеровъ техъ посети повеле, да никто ж увести съделаннаго имъ окаанства, токмо тезоимениты ему диаволь» («Сказание о Дракуле», 562), — именно очень богатый человек дьявольски жесток.

Если же писатель хотел оправдать богатого героя, то по ходу сюжета уменьшал его богатство до каких-то совестливых пределов: «Живущу же ему в богатстве мнозе... имаше же лихвы на 14 гривень и 4 денги точию по единой денге на год — боле же того отнюд не имаше» («Повесть о Щиле Новгородском», 210). Другой, еще более положительный герой не остался «дръжащи многа имениа ему. Он же вся та... разда нищим татарскимъ требующимъ»; а когда он получил новое «имение», то уже «малое се земли», как и надлежит достойному человеку; владение героя, правда, не было совсем уж маленьким («множество земель от озера, воды и лесе»), но ограничение богатства помогало хранить ему «сладци ответы и добрыа обычая въ всемъ» («Повесть о Петре Ордынском», 22, 30).

В целом же имущественная тема не то чтобы вышла на передний план в литературе XV в., но заметным образом распространилась, а имущественные представления писателей стали отличаться многообразием и тонкостью. Исторически это понятно: XV век — время окончательного освобождения Руси от татаро-монгольского ига, время усиленного хозяйственного строительства, пробудившегося энциклопедического интереса писателей ко всему в мире, в том числе и к делам имущественным, которые получили художественное отражение в повестях XV в., — явление еще невиданное.

Однако до полного обновления социально-имущественных представлений и превращения их в художественные в XV в. было еще далеко. Собственно социальные темы новизна почти не затронула. Во всяком случае, традиционными оставались имущественные характеристики царей, князей, вельмож, бояр. Например, в «Повести о Луке Колочском» традиционно описывалось княжеское «веселие»: герой «постави двор себе, яко некий князь, храмы светлыи и велици, и слуг много собра, престоющих и предтекущих ему отроков много имеюще, во утварех украшени. И трапе за его много брашна имеши, тучных и драгих и питий благовонных много, и ядыше и упивашеся со и сущими его служатели» (54).

И у вельможи (или боярина) писатели ожидали увидеть привычное же: «чти же, и величества, и славы... портъ красных... многоценных... отрокъ, предстоящих ему... слугъ, скоро рищущих... множество рабъ, служащих или чсть въздающих ему» и т. д. («Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого, 354). Писательское мнение о других социальных слоях также не выходило за пределы традиционного. Например, о крестьянах говорилось: «поселянинъ, чином орачь, земледелець, живый на селе своемъ, орый плугом своим, и от своего труда питаася» (там же, 352). Или о пастухах выражалось представление, совершенно библейски-традиционное: «Тако бо и пастырие творять. Донде же убо ничто же забавляет имъ зверь, под дубомъ или под смерчимъ себе по-

вергъше, тростию свиряють, оставльше на власти всяцей овца пастися. Внегда же волкомъ нахождение ощутятъ бывшее, вскоре трость повергъше, пращу восхищают и, свирель оставльше, дреколиемъ и камениемъ себе вооружаютъ, пред стадом ставше, и велми ужасне воскликнувше, гласомъ множицею преже врежения зверя отгнавше» («Просветитель» Иосифа Волоцкого, 528).

Новыми, возможно, были лишь стихийно проникавшие в изложение хозяйственно-бытовые детали. То о княжеской охоте: «И на ловы ездяше со ястребы, и соколы, и з кречаты, и псов множество имеяше, и медведи имаше, и сими тешашеся» («Повесть о Луке Колоцком», 54); то упоминание «сребролюбцевъ богатых и брюхатых» («Московский летописный свод» конца XV в. под 1481 г., 328); то о «черни»: ходят «въ овчих шерстьех — ...в сермягах» (там же под 1425 г., 246); то о ремесленниках: «спроста рещи, плотници и гоньчары и прочии, котории родився на лошади не бывали» («Повесть о походе Ивана III на Новгород», московская, 390). Однако общая картина от этого не менялась. Социальные представления писателей XV в. не обновились, не сделали заметного шага вперед по сравнению с представлениями имущественными; представления же по вопросам имущественным в определенной мере остались оторваны от представлений социальных. Этому явлению подыскивается аналогия, если вспомнить об «абстрактном психологизме» в литературе конца XIV — XV в., когда изображались чувства человека, но сами по себе, в отрыве от его характера¹⁰.

4. XVI В.

Социально-имущественные идеи писателей XVI в., особенно публицистов, изучены довольно обстоятельно: достаточно напомнить о полемике иосифлян и «нестяжателей» по вопросу о монастырском землевладении, о высказываниях по крестьянскому вопросу и пр. Мы ограничимся лишь небольшими дополнениями из области писательских умонастроений по поводу накопления богатства. Одни писатели подходили к этому вопросу страстно, но абстрактно. Например, Максим Грек клеймил любовь к деньгам в самых резких (книжных) выражениях: «...всехъ злыхъ родительное сребролюбие и богомерское взятие губительныхъ лихвъ, им же гюследствуетъ лютое и безчеловеческо лихоимство» («На несытное чрево и бесчисленных зол виновно иночествующимъ», 153)¹. Но

¹⁰ Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси, 2-е изд. М., 1970, с. 72—92; Он же. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили, с. 83—91.

¹ Цитируемые произведения: «Большая челобитная» Ивана Пересветова — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. М. Д. Каган-Тарковская; «Домострой» — ПЛДР, т. 7 / Текст памятника подгот. В. В. Колесов; «Житие Зосимы и Савва-

он клеймил лихоимство догматически — только как явление, не предусмотренное «писанием»: «Где таково, что безчеловечное дерзнуто бывше праведными оными писано есть? Никако же нигде же обрящещи» («Стязание о известном иноческом жительстве», 94—95).

Для Максима Грека была характерна замена обсуждения реальности обсуждением «писания»; например, он упоминал факт социального неравенства: в мире «неравне подающе человекомъ имения же и саны властелныя»; реальных пояснений не следовало, Максим Грек сразу же сворачивал к богословским объяснениям, — это, мол, некоторые философы приписывают неравенство действию слепой судьбы, фортуны, а надо опираться на «писание»: «Потщися убо, Бога ради потщися, отскочи таковыя немецкыя прелести и исповедуй прямо и чисте съ богодухновенными Давидомъ и пророчицею Анною, глаголющими сице, яве и без хитрословия всякого: „Господь убожит и богатит, смиряеть и высить...“» («Послание к некоему иноку, бывшему в игуменах, о немецкой прелести, глаголемой Фортуне, и о колесе ее», 458, 462). Впрочем, исследователи уже по разным поводам отметили в сочинениях Максима Грека «сильный налет отвлеченной христианской этики»², который «в силу своей внутренней логики зовет к уходу от жизни»³.

тия Соловецких» — Повесть о Зосиме и Саввати: Книжное воспроизведение. М., 1986. Указываются листы издания; «Казанская история» — Казанская история / Изд. подгот. Г. Н. Моисеева. М.; Л., 1954; «На несытное чрево и бесчисленных зол виновно иночествующим» Максима Грека — *Максим Грек*. Сочинения. Казань, 1860, ч. 2; «Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Р. П. Дмитриева; «Повесть о старце» — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; послание Андрея Курбского Ивану Грозному, второе — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Изд. подгот. Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыков. Л., 1979; послание Ивана Грозного Андрею Курбскому, первое — там же; послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь — Послания Ивана Грозного / Изд. подгот. Д. С. Лихачев, Я. С. Лурье. М.; Л., 1951; «Послание к некоему иноку, бывшему в игуменах, о немецкой прелести, глаголемой Фортуне, и о колесе ее» Максима Грека — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин; «Послание о злых днях и часах» Филофея — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника В. В. Колесов; послание Федора Карпова митрополиту Даниилу — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин; поучения митрополита Даниила — *Жмакин В.* Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. Отдел приложений; «Сказание вкратце о Даниле Переяславском» — ПСРЛ, т. 21, ч. 2; «Сказание о Магметгесалтане» Ивана Пересветова — Сочинения Ивана Пересветова / Изд. подгот. А. А. Зимин. М.; Л., 1956; «Слово ответно противу клеветущих истину евангельскую»; «Собрание некоего старца» Вассиана Патрикеева — *Казакова Н. А.* Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960; «Стязание о известном иноческом жительстве» Максима Грека — *Максим Грек*. Сочинения, ч. 2; «Царям правительница и землемерие» Ермолая-Еразма — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Р. П. Дмитриева.

² *Казакова Н. А.* Очерки русской общественной мысли: Первая треть XVI века. Л., 1970, с. 262.

³ *Клибанов А. И.* Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI в. М., 1960, с. 356.

Другая, самая многочисленная группа писателей XVI в. в своих рассуждениях с трезвой, реалистической настроенностью формулировала принципы социально-имущественной жизни — особенно в посланиях. Так, Филофей в «Послании о злых днях и часах» констатировал разделение общества на социальные слои: «А сие, честный человек, разумеи, яко от царя царевич родится, а от князя князь, и аще и не достигнет малым чим отчаа славы и чести, но земледелец не бывает, ни за земледелцев царие дщерей не дают, ни у них за своа сынове дщерей взимают, но все то состоится по неведомым судьбам вся строящаго Бога» (446), — очень трезвая и однозначная фиксация реального положения дел. Раньше в литературе еще ожидались разные возможности — даже «некий старец, живой в пустыни», мог домогаться руки царской дочери и получить ее в жены («Повесть о старце», 46, 48).

Федор Карпов в послании митрополиту Даниилу тоже спокойно характеризовал богатство богатых: «В мирском же начальстве истязуют многа бо подовластных — овогда убо слугъ, иногда оружи, другойци коней, иногда одежь красныхъ, иногда ина, коя състоятся сребромъ, пеньязми» (510), — это традиционные детали той суетной жизни властей и богачей, которая раньше осуждалась, а теперь принимается как объективная данность. И о страшной алчности своих современников Федор Карпов писал так же спокойно: «Налезитъ пагуба: вземляи ризу хочеть взяти и срачицу. Украдый овцу мыслит отвести и корову. Ни же в томъ конецъ поставляет, но, аще можетъ, все прилежитъ ближняго похитити. Ни же в томъ почиет, донеле последи того же ближняго своего от сего житья отовлечеть» и т. д. (516), — ни следа возмущения. Как выразился о своей настроенности Федор Карпов, «тръпениа не отвръгох» (514). Своего высокого адресата Федор призывал так же трезво понимать суть реальной действительности: «От сихъ бо цело уразумель еси, коль вредными и неугодными стезями, хромыми ногами, слепыми очима она земная власть и все естество человеческое ходить ныне» (516).

Еще один писатель XVI в. — Вассиан Патрикеев — признавал дурные нравы как стойкую реальность; выразительны его риторические вопросы об иноках сравнительно с мирскими людьми: «И еже убо что у мирских видим дивно, то всего силою подвизаемся, дабы и у нас тако же было... Не имеем ли сел, яко же и мирстии человецы? Не имеем ли храмин светлых и ковчег со имением твердо храними? Не украшаем ли ся ризами и величаемся? Не обеди ли и праздницы у мирских нами полни бывают? Не мы ли мирских богатынь у себе на обеде посаждаем, большее хотяще дерзновение к домам их имети?» и т. д. («Собрание некоего старца», 225—226). Хотя и саркастически, но как явление неистребимое, описывал он проявления корыстности: «... и в руках богатых взираем, разным образом ласкающе их и раболепие угаждающе им, да же и возможемъ приати у них или деревнишку, или сребришко» («Слово ответно противу клеветующих истину евангельскую», 257).

Сарказм Ивана Грозного, по-видимому, также таил в себе признаки противной и возмутительной, но объективной реальности. Вот, например, его послание в Кирилло-Белозерский монастырь, где царь использовал отрывок из сочинения Вассиана Патрикеева (с небольшими изменениями и дополнениями): «Не имеем ли сел, яко же и мирьстии, не словут ли нивы чернеческия, и езера, и пажити скотом, и домове твердо ограждени, и храмы светли? Не имеем ли ковчеги со имением твердо хранимы, яко же и мирския домодержцы? Не красуем ли ся блистанием златным и веселимся светлостию ризною и величаемся?» и т. д. (183). Итог царских обличений — подробная картина монастырской жизни, которая неуклонно идет сама по себе; царь даже отстранился, чтобы не мешать: «Сами ведаете, как себе... хотите, а мне до того ни до чего дела нет!» (192).

Трезвое понимание всеобщности борьбы за имущество выразилось и в некоторых житиях XVI в. Например, в «Сказании вкратце о Даниле Переяславском» («Степенная книга») вопиющие факты излагались созерцательно: миряне «со оружиемъ и дреколиемъ приходяше и во ограде у монастыря не дадуше инокомъ земъли копати» (619), — никаких эмоций по этому поводу, лишь краткое объяснение цели действий. Или: «И ту нощию нападаша... разбойницы и гражданскихъ купцевъ... крепко мучаху и, огнемъ подпаляюще, имения пытаху» (623), — опять никаких авторских эмоций, только пояснение, зачем так делали. Для редактора, приспособившего житие Даниила к «Степенной книге», такие жизненные явления уже были привычны и понятны (в «Житии Зосимы и Савватия Соловецких» о попытке населения отхватить монастырские земли говорилось так же бестрепетно, с объективным раскрытием причин через речь самих покушавшихся: «Хощем же и мы тамо участие имети в наследие себе и чядом нашим и в прочяа родовъ наших лета» — 15).

Для трезвого приятия действительности показательно, что даже в радостной и торжественной «Казанской истории» попадались резко диссонирующие социальные признания: «И великия наша отчины... небрежением нашим или неможением в конечное запустение предахом» (116); «и скорбь великая обдержаше много лет все христьянство Руския земля, убогих, и богатых, и воин, и воевод, и князей, и боляр, и всех людей простых, — изнемогаху бо земския люди и простыя с частых податей и великих и не успеваху даючи царьския оброки» (173).

Но XVI век — это еще и время упорядочивающих планов деятельности, в том числе в области социально-имущественной, из-за чего сочинения некоторых писателей XVI в. приобрели некий нормирующий, «технологический» оттенок. Например, в одном из своих поучений митрополит Даниил посылал всякого правоверного «прохладитися». Но странное это «прохлаждение»: «И аще хощещи прохладитися, изыди на предверие храмины твоеа... изыди на дворъ твой и обойди кругомъ

храмины твоеа... тако же и дворъ твой. И аще что разсыпая или пастися хочеть, създай, ветхаа поновляй, неутверженаа укрепи, прахъ и гной згребый вместо... И аще хочещи вящше прохладитися, изыди въ оградъ твой и размотри сюду и сюду, яко же ко плодоносию... Изыди на поле сель твоихъ, и вижь нивы твоя, умножающа плоды ово пшеницею, ово ячмень и прочаа...» («Наказание» двенадцатое, 25—26). Ясно, что проповедник призывал не только благочестиво отдохнуть и поразмышлять, а прежде всего посылал правоверных заниматься хозяйством, сгребать «прах и гной» в кучи (как выразился И. У. Будовниц, митрополит «прямо тыкал их лицом в навоз»⁴). Ранее для поучений, тем более митрополичьих, такая хозяйственная настроенность была все-таки чужда.

В другом поучении Даниил с удовольствием перечислял деятелей, главным образом хозяйственных: «...купецъ ли еси, рукодельникъ ли еси, земледельатель ли еси, ловець ли еси, бортникъ ли еси, каменосечець ли еси, кузнецъ ли еси, швецъ ли еси, древоделъ ли еси, писецъ ли еси, зотчий ли еси...», — в каких поучениях раньше можно было встретить перечисление подобного ряда ремесленников, которые, по словам Даниила же, «на вся потребности и проторы издающе» («Наказание» шестнадцатое, 38)?!

Еще решительнее это хозяйственно-нормирующее направление интересов выразилось в сочинениях Ивана Пересветова: он постоянно распространялся о том, что делать и как делать; в социально-имущественной области его предложения многочисленны и настойчивы. Например, он сформулировал правило распределения государственных доходов: «...силному государю годится со всего царства своего доходы себе в казну имати, а из казны свояе воинником сердца веселити, — ино казне ево конца не будет» («Большая челобитная», 610); и в другом сочинении: чтобы царь «со всего царства — из городов, и из волостей, ис поместей, и из вотчин — все доходы в казну свою царскую велел збирати по всяк час», «а никому ни в котором граде наместничества не дал велможам своим» («Сказание о Магмете-салтане», 227, 225). Пересветов регламентировал и сравнительно мелкие, частные вопросы, например, порядок на захваченной территории: каждый царский воин обязан покупать, а не грабить — «а всему цена уставлена, што за што дати, а купят все в вес... и он, заплативше цену, да возмет по цареву указу» («Сказание о Магмете-салтане», 229). Такого писателя-прожектера на Руси егѣ не появлялось.

Вершину хозяйственно-«технологического» изложения в литературе XVI в. составили, пожалуй, сочинения Ермолая-Еразма, в особенности его трактат «Царям правительница и землемерие». Ермолай был склонен к цифровым раскладкам: «Достоит убо и дань у ратаев царем и велможам всем имати от жит притяжания их пятая часть... Кроме же сего ничесо же» (654), — и обосновывался точный расчет «даней» в

⁴ Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. М.; Л., 1947, с. 132.

государстве. Ермолай в трактате еще более подробно, с цифровыми решениями задач, пояснил разработанный им новый способ измерения земель. Хозяйственных мелочей Ермолай тоже не чуждался; он предложил, например, реформу в изготовлении ножей: «Еще же душегубства ради да заповедавают во всех странах ковачем, абы ножеве ковали притупо, без концов» (662).

Нужно сказать, что и в своей знаменитой «Повести о Петре и Февронии» Ермолай-Еразм оставался таким же деловитым и «технологичным», когда речь касалась предметов хозяйственных. Например, фольклорный мотив выполнения невыполнимого поручения превратился в изложении Еразма в несколько нудноватую сцену отклонения Февронией хозяйственного предложения князя Петра. Петр «посла к ней съ единым от слуг своих едино повесмо лну, рек, яко „...да в сием лну учинит мне срачицу, и порты, и убрусець...“». Автор прослеживает, как передается предложение: «Слуга же принесе к ней повесмо лну, и даст ей, и княже слово сказа». Затем начинается, так сказать, деловая игра: Феврония же «рече слуге: „Взыди на пещь нашу и, снем гряд поленце, снеси семо“. Он же, послушав ея, снесе поленце“». Проводятся замеры: «Она же отмерив пядию, рече: „Отсеки сие от поленца сего“. Он же отсеке». Следует ответное предложение — Феврония слуге-исполнителю «глагола: „Возми сии утинок поленца сего, и, шед, дай князю своему от мене и рцы ему... да приготовит ми в сем утинце станъ и все строение, киим сочтется полотно его“». Задание получено: «Слуга же принесе ко князю своему утинок поленца и речь девичю сказа». Князь наталкивается на непреодолимую трудность и «рече: „Шед, рцы, девицы, яко невозможно есть в такове мале древе... сицева строения сотворити“». Обсуждение заходит в тупик: «Слуга же пришел, сказа ей князю речь. Девица же отрече: „А се ли возможно есть... въ едином повесме лну... сотворити срачицу, и порты, и убрусець?“». Дело срывается, инициатор озадачен: «Слуга же отоиде и сказа князю. Князь же дивлесе ответу ея» («Повесть о Петре и Февронии», 636). Конечно, мы сгустили краски и модернизировали ситуацию, — но для того, чтобы сбросить наваждение якобы тонкой, бестелесной поэтичности «Повести о Петре и Февронии». Феврония у Еразма в каждом ее жесте аккуратна и бережлива — в соответствии с повадками женщины-хозяйки в «Домострое»; поэтичная фольклорная основа повести, а не сам Еразм.

Хозяйственно-нормирующая настроенность приводила многих авторов XVI в. к безмерной мелочности. «Домострой»: «крохи на землю не уронити» (72), «обрески беречи» (108), «а у всего не додашь, а у рубля четверть збудется» (126) и т.д. и т.п. Персонажа могли осуждать за то, что свечей зажег больше положенного — «содеваетъ бо велику тыщету свещамъ», или за то, что в квас однажды «прибави муки кроме обиходных мер» («Сказание вкратце о Даниле Переяславском», 619, 621). Хозяйственную мелочность проявлял даже царь Иван Грозный: в пер-

вом послании Андрею Курбскому он припомнил давние недостатки своего обихода, в том числе — «шуба мухояр зелен на куницах, да и те ветхи» (29). Курбский почувствовал эту мелочную хватку царского послания: «Туто же о постелях, о телогреях и иные бесчисленные, воистинну, яко бы неистовых баб басни» (послание Андрея Курбского Ивану Грозному, второе, 101).

Социально-имущественные умонастроения писателей в XVI в. продолжали развиваться неравномерно: собственно социальные представления (о социальных слоях, их имуществе) остались примерно на прежнем, XV века, уровне; имущественные же умонастроения (по поводу богатства, доходов и др.) стали еще более разнообразными. И все же в XVI в. ощутимее преобладали логические, пусть и эмоциональные рассуждения по соответствующим поводам, а художественные картины встречались гораздо реже.

Цельные характеристики литературы XVI в. давали различные исследователи (А. С. Орлов — об «обобщающих мероприятиях», Д. С. Лихачев — об «идеализирующем биографизме», Я. С. Лурье — об «исчезновении» беллетристики); однако из всех сделанных наблюдений (включая и изложенные нами) пока не вырисовывается главного, синтезирующего умонастроения писателей XVI в. (если таковое было). Нужны дальнейшие исследования.

5. ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVII В.

Социально-имущественные умонастроения писателей в XVII в. менялись в относительно короткие хронологические периоды. Об этих отрезках времени мы скажем совсем сжато, характеризуя отдельные памятники.

В первой четверти века у писателей преобладало, так сказать, «охранительное» отношение к имуществу и богатству; писатели проявляли крайнюю чувствительность к утратам и тратам имущества. Так, уже в одном из самых ранних сочинений Смутного времени — в «Послании дворянина дворянину» — автор касался имущественной темы: «Не оставили ни волосца животца... не оставили шерстинки, ни лошадки, ни коровки, а в земли не сеяно ни горстки» (184), — все уменьшительные существительные. Уничижительно-уменьшительные существительные употреблялись в челобитных при обозначении имущества жалобщика, но в документах суффиксы были другие — «-ишк». Такой официально-документальный уменьшительный суффикс проник, например, в «Послание дворительное недругу», пародировавшее просительное послание бедного человека к богатому: «животишек не забыл» (30). Между «животцом» «Послания дворянина дворянину» и «животишком» «Послания дворительного» большая стилистическая разница:

«животишки» — форма нормированно-документальная, обозначающая незначительность просителя и его потребностей перед высоким адресатом; а вот «животца», «волосца», «шерстинки», «лошадки», «коровки» и др. — это непринужденно-народные формы, отражавшие авторское отчаяние от полнейшего разорения. Автор нарисовал трагическую картину краха, что видно и из контекста: «Да немало, государь, лет, а разума нет, и не переписать своих бед. Розван, что баран, разорен до конца, а сед, что овца... А ныне воистину живем в погребнице, и кладем огнище, а на ногах воистинну остались одне голенища» и пр. (183—184)¹.

В произведениях XVII в. (особенно написанных народным языком) уменьшительные существительные нередко использовались для «рыдательного» выражения различных горестных чувств авторов или героев по поводу материальных потерь или обнищания, — уменьшительное существительное стояло рядом (или почти рядом) с обозначением чувства. Обнищавший, обносившийся сын молил отца: «Одень мою спинку, вели дата свитку... Свитченко у меня одно, и то не бывало с плечь давно... Смилуйся, государь, и прикажи въскоре размыть мое горе и угаси рыдание слезное» («Послание сына, от наготы гневного, к отцу» 77), — «свитченко» и «горе». Ограбленный молодец: «Чары и чулочки — все поснимано, рубашка и портки — все слуплено... а кирпичек положен под буйну его голову... в ногах у него лежат лапотки-отопочки... И вставал молодец... закручинился» («Повесть о Горе-Злочастии», 8); «чулочки», «портки», «лапотки» и — «закручинился». В своем «Житии» Аввакум вспоминал: «Курочка у нас черненька была, по два яичка на день приносила... На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынеча мне жаль курочки той, как на разум придет... А та птичка... нас кормила» (39); «курочка», «яички», «птичка», и — «жаль». Официально-документальный уничижительный суффикс «-ишк» иногда тоже связывался с чувствами: «Страмно мне, молодцу... а на мне лохонишко в полденежки», «покою себе не обретаю, а лабтишка розбиваю» («Азбука о голом и небогатом человеке», 27, 29); «лохонишко» и — «страмно», «лабтишки» и — нет «покою».

Произошло размежевание социального кругозора писателей: в древнерусской литературе писатели не раз отчаивались от разорений и ги-

¹ Цитируемые произведения: «Азбука о голом и небогатом человеке» — РДС; «Временник» Ивана Тимофеева — Временник Ивана Тимофеева / Изд. подгот. О. А. Державина. М.; Л., 1951; «Новая повесть о преславном Российском царстве» — Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Российском царстве» и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 1960; «Послание дворительное недругу» — РДС; «Послание дворянина дворянину» — РДС; «Послание сына, от наготы гневного, к отцу» — Демин А. С. Демократическая поэзия XVII в. в письмовниках и сборниках виршевых посланий // ТОДРЛ, т. 21; «Сказание» Авраамия Палицына — Сказание Авраамия Палицына / Изд. подгот. О. А. Державина, Е. В. Колосова. М.; Л., 1955; «Сказание о крестьянском сыне» — РДС.

бели богатства, но большого, «государственного»; с XVII в. же пронзительное чувство писателей стало изливаться на отдельные, единичные предметы — «лошадку», «коровку», «курочку», «чулочки», «лаптишки» и пр. Это означало, что право голоса в литературе получил не только «государственный» человек, но и мелкий хозяйчик со своими не такими уж масштабными материальными заботами, с невеликим перебором имущества. В «Послании дворянина дворянину» кругозор автора был явно ограничен личной деревенькой («и деревню сожгли до кола» — 184), баней, башней, тюрьмой, лавкой и рогожей («и лавка, государь, была уска... а послана рогожа» — 183), случайной едой («рыбою насладихся» — 183) и пр.

Сходный узкий кругозор можно отметить и в другом произведении начала XVII в. — в «Сказании о крестьянском сыне». Все действие развивалось здесь около крестьянской избы и в избе; упоминались предмет за предметом: крестьянский сын, а ныне тать, пришел «ко вратам», проник во двор, «влес на крестьянскую клеть», «и почал тать у клетки кровлю ломать», «и пошел по клетки... и увидел на гвозди кнут», «и нашел под кроватью ларец с казною да коробью с платьем», «нашел у крестьянские жены убрус», «и нашел в клетки коровай хлеба... и нашел на блюде калачь да рыбу... и нашел в оловенике пиво» и т. д. (87—88). Рассказать о воровстве, естественно, нельзя без упоминания отнятых вещей, но у автора «Сказания» (и редакторов) вещи оказывались настолько хороши, что необычный вор тут же жадно использовал их, как бы забыв о продаже и не опасаясь хозяев: «Нашел у крестьянские жены сапоги красные и почал в них обуватися... И нашел на блюде калачь да рыбу и учал ясти... И увидел на крестьянине новую шубу... да на себя болокался» и т. д. (87—88); под кроватью помещалась масса неожиданно разных предметов — не только ларец с деньгами и короб с одеждой: «И крестьянин... под кровать наклонился и взял березавой ослоп», «и нашел тать под кроватью тас с водою, и он взял ис-под кровати и учал руки умывати» (88). Каждый предмет, хватаемый воров, «возвышался» библейскими параллелями: «Нашел у крестьянские жены убрус и учал опоясыватися, а сам рече: „Препоясывается Исус лентием, а я — крестьянские жены убрусом“» (87) и пр. Все литературные средства свидетельствовали, что автор, замкнувшись в пределах «дворового» мирка, очень ценил вещи.

Начинал изложение автор «Сказания» с другого эпизода — с обучения крестьянского сына грамоте у учителя. Но и тут предметный мир оставался социально узок. Упоминалось, что учитель бил ученика, «подымаючи на козел» — деталь интерьера, а ученик мечтал: «И да будет у меня денешка скорая и горячая» (87), — думал, так сказать, о карманных деньгах. В позднейшем варианте «Сказания» в конце был добавлен еще один эпизод: «И пошли домой по дороге. Навстречу им

мужык идет с коровою. Тать же взя корову за рога...» (89), — но далеко за пределы двора действие так и не распространилось.

То же и в «Послании дворителю недругу» — рожь, кляча, шуба и порты, ворота, хлеб да соль (30). Юмористические (или сатирические) послания и повести начала XVII в., затрагивавшие имущественные темы, писали, по-видимому, люди «негосударственного» ума, очень скромного положения (во всяком случае, такой была их социальная позиция).

В литературе начала XVII в. на тему о сохранности имущества писали и авторы с «государственным» кругозором. Например, автор «Новой повести о преславном Российском царстве» заботился о сохранности всего государственного богатства: ведь польский король «хочет сие великое наше государство и в нем безчисленное богатство взяти и владети» (193). Таких прямолинейных предупреждений о поползновениях врагов на богатство Руси в древнерусской литературе было предостаточно. Но автора повести тревожил тройной комплекс чувств в связи с проблемой сохранности богатства: во-первых, горечь от произошедшего «крупного похищения», «понеже от давних лет мыслят на наше великое государство все они, окаянники и безбожники, — како бы им великое государство наше похитить» (193); второе авторское чувство — какая-то обнадуженность настоящим: враг «еще не до конца великое наше государство в руках своих держит... и, некоея ради вины, еще не до конца его видит в руках своих...» (193); и, наконец, третье авторское чувство — опасение полного разорения: «Дондеже сродников и доброхотов... силою и неким ухищрением их победит и под ся покарит, тогда... и со всем ея богатством получит» (193), — допущение, что может случиться и так. Подобного сложного чувства не выражали другие писатели — ни в начале XVII в., ни до того; по своей «мерцающей» настроенности «Новая повесть» стоит особняком в литературе: «То ли вам не весть, то ли вам не повеление, то ли вам не наказание...» (206).

В первой четверти XVII в. создавались произведения и «среднего» хозяйственного кругозора (не «государственного», но и не «дворового»). Например, в «Сказании» Авраамия Палицына авторский взгляд охватывал расхищаемое имущество на пространстве зримого поля, селения, города, монастыря: обретется бесчислено расхищаемо всякого хлеба, и давняя житница не истощены, и поля скирд стояху, гумна же пренаполнены одоней, и копен, и зородов» (106). Или: «Нигде бо христиане земледелцы и вси бегающе и не могуще жит семенных всячески скрыти; везде бо из ям зверие ископоваху и поядуху. Инии же зверие токмо по лесу и по грязи разсыповаху далече. Такожде и казаки и изменники, иде же что останется каковых жит, то в воду и в грязь сыплюще и конми топчающе. А иде же не пожгут домов или не мощно взяти домовных потреб, то все мелко колюще и в воду мещуще, входы же и затворы всякия разсекающе, дабы никому же не жительствовати ту» (122), — перечень явно усилительный, и вроде бы необязательная деталь — «мелко

колюще» — доводит до апогея рисуемую автором картину бессмысленного, иступленного и повсеместного изничтожения жита и запасов. И далее в сходной манере автор описывал порчу церковных вещей: «Ови же святыя иконы колюще и вариво и печиво строяще... Инии же, яко не ругающеса, святыя сосуды преливающе и разбивающе на свою потребу и на конскую» (124), — ломали не только с целью поругания, а просто так, для сиюминутной хозяйственной «потребы» (тут следовал перечень этих «потреб»). Все рос и дополнялся в первых главах «Сказания» образ безудержного расхищения и порчи материальных ценностей. Деньги особо броским и даже фантастическим способом участвовали в процессе расхищения богатства: «Сами убо мы вси не токмо пшеницу изъедаем на трапезах наших, но много злата и сребра в чревеса наша проходит от воздуха, и от земли, и от вод в брашнях» (108), «что же в том пиршестве лукавом содевается? Много злата и сребра в кал обращен пременится» (277 — текст первой редакции). До Авраамия Палицына никто с такой подробностью не обсуждал обстоятельства городского, «полевого» и монастырского разорения. «Средний» кругозор оказался более литературно плодотворным, в то время как «государственный» кругозор приводил к слишком общим, «статистическим» описаниям, а «дворовый» — к слишком мелким, «поштучным».

Авторы повестей первой четверти XVII в. с публицистической нервностью разрабатывали тему гибели царской казны. Вот соответствующий отрывок из «Новой повести»: «И еще же враг и лютый злодей наш... в цареву ризницу въеса, казити и губити то великое царское сокровище, от многих лет многими государи-самодержьци, великими князи и цари всеа Руси собраны и положено. Он же, окаянный... во едином часе, или паки не во мнозе времени, все хочет извести, и расточить, и погубить, и ту цареву ризницу хочет пуну до конца оставити... И ныне те великия сокровища, тяжкоценная камыки, и портища, и всякие вещи, иже нами неведомы и незнаемы, своими единомысленники разбивает и вещь к вещи прибирает, к тому же злата и сребра и бисерия велия ковчеги насыпает, и к тому прежереченному сопостату нашему, врагу-королю и похитителю... посылает» (207). Ясна идеальная программа автора: то, что делают враги, нельзя делать, — нельзя в царскую казну «въедаться», ее «казити и губити»; нельзя казну «во едином часе или паки не во мнозе времени извести и расточить»; нельзя «цареву ризницу пуну до конца оставити»; нельзя «вещь к вещи прибирать» (присваивать) и насыпать и отсылать из нее «злата и сребра и бисерия велия ковчеги». А что должно? Должно, чтобы «великия сокровища, тяжкоценныя камыки и портища, и всякия вещи» были «собраны и положены» в такой неприкосновенности, что даже «нами неведомы и незнаемы» были бы. Подразумеваемая автором «Новой повести» программа крайне бережного, благоговейного распоряжения ризницей в принципе не нова, но сравнительно с прошлым XVI веком она предстает более

подробной и эмоциональной в своей запретительной части — исторический опыт Смутного времени давал о себе знать.

В сходных тонах о царской казне писал и Иван Тимофеев в своем «Временнике», осуждая в первую очередь Бориса. Нельзя широко отворять царскую сокровищницу, а Борис «царевых сокровищ вся хранилища... яко играя и скача... во изношение отворити повеле... дарованьми невозбранно венчевая... елико успе сего скорость» (40), «в скорости намздити рук тех не упразнися... его же таковому наглому удовольию намного удивлятися сотвори...» (42). Нельзя предаваться частым осмотрам вещей в сокровищнице, что делал Борис, «зане частыми смотренными вещи сея превзимаяся, предварших его всероссийских деспот всех уничижая сим» (65). Наконец, недопустимо вообще истощать сокровищницу, а это делали правитель за правителем: «царевы ризница истоцишася» на «предваршую неправедно лихву» (42), «сокровичная же хранилища... вся истоци без чина и разсмотрения не в лепоту разточительне» (89), «царския сокровищныя хранилища истоци, яко уже ему сими его скотскому житию не довлетися... к потребе своего студожительства... блуднически изжившу» (103) и т. д., — чем дальше, тем более резок был Иван Тимофеев. Все это напоминает позицию автора «Новой повести». Положительная же программа Тимофеева тоже сходна: чтобы были «самодержавных сокровичная хранилища обременены, иже от родов в роды наполняема» (96), «исполненыя до верха» (102—103).

Запретительных тем по отношению к царской казне коснулся и Авраамий Палицын в первых двух главах своего «Сказания». Он также был против ее истощения: Борис «комуждо и не по достоинству, но вдвое и втрое повеле давати погоревшим на домовное строение от царския казны. Болярю же и инем... повеле бесчислено имати, не токмо на домовное строение, но и на ино, что кто хочет» (103), — нельзя давать из царской казны «не по достоинству», «бесчислено», «на ино, что кто хочет». Но при завершении работы автора над «Сказанием» (к 1620 г.) проблема сохранности царской казны уже «остыла»; о царской казне автор упомянул с каким-то спутанно-двойственным чувством: хотя и нехорошо растрачивать казну, зато этим Борис «многояродное московское множество в кротость введе» (103), — и плохо, и хорошо. Показательно, что в позднейшем варианте главы «Об оскудении денежной казны в дому чудотворца Сергия» (в конце «Сказания») появилось добавление, где с явными оправданиями сообщалось о растрате царской казны (на этот раз не Борисом, а Василием Шуйским): «...царская великая сокровища тогда зельно оскудеша. Надолзе бо царствующий град во осаде бысть и тмочисленнии людие... питаеми бываху от царских сокровищ, зане не пощаде державный не токмо казны своея... но и своя царские багряницы... Ни мало о сем не поболе, но промышляше, еже от погибели избавити христианство» (67; ср. 204). Да уже и в первой редакции «Сказания», во второй главе, парадоксальным образом осуждена была

не растрата царской казны, а как раз ее пополнение: Борис «древняя царская сокровища вся сим оскверни» — «домы велики бояр сосланных вся истощив и принесе в царския полаты» (105).

С начала XVII в. многие писательские высказывания на имущественные темы получили явственную социальную окрашенность, притом консервативную, — писатели высказывались за прежнее имущественное разделение общества. Так, Иван Тимофеев во «Временнике» прямо осуждал имущественные перемены, когда, по его выражению, «всякая гордость умножается преизобилных вещей, яко купно всех к сим притяжение дщанно бе, еже средних к первым безмерно же желание, последних же к средним рачение несытно» (93), — судя по употребленным эпитетам, пусть «первые», «средние» и «последние» остаются на прежних своих местах. «Спротивна бо древних царей уставным законом начаша вся во всех бывати: малая великих одолевати... рабы — своих им владык; и купно всяко вся честная на бесчестная прелагаема» (111). «... Чрез естество облечеса нелепотне... по всему подобне, яко нога венчеваема, глава же смиряема» (111—112), — вот что такое для непреклонного Тимофеева социально-имущественные перемены Смутного времени. Тимофеев постоянно порицал и всевозможные частные нарушения социально-имущественной иерархии: плохо, когда некие «рабы» «во всех же несвойственнейших им потребах изобилующе» и «общерабския же соображения вся в срабных им во одеждах и в снадных пременяема» (156); плохо, когда «корысти же вся людий... царь по жребию равно с рабы роздели» (13), и царица находится «в скудости телесных потреб... по равенству от раб, даже до пища, сосуд же, и одежд и протчих» (43—44), и царевне приходится «всякого безчестия скудость и нужду претерпети» (86). Не нравилось Тимофееву перераспределение богатства даже среди богатых же: «Могут та паки от них отъятися и инем вдатися, яже бо имяху собранная, вся к ним приити, тако же и отъяти. О сих они Богом реченная словеса лжу по себе непщующе, еже „собирайя не весть, кому собирает“; и прочия о сих таковым писание многи укоризны иматъ» (122—123).

В «Сказании» Авраамия Палицына (в первых шести главах) была выражена такая же консервативная социально-имущественная точка зрения. Достаточно привести отрывок, тоже с прямой характеристикой происходивших перемен: «Всяк же от своего чину выше начаша сходити: раби убо господие хотяще быти, и неволнии к свободе прескачюще. Силнии же разумом от тех в прах вменяеми бываху и ничто же не по них не смеюще рещи. Царем же играху, яко детищем. И всяк вышши меры своя жалованья хотяше» (119). Соответственно и разные частные отступления от традиции Авраамий осуждал; например, перемену нарядов у незнатных: «Неведомо же каковыя радости, не токмо... весь синьклит, но и прости все, яко женихи, и от конца и до конца улиц в злате, и в серебре, в багрех странских ходяще, веселяхуся» — не пристало

«простым» так ходить, их Авраамий предпочитал «видети смиренно ходящих» (112). Осуждал автор (в первой редакции) и слова Бориса во время венчания на царство: «...не вемы, что ради, испусти сицев глагол, зело высок и богомерзостен: „...Никто же убо будет в моем царьстве нищ или беден“ ...Словесе же сего никто недоумевся взбранити...», — эти царские слова хотелось «взбранити» автору «Сказания» скорее всего не потому, что они нарушили обычный чин венчания, а из-за их содержания: как же можно обходиться без нищих и бедных?

Имущественные темы в произведениях первой четверти XVII в. воплотились в основном в декларации, хотя и эмоциональные; но шло и движение вперед, к литературе Нового времени: наряду с «открытием человеческого характера»² писатели нащупывали путь к художественному освоению тем собственно социальных.

6. ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XVII В.

В 1620—1630-е годы писатели пришли к художественному допущению такой социальной жизни, которая разительно отличалась от привычной действительности. Речь идет не об утопиях разного рода, но о «расшатывающем» отношении писателей к сложившимся социальным устоям. Например, автор «Повести об Улиянии Осорьиной» муромский дворянин Дружина Осорьин рассказал о жизни своей матери, особенно же о том, как эта состоятельная хозяйка помогала нищим, больным, вдовам и сиротам, — дотошно занималась социальным обеспечением множества нуждающихся: «А иже сироты и вдовы немощныя в веси той бяху, и всех обшиваше и всех нужных и болных всяцем добром назираше, яко всем дивитися разуму ея и благоверию» (277), — показателен повтор слов «всех-всех-всяцем-всем». Повторы количественных обозначений следовали через все произведение: «многу же милостыню... творяше» (278); «она же многу милостыню... творяше... гладным все раздаше» (278—279); «многу милостыню... разда» (279); «и егда кто умираше, она же... на погребение сребреники даяше... И аще кто умираше, она же многи сироты своима рукама омываше... и сорокоуст даяше» (279); «и милостыню доволну даяше... и ни единого от просящих не отпусти тща... и никого нища тща не отпусти» (282); «мнихом и нищим поставляше во всю 40-цу по вся дни... милостыню посылаше... она же по них много имения в милостыню истроши не в точию в ты дни, но и по вся лета...» (279). Автор повести, пусть и незамысловато, выразил представление о налаженности помощи нищим и прочим нуждавшимся.

Дружина Осорьин постоянно отмечал, за счет каких средств Улияния помогала: «Она в та времена по вся нощи без сна пребываше, в

² См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси, 2-е изд. М., 1970, с. 6—24.

молбах и в рукоделии, в прядive и в пяличном деле. И то продав, нищим цену даяше...» (278); или: «Она же... взимаше пищу у свекрови на утреннее и на польденное ядение, и то все нищим гладным даяше» (278); «и займая, даяше нищим милостыню... — взимаше у детей своих сребреники... и то раздая нищим» (280); «но елико оставься скоты, и ризы, и сосуды вся распрода на жито и от того... милостыню доволну даяше» (281), — любопытно это точное знание автором благотворительных методов Улиянии. Он осознавал ее принцип совершенно ясно: она «точию нужные потребы домовные оставляше, и пищу точию год до года разчиташе, а избыток весь требующим растакаше» (281), то есть автор показал, что помощь бедным была именно организована, и организована хорошо.

Автор подчеркнул и то, что поступала эта помощь из «фонда» Улиянии бесперебойно: благотворительница «вдовами и сироты, аки истовая мать, печашеся» (278), настолько истово, что когда «многожды не остати у нея ни единой сребреницы», она все равно находила выход — «и в нищите обычныя милостыни не остася» (280, 281—282).

Вся жизнь Улиянии была изображена в повести именно как деятельность («делом исполняше» — 277, «добрых дел прилежае» — 278), как деятельность плодотворная (охвачено много людей), рационально организованная («вся смыслено и разумно разсуждая» — 279) и неотступная («непреткновенно совершаше» — 277), — словом, очень значимая благотворительность: недаром бесы «плача, вопияше» на невозможность сотворить «спону» ее делу «чюжих кормити» (281).

Что-то особое чувствовал автор в благотворительной деятельности Улиянии; ведь она стала заниматься ею из внутреннего побуждения, без воздействия церковного учения — автор указал на это: «И не лучися ей в девичестем возрасте в церковь приходити, ни слышати словес Божиих почитаемых, ни учителя учаща на спасение николи же; но смыслом благим наставляема нраву добродетелному» (277)¹. Да и потом в церковь Улияния ходила нерегулярно, а в конце жизни снова вообще «не ходяше к церкви» (282), — автор каждый раз объяснял это благовидными предлогами (дальностью расстояния до церкви, сильными морозами, старостью и пр.); но ощущение удивительности поведения Улиянии оставалось, и автор подчеркивал: «яко всем дивитися разуму ея и благовериѧ... яко всем дивитися о ней... и вси дивляхуся разуму ея» (277), «соседи же... дивяся» (282).

Цель такой деятельности — смягчить разницу между богатыми и бедными, чему, судя по эпизодам повести, способствовали и «милостыня» нищим, и мягкое обращение с «рабами», и обхождение Улиянии без

¹ Цитируемые произведения: «Повесть о Ерше Ершовиче» — РДС; «Повесть об Улиянии Осорьиной» — *Скрипиль М. О.* Повесть об Улиянии Осорьиной // ТОДРЛ, т. 6.

прислуги («но все сама собою творяше» — 278), и скудная еда («сама с детьми и рабы питаешься» — 282), и прямое обнищание («дойде же в последнюю нищету» — 282) и пр. Но автором подразумевалось только лишь смягчение социально-имущественной разницы, а не ее преодоление: бедные в повести, несмотря на «многу милостыню», не богатели, а Улияния даже в «последней нищете» имела, оказывается, «рабов» и какие-то деньги.

Повесть, в сущности, предлагала — и не без настойчивости — идеальный пример для многих: поэтому Улиянию благословлял на дело сам Никола-чудотворец (278), «глас от иконы Богородичны», а затем о ней и поп «поведа пред многими» (280—281), и сама Улияния «призва дети и рабы своя и поучив их» (282). Однако человеколюбивая деятельность героини не подавалась автором как единственный и обязательный образец: благотворительность могла быть и «много сварима... посмехаема» (277), и вполне уважаема, — автор повести видел альтернативные возможности в имущественных отношениях своего времени. Тут сказался опыт оживленного социально-хозяйственного строительства 1620—1630-х годов (после разрухи Смутного времени).

Сатирическая «Повесть о Ерше Ершовиче», казалось бы, абсолютно ни в чем не похожа на «Повесть об Улиянии Осорьиной», в том числе и в художественной подаче социально-имущественной темы: в «Повести об Улиянии» имущество, собственность весомы, реальны, а в «Повести о Ерше» все имущество — это обман. Борьба идет за вотчину — Ростовское озеро, но то бессмысленная вотчина: «А как, господа, то озеро позасохло в прежние лета и стало в томь озере хлебная скудость...» (8), «в прошлых, господа мои, годех то Ростовское озеро горело с Ыльина дни да до Семеня дни летоначатъца» (10), — что это за озеро, которое горело или в котором содержался хлеб? Ведь имелась в виду все-таки вода: «ходят поверх воды» (8). Местонахождение людей в этой вотчине тоже было бессмысленным: «в большом озере Ростовском съездялися судии всех городов» (7), «пришел в Ростовское озеро и впросился... начевать» (7) и т. д. — съезжались и ночевали в воде? И другие люди жили с таким же неудобным и даже зловещим удобством: «Сшлемся... на доброво человека, а живет он в Новгородском уезде, в реке Волге... да на другово доброво человека, а живет он под Новым городом, в реке» (8), «шлемся... на доброво человека, а живет он в Переславском озере» (9). Материальная польза от ростовской вотчины тоже эфемерна — Ерш жаловался на своих соседей: «И коли оне жили в Ростовскомь озере, и оне мне никогда и свету не дали» (8), — кроме света нечего и ожидать. Да и богатые владельцы в повести вовсе не богаты: «...оне люди богатые, а живут на дороге» (9), — это скорее нищие или разбойники. Во всей «Повести о Ерше Ершовиче» ни разу не упомянуто реальное имущество, которое можно потрогать руками, — одна пустота.

Подобное отношение к имуществу нельзя объяснить только юмористической, «переворачивающей» настроенностью автора (или авторов) повести; за юмором ощущается мировоззрение: все людские взаимоотношения — обман. Ерш неоднократно назывался обманщиком, он даже «вековой обманщик» (10), и честь Ерша обманная: «Человек я доброй, знают меня на Москве князи и бояря... и едят меня в ухе с перцем» и т. д. (8). Приводились примеры обманных поступков Ерша (10—11). Но обманщик не только Ерш. Сомнительны на суде и речи свидетеля — Леща: «Пути-де у нас и даные утерялися, а сверх тово и всем ведамо, что то озеро Ростовское наше, а не Ершево» (8), — «сверх» чего «ведамо»? «Сверх» отсутствующих документов. И кивал Лещ на других людей жульнически — на тех, кто с ним «во племяни... и они по Леще кроют» (9). И другой персонаж, понятой Мень, тоже обманывал — отнекивался от дела: «Брюхо у меня велико — ходити я не могу. А се у меня глаза малы — далеко не вижу. А се меня губы толсты — перед добрыми людьми говорить не умею» (9). И приговор обманный, недействительный: «А за воровство Ершево велели по всем бродом рыбным и по омуту рыбным бить его кнутом нещадно» (11), — бить кнутом по воде или в воде? Вся нещадная хлесткость битья гасится, тормозится водой. И оформление приговора ненастоящее, обманное же: «Имена целовальником — Треска Жеребцов, Конев брат... А печатал грамоту дьяк Рак Глазунов, печатал левою клешнею» и т. д. (12), — скачущая и пятящаяся произвольность имен и действий. Перед нами фантазмагорический мир (в отличие от добротного мира «Повести об Улиянии Осорьиной»).

Имущественная цель героя повести оставалась вполне серьезной и вовсе не зыбкой: «хозяина-то выжить» (10), — совсем другая, даже противоположная, чем в «Повести об Улиянии». И все же существенное сходство между обеими повестями есть. «Повесть о Ерше Ершовиче» тоже показывала деятельность Ерша как образчик поведения многих людей — ведь таких «знают... весь мир во многих людях и городех» (8), таких «знают... всякие люди» (10); такие, как Ерш, живут во множестве мест — не в одном Ростовском озере, а «по рекам и озерам на дне» (10); говоря о Ерше, автор иногда и переходил на множественное число («знают Ерша... купит ершев, возьмет много... а промыслу у них никаково опричь плутовства и ябедничества» — 10). «Повесть о Ерше Ершовиче», как и «Повесть об Улиянии Осорьиной», также предлагала альтернативу привычной имущественной деятельности, — но не самую идеальную, а самую бессовестную: и такому деятелю тоже жить можно, и его «нельзя никак проглотить» (11). Из социальных обстоятельств первой трети XVII в. разные писатели извлекали разные уроки. У авторов повестей этого времени (особенно 1620—1630-х годов) в отборе героев и ситуаций проявилась склонность к своеобразному социально-имущественному эксперименту, к художественному поиску альтернативных путей

хозяйственной деятельности — жизнь давала этому поводы, а искусство уже было в силах это отобразить.

7. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII В.

Мы рассмотрим всего лишь несколько ярких сочинений второй половины XVII в.; новой чертой литературы этого периода (как можно предположить на ограниченном материале) было выраженное через художественные картины трагическое отношение некоторых авторов к теме богатства и бедности. Вот, например, «Повесть о Горе-Злочастии»: ее автор в трагических тонах упоминал о жизни состоятельных людей — им грозили ограбление и бесчестие. Родители предупреждали Молодца: «...бойся глупа, чтобы глупыя на тя не подумали, да не сняли бы с тебя драгих порт, не доспели бы тебе позорства и стыда великаго, и племянн укору, и поносу безделнаго» (6)¹. Так оно и происходило: «А что сняты с него драгие порты, чары и чулочки — все поснимано, рубашка и порткы — все слуплено, и вся собина у его ограблена...» (8); «как не стало денги, ни полуденги, так не стало ни друга, не полдруга; род и племя отчитаются, все друзи прочь отдираются. Стало срамно Молодцу появиться к своему отцу и матери» и т. д. (9). Причем речь шла не только об одном этом Молодце, а как бы обо всех денежных и богато одетых людях. Состоятельному человеку грозила гибель: «Быть тебе от невесты истравлену, еще быть тебе от тое жены удавлену, из злата и сребра бысть убитому» (12), — на каждом этапе жизни (до женитьбы и после) угрожало убийство разнообразными способами, и все из-за денег.

Даже неосторожное слово вело к гибели: «А всегда гнило слово похвалное, похвала живет человеку пагуба» (11). И Горе зловеще поясняло Молодцу: «Не хвастай своим богатством! Бывали люди у меня, Горя, и мудряя тебя и досужае... учинися им злочаствие великое... во злом злочастии позорилися... они во гроб вселилися...» (11—12).

Само стремление к богатству (большому) уже было чревато опасностью. Родители учили Молодца: «Не прелщайся, чадо, на злато и сребро, не збираи богатства неправаго... да и тебе покрывает Бог от всякого зла»

¹ Цитируемые произведения: «Житие» Аввакума — Житие Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Текст памятника подгот. В. Е. Гусев. Иркутск, 1979; «Книга бесед» и «Книга толкований и нравоучений» Аввакума — РИБ, т. 39; «Повесть о Горе-Злочастии» — Повесть о Горе-Злочастии / Изд. подгот. Д. С. Лихачев, Е. И. Ванеева. Л., 1984; «Повесть о Фроле Скобееве», Погодинский список — «Изборник»: (Сборник произведений литературы Древней Руси) / Текст памятника подгот. Ю. К. Бегунов. М., 1969; «Повесть о Фроле Скобееве», Тартуский список — Бегунов Ю. К. Тартуский список «Повести о Фроле Скобееве» // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1962, вып. 119; «Повесть о Фроле Скобееве», Титовский список — Гудзий Н. К. Хрестоматия по древней русской литературе XI—XVII веков. 6-е изд., испр. М., 1955.

(7). А наоборот — разразятся несчастья: «...богато жить — убить и ограбить, чтобы Молотца за то повесили или с камнем в воду посадили» (16).

Богатый (или состоятельный человек) в повести жил в очень грозном, неуравновешенном мире — всюду подстерегали опасности. Поэтому родители ограничивали Молодца: «Не ходи, чадо... не садися... не давай очам воли... не ложися... не ходи... не знайся... не дружися...» (6—7).

Поэтому и пир состоятельных людей шел отгороженно и замкнуто от мира: «...двор, что град стоит, изба на дворе, что высок терем, а в избе идет велик пир почестен» (9). И сами пирующие советовали Молодцу «жити умеючи» — настороженно: «А чюжих ты дел не объявляй, а что слышишь или видишь, не сказывай» (11).

Но бедность в повести тоже представляла трагичной; на всем протяжении повести автор, как бы плачась, говорил о тех, кого Бог «положил... в напасти великия, и срамные позоры немерныя, безживотие злое... злую немерную наготу и босоту, и бесконечную нищету, и недостатки последние» (6); бедность — это «многия скорби неисцельныя, и печали неутешныя, скудость, и недостаток, и нищета последняя» (10), «нагота и босота безмерная, легота-безпроторица великая» (12) и пр., — автор никогда не упоминал бедность без крайне усугубляющих эпитетов, даже при беглом упоминании — обязательно с эпитетом «великий». Бедность настолько велика, беспросветна, безмерна, бесконечна, неутешна, что вызывает юмор отчаяния: «Житие мне Бог дал великое — ясти-кушати стало нечево!» (8—9); «за нагим-то горе не погонитца, да никто к нагому не привяжетца» (12); «на себя-то купить, то проторится, а ты, удал молодец, и так живешь» (12); «да не бьют, не мучат нагих-босых, и из раю нагих-босых не выгонят, а с тово свету сюды не вытепут» (13), «а в горе жить — некручинну быть» (14), «когда у меня нет ничево, и тужить мне не о чем» (14), — такими пословицами пересыпались все рассказы о бедности. Виделся и конец: «А нагому-босому шумить разбой» (12, 13), — с неизбежной казнью: «...умереть будет напрасною смертию» (16), — или самоубийством: «Ино кинусь я, молодец, в быстру реку, полощы мое тело, быстра река, ино еште, рыбы, мое тело белое! Ино лутчи мне жития сего позорного» (13).

О трагичности «Повести» (употребляя именно этот термин) уже писал Д. С. Лихачев: «„Повесть о Горе-Злочастии“ не смешна, а трагична»; «глубокий пессимизм самого замысла „Повести о Горе-Злочастии“ следует, быть может, поставить в связь с тем, что автор ее мог наблюдать в реальной русской действительности второй половины XVII в. Экономический кризис, приведший в это время к многочисленным крестьянским и городским восстаниям»², воздействовал на умонастроение автора повести и рисуемые им картины.

² Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 2, с. 400, 337. Ср. также с. 321, 397, 399.

Однако этот пессимизм, кажется, не держался долго, и в литературе последней трети XVII в. уже возобладали иные художественные представления: сформировалась откровенно положительная эстетика богатства и имущества. Возьмем, например, главнейшие сочинения протопопа Аввакума («Книгу бесед», «Книгу толкований и нравоучений» и «Житие») — никакого отвержения материальных благ в них не было. Наоборот, Аввакум, в сущности, любовался материальными богатствами и их красотой, независимо от того, как он относился к их владельцам. Царь может быть горд и суетен, но его град красив сам по себе: «Палаты и теремы златоверхими украшены, преграды и стены златом устроены, и пути камнями драгими намощены, и садовые деревья различные насажены, и птицы воспевающе, и зверие в садах глумящися, и крины и травы процветающе, благоухание износяще повеваемо» («Книга бесед», 286), — авторское удовольствие от зримой картины передавалось ритмичностью изложения и соответствующими эпитетами. Аввакум хотя едко и ругал царя за «вся затеи и заводы пустошнаго сего века», но от предметного, сочного изображения его довольства не отказывался: «...столовые, долгие и бесконечные, пироги, и меды сладкие, и водка процеженная, з зеленьем вином... перина пуховая и возглавие... евнухи опахивают... чтобы мухи не кусали великаго государя... светлблещающися ризы и уряжение коней... златоверхие полаты... багряноносная перфира и венец царской, бисером и камением драгим устроен... светлообразныя рычажды, яко ангели, пред тобою оруженосцы попархивали в блещащихся ризах» («Книга толкований и нравоучений», 574—575).

Аввакум испытывал тягу и к изображению материальных деталей бедности: «А ты, душе, много ли имеешь..? Разве мешок, да горшок, а третье — лапти на ногах» («Книга бесед», 252—253), — эти мешок, горшок и лапти вовсе не презираемы автором. Или: «Курочка у нас черненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, Божиим повелением нужде нашей помогая... Ни курочка, ни што чудо была: во весь год по два яичка на день давала; сто рублей при ней — плюново дело, железо! А та птичка одушевлена, Божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала» («Житие», редакция А, 39), — Аввакум вспоминал «необязательные» детали: что курочка была черненькой и как она клевала, — курочка действительно становилась «одушевленной», теплой, ценной.

В приведенном отрывке о курочке обращает внимание трижды повторенное Аввакумом выражение «по два яичка на день» («чудо была») и восхищенное восклицание «сто рублей при ней — плюново дело, железо!». Умиление Аввакума понятно, но он мог бы обойтись и без цифр, как это было во множестве житий. Оказывается, любил Аввакум считать и в цифры (как и в зримые детали) тоже вкладывал свое уважение к хозяйству, к имуществу, даже мизерному; поэтому в «Жи-

тии» нередко были подсчеты предметов: «...царь... впрямь добр до нас бывал... яйцами нас делил... Ино государь сам руку к губам робенку принес, два яйца ему дал и погладил по голове» (редакция В, 62), — почему запомнилось Аввакуму, что яиц было дано именно два? От них не зависело спасение жизни (яйца пасхальные), степень царской милости по количеству яиц не определялась, и нарушения церковного этикета тоже не произошло: просто Аввакум, скорее всего, не мог не пояснить хозяйственно, хоть и мимоходом, сколько яиц было дано.

В других местах «Жития» конкретные подсчеты делались специально: «Иногда пришлют кусок мяса, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, колько сойдется — четверть пуда и гривенку-другую, а иногда и полпудика накопит» (редакция А, 36); «прикащик же мучки гривенок с тридцать дал, да коровку, да овецек пять-шесть» (44), «ано мне Бог дал шесть язей да две щуки... На другие сутки рыб с десять мне Бог дал» (редакция В, 76), — цифры выражали серьезное отношение протопопа к материальным запасам.

Такое же внимание проявлял Аввакум к деньгам, к ценам: «У протопопицы моей однарядка московская была, не сгнила, — по-русскому рублев в полтретьяцеть и больши по тамошнему. Дал нам четыре мешка ржи за нея» (редакция А, 35); «в двацети в пяти рублях сия нам пришла корова» (редакция В, 78); «пожаловал, прислал ко мне десеть рублей денег, царица десеть рублей же денег, Лукьян духовник десеть рублей же, Родион Стрешнев десеть рублей же, а дружище наше старое Феодор Ртищев, тот и шестьдесят рублей казначею своему велел в шапку мне сунуть; а про иных нечева и сказывать: всяк тащит да несет всячиною!» (редакция А, 50—51), — не жаден, не рачителен и не пунктуален Аввакум в счете денег, а все-таки сообщал о них детально, знал им цену.

При изображении людей богатых авторский счет сохранялся, только числа были большими: «Осьмь тысяць хрестиян имела, домовова заводу тысяць болши двух сот было, — дети мне духовныя, ведаю про них» («Книга бесед», 252), — с уважением поминал Аввакум богатство боярыни Морозовой. Или в другом месте о ней же: «Жена ты была боярская... вдова честная... Дома твоего тебе служащих было человек с три ста, у тебя же было хрестиян осьмь сот, имения в дому твоём на двесте тысящ или на полтретьи было... Другов и сродников в Москве множество много. Ездил к ним на колеснице, еже есть в корете драгой и устроенной серебром и златом, и аргамаки многи — 6 или дванадесать, — с гремячими чепьми. За тобою же слуг, рабов и рабыней грядущих сто или два ста, а иногда человек и с триста...» («Книга бесед», 408).

Аввакума нельзя зачислять в борцы с богатством; эстетически он выступил его певцом, — знаменательная черта времени царя Алексея Михайловича, с его диковинными экономическими и вещевыми экспериментами.

В конце XVII в. подобные умонастроения усилились: писательские, художественные, интересы сосредоточились на изображении того, как можно быстро разбогатеть. Особенно выразительной в этом отношении является «Повесть о Фроле Скобееве» конца XVII — начала XVIII в.

Повесть можно читать со счетами в руках (далее без специальных оговорок цитируем Погодинский список). Хотя «он, Скобеев, дворянин небогатой» (690), «и сам, как собака, голоден» (695), но на глазах у читателей он получал — цифры следовали за цифрами — сначала «денгами 300 рублей», тут же еще «денег 200 рублей» (689), потом икону — «образ, которой обложен был золотом и драгим камением, как прикладу всего на 500 рублей» (694), а еще «запасу на 6 лошедях» (695), затем перепадает ему «вотчина... в Синбирском уезде, которая по переписи состоит в 300-х дворах» (695; в Титовском списке добавлено: «да в Новгородском уезде в 200 дворах» — 424), и, наконец, результат: сам царский стольник «учинил при жизни своей Фрола Скобеева наследником во всем своем движимом и недвижимом имении. И стал жить Фрол Скобеев в великом богатстве» (696; в Титовском списке сам царь обещает: «а моею милостию против прочих своей братьи оставлен не будет» — 423, и добавлено о Фроле, что он «стал жить очень роскошно» — 424; в Тартуском списке еще добавлено: «А сам стал жить в доме столника» — 375).

Автор повести не увлекался живописанием богатств, его интересовал сам деловой путь к обогащению — ведь «весма Скобееву удивлялис, что он зделал такую притчину так смело» (695). Вся повесть — это своего рода пример на решение задачи, ответ на вопрос, как сделать «такую притчину». Автор сначала излагал исходные данные (как излагается в задаче то, что «дано»): «В Новгородском уезде имелся дворянин Фрол Скобеев. В том же Ноугородском уезде имелись вотчины столника Нардина-Нащюкина, имелась дочь Аннушка, которая жила в тех новгородских вотчинах» (686). При необходимости вводились новые данные, например: «И у того столника Нардина-Нащюкина имелас сестра, пострижена в Девичьем монастыре» (689). Общая задача разделялась на три последовательные задачи — их формулировал сам Фрол: во-первых, «возыметь любовь с той Аннушкою» (686), во-вторых, «Аннушку достать себе в жену» (689), и, в-третьих, взять богатство и жить «постоянно» (692).

Фрол Скобеев занимался решением этих задач — учитывал данные, соображал, догадывался и достигал, о чем регулярно информировала повесть: «И проведаль», «взял себе намерение», «умыслил», «усмотрел» (686) — и вот «желаемое исполнил» (689). И снова: «проведаль», «стал в великом сумнении, не ведает, что делать», «взял себе намерение» (689), «пришло в память» (690), «усмотрел» (690) — и вот «женился» (691). И снова: «не ведает, что делать» (691), «умыслил» (692), «усмотрил» (694) — и вот «справил тое вотчину за себя» (696).

Автор повести не столько описывал, сколько разлагал жизнь героя на ряд последовательных успешных действий и через такие повторяющиеся примеры подсказывал читателям принципы достижения успеха. Первый принцип пройдохи — надо крутиться в нужном кругу, чтобы все тебя знали. Так и Фрол «имел себе более пропитание всегда ходить в Москве поверенным з делами» (689) — поэтому «ево многия знатныя персоны знали» (690), «и все столники Фрола Скобеева знают» (692), «и столник Нардин-Нащокин закричал: „...Знаю тебя давно плута“» (693).

Второй принцип: не зная нужного конкретного человека или семейства досконально, полезно рассчитать привычные занятия и маршруты такого рода лиц вообще (какой они «имели в то время обычай» — Тартуский список, 373) — тогда можно выйти точно на цель. Так и Фрол Скобеев не был знаком ни с Аннушкой, ни с кем другим из ее окружения, но расчел: раз есть у отца ее вотчина, значит есть и приказчик — нашел «и всегда ездил в дом того прикащика» (686). Раз есть приказчик, то по какому-нибудь делу появятся у него и другие слуги из той же вотчины: и действительно — «пришла к тому прикащику мамка дочери столника» (686), а Фрол тут как тут. Раз есть мамка, а «та мамка живет всегда при Аннушки» (686), то выполняет она желания и поручения стольничей дочери. А желания типичные и вполне предвидимые: «И во время увеселительных вечеров, которые бывают в веселости девичеству, называемыя по их девичеству званию святки, и та столника Нардина-Нащокина дочь Аннушка приказала мамке своей... у которых дворян имеюца дочери-девицы, чтоб тех дочерей просить к той стольнической дочери Аннушке для веселости их вечеринку» (687) — Фрол знал, как «бывает», оттого проник в дом Аннушки и познакомился с ней. Нужно Фролу иметь беседу с Нардиным-Нащокиным, и опять ему помогло знание типичного времяпрепровождения стольников: «И после обедни, — сообщает один из стольников же, — будем стоять все мы в собрании на Ивановской площади» (692) — туда заявился Фрол вовремя и к месту: «И пришел Фрол Скобеев в Успенский собор к обедни. И столник Нардин-Нащокин, и Ловчиков, и другия столники, — все были. И по отшествии литургии в то время имелись в собрании на Ивановской площади, против Ивана Великаго, и все столники собрались на оную площадь, и Нардин-Нащокин тоже» (692).

Рассчитывать надо также на типичные чувства людей. Например, слуга за подарки будет чувствовать себя обязанным, так и мамка перед Фролом, «памятуя ево к себе два многия подарки, объявила ему: „Добро, господин Скобеев, за твою ко мне милость“» (688). Любовьница будет «жалеть» своего любовника, так «и та Аннушка сожалея того Фрола Скобеева» (688). В Титовском списке добавлено: «понеже он тотчас вложил жалость в сердце ее, как с нею лежал во особливой полате... Уже тако жалость вселилась в сердце Аннушкино, что великою нуждою отстала от Фрола Скобеева» — 418). Отец девицы погневается да смяг-

чится, так и родители Аннушки «в сердцах своих бранят дочь свою, и проклинают, и не ведают, что чинить над нею. И пришли в память, и сожалея дочери своей, и стали рассуждать... И столник и з женою своею соболезновали о ней... Однако же, оставя весь свой гнев родительской, отпустя ей вину» (693—695).

Третий принцип удачливости действий — знать, «как кого обмануть» (690), чтобы каждый мог сказать только: «А куды он поехал, Скобеев, и что делал, не знаю» (691). Для этого надо не раскрывать, «не объявлять» истинной цели своих действий. Фрол ни разу цели своей «вскоре... не объявил» (686). Только потом окружающие начали догадываться о Фроловых целях — «о том весьма стала думать» (687), «и как усмотрела... и стала в великом сумнени» (688), «стал в великом сумнени и сказал ему: „Настоящей ты плут! Что ты надо мною зделал?“» (692) и т. п. Кстати говоря, и другие герои в повести поступали так же: «и мамка та... ничего о том не объявила» (686), «и никому о том не объявила» (688), «и та Аннушка никому о том не объявила» (688).

Разговаривать и обдeldывать дела с нужными людьми надо тайно, наедине — повторы в повести подчеркивали и это неявно проповедуемое правило сокрытия информации: «И как пошла та мамка от того прикащика... и Фрол Скобеев вышел за нею» (686), «вышел Фрол Скобеев ис церкви и стал ждть мамку» (689), «и кроме всех столников пал пред ногами Скобеев столнику Нардину-Нащокину» (692), «и та Аннушка... мамку взяла за руку и отвела от тех девиц и стала ей говорить искусно» (688; в Титовском списке добавлено: «и отвела в особливую полату» — 418).

Обманывать нужно любым способом — «как можно» (689, 690), в том числе менять свой облик «под видом других» (690). Поэтому Фрол то «убрався в девичей убор» (687), то «убрався в лакейское платье» (690), Аннушка тоже при нужде готова «притворить себя, яко жестоко болна» (694). Обман — главный и совершенно не осуждаемый принцип поведения буквально всех героев повести, кроме стольника Нардина-Нащокина, но на то была причина: «И столник летами древен» (693; в Титовском списке добавлено: «и зрением от древности уже помрачен» — 422. И еще кроме эпизодического персонажа, который тоже не в силах был обманывать — кучера, «весьма жестока пьяна» — 690).

Четвертый принцип — тонкость обхождения. Как Фрол, например, называл Нардина-Нащокина? Сначала: «Милостивый государь, столник первы» (692—693). Потом покороче — передавал слуге: «Донеси их милости» (694). Потом осторожно перешел на другую терминологию: «И сказал Фрол Скобеев: „Тако ж и Аннушка благодарит батюшку“» (694). А потом и прямо от себя называл: «И Фрол Скобеев сказал человеку: „Донеси батюшку“» (695). И заключительное обращение Фрола непосредственно к стольнику: «Ну, государь-батюшка» (695). Переме-

ны в назывании всегда несколько предшествовали в повести переменам реальным, выступали в качестве намека — каков плут!

Наконец, пятый принцип — решительность действий, риск, «не взирая ни на какой себе страх» (688), «либо буду полковник или покойник» (689).

Повесть типизировала не только действия «плута», но и обстоятельства, в которых ему повезет. А повезти ему могло тогда, когда все были энергичны, все пребывали в действиях и в суете. Все герои повести только и делали, что приезжали и уезжали. Например, мамка «ехала ко всем дворянам... И приехала та мамка в дом Фрола Скобеева... И мамка поехала в дом к госпоже своей Аннушке» (686—687). Аннушка тоже «собирався вскоре и поехала в Москву» (689), «и та Аннушка поехала на квартиру Фрола Скобеева» (690), «и Фрол Скобеев убрался з женою своею Аннушкою и поехал в дом тестя своего» (695), «и сидев не много время, и поехал Фрол Скобеев и з женою своею на квартиру» (696). О самом Фроле и говорить нечего — он приходил и уходил, приезжал и уезжал в повести постоянно и резво (в Титовском списке сказано так: «будем не умедля... и ездил к тестю своему безпрестанно» — 424). Даже престарелый Нардин-Нащокин и тот ездил: «И тот столник приехал к сестре своей в монастыре» (689—690), «и случится по некоторому времени тому столнику Нардину-Нащокину ехать в гости з женою своею» (690), «и столник Нардин-Нащокин приехал из гостей» (691), и снова «потом столник Нардин-Нащокин поехал в монастырь к сестре своей... И приехал в дом... И наутре столник Нащокин поехал к государю» (691) и т. д. и т. п. Герои все время были заняты — «время таково нет» (691).

Встречаясь, герои погружались в переговоры, явно деловые: «и много имели разговоров» (690), «имел с ним разъговоров много» (690), «имел с ним много разговоров» (692), «имели оныя столники между собою разговоры, что им надобно» (692), «и стал ево разговаривать» (693).

Слова и дела незамедлительно следовали друг за другом. Например, обстоятельно раскрывалась просьба: «Потом сестра ево просила брата своего покорно, чтоб он отпустил к ней в монастырь для свидания дочь свою Аннушку... и просила ево: „...пришлю я по ея корету и возников, чтоб ты приказал ей ехать ко мне“». Тут же следовало обещание: «И столник Нардин-Нащокин обещал к ней отпустить дочь свою». За обещанием немедленно следовало приказание: Нардин «приказывает дочери своей: „Ежели пришлет по тебя из Москвы сестра корету и с возниками, то ты поезжай к ней“». Тут же приказ исполняла мамка и отчитывалась: «Та мамка сказала, что по приказу вашему отпущена к сестрице вашей в монастырь, для того, что она прислала корету и возников». Отчеты продолжались и далее: «И столник Нардин-Нащокин сказал сестре своей: „...для того что она отпущена к тебе... для того что ты присылала по нея корету с возниками... и по приказу нашему отпущена к тебе“» и т. д. (690—691) — повторения слов «по приказу отпус-

тять», «прислать карету с возниками» «ехать» создавали атмосферу полнейшей договоренности и исполнительности.

Именно к такой обстановке мог подстраиваться Фрол Скобеев (в сонной и аморфной среде его авантюры не прошли бы). Именно в такой атмосфере люди подчинялись воле энергичнейшего человека: сестра Фрола «не смела преслужать воли брата своего» (687), и «Аннушка учинила по воли мужа своего» (694), и мамка признавалась Фролу: «готова чинить все по воли твоей» (688).

Автор повести эстетизировал, так сказать, методологию достижения богатства³. Это характерная черта Петровского времени — эстетизация конструкций, приемов, «артикулов». От этого литература не становилась суше. Наоборот, она делалась более программной, а одновременно более рельефно изображающей поведение целеустремленного человека.

Подведем предварительный итог. Предложенный очень неполный и схематический очерк социально-имущественных умонастроений древнерусских писателей XI—XVII вв. все же выявляет несколько «сквозных» линий их развития. Социально-имущественные темы в древнерусской литературе с течением времени неуклонно занимали все более значительное место, особенно с XVI в. Понемногу усиливалась собственно социальная содержательность тем, в особенности с XVII в. Волнообразно, с подъемами и спадами, происходило художественное развертывание этих тем и мотивов: первый прорыв пришелся на XV в., следующий начался со второй четверти XVII в. и с нарастанием охватил большую часть столетия. С XV в. по начало XVIII в. нередким было изображение писателями неких желательных образцов или норм социальной жизни. Наиболее же был своеобразен вклад социально-имущественной тематики в историю древнерусской литературы в XV и XVII вв.

1991 г.

³ Об итогах изучения повести см.: Душечкина Е. В. Стилистика русской бытовой повести XVII века: (Повесть о Фроле Скобееве). Учебный материал по древнерусской литературе. Таллин, 1986.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XI—XII ВВ.

Точная хронология крещения Руси остается недостаточно проясненной. Записей, близких по времени к этому событию X в., не сохранилось; более поздние письменные источники, особенно летопись XI—XII вв., пересказали и смешали разные легенды о крещении, притом не всегда внятно изложенные. По предположениям наших современных историков, которые продолжают спорить друг с другом, сначала принял христианство киевский князь Владимир Святославич — в марте 988 г. (или в январе 988 г., или в январе-феврале 989 г.), а киевляне крестились в мае 988 г. (или летом 989 г., или даже в августе 990 г.). Твердых свидетельств в памятниках пока не обнаруживается.

Об идейном значении принятия христианства можно говорить с большей определенностью: тут источники многочисленны и красноречивы. Правда, трудно обнаружить что-либо принципиально новое: тексты-то давным-давно известны, новых нет. Пока приходится накапливать оттенки, открывающиеся при внимательном анализе памятников — и при традиционных, и при не совсем привычных подходах. Традиционным и очень плодотворным в науке является, например, стремление охарактеризовать не только узкоцерковное, а относительно более мирское, светское, а именно конкретное идейно-политическое значение крещения Руси (работы историков же — Б. Грекова, С. Бахрушина, И. Будовница, А. Кузьмина, О. Рапова, И. Фроянова, А. Поппэ и др.).

Литературовед может сделать шаг в уже не совсем обычном направлении и попытаться обрисовать более общие, то есть философские идеи и представления о государстве, стране, народе, обществе как целом, которые были принесены христианством на Русь или сформировались у писателей благодаря крещению в некий комплекс, отличный от языческого.

О комплексе таких, так сказать, «обществоведческих» писательских представлений (преимущественно на тему «Бог и Русь») и пойдет речь. Она получили в литературе довольно полное выражение не сразу, а в течение 100—130 лет после крещения, в особенности в летописном своде конца XI — начала XII в. «Повести временных лет». Хотя летопись складывалась постепенно и у нее было несколько сменивших друг друга составителей, но они в известной мере «договорились» между собой, и комплекс их философских представлений о Руси отличался связностью и оптимизмом. Начнем с «Повести...».

Основополагающей в «Повести временных лет» стала идея о долго подготавливавшемся и наконец наступившем включении Руси и ее народа в мировую историю (ветхозаветную и новозаветную). Самый подроб-

ный исторический рассказ содержала помещенная под 986 г. так называемая «Речь философа», заимствованная из староболгарской литературы, но соответственно преобразованная в составе древнерусской летописи. «Философ» развертывал картину хода мировой истории «из начала»: «...створи Богъ звери и скоты, и гады земныя; створи же и человека... и от того человеци расплодишася и умножишася по земли... И сниде Богъ, и размеси языки на 70 и 2 языка... и разидошася по странамъ, и каждо своя норovy прияша» (102, 104, 106)¹.

Эта «Речь философа» в летописи создавала впечатление приобщенности Руси к мировому процессу, потому что «философ» обращался уже к киевскому князю Владимиру Святославичу, который его заинтересованно слушал, перебивал вопросами и от имени своей земли и своих предков — «отцов наших» — выносил суждения о разных верах и мировоззрениях. Само слушание речи Владимиром было представлено летописцем на фоне многочисленных предшествующих равнодушных замечаний о месте Руси в мире «по мнозехъ же времянех» после потопа, когда среди других народов и стран «нача ся прозывати Руска земля», и от моравов пришла «грамота словенская, яже грамота есть в Руси», и в мировом христианстве («христиане, елико земля») возникло «русское познанье къ Богу».

В других статьях «Повести временных лет» (например, под 983 и 988 гг.) эта единая линия развития от сотворения мира Богом до появления «новых» (крещеных) людей на Руси упоминалась кратко и эмоционально — как хорошо известная история, имеющая непосредственное отношение к персонажам летописи. Житель Киева, старавшийся сохранить жизнь своего сына, восклицал: «А Богъ есть единъ... иже створилъ небо, и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека, и даль есть ему жити на земли» (96). Владимир тоже видел дело рук своих в исторической перспективе: «Христе Боже... призри на новыя люди сия, и дажь имъ, Господи, уведети тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша страны хрестьяньския» (132).

Язычеству, с его склонностью к космогонии, а не к «обществоведению», был несвойствен такой широкий взгляд на Русь и древнерусское

¹ Цитируемые произведения: письмо Владимира Мономаха — ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Повесть временных лет» — ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Похвала Феодосию Печерскому» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Сказание о Борисе и Глебе» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Сказание чудес Бориса и Глеба» — Успенский сборник; «Слово о законе и благодати» Илариона — Идеино-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986, ч. 1 / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова; «Слово о полку Игореве» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Хождение» Даниила — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров; «Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба» — Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916.

общество как целое². Но, думается, после крещения не на пустом месте произошло резкое расширение писательского кругозора. Вероятно, во времена язычества уже были выработаны понятия для обозначения таких крупных категорий, как «Русь», «Русская земля» и т. п. Во всяком случае, они использовались лет за сто до крещения в дипломатической практике, особенно в текстах договоров с греками (приводимых «Повестью...»). В договорах под 907 и 912 гг. термин «Русь» употреблялся в значении географически отдельной страны: «Поидучи же домовъ, в Русь»; «проводимъ ю в Рускую землю... От коеа любо страны пришедшим в Русь... не възратиться в Русь...» и пр. В договоре под 945 г. под «Русью» понималось уже и общественно-политическое объединение: договор заключался «от Игоря, великого князя рускаго, и от всякоя княжья и от всехъ людей Руския земля... от страны Руския», «от Игоря и от всехъ боярь и от всех людей от страны Руския...» (60, 66). Представление о достойном месте Русской земли среди других стран, вероятно тоже сформировалось до крещения. Недаром под 971 г. в «Повести...» приводился призыв князя Святослава Игоревича: «...да не посрамимъ земле Руские...» (84). Крещение дало толчок широкому развитию идеи о месте Руси в мире и в мировой истории.

Большое распространение получила в «Повести временных лет» другая «обществоведческая» идея — о защищенности страны и народа, наступившей в результате принятия христианства, о появлении целого полка заступников у Русской земли. В летописи постоянно повторялась мысль о главном хранителе в спасителе Руси — Боге: «Колика ти радость! Не единъ, ни два спасаетася... Се же ни единъ, ни два, но бесчисленное множество к Богу приступиша... Сеть скрушися, и мы избавлени быхом от прельсти дьяволя» (134, под 988 г. «Мы» — это вся крещеная Русь). Защитником страны считался и крест: «Богъ же показа силу крестную на показанье земле Русьстей... крестъ бо князем в бранех пособить, въ бранех крестомъ согражаеми вернии людье побежають супостаты противныя, крестъ бо вскоре избавляеть от напастий призывающим его с верою» (186, под 1068 г. о том, как «придоша иноплемьеници на Русьску землю, половци мнози»). Заступниками Руси назывались и первые князья-христиане (при их жизни и по смерти): летописец верил, что княгиня Ольга «по смерти моляще Бога за Русь» (82, похвала Ольге под 969 г.); летописец подчеркивал тему заступничества, когда упоминал, что «людье, бе-щисла» оплакивали Владимира — «бояре акы заступника ихъ земли, убозии акы заступника и кормителя» (144, под

² О мировом историческом кругозоре создателей «Повести временных лет» см.: Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 2; Панченко А. М. Эстетические аспекты христианизации Руси // Русская литература, 1988, № 1. О христианской философии истории см.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. О языческом мировоззрении см.: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян, М., 1981; Он же. Язычество Древней Руси. М., 1987.

1015 г.). Летописная повесть «О убьеньи Борисове» (под тем же годом) особенно развивала тему заступничества Бориса и Глеба: «И еста заступника Русьстей земли... и молящася войну къ Владыце о своихъ людех... молящася за новыя люди хрестьяньскыя и сродники своя... Но христолюбивая... заступника наша! покорита поганыя подъ нозе княземъ нашим, молящася къ владыце Богу...» и пр. (152, 154).

Божественную защиту просили и получали — навсегда или на время — отдельные князья (Бог «защитилъ бо есть сию блажену Вольгу»; Всеслава «яве избави крестъ честный»), коалиции князей («яко Господь избавилъ ны есть от врагъ наших»): целые войска («такъ Богъ избави хрестьяны от поганыхъ»); совокупность монахов и мирские люди (подвижники «и по смерти... молятъ Бога за сде сущюю братью, и за мирскую братью»); множество больных, заключенных и т.д. Летопись неоднократно подчеркивала, что у язычников, наоборот, не было института такой широкой и действенной защиты общества.

Еще одна философская идея «Повести...», связанная с принятием христианства: о том, что у Русской земли теперь есть верховный судья. Крупные общенародные несчастья побуждали летописцев искать не ответственного за ошибки, а наказующего за грехи.

Например, объяснение большого нападения половцев на Русь в 1068 г.: «Земли же согрешивши которой любо, казнить Богъ смертью, ли гладомъ, ли наведеньемъ поганыхъ, ли ведромъ, ли гусеницею, ли иными казнями... Да сего ради приемлемъ от Бога всячскыя и нахоженье ратных, по Божью повеленью приемлем казнь грехъ ради наших» (180, 184). Чем сильнее были несчастья, тем отчетливей высказывалась мысль о Божьем суде. Особенно много размышлял летописец по поводу поражения русских от половцев в 1093 г.: «Се бо на ны Богъ попусти поганыя... насъ кажа, да быхомъ ся востягнули от злыхъ делъ. Симъ казнить ны нахоженьемъ поганых; се бо есть батогъ его... Рцемъ велегласно: „Праведенъ еси, господи, и прави суди твои“... Согрешихом, и казними есмы» и т. п. (232). Конечно, летописцы надеялись на милостивого судью, «аще Богъ хоцетъ помиловати... земле Руские». Для язычества же, наоборот, не являлась характерной идея суда над целой землей или страной.

В состав главных входила и «обществоведческая» идея о руководстве Бога всей страной и ее властителями, о всеобъемлющем надзоре Бога, о его обязательных карах и наградах: «И шлеми (посылаемы) суть повеленьем Божьимъ, амо же хоцетъ владыка и творецъ всех»; «Богъ даетъ власть, ему же хоцетъ... Аще бо кая земля управится пред Богомъ, поставляеть ей цесаря или князя праведна...» и т. д. и т. п. Отсюда следовали постоянные размышления летописцев о поощряющем приближении людей к Богу или наказующем отделении от Бога: «Богу возлюбившую новые люди»; «новии людье хрестьянстии, избрании Богомъ»; «да никтоже дерзнетъ рещи, яко ненавидами Богомъ есмы! Да не будеть! Кого бо тако Богъ любить, якоже ны (нас) взлюбилъ есть? Кого

тако почельсть есть, якоже ны прославильсть есть и възнесль? Никого же! Имъ же паче ярость свою въздвиже на ны, яко паче всех почтени бывше, горее всех сдеяхом грехы» (234 и др.).

Наконец, в круг философских идей об обществе входили отразившиеся в «Повести...» мысли о благом воздействии христианской веры: «Аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре прияли»; «Дивно же есть се, колико добра створиль Русьстей земли, крестивъ ю»; «Богъ бо не хоцеть зла человекомъ, но блага»; «Вложи Богъ мысль добру в русьские князи». Летописцы говорили о внесении положительных, утешающих и утешающих чувств в общество («землю умягчи»), особенно прославляли христианскую любовь: «Любы (любовь) бо есть выше всего. Яко же Иоан глаголетъ: „Богъ любви (любовь) есть, пребываяй в любви, в Бозе пребываетъ, и Богъ в немъ пребываетъ“... В любви бо все свершается. Любве ради и гресисыпаются. Любве бо ради сниде Господь на землю и распятыся за ны грешныя...». Восхвалялся тот, кто был «милостивъ убогимъ и вдовицамъ, ласковъ же ко всякому, богату и убогу», «Аще кого видяше ли шюмна, ли в коем зазоре, не осудяше, но вся на любовь прекладаше и утешаше». Говорилось о радости верующих: «...Бога познахъ и радуюся. Аще ты познаеши, и радоватися почнешь»³. Говорилось об утешении их от житейских печалей и забот: «...показая любовь велику, свершая апостола, глаголюща: „Утешайте печалныя“». Языческое отношение к людям было гораздо более яростным и суровым.

Прочие философские идеи об обществе были менее распространены в «Повести временных лет». Заметней проступала лишь мысль о мудрости, учении, книгах, принесенных христианством обществу. Так, в статье под 898 г. торжественно сообщалось о результатах научения «Словенской земли» (западных славян): теперь они «могутъ сказати книжная словеса и разумъ их... протолковати святыя книги... Апостоль и Еуангелье... Псалтырь, и Охтаикъ, и прочая книги» — «и ради быша словени, яко слышиша виличья Божья своимъ языкомъ» (40, 42). В повествовании под 988 г. о крещении Руси после сообщения о том, что Владимир «даяти нача на ученье книжное» детей только что крещенных родителей, следовали длинные рассуждения летописца о значении «словесе книжного». В знаменитой похвале церковным книгам под 1037 г. («Почитая пророческыя беседы, и еуангельская ученья и апостолская, и житья святыхъ отецъ...») снова повторялась мысль о даровании христианством книг обществу: «...ими же поучащесе вернии людье... насяя книжными словесы сердца верных людий, а мы... ученье приемлюще книжное» (166). Из поучения Феодосия Печерского, изложенного

³ О теме радости Руси в ранних церковных службах см.: *Игнатия. Труды русских песнописцев в Киевский период // Богословские труды Московской патриархии. М., 1987, сб. 28, с. 232 и сл.*

под 1074 г., приводилось прямое наставление черноризцам «бодру быти на... почитанья книжная; паче же имети в устехъ Псалтырь Давыдовъ...» (196). Да и сам Феодосий, как сказано в похвале ему под 1091 г., «моляся... за люди хрестьяньския, за землю Русьскую... в словесехъ книжныхъ веселуяся» (224). И т. д. Язычеству же было чуждо обращение к мудрости книг и книжному учению.

Словом, не очень еще велик был комплекс важнейших философских идей писателей о стране и обществе. Не устоялся он и имел свои разновидности. Так, в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, сочиненном между 1037 и 1050 гг. (может быть, в 1049 г.), тот же комплекс идей был изложен строго, прямолинейно и однообразно. Иларион логически архипоследовательно развивал идею включения Руси в мировую историю. Сначала он много раз подряд повторял гиперболизированные формулы о распространении христианской веры («простираяся на вся края землины... и расподися на множество языкъ... всю землю обять... по всей же земли вера прострися... и есть по всей земли уже славится святая Троица» и т. д. и т. п.). Затем тоже неоднократно Иларион подчеркивал мысль о присоединении Руси к этому процессу («...и всю землю покрывъ, и до насъ разлиася, се уже и мы съ всеми христианами славимъ святую Троицу... Вся страны благыи Богъ нашъ помилова и насъ не презре»). А в заключение разворачивал исторически поясняющие сопоставления: «Хвалить же похвалными гласы Римская страна Петра и Паула... Асия, и Ефесъ, и Пафмъ — Иоанна Богословца, Индия — Фому, Егупеть — Марка. Вся страны, и грады, и людие чтуть и славятъ коегождо ихъ учителя, иже научиша я (их) православной вере. Похвалимъ же и мы... нашего учителя и наставника великааго кагана нашеа земли Володимера...» (26—27).

Иларион в своей речи высказал философские идеи об обществе только в броском и урезанном виде. Первый русский митрополит — парадокс! — не настаивал на идее заступничества Бога за Русь, а оказывался как бы на более светской позиции и больше сводил все к милости князя Владимира: «Къ сему же кто исповестъ многыя твоя нощныя милостыня и дневныя щедроты, яже къ убогимъ творяше, къ сирымъ, къ болящимъ, къ дължными, къ вдовамъ и къ всемъ требующимъ милости... Просящимъ подаваа, нагыа одевая, жадныя и алчныя насыщая, болящимъ всяко утешение посылаа, должныя искупаа, работнымъ свободу дая» и пр. (30—31). И в руководстве обществом Иларион тоже видел не Божью, а в первую очередь княжескую волю: Владимир «заповедавъ по всей земли и кръститися... и всемъ быти христианомъ: малымъ и великимъ, рабомъ и свободнымъ, юнымъ и старымъ, бояромъ и простымъ, богатымъ и убогимъ» (28). Иларион отмечал, что в результате волеизъявления именно Владимира (а не Бога непосредственно) «епископи сташа предъ святымъ олтаремъ... Попове, и диаconi, и весь клиросъ украсиша и въ лепоту одеша святыа церкви.

Апостольская труба и еуагельский громъ вся грады огласи... Манастыреве на горах стаща, черноризьци явишася. Мужи и жены, и малии и велиции — вси людие исполнеше святыа церкви» (28—29). Этот «проняжеский» смысловой оттенок сохранялся и далее: в заключительной части «Слова» Иларион утверждал, что и после смерти Владимира внуки и правнуки живут именно по его «предаянию».

Что же касается размышлений о моральных и интеллектуальных приобретениях христианства, то и тут Иларион сузил тему до многократных указаний только на получение благодати и истины: «Но многажды идоломъ поклонявшася како истинныа благодати удержатъ учение?», «нѣ... вся страны благыи Богъ нашъ помилова, и насъ не презре въсхоте, и спасе ны, и въ разумъ истинныи приведе» и пр.

В течение второй половины XI — начала XII в. идеи о стране и обществе развивались некоторыми писателями явно в патриотическом направлении. Так, неизвестный нам автор «Сказания о Борисе и Глебе» был настолько воодушевлен появлением своих святых и у Руси, что заговорил об их мировом значении: святые Борис и Глеб не только по Руси, «и не ту единде, нѣ и по вьсемъ сторонамъ и по вьсемъ землямъ преходяща, болезни вся и недугы отгонита, сущиихъ въ тьмьницахъ и въ узахъ посещающа... не нашему единому языку тѣкъмо подано бысть Бѣгъмъ, нѣ и вьсеи земли спасение. Отъ всехъ бо странъ ту приходяще...» (298). Даже такое преувеличение: Вышгороду, где покоятся тела новых святых, «ему же не тѣчнѣ (не равен) ни вьсь мирь. Поистине Вышегородъ наречеса — вышии и превышии городъ всехъ...» (300). Если Иларион в «Слове о законе и благодати» восхвалял Русскую землю, «яже ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли», «въ странахъ многахъ», то он гордился не христианским, а воинским «мужествомъ же, и храборствомъ... и победами, и крепостию» языческих князей — Игоря, Святослава, «кагана» Владимира, — тема очень старая. Автор же «Сказания о Борисе и Глебе», пожалуй, был первым в древнерусской литературе, кто в делах веры увидел Русь не догоняющей другие христианские страны, а даже превосходящей их.

Соответственно и в другие философские темы автор «Сказания о Борисе и Глебе» вносил еще не ставшее традиционным, искреннее, свежее эмоциональное преувеличение: крещена сразу именно вся Русь (Владимир «святымъ крщениемъ всю просвети сию землю Русьску»): именно все спасутся («вси спасетеса!»; «множество... съпасени бывають»); именно от всех напастей всегда будет защищена вся Русь (автор призывал Бориса и Глеба: «...а вы не о единомъ бо граде, ни о дѣву, ни о вьси (веси) попечение и молитву въздаета, нѣ о всей земли Русьскеи!.. не забываита отъчѣства... его же всегда посетъмъ не оставляета... всегда молитася о насъ... и всяка пагуба да не наидеть на ны, гладъ и озлобление отъ насъ далече отъженета и всего меча браньна избавита насъ... и вьсего греха и нападения заступита насъ...» — 300).

Представление о мировой значимости культа Бориса и Глеба стало еще более сильным в последующем произведении — в «Сказании чудес Бориса и Глеба». Здесь между прочим сообщалось, что в 1102 г. князь Владимир Всеволодович Мономах украсил гробы новых святых золотом, серебром и хрусталем, Автор добавлял: «И тако украси добре, яко не могу съказати оного ухыщрения по достоянию довьльне, яко многомъ приходящемъ и отъ гркъъ и отъ инехъ же земль и глаголати: „Никде же сицея красоты несть, а и многихъ святыхъ раки видели есмы“» (69). Сразу вспоминается рассказ об «испытании вер» в «Повести временных лет» (под 987 г.) — о том, как посланные в Царьград Владимиром Святославичем русские «мужи» отзывались о греческой церковной службе: «И придохомъ же въ Греки... несть бо на земли такога вида ли красоты такая, и недоумеемъ бо сказати... и есть служба их паче всехъ странъ. Мы убо не можемъ забыти красоты тоя...» (122, 124) Таким образом, лет через пятнадцать—двадцать после крещения один из авторов «Сказания чудес...» устроил своего рода «реванш», когда уже греки восхищались все превосходящей красотой на Руси.

(Однако в литературе древнейшего периода писатели далеко не всегда выражали комплекс философских идей об обществе без запинаний, сбоев, недоговоренности, противоречий. Это относится к творчеству самого знаменитого древнейшего писателя — Нестора. Нестору приписывают создание трех важных и больших произведений конца XI — начала XII в. — «Повести временных лет» (в том виде, в каком она дошла до нас), «Чтения о житии и погублении Бориса и Глеба» и «Жития Феодосия Печерского». Общественно-философская авторская позиция в них очень разная. С одной стороны, весь комплекс идей о месте Руси в мировой истории, заступничестве Бога за Русь и т. д. был собран как будто именно Нестором (в «Повести временных лет»)⁴. С другой же стороны, того же Нестора, наоборот, не интересовали идеи о Руси, и он весь был погружен в дела Киево-Печерского монастыря («Житие Феодосия Печерского», в котором ни разу не употреблены слова «Русь», «Русская земля», «русский»). И еще одно несоответствие: в то время как современники Нестора перешли уже к наступательной идее первенства Руси среди других христианских стран, Нестор в «Чтении о житии и погублении Бориса и Глеба» тянул старую приниженную ноту о месте Руси в христианском мире: «И умножившимся хръстьянамъ, и требы идольския упраздниша... Симъ сице бывшимъ, оста же страна Руская въ первей прельсти идольския; не убо бе слышала ни отъ кого же слово о Господе нашемъ Иусе Христе, не беша бо ни апостоли ходили к нимъ, никто же бо имъ пропедалъ слова Божия». Разве что святой Глеб, «отъя поношение отъ сыновъ Рускихъ» (3, 6). Эти противоречия пока не имеют удовлетворительного объяснения. Может быть, в Несторе силь-

⁴ См.: Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах, т. 2, с. 114—132.

ны были черты эклектика, несколько равнодушного к соединяемым материалам? Или то написали разные Несторы?

Существовали и иные произведения, которые лишь бегло, камерно касались темы Русской земли в целом и темы «Бог — Русь». Показательно, например, как в «Похвале Феодосию Печерскому» (в составе «Киево-Печерского патерика») велось рассуждение об исторической связи с мировой христианской историей, которая, подобно текущей реке, захватила и «нас»: «Ту реку испутившие, апостоли приведоша вся языки къ Богу, ту реку пивше, мученици (мученики) небрегоша телесъ своих... Сию реку пивше, отци оставиша грады и села... сию реку пивше, ученици (ученики) твои небрегоша земных... Им же мы последующе, прибегохом в дом Божиа матере...» (464). «Мы», оказывается, это всего лишь монахи Киево-Печерского монастыря, — «мировая» тема сузилась до местной, о Руси в целом автор величавой похвалы (Нестор?) вообще не думал.

Само монолитное понятие Русской земли могло как-то дробиться на выборочно припоминаемые имена, например, в «Хождении» игумена Даниила 1104—1106 гг. Даниил торжественно объявил: посетил Иерусалим «и азъ поставил свое кандило на гробе святемъ от всея Русьскыя земля!». Но что это за «вся» Русская земля? — «не забых именъ князь русских, и княгинь, и детей ихъ, епископъ, игумень, и бояръ, и детей моихъ духовных, и всехъ христианъ николи же не забыл есмь... Толко есь ихъ помнел именъ, да техъ вписахъ» (106, 114), — нет претензии на широту.

Прямая уверенность в покровительстве Бога Русской земле тоже как бы затуманивалась в некоторых случаях. Например, в письме, написанном, по-видимому, в 1096 г., Владимир Мономах грозил лишь отдаленной Божьей карой тем, кто приносит вред Русской земле: «...понеже не хочю я лиха, но добра хочю братьи и Русьскей земли... Оже ли кто вас не хочеть добра, ни мира хрестьяном, а не буди ему от Бога мира узрети на оном свете души его!» (412) Ср. завещание его деда Ярослава Мудрого (под 1054 г. в «Повести временных лет»), которое энергичнее обещало отклик Бога еще при жизни человека, а не на том свете: «Да аще будете в любви межю собою, Богъ будет в васъ, и покорить вы (вам) противныя подъ вы» (174). Реальности феодальной жизни накладывали свой отпечаток на комплекс идей о Руси.

Мотив строгого надзора Бога за своими подопечными тоже не всегда выдерживался. Например, в «Повести временных лет» под 1074 г. в повествовании о первых древнерусских черноризцах было показано, что хотя монахи Киево-Печерского монастыря и ослушались Божьего повеленья, но неотвратимого наказания не последовало. Дело происходило так. Феодосий Печерский на смертном одре назвал монахам имя нового игумена, своего преемника, и предупредил: «...то азъ створю вамъ не по своему изволенью, но по Божью строенью». Однако монахи не согласились и запросили другого человека в игумены. Феодосии стал резко

пенять: «Се азъ по Божью повеленю нареклъ бяхъ... се же вы свою волю створити хочете». Не подействовало. В результате Феодосий «послушавъ ихъ» и благословил того, кого они хотели. Факт отступления монахов от Божьего повеления сам автор повествования не комментировал, словно не заметил его необычность (в «Житии Феодосия Печерского» Нестора упоминание о таком факте все-таки было опущено). Не настаивал автор на мысли о неотступном назирании Бога за людьми. Недаром в этом же эпизоде даже идеальный подвижник Феодосий Печерский не знал, какой будет оценка его деятельности Богом: «Аще по моему ошествию света сего, аще буду Богу угодилъ и приялъ мя будетъ Богъ, то по моему ошествию монастырь ся начнетъ строити и прибывати в нем: то вежете, яко приялъ мя есть Богъ. Аще ли по моей смерти оскудевати начнетъ монастырь черноризци и потребами монастырьскими, то вѣдуще будете, яко не угодилъ есмь Богу» (198, 200).

Несмотря на все несовершенство, комплексу идей XI—XII вв. о знаменитой, защищенной и облагороженной Руси была суждена многовековая и многообразная жизнь в русской литературе. К этому комплексу тогда же быстро стали добавляться совершенно светские политические идеи, вроде тех, которые в «Повести временных лет» под 1097 г. были высказаны устами враждовавших князей: «Почто губим Русскую землю, сами на ся котору деюще? А половци землю нашу несутъ розно и ради суть, оже межю нами рати. Да ноне отселе имемся въ едино сердце и блюдем Русские земли, кождо да держитъ отчину свою...» — сами наведем порядок (248).

Если не выходить за пределы XII в., то можно отметить и такой неожиданный нюанс в истории писательских представлений о русском обществе: в «Слове о полку Игореве» несчастья Руси от феодальных междоусобиц почему-то ставились в связь с именами языческих божеств. Так, народ, терпящий беды от княжеских раздоров, автор «Слова» называл внуком Дажь-бога: «...сеяшеться и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Дажь-Божа внука, въ княжихъ крамолахъ вещи человекомъ скратишась. Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть...» (376). И снова: «Уже бо, братие, невеселая година вѣстала... Вѣстала Обида въ силахъ Дажь-Божа внука... И начяша князи... сами на себе крамолу ковати... кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли...» (378).

Имя того или иного языческого божества, вероятно, служило автору «Слова» знаком тревоги. Например, упоминание языческих божеств — Стрибога, Хорса — было связано с обозначением неблагоприятной ситуации для героев «Слова»: «Се ветри, Стрибожи внуци, веють съ моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы» (376); «Всеславъ князь... великому Хрьсови влъкомъ путь прерыкаше... часто беды страдаше» (384). Упоминание Дива (как бы ни толковать это таинственное существо) тоже входило в очерк зловещих обстоятельств: Игорю солнце «тьмою путь заступаше... збися Дивъ»; «по Руской земли простирашася полов-

ци... уже врьжеса Дивъ на землю» (374, 380). Правда, языческого бога Велеса автор «Слова» назвал вроде бы в более спокойном контексте: «Чи ли възпети было, вещей Бояне, Велесовъ внуче: „Комони ржуть за Сулою — звонить слава въ Кыеве!“» (372). И все-таки беспокоящий подтекст ощущался и здесь: Велес мог быть упомянут и оттого, что автор «Слова» спорил с Бояном, противопоставлял себя Бояну и говорил о конском ржании — символе далекого военного похода. И наоборот, как только обстоятельства становились явно благоприятствующими, так в «Слове» вместо языческого божества фигурировало христианское, как, например, в рассказе об удачном бегстве Игоря из половецкого плена: «Игореви князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую»; «Игорь князь в Руской земли... Игорь едетъ по Боричеву къ святей Богородици Пирогощей» (386)⁵. Употребление имен языческих божеств в «Слове о полку Игореве», в сущности, явилось зачатком будущей секуляризации комплекса идей «Бог и Русь» в русской литературе Нового времени.

1988 г.

⁵ О художественном, а не религиозном значении языческих элементов в «Слове о полку Игореве» см.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1985; Он же. «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. М., 1976.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК АВТОРА «ЖИТИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

«Житие Александра Невского», или «Повести о житии», или «Слово о величии князе Александре Ярославиче», написанное лет через двадцать после смерти Александра, в 1280-х годах, уже давно обратило на себя внимание исследователей неординарностью формы — перед нами не столько житие, сколько воинская повесть или светская княжеская биография, вернее, пользуясь словами автора, «исповедание» жизни (159)¹. Социальный облик автора размыт. «Житие» составил книжник, а конкретнее, может быть, церковник, а может быть, и дружинник, во всяком случае лицо, приближенное ко князю: «самовидец... възраста его», по авторскому признанию (159).

Автор выразил местный, областнический взгляд на своего героя уже в начальной похвале: «Но и взоръ его паче инех человекъ» (160). Уточнение — «инех человекъ» — имело явственный ограничительный оттенок: Александр оказывался лучше не всех прочих людей вообще, как это можно было ожидать по обычаю панегириков такого рода, а только лучше лишь какой-то группы некоторых «человекъ». Слово «инех» в «Житии» не означало даже подавляющего большинства прочих людей. Ср. в другом месте: «И овехъ с собою поведе, а инех, помиловав, отпусти» — только некоторых, избранных (169). Масштабность похвалы была очень невелика.

И действительно, прочтем эту похвалу далее. Автор сравнил Александра с трубящей трубой: «И глас его — аки труба в народе» (160). Сравнение в общем традиционное. В библейских книгах не раз голос героя сравнивался с трубой: «Яко и трубу, възнеси глас свои» («Библия», 90 об. 1, Книга пророка Исаии, гл. 58), «и слышах за собою глас велми, яко трубу (60 об. Апокалипсис, гл. 1). Но тут можно заметить, что автор «Жития» добавил уточнение — «в народе» (160), представив трубный глас героя распространившимся не на «весь мир», не в «четыре

¹ Цитируемые произведения: «Александрия» — *Истрин В. М.* Александрия русских Хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Приложения; Библия — Библия. Острог, 1581. Указываются листы и столбцы издания; «Житие Александра Невского» — *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965; «Житие Василия Нового» — *Вилинский С. Г.* Житие Василия Нового в русской литературе. Одесса, 1913, ч. 2; «Синайский патерик» — Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967; «Слово о погибели Русской земли» — *Бегунов Ю. К.* Указ. соч.; «Тверская летопись» — ПСРЛ, т. 15; «Хроника» Георгия Амартола — *Истрин В. М.* Книги временных и образных Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920, т. 1: Текст.

конца вселенной», как это было принято в похвалах (ср.: «Сила же твоихъ глаголь, Златоусте, яко труба ... всельньскыя вся коньца пригласова» — «Минеи служебные» 1097 г.²), а только в пределах одного народа. Притом слово «народ» и даже во множественном числе слово «народы» автор «Жития» понимал узко, областнически — как жителей одного княжества или одного города: «къ граду Пскову... весь народ» (172), «къ граду Володимерю... весь народ» (178). Автор не распространил авторитет Александра за пределы Владимиро-Суздальского княжества. Это всего лишь оттенки, но симптоматичные.

И дальше, в центральной части «Жития», где речь шла о военных победах Александра, о победе в Чудской битве, автор тоже ограничил славу князя: «Зде же прослави богъ Александра пред всеми полкы, яко же Иуса Наввина у Ерехона» (171). Ссылка на Библию оттеняет позицию автора. В библейской Книге Иуса Навина Бог обещал Иусу: «В сеи день начинаю възвышати тя пред всеми сыньми Израилевыми» (98. 1. Гл. 3), то есть перед всем народом. В «Житии Александра Невского» же прославление происходит только локально, только перед полками, очевидно, перед участниками сражения. В уточнении отразилась местная ориентация автора.

В конце «Жития», в рассказе о смерти Александра, автор процитировал отзыв митрополита об умершем князе: «Чада моя, разумеите, яко уже зайде солнце земли Суздальской» (178). Князей, в том числе и умерших, обычно сравнивали с солнцем вообще, с солнцем вселенским (ср. «Киевскую летопись» под 1178 г.). Образ же солнца только Суздальской земли был, конечно, местным, областническим. Автор смотрел на Александра Невского глазами деятеля местного масштаба.

И не только на Александра Невского. Например, автор изобразил явление святых Бориса и Глеба, плывущих на судне, и противопоставил бросающихся в глаза святых князей малозаметным гребцам: Борис и Глеб сразу заметны, потому что «стояща», а гребцы почти невидимы, потому что «седаху»; Борис и Глеб выделяются «посреди насада», а гребцы кроются по бортам; Борис и Глеб — «въ одеждах чръвленых», а гребцы — «аки мглоу одеани»; Борис и Глеб «руки дръжаща на рамехъ», а руки гребцов скрыты (165). Изложение этого эпизода было навеяно автору «Жития» текстом «Сказания о Борисе и Глебе» (Успенский сборник, 51.2), но в «Сказании» такое странное противопоставление князей гребцам отсутствовало, а проведено оно было именно автором «Жития». Отдельные детали, возможно, были взяты из «Жития Василия Нового»: «И лица ихъ мглоу обията», «тии одеани въ одежду мъглену» (533, 541), но в «Житии Василия Нового» в соответствующих местах также не содержалось изобразительного противопоставления одних людей другим. Автор «Жития Александра Невского» словно резким

² См.: Срезневский, т. 3, стб. 1004.

лучом света выделил князей, а остальных людей спрятал во «мгле». Но каких? Всего лишь гребцов, а не народ или все человечество. Опять повторилось противопоставление князей небольшой группе «инех человекъ».

Наряду с местной ориентированностью автору «Жития» была присуща политическая трезвость оценок. Так, например, начальная в «Житии» похвала князю, о которой мы уже говорили, завершилась серией сопоставлений с библейскими героями, однако только однажды было проведено полное приравнивание: «И даль бе ему Богъ премудрость Соломоноу» (161) — здесь Александра мудрость безусловно равнялась Соломоновой. Все другие сопоставления уже не означали полного приравнивания: «Сила же бе его — часть от силы Самсона» (160—161) — слово «часть» означало, что сила Александра Невского происходит от силы Самсона, но вовсе не равняется ей. «Лице же его — акы лице Иосифа» (160), «храборство же его — акы царя римского Еуспесиана» (161), — это «акы» тоже означало лишь сходство, но не равенство качеств Александра библейским образцам. Автор знал меру.

Дальше — больше. Похвалы Александру Невскому, произносимые персонажами «Жития», автор быстро обрывал, превращая в цитаты, необычно урезанные и очень скромно звучащие для таких случаев. Например, цитировались в «Житии» восхищенные отзывы об Александре якобы магистра Ливонского ордена и якобы самого хана Батыя. Магистр объявил о Невском не на весь мир, а только «къ своимъ», в своем кругу, и очень кратко: «Прошед страны языкъ, не видехъ таковаго ни въ царехъ царя, ни въ князехъ князя» (162) — и больше ничего не говорилось. После этого высказывания автор не изобразил Александра, но тут же перешел к парадоксально нетриумфальному следствию: «Сеи же слышавъ, король части Римьскыя» безбоязненно напал на Александра. То есть особо важного, переломного значения похвале автор не придавал. Так же и Батый сказал не всем, а только «вельможамъ своимъ», в узком кругу: «Истину ми скажете, яко несть подобна сему князя» — однако с царями не сравнил. Эта кратчайшая похвала ни к чему не обязывала, потому что тут же Батый «разгневался... и посла... повоевати землю Суждальскую» (174—175). Автор «Жития» не был в упоении от славы Александра и не отрывался от политической реальности.

Автор оставался верен себе и тогда, когда, на первый взгляд, чересчур широко очерчивал распространение славы Александра Невского в мире: «И нача слыти имя его по всемъ странамъ и до моря Хонужьскаго, и до горъ Араратьскых, и об ону страну моря Варяжьскаго, и до великаго Риму» (173). Некоторая повышенность тона понятна. Но больше никаких преувеличений нет. Имя Александра Невского действительно «слыло» в этих четко обозначенных пределах — до Каспия и Кавказских гор, до противоположного берега Балтики и до Рима. Прав Н. И. Серебрянский: «В историческом отношении преувеличения эти в сущности не

так велики»³. Автор проявил себя не столько панегиристом, сколько, выражаясь древнерусским языком, добросовестным «служебником» князя, погруженным в дела княжества и трезво осведомленным в окружающей обстановке.

Это был подтянутый «служебник», что видно по манере именованя персонажей в «Житии», которых автор чиновно называл с указанием титула или должности. Почти каждое авторское упоминание имени Александра, даже одно за другим подряд, обязательно сопровождалось титулом — «князь великий Александр» или «князь Александр». Третьестепенный персонаж вводился с титулом тоже: «Савастиян икономъ», «от иконома его Савастияна» (179, 180). Указывалась должность и самого мимолетного персонажа: «Ияковъ, полочанинъ, ловець бе у князя» (167) — больше этого Иакова мы не встретим, но его должность знаем. То же о другом персонаже, мелькнувшем в сражении: «от слугъ его, именем Ратмиръ» (167) — княжеский слуга. Постоянно употреблялся автором еще один элемент официального именованя лиц — слово «господинъ»: «Си вся слышахомъ от господина своего Александра» (168), «подающе... славу господину князю Александру» (172), «написати кончину господина своего» (177), «се же бысть слышано всемъ от господина митрополита» (180). Это черта, возможно, новгородская.

«Житие» написал человек, представлявший в категориях служебных отношений весь мир, даже деяния Бога. Так автор упомянул об Александре: «Воистину бо без Божия повеления не бе княжение его» (160). Многие древнерусские писатели повторяли мысль о том, что власть — от Бога или дана Богом, но, пожалуй, лишь один автор «Жития» сказал о Божьем «повелении» как назначении на княжение верховным администратором. Далее, сохраняя служебную настроенность, автор сослался: всем правителям «Боже... повеле жити, не преступающе в чюжую часть» (163). Об этом феодальном принципе древнерусские писатели обычно говорили как о междукняжеском соглашении, но, кажется, один лишь автор «Жития» опять осмыслил его как Божье распоряжение, поступившее, так сказать, административно сверху вниз.

Впитавший правила службы автор внес специфическую деталь в изображение чуда. Один из персонажей «Жития» видел видение со святыми Борисом и Глебом, плывущими на судне, и слушал их разговор, довольно странный, если вдуматься. Борис обратился к Глебу с указанием: «Брате Глебе, вели грести» (165). Подобного эпизода не было в предшествующих сочинениях о Борисе и Глебе, и его необходимость не диктовалась сюжетом. Почему же Борис сам не приказал гребцам? Да потому что перед взором автора «Жития» выстроилась цепочка начальников и подчиненных: старший Борис мягко указывал младшему Глебу, а тот уже как непосредственный начальник повелевал гребцам.

³ *Серебрянский Н. И.* Древнерусские княжеские жития: (Обзор редакций и тексты). М., 1915, с. 207.

Как профессиональный «служебник» автор не мог не упомянуть прямую службу своему господину. На эту тему в «Житии» высказывался сам Александр Невский перед подданными: «Служите сыновю моему, акы самому мне — всемъ животомъ своимъ» (177) — такие наставления не были характерны ни для житий, ни для повестей, ни для поучений. Пожалуй, лишь один автор, притом тоже «служебник» — Даниил Заточник в «Молении» к князю — рассуждал о службе, о разнице служения доброму или злому господину (392).

Автор «Жития» принадлежал к преданным «служебникам»: «Отца бо оставити человекъ может, а добра господина не мощно оставити: аще бы лзе, и въ гробъ бы лезлъ с ним!» (178). Сходная служебная ламентация встречалась в летописи под 1238 г. по поводу смерти ростовского князя Василька Константиновича: «Кто же служилъ ему... и кто его хлебъ иль и чашу пиль, тотъ по его животе не можаше служити ни единому князю, за его любовь» («Тверская летопись», 372).

Некоторая «бюрократичность» автора сказалась в изображении похорон Александра: умерший князь «акы живъ сущи распростеръ руку свою и взят грамоту от руки митрополита (179). Возможно, из «Жития Алексея, человека Божия» был заимствован общий мотив манипуляции мертвеца нужной «харатией»⁴. Но в «Житии Алексея» покойник, не отдавая, держал «харатию», пока его не переложили на мягкий и богатый одр. В «Житии Александра» же почивший герой действовал активнее — недаром очевидцев охватила «ужась»: из раки он не только сам вдруг протянул руку, но и сам взял грамоту, притом не нашаривая, а точно из рук митрополита. Автор создал «срединный» образ Александра: не живого, не воскресшего, но и не безнадежно мертвого, а «акы жива» — как бы, несмотря на смерть, наблюдающего за действительностью вокруг себя. Этот образ дремлющего или подсматривающего покойника не был абсолютно нов для древнерусской литературы. Сходный эпизод: сел в гробе, простер руку и отдал грамоту умерший философ Евагрий в «Хронике» Георгия Амартола (438). В «Синайском патерике» персонаж рассказывал: мертвец из гроба «прострърши левую руку свою, ятъ мя за десную руку и глагола ми» (143). Вспомним также в «Слове о законе и благодати» обращение митрополита Илариона к умершему князю Владимиру встать и отрясти сон. Но у автора «Жития» Александр продолжал принимать документы, то есть функционировать именно «делопроизводственно». Автор проявил себя именно в деталях.

Автор «Жития» в войне непосредственно не участвовал⁵ и не слишком интересовался военными делами. Хотя в «Житии» много батальных упоминаний, ибо речь шла о сражениях первостепенной важности, однако о победах Александра сообщалось очень кратко: «воскоре иде и

⁴ См.: *Серебрянский И. И.* Указ. соч., с. 190.

⁵ См.: *Мансикка В. П.* Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. СПб., 1913, с. 15—16.

изверже», «въскоре... изсече» (169), «гоняще, акы по и аеру» (171), «победи 7 ратий единомъ выездомъ» (173) — легкость побед необыкновенная, никаких воинских «потов». Такая же краткость в оценках военных заслуг Александра: «И не обретеса противникъ ему въ брани никогда же» (172) — и ничего больше. Зато служебные ритуалы автор расписал гораздо подробней — посылание вестей от младшего князя старшему князю, получение князем вестей от подчиненных, оказание знаков уважения церковным иерархам, советы с советниками, молитва перед сражением и пр. Эти сцены разворачивались обстоятельно, без обычной для «Жития» беглости повествования.

«Штатская» настроенность автора главенствовала, войну он, думается, не любил, испытывая озабоченность разрушительностью ратей. Так, например, автор с чужих слов рассказал о Чудской битве, отметив особо: войска дрались так, «яко же и езеру померзъшю двигнутися; и не бе видети леду, покры бо ся кровию» (171). Замерзшее озеро обычно неподвижно, а тут двигается; лед обычно белый (ср. в рукописи XIV в.: «аки ледъ, бело»⁶), а тут лед красный. Автор не стремился создать яркую картину природы или битвы, а только отметил прискорбный беспорядок: прошла «сеча зла», и вот как от нее нарушился привычный ход вещей. Подобная традиция изображения существовала в литературе. Ср. неожиданно печальную сцену победы Александра Македонского в «Александрии»: «Ничто же бяше ту видети, но токмо коня, лежаща на земли, и мужа избъены... Не видети бо бяше ни неба, ни земли от многы крови. И тоже само солнце, съжаливси о бывшихъ и не могыи зрети толика зла, пооблачися» (49). Автор «Жития Александра» тоже «съжаливси» от «толика зла». И все же в оригинальных древнерусских произведениях редко можно встретить такое уклонение от восхищения при изображении военной удачи любимого князя.

Пересказывая опять же с чужих слов другие воинские эпизоды, автор, привыкший к формальностям, вставил очень уж неуютные концовки, делая акцент на неэтикетности поведения сражавшихся. Так, один из храбрецов отличился необычайно: конный «въеха по доске и до самого корабля». Обычно по трапу не въезжали верхом. Однако любования смелостью храбреца автор не проявил, а констатировал неприятный результат нарушения, так сказать, приличия: «Свергоша его з доски съ конемъ в Неву». Хорошо хоть, что «Божиею милостию изыде оттоле неврежденъ» (166). Или: один из княжеских слуг «бися пешъ», хотя должен был сидеть на коне. В аналогичном эпизоде из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, возможно, повлиявшем на «Житие», было объяснено, почему «сеи же творяше пешъ», затем развернуты героические картины (403—404⁷). Автор же «Жития» не развил образа храбреца,

⁶ См.: Срезневский, т. 2, стб. 14.

⁷ Аналогично см.: Мансикка В. П. Указ. соч., с. 28—29, 21—22. Цитируется по: Мещерский Н. А. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958.

зато указал на трагический конец того, кто спешил не по обычаю: «И обступивша его мнози. Он же, от многихъ ранъ пад, скончася» (167). Правда, подобные истолкования не бесспорны.

Некоторые детали наводят на предположение о «юридическом» мироотношении автора, даже поражение врагов трактовавшего со «штатской», правовой стороны — как резкое разрушение социального и служебного статуса проигравших битву. Автор сообщил, например, что Александр «и самому королю възложил печать на лице острымъ копиемъ» (166) — королевское лицо обычно стараются оберечь, а тут на него кладут отметину острым копьём, то есть прежде всего проявляют самое вызывающее отсутствие должного почтения. (Ср. аналогию в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, обозначающую, однако, удачный боевой прием: «И по лицу сека, убивашеть я» — 364). Затем пленных «ведяхуть босы подле конии, иже именуют себе Божии ритори» (172) — автор выразил скрытый сарказм «служебника»: рыцарям пристало красоваться в снаряжении на конях, а они влачимо босиком рядом с конями, — то есть опять нарушение норм. Далее автор добавил, как русские поступали с пленными: «Вязахуть их къ хвостомъ коней своихъ» (173) — и нашел нужным пояснить, почему: «Ругающесея», то есть для унижения в принятой тогда форме.

В общем, автор «Жития Александра Невского» вполне выказал свою настроенность не военного, а чиновного «служебника». Своим «Житием» он нес образцовую гражданскую службу князю, в меру деловитую и в меру эмоциональную.

«Автор „Жития Александра Невского“ спокоен, точен, приподнят и торжественен»⁸. Автор «Жития» как трезвый верноподданный из окружения князя, быть может, более соответствует реально-историческому облику Александра Невского, который в настоящее время представляется нам уже менее ура-патриотичным, но более земным и изворотливым феодальным деятелем⁹.

В заключение коснемся эстетической роли «Слова о погибели Русской земли», прибавленного к «Житию Александра Невского» в качестве предисловия и в результате этого выпятившего мотив погибели и болезни. Если лишь однажды, в конце собственно «Жития», люди восклицали: «Уже погыбаемь!» (178), то тему погибели уже с самого начала ввело «Слово о погибели»¹⁰. Если лишь однажды и тоже в конце «Жития» сообщалось о том, что Александр «разболесея» (177), то «Слово»

⁸ Лихачев Д. С. Литературные памятники Киевской Руси // Художественная проза Киевской Руси XI—XIII вв. М., 1957, с. VIII.

⁹ См.: Феннел Дж. Кризис средневековой Руси: 1200—1304. М., 1989, с. 136—166, 210, 211, 213, 214.

¹⁰ См.: Серебрянский Н. И. Указ. соч., с. 208; Орлов А. С. Древняя русская литература XI—XVII вв. М.; Л., 1945, с. 143; Комарович В. Л. Повесть об Александре Невском // История русской литературы. М.; Л., 1945, т. 2, ч. 1, с. 51.

ввело переключку и на эту тему, уже сразу поминая «болезнь крестьяном» (155). «Слово» усилило минорные мотивы, не свойственные подтянутому автору «Жития». Хотя «погибель» — это, скорее, разорение, а не гибель.

Автор «Жития Александра Невского», пожалуй, первый в русской литературе открыл собою длинную череду писателей-служащих. Все эти чиновные литераторы, как правило, выбирали для почтительных описаний самый крупный «чин» своего времени и самый ласкательный жанр и почти в каждой строчке являли свою дисциплинированность и опытность людей, находящихся на официальном посту, — так в наших современных понятиях, отчасти огрубляя суть дела, можно определить своеобразие этого автора XIII в.

1993 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ С XV ДО СЕРЕДИНЫ XVIII В.

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭНЕРГИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В.

Бытовая «живость» литературных героев второй половины XVII в. — явление в немалой степени художественное, и поэтому непосредственную основу для его возникновения прежде всего следует искать в творческой же области — в сфере меняющегося мировоззрения авторов того времени, в новых требованиях к человеку.

Элементы нового в подходе к человеку, возникшие в XVII в., выявлены далеко не полностью. Это подтверждается и нашей попыткой объяснения «живости» героев (см. выше с. 103 и сл.). Недостает наблюдений над тем, как авторы относились к своим героям, а также к читателям, слушателям, зрителям произведений, а ведь особенности отношения к человеку, возможно, и побудили авторов «оживлять» персонажей.

Обратимся опять к наблюдениям над пьесами 1670-х годов, где новый взгляд на человека выразился с наибольшей определенностью. Сначала ответим на вопрос: чего требовали драматурги от своих героев? Авторы нигде прямо не излагали свои принципы. Но их можно понять по требованиям героев друг к другу, по декларациям, вложенным в уста персонажей драматургами. В сущности масса героев в пьесах вела диалог сама с собой, то призывая к определенным нормам поведения, то отвечая на эти призывы.

К чему же призывали драматические герои? Основное, чего добивалось большинство «живых» персонажей (и, следовательно, авторы от героев), это то, чтобы каждый человек энергично занимался делами. «Всякой к своему поставленному делу пойди» («Иудифь», 382)¹; «ис-

¹ Цитируемые произведения: «Азбука о голом и небогатом человеке» — РДС; «Артаксерсово действо» — РРД, т. 1 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк; «Жезл правления» Симеона Полоцкого — Жезл правления. М., 1666. Указываются листы издания; «Иудифь» — РРД, т. 1 / Текст памятника подгот. Е. К. Ромодановская; «Калязинская челобитная» — РДС; «Обед душевный» Симеона Полоцкого — Обед душевный. М., 1681. Указываются листы издания; «Повесть о бесноватой Соломонии» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть о Савве Грудцыне» — Русская повесть XVII века // Изд. подгот. М. О. Скрипиль. М., 1954; «Повесть о Хмеле» — Пам. СРЛ, вып. 2; пьеса о блудном сыне («Комидия» Симеона Полоцкого — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. А. С. Демин; пьеса о Навуходоносоре («О Навуходоносоре» Симеона

полный ж тогда всяк дело свое» (пьеса об Иосифе, 109); «всяк лутчей промысль да исполнить» (пьеса об Адаме, 128) — такого рода призывы героев к героям регулярно повторялись в первых же драматических сочинениях. Их подхватил в своих пьесах Симеон Полоцкий. У него действующие лица также поучали: каждый «да весть свое дело», «что велят, трудися» (пьеса о блудном сыне, 153, 154); «прилежен буди» (пьеса о Навуходоносоре, 164).

Энергично делать дела — значит делать их быстро. И герои торопили друг друга. «Шед скоро, поспешите», «спеши, спеши, не косни», «побежи наскоро и без мотчания», «скоро оставите все и ступайте, не мешкав», «ох, спеши, молю зело ти», «и аз же поспешу» — эти требования, просьбы и обещания герои повторяли постоянно («Артаксерксово действие», 107, 135, 158, 185; пьеса о Темир-Аксаке, 61, 86). Герои хотели, чтобы все делалось скоро: «Посылайте вскорее, дабы сие дело к утрею не продлилось», «в одклад не откладай и все, еже аз ти рекл, не мешкав исполняй», «еже велят вам, то скоро творите», «приведу вскорее во исполнение», «тотчас сия исполнена будут» («Артаксерксово действие», 124, 224; «Иудифь», 405; пьеса о Навуходоносоре, 163, 167). Надо было скоро говорить и скоро читать: «Глаголи же скоро», «повеждь ми скоро, како збылось», «прочитайте скоро», — требовали герои друг от друга («Иудифь», 440; «Темир-Аксаково действие», 63, 84). Надо было быстро принимать и отпускать посольства: «их посольство нам скоро объявить... чтоб их скоро отпустить»; быстро вести бой: «да скоро... взяти и абие бой сотворити» («Темир-Аксаково действие», 65, 79); быстро добиваться любви: «абие прилежах любов твою получитьи», — признавалась Вильга Иосифу (107); быстро жаловаться: «Кто какую жалобу имеет предложити, той без мешкоты сотвори» (пьеса об Адаме и Еве, 130); быстро казнить: «абие смертию казнити», «в един час живота лишити», «скоро, скоро к висялице!» (песны об Адаме и о Навуходоносоре, 129, 163; «Артаксерксово действие», 239).

Полоцкого) — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. А. С. Демин; пьеса о Темир-Аксаке («Темир-Аксаково действие») — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк; пьеса об Адаме и Еве («Жалобная комедия») — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и А. С. Демин; пьеса об Иосифе («Малая прохладная комедия») — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и А. С. Демин; «Служба кабаку» — РДС; сочинения Аввакума. I (эта цифра в отсылках не указывается) — РИБ, т. 39; II — Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Изд. подгот. Н. К. Гудзий, В. Е. Гусев, А. С. Елеонская, А. И. Мазунин, В. И. Малышев, Н. С. Сарафанова. М., 1960; III — *Демкова Н. С.* Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума // ТОДРЛ, т. 21; сочинения Николая Спафария — РГБ, фонд 354, собрание Вологодское, № 170. Указываются листы рукописи; стихотворения Симеона Полоцкого. I (без цифры) — *Симеон Полоцкий.* Избранные сочинения / Изд. подгот. И. П. Еремин. М.; Л., 1953; II — Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. / Изд. подгот. А. М. Панченко. Л., 1970.

«Живость» героев отразилась и на ремарках. «Великого фараона скорейшии указ ест, да Пентефрия без мешкоты к нему приидет», — сообщала, например, ремарка в пьесе об Иосифе (109). «Абие снидет к ним аггел», — предусматривалось мгновенное появление ангела в пьесе о Навуходоносоре (167). Быстрота — прежде всего. Стремясь энергично делать дела, герои не терпели отсрочек и подстегивали тех, кто их задерживал. «Довольно! — прерывал один персонаж другого. — Не могу с тобой день целой розговаривати. Перестань, бо у мене иное дело есть» («Иудифь», 438). Блудный сын понуждал отца: «Отче любезный, время ми губиши, аще един день мене удержиши» (142). Герои не хотели ждать ни дня: «Досадно бо ми есть еще так долго... ждати», «болши нам претерпети несть возможно» («Иудифь», 358, 412, 438). Постоянно назначались возможно краткие сроки окончания дел, — «во месяц», «в трех днях», «в сутках» и пр. (особенно в «Иудифи» и «Темир-Аксаковом действе»). Поэтому, отвлекая от дела, один персонаж извинялся перед другим: «Недолго тя задержу», «еще мало да потерпиши» (пьеса об Адаме, 119, 134).

В связи с тезисом энергично заниматься делами понятны многочисленные филиппики героев против лени, безделья, беспомощности. В пьесах 1670-х годов лень отвергалась при каждом удобном случае: «Трудом приложися... Бодрствуй отседе, лености престани», «кто сладко яст, пиет, въскоре обнищает» (пьеса о блудном сыне, 153, 145). На Бога надеяться нужно лишь тогда, когда исчерпаны все человеческие усилия; «Достоит нам не закосневати или спати, но... всякия промышленные средства взыскати, ибо никакие Бог прежде не действует чюдеса, разве когда всех человеческих промыслов уж не станет» («Иудифь», 369). Одним из худших обвинений был упрек в бездеятельности. Почему потерпело поражение войско могучего Олоферна? — Еще и потому, что Олоферн «ест и пиет по вся дни, веселящися и прохладящися», а «Олоферновы люди подлинные пьяницы суть и боязливые безделники» («Иудифь», 414, 419).

Посмотрим теперь, что говорили персонажи в ответ на эти призывы. Ответ был одинаковый. Герои декларировали готовность к немедленному действию: «Всякия труды готов подимати» (пьеса о блудном сыне, 140); «должность мою аз уже исполню и ничто же оставлю» («Иудифь», 424). Герои не желали тихо сидеть дома, их влекли дела во внешнем мире: «Яко вода не текущая, но тихо стоящая, смрадный дух скоро приемлет, тако и аз сам себе аки бы смердящим быти мню, что толь долгое время без дела пролежати принужден был», — заявлял один из них («Иудифь», 358). «Ныне же тот недоброй человек, кто дома останеться», — говорил другой («Темир-Аксаково действо», 75). Блудный сын у Симеона Полоцкого тоже чувствовал себя «во пределех домовых, як в турме замкненный» и стремился вырваться «весь мир посещати» (144, 141).

Действующие лица заявляли о стремлении самим все испытать, сделать дело своими руками, увидеть своими глазами. Это жизненное кредо было сформулировано в образной форме: «Зверь, его же ловят, многожды сладчайший есть, нежели той, его же копием ловчим убивают» («Иудифь», 371). Герои стремились действовать самостоятельно даже в мелочах. Недаром оскорблялась Иудифь, когда предлагали ее за руку провести к воеводе: «Аз не малая отроковица, чтоб мене за руку весть! Слава Богу, и сама дойти к нему могу» («Иудифь», 432). Султан Баязет хотел лично присутствовать в рядах сражающегося войска: «Аз и сам в добром пребуду строю войска моего», — и велел воеводе начинать бой лишь в своем присутствии: «Да не дай зрети на свое храбръство, дондеже сам приеду» («Темир-Аксаково действо», 80, 84).

Потребность видеть все важные события своими глазами ясно высказал Навуходоносор: «Сам хощу зрети», «видение паче слуха уверяет; хощу, да око мое соглядает» (пьеса о Навуходоносоре, 165, 168). Вот почему герои часто повторяли, что они являются очевидцами событий: «Ей, очима сам видел и ушима слышел», «есть так аз видех», «яз сам увидех... ей, своими очесы» («Артаксерксово действо», 158, 203, 243); «сам аз очесми моими видех» (пьеса об Иосифе, 108) и т. д. Или еще значительнее, — герои утверждали, что они на самих себе испытали те или иные жизненные перипетии: «Аз на сомом сие себя искусно проведал есть» (пьеса об Адаме и Еве, 120); «сам искусих се во всяцей потребе» (пьеса о блудном сыне, 139).

Своими симпатиями и антипатиями герои тоже словно отвечали на призыв к активному действию. Судя по монологам, большинству драматических персонажей казались привлекательными образы именно энергичных, деятельных людей. Царице Астинь, например, нравилась, по ее словам, «дерзновенная» царица Семирамида, а не «ея мужленостный Нин». «Чесо же ради аз тя вслед не могу ступити?» — выражала Астинь желание следовать образу жизни «дерзновенной» царицы («Артаксерксово действо», 109). Служанку Абру поражала «дерзостность» Иудифи: «О, никогда бы аз тако дерзостна была!» («Иудифь», 451). Но, помогая Иудифи, и Абра становилась «дерзостней». Вельможа Пентефрия ставил всем в пример ревностно трудившегося Иосифа: «Смотрите на верного Иосифа моего...» (пьеса об Иосифе, 106).

Своеобразный диалог драматических героев друг с другом, то обращавшихся с призывами к активному действию, то в ответ на призывы заявлявших о своей готовности активно действовать, не оставляет сомнений в том, каковы были требования драматургов к их героям. От героев требовалась энергичная настроенность, готовность немедленно заняться выполнением «дела».

Драматурги 1670-х годов ценили не только настроенность к действию, но еще больше умение героев быть деятельными на практике. Блудный сын был настроен куда как энергично, но на поверку оказался

недееспособным. Вот почему большинство персонажей у драматургов являли свою энергичность ежеминутно, были заняты непрерывно, с лихорадочной интенсивностью действовали день и ночь, пребывали и «ночно в бодрости» («Иудифь», 831). И, разумеется, извещали о том во всеулышание. «Хочу, аще сна не имам, время туне не испустити», — пояснял Артаксеркс в «Артаксерксовом действе» и ночью перечитывал «царственные книги» (219). В другой раз заботы заставляли его «печально же обратиться чрез всю долгую ноц» (123). Мардохей пребывал «вседневно и ночно у врат градцких» (159), молился всю ночь или подслушивал ночные планы заговорщиков. Аман клялся, что «не будет сна в моих очах», пока он не отомстит Мардохею (173); и виселицу Мардохею готовили ночь напролет. «И сею ноццю отнюдь нимало спиши, — приказывал Аман своему сыну — ...и во всю сию ноцъ да делают оно древо» (то есть виселицу, 218). Герои были поглощены делами, не замечая, как проходит ночь; и вдруг один говорил другому, опомнившись: «Се зри, зоря уже к нам прииде» (225). Персонажи очень редко, в единичных случаях, высказывали желание отдохнуть от дел и забот. Но если героя на сцене заставляли спящим, он в тот же момент пробуждался и продолжал бурную деятельность (Темир-Аксак в пьесе о нем); в противном случае спящему отрубали голову (Олоферну в «Иудифи»). Конечно, и рано утром персонаж был бодрым: «Аз днес по утрии зело рано пред солнечным въсходом стояще... По сем... пошел есть ни что прогулятися» (пьеса об Адаме и Еве, 119). Герои в пьесах, в соответствии с требованиями драматургов, действовали непрерывно и неустанно, как заведенные.

Из всех литературных жанров отношение авторов к своим героям наиболее полно выразилось в драматургии. Авторы первых русских пьес тяготели к выбору героев энергичных, заявлявших об этом своим свойстве на словах и демонстрировавших его на деле. В прочих жанрах второй половины XVII в. энергичность героев провозглашалась и изображалась в менее развернутой форме, но все-таки достаточно заметно.

Так, драматург и поэт Симеон Полоцкий в пьесах больше, чем в стихотворениях, показал свое желание видеть героев энергичными и деятельными. В стихотворениях Полоцкого персонажи общались друг с другом менее интенсивно, и у них было меньше возможностей, чем в пьесах, побуждать друг друга к активной работе. Но, хотя в стихотворениях Полоцкого редко найдем диалог персонажей, призывающих к рвению и быстроте в делах, все-таки краткое изложение подобных ситуаций в поэзии Полоцкого встречается. Инертные персонажи у Полоцкого подпадали под влияние более энергичных. В одном из стихотворений, например, рассказывалось: «Александр Макидонский Тир град обстояше, ров велий бывш пред градом засыпать хотяше; виде же воев леньность, в первых насыпал есть сам кошь землю и в ров пред всеми усыпал есть. То видяци, ратници царя подражаху...» (17). Подражали

не просто потому, что так делал царь, но следовали за более энергичным деятелем. Полоцкий недвусмысленно выражает одобрение такому герою. В стихотворении Полоцкий, пусть в ином, свернутом виде, показывает такое же отношение к персонажам, какое видим в пьесах. Требования энергичности остаются прежним.

Отсюда ясно, почему драматурги и вообще некоторые придворные авторы второй половины XVII в. стали «оживлять» своих героев. «Живость» героев являлась признаком героев энергичных. Подробно описывать движения, позы, жесты персонажей толкала авторов потребность в герое активно действующем.

«Живые» персонажи, как мы уже писали, встречались и в произведениях вне придворной литературы. В каких же героях высказывали нужду писатели из непридворной, неофициальной среды, включая демократическую?

Авторы, не принадлежавшие к придворному кругу, тоже не оставили специальных рассуждений о своих героях. Их отношение к персонажам также устанавливается в основном по косвенным признакам — из самого повествования, по авторским обмолвкам, по речам персонажей и пр. Жанровые различия произведений в данном случае не имеют решающего значения. Авторы в сходной форме могли выражать свои взгляды на человека в разных по жанру произведениях.

Обратимся, например, к сочинениям протопопа Аввакума. Автору, несомненно, нравились герои энергичные. Так, «правовверные» персонажи у Аввакума многократно заявляли о своей готовности действовать немедленно и решительно. Вспомним, как высказывался в качестве персонажа сам протопоп. Увидел «никонианина»: «Плюнул бы ему в рожу-ту и в брюхо-то толстое пнул бы ногою» (390). Или всех «никониан» сразу: «Я бы их... всех перепластал во един день» (768); «перерезал бы... всех, что собак» (458); «как бы мне мочь... всех бы еретиков тех... ножом переколлол» (II. 261). Или с еще большей физической ощутимостью действия: «Я, взявши, да и толкну его взашей» (III. 232); «будете у меня в руках! Выдавлю я из вас сок-от» (488—489); «я вам... ступлю на горло о Христе» (304); «глаз вырву» (949); «всех вас развешаю по дубю» (633) и т. п. Декларации героев о готовности к немедленному действию звучат в сочинениях Аввакума гораздо резче, чем в пьесах драматургов.

Аввакумовские герои неукротимо «волочатся», «бредут» через трудности и муки всю жизнь, «до самых до смерти». Ночами они тоже не спят, «работают Богу» или опять «бредут». Автор всегда приветствует такую неутомимость. Правда, в отличие от драматургов протопоп Аввакум поддерживает и одобряет энергию героев не столько в светских, сколько в церковных делах. Однако интересующей нас чертой — своей одержимостью — герои у Аввакума, чем бы они ни занимались, напминают персонажей пьес и кажутся даже более настойчивыми.

Отношение Аввакума к энергичным героям хорошо видно на явлении, сравнительно слабо представленном в пьесах, но четко выраженном в сочинениях протопопа. Герои, понуждаемые к ревностной деятельности, иногда словно выходили из-под контроля автора и превышали его требования. Недаром у одного из действующих лиц в пьесе вдруг мелькало сомнение: «Токмо опасуюсь, — признавался герой, — дабы рука моя чрезъизлишно дерзостна не была» («Иудифь», 361). «Чрезъизлишная дерзостность» некоторых героев — а именно «никониан» — действительно часто и притом неприятно поражала Аввакума. В его произведениях «никониане» наделялись бешеной энергией и торопливостью, столь же решительно осуждаемой: «Рвут, что волки» (375); «что волки, с сердца-тово в ключье изорвут» (499); «никонианин» «что бешеная собака, бросается на человека-тово» (258); «коли взбесился, не унять тебя» (488); «за бешеным не нагонятца ж» (948) и т. д. И что же, Аввакум предлагал утихомириться? Как раз наоборот! Он, хоть и саркастически, но призывал «никониан» к еще большему размаху действий: «Токмо жги да пали, секи да руби однородных своих!» (278); «секи да руби, жги да пали, да вешай!» (366); «возми, да понеси, да ломай все старое... осуждай в ссылки и в смерти, сажай живых в землю!» (459); «возми да понеси, разсылай в сылки, стриги, проклинай... губи и души!..» (567). Только усиленной деятельностью и можно разоблачить себя, если деятельность порочна. Вялость героев не устраивала Аввакума ни при каких условиях.

Итак, Аввакум предпочитал изображать таких же энергичных героев, что и драматурги. Несмотря на разницу во всем остальном, несмотря на противоположность социальных целей, Аввакум и придворные авторы сходились в своем подчеркнуто одобрительном отношении к энергичности и активности героев.

В разнообразных памятниках второй половины XVII в. можно обнаружить следы отмеченного отношения авторов к героям. Правда, в этих случаях уже нельзя говорить о категорических требованиях авторов к героям, выраженных в соответствующих речах и декларациях. Но о благожелательном авторском отношении к энергичным героям говорить можно. Оно сказывается и в выборе типа героя, и в повествовании о его действиях.

Так, в памятниках, не относящихся к придворной, официальной литературе, персонажи тем не менее, подобно персонажам драматическим, хотят делать и делают дело своими руками. Даже святые в отдельных житиях приобретают облик, подходящий для энергичного, почти мирского «делания». Например, сошедший с неба святой Прокопий в «Повести о бесноватой Соломонии» (в составе жития) имеет «одеяние же кратко, сапоги на ногах, кочерги в руках». Его движения не сковывают одежды; он готов к действию. Он не гнушается лично проверить «утробу» Соломонии. «Святыи Прокопий, — рассказывает Соломония, —

смотряше сам в утробу мою, да бы чиста». Прокопий своими руками давит демона, который «нача вопити великим гласом и витися в руке его» пока святой, «не закла его кочергами» (159, 150). Такой необычно деловитый святой и после смерти предпочитает все делать сам, не через чудо, а прозаическими земными способами. Отбор автором качеств героя знаменателен. Ср. Николу-чудотворца в изображении Аввакума: «...не мог претерпеть, одинако Ария, собаку, по зубам брязнул» (626); Христос вооружен орудием действия: «Болшо у Христа-тово остра шелепуга-та» (13).

Тяготение сочинителей к энергичным героям заметно и в так называемых бытовых повестях и в произведениях демократической сатиры второй половины XVII в. И здесь персонажи, даже жаждавшие покоя, даже бездельники, были заняты неустанной «деятельностью» денно и ночью, что бы конкретно они ни делали. Если, например, пономари звонили в колокол, то уж «ис колокол меди много вызвонили, и железныя языки перебили, и три доски исколотили, шесть колокол розбили, в день и ночью... покою нет» («Калязинская челобитная», 51). Нищий, ничем толком не занятый человек, и тот находился в беспрестанном движении: «Покою себе не обретаю, лапти и сапаги завсегда розбиваю» («Азбука о голом и небогатом человеке», 26). В демократической сатире, которая, пожалуй, и не знала иного героя, кроме энергичного и напористого, его бурная порочность вызывала внешне осудительные, но фактически поощрительные замечания авторов: «Житием своим всех удивил еси... и от трудов сниде во три ады. Посреди напасти скочил еси»; «кто бо слыша безмерное твое воровство... не удивит ли ся» («Служба кабаку», 42, 44).

Известна необычайная энергия Саввы Грудцына, в том числе в делах любви. Он ведь не просто однажды сблизился с чужой женою, но «ненасытно творяше блуд... и ниже бо воскресения день, ниже праздни-ки помняше, но... всегда бо... валяющесе» с нею (84). Нельзя сказать, чтобы за это автор в повести очень обрушивался на Савву Грудцына или на дьявола. Ведь Грудцын все делает так истово.

В общем, обозревая литературные сочинения второй половины XVII в., официальные и неофициальные, придворные и демократические, можно убедиться в известном сходстве желаний авторов по крайней мере в одном направлении: драматурги, поэты, писатели второй половины XVII в. хотели, чтобы их герои были активными деятелями; авторы ценили любые проявления энергии у героев; следили, чтобы персонажи не были вялыми и ленивыми; можно сказать, понуждали героев к действию. В придворной драматургии авторские требования к героям оформились в развернутую сеть открытых деклараций; в демократических повестушках авторское отношение к энергичности персонажей выражалось слабее, не отделяясь от самого повествования, но оставаясь определенно одобрительным. Следовательно, бытовая «живость» героев во многих

произведениях второй половины XVII в., подробное изображение движений, поз, жестов, мимики персонажей были продиктованы стремлением различных авторов того времени воочию показать энергичных, деятельных героев.

Отношение авторов к литературным персонажам нельзя отсекать от отношения авторов к читателям, зрителям, к людям вообще. Сравним теперь, каковы были требования ряда писателей и поэтов второй половины XVII в. к людям в реальной действительности.

Соответствующие высказывания авторов встречаются в сочинениях разных жанров. Призывы уже нам знакомые: авторы требовали от своих современников энергично «делати» дело. Тему усердного труда исключительно усердно же разрабатывал, например, Симеон Полоцкий, особенно в сборниках своих стихотворений и сборниках проповедей. Примечательны уже названия ряда его стихотворений — «Делати», «Труд» и пр. «Да праздных людей не имеют в себе, ибо комуждо трудитися тебе», «слово абие делом вси да совершают», надо «от трудов сокровищ искати», — подобных предписаний для читателей у Полоцкого можно подыскать великое множество. Притом поэт писал об активной деятельности именно мирских людей в обыденной жизни: «Денница... нудит люди ко делу: ов в водах глубоких рибствуе, ов в пустынях лов деет широких, иный что ино творит» (15, 32, 58, 80).

Призывы истово заниматься мирским трудом раздавались и в проповедях Симеона Полоцкого. «Точию никтоже да пребывает в лености, — убеждал проповедник. — Мирстии, вси вы трудитесь кождо во своем звании неленостно: вои — в полцех, художницы — во градах и селех, тяжателие — на нивах» (306 об. — 307).

У Полоцкого найдем обращения к отдельным сословиям, к отдельным видам работников: «Аще кто силен, той да защищает; аще кто мудр есть, сей да поучает» (II.160). Среди прочих, кого автор призывал трудиться, были ученые («ко книгам склонися»), учителя («образ делом даяй») и ученики («читай часто»). Были вдовы: вдове «подобает и дело благо, еже рука знает». И цари были обязаны трудиться: «Царем не срам быти, рукама дело честно своима робити» (63, 74, 60, 18; II.161). Все члены общества, снизу доверху, обязаны были усердно работать.

В сочинениях другого придворного писателя — Николая Спафария также заметны усилия автора «возвати житие от праздности»; притом много примеров предназначено для поощрения трудолюбия у царя. Вот один из них: «Обычай бе прехвалный у персов сицевый, яко некий от воевод своих имяше чин той, яко на кийждо день рано к царю персидскому приходяше и ему глаголаше: „Возстани, о царю, и потщися о делех...“» («Хрисмологион», 2, 118). Или другой образец царского усердия. Сиракузский царь показал своему философу, с каким напряжением он всегда занимается делами. Посадил того на трон под висящий на

волоске меч: «Сицевым и вящим попечением всегда труждаюся и аз и вси, иже разумно владети хотят» («Василиологион», 163). Или, наконец, прямые поучения у Спафария: «Не подобает царю нерадиве ничего делати» («Арифмология, сиречь числословие», 273). Царь в представлении придворных писателей оказывался самым трудолюбивым работником, которому следовало подражать.

Придворные писатели, поэты и драматурги усиленно убеждали каждого читателя гнать лень и сонливость. Обличение состояния сонливой вялости стало одной из излюбленных тем. «Полезно выну бдети, не много же спати», — настаивал Симеон Полоцкий (II. 118). «Три неудобно разделяются, — не без насмешки отмечал Николай Спафарий, — ...сонлюбвец, и ленив, и мяхкая постеля» («Арифмология», 266 об.). «К спящему человеку, — говорилось в одной из драм, — и мыш в постелю внидет, яже пред бодрствующим и являтися не смеет» («Иудифь», 381).

Своего рода призывом развеять сонливость и быть готовым действовать служили непривычные на Руси названия новых церковных книг: «Трубы словес», «Жезл правления», «Меч духовный», «Брашно духовное», «Обед душевный» и пр. Эти названия так и толковались современниками. Симеон Полоцкий рекомендовал слушать «Трубы словес», «будящая нас от сна». «Меч духовный» побуждал, по его выражению, «чтобы мечи не заржавели на Москве»². «Жезл правления» был готов к немедленному употреблению: «лающих псов умеет зубы сокрушати», — поясняло послесловие к книге (1). Заглавие «Обеда душевного» также призывало к деятельности. «Приими любезно обед сей... — раскрывал автор содержание названия, — яждь, взяв рукама ума твоего, прежувай зубами разсуждения...» (8). Короче говоря, действуй умом и руками.

Нет необходимости доказывать идентичность требований придворных авторов к литературным героям и требований тех же авторов к читателям, к их реально жившим современникам. И то и другое — части единого отношения к человеку, выражение авторского желания видеть человека энергичным и деловитым.

В демократической литературе второй половины XVII в. также нередко высказывались те же требования к читателям: усердно трудиться, не лениться и пр. Так, в «Повести о Хмеле» читателей предупреждал сам хмель: «Аще которой человек станет меня держатца, царь, или князь, или боярин... или купец, или... всякова чину человек... и руки его дрожат, и на душе его мутитца, и делать ничего не хочет». Или еще: «Аще которой мастерой человек учнет меня держатца, аз бо сотворю его ленива, и руки его станут дрожать, и делать ничего не восхоцет... Пьянство ум отнимает, рукоделия порьтит, прибыли теряет... пьянство

² См.: Харламович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914, т. 1, с. 423, 422.

мастером ум отнимает, не может смыслит дела своего...» и т. п. (447, 448. О работе и «деле» упоминали именно списки XVII в. В более ранних списках повести такие упоминания отсутствовали). Таким образом, «мастерой человек» не был обойден вниманием писателей, взывавших к энергии своих современников.

Послания протоппа Аввакума, наряду с прочими его сочинениями, предназначенными для рассылки по различным местам России, с необычайной прямоотой и силой побуждали массу читающих к деятельной, активной жизни.

«Ныне же время благоприятно делания» (II. 209); поэтому каждый «прилежи трудом и рукоделию» (297). И хотя у Аввакума речь шла о церковных делах, но в его призывах они зачастую выглядели как мирские, бытовые действия: «Да молитву Исусову грызи, да и все тут» (395); «да прямою дорогою ко Христу побредите неоглядкою» (399); «лошадка напилалася — опять поехал путем тем или на работу о имени Господни» (II. 266). Это была работа, и к неустанности в ней призывал Аввакум.

Отсюда у Аввакума, как и у придворных авторов, бескомпромиссное осуждение лени и повторяемые для читателей советы подстегивать энергию друг друга: «Надобе друг друга жюрить, как бы лутчи» (400); «грызитесь гораздо!» (823); «менше спите. Убуждайте друг друга» (417, 829). Подобное правило касалось и самого автора: «Аввакум-протопоп бодрствовать станет Господа ради... А еже разленится, и ему кнут на спину... Потщимся будить друг друга» (II. 259). У Аввакума пример энергичности подавали и дети, вроде дочери его Аграфены: «Гораздо не велика была, промышляет около меня, бытто большая» (235).

Мы не цитируем всех высказываний о необходимости или желательности неиссякаемой энергии людской у Аввакума и у прочих авторов, писавших на эту тему; не упоминаем всех памятников второй половины XVII в., содержащих соответствующие обращения и требования. Существенно нового добавочные цитаты, думаем, уже не внесут.

Главный вывод таков. В русской литературе второй половины XVII в., включая произведения придворные и демократические, ясно выразились в определенных пределах общие для авторов требования к человеку. Авторы хотели от своих героев, от самих себя, от своих читателей и слушателей, от людей вообще — энергии, активности, деятельной настроенности. Во второй половине XVII в., разумеется, существовали произведения, где авторы вовсе не взывали к энергии человека, но зато и «живых» персонажей там не было. Склонностью многих авторов к человеку энергичному, отбором энергичного типа героя была, по-видимому, порождена новая стилистическая особенность его изображения в литературе — подробность описания движений и жестов, бытовая «живость» и подвижность героев.

Авторы второй половины XVII в., как уже отмечалось, не писали специальных трактатов о человеке, не оставили больших философических рассуждений на темы трудолюбия и энергии человека. Поэтому мы не можем говорить о четко выделенном идеологическом явлении в истории русской мысли XVII в., представленном особыми, нелитературными источниками. Авторы высказывали свое мнение о человеке, так сказать, мимоходом, когда рассказывали о людях и событиях. Литература и «философия» в источниках слиты; в текстах переплетались и чередовались изображение «живых» героев и декларации об энергичности человека.

Это не означает, что в литературе XVII в. «настоящих» идей о человеке не было, а существовало лишь только его изображение. Между оформившимися идеологическими взглядами писателей и собственно образительным их творчеством существует большая промежуточная область образных, художественных писательских представлений о мире и человеке. Она не в меньшей мере, чем идеология, влияет на творчество писателей. И, например, писательские соображения и представления об энергичном человеке породили «живых» героев в литературных произведениях.

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «ТИХОСТИ» ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ XV—XVI ВВ.

Но почему в таком случае «живость» героев не проявилась гораздо раньше? Ведь трудолюбия от людей требовали и христианские апостолы. Древнерусские книжники в течение многих веков читали и переписывали соответствующие части Библии, Евангелие и апостольские послания, где внятно был высказан принцип, «како тебе жити: яко аще кто не хочет делати, да не ясть». Послание, например, апостола Павла в русских «Толковых апостолах» специально толковалось как «бежение деланию, делатечению» «Толковые апостолы» широко переписывались до XVII в. Цитирую для примера «Толковый апостол» в списке начала XVII в., 401 об. 400 об.)¹. Побуждение людей к труду,

¹ Цитируемые произведения: «Александрия» — Александрия: Роман об Александре Македонском по рукописи XV века / Текст памятника подгот. Я. С. Лурье и О. В. Творогов; М.; Л., 1965; «Житие Авраамия Ростовского» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Житие Антония Римлянина» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Житие Иоанна Новгородского» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Житие Кирилла Белозерского» — Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. Приложения; «Житие Ссргия Радонежского» — Житие преподобного и богоносно-го отца нашего Сергия... / Изд. подгот. архимандрит Леонид. СПб., 1885; записка Иннокентия — Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. Приложение; «Казанская история» — Казанская история / Изд. подгот. Г. Н. Моисеева. М.; Л., 1954; «Киево-Печер-

казалось бы, должно считать одним из исконных мотивов древнерусской литературы. Однако такое впечатление не совсем верно.

Все дело в конкретном воплощении этой общехристианской темы в литературе Древней Руси. Остановимся подробнее на отношении к человеку в сочинениях до XVII в. Авторское отношение к человеку проявляется, как мы уже видели, главным образом в высказываниях от автора, в речах персонажей, в выборе типа героя, в повествовании о его

ский патерик» — *Абрамович Д.* Киѡво-Печерський патерик // Пам'ятки мови та письменства давньої України. Київ, 1931, т. 4; монастырский устав начала XVI в. — Послания Иосифа Волоцкого // Изд. подгот. А. А. Зимин и Я. С. Лурье. М.; Л., 1959; «О некоем двою соседу шевцю» — Пам. СРЛ, вып. 1; «О рождении Иисуса Христа» — Пам. СРЛ, вып. 3; «Повесть временных лет» — Повесть временных лет / Изд. подгот. Д. С. Лихачев. М.; Л., 1950, ч. 1; «Повесть о благочестивом рабе» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть о взятии Царьграда турками» — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть о Дракуле» — Повесть о Дракуле / Изд. подгот. Я. С. Лурье. М.; Л., 1964; «Повесть о Константине, князе муромском» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть о новгородском белом клобуке» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть о Петре и Февронии» — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть о Петре Ордынском» — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть о построении новгородского Благовещенского монастыря» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть о путешествии Симеона Суздальского» — *Попов А.* Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян: (XI—XV вв.). М., 1875; «Повесть о царе Адариане» — Пам. СРЛ, вып. 3; «Повесть о царице Динаре» — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть о Щиле» — *Еремин И. П.* Из истории старинной русской повести. Повесть о посаднике Щиле. (Исследование и тексты) // Труды Комиссии по древнерусской литературе. Л., 1932, т. 1; «Повесть об Улиании Осорьиной» — Русская повесть XVII века / Изд. подгот. М. О. Скрипиль. М., 1954; послание Ивана Грозного Андрею Курбскому, первое — Послания Ивана Грозного / Изд. подгот. Д. С. Лихачев и Я. С. Лурье. М.; Л., 1951; «Поучение» Владимира Мономаха — Повесть временных лет. М.; Л., 1950, ч. 1; поучение Даниила — *Жмакин В.* Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. Отдел приложений; притча о временах года — РНБ, О.ХVII.41. Указываются листы рукописи; «Северияна, епископа авасильскаго, о древе спасенаго креста» — Пам. СРЛ, вып. 3; «Сказание о Мамаевом побоище». I (эта цифра не указывается в отсылках) — Русские повести XV—XVI веков; II — Повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев М., 1959; «Слово о трех мнисех» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Слово похвальное» Фомы — Инок Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче / Изд. подгот. Н. П. Лихачев. СПб., 1908; сочинения Андрея Курбского — РИБ, т. 31; сочинения Антония Подольского — РГБ, фонд 310, собрание Ундольского, № 526. Указываются листы рукописи; сочинения Ивана Пересветова — Сочинения Ивана Пересветова / Изд. подгот. А. А. Зимин. М.; Л., 1956; сочинения Максима Грека — Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1860, ч. 2; «Толковый апостол» — РГБ, фонд 37, собрание Большакова, № 184. Указываются листы рукописи; «Троянская история» — Троянские сказания: Средневековые рыцарские романы о Троянской войне по русским рукописям XVI—XVII веков / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; Л., 1972; Устав — *Лурье Я. С.* Устав Корнилия Комельского в сборнике первой половины XVI в. // Рукописное наследие Древней Руси: по материалам Пушкинского дома. Л., 1972.

действиях и сходными способами выражается в разных жанрах, оттого и сопоставимых.

Сразу же оговоримся, что экскурс в литературу XII—XVI вв. не имеет самодовлеющего значения, но служит лишь фоном для доказательства новизны взгляда на человека у ряда авторов второй половины XVII в. Поэтому мы рассматриваем только те проявления отношения к человеку в литературе до XVII в., которые как-то соотносятся с писательскими требованиями энергичности и активности во второй половине XVII в.

Кроме того, мы основываемся на выборочном просмотре произведений XII—XVI вв., преимущественно XV—XVI вв. Главное внимание уделяем таким сочинениям и жанрам, где скорее всего могут встретиться авторские призывы к интенсивной деятельности. Это повести, сказания и некоторые поучительные произведения. Мы выдвигаем предварительное, частичное обоснование новизны подхода к человеку в литературе второй половины XVII в. Полное обоснование возможно лишь после специального исследования литературы XII—XVI вв. с интересующей нас точки зрения, — тема особой большой работы. Поэтому поневоле приходится стать на путь выборочных наблюдений и беглых сопоставлений. Но даже при всех указанных ограничениях экскурс в литературу XII—XVI вв., особенно в литературу XV—XVI вв., получается довольно обширный.

Итак, начнем наш обзор. Насколько можно судить на основе просмотра известнейших ныне памятников, древнерусские авторы не призывали к активному труду вообще, везде и во всем, особенно в обыденной жизни, как это делали драматурги и писатели второй половины XVII в. Такого всеобщего принципа у древнерусских авторов не было. Неустанные старания людей поощрялись лишь в строго определенных областях деятельности, которые служили практическим воплощением норм христианского благочестия. Упомянем об отдельных видах «добрых дел», требовавших, по мнению авторов, полной отдачи сил.

Наиболее часто приветствовалась неумолимость церковного подвижника. Примеров, включая повести, так много, что они вспоминаются без усилий. Различие литературных жанров существенно не отражалось на авторском отношении к подвижникам. Но интересная деталь. Тема труда, пожалуй, не сразу возобладали в рассказах о святых и монахах, но выростала постепенно. Например, в житийных статьях «Повести временных лет» о первых русских праведниках их жизнь еще не трактовалась как огромный непрерывный труд; больше подчеркивались мучения и лишения, то, что праведники «приимаше раны и наготу». В житиях лишь к XV в. подвижничество и труд стали повсеместно превращаться в своего рода синонимы. Сергей Радонежский у Епифания Премудрого — «чюдный страсотръпецъ без лености повсегда подвигом добрым подвизашеся и николи же обленися» («Житие Сергия Радонежского»

Епифания Премудрого, 7). Русская литература XV—XVI вв. в житиях и повестях показала великое количество трудолюбиво смиряющих себя старцев, каждый из которых, как сказано в «Киево-Печерском патерике», «не дааше собе покоя в дъне и в нощи, в трудех же пребывая, в бдениях и в молитвах» (17).

Авторы житий часто восхваляли также самозабвенный труд на благо монастырей и монастырской братии. Кирилл Белозерский «на дело монастырское... работающе не яко человеком, но яко Богови или пред Богомъ стояще» («Житие Кирилла Белозерского», XXIII). Авраамий Ростовский всегда работал на братию, «трудом себе источив»: «Обычай бо имяше преподобный по вся дни на братию тружатися, овогда в поварню дрова секуще, иногда власяници на братию мыяше, иногда воду носяще в поварню и в пеколницу» («Житие Авраамия Ростовского», 221, 222).

И опять замечается нарастание темы труда. В последней четверти XV в. авторы с возросшим усердием призывали иноков к «рукоделию» — «в ручном деле тружающесея» (записка Иннокентия о последних днях Пафнутия Боровского, 446). Назидательные призывы к «рукоделию» повторялись для монахов в произведениях разных жанров: в книге басен «Стефанит и Ихнилат», в посланиях Иосифа Волоцкого, в сочинениях Нила Сорского, в монастырских уставах². Ср. «предисловие» Корнилия Комельского к монастырскому уставу: «Прежде всего подобает инокам обще живущим... трудитися телесне, аще мощни суть, и готовым быть в всяку службу... и по чину творити тцательно, елика сила» (256). Впрочем, наблюдения над усилением темы труда в XV—XVI вв. подлежат дальнейшей проверке. Мы сообщаем лишь некоторые факты в пользу высказанного предположения. В целом же прославление неутомимости церковно-монастырского труда, в том числе и в строительстве зданий, было устойчивой старой традицией и продолжалось в XVII в. Все дело в том, чего авторы повестей и драм второй половины XVII в. требовали сверх этого: энергий человека вне монастырских занятий, в мирской жизни.

Но писатели XII—XVI вв. иногда тоже призывали к активности и неутомимости в мирской жизни. Ярчайший ранний пример — «Поучение» Владимира Мономаха. Однако если отвлечься на время от советов Мономаха читателям быть активными в воинской деятельности и в охоте, то что тогда из наставлений остается в «Поучении»? Тогда, как ни непривычно это звучит для нас, остается поощрение преимущественно церковно-благочестивых поступков. «Да дети мои или ин кто, прочет сую грамотицю... — обращался Мономах к читателям, — и не ленитися

² См.: Лурье Я. С. Комментарии // Стефанит и Ихнилат: Средневековая книга басен по русским рукописям XV—XVII веков. Л., 1969, с. 222—223.

начнет так же и тружаться». Что подразумевал Мономах под словом «тружаться»? Обязательно и благоугодные деяния, добродетельное поведение. «Научися, верный человеце, — пояснял Мономах, — быти благочестию делатель», «а Бога дея ни ленитесь» «добра же творяще, не мозите ся ленити ни на что доброе» (153, 155, 156, 158). И когда Мономах бросал знаменитую фразу о том, чтобы солнце вас не застало на постели, то он имел в виду аккуратное вставание к утренней церковной службе. В этом легко убедиться, прочитав текст. Проповедь благочестивых дел в «Поучении» Мономаха, несомненно, занимала важное место, отрицать это невозможно.

Мы выделяем это обстоятельство не потому, что хотим преувеличить степень церковности «Поучения», по праву считающегося памятником прежде всего светским, но для того, чтобы напомнить о силе церковной традиции. Когда писатели XII—XVI вв. говорили о человеке мирском, то они в первую очередь призывали его к неустанному вершению благочестивых дел. Этот подход к человеку был обычен и для такого произведения, как «Поучение» Мономаха, а затем проявился гораздо сильнее. Понуждение читателей к неутомимой молитве, посту, чтению церковных книг, творению милостыни — «нощи и дни беспрестанно» — было обязательным для множества памятников различных жанров XV—XVI вв. Так, повести и сказания XV—XVI вв. настойчиво внушали правила старательно-благочестивого поведения мирских людей. Например, сыну новгородского посадника Щила «святитель же повеле... в посте и во бдении пребывати, и повеле на 40 дней у 40 церквей сорокоусты дати священником с причетники довольно, да поют в ты дни по 40 панахид и литургии неизменно, и в ту 40 дней милостыню беспрестанно творити» (123). Персонаж все исполнил беспрекословно. Постоянно пребывали в молитвах образцовые герои и других повестей. Князя Петр и Феврония муромские в конце концов «ходяще... в мольбах непрестанных» (114). Петр, царевич ордынский, «навыче... молитвы плачевныя, дневныя и ночныя, приносити к Богу и непрестаннаго поста не оставаяся» (99). Примеров можно привести очень много.

И, пожалуй, опять замечается нарастание темы труда в рассуждениях писателей XV—XVI вв. о поведении мирского человека. Недаром были собраны в «Измарагде» наставления о необходимости неустанного благочестивого труда и «поучения ленивым, иже не делают, и похвала делателем»³. Свидетельством усиления темы труда к XVI в. служит еще одно наблюдение. История изгнания Адама из рая на землю, вероятно, не всегда толковалась как начало трудовой жизни человека, которому

³ О теме труда в «Измарагде» XV в. см.: *Клибанов А. И.* Византийское «Слово о старце» и русская публицистика XV в. // *Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе: Сборник статей, посвященный Льву Владимировичу Черепнину*. М., 1972, с. 165 и сл.; *Адрианова-Перетц В. П.* К вопросу о круге чтения древнерусского писателя // *ТОДРЛ*, т. 28, с. 19 и сл.

отныне предназначено было добывать хлеб в поте лица своего. Например, судя по пространной «Речи философа» под 986 г. в «Повести временных лет», согрешение Адама еще не вело к непрерывному труду. Бог лишь сказал: «...и в печали яси вся дни живота своего» (63). Но о последующем труде человека в «Речи философа» ничего не говорилось. Зато особую популярность история Адама и апостольские слова о труде приобрели в XVI в. Ни один крупный русский публицист XVI в. не обходился без их изложения. «Живи апостольски, — наставлял Максим Грек, — руками своими добываючи себе свой хлеб», надо «житьелствовати... в поте лица своего ядущим хлеб свой, по древней божественной заповеди» (29, 117). По примеру Адама «в поте лица хлеб ясти» призывал людей митрополит Даниил (38). Персонажи сочинений Ивана Пересветова повторяли те же высказывания. Магмет-салтан турецкий «веры христианъския из мысли не выпустил и поту чела своего уживал... А рек тако: „Исполняю заповедь Божию. Господь приказал отцу нашему Адаму первому поту чела своего уживати“». Другой персонаж — Петр, волоцкий воевода, обращался к людям: «Аки отцу нашему первому Бог приказал Адаму, создавши его и дав ему землю и помощь его, и велел делати землю, в поте лица ясти хлеб, и Адам заповедь Божию исполнил. И нам такожде годится во всем послушати Бога...» (151, 170). А. М. Курбский писал о том же, правда, в напоминание монахам: «...своими руками пищу набывающе, яко рече великий апостол: „Аще кто не делает, да не яст“; и паки: „Руце мои послужаши ми и сушим со мною“» (332). О труде, в XVI в. писании много и многие, и еще не проведено детального сопоставления всех высказываний и поучений на эту тему до XV в., в XV—XVI вв., в XVII в.

Однако если даже принять предположение об усилении темы труда в литературе XV—XVI вв. сравнительно с литературой предыдущего времени, то тем не менее ясно видно, что авторы многих светских произведений продолжали придерживаться церковной точки зрения на мирского человека и ограничивали его энергию в основном богоугодными делами — молитвой, постом, чтением, рукоделием, даянием милостыни и пр. Это не значит, что в повестях герои не делали ничего иного. Но к неустанности авторы призывали людей только в богоугодных делах. В остальном авторы повестей разделяли принцип, высказанный церковными публицистами: поменьше стараний в суетном. «Бегай праздности губительныя... — поучал Максим Грек, — делай же Богу вся» (28—29). Митрополит Даниил предостерегал от увлечения суетной деятельностью, призывал бежать «суетнаго жития»: «Престанем убо, молюся, от пагубных сих всех и душетленных действ» (25) и т. д. и т. п. То же отношение к мирским занятиям, только выраженное косвенно, найдем во многих повестях и сказаниях XV—XVI вв.

Конечно, сразу же можно указать исключения. Прежде всего — так называемые «воинские» повести. Затем — сочинения Ивана Пере-

светова. Но примечательно: во всех таких памятниках, несмотря на разницу жанров, много рассказывается о военных делах. О поощрении воинской активности писателями Древней Руси далее мы будем говорить особо. Собственно отступление от ортодоксально-церковного взгляда на человека у Ивана Пересветова замечается, в частности, в следующем. Этот писатель XVI в., как известно, убеждал ревностно служить не только Богу, но и «правде». «Бог помогает не ленивым, — писал он, — но кто труды принимает и Бога на помощь призывает да кто правду любит и праведен суд судит: правда — Богу сердечная радость, а царю великая мудрость» (170). Но «правда», по Пересветову, все-таки обязательно богоугодна. Человеческая деятельность еще не вырывается Пересветовым из церковного контекста более решительно, как это произошло у ряда авторов второй половины XVII в.

В общем выборочный просмотр произведений разных жанров XV—XVI вв. позволяет предположить, что большинство авторов этого времени проповедовало традиционное церковное отношение к мирскому человеку; обычно поощряло его неутомимость лишь в несомненно богоугодных делах. Подобная традиция стойко держалась и в первой половине XVII в. И, например, Антоний Подольский, обличавший пьянство, еще не говорил о том, что данный порок мешает трудиться «мастерому» человеку (такой довод приводила цитированная выше «Повесть о Хмеле»). Антоний Подольский же лишь рассуждал о том, что пьянство — это «отлучение вечнаго веселия» на небе и пр. (3 и др.). Деятельность мирского человека непременно укладывалась в церковные рамки.

Если вспомнить о сказанном относительно авторов второй половины XVII в., то существенная разница вырисовывается явственно. Драматурги, многие писатели и поэты второй половины XVII в. жаждали видеть энергичных людей, но уже вне церковной деятельности, безотносительно к ней, нередко без всякой связи с церковными или благочестивыми делами. Энергия и труд человека в понимании авторов второй половины XVII в. стали отделяться и отдаляться от церковной интерпретации, обязательной ранее.

Однако наш обзор литературы XII—XVI вв. еще далеко не закончен. Посмотрим теперь, каковы были отступления от церковного отношения к мирскому человеку. Ведь древнерусские авторы призывали к старательности и трудолюбию и в некоторых видах деятельности, более или менее светских по характеру.

Так, в древнерусских сочинениях можно найти немало поучений о неустанном домашнем или женском труде. Одна из древнейших статей (под 980 г.) в «Повести временных лет» — это похвала трудолюбию «добрых жен». О необходимости трудолюбия «добрых жен» распространялся Даниил Заточник; о том же был собран комплекс слов в «Измарагде» и корпус правил в «Домострое». Различные картины и сцены

в памятниках соответствовали этим правилам и поучениям. За леность наказал Дракула жену некоего «сиромахи». «Да почто ты леность имеши к мужу своему? — внушал Дракула жене перед казнью. — Он должен есть сеяти и орати и тебе хранить, а ты должна еси на мужа своего одежду светлу и лепу чинити» (120). Старательно занималась домашней работой женщина и в произведениях первой половины XVII в. Например, Улияния Осорьина «точию в прядивом и в пяличном деле прилежание велие имяше, и не угасаше свеща ея вся нощи» (40). Здесь обрисован общепринятый в литературе образец трудолюбия женщины. Недаром о неугасимой свече перед хозяйкой поминал и «Домострой». В притче о временах года, распространившейся во многих списках с конца XVI — первой половины XVII в., тоже напоминалось о неустанности домового труда, в том числе и мужчины: «Лето же нарицается муж... смотря и пекися о своем дому и любя дело прилежно, без лености въставая за утро, до вечера делая без покоя. Таков муж есть лето» (589).

Но картины интенсивного женского труда не выступали за пределы традиционных церковных представлений. Требования активности в домашнем труде основывались на авторитетных высказываниях отцов церкви; такой труд также считался делом благочестивым, поэтому и поощрялся.

Хотя старое отношение к женщине не было преодолено и во второй половине XVII в., однако стало заметным важное различие: круг деятельности женщин в произведениях очень расширился и вышел за границы домашних и церковно-молитвенных дел. Если в XV в. писатели говорили о женщинах: «Жена в любви подруга есть, а в деле горка» («Александрия», 142), то во второй половине XVII в. драматурги показывали участие женщин в государственных делах, подобно Астини в «Артаксерксовом действе», или их действия в военной обстановке, как Иудифи. Можно возразить, что эти образы перешли в драмы из Библии. Но в том-то и новизна, что драматурги не только сообщали о любопытных событиях, но подробно изображали процесс размышлений, приготовлений и занятий женщин «мужским» трудом. Женщина как литературный персонаж стала энергичнее, оттого что переменялось и отношение авторов к ней.

Разумеется, перелом подготавливался постепенно. Еще в конце XVI в. в «Повести об осаде Пскова Стефаном Баторием» женщины ретиво помогали воинам. Но ощутимее прежнего элементы нового взгляда на женщину дали о себе знать со второй половины XVII в. Татьяна Сутулова в «Повести о Карпе Сутулове» уже занималась денежными делами, притом даже успешнее, чем ее супруг. Активней и независимей повела себя женщина и в любовных делах. Временем сдвига в писательских представлениях о женщине все-таки нужно считать вторую половину XVII в.

Продолжим обзор. Несомненно, светским видом деятельности, в котором древнерусские авторы требовали от человека прилагать все силы, всю энергию, было военное дело. Издавна раздавались призывы не жалеть себя на войне. «На войну вышед, не ленитесь... ни питью, ни еденью не лагодите, ни спанью...» — поучал Владимир Мономах (157). Особенно ценилась храбрость, порождавшая быстроту и неистовство воинов. Примеры этого в изобилии можно найти в каждой «воинской повести».

И опять в XV—XVI вв. в разработке военной темы усиливается мотив труда. Показательно, что мудрецы в «Александрии» говорят Александру Македонскому: «Подобает бо нам потрудитися со ближними царьми, и устремитися на них, и сих воеваша» (15). То есть война совершенно спокойно, привычно, без метафорической приподнятости приравнивается к труду.

В XVI в. уже преобладает, так сказать, будничное понимание войны. Война — это служба. «А еже, — отвечает Грозный Курбскому, — ... всегда в дальних конных градах наших противу врагов ополчался еси, и претерпевал еси естественныя болезни, и ранами учащен еси... и сие несть дивно; но понеже бо сие должен нашему повелению в вашем служении быти» (56). Герои Ивана Пересветова внушают «всему войску своему: „Не скучайте, братие, службу...“ И войско «с коня не сседает, николи же и оружия из рук не испущают...» (155).

В «воинских повестях» XVI в. на первый план выступает не столько храбрость и удаль, сколько неустанный, изнуряющий труд воюющих сторон. Например, в «Повести о взятии Царьграда» Нестора-Искандера в непрерывной, неумолимой военной деятельности пребывают и нападающие турки, и осажденные греки. «И бе страшно видети обоих дерзости и крепости», — пишет автор. «Турки же по вся места бяхуся без опочивания день и ночь премеяющесе, не дающе нимала опочити» грекам; но и греки борются день и ночь, так что во время передышки «падоша от труда яко мертвы». Греческий «цесарь же объеждаше вокруг града почасту, укрепляя стратиг и воин, такожде и всех людей... да не ослабеют делом». И турецкий султан «сам скакаша по всем местом, крыча и вопия, понуждающе своих» (65, 59, 60, 70, 71). Усилия противников огромны, на пределе человеческих возможностей; притом изображение непосредственно битв и стычек уступает место картинам трудоемкой подготовки к сражениям.

Из всех отдельных видов труда, к интенсивному выполнению которого подталкивали древнерусские авторы, больше всего в XVI в. приблизилось к новым требованиям второй половины XVII в. изображение труда воинского. И в XVI, и в XVII в. к воинской активности призывали примерно одинаково. Но есть и различия. Во второй половине XVII в. сравнительно с XVI в. заметно расширилось внимание писателей именно к будничным сторонам военной работы — к обуче-

нию солдат, к проведению разведки, к военно-хозяйственным приготовлениям и расчетам. Об этом мы подробнее расскажем далее в связи с развитием военного дела в России второй половины XVII в. В данном же случае подтверждается главная особенность отношения авторов к человеку. До XVII в. древнерусские авторы считали необходимым проявление энергии только в строго определенных областях деятельности: в церковном подвижничестве, в монастырской работе, в молитвах, посте и иных богоугодных делах мирских людей, в домашних хлопотах женщин, в военном труде ратных людей. Вот, пожалуй, и все. Со второй половины XVII в. энергия человека стала приветствоваться почти без ограничений во всех областях и во всяких проявлениях, включая многообразный быт.

Мы перечислили основные случаи внешнего сходства авторских позиций до XVII в. и во второй половине XVII в. Даже при самом общем сопоставлении заметно их существенное различие. Различие идет еще глубже, если ответить на вопрос, каким же в остальных случаях рисовали поведение человека авторы повестей хотя бы XV—XVI вв. Было бы недостаточным лишь отрицать, сказав, что в остальных случаях авторы не апеллировали к энергии человека. Но что тогда выдвигалось на передний план?

Во-первых, в памятниках XV—XVI вв. дела и передвижения героев очень часто свершались без трудов, чудом сказочным или божественной помощью⁴. Даже в самых светских по характеру сочинениях воины нередко «безтрудно бияшесь мечем» («Троянская история», 21), а строители без усилий созидали города: «...делатели начата делати, Боже неведомо помогаше им о деле том... но яко дивитися всем зрящим борзейшему тому делу» («Слово похвальное» Фомы, 25). Герои желали именно чуда, а не свершения в труде даже самых обыденных дел. Так, один из персонажей просил царя Адариана: «Господине мой, царю, — помози ми в час сей воскоре... лодья моя за трими врѣстами хочет погрязнут...» Царь готов помочь: «Не бойся, пошлю люди и приведут ю». Но проситель недоволен: «Чему, царю, трудиши люди своя, посли ветр тих...» («Повесть о царе Адариане» из «Палеи» 1494 г., 58). Процесс реального совершения дел еще не находился постоянно в поле зрения повествователей.

Во-вторых, герои в повестях XV—XVI вв. почти никогда сразу не приступали к делу, если уж автор решил показать, как разворачивались события. Герои медлили, останавливались, не решались взяться за дело, «в недоумении велице быв» («Повесть о Щиле», 125). Особенно вырази-

⁴ Подробнее об этом см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы, 2-е изд., доп. Л., 1971, с. 385—403. Ср. также случаи очень ранние, когда на героя «переносятся подвиги его дружины» (Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Л., 1970, с. 67 и др.).

тельна эта нерешительность у персонажей «Повести о Петре и Февронии». Князь Павел должен вмешаться в ход событий, прогнать напавшего змея. «Князь же мысляше, что змиеви сотворити, но недоумеяшеся; и рече жене си: „Мыслю, жено, но недоумеюся, что сотворити...“» Когда князю прямо сказали, что надо делать, он все-таки, «то послышав, недоумеяшеся...». К делу привлекли другого князя — Петра, но и тот «нача мыслити, недоумеяся». Это «недоумение» сопровождало его постоянно. Вот корабль пристал к берегу вечером, надо бы разжечь костер, а «князь Петр яко помышляше начат: „Како будет...“» (108, 109, 114).

Подобную нерешительность князей вряд ли можно объяснять индивидуальным замыслом автора повести, противопоставившим колеблющимся князьям решительную деву из народа — Февронию. Ведь и Феврония в повести отнюдь не деловита и энергична, какими станут лишь героини XVII в. Она все делает только при помощи чуда, без труда и усилий, сама оставаясь покойной и малоподвижной. С другой стороны, нерешительные персонажи были достаточно распространены в литературе XV—XVI вв., и колеблющихся князей «Повести о Февронии» нельзя принимать за нечто самобытное. Например, царь Константин в «Повести о новгородском белом клобуке» тоже «мысляще неослабно... и недоумеяся» (291).

Героев повестей XV—XVI вв. часто останавливали сомнения, смутные переживания, какая-то неопределенность в выборе пути. То один, то другой персонаж, казалось бы, динамичной «Троянской истории» «сумняше мыслю, и велие бысть молчание». Колеблется и томится главная героиня Медея: «...многим разньствием колеблется мысль в Меди» (28, 18). Сходно поступают персонажи «Сказания о Мамаевом побоище», например литовский князь Ольгерд: на полпути «Ольгерд литовский став на едином месте, не смея никуды итти. И нача разумети суетный свой помысл...» (26). Так же ведут себя люди в «Повести о путешествии Симеона Суздальского на Флорентийский собор»; на половине дороги «от труднаго пути шествием изнемогшим, и возлегше от печали великия, недоумеющеся, камо поити» (341).

Герои бесконечно советуются и часто плачут — перед деянием, приступив к делу, во время деяния и т. д. Достаточно указать на расслабленного великого князя Дмитрия Ивановича в «Слове о житии и о представлении» его. И существенны здесь не молитвенные слезы, не религиозный экстаз, а фактически любое сильное чувство. Любое чувство, как правило, останавливает героев, даже удивление. Вот они строят храм, обнаружили огромное дерево, и тут же происходит задержка: «...обходяще кругом, древо обзирающе и всей лепоте его безмерной дивящеся; по чудном же дивлении преклонишеся, посекоша древо» (Апокрифическая повесть «Северияна, епископа авасильскаго, о древе спасенаго креста» по спискам начала XV и XVII вв., 83).

Если же герои хотят немедленно начать действовать — а такие случаи тоже встречаются в повестях XV—XVI вв., — то их отговаривают, удерживают, вразумляют. Когда Дмитрий Иванович в «Сказании о Мамаевом побоище» «въсхоте преж всех сам битися с погаными», то сразу «мнози же русские богатыри удръжаше его». Когда затем «сынове же русскыа... непрестанно покушающесе» на брань, то воевода «възбраняше им, глаголя: „Пождите мало“» (II. 67, 70. «Сказание о Мамаевом побоище» цитирую по изданиям разных списков Основной редакции в зависимости от яркости, броскости выражения той или иной смысловой тенденции). Когда в «Повести о Константине, князе муромском» князь «извлекает меч свой прежде всех и тщится к неверной рати итти», то сопровождающие «не пускают его» (231). Когда Иван Грозный в «Казанской истории» «хоте во ярости дерзнути с воеводами сам итти к приступу в велицем полце и дати собою храбрости начало всем», то «удержаша воеводы нудма и воли ему не даша» (150). Возможно, перед нами проявления этикета ситуации (использую определение Д. С. Лихачева). Но каково бы ни было происхождение данных литературных фактов, из них складывается вполне определенный облик героев литературы XV—XVI вв. — удерживаемых, отвлекаемых от непосредственного действия, медлящих, колеблющихся, сомневающихся...

Облик самих авторов иногда был похож на их же героев. Так, Епифаний Премудрый, сочинявший житие Сергия Радонежского и похвальное слово святому, находился в состоянии крайнего, небывалого смятения. «И что сътворю? — вопрошал он. — Дръзну ли недостойно к начинанию? Что убо? Реку ли или запрещаю в себе?» (145, ср. 3) и т. д. Он колебался. Он советовался со «старцами», обращался к собственной совести, трепетал перед огромностью предпринимаемого дела, пока, наконец, не начинал писание. Так сочетались и традиционная позиция агиографа, и специфическая для XV—XVI вв. смятенность и нерешительность героя.

Авторы и герои XV—XVI вв., случалось, и прямо поучали читателей не торопиться действовать, помедлить, подумать. «Со испытанием всяко дело творите», — предостерегал Иоанн Новгородский (248). Под «испытанием» разумелось обдумывание. «И елико пребываеши в соборе косня и ожидая, толико большая благодати от Бога сподобишися», — писал такой активный деятель XV в., как Иосиф Волоцкий. Он настаивал на обязательном медлении: «Ибо к земному царю аще кто приходит прежде и пребывает стоя или сядя у полаты всегда, ожидая царева происхождения, и коснит, и медлит всегда, и тако творяй любим бывает царем...» (298). Возможно, тот же момент обдумывания, сомнения, замедления перед началом дела изображен в знаменитой гравюре в первом печатном «Апостоле» Ивана Федорова 1564 г. Евангелист Лука на гравюре, вопреки прочному для миниатюр стереотипу, не пишет, а сидит без движения, опустив руку и глядя на приготовленные листы. Насколько

непохоже содержание этих увещеваний и картин на требования, предъявляемые в аналогичных ситуациях сочинениями второй половины XVII в., в которых приветствовалась энергия и импульсивность героев!

Вообще, в XV—XVI вв. ценилась тихость, покойность, плавная красота людей и событий. Если Максим Грек просил от каждого инок: «Сего тихо веющего зефира ветрила твоя наполни...» (50), то такое пожелание выглядело вполне традиционным. Однако той же тихости добивался митрополит Даниил от людей мирских. «Достоит же... — говорил он, — терпети с тихостию, и кротостию, и с смирением, и долу имети очи, и преклонену выю, и взор тих, и ступание кротко...» и пр. «И сице в тихом и кротком, и смирением житии Христу-богу угоден будеши». Даниил многократно взывал: «Възлюбленнии, будем тихи, кротци, смиренномудри...» Труд, к которому понуждал Даниил, был прежде всего трудом тихим, кротким, ненапряженным: надо делать «всяк труд телесно кротко, и смиренно, и благопокорно». Тихим и пристойным должны были быть отдых и развлечение. «И аще хочещи прохладитися, — позволяя Даниил, — изыди на предверие храма твоея, и виждь небо; солнце; луну; звезды; облака, ови высоци, ови же низайше; и в сих прохладжайся» (51, 27, 32, 38, 25). Идеал жизни мирянина для Даниила заключался во всеобъемлющей «тихости». Кстати говоря, и по предписаниям «Домостроя» человек в доме и на людях должен был вести себя тихо, спокойно, чинно, без напряжения, — «вежливенко».

На воинов и на военное дело также распространялись эти требования «тихости». Симптоматично заявление того же митрополита Даниила: «Воини никогоже да обидят» (38). Сочинителям повестей и похвальных слов XV—XVI вв. нравились, конечно, не абсолютно безобидные воины, а войско, тихо, достойно, солидно делающее свое дело. «Изрядно посмотри учреждение их!» — хвалил построение московского войска автор «Сказания о Мамаевом побоище» (23). «Дивитися храборству их, и дерзости их, и великому их умению», «бысть дивъству достойно зрение», — дивился изрядству тверского войска инок Фома (46). «И в военных делех светлы и нарочиты», — хвалил русских воевод Андрей Курбский (281). Авторов привлекало войско и воины как поразительное зрелище слаженности и силы. Недаром «Казанская история» не забывала отметить, что царь Иван Грозный «в калатырь облекся предо всеми, яко гигант» (125).

И когда громада войск в повестях и в «историях» приходила в движение, то движение это было чинным и плавным. «Полки же русские грядут тихо и немятежно, яко медвяныи чаши пити», — описывало «Сказание о Мамаевом побоище» приближение русских к татарам (31). И в «Казанской истории» русские войска также благочинно шли на татар: «...яко на царев пир позвани царем, радующимся, идяху» (121). То же и в «Истории о великом князе московском» Андрея Курбского:

«И развивши хоругви христианские, со многим благочинием и устройством полков, поидоша ко граду супостатов» (180).

Движение войск было настолько гармоничным и плавным, что напоминало покойное течение масс воды: «Но яко же бысть некая великая река лиющись и паки море колыблющися» («Слово похвальное» Фомы, 48); или: «лиющися со всех стран, аки силная вода» («Казанская история», 151).

Более стремительное движение войска и отдельных воинов оставалось столь же плавным и ясным и походило на полет крупных птиц: «И поскочиша из дубравы зеленыя, аки ясныя соколы от золотых колодищ на жаравлиное стадо» («Сказание о Мамаевом побоище», 34); «полете, яко ж высокопарнии орл на свой лов» («Слово похвальное» Фомы, 50); «аки орл полете, похищая себе сладок лов», «яко высокопарныя орли, полетевше изо очию безчисленнаго множества народа московскаго» и т. п. («Казанская история», 102, 121).

Итак, есть основания предполагать, что авторы повестей, сказаний, «историй», а также некоторых иных сочинений XV—XVI вв. стремились изобразить движения людей — иноков и мирян, царей и воинов, в домашнем быту и в военных сражениях, — в какой-то единой стилистической манере. Все словно сглаживалось, закруглялось, плавно и покойно переливалось, красиво и гибко застывало. Создавалась своеобразная чинная «тихость» огромного изображаемого мира. В конечном счете именно такой «тихости» желали в произведениях герои, вроде царицы Динары. «И госпожа же сия, — сообщала в начале повесть, — печашеся, како бы ей быти в тихости». И заканчивалась «Повесть о царице Динаре» тем же: «И нача держати властодержество свое тихо и немятежно» (88, 91).

Сверх того, в церковных повестях и сказаниях различные животные приближались к идеалу «тихости»: «Видят... конь велми дивен, предстоящ пред враты монастырскими... стояше ж кротце, недвижимо... и дивистася коня онаго стоянию и кротости» («Повесть о построении новгородского Благовещенского монастыря», 255—256). Старинные рассказы о смиренных диких животных расширяли границы этого смягченного, «тихого» мира. Встретили путники, например, львов. «И притекоста лвы противу нам на востретенье, — рассказывают путешественники, — и начаста радоватис, овому нози лижюцю, другаго по главе глядяще, яко человеци разумеюще, и кланяхуться». Такие львы, сердясь, даже не рычали. «Лвица разъгневашас на мя, — вспоминает один из свидетелей, — и киваста на мя главами своими» («Слово о трех мнисех, како находили святаго Макарья», 140, 144). При чуде все замирало тихо и беззвучно. При рождении Христа, рассказывает очевидец, «възрех на вебо и видех круг солнечный стоящъ, и видех птица небесныя молъчаща, и позрев на землю и видех делателя възлежаща и не делающа дел своих... И възведе пастырь руку, хотя ударит овца, и рука его стояше горё; и позрев в

поток и видех уста козлицы прилежаща к воде и не пьюща» («О рождении Иисуса Христа», 78). Чудо усиливало «тихость».

Произведения русской литературы XV—XVI вв., конечно, не сплошь показывали «тихость» и плавность жизни людей и окружающего мира. Наверняка можно будет указать исключения, если досконально обозреть памятники этого времени. Но выборочный обзор памятников, как нам представляется, довольно ясно свидетельствует, что заметной стилистической чертой в XV—XVI вв. являлось охарактеризованное выше стремление авторов к «тихости», чинности, плавности изображаемого.

В существовании такого стилистического явления убеждают еще и наблюдения над тем, как авторы относились к напряженным, резким, быстрым действиям героев, которые волей-неволей тоже приходилось описывать.

Запоминается любопытная деталь. Если персонажей призывали потрудиться изо всех сил, то только в течение короткого отрезка времени, на момент. Так, в «Казанской истории» Иван Грозный обращался к войску: «Что долго стоите безделныи? — и пояснял: — Се приспе время потружатися мал час и обрести вечную славу». Этот «мал час» не был оговоркой. Автор «Казанской истории» и сам затем повторял: русские воины «мало дни трудившеся и на долга времена обогатевша» (150, 157). Возможность резко интенсивного труда на долгое или на неопределенное время словно бы не допускалась.

Совершив решительный поступок, герои надолго выходили из строя. Например, в «Повести о Петре и Февронии» князь Петр после колебаний и сомнений наконец-таки убил змея, но затем даже «не бе бо сам мощен на кони сидети от великия болезни» (110). В «Сказании о Мамаевом побоище» после победы над татарами стали искать Дмитрия Ивановича на поле боя «и наехаша великаго князя бита и язвена вельми и трудна, отдыхающи ему под сению ссечена древа березова» (II. 73). Герои обязательно должны были отдыхать. В «Повести о взятии Царьграда» после каждого сражения люди падали в изнеможении: «...не обретоша людей: вси бяху бо спяща утрудився», «градцкие люди падоша кои же и где успе от труда», «все людие бяху еще опочивающе от безмерныя и неприемныя истомы». Сам цесарь «паде на землю, яко мертв, и бысть безгласен на мног час, едва отольяше его араматыными водами» (60, 62, 68).

В повестях XVI в. такой отдых героев не сократился, а, наоборот, стал безмерным, превратился в пьянство, беспамятство, наносившее злостный ущерб делу. Вот в «Казанской истории» одержали небольшую победу русские над татарами «и начаша без страха ясти и пити... и глумитися и играти и спати до полудня». Тогда татары нанесли урон Русским; но после этого и татары «ядяху и запивахуся до пьяна и спяху сном крепким». Теперь татар снова погнало русские. Но вот рус-

ские почти захватили Казань, однако «позакоснеша мало и прозабывшися в пьянстве» (62, 69, 109). И снова штурм получился безуспешным. Так авторы XV—XVI вв., можно сказать, не давали своим героям развернуться с полной энергией, но все время как бы притушивали их натиск. В результате события в произведениях развивались более плавно, более медленно, с соблюдением тянущегося равновесия сторон и пр.

Но в повестях и сказаниях XV—XVI вв. существовал большой разряд героев, на которых не распространялся идеал «тихости» и плавности. Это были, конечно же, персонажи отрицательные. Их отличала неприятная быстрота и напряженность действий. Но авторы недвусмысленно показывали свое неприятие такого образа жизни. Авторы, во-первых, публично отмежевывались от столь тягостных для них лиц, в изобилии подчеркивая их дьявольское рвение, разбойничью лютость, бесчеловечие и зверообразное поведение и т. д. и т. п. А, во-вторых, тот, кто с напряжением, с «тяжким и зверообразным рвением» быстрее нормального стремился сделать дело, как правило, в повестях XV—XVI вв. не добивался успеха или вообще погибал.

Так, в списке XV в. известна повесть о двух сапожниках. Один был исключительно искусен и трудился без отдыха и без выходных: «Хитрый велми», «и делаяй и в неделю, не опочиваше всегда». И что же? Он не только семью свою, «но не себе кормити можаше». Другой же сапожник ежедневно отвлекался от дел, «по вся дни хождаше в церковь» и все-таки «от ремьства своего изобиловаше». И автор разъяснял читателям: «Се же, братие и чада... аще бо и много ся труждаем, делающе или куплю деюще, а от Бога не будет дано, но не успеем то ничтоже» («О некою двою суседу шевцу», 87). Несмотря на религиозную цель изложенной повестушки, показательно, что в ней в качестве отрицательного примера избран неустанный, не соответствующий принятой норме человеческий труд.

И подобных рассказов бытовало немало. То «рыболовъцы ловитву деюще, и чрез всю ноц тружавшися, не яша ничесоже и от труда изнемогоша» («Житие Антония Римлянина», появившееся на Руси в XV — начале XVI в., 267). А то жили двое слуг. Один очень быстро исполнял повеления и погиб, «пойде... скоро... и умре зле». Другой же слуга не сразу кидался исполнять поручения, но по дороге останавливался, «ста у церкви, жды съвершения службе»; зато избежал большой опасности. Конечно, рассказ этот в основном побуждал читателей усердно посещать церковь, даже в ущерб мирским делам. Но неприязненное отношение к чрезмерному рвению тоже чувствовалось. Недаром в более позднем варианте этого рассказа в XVII в. были опущены упоминания о старательности и быстроте погибшего слуги. В более позднем варианте предавали смерти только за неблагочестие. Из-за быстрой исполнительности в XVII в. персонаж уже не должен был гибнуть («Повесть о благочестивом рабе», 83, 82).

Осуждение чрезмерного напряжения и быстроты действий встречалось в повестях XV в. и вне церковного контекста. Например, в «Александрии», глядя на стремительно приближавшееся персидское войско, Александр говорил: «Зрите их, како неурядно идуць, скоро бо идуць, а скоро имут бегати» (30). «Скоро» в данном случае значило «неурядно», следовательно, и некрасиво. За «неурядную» скорость расплачивались поражением.

Тем же персам в «Повести о царице Динаре» царица предсказывала поражение именно из-за их неутомимых трудов: «Онем же убо персом борзящим и без сна пребывающим и конем их томящися день и ночь и в великом труде пребывающим... перси во многом истомлении» — и проиграют сражение (50). Так и случилось.

Таким образом, еще раз подтверждается наличие определенной тенденции в изображении поведения людей, по крайней мере в повестях и сказаниях XV—XVI вв. Многие авторы XV—XVI вв. предпочитали «тихость», чинность, плавность действий героев и отрицательно относились к резкости и напряженности в действиях людей.

На этом мы заканчиваем общий экскурс в область литературы XV—XVI вв. Мы не даем точного определения обозначенному стилистическому явлению «тихости». Не рассматриваем его истоки и не дифференцируем его хронологические разновидности, хотя тяготение к «тихости» нужно соотносить со стилями «психологической умиротворенности» XV в. и идеализирующего биографизма XVI в., о которых писал Д. С. Лихачев⁵. Оставляем открытым вопрос, как сочеталось стремление к «тихости» с усилением темы труда в XV—XVI вв. Для всего этого необходимо специальное изучение стилей русской литературы XV—XVI вв.

Основной объект нашего рассмотрения — литература второй половины XVII в., и для наших целей достаточно охватить предшествующую литературу XV—XVI вв. единым взглядом, отметив самое главное для нас и не отвлекаясь к частностям, хотя бы и важным. Главное же заключается в заметном различии поведения героев в повестях и иных произведениях XV—XVI вв., с одной стороны, и в сочинениях второй половины XVII в., с другой стороны; иными словами, в разных требованиях авторов к человеку. В XV—XVI вв. авторы поощряли плавную покойность и чинность, во второй половине XVII в. требовалась резкая энергичность и активность. Коренным образом изменились требования авторов к человеку, переменились и литературные герои, став необычайно «живыми» и подвижными.

⁵ Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси, с. 103.

3. ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛЕНИ В XVI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВВ.

Чтобы дополнительно убедиться в том, что новое отношение авторов к человеку стало причиной «живости» литературных героев, кратко сопоставим историю зарождения этих явлений. Как отмечалось, «живость» и подвижность героев эпизодически встречались в произведениях издавна, но представление о необходимости активной и энергичной деятельности человека во всех областях жизни еще не выкристаллизовалось.

Примерно с середины — второй половины XVI в. началось долгое движение к формированию новой системы требований к человеку. Признаки этого можно видеть по появившимся жалобам авторов на леность и нерадивость русских людей (или славян) в противоположность энергичности других народов. Порицалось не леностное «естество» людей вообще, а недостатки конкретного народа. Ранее подобные жалобы почти не встречались; по крайней мере не излагались так пространно и определенно. Подобную неудовлетворенность ясно выражал, например, автор «Казанской истории». «Умелы бо суть измаилтяне, — писал он, — от начала бранем учатся, от младенства сицевым образом, потому же и суровы и безстрашны и усерды нам бываху, смиренным... Мы же есмя от кроткаго и смиреннаго праотца нашего Иякова, тем силно не можем противитися им...» Персонажи «Казанской истории» добавляли свои жалобы. Так, Иван Грозный говорил с досадой: «И кто не посмеетя нам, часто приходящим и с таким тяжким нарядом поднимающимся, и всегда велико дело начинающим, и не совершающим, ничто же добра успевающим, но токмо труд велик себе доспевающим?» И вельможи признавались Ивану Грозному: «Иногда нерадением и леностию своею одержими бехом и лестию тебе служихом» (75, 137, 116)¹.

Сам Иван Грозный в своих посланиях, действительно, высказывал сходное неудовольствие. «Крымцы так не спят, как вы», — обвинял он Василия Грязного и ему подобных. И приводил в пример Грязному крымского князя: «Тебе, вышедши ис полону, столко не привесть татар,

Цитируемые произведения: «Казанская история» — Казанская история / Изд. подгот. Г. Н. Моисеева. М.; Л., 1954; «Повесть о Бове» — Веселовский А. Н. Из истории романа и повести. СПб., 1888, вып. 2. Приложения; «Повесть о Скандербеге» — Повесть о Скандербеге / Изд. подгот. Н. Н. Розов, Н. А. Чистякова. М.; Л., 1957; «Повесть об азовском осадном сидении» — Воинские повести Древней Руси / Текст памятника подгот. А. Н. Робинсон. М.; Л., 1949; «Повесть об Уруслане» — Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. С. Тихонравовым. М., 1859, т. 2, кн. 4; послания Ивана Грозного — Послания Ивана Грозного / Изд. подгот. Д. С. Лихачев, Я. С. Лурье. М.; Л., 1951; сочинения Юрия Крижанича — Юрий Крижанич. Политика / Текст памятника подгот. В. В. Зеленин. М., 1965.

ни поймать, сколько Дивей кристьян пленит». «Тако ли пригоже прямая служба?» — вопрошал Грозный в послании Андрею Курбскому, перечисляя факты боярского нерадения, лености и пр. (193, 194. Ср. описанное выше явление, когда в литературе второй половины XVI в. отдых героев стал трактоваться как ущерб делу). Раздражение против лености людей, притом против лености в светских областях жизни, особенно в военно-государственных делах, дало о себе знать в литературе со второй половины XVI в. Усиление темы труда в памятниках XV—XVI вв., вероятно, было связано с новыми оттенками осуждения лени.

В первой половине XVII в. выступления против лености своих и чужих подданных продолжались. Например, в «Повести о Скандербеге» был приведен такой отзыв турецкого султана Махомета о христианах, рассчитанный, вероятно, на то, чтобы задеть чувства читателей: «Оне кручинны, боязливы, сонливы, пьяницы, к войнам не привыкли, а привыкли дома жить, пить, спать, с женами играть, торговать. Без подушек спать не умеют; не напився, не думают; слова воюют, а не делом. Никоторого воинского дела не знают». Соответственно поучал Скандербег своего сына: «Не буди ленив, пиров не добре люби, войны не откладывай на пришлые часы...» (44, 52).

В поднимавшейся волне наставлений против лености в военно-государственных делах использовалось немало традиционных мыслей об обязательной активности воина. Но в общем, сравнительно с прошлым, недовольство леностью, пожалуй, приобрело новый смысл в литературе конца XVI — первой половины XVII в. и отчасти уже стало влиять на изображение поведения героев, особенно воинов и богатырей. Вот почему в повестях об Уруслане и о Бове стали мелькать иногда черты нового среди старого. Так, с одной стороны, богатырей еще отговаривали от решительных деяний, как, например, Бову: «Господине Бова, — просил один из персонажей, — не ускоряй ехати, но помедли...» (246). Богатыри еще думали и сомневались перед сражениями. Но, с другой стороны, однажды Уруслан «не мног думал, никоторыми думами» и сразу напал на вражескую рать (106). Такая импульсивность уже нова. Или еще пример вкрапления новой энергичности в старую покойность и размеренность. Богатыри после деяний еще предавались отдыху, впадали в крепкий сон, даже обессиливали. Но однажды Бова пообещал в службе абсолютную неутомимость днем и ночью, он сказал персонажам: «Яз вам служу по розчету, единому служу от утра, а другому от обеда до вечера, а в ноци по тому же» (242). Усилилась и подвижность героев в «Повести о Бове», в основном при описании многообразных драк.

А, например, в «Сказании» Авраамия Палицына и в «Повести об азовском осадном сидении» (в так называемой «поэтической») сцены осады и сражений уже сливались в непривычную по напряженности картину воинского труда. «И уста наша кровию запеклись, не пиваючи и не едаючи», — сетовали казаки в «Повести об Азове». — Турки «ни

на один час не дают покою нам!.. ни на единой час отдохнуть нам не дадут!» (72, 75). Появилось также много новых прозаических и стихотворных поучений детям старательно, без лени учиться. Ср., например, печатные буквари, начиная с букваря Бурцева (М., 1637). Произведения конца XVI — первой половины XVII в., видимо, начали отзываться на намечавшуюся перемену авторских склонностей от изображения человека покойного к изображению человека энергичного. Но это была лишь подготовка к будущему, развитие важных элементов, но все-таки лишь элементов будущих взглядов.

Ощутимая перемена наступила тогда, когда новые требования к человеку были сформулированы в сочинениях сильно и резко. Время перелома, вероятно, пришлось где-то на конец 40-х—60-е годы XVII в. Пространным осуждением «безделников» открывалась выпущенная большим тиражом в Москве в 1647 г. книга «Учение и хитрость ратнаго строения пехотных людей». Затем в своих сочинениях Юрий Крижанич провозгласил «занятость людей всех сословий и запрещение праздности и безделья» (617) и разносторонне обосновал этот принцип. Далее призывать людей к активности стали многие драматурги, писатели, поэты, проповедники. Вот тогда-то, со второй половины XVII в., в русскую литературу хлынул поток безусловно «живых» и подвижных героев.

4. СТИЛЬ РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. И ЛИТЕРАТУРА

Даже очень беглое знакомство с памятниками конца XVI — первой половины XVII в. подтверждает, что бытовая «живость» героев, подробность описания их действий, поз, жестов находились в зависимости от формировавшегося нового отношения авторов к людям. Способ подробного изображения движений человека в литературе стал активно использоваться как выражение новой жизненной ориентации авторов на человека энергичного.

Посмотрим на «живость» героев с более широкой, исторической точки зрения. Почему многие авторы стали требовать активности людей в литературе и в жизни?

Главную причину указать нетрудно. Объяснение кроется в особенностях социальной жизни России второй половины XVII в. Как известно, вторая половина XVII в. ознаменовалась возникновением большой группы предприимчивых деятелей в разных областях жизни, от хозяйства и торговли до политики и культуры¹. Попытаемся сопоставить их облик, их стиль практической деятельности с явлением «живости — энергичности» человека в современной им литературе.

¹ См.: Очерки истории СССР: Период феодализма. XVII в. М., 1955, с. 53—54, 56, 90—91, 111, 126, 128—129, 137—139, 219, 229—230, 342—343, 349, 456 и др.

Отличительными чертами указанной группы деятелей были необычайная энергия, неутомимость и стремление к скорости в ведении дел, перекликающиеся с соответствующими чертами героев литературы и с авторскими требованиями к людям. К сожалению, не изучены подробно ни стиль работы этих исторических деятелей, ни формирование их как влиятельной группировки в русском государстве. Поэтому приходится ограничиться примерами отдельных лиц и сопоставлениями опять-таки общего характера.

Прежде всего характернейшей фигурой был царь Алексей Михайлович. Исследования историков и собственные высказывания царя позволяют представить стиль работы этой личности. Подчеркиваем, что будем говорить не о содержании деяний царя, не об их полезности или вредности. Это совсем иная тема. По необходимости кратко скажем об общей особенности его практической деятельности, а именно об энергичности и скорости.

В практической деятельности Алексей Михайлович отнюдь не был «тишайшим». Исследователи уже давно отметили «деятельную и вместе экспансивную натуру царя», «его темперамент, не допускающий отсрочек», «исключительную хозяйственную энергию» и пр.²

Энергичная настроенность Алексея Михайловича сразу заметна по его посланиям и грамотам. Желание быстро делать дело ясно отражалось в письмах царя к родным, начиная с 50-х годов. «Коротко вам пишу, потому что неколи писать, спешю...» (III.716), «наскоро еду», «а скорее тово поспешит никак нельзя» (52, 64), — таковы постоянные его упоминания о себе³.

² Заозерский А. И. Царская вотчина XVII в. М., 1937, с. 153, 236.

³ Цитируемые произведения: «Азбука о голом и небогатом человеке» — РДС; «Артаксерксово действо» — РРД, т. 1 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк; «Иудифь» — РРД, т. 1 / Текст памятника подгот. Е. К. Ромодановская; письма Алексея Михайловича. I (эта цифра не указывается в отсылках) — Письма русских государей и других особ царского семейства. М., 1846, т. 5; II — Собрание писем царя Алексея Михайловича / Изд. подгот. П. Баргенов. М., 1856; III — Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. СПб., 1861, т. 2; IV — ААЭ, т. 4; письма А. Л. Ордина-Нащокина — *Галактионов И. В.* Ранняя переписка А. Л. Ордина-Нащокина: (1642—1645 гг.). Саратов, 1968; письма Сильвестра Медведева — Письма Сильвестра Медведева / Изд. подгот. С. Н. Брайловский. СПб., 1901; «Повесть о бесноватой Соломонии» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть о Горе-Злочастии» — Пам. СРЛ, вып. 1; «Повесть о Петре Златых Ключей» — *Кузьмина В. Д.* Рыцарский роман на Руси: Бова, Петр Златых Ключей. М., 1964; «Повесть о Савве Грудцыне» — Русская повесть XVII века / Изд. подгот. М. О. Скрипиль. М., 1954; «Повесть о Фоме и Ереме» — РДС; «Повесть об Оттоне» — Повесть зecho душе полезна, выписана от древних летописцев... М., 1848; «Путешествие» Макария — Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное сыном его архидиаконом Павлом Алеппским / Перевел с арабского Г. Муркос // ЧОИДР, 1898, кн. 3. Отдел III;

Еще примечательней его отношение к подданным. Во множестве грамот царь с невиданной настойчивостью требовал быстроты и неутомимости в вершении дел. К традиционным словам указов о том, чтобы приступить к исполнению «тотчас», царь нередко добавлял: «...без мотчанья, не мешкая нигде ни за чем ни малого времени» (IV. 266), «тотчас, не мешкая ни часу», «как скорее, так и промышленяйте» и т. д. Он требовал бессонного усердия: «...имей крепко опасенье и Аргусовы очи на всяк час, беспрестани в осторожности пребывай и смотри на все четыре страны».

Прежнюю неисполнительность и нерасторопность царь осуждал. Он неоднократно призывал «дурные всякие обычи прежние отставливать». Те, кто «тихостию и бледостию лица своего» уклоняется от службы, напоминали царю медленно уползающие облака. Он же требовал от каждого: «не разленяйтесь», «на нашу службу поспешай» (III. 725, 714, 771, 351, 716, 748, 727).

Энергичность Алексея Михайловича непосредственно в практической жизни выяснена недостаточно обстоятельно. Однако разрозненные факты подтверждают эту его черту. Известно, например, что Алексей Михайлович учредил и лично возглавил Тайный приказ, имевший самые широкие полномочия в политике, военном деле, хозяйстве и культуре. Исследователь дел приказа А. И. Заозерский показал, как много «работ при быстроте их темпа» было проделано за сравнительно короткий срок⁴.

пьеса о блудном сыне («Комидия» Симеона Полоцкого) — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. А. С. Демин; пьеса об Адаме и Еве («Жалобная комедия») — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и А. С. Демин; пьеса об Иосифе («Малая прохладная комедия») — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и А. С. Демин; «Сказание о Мамаевом побоище» — Русская повесть XVII века // Изд. подгот. М. О. Скрипиль. М., 1954; «Сказание о роскошном житии и веселии» — РДС; «Сказания» Рейтенфельса — *Рейтенфельс Я.* Сказания светлейшему герцогу тосканскому Козьме третьему о Московии. Падуа. 1680 / Перевел с латинского А. Станкевич. М., 1905; «Слово о мужах ревнивых» — РДС; «Служба кабаку» — РДС; сочинения Аввакума. I — РИБ, т. 39; Житие протопопы Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Текст «О трех исповедниках слово» подгот. А. И. Мазунин. М., 1960; сочинения Николая Спафария — РГБ, фонд 354, собрание Вологодское, № 170. Указываются листы рукописи; сочинения Симеона Полоцкого — *Симеон Полоцкий.* Избранные сочинения / Изд. подгот. И. П. Еремин. М.; Л., 1953; сочинения Юрия Крижанича — *Юрий Крижанич.* Политика / Изд. подгот. В. В. Зеленин. М., 1965; статейный список посольства И. И. Чемоданова в Венецию в 1657 г. — Древняя российская вивлиофика, издаваемая Н. И. Новиковым, 2-е изд. М., 1788, ч. 4; «Темир-Аксаково действо» — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк; челобитная Григория Всполохова — Текст челобитной Григория Всполохова, дьяка Ямского приказа, поданной царю Алексею Михайловичу в 1672 году. СПб., 1877. Указываются листы издания; челобитные Артемона Матвеева — История о невинном заточении ближняго боярина Артемона Сергеевича Матвеева. СПб., 1776.

⁴ Заозерский А. И. Указ. соч., с. 188—189 и др.

Не только на бумаге царь требовал интенсивного исполнения поручений. Так, он устраивал смотры во дворце и наказывал стольников, опоздавших на службу. «Стольников безпрестани купаю ежеутр в пруде, — сообщал царь в одном из писем, — за то, кто не поспеет к моему смотру» (II.78). Здесь знаменательно и само «бодрящее» наказание.

Попытки царя расшевелить приближенных были, очевидно, многообразны. О них писал путешественник Павел Алеппский, поясняя при этом: «Царь обходился со своими вельможами так, что вместо спокойствия подвергал их большим трудам» («Путешествие» Макария, 96). Алексею Михайловичу, по-видимому, удалось добиться ощутимых перемен. Недаром лет через пятнадцать после Павла Алеппского другой путешественник, Яков Рейтенфельс, писал: «Приказания царя, какого рода они бы ни были, хотя бы и влекущие за собою смерть, исполняются всеми быстро, не взирая ни на какие преграды...» («Сказания», 143). Своего предшественника — Михаила Федоровича — Алексей Михайлович, несомненно, превосходил энергией и результативностью действий.

Алексея Михайловича окружали не менее энергичные деятели. Вспомним об А. Л. Ордине-Нащокине. Чрезвычайная активность его общепризнанна. Судя по писаниям, Ордин всегда думал о быстроте и инициативности в решении дел. «Не для я покою поехал, — признавался он в одном из своих ранних писем, — то мне и радость, шtbody больши службы» (36). Он опасался «в деле не ослабеть»; предлагал меры, от которых «дело скорее делается»; стремился «скончать дело неотложно»⁵. Той же быстроты требовал и от других, чем бы ни ведал. Дело должно быть «совершенно, не испустя времени»⁶. Если речь шла, например, о почтовом ведомстве, то — «гонять наскоро», «чтоб та почта ни за чем не стала ни часу»⁷. Рукописное наследие А. Л. Ордина-Нащокина полностью еще не собрано. Но изданные документы явственно обозначают склонность этого человека к непривычной скорости и интенсивности в работе, отчего у него было немало врагов.

Подобную активность можно обнаружить, пожалуй, у большинства известных личностей третьей четверти XVII в. В А. С. Матвееве, например, по словам исследователя, «мы наблюдаем... не официального начальника или теоретика-дипломата, а живого и энергичного социального деятеля»⁸. Сам А. С. Матвеев писал мало, но в челобитных и он, вслед

⁵ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1961, кн. 6 (т. 11—12), с. 73, 48, 396.

⁶ Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии XVII в. М., 1899, т. 1, с. 592.

⁷ Козловский И. П. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве: Опыт исследования некоторых вопросов из истории русской культуры во 2-й половине XVII века. Варшава, 1913, т. 2, с. 31, 25.

⁸ Щепотьев Л. Ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев как культурный политический деятель XVII века: (опыт исторической монографии). СПб., 1906, с. 99.

за Ординым-Нащокиным, вспоминал, что «не лготил себе», «работал... в скорых и частых посылках», и перечислял эти «работы свои непрестанные», «всяция моя беспокойныя службы». То были невиданные по энергии и размаху начинания; как утверждал Матвеев, «а прежде сего никогда... не бывало» (136, 73, 68, 173, 63—64). Кстати, в своих письмах царь Алексей Михайлович тоже иногда отмечал, что предпринимает дело, не виданное ранее.

Можно еще назвать влиятельных лиц, выделявшихся необычной энергией, — патриарха Никона⁹, боярина Б. М. Морозова¹⁰, боярина Б. М. Хитрово, — и лиц, менее известных, — дьяков Д. Башмакова и Л. Иванова. Обозрев, например, заслуги Д. Башмакова, А. И. Заозерский выразился так: «Тут действовала огромная рабочая сила... решительный характер»¹¹.

Новый стиль практической деятельности распространился далеко за пределы ближайшего окружения царя. Появились небывало энергичные воеводы вне Москвы. Даже в далекой Сибири, по характеристике С. В. Бахрушина, «развивает неимоверную деятельность и энергию» воевода П. И. Годунов, «предшественник дельцов петровского времени». Его «кипучая организаторская деятельность» была настолько непривычна, что некоторые в Сибири всерьез считали, будто воевода «делает, забыв головы своей, ума отступив»¹².

У нас нет достаточных данных, чтобы последовательно представить, как все более широкий круг людей в третьей четверти XVII в. усваивал новый стиль активной и подвижной «службы государевой» и поведения в обществе. Имеются только отрывочные сведения. Иногда попадает письмо, в котором один приказной человек просит других: «Братцы, государи, товарищи! Кто есть в приказе, тотчас сходите» по такому-то и такому-то делу, чтобы все «поспело» вовремя¹³. Теперь приказному, который стал «о делех приказных не радети» и был вопиюще «неисправен», приходилось писать челобитную царю с объяснением причин своей «неисправности». Характерно, что виновный приказной настаивал на своей ненависти к лентяям и жуликам: «Ей, великий государь, прежде таковых, яко ж ныне и аз, яко самых сущих Божиих врагов ненавидах, а ныне в той вражий образ не домышляюся, како аз сам облечеса» (челобитная Григория Всполохова, 5, 6, 12).

⁹ Напомним характеристику Никона у В. О. Ключевского; «Он скучал покоем, не умел терпеливо выжидать; ему постоянно нужна была тревога, увлечение смелой ли мыслью, или широким предприятием...» (*Ключевский В. О. Сочинения. М., 1957, т. 3, с. 299*).

¹⁰ Недаром о Б. И. Морозове протопоп Аввакум писал, что тот на службе у царя «болел об нем и скорбел, паче души своей, день и ночь покоя не имуща» (926).

¹¹ *Заозерский А. И. Указ. соч., с. 276.*

¹² *Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955, т. 3, ч. 1, с. 273—275.*

¹³ *Заозерский А. И. Указ. соч., с. 80.*

На «государевой службе» появились необычайно усидчивые, трудолюбивые, плодовитые писатели и поэты, которые ни дня не проводили попусту. Достаточно напомнить о трудах и днях Симеона Полоцкого и Николая Спафария.

Нельзя забывать также об общественно-церковных деятелях, не принадлежавших к официальному кругу, — в первую очередь об Аввакуме и его сподвижниках. Знавшие Аввакума поражались его требовательности и энергии. «Да что-су вы, добрые люди, говорите: „Батко-де сердито делает“», — приводил Аввакум один из этих отзывов. Или другой полувосхищенный отзыв: «А и Аввакум протопоп! Коли тебя извод возмет!» (626, 443). Возможно, показательно письмо Сильвестра Медведева 1660-х годов к некоему очень деловому иеромонаху по поводу его «бодраго и скорога по Москве... хождения и частаго многих дворов любви дела навещания» (3). Можно предполагать, что более активное поведение становилось нормой в разнообразных слоях общества, на службе и в быту.

Вторая половина XVII в. породила в России большой отряд энергичных практических деятелей, какого не существовало в первой половине века. При всей несистематичности наших знаний о совокупности этих людей нельзя не заметить общего сходства между ними и современными им литературными героями. И те и другие были поглощены неустанными трудами, торопились действовать и требовали того же от окружающих. Требования писателей и драматургов к людям быть энергичными и деятельными соответствовали тем же требованиям государственных, церковно-политических, хозяйственных и прочих деятелей. Соответствие иногда переходило в полное совпадение, потому что один и тот же человек мог выступать и в качестве писателя, и в качестве практического деятеля вне литературы.

Необходимо детализировать связь между стилем практической работы широкой группы активных деятелей второй половины XVII в. и стилистическим явлением «энергичности — живости» человека в литературе.

Скажем сначала о наиболее крупном соответствии. Активность группы энергичных деятелей второй половины XVII в., как мы знаем, заметней всего проявилась в области «государевой службы». Поэтому-то часто повторялись призывы писателей и драматургов к неустанному несению «службы», а многие «живые», подвижные герои в русской литературе того времени были, так сказать, «служилыми людьми».

Вот примеры. Авторы уже не мыслили своих героев вне интересов «службы». Библейские персонажи в русских драматических и некоторых прозаических произведениях обычно служили царю или какому-либо господину, старались, получали повышение, делали служебные заявления и т. п. Так, библейский Пентефрия в пьесе об Иосифе распоряжался не перед кем иным, как перед приказными людьми: «Все мои приказ-

ные люди, и писцы, и служилые! — делал он очередное распоряжение. Вся, яже Иосиф именем Пентефриевым вам повелит, аки бы от меня самого слышали, исполняйте!» (106). Таких сцен не было в Библии.

Западноевропейский куртуазный герой у русских переводчиков и редакторов становился официальным «служебником». В «Повести о Петре Златых Ключей» легкий на подъем французский князь Петр даже с возлюбленной вел себя так, словно поступил к ней на службу. Просил «быти при милости вашей последним служебником вашим». А за согласие «бил челом за такую неизреченную ее премногую милость». Когда нужно было отлучиться, обращался с прошением: «Пожалуй, поволь служебнику своему на малое время отъехать». Все приключения Петра сопровождалось подачами челобитных и получением соответствующих указов. Оказавшись волею судьбы в Турции у султана, Петр сначала служил определенный срок, потом подал челобитную: «Не малое время будучи я, холоп твой, при твоей царской милости... бью челом о себе: помилуй меня, холопа своего...» и т. д. И получил жалованную грамоту: «И князя Петра за его верную службу к нам, великому царю... выхваляем... и мы, великий государь, жалуем тебя...» (283, 295, 299, 315, 330). Все как на службе в России XVII века!

В русских повестях герои редко бывали вне службы. Даже самый мимолетный подвижный персонаж и тот проявлял себя тем, что «ни мало помедлив, скоро тече» к царю с нужной вестью («Повесть о Савве Грудцыне», 99). Интенсификация «службы» в реальной жизни заставила писателей думать о «скорой службе» людей и усилила служебное рвение литературных героев. В русских сатирических произведениях «живость» героя на службе иногда пародировалась. Например, кабак, где люди ведут себя чрезвычайно раскованно, предстал как их «служба»: здесь «служилые люди хребтом своим на печи служат», здесь «трудятся» купцы, десятники, ростовщики, повары, лесники-охотники, кузнецы и т. п. («Служба кабаку», 48—49).

Перейдем к более частным сопоставлениям. Чем напряженной была реальная «государева служба», тем сильнее при ее изображении в литературе звучали авторские призывы к активности и тем насыщенной оказывалась деятельность литературных героев. Ранее всего новый стиль практической деятельности стал утверждаться в военном деле¹⁴. Очень велика была потребность государства в более быстром войске и в более деловых воеводах. «Войско, которое хочет стать победоносным, должно быть сильным и быстрым», — определял суть военных реформ Юрий Крижанич. Воевода, по его словам, «должен быть бдительным, быстрым, ревностным, заботливым, всегда заниматься делом, никогда не быть праздным, щадить время» (428, 438). «Тот прямой рейтар, — писал в одном из

¹⁴ Очерки истории СССР: Период феодализма. XVII в., с. 439 и сл.

писем царь Алексей Михайлович, — что... смелее и усерднее перстыми своими... в воинском деле промышляет» (III.764). Значение активности и неустанности в воинских делах подчеркивал и Николай Спафарий. В «Хрисмологионе» он, например, обвинял библейского царя Валтасара в безответственном отношении к военным приготовлениям: «Подобаше же Валтасару... о уготовлении ополчения помышляти на кийждо час, но он о уготовлении вечери и о исполнении чрева помышляше», «наипаче пирствоваше, егда подобаше ему бодрствовати» (95 об., 96). Перевел Спафарий и стихи о необходимости смелости и активного напора: «Аще же кто полагает упование свое на стены и шанцы, да услышит сие написание мудрейшаго Савина творца, иже о немцах написа:

Егда гради стояху разорени без стен
 И не глубокия шанцы, ни же столпы бываху,
 Тогда ты, Германия славная, во бранех была еси
 И вси врази от тебе далече отстояху
 Ныне же, егда глубокими стенами и шанцы еси ограждена,
 Ныне несть храбрость у тебе, ныне всем покаряешися.
 Яко же бо великия роги боязливим оленем,
 Сице тебе шанцы и стены крепкия помогают»

(«Хрисмологион», 104).

Правительству удалось создать полки нового регулярного строя, увеличить мобильность действий конницы и пр. Один из царских слов свидетельствовал: «У нашего великого государя... в государевом полку... аргамаки резвы да сабли остры; куда ни придут, никакие полки против их не стоят. То у нашего государя ратное строенье» (статейный список посольства И. И. Чемоданова, 192).

Новые представления о задачах военного дела породили новых героев. Усердные, а главное, быстро действующие воины и «храбрые рейтары» появились и в литературе, а также в живописи. В пьесах, например, каждый хороший воин «в скорости счастья имеет... храбр он в скорости и скор во храбрости» («Иудифь», 358). «С избранною конницею» в пьесах захватывали огромные пространства: «Како сицевой скорости мощно бе убежати?» («Иудифь», 395). Стали «оживать» всадники на портретах. Например, на конном портрете Алексея Михайловича 1670-х годов «конь изображен... как бы скачущим прямо на зрителя... фигура всадника также изображена подавшейся вперед»¹⁵. Такого портрета еще не бывало. Известен и огромный «живописный лист» начала 1670-х годов, изображающий энергичные военные приготовления¹⁶.

¹⁵ Овчинникова Е. С. Портрет в русском искусстве XVII века: Материалы и исследования. М., 1955, с. 78.

¹⁶ Нарисован отряд стрельцов, отправляющийся на судах по реке в поход против Степана Разина (см.: Фомичева З. И. Редкое произведение русского искусства XVII века // Древнерусское искусство: XVII век. М., 1964, с. 325 и др.).

Продолжим сопоставления из области военного дела. Государство прилагало большие усилия по обучению нового регулярного войска. Формировалось мнение о бравом воине как о воине вымуштрованном. Отсюда понятно, почему литературные произведения второй половины XVII в. стали изображать энергичную будничную военную подготовку героев. Так, Савва Грудцын поступил на службу, где «новобранных солдат по вся дни воинскому артикулу учаше»; он «старых воинов и начальников во учении превосходит»; его ценят как воина, «ни малаго порока во всем артикуле имеюща» (94). В переводных повестях также развертывались сцены упражнения юношей в воинском искусстве. Петр Златых Ключей «ни о чем же ином помышляше, токмо о шурмованье, бегу конском с копьем и орудии рыцерском»; а когда «метаючи копьем в высоту и ширину... ему стали все дивиться» (276, 279). В «Темир-Аксаковом действе» один из воевод выражал удовлетворение оттого, что «людей в доволном держали учении» (73).

Учения и подготовка к сражениям завершались смотрами. При Алексее Михайловиче войсковые смотры стали проводиться систематически, не только в исключительных случаях, как было ранее. В понимании того века человек военный «казал» себя прежде на смотре. Соответственно, картины обязательных смотров, старательных построений и подсчета наличных войск начали повторяться в произведениях. «Темир-Аксак сам генеральный смотр конскому и пешему войску учинит», — сообщала, например, пьеса о Темир-Аксаке. Воины старались идти «в добром строю» (68, 72). Выразительную картину построенного, готового к действию войска нарисовала «Повесть об Оттоне»: шлемы воинов «яко же струя огненная светлеющаяся»; кони «белую пену точащи и ноздрями храпляючи, и ветром знамена воинския взвиваемы, и острия копиев... яко же струи водныя высоко над главами зряхуся, светло переливающихся»; тут же раздавались «тихия ратных воевод воим вещанья» (37). Еще момент — и все придет в бешеное движение. Эта картина нарисована не без влияния «Сказания о Мамаевом побоище», но гораздо напряженной. В «Сказании», например, стяги «тихо трепещуще» (29).

Укажем еще на одно соответствие. В 50—60-е годы XVII в. в результате русско-польской войны обогатился опыт воинов всех рангов в будничной, кропотливой подготовке крупных операций, что также отразилось на понимании задач военного дела, а отсюда на авторском подходе к изображению военных действий и на облике литературных персонажей. Действующие лица пьес и повестей осмотрительно обсуждали военные мероприятия, ходили «преправы добре розыскати», «стены и шанцы за градом... досматривать» («Иудифь», 377, 382); в разведке «все видевше и созирающе... на приступных местах», как Савва Грудцын. В «Повести о Савве Грудцыне» упоминалось и «повседневное изменение караулов» (95, 99).

Любопытно следующее совпадение. Царь Алексей Михайлович, требуя расчетливости и бдительности, писал одному из своих воевод: «До тех мест огонь и тушить, доколе не разгорелся, а как разгоритца... неколи тушить» (III.722). На сходную пословицу в сходной ситуации ссылался военачальник в «Иудифи»: «Ибо что же удобнее есть, яко огонь зажигати, но что же и труднее, яко тот же паки утушити!» (355). В уста литературного персонажа, вероятно, была вложена типичная в то время форма рассуждений военных руководителей.

Не все из приведенных сопоставлений равноценны. Но сам широкий фронт соответствий, то более, то менее убедительных, доказывает, что представления авторов второй половины XVII в. об энергичности человека были связаны в конечном счете и по преимуществу с новым, энергичным стилем «государевой службы», в том числе службы военной.

Проведем параллель соответствий далее. Энергия деятелей второй половины XVII в. проявлялась не только непосредственно на «государевой службе». Многие из отряда этих деятелей были связаны с торговлей, занимались торговыми операциями. Укажем, например, близкого к царю боярина Б. И. Морозова. Примечательно, что верхушку общества Аввакум обвинял: «Да нечева у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как куповать...» (292). Многие из энергичных деятелей принадлежали к ясно выделившемуся «купецкому чину»¹⁷.

В купеческих и денежных делах теперь открыто требовалась незаурядная оборотистость и предприимчивость. Усвоили это веяние времени и писатели, поэты, драматурги второй половины XVII в., у которых, независимо от их личной любви или неприязни к «торговым людям», купцы, как правило, рисовались удачливыми и ловкими. Если присмотреться, то умелым купцом был даже молодец в «Повести о Горе-Злочастии». Ел и пил он с «гостями»-купцами, слушал их советы, не раз быстро наживал добра «болшы старова», и только по несчастью «скинул он платье гостиное» (3—6). Купцом были не только Савва Грудцын и его отец в «Повести о Савве Грудцыне», но и сам дьявол, который обитал в городе Орле «ради конския покупки» (87). О купцах и их дьявольских махинациях писал стихотворения Симеон Полоцкий. Появились первые портреты энергичных купцов, например, погрудный портрет «гостя» Г.Фетиева. Ранее купцы не изображались в ореоле такой активной деятельности.

В произведениях усилился «торговый» фон. В церковную стенную роспись уже могли включить оживленный групповой портрет реальных купцов. «Портретируемые... — как замечает исследовательница, — как бы участвуют в изображенной здесь же сцене „Великого входа“»¹⁸. Купцы стали выходить на сцену в театре, например, в пьесах об Иосифе и о блудном сыне. Там, где было не до купцов, например в «Иудифи»,

¹⁷ См.: Очерки истории СССР: Период феодализма. XVII в., с. 125—139.

¹⁸ Овчинникова Е. С. Указ. соч., с. 16.

персонажи все-таки надеялись «две полные купецкие дворы... себе в свойство получить» (358). Герои демократической сатиры — «Ерема с Фомою торговые люди», безмянный «небогатый человек» — то собирались «ехать по товары», то выходили «на базар погулять» (28, 34), — были причастны к суетливой торговой жизни. Дух времени давал о себе знать еще вот в чем. Герои постоянно упоминали о деньгах. Денежный «мешок — то приятель правы», — говорил один из драматических персонажей; «и аз не мышлю болше работати... без злата... изволь ми платити», — вторил другой (пьеса о блудном сыне, 149). И военачальник Олоферн подтверждал: «...без денег никакая охота ниже у единого взыскуется» («Иудишь», 367).

На «живости» некоторых литературных героев, вероятно, как-то сказалось новое представление об особенностях реальной деятельности ряда купцов этого времени. Известен экстенсивный характер русской торговли в период сложения всероссийского рынка во второй половине XVII в.; купцам приходилось чрезвычайно много ездить по России¹⁹; правительство заботилось, чтобы «торговым людям в проездах и в задержаньях поруки никакой не было»²⁰. И вот, если раньше торговые персонажи, вроде Басарги, переносились, как правило, «за море», к другим народам, то повести второй половины XVII в., в соответствии с новым представлением о торговом деле, стали изображать купцов, кочующих по России. Молодец в «Повести о Горе-Злочастии» все переходил с места на место: «И оттуду пошел молодец на чюжу сторону и учал он жить умеючи; от великаго разума наживал он живота болшы старова» (5). Не сидел в лавке, но ездил по городам и весям Савва Грудцын, каждый раз зная, что «в той же день в селе оном торг бывает». Сопровождавший его дьявол в облике торговца тоже не сидел на месте; он сообщал: «Аз убо особаго дому не имею, но где прилучится, тамо и ночую». Отец Саввы, вернувшись из поездки, тут же готовился в другую: «...абие повелевает готовити подобные струги с товаром» (91, 89). О купцах, желающих прибытка, так писал Симеон Полоцкий: «Ибо ты не знают во дни, в ноцы покоя, но всегда бегают по всем путем, еже бы прибыток имети» (65—66)²¹. Энергия торгового дела, по-видимому, нашла свой отклик в литературе.

¹⁹ Об экстенсивности русской торговли и больших поездках «купеческой молодежи» см., например: *Бахрушин С. В.* Научные труды. М., 1954, т. 2, с. 134—135. Ср. у другого автора: «Это прежде всего люди дела. «Дело» доминирует у них над всем остальным. Дело бросает их с одного места на другое. Поэтому они еще мало чувствуют потребность в домашнем комфорте» (*Бакланова Н. А.* Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в.: К истории формирования русской буржуазии. М., 1959, с. 195).

²⁰ Одну из многих купеческих просьб такого рода см.: ААЭ, т. 4, с. 100.

²¹ Ср. вывод в исследовании пословиц: «Пословица в записях XVII в. тоже отразила эту растущую власть денег» (*Пушкарев Л. Н.* Русские народные пословицы в записях XVII века // Вопросы истории. 1974, № 1, с. 158).

Новый стиль практической деятельности проявился также в хозяйственном быту феодальных вотчин и поместий. Размах и разнообразие хозяйственных работ второй половины XVII в., особенно в хозяйстве крупных феодалов, выяснены довольно хорошо. А. И. Заозерский доказал, например, как много времени и забот царь уделял своим вотчинам, систематически вникая во все мелочи их управления, подстегивая выполнение работ. Судя по дошедшим архивам, не отставало от царя и его окружение.

Отголоски хозяйственного понимания этой активизации находим в литературе и живописи. Авторы приравнивали своих героев к новым заботам. Деятельные герои произведений второй половины XVII в. нередко были погружены в хозяйственные дела, тоже вели их с небывалой активностью и размахом. Королевна Магилена в «Повести о Петре Златых Ключей» «так стала жить и трудиться, что в подивление всем окольным людям» (311). Ср. описание занятий боярыни Ф. П. Морозовой в сочинениях Аввакума, например, один из эпизодов в деятельности помещицы: «Печаше бо ся о домовном рассуждении... Бывало, сию с нею и книгу чту, а она прядет и слушает, или отписки девицы пред нею чтут, а она прядет и приказывает, как девице грамота в вотчину писать» («О трех исповедницах слово плачевное», II. 297).

В пьесах изображалось, как, например, Иосиф «правил дом» вельможи Пентефрии, а советники Артаксеркса заботились, чтобы для казны были «люди прибыточны». Персонажи фресок и лицевых сборников демонстрировали свои разнообразные хозяйственные занятия, в частности в сборнике «Лекарство душевное» 1670 г. принадлежавшем царю Алексею Михайловичу²². Писатели, драматурги, художники постоянно держали в поле зрения хозяйственную энергию человека.

Можно указать и более частные соответствия. Хозяйственные эксперименты очень занимали царя Алексея Михайловича и его помощников. Изобретательно велось дворцовое строительство; небывало расширилась постройка железных, стекольных, сафьянных, кумачовых и прочих заводов; царь следил за регулярными поисками «всяких руд» и ископаемых; стали изготовлять невиданные изделия. По наблюдениям А.И. Заозерского, «настойчивость царя разбудила в известной мере общественную предприимчивость»²³.

Слухи и размышления о подобных экспериментах, вероятно, не прошли мимо сознания писателей. Некоторых героев литературы и изобразительного искусства авторы тоже заставили активно строить и интересоваться производством разных изделий. Строились отнюдь не толь-

²² См.: Мнева Н. Е., Постникова-Лосева М. М. Миниатюра и орнаментальное украшение рукописей // История русского искусства. М., 1959, т. 4, с. 472.

²³ Заозерский А. И. Указ. соч., с. 145; см. также С. 119 и сл.

ко монастыри или церкви. Королевна Магилена «с великою борзостию, с большим заводом нача строити» больницу и иные светские заведения, так что «дивовались, что в скором времени построила» (318, 312). Кстати, церковные фрески также не обходились без сцен массового строительства. Их персонажи трудились, например, над возведением вавилонской башни, обжигали кирпичи и пр.²⁴. Ср. у Аввакума сцену энергичного возведения вавилонской башни: «А работы-тоя было, нужи терпели делаючи. И роженице жене дни не дадут полежать, — оставя младенца, поволокись на столп с кирпичем или с ызвестью. И робенок бедной, трех годов, потащил туды же с кирпичем» (682). Кроме строительства, названная Магилена распорядилась и шитьем одежд. Юмористическое же «Сказание о роскошном житии и веселии» вводило человека в пародийный хозяйственный мир, в фантастическую страну, всю застроенную, всю заваленную массой готовых изделий, одеждой, посудой, всю сложенную из «руд золотых, и сребренных, а медных, и оловяных, мосяровых, и железных» (31). Такие подробности в литературном произведении не были традиционными. Хозяйственную заботливость героя, возможно, пародировало «Слово о мужах ревнивых»: «А шед в гумно, и под овин лезет... ин опет воротится, выскочит на гумно, имет вертится... кругом по заовинию рыщеть и по соломе скачеть...» (104). Недаром Аввакум упоминал: «...и у нас... инии строят многоценныя ризы, а инии вознаграждают дома красныя и различныя жилища, а инии кони и колесницы и иная несказанная» (517).

Наконец, выделим несколько мелких деталей в произведениях, которые интересны как возможный отклик на хозяйственные эксперименты того времени. Имеется в виду увлечение царя Алексея Михайловича разведением садов²⁵. Протопоп Аввакум, отнюдь не сочувствовавший нововведениям Алексея Михайловича, невольно отметил энергичность царя в этом деле: «Где строение сел любимых? Где сады и преграды? — вспоминал Аввакум о занятиях покойного Алексея. — Где вся затеи и заводы пустошнаго сего века, о них же упражнялся еси невестягнуенно?» (574—575). Увлечение царя садоводством разделяли и другие деятели²⁶. Симеон Полоцкий в предисловии к книге «Вертоград многоцветный» рассказывал о том, «яко же есть обычай цветовертником искусным всяческих цветов и зелий: роды ж и виды благочинно по сподом и лехам сеяти и садити» (206).

Разумеется, садоводством занимались и раньше. В «Домострое», например, предусматривалось, «огород и сад как водить». Но со второй половины XVII в. в садах стали активно насаждать диковинные растения. В представлениях об образцовом саде вошли новые детали. Вероят-

²⁴ Стенопись 1654 г. в Троицком соборе Калязинского монастыря (см.: Данилова И. Е., Мнева Н. Е. // История русского искусства, т. 4, с. 368).

²⁵ Заозерский А. И. Указ. соч., с. 188 и сл.

²⁶ См.: Очерки истории СССР: Период феодализма. XVII в., с. 40—41.

но, поэтому в произведениях второй половины XVII в. начали упоминаться сады с удивительными деревьями и кустами — предметом трудов и забот. В «Артаксерксовом действе» царь специально рассказывал о состоянии своего «вертограда», о том, какие в нем «доброзрачные масличные древа» (143). В пьесе об Адаме и Еве один из персонажей выходил в «вертоград» «поутри зело рано пред солнечным вьсходом» и осматривал «прекрасные овощи на древесех» (119). В «Повести об Оттоне» царь гулял в таинственном густом «вертограде». В «Сказании о роскошном житии и веселии» человека ждали сады с разными фруктами, среди которых были «изюмные и винные ягоды и виноград» (32). К их выращиванию как раз приступили под Москвой. Оригинальный «садоводческий» сюжет был использован в иконописании. Симон Ушаков в 1668 г. создал знаменитую икону «Насаждение древа Московского государства». Великий князь Иван Калита и митрополит Петр окапывали и поливали гигантское плодоносящее дерево — Россию, а рядом царь Алексей Михайлович с семьей наблюдал за их трудами²⁷. Ср. также икону «Богоматерь — вертоград заключенный». Новые «садовые» вкусы, вероятно, воздействовали на стиль украшений к празднику вербного воскресенья. В 1668 г., по сообщению источника, «верба была... устроена по государеву указу благолепотно первой год, а не тако просто, яко ж в минувших летех... ныне ж вся зеленуется, яко же бы сейчас разцвела, листы сучинены зеленые и плоды видятся, яко бы от земли возрасли...»²⁸. Повышение активности людей в разнообразных отраслях хозяйства, вплоть до садоводства, по-видимому, наложило отпечаток на представления авторов о хозяйственной энергии человека.

Предполагаем, что по крайней мере еще один процесс в исторической действительности в какой-то степени оказал влияние на взгляды некоторых авторов об энергичности людей. То было время передвижения больших масс населения на Урал и в Сибирь. С середины XVII в. переселение в Сибирь превратилось, по определению исследователя, в «подлинно массовое народное движение»²⁹. Одновременно увеличилась посылка в Сибирь «служилых людей» и сильно возросло число ссыльных: «Что ни проступок — все ссылка»³⁰. О Сибири и ее трудных путях думали немало. Состав деятельных героев русской литературы второй половины XVII в. пополнили персонажи, волей или неволей путешествовавшие по диким местам России. «Житие» и челобитные Аввакума безусловно свидетельствуют о такой связи.

²⁷ Овчинникова Е. С. Указ. соч., с. 21.

²⁸ ДАИ, т. 5, с. 122.

²⁹ Александров В. А. Русское население Сибири XVII — начала XVIII в.: (Енисейский край). М., 1965, с. 296; см. также С. 99—106 и др.

³⁰ Сафронов Ф. Г. Ссылка в Восточную Сибирь в XVII веке. Якутск, 1967, с. 16; см. также с. 15—17, 55 и сл.

Другие факты менее определены. Так, напоминают о сибирской ссылке скитания героев в «Повести об Оттоне»: «...в незнаемые зайдоша места пустыни... много дней скитающимся... голодом и жаждою томими, корения некое обретающе, ядыху». «Одежда наша изветша, — рассказывали герои, — и подрася зело, и сапоги, еже бяху на ногах наших, истопташеса, и босы бяхом» и т. п. (7, 13). В тех же выражениях повествовал, например, Аввакум о своих сибирских муках: «По степям скитающеса и по полям, траву и корение копали», «без обуви и без одежды... по гарам великим каменным босы ходящя, нужную пиццу собираху от травы и корения...» (27, 727). Те же детали повторялись многочисленными сибирскими челобитными и отписками.

С мучениями ссылных отчасти, пожалуй, перекликались мытарства бесноватой Соломонии. Ведь она тоже полуодетая принуждена была бродить по глухим местам, «овогда на лесу, овогда на поле». В пищу ей также приходилось употреблять «птичью кровь, и траву, и коренье». И все это в пределах России. Аналогия с ссылкой усиливается тем, что ведь Соломонию черти пытали, словно преступницу в застенке; она рассказывала, что «...растягоша ея по стене, и руце и нозе ея в смыки забиша, и начата копием ея колоти, и рожны збодати, и ножи резати, и нохты все тело ея драти», а она молчала на допросах (154, 155). Следы пыток на ней видели другие люди, это был не бред героини.

Путешествующий, скитающийся герой появился и в драматургии. В пьесе об Иосифе отдельная сцена показывала, как по пустыни «в заблуждении» бредет Иосиф, боясь диких зверей (96—97). Правда, в пьесе уже не было даже самых слабых намеков на ссылку. Но заслуживает внимания сам факт развертывания библейского упоминания о том, что Иосиф заблудился, в отдельную драматическую сцену путешествия.

Требуются дополнительные, притом детальные наблюдения по поводу связей между миграцией населения, впечатлениями от долгих переходов и взглядами писателей на подвижность людей.

Итак, мы попытались в общем виде объяснить, чем было вызвано тяготение многих авторов второй половины XVII в. к героям энергичным и деятельным, почему авторы стали призывать людей к энергичности и активности в мирской жизни. Ряды сопоставлений, представленные выше, в общем, как нам кажется, подтверждают наличие соответствия между возникновением большой группы энергичных деятелей во второй половине XVII в., новым стилем их практической работы в разных областях жизни, с одной стороны, и между новым стилистическим явлением «энергичности — живости» человека в литературе, с другой стороны.

Объяснения «живости» литературных героев нельзя считать исчерпанными. Мы указали лишь некоторые пути для объяснений, чтобы за формальным пониманием «живости» героев проглянуло социально-историческое понимание этого явления. Вот для чего нам нужна триа-

да «живость» героев — представления авторов об энергичности человека — появление большой группы энергичных деятелей во второй половине XVII в.

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АВТОРОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. О НАСЫЩЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Особенности социального развития России второй половины XVII в., включая новый стиль работы большой группы энергичных деятелей, способствовали возникновению разнообразных новых писательских представлений о человеке и мире. Так, например, сблизилось отношение авторов к человеку и отношение авторов к истории. Энергию излучал не только человек; сама история прошлого, по мнению авторов, побуждала людей к активности. Масса фактов далекого прошлого далеких народов, фактов, ранее почти ни для чего не нужных, стала толковаться авторами как руководство к действию. В исторические события, писал в «Хрисмологионе» Николай Спафарий, «аще кто прилежно вникает, удоб приобрести что во своем нраве, и исправить, и от чесого отступить, и чесому последовати, и от чюжих напастей опасно пребывати, и ко исправлению жития и ко будущему приблизитися может» (2)¹. Отзывы о действительном значении истории в тех или иных вариациях повторяли различные авторы второй половины XVII в., в том числе драматурги: «А кто ис того научения прошлые прилучения увидит, тому впредь в забвении не будут и во всех поступках отведование имети может в древних летомах... потому что от таких припадков можем узнать благоумия» (предисловие к «Темир-Аксакову действию», 59). Поэтому драматурги сочиняли свои пьесы на темы древней истории. Новое в исторических взглядах авторов оказывало влияние на литературу.

¹ Цитируемые произведения: «Артаксерксово действо» — РРД, т. 1 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк; «Василиологион» Николая Спафария — РГБ, фонд 354, собрание Вологодское, № 170. Указываются листы рукописи; послания Симеона Полоцкого — ГИМ, собрание Синодальное, № 130. Указываются листы рукописи; пьеса об Адаме и Еве («Жалобная комедия») — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и А. С. Демин; сочинения Аввакума. I (эта цифра не указывается в отсылках) — РИБ, т. 39; II — *Мальшев В. И.* Два неизвестных письма протопопа Аввакума // ТОДРЛ, т. 14; III — Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Текст письма «к отцу и брату, другу и советнику» и послание Симеону и др. подгот. Н. С. Сарафанова. М., 1960; «Темир-Аксаково действо» — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина и В. П. Гребенюк; челобитная Авраамия — Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1885, т. 7; челобитная Лазаря — Материалы для истории раскола... М., 1878, т. 4; челобитная Сеньки Васильева — Три челобитные спращика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря. СПб., 1862.

Продолжить наблюдения над авторскими представлениями об энергичности человека можно и в другом направлении. Вероятно, бытовая «живость» литературных героев была как-то связана с открытием ценности человеческой личности в литературе XVII в. Личностное начало в литературе исследовал Д. С. Лихачев. «Раскрепощение человеческой личности в литературе, — писал Д. С. Лихачев, — было и своеобразной конкретизацией ее изображения. Человек все более начинал восприниматься как конкретный индивидуум, в сложной «раме» быта и общества... Вырисовывались лишь контуры соотношений и отдельные детали. Однако, принципиально важен был самый переход к детализированному видению»².

Есть еще одна сфера представлений, в которую входят представления авторов об энергичности человека. Это общий взгляд писателей на жизнь общества как на совокупность действий множества людей. Но почти совсем не изучено то, как авторы XVII в. понимали жизнь, ее содержание, ее течение. Какой из указанных комплексов представлений можно выбрать для дальнейшего изучения в данном случае?

Мы выбираем представления авторов о жизни. Это идейно-стилистическое явление более широко, чем подход авторов только к истории. Правда, развитие личностного начала — явление еще более широкое. Оно позволило Д. С. Лихачеву проследить одну из линий развития русской литературы X—XVII вв. Наша же задача ограничена определенным периодом. Мы выбираем то явление, которым характеризуется именно вторая половина XVII в.

Итак, как и ранее, начнем с пьес 1670-х годов, исходных источников для наших наблюдений. Что думали о жизни авторы, например, «Артаксерксова действия»? Прямых рассуждений по этому предмету в пьесе, опять-таки, не имеется, но есть косвенные свидетельства того, что драматурги представляли себе жизнь насыщенной множеством событий в каждый отрезок времени. Отзвук такого представления заметен в ответе Артаксеркса. Когда приближенный готовился перечислить по книге события с начала царствования Артаксеркса: «Что имам прочитати?... О твоём, о царе, власти началство?» — то Артаксеркс останавливал читающего: «Ни, то есть бесконечно. Зри, что сего лета какие дела творились...» (219). Перечень крупных, памятных дел за один год уже был пространным, а за многие годы становился бесконечным. Время было заполнено обилием дел. Так считал Артаксеркс, так думали и авторы.

Действительно, судя по отдельным репликам персонажей, «Артаксерксово действие» охватывало короткий отрезок времени: немногим более месяца из истории царствования Артаксеркса; фактически же

² Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 146.

показано около десяти дней из этого месяца. А сколько событий, дел, действий вместилось в десять дней! Каждый день в изображении авторов пьесы был насыщен деяниями людей. Драматурги в самом материале пьесы воплотили замечание их персонажа о бесконечности дел даже за относительно небольшой отрезок времени.

Особый драматический прием, неоднократно используемый авторами «Артаксерксова действия», подтверждает, что авторы на практике исходили из предпосылки о бесконечной цепи деяний в каждый данный момент прошлого. Показать на сцене все сплетение действий момента полностью невозможно, необходим отбор главного. И авторы опускали, например, лишние разговоры героев, передававших весть о событиях из уст в уста. Герой выходил на сцену, уже извещенный о происшедшем событии, заканчивая беседу об этом и приступая к новым делам. Так, после внезапной казни Амана не было «сени» о том, как Мардохей впервые узнавал о смерти своего врага. Мардохей выходил, лишь переспрашивая о новости, сообщенной ему где-то за сценой: «Повешен ли Аман ныне? Сам ли ты то видел?» — «Сам я его изымал и видел, как к смерти шел», — подтверждал свидетель (242), и действие развивалось далее. Так же изображалась, например, царица Астинь после ее низложения. Соответствующей речи придворных к царице не было. Астинь выходила на сцену с вопросом: «Сице ли я, Астинь, пребуду отверженна?» А придворные подтверждали: «Изверженна еси ты и всеми посмеяна» (117). Действие перескакивало через промежуточные ступени. В данном случае авторы не только делали пьесу более динамичной, но и намекали на многие деяния, оставшиеся за сценой.

Но нельзя не отметить следующее. Мысль о том, что каждый момент жизни прошлого был насыщен множеством действий людей, авторы «Артаксерксова действия» все-таки прямо не высказывали. Они не стремились подчеркнуть эту мысль, повторять ее, конкретизировать, сопоставлять со своей современностью и пр. Цитированное только что замечание Артаксеркса, пожалуй, наиболее ясное из аналогичных высказываний, сделано мимоходом. Разделение событий в пьесе по временным отрезкам тоже производилось мимоходом, без намеренной четкости.

Обратимся к другой пьесе — «Темир-Аксакову действию». Представление о насыщенности периодов прошлого делами и событиями косвенным образом выражено в авторском предисловии: «А гречане многие тысячи золотых на протор положили, чтобы действия все на письме написаны были» (59). Сколько же произошло событий, чтобы только на их перечисление и описание пришлось затратить многие тысячи золотых!

Даже недолго длившееся событие, например сражение, состояло из необозримого количества действий. Ведь турецкий султан Баязет перед сражением требовал: «Сего ради скоро непрестанных гонцов посылайте: да будет мне ведомо, что тамо чинится» (82). Гонцы следовали не-

престанно, потому что сообщаемые ими факты были бесконечно обильны. Велик упоминаемый авторами промежуток времени или мал, он буквально забит делами, для подробного перечисления которых требуется множество написанных книг, множество гонцов с вестями и т. п.

Пьеса о Темир-Аксаке изображала события, происшедшие примерно в течение месяца; непосредственно было показано около десяти дней; за эти дни успевали произойти события мирового масштаба; притом каждый момент что-то случалось. Драматурги в некотором роде выступали перед зрителями как «непрестанные гонцы» — информаторы о бесконечном количестве событий прошлого. Хотя пьесы об Артаксерксе и Темир-Аксаке посвящены разным царям, разным народам и разным временам, подход авторов оставался единым. Сколько человеческих действий свершается за час, за день, за год? — «То — есть бесконечно»; поэтому много надо усилий, «чтоб действия все на письме написаны были». Однако в обеих пьесах нет прямых деклараций авторов на интересующую нас тему; косвенных высказываний тоже немного; деление событий по дням не соблюдается строго. Авторские представления о насыщенности жизни делами не выработались в осознанную систему, они аморфны.

В прочих пьесах 1670-х годов нетрудно обнаружить то же самое: картина мира, полного происшествий, дана без сопровождающих изображение развернутых рассуждений об обилии событий в каждый данный момент. Даже когда на свете существовало лишь два человека, как в пьесе об Адаме и Еве, события не заставляли себя ждать. Стоило появиться на сцене Адаму, как уже случалось нечто важное: «Велиал и Люцпер со иными многими ангели гордости их ради из неба низ свержены», — такое большое и сложное переплетение событий, что Адам ужасался: «Ох! Ужели сие на сем свете содеяся?» (117). И далее, по пьесе, в течение нескольких дней «на сем свете содеяся» исключительно важная для будущего человечества цепь событий. А пьеса Симеона Полоцкого «О Навходоносоре-царе» фактически показывала один день, но в этот день умещалось все: как «Навходоносор не тако живяше», и как исправился, и каковы были последствия этого для людей. Под пером драматургов прошлое насыщено событиями и деяниями. И все-таки нельзя считать, что драматурги руководствовались отчетливым представлением о насыщенности каждого момента жизни делами и действиями людей. У составителей пьес, вероятно, зрело скорее некое ощущение, некое впечатление такого рода, не развившееся, однако, в широкое и многогранное представление о напряженном ритме жизни, но примыкавшее к более четким представлениям об энергичности человека в виде неясного продолжения их.

Расплывчатость представлений драматургов требует привлечения дополнительного материала. То, что подобные представления существова-

ли во второй половине XVII в., лучше всего подтверждают писания протопопа Аввакума, у которого, как мы видели ранее, было нечто общее с драматургами в понимании энергичности человека.

У Аввакума тоже нет рассуждений о том, как много событий в мире происходит в течение короткого промежутка времени, как густо заполнена жизнь делами и пр. Но в косвенной форме такое представление выражено Аввакумом с исключительной настойчивостью. Приведем в качестве примера следующий отрывок из первой челобитной 1664 г., где Аввакум перечисляет свои мучения, перенесенные от воеводы Афанасия Пашкова в даурской ссылке. «Егда патриарх бывшей Никон, — пишет Аввакум, — послал меня в смертоносное место, в Дауры, тогда на пути постигоша мя вся злая. По лицу грешному воевода бил своими руками, из главы волосы мои одрал и по хрепту моему бил чеканом, и семьдесят два удара кнутом по той же спине, и скована в тюрьме держал пять недель, тридцать и седьмь недель морозил на морозе, через день дая пищу, и два лета против воды заставил меня тянуть лямку. От водяного наводнения и от зноби осенняя распух живот мой и ноги, и от пухоты раседалася на ногах моих кожа, и кров течаше беспрестанно» (726).

Слово «беспрестанно» недаром появилось в этом отрывке. Все мучения перечислены Аввакумом так, словно они непрерывно следовали друг за другом, без всякого просвета, обрушивались изо дня в день, и летом, и зимой, и осенью. Об этих же мучениях Аввакум гораздо подробнее рассказывал в «Житии». Но если сравнить челобитную с подробным повествованием «Жития», то видно, что мучения Аввакума в действительности не были столь непрерывными. По «Житию», вопреки челобитной, оказывается, что воевода Пашков не непрерывно подвергал протопопа мучениям. Воевода бил протопопа чеканом и кнутом осенью, у Долгого порога (21—23), морозил же без пищи позже, зимой, в Братском остроге (24—25); заставлял лямку тянуть «против воды» — летом, на реке Хилке (25). В промежутках между этими событиями, судя по «Житию», жизнь протопопа текла относительно спокойно. Аввакум и размышлял, и отдыхал, «в солодке» лежа, его перевели в теплую избу, и как-то раз Пашков даже стал «тужить» по измученному протопопу (23—26). Как упоминает Аввакум в «Житии», в некоторые годы было лучше: «...а во иные годы отрадило» (28).

Почему же Аввакум сгустил краски в своей челобитной царю? Составляя челобитные, как, впрочем, работая в любом другом жанре деловой письменности, Аввакум к традиционно перечислительному документальному отчету обычно примешивал художественное изложение. Так и в приведенном месте первой челобитной Аввакум исходил и из образного представления о непрерывности своих мучений в Даурии в течение многих недель, месяцев, лет. Кстати говоря, в «Житии» такое представление сохранилось. Начиная в «Житии» рассказ о своих даурских мучениях, Аввакум жаловался на их беспрестанность: «Велено в Дау-

ры вести... и отдали меня Афонасью Пашкову в полк... Суров человек: безпрестанно людей жжет, и мучит, и бьет», «он, Афонасей, наветуя мне, безпрестанно смерти мне искал» (21, 28). Но в «Житии» Аввакум ставил перед собой иные задачи, о непрерывности мучений упоминалось вскользь, в то время как в первой челобитной изображение непрерывности мучений было одной из важнейших тем, — «колико во одиннадцать лет на хрепте моем делаша язв беззаконнии» (725).

Если просмотреть писания Аввакума разных лет и разных жанров, то становится ясным, насколько устойчивым было для Аввакума представление о беспрестанном продолжении мучений, о насыщенности мучениями жизни «правоверных» людей. «Безпрестани лет с полтретьятцать делают на хрепте моем... вяжут да куют меня», — повторял Аввакум формулу о своих мучениях в разных посланиях (820, 953—954). «И оттоле двадесяте три лета и пол-лета и месяц по се время безпрестани жгут и вешают исповедников Христовых», «безпрестанно душевное плавание и неусыпныя наветы и беды» (564), — повторял Аввакум формулу о судьбе «правоверных» в разных посланиях (567, 845).

Насыщена муками и мытарствами не только жизнь в целом, но каждый ее день и час. «Не помню иное в печалях, как день, как ночь преходят у меня», — признается протопоп в одном из писем (396). Или: «...не имать бо часа единаго, еже бы не мучился» («Книга толкований и нравоучений», 503). Типичны знаменитые слова писателя в «Житии». «Дольго ли муки сея, протопоп, будет?» — спрашивает жена Аввакума, и тот отвечает: «Марковна, до самыя смерти!» (31—32). Жизнь наполнена непрерывными мучениями до предела.

Сравним, сходны ли представления о жизни у драматургов и у Аввакума. Внешнее различие довольно ощутимо. Драматурги изображали далекое, библейско-историческое прошлое, насыщенное разнообразными событиями. Аввакум же рассказывал о своем времени, заполненном относительно однообразными мучениями людей. Однако хотя главные предметы изображения у драматургов и у Аввакума резко различны, различно авторское отношение к изображаемому, авторские эмоции и пр., представления об интенсивности человеческих деяний и усилий у драматургов и у Аввакума не противоположны, но в сущности дополняют друг друга. У драматургов делами насыщено прошлое («то — есть бесконечно»), а у Аввакума — его современность («тово всево много говорить, разве малая часть помянуть»). Более того. Когда Аввакум в «Книге толкований и нравоучений» начинает рассуждать о библейских событиях, например о грехопадении Адама и Евы, то библейское прошлое у Аввакума тоже оказывается насыщенным большими и малыми происшествиями, как и в соответствующей пьесе об Адаме. Короче говоря, некоторое сходство представлений об интенсивном ходе жизни наблюдается и у придворных драматургов, и у демократического Аввакума.

ма. Это сходство служит показателем распространенности представлений о насыщенности жизни событиями в литературе второй половины XVII в., несмотря на то, что сами подобные представления еще были нередко расплывчатыми, разнородными, разномасштабными. Но они существовали как своего рода следствие развития представлений об энергичности человека.

Расплывчатость представлений не есть свидетельство их незначительности. При всей аморфности влияние указанных представлений на литературу оказалось неожиданно широким. Первые пьесы русского театра, насыщенные событиями настолько, что отдельные события уже «не помещались» на сцене и подразумевались происходившими за сценой, несомненно, испытали воздействие данных представлений, возникших еще до первой театральной постановки. Вот факты, так сказать, книговедческие. Обращает на себя внимание исключительная интенсивность, так сказать, фундаментальность попыток многих современников отразить царствование Алексея Михайловича в произведениях культуры. О больших и малых событиях этого времени повествовалось в многочисленных речах и «орациях», стихах и стихотворных «приветствах», предисловиях и послесловиях к различным рукописным сочинениям и печатным книгам. Активность этого литературного явления необычна.

Особенно внимательно и разносторонне разрабатывался вопрос о месте «великого государя» Алексея Михайловича в отечественной и мировой истории. Составлялись книги о царском родословии (например, «Родословие пресветлейших и вельможнейших великих московских князей...» Лаврентия Хурелича), книги по русской истории («История о царях и великих князьях земли русской» Федора Грибоедова), по русской и украинской истории («Синописис» Иннокентия Гизеля), по мировой истории («Хрисмологион» Николая Спафария).

Резко увеличилось количество специальных церемониальных руководств («Чинов»), нередко роскошно иллюстрированных. Составили «Книгу о избрании на превысочайший престол великого Российского царствия» Михаила Федоровича (отца Алексея Михайловича). Подготовили книги по титулатуре: знаменитый «Титулярник» с портретами, переводное «Изложение титулов по изъяснению чертогоправителя Кодина»³.

Наблюдалось стремление превратить в факт культуры даже «потехи» царя. Многие цари, князья, дворяне увлекались соколиной охотой, и удивительно здесь не то, что царь Алексей Михайлович отдавал обильную дань этому занятию, а то, что он сам написал об этом специальную книгу — «Урядник сокольничья пути» — и, кроме того, поручил перевести с иностранных языков книги на тот же предмет. Царю была пре-

³ *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, с. 382.

поднесена, например, переведенная с немецкого «Книга о псовой охоте», а в 1670 г. перевели связанную с охотой «Книгу лошадиного учения»⁴.

Даже столь интимное дело, как лечение царя, дало культурные результаты: учрежден Аптекарский приказ; врачи, служащие в нем, занимались и литературной деятельностью. Помимо этого были составлены новые лечебники и пособия по медицине, гораздо более полные, чем раньше. В 1670 г. переведено с латинского сочинение Альберта Великого «О силах трав» и пр.⁵.

Что понуждало писателей и переводчиков составлять сочинения, с необычайной подробностью отражавшие или откликавшиеся на большие и малые события современности? Хотя вопрос этот нуждается в более основательном изучении, ответ напрашивается в связи с нашим предшествующим изложением. Писатели второй половины XVII в. ощущали, возможно, и осознавали действительность как мир, наполненный необозримым потоком событий и людских дел, и торопились сказать о них.

Вернемся к уже упоминавшейся первой челобитной Аввакума. Известно, что в первой челобитной Аввакум пытался убедить царя Алексея Михайловича отменить никоновские реформы. После работ П. С. Смирнова и А. К. Бороздина это мнение общепринято в науке. Однако только стремлением автора убедить царя вернуться к «прежнему благочестию» нельзя объяснить тот факт, что Аввакум включил в челобитную пространный (больше половины всего текста челобитной!) рассказ «о своих бедах и напастех» — повествование о двадцатилетнем периоде своей жизни.

Авторы других старообрядческих челобитных 1660-х годов — Иван Неронов, Никита Пустосвят, Федор Иванов, соловецкие монахи, расколоучители Лазарь, Авраамий и др. — тоже старались, как и Аввакум, убедить царя отречься от «никониан». Все опирались в основном на догматические и богословские доводы, на разбор новопечатных книг, нововведений в церковной службе, — это делает и Аввакум, — но о себе и своих мучениях за веру они в отличие от Аввакума писали очень мало или вообще не упоминали, обходясь без биографических сведений.

Если обратиться к челобитным и посланиям царям XVII в., то видно, что авторы рассказывали о себе, как правило, в связи с какой-нибудь просьбой личного характера. Послания и челобитные царю, содержащие биографические сведения за более или менее крупный период жизни автора, можно разделить на две группы. В первую группу входят те послания и челобитные, главная тема которых не государственная, не общественная, а личная, даже узко личная, и связь между такой целью и приведением автобиографических данных очевидна.

⁴ Там же, с. 111—114.

⁵ Там же, с. 157.

Типичным является, например, случай, когда автор хочет быть пожалованным за многие свои тяготы на государственной службе и поэтому рассказывает о себе⁶. Довольно подробные биографические сведения могут приводиться в посланиях и челобитных царю, авторы которых хотят оправдаться в клевете, на них возведенной, или по какой-то причине желают изменить, сложившееся о них мнение⁷. Наконец, биографические данные приводятся в посланиях заключенных и ссыльных, просящих об освобождении из заточения, смягчении тюремного режима и пр.⁸. Отличительной особенностью всей этой группы челобитных, посланий и писем царям XVII в. является преобладание личной темы.

Но, по-видимому, в XVII в. возникает и новая разновидность посланий царям, в которых эта тема сочетается с более важной общественной, государственной темой. Особенно характерно это для старообрядческих челобитных и посланий царю, в которых вопросы о вере подавляют все остальное и поэтому не всегда ясна роль вкрапленных сведений и рассказов авторов о себе.

Например, справщик Сенька Васильев в челобитной царю самого начала 1660-х годов подробно разбирает нововведения в печатных книгах. Эти разборы перемежаются автобиографическими замечаниями и отступлениями: «С сорок лет есьми убогой аз был у ваших государевых дел...», «а как был на вашей государеве службе в Сибири в Тобольску з бояры и воеводы, дьячишком две перемены 6 лет, и тамо будучи, не мало вам, великому государю, добра делал...» и т. п. (34, 51—52). Оказы-

⁶ Ср., например, челобитные Федора Максимова 1657 г. о его службах на Амуре (ДАИ, т. 4, с. 94—95), служилых людей Василия Бугра и Евсевия Павлова 1655 г. (там же, с. 8—9), Г. И. Пустошкина после 1659 г. об отставке от службы (Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. СПб., 1884, т. 3, с. 479—480), соловецкого чернеца Матвея 1669 г. о мучениях, которые он претерпел от соловецких мятежников (*Барсков Я. Л.* Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912, с. 136). Ср. также послание бывшего патриарха Никона, который в 1667 г., будучи сослан в Ферапонтов монастырь, описывал свою тяжелую жизнь и заключал: «И ныне се ли мне твое воздоание вместо моей работы? Яко пса состаревшаяся, отрину и заключи, и подохну я, пищи лишен» (там же, с. 102).

⁷ Ср., например, большой рассказ о своей жизни за 40-летний период в челобитной приказчика Ал. Фролова 1644 г., приведенный для опровержения клеветы, якобы он поставлен в приказчики из пашенных крестьян: «...а я, — пишет Фролов, — поставлен, холоп твой, из пушкарей» (ЧОИДР, 1909, кн. 5, отдел IV, с. 7). Ср. также челобитную муромского архимандрита Антония середины 1660-х годов, который отвергает подозрение, будто он писал подметную челобитную царю (Материалы для истории раскола... М. 1887, т. 8, с. 120—121).

⁸ Ср., например, жалобы заточенного строителя Воскресенского монастыря Аарона в челобитной 1663 г. (*Гиббенет Н.* Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1884, ч. 2, с. 636), а также письмо бывшего патриарха Никона о смягчении режима в Ферапонтовом монастыре 1671 г. (*Барсков Я. Л.* Памятники первых лет русского старообрядчества, с. 109, 115).

вается, перед нами знакомая ситуация: Сенька, осуждая никоновские изменения в церковных книгах, не забывает и о себе лично, стремясь опровергнуть возведенную на него клевету, что он недобросовестен и «грамматического учения будто не умеючи» (13).

То же сочетание общественной и личной тем наблюдается в челобитной Лазаря, посланной царю из Пустозерска в 1668 г. Кроме общественной, главной цели — обличить никониан, Лазарь имел и личную цель — оправдаться перед царем, так как он считал, что его оклеветали: «...меня ко тебе, царь, и в мир ложью огласили», «клеветаша на мя всяко ложно». Поэтому излагаются эпизоды из его жизни, показывающие его стойкость и правоту: «А мы держим святыя книги и закон прародителей твоих... и аще мы таковыя держаще, и того ради мучимы есмы всяко и казними, в тесных темницах затворены, а хлеба дают нам по полутора фунта на сутки, да квасу нужна, — ей, ей, и псом болши сего метают! — а соли не дают; а одежишка нет же, ходим срамно и наго...» и пр. (233, 264—265). Интересно, что в дословно сходной челобитной Лазаря того же года, посланной патриарху Иоасафу и посвященной только обличению никониан, но не личным оправданиям, биографических фактов уже нет.

Личная цель заметна и в челобитной Авраамия 1670 г. Хотя челобитная посвящена обличению никоновских реформ и содержит призывы к царю об «умирении» церкви, сюда вставлен живой эпизод об избиинии Авраамия митрополитом Павлом: «И Павел митрополит сего ради моего малого речения, яко зверь распыхался, и не усидел на месте своем, и пришед близ мене, взял мя левою своею рукою за бороду, правую же нача мя по ланитам бити, и збивши с меня на пол клобук, и камилавку, и мантию, и простовласа вода мя за бороду по полате» (267). Введение подобного рода эпизодов в челобитную на общественную тему объясняется тем, что Авраамий, отличавшийся, как известно, крайним самомнением, намеревался представить себя перед царем страдальцем за веру, новым мучеником. Недаром в заглавии челобитной Авраамий так и назван: «Новаго исповедника и страдальца Христова инока Авраамия» челобитная (259, 261—262).

Аналогии, приведенные нами, позволяют думать, что и в первой челобитной Аввакума сплетаются две темы и что рассказ о бедах и напастьях связан с какой-то личной целью Аввакума. Однако обращение к самой челобитной Аввакума приводит нас к противоположному выводу. Между первой челобитной и посланиями и челобитными царю XVII в., содержащими биографические сведения, наблюдается важное для нас различие. Если авторы посланий и челобитных не скрывают, для чего они рассказывают о себе, не раз напоминают о причине этого, то Аввакум о цели своего необычно большого автобиографического рассказа упоминает довольно глухо.

Протопоп кончает челобитную царю просьбой об аудиенции: «Свет-государь! Пред человеки не могу тебе ничтож проговорити, но желаю наедине светлосное лице твое зрети и священнолепных уст твоих глагол некий слышати мне на пользу, как мне жити» (730). Ради личного свидания с царем Аввакум так много рассказывал о себе? Не о важных государственных делах, а именно о себе. Как-то сомнительно...

Мы можем указать еще одну фразу в челобитной, в которой Аввакум, как можно предполагать, формулирует свою цель. В середине повествования о бедах и напастях Аввакум делает небольшое отступление: «Не челобитьем тебе, государю, ниже похвалою глаголю, — пишет протопоп, — да не буду безумен, истинну бо, по Апостолу, реку. Яко ты наш государь, благочестивый царь, а мы твои богомолцы: некому нам возвещат, како строится во твоей державе» (726).

Итак, Аввакум считает, что, правдиво рассказывая о себе, каждый «государев богомолец», а в данном случае сам протопоп, «возвещает, како строится» в державе Алексея Михайловича. Рассказ о судьбе одного человека рассматривается как пример биографии, имеющей общественный интерес. Следовательно, в отличие от множества авторов челобитных и посланий царю Аввакум открыто не связывает автобиографический рассказ с какими-либо личными целями. Отсюда понятно, почему повествование о бедах и напастях, да и вся первая челобитная в целом, не содержат просьб личного характера.

К сожалению, повествование о бедах и напастях не дает ясных подтверждений и того, что Аввакум, рассказывая царю о себе, думал о биографии-примере, биографии общественно типичной. Подобное осмысление своей биографии, новое для того времени, Аввакум открыто допускает 8—9 годами позже, в знаменитом «Житии». Что же касается одного из ранних дошедших произведений протопопа, первой челобитной, то цель рассказа Аввакума о себе — личная или общественная — остается неясно выраженной, в известной мере даже загадочной. Прояснению этого вопроса не способствуют и последующие редакции первой челобитной. В них опущены все высказывания и замечания, позволяющие судить о практическом смысле автобиографической темы в челобитной.

Непосредственную причину появления в челобитной большого рассказа о бедах и напастях нужно искать не столько в утилитарной цели Аввакума, сколько в особенности его художественного миропонимания. Представление о крайней насыщенности жизни «правовверных» мучениями и мытарствами, вероятно, побудило Аввакума развить соответствующий рассказ в челобитной и тем самым сделать смелый шаг в идейно-жанровом отношении. Это была смелость писателя, а не только челобитчика. Предлагаемое объяснение подтверждается тем, что представление о наполненности жизни беспрестанными мучениями сильнее всего в первой челобитной выразилось именно в повествовании о бедах и напастях, а также тем, что в последующих своих челобитных, особенно

в пятой, Аввакум оставался верным зову воображения, не мог писать рассудочно, сухо излагая суть дела. Вот пример влияния художественного представления на жанровую структуру документа. Некоторая расплывчатость представления не помеха его литературной активности.

Наконец, расплывчатость художественного представления не исключает сложности его состава. Действительно, если мы внимательно присмотримся к сочинениям Аввакума, то заметим, что представление писателя о насыщенности человеческой жизни состоит из ряда слагаемых. Любопытно, что Аввакум писал свои послания, письма и челобитные так, словно их адресаты находились перед ним и могли его слышать. В этом одно из самых заметных отступлений Аввакума от эпистолярной традиции его времени, следуя которой авторы писем и посланий обычно сообщали, откуда они пишут, в каком месте они «по се число живы и здоровы» и насколько они «расстоянием розны» с адресатом, хоть с ним и «душею вкупе»⁹. Отдаленность от адресата подтверждалась и вытекала из всего изложения письма, послания или челобитной.

Аввакум же, наоборот, как бы стремится не замечать своей отдаленности от адресатов. Намеки на то, что он удален от них на сотни и тысячи верст, проскальзывают у Аввакума мимоходом, чаще в качестве обмолвок, которым он не придает главного значения. «Брат и отец Исидор! — пишет Аввакум, например, в первом письме к попу Исидору. — Благослови грешнаго протопopa. И тебе отселе мир и благословение» (939). И это «отселе» является единственным словом, напоминающим о том, что Аввакум посылает письмо откуда-то издалека.

Главным же у Аввакума было желание создать впечатление — и для себя, и для своих читателей, — будто адресаты находятся тут же, рядом с ним, и он к ним может обращаться в непринужденно-разговорном стиле, как, например, в послании Борису и «прочим рабам Бога вышняго»: «Досифей, а Досифей! Поворчи, брате, на Олену-то старицу... Елена-дурка! На что ты... ребеночка-де маленько не уморила?.. Слушай-ко, игумен Сергей! Иди во обитель Меланьи... Друг мой миленкой Еленушька! Поплачь-ко ты хорошенько... Елена, а Елена! С сестрами-теми не сообщайся...» и т. д. (858—859).

Аввакум словно видит, как реагирует адресат на его слова. Челобитную царю он может прервать вопросом — «не скучно ли тебе, государю-свету?» (725) — и продолжать, будто получил заверения, что не скучно. Письма же Аввакум нередко целиком пронизывает такого рода наблюдениями над адресатами. Например, судя по письму ко Ксении

⁹ Ср., например, письма и послания, изданные в кн.: Московская деловая и бытовая письменность XVII века / Изд. подгот. С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. М., 1968; Котков С. И., Панкратова Н. П. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века. М., 1964. Ср. также некоторые письмовники XVII в.

Болотовой, Аввакум «показывает» Ксении, как «слагать персты» — так, словно она находится перед ним в пустозерской земляной тюрьме. «Зри, Артемьевна, — предлагает Аввакум Ксении глядеть на него, — и слагай персты сице неизменно». И показывая и рассказывая, как бы смотрит в свою очередь на нее, следя, все ли поняла его «дщерь духовная»: «Знаешь ли, голубица, или еще просто поговорим с тобою?.. Ужли узнала троеческое единство?» И, уверившись, очевидно, что поняла, заканчивает: «Ну, прости же, кречет церковный, голубица нескверная и ластовица сладкопеснивая» (II. 418—419).

Иногда Аввакум каким-то образом видит, что его слова не доходят до глубины души адресата, и это сразу отражается в тоне его вопросов. «Отче, что ты страшлив? Слышишь ли: есть о нас промышленник!» — взывает Аввакум к игумену Феокисту, но, чувствуя, что Феокист не соглашается с ним, с досадой замечает: «А, что на тебя дивит! Не видишь. Глаза у тебя худы... Не забреди, брате, со слепых-тех к Никону в горкой Сион!» (907—908). Или требует немедленного ответа от очередного строптивного адресата: «Али не правду говорю? Отвещай ми! Что задумался?» («Книга бесед», 278). Или обращается к нему, как бы стоя совсем рядом: «Што, что бык запрокинул глаза-те на потолок? Слушай, еще тебе напишу!»

В редких случаях Аввакум отмечает свою удаленность от адресата («Родион! — однажды обращается он и вспоминает классическую эпистолярную формулу. — ...Да хотя мы и в далнем разстоянии...», 861). Но и это делается чаще для того, чтобы все-таки «приблизить» адресата. «О друже наш любезный!.. Прииди-тко сюды, приклони-тко ся к нам, дай-ка главу ту страдальческую. Обыдем тя, облобызаем тя, облием тя плачем» и т. д. (III. 294). Аввакум повторяет свои обращения и призывы, подобно человеку, который находится на таком расстоянии от другого, когда можно надеяться, что его многократные призывы будут услышаны. Например, челобитную царю Федору Алексеевичу, посланную из Пустозерска, Аввакум, по его собственному признанию, пишет «издалеча»: «...яко некий изверг, и непричастен ногам твоим, издалеча вопию...» (767). И челобитная является в прямом смысле «воплем издалеча», со многократным повторением призывов и просьб, словно на большом, но не безнадежном для слуха расстоянии: «...издалеча вопию, яко мытарь: милостив буди, Господи! Подстилаю главу... со гласом: милостив буди мне, Господи!.. желаю крупичи твоя милости. Помилуй мя, страннаго, устраннышагося... помилуй мя, Алексеевич... Отради ми, свет мой, отради ми, отрасль царская, отради ми и не погуби... От лют мя избави... Спаси, спаси, спаси их, Господи Прости, прости, прости державне. Пад, поклоняюся. Прости, Господа ради...» (767—770).

Подобными многократными призывами наполнено, например, письмо к мученицам «за правую веру» боярыне Ф. П. Морозовой и княгине Е. П. Урусовой, словно Аввакум, сосланный в Пустозерск, надеется, что

его услышат эти заключенные в Боровскую тюрьму, пусть полуживые, пусть мертвые: «Свет моя! Еще ли ты дышишь? Друг мой сердечный! Еще ли дышешь, или сожгли или удавили тебя? Не вем и не слышу; не ведаю — жива, не ведаю — скончали! Чадо церковное, чадо мое драгое, Феодосья Прокопьевна. Провещай мне, старцу грешну, един глагол: жива ли ты?» (924).

Аввакум «приближает» не только одного адресата, но вместе с адресатом и все его окружение. Поэтому в послание какому-либо одному, главному лицу он нередко вставляет как бы отдельные письма — с особыми начальными формулами и концовками — еще многим людям, подначальным этому человеку. Так составляет Аввакум послание игумену Сергию с «отцы и братией» со вставленными в послание обращениями — «грамотками» к Евдокии Урусовой, Анисиму Фокину, Стефану-«батюшке» и пр. Таков же состав уже цитированного послания Борису, со вставленными «грамотками» — обращениями к Досифею, Меланье, Ксении, Родиону и другим «братиям» (846—862). Со всеми ними Аввакум беседует, как будто они собрались перед ним.

Если Аввакум не вставляет «грамотки» в свои послания, то представление об окружении адресата выражается лишь в менее явной форме, но снова — так, что, «приближая» адресата, Аввакум не вырывает того из своей среды, а «приближает» вместе с ней. Например, письмо к Алексею Копытовскому, и казалось бы, только к нему, заканчивается следующим образом: «Прости, Алексей! А тебя Бог простит и благословит. Возми у братии чотоки мое — благословение себе. Дайте ему, Максим с товарищи, — внезапно обращается Аввакум к «братии», словно «братия» присутствует тут же, — и любите Алексея, яко себя. Аминь» (948).

В результате Аввакум оказывается как бы окруженным толпой «правоверных», к которым он пишет. Всех их он не только целует «целованием духовным», но и слезами поливает ноги каждого: «Братия, светы мои... вас, и жен ваших, и деток, и домашних всех целую целованием духовным о Христе и, пад, поклоняюся на плесны ног ваших, слезами поливаю» (810; ср. 784). Поклоны, конечно, являются обычной эпистолярной традицией. Но, пожалуй, только у Аввакума встречается такое необозримо громадное «стадо правоверных», перед которым склонился протопоп, касаясь ног впереди стоящих людей.

Высшую степень «приближения» адресатов встречаем в послании «всей тысящи рабов Христовых». Здесь масса далеких адресатов превращается в нечто близкое, компактное, поднимаемое руками одного человека. Аввакум в своем воображении подымает их всех своими руками. «Протопоп Аввакум чадом святым соборныя и апостольския церкви, — начинает протопоп послание, — Акинфею с сестрою Маврою, Родиону, Андрею-брату и сестре Марье Исаии сожженнаго, Федору Железному, Мартину...» и т. д. Перечисление охватывает несколько десят-

ков имен и заканчивается ярким образом людей, как бы вознесенных в ладонях Аввакума: «...Марье, Неониле, Афанасию, Луке, и всей тысящи, над пред всеми, равным лобзанием целую; глава ваша, и перси, и руке, и нозе, и весь орган телесный подъямлю своима руками...» (829—830).

Та или иная степень «приближения» адресатов наблюдается почти во всех эпистолярных произведениях Аввакума и, пожалуй, составляет одну из индивидуальных черт этого писателя. До Аввакума «приближение» адресатов встречалось редко, случайно; в единичных слабых проявлениях его можно обнаружить, например, лишь в одном-двух посланиях Ивана Грозного¹⁰. Для современников Аввакума такое эпистолярное нововведение также не было характерным. У плодовитого сочинителя посланий — Симеона Полоцкого случаи «приближения» адресатов редки и откровенно метафоричны. Так, в образце послания «государю имя рек» Полоцкий предусматривал и такое выражение: «Сердечныма очима честное лицо ваше вижду аки чюственныма... И отстоящим вам аки присущым ми любезное сице даю целование» (142 — 142 об.). Подобное «приближение» адресата ничего более, как светская любезность.

Иное видим у Аввакума. «Приближение» адресатов в его посланиях не только фраза, не только явственное жанровое нововведение, даже не только результат стихийного, горячего желания протопопа увидеть своих адресатов воочию, потрогать их рукой. За этим многообразно повторяемым эпистолярным приемом приоткрывается элемент мироощущения Аввакума. Для него словно нет пустоты в мире, нет человека, изолированного от мира. Люди, активно действующие, всегда вместе: это «стадо правоверных», это «антихристово войско» «никониан», каждые «своим сонмом пойдут» и т. п. Поэтому сподвижники Аввакума, его адресаты всегда с ним, все собраны в одно место (мы говорим о художественном представлении, а не о трезвом, рассудочном понимании реального положения вещей).

Как соотносится «приближение» адресатов с представлением о заполненности жизни делами и событиями? Жизнь не только во времени насыщена беспрестанными мучениями, но мучения и пространственно окружают людей, собираются вокруг них. Ср. в послании «стаду верных»: «Яко вранове слетаются на мертвое тело, и яко волцы на скот пораженной, или яко псы на стерво, тако и на мою душу отвсюду рати и бури, отвсюду мятежи, отвсюду ухищрение» (815). Здесь человек, как стаяй птиц или животных, окружен мучениями, беспрестанность кото-

¹⁰ Грозный «обращался в посланиях к своим противникам так, будто бы они были непосредственно перед ним» (Лихачев Д. С. Стиль как поведение. (К вопросу о стиле произведений Ивана Грозного) // Современные проблемы литературоведения и языкознания: К 70-летию со дня рождения академика Михаила Борисовича Храпченко. М., 1974, с. 199).

рых Аввакум подчеркивает тут же. В роли орудия пытки любой предмет начинает охватывать, сжимать человека. «Хотя на меня каменья накладут, — замечает Аввакум, — я, со отеческим преданием, и под камением лежу» (40—41). Мы присутствуем при оригинальном слиянии в единое целое временных и пространственных представлений у Аввакума. Мир «правоверных» заполнен мучениями во времени и в пространстве.

Аввакум, несомненно, отдавал себе отчет в том, какие смысловые оттенки включает картина мучений «правоверных». Недаром он использовал игру слов в послании «братии на всем лице земном»: «...отцем и братиям нашим, озлобляемым и томимым гладом, и жаждою, и юзами темничными, и всякою теснотою и скорбьми, ранами же и биением утесняемым» (799). «Теснота» и «утеснение» в этом отрывке означают и сами непрерывные мучения, и их пространственную тесноту вокруг мучимых.

Аввакум нередко «приближает» и мучителей, окружает ими людей. Вспомним, например, как изображается в «Житии» эпизод, когда Аввакума, выведенного из темницы, «за волосы дерут, и под бока толкают, за чепь торгают, и в глаза плюют» (17). Подбор деталей таков, что создает впечатление, будто разъяренные «никониане» тесно окружили Аввакума на расстоянии вытянутой руки. Независимо от того, происходило так в действительности или не совсем так, образ этот для Аввакума не случаен. В «Книге толкований» и в посланиях представление о тесном соприкосновении «никониан» с «правоверными» выражено гораздо резче. «А ты только сам забредешь в их волчью пещеру, — поясняет Аввакум адресату, — ...как не пропал? И играючи, волчата задавят. Никонияня, так-то христиан губят... да-петь ево давят» (822). «Никониане» не только тесно окружают человека, но и в тесноте нюхают его, хватают, давят, грызут. «Правоверный» человек «з гордыми в пещерах одних... а гордые смиренного всегда грызут» (482). «И не токмо совы, но и псы тово и нюхают» (III. 268).

Не только «никониане» вплотную окружают «правоверных», но и, наоборот, «правоверные» облепляют «никониан» подобно стае комаров: «...слово в слово, яко комары или мщицы, елико их болше подавляют, тогда болши в глаза лезут», «несытно пуще в глаза лезут» (845, 567). Напряженная борьба «правоверных» и «никониан» в воображении Аввакума выглядит как крайняя степень физической тесноты, враги даже проникают в тело друг друга, теснее уже быть не может. Теснота — одно из проявлений интенсивности борьбы, насыщенности каждого момента действиями обеих враждующих сторон.

И вообще, стягивание, наполнение телами и предметами какой-либо точки пространства в описаниях Аввакума обычно связано с насыщением, нагнетанием действий и событий в каждый момент времени. Так происходит и при изображении образа жизни «никониан».

Лихорадочная быстрота, безумный размах деятельности «никониан» хорошо известны по сценам, нарисованным Аввакумом. Но ощущение тесноты как тень следует за бурно действующими «никонианами». «Никониане» напоминают Аввакуму разбойников, но разбойников, сгрудившихся в помещении церкви: «Бесятся, играют в церкви-той! Кой что захватил, тот то и потащил»; один ухватился за престол, другой сорвал пелену, третий стащил крест и т. д. (367—368). Но все это выглядит как толчея на узком пространстве.

Активная, быстрая реформаторская деятельность «никониан» под пером Аввакума выливается в быструю, но крайне тесную езду, участники которой мешают друг другу: «Впряжены в колесницу четвероконную, везут быстро, все розно тащат еретики из церкви-той» (358). Чем шире размах энергии «никониан», тем тяжелее Аввакум их пригибает к земле, словно пьяных: «...дрожжами прокислые мудрецы, трясущимися руками пишут, ползающе по земле, яко гадове» (884); или совсем распластывает «никонианина» по земле, как рака: «Что рак ползаешь в вере-той, и так, и сяк, и онако» (363). Деяния «никониан» превращаются в тесную возню мышей или тараканов вокруг какого-нибудь предмета: «Что мыши, углы у кних-тех угрызают» (373), «а просвиру-то предотечю, что таракан изгрыз» (368). Хотя все приведенные сравнения у Аввакума имеют открыто уничижающий характер, примечательно это постоянное сочетание изображаемой активности деятелей с теснотой. Такое сочетание часто встречается, как мы видели, и вне уничижительного контекста и, следовательно, вызвано не им, а неразделимой связью пространственных и временных представлений Аввакума при изображении интенсивного образа жизни его героев, положительных и отрицательных.

Чем активнее действовали герои, тем активнее скапливались объекты их действий — люди и предметы. Аввакум неоднократно описывает, как разгульно живут «никониане», как много пьют вин «ренских, и романей, и водок, и вин процеженных, и пива с кордомоном, и медов малиновых и вишневых, и белых всяких крепких» (303, 335—336), как потребляются «столовые, долгие и бесконечные пироги, и меды сладкие, и водка процеженная, з зеленьем вином» (574). И все это обилие живописуемых развлечений не исчезает со временем, но наглядно материализуется, остается навечно в виде туго набитого «чрева» «никонианина». «И в твоём брюхе, — указывает Аввакум «никонианину», — не меньше робенка бабья накладено беды-тоя, — ягод миндалных, и ренсково, и романей, и водок различных с вином процеженным налил» (281). Представление о «наполнении» мира предметами и людьми — своего рода обратная сторона представления о насыщенности жизни делами.

О слиянии обоих указанных представлений у Аввакума свидетельствует еще и изображение им чудес. Все это были интенсифицированные чудеса. Чудо у Аввакума почти всегда многократно, состоит из целой серии повторяющихся чудесных происшествий, следующих друг за

другом без перерыва: Бог являет свое расположение несколько раз в течение одного эпизода; бесы неоднократно за ночь нападают на человека; заряженные пищали несколько раз подряд дают осечку в руках у злодея; отрезанный язык не раз отрастает у казненного и т. д. и т. п. В аввакумовских чудесах сгущены и событийная, и предметная стороны дела, являя сращение соответствующих представлений писателя в одно целое. Итак, человеческая жизнь в художественном отражении Аввакума была насыщена, так сказать, «набита» действиями и предметами; мир получался очень «густым».

Степень насыщенности мира и жизни событиями, делами, людьми, предметами, природой у Аввакума получилась необычной для древнерусских авторов. В самом деле, что из прошлого можно сравнить с аввакумовским представлением о заполненности жизни героев непрерывными мучениями и борьбой? В житиях XV—XVI вв. подвижники не жили с таким напряжением и в таком сгущенном потоке событий. Может быть, во многособытийных «историях» XVI в. найдем сходное представление авторов о жизни? Обратимся, например, к «Истории о великом князе московском» А. М. Курбского. И «Житие» Аввакума, и «История» Курбского автобиографически повествуют об участии героя в длинном ряду дел — общая внешняя черта, позволяющая провести сопоставление столь различных произведений. Кстати, Аввакум в «Житии» и в других сочинениях определенно ориентировался на «Историю» Курбского (этой темой стоит заняться специально). Но у Курбского нет подчеркнутых указаний на непрерывное, бесконечное обилие действий и событий, перечислить которые все полностью нет возможности. Наоборот, Курбский исходит из предпосылки, что все события за определенный отрезок времени в принципе перечислимы; все зависит от толщины сочиняемой книги. «Аще бы из начала и по ряду рех, — замечает Курбский, — много бы о том писати... иже и писати, и исчитати краткости ради книжицы сея не вместно»; «а естли бы писал по ряду... того бы целая книга была» (161—162, 191)¹¹. Будь потолще книга — все успел бы «исчитать». Представление Курбского о большом, но охватимом количестве событий — это не аввакумовский взгляд о заведомой необозримости всех деяний людских за тот или иной промежуток времени.

¹¹ Цитируемые произведения: «Домострой» — Домострой по Коншинскому списку и подобным / Текст памятника подгот. А. С. Орлов. М., 1908; «История о великом князе московском» Андрея Курбского — РИБ, т. 31; «Казанская история» — Казанская история / Изд. подгот. Г. Н. Моисеева. М.; Л., 1954; «Повесть о взятии Царьграда турками» Нестора-Искандера — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть известно сказуема» С. И. Шаховского — РИБ, т. 13; «Строгановская летопись» — Сибирские летописи. СПб., 1907; «Степенная книга» — ПСРЛ, т. 21, ч. 2.

Но «сгущение» мучений, пожалуй, можно встретить в исторических повестях, «историях» и сказаниях XVI в. — первой половины XVII в. в тех случаях, когда речь идет, например, о надругательствах завоевателей над населением. Так, в «Казанской истории» приводится большой перечень бед, перенесенных русскими от казанских татар (76—77). Внешне это такой же способ описания бед и напастей, как затем в первой челобитной Аввакума. Несмотря на жанровые и многие иные различия произведений, способы описания некоторых явлений действительности в них могут быть сходными. Но в данном случае внешнее сходство перечней и их темы оттеняет разницу смысла. Перечень в «Казанской истории» нагнетает издевательства татар, чтобы показать, как в общем статистически много было мучений: «Несть беззакония их исчести мощно». Сверх этого подчеркивания множества мучений автор «Казанской истории» не стремится сказать ничего, довольствуясь традиционным перечислением разрозненных фактов одного рода. У Аввакума же, как мы видели, однородные факты, кроме того, сцепляются друг с другом в единый временной «сюжет», в непрерывную цепь событий, в непрерывно сменяющие друг друга мучения героя в течение одиннадцати лет. Такого смыслового оттенка перечень в «Казанской истории» не содержит. Нет такого оттенка в больших перечнях бед и в иных произведениях, например, в «Сказании» Авраамия Палицына. Представление о насыщенности жизни героя непрерывными мучениями свойственно именно Аввакуму, а не ранним авторам.

Так же кратко проверим, выражалось ли в памятниках до XVII в. подобное аввакумовскому представлению о предметной насыщенности мира, о тесном окружении героя предметами. Опять-таки для сопоставления выберем произведения с развитой, обильной событийной стороной, с обильным описанием предметного интерьера; тогда больше вероятности обнаружить интересующие нас авторские представления. Но и на этот раз внешне похожее оказывается противоположным по существу. Тесное окружение героев бывает в основном только в бою, в сражении, в осаде: «От великия тесноты во граде задыхахуся и задавляющеся добре людие» («Казанская история», 61). Это этикетная теснота боя, повторяющаяся во многих повестях, но не имеющая отношения к представлению о постоянной тесноте мира, всегда и везде. В так называемых «воинских повестях» величина и размеры предметов, окружающих человека, в крайнем случае будут преувеличены. Например, в «Повести о взятии Царьграда» Нестора-Искандера огромны пушки, огромны богатыри, велики силы сражающихся, огромно количество убитых, раздается необычно сильный гром, стук, шум. Даже дождь удивительно велик, — «аки слезы, капли велицы, подобные величеством и взором буйвальному оку... яко удивитися всем людем» (73). Но великость предметов еще не означает в повести их тесной наполненности в мире. Такого оттенка картины повести не имеют.

Нет ли тесного окружения человека предметным миром в «Домострое»? Перечни предметов домашнего обихода в «Домострое», действительно, часты и преизобильны. Но, увы, эти перечни означают, как правило, не одновременное окружение хозяина или хозяйки массой предметов, а ассортимент для выбора. Например: «А будет слишком за обиходом наделано полотен, или усчин, или холъстов, или скатертей, или убрусов, или ширинок, или иного чего, — ино и продаст...» Не все перечисляемые изделия мыслятся под рукой владельца, а лишь отдельные из них, — когда одно, когда другое: «или — или». Тот же смысл имеют перечни с повторяющимся союзом «и». Так, хозяйка «бы знала же пивной, медовой, и винной, и бражной, квасной, и уксусный, и кислаштяной и всякой обиход как делают», то есть не все сразу делать, а то одно, то другое, в разное время. В некоторых случаях перечни предметов в «Домострое» означают некий запас, например некий минимальный запас продуктов в погребе и леднике у хорошего хозяина (29, 28, 52). Но склад этот описывается вне пространственной близости к человеку, сам по себе, словно мы заходим на склад в отсутствие хозяина и видим определенный состав предметов, — и только. В вещевом обилии «Домостроя» люди чаще всего упоминаются в качестве бесплотной, абстрактной силы, передвигающей, сортирующей, отбирающей вещи. Авторские представления о предметном мире в «Домострое» резко отличаются от аввакумовских.

Остается бегло сопоставить с пейзажами Аввакума природу, окружающую героев в различных произведениях XVI — первой половины XVII в. Отличие от аввакумовских представлений о «густой» природе сильно и здесь. В памятниках до середины XVII в. природа отнюдь не плотно, не тесно и не густо подступала к человеку; пространственных оттенков, подобных аввакумовскому, в более ранних сочинениях мы не найдем. Если в сочинении пейзаж был не документально-географическим и, следовательно, содержал художественные элементы, то смысл их обычно сводился, примерно, к одному: мир природы велик и широко раскинулся вокруг (ср. «Строгановскую летопись»: «...древие велие... ими же верхами досязати до облак небесных... великия реки... поля широкие» и т. д. — 59—60); природа даже, так сказать, разрежена вокруг людей (ср. рассказ о пустынных в одной из повестей С. И. Шаховского: «...токмо во очию им бе древесное двизание, ветвей шумение, источник звонением, птиц пение... Восходяще же на высокия холмы, смотряху на вся страны и зряху, не слышаху клопота, ни игrania...» и пр. — 840—841); в общем природа неназойливо «прохлаждает» и «веселит смертных» (ср. поучения митрополита Даниила и «Повесть книги сея», приписываемую И. М. Катыреву-Ростовскому или С. И. Шаховскому).

Пожалуй, лишь в единичном случае можно встретить пейзаж, в котором многие звери и птицы вплотную приближаются к людям. В «Степенной книге» о шествии Ивана Грозного с войском к Казани написано следующее: «И по сем от града Мурома поиде частым полем и

частым лесом. И таковое многое воинство всюду, яко Богом уготовану пищу обретаху. На поли убо всяким благовонным овощием довляхуса и животных же лоси яко самозванни на заколение прихождаху. В реках же множество рыб ловяху. От воздуха же множество бесчисленное птиц прилетаху и во всех полцех на землю припадаху, яко сами дающесе в руке человеком на пищу, ими же все бесчисленное воинство не трудно довляшесе. И тако всесильный Бог пищу и всякую потребу толикому неизчетному воинству всюду готову и преизобильну устраяя. Егда же приспе пост святяга Богородица, и в ты дньи не видаху никако же ни птиц, ни лосей» (643). Из этого отрывка видно, что автор благоговейно описывает исключительное, чудесное явление. Приближение животных и птиц к человеку — это воспоминание о чуде Божии, а не выражение представления об обыденной реальности, как у Аввакума. Аввакум рассказывает о реально труднопроходимых местах. В «Степенной книге» же: «И тако многими день-ми не трудно, яко играюще, преидоша великия лесы, и глубокия реки, и чистое поле». В этом отрывке «Степенной книги» природа лишь чудесно, лишь играючи касается людей. У Аввакума, как мы знаем, совсем иное.

Итак, аввакумовское представление о наполненности, о насыщенности мира и человеческой жизни деяниями и предметами было действительно новым для древнерусской литературы. Но во второй половине XVII в. рассматриваемое представление было ли характерно только для Аввакума? Думаю, что нет. Мы уже приводили в пример придворную драматургию 1670-х годов, в которой отразилось сходное представление, хотя в гораздо более слабом виде. Можно указать также на концентрированный предметный мир поэзии Симеона Полоцкого, где, по определению И. П. Еремина, как в кунсткамере, представлены коллекции различных редкостей и памятных вещей¹². Таким образом, в одной и той же широкой группе памятников, куда входили первые русские пьесы, драматические, поэтические и прозаические сочинения Симеона Полоцкого, сочинения разных жанров протопопа Аввакума, отдельные анонимные повести демократического происхождения (ср. «Сказание о роскошном житии и веселии»), возможно, отдельные документальные произведения, выразился комплекс авторских представлений об энергичности человека, о насыщенности человеческой жизни событиями, о плотной наполненности предметами мира вокруг героев. Повторяем, мы не пытаемся установить точный состав и границы этой разнородной группы памятников, мы пытаемся лишь доказать само существование сходных новых художественных представлений о человеке и мире у некоторых авторов второй половины XVII в., как придворных, так и демократических.

¹² Еремин И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого // ТОДРЛ, т. 6, с. 141.

Представления некоторых писателей и драматургов об интенсивной насыщенности мира действиями и вещами нуждаются в объяснениях. Причины же, несомненно, прежде всего надо искать в особенностях русской действительности второй половины XVII в. Уверенность в таком направлении поисков подтверждается следующими наблюдениями.

Предметная насыщенность окружающего мира в сочинениях Аввакума имеет оттенок, важный не только в эстетическом, но и в конкретно-историческом отношении. Предметное окружение героя у Аввакума, как правило, русское. Это неудивительно, когда он пишет о событиях на Руси. Но то же замечаем, когда протопоп пересказывает события библейские. Так, о библейском Мельхиседеке после изложения соответствующей легенды Аввакум пишет: «Сей Мелхиседек... прямой был священник, не искал ренских, и романей, и водок, и вин процеженных, и пива с кордомоном, и медов малиновых, и вишневых, и белых розных крепких» («Книга бесед», 335). Российский колорит насыщенного предметного окружения Мельхиседека несомненен. Аввакум демонстративно переносит Мельхиседека в русский быт, о чем свидетельствует обращение протопопа к читателю: «Друг мой Иларион, архиепископ рязанской! Видишь ли, как Мелхиседек жил? На вороных в каретах не тешился, ездя! Да еще царские был породы. А ты кто? Воспомани-тко, Яковлевич, попенок!» (335). Здесь не столько традиционный призыв брать пример с Мельхиседека, сколько необычно смелое смещение, сдвоение представлений, словно по соседству с «Яковлевичем» живет Мельхиседек и «Яковлевич» может последить за образом жизни того. Мельхиседек оказывается среди русских людей и среди русских вещей.

Кстати, сам Аввакум тоже запросто ходит к перенесенным в его современность библейским персонажам, к отцам церкви и пр.: «Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу... У богатова человека, царя Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у богатова гостя, из полатей его хлеба крому выпрошу; у Златоуста, у торговава человека, кусок словес его получю; у Давида царя и у Исаи пророков, у посадцких людей, по четвертине хлеба выпросил» (548).

У Аввакума не встречается фактов того, чтобы герои, включая библейских, были окружены «густым» явно нерусским предметным миром. И наоборот, там, где мы обнаруживаем «обрусение», допустим, евангельских сцен, то обычно видим и сочную предметность мира. Ср., например, сцену распятия Христа в описании Аввакума: «...на кресте Христа мертва в ребра мужик стрелец рогатиною пырнул. Выслужился блядин сын, пять рублей ему государева жалованя, да сукно, да погреб!» (444). Предметная насыщенность мира у Аввакума сливается с «обрусением» этого мира.

Только ли у Аввакума можно найти подобное слияние представлений? Не только у него, но и у сочинителя, казалось бы, совсем не расположенного к «обрусению» — у Симеона Полоцкого. О предметной насыщенности изображаемого им мира уже упоминалось. Рассмотрим теперь, в чем проявляется у Полоцкого «обрусение» предметов окружения героев. В качестве наиболее яркого примера обратимся к пьесе Полоцкого о блудном сыне.

В основу пьесы Полоцкий положил известную притчу, взятую из Евангелия от Луки об отце и двух его сыновьях (гл. 15, зачало 79). Суть евангельской притчи заключается в том, что отец пожалел непослушного сына больше, чем послушного. Когда блудный сын, промотавший имущество на чужбине, вернулся домой, отец с радостью его обнял, велел снова одеть сына в дорогие одежды и устроил празднество. А другой, послушный сын, живший с отцом, такой чести не удостоивался. «Чадо, ты всегда со мною еси, — объясняет отец послушному сыну, — и вся моя твоя суть. Возвеселити же ся и возрадовати подобаше, яко брат твой сей мертв бе и оживе, и изгибл бе и обретесе» (288 об.)¹³.

В отличие от евангельской притчи основное внимание в пьесе уделено уходу блудного сына из отчего дома и его скитаниям в «чуждой стране». Обратив внимание на эту особенность, В. Н. Всеволодский-Гернгросс вероятной датой написания пьесы считал 1665 г., связывая ее с бегством за границу в феврале 1660 г. сына известного русского дипломата Афанасия Ордына-Нащокина и с последующим его прощением царем в 1665 г.¹⁴.

Эта версия опровергается содержанием «Комидии». Блудный сын не бежит из дома. Он отпрашивается у отца. И заранее обещает быстро вернуться домой:

А егда даст Бог везде посетити,
воскре имам в дом ся возвратити... (142).

Не производит впечатления «заграницы» и та «чуждая страна», куда попадает блудный сын. Он расплачивается только рублями, а не

¹³ Цитируемые произведения: Евангелие от Луки — Библия. М., 1663. Указываются листы и столбцы издания; «Комидия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. А. С. Демин; «Рифмологикон» Симеона Полоцкого — ГИМ, собрание Синодальное, № 287. Указываются листы рукописи; стихи к «Библии» Пискарева — *Успенский А. И.* Царские иконописцы и живописцы XVII века // Записки Московского археологического института. М., 1913, т. 1. Приложение; «Уложение царя Алексея Михайловича — Уложение. М., 1649. Указываются листы издания.

¹⁴ *Всеволодский-Гернгросс В. Н.* Русский театр: От истоков до середины XVIII в. М., 1957, с. 89—90. Мысль о связи пьесы с бегством сына Ордына-Нащокина впервые высказал Н. И. Петров: *Петров Н. И.* Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков: Киевская искусственная литература XVII—XVIII вв., преимущественно драматическая. Киев, 1911, с. 158—159).

иностранными деньгами; играет на рубли и на гривну злата¹⁵. Сидит на типично русской мебели — на столце¹⁶; одет по-русски: «в сапожки» и кафтан. Блудный и его слуги пьют вино не из рюмок, а из чаш и «скляниц» — тоже распространенная в русском быту посуда¹⁷. Наконец, опьяневшего блудного сына кладут не на кровать (кровати на Руси XVII в. не употреблялись), а на мягкую «постель»¹⁸.

Внешняя обстановка вокруг блудного сына тоже вполне русская. Хлеб недорог; так что разорившийся блудный сын может купить достаточно хлеба, продав свою «ризу». Блудный сын говорит купцу:

Бог ты даде ми, человеце благий!
Гладну ми сушу, хлеб зело не драгий.
На моя риза, изволь свою дати,
Нужда ми зелна урок чреву дати (152).

Слова блудного о недорогом хлебе противоречат евангельской притче, где сказано: «Бысть глад крепок на стране той» (286). Но слова блудного отражают реальную дешевизну хлеба в России 1670-х годов. В более поздних списках и изданиях «Комидии» это отражение реальных обстоятельств 1670-х годов уже было не понято и фраза изменена: «хлеб зело есть драгий!»¹⁹.

Блудный сын нанимается на работу к богатому человеку в соответствии с законами «Уложения царя Алексея Михайловича» — без всяких записей, но по поручке купца, который свидетельствует:

¹⁵ О русской денежной единице «гривна злата» см., например: *Кильбургер И. Ф.* Краткое известие о русской торговле, как она производилась в 1674 г. вывозными и привозными товарами по всей России // *Куриц Б. Г.* Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев, 1915, с. 375; *Прозоровский Д. И.* Монета и вес в России до конца XVIII столетия // *Записки Русского Археологического общества*, 1865, т. 12, вып. 2, с. 418.

¹⁶ Столец — четырехугольный табурет. См., например: *Забелин И. Е.* Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. М., 1862, т. 1, ч. 1, с. 157; *Костомаров Н. И.* Собрание сочинений: Исторические монографии и исследования. СПб., 1905, кн. 8, т. 19, с. 44, 54—55.

¹⁷ О чашах и «скляницах» см., например: *Куриц Б. Г.* Указ. соч., с. 313—314; *Костомаров Н. И.* Указ. соч., с. 49, 51; *Тверская Д. И.* Москва второй половины XVII века — центр складывающегося всероссийского рынка // *Труды ГИМ. М.*, 1959, вып. 34, с. 93.

¹⁸ Об отсутствии кровати в России XVII в. свидетельствуют многие иностранные путешественники (см., например: *Адам Олеарий.* Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906, с. 202; *Куриц Б. Г.* Указ. соч., с. 274, 308; *Костомаров Н. И.* Указ. соч., с. 45).

¹⁹ О дешевизне хлеба в 60—70-х годах XVII в. см., например: *Ключевский В.* Русский рубль XVI—XVIII вв. в его отношении к нынешнему. Опыт определения меновой стоимости старинного рубля по хлебным ценам // *ЧОИДР*, 1884, кн. 1, отдел IV, с. 58—59; *Куриц Б. Г.* Указ. соч., с. 219—513.

Аще хочещи верно послужити,
имам тя добрым людем предявити (152)²⁰

И наказывают блудного сына также по русским обычаям: «Поведут... блудного и бьют плетью. Он кричит: „Государь, пощади!“ А приказчик... крикнет: „Полно бити...“» (154). Именно это полагалось кричать тому, кого наказывали, и тому, кто наказывал²¹.

Наконец, люди «чуждой страны», которых встречает блудный сын, говорят совсем по-русски, просторечно. Например, приказчик (типичная фигура русской деревни XVII в.) так обращается к пастуху в «чуждой стране»: «Слыши ты, малче! Се товарищ тебе» (153), или к пастуху и блудному сыну: «Малци! Что у вас добраго ся деет?» (154). Так же говорит «человек богатый», к которому нанимается блудный сын: «Слыш, человек! Хочеш ли служити?..» (148).

Иными словами, Симеон Полоцкий не думал отправлять блудного сына за границу. Пребывание блудного сына в «чуждой далекой стране» — это пребывание в той же России, только далеко от дома. Недаром блудный сын, собираясь вернуться, противопоставляет не «отчую страну» и «чуждую страну», а лишь «отчий дом» «стране чуждой»:

О коль бе благо в дому отчим быти,
нежели в страны чюждыа ходити!

И из «страны чуждой» надеется до дому дойти пешком: «Пойду ко отцу... О даждь ми, Боже, к отцу довлецися!» (155).

В подтверждение того, что под «чуждой далекой страной» Симеон Полоцкий подразумевал отнюдь не за границу, можно привести аналогию из того же «Рифмологиона», где помещена «Комидия притчи о блудном сыне». Там находится стихотворение под названием «Целование господина, из пути пришедше, от его домочадец». Домочадцы сообщают, что их глава был в «далекой стране»:

Яко отходя в далекую страну,
нас вручил еси мужу преизбранну

Но эта «далекая страна» оказывается городом Архангельском:

²⁰ Ср.: «А будет кто у кого найметься стеречь двора, или лавки, или чего-нибудь, и в том по себе даст поруки...» (Уложение царя Алексея Михайловича, 167 об.); ср. далее: «...у всяких чинов людей наймоватися в работе по записям и без записей поволно, а тем людем, у кого они в работу наймутся... ничим их к себе не крепити, и как от них те наймиты отработаются, и им отпущати их от себя безо всякого задержания» (179 — 179 об.).

²¹ См.: *Сергеевский Н. Д.* Наказание в русском праве XVII века. СПб., 1887, с. 165, 169, 171; *Адам Олеарий.* Указ. соч., с. 290.

Мы долго ждали твоего прихода
от Архангельска славного города (318 318 об.)

Так что «чуждая страна» блудного сына тоже могла быть окраинной областью русского государства 1670-х годов.

Итак, предположение Н. И. Петрова и В. Н. Всеволодского-Гернгросса о связи «Комидии притчи о блудном сыне» с фактом бегства за границу сына Ордына-Нащокина не подтверждается.

В первых пьесах русского театра 1670-х годов реалии, взятые из русского быта, встречаются очень редко, лишь случайно «проскальзывая» в пьесы. У Симеона Полоцкого эти реалии тоже специально не подчеркиваются. Но они настолько многочисленны, образуют такой постоянный фон вокруг персонажей пьесы, что можно говорить если и не об осознанном намерении Полоцкого «держать» блудного сына в России, то об устойчивом представлении драматурга, что все изображаемое им происходит в России. Выходец из Белоруссии, Симеон Полоцкий мог описать и нерусский быт и в своих стихотворениях делал это. Но блудного сына вне России он себе не представлял.

Чем же объяснить подобное «обрусение» блудного сына? Тем же, чем объясняется еще ряд отступлений от евангельской притчи в пьесе Полоцкого.

Еще одно важное дополнение к евангельской притче, которое вводит Симеон Полоцкий: блудный сын у него — это человек очень знатного и богатого рода. Упоминания об этом рассыпаны по всей «Комидии». Показательно, что, отправляясь в поездку, сын заботится не только о себе, но и о чести своего рода: «славу рода нашего множити», «от мене дому разширится слава», «до конца мира всяк нас не забудет» (141). Блудный сын обязан иметь много слуг, и отсюда начинаются его несчастья²². Блудный сын понимает:

Пил есмь опасно, а вем, что причина
Прилежный промысл, о чести кручина.

А слуга его обнадеживает:

О чести всуе трудиши ти главу,
Наш лик разширит везде твою славу (148).

Родовитость блудного сына — вот новая черта, сравнительно с Евангелием, которая введена Симеоном Полоцким в «Комидию». В Евангелии отец блудного — лишь «человек некий». Не то в «Комидии притчи

²² О том, что честь и положение зависели от числа дворни, см., например: Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича, 4-е изд. СПб., 1906, с. 157—158; Костомаров Н. И. Указ. соч., с. 92.

о блудном сыне». Он дает сыну в дорогу даже турецких коней — предмет особой роскоши: «Турския кони уборно седлайте!» (143)²³. Особенно выразительны эти признаки богатства и чести отца в конце «Комидии». Отец не сам видит возвращающегося с позором сына (как в Евангелии), о приходе блудного ему сообщают вестники. Отец не сам выходит навстречу блудному (как в Евангелии), а велит слугам его встретить:

Кто его виде, идете, сретайте,
мне о приходе абие вешайте.

И блудный сын идет в ворота, стыдясь худых риз, затем входит в дом, идет к дверям покоев, где находится его отец, и лишь тогда «отец двинется далече и, напад на выю сыновню, целует» (155—156). Все происходит как в очень большом, богатом доме.

Еще один эпизод, отсутствующий в Евангелии. По Евангелию, блудный сын «желаше насытити чрево свое от рожец, яже ядыху свиния» (287). Из Евангелия не следует, что блудный ел стручки (рожцы) вместе со свиньями. По Евангелию, он лишь хотел есть то же, что едят свиньи. У Симеона Полоцкого разворачивается целый эпизод — источник новых несчастий блудного сына. «Рожци ми будут за всякие сласти», — говорит голодный юноша. «Тогда яст, — замечается в ремарке, — а пастух свиния присадит до корита; он же, разгневася, ударит свиния, да разбегутся». Только что блудный сын со слезами на глазах обещал верно служить своему господину и пасти свиней бережно, и вдруг разгневался; не только отогнал свиней от корыта, но так стал бить их, что все стадо разбежалось. Как говорит пастух после этого, «аз не вем, стадо где потекаше» (154).

Чрезмерный гнев блудного сына можно объяснить не только тем, что свиньи помешали ему, голодному, есть, но той «честью» рода, о которой он все-таки не забывает. От голода можно пойти в наемники, от голода можно питаться желудями, но, конечно, не из одного корыта со свиньями. Этого-то и не понял простой пастух, «присадивший» свиней к корыту, откуда вынимал желуды блудный сын, руками, у которых «несть мозолей, зело мягки длани» (153).

Таким образом, пьеса Симеона Полоцкого изображает блудного сына в достаточно реальной социальной обстановке. Блудный сын — не абстрактный персонаж, вне времени и пространства; он имеет свою национальную и социальную принадлежность. Недаром на протяжении всей «Комидии», даже пася свиней, блудный сын носит сапоги — обувь привилегированной части населения, — а приказчик приказывает ему снять их:

²³ О турецких лошадях на Руси см., например: *Куриц Б. Г.* Указ. соч., с. 120, 326—327.

Ходи к свином, паси купно с ними,
Сия сапожки из ног твоих сними.
Премени кафтан, в худший облещися... (153)²⁴

В «Комидии притчи о блудном сыне» есть еще одно крупное добавление к евангельской притче, также имеющее социальный характер.

Почему разорился блудный сын в «чуждой стране»? Евангелие дает такой ответ на этот вопрос: «и ты расточи имение свое, живой блудно» (286 об.). У Симеона Полоцкого же акценты смещены. Его блудный совсем не такой блудник и пьяница. Даже слуги блудного отмечают: «младый нрав, пити не научился» (148). Блудный сын не пропивает все. Он платит одеждой музыкантам за пение, а купцу за хлеб, и после этого остается еще в хорошей одежде, которая, как мы отметили выше, обращает на себя внимание сельского приказчика. Одной из важных причин разорения блудного сына, по Симеону Полоцкому, являются «злые» слуги. Он слишком много им платит — по сто рублей за каждую услугу. Это, конечно, гипербола. Как пишет Котошихин, обычное жалованье слугам «погодное, женатым рубли по 2 и по 3 и по 10, смотря по человеку и по службе их, да им же платье, какое прилучится, хлеб и всякой харч, помесечно»²⁵.

Блудный сын щедр также на вино, очень дорогое на Руси. По сведениям Г. Котошихина, слугам «в праздничные дни всем даетца по 2 чарки вина»²⁶. Блудный же приглашает их пить многими чашами: «Вина чашу дайте, сами по десяти чаш полных испивайте» (145). Разрешает им проигрывать его имущество, а деньги сам проигрывает слугам.

Примечательно, что большую часть своего имущества и денег блудный сын отдает слугам, искренне считая их друзьями. «Друг ми будеши, не раб», — обращается он к одному слуге. «Сяди, брате, со мною; дерзай, як у брата», — говорит он другому слуге. «Сии мои служи... як добрии друзи», — отзывается он о всех своих слугах даже в тот момент, когда он уже разорен этими «добрыми друзьями». И все-таки он надеется на помощь слуг: «Имам аз в друзех известну надежду» (145, 147—149).

Всеми виной наряду с расточительностью оказываются доверчивость и дружелюбие блудного и злонравие и неискренность его слуг. Никто из них не удерживает блудного от ненужных трат. Наоборот, они сами склоняют блудного к еще большим проигрышам и к еще больше-

²⁴ О сапогах как обуви людей с достатком см., например: *Куриц Б. Г.* Указ. соч. с. 315; *Адам Олеарий.* Указ. соч., с. 174—176; *Костомаров Н. И.* Указ. соч., с. 52.

²⁵ *Котошихин Г.* Указ. соч., с. 157—158.

²⁶ Сведения о дороговизне вина на Руси в XVII в. подтверждаются многими иностранными путешественниками. Например, в 1670-х годах пуд говядины стоил 28 копеек, но ведро вина — до 3 рублей (см.: *Куриц Б. Г.* Указ. соч., с. 177, 524, 532, 533; *Котошихин Г.* Указ. соч., с. 158).

му пьянству. Слуга-зерщик, войдя во вкус легких выигрышей, спрашивает блудного: «Еще ли, государь, изволиш играти?» (147). Другой слуга советует блудному еще выпить вина, чтобы не болела голова:

Аз есмь искусен, вем, како лечити;
изволь скляницу днес вина испити.

Третий слуга предлагает ему позвать музыкантов: «Сладкоигрателем вели приходити» (148).

Все они клянутся ему в верной службе, но когда блудный пьет, в общем шуме ему желают жить «не много лета» вместо обычного «на много лета»: «Буди, государь наш, здрав не многа лета!» — восклицают слуги. И Полоцкий в ремарке подчеркивает: «Зде пивше запоют: „Не многа лета!“» «Пий не много лет! Мы ти верни служи», — кричат слуги в другой раз. И Полоцкий снова добавляет: Пети: „Не многа лета!“». Это издевательский ответ слуг на искреннее восклицание блудного: «Будите здрави, любезнии друзи!» (145, 148. Кстати, Н. С. Тихонравов и И. П. Еремин в своих изданиях «Комидии» заменили «не много лета» фразой «на много лета», вероятно, считая эти «не» описками).

Пение «многая лета» при заздравных тостах — характерная черта русского быта XVII в.²⁷. Она отражена и во многих стихотворениях Симеона Полоцкого в том же «Рифмологие», где находится «Комидия». Например, «Стиси, внегда чашу государеву пити» Симеона Полоцкого содержат сходное восклицание: «Даруй здравие на многая лета!» (342 об.) и далее: «...отрок, чашу поднося, глаголет к гостем: „Буди здрав, щастлив на лета многая“» (322).

То, что в «Комидии о блуднем сыне» слуги ни разу не произносят эти слова верно, но издевательски переосмысляют их, показывает, каких слуг ввел в «Комидию» Симеон Полоцкий (в евангельской притче о слугах ничего не говорится).

Более того. Слуги у Полоцкого не только тайком издеваются над блудным, но и открыто угрожают ему, так верившему в их дружбу. Например, один из слуг угрожает блудному побоями:

А что заслужих, изволь ми отдати.
Аще не даси, буду награждати.

Другие слуги грозят его вообще убить:

Еще тебе милость сию сотворяем,
яко ты, безумна, в живых оставляем.
Моли Бога за нас, не являй никому (150).

²⁷ См., например: *Костомаров Н. И.* Указ. соч., с. 108; *Забелин И. Е.* Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 1915, т. 1, с. 375.

В конце концов слуги, как нанятые в «чуждой стране», так и приведенные из «отчего дому», нападают на блудного и грабят его: «Емлим останки, сам да погибает...» — кричат они. И в ремарке поясняется: «Зде вси крикнут: „Емлим, емлим, емлим!“ И расхитят останки». И лишь после этого блудный сын, наконец, прозревает, говоря о слугах: «Людие злыи вси ми расхитиша», «вся взявше, едва мя жива оставиша» (150—151). Интересно, что в стихах к «Библии» Пискатора, написанных Симеоном Полоцким и Мардарием Хониковым в 1679 г., в том месте, где пересказывается притча о блудном сыне, упоминаются именно «клеверты злые», прельстившие блудного сына:

Имение же отче погубляя
С блудницами же и с клеверты злыми,
Посем обнища сей, прельщен быв сими (35).

Все перечисленные эпизоды отсутствуют в Евангелии. «Злых» слуг специально ввел в «Комедию» Симеон Полоцкий. Блудный сын стал у него представителем знатного русского рода с домостроевским укладом. События, рассказанные в евангельской притче, были перенесены в Россию. В результате «Комедия» получила явную социальную окраску.

Изложенные наблюдения свидетельствуют о том, что социальная направленность творчества Симеона Полоцкого была более сильна, чем это предполагалось до сих пор. Отсюда ясно, что объяснение разнообразных новых представлений некоторых авторов второй половины XVII в. (Полоцкого, Аввакума и др.) о предметной и событийной насыщенности мира прежде всего нужно искать в особенностях социального развития России того времени.

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЕРЕМЕНЧИВОСТИ ЖИЗНИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В.

Комплекс художественных представлений о человеке и мире, появившийся во второй половине XVII в. и более или менее сходный у ряда придворных и демократических авторов, напоминает разветвленную цепь, многочисленные звенья которой вырисовываются с разной степенью четкости и имеют разный вес в общей системе. Сейчас мы постараемся охарактеризовать важнейшую составную часть этого комплекса, без которой предлагаемое описание осталось бы неполным.

Опять начнем наблюдения с исходной для нас группы памятников — с первых пьес русского театра 1670-х годов. Мы уже говорили о «живости» их героев и о насыщенности событиями их действия. Изображение сменявшихся движений, поз, деяний героев было частью широкой

картины перемен, рисуемой пьесами. Вместе с позами и жестами непрерывно менялись настроения драматических персонажей. Артаксеркс выходил на сцену радостным — «сы ныне аз бо сам в радостех пребываю» (106)¹, и тут же становился печальным. «Како же в веселии печаль аз обретаю, во многих бо скорбех себе быти признаваю?» — спрашивал себя он (107). Но печальный и тоскующий Артаксеркс при следующем своем появлении на сцене уже находился в негодовании и ярости (действие 1, сень 3). Затем предстал умиротворенным и радостным (действие 2). Потом снова впадал в гнев (действие 3), сменявшийся недолгим успокоением. Затем царь выражал свое «бесконечное печалие» (действие 4). Потом вновь появлялся радостным и милостивым (действие 5), чтобы вскоре предстать крайне разгневанным (действие 6) и вновь обрести равновесие.

Менялось настроение почти у всех героев. Горе и плач сменялись веселием, радость омрачалась досадой, на смену надеждам приходил ужас и т. д. Особенно экспансивно вел себя блудный сын — то смиренный, то хохочущий на сцене, то впадающий в состояние крайнего беспокойства и самоуничтожения, то с облегчением радующийся красоте мира. Колебания испытывали даже относительно второстепенные персонажи, общая настроенность которых, казалось бы, оставалась неизменной. Например, в «комедии» об Иосифе неистовая в своей любви Вильга то пыталась совратить Иосифа, то вдруг отказывалась от своих намерений («аз уже то покину и болши тя к тому привлеци не стану», 111), то вновь искушала его.

Неустойчивы были и внутренние устремления героев. Например, основу действия «Жалобной комедии об Адаме и Еве» составляло изображение колеблющихся желаний главных персонажей (отсутствующее в Библии и в соответствующих апокрифах). Так, в первых сценах Адаму и Еве не хотелось пробовать плод с запретного дерева. «Адаме, знаеши ли древо сие? — спрашивал ангел, — ...да под лишением живота своего от него не яси, ниже ко овощам его да не прикоснешися». — «О, ни, аз в томь не опасаяся», — заверял Адам. «Хотя бы неведомо каков овощ былъ, однакожде не учну для сего и не хощу милость Божию погубити», — подтверждала Ева (117, 122). Но в следующей сцене желания их менялись. «Преизрядной цвет сего овоща! — говорила Ева. — Нужда ми его вкушати». «Дажд семо, возлюбленная Евва моя! — просил Адам плод, — ...тем же и аз увижу, кая в нем добродетел сокровенна» (123, 124). Герои затем отмечали такие перемены в себе: «ныне же весма со мною пременилося», «чувство и естество мое весма превратилос» (124, 126). Меняли свои желания в пьесе и аллегорические персонажи — Правда и Истина. Вначале они требовали беспощадной кары согрешившим людям, чтобы им «муку вечную получитьи», «их до основания погубити»,

¹ Цитируемые произведения: см. выше раздел 1, сноску 1; раздел 4, сноску 3; раздел 2, сноску 1.

«умерети смертию». Но затем просили: «человека бедного освободить» (123, 137). По-видимому, менялось настроение даже Бога-отца и «праведной гнев» у него сменялся милосердием.

Картину изображаемых перемен в пьесах расширяло пестрое чередование эпизодов, нередко противоположных по настроению. Перед глазами зрителей на одной и той же сцене действие постоянно переносилось из страны в страну и из города в город, из царского дворца к городским воротам или в военный лагерь в поле, с поля или из пустыни опять во дворец. Если приходилось долго изображать одно и то же место, как, например, рай в пьесе об Адаме и Еве, то рай менялся прямо на глазах. В начале пьесы зрители видели радостный «вертоград». «Имянно же видите и слышите, — говорилось в пьесе, — лепотных струев шумы, видите и слышите красных птиц пение... возможно вам утешиться в прекрасных злаках и древесях и в различных цветах» (119). Но это было не надолго. И вскоре все менялось. «Никая бо птица болши не поет, — говорилось в пьесе, — никий зверь болши не ищет про себя пици, никий цветок не обретається в прежней бывшей красоте, древесаниз сраняют от печали листы своя и трава увядаєт» (127).

Пьесы 1670-х годов изображали целый мир, в котором перемены мест, движений, настроений, судеб сливались в единую большую тему. Широкие картины переменчивой жизни в пьесах 1670-х годов выражали то, каким драматурги представляли себе эту «вещ живую», то есть жизнь человеческую.

Свои представления о переменчивости человеческой жизни драматурги оговаривали в предисловиях. «Человеческое житие, — начиналось, например, предисловие к «Жалобной комедии об Адаме и Еве», — ...во оном такожде все прохладение и радость взыскуем, но обретаем скорбь и беду. Ей, взыскуем в нем меру, но что же обретаем? — Несмирение и бран. Взыскуем посмешение, но обретаем плач и рыдание. Взыскуем в нем здравие, но обретаем болезни и недуг» (116). О той же пестроты и переменчивости жизни толковало, например, предисловие к «Темир-Аксакову действу»: «А что по всей вселенной творится кроме радости и печали? — спрашивали авторы. — Едина персона радостно играет, а другая печально играет, и скоро благосчастия превратится» (60).

Драматурги часто обращались к вопросу о переменчивости «счастия», подразумевая под «счастьем» широкий круг явлений — от успехов по службе до благополучной жизни вообще. Предисловие к «Артаксерксову действу» поясняло, как «пременяется счастье», как «Бог счастье вспять возвращает», «коль чюдно и пречюдно превращает великий Бог советы человеком» (105). Аман в этой пьесе много рассуждал о «непостоянном счастье»: «Счастье убо токмо есть жития сокращение; его же возвыси, того приведет в бедное низпадение» (240—242). О «счастьи» говорил и Артаксеркс, признававший, что и он может «счастьем кола тако же изриновен быти» (205). «Прелестному колебимому счас-

тию» был посвящен большой монолог одного из героев в «Иудифи». «О проклятое и предателное счастье! — восклицает Ахиор. — Лишати-ся то тебе... нежели в прелестном твоём лоне препочивати... абие со страшным падением прелесть твою уведати...» (329). О «прелестном», то есть обманчивом, «пременном» счастье пели даже в песне (399). «Проклятое счастье» поминал Баязет в «Темир-Аксаковом действе» (87, 90). Жизнь переменчива — вот главное убеждение авторов драм.

В мире, изображенном пьесами, почти все было неустойчиво, зыбко, текуче, могло переходить в свою противоположность. Так, то, что началось хорошо, заканчивалось плохо (и наоборот). «Жду по доброй нощи и доброй день», — говорил, например, Аман в «Артаксерковом действе» (218), а днем его казнили. «Но к благополучной нощи едино еще да напиемся», — предлагал пирующий Олоферн в «Иудифи» (449), и той же «благополучной» ночью он был обезглавлен. Баязет в «Темир-Аксаковом действе» после многих удач мечтал о мировом господстве: «Аз надеюсь, что мы тогда большую часть восточного мира преодолеем»; но тут прибежал гонец с вестью: «Сполох! Сполох! Неприятель уже пред обозом и роты выезжают» (83), и Баязет попадал в плен.

Обещания героев, даже самые твердые, обычно не выполнялись. Так, Артаксеркс, предупрежденный Мардохеем о заговоре, велел записать имя того «в царственные книги, дабы в забвение то не было во веки», но затем забывал наградить своего спасителя (ср. 167 и 222). Заговорщики в том же «Артаксерковом действе» «записью кровью» клялись действовать заодно, а потом один отрещивался от другого (ср. 152 и 164). Адам обещал быть послушным Богу, но не исполнял этого. Блудный сын обещал отцу: «От мене дому разширится слава» (141), но ничего кроме позора не приносил. Он же обещал господину, приютившему его, хорошо работать и быть верным, но не выполнял ни того, ни другого. Верность обещали, в свою очередь, и слуги блудному сыну и тоже не выполняли обещания. В «Темир-Аксаковом действе» солдаты ручались сохранить жизнь задержанному «мужику»: «Не стращися, — говорил „мужику“ один солдат, — я порука, что не убьют». «И я, и я ручаюся», — подтверждал другой солдат. Но, обыскав, тут же убивали «мужика» (69—71).

Почти невозможно найти что-либо утверждаемое в пьесах как постоянное, неподвижное. Даже царские указы, которые нельзя было менять никому, в том числе и царям («...закон есть — никогда разрушати, еже царь едино повеле написати», — напоминали, например, Артаксерксу, 253), даже эти указы в пьесах изменялись и отменялись. Так, Артаксеркс распоряжался, чтобы под страхом смертной казни к нему никто не являлся без приглашения: «...никому мужскому и женскому полу вольно ко мне входить» (177), но затем для Есфири делал исключение: «Аще мой есть и указ, но ты еси свободна» от этого указа (207). Точно также, разослав указ о расправе над евреями, Артаксеркс потом рассы-лал «иные писма, яже прежнему указу не вредныя», но фактически его

отменявшие (253). Навуходносор в пьесе Симеона Полоцкого менял не только свои отдельные распоряжения, но и свою веру.

Нередко довольно было незначительного толчка, чтобы произошло изменение в жизни героя. Так, переход от счастья к несчастью в пьесах получался очень резким. Достаточно случайного нарушения, чтобы гармония сразу превратилась в дисгармонию. Из-за неправильно понятых слов рушились устои благополучия. Например, в «Артаксерксовом действе» царь скучал по царице Астинь, которую не видел семь дней, и посылал за ней: «...зане ми сердце тужит... да идет же ко мне, в венце своем убравшись и в прочих утварех, сама ся украсивши, да вси велможы, лепоту ея взирая, яко краснейшу всех, всех жен избраннейшая» (107). Но Астинь, когда ей передавали слова Артаксеркса, истолковывала их по-иному, как унижительное предложение. В Библии гнев Астинь объяснен; но в пьесе, если исходить из ее текста, ничего унижающего Астинь в речи царя нет: он просто соскучился по царице. «Чего же царь от мя желает сотворити, — спрашивала Астинь, — и хочет мя весмя народом посрамити? Да яз открюся беседам оных пьяных князей толиких стран? О, хотение безумных!» Подданные убеждали Астинь, что: «Желает убо царь, да приидеши прекрасна, да купно весь народ себе вси увещают, подобную тебе нигде же обретают». Но Астинь настаивала на своем понимании слов царя: «Слышу аз, добре слышу, како есть ваше хотение, еже народом всем представить ми в посмеяние». «Какая сия мысль!» — пугались придворные и снова разъясняли царице мысли царя: «Но мысли его советуют, да вси князи, вси купно тя почитают. Того ради глаголю же еще, да приидеши в венце и в лутчших утварех». Однако Астинь оставалась при своем мнении: «Се оттого явленно, како есть превращенно царево сердце есть, пьянством исполнено, и хочет мя и ся видети в поношении» (111—112). Так в пьесе начался конфликт, приведший к низвержению Астинь.

С неверно понятых слов начинался конфликт и в «Комидии притчи о блуднем сыне» Симеона Полоцкого. Это нечто новое сравнительно с евангельской легендой. Отец наставлял обоих своих сыновей, как надо жить: «Мир, смирение, кротость сохраняйте»; «мудрость стяжите»; «с честными людьми дружество держите»; «бежите всех злых» и т. п. (139). Младший сын влед за старшим отвечал отцу: «Мудрость словес ти любезно прияхом, в скрижалех сердец наших написахом». Но в «скрижали сердца» младшего сына отразилось несколько не то, что сказал отец. «Поучаеши нас благо пожити, — передавал смысл речи отца младший сын, — и славу рода нашего множити...» О славе рода отец ничего не говорил. Однако «славу рода», якобы упомянутую отцом, младший сын использовал в качестве предлога, чтобы отправиться в «чуждые страны»: «От мене дому расширится слава, и радость примет отчая ти глава» (141). Результат путешествия блудного сына известен. Неточно понятая речь послужила толчком к несчастью.

Непонимание или намеренно неверное истолкование чужих слов в пьесах было обычно для отрицательных персонажей. На этом построена, например, «Жалобная комедия об Адаме и Еве», где Змий перетолковывал Еве запрет Бога («И то, мню я, яко не истинна вразумела еси», 122) и искушал ее попробовать запретный плод. Минутная непонятливость героя губила все его будущее.

В этой атмосфере неустойчивости для героев были характерны постоянно высказываемые опасения в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем: «Кто же весть, что еще и днесь приидет», «день чюдно начался... Бог весть, что к вечери еще и zde случится» («Артаксерксово действие», 140, 226), «кто весть, кто из нас утре в живых будет?», «кто весть, что в пяти или шти днех вам может добро приключиться?» («Иудифь», 398, 413), «Бог убо весть, сколко нам жити» («Темир-Аксаково действие», 75). Даже самоуверенный Змий в «Жалобной комедии об Адаме и Еве» выражал сомнения: «Чаю, чаю, что в сегодишном числе нечто намь противное учинится» (128).

Герои иногда ожидали любого поворота событий в данный момент, задавали себе вопрос: «Мощно ли сему безопасно и не ложно верити?» («Иудифь», 394) и не верили своим глазам. Когда, например, в «Артаксерксовом действии» Мардохею по царскому указу воздавали почести, он все-таки сомневался: «Ох, что творят! В правду ли или в вящее поругание?» (225). Когда Иудифь показывала осажденным соотечественникам отрубленную голову Олоферна, те, не смея надеяться на лучшее, сомневались: «Но истая ли то и самого ли Олоферна глава?» (453). Когда возвращался домой долгожданный блудный сын, отец не верил этому, так что его спрашивали: «Се идет в двери, что не даш веры?» (156).

Персонажи в пьесах как бы находились в готовности принять противоположное мнение о событиях или людях, вопреки тому, которое они обычно высказывали. Например, Олоферн в «Иудифи», абсолютно уверенный в своей победе, все-таки добавлял: «В три дни граду тому или в руках наших конечно быти или мне, Олоферну, сию главу на плечах не носити». (427). Служанка Иудифи знала, что ее госпожа не пойдет замуж. «Вся вода вверх подимется, вси же горы и холми в глубину морскую вовержуются, и вся вселенная переменится, когда госпожа моя едино замуж хочет итти», — говорила она и все-таки добавляла: «Аще же она за великого Олоферна пойдет, и аз же тогда возмогу... пойти» (446). В «Малой прохладной комедии об Иосифе» сыновья с самого начала подготавливали отца, поверившего в гибель Иосифа, к противоположному предположению: «Кто вест, не ушел ли и еще в живых ест?» (104).

Поэтому герои меняли мнение легко, почти мгновенно; и не составляло большого труда убедить, например, Артаксеркса в том, что «всево царства отец» Аман на самом деле «супостат», «смутитель», «злодей» и «убойца» (235—238); внушить Еве и Адаму, что запретный плод вполне

доступен, «прими токмо да вкушай» (пьеса об Адаме и Еве, 121); доказать Навуходоносу, что одна вера лучше другой. Поэтому Вильга в пьесе об Иосифе с легкостью отказывалась от своей веры и от своего мужа: «Се и аз всех богов наших отвергуся... тогда азъ мужа моего убью...» (110).

Из этих многочисленных картин и эпизодов в пьесах вытекал один и тот же вывод: все быстро меняется, все зыбко. В своих суждениях, обычно сосредоточенных в предисловиях, драматурги подчеркивали стремительность перемен в человеческой жизни. Предисловие к «Иудифи», например, указывало, что в мире столь быстро «пременяет печаль зеленую в часть, что токмо скорбь пребыть во окомгновении» (352). Эту мысль поддерживали и речи героев. Так, один из них убеждал собеседника: «Не веси ли, яко, аще высокие дресеса долго растут, но однакоже внезапно скоро токмо от единаго громового удару или от бури болшие сокрушаютьца?» (380). В предисловии к пьесе об Иосифе внезапность перемен во взаимоотношениях людей сравнивалась со внезапностью укуса скорпиона, который «скоро воздвигнется» и «абие яд свой смертаносной испущает» (93).

Не было в пьесах недостатка в высказываниях о неустойчивости жизненных обстоятельств и поэтому о необходимости быть настороже, не искушать судьбу своей уверенностью. «Кому бо не известно, — говорилось в «Иудифи», — что единая точию муха предражайшее благоуханное миро смердящим сотворити может?» (356). В «Артаксерковом действе» перемены «счастья» и судьбы сравнивались с капризами погоды. «Мню, — констатировал один из персонажей, — яко счастья ветр хошет обратитися» (226). «О царская милость со проклятыми чествами, — каляся другой персонаж, — яже удобнее, нежели ветр ся движет!» (241). Поэтому Иудифь говорила: «Жизнь наша ничем иным есть, токмо опасением» (406). В «Темир-Аксаковом действе» мысль об «опасениях» развивалась подробно. «Ничто человека так устрашит, — сообщалось в начале пьесы, — но как ожидание предбудущие дела, про которые он зело опасен и кручинен. Занеже нам с породы скрытние дела объявить не мочно, и не можем знать, к добру или ко упадку...» (62). «Комидия притчи о блуднем сыне» призывала в послесловии «на младый разум свой не уповати» (160). Драматурги вполне отчетливо излагали и выражали свое жизненное кредо.

По количеству и логической четкости формулировок видно, что пьесы 1670-х годов писались уже с ясно осознанной мыслью о «пременности» мира; эта идея не зарождалась из самого материала пьес, а была ясна драматургам заранее и многое определила в тематике и структуре их произведений. Эта идея была даже шире того, что нашло художественное воплощение в театральных постановках. Например, в предисловии к «Артаксеркову действу» авторы, хоть и в смягченной форме, допускали мысль о «пременности» царской власти вообще («сего же Артаксеркса

власть, аще бысть велика, обаче ныне несть подобна»), о «пременности» власти царя Алексея Михайловича («Натура скифетр оный имать полужити»), о текучести всей вселенной («и вся вселенная преидет», 103). В целом все дошедшие до нас пьесы 1670-х годов были глубоко проникнуты идеей о стремительной и неустойчивой переменчивости окружающего мира и человеческой жизни.

В каком соотношении друг с другом находились эти три художественных представления драматургов, охарактеризованные выше каждое в отдельности, — представление о переменчивости жизни, представление о насыщенности жизни событиями и представление об энергичности человека? Прежде всего они, несомненно, были связаны друг с другом. Их тесную связь наглядно демонстрируют тексты пьес. Нередко в одном и том же отрывке пьесы, в одном и том же монологе героя находят выражение все три представления.

Логически представление об энергичности человека входит как часть в более расплывчатое представление о насыщенности жизни событиями и, в свою очередь, оба эти представления составляют часть широкого и разветвленного представления о переменчивости жизни. И действительно, наиболее подчеркнутым, наиболее выраженным, наиболее сознательно выпяченным в пьесах, включая предисловия, является представление (или идея) драматургов о переменчивости жизни и мира. Все три рассмотренные представления в сущности сливаются в единое представление драматургов о переменчивости жизни.

Выраженное в пьесах художественное представление о разнообразной переменчивой жизни было ли новым для древнерусской литературы? К теме «колеса счастья» древнерусские авторы обращались и до XVII в., притом совсем не редко. «Время бо сие мимо течет, и лета не стоят», — развивалась сходная мысль даже в записи начала XVI в. на книге². Но все дело в том, что в произведениях XV—XVI вв. мысль о непрерывном вращении «счастливого колеса» обычно включалась в традиционную церковную идею о бренности человека и мира, о необходимости подготовки к потустороннему существованию, вечному и неизменному. Именно так трактовалось «коло житейское» в «Русском хронографе»³. Греховность и ско-

² См.: Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960, с. 357. Ср. различные рассуждения «о суете», стихи «о непостоянстве» (Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903, с. 194—195, 297). Ср. также: Ковтун Л. С. Планида — фортуна — šťastное колесо. // ТОДРЛ, т. 24, с. 327—330).

³ Ср. один из выводов исследователя о смысле рассказов «Русского хронографа»: «Обычно это раздумье над превратностью исторической действительности, над бренностью всего земного...: „Таковы ти суть твоя игры, игрече, коло (колесо) житейское!“» (Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, с. 83).

ротечность прелестей жизни подчеркивалась в «Александрии». Александр Македонский совершал «экскурсию» в земную жизнь, постоянно в предчувствии смерти и суетности славы человеческой⁴. Митрополит Даниил в поучениях живописал целующихся и наряжающихся, чтобы сурово вопрошать: «Почто упражняемся в суетных и мимотекущих прелестнаго сего житиа?»; «Что есть течение мира сего или есть сладось его? Что ли есть величество и слава его мимотекущая? Вся басни, вся паутина, вся дым, и трава, и цвет травный, и сень, и сон» (7, 37). Автор «Казанской истории» показывал, например, как красиво скачет его герой на коне, но скачет к смерти: «О прегоркая смерти злая, не милующи красоты человека... И где тогда красота, и храбрость, и величание? Все мимо иде, аки сон!» (133). Драматурги же XVII в. не столько задумывались о скоротечности человеческого существования, сколько призывали погрузиться в «чюдные» и «пречюдные» течение и повороты реальной земной жизни. Характерно, что если Максим Грек в своих «словах» резко возражал против мнения, будто колесом счастья все устроится⁵, то драматурги уже фактически поощрительно утверждали это.

Художественное представление о переменчивости жизни, кроме придворной драматургии, ясно выразилось и в некоторых повестях, переведенных при дворе в 60—70-х годах XVII в.

В переводных повестях 60-х — 70-х годов неоднократно менялась внешность героев, так что герои не узнавали друг друга, менялся интерьер и менялся пейзаж. Так, в «Повести о Петре Златых Ключей» герои то украшали дворцовые палаты, то приказывали «все украшение с стен снять и обить черными утварьми», то вновь указывали «купить драгих ковров», дабы покрыть стены «обитием драгим» (314, 324). Как и в драматургии, взлеты и падения героев следовали непрерывной чередой.

Как и драматурги, авторы повестей (например, «Повести об Оттоне») вместе со своими персонажами рассуждали о переменчивости человеческого бытия, «размышляше в себе, что есть сие и како толикое изменение сотворися» (18). Вывод следовал уже нам знакомый: «А то всегда на сем свете бывает, яко богатому, так и убогому. Не может человек, чтобы без какой печали и болезни век свой прожить», — так объясняла перипетии своих героев «Повесть о Петре Златых Ключей» (321).

Специальные рассуждения о переменчивости жизни можно найти у придворных поэтов и писателей того времени. Симеон Полоцкий посвятил немало стихотворений вращающемуся колесу непостоянного «сча-

⁴ См. об этом: *Лурье Я. С.* Средневековый роман об Александре Македонском в русской литературе XV в. // *Александрия: Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века.* М.; Л., 1965, с. 155 и сл.

⁵ *Максим Грек.* Сочинения. Казань, 1859, ч. 1, с. 377 и сл.; Казань, 1860, ч. 2, с. 59, 75. Ср.: «Послание к некоему иноку, бывшему в игуменех, о немецкой прелести, глаголемой фортуне, и о колесе ея» // *Максим Грек.* Сочинения, ч. 1, с. 357—364.

ствия». К той же теме он регулярно возвращался в своих проповедях: «О воистинну в лепоту и в правду изобразися непостоянство и прелесть мира сего! Кто бо, аще и мало в нем поживый, не искуси его изменения и коварствий?» («Обед душевный», 219 об.) и т. д. и т. п. Правда, у Полоцкого в проповедях сильно примешиваются традиционные церковные мотивы суетности и бренности мира; однако в иных жанрах тема переменчивости жизни развивается самостоятельно, без церковных нравоучений. Например, в «Вертограде многоцветном», в разделе «Цесарие или кесари Рима...», история Рима предстает как бесконечная гряда перемен. Очередной цесарь «из начала велми добр явися, но пред смертию жесток людем сотворися»; или: «Милосердый бяше... — то в начале; в конец же велми развратися»; или: «До старости жил свято. Но в той изменися». Все зыбко, хорошее и плохое, все меняется очень быстро. Такова судьба цесаря Пертинакса: «Вои же Пертинакса в Риме возлюбиха, но осмь десят и два дни пребывша убиша»; или судьба цесаря Алексея: «Сей Алексей юноша преизрядный бяше... Ов убо царство прият, сей бысть удавленны». В зыбком мире цесари у Полоцкого приобретают крайнюю иступленность, только усиливающую мелькание людей: «Нерон мучитель матерь свою погубил есть, // Рим сожже, учителя Сенеку казнил есть, // Христианы гоняше, всем враг сотворися, // Утек, в яме железом сам острым пробися»⁶. В переменчивой жизни распадаются привычные связи и цепи причин.

О переменчивости жизни писал также другой известный придворный сочинитель — Николай Спафарий. В его «Хрисмологионе» также есть стихи о колесе счастья (5), стихи о «пременности» (237) и особенно рассуждения о зыбкости обстановки при дворах: «Два же суть свойственная во дворах царственных — анаволи и метаволи — сиречь замедление и пременение, убо началници дати благодеяния своя многажды суть косныя, черепахи коснейши, и во любви суть октоподия и хамелеонда пременнейшии»; «во двор же никто внидет кроме чрез многия степени чести, егда ж низходит, и наипаче падет, тогда чрез единый многажды с шумом низвергается» (67 об. — 68 об.). Спафарий без всяких оправданий порицал непостоянство: «Непостоянство же есть великое прегрешение, наипаче ж во царех» (95). Ср. более широкий подход у Юрия Крижанича: государство «не может долго оставаться в одном состоянии, а становится либо лучше, либо хуже» (373).

Для анализа взглядов придворных авторов на переменчивость мира полезно привлечь не только официальные их сочинения, но и частные письма. Общее отношение к миру и его явлениям в письмах высказывалось иногда очень выразительно. Например, ученик Полоцкого Сильвестр Медведев в одном из своих ранних писем 1667 г. так объяснял

⁶ См.: *Белецкий А. И.* Стихотворения Симеона Полоцкого на тему из всеобщей истории. Харьков, 1914, с. 51, 55, 66, 81, 52.

непостоянство дружбы: «Того ради непостоянна, неверна и изменна, зане и сей свет непостоянен, невечен и изменен... яко ж и во свете сем овогда бывает ведро, овогда ж тма мрачна, дожди и ветры»⁷.

В письмах самого царя Алексея Михайловича можно найти отзвуки этого взгляда на неустойчивость, текучесть жизненных обстоятельств. Недаром в письме 1660 г. воеводе Ю. Д. Долгорукому царь признавался: «Ведаешь сам, что с иным человеком рать содержится и единым словом бес повороту разстроявается» (III. 761, 762). От одного слова можно ожидать успеха или неуспеха в большом деле. Это высказывание напоминает о ситуации неустойчивости в первых пьесах, о которой говорилось выше. В письме 1660 г. бывшего патриарха Никона упоминалась «колесница, житие возносящая и низносящая»⁸. «Времен непостоянство» часто упоминалось и в церковных грамотах 1660-х годов.

Интересная деталь. При Алексее Михайловиче была заведена особая книга о занятиях царя с обязательными ежедневными записями о переменах погоды: «... а с полудни шол снежок не велик с час, а к вечеру шол дождь не долгое время» и пр.⁹. Ведению подобных записей, в числе других причин, не содействовало ли то представление о непрерывной переменчивости мира, которое разделяли царь, его окружение, его придворные писатели, поэты, драматурги?..

Но, с другой стороны, представление о переменчивости жизни распространилось не только в среде придворной, но и в среде демократической. Вновь обратимся к самому яркому примеру — к сочинениям протопопа Аввакума. Жизнь представлялась Аввакуму кораблем, испещренным «разными пестротами». Он дивился «дивной сей вещи» — неисчерпаемой переменчивости жизни. «Подумаю, да лише руками возмахну!» — говорил Аввакум по этому поводу (926). Действительно, его героев резко бросало из одного состояния в противоположное, на что указывал сам Аввакум в своих многочисленных афоризмах. «Ездила, ездил в коретах, да и в свиарник попала», — писал он о судьбе боярыни Морозовой. И тут же добавлял о себе: «Да кормят, кормят, да в лоб палкою, да и на огонь жарить!» (930). Его сочинения пестрят афоризмами о крайнем неравновесии и изменчивости окружающей жизни, людей, обстоятельств.

Жизнь «правоверного» утомительно беспокойна и напоминает беспоконную жизнь птицы, постоянно ныряющей, мелькающей, скрывающейся от опасностей. «Яко голубица посреде крагуев ныряешь, и так и

⁷ ЧОИДР, 1902, кн. 2, отдел IV, с. 38 (публикация письма Сильвестра Медведа без указания публикатора).

⁸ См.: Гиббенет Н. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1884, ч. 2, с. 494.

⁹ Дневальные записки приказа Тайных дел. 7165—7183. Текст памятника подгот. С. А. Белокуров // ЧОИДР, 1908, кн. 1, отдел I, с. 9.

сяк, — писал Аввакум к Маремьяне. — ...Перебивайся и так и сяк...» (931—932).

В сочинениях Аввакума неустойчиво настроение людей, оно меняется все время. Как и в драматургии, герои то радуются, то «обомирают», то впадают в неистовый гнев, то каются. Вот характернейший факт внимания автора к людскому настроению. В короткой записке о последних увещаниях Аввакума Симеоном Полоцким и Артемоном Матвеевым Аввакум предпочел сообщить не столько о самих переговорах, сколько описать колебания настроений боярина Матвеева. То у них много «крику»; то боярин «говорил мягче», «со слезами», «кланяется низенко и прощается умилно»; то вдруг «ему стыдно стало и против тово в сквозь зубов молвил» (705—706). Переменчивый человек был в центре внимания Аввакума.

Переменчива у Аввакума и природа. Ограничимся лишь одним примером. Особенность его сибирских пейзажей заключается в том, что они не однотонны, природа в них не только «хорошая» или «плохая». Человек может быть обласкан ее обилием и «домашностью» и одновременно утрачен ее суровостью. Иногда одна и та же деталь в «Житии» объединяет оба впечатления. Так, каменные россыпи на байкальских горах Аввакуму кажутся просторным древнерусским жилищем или усадьбой («полатки», «врата», «дворы» и пр.). Упоминания о луке и чесноке, растущем там, как бы напоминают об огороде. Но следующая деталь, казалось бы усиливающая приветливую «домашность» природы, — «травы красныя, и цветныя, и благовонны гораздо», которыми заросли «дворы», — нарушает иллюзию. Дворы, заросшие травой, — символ безлюдья и пустынности — сразу напоминают о том, где Аввакум находится. Сложна по смыслу и следующая деталь — сравнение птиц, плавающих по озеру, со снегом: оно напоминает о белоснежном домашнем выводке на пруду и одновременно о безлюдной заснеженной равнине (42).

Движущийся, изменчивый главный герой уже появился во многих демократических повестях со второй половины XVII в. Правда, меняется лишь он один среди неподвижных «добрых людей». Таков молодец в «Повести о Горе-Злочастии», днем одетый в «драгие порты, чирь и чулочки», а вечером — уже в «гунку кабацкую». «Все имение и взоры у мене изменилися», — сокрушается молодец. «Научите, как мне жить», — просит он «добрых людей». Те не могут его научить, а жизнь несет его к новым подъемам и падениям; каждый раз он появляется в новом месте и в новом обличье. В конце его частые перемены напоминают о волшебных превращениях: «Полетел молодец ясным соколом... пошел в поле серым волком... стал в поле ковыль-травя... пошел молодец в море рыбою...» (4, 8).

В непрерывном движении пребывает и Савва Грудцын, сегодня купец, завтра солдат, а послезавтра инок, — странный, беспокойный герой в окружающем его инертном мире. Его активность также волшеб-

на. Он может преодолеть «об едину ночь... разстояние имеюще... более двутысящ поприщ». Подвижен и изменчив королевич Василий Златовласый, переодевшийся в «матрозское платье» и путешествующий за тридевять земель. Таковы, наконец, герои демократической сатиры XVII в., — какие-нибудь Фома и Ерема, муж ревнивый, «голый и небогатый человек», — неустойчивость судьбы и суетливость движений которых вызывает осуждение и раздражение у тех же неподвижных «добрых людей». Во всех этих произведениях подвижен лишь главный герой и нет авторских обобщений о переменчивости жизни и мира. Динамичность героев нередко вызвана колдовством, дьяволом. Избавиться от нее можно только казнью: «чтобы молодца за это повесили или с камнем в воду посадили» («Повесть о Горе-Злочастии», 8); «не лучше ли итти воровать, так скорей меня повесят»; а в общем — «неведомо, что конец житию моему будет» («Азбука о голом и небогатом человеке», 27; «Служба кабаку», 39).

К группе повестей с единственным меняющимся героем примыкает множество произведений второй половины XVII в., находящихся на еще более низкой, более частичной стадии перехода к мироощущению всеобщей переменчивости. Их занимает человек лишь в его зримой, живой подвижности, о чем уже говорилось ранее. И все-таки, несмотря на то что представление о переменчивости жизни менее четко выражено и оговорено в демократической литературе, нельзя не признать его распространенности и там. Комплекс новых представлений о переменчивости жизни, о событийной насыщенности жизни, об энергичности человека в мире возник в сознании многих авторов второй половины XVII в., придворных и демократических, писавших прозой и стихами¹⁰.

Чем объяснить возникновение указанного комплекса представлений у многих авторов второй половины XVII в., в особенности возникновение представлений о переменчивости жизни? Попытаемся дать лишь общее предварительное и неполное объяснение, ибо для подробно аргументированного изложения данного вопроса нужна особая работа.

Первая связь, которая бросается в глаза, это определенное соответствие между представлениями драматургов первого русского театра и мыслями деятелей западноевропейского барокко. Ведь мысль о «пременности» жизни в русских пьесах XVII в. не была оригинальной. Эту идею уже в последней четверти XVI в. проповедовал ряд европейских теоретиков драматургии. Например, А. Пикколомини писал о том, «что мы обычно не думаем о непостоянстве судьбы и непрочности всего существующего в мире»; А. Риккони считал задачей трагедии внушае-

¹⁰ В лучшем случае явление может быть «долголетно», но не вечно. Ср., например: «...яко ничто же подобно долголетно есть, яко книг издание» («Хрисмологион» Николая Спафария, л. 12 об.).

мое зрителям «знание того, что нельзя возлагать надежды на ход человеческих дел»¹¹.

Изображение переменчивости мира стало чрезвычайно популярным в немецкой поэзии и драматургии XVII в.¹², особенно в творчестве известного барочного поэта и драматурга А. Грифиуса (1616—1664), старшего современника выходцев из Германии, сочинявших пьесы для русского театра.

Обращает внимание степень общего сходства русских пьес 70-х годов XVII в. и непосредственно предшествовавших им драм А. Грифиуса¹³. Драматург немецкого барокко писал, что его цель показать «преходящий характер человеческих дел». В пьесах и стихотворениях он повторял, что в мире ничто не постоянно, что в вечной смене всех вещей, в круговороте времен нет ничего прочного и надежного¹⁴. Поэт многократно указывал на «ременность счастья»¹⁵.

¹¹ См.: *Аникст А.* Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967, с. 157, 159. Ср. также выводы исследователей о важной черте европейского барокко в кн.: XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969. В статье Ю. Б. Виппера «О семнадцатом веке как особой эпохе в истории западноевропейских литератур»: «Обостренный интерес к динамическим аспектам действительности, к преисполненному драматизма движению характеров, событий и обстоятельств, к осмыслению и воспроизведению противоречий, служащих источником этого неумолимо устремляющегося вперед жизненного потока, присущ и эстетическому мировосприятию эпохи, особенно его барочным формам. Движение и изменение становится признаком совершенства не только для передовых мыслителей и ученых XVII столетия (пришедших к убеждению, что „неподвижный мир представлял бы собой мертвый мир“), но и для художников и писателей этого времени» (24). В статье И. Н. Голенищева-Кутузова «Барокко и его теоретики»: «Движение в природе, открытое наукой, воцаряется и в архитектуре, скульптуре, в поэзии и музыке... Двигается все: земля, небесные светила, вода, облака, человек. Покоя нет нигде... Барочные герои изменчивы и непостоянны, как Дон Жуан — в любви, привязанностях, идеях, принципах» (107). В статье Н. А. Сигала «Тенденции барокко во французской драматургии 30—40-х годов XVII века»: «Одним из общих мест в теории барокко стало утверждение о динамизме, изменчивости, метаморфозе как характерных моментах литературы барокко» (242). См. еще о той же теме всеобщей переменчивости: *Софронова Л. А.* Некоторые проблемы польского барокко // Советское славяноведение, 1974, № 1, с. 72—74.

¹² Выразительная характеристика немецкой барочной драматургии принадлежит В. Флеммингу в кн.: *Das slesische Kunstdrama*. Leipzig, 1930, S. 11—15.

¹³ Насколько нам известно, до сих пор не проведено сопоставления первых русских пьес с почти современными им драмами Грифиуса и с барочной драматургией вообще. Пожалуй, единственное беглое упоминание о Грифиусе в работе по русскому театру см.: *Мазон А. А.* «Артакерсово действо» и репертуар пастора Грегори // ТОДРЛ, т. 14, с. 359.

¹⁴ «O du Wechsel aller Dinge!» — эта черта показана и проиллюстрирована в многочисленных работах о Грифиусе. См., например: *Пуришев В.* Очерки немецкой литературы XV—XVII вв. М., 1955, с. 314—324; *Пумпянский Л. В. А.* Грифиус // История немецкой литературы. М., 1962, т. 1, с. 382—386; *Pfeifer J.* Über das Dichterische und den Dichter: Beiträge zum Verständnis deutscher Dichtung. Berlin, 1967, S. 32—39; *Schings H.-J.* Die patristische und stoische Tradition bei Andreas Gryphius:

Драматические произведения Грифиуса, особенно комедии, также были насыщены передвижениями персонажей на сцене, как затем «Артаксерово действо» и последующие пьесы русского театра XVII в.¹⁶. Действие в драмах Грифиуса нередко развивалось стремительно и примерно в тех же формах, что и в русских пьесах. Ситуации изменялись неожиданно и резко¹⁷. Действие перескакивало через промежуточные ступени; герои выходили на сцену, как бы продолжая уже начатый разговор¹⁸. Герои спешили и торопили друг друга¹⁹.

Пьесы Грифиуса не были источником первых драматических произведений русского театра. Приведенные примеры, которые можно умножить, в определенной мере свидетельствуют об ориентации русских пьес 70-х годов XVII в. на западноевропейскую, в частности на немецкую, барочную драматургию²⁰.

Untersuchungen zu den Dissertationes funebres und Trauerspielen. Köln—Graz, 1966, S. 186—192.

¹⁶ «Unbestand des Glückes». — См.: *Пуришев Б.* Указ. соч., с. 319; *Eggers W* Wirklichkeit und Wahrheit im Trauerspiel von Andreas Gryphius. Hamburg, 1967, S. 144—145; *Popp G.* Ueber den Begriff des Dramas in der Deutschen Poetiken des 17. Jahrhunderts. Leipzig, 1895, S. 54; *Nuglisch O.* Barocke Stilelemente in der dramatischen Kunst von A. Gryphius und D. C. von Lohenstein. Breslau, 1938, S. 19—25. Ср. также о Гофмане фон Гофмансвальдау и его «Песне о непостоянстве счастья» (*Пуришев Б.* Указ. соч., с. 340—341).

¹⁷ В комедии о Петре Сквенце на сцене даже прыгал лев (Gryphius Werke in einem Band / Ausgew. und eingeleit. von M. Szyrocki. Weimar, 1963, S. 199). В русских пьесах на сцену, бывало, выезжали на конях («Артаксерово действо», 225; «Темир-Аксаково действо», 88). Характерно в этой связи, что современники считали «Артаксерово действо» трагедокомедией (см.: *Relation du voyage en Russie fait en 1684 par Laurent Rinhuber.* Berlin, 1883, P. 29).

¹⁸ Отсюда, по мнению исследователей, особое пристрастие Грифиуса к антитезам и оксюморонам: «От трона до темницы — один только шаг, а высота и бездна неразлучны»; «между глубинами и высотами — всего только один солнечный закат» и т. д. (см.: *Пумпянский Л. В.* // Указ. соч., с. 386; *Пуришев Б.* Указ. соч., с. 316, 319, 324). Обилие подобного рода афористических выражений характерно, например, и для «Артаксерово действа»: «Принужден почитать, его же хотех обвешати» (225); «его же хотел еси казнити, того тебе днесь велено чтити» (231); «яз того ради высоко возшел, дабы паче паки низвержен был» (241). Встречаются каламбуры: «Гордостный Аман на древе есть возвышен, лутче же возвышен смиренный Мардохей» (246).

¹⁹ Этот прием использовался во многих немецких барочных пьесах. Так, в анонимной трагедии о Папиниане 1660-х годов сцены начинались сходно, как в «Артаксеровом действе»: «C l e a n d e r. So habt ihr es selbst gesehen? — F l a v i u s. Was ich euch erzehle ist wahrhaftig» (Das Schauspiel der Wanderbühne / Herausg. W. Flemming. Leipzig, 1931, S. 178). Ср.: «М а р д о х е й. И наша царица к царю ся подвигла? — Г а т а х. Есть так аз видех» (203). Или: «М а р д о х е й. Повешен ли Аман ныне? Сам ли то ты видел? — А з а р и а. Сам яз его изымал и видел...» (242).

²⁰ Например, шах Аббас в одной из драм Грифиуса кричал: «Laufft! Rettet! Steht ihr? Eilt, eilt, wo noch Zeit zu eilen!» (Andreas Gryphii Trauer-Spiele auch Oden und Sönette... Leipzig, 1663, S. 170).

²⁰ См. высказывание одного из последних исследователей об «Иудифи»: «...variiert mit dem typisch barocken Thema von der Nichtigkeit und Hinfälligkeit irdischer

И все-таки первые русские драмы нельзя безоговорочно отнести к европейскому барокко. От барочных произведений пьесы московского театра 1670-х годов отличаются оптимизмом и мягкостью взгляда на мир. Как известно, в литературе барокко и, в частности, в немецкой драматургии и поэзии XVII в. представление о переменчивости жизни было пессимистичным. Все меняется к худшему, все бrenно, все идет к гибели, смерти, исчезновению, — таков лейтмотив большинства произведений Грифиуса, и не только его: «Где наслаждение — там и ужас; где радость — там и стенание; красота, богатство, честь и слава исчезнут, как быстро преходящий сон»²¹.

В русских пьесах же наоборот: жизнь переменчива, стремительна, но приносит счастье и благополучие. Все первые пьесы имели счастливый конец. «Иже сего дни еще в печали и в смертном страхе, ныне возможет руку простерти к своей радости», — писал автор в песне, заключающей «Артаксерксово действо» (257). «Бог нашу печаль в радость пременял», — неоднократно повторяли действующие лица (разумеется, положительные, 243). О той же радостной развязке в судьбе героев драматургии предупреждали в предисловиях к пьесам: «От которые беды избавив, их Бог в радость облакает» (105).

Авторы первых русских пьес отличались склонностью смягчать напряжение сюжета. Они старались ни на минуту не допускать у зрителей сомнения в благополучном исходе событий. В самые острые моменты герои пьес регулярно успокаивали зрителей. «По скорби сей паки возрадуемся», — уверяла со сцены Иудифь (417). «После злопогодия солнце возсияет», — обнадеживали в «Темир-Аксаковом действе» (73). «Успокойтесь и не отчеивайте», — обращались к людям архангелы в «Жалобной комедии об Адаме и Еве» (129).

Персонажи обычно не доходили до крайнего отчаяния. Их сразу же принимались утешать. Особенно часто «утешители» выступали в пьесах Симеона Полоцкого. Например, в «Комидии притчи о блудном сыне» блудного сына хотел утешить почти каждый. У блудного с похмелья разболелась голова, и его утешал слуга: «Государю наш, тому не

Größe...» (*Günther K. Moskauer Jidithdrama von Johann Cottfried Gregorii // Studien zur Geschichte der russischen Literatur der 18. Jahrhunderts. Berlin, 1970, Bd. 4, S. 145*).

²¹ См. например: *Путянский Л. В.* // Указ. соч., с. 382; *Пуришев Б.* Указ. соч., с. 314. Пессимистическое, по словам В. Флемминга, было и остается главным оттенком мироощущения не только в барочной драме, но и в поэзии (*Das slesische Kunst drama, S. 13*). Вот характерный пример из сонета Грифиуса «*Es ist alles eitel*»:

Was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden.
Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein;
Nichts ist das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.
Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.

(*Pfeifer J. Op. cit., S. 35*).

чюдися... Аз есмь искусен, вем, како лечити» (148). Блудный разорился, и его утешал встреченный купец: «Что ти юноше? Кая печаль тебе? Не сумнив буди, а мужайся себе» (151). Блудный был голоден, раздет, избит, но его уже ждал главный «утешитель», отец, беспокоившийся о сыне: «Кто тя утешит, во печали суща?» (155).

Даже отрицательные герои, за исключением самых закоренелых злодеев, могли рассчитывать на утешение. Когда низложили упрямую и гордую царицу Астинь в «Артаксерксовом действе», то она вопрошала: «Кто ж мя да утешит?» (119). И ее жалели.

Авторы пьес «щадили» зрителей, смягчая страдания героев. Так, в «Иудифи» смягченным было изображение тягот осажденного врагом города. Хотя горожан мучила жажда и они много говорили об этом, выяснялось между тем, что «не далече от стен многие иные кладези есть, из них же черпают воду отай», «аще не доволно на вседневную потребу, то однакожде вседневнога прохладения ради» (405). Когда эти колодцы также захватили враги, то обнаружилось, что в самом городе «на торжище еще един есть кладезь, водою исполненный», «да хотя мало возмогут прохладатися» (411). В самое трудное время один из горожан тем не менее приглашал другого «облехчитися»: «Имам еще малую крушку вина, кое ни с кем любезнее, яко с твоим благородием, поделитися желаю» (424). О жажде лишь упоминали, но без реального ее изображения.

Смягчение несчастий было достигнуто и в «Малой прохладной комедии об Иосифе». Несмотря на то что Иосифа ненавидели братья и продали его в рабство, несмотря на то что он переходил из одних рук в другие, жизнь его в пьесе проходила в благополучии и довольстве. От богатого отца Иосиф попадал к богатому купцу, товары у которого, как было изображено на сцене, «накладены ко избытку» (104); затем он оказывался у еще более богатого вельможи. «Ни о чемь печален есм, — говорил вельможа, — точию да Богомь моим служю, и ям и пию хлеб и вино мое, а остальное возлагаю на попечение Иосифово» (112). Вельможа настолько заботился об Иосифе, что у него даже вызывал беспокойство, по его мнению, длительный, трехдневный пост Иосифа: «Как то мочно может быти? — пенял он. — Зане пость человека изснедает или поне отчасти мало образ его переменяет... в три дни ничего же вкусити нужда есть в конец пременение естеству сотворити» (108, 109). Сходное пожелание нечрезмерности поста находим, например, в стихотворении Симеона Полоцкого «Воздержание» (78). Комфорт героев постоянно восстанавливался.

Резкость перемен в жизни драматических героев смягчалась также общей атмосферой развлекательности и веселья. Например, в пьесе Симеона Полоцкого «О Навходоносоре царе» страшный библейский царь отличался неожиданной чертой — любил развлекаться. Уже в начале пьесы Навходоносор обращался к придворным: «Вы днесь печалей нам не

поминайте, о мусикии сладцей промышленяйте». «Зде будут ликование», — добавлял Симеон Полоцкий в ремарке (163). О склонности Навуходоносора к «мусикии сладцей» не говорилось в Библии.

Принудительное поклонение народа столпу, «телу злату» превратилось у Полоцкого в пышное царское зрелище. Царя приглашали на него: «И вся готова: изволь соглядати, како вси будут образ почитати». И Навуходоносор смотрел, «и начнут трубити и пискати» в трубы, органы и свирели (164—165). Зрелище продолжалось. Когда трех непокорных отроков, не поклонившихся идолу, ввергали в печь огненную перед царем, то ужасных сцен не следовало. Начинался приятный концерт. Царь наблюдал, как ходят отроки в огне, и с умилением слушал, как они «некия песни сладце воспевают» (168). Зрители смотрели удивительную историю Навуходоносора, а он в свою очередь выступал на сцене в роли зрителя удивительных зрелищ. Такая «двойная» развлекательность не допускала ничего трагического. И заканчивалась пьеса опять-таки веселием в палатах Навуходоносора, приглашавшего отроков: «Но днесь в палату вы с нами грядите, вашим приходом дом возвеселите» (170).

Пьесы не стремились вызвать потрясение, ужас у зрителей, но переводили их внимание на удивительное, приятное, «прохладное». Недаром в «прохладной» комедии об Иосифе даже загадочные или злоеющие явления толковались как средство приятного времяпрепровождения. Так смотрели братья Иосифа на его пророческие сны: «Угоден нам будет для сокращения времени, даб нам сны сказывал» (95). Так же относилась к своим невиданным по откровенности любовным признаниям цепкая Вильга: «Все то токмо кощуйствие речи, — поясняла она Иосифу, — их же юнные люди для сокращения времени некогда аще и потребляют» (108).

Мало того, для большей «приятности» постановщики пьесы об Иосифе намеревались включить выступления фокусника-канатоходца. Об этом сообщал очевидец подготовки спектакля: «Немецкие комедианты имели представлять комедию, которая, как они уверяли, доставит большое удовольствие царю, если только в ней будет участвовать балансер»²².

«Смягчительную» тенденцию русского театра 1670-х годов ясно сформулировал Симеон Полоцкий в «предисловцах» к своим пьесам: «То комидийно мы хощем явити... во утеху сердец. Здравии убо зрите» (162). «...Нечто примесихом утехи ради... Тако бо сладость будет обретенна» (138).

²² Сказание Адольфа Лизека о посольстве от императора римского Леопольда к великому царю московскому Алексею Михайловичу в 1675 году. Перевел И. Тарнава-Боричевский // ЖМНП, 1837, №11, с. 391. Очевидец — сам Лизек, секретарь посольства, — имел в виду, несомненно пьесу о Иосифе, которую представили, как указал он, «чрез несколько дней после нашего отъезда из Москвы», а отъезд состоялся 7 ноября 1675 г.

Мягкость взгляда на мир и на превратности человеческой жизни отделяет начальную русскую драматургию от «ужасов барокко». Такое отличие существенно. О нем, приводя пример «Жития» протопопа Аввакума, уже писал Д. С. Лихачев: «В Аввакуме, действительно, есть барочные черты. Но насколько аввакумовское барокко человечнее барокко западноевропейского!»²³. Аввакум «совсем не стремится ужасать читателя и, напротив, всячески смягчает те реальные ужасы, которые он пережил... он их не смакует, не преувеличивает, не театрализует, как это было в произведениях барокко. Он... призывает не к возмущению, а к умиротворению»²⁴. Сходная черта в стихотворениях Симеона Полоцкого и других русских силлабиков была отмечена А.М. Панченко: «Умеренность — вот качество, в высшей степени присущее зрелым силлабикам. Мязежному и драматически раздвоенному, экзальтированному человеку европейского барокко не было места в их творчестве. Барочные крайности их пугали... силлабики заботились о душевном равновесии... слушателей их проповедей и читателей их стихов». «Из двух излюбленных и взаимосвязанных тем европейского барокко — „Vanitas“ („Суэта“) и „Memento mori“ („Помни о смерти“) силлабики исключили тему „ужасов“ — безобразия смерти и загробных мучений. В стихах о бренности всего земного господствует скорее элегическое, чем трагическое настроение...»²⁵.

Русская драматургия 70-х годов XVII в., таким образом, относится к особому «жизнерадостному, человекоутверждающему» барокко. По определению Д. С. Лихачева, «роль барочных элементов, мотивов и произведений была в России по существу не барочной, и в этом главным образом выразилось своеобразие русского барокко XVII в.»²⁶. Этот вывод вполне подтверждается наблюдениями над начальной драматургией. Представления драматургов первого русского театра о переменчивости жизни не сводимы только к переносу или к заимствованию идей западноевропейских авторов.

Кроме оптимистичности, мягкости, умеренности можно указать на отнюдь не барочные рационалистические оттенки в первых пьесах. У Симеона Полоцкого Навуходоносор не только слушал своего рода концерт, даваемый тремя отроками в печи огненной, но одновременно как бы ставил эксперимент и делал выводы как наблюдатель эксперимента. Происходящее Навуходоносор хотел видеть обязательно своими глазами: «Сам хочу зрети, вы правду явите» (165). Сгорят или не сгорят отроки? —

²³ Лихачев Д. С. XVII век в русской литературе // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969, с. 323.

²⁴ Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 209—210.

²⁵ Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973, с. 199—200, 202.

²⁶ Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков, с. 211.

»Видение паче слуха уверяет; хощу, да око мое соглядает», — говорил Навуходоносор, смотрел в пещь, пересчитывал отроков и констатировал: «Вижду, боляре, кая чюдо сила в очесех наших ныне сотворила» (168, 169).

Элементы рационализма, возможно, проникли и в пьесу об Адаме и Еве. Драматургов в первую очередь интересовала цепь причин, приведших людей к грехопадению. Персонажи размышляли и обсуждали события. Выстраивалась довольно стройная система рассуждений. Поступки человека зависят от его желаний. Чего он не хочет, того он не делает, и наоборот. Желаниями руководит «свободная воля» человека. Ее упоминали неоднократно (ср. 131, 133). «Свободная воля» же, как показано в пьесе, основывается на разуме, на верно или неверно избранной логической предпосылке. Трагедия первых людей началась с ошибки разума, когда Змию удалось убедить Еву в том, будто она неправильно поняла повеление Бога не пробовать запретного «овоща», «яко не истинна вразумела еси» (122). Поиски «истинности разумения» были заметной чертой не только «комедии об Адаме и Еве», но и «Артаксерксова действия», «Темир-Аксакова действия», «Иудифи» с ее многочисленными парадоксальными суждениями.

Тема разума вошла в русскую литературу второй половины XVII в. К этой теме неоднократно обращался Симеон Полоцкий. «Яко же ноздрями распознаваем благовоние от смрада, тако рассуждением познаваем естество вещей, пользу же и вред их», — говорил он в одной из проповедей («Обед душевный», 171). Названия его стихотворений «Разум», «Мысль» говорят сами за себя. В подходе к разуму у Полоцкого обычно не чувствовалось ничего мистического; не было и надломленности, неверия в разум. История Адама и Евы давала ему еще один повод подчеркнуть роль рассудка: «Адам со Евою... помраченна умом быста», «умом ослепишася». Они относятся к тем, «иже не смысленно дела своя деет и не добре рассуждает вещи» («Обед душевный», 432, 433, 494 — 494 об.)²⁷.

Короче говоря, предварительный вывод таков: ни пьесы Симеона Полоцкого, ни прочие пьесы 1670-х годов нельзя признать преимущественно барочными. В них много особенного, отличительного от барокко, требующего объяснения условиями самой русской действительности.

Какие именно реальные исторические обстоятельства внушали авторам и делали актуальной мысль о переменчивости жизни? Для мышления придворных драматургов важную роль здесь играла, разумеет-

²⁷ «Без рассуждения глаголати о вещи безщестно есть», — предписывалось в переведенном в 1670-х годах «Рассуждении об Аргениде» (Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, с. 173). В «Хронографе» 1679 г. князя, прежде чем что-либо сделать, обязательно начинали «размышляти с подданными своими премудре» (Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869, с. 442).

ся, обстановка царского двора, с возвышениями и падениями царских приближенных. Но ведь представление о переменчивости жизни, как мы уже знаем, было усвоено не только придворными сочинителями, но и авторами демократического круга. Здесь приходится предположить непрослеженное воздействие на писателей еще как следует не собранных и не изученных обстоятельств обострения социальной неустойчивости во времена Алексея Михайловича. Соответствующих отдельных фактов можно подобрать немало: в царствование Алексея Михайловича не было социального застоя и по сравнению с прошлым временем происходило особенно много перемен и колебаний²⁸. Эти поневоле общие соображения нуждаются в разработке в первую очередь силами историков.

Коснемся другого вопроса — об оптимистичности представлений драматургов о переменчивом мире. Чем был обусловлен данный оттенок? Прежде всего напомним известное положение Д.С. Лихачева: «Барокко, которое в других странах пришло на смену ренессансу и являлось его антитезисом, оказалось в России по своей историко-литературной роли близким ренессансу»²⁹; «...тем обстоятельством, что барокко в России приняло на себя функции ренессанса, может быть объяснен жизнерадостный, человекоутверждающий и просветительный характер барокко»³⁰. Очевидно, барочная черта в художественном сознании драматургов, заимствованная с Запада или порожденная условиями российской жизни, приобрела ренессансный оттенок. Но в таком случае почему она приобрела такой оттенок? Ответить на этот вопрос невозможно без знания особенностей социально-исторической обстановки в России во второй половине XVII в., — самое уязвимое место в системе

²⁸ «Век царя Алексея Михайловича был веком перемен», — метко определил один старый историк (*Берх В. Н.* Царствование царя Алексея Михайловича... СПб., 1830, ч. 1, с. 221). «Бесконечный ряд опытов, в которых прошло целое царствование», — заметил другой исследователь этого времени (*Гурлянд И. Иван Геддон: Комиссариус и резидент (материалы по истории администрации Московского государства второй половины XVII века)*. Ярославль. 1903, с. 5). Наиболее полный перечень перемен см.: *Медовиков П.* Историческое значение царствования Алексея Михайловича. М., 1854, с. 170—227. Неустойчивость отмечается в жизни различных слоев населения. Ср.: «В общсм все служилое землевладение, от крупнейших вотчин до самых мелких поместий включительно, не отличалось особой устойчивостью» (*Готье Ю.* Замосковский край в XVII веке: Опыт исследования экономического быта Московской Руси. М., 1906, с. 420; см. также с. 416, 419—420).

²⁹ *Лихачев Д. С.* Своеобразие исторического пути русской литературы X—XVII веков // *Русская литература*, 1972, № 2, с. 32; *Он же.* Барокко и его русский вариант XVII века // *Русская литература*, 1969, № 2; *Он же.* Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, с. 152; *Он же.* XVII век в русской литературе, с. 321, 324.

³⁰ *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X—XVII веков, с. 207.

объяснений, потому что искомые социально-исторические особенности остаются не ясными.

Поэтому выскажу опять общее предположение. Оптимизм и смягченность во взгляде драматургов на мир, вероятно, как-то зависели от темпов и характера общественного развития России второй половины XVII в., не знавшей застоя. Тогда как «барокко соответствует временному застою, наблюдавшемуся в Европе с конца XVII в.», «...культура барокко была связана с застоем в экономическом и общественном развитии»³¹. Вот, возможно, показательный пример. Еще до создания «Артаксерксова действия», во время командировки в Германию в 1667 г. И.-Г.Грегори написал стихотворение о России. В назидание своим немецким друзьям он нарисовал идиллическую картину радостной жизни русских, где все меняется к лучшему. В варварской стране не осталось почти ничего варварского: «Der tapfre Reusse wird ein Barbar zwar genennet, // Und ist kein Barbar doch... // und ich bezeug es frey, // Dass in dem Barbarland fast nichts Barbarisch sey... // Doch Kann bey wilden Volk ich noch vergnügter sein»³². Идеологические требования и художественные вкусы двора Алексея Михайловича, по-видимому, отзывались на веления времени, на своеобразии общественного развития России и не являлись целиком искусственными, узкокастовыми³³.

³¹ Кланицаи Т. Что последовало за Возрождением в истории литературы и искусства Европы // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969, с. 97, 101; см. также: Вунпер Ю. Б. Влияние общественного кризиса 1640-х годов на развитие западно-европейских литератур XVII в. // Историко-филологические исследования: Сборник статей памяти академика Н. И. Конрада. М., 1974, с. 55—62.

³² См.: Лихачев Н. П. Иностранец — доброжелатель России в XVII столетии // Исторический вестник, 1898, Июль, с. 142. У Пауля Флеминга, побывавшего в России до Грегори, оптимистические настроения также были связаны с Россией этого времени (см.: История немецкой литературы, т. 1, с. 370 (раздел написан М. П. Алексеевым); Пуришев Б. Указ. соч., с. 282—283).

³³ О дальнейшей истории явления с конца XVII в. до середины XVIII в. см.: Демин А. С. Русская литература второй половины XVII — начала XVIII века: Новые художественные представления о мире, природе, человеке. М., 1977, с. 191—208.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ XVII В. ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПАМЯТНИКАМ

1. НАЧАЛО XVII В. «ВЕЛИКАЯ СЛАБОСТЬ И НЕБРЕЖЕНИЕ» ОБЩЕСТВА В ПРАВОСЛАВИИ

Больше всего косвенных свидетельств о настроениях читательской массы начала XVII в. можно найти в произведениях, предназначенных для такой массы. Памятники массовой предназначенности являются основными для нашей темы. Памятники массовой предназначенности начала XVII в. делятся на две группы — старопечатные издания и рукописные сочинения.

Все печатные книги конца XVI — начала XVII в. предназначались очень широкому читателю: «всем человеком» «в... Москве... и во всей России... паче же в новопросвещенных землях... во граде Казани, и Астрохани, и в Сибири, и во окрестных их градах и местех»; «душам... многочисленнаго словенскаго языка своя великия державы всея великия Росия московскаго царства и прочих государств»; «всякого чина, возраста же и сана читателеви»¹.

В конце XVI — начале XVII в. в России вышло более двадцати печатных книг. Все они церковнослужебные. Лишь предисловия и послесловия в них, иногда довольно пространные, могут дать сведения об общественных, читательских настроениях того времени. Мы выделяем издания за десятилетие 1604—1615 гг., когда в книгах появились предисловия и послесловия нового стиля, выразившие новые представления издателей о читателях. Затем тексты предисловий и послесловий некоторое время перепечатывались без изменений.

Печатных изданий 1604—1615 гг., содержащих предисловия или послесловия, насчитывается одиннадцать². Посмотрим, как обращались

¹ Цветная триодь. М., 1591, л. 246 об. — 247; Октоих. М., 1594, ч. 1., л. 491; Евангелие. М., 1606, л. 258.

² Цитируемые старопечатные издания (по хронологии выхода): 1) Цветная триодь. М., 1604; 2) Апостол. М., 1606; 3) Евангелие. М., 1606; 4) Постная триодь. М., 1607; 5) Служебная минея: сентябрь. М., 1607; 6) Служебная минея: октябрь. М., 1609; 7) Общая минея. М., 1609; 8) Церковный устав. М., 1610; 9) Служебная минея: ноябрь. М., 1610; 10) *Никита Фофанов*. Предисловие или послесловие. Нижний Новгород, 1613; 11) Псалтырь. М., 1615. Указываются листы перечисленных изданий. Штриховое цинкографическое воспроизведение сочинения Никиты Фофанова см.: *Зёрнова А. С.* Памятник нижегородской печати 1613 года // Сборник Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1928, т. 1, с. 87—99; фотовоспроизведение под наблюдением Ю. А. Лабынцева см.: Русская старопечатная литература: (XVI — первая четверть XVIII в.). М., 1981, т. 1: Тематика и стилистика предисловий и послесловий.

к читательской массе и что думали о ней авторы старопечатных предисловий и послесловий начала XVII в.

Выразительнейшим примером книжных предисловий или послесловий нового стиля служит сочинение печатника Никиты Фофанова, изданное в Нижнем Новгороде в декабре 1613 г. Это сочинение дошло вне определенной печатной книги. Думаем, что печатник намеревался присоединить свой текст к какой-то церковной книге, ибо надеялся «божественныя книги церковная — предания святых апостол и святых вселенских соборов печатным тиснением предложити» (5 об.).

Приведем первую фразу из нижегородского сочинения 1613 г., опустив для упрощения некоторые прилагательные: «...содетеля твари... цесаря веком, непостижимаго всяческих Бога-отца, и Сына, и Святаго духа, по дару... его милости во благочестие просвещенная от лет... крестителя и равно апостолом... князя Владимира, иже на восток лежащая часть вселенныя, превеликая и многонародная человеки Росийскаго государства область... великаго... града Москвы того... государства» (1).

Вникнув в структуру цитированной фразы, можно уразуметь, что это номинативное предложение, не имеющее сказуемого. Только название: «область... града Москвы». Все прочее в этой фразе является определением названной «области»: «...просвещенная... на восток лежащая... превеликая... Росийскаго государства область» и т. д. и т. п. Перед нами своего рода словесная заставка, в которой выпячены именно качества упоминаемых объектов. Определения, определения к определениям, несогласованные определения, приложения не только собраны во множестве, но и вынесены на необычное для них место: не после, а перед важнейшим определяемым словом. Не так, как обычно: область Росийского государства, часть вселенной, просвещенная по милости Бога, содетеля твари, цесаря веков и пр.; а наоборот: «...содетеля твари... цесаря веком, непостижимаго всяческих Бога... по дару... его милости во благочестие просвещенная... часть вселенныя Росийскаго государства область...». Пиршество эпитетов.

С таких насыщенных словесных заставок не начинались русские и украинские книжные предисловия конца XVI — первых лет XVII в. Правда, витиеватостью отличались вступительные похвалы Богу в послесловиях к «Постной триоди» (М., 1589) и «Цветной триоди» (М., 1591); но и они четки и относительно невелики по сравнению с фофановским вступлением. Фофановская заставка ближе к так называемому „богословию“ особо торжественных грамот конца XVI — начала XVII в. — «Утвержденной грамоты» 1598 г. об избрании Бориса Годунова на царский престол и «Утвержденной грамоты» 1613 г. об избрании царем Михаила Федоровича Романова. Однако вступительное «богословие» грамот — это развитой рассказ о Боге, создании мира, крещении Руси и т. д. Тема и форма фофановской заставки иные. Литое номинативное

вступление Фофанова сразу и энергично напоминало читателям о том, что такое Россия и что такое Москва.

Дальнейшее изложение у Фофанова, включая большой рассказ о событиях Смутного времени, максимально насыщено эпитетами, однородными членами и пр. Например, не враги напали на российские грады, но «на высокопрестолную и великую церковь рускаго солнцу круга... и на поклонение... образа... Христа... и на окрестныя грады Росийскаго государства, и на... веру волнующесея треволнении противными ветры, еретическим ухищрением, самомнительною прелестию, антихристовым действием... сластолюбивыя и неутверженныя человецы... расхищаху и распужаху... стадо Христово, и крови... много проливаху, и разоряху... в... церквах, и... человеки... избиша... измориша, церкви же... и дома... пожгоша и сокрушиша... церковь оскверниша, и царские дома разориша...» (1—2 об.).

Рассказ Фофанова о Смуте начинен выражениями, взятыми из чужих сочинений, особенно из предисловия к «Библии» Ивана Федорова (Острог, 1581)³. И все-таки в целом нижегородское сочинение Фофанова вполне оригинально. Заполненные эпитетами, запутанные, взвинченные по тону фофановские фразы не были характерны для произведений конца XVI — первых лет XVII в., включая и книжные предисловия и послесловия. Стилистически сочинение Фофанова восходит к новой, взволнованной манере повествования в известных повестях начала XVII в. о Смуте. Как и авторы повестей, Фофанов стремился затронуть чувства читателей: «Кто же бо есть от благоверных и богоразумных человек, еже не помянет... кого не подвиже жалость... или кто не умилил сердца своего?» Или: «Мы же ныне... о сем веселящесея, не престаем глаголюще...» (2 об. — 4).

Но внимание читателей Фофанов направлял не совсем на то же, на что авторы повестей о Смутном времени. Никита Фофанов старался запечатлеть в памяти читателей не новые факты и не новое освещение фактов, а обязательные для всех общие оценки важнейших явлений: какова Россия, каковы враги и какова победа над ними. Цель Фофанова — просветить и утвердить людей в самых основополагающих религиозно-политических понятиях. Недаром в своем сочинении он настаивал: «Просвещайся, просвещайся, Русская земля!..» (4). По произведению Фофанова можно понять и причину его элементарно-просветительных устремлений: во время Смуты, объясняет он, «впадъше в пагубныя... ереси сластолюбивыя и неутверженныя человецы»; «польские и литовские люди... насяевше много душе пагубных ересей, прелукавых своих сосудов в славлюбивых, и сластолюбивых, растленных человек»; однако «душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих»; теперь пред-

³ Об источниках фофановского сочинения см.: Зёрнова А. С. Указ. соч., с. 58—86.

стоит «всякия ереси, от супротивнаго лукаваго духа насеянныя, до конца искоренити» (1 об., 2, 4, 5).

Книжные предисловия и послесловия 1604—1615 гг., печатанные в Москве, стилистически сходны с нижегородским сочинением Фофанова. В послесловии к «Псалтыри» 1615 г., изданной Фофановым уже в Москве, есть и сходная словесная заставка, на этот раз об ипостасях Христа. Однако в целом устремления московских издателей были более практически определены. С необычным нажимом издатели побуждали читательскую массу к чтению правильных, «богодухновенных» книг. Тот же Никита Фофанов в послесловии к «Псалтыри» 1615 г. объявил «всем повсюду»: «Божественное же и богодухновенное писание полезно есть ко учению, и ко исправлению, к наказанию еже в правду...» (3 об.)

Ни в «Псалтырях», ни в других печатных книгах XVI — первых лет XVII в. такие наставления читателям не делались; зато в начале XVII в. они стали обязательными. «Испытайте писания», — обращался ко всякого чина читателям печатник Анисим Радишевский в послесловии к «Евангелию» 1606 г. (258). Выражение это также отсутствовало в более ранних изданиях, появилось лишь в предисловии к «Триоди» 1604 г. и стало регулярно повторяться в последующих книгах. В послесловии к «Псалтыри» 1615 г. этот совет был усилен ссылкой на авторитет: «...повелеша испытovati писания... О сем же и... пророк... глагола: „...испытаю закон твой не просто же, но и сохраню и всем сердцем моим“» (2 об.).

«Испытовать писания» полагалось «всем сердцем», «прочитати должжо есть... на койждо день», «искусно, со тщанием», «учению елико можеша прилежи» и пр. (Евангелие 1606, 4; Устав 1610, 1, 6, 8 об.). Раньше такие призывы в книгах не печатались, как и обещания благ и радостей за чтение «писания»: «...всем же... явися всемирная радость, всесветлых писаний неизглаголанная сладость» (Устав 1610, 9 об.). Судя по внезапному обилию подобных увещаний читателям в начале XVII в., русские издатели не были уверены в прилежании своих современников по отношению к «божественному писанию».

Не уверены были издатели и в практическом исполнении заветов «писания» читателями, отчего с исключительным постоянством повторяли пожелания «добродетельных восхождений» и просьбы зреть в книгу «здравыма очима и умом чистым»; требовали благого поведения на деле: «...писания божественная испытай... творити прилежно не престай... и иным образ благ покажеша», «бывайте творцы закону, а не точию слышатели», «путь прав... изобретайте» и т. п. (Минея 1607, 329 об.; Общая минея 1609, 364; Устав 1610, 6 об., 7, 7 об., 11, 234).

В печатных книгах ранее не было всех этих призывов, включая и обязательную для всех изданий с 1606 г. фразу о том, что книга предназначается читателям именно «во исполнение законнаго утверждения», «всему исполнению». Побуждал читателей к «исполнению» бла-

гих правил и пример самого царя, который, независимо от того, как его звали — Борисом, Василием или Михаилом, — имел, по словам печатников, «ни едино еже о земных строений попечение», «не изволи... разума под спудом житейския толстоты скрыта», но «яко некими степенми день от дени на высоту добродетелей восходя... подвиг немал о благочестии показуя...» (Триодь 1604, 1 об.; Евангелие 1606, 259 об.).

Тот факт, что в старопечатных предисловиях и послесловиях XVI — первых лет XVII в. отсутствовали прямые наставления читателям, а примерно с 1604—1606 гг. они стали печататься постоянно, все увеличиваться, все явственнее побуждать людей к чтению, к просвещению, к добродетелям, свидетельствует о том, что, по мнению издателей начала XVII в., с «многонародными человеки» творилось нечто неладное.

Мы уже приводили на этот счет высказывание Никиты Фофанова. Прочие печатники также не скрывали своей цели — на путь истинный наставить людей, отбившихся от рук. Печатная книга «всех спасти возможет... всем... подается во исполнение» (Триодь 1607, 501). Авторы предисловий и послесловий, констатируя неблагополучие, обычно ссылались на царя, желающего «люди светом богоразумия благочестие просвещати... с высоким проповеданием повсюду слово истины исправляти»; «Российскаго царьствия... многогородная человеки в правду и истину разъсуждати... яко некую духовную кормлю... подати... в русском народе» (Евангелие 1606, 259 об. — 260; памятник 1613, 5 об. — 6). «Многогородные человеки» осторожно назывались больными, погрязшими в лености небрежения. Анисим Радишевский оправдывал небывалую пространность и пышность своего предисловия потребностью лечить «больных» читателей: «Сия вся превосходящая вещь сего предисловия... Яко же бо здравии не требуют врача, тако искуснии сицеваго возвещания...» (Устав 1610, 9). Книжные послесловия побуждали читателей восстать «от лености небрежения к подвигом добродетели» (Триодь 1607, 501).

Авторы предисловий и послесловий упоминали современных «еретиков и поганых», пагубно повлиявших на русских людей, и надеялись, что найдется сила, «сожигающа и развевающа многолетняя еретическая умышления» (Устав 1610, 11; Минейя 1607, 327). Ясно, что издатели имели в виду прежде всего шатание народа в основах православия во время Смуты. Прямо об этих шатаниях издатели упоминали довольно скупо, стараясь обойти столь опасную тему.

Более сложна задача выделить произведения массовой предназначенности из чрезвычайно разнородного комплекса рукописных сочинений периода Смуты. Мы останавливаемся лишь на сочинениях, недвусмысленно называющих множество читателей и слушателей, для которых они предназначались. В число таких произведений не входит, например, «Повесть о преставлении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского» 1610—1612 гг. Она не называет своих адресатов, а единственное

обращение к читателям в конце повести слишком неопределенно: «Но буди вам известно...» (1345)⁴.

В «Повести о некоей брани», написанной не ранее 1613 г., после концовки добавлено отдельное послесловие, в котором упоминается массовый адресат: «...молю вы, господине мои любомудрецы... всякого чина, возраста же и сана православнии народи, святых книг читателие...» (160). И все-таки «Повесть о некоей брани» мы не можем определенно отнести к произведениям массовой предназначенности, потому что в самой повести круг предполагаемых читателей не назван. Послесловие же так шаблонно, что обращение к «православным народам», скорее всего, дань литературной традиции, как и предлагаемая затем тайнопись для особо любопытного читателя: «Аще восхощеши имя уведати писавшаго сия, се ти поведаю...» (161). Столкнулись разные шаблонные обращения.

Из памятников, называющих некие множества адресатов, мы рассматриваем только те произведения, которые были обращены непосредственно к реальной массе читателей и слушателей, без посредников, долженствующих объявить людям сочинения. Сюда не относятся многочисленные грамоты, отписки и послания начала XVII в. к конкретным поименованным лицам. В этих грамотах, правда, мог быть велик вступительный перечень адресатов, вплоть до безымянных «всех лю-

⁴ Цитируемые произведения: воззвание Гермогена против свержения Василия Шуйского с царского престола, первое и второе — ААЭ, т. 2; воззвание москвичей в российские города о борьбе с интервентами — ААЭ, т. 2; грамота Василия Шуйского к солигаличским жителям — СГГД, ч. 2; грамота Дионисия и Авраамия Палицына ко всем ратным людям — ААЭ, т. 2; грамота донских казаков к волжским, терским и яицким казакам — АИ, т. 2; грамота смольнян к москвичам — СГГД, ч. 2; грамота ярославичей к казанцам — СГГД, ч. 2; «Иное сказание» — РИБ, т. 13; «Новая повесть» — *Дробленкова Н. Ф.* «Новая повесть о преславном Росийском царстве» и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 1960; «О бедах, скорбех и напастех» — Псковские летописи / Изд. подгот. А. Насонов. М.; Л., 1941, вып. 1; «О изведении царского семени» — *Кукушкина М. В.* Неизвестное писание о начале «Смуты» // ТОДРЛ, т. 21; «Плач земли Российской» — *Перетц В. Н.* К истории древнерусской лирики: («Стихи умиленные») // *Slavia*, 1932, № 3—4; «Плач о пленении» — РИБ, т. 13; «Повесть, како отомсти» — *Бузанов В. И., Корецкий В. И., Станиславский А. Л.* «Повесть, како отомсти» — памятник ранней публицистики Смутного времени // ТОДРЛ, т. 28; «Повесть о видении» — РИБ, т. 13; «Повесть о некоей брани» — *Белоброва О. А.* К изучению «Повести о некоей брани» и ее автора Евстратия // ТОДРЛ, т. 25; «Повесть о преставлении Скопина-Шуйского» — РИБ, т. 13; послание Гермогена об исправлении церковного пения — Творения святейшего Гермогена, патриарха московского и всея Руси. М., 1912; послание Гермогена против гадательных книг — *Корецкий В. И.* Послание патриарха Гермогена // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1975. М., 1976; «Сказание о крестьянском сыне» — *Демкова Н. С.* Фрагмент «Сказания о крестьянском сыне» в записи 1620 г. // Культурное наследие Древней Руси: Истоки, становление, традиции. М., 1976; царская грамота об исправлении «Потребника» — ААЭ, т. 3.

дей», а в конце могла высказываться просьба грамоту «вычесть всем людем вслух». Однако изложение в подобных грамотах обычно имело в виду лишь одно или несколько главных поименованных лиц, а не всю массу людей. Не привлекаем мы и памятников преимущественно компилятивных вроде «Повести, како восхити царский престол Борис Годунов» или вроде «Иного сказания», куда упоминания о читателях были механически перенесены в составе заимствованных текстов.

Из произведений действительно массовой предназначенности мы отбираем те, которые были рассчитаны на эмоциональное или даже художественное воздействие на читателей и слушателей. Такие сочинения дают наиболее богатый материал для суждений о читательских настроениях и вкусах⁵. Грамоты же, сухо и официально уведомлявшие людей о событиях или требованиях, мало полезны для нашей темы.

Интересующие нас рукописные памятники называют разных массовых адресатов. Некоторые повести и грамоты начала XVII в. имели общенародную предназначенность, как, например, воззвания патриарха Гермогена 1610—1611 гг. или «Повесть о видении некоему мужу духовну» 1606 г. Ее «чли по царскому велению в соборе у пречистые Богородицы вслух во весь народ, а миру собрание велико было». Повесть обращалась в первую очередь к москвичам, а за ними и ко «христоролюбивому воинству и всему православному христианству руского народа. Послушайте... повести сия: дивно и зело полезно к нынешнему роду...» (177).

«Новая повесть о преславном Росийском царстве», написанная в самом начале 1611 г., несколько сужала круг читателей, адресуясь к «Росийскаго царства православным христианом, всяких чинов людем, которые... к соперником своим не прилепились» (189). Повесть надлежало «своей братие, православным христианом, прочитати вкратце, которая за православную веру умрети хотят... а не тем, которая... со враги соединилися... тем бы есте... не давали прочитати» (209).

По-своему сужали круг читателей те произведения, которые были направлены жителям вне Москвы, как, например, воззвания москвичей в российские города 1611 г. К народу вне Москвы, пожалуй, обращался и «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства» 1612 г. Повествуя о падении Москвы, автор повести призывал: «Приступите, правовернии людие, иже не видеша сиецаваго великия Росии разорения, да поведаю вкратце боголюбезному вашему слуху» (231). И далее автор имел в виду «останок... российских царств, и градов, и вейсей» (234). Прав С. Ф. Платонов, писавший: «...можно построить догадку, что автор „Плача“ составил свое произведение в каком-нибудь городе или уезде для поучения местных жителей»⁶.

⁵ См.: Назаревский А. А. О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII века. Киев, 1961.

⁶ Платонов С. Ф. Сочинения. СПб., 1913, т. 2, с. 146.

Сравнительно более узкий круг массовых читателей и слушателей подразумевали грамоты начала XVII в., писанные для всех жителей того или иного российского города.

Наконец, условно можно присоединить к памятникам массовой предназначенности «Повесть, како отомсти» 1606 г. Автор ее обращается к читателям так: «О братия любовнии! Не дивитесь начинанию, но зрите, како будет скончание»; «се днес зрите, любимицы мои» (244, 247). Что это за «братия», можно догадываться по пояснению автора: «А инии братия наша, иноцы, еже в живых осташася, и тии ныне с нами содетельствуют во обители пречистые и живоначальные Троицы...» (252). По-видимому, первоначально повесть предназначалась для чтения троицесергиевским монахам или инокам вообще. Лишь позднее круг читателей повести стал мыслиться более широким. В списке, датированном серединой XVII в., обращение к читателям приобрело такой вид: «Се днес зрите, любимицы мои, и друзи, и братие, и сродницы, да о сем всяк человек внимает» (247).

Любопытно, что к «братии» постоянно обращается и эмоциональное предисловие к летописной повести «О бедах, скорбех и напастех, еже бысть в велицей Росии» (122). Возможно, текст, использованный в качестве предисловия, был сочинен раньше летописной повести, составленной после 1625 г. Предисловие и повесть различаются по тону. Предисловие, подобно грамоте смольнян к москвичам 1611 г., возванию москвичей 1611 г. и «Плачу о пленении и о конечном разорении Московского государства» 1612 г., рассуждает об «останке» российского народа: «...яко не оста от сих злых бед и напастей ни тысячная часть» (122). Да и вряд ли после 1625 г. можно было писать так: «Ныне же что реку... о горе, горе, увы, увы, земля вся Русская пуста от востока до запада, от севера и до юга» (122).

В повести же нет таких сетований, нет подобных рассуждений и нет обращений к «братии». «Братия» в предисловии, вероятно, тоже означала монастырских или местных читателей.

В общем, в нашем распоряжении оказывается следующий небольшой (и, вероятно, не исчерпывающий) ряд рукописных памятников массовой предназначенности начала XVII в., преимущественно 1606—1612 гг. Это эмоциональные грамоты-воззвания и повести, имеющие характер воззваний: 1) «Повесть, како отомсти» 1606 г.; 2) «Повесть о видении некоему мужу духовну», октябрь 1606 г.; 3) послание патриарха Гермогена ко всем людям об исправлении церковного пения, не ранее 1606 г.; 4) грамота царя Василия Шуйского к солигаличским жителям, ноябрь 1608 г.; 5) послание патриарха Гермогена против использования гадательных и волшебных книг, 1610—1611 гг.; 6) «Новая повесть о преславном Российском царстве», самое начало 1611 г.; 7—8) два воззвания патриарха Гермогена против свержения Василия Шуйского с царского престола, январь 1611 г.; 9) грамота смольнян к москвичам,

январь 1611 г.; 10) грамота москвичей в разные города, январь 1611 г.; 11—12) два воззвания москвичей в российские города о борьбе с интервентами, февраль 1611 г.; 13) грамота ярославичей к казанцам, март 1611 г.; 14) грамота троице-сергиевского архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына в Пермь Великую, октябрь 1611 г.; 15) грамота тех же лиц к князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому и ко всем ратным людям, апрель 1612 г.; 16) грамота Д. М. Пожарского в Путивль, июнь 1612 г.; 17) «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства», осень 1612 г.; 18) грамота донских казаков к волжским, терским и яицким казакам, май 1614 г.; 19) предисловие к летописной повести «О бедах, скорбех и напастех, еже бысть в велицей Росии».

Сразу можно увидеть, что все перечисленные в обоих разделах данной главы старопечатные и рукописные произведения начала XVII в. исходили от верхов русского общества или от лиц, приближенных к верхам, и, следовательно, отражали точку зрения верхов на общество, на народ.

В отличие от старопечатных произведений рукописные сочинения содержали немало резких высказываний о слабости душевных устоев «многонародного множества»: «...в мирских людех, паче во священниках и иноческом чине вселися великая слабость и небрежение, о душевном спасении нерадение» (послание патриарха Гермогена ко всем людям об исправлении церковного пения, 56). Ср. фольклор того времени: «Плачется земля благочестивая христианския веры, Росийская страна — Московское царство... И ныне убо найде всемирное согрешение, от князей неуправление, и от властей нестроение церквам, и неисправление слову Божию, от иерей нерадение о стаде Христове, от простых же людей презрение закону Божию, и прочее, вовсе человецы неправду возлюбиха, любовь отбеже, страх Божий далече отинуша...» (покаянный стих «Плач земли Российской» начала XVII в., 476. По списку ГИМ, собрание Синодальное, № 207).

Авторы рукописных сочинений прямее, чем издатели, писали о конкретных пороках общества, особенно доставалось людям за чтение вредных книг: «А инии невегласи... держатся книг, отреченных святыми отцы седми вселенских соборов... Поумилися, о человече... А ты, безстудне, како сия твориши...» («Повесть, како отомсти», 253); «и тако и на ересные, и волшебные, и на гадательные книги кто на них надеетца, их держытца, тот вскоре и погибнет и душою, и телом» (послание патриарха Гермогена против использования гадательных и волшебных книг, 25). Ср. признание в царской грамоте 1616 г.: «...а по руски философских учений много лет не было» (472). Прямо определялись и враги — совратители народа: российские люди «вземше убо от скверных язык мерския их обычая и нравы; брады своя постригают и содомская дела

творят» («Повесть о видении», 182); «и в темноту нужная зимы литовского неправоверия отпадоша» («Иное сказание», 119).

Но при всей своей резкости и прямоте рукописные сочинения оказались менее ригористичными, чем печатные книги. Вот, например, только что цитированное послание Гермогена: «Токмо отрините всяку ересь и всяку нечестие... Кто будет был блудник, возлюби целомудрие... Или кто разбойник, или тать, или клеветник, или судья неправедной, или посульник, или книги гадательные и волшебные на погибель держыт, или ведует, впредь обещаися Богу таковых дел не творить» (25). Такое всепрощение, вплоть до прощения людям разбоя и ереси, совершенно необычно для печатных книг. Оно необычно и для традиционных рукописных посланий и поучений более раннего времени. Очевидно, патриарх Гермоген не клал тяжкого межевого камня между преступниками и праведниками, но ожидал скорого возвращения заблудших.

В памятниках начала XVII в., написанных до февраля 1611 г., сказалось это представление о неокончателности и даже случайности отпадения массы людей от основ православия и царепочитания: «...и ныне убо мнози от них воспоминают грехи своя и хотят приити на покаяние» («Повесть о видении», 182); близка возможность «нашего обращения от пути заблуждения» («О изведении царского семени и о смятении Русского государства», 1606—1608 гг., 198); «чаем, что здрогнетесь и воспрянете» (второе воззвание Гермогена против свержения Василия Шуйского с царского престола, 288).

Авторы произведений массовой предназначенности рассчитывали на повышенную душевную ранимость или совестливость отпадших людей: «И аще воспомянем вам от божественных писаний, и мню, яко тягостно будет слуху вашему; сами бо весте...» (первое воззвание Гермогена, 287). Оставалось сделать как бы немногое — установить взаимопонимание с отпадшими, используя совсем простой язык: «А на волшебные и на гадательные книги и на ведовство что надеющесея, и те что на воду опирающесея; а хто опретца на воду, тот и погрузитца и потонет» (послание Гермогена о книгах, 25); «как естя так учили, и чему поверили, и на что смотря смутились, и для чего душами своими погибаете? ...и тут которому быти добру, толко станет вами Литва владети? ...а впредь от них какого добра ждати за то всем православным христианам? — пригоже помереть» (грамота царя Василия Шуйского к солигаличским жителям, 341). Оставалось еще напомнить отпадшим людям о значении их поступков: «...во тму отойдосте... к сотоне прилепистесея... лжу возлюбисте...» и т. д. и т. п. (первое воззвание Гермогена, 286), напомнить о Боге (в номинативной заставке того же возвания). И пристыженные люди, в представлении авторов, легко перешли бы в состояние прежнего благочестия.

Эти надежды не сбылись. И примерно с января 1611 г. в грамотах и повестях массовой предназначенности зазвучали иные ноты. Авторы

стали задавать читателям вопросы не эмоционально-безответные, как раньше, а побуждающие к размышлениям, наталкивающие на выводы: «Не поругана ли наша крестьянская вера и не разорены ли Божия церкви? Не сокрушены ли и поруганы злым поруганьем и укоризною божественныя иконы и Божие образы? Все то зрят очи наши. Где наши головы, где жены, и дети, и братья, и сродницы, и друзи? Не остались ли есмья от тысячи десятой или от ста един?.. Каким словам клятвенным верите? Что обещавает вам все сладкое и лучшее Михайло Салтыков да Федор Андронов своими советники? И по тому знаете ли, не предатели ли своей вере и земле?» (грамота смольнян к москвичам, 493—495).

В произведениях появились странные высказывания, напоминающие загадки. Например, «Новая повесть» так представляла читателям пособия поляков Федора Андропова, не называя его по имени: «Сами видите, кто той есть. Неси человек, и неведомо кто. Ни от царских родов, ни от боярских чинов, ни от иных избранных, ратных голов. Сказывают, от смердовских рабов... По его злomu делу не достоин его... назвати... во имя преподобнаго, но во имя неподобнаго... или во имя святителя, но во имя мучителя... не достоин его по имени святого назвати, но по нужнаго прохода людцаго, — Афедронов» (206). Подобных прозрачных для читателей загадок в «Новой повести» немало. Они заставляли читателей активнее вчитываться в текст и внимательнее перебирать доводы.

Пословицами авторы также заставляли читателей и слушателей взвешивать обстоятельства: «Будте с нами обще, заодно против врагов наших и ваших общих. Помяните одно: толко коренью основание крепко, то и древо неподвижно. Толко коренья не будет, к чему прилепиться?» (первое воззвание москвичей в российские города о борьбе с интервентами, 298); «может ли и невеликая хижица без настоятеля утвердиться и может ли град без властодержателя стояти, не токмо что такому великому царству с окрестными страны без государя быти? Соберитесь, государи, во едино место...» (грамота троице-сергиевского архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына ко всем ратным людям, 252). Авторы надеялись теперь не на порыв людей, а на их зрелое размышление: «И самим вам чего ждати? Мы вам, меньшие болшим, не указываем. Сами то можете своим премудрым Богом данным разумом разсудити» (грамота ярославичей к казанцам, 519).

Оттого-то с начала 1611 г. сочинения массовой предназначенности обязательно заверяли читателей в искренности авторов и в истинности примеров: «А сему бы есте писму верили без всякого сумнения» («Новая повесть», 208); «все истинная правда написана, можете ото всех людей русских то уведати» (грамота смольнян к москвичам, 495); «объявляем сущую и прямую правду» (грамота ярославичей к казанцам, 519) и т. д.

Судя по обилию способов убеждения, использованных в грамотах и воззваниях, авторы обращались к массе людей, которые еще не сделали решительного шага для восстановления поколебленного благочестия.

Да и сделают ли? Авторы взывали к «людем, которые еще душу своих от Бога не отщетили, и от православные веры не отступили... и к соперником своим не прилепились, и во отпадшую их веру не уклонилися («Новая повесть», 189). Очень показательно это «еще не», как показательны и пожелания в отрицательной форме: «И вам бы не презрети, не восхотети видети поруганну образу пречистыя Богородицы, иконы владимерския, и великих московских чудотворцов, и нас, братий своих, православных крестьян, не видети быти посеченым и в плен розведенным в латынство» (первое воззвание москвичей, 299). Перед авторами сочинений стояла нерешительная людская масса: «Что стали, что оплошали, что ожидаете и врагов своих на себя попускаете?..»; «говорите усты, а в делех ваших Господь весть, что у вас будет» («Новая повесть», 204).

Таким образом, обзор старопечатных и рукописных памятников массовой предназначенности начала XVII в. позволяет заметить то, какой представлялась писателям, по выражению Гермогена, «великая слабость» российских людей во время Смуты. Верхи общества страшила и тяготила долгая нетвердость множества людей в основах православия и царепочитания, их какая-то легкость в отступлении от этих основ и затянувшаяся нерешительность в возвращении на путь истинный. Преувеличенной оказалась вера в исконную приверженность российского народа к православию.

С этим выводом согласуются отдельные, пока еще разрозненные наблюдения историков по идеологии Смутного времени. Хотя общим местом дореволюционных работ (в том числе работ Н. И. Костомарова) являлся тезис о беспредельности уважения российского народа к православию в Смутное время, однако у историков накапливались факты, свидетельствующие о противоположном: те же русские люди бросали иконы в огонь и в навоз, раз Бог не защитил их от поляков, грабили храмы и т. п.⁷ В великолепной работе А. Яковлева, опубликованной много десятков лет тому назад, уже говорилось со всей определенностью: «Русские люди пережили в Смуту сложный психологический перелом, сказавшийся в некотором перерождении основных понятий, определявших их отношение к государственному порядку»; «мы наблюдаем русских людей Смутного времени в момент их работы над своими общественными понятиями, когда понятия эти не успели еще вполне проясниться и окрепнуть»⁸.

Затем историки еще с большей решительностью стали утверждать, что в период Смуты «восстание крестьян против феодально-крепостнического строя приводило к подрыву влияния церковной идеологии на

⁷ См.: Доброклонский А. Руководство по истории русской церкви. М., 1889, вып. 3, с. 225—226, 233.

⁸ Яковлев А. «Безумное молчание». (Причины Смуты по взглядам русских современников ее) // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому... М., 1909, ч. 2, с. 652, 675.

сознание народных масс»⁹ и что «многие повстанцы, борцы первой крестьянской войны, были последователями учения Феодосия Косого. Они не признавали церквей, икон, крестов, не видели в них никакой святости и обращались с ними как с обычными вещами»¹⁰.

Историки общественной мысли теперь вполне могли оценить значение таких высказываний в памятниках, как «несть истины во царе же и патриарсе» (в так называемой народной редакции «Повести о видении некоему мужу духовну»)¹¹ и «узриши церковь Божию сетующу и дряхлющую и яко вдову совлеченну: красота бо ея отъята бысть иноплемениными, паче же нашими восставшими на нас...» (в «Послании дворянина дворянину»)¹². Ср. также сатирическое «Сказание о крестьянском сыне» начала XVII в. с пародийным использованием церковных изречений и «Прописи» 1620 г. с афоризмами: «Христос спит, церквы без пастырь, свечи несть» (172—175).

Правда, «шатость» российского народа в основах православия вряд ли была непосредственным отзвуком западноевропейской Реформации. Сошлемся на вывод одного из исследователей: «...исповедующие православие не могли особенно сочувствовать основным постулатам реформации, которые в их церкви уже давно были реализованы»; «крестьяне, как поляки и литовцы (преимущественно католики), так и русские (в основном православные), остались равнодушными к призывам реформационного движения»¹³. При всем том «шатость» народа вызвала широкую волну следствий в культурной и политической жизни России. Недаром «впервые исторические писатели открыто заговорили о противоречивости человеческого характера только в начале XVII в.»¹⁴. В «Хронографе» 1617 г., как и в других памятниках, проявился даже своего рода этический пессимизм: «Да никто не похвалится чист быти от сети неприятелиственного злокозньствия врага», «во всех земнородных ум человек погрешителен есть и от доброго нрава злыми совратен»¹⁵.

⁹ *Долинин Н. П.* Развитие национально-политической мысли в условиях крестьянской войны и иностранной интервенции в начале XVII века // Научные записки Днепропетровского университета. Киев, 1951, т. 40, с. 116.

¹⁰ *Маковский Д. П.* Первая крестьянская война в России. Смоленск, 1967, с. 480.

¹¹ *Церковь в истории России: (IX в. — 1917 г.). Критические очерки.* М., 1967, с. 139. Раздел написан В. И. Корецким.

¹² *Клибанов А. И.* Народная социальная утопия в России: Период феодализма. М., 1977, с. 105.

¹³ *Тазбир Я.* Общественные и территориальные сферы распространения польской реформации // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения. М., 1976, с. 116; см. также с. 123.

¹⁴ *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси, Л., 1970, с. 14.

¹⁵ *История русской литературы, М.; Л., 1958, т. 1, с. 278.* Раздел написан В. П. Адриановой-Перетц.

Постепенно в сравнительно поздних произведениях Смутного времени начал формироваться желанный успокоительный образ вполне благопристойного «стада Христова». Так, адресаты, к которым обращались трепещущие авторы «Плача о пленении и о конечном разорении Московского государства», это уже «благочестивии, хриstopодражательныя, любве исполнении людие» (233). Адресаты предисловия к повести «О бедах, скорбех и напастех» также мыслились переживающими и ужасающимися одинаково с автором. Если настроение адресатов толком не было известно, то все равно предполагалось их дружелюбие: «Задня забывайте, на предняя возвращайтесь, а ожидайте, государи, будущих благ... А мы, господа, к вам много писывали преж сего о лубви, да от вас к нам ни единой строки нет... А мы вам о любви челом бьем до лица земнаго, до общия нашей матери, аминь» (грамота донских казаков к волжским, терским и яицким казакам, 13).

Но вскоре время умиротворительных пожеланий сменилось временем жестких идеологических мероприятий при отце новоизбранного царя патриархе Филарете: разбором «Потребника» справщиков Дионисия Зобниновского и Арсения Глухого, разбором «Катехизиса» Лаврентия Зизания, разбором сочинений Ивана Хворостинина и т. д. Опять верхи взнуздали народ.

2. КОНЕЦ 1610-х — 1630-е ГОДЫ. УБЛАГОТВОРЕННОСТЬ И УСТУПЧИВОСТЬ ВЕРХОВ ОБЩЕСТВА

Общественные настроения 1620-х — 1630-х годов по сравнению с предыдущим временем отразились в источниках жанрово более разнообразных. Кроме послесловий, почему-то на время вытеснивших предисловия из старопечатных книг, и кроме грамот, общественные настроения нашли отражение в исторических сочинениях, литературных повестях и стихотворных произведениях. Конкретно это следующие памятники:

1. Послесловия к московским печатным изданиям 1618—1636 гг., а также единичные предисловия к изданиям 1618, 1619 и 1637 гг.¹ одинаковые старопечатные послесловия нередко использовались в целой цепи изданий: в частности, предисловие к «Минее» 1619 г. перешло в качество послесловия в «Минею» 1636 г., послесловие к «Апостолу» 1621 г. — в послесловие к «Цветной триоди» 1621 г., послесловие «Шестоднева» 1625 г. — в послесловие к «Псалтыри» 1625 г.

¹ Цитируемые старопечатные издания: Минея 1618 — Общая минея. М. 1618; Минея 1619 — Службная минея: сентябрь. М., 1619; Минея 1620 — Службная минея: декабрь. М., 1620; Псалтырь 1625 — Псалтырь с воследованием. М., 1625; Триодь 1630 — Цветная триодь. М., 1630; Октоих 1631 — Октоих. М., 1631, ч. 1. В остальных случаях краткие обозначения изданий совпадают с их названиями.

2. Грамоты — «От божественных писании и от святых правил собрание... Филарета-патриарха... о крещении латынь и о их ересех», или «Соборное изложение» 1620 г.; грамоты патриархов Филарета и Иоасафа 1622—1636 гг. об исправлении нравов; отрывок из анонимного послания первой трети XVII в. о мздоимстве в приказах, а также переделка 1620-х — 1630-х годов, из «Большой челобитной» Ивана Пересветова со специфическими дополнениями, под названием «Сказание о Петре, воеводе Волосском»².

3. Летописи — «Хронограф» редакции 1617 г., «Строгановская летопись» 1620-х годов, «Новый летописец» 1630 г., «Бельский летописец» начала 1630-х годов, краткий «Московский летописец» 1635—1645 гг., «Есиповская летопись» 1636—1638 гг., «Мазуринский летописец» конца XVII в., но с нужными статьями за интересующий нас период³.

4. Исторические сочинения «Временник» Ивана Тимофеева 1616—1619 гг., «История» Авраамия Палицына 1619—1620 гг., «Сказание известно о воображении книг печатнаго дела» 1619—1633 гг., «Словеса дней и царей и святителей московских» Ивана Хворостинина первой половины 1620-х годов, «Иное сказание» 1620-х годов, «Повесть книги сея от прежних лет» Ивана Катырева-Ростовского или Семена Шаховского 1626 г., «Повесть известно сказуема на память царевича Димитрия» и «Повесть о некоем мнисе, како послася на царя Бориса» — обе Семена Шаховского 1626—1645 гг., «Житие царевича Димитрия» из «Четых миней» Германа Тулупова конца 1620-х — 1630-х годов⁴.

5. Литературные повести 1620-х — 1630-х годов — «Повесть о Еруслане Лазаревиче», «Повесть о разуме человеческом», «Повесть об Улиянии Осорьиной», в том числе и вторая редакция «Повести», возникшая в 1638—1651 гг.⁵.

² Цитируемые грамоты и послания: «Соборное изложение» — Мирской потребник. М., 1639; грамота 1622 — СГГД, ч. 3; грамота 1623, грамота 1632, память 1636 — ААЭ, т. 3; послание о мздоимстве — Демин А. С. Отрывки из неизвестных посланий и писем XVI—XVII вв. // ТОДРЛ, т. 21; «Сказание о Петре Волосском» — Сочинения Ивана Пересветова / Изд. подгот. А. А. Зимин. М.; Л., 1956.

³ Цитируемые летописи: «Хронограф» 1617 — РИБ, т. 13; «Есиповская летопись» — Сибирские летописи / Изд. подгот. Л. Н. Майков. СПб., 1907; «Новый летописец» — ПСРЛ, т. 14; «Бельский летописец» и «Московский летописец» — ПСРЛ, т. 34; «Мазуринский летописец» — ПСРЛ, т. 31.

⁴ Цитируемые исторические сочинения: «Временник» — Временник Ивана Тимофеева / Изд. подгот. О. А. Державина. М.; Л., 1951; «История» — Сказание Авраамия Палицына / Изд. подгот. О. А. Державина и Е. В. Колосова. М.; Л., 1955; «Сказание» о книгопечатании — У истоков русского книгопечатания / Текст памятника подгот. Т. Н. Протасьева. М., 1959; «Словеса», «Иное сказание», «Повесть книги сея», «Повесть о Димитрии», «Повесть о мнисе», «Житие Димитрия» — РИБ. т. 13.

⁵ Цитируемые повести: «Повесть о Еруслане» — Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1859, т. 2; «Повесть о

6. Песнопения — песня о возвращении Филарета из плена в 1619 г., стихиры около 1625 г. на перенесение ризы Христовой в Москву, «покаянен» 1626—1628 гг. по поводу украшения Спасских ворот московского Кремля каменными статуями, «покаянен» второй половины 1630-х годов по поводу казни воеводы Михаила Шеина⁶.

7. Стихотворные сочинения Ивана Хворостинина 1623—1625 гг. — «Слововещания... к родителем о воспитании чад» и против латинских ересей, а также стихотворное послание некоего Стефана к иноку-справщику Арсению Глухому 1636—1637 гг.⁷.

Общественные настроения 1620-х — 1630-х годов сравнительно со временем Смуты отразились в более разнообразном круге памятников, но выразились более расплывчато. Почти нигде нет прямых, четких, обобщающих характеристик современников настроениям общества или читательской массы. Косвенные же свидетельства об общественных настроениях можно извлечь из авторских высказываний на иные темы, прежде всего из воспоминаний о бедах прошедшей Смуты, из упоминаний о современной России и из обращений к читателям.

Обратимся к первой теме — о прошедших бедах. В 1620-е — 1630-е годы, как известно, были созданы все крупнейшие обобщающие произведения о Смуте; лапидарные описания бед Смутного времени помещались и в официальных документах («Соборное изложение», 401; память 1636, 402). Но в рассказы о бедах добавлялся новый оттенок. Все памятники 1620-х — 1630-х годов, обстоятельно повествовавшие о Смуте, — от «Пискаревского летописца» второй половины 1610-х годов до повестей Хворостинина и Шаховского — обязательно завершались благополучной концовкой. Даже составители компилятивных сочинений о Смуте, вроде «Иного сказания», доводили повествование до благополучного

разуме» — *Скрипиль М. О.* Неизвестные и малоизвестные русские повести XVII в. // ТОДРЛ, т. 6; «Повесть об Улиянии» — *Скрипиль М. О.* «Повесть об Улиянии Осорбиной. (Комментарии и тексты) // ТОДРЛ, т. 6; Датировку «Повести о разуме» см.: *Пушкарев Л. Н.* «Повесть о разуме человеческого» // ТОДРЛ, т. 14, с. 325.

⁶ Цитируемые песнопения: песня о Филарете — *Симони П. К.* Великорусские песни, записанные в 1619—1620 гг. для Ричарда Джемса на крайнем севере Московского государства. СПб., 1907; стихиры о ризе — Служба на положение ризы, еже есть хитон великаго Господа Бога и спаса нашего Иуса Христа. М., около 1625; «покаянны» о Кремле и о Шеине — *Малышев В. И.* Стихотворная параллель к «Повести о Горе и Злочастии». (Стихи «покаянны» о пьянстве) // ТОДРЛ, т. 5.

⁷ Цитируемые стихотворные сочинения: «Слововещания» и сочинение против ересей — *Савва В. И., Платонов С. Ф., Дружинин В. Г.* Вновь открытые полемические сочинения XVII века против еретиков // Летопись занятий Археологической комиссии за 1905 год. СПб., 1907, вып. 18; послание Стефана — *Голубев И. Ф.* Два неизвестных послания первой половины XVII в. // ТОДРЛ, т. 17.

исхода. Горестные события прошлого освещались более спокойным, «блуждающим» светом.

Новое отношение к бедствиям Смуты сказалось прежде всего в таком литературном явлении, как рифмовка в отдельных местах произведений. Рифмованное и ритмизированное изложение событий Смуты, пожалуй, чаще стало давать знать о себе именно с конца 1610-х годов (см., например, многочисленные рифмованные отрывки в «Истории» Палицына). Такие отрывки, помимо всего прочего, вносили в изложение новый оттенок бодрости и легкости, в том числе и в старопечатных послесловиях (где в тексте обозначались ударения):

...беседы злы́
растлевают человеком умы́
и лишают истины́,
от них же часто случаются душевные беды́
(Миня 1618, 2 об. Миня 1619, 84 об.
второго счета; Миня 1620, 245 об.;
Апостол 1621, 302 и другие издания).

Стихи подчеркнуто бодрой нотой завершали изложение тягостных событий Смутного времени:

Сия же словеса прекратим,
а на царя Бориса укоры возложим...
Оставим же сия
и возвратимся на первая...
Сему писанию конец предлагаем,
Дела толикие вещи во веки не забываем...
Мы же сему бывшему делу писание предлагаем
И предъидущий род воспоминанием удивляем...
(«Повесть книги сея», 580, 619, 623).

Но новое настроение в подаче событий Смутного времени выражалось не только косвенно. Например, в старопечатных послесловиях все упоминания явлений Смутного времени обязательно сопровождалось ободряющими и успокоительными оговорками и пожеланиями: «...да не будет паки зде соблазн таковыи, ни да останет последи нас чадом нашим распение и соблазн...»; «...и овчата словесная Христова стада да не будут по горам высокия лъсти мира сего разъсеваеми»; «да не будет несогласия ради распря в церковнем телеси»; «мрак же нечестивый злобы тем да обличится и буря противных ветров да отгнана будет» и пр. («Соборное изложение», 403 об.; Служебник 1623, 479; Требник 1623, 648 об.; Учительное евангелие 1629, 593). Упомянув события прошлого, издатели спешили пояснить, что все идет к лучшему: «...ко согласию же и ко единому благовому счинению церковнаго разъстояния» (Служебник 1623, 477 об.; Служебник 1627, 260 об. и др.). Издатели

постоянно заявляли, что последствия Смуты успешно преодолеваются: «...сжигающа и развевающа многолетняя еретическая умышления... каменосердечная душа в землю плодоносную претворяя»; «скверное же тщегласие отменяя...»; «яко ковчегом потопа греховнаго избавляемся» (Миняя 1619, 3, 5 об.; Апостол 1621, 302; Октоих 1631, 475). В сознании издателей неразрывно были связаны бедствия Смуты с их преодолением. Так возникало новое отношение к недавним бедам.

Настоящее время глаголов в заверениях о намечающемся переходе к благополучию постепенно заменилось уверенным прошедшим временем: «И потом како было неким приключьшимся злым временем таковое благое дело раздрушися и изгибло. И... паки составися по прежнему и в первое устроение прииде...» («Сказание» о книгопечатании, 199); «и яко же прежде нечестием всех превзыде Руская земля, тако и ныне благочестием всех преодоле» («Словеса», 530). И еще короче: «...от коликих зол избави нас Господь во обстояние многих вой» («История», 126); «очисти землю сущую в недовольстве разума» («Житие Димитрия», 884). И еще энергичнее: «...в тишину велебурное шатание преложи» («Повесть о мнисе», 872); «...брани разруши, рати утоли, буря утиши, бесы отгна, болезни уврачева, напасти отрази, грады колеблемые устави... и иже от человек наветы вся объят...» (память 1636, 403). Смягченность, заглаженность представлений о Смуте стали еще ощутимее.

Новые оттенки представлений о прошедших несчастьях выразительно проявились в «Повести об Улиянии Осорьной». Изложение событий в «Повести» начиналось примерно с 1560-х годов, подробнее всего рассказывалось о начале XVII в., и рассказ, конечно, доводился до более благополучного времени — до последних дней 1615 г. или даже до 1616 г. и позже. Особенность «Повести»: абсолютно все упоминаемые несчастья сразу же смягчались — и их смягчала главная героиня Улияния Осорьина. Вот разразился голод, и вот что делала Улияния: «По мале же Божию гневу Русскую землю постигшу за грехи наши, гладу велику зело бывшу, и мнози от глада того помираху. Она же многу милостыню отаи творяше... гладным все раздаше. И егда кто умираше, она же... на погребение сребреники даяше» и пр. (278—279). Через некоторое время вторично разразился голод, и снова Улияния смягчала бедствия: «В то же время бысть глад крепок во всей Русстей земли, яко многим от нужды скверных мяс и человеческих плотей вкушати, и множество человек неизчетно голодом изомроша... Она же... елико оставшяся скоты, и ризы, и сосуды вся распрода на жито и от того челядь кормяше, и милостыню доволну даяше... и ни единого от просящих не отпусти тща...» (281); «нищим даяше, и никого нища тща отпусти, — и то время без числа нищих бе» (282).

Другое несчастье, которое поминала «Повесть», — это чумной мор; и опять Улияния своею мягкой рукой старалась сгладить жестокость его последствий: «По мале же мор бысть на люди силен, и мнози умира-

ху пострелом: и оттого мнози в домех запирахуся, и уязвенных пострелом в дом не пуцаху, и ризам не прикасахуся. Она же... язвенных многих своима рукама в бани омывая, целяше...» (279).

Еще одно неустроение в «Повести» — социальные конфликты времени Смуты; но Улияния опять-таки утихомиривала ссоры, брани и даже разбой: «Ненавидяй же добра враг тцашеся спону ей сотворити: часты брани воздвизаше в детех и рабех. Она же вся, смысленно и разумно разсуждая, смиряше» (279); «а неразумныя рабы и рабыни смирением и кротостию наказуя и исправляше» (278); «она же моляше дети и рабы своя, еже отнюдь ничему чужу и татьбе не коснуться» (281); «велице же скудости умножьшися в дому ея. Она же распусти рабы на волю, да не изнурятся гладом» (282). Даже когда несчастье касалось близких Улиянии, то и тут она ничем не обостряла обстановки, а, наоборот, умиротворяла: «Враг же наустит раба их и уби сына их старейшаго. Потом и другаго сына на службе убиша. Она же, вмале аще и оскорбися, но о душах их, а не о смерти, но почти их пением, и молитвою, и милостынею» (279—280). В данном случае важен не облик Улиянии, а облик несчастий: они все смягчены очень последовательно. Представления автора «Повести» о прошедших, уже отдалившихся бедах были устойчиво проникнуты чувством умиротворения, бестревожности.

Знаменательное замечание сделал и Иван Хворостинин в «Слововещаниях», где тоже поминал Смуту: «Не понудив рабы моя мучительством жити и быстрым быти на чюжая имения» (39).

Для кого было характерно это уже не такое острое, несколько туманное, смягченное представление о прошлых бедствиях? В первую очередь для писателей, близких к верхам, для книгоиздателей и для составителей официальных документов, а значит, и вообще для верхов российского общества. Но «Повесть об Улиянии Осорьиной» выпадает из данного ряда: ее составил сын этой муромской дворянки, вовсе не близкий к верхам, а «Повесть» тем не менее особенно размягченно поминала события Смуты. Следовательно, можно предположить, что новое, смягченное отношение к Смутному времени бытовало и в средних слоях русского общества 1620-х — 1630-х годов.

Подтверждение тому можно найти в старопечатных предисловиях и послесловиях. Все старопечатные издания 1620-х — 1630-х годов предназначались для очень широкого круга читателей: в «Рускую землю бесчисленныя народы человек», «христианьскаго народа многочисленнаго словеньскаго языка», «всем святым правоверным христианом», «всем православным христианом», «всем любящим правую веру», «по всей бы своей велицей Руси разсеяти» и т. д. и т. п. (Минея 1618, 4 об.; Минея 1619, 85 второго счета; Апостол 1621, 302; Служебник 1623, 477 об.; Шестоднев 1625, 14 второго счета; Псалтырь 1625, 25 второго счета; Служебник 1627, 260 об.; Учительное евангелие 1629, 593; Триодь 1630, 641; Азбука 1634, 7 послесловия). Но в характеристиках, даваемых

Смутному времени в предисловиях и послесловиях, не ощущается того, чтобы издатели навязывали читателям свои оценки, или как-то полемизировали с читателями, или хотя бы стремились разъяснить читателям новые оттенки во взгляде на Смуту. Сходство мнений издателей и читателей подразумевалось само собой. Смягчающее представление о Смуте, по-видимому, широко распространилось в России 1620-х — 1630-х годов в разных общественных слоях.

Но смягченность представлений о Смуте не означала равнодушия авторов к несчастьям. Наоборот, именно к несчастьям, памятным по Смутному времени, авторы относились с особой нетерпимостью и эмоциональностью. Например, авторы болезненно воспринимали возможность даже незначительных разногласий в обществе: «Иде же бо аще и мало раскольство счинится, и тамо воставае вражда гнева Божия и мечь ярости...» («Соборное изложение» 403). Видимо, таким отвращением к конфликтам были вызваны странные опасения богатыря в «Повести о Еруслане Лазаревиче». Еруслан, представавший русским человеком («человек есми русин», «русской богатырь» — 115, 116, 126), вдруг «учал думати: взяти мне... кон или ратное оружие, и мне розбойником прослыти» (122) и объявлял во всеуслышание: «А яз, брате, не розбивати хожу, ни красть ежду» (121). Еруслан настаивал, чтобы не смешивали богатырей с разбойниками: «Одно взяти: любо корыстоватися, или богатырем слыти» (107). Действуя, Еруслан очень заботился, как бы не уронить царской чести, «царева честь потерять» (118), не сам карал, например, злодейского князя, а вел его на суд и расправу к царю. Еруслан все оправдывался перед царем: «Яз тебе, государю своему, не насмехаюся...» (112); «виноват был я пред тобою... а нынеча яз пред тобою справился» (119). Этот юридически осторожный богатырь выдавал отрицательное отношение автора «Повести» к чересчур размашистым, независимым действиям героев, могущим повести к общественному «раскольству». «Повесть» сообщала, что люди, которые царю «губили», все были казнены (119—120).

Другое явление, к которому после Смуты авторы были очень чувствительны, — это опустошение врагами страны. Недаром Еруслан помогал спасти запустевшее царство, где трехголовая змея «во царстве людей добрых не оставила» (123). В «Повести о разуме человеческом» русский фон отсутствовал, но тема опустошенного царства тоже всплывала⁸. Авторы с жаром заклинали: «Да не насиловани будем от иноплеменных!» («Сказание» о книгопечатании, 201); «искупи нас от работы вражия!» (стихиры о ризе, 7 об.); «не дай-де Бог деяти добро никакову иноземцу и веры няти!» («Повесть о Еруслане», 111). Эмоциональное неприятие несчастий, напоминавших о Смуте, по-видимому, также было распространено в различных слоях российского общества.

⁸ Пушкарев Л. Н. Указ. соч., с. 325.

Перейдем к следующему элементу в общественных настроениях 1620-х — 1630-х годов. Смягченность представлений о несчастьях прошлого породила одна главная причина — убеждение авторов в благополучии настоящего и ближайшего будущего. Отражения всех этих настроений тесно переплетаются в одних и тех же памятниках. Нужно подробнее сказать о главных, определяющих, разветвленных представлениях авторов о российском благополучии.

Никогда еще в произведениях не было такого потока благодарностей Богу за спасение Русской земли. Каждый автор, рассказывал ли он о несчастьях или только упоминал их, обязательно переходил к благодарениям: «Еще же вспомяну его Божие к нам милосердие и щедроты...» («Сказание» о книгопечатании, 201); «Господь за милость же свою много возлюби и помилова... и от бед наших избави нас» («История», 212); «нашь же христианский род помилова Господь своею милостию и почте нас славою и честию паче всех язык» (Азбука 1634, 2 — 2 об. послесловия). Дело не в благочестии авторов. Благодарности намекали на установившееся наконец российское благополучие, и чем пространнее выражались авторы, тем определеннее они утверждали картину благополучия России.

Новые события только сильнее обнадеживали авторов. Шах персидский прислал в Москву ценность — ризу якобы самого Христа. Последовали благодарности Богу, «изъволившему... нам подати стену неоториму и неблазну утверждение»: «Каково Божие дарование Русьстей земли даровася!»; «...тверды покров... нам христианом даровася риза твоя»; «ризу нам яко стену и покров даровал оси» (стихиры о ризе, 1 об., 15, 15 об., 17, 18); «...такую преславную благодать видети во благочестивом царствии...» («Иное сказание», 138). Русская земля представлялась авторам отделенной стеной от несчастий, уже обладающей воплощением благодати и пр. Если даже происходили события неприятнейшие, например грандиозные пожары в Москве, то и в них разыскивалось хорошее начало и благодарности Богу все равно воздавались: «Премилостивый же Бог милостиво наказуя человеки, и отводя от греха, посылая милостивое наказание...» («Новый летописец», 152); «Господь Бог наш, не хотя создания своего до конца погубити... всячески отвращая нас, соотводя от всяких неподобных дел... и воспрещая с милостивым наказанием» («Иное сказание», 141). Россия мыслилась авторами под надежным покровительством Бога: «Русьскую страну нашу назираещи» (стихиры о ризе, 15 об.).

С небывалым энтузиазмом писатели 1620-х — 1630-х годов принялись превозносить «царство Московское, его же именуют от давних век великая Росия» («Повесть книги сея», 559); авторы подчеркивали величие «великия державы всея великия Русия Московскаго царства», «великия державы всея славно именитыя Русии Московскаго государь-

ства» (Шестоднев 1625, 14 второго счета; Учительное евангелие 1629, 593 и многие другие издания); авторы говорили о «славнем и преименитом царствующем граде Москве», о значительности «славнаго града каменной Москвы» и пр. (стихиры о ризе, 23; песня о Филарете, 9). В общем, авторы были теперь самого высокого мнения о России.

Авторы не ограничивались только общими словами, а конкретизировали картину благополучия России. Внешний, психологический признак благополучия — это всеобщая радость после преодоления бед: «Зрадовалоя царство Московское и вся земля святоруская» (песня о Филарете, 7); «многия убо слезы тогда от радости быша» («Мазуринский летописец» под 1619 г. 158); «уставиша праздник торжественный празновати о таковой дивной победе; даже и донине празнуют людие» («Повесть книги сея», 618); «всяк град радуется, празднуя верно» (стихиры о ризе, 16) и т. д. На радость, ликование, веселие, на «обрадованну нашу душу» (память 1636, 403) памятники теперь обращали внимание повсеместно. Даже прошлое становилось повышенно радостным, и, например, составитель «Есиповской летописи» мог выражаться о походах Ермака так: «...по всей Сибирстей земли ликоваху стопами свободными» (124).

Авторы обрисовывали и более существенный признак благополучия России — широкое «устроение». Сообщений об «устроениях» следовало немало. Так, в предисловии к «Московскому летописцу» составитель провозглашал царя Михаила Федоровича исключительно плодотворным «устроителем»: уже «в начале царствия его просветися вера, просия благочестие, уставишася церковнии чинове и царствия синклиты, и царствующий град Москва возградися, и места уселишася, воинство охрабрися, и купцы своя промыслы возприяша, — комуждо как милость Божия поспешествуя» (222). Обнадеженность и удовлетворенность писателей российским «устроением», возможно, побуждали их выделять «устроение» и других, вымышленных царств: когда царь «станет лготу давати и дани поубавит — и государство опять полно наполнитца, селища опять жили будут... И от тех мест стал царь милостив, и льготу стал давати, и дани поубавил — опять стало все жило» («Повесть о разуме» 327). Довольство российским «устроением» приводило авторов к особенно уверенной мысли о мировой благоустроенности, введенной Богом «...вся бо той созда видимая же и невидимая... убо всяко здание сотворил есть той. Все же содержит, и снабдит, и промышляет о всем, и.. устрояет, и вся люди своя священными своими законы и правила и уставы и богодухновенными писаньями вразумляет и просвещает и.. обращает... и... призывает... и умудряет» и т. д. (Триодь 1630, 638).

Венчающий признак благоустроенности России в сочинениях писателей 1620-х — 1630-х годов — красота «устроений». Вот хотя бы одна из несколько перегруженных и похвалами картин украшения Руса Михаилом Федоровичем: «...являя того... еже по вселенной созидати

украшати божественныя храмы и разсеявати божественная словеса, яко бисер или, реку, злато... Чюдными лепотами... иконами и многоценными... сосуды и ризами и инеми по благочинному слову приличными вещми любезне украшая... еже благословными священными книгами, яко же некими благоцветущими крины, божественная храмы исполняти... и не точию Христовы церкви и... обители, яко многосветлыя звезды в тверди небесней сияющи, но и домы благочестивых пребогатне и пресветле преисполнив... всея своя царския Русьския державы...» (Канонник 1636, 76 об. — 78 об. второго счета); все делается, чтобы «пой всей бы своей величицей Руси разсеяти, аки благое семя в доброплодныя земли», чтобы был от «божественных догмат яко бы некых благовонных аромат» (Азбука 1634, 5—6 об. послесловия).

Результат благоустройства — мир и покой в государстве: «...мир и тишину и правду утвержающа» (Учительное евангелие 1629, 593); «...печалным веселие, тружающимся упокоение, насилуемым отдохновение... покой дарова» (память 1636, 403). Людей многонародного государства памятники теперь неоднократно и благосклонно называли смиренными, благочестивыми овцами: «В Рустей же земли не токмо веси и села мнози сведоми, но и грады мнози суть единого пастыря Христа едина овчата суть, и вси единомудрствующе» («Словеса», 530). Авторы считали, что много «есть разумичных людей в великом государстве» (послание Стефана, 406).

Авторы не только представляли благополучным настоящее, но и надеялись на всегдашнее благополучие в будущем: «...да союз мира... твердо в душе кротости хранится, да не будет несогласия ради распря...» (Требник 1623, 618 об.); «...да сияет благочестивое царство... святолепным просвещением всегда, да пребывает во светлей и божественней славе... святая же соборная церковь... да цветет и славится всегда... украшается... и не на поколебимем основании да пребывает» (Учительное евангелие 1629, 593—593 об.; Триодь 1630, 639 об.; Октоих 1631, 475), «да множится и растет благочестие во всей... Русьстей земли» (Азбука 1634, 7 — 7 об. послесловия). Говорилось и в формах, обозначавших еще большую «всегдашность» благополучия: «...град Москву... ограждаеши... от безъбожных иноплеменник, от глада же, и труса, и междоусобных брани присно...» (стихиры о ризе, 5); «радуйся, церковная красота и обогащение; радуйся, боговерным царем на сопротивных пособие и в нашедших печалех утешение; радуйся, отеческому своему граду утвержение и неусыпно хранение... радуйся, многонародному граду Москве ликование...» («Повесть о мнисе», 873—874).

Жажда устойчивого благополучия, благополучия «навсегда», определяла уже знакомый нам ход мыслей. Даже сомнительные явления истолковывались как благие предзнаменования. В «Мазуринском летописце», например, рассказывалось, что в 1619 г. над Москвой встала

комета: «Мудрые же люди о той звезде ростолковаху, что та звезда над Московским государством стоит к доброму делу... в том государстве подает Бог вся благая и тишину и никотораго мятежу в том государстве не живет» (158). Другое следствие желанья благополучия — мечта о распространении его на весь мир: «...моления творити должны есмы о умирении всего мира», «дабы отныне и впредь... утвердиться и укрепиться, яко же солнцу под небесем сияюще и во вся окрестныя страны луча свои простирающе... и ко всякому благочинию во веки неподвижно утвержающе» (Канонник 1636, 80; память 1636, 404). Представления о наступившем российском благополучии составили вескую часть умонастроений писателей 1620-х — 1630-х годов.

Подумаем, для какого общественного слоя были характерны отмеченные представления. Данные у нас только косвенные. Судя по памятникам, представления о благополучии были свойственны писателям, близким к верхам, и, наверное, самим общественным верхам. Однако резко ограничивать круг бытования подобных представлений нельзя. Для наших предположений имеет значение гармония отношений писателей с читательской массой. В 1620-е — 1630-е годы изменились преобладающие эпитеты, прилагаемые авторами к читателям. Читатели теперь были «благочестивии и истиннии делателие винограда Христова» («История», 243): «разсудителнии... имыи премудр смысл и чуден» («Повесть о Димитрии», 847). К читателям авторы теперь обращались так: «О, чада светообразная... хотех убо вашей любве благо глаголати... вашей души прекрасней достойно есть... праводелателное» («Словеса», 530).

В 1620-е — 1630-е годы изменилось и содержание более развернутых высказываний писателей о читателях. Писатели настаивали на близкой, наступающей, наступившей читательской благочестивости. Вот разные формы подобных высказываний. Самая общая: все ведет к «полезному жителству и ко спасению душам человеческим» (Служебник 1623, 477 об. и многие другие издания); модальная форма высказывания о прикосновенности к благочестию: «Сице хочет создавши нас Бог и нам тем ревнителем быти»; «нам... подобает... везде тшчатися яко от себе самех вносити по силе нашей» (Канонник 1636, 80; «Повесть о Димитрии», 856); повелительная форма высказывания об обязательном усвоении благочестия: «Имеим убо, возлюбленнии, промысл Божий на уме... и содержим в себе всего память на всяк час и розмышляем и брежемся и накажемся...»; «зрим же, братие, и в мире суца добродетелныя человецы» («Повесть о Димитрии», 838, 843); форма высказывания в настоящем и будущем времени как выражение неотвратимости благочестия: «...и аки по лествице, от нижния степени на вышнюю восходят и потом паки вящее учнут разумевати» (Азбука 1634, 8 — 8 об. послесловия). В благочестии читателей, ныне и навсегда, писатели были уверены с определенностью.

Особенно часто писатели демонстрировали свою уверенность в приверженности читателей к благочестивому чтению: «И ныне, братие, отверзем умныя зеницы сердца своего и искусно разумеем...» («История», 249). Издатели насыщали предисловия и послесловия всех издаваемых книг рассуждениями и пояснениями о содержании, составе, композиции, истории и предыстории создания предлагаемых книг, порядке их чтения и пр. (необычайно много, например, в «Триоди» 1630 г., стихотворное наставление в «Азбуке» 1637 г.). Это делалось для того, чтобы удовлетворить читательскую любознательность. Читатели и слушатели, по мнению издателей, теперь охотно усваивали «въкупомудрено и изрядно удобряемое учение» (Октоих 1631, 475 об.). И действительно любознательность читателей и слушателей писатели упоминали неоднократно: «...людие православнии... яко гладни... поучения и жития не слышаще» (память 1636, 402); «аще кто имый премудр смысл и чуден, да навыкнет от божественных писаний...»; «хотяй навыкнути о сяковых да прочита в летописных историях...»; «и аще кто восхощет о смятении Росийския земли широко и пространно уведати, и той да прочти себе великую „Историю“ Палицына» («Повесть о Димитрии», «Повесть о мнисе», «Хронограф» 1617, 847, 871, 1313).

Показательно у издателей 1620-х — 1630-х годов обилие похвал каждой предлагаемой книге, тому, «яко же есть зримо в книзе сей полагаемо». Издатели выражали перед читателями восхищение от «сладкогласнаго гласа» книги (Октоих 1631, 475 об.), слышали в ней «прехвалныя и громогласныя десятиструнныя гусли» (Псалтырь 1619, нумерованн. 335 об. и многие другие издания). Издатели восхваляли содержание книг, подчеркивая, например, что книга «о страшных, великих, предивных чудесех» «исполнь радостотворнаго умиления» (Триодь 1630, 640). Издатели восхваляли авторов или составителей книги: «Мнози бо древле чуднии ритори и премудрии творцы грамотическим слогням и дивнии ветии... составиша... чудныя... хвалы и песнословия... Начальницы же и творцы красоты слова... всепречудныи... мнози предивнии. Чюдными и предивными сими творцы... объявлена суть» данная книга (Минея 1619, 4 об. — 6 и другие издания). В тех же выражениях писатели восхваляли свои сочинения: «Скажю же вам повесть дивну...» («Повесть об Улиянии», 284). Все это делалось, чтобы героям и событиям дивились сами читатели: «Бяше же по истинно чюдно видети яже по Бозе житие их»; «о дивства дивнее таковое житие и аггелы чюдимо пребывание!» («Повесть о Димитрии», 839, 841); «всем дивитися разуму ея», «вси дивляхуся разуму ея» («Повесть об Улиянии», 277); «да кто о сем не почюдится?»; «дива слышание достойно» («История» 108, 191); «мы же сему бывшему делу писание предлагаем и предъидущий род воспоминанием удивляем» («Повесть книги сея», 622—623). Соответствующими эмоциональными оценками насыщалось повествование о героях или событиях отрицательных (например, в «Хронографе» 1617),

и тоже для того, чтобы читатели разделяли авторские чувства: «Смеху достойно сказание, плача же велико дело бысть», «кто же сему не посмеется безумию?» («История», 118). Авторы исходили из представления не вообще о благочестивых читателях, а о читателях душевно чутких, испытывающих благочестивые чувства.

И последнее. Читатели у писателей 1620-х — 1630-х годов представляли тихими и мирными: наступило «любително исправление... еже бы вложить любовь в душу вашу» («Словеса», 530); «притецем любезно и воспоем умильно» («Повесть о мнисе», 873); «ныне же, отцы и братие, койждо нас... да пребудем в любви... милостыню и нищелюбие койждо нас да покажем... и во благоденьствии и в тишине поживем» («История», 247).

Столь явно выраженное в памятниках согласие писателей и читателей является косвенным подтверждением нашего предположения о том, что представление 1620-х — 1630-х годов о наступившем российском благополучии разделялось и верхами общества, и более широкими общественными слоями. В России тех лет господствовали настроения благонамеренности. Исследователи общественной мысли недаром отмечают, что с конца 1610-х годов «наступает некоторое затишье, связанное, вероятно, как с утомлением страны... так и с иллюзиями, которые возникли с началом царствования Михаила Романова»; популярной стала обнадеживающая «мысль о необходимости справедливого правления, полного милостей и льгот», популярным стал «образ сказочного „укротевшего“ царя... близкий и понятный посадским и крестьянским массам, не освободившимся еще в это время от царистских иллюзий»⁹.

Но неужели источники 1620-х — 1630-х годов уже нигде и никогда не упоминали об общественных недостатках? Такие упоминания делались. Например, в конце 1610-х — начале 1620-х годов осуждалось неистребимое лихоимство: «...конечно, все зло на ся привлекохом, от него же даже и доселе не исцелехом»; «се бо зло в нас и донныне всеми зримо деется, иже славы и богатства желают вскоре, без рассмотрения обогащаются неправдами... ко единому тщащимся, еже бы своя им влагилица вся лихвами изобильне исполнити» («Временник», 69, 122); «мнози убо мы и до днесь в скверне лихоимства живуще, и кабаками печемся, и граблением...» («История», 125); «зри ж и сего: и в приказах лукавии действуют, ваше государьское и земское дело на корысть свою променяют, и многие мздою, надеясь на лукавыя понаровки, покупаются... Которые и прежде для своей корысти и тщеславия разоренье вере и попрежение вере чинили, те же и ныне ухищрением и за мзду понаровлением дерзновение имут, у православных крестьян последнее богатство всячески имат, тем жратвы своя простират. А иные, завидя на

⁹ Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967, с. 70; Пушкирев Л. Н. Указ. соч., с. 325.

лукавых... мир продают немерным мздоимством» (послание о мздоимстве, 190). Но подобные признания делались очень редко и лишь довольно рано, потом они потеряли обличительную остроту и исчезли. Например, в предисловии к «Слововещаниям» Иван Хворостинин жаловался: «Коя не приах беды? многи скорби от владык, множайши ж от властей, тако ж и от церковник неученых, туне поставленных» (38). Однако тут он больше упрекал власти Смутного времени, чем власти, современные его сочинению. В официальные документы также изредка проникали довольно смутные обвинения: «...в людех многую смуту чинил»; «...смущается ум и скудеет вера, потому что вожди ослепоща леностию и нерадением» (грамота 1632, 284; память 1636, 402).

По поводу единичности упоминаний неблагоприятных явлений в 1620-е — 1630-е годы один из историков — Б. Ф. Поршнев — пишет: «Но историка обескураживает отсутствие прямых сведений в русских источниках о каком бы то ни было политическом кризисе в это время». И не без оснований предполагает, что в это время были произведены чистка, «систематическое истребление» неугодных документов¹⁰.

Но обратимся к произведениям менее подвластным цензуре. В двух «покаянных» стихах прямо говорилось об общероссийском неблагоприятии:

...прелесть вражия...
 прелестиша владомых и многоразумных начальников
Руския державы,
 ругающесе нашей православной вере.
 ...И ныне убо, братие, восплачем вси...
 ...и всем добродетелем потребление,
 но и паче же православной вере посрамление
 и от всех язык различных вер
 посмех и укоризна.
 Слышат бо языци нашу неправду...

(«Покаянны» о Кремле и о Шеине, 146, 147).

Оба стиха записаны позже — в одном и том же сборнике третьей четверти XVII в., и больше открытых отрицательных высказываний о 1620-х — 1630-х годах не известно ни в «покаянных», ни в фольклоре. Скорее не столько чистка архивов тому виной, сколько преобладавшее в то время иное общественное настроение: убогатворенность и надежда на крепнущее благополучие.

И все-таки если к произведениям присмотреться внимательнее, то можно заметить нередкие, но скупо выраженные несоответствия господствовавшему благополучному настроению. Например, в «Хронографе»

¹⁰ Поршнев Б. Ф. Социально-политическая обстановка в России во время Смоленской войны // История СССР, 1957, № 5, с. 117—118.

редакции 1617 г. цитировался текст некоего письма, враждебного официальной точке зрения, и письмо сопровождалось такой оговоркой составителя «Хронографа»: «Се списание малое некто от мятежников написа, хулу и лож сказуя во истории сей... и мы писание не извергохом, зане во многих се неправое писание распростресе...» (1310). Однако здесь могли иметься в виду «мятежники» и согласные с ними «многие» люди предыдущего времени Смуты. Но вот более поздний документ, который снова предполагал наличие дерзких инакомыслящих и недовольных: «Аще ли ж нецьи малоумнии хотят рещи, яко не подобает согрешающих человек и непокоряющихся истине мирским казням подлагати и таковое повеление немилостиво наречет кто... Аще ли же нецьи не хотяще послушати пастырского словесе...» (грамота 1622, 250—251).

У авторов повестей 1620-х — 1630-х годов наряду с читателями благополучными также маячили читатели недовольные и недоверчивые. Авторы предусматривали это реальное обстоятельство: «Помышляю, егда како... не угодно явится писание мое во ушью вашу» («Повесть о Димитрии», 846); «яже во инех местех сложений оних сомнитися кто...» («Временник», 17); «аще ли нецьи слышаще и высоте словес дивящесе и не восхотят веровати... тии бо немощь человеческую помышляют и неприятно творят глаголемо о человецех» («Повесть об Улиянии», 323).

Историки действительно указывают на небезоблачность социально-политического горизонта России 1620-х — 1630-х годов, в частности на многочисленные «простонародные политические преступления конца 20-х — начала 30-х годов: „непригожие“, „неподобные“ слова о царе или патриархе, сомнения в законности, „прирожденности“ нынешнего царя или царевича...» — и вообще на «грозные беседы московского трудового люда»¹¹. Какие-то неудовольствия отразились в факте составления сборников переписки Андрея Курбского с Иваном Грозным: «...послание Курбского, обличавшее царский произвол, было близко общественно-политическим настроениям 20—30-х годов XVII в.»¹².

Но любопытно, как авторы относились к неверящим, недовольным, ропщущим, провинившимся и тому подобным людям. Авторы с разной степенью настойчивости упрашивали таких читателей: «Молю же вас прилежно послушати, без всякого сумнения, вне всякия суетныя молвы себе сотворше»; «молю же вы, да не позазрите ми» («История» 227, 238); «и да никто же мя о сих словесы уловит иже о любославнем разделением...» («Временник», 56); «вы же, братие и отцы... не мните: ложно се... Но... не лжу...» («Повесть об Улиянии», 309); «веру имите ми...» («Повесть о мнисе», 871). В официальных документах предписывалось, дабы власти со всевозможной мягкостью уговаривали несогласных и недовольных: «Проповедуй... настой, понуди... обличи, запрети,

¹¹ Там же, с. 118, 140.

¹² Рыков Ю. Д. Послания Курбского Ивану Грозному // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979, с. 276.

умоли со всяким долготерпением и учением»; а неисправимо упрямых и деятельных, которых вроде бы нельзя «пощадевати же никако же», все-таки «смотрительно же повелеваем о таковых рассуждати» (грамота 1622, 252, 250). Подобные грамоты велено было читать всенародно с явной целью не обострять конфликты и с явной надеждой народ «в мале времени исправить». До поры до времени тучи народного недовольства не вставали сплошной напалзающей стеной в относительно чистой панораме общественной уверенности в российском благополучии.

Но это еще не все. В «благополучных» памятниках 1620-х — 1630-х годов можно заметить еще одну особенность, которая оказывается чрезвычайно важной. Авторы повестей и официальных документов усиленно стали упоминать «простцов», «бедных и нищих и обидимых», «все народное множество», обязательно говорить об «убозих» и «простых человецех» («Соборное изложение», 403; «История», 125, 231; стихиры о ризе, 16; память 1636, 402 и др.). В официальных документах сочувственно объявлялись беды, например, «убогих работных людей» и осуждались насильства над ними: «...а бедные люди от таких законопреступных людей бедне насилуеми и оскверняеми и порабоцаеми бывають и ниоткуда ж избавления приемлют»; властям советовалось выслушивать «простую молву» (грамота 1622, 246, 247, 253)¹³. Авторы часто поминали заповедь «еже нища и убога помиловати»; они приветствовали «полагающа душу свою за овца стада его» (Минея 1619, 3 и другие издания).

Тема «простых» людей стала выделяться у авторов 1620-х — 1630-х годов и когда они вспоминали о прошлом. Так, автор «Повести об Улиянии Осорьиной» с удивительной регулярностью возвращался к одной и той же теме: во время Смуты Улияния «вдовами и сироты печашеся и бедным ко всем помогаше... даяше нищим милостыню...» (280); автор ставил в образец постоянство и безотказность помощи: помогая «убогим», Улияния «дойде же в последнюю нищету, яко ни единому зерну остатися в дому ея, и о том не смятеся... и не изнеможе нищетою» (281—282). Авраамий Палицын же в своей «Истории» не только обращал внимание на помощь бедным во время Смуты («...о бедных и нищих крепче промышляше... и таковых ради строений всенародных всем любезен бысть» — 104), но и ставил деяния «простцов» выше усилий «мудрых» бояр: «Похвалное же что содеяся, и то не урядством, но последнею простотою... В таковой простоте никто же никогда погиге... И зрят простоты мужа храбра и мудра нестроение... И по обычаю простоты немощнии бранию ударивше и похищают мудрых от рук лукавых... Немощных и бедных не нарицают овец, но львов, и не сирот, но господей... И в простоте забывше бегати, но извыкше врагов славно гоняти» (191—192).

¹³ Об осознании авторами сочинений о Смуте значения народной молвы см.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, с. 19—20.

Авторы 1620-х — 1630-х годов подчеркивали заслуги «простых» людей, обращаясь и к более отдаленному прошлому. Противопоставление «простых» людей знатным отмечено, например, в «Есиповской летописи»¹⁴. О Ермаке говорилось так: «Избра Бог и посла не от славных муж, ни царска повеления воевод... но от простых людей избра Бог и вооружи славою и ратоборством и волностию атамана Ермака Тимофеева сына Поволскаго и со единомысленною и предоброю дружиною» (164—165, ср. 122—124).

«Бедные» люди специально упоминались и в сочинениях о вымышленных царствах: вельможи «обиды творили, а на силных бедным и беспомощным управы не давали...» («Сказание о Петре Волосском», 348)¹⁵.

Внимание писателей 1620-х — 1630-х годов к людям «простым» и «бедным» объяснимо по крайней мере двумя причинами. С одной стороны, некоторые писатели, пережившие Смутное время, отдавали должное, как мы сказали бы сейчас, роли народа и искренне жалели народ. Однако так было, пожалуй, только в конце 1610-х — начале 1620-х годов, например у Авраамия Палицына. С другой же стороны, похвалы «простым» людям затем вовсе не стали популярными; советы оказывать вспомоществование бедным стали настойчивее, но суше, как, например, в «Повести об Улиянии Осорьиной»; забота о «простых человецех» диктовалась желанием искоренить в них «велик соблазн», как, например, в патриаршей памяти 1636 г.; и поэтому Семен Шаховской настаивал, чтобы писатели шли навстречу «простцам»: «...наития же святых и мучения и доблести их ясно да сказуются, яко же и не книжным мочно и простым глаголемая внимати» («Повесть о Димитрии», 846). Внимание писателей к «простцам» поддерживалось уже не искренним, глубоким сочувствием, а чем-то иным. Какая-то вынужденность ощущается в этих упоминаниях о «бедных» и «простых» людях.

У нас мало материала, чтобы явственно убедиться в принужденности внимания авторов первой половины 1620-х — 1630-х годов к пресловутым «убогим» людям. Но тогда посмотрим, как авторы относились к читательской массе, куда входили также и «бедные» и «убогие». Отношение писателей к читателям стало небывало предупредительным. Авторы обильно предупреждали читателей о тематике произведений: подробнейшие оглавления или сжатое изложение содержания предшествовали сочинениям. Четко обозначалось начало сочинения: «Сему же

¹⁴ Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947, с. 395.

¹⁵ О добавлении этих сетований именно в 1620-е — 1630-е годы см.: Зимин А. А. Сказание о Петре, воеводе Волосском // Сочинения Ивана Пересветова, с. 338—339; Он же. Комментарии // Там же, с. 354—356. Ср. также «Повесть о бражнике»: «Не апостольское и не царское достоинство, а человеческое — вот что утверждала „Повесть о бражнике“» (Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма. М., 1977, с. 162).

сказанию начало сичево...» («История», 101); «время уже есть к повести приблизитися» («Повесть о Димитрии», 845); «яко же зде явственно повесть предложити вам хощу» («Повесть о мнисе», 858). Текст сочинений дробился авторами на небольшие части со своими подзаголовками, и почти каждый автор в каждом отрывке предварительно называл читателям «дело, о нем же ныне слово предложити хощу» («Хронограф» 1617, 1293), «о нем хощу словеса рещи» («Повесть о Димитрии», 847), «о сем убо ныне нам слово предлежит» («История», 203), «сие дело», которое «настоит... с великим изобилованием начинати» («Житие Димитрия», 890) и т. д. и т. п. Очень часто подчеркивалось: «чти», «зри», «виждь», «чтгый да разумеет». Внутри изложения следовали постоянные перекрестные отсылки. О том, что будет сказано после: «О прочем же о всем впреди писано», «о нем же впреди реченно будет» («Хронограф» 1617, 1276, 1282); «о сем пространнее впреди слово», «о нем же множае предъидый слово скажет» («Временник», 16, 18 и др.); «въпреди слово изъявит», «последи объявлено будет» («История», 187, 205 и др.); «о них же в конце книжицы сея написано суть» (Азбука 1637, 2 об.). Постоянны были напоминания читателям и о сказанном раньше: «...яко же и выше рехом» (Азбука 1637, 6); «яко же и прежде рехом» («Сказание» о книгопечатании, 201). Необычайно часто авторы исправляли ход своего изложения и напоминали о возврате к главной теме: «Мы же к первым словесем начатое навершити нудимся, от иде же стахом» («Временник», 51 и др.); «сие же дозде: не убо о нем повесть сказуется» («История», 211 и др.); «оставим же сия и возвратимся на первая» («Повесть книги сея», 580 и др.); «о сих убо зде да станем и паки на первословную вину возвратимся» («Повесть о Димитрии», 850); «зде да станем и паки о настоящем побеседуем» («Повесть о мнисе», 870); «сия же до зде прекратим, настоящее да глаголется» («Житие Димитрия», 895). Четко отмечался и конец сочинения или его частей: «Сему писанию конец предлагаем... словеса писанию превосходят в конец» («Повесть книги сея», 619); «словеса же вещающая достигают конца» («Житие Димитрия», 884). Авторы проявляли необыкновенную заботу о том, чтобы читатели не запутались.

Забота писателей об удобствах читательского восприятия вначале проявлялась многогранно. Так, Иван Тимофеев хотел даже, чтобы читатели получали от излагаемого впечатление, будто ими самими все увидено в жизни: «...чтущим познается, елицы сего в жизни зрети и о нем слышати не получиша» («Временник», 74). Но, чтобы впечатления и знания приобретались без непосильного труда, Иван Тимофеев давал читателям передышку: «И нам убо в далних словес путишестве естества немощию утружшимся и, яко в небурне пристанище мало отдохнутие приимше... подцимся, в прямный путь устремившеса» (15). Иван Тимофеев предоставлял право читателям самим перекраивать композицию «Временника», как им удобно: «...еже не по ряду или месте своем чему вписатися... елико кто ускорит, ли по своему хто чину хо-

щет изрядно уставити, — власть имат от своєа воли...» (17—18). Задумывался автор и об использовании сравнений для более удобного восприятия изложения читателями: «Се чтущим ото образа вещи свойство ея знатно есть» (13). Сам необычный язык «Временника», быть может, воплощал авторскую попытку (неудачную!) по-новому рассказать читателям о Смуте.

И Авраамий Палицын тоже думал, «како рещи» поудобнее для читателей: «Но не вемы убо како рещи... но колико познаваем, сиа о том и сплетаем» («История», 206). Авраамий Палицын старался не удлинять главы и эпизоды, заботясь о памяти читателей и слушателей: «Их же немощно исписати и изглаголати продолжения ради немощных слуха к забытию» (110). Он вообще все время не терял из виду память читателей, современных и будущих: «История в память предидущим родом», «сие же изъясних писанием на память нам и предъидущим по нас родом» (101, 128 и др.). Авраамий Палицын приноравливал свою «Историю» к читательской воле: «Вы же... всякого чина христоименитыи людие, сию книжицу прочитающе, примете, яко же хочете...» (249). Это была проникновенная забота о читателях и слушателях. Писателей интересовала не только психология изображаемых героев¹⁶, но и психология читателей. Потрясения Смутного времени побудили писателей следить за реакцией массы «простых» и «убогих» людей и за реакцией читательской массы.

Так было в конце 1610-х — начале 1620-х годов. Позже обходительность писателей по отношению к читателям исчезла. Частые обращения к читателям сохранились, но стали суше и формальнее. Краткое изложение или перерывы в изложении сопровождались теперь сухими отговорками: «...некоея ради настоящия вины, о ней же не у время ныне изрещи» («Сказание» о книгопечатании, 204); «не у время писати, токмо зде настоящее слово да рцем» (Азбука 1634, 5 послесловия). Надежды на благодарную читательскую память омрачились теперь каким-то разочарованием:

Дела толикие вещи во веки не забываем...
 Ум человек ништо не может исповесть.
 ...Всяк бо чтый да разумеает
 И дела толикие вещи не забывает.
 Сие писание в конец преити едва возмогах
 И в труде своем никоея же ползы обретох

(«Повесть книги сея», 619, 624).

Призывы к читательской памяти имели теперь поучающе-сумрачный оттенок: «...и содержим в себе всего память на всяк час, и розмышляем, и брежемся, и накажемся в них, да навикнем прияти память...» («Повесть о Димитрии», 838). Предупредительность писателей и издателей

¹⁶ Об этом см.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси, с. 6—24.

по отношению к читательской массе поддерживалась уже не искренним теплым чувством, а чем-то иным, внешним.

Причины повышенной внимательности авторов к «простцам» и к читателям становятся ясными на фоне реальных исторических обстоятельств. После окончания Смуты правительство и верхи общества проявляли подчеркнутое внимание к средним и низшим слоям. Например, на земском соборе 1619 г. правительство подтверждало: «Московского государства всяким людям скорбь конечная»; правительство шло на встречу просьбам «простцов»: «велети от сильных людей оборонить»; по мнению Л. В. Черепнина, «в соборных решениях 1619 г. была сделана попытка найти формулу примирения запросов отдельных сословий и сословных групп»¹⁷. В 1620 г. многочисленные царские награды за верную службу во время Смуты раздавались крестьянам¹⁸. Еще любопытное свидетельство: «С ноября 1622 г. на весь период укрепления Филарета Никитича во дворце вводится новый и до времени Петра I, кажется, не повторявшийся потом обычай приглашать на праздники и к государеву столу многочисленный круг бояр, думных дьяков, несколько десятков, а то и сотню дворян московских, приказных дьяков, стрелецких голов и изредка также гостей московских... В это же время, при патриархе Филарете, появлялись на приемах у царя и патриарха гости и посадские торговые лучшие люди...» и даже донские казаки¹⁹.

Но с начала 1620-х годов знаки внимания правительства и верхов к низам получили иной характер и не окрашивались чувствами признательности и благорасположенности. Например, в 1620—1624 гг. последовала серия, казалось бы, благоприятных царских указов: но, «с одной стороны, указ дает привилегии посадским людям и волостным крестьянам, а с другой — ограничивает и сводит эти привилегии почти к нулю»²⁰. В 1630-е годы «дворцовые приемы меняются в сторону большей чопорности и аристократичности»²¹. В 1630-е годы милости правительства имели уже преимущественно характер вынужденных уступок: то «выдачей головой церковных феодалов горожанам»²², то в виде уговоров «отстать от всякого дурна» и обещаний, то в форме амнистий провинившимся, — а в целом «мы видим целую серию государственных актов, направленных к смягчению недовольства служилого военного сословия, низших слоев дворянского класса»²³.

¹⁷ Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв. М., 1975, с. 233—234.

¹⁸ Берх В. Царствование царя Михаила Федоровича и взгляд на междуцарствие. СПб., 1832, ч. 1, с. 117—119.

¹⁹ Смирное П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М.; Л., 1947, т. 1, с. 358, 359.

²⁰ Там же, с. 393.

²¹ Там же, с. 358.

²² Там же, с. 411.

Главная причина уступок: в конце 1620-х — начале 1630-х годов «народные массы ожидали новую крестьянскую войну»; «правительство пасовало перед угрозой восстания в Москве»²⁴, в первой половине — середине 1630-х годов, как отзывались русские и заграничные очевидцы, «делаетца-де на Москве нестройно — разделилась-де Москва на трое: бояря себе, а дворяне себе, а мирские всяких чинов люди себе ж», «на Москве учинилась в людях рознь великая», — «грозило вспыхнуть всеобщее восстание»²⁵. В 1632 г. была прямо «выражена тревога правительства по поводу возможности возобновления донскими казаками „смуты“»²⁶. Один за другим возникали в Москве огромные пожары, особенно в 1626 и 1634 гг.: «И не бывал такой пожар над Московским государством николи и от начала Московского государства» («Бельский летописец», 268). «Весьма вероятно предположение, — считает Л. В. Черепнин, — что пожары не были случайными, причиной их явились намеренные поджоги как одна из форм классовой борьбы»²⁷.

Нараставшее обострение социальной обстановки в России 1620-х — 1630-х годов наложило отпечаток на практические меры верхов по отношению к средним и низшим слоям общества, на тон упоминаний властей о «простых» и «бедных» людях в документах и даже на оттенки в высказываниях писателей, близких к верхам, о «простцах» и о читателях в литературных произведениях. Но пока развитие реальных обстоятельств опережало идейную жизнь общества. Настроения народного недовольства и возмущения еще не получили заметного и цельного идейного выражения и не образовали противоположной чаши весов в общественных настроениях. Внешне преобладало настроение благополучия, исходившее от верхов общества; знаки внимания, оказываемые «простцам» и читательской массе, внешне продолжали эту благополучную настроенность. Но кажущееся общественное согласие и спокойствие на самом деле уже были внешними, выхолощенными.

²³ Об этом см.: Поршнев Б. Ф. Указ. соч., с. 123—125, 130—132, 134.

²⁴ Черепнин Л. В. «Смута» и историография XVII века. (Из истории древнерусского летописания) // Исторические записки, 1945, т. 14, с. 103; Смирнов П. П. Указ. соч., с. 413.

²⁵ Поршнев Б. Ф. Указ. соч., с. 116, 120; ср.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв., с. 245.

²⁶ Поршнев Б. Ф. Указ. соч., с. 116, 120.

²⁷ Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв., с. 245.

3. КОНЕЦ 1630-х — 1640-е ГОДЫ. БЛАГОДУШИЕ ВЕРХОВ ОБЩЕСТВА И НАЗРЕВАНИЕ НЕДОВОЛЬСТВА НИЗОВ

Настроенность русского общества конца 1630-х—1640-х годов помогают охарактеризовать сочинения, связанные с российскими верхами. Прежде всего посмотрим, как в предисловиях и послесловиях издатели старопечатных книг рисовали российское общество. Самым большим из печатных послесловий тех лет и, пожалуй, самым содержательным явилось послесловие к первому на Руси изданию «Трефологиона», а именно послесловие к третьей книге «Трефологиона», на март — май. Оно же было перепечатано в четвертой книге «Трефологиона», на июнь — август. В первых книгах «Трефологиона» послесловия иные и менее содержательные.

Послесловие к третьей книге «Трефологиона» в целом оригинально, хотя некоторые выражения заимствованы из послесловий к «Букварю» В. Ф. Бурцева (М., 1634) и «Канонника» (М., 1636). Составителей оригинального послесловия к третьей книге «Трефологиона», конечно, могло быть несколько. Но условно мы будем говорить об одном авторе послесловия, так как он здесь иногда упоминал о себе в единственном числе: «Премину же многое... Премину же долготы ради словес...»¹. В центральной части послесловия автор рассказывал об истории русского книгопечатания и описал Русскую землю, заполненную многочисленными духовными «лепотами», в том числе рукописными и печатными книгами. Однако воспоминания о рукописных книгах заставили автора осознать недостижимость полного духовного благополучия на Руси: «И прежде убо много лет писавахуся книги письменными начертаньми, но не до конца было лепо таковое изображение... не несмутно и не несумненно» (408). Примерно ту же мысль повторил автор, повествуя о распространении печатных книг в современной ему России: «...наипаче многое число обретеса печатнаго дела книг разными имены... и еще не удовлеса тем... но по разньственным книгам не тако будет лепо» (408 об. — 409). В рассказе об истории русского книгопечатания подчеркивалась неполнота духовного благополучия на Руси.

Если мы обозрим всю композицию послесловия к «Трефологиону», то увидим, что фразы с неизменным «но» повторялись неоднократно. Мысль о недостижимом духовном благополучии на Руси подготавливалась уже в начальной части послесловия, когда автор рассуждал о всемирном неблагополучии: Бог «вся премудростию своею сотвори и состави... но... мнози языцы тмою неверия омрачашася... яко же и ныне вси агаряне... латыни, и лютори, и калвини, и прочии» (405 —

¹ Трефологион: март — май. М., 1638, л. 406.

В данном разделе удобнее ссылаться на источники в последовательности их рассмотрения.

406 об.). Ту же мысль об ускользающем духовном благополучии автор выразил в общем виде, перейдя к размышлениям о судьбах российского народа: «Нас же помилова Господь своим милосердием... но каждого нас сам от своей похоти влеком и прельщаем» (407). После рассказа о российском книгопечатании намек на недостижимость полного благоустройства сквозил даже в похвалах царю Михаилу Федоровичу, все-таки далекому от завершения благих дел: он «многи церкви Божия воздвиже... и еще не престая распаяся» (409 об.).

Однако основное настроение автора не было раздраженным или сумрачным. Представление о недостижимости окончательного благополучия на Руси выражалось автором местами даже в стихах, с бодрой верой в лучшее будущее: «Святое сие крещение прияхом и держим, и льстиваго врага своего и миродержца бежим, аще льщением его и своею слабостию и поползаем, но от творца своего и Бога не отчаяваемся, но надеемся на его премногия щедроты» (407; ср. еще 407 об.).

Точно такие же мысли о пока не достигнутом полном духовном благополучии варьировались во всех печатных послесловиях конца 1630-х — начала 1640-х годов: Бог даровал людям законы, но «сим же не вси удобь покаяющихся»², на Руси принялись за размножение рукописных книг, но возникло «многое некое различие... разгласие... яко ничим же менее в житейских вещех истине быти»³, начали исправлять и печатать книги, но еще ими «недоволне исполнены»⁴; царь Михаил Федорович хоть и много сделал для духовного благоустройства, но «обаче не престая горя»⁵ на дело еще не завершено. Таким же оптимистическим было и общее настроение издателей: при царе Михаиле Федоровиче «мрак же нечестивыя злобы тем да обличится и буря противных ветров да отогнана будет»⁶.

В течение всех 1640-х годов, вплоть до начала 1650-х, официально-покойные темы в старопечатных предисловиях и послесловиях даже усилились. Авторы стали противопоставлять относительно благополучную Россию резко неблагополучному внешнему миру: еретики «возмутиша всю вселенную» — «и нам тому их еретическому учению не подобает внимати», «стояти бы нам крепче»⁷; в мире «лютное сие волнение... гонящих церковь сих папистов и симониат», а в России, устремленной «к лучшему и изряднейшему правлению», «преплавают удобно и легце пучины и заверты, от нечистых духов возмущаемыя»⁸.

² Трефологион: сентябрь — ноябрь. М., 1637, ч. основная, л. 707 об.

³ Иноческий погребник. М., 1639, л. 16 об. 28-го счета. См. также: Службы, житие и чудеса Николы Чудотворца. М., 1640, л. 65 об.; Пролог. М., 1641, л. 896; Пролог. М., 1642, л. 904 об.

⁴ Трефологион: сентябрь — ноябрь. М., 1637, ч. основная, л. 709 об.

⁵ Пролог. М., 1642, л. 905 об.

⁶ Учительное евангелие. М., 1639, л. 593.

⁷ Кириллова книга. М., 1644, л. 6, 10, 10 об. и др.

⁸ Кормчая. М., 1650, л. 642—642 об., 643 об.

Смягчилась рисуемая в предисловиях и послесловиях картина отношений авторов и читателей. Авторы стали обещать читателям легкость в усвоении книг: «Аще кто восхощет, яко дверю, благолепотне и безтрудне возшествие сотворит»⁹. Авторы обещали читателям сладостное умиление: «Кто бо... не умилися и не прослезился?... Аще бы и варварскую кто душу имыи, и той... не умягчится ли? Сице сладостна... наказания послушающим»¹⁰. Авторы ласково называли читателей «любезными» и даже своими «сверстниками»¹¹. Так тоже выражалось представление о наступающем полном благополучии.

Еще более заглаженную картину рисовали некоторые рукописные сочинения конца 1630-х — 1640-х годов, авторы которых были близки или тяготели к верхам российского общества. Например, справщик Савватий в стихотворном послании царю Михаилу Федоровичу заверял: «У вас же, государей наших царей, благочестивно во всем... Светла и высока престольна ваша царская держава, преизобилует бо в ней благодатная слава» и т. д.¹².

К рукописным памятникам подобной настроенности, возможно, примыкала «Повесть о Марфе и Марии», сочиненная между 1638 и 1651 гг.¹³ каким-то церковником по заказу рязанского и муромского архиепископа. «Позволяет считать это произведение принадлежащим к литературе верхов» то обстоятельство, что «это произведение чисто книжное, „сконструированное“, «написано без опоры на сформировавшееся ранее устное предание»¹⁴.

Учеными давно замечена в «Повести» «строгая, но наивная симметрия» «в духе миролюбия»¹⁵. Неблагополучие в «Повести» присутствуют лишь как начальное обстоятельство: две родные сестры разлучены в России далеко по разным городам из-за местнической ссоры их мужей; родня сестер недоверчива. Но огорчительные явления сразу же оттесняются за горизонт. «Повесть» рассказывает о том, как вдруг все улаживается и наступает полное, гармоничное духовное единство: после того как у сестер в одинаковый день и час умерли мужья, обе сестры, ничего не зная друг о друге, одновременно решили друг друга проведать;

⁹ Грамматика Мелетия Смотрицкого. М., 1648, л. 357 об.

¹⁰ Поучения Ефрема Сирина. М., 1647, л. 350. О приносимой «сладости» см. также: Сборник. М., 1647, л. 880 об.; Толковое евангелие Феофилакта Болгарского. М., 1649, л. 317.

¹¹ Кормчая, л. 642, 644 об.

¹² Шептаев Л. С. Стихи справщика Савватия // ТОДРЛ, т. 21, с. 25, 27.

¹³ См.: Демкова Н. С., Дмитриева Р. П., Салмина М. А. Основные проблемы в текстологическом изучении древнерусских оригинальных повестей // ТОДРЛ, т. 20, с. 155. Датировка Н. С. Демковой.

¹⁴ Брун Т. А. К вопросу о возникновении Сказания об Унженском кресте. (Повесть о Марфе и Марии) // Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980, с. 220, 225.

¹⁵ Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861, т. 2, с. 249—250.

в один день выехали навстречу; в одном и том же месте остановились на ночлег; обе не узнали друг друга, а потом вместе плакали и вместе радовались; один и тот же ангел одновременно явился им во сне; в другом одновременном сне они слышали один и тот же глас свыше; занялись одним благочестивым делом; все окружающие прониклись благоговением и т. п.¹⁶. Если припомнить замечание исследователя о проникнутости этого произведения «ярко выраженной историчностью»¹⁷, то можно предположить, что в «Повести о Марфе и Марии» предстало в художественном воплощении характерное для тех лет стремление авторов к подчеркнутой благополучности описываемой обстановки.

В самом начале 1650-х годов появились сочинения, восхвалявшие российское благополучие как идеальное. Сам царь Алексей Михайлович в своих посланиях восхищался: «Благодать Божия... в нашем царстве присно изобильствует и несть уже днесь в... пастве некотораго разделения... но ныне вси единомышленно...»; «и ныне реки текут чудес... Даровал нам, великому государю, и вам, бояром, с нами единодушно люди... разсудити в правду, всем равно... и о всех христианских душах поболение мы имеем»¹⁸.

И все-таки во всех упомянутых рукописных и печатных сочинениях присутствует нечто, мешающее считать их точным отражением действительности. Для этого послания молодого, 23-летнего царя Алексея Михайловича слишком восторженны; «Повесть о Марфе и Марии» искусственна; стихотворные послания к царю панегиричны. Старопечатные же предисловия и послесловия и того больше настораживают одной своей любопытной особенностью. С одной стороны, авторы старопечатных предисловий и послесловий конца 1630-х — 1640-х годов указывали на гораздо более широкую, чем раньше, массовую предназначенность издаваемых книг. Печатные книги предназначались теперь не только для церковного, но и для домашнего употребления: «исполняя... не точно... церкви... но и дома»¹⁹. Книги были рассчитаны на все слои насе-

¹⁶ Первый вариант «Повести» см.: Пам. СРЛ, вып. 1, с. 55—57. О близости первого варианта к не дошедшему до нас авторскому тексту «Повести» см.: Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе, Л., 1970, с. 519. Раздел написан Н. С. Демковой.

¹⁷ Скрипиль М. О. Повесть о Марфе и Марии // Русская повесть XVII века. Л., 1954, с. 359.

¹⁸ Молебное послание Алексея Михайловича к мощам митрополита Филиппа 1652 г. — СГГД, ч. 3, с. 472; письмо Алексея Михайловича к казанскому воеводе князю Н. И. Одоевскому о пренесении мощей митрополита Филиппа в Москву 1652 г. — ААЭ, т. 4, с. 492. Все это наверняка имело отношение к идее оцерквления жизни и оцерквления человека, которая «в конце 40-х — начале 50-х годов XVII в. имела большой успех при дворе» (Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ, Л., 1984, с. 108 и сл.).

¹⁹ Трефологион: сентябрь — ноябрь. М., 1637, ч. основная, л. 709 об. См. также: Трефологион: март — май. М., 1638, л. 410; Канонник. М., 1641, л. 414 об.

ления: «Наказательна же всякому роду, возрасту и сану — царем и князем, начальником и простым, богатым и убогим, иноком и мирским, мужем и женам, юным и престаревшимся, — безчислено всем»²⁰; «во всем царствующем граде Москве и по всем градовом и по обителем, по малым же и по великим, и по селом и прилежащим к ним жилищам, — кто восхощет по всей России»²¹. С другой же стороны, авторы старопечатных предисловий и послесловий конца 1630-х — 1640-х годов хотя вежливо и ласково обращались к этой расширившейся читательской массе, но как-то слепо. В предисловиях и послесловиях не встречалось ни явственных свидетельств единодушия авторов с читателями, ни полемического нажима авторов на читателей, ни каких-либо иных знаков живого впечатления авторов от читателей. Создается ощущение, будто авторы предисловий и послесловий, формально признавая существование читателей, не принимали в расчет реальные настроения читательской массы.

Наши подозрения в тенденциозности указанных литературных источников подтверждаются историческими данными. Судя по документам тех лет, а также по разысканиям ученых, реальная обстановка второй половины 1630-х — 1640-х годов разительно отличалась от успокоительных характеристик, даваемых писателями. Сошлемся только на самые яркие свидетельства. Документальные источники тех лет постоянно осуждали «мятеж и соблазн», «многих православных колеблющихся народов безчине и смятение», «междоусобие от всех черных людей»²². По предположению исследователя, «может быть, соляной налог 1646 года, вызвавший бурный народный протест, отозвался в пословице: „Пошло было на хлебы, да соль своротила“»²³. По выводу историка, «последние годы правления царя Михаила... были временем общественного упадка и правительственной протрации», «настроения разочарования и озлобления должны были охватить к концу царствования Михаила тех», кто вскоре поднял восстания 1648—1650 гг.²⁴. В части населения возникло движение капитоновщины, в котором «явно преобладали эсхатологические мотивы, настроения отчаяния, безысходности»²⁵.

²⁰ Толковое евангелие Феофилакта Болгарского. М., 1649, л. 317. См. также: Канонник. М., 1641, л. 415; Поучения Ефрема Сирина. М., 1647, л. 350 об.

²¹ Трефологион: декабрь — февраль. М., 1638, л. 727. См. также: Службы, житие и чудеса Николы Чудотворца. М., 1640, л. 177; Пролог. М., 1641, л. 896—896 об.; Маргарит. М., 1641, л. 3; и многие другие издания.

²² ААЭ, т. 3, с. 401, 402 и др.; Мнения патриарха Никона об Уложении и проч. (Из ответов боярину Н. Стрешневу) — Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. СПб., 1861, т. 2, с. 426.

²³ Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1953, т. 1, с. 434. Раздел написан В. П. Адриановой-Перетц.

²⁴ Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М.; Л., 1947, т. 1, с. 486—487.

²⁵ Шульгин В. С. Движения, оппозиционные официальной церкви в России в 30—60-х годах XVII века: Автореф. дис. М., 1967, с. 9.

Как возможное отражение обеспокоенности обстановкой интересно одно издание тех лет, звучащее диссонансом среди всех прочих изданий. Это книжечка из двух поучений патриарха Иосифа, напечатанная, по-видимому, при возведении его в патриархи в 1642 г. или вскоре после того. Иосиф сурово обращается к «народом во еже исправити благочестие», «яко время убо обуреваемо есть, и дние лукави суть, и люди на зло уклонишася»; «тех бо ради грех — нестроения, рати, труси, пагубы, и воздуха тление, морю нестояние, земли неплодие, скоту и плодом изгибель, в самех болезнь и смерть», «страны на ны смущаются, хулою о нас низводятся» и т. п.²⁶. Правда, необычную резкость слов Иосифа можно объяснить тем, что тексты поучений почти целиком, дословно и без особой уместности были заимствованы из рукописных «Кормчих» XVI в. и иных старинных традиционных сочинений²⁷. Но известно также, что Иосиф не очень пришелся ко двору и говорил не всегда то, что было нужно...

В общем, есть основания думать, что писатели конца 1630-х — 1640-х годов, ориентировавшиеся на верхи общества, попытались выдать желаемое общественное благополучие за действительное и отвернулись от преобладавших неблагоприятных настроений большей части общества. Косвенное указание на такую ситуацию можно обнаружить в «Повести о внезапной кончине царя Михаила Федоровича», написанной в 1647 г. неким московским монахом для какого-то «рачителя божественного писания»²⁸. «Повесть» начиналась мрачно: «Богу убо не хотящу, ничто же благо составляется»; «доволно же начаястася быти добру, обаче сотворилося зло и презло»; датский королевич, неудачно сватавшийся к дочери царя, «тщету велию сотвори царстей казне и всей земли нанесе тяготу велию же зело... всей Рустей земли»; от горестных переживаний внезапно умер царь, а за ним и царица и т. п.²⁹.

Имея в виду верхи общества, автор «Повести» отметил: «Ничто же им требе, токмо едином овому от них гордиться и величаться и во уме

²⁶ Сборник поучений. М., 1643, л. 10, 12 об., 22 об.

См. об этом: *Макарий (Булгаков)*. История русской церкви. СПб., 1882, т. 2, с. 98, 105; *Голубцов А.* Вступление на патриаршество и поучение к пастве Иосифа, патриарха московского // Прибавления к изданию Творений святых отцев в русском переводе за 1888 год. М., 1888, с. 344—354, 362—363, 367—368, 380.

²⁸ О дате написания и авторе «Повести» см.: *Строев П. М.* Рукописи славянские и российские, принадлежащие... Ивану Никитичу Царскому. М., 1848, с. 475; *Леонид (Кавелин)*. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова. СПб., 1894, ч. 4, с. 141; Памятники прений о вере, возникших по делу королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны, собранные А. Голубцовым // ЧОИДР, 1892, кн. 2, с. VI—VII. По предположению В. М. Хлебникова, высказанному мне устно, автором «Повести» был известный писатель и стихотворец Савватий: в «Повести» есть повторения отрывков из точно принадлежащих Савватию произведений.

²⁹ Памятники прений о вере... с. 1, 4, 6.

своем мыслию своею превозноситься, другим же чрево своя наполняти и насыщати и гортани свои услаждати...» (18). Вот эти-то люди не хотят, чтобы писалось или сообщалось о чем-либо неблагополучном, и досадают: «Почто сия писати и нелепая воспоминати?» (16). Автор же не согласен с умалчиванием и негодует: «Не везде есть полза мудростно, и витийно, и потаенно писати и ведомостныя дела закрывати, но достоит явственню и просто начертovati, да всяк знает и разумеет... Мы же за что ленимся или боимся или страмляемся писати или печатати, что у нас в Русей земли случится быти?..» (18). Верхи общества вместе с их писателями и издателями, очевидно, действительно отвернулись в 1640-е годы от настроений средних и низших общественных слоев.

Подтверждением существования такой ситуации является ошеломительный и достоверно установленный факт общероссийского многолетнего обмана челобитчиков властями, когда «вся процедура подачи и приема челобитных, милостивых государевых указов по ним, помет думных дьяков с необходимыми распоряжениями — все это было сохранено, так что челобитчики ничего не могли заметить. Но вся процедура царской милости и государевых указов теперь работала, так сказать, на холостом ходу и потеряла свое обычно-обязательное для приказных дьяков значение... в приказах по ним никаких дел не вершили»; «...дьяк мог безошибочно понимать... и он угадывал, что государева милость и государевы указы пишутся для отвода глаз, что механизм челобитья-указа работает на холостом ходу, что от него требуется волокита; и волокита грандиозная, кажется, еще небывалая даже в московской практике, возникала и расцветала в 1645—1648 гг.»³⁰.

Благодушное равнодушие издателей и писателей к читательской массе и соответственно равнодушие верхов к обществу, вероятно, объясняются тем, что читатели, масса как идейная сила пока «молчали». «Молчание», конечно, трудно изучить по источникам. Но некоторые догадки исследователями общественной мысли уже высказаны: после Смутного времени, «даже отвыкнув пассивно подчиняться властям, московский народ отнюдь не выдвигал таких требований, которые хоть немного шли бы вразрез с основами вотчинной монархии»³¹; в 1640-е годы «антицарские настроения снова сменились некоторыми иллюзиями и новый подъем народного движения был связан с менее развитой антифеодальной идеологией... Народная политическая мысль вернулась к своему исходному пункту, и вызревание новых антифеодальных идей началось сначала»³². За внешним благополучием и единством таился раскол.

³⁰ Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М.; Л., 1948, т. 2, с. 43—44, 61—62.

³¹ Плеханов Г. В. Сочинения. М.; Л., 1925, т. 20: История русской общественной мысли, с. 236.

³² Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды: XVII—XIX вв. М., 1967, с. 78.

Так называемая поэтическая «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» внушает надежду на обильное отражение в ней общественных казачьих настроений: ведь автор написал ее от имени всего казачества. Поэтому данную «Повесть» мы просто обязаны рассмотреть специально, тем более в связи с темой социального недовольства.

Общую характеристику «Повести», думается, повторять не нужно: текстология и основное содержание этой, вне всяких сомнений, «воинской повести» достаточно подробно изучены в работах А.С. Орлова, Н. И. Сутта, А. Н. Робинсона, В. П. Адриановой-Перетц, Д. А. Гарибян. В силу гораздо меньшей изученности нас интересуют социальные представления автора «Повести».

Социальные представления автора «Повести» выразились лишь попутно при развертывании его главной, воинской темы, притом выразились косвенно: не в прямых рассуждениях, а в языке художественного произведения. Мы будем излагать не систему ясно высказанных взглядов автора «Повести», а по оттенкам высказываний воссоздавать его социальную настроенность.

Рассмотрим, каково было отношение автора «Повести» к социальному статусу казаков. Мы начнем с анализа высказываний о казачьей одежде — зипунах. Зипуны в «Повести» упомянуты трижды, и все три раза — в большой речи осажденных казаков к туркам.

Казаки дразнили турок: «А се мы у вас взяли Азов город своею казачьею волею, а не государским повелением, для зипунов своих казачьих да для лютых пых ваших»³³. Какой смысл здесь имело словосочетание «взяли для зипунов своих казачьих»? По толкованию всех комментаторов «Повести», слово «зипуны» означало казачье богатство, имущество. И действительно, в отписках донского и сибирского казачества XVII в. в аналогичных глагольных словосочетаниях типа «зипуна взяли», «зипунов порадели», «за зипунами ходили», «для зипунов ходили» и т. д. слова «зипун», «зипуны» безусловно имели переносное, собирательное значение: «достаток», «добыча», «трофеи», «богатство»³⁴. Переносное значение слова «зипуны» было настолько распространенным, что

³³ «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» 1642 г. Первая редакция. XVII в. БАН 32.11.7. — «Изборник»: (Сборник произведений литературы Древней Руси / Текст памятника подгот. О. В. Творогов. М., 1969, с. 556—557. Ср. другое издание первой редакции по основному списку конца XVII в. РГБ, собрание Ундольского, № 794 — Воинские повести Древней Руси / Текст памятника подгот. А. Н. Робинсон. М.; Л., 1949, с. 57—81, 274—279. Так как список БАН исправнее списка РГБ, то цитирую по публикации О. В. Творогова.

³⁴ См.: Гарибян Д. А. Из истории русской военной лексики // Ученые записки Ереванского гос. русского педагогического института. 1956, т. 6, с. 311; Она же. Несколько лексических уточнений // Известия АН Армянской ССР. Общественные науки, 1956, № 11, с. 100; Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1979, вып. 6, с. 5.

использовалось даже в казачьей песне: «Уже нельзя нам, братцы... по синю морю гулять, зипунов-то доставать»³⁵. Мы можем сделать вывод: казаки в «Повести об осадном сидении» утверждали, что они взяли Азов для своего казацкого приобретения, обогащения. Однако такое истолкование смысла фразы вступает в противоречие с общим содержанием «Повести», в которой казаки неоднократно подчеркивали, что они взяли Азов не корысти ради, а для вящей своей славы. Значит, привычное истолкование приведенной фразы не совсем верно.

Присмотримся ко всей структуре цитированной фразы: «взяли... волею, а не... повелением, для зипунов... да для... пых...». Слово «зипуны» включено здесь в цепь слов, обозначающих волеизъявление: «воля» — «повеление» — «зипуны» — «пыхи» (то есть угрозы, запреты). Зипуны в этом «волеизъявительном» контексте имели переносный смысл, но означали не столько «имущество, добычу», сколько «интересы, стремления». Казаки заявляли, что они взяли Азов своею казачьей волею, то есть из своих интересов, для потребностей своих казачьих. Утверждения с подобным смыслом в «Повести» не редкость. Например, рассмотренному высказыванию немного ранее предшествовало близкое по смыслу высказывание казаков: «Азов мы взяли... для опыту... А сели в нем для опыту» (556). Так что словосочетание «взять для зипунов» и ему подобные надо толковать не по документальному шаблону, а исходя из контекста самой «Повести»: казаки не прибеднялись и не скромничали.

Перейдем к другому упоминанию о зипунах. Казаки издевательски недоумевали перед турками: «Где полно ваш Ибрагим, турецкой царь, ум свой девал? Али у нево, царя, не стало за морем серебра и золота, что он прислал под нас, казаков, для кровавых казачьих зипунов наших, четырех пашей своих, а с ними, сказывают, что прислал под нас рати своея турецкия 300 000?» (555). Султан не просто «прислал для зипунов», а «для кровавых казачьих зипунов». В документах XVII в. эпитет «кровавый» означал цвет, разновидность окраски. Но вот, например, в былинах о сражении русского богатыря Сухана с татарами и в рукописной повести первой половины XVII в. о том же Сухане употреблялось словосочетание «кровавые раны» уже в эмоционально-предметном смысле «окровавленные раны». Вспоминается еще фольклорное сочетание «кровавые уста» в значении «окровавленные уста». Подобные примеры показательны, потому что «Повесть об осадном сидении», как известно, ориентировалась на фольклор. «Кровавые зипуны» в «Повести» означали «окровавленные зипуны». Автор «Повести» в сочиненной им речи казаков выразил свое ощутимо предметное и эмоциональное представ-

³⁵ Исторические песни XVII века, М.; Л., 1966, с. 103. По мнению В. Е. Соколовой, в этой песне «давалось фактически верное описание обстановки XVII в.» (Соколова В. Е. Русские исторические песни XVI—XVII вв. // Труды Института этнографии. Новая серия. М., 1960, т. 61, с. 132).

ление об окровавленных казачьих зипунах; и оно не было мимолетным, ибо вслед за данным упоминанием зипунов сразу следовало опять предметное, телесное, «плечистое» упоминание: «И то вам, туркам, самим ведомо, што с нас по се поры ништо наших зипунов даром не имывал с плеч наших»³⁶. Нет, зипуны в «Повести» имели прямое, вещественное, эмоциональное значение.

Но был дополнительный смысловой оттенок в упоминании «кровок зипунов». Любопытным образом здесь связывались зипуны и султан. Казаки спрашивали: «Али у... царя не стало... серебра и золота, что он прислал... для кровавых казачьих зипунов наших?..». У вопросительных оборотов в форме «али — что» вторая часть обычно обозначала какой-либо недостаток называемого лица, неблагоприятную ситуацию, что видно, например, по пословицам XVII в.: «Аль я виновата, што рубаха моя дировата?»; «Али моя денга щербата, что ништо ее не возмет?»³⁷. В «Повести об азовском сидении» вопросительный оборот типа «али — что», по-видимому, восходил к фольклорному и указывал на недостойный для ранга султана поступок: турецкий царь прислал за кровавыми казачьими зипунами. «Кровавые зипуны» здесь выступали не просто как окровавленные, но еще и как запачканные кровью, грязные, неприглядные, бедные зипуны, внимание к которым роняло достоинство султана.

От этого выигрывали казаки. Речь казаков, где упоминались зипуны, служила в «Повести» ответом на речь турок, уговаривавших казаков сдать ся и обещавших им богатую одежду от турецкого султана: «Пожалует... вас, казаков, он, государь, многим неизреченным богатством... Во веки положит на вас на всех, казаков, платье златоглавое и печати богатырские с золотом, с царевым клеймом своим» (554). Ответ казаков в «Повести» по всем пунктам был противопоставлен предложениям турок³⁸, и окровавленные неприглядные зипуны открыто противопоставлялись обещанному золотому платью как нечто равноценное.

Упоминание зипунов в содер жало и иные смысловые оттенки. Казаки спрашивали: отчего бы это султан турецкий «прислал под нас... для... зипунов наших?» (555). Здесь не безразличным для смысла было сочетание «под нас — для наших». Словесная группа «мы — наши» или «вы — ваши» обычно вносила эмоциональный оттенок типичности, главности, постоянности чего-либо для кого-либо. Вот более ясный пример

³⁶ По списку Ундольского — Воинские повести Древней Руси, с. 66. То же в списках второй редакции — Там же, с. 276. В списке БАН эта фраза оборвана на слове «имывал» (555).

³⁷ Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий / Изд. подгот. П. Симоны // СОРЯС, 1899, т. 66, № 7, с. 74; Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX веков / Изд. подгот. М. Я. Мельц, В. В. Митрофанова, Г. Г. Шаповалова. М.; Л., 1961, с. 23.

³⁸ Робинсон А. Н. Повести об азовском взятии и осадном сидении // Воинские повести Древней Руси, с. 198—199.

из той же «Повести об осадном сидении». Турки в речи к казакам употребляли форму «вы — ваши»: «...рыкаете... вы... разбойницы непощадные, несытые ваши очи, неполное ваше чрево» (552—553); турки тем самым выставляли несытые очи, неполное чрево характерными свойствами казачества. В рассматриваемом упоминании зипунов форма «под нас — для наших» тоже выражала, хоть и вскользь, мысль о типичности зипунов для казаков. Эта мысль в той же форме повторялась и последующей фразой: «с нас... наших зипунов... не имывал». Бедные, неприглядные зипуны как бы обозначали самих осажденных казаков³⁹.

В подобном обозначении было заключено еще не проросшее зерно художественной типизации. С одной стороны, воюющие казаки действительно одевались скромно. Известно, например, свидетельство, правда в конце XVII в., голландского адмирала Корнелия Крюйса о том, что донские казаки, отправлявшиеся «на морской промысел», надевали на себя «старые ветоши» в противоположность туркам, которые наряжались «в драгоценные платья» и обвешивались «золотыми и алмазными вещами»⁴⁰. Но с другой стороны, рассматриваемая фраза в «Повести» неявным образом указывала на абсолютное постоянство одежды осажденных казаков — всегда и все в зипунах. Вот тут-то и ощущим элемент художественного преувеличения. О казацкой одежде в «Повести» больше не сообщалось дополнительных подробностей. Однако авторские жалобы в конце «Повести» на то, что «от всяких лютых нужд... отягчали мы все», что «от беспрестанной стрелбы глаза наши выжгли... стреляючи порохом», что «многих нас... опаливали» (562), а также описание сидения казаков в земляных ямах в совершенно разрушенном городе заставляют предполагать, что с начала и до конца «Повести» автор представлял-таки всех азовских казаков поголовно и постоянно в окровавленных, потрепанных, залачканных, прожженных зипунах. Типичная одежда превратилась во всегдашнюю, застывшую, приросшую к казакам, но еще и почетную.

Автор «Повести» вообще был склонен выводить своих персонажей в почетных, раз навсегда данных опознавательных одеждах. Как только автор начал «Повесть» с извещения о приходе турецкого войска, то он тут же описал турецкое снаряжение: «И платье на них: на всех головах яныческих — златоглавое; на янычанях на всех — по збруям их одинакая, красная, яко зоря кажется... А на главах у всех янычаней — шишаки,

³⁹ Ср.: «У донских казаков, кроме того, „казачий зипун“ символизирует как бы самих казаков» (Гарибян Д. А. Несколько лексических уточнений, с. 100).

⁴⁰ Горелов А. А. Донские песни о Ермаке // Народная устная поэзия Дона: (Материалы научной конференции по народному творчеству донского казачества 18—23 декабря 1961 г.). Ростов-на-Дону, 1963, с. 91. Ср.: Крюйс К. Розыскания о Доне, Азовском море, Воронеже и Азове, учиненные в 1699 г. // Отечественные записки, 1824, кн. 55.

яко звезды кажутся» (552). Затем, когда автор перешел к рассказу о казаках, то, как мы уже знаем, упомянул их зипуны. Когда в повествовании появились новые персонажи — святые, помогавшие казакам, — то автор обязательно указал и их одеяния: «мужа древна власы, в светлых ризах»; «мужа храбра и млада, в одеже ратной»; «два мужа леты древны, на одном одежа иерейская, а на другом власяница мохнатая» (564, 565). Короче говоря, бедные, неприглядные зипуны действительно мыслились автором «Повести» как неотъемлемая почетная часть облика азовских казаков.

Мы не исчерпали всех нужных нам смысловых оттенков упоминания зипунов в «Повести». Неприглядные казацкие зипуны неожиданно соизмерялись с султанским серебром и золотом, когда казаки спрашивали у турок: «Али у нево, царя, не стало за морем серебра и золота, что он прислал... для кровавых казачьих зипунов наших?..» (555). Если автор «Повести» намекал, что зипунами можно заменить серебро и золото, то возникает противоречие: в одной и той же фразе автор представлял казачьи зипуны бедными и одновременно драгоценными. Однако это противоречие чисто формальное. Очевидна гротескность приравнивания зипунов к золоту. Автор, конечно, не утверждал дороговизну зипунов. Вспомним, что в фольклорных произведениях золото служило мерилom материальной ценности, но чаще — мерилom общественной престижности объекта. Приравнивая зипуны к серебру и золоту, автор «Повести» выражал представление о высокой ценности казачьих зипунов турками и косвенно об авторитетности казаков для турок.

Наконец, третье упоминание зипунов: по словам казаков, наемникам за осаду Азова султан дал «за то казну свою великую. И то вам, турком, самим ведомо, што с нас по се поры ништо наших зипунов даром не имывал» (555). Словечко «даром» двусмысленно означало и часть огромной казны, и весомую часть людских усилий. Зипуны вновь оказывались бесплатными (в переносном смысле). Автор «Повести» не оставлял мысли о большой значимости казаков для турок.

Мысль о значимости, об общественной престижности казаков еще выражалась в «Повести» различными способами. Один из способов — упоминание золота, денег и пр. Например, все, казалось бы, бросовое, что попадало в распоряжение казаков, превращалось, по изображению «Повести», в великую денежную ценность для турок; казаки прямо-таки сидели на турецком богатстве. Даже за «пустое место», за разрушенный до основания Азов турки, по сообщению казаков, готовы были заплатить фантастически много: «...просят у нас пустова места азовского, а дают за него нам выкупу на всякого молотца по триста тарелей сребра чистаго да по двести тарелей золота красного» (563). За своих убитых, валявшихся на территории казаков, турки тоже были готовы платить помногу: «А давали нам за всякую убитую яныческую голову по золотому червонному, а за полковниковы головы давали по сту талеров»

(559). Вполне ощутима юмористическая парадоксальность и этих фраз: дело, конечно, не в ценах и платах. Но общественная значимость казаков не без гордости выражалась автором в мерках финансовых.

Эта самая излюбленная автором «Повести» манера указания на значимость казаков нередко сводилась к простой, откровенной констатации того, будто казаки и в самом деле люди богатые. Турки в «Повести» не раз уважительно предлагали казакам: «Что есть у вас... вашего серебра и золота, то понесите из Азова города вон с собою» (553); «подите с серебром и з золотом в городки свое» (563). А казаки набивали себе цену, хвастаясь: «А сребро и золото за морем у вас емлем» (556); «не дорого нам ваше собачье серебро и золото, у нас в Азове и на Дону своего много» (563).

Другим способом выделения значимости казачества служила характеристика численности войск. Внешне автор «Повести» досадовал, что казаков в Азове слишком мало: то ли 7367, то ли 7590 против более чем трехсоттысячного турецкого войска. Но одновременно в «Повести» проводилось и художественное сопоставление чисел. Например, в речи туркам уже знакомую нам фразу о зипунах казаки заканчивали перечнем сил, им противостоящих: султан турецкий «прислал под нас, казаков, для кровавых казачьих зипунов наших, четырех пашей своих, а с ними, сказывают, что прислал под нас рати своя турецкия... с триста тысяц люду боевого, окроме мужика черново. Да на нас же нанял он, ваш турецкой царь, ис четырех земель немецких салдат шесть тысяць да многих мудрых подкопщиков...» (555). По официальным документам, турецкие войска, посланные под Азов, насчитывали около 240 000 человек⁴¹. В данном месте «Повести» это число было несколько преувеличено и округлено — верный признак «неделового» подхода автора. Кроме того, важен контекст. В произведениях, особенно фольклорных, между теми, кого посылали, и теми, к кому посылали, обычно подразумевалось прямое соответствие по значительности. Например, в легендарном послании Ивана Грозного к турецкому султану, сочиненном в первой четверти XVII в., Грозный поносил султана и оскорбительно обещал ему мелкое посольство: «В первые бы послал к тебе малаго слугу — воеводу своего»⁴². Султан низводился на одну ступень с «малым слугой». И легендарная переписка Ивана Грозного, и «Повесть об азовском сидении» в данном случае, скорее всего, использовали приемы фольклорного повествования. Четыре паши, шесть тысяч немецких солдат и трехсоттысячная турецкая рать в «Повести» выставлялись в качестве величин, равнозначных казачьему отряду в Азове. С деловой точки зрения автор отмечал неравенство сил, но с художественной точки зрения у

⁴¹ Комментарий географический и исторический. «Поэтическая» повесть об азовском осадном сидении // Воинские повести Древней Руси, с. 318.

⁴² «Восписание сопротивно» Ивана Грозного к турецкому султану — Изборник // Текст памятника подгот. М. Д. Каган-Тарковская, с. 513.

него семь тысяч казаков равнялись трети миллиона турок. Так значимость казаков выражалась в мерках статистики людских масс.

Подобный способ выделения значимости казаков через перечень посланных вражеских сил использовался в «Повести» тоже нередко. «Повесть» даже начиналась с обширного перечня почти бесчисленных вражеских сил, посланных против азовских казаков: «...прислал турской Ибрагим-салтан-царь под нас, казаков, четырех пашей своих, да дву полковников... да ближние своей тайные думы покою своего слугу... боевого люду двести тысящей... черных мужиков многия тысящи, и не бе им числа и писма... крымских и нагайских князей и мурз и татар ведомых, кроме охотников, 40000... горских князей и черкас ис Кабарды 10000... немецких два полковника, а с ними салдат 6000»; да еще отряды двенадцати народов, от албанцев до арабов; да еще военных знатоков из пяти «немецких» стран, от Испании до Швеции (550—551). Вот что значили казаки в глазах турок!

Для выражения своих представлений о значимости казаков автор «Повести» использовал еще один способ. У него турки обещали казакам сделать их важными людьми: «Пожалует наш государь, турецкой царь, вас, казаков, честью великою... Учинит вам, казаком, он, государь, во Цареграде у себя покой великий... Всяк возраст вам, казаком, в государеве ево Цареграде будут кланяться...» (554). Насчет поклонов тут явно преувеличено. Автор возвеличивал казаков и непосредственно в мерках социальных.

Подчеркивание социальной значимости казаков якобы для турок было, конечно, лишь предлогом для проведения более важной мысли. Казаки в «Повести» представляли значительным сообществом именно для России. В конце «Повести» (по списку БАН) был помещен перечень желательных для казаков посылок, пересчитанных на деньги уже не турецкого султана, а российского царя: от российского царя казакам «надобно в Азов для осадного сидения 10000 людей, 50000 всякого запаса, 20000 пуд зелия, 10000 мушкетов, а денег на то все надобно 221000 рублей» (566). Круглые цифры здесь по своей смысловой функции аналогичны рассмотренным ранее: это свидетельство уважения казаков московскими властями. Преувеличение налицо: на каждого казака должно было приходиться по 5 пудов всяких запасов, одному мушкету, 2 пуда пороху, а в деньгах — по 22 рубля. В действительности царь никогда не затрачивал на донских казаков столь огромных сумм, и реальная просьба к царю о такой посылке выглядела бы дерзостью. Автор «Повести» исходил здесь из преувеличенного представления о российской значимости казаков.

Преувеличение автором значимости казачества для России ясно отражалось в «Повести» и при открытой гиперболизации численности казаков и пограничных русских людей: если собратья, писал автор, одной только той «украиною, которая сидит у него, государя, от поля, от

орды нагайские, ино б и тут собралося людей ево государевых русских с одной ево украины болши легеона тысящи» (557), то есть больше десяти миллионов! Да и называли себя казаки в «Повести» необычно — «холопами дальними» российского царя, — значит, не очень-то и зависимыми, которые могут поступать «своею казачьего волею, а не государским повелением» (556—557, 566).

«Повесть об осадном сидении» не только при упоминании зипунов, а буквально вся была пронизана преувеличенным авторским представлением об общественной значимости азовского казачества. Эта мысль составила основной и, надо сказать, недостаточно оцененный исследователями пафос «Повести».

Теперь сравним позицию автора с настроенностью тех читателей, для кого «Повесть» предназначалась. «Повесть», по предположению А. С. Орлова и А. Н. Робинсона, была написана в Москве, во время заседаний земского собора 1642 г., одним из участников казачьей делегации, возможно, начальником войсковой казачьей канцелярии Федором Порошиным⁴³. Сочиненная в форме отписки на имя царя Михаила Федоровича, «Повесть» сравнительно с войсковыми отписками, как заметил А. Н. Робинсон, обладала примечательной особенностью: в «поэтической повести изложение ведется... без прямых обращений к царю. Прямые обращения здесь заменены как бы пересказом того же текста для третьего лица... Повесть... как бы расширяла свою аудиторию, выводила этот вопрос за пределы Посольского приказа и дворца и обращалась уже с рассказом о тех же азовских делах к московским общественным кругам, которые как раз в это время живо интересовались этой проблемой»⁴⁴. Для этой-то аудитории, вероятнее всего, для верхов московского общества, для московских властей и писал автор «Повести».

Для того чтобы узнать, как московские верхи относились к социальному статусу казаков, не нужно предпринимать долгих поисков. Сам автор «Повести» ясно написал об этом: «Не почитают нас там, на Руси, и за пса смердяцаго. Отбегохом мы ис того государства Московского из работы вечныя, от холопства полного, от бояр и дворян государевых...» (556). — Псы и холопы. На этом фоне позиция автора, перевозносившего казачество, выглядела резко полемической. И действительно, присмотримся к контексту высказывания о «псах смердящих». Это место начиналось вот как: «И мы про то сами ж... ведаем, — говорили казаки, — какие мы в государстве Московском, на Руси, люди дорогие и к чему мы там надобны. Черед мы свой сами ведаем. Государство великое и пространное Московское многолюдное, сияет оно посреди всех государств и

⁴³ Робинсон А. Н. Вопросы авторства и датировки поэтической повести об Азове // Доклады и сообщения филологического факультета МГУ, 1948, вып. 5, с. 65—70; *Он же*. «Поэтическая» повесть об Азове и политическая борьба донских казаков в 1642 г. // ТОДРЛ, т. 6, с. 24—59.

⁴⁴ Робинсон А. Н. «Поэтическая» повесть об Азове... с. 55.

орд бусурманских и еллинских и персидских, яко солнце. Не почитают нас там, на Руси, и за пса смердящаго...» (556). Контекст-то получался саркастическим.

Посмотрим повнимательнее, на что распространялся сарказм автора. Здесь уместно напомнить, например, речь Ерша из «Повести о Ерше Ершовиче», составленной до 1649 г. Ерш говорил: «Человек я доброй, знают меня на Москве князи, и бояря, и дети боярские, и головы стрелецкие, и дьяки, и подьячие, и гости торговые, и земские люди, и весь мир во многих людях и городах, и едят меня в ухе с перцемъ, и шавфраномъ, и с уксу-сомъ...»⁴⁵. Высмеивался не сам Ерш, а «признание» Ерша на Москве князьями да боярами, — высмеивались князья и бояры. То же произошло и в цитированном выше отрывке из речи казаков. Автор «Повести» выразил саркастическое отношение к мнению о казаках в Московском государстве⁴⁶. Он полемизировал с «боярами и дворянами государевыми». Недаром у автора «Повести» казаки, обращаясь однажды к царю и властям, восклицали: «Не позорны ничем государству Московскому!» (563). В этих словах также ощутим некоторый оттенок полемического отрицания чужого, неблагосклонного мнения.

Изучение сравнительно скромно представленной социальной темы в «Повести» наводит на предположение о внутренней напряженной полемичности всего этого произведения. Вот еще примеры из иных тем. Полемика в «Повести» захватила не только вопрос о социальном статусе казаков. Встал и другой вопрос — о политической лояльности казаков по отношению к Москве.

Московские власти, как известно, открыто выражали недоверие к казачеству. Ведь еще в 1629 г. в патриаршей грамоте Войску донскому казаки были названы «злодеями, врагами креста Христова» и отлучены от церкви; в 1630 г. казаки убили царского посла, и отношения с Москвой прервались на два года⁴⁷. Затем связи возобновились, но, например, в 1640 г. по Москве распространялись какие-то дурные слухи о казаках⁴⁸. В царских грамотах в течение 1642—1643 гг. постоянно содержались угрозы опалы и требования о том, чтобы казаки царю «во всем добра хотели вправду, безо всякия хитрости», «без противных и отговорных речей» и «ни на какую смугу и прелесть не прельщались»⁴⁹.

⁴⁵ РДС, с. 8.

⁴⁶ Ср. об этом месте «Повести»: «...иронически замечает автор, имея в виду мнение феодальной верхушки» (*Адрианова-Перетц В. П.* Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974, с. 78).

⁴⁷ См. *Тхоржевский С.* Донское войско в первой половине семнадцатого века // Русское прошлое: Исторические сборники. Пг.; М., 1923, т. 3, с. 21, 23; *Робинсон А. Н.* Жанр поэтической повести об Азове // ТОДРЛ. М.; Л., 1949, т. 7, с. 111.

⁴⁸ РИБ, т. 18, стб. 979—980.

⁴⁹ СГД, ч. 3, с. 401—402, 404; Акты, относящиеся к истории Войска донского, собранные А. А. Лишиным. Новочеркасск 1891, т. 1, с. 35—36; РИБ, т. 24, стб. 350—351.

Автор «Повести», разумеется, знал о таком отношении Москвы к казакам, но об этом не распространялся. Лишь в одном месте все-таки отметил: «...на нас государь наш, холопей своих далних, добре кручиноват. Боимся от него, государя царя, за то казни к себе смертныя за взятые азовское» (557).

Что этому противопоставил автор «Повести»? Обратим внимание на то, что именно во второй половине «Повести» сконцентрированы почти все церковные эпизоды и реалии. Это не совсем обычно для традиционной композиции древнерусских «воинских повестей», как светских, так и оцерковленных. Например, и в «исторической», и в «особой» «Повестях о взятии Азова казаками» в 1637 г. церковный фон силен и равномерен на протяжении каждого из произведений. Сдвиг же церковного материала во вторую часть «поэтической» «Повести об азовском осадном сидении» свидетельствует о сознательном авторском старании.

Во второй части «Повести» автор рассказывал в основном о чудесных явлениях и о помощи казакам свыше, от Богородицы и святых. Рассказал автор и о разрушении Азова турецкими пушечными обстрелами, но сохранил при этом любопытное замечание, возможно восходившее к «документальной» «Повести об азовском сидении»: «Одна лише у нас во всем Азове-городе церков Ннколина в полы осталась, потому и осталась, што она стояла внизу добре, к морю под гору» (561). Здесь автор использовал реальное объяснение факта и «забыл» сказать о небесном покровительстве, — еще один признак того, что усиленная церковная окраска эпизодов во второй половине «Повести» появилась у автора не только от внутреннего порыва к благочестию, а под влиянием какой-то внешней цели.

Давно известно, что автор «Повести», указывая на небесное покровительство над казаками, пытался убедить своих высоких адресатов в необходимости удерживать Азов. Но сверх того автор добивался еще кое-чего. Во второй половине «Повести» приводилась благословляющая речь Богородицы к казакам; цитировались длинные молитвы казаков; приводился и текст последнего «прощания» казаков перед вселенскими патриархами, митрополитами, архиепископами, епископами, архимандритами, игуменами, протопопами, священниками, дьяконами (563). Все это должно было показать московским читателям благочестивость азовского казачества.

В молитву осажденных казаков перед иконой Иоанна Предтечи автор вкладывал такие слова: «Бес пения у нас по се поры перед вашими образы не бывало» (562). Казаки, таким образом, отчитывались в благочестии перед святым. Несколько позже они повторяли уже для читателей «Повести»: «А в сиденье свое осадное имели мы, грешные, пост в те поры и моление великое и чистоту телесную и душевную» (564). Данную фразу автор заимствовал из «документальной» «Повести об осадном сидении», но изменил повествование от третьего лица («они») на первое

лицо («мы»)⁵⁰. То был уже прямой отчет перед адресатами «поэтической» «Повести об осадном сидении». Автор стремился уверить московских адресатов «Повести» в казацком благочестии, что по тем временам равнялось заверениям в политической лояльности.

В самом конце «Повести» содержалось странное высказывание. Автор писал: «За него, государя, станем Бога молить до веку и за его государское благородие. Ево то государскою обороною оборонил нас Бог, верою, от таких турецких сил, а не нашим-то молодецким мужеством и промыслом» (566). Оборонил Азов царь, а не казаки! Смысл этой фразы противоречит всему предыдущему «молодецкому» содержанию «Повести». Но что не сделаешь ради уверений в лояльности? В данном случае полемика имела место, но велась не с открытым забралом: очень уж щекотлив был вопрос о политической и религиозной лояльности.

Нужно сказать еще об одной теме несогласия, казалось бы, хорошо известной: московские власти отказались поддерживать казацкий Азов, а автор «Повести» пытался все-таки склонить власти к поддержке казаков. Думается, что степень полемичности «Повести» по этому вопросу раскрыта недостаточно.

Вернемся, например, к фразе о том, что казаков на Руси ни во что не ставят, и посмотрим на ее продолжение: «Отбегохом, — сетовали казаки, — мы ис того государства Московского... да зде вселилися в пустыни непроходные, живем, взирая на Бога» (556). Место обитания казаков неожиданно называлось «пустынями непроходными», и это словосочетание в соответствии с традиционным его смыслом в произведениях обозначало глухую удаленность казаков от Московского государства да еще и отделенность казачества препятствиями от Москвы⁵¹. Автор «Повести» выразил ощущение отрешенности азовских казаков от России.

Вполне искреннее чувство покинутости, отъединенности от Руси все время беспокоило автора «Повести». В последующих молитвах в «Повести» казаки неоднократно жаловались: «...нас в пустынях покинули все христиане православные»; «не бывать уж нам на святой Руси. А смерть наша грешничья в пустынях...» (560, 563).

⁵⁰ Ср. «документальную» «Повесть об осадном сидении» — Орлов А. С. Исторические и поэтические повести об Азове: (взятие 1637 г. и осадное сидение 1641 г.). Тексты. М., 1906, с. 87—88.

⁵¹ Например, Симон Азарьин в своем «Житии Сергия Радонежского» 1653 г., рассказывая о возникновении Радонежского монастыря, не только употребил выражение «пустыня непроходная», но и специально подчеркнул оба его смысловых оттенка удаленности от жилья и отдаленности от людей: «Пустыня тогда была непроходная; ныне же всем зрима окрест обители, поля мирские, села и деревни многолюдные. Стези не быша тогда и непроходно бысть человеческими стопами; ныне же пути-дороги велия и проезды всякаго чину людем, днем и нощию безпрестанно идущим» (Предисловие троицкого келаря Симона Азарьина к Сказанию о новоявленных чудесах преподобного Сергия / Текст памятника подгот. С. Смирнов // ВОИДР, 1851, кн. 10, смесь, с. 7—8).

Впечатлением безнадежной отделенности, отгороженности от Москвы усугублялось тревожное чувство автора «Повести». Казаки в «Повести» поражались: «Все наши поля чистые от орды нагайския, где у нас степь была чистая, тут стали у нас одним часом людьми их многими, что великия непроходимыя леса темные» (551). И турки подтверждали: «...покрыли всю степь великую... Не перелетит через силу нашу турецкую никакова птица парящая...» (554).

Казачью отрешенность от Москвы, от России автор «Повести» подчеркивал перед читателями не без цели. Фраза о холопстве и пустыне в речи казаков имела такое продолжение: «...вселилися в пустыни непроходные, живем взирая на Бога. Кому там потужить об нас? Ради там все концу нашему. А запасы к нам хлебные не бывают с Руси николи» (556). Эти слова звучали укором московским читателям «Повести», московским верхам.

Все прочие места «Повести», где говорилось об отрешенности казаков от Московского государства, также имели соответствующие полемические добавления. Московские читатели «Повести» постоянно наталкивались на косвенные обвинения в адрес верховной власти. Так, в «Повести» турки, грозившие казакам своим окружением, через которое не перелетит никакая птица, добавляли: «И то вам, вором, дает ведать, что от царства вашего силнаго Московскаго никакой от человек к вам не будет русских помощи и выручки. На што вы надежны, воры глупые. И запасу хлебного с Руси николи к вам не присылают» (554). Сами казаки при упоминании азовской «пустыни» тоже непременно добавляли: «...нас в пустынях покинули все христиане православные, убоялися их лица страшнаго и великия их силы турецкия» (560); «мы... о выручке своей безнадежны стали от человек» (562). Составляя «Повесть», автор явно знал о неохоте московских властей помогать Азову, и в его сочинение вкрадывались нотки сдерживаемого протеста.

Временами авторское недовольство проявлялось явственнее. Так, свою отповедь туркам казаки в «Повести» заканчивали многозначительной фразой об Азове: «Нешто ево, отняв у нас, холопей своих, государь наш царь и великий князь Михайло Феодоровичь, всеа России самодержец, да вас им, собак, пожалует попржнему» (558). Здесь обращает на себя внимание слово «отняв». Сочетание «отнять дом», «отнять град» в повестях XVII в. обычно означало нечто предосудительное. Например, в «Новой повести о преславном Росийском царстве и великом государстве Московском» начала XVII в. во фразе «домы наша у нас отнимают и поносят нам в лепоту» словосочетание «домы отнимают» имело резко отрицательный смысл⁵². И когда в «Повести об азовском сидении» казаки

⁵² Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Росийском царстве» и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 1960, С. 198.

высказывали опасение, что у них царь «отнимет» Азов, то такое слово вносило оттенок осуждения действиям царя. В «Повести» постоянно присутствовал то менее, то более ощущаемый элемент несогласия с действиями московских властей.

Нельзя не сказать об огорошивающем конце «Повести», где, как мы помним, была употреблена единственная примирительная фраза о том, будто царь оборонил Азов, а не казаки сами. В этом же конце «Повести» говорилось: «А топере мы войском всем у государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Руси просим... холопей своих чтобы пожаловал и чтобы велел у нас принять с рук наших ту свою государеву вотчину, Азов-город...». И тут же следовала (в списке БАН) заключительная фраза: «Нынешняго 150 году по прошению и по присылки турецкого Ибрагима-салтана-царя он, государь царь и великий князь Михайло Феодоровичь, пожаловал турецкого Ибрагима-салтана-царя, велел донским атаманом и казаком Азов град покинуть» (566). Получалось, что при двух прошениях о пожаловании царь предпочел турок казакам. Скрытое осуждение этого решения царя завершало «Повесть», в которой, как видим, нет-нет да и просачивалось подспудное, но упорное, безусловно преобладавшее несогласие автора с намерениями и действиями московских властей по отношению к донским казакам⁵³.

В конце «Повести», сразу после просьбы к царю о пожаловании, казаки вдруг обещали постричься в монастырь: «...все уже мы старцы увечные... А буде государь нас, холопей своих далних, не пожалует, не велит у нас принять с рук наших Азова-города, — заплакав, нам ево покинути. Подимем мы, грешные, икону Предтечеву да и пойдем с ним, светом, где нам он велит. Атамана своего пострижем у ево образа, тот у нас над нами будет строителем» (566). Увечные казаки действительно постригались в монастырь⁵⁴. Однако содержание данного отрывка не сводилось только к серьезному, деловому обещанию, а имело дополнительный, но в данном случае более существенный для смысла фольклорно-песенный оттенок. Недаром, как установил А. С. Орлов⁵⁵, это место «Повести» повлияло на казацкую песню «Взятие Азова», где казаки обещали Миколе-чудотворцу: «Пострижемся мы тебе-ка вси в монахи, все в монахи пострижемся, в патриархи!»⁵⁶. И в песне обещание не имело практического, серьезного смысла. Упоминание плача казаков и их

⁵³ О завуалированных намеках в «Повести» на «двойную игру московского правительства», которое, «недостаточно помогая казакам, всячески толкало их на оборону Азова», см.: Робинсон А. Н. Повести об азовском взятии и осадном сидении, с. 200—201.

⁵⁴ См.: Робинсон А. Н. // Повести об азовском взятии и осадном сидении, с. 216—217.

⁵⁵ Орлов А. С. Сказочные повести об Азове: «История» 1735 года. Варшава, 1906, с. 91—92.

⁵⁶ Исторические песни XVII века. М.; Л., 1966, с. 107.

пострижения у поднятой иконы в «Повести» тяготело к выражению автором чувства усталости и разочарования у изображаемых им казаков, которых на самом деле-то не поддержал царь в борьбе против турок. Оппозиционное настроение автора все накапливалось и даже обострялось к концу «Повести». «Повесть об азовском осадном сидении» была последовательно направлена против московских мнений, против московских намерений и действий, касавшихся азовских казаков.

Остается ответить на вопрос о том, насколько индивидуален был автор «Повести» в своей полемике с Москвой. Поддерживали ли его казаки? Прямое отражение идей и представлений донского казачества времени азовских событий рациональнее всего искать в исторических песнях казаков и в документальных отписках Войска донского царю Михаилу Федоровичу. Сопоставим казачьи представления, начиная с представлений об одежде. В исторических песнях, посвященных азовским событиям, не отразились интересующие нас представления казачества о своей одежде. В войсковых же отписках 1639—1642 гг. казаки постоянно подчеркивали, «сгущали» мысль об обнищании, бедности или даже отсутствию у них одежды, с той или иной степенью полноты повторяя формулу: «...всем стали скудны: ести и носити нечево — наги, и боси, и голодни»⁵⁷.

И «Повесть об осадном сидении», и войсковые отписки в общем свидетельствовали об одном и том же, не противореча друг другу. И в «Повести» и в отписках упоминаемые явления «сгущались», усугублялись. Но на этом сходство кончалось. Когда автор «Повести» заговаривал, например, о скудости пищи у казаков, то он выражался образно: «А запасы к нам хлебные не бывают с Руси николи. Кормит нас, молотцов, небесный царь на поле своею милостию: зверьми дивииими да морскою рыбою. Питаемся, ако птицы небесные: ни сеем, ни орем, ни збираем в житницы» (556). Войсковые же отписки нагнетали формулы, не доходя до предметной конкретности: «скудны», «ести нечево», «голодни». При отражении одних и тех же обстоятельств азовской осады в «Повести» сгущение событий было художественным, а в отписках — преимущественно понятийно-логическим. Так, где вопрос касается представлений об одежде, ни «Повесть» не влияла на войсковые отписки, ни отписки не влияли на «Повесть».

Мы не знаем источников, прямо указывающих на бытование у донского казачества образного представления о «кровавых зипунах» как о своей типичной и почетной одежде. Ясное, и притом художественное, выражение этого представления явилось заслугой автора «Повести».

В казачьих песнях не встречалось настойчивого «приподымания» социальной значимости казаков. В войсковых же отписках царю конца 1630-х — начала 1640-х годов и в прочих казачьих документах доволь-

⁵⁷ См.: РИБ, т. 18, стб. 981; т. 24, стб. 49, 50, 73, 260, 287, 370.

но часто делались извиняющиеся напоминания о «самовольности» казаков; отсюда подразумевалась необходимость особого, уважительного подхода к казачеству: «Люд у нас самовольной; где куды пошел, того не уймешь»; «а они люди вольные, в неволю никою послать не мочно»⁵⁸ и т. п. Тут нашло естественное отражение действительное положение вещей⁵⁹. Недаром Григорий Котошихин даже двадцать лет спустя после азовских событий писал о казаках: «И дана им на Дону жить воля своя»⁶⁰. Самоуважение казачества не было преувеличенным.

Правда, во внутренней переписке с казачьими городками по Дону азовские казаки могли выражаться и так: «Все земли нашему казачьему житью завидывали»⁶¹. Элемент преувеличения здесь ощущался, но не очень большой. Слава о вольном казачестве действительно распространилась широко, и тот же Григорий Котошихин отмечал: «Доном от всяких бед свобождаются»⁶². Самоуважение казачества как общественное настроение, судя по документальным памятникам, проявилось в сравнительно скромных формах. Позиция же автора «Повести» и позиция казачества ощутимо различались. Автор «Повести об азовском сидении» вызывающе выпятил общественную значимость азовских казаков.

Ни в казачьих отписках, ни в казачьих песнях времени азовских событий не ощущалось и полемики с Москвой по поводу отказа в поддержке⁶³. Ни исторические песни, ни войсковые отписки тех лет не называли, например, словом «пустыня» места обитания казачества; не прозвучала в них горестная тема отъединенности казаков от России. Настроения сиротливой отдаленности казаков от Москвы были свойственны только автору «Повести». Необычно дерзкий автор «Повести» далеко «ускакал» от казацкой массы и остался один на один с силами Москвы. В этом заключался драматизм ситуации.

Если рассматривать «Повесть об азовском осадном сидении» на фоне русской литературы 1630-х — 1640-х годов, то бросается в глаза ее художественно-полемическая уникальность. Никто в то время не ввязывался даже в осторожную полемику с царем и московскими властями; наоборот, в литературе 1630-х — 1640-х годов старательно поддерживалось впечатление внешнего благополучия.

⁵⁸ РИБ, т. 24, стб. 53, 330 и др.

⁵⁹ О независимом положении донского казачества см.: Робинсон А. Н. Повесть об азовском взятии и осадном сидении, с. 170—172, 176, 179, 201 и др.

⁶⁰ Тхоржевский С. Указ. соч., с. 15.

⁶¹ РИБ, т. 18, стб. 810.

⁶² Тхоржевский С. Указ. соч., с. 14.

⁶³ Любопытно замечание одного из историографов: «Надобно полагать, что казакам не слишком нравилось сидеть в Азове, ибо они исполнили немедленно царское повеление; в других же случаях, где находили собственные выгоды, не охотно царским приказам повиновались» (Берх В. Царствование царя Михаила Федоровича и взгляд на междуцарствие. СПб., 1832, ч. 1, с. 283—284).

Наряду с резкостью выражаемого недовольства особенностью «Повести» состояла еще в том, что в ней, пожалуй, впервые в средневековой русской литературе идейная полемика велась не в привычной манере логических суждений, а почти целиком художественными средствами. В обстановке грандиозной российской волокиты 1630-х — 1640-х годов автор «Повести» избрал необычную манеру полемики, вероятно, для того, чтобы наверняка пробить эту самую волокиту, жалить неожиданнее и острее. И это ему, по-видимому, удалось. В политической силе художественного слова власти разобрались быстро. Недаром для сочинителя «Повести», если им являлся Федор Порошин, дело закончилось ссылкой в Сибирь⁶⁴.

И в этом отношении «Повести об азовском сидении» не подыскивается литературных аналогий тех лет. Некоторую близость к ней проявляет лишь уже упоминавшаяся «Повесть о Ерше Ершовиче», который «что змия ис-под куста глядеть»⁶⁵. К выбору необычной, дерзкой манеры полемики мог подтолкнуть, Между прочим, и общий рост индивидуального авторского начала в XVII в. — процесс неостановимый⁶⁶. Прошло 25 лет, и всю развернулся мощный художественно-полемический талант Аввакума.

4. 1650-е — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1660-х ГОДОВ. СТРЕМЛЕНИЕ ВЕРХОВ К УМИРОТВОРЕНИЮ ОБЩЕСТВА, НО ОТГОРОЖЕННОСТЬ ОТ «НАГИХ-БОСЫХ»

1650-е — первая половина 1660-х годов — это время проведения и утверждения никоновских реформ, породивших большое число разнообразных сочинений и документов. Подавляющее большинство их было посвящено относительно частным, утилитарным темам. Не так уж много памятников широко характеризовало общественные настроения тех лет. К таковым из рукописных источников относились лишь единичные документально-полемические сочинения со вкраплениями очень кратких характеристик общероссийской обстановки да одна-две повести. Среди печатных изданий 1650-х — первой половины 1660-х годов было немало повторений прошлого. Пожалуй, не более 15 изданий отличалось оригинальными предисловиями и послесловиями. Они-то и составляют основной фонд текстов для наших наблюдений.

Старопечатные предисловия и послесловия 1650-х — начала 1660-х годов делятся на три хронологические группы. Для этих текстов пер-

⁶⁴ Робинсон А. Н. Повести об азовском взятии и осадном сидении, с. 227.

⁶⁵ РДС, с. 10.

⁶⁶ О росте индивидуального авторского начала в литературе XVII в. см.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 144—146 и сл.

вой половины 1650-х годов были типичны довольно длинные панегирики царю и патриарху за проводимые церковные реформы, например в предисловиях, сочиненных Епифанием Славинецким: Алексей Михайлович и Никон «преданья им грады украшают, к сим суд праведен, правду нелицеприятну, любовь истинну, благочестие неповредно храняще...» (41)¹; «О, достохвалнаго, благоприятнаго, ползоноснаго, благопотребнаго священноначалническаго тщателства, им же... пажить уготовляется... вода... в напоение... почерпается благолепие устроуется... чин... опасно соблюдается» и т. д. (Скрижаль, 11—12). Ср. «покаянные» стихи, сочиненные не ранее патриаршества Никона: «Второй Иерусалим явися царство Московское. Убо зрите и разумеите, вернии сынове света, российское достояние» (41).

Но издатели не увлекались идеализацией событий. Во всех их похвалах поминались некие теневые обстоятельства, в которых вершили реформы царь и патриарх: «Воистинну бо их благочестным повелением лукавство исчезе, неправда отгнана бысть, лжа потребися...» (Служебник, 42—43). Эти отрицательные обстоятельства пояснялись и поконкретнее: власти «от священноначалствуемых мрачную умовреднаго невежества тму прогоняют», «темен неведения мрак разрешающе», «невежества во многих уме лежащаго камень... от мысленнаго таинъственных священнодейств кладязя отвалити потщася» (Скрижаль, 4, 9—10). Издательские панегирики, несомненно, намекали на противодействие в российском обществе распространению никоновских реформ. Автор предисловия к «Скрижали» открыто негодовал: то, что ввел Никон, «неким неискусным и самомудрым, паче же суемудрым скаредовиднаго безчиния рачителем есть ненавистно. Сии бо темным умовредныя ненависти или дебелаго неведения мраком душевредне омрачившесе и мысленная очеса своя во еже на светлую исправлений лучи не зрети смеживше... Оле, пагубоноснаго роптания! О, несмысленни ропотницы!...» (Скрижаль, 13—14).

¹ Цитируемые произведения: грамота Никона — Грамота Никона о Крестном монастыре. М., 1656; Евангелие — Евангелие. М., 1657. Указываются листы издания; Ирмологий — Ирмологий. М., 1657. Указываются листы издания; Кормчая — Кормчая. М., 1653. Указываются листы издания; «покаянные» стихи — *Сергеев В. Н.* Русские песнопения XVII в. на историческую тему // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник, 1975. М., 1976; послание Герасима Фирсова — *Никольский Н.* Сочинения соловецкого инокa по неизданным текстам: (К истории северно-русской литературы XVII века). СПб., 1916; послания Ивана Неронова — Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые Н. И. Субботиным. М., 1875, ч. 1; поучение Никона — Поучение о моровой язве. М., 1656; Скрижаль — Скрижаль. М., 1655—1656; «Слово» Никона — Слово о создании Иверского монастыря // Рай мысленный. Иверский монастырь, 1658—1659. Указываются листы издания; Служебник — Служебник. М., 1655; Триодь — Постная триодь. М., 1656. Указываются листы издания; царская грамота 1654 г. — ПСЗ, т. 1; царская грамота 1660 г. — ААЭ, т. 4.

Если последователи Никона были раздражены, то противники его реформ тоже испытывали отрицательные чувства. Например, Иван Неронов писал в своих посланиях в 1653 и 1654 гг.: «Люди Божия смущаемы и печалию погружаемы», «ныне мнози озлоблены и уstraшены», «чадом церковным везде плачь» (38, 39, 72). Казалось бы, в обеих группировках должно было усилиться взаимное озлобление.

Но если говорить о настроениях верхов, то нельзя пройти мимо того факта, что те же панегирики царю и патриарху в старопечатных предисловиях и послесловиях выражали вовсе не чувства ненависти или злобы по отношению к несогласным. Хулы в адрес противников были редки. Авторы нажимали на слова «согласие», «союз», «любовь», например: правленные при Никоне книги «друга друзей вси согласуют... ради церковнаго союза и согласия... Во едино согласие вся сочеташа... к согласию же и к соединению благому церкви» (Кормчая, 647 — 647 об.). Общественное согласие выставлялось целью реформ. Авторы подчеркивали мирную, радостную устремленность никоновских реформ на каждом мыслимом этапе. Сначала Бог «благоволи... всех православия питомцев... возвеселити... правоверных догмат целостию утешити». Затем «от духа премудрости и кротости подвигся» патриарх. «Всем сущым под ними тоежде творити повелеша» царь с патриархом, и вот уже как бы в самом деле «истинна ликует, правда цветет, любовь владычествует» (Скрижаль, 2, 41, 43, 2 об.). Авторы, по-видимому, очень хотели любви и мира в обществе.

Особенно ясно желание мира видно из издательских обращений к читателям, ко «всеми православному роду российскому» (Скрижаль, 18). Прямыми и косвенными призывами и пожеланиями о мире авторы буквально заполнили предисловия и послесловия: «Буди же вам, христоменитому достоянию, всем известно, яко да союз мира церковнаго твердо в душе кротости хранится и да не будет несогласия ради распри в церковном телеси» (Кормчая, 647); «и ничто же по сему нужнейши и краснейши есть человеком сего ино мнети по словеси божественаго Павла, пишуца к римляном: „Аще возможно еже от вас, со всеми человеки мир имейте“» (Служебник, 1 об.). Патриарх Никон в грамоте, опубликованной отдельной книжечкой, также обещал читателям время, когда «устремляющыяся на ны волны и бури утишит и мир сотворит» (25). Ср. такие же заверения в царской грамоте 1654 г.: «...мир строится и, любя, тем присно на лучшее преуспевати... присно благих желающе и лучшее преспевающе» (330). Издатели не испытывали озлобления к тем, кто не принимал никоновских реформ.

Правда, издательские призывы и пожелания к читателям о мире имели существенный оттенок. Так, в предисловии к «Служебнику» провозглашалось: «Праведно есть и нам всякую церковных ограждений новину потребляти» (7). Этот призыв был взят из речи Никона, помещенной в том же «Служебнике» (16). Из контекста предисловия и, ко-

нечно, из речи Никона следует, что под «новиной» авторы подразумевали дониконовские порядки, а в качестве старого выдавали никоновские реформы. Все перевернуто с ног на голову! Подменной оценкой автор предисловия стремился сбить упрямых читателей с панталыку. Авторские предложения мира и согласия читателям имели скрытое условие: принять сторону Никона. На таком скрытом условии основывались многочисленные воззвания к читательской массе о знаменующем общий мир единодушном почитании царя и патриарха: «Должно убо всем повсюду обитающим православным народом восхвалити же и прославити» царя и патриарха — за реформы; «да возрадуютъжеся вси живущии под державою их и да возвеселятся... да под едином их государским повелением вси повсюду православные народи живуще утешительными песньми славити имут» — никоновские реформы (Служебник, 40, 44). Иногда же повод для восхвалений назывался несколько яснее: «Елико же кто вас, православных читателей иафефороссийскаго народа, со благодарением сие дело от них приемше... хвалу... благодарение... молитвы воздадите» (Триодь, 2). Пожалуй, только однажды формулировка условия будущего мира вырывалась из пут двусмысленности: «...аще чада Божия непорочна быти вождедеют... многокозненну зависть истребят, искреннюю любовь в сердце своем насадят, богомерзкое безчиние возненавидят, боголюбезное благочиние возлюбят и, самому первостолному церковнаго священноначалия чиноначалнику во всем благоумне покоршеся, досточестная воздадут о сем благодарения» (Скрижаль, 16—17). Издатели ставили читателям условия мира не жестко, но твердо. Подобная позиция не обостряла сложившуюся обстановку, но и не смягчала ее.

Затем, в старопечатных изданиях второй половины 1650-х годов, произошла смена акцентов. Прежде всего описания распрей и несогласий стали гораздо определеннее. Например, сам Никон в «Поучении» печатно объявлял: «...мнози, купно и особь собирающесе, о нас глаголаху неподобная и грехи наша понимающе... Тии же которавшии на нас не удовлившеся сим, но и ложная от лукаваго сердца видения и сония пред очи простейших предлагаху. Простии же и ненаученнии... внимают баснем их крамолным и бесовским и ложным их пророчеством... и чюдо, како и сим таковым лживым сновидцом мнози ненаказанныи последуют» (23—24, 25—26, 38). Издатели уже не чувствовали некие «душевредные облака», а отчетливо видели толпы враждебно настроенных людей.

В старопечатных обращениях к читателю постоянно стала предугадываться неприятная ситуация: «ащо... обрящеши яково в чесом сумнителное тебе», «аще где и случися яковому чесому привпасти посползновению» (Ирмологий, нумерованн. 5, 6 об.); «аще ли суть нецыи, чтуще книги сия... и не хотят веровати», «аще кто не веровати сему хочет» («Слово» Никона, 51, 64). Издатели, которые обращались «всем,

всякаго чина и возраста, мужеска полу и женска, православным христианом» («Поучение» Никона, 2), теперь постоянно ощущали присутствие сомневающихся или даже недружественных читателей. Все это вполне соответствовало реальной обстановке проведения никоновских реформ, начавшемуся общественному расколу.

Естественно, что печатные упоминания о будущем мире и согласии перестали быть такими частыми, как прежде. Издатели теперь не увлекали читателей к миру, а вежливо просили его, как, например, в послесловии к «Евангелию»: «Честнозем вашим всех благих, наипаче же мира, любве... просим» (2 об.). Желание мира словно потеряло остроту. Издатели без прежней уверенности надеялись на наступление мира: «...и вем, яко всяк от вас восхоцет послушати Христа» — и призывали не столько к благополучному миру, сколько к общему плачу по: поводу распри: «Но приидете убо вси... и восплачем, вси православнии народи, мужи, жены и отрочата, всякаго чина и возраста... Возставим общь плачь... Возвысим глас моления вместо ненавидимаго... кричания» («Поучение» Никона, 44—45). В сознании издателей момент наступления общественного мира явно отдалился. Надежда на мир стала более холодной.

Будущее казалось иным. Авторы теперь раздавали только внешне примирительное, а на самом деле досадливое прощение инакомыслящим: «Буди им милость Божия и не постави им Господи, греха, аще ли живыя или отшедшия» («Поучение» Никона, 25); «буди им милость Господня, понеже немощь человеческую помышляють» («Слово» Никона, 51 об.). Авторы уже словно не могли справиться с читателями и пускали дело на самотек.

Но совсем отказаться от воздействия на читателей, конечно, было невозможно. Издатели переменяли решительные призывы к читателям на сравнительно осторожные уговоры, вроде такого: «Не точию не внимати леть есть лжесловесию оных лживых сновидцзов, но и блюстися их яко губителей» («Поучение» Никона, 35). Издатели понимали, что читатели вполне могут не «блюстися». Издатели перестали толкать читателей к немедленному нужному действию и вынуждены были побуждать их к размышлениям: «...да искусит вещью... но иже искусом познав, уразумееть лучшее» («Слово» Никона, 64 об.); «судите сами, чада возлюбленная, кого вам требе послушати...» («Поучение» Никона, 40—41). Приходилось ждать, чего решит читатель.

Издатели отсылали к неким авторитетным советникам: «Тебе, православного читателя, с покорением любезно молим... да не предвариши осудити или укорити нас, но прежде... сведущим вникнув», «исправи умом своим, и не едиточию, но со множайшими мудрости сея достойными и искусными» (Ирмологий, нумерованн. 5 об., 6 об.). Это был новый элемент в обращениях издателей к читателям и, следовательно, в сознании издателей. Между двумя сторонами — авторами и читателями — вдруг появилась третья сторона.

Неожиданно четкое отражение этого нового явления находим в рукописном сочинении одного монастырского красноречивца — в огромном богословском послании влиятельного соловецкого инокера Герасима Фирсова к архимандриту Саввино-Звенигородского монастыря Никанору, составленном не позднее 1658 г. (XXIV). Здесь немало говорилось об истолковании различных текстов, и в конце послания многозначительный Герасим Фирсов вывел лапидарное правило осмысления сочинений: «Достоит... навывкнути истинное... не собою, но ходатайством посреде некако вышележащаго нас чина служебническаго» (130). То есть предполагалось, что теперь автор непосредственно не мог внушить нужное читателю; для этого требовался третейский суд.

На примере самого себя Фирсов пояснял должное поведение читателя: «Паче же бояся и никако же отнюдь веруя своему разуму когда, со мною боязнию и смотрением прилагаю се, яко, аще имать ин некий разум добрейший, от сих чтый да смотрят и разумевае...» (129). Ни авторы, ни читатели не мыслились у Фирсова главными сторонами; за главную силу выдавались какие-то мудрые истолкователи, примирявшие возраставшее расхождение писателей и читателей. Вот снова мирный выход из общественного конфликта, предложенный писателями, тяготевшими к российским верхам.

Издатели 1650-х годов даже несколько конкретизировали условия мирного улаживания разногласий. Судя по эпизодическим замечаниям, в качестве третьей, решающей стороны авторы были склонны выбирать тех, «елико кто изобилует дарованием родоязычия», «аще сам искусен греческа диалекта», «яже аще кто усердие имея к писанию божественному и к сему поне малейшую часть греческа языка навывкновение» (Триодь, 1 об.; Ирмологий, нenumерованн. 5 об.; Евангелие, 2). То же с присутствующей ему определенностью заявлял Герасим Фирсов: «...добро убо свершенным и обучена имущим душевная чювьства к разсуждению лучшаго и злаго» (115). Издатели фактически откращивались от «простых и ненаученных» читателей и слушателей: «Простии же и ненаученнии не ведуще полезнаго» («Поучение» Никона, 26). Герасим Фирсов осуждал резко: «Не добро же простым и еше сущим о Христе младенцем», от них «всяка бо прелесть и ересь сиче введена бысть житию» (115, 128). Путь общественного умиротворения, понравившийся всем этим издателям и авторам, не был демократическим. У такого рода авторов имелся идейный ориентир. Ведь наиболее развернуто и резко «простии» осуждались в правительственных документах тех лет, например в царских грамотах: «Есть некие, именуются всеу православные христиана, розных всяких чинов люди, от препроста ума своего и своим неразумием и нерадением, гордости ради... без покаяния всегда пребывают» (царская грамота 1660 г. в Великий Новгород, 160). Издатели книг думали об умиротворении в интересах верхов.

Наметившаяся общественная позиция издателей получила законченное воплощение в книгах первой половины 1660-х годов. Тогда из четких книг в свет выпускались издания преимущественно бословского содержания — «Анфологион, сиесть Цветословие» (сборник переводов Арсения Грека), «Библия», толкования Иоанна Златоуста на Евангелие, сборник переводов Епифания Славинецкого из отцов церкви. Уже сам по себе подобный репертуар изданий предполагал подготовленного читателя.

Любопытна в связи с этим история сборника переводов Епифания Славинецкого. На титульном листе сообщалось, что книга была составлена еще в 1656 г., а издали ее только в 1665 г., — тогда, когда возобладала ориентация издателей на очень образованного читателя. Знаменательно, что из предисловий и послесловий исчезли упоминания о «простых» читателях. Издатель теперь упрекал своих современников за то, что они в учености отставали от Максима Грека: «Во всех благоискусен бе сый и много от человек ныняшняго настоящего времени отстоящ мудростию и разумом во всяком остроумии» (Беседы 1664. Послесловие, 2 — 2 об.)². При таких требованиях мало кто мог считаться достойным чтения книги.

Представления издателей об избранном читателе детализируются по тому предисловию к печатной «Библии», которое написал Епифаний Славинецкий. Эпитеты говорят сами за себя: «Читателю благочестивому и в писаниих люботщаливому», «иже дар по благодати Духа святого родоязычия имей», «любомудрию твоему» — вот к какому знатоку в первую очередь адресовалась книга (2 — 2 об.). В наставлениях читателю уже не шло речи о советниках: «...егда вникнув в сию божественную книгу... первее увеждь вину вещи... и тогда держай», «аще восхощещи, чтый изследити о сих», «веси и сам» — самому читателю доверялось разбираться в прочитанном (2 — 2 об.).

Разбираться же надо было в длиннейших, бесконечных фразах с массой вставных и придаточных предложений³. Например, о том, что

² Цитируемые произведения: Беседы 1664 — Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея. М., 1664. Указываются листы издания; Беседы 1665 — Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. М., 1665. Указываются листы издания; «Библия» — Библия. М., 1663. Указываются листы издания; грамота Алексея Михайловича — *Гиббенет Н.* Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1882, ч. 1. Приложения; послание Никона 1662 г. — *Гиббенет Н.* Указ. соч.; сборник Епифания — Сборник переводов Епифания Славинецкого. М., 1665. Указываются листы издания; челобитная Ивана Неронова 1660 г. — Материалы для истории раскола за первое время его существования, ч. 1; челобитная Савватия — Три челобитные справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря. СПб., 1862.

³ О стиле предисловия Епифания Славинецкого к «Библии» см.: «...широкочестительность изложения, когда при изложении главной мысли в нее вводится много второстепенных определительных (параллелизм церковных песнопений, акафистов); конструкция речи близко подходит к языку церковных книг» (*Ротар И.* Епифаний Славинецкий, литературный деятель XVII века. Киев, 1901, с. 59, сноска 111).

царь повелел издать «Библию», сообщалось так (цитируем с большими сокращениями): «Сие ведение... возлюби и взыска... по некоего мудраго словеси, „невесту водити себе и любитель быти красоты ея», благоверный... царь... и не себе единому, по Сираху, трудися о взыскании ея, но и всем ищущым наказания; ...восхоте и сию божественную книгу, Ветхий и Новый завет, прежде не сущу зде в велицей России художеством типографства издану, ныне издати и миру даровати; паче же нам, роду славянороссийскому, благодатно преизбыточествова; юже ныне видев, благочестивый и православный читателю... не забывай достойна делателя мзды твоей, иже бо николи же никто же мимошедших времен от царей и благочестивых князей зде, в велицей России, сичевое великое сокровище, паче многих тысящ всяческих сокровищ мира сего, о нем же в начале тебе изъявлено, яково есть, церкви великороссийстей предложити усердствова типографии художеством, яко же...» и т. д. и т. п. (2). Подобное изложение было рассчитано на образованнейшего читателя, который легко бы следил за ходом мыслей, потому что все эти сведения и объяснения, похвалы и цитаты в более полном и систематизированном виде уже присутствовали в его памяти.

Издание «Библии» не предназначалось для широкой массы читателей. Недаром в предисловии Епифаний Славинецкий без обычных количественных определений «чтущего» народа отмечал, что книга издана «ради... зде в велицей России ищущих и хотящих имети я», и только (2 об.). Правда, в кратком и, надо сказать, шаблонном послесловии издатели обращались ко «всем же повсюду православным христианом, господием, и братии, и другом» (516); но это шаблонное обращение было использовано просто по традиции. Предисловие к «Библии» вернее, чем послесловие, указывало на реальный круг читателей, желанных издателям.

Прочие впервые изданные четьи книги половины 1660-х годов предназначались издателями для того же довольно редкостного, наученного языкам читателя, понимавшего «различна речения» и «с греческих и славенских различных преводов произвола» — варианты (Беседы 1665, 2; сборник Епифания, тит. об.). Стремление издателей замкнуться в сравнительно узком кругу «искусных» читателей проявилось во время резкого обострения споров из-за никоновских реформ. В посланиях, челобитных и грамотах тех лет открыто признавалось наличие раскола, «иже на Москве глаголетца от всемножественного народа»: «...и учал быти раскол: в книгах речь, а в людех другая»; «брань бо сия лютейшая... смущение убо велие... распря и несогласие»; «ныне в народе многое размышление и соблазн, а и в иных местех и расколы» и др. (послание Никона 1662 г., 226; челобитная чудовского монаха Савватия около 1662 г., 40; челобитная Ивана Неронова 1660 г., 168, 170, 176; грамота Алексея Михайловича 1662 г., 243). То, что в этих условиях издатели книг еще не пошли на печатную полемику с противниками никоновских реформ,

а как бы отгородились от них, свидетельствовало о прежней, мирной позиции издателей и их руководителей. Только возможности для сохранения мира все сужались и вот почти исчезли. Через год-другой тактика верхов была изменена. Появление Симеона Полоцкого на общественной арене помогло российским верхам начать и в печати ожесточенную борьбу с «простими», с «невеждами», с раскольниками.

«Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело Молодца во иноческий чин», при всей своей лиричности, отразила большой комплекс социальных представлений ее автора. Однако прежде чем заняться социальными воззрениями неизвестного автора, желательнее поточнее датировать эту знаменитую «Повесть». Исследователи относят ее к XVII в., охотнее ко второй половине XVII в., чем к первой половине. Чтобы определеннее атрибутировать «Повесть», обратим внимание на некоторые ее реалии.

Главным для датировки в данном случае является следующее высказывание «Повести» о Молодце: «Крестил он лице свое белое... горазд он крестится, ведет он все по писанному учению (8)⁴. Упоминание крещения «по писанному учению» объясняется использованием в «Повести» традиционного фольклорно-былинного выражения. Если автор как-то соотносил привычное фольклорное выражение с современной ему действительностью, то тогда стоит подумать, когда в XVII в. могло и когда не могло употребляться выражение «крестится... по писанному учению». Патриарх Никон, как известно, заменил двухперстное крещение, завещанное «писанием», на трехперстное. Реформы Никона, включая перемену в способе крещения, широко, общенародно разъяснялись не

Цитируемые произведения: «Агафонушка» — Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. А. П. Евгеньева, Б. Н. Путилов, 2-е изд., доп. М., 1977; «Азбука о голом и небогатом человеке» — РДС / Текст памятника по Трондхеймскому списку 1663 г. подгот. Н. С. Демкова; «Ох, в горе жить» — Древние российские стихотворения; песнопение о Никоне — Древнерусские рукописи Пушкинского дома: (Обзор фондов) / Изд. подгот. В. И. Малышев. М.; Л., 1965; «Повесть о Горе-Злочастии» — *Симони II. К.* Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело Молодца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи XVIII-го века. СПб., 1907. Факсимильное издание рукописи РНБ, собрание Погодина, № 1773; «Повесть о Еруслане Лазаревиче» — Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1859, т. 2, отдел II; «Повесть о Шемякином суде» — РДС; «Притча о Хмеле» — Пам. СРЛ, вып. 2; «Про гостя Терентиша» — Древние российские стихотворения; сборник пословиц конца XVII в. — Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий / Изд. подгот. П. Симони. СПб., 1899; «Сказание о попе Саве» — РДС; «Сказание о птицах» — Древнерусские сказания о птицах / Изд. подгот. Х. Лопарев. СПб., 1890; «Сказание об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы» — Повести о начале Москвы / Изд. подгот. М. А. Салмина. М.; Л., 1964; «Служба кабаку» — РДС.

«писанием», а печатными изданиями. Связь реформ Никона с печатным «учением» была в то времена общепризнанной: соответствующие никоновские документы ссылались прежде всего на печатные греческие и московские книги; противники реформ обвиняли Никона прежде всего в следовании «книгам латиногреческим печатным»⁵.

Ср. противопоставление «писания» и «печати» в песнопении о Никоне, приписываемом Аввакуму: «А како мы в писание слышахом, не вразумихомся... А како нас угодник антихристов прельстил... и всем даде свою богомерскую печать на челе и на десной руке. О, люте, злый Никоне... Не ты ли потоптал закон и книги пророческия, не ты ли поругал Троицу трисоставную, в ней же мы крещаемся и им же мы знаменаемся и кладем на лица своя?.. Не ты ли предал печать скверную всем чело-веком? О Господи, владыко, творец наш, помилуй нас от... его печати скверныя» (190—191).

Значит, можно предположить, что Молодец в «Повести о Горе-Злочастии» крестился по старому, «писанному учению»; автор сказал бы иначе, если бы дело происходило после окончательного утверждения никоновских реформ. Троеперстие было утверждено церковным собором 1656 г., но затем последовал десятилетний период разногласий, когда большинство населения крестилось двуперстно по-прежнему; только «заповедь» собора в июле 1666 г. положила начало резкому реальному разделению на старообрядцев, которые продолжали креститься «по писанному учению», и на «никониан», крестившихся по установлениям никоновских печатных книг⁶. Значит, «Повесть о Горе-Злочастии» появилась не позднее 1666—1667 гг. Это предположение, конечно, шаткое: если автор бездумно повторил привычное выражение о «писанном учении», то оно не имеет датирующего значения.

Второе датирующее высказывание в «Повести»: «Ты поиди, Молодец, на царев кабак» (14). Кабак в «Повести» упоминается неоднократно. Но в соответствии с царскими указами в период с 1652 г. до 1 сентября 1664 г. кабаки были переименованы в «кружечные двory» (сокращенно «кружала»)⁷. Значит, «Повесть» могла быть написана или до, или после этого периода. Правда, такое предположение тоже шатко: в народе кружечные двory могли по-старому называть кабаками и после царских указов; даже в официальных документах 1652—1654 гг. кружечный

⁵ Об этом см.: *Каптерев Н. Ф.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909, т. 1, с. 194, 234, 236, 458 и др.

⁶ *Каптерев Н. Ф.* Указ. соч., с. 505, 507, 509 и др. См. также: *Макарий.* История русской церкви. М., 1883, т. 12, с. 667, 770.

⁷ Ср. царские указы и грамоты 1651 г., 16 августа 1652 г., 15 июня 1663 г., в марте 1664 г. — ПСЗ, т. 1, с. 262, 579; ААЭ, т. 4, с. 88; ДАИ, т. 4, с. 371. См. также: *Прыжов И. Т.* История кабаков в России в связи с историей русского народа. 2-е изд. Казань, 1914, с. 109—112.

двор нет-нет и прозывался кабаком⁸. И все-таки доводы, хоть и шаткие, очерчивают некие хронологические рамки: «Повесть о Горе-Злочастии» могла появиться или не позднее начала 1650-х годов, или в середине 1660-х годов.

Дополнительные наблюдения позволяют указать предпочтительное время появления «Повести». Дело в том, что в «Повести» можно обнаружить множество косвенных связей с правительственными мероприятиями и требованиями конца 1640-х—начала 1650-х годов и с более поздними; притом не с самими постановлениями, а с их результатами, с привычными обстоятельствами, сложившимися после соблюдения таких постановлений. Так освещается в «Повести» история пьянства Молодца. Рассказывается, что, «как будет день уже до вечера, а солнце на западе, от сна Молодец пробужаецца» в кабацкой избе и покидает кабак (6—7). В упоминании того, что Молодец уходит из кабака именно вечером, возможно, отразился установившийся обычай, введенный царскими предписаниями 1652—1653 гг.: кружечные двory (а затем и кабаки) «запирать за час до вечера» летом, а зимой еще раньше⁹. Совет Молодцу на случай пира — «не пей, чадо, двух чар за едину» (3) — тоже можно сопоставить с указами 1652—1653 гг.: «А продавать вино... по одной чарке человеку, а болши той указной чарки одному человеку продавать не велели»¹⁰. В кабаке Молодец «испывал чару зелена вина, запывал он чашею меду слатково и пил он, Молодец, пиво пьяное» (6). Но в кружечных дворах первоначально было запрещено торговать медом и пивом: «...пива и меду продажного отнюдь бы не было»; правда, затем вроде бы разрешили завести мед и пиво на кружечных дворах, но, вероятно, не везде; и еще в 1660 г. документы осторожно оговаривались: «А буде на кружечных дворах изволит великий государь опроче вина быть пиву и меду...»; только с новым открытием кабаков в 1664 г. повсеместно разрешалось «пиво и мед продавать»¹¹. Молодец действительно пил в кабаке, а не на кружечном дворе. Наконец, от соблазна пьянства «Молодец в монастырь пошел» (22); и тут нельзя не вспомнить череду строжайших церковных запрещений 1649—1652 гг.: «Во всех монастырех хмелное питье, вино и мед и пиво, отставить»¹². Эта россыпь бытовых деталей в «Повести» позволяет относить произведение не ко времени до начала 1650-х годов, а скорее к середине 1660-х годов.

Наш хронологический выбор подтверждает еще одна реалья в «Повести»: Горе внушает Молодцу «убити и ограбить, чтобы Молотца

⁸ Ср., например, крестопроводную запись в августе 1652 г., память в декабре 1653 — январе 1654 г. — ААЭ, т. 4, с. 90, 93; АИ, т. 4, с. 199.

ААЭ, т. 4, с. 88, 95.

¹⁰ Там же, с. 88, 95.

¹¹ ПСЗ, т. 1, с. 521, 579; ААЭ, т. 4, с. 88, 95; ДАИ, т. 4, с. 370. См. также: Прыжов И. Т. Указ. соч., с. 111—122.

¹² Прыжов И. Т. Указ. соч., с. 57, 485 и сл.

за то повесили или с камнем в воду посадили» (22). Повешение или утопление за разбой или иные преступления специально не оговаривалось «Уложением» царя Алексея Михайловича 1649 г., но именно серия царских указов 1654—1659 гг. уточнила, за какие вины вешать¹³. Любопытно, что уточняющее указание на повешение за убийство содержит, кроме «Повести о Горе-Злочастии», также и «Сказание об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы», тоже сочиненное после 1652 г. (но до 1681 г.): «А тебе, княгиня Улита Юрьевна, повешеной быть на воротех и зле ростриляной, или в землю по плечь живой быть закопаной, что мы напрасно здумали зло на князя неправедно» (202—203. Говорят ее соучастники). И все-таки нельзя не отметить разницу. В «Сказании об убиении» ориентация на правовые нормы более ощутима: по «Уложению» 1649 г., закопание заживо действительно полагалось жене, убившей мужа. В «Повести о Горе-Злочастии» же оглядки на конкретные обычаи уголовного права, возможно, и не было; повешение Молодцу могло назначаться по традициям фольклора; ср., например, пословицы о разбойниках: «Дошел тать в цель — ведут его на рель», «жаль вора да повесить», «злое ремесло на рель занесло», «опочинь вор на рели» (сборник пословиц, 96, 100, 105, 130). Датировка «Повести о Горе-Злочастии» все-таки выходит предположительной.

Но тем нужнее для датировки возможные подтверждения с разных сторон. Вот совсем иная реалья в «Повести»: когда у Молодца в очередной раз «не стало деньги, ни полуденги», то «пришла ему быстра река, за рекою перевозчики, а просят у него перевозного, и подать Молодцу нечево» (15); но за спетую песню перевозчики вдруг перевезли Молодца, «а не взяли у него перевозного» (19). Здесь вспоминается уставная царская грамота 1654 г., запрещавшая злоупотребления разными поборами на перевозах; грамота установила единую небольшую плату за перевоз: «На великих реках... в вешнюю полуую воду... с пешаго человека по деньге... на меньших реках... с пешаго человека по полушке»¹⁴. Отсюда, возможно, и проистекала уступчивость перевозчиков в «Повести о Горе-Злочастии». Быть может, не случайно, что эпизод с перевозчиком и платой перевозного есть также в упомянутом «Сказании об убиении Даниила Суздальского», хотя перевозчик здесь жадный и коварный (201—202).

И еще несколько соответствий. В «Повести о Горе-Злочастии» подчеркнута необходимость соблюдения «вежества» в поведении: «...люди... учнут тя чтить и жаловать... за вежество» (11); вопрос о «вежестве» постоянно вставал с конца 1640-х по начало 1660-х годов; и документы отмечали: «...невежливым обычаем пришли к государеву двору»; «в

¹³ ПСЗ, т. 1, с. 340, 370, 488. См. также: *Сергеевский Н. Д.* Смертная казнь в России в XVII и первой половине XVIII века // Журнал гражданского и уголовного права, 1884, кн. 9, ноябрь, с. 9, 18, 20—22.

¹⁴ ПСЗ, т. 1, с. 331.

челобитной вашей писано с большим невежеством»; «говорил с невежеством»; «учали бить челом с большим невежеством»¹⁵. В «Повести о Горе-Злочастии» отмечается место детей купеческих на пиру: «место среднее, где сядят дети гостиные» (8); датирующая зацепка здесь такова: именно в 1659 г. вспыхнул спор о месте купечества; некоторые купцы претендовали быть выше даже самих дьяков; спор дошел до царя; после разбирательства по царскому указу и боярскому приговору было велено, чтобы «гости были написаны дьяков ниже многими месты», — в месте среднем или ближе к среднему, потому что «ныне-де в гостинном чину люди молодые и дети обычных отцов торговых людей»¹⁶. В «Повести о Горе-Злочастии» находим описание зажиточного двора: «Двор что град стоит, изба на дворе, что высок терем» (8); оказывается, в 1650-е годы шли споры и о высоте надворных строений, которые хозяева нередко делали высокими, затемняя свет соседям; последовал царский указ¹⁷.

Разумеется, не удастся жестко приурочить «Повесть о Горе-Злочастии» к бытовым явлениям тех или иных десятилетий XVII в., потому что история русского быта изучена недостаточно подробно. А если у «Повести» украинские корни? Это усложняет датировку. Однако предварительные сопоставления, изложенные нами, свидетельствуют, пожалуй, в пользу предположения о середине 1660-х годов как о времени появления «Повести о Горе-Злочастии» в том виде, какой передал ее единственный дошедший до нас список.

Обратимся к социальным представлениям автора «Повести». Прежде всего показательны пристрастия автора к группировке людей. Автор эмоционально делил общество на две противоположные части: сеть люди «мудрые», «мудрые и разумные», «мудрые и досужие» (то есть искусные) и есть люди «глупые», «глупые-немудрые» (3, 4, 9, 13).

Проводилось в «Повести» еще одно разделение людей: есть «государя люди добрые» (8—11, 18—19) и есть люди злые, плохие. Соотношение всех этих категорий людей было несложным. Оно подсказывается синонимами к слову «добрый». Например, в одной из фраз «Повести» синонимом к слову «добрый» было как раз слово «мудрый»; эти слова были поставлены автором в единый синонимический ряд прилагательных: «Ты послушай пословицы добрыя, и хитрыя, и мудрыя» (3). Такие примеры не единичны. Все «доброе», хорошее означало у автора «мудрое», «разумное». И действительно, автор иногда прямо приравнивал эти определения в характеристиках людей. Например, «добрый Молодец» значил и «разумный Молодец»: «...добро(й) еси ты и разумный Молодец» (11).

¹⁵ «Распросные речи» 1649 г., царские грамоты 1650—1652, 1655 и 1662 г. — ДАИ, т. 3, с. 242, 266; ПСЗ, т. 1, с. 364, 568, 569.

¹⁶ ПСЗ, т. 1, с. 484, 485.

¹⁷ Там же.

По «Повести» можно понять, отчего у автора возникло подобное приравнивание. В одном месте «Повести» автор мимоходом объяснял зарождение хорошего, «доброго» именно от разумного: почему молодец запел «хорошую напевочку»? «Запел он хорошую напевочку от великаго, крепкаго разума» (18). Беглость такого разъяснения у автора свидетельствует о привычном сращении следствия и причины — понятий хорошего и разумного.

В другом месте «Повести» автор также мимоходом пояснил свое мнение и о «мудрых» людях: раз люди «мудрые», то не приведут ко злу; наставление Молодцу — «а знайся, чадо, с мудрыми и разумными водися и з друзи надежными дружися...» — завершилось разъяснением: «...которые бы тебя злу не доставили» (4). Это были, в сущности, единые понятия у автора — «люди мудрые-добрые» и «люди глупые-плохие».

Но деление людей на «мудрых-добрых» и «глупых-злых» — чисто оценочное. Имело ли оно у автора «Повести» социальный смысл? Люди в «Повести» иногда назывались по их занятиям или происхождению. К «мудрым-добрым людям» автор причислял, например, мастеров-портных (19) и «детей гостиных» (8); детей купеческих?), а к «глупым-злым людям» относил костарей, корчемников, голов кабацких (4), «лядей», то есть лентяев, и бражников (13). Однако такие обозначения в «Повести» единичны и не заполняют всего объема авторских понятий о людях хороших и плохих.

В «Повести» присутствует еще одно социальное деление людей — на «богата и убога», то есть на богатых и бедных. Сама формулировка такого противопоставления в «Повести» почти незаметна, так как употреблена автором всего один лишь раз, и притом в контексте, примиряющем, смазывающем противоположение; Молодцу советуют: «Не безчестуй, чадо, богата и убога, а имей всех равно, по единому» (4). Поэтому только на формулировку опираться не следует.

Зато контрастное изображение богатых и бедных, имущих и неимущих пронизывает всю «Повесть». У богатых — деньги, «живота большы старова» (12), у них «богатество» (13); у бедных же — «не стало денъги, ни полуденги» (7), они терпят «безъживотие злое... безконечную нищету и недостатки последние» (2—3). У богатых «двор, что град; стоит изба на дворе, что высок терем, а в избе... дубовой стол» (8); у бедных же — «нет ничево» (18), ни двора, ни избы, ни стола. Богатые одеты в «драгие порты, чиры и чулочки.. рубашка» (7; ср. 18—19); бедным же «ведома нагота и босота безмерная, легота-безпроторица великая» (14; ср. 2), у них в лучшем случае «гунка кабацкая» и «лапотки-отопочки» (7; ср. 19); богатому родиться «белешенку», у богатого «тело белое» и «ясные очи» (7, 10, 16, 19); а бедный «родился головенкою», у бедного «изъсушила печал... белое тело... и ясныя очи замутились» (10, 19). Самое бедное действующее лицо — «Горе горинское» —

вообще «нечистое» и «серое» (13, 17, 18), «босо-наго и нет на Горе ни ниточки, еще лычком Горе подпоясано» (16).

Кстати, о Горе. При различных истолкованиях образа Горя (см. известные работы Ф. И. Буслаева и Д. С. Лихачева), несомненно, это олицетворение человеческого состояния или качества, наблюдающееся в фольклоре и переходящее в книжность. Ср. олицетворение в «Притче о Хмеле». Ср. олицетворение в «Сказании о птицах»: «Ворог тот человек сам себе, которой возметя за ходое дело; а Худо и давно за него приметя» (3). Ср. олицетворение в песне «Про гостя Терентиша»; зане-дужила жена:

А Недуг-ат пошевеливается
Под одеялом соболиным...
А Недуг-ат непутем в окошко скочил...
Он оставил, Недужишша,
Кафтан хрушетой камки,
Камзол баберековой... (19).

В этой юмористической песне сделан двойной шаг в персонификации: под Недугом мог подразумеваться любовник. Ср. также возможное олицетворение в «Повести о Еруслане Лазаревиче»: «Потеха у меня во царстве людей добрых не оставила, всех перевела и хочет меня извести. Выходит, брате, ис тово озера чюдо о трех головах, а емлет у меня на всякий день по человеку» (123).

Но вернемся к богатым и бедным. Изображенные в «Повести о Горе» богатые люди сыты, они «пьют-ядят, потешаются» (8); бедным же «кушати стало нечево» (7); показательно признание обедневшего Молодца: «Уже три дни... не едал я, Молодец, ни полу куса хлеба» (16). Противопоставление богатых и бедных получилось в «Повести» исключительно выразительным, хотя автор «Повести» не старался специально противопоставить одних другим.

Авторскую мысль о соотношении людей «мудрых-добрых» и людей богатых выдает соответствующее словоупотребление. Человек богатый и человек мудрый для автора «Повести» фактически были синонимами; недаром эти понятия свободно подменялись одно другим в обращении к Молодцу: «Не хвастай своим богатетством, бывали люди.. и мудряя тебя и досужае» (12—13). Искусная мудрость и богатство связывались у автора как причина и следствие; поэтому автор объяснял богатство Молодца его разумностью: «И учал он жити умеючи, от великаго разума наживал он живота болшы старова» (12); поэтому в наставлениях Молодцу мудрость исключала бедность: «Ты послушай пословицы добрыя, и хитрыя, и мудрыя — не будет тебе нужды великия, ты не будеш в бедности великою» (3). Автор «Повести» различал людей «мудрых-добрых-богатых» и людей «глупых-плохих-бедных». Вот в чем заклю-

чалось у автора скрытое социальное различие людей. Скрытым это различие было и оттого, что автор «Повести» выражал свои социальные представления как писатель-рассказчик, а не как теоретик-публицист.

Автор «Повести» ввел длинный ряд дополнительных различий между людьми «мудрыми-добрыми-богатыми» и людьми «глупыми-плохими-бедными». Они, по изображению «Повести», различались своим отношением к обществу. «Мудрых» людей, в представлении автора «Повести», выделяли смирение и тихость; поэтому «добрые люди» «разумному» Молодцу советовали: «Смирение ко всем имеи и ты с кротостию держися...» (11); поэтому разум и смирение превращались у автора в синонимы, ср. синонимичное словосочетание: «Будет Молодец уже в разуме-в беззлобии» (3).

Слова «смирение», «кротость» имели в «Повести» социальный смысл. Слово «смирение» означало у автора прежде всего «вежество», умение по правилам вести себя в обществе; вот почему эти слова стояли в одном ряду синонимов: «за твое смирение и за вежество». Вот почему автор отметил, что, усвоив наставления смиренню, «средил Молодец честен пир отчеством и вежеством» (12); автор даже поместил в «Повести» правила и примеры смиренного «вежества» на пирах (3, 8—9, 12). Смирение означало и подчинение обычаю; недаром автор отметил также, что смиренный Молодец «присмотрил невесту себе по обычаю» (12). «Мудрые-добрые-богатые» люди считались также и смиренными, послушными.

И наоборот, «глупые-злые-бедные» люди представляли в «Повести» беспокойными и непокорными: «Ино зло племя человеческо в начале пошло непокорливо, ко отцову учению зазорчиво, к своей матери непокорливо и к советному другу обманчиво» (2). Безумие — это и есть несмирение: «А на безумие обратилися... а прямое смирение отринули» (2). Глупость — это и есть непослушание; поэтому когда Молодец был «глуп, не в полном разуме и не совершен разумом, — своему отцу стыдно покоритися» (4—5). Люди «глупые» насмешливы: «...глупыя люди немудрыя чем тебе насмеялися» (9); насмешливо и Горе, которое «над Молодцем насмисялося» (21). Люди «глупые» — это и есть воры и разбойники; поэтому Молодца предупреждали: «Бойся глупа, чтобы глупыя на тя не подумали да не сняли с тебя драгих порт... Не дружися, чадо, з глупыми-немудрыми, не думай украсти-ограбити и обмануть-солгать...» (3—4). Вообще «думать» — это дело людей плохих: «А зла не думай на отца и мать» (4). Люди бедные, «нагие» — это отпетые разбойники; в «Повести» так и говорилось неоднократно: «А нагому-босому шумит розбой» (14, 15); Горе «научает... убити и ограбити» (22). Богатые в «Повести» представляли угодными обществу, а бедные — опасными для общества. Подобное социальное деление нельзя не признать резким.

Деление обостряется изображением различного места людей в обществе. Богатым-смиренным людям положен почет: ведь «учнут... чтить и жаловать за... смирение и за вежество» (11). А озлобленным бедня-

кам — «срамные позоры немерные», много «позорства, и стыда великаго, и племяни укору, и поносу безделнаго», у них неизбежность «жития сего позорного» (2, 4, 16); недаром Молодцу, когда он беден, всегда «стыдно» и «срамно» (5, 8, 15, 17). Богатые-смиранные люди «безпечалны», «веселы», у них «счастье» (9, 12, 18). А у «нагого» «скорби неисцельныя и печали неутешныя», он «кручиноват, скорбен, нерадостен» (9—10); его будущее — «в горе погинути», «замучится»: или быть уморену «смертью голодною», или «быть... истравлену... удавлену... убитому», или ждать, «чтобы... повесили или с камнем в воду посадили» (14, 16, 17, 20, 22). Автор «Повести» не пускался в рассуждения по поводу разделения людей в обществе. Но художественные представления автора о социальном делении людей являлись очень четкими и развитыми. У автора воочию были противопоставлены люди богатые-смиранные-почтенные и люди неимущие-непокорные-позорные.

Социальная позиция автора в «Повести» раскрывается также вполне ясно. Не нужно гадать, на чьей стороне стоял автор, если имущих он назвал людьми «мудрыми-добрыми», а неимущих — «глупыми-злыми». Автор любил в «Повести» перечислять признаки бедности, наготы, бессчастия людей. Но за этим не столько крылась жалость к бедным, сколько выражалось ощущение прочности, незыблемости отделения бедных от богатых. Автор, собственно, признавал это и прямо: «Не бывает бражнику богату, не бывает костарю в славе доброй» (19). Кроме угнетающих перечислений проявления наготы-босоты, в «Повести» много парадоксальных, саркастических высказываний о якобы богатой жизни «глупых-злых-нагих» людей: бедному удастся «богато жить — убити и ограбити, чтобы... за то повесили» (22); бедные избавились от бедности: «босоты и наготы они избыли» — «во гроб вселились» (13); нищему Молодцу «житие... Бог дал великое — ясти-кушати стало нечево» (7); в богатые одежды «учал Молодец наряжатися — обувал он лапотки, надевал он гунку кабацкую» (7; ср. 15); Молодцу особый почет: его ведет «под руку под правую» «Горе злочастное» (22); самый «голый» и самый «злой» персонаж — Горе зловеще хвасталось довольством: «А вся родня наша добрая, все мы гладкие-умилные» (20); и вообще счастье и покой бедным: «в горе жить — некручинну быть», «когда у меня нет ничево, и тужить мне не о чем», «да не бьют-не мучат нагих-босых и из раю нагих-босых не выгонят, а с тово свету сяды не вытепут» (15, 17, 18) и др. Все эти саркастические высказывания отдавали не живым сочувствием автора к бедным, а жестким и спокойным авторским ощущением вечной и непреодолимой отделенности бедных от богатых¹⁸.

¹⁸ Вот почему Д. С. Лихачев отметил «глубокий пессимизм самого замысла „Повести о Горе-Злочастии“», «трагический характер „Повести“»: «лишенная сатирической направленности, „Повесть о Горе-Злочастии“ не смешна, а трагична» (Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения лите-

Этому социальному мироощущению автора, казалось бы, противоречит изображение жизни Молодца. Какое место занимал Молодец в обществе? Судя по «Повести», он скорее относился к людям имущим, к купцам, к купеческим детям: родители наказывали ему, как «сбирать богатство» (4), и «наживал Молодец пятьдесят рублей» (5); на пиру сажали его к «детям гостиным» (8), и было надето на Молодце «платье гостиное» (14). Пожалуй, специфически купеческий совет принимал к сведению Молодец: «А чужих ты дел не объявлявай, а что слышишь или видишь не сказывай... не имей ты упатки вилавья, не вейся змиею лукавою» (11)¹⁹. Этот купеческий Молодец, побывавший в шкуре «нагих-босых», вроде бы воплощал связь двух полюсов общества.

Однако связь эта кажущаяся. Как в «Повести» было изображено общение Молодца с окружающими? Молодец охотно общался только с людьми своего круга, а не с «нагими-босыми»: дома — со внешне пристойным «милым-надежным» другом и с иными «милыми друзьями», а на чужой стороне — постоянно с «добрыми людьми» и опять-таки с «честными» друзьями; от Горя он всегда стремился «уехати», уйти, убежать и пытался вернуться домой к «честным своим родителям». Молодец все-таки старался выполнить наставления своих родителей: «Не ходи, чадо, к костарем и корчемникам; не знайся, чадо, з головами кабацкими; не дружися, чадо, з глупыми-немудрыми... А знайся, чадо, с мудрыми и разумными...» (4). Не только родители Молодца, но и сам автор «Повести» на примере Молодца учил не водиться с «нагими-босыми».

Знаменательно также, чем социально расплачивался Молодец за свои ошибки. У него «все имение и взоры... изменилися» (10), однако он не выбывал из круга «добрых людей», к которому принадлежал по рождению: «гунка кабацкая» не навсегда прирастала к нему, но опять заменялась «платьем гостиным», а уж в самом худшем случае — «портами крестьянскими» перед возвращением домой (19); Молодец никогда не забывал «житие свое первое» и выбирал «спасенный путь» (17, 22); он продолжал в «Повести» называться «добрым» Молодцом; у него сохранялось «белое тело» (16) и «белое лице» (10). Полное превращение Молодца в «нагого-босого» человека, полный его переход в число «глупых-бедных» в «Повести» были как бы невозможны. Молодец по недоразумению (то друг обманул, то Горе в облике архангела Гавриила обмануло) лишь «приметался» на время к «недобрым» людям, да и ушел от них²⁰. Автор

ратуры Древней Руси. М., 1975, с. 328; Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976, с. 70, 71).

¹⁹ О купеческом происхождении Молодца см.: Переверзев В. Ф. Литература Древней Руси. М., 1971, с. 246—247, 252; Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 148; Он же. Великое наследие, с. 318, 327.

²⁰ Ср.: «Но в шумной толпе „гулящих людей“ Молодец выглядит белой вороной, случайным гостем» (Панченко А. М. «Повесть о Горе-Злочастии» // История русской литературы X—XVII веков. М., 1980, с. 398).

«Повести» сочувствовал именно такому Молодцу, его вынужденному соприкосновению с миром бедности. Автор целиком стоял на позициях «добрых-богатых-смиранных» людей. Получается, что по своей главной идее «Повесть о Горе-Злочасти» нельзя безусловно относить к произведениям демократическим; во всяком случае, это не демократизм по меркам литературы Нового времени.

Как же тогда «Повесть о Горе-Злочасти» вписывается в картину идейной жизни русского общества первой половины 1660-х годов? Сопоставим «Повесть» с произведениями, прямо говорящими о «нагих-босых». Таких произведений, близких к «Повести» по времени своего появления или бытования, обнаруживается очень мало; это все небольшие сатирические или юмористические произведения: «Азбука о голом и небогатом человеке» по исчезнувшему списку середины XVII в. и сохранившемуся списку 1663 г.; «Сказание о птицах», упоминаемое в документе 1679 г.; «Сказание о попе Саве», датируемое серединой XVII в.; «Повесть о Шемякином суде», датируемая второй половиной XVII в.; некоторые пословицы в самом раннем из дошедших до нас сборников пословиц конца XVII в.; две песни из сборника Кириши Данилова.

Мы не упомянули «Службу кабаку» (по списку 1666 г.), которая, казалось бы, обильнее всех произведений XVII в. рассказывает о «нагих-босых», об их жизни, привычках, поведении. Но если посмотреть внимательнее, то можно убедиться, что в «Службе кабаку» под «голыми» подразумевались только пропойцы; автор гиперболически показывал, что в пьянство и в общение с пьяницами втянуты «все искуснии человеци и благонароचितии в разуме»: «поп и дьякон... чернцы... дьячки... мудрые философы... служилые люди... князе и бояре, и воеводы... пушкари и салдаты... сабелники... лекари и обманцики... тати и разбойницы... холопии... жонки... мужни жены... зернчики, и костари, и такалчики... ростовщики... скупщики... купцы, десятники и довотчики... пономари туды ж, что люди, в стадо бредут... былные ж люди туды же пьют, и всякий человек рукоделны и простыи искусники... повары... лесники... кузнецы...» (38, 48—49). Следующие одна за другой картины всеобщего гомерического разложения, с массой сочных деталей, свидетельствуют о том, что поле зрения автора «Службы кабаку» было необычно суженным; он создал сатирическую «монографию» об одном явлении — пьянстве, но смотрел, так сказать, мимо собственно жизни бедных и богатых.

Что касается остальных перечисленных произведений, то «нагие-босые» в них были те же и отношение авторов к «нагим-босым» было таким же, что и в «Повести о Горе-Злочасти». Оценки богатым и бедным находим те же, что в «Повести о Горе-Злочасти»: богатые — это умные, а бедные — это глупые. Например: «Гусь рече: „Глупому да безумному добра не нажить и богатства не видать, а разумному везде

добро, милость от людей, честь и слава» («Сказание о птицах», 2); «умом наживают, а безумием и старое теряют» (сборник пословиц, 148). Ср. еще: «Ведай себе, человек: на ком худое платье, то пьяница; или наг ходит, то пьяница ж» («Притча о Хмеле», 448); раз «ни пула не стало», то «по делам воистинну дурак» («Сказание о попе Саве», 56).

Пословицы и поговорки в сборнике конца XVII в. недвусмысленно утверждали: богатым быть хорошо, а бедным быть плохо. Ведь «богат шол в пир, а убог брел в мир»; «богат ищет места, а убог смотрит теста»; «убоному — робята, а богатому телята»; «богат мыслит о злате, а убог о блате» («Болото» — так называлось место в Москве, где казнили преступников); «бедность и мудраго смиряет» и т. д. и т. п. (сборник пословиц, 78, 79, 80, 145 и др.). Только один раз в сборнике пословиц конца XVII в. встречается пословица как будто бы с противоположным смыслом: «Богат ждет пакости, а убог радости» (78). Здесь, возможно, перепутаны рифмующиеся слова; первоначально могло быть так: «Богат ждет радости, а убог пакости». Если же принимать пословицу в том виде, в каком она записана в сборнике, то все равно она проявляет сочувствие прежде всего к богатому²¹.

Произведения, подобные «Повести о Горе-Злочастии», напоминали о бесперспективности жизни «нагих-босых»: «Не бывать гулящему богатому» (песня «Ох, в горе жить — не кручинну быть», 198). О «голеньких» говорилось не столько с жалостливостью, сколько с сарказмом: «Есть в людех всего много, да нам не дадут... Люди богатя пьют и едят, а голеньких не съсужают... а голеньким не дадут» («Азбука о голом и небогатом человеке», 229); «ржи много в поле, да нам нет доли»; «подлинная весть, что нечево есть»; «ретка есть — отрыгается, а рыбка есть — не случается»; как и в «Повести о Горе-Злочастии», сарказм выражал безжалостное и спокойное убеждение в непреодолимости границы между бедными и богатыми: «Беден часто ся озирает, хотя и не ево кличют»; «вопрос: что-де бос; ответ: сопогов нет»; «дали ногому рубашку, ин толста», «родился наг, пропади и с платьем» (сборник пословиц, 132, 137, 138, 81, 86, 97); «а нагому безрукай за пазуху наклал» (песня «Агафонушка», 142). Обнадеживающие высказывания звучали издевательски: «Богатым злато нищих ради» (сборник пословиц, 78); «а и денег нету — перед деньгами» («Ох, в горе жить»). И вообще бедному не надо ни на что претендовать: «Бедному кус за ломтя место» (сборник пословиц, 78).

²¹ Глубоко верно замечание А. М. Панченко: «Однако нельзя видеть в демократической прозе и поэзии XVII в. прямое сатирическое обличение... На самом деле мотив обличения Шемяки в повести почти не ощущается... Со всем трудно решить, кого осуждает „Повесть о Ерше Ершовиче“...» (Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970, с. 555—556). О социальном смысле пословиц см.: *Пушкарёв Л. Н.* Общественно-политическая жизнь России: Вторая половина XVII века. Очерки истории. М., 1982, с. 76—155.

Судя по пословицам, быть бедным — это хуже худшего: «Бедной в нуже, что жаба в луже»; «бедному везде бедно»; «опоясан мешком да бредет пешком»; «пожили в луже, да нажили хуже»; «свинопас и рубашку пропас»; «у гола гол голик»; «человек убог, что конь без ног» и т. д. (81, 130, 135, 141, 146, 154). Оттенок насмешливой презрительности проглядывал в пословицах о бедноте и об обедневших людях: «Астрахань — арбузами, а мы — гологузами»; «наготы-босаты навешаны шесты»; «прыток без порток, без коня в поле скачет»; «одолела дворянина густая крашенина» (холщовая одежда) (76, 125, 131, 133). И в «Повести о Горе-Злочасти», и в сатирических повестях, и в юмористических песнях, и в пословицах сочинители, как правило, не сочувствовали бедности, а, наоборот, подобно богатому человеку в «Повести о Шемякинском суде», были склонны «поносить убожество» (17).

Как и в «Повести о Горе-Злочасти», главные герои повестей и песен не принадлежали действительно к «нагим-босым». Вот, например, «Повесть о Шемякинском суде»: «В неких местех живяше два брата земледелцы, один богат, други убог... бедный». Но разве это «убогий», если у него «свой дровни»; если он едет «ко двору своему», а у двора его «подворотня»; если есть у него «шапка» и «плат»; если судья не сомневается, что ему «убогий» «узел сулит злата», да не один, а три узла? (17—18). Это не «нагой-босой», а просто человек менее состоятельный, чем богатый брат. Не относится к «нагим» по своему происхождению и герой «Азбуки о голом и небогатом человеке»: «Отец мой и мати моя оставили мне имение были свое...»; «ферези были у меня добры...»; «земля моя пуста...» (229, 230). Вовсе не «нагим» является Молодец в песнях о Горе и в песне о реке Смородине²².

Как и в «Повести о Горе-Злочасти», главные герои повестей и песен не хотели становиться «нагими-недобрыми», не хотели общаться с «нагими» и не общались с ними. Герой «Азбуки» признавался: «Солгать, украсть не хочитца»; «где мне подетися от лихь людей-от недобрых?». От небогатых и «лихих» герой готов был отбиваться дубиною: «Охнул бы у меня мужик, как бы я ево дубиною по спине ожог, чтоб впредь бы на меня зла не мыслил». Герою «Азбуки» (по двум спискам XVII в.) хотелось иного: «з богатыми в пиру седеть... хотелось мне, молодцу, с богатыми поводитися»; «я, коли бы был богат, тогда бы и людей не знал» (229, 230, 27, 28). Герои не изображались в общении с «нагими-босыми» ни в «Повести о Горе-Злочасти», ни в сатирических повестях, ни в песнях.

²² Ср.: «Принадлежность героя к высокому кругу — факт сравнительно редкий для народных песен неисторического содержания», но «песня показывает его в начале в кругу „разумных“, и сам он принадлежит к этому кругу» (Путилов Б. Н. «Добрый молодец и река Смородина» и «Повесть о Горе-Злочасти» // ТОДРЛ, т. 12, с. 228, 230).

Герои терпели наказание, если по каким-либо причинам уклонялись от общения именно с «богатыми-добрыми» или с благонамеренными людьми. Так было показано не только в «Повести о Горе-Злочастии», но и, например, в «Сказании о попе Саве»: «...в приходе у него богатые мужики»; однако «людми он добрыми хвалитца, а сам от них пятитца», «со многими людми разбронился», стал «добрых людей варамми... называть»; и вот финал: «И как над ними наругался, толко сам в беду попался... на цепь попал... Радуйся, с добрыми людми поброняся, а в хлебне сидя, веселяся» (55—57). Во всех приведенных сочинениях, включая пословицы, авторы глядели на «нагих-босых» людей, в сущности, глазами людей «богатых-разумных».

Проявления «недемократичности» общепризнанно демократических произведений XVII в. можно объяснить тем, что на демократические по происхождению материалы оказали влияние те, кто их обрабатывал, — составители, не принадлежавшие к демократическим кругам. Позиция составителей могла влиять, например, на подбор пословиц или песен в соответствующих сборниках, на подбор высказываний и афоризмов в повестях. Но отделить якобы чуждое народу влияние составителей мешает цельность произведений, отсутствие в них явственной идейной раздвоенности. Вот почему более естественным представляется другое объяснение: отрицательное отношение к «нагим-босым» в произведениях преобладало потому, что собственный взгляд «нагих-босых» на самих себя еще не сформировался; так или иначе, но заимствовалось отношение господствующих слоев к бедным²³. Собственно демократическую точку зрения на «нагих-босых» еще не найти ни в челобитных разных несчастных людей, ни даже в челобитных Аввакума. Демократическая точка зрения на «нагих-босых» постепенно стала заявлять о себе, по-видимому, не ранее последней трети XVII в. До этого времени, в 1650-е — первой половине 1660-х годов, демократические круги еще не противопоставили чего-либо идейно значительного верхам российского общества, отгородившимся от «нагих-босых» и вообще от низов.

5. КОНЕЦ XVII В. В АТМОСФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВРАЖДЫ

Прежде чем входить в общественные настроения конца XVII в., дадим необходимый источниковедческий очерк. Конец XVII в. источниковедчески сильно отличается от предыдущего периода: источников, в которых отразились общественные настроения, совсем немного, а соответствующих крупных сочинений наберется едва больше десяти.

²³ «Мировоззрение феодального крестьянина и ремесленника... испытывало непрекращающееся и сильное влияние церковной идеологии и мировоззрения правящих классов» (Пушкарев Л. Н. Пословицы в записях XVII в. как источник по изученную общественных отношений // Исторические записки. М., 1973, т. 92, с. 326—327).

Объемистость и содержательность даже самых крупных произведений о настроениях конца XVII в. также не очень велики: например, объем известного печатного «Увета духовного» Афанасия Холмогорского 1682 г. все-таки не идет в сравнение с объемом и богатством содержания знаменитого «Жезла правления» Симеона Полоцкого 1667 г., не говоря уже об «Обеде душенном» и «Вечере душевной». Относительно более обильный материал по общественным настроениям содержат лишь печатные поучения патриарха Иоакима да «Созерцание краткое» Карiona Истомина и Сильвестра Медведева. Это немного. Так что, занимаясь концом XVII в., мы не можем позволить себе роскошь пользоваться только самыми крупными, интересными и знаменитыми литературными памятниками, как это делалось при изучении 1660-х — 1670-х годов. Для конца XVII в. приходится подбирать памятники и помельче.

Привлечение более мелких памятников все-таки не спасает положение. Жанровый состав всей россыпи памятников конца XVII в., характеризующих общественные настроения, оказывается не пестрее, а беднее, тусклее, чем в 1660-е — 1670-е годы. Оригинальных старопечатных предисловий и послесловий, так выручавших нас ранее, — единицы¹. Преобладают поучения² и церковно-полемические трактаты³. К ним присоединяется

Цитируемые предисловия: «Предисловие на книгу Типик» — Устав. М., 1682; «Предисловие» — Увет духовный. М., 1682; послание Евфимия Чудовского в качестве предисловия к «Щиту веры» — отрывок: *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, М., 1862, отдел 2. ч. 2; послание патриарха Адриана в качестве предисловия — Православное исповедание веры. М., 1696; «Во известие книги сея читателю» — Толковое евангелие. М., 1698. Издания и сочинения называются в ссылках сокращенно: Устав, Увет, Щит, Православное исповедание, Толковое евангелие.

² Цитируемые поучения: Слово патриарха Иоакима на Никиту Пустосвята. М., 1682; «Возглашение увещательное всему российскому народу... Иоакима патриарха... в нем же изъявление на расколников...» — Увет духовный. М., 1682; Слово благодарственное патриарха Иоакима об избавлении церкви от отступников. М., 1683; поучение 1687 г., написанное для произнесения патриархом Иоакимом — отрывок: *Горский А. В., Невоструев К. И.*, Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, отдел 2, ч. 2; «Слово поучительное святейшаго Иоакима патриарха всероссийскаго» — Остен: Памятник русской духовной письменности XVII века. Казань, 1865; Служба, житие и слово на Иоанна Воина. М., 1695. Издания и сочинения называются в ссылках сокращенно: Слово на Никиту, Слово благодарственное, поучение для патриарха, «Слово поучительное», Служба.

³ Цитируемые трактаты: полемика Афанасия Холмогорского с раскольничьей челобитной — Увет духовный. М., 1682; «Известие истинное православным и показание светлое о новоправлении книжном...» Сильвестра Медведева 1688 г. — *Белокуров С. А.* Сильвестра Медведева Известие истинное... М., 1886; «Книга о пресуществлении тела и крове Христовы...» Афанасия Холмогорского 1688 г. — отрывок: *Верюжский В.* Афанасий, архиепископ холмогорский: Его жизнь и труды... СПб., 1908; «Остен» 1690 г. — отрывок: *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской синодальной

несколько исторических сочинений⁴ и ряд грамот⁵. Художественных повестей и сказаний нет («Повесть о Фроле Скобееве» относится к более позднему периоду); есть, правда, стихотворные произведения⁶. В общем, на обнаружение ярких эстетических явлений надеяться нельзя. Информация о настроениях получается довольно однообразной. Создается впечатление, что не только в начале XVIII в., но уже в конце XVII в. было «не до литературы»⁷.

библиотеки, отдел 2, ч. 2; «Отрагительное писание...» Евфросина — *Лопарев Х.* Отрагительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей: Вновь найденный старообрядческий трактат против самосожжения 1691 года. СПб., 1895. Сочинения называются в ссылках сокращенно: «Известие», «Книга о пресуществлении», «Остен», «Отрагительное писание».

⁴ Цитируемые исторические сочинения: «История о вере» и челобитная о стрельцах Саввы Романова — Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихоновым. М., 1863, т. 5; «Летописец» 1619—1691 гг. — ПСРЛ, т. 31 / Текст памятника подгот. В. И. Буганов; «Созерцание краткое...» Кариона Истомина, отредактированное Сильвестром Медведевым в 1687—1689 гг. — Сильвестра Медведева Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся в гражданстве // ЧОИДР, 1894, кн. 4, отдел 2 / Текст памятника подгот. А. Прозоровский; сочинение Авраамия 1696 г. — *Бакланова Н. А.* «Тетради» старца Авраамия // Исторический архив. М.; Л., 1951, т. 6. Сочинения называются в ссылках сокращенно: «История», «Летописец», «Созерцание», «Тетради».

О «Созерцании кратком», сочиненном Карионом Истоминым и отредактированным Сильвестром Медведевым, см.: *Волков М. Я.* «Созерцание краткое» как источник по истории общественно-политической мысли // Общество и государство в феодальной России. М., 1975, с. 198—208.

⁵ Цитируемые грамоты: соборное постановление в ноябре 1681 г. — АИ, т. 5; челобитная московских стрельцов, гостей, посадских людей и ямщиков 6 июня 1682 г. — ААЭ, т. 4; изветное письмо 2 сентября 1682 г. — там же; грамота патриарха Иоакима 25 сентября 1682 г. — там же; царская окружная грамота в сентябре 1682 г. — там же; настольная грамота патриарха Иоакима 5 апреля 1683 г. — АИ, т. 5; царские указные статьи 5 октября 1682 г. — ААЭ, т. 4; царский указ 21 мая 1683 г. — ПСЗ, т. 2; послание патриарха Иоакима 1683 г. — *Брайловский С. Н.* Один из «пестрых» XVII-го столетия. СПб., 1902; соборное постановление до 1689 г. — АИ, т. 5. Документы называются в ссылках сокращенно: ноябрьское постановление, июньская челобитная и т. д.

⁶ Цитируемые стихотворные произведения: «Книга желательно приветство мудрости» Кариона Истомина 1683 г. — *Брайловский С. Н.* К вопросу о литературной деятельности русских писателей XVII столетия, носивших имя «Карион» // ИОРЯС, 1909, т. 14, кн. 1; «Рифмы краесогласия о прелести суетнаго сего мира...» 1691—1692 гг. — *Панченко А. М.* Стихотворный отклик на свержение царевны Софьи // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник, 1974. М., 1975; «Стих о жизни патриарших певчих» не ранее 1684 г. — РДС / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; стихотворение Евфимия Чудовского 1680 г. — отрывок: *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, отдел 2, ч. 2. Сочинения называются в ссылках сокращенно: «Книга приветство», «Рифмы», «Стих», стихотворение Евфимия Чудовского.

⁷ Ср.: «В так называемую Петровскую эпоху, занятую ускоренным развитием экономики и государственности, было „не до литературы“» (*Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973, с. 213).

Больше того. На основании имеющихся источников информация об общественных настроениях конца XVII в. составляет не только однообразная, но и однобокая. Дело в том, что, во-первых, удается раскрыть социальные настроения отдельных авторов, но не читательской массы: в печатных и рукописных источниках конца XVII в. обращения к читателям обычно слишком общи и традиционны, и в текстах, как правило, уже не чувствуется той заботы о читателе или тех стараний воздействовать на читателя, которые мы наблюдали, например, у Симеона Полоцкого. Было уже «не до читателя». Во-вторых, раскрываются настроения преимущественно верхов общества, так как подавляющее большинство авторов привлекаемых нами сочинений принадлежали к этим верхам или ориентировались на эти верхи. В-третьих, социальные настроения верхов общества определеннее всего устанавливаются для 1682—1683 гг. или для первой половины 1680-х годов, — для времени первого стрелецкого или, точнее, стрелецко-раскольничьего мятежа, потрясшего верхи общества: больше половины собранных источников относятся именно к этим годам, образуя компактную группу. Более поздние источники разрозненны, и совсем нет литературных источников по общественным настроениям второго стрелецкого мятежа 1698 г. Состав источников предопределяет ущербность предпринимаемого анализа.

Характеристику общественных настроений конца XVII в. мы начнем с обычной для русских старопечатных книг темы. В старопечатных предисловиях и послесловиях нередко говорилось о советах и совещаниях царя, патриарха и иных важных лиц по поводу составления и издания той или иной книги. Эту тему уже развивал Иван Федоров. В печатных книгах конца XVII в. эта тема приобрела особый смысловой оттенок. Издатели стали усиленно подчеркивать широкую соборность подобных совещаний: «...совета, совещаща же синодално... пред всем священным собором... чтоша, при всех российских архиереех... соборне исправиша... и руками своими подписавши архиерее суть сии...» (далее следовал длинный перечень подписавших. Устав, 3 об. — 4 об.). Соборы у издателей как бы непрерывно громоздились один на другой, и, хотя авторы не посвящали свои сочинения специально соборам, о череде соборов в книгах повествовалось долго (Увет, 20—40, 61 и сл.).

Широкие и непрерывные сборища и соборы представляли у издателей как заграда против всякого зла: «...с совещаща же синодално... дабы... крамола и спона места не имела...» (Устав, 3 об.); «ради совершенного исправления погрешенных вин церковнаго благочиния» (Увет, 40); «по-неже тогда вси архиереи, архимандриты, игумены, священники же и диаконы всего царствующего града Москвы мнози те книги несоша ради правды, еже бы, увидя истину в них, престали того зла» (Увет, 61 об.).

Противостоящие злу соборы означали у издателей, пожалуй, нечто большее, чем заседания по церковнокнижным вопросам. Соборы представляли как воплощение сил добра, объединители всего положительно-

го, центр притяжения людей. Поэтому издатели старательно напоминали о высокой значительности соборов и совещаний: «...собора великий собор в преименитый свой царствующий град Москву», «соизволи убо собору быти во царских его палатах» и т. п. (Увет, 20, 40). Поэтому издатели особенно нажимали на архитектурность соборов: указывалось, что «тщатели» «во оном делании время не малое... трудишася» (Устав, 4); описывалась церемония внимательного рассмотрения, чтения, слушания, исправления документов «на вящее утверждение и подкрепление» добрых дел; издатели все повторяли, что одному, второму, третьему соборному сидению и рассмотрению «не удовлися», «не довольно вмени», а посему следовали еще соборы и рассмотрения (Увет, 26 об., 31 об., 34, 39 об.). Наконец, поэтому издатели отсылали людей к подлинным документам подобных соборов и совещаний: «Аще ли же кто в чесом усумнится, да идет на печатный царскаго пресветлаго величества двор и в его государской в книгохранительной палате самага преводу и на нем исправления... и указа, како повелесе делати, да посмотрит...» (Толковое евангелие, 6).

Издатели, конечно, говорили не только о соборах, но и вообще о людях, согласных с соборными решениями. Речи о таких людях нередко были рифмованными. Рифмовка проступала неявно, как случайные глагольные созвучия, например: «...дабы вси православнии христиано-российстии народи незаблудным и воздержательным жития путем добраго подвига течение совершали, и присноразрешительным ядем и питием, подобие нечинным пением и праздноством, не церковным типическим повелением сотвореным, не внимали, но, да отческим типиколожением последующе, всякое церковное песнопение по типикю совершали» (Устав, 2 об.). А временами рифмовка становилась явственной, что видно по проставленным в книгах ударениям: «И яко же... церковь... от всех христиан содержится, такожде и zde в Российском царстве и древле и ныне красится» (Увет, 10); или рифмовка ясна сразу: «Книгу же сию всяк благоразумный читай в ползе и живи благополучно в лете долзе» (Толковое евангелие, 6 об.). Рифмовкой в данных случаях выражался смысловой оттенок некоей замкнутости, объединения вкупе всех «благоразумных». Недаром ритмом и рифмовкой подчеркивался сбор всех «благоразумных» в единое место:

Убо тецыте, тецыте к нему,
жаждущие, без сумнения.
Отворзен есть кладязь,
изчищен источник,
струи независны,
вода невозмущена,
течет изобилно,
жажду утоляет,

сердца утешает,
 очи просвещает,
 грехи омывает,
 души спасает
 и вечное в небе царство обещает

(«Православное исповедание», 7 об.)

Всех «благоразумных» людей издатели были склонны представлять выделенными в цельное собрание.

Еще яснее и эмоциональнее подобное представление о единой массе всех «благоразумных» людей выражалось благодаря риторическим повторам: «Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всем, иже надо всеми и о всех и во всех нас»; «...сладко есть видети всюду мир... мног мир любящим церковное благокрасотство, мног мир последующим и покаяющимся...»; «...общий смысл всего народа и государства, общий в вере святых разум, общее святых отец учение...»; «тамо пастыри... тамо благочестивии православнии цари... тамо вси людие...» (Увет, 2 нумерованн., 5, 8 — 8 об.).

В представлениях издателей присутствовал сильный элемент противопоставления «благоразумных» людей людям «неблагоразумным». Это видно по последовательности риторических повторов: «...едину православную веру содержим, яже есть святых апостол, яже есть святых отец, яже есть православных всех, яже есть вера вселенную укрепи. Елицы же тако не мудрствуют, прокляти да будут. Елицы же тако не мудрствуют, далече церкви святыя да отженутся. Мы убо древнему законоположению церковному последуем. Мы заповедания святых отец соблюдаем. Мы... проклинаем. Мы... проклинаем. Мы... анафеме предаем» и т. д. (Увет 271—272).

Вполне возможно, что склонность к резкому эмоциональному противопоставительному выделению «благоразумных» людей была свойственна сознанию не только издателей и соответственно общественных верхов, но и всего русского общества конца XVII в. Например, в сочинении старообрядца Евфросина, отнюдь к верхам не принадлежавшего, находим места с длиннейшими словесными повторами и с таким же выделительно-противопоставительным смыслом: «О, елико христиане, вонмите и внушите, елицы своему спасению истиннии искателие, елицы евангелския истинны любителие, елицы... послушатели, елицы... пекущиися, елицы... верующе, елицы ведать... елицы слышать... елицы... женущии, елицы желаютъ... елицы тщатся... — сии вси zde с нами днесъ снитидеся во умное се истязалище...» («Отразительное писание», 7).

Но вернемся к настроениям верхов. Склонность издателей и стоявших за ними верхов к резкому отделению людей «благоразумных» от людей «неблагоразумных» вытекала из представления о разделенности современного русского общества. Это основополагающее представление

имело многообразные литературные формы выражения. Придворные авторы конца XVII в., говоря о внутреннем положении России, нередко использовали традиционные, но наполненные новым содержанием сравнения с морской бурей: в России «пагубоблаголивия волны лживых словес воставаху, но о каменную благозакония твердь зле стирахуся тии» (Слово на Никиту, 3); «...во всем обладании Росийскаго царствия, яко корабль мирную ладюю, да... воспасаем... прогнати, яко веслами беззаконное волнение, да не опровержется... паства волнами неправды» (апрельская грамота, 167—168); «корабль, волнующийся среди пучины волн» (поучение для патриарха, 498); «паки воздвижесе житейское море бедоносными яростми волны, яже своим свирепым гнева волнением маломало не опроверже росийскаго гражданства и царскаго величества самодержавства» («Созерцание», 94). Волны и твердь, волны и ладья, пучина волн и корабль, яростное море и «самодержавство», буря и нечто, противостоящее ей, — так о России, о ее внутривластном (а не внешнеполитическом) состоянии сочинители раньше не писали. Придворные авторы конца XVII в. испытывали ощущение глубокой разделенности русского общества.

Конечно, авторы использовали и иные сравнения, менее броские. Например, внутренняя разобщенность в обществе символизировалась образами пшеницы и плевел: «...во многоплодном поле... яко плевелы истребляти» (сентябрьская патриаршая грамота, 371). Ощущение разделенности общества было устойчивым. И эту разделенность чувствовали не только верхи. Например, у старообрядца Евфросина, когда он касался той же общественной темы, появлялось сравнение с тем же смыслом: «Но иде же пшеница, ту и терние родится, и звонець и волчець задавляють класы» («Отрагительное писание», 9).

О положении общества авторы неожиданно заговорили и стихами в прозе:

Царем ли подобает повиноватися
или за мужики безумными гонятися,
презрев их?

Пастырям ли истинным послушание лучши отдавати
или бесноватым таимичищным врагом внимати?

В пастве ли достоин быти
и под началом

или, яко скоту, без пасения на всякия грехи и своеволю
бродити?

Мудрых ли и разумных слушати достоин
или кто безумствует?

Воздержным ли людем сокровища вверяют
или пьяницам и вертопрахом то предавають?

(Увет, 72).

Строка положительная — строка отрицательная. Этой формой рассуждений подчеркивалась мысль о раздвоенности общества.

То же впечатление резкой разделенности общества испытывали авторы, далекие от верхов. Например, причисляемый к демократической сатире «Стих о жизни патриарших певчих» также был насыщен построчными противопоставлениями⁸:

Чюжые кровлю кроют, а свои голосом воют...
 Овому честь Бог дарует, овии же искупают.
 Овии трудишася, овии в труд их внидоша.
 Овии скачют, овии же плачют.
 Инии веселяшеся, инии же всегда слезящеся (235).

Конкретные поводы для настроений у разных общественных слоев выступали разные, но общее социальное впечатление сходилось. Документы признавали: «...множатся церковные противники... развратники же святые церкви там умножаются... противники умножились... урастает на святую церковь противление...» (ноябрьское постановление, 109, 110, 117). Авторы сочинений отмечали «многия разности и несогласия и от того смущение и... бываемую молву» (Устав, 3); «велия беды, величайшия напасти, многия раздоры и нестроения» (Увет, 3); «в нынешнее злолутством кипящее время от злых человек» (послание патриарха Иоакима, 143).

С конца же 1680-х годов все авторы повторяли бесконечно: «...ныне суть великия... вражды и беды несказанныя и злыя друг на друга вымыслы», «великия пакости и нестроения и разрушения», «...смута и мятеж в государстве делается» («Созерцание», 18, 27, 38 и мн. др.); «...в царствующем граде Москве... крамолы и мятежи творяше и ереси всеваше» (постановление до 1689 г., 338); «...творят ненависти друг друга, распри, раздоры, свары, нестроение, мятежи и всяку злую вещь... в российском народе между человеки ненависти соделаша, несогласии устроиша ко распрям, раздором и мятежом (избави, Боже, от браней и кровопролития)...» («Известие», 40); «свары и распри, вражды и ересь...» («Слово поучательное», 116)⁹. Старообрядческие писатели не отставали от писателей придворных в подобных жалобах: «...много смятения о

⁸ Ср. вывод Н. С. Демковой: «Вся вторая часть Стиха посвящена теме общего неурейства жизни, вопиющих социальных контрастов»; «Стих — ...с двухчастной структурой стиха и синтаксически контрастной противопоставленностью обеих частей... такая конструкция фразы... усиливает обличительный пафос Стиха» (РДС, с. 241—242).

⁹ О том же говорилось в подложной речи Ивана Грозного, составленной в 1691—1692 гг. «В памятнике постоянно чувствуется стремление провести параллели между временем молодого Ивана IV и молодого Петра I» (Автократов В. Н. «Речь Ивана Грозного» как политический памфлет конца XVII века // ТОДРЛ, т. 11, с. 271).

том в народе... сомнение и мятеж в наших душах христианских» («История», 133).

С конца 1680-х годов представления авторов о раздробленности общества усугубились; в России, судя по авторским высказываниям, ссорились все со всеми: «...начаша люди зело ради неправд и нестерпимых обид себе стужати и друг на друга глаголати, яко той неправду дает, иный на того, наипаче же на временников и великих судей и на начальных людей» («Созерцание», 37); «словесы ласкаем, но дела снедаем всех люте» («Рифмы», 89); «паче день дне и час часа... между духовными и мирскими людьми то умножают» («Известие», 40).

Усилившееся ощущение враждебности социальной обстановки испытывали авторы не только близкие к верхам, но и из других общественных слоев. Недаром старообрядец Евфросин не без иронии, но и не без ожесточения заменял образ спора с противной стороной образом сражения: «Жестоко ты рыкнул, яже zde азъ услышалъ. Звягомая вамъ песня во уши наши вниде. Дано ти было время, да покаешися о своемъ деле, а понеж отринул и к правде не возникнул, ступай же в поле сечися с сопротивуборцемъ... лукъ к бедре повешай, копие же скоряе в руку, щитом заслонися, конем в рати несися, стреляй, прободай, ногами потопай, аще еси силенъ, и в смерть уязвляй» («Отразительное писание», 4; ср. еще 7, 25, 28 и др.).

Разделенность общества в некоторые моменты ощущалась как распад общества. В большом летописном «Описании о сем, еже содеяся грех ради наших по преставлении царя Феодора Алексеевича всея России во царствующем граде Москве, колико бысть смятение и убийство между собою православных христиан в народе» приводились знаменательные слова стрельцов к властям: «Мы, рече, и сами, взяв жен своих и детей, пойдем из государства вон... А когда вам надобны воры, и вы с ними оставайтеся в государстве своем. Мы же и сами пойдем в ыное царство...» («Летописец», 197). Показательно, что в печатной книжечке, содержавшей службу, житие и поучение об Иоанне Воине, автор чрезвычайно часто возвращался к одной и той же теме: он обличал «зломысленных рабов бегство», «злобных рабов бежание», «зломысленне рабов от господей бегания», «суетное и злокозненное рабов и рабынь от господей бегание», «бегство человек служажих из полков или из домов или из вотчин» и т. д. (Служба, 1 об., 2, 7 об., 16 об., 60 и др.)¹⁰. Таковы были

¹⁰ Ср. массовое бегство от властей в конце XVII в.: «Бегство в леса, пустыни и горы было бегством от крепостничества, но оно обретало и свою идеологию и психологию как побег из мира „скверны“... Таким образом, смертоносным становился факт прикосновения к „скверне“. Какая оставалась альтернатива? Бегство в леса, горы, пустыни, а если и они переставали служить защитой — в огонь»; вырабатывалось «освящение бесповоротного, бескомпромиссного разрыва с миром крепостничества» (Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма. М., 1977, с. 113—114, 121).

основные формы выражения писателями конца XVII в. их ощущений, впечатлений, представлений о разделенности современного им русского общества.

Писатели резко разделяли, с их точки зрения, «благоразумных» людей и людей «неблагоразумных». Тьма эпитетов обрушивалась на головы противной стороны: «злые человеки», «мятежники святых церкви», «крамолники», «самомненные», «самозаконнии же и своеобычнии и самовольнии человецы», «вредословцы и возмутители» и пр. Это самые частые прозвища раскольников и бунтовавших стрельцов верхами общества только из двух книг 1682 г. — «Слова на Никиту Пустосвята» и «Увета духовного».

Рельефный обобщенный облик толпы «мятежников» и «крамолников» был выработан в верхах общества довольно быстро. Это видно по капитальным перечням запретных действий в грамотах — плодам типизаторской работы верхов, например: «...многолюдством и с невежеством и с шумом не приходите и никакой наглости не чинить... о всяких делех бить челом вежливо и нешумко, и ни на кого ничего не затевать, и ничем ни к кому не приметываться, и не клепать... и ни в какие чужие дела не вступаться некоторыми делы... собою ни с кем не управляться... людей и крестьян... свойственниками их не называть»; о смуте «не токмо говорить, и мыслить не надобно»; еще хуже «буде кто... прежние дела учнет хвалить» (октябрьские указные статьи, 386—387).

Противная сторона в поучениях конца XVII в. выступала обязательным, предрешенным источником зла; отсюда вопросы и неуклонные ответы авторов: «Кто брань воздвиже? — Самозаконный. Кто смущение и в людех крамолу сотвори? — Самозаконный и своевольный. Кто упивается и ум свой богодарованный... погубляет и кто святую церковь презирает и ей не покарается? — Все самозаконный» (Увет, 3 об. — 4). В процитированном отрывке из «Возглашения увещательного» патриарха Иоакима, напечатанного в «Увете духовном», упоминание об упивающихся да и вся конструкция вопросов-ответов, вероятно, восходили к соответствующему месту старинной «Повести о Хмеле» и тем способствовали лепке облика «злых человеков» конца XVII в.

Выделение «злых человеков» в единую группировку у писателей, выражавших представления верхов общества, подчеркивалось также и теми средствами, которые использовались для выделения людей «благоразумных», — риторическими повторами и рифмовкой: «А которым сообщник кому в коих делех бывает, той с оным в тех делех и воздания участник бывает... Таковии бо воистинну не суть сынове церкви, не суть государям своим вернии слуги, не суть благочестию помощницы... не сопротивляются... не заступают... не болезнуют... не творят» (Слово благодарственное, 97—98, 102—104).

Но особенно едко писатели отделяли «злых» людей от «благоразумных», когда заговаривали о невежестве. Невежество объявлялось

кардинальным признаком противной стороны. Этот порок врагов мастерски выставлял и обличал в свое время Симеон Полоцкий. А в конце XVII в. обвинения в невежестве получили грандиозный размах. Раскольники и бунтовщики характеризовались у писателей прежде всего как «безумные человеки», «неразумливи человецы», «неискусные человеки», «глупые», «малоумные люди», «неученые люди», «грубии», «безразумны», «малосмыслящий», «не верящий божественнаго писания», «словес силы не разумеют», «не уведевше силы словес», «не знающие писания», «писания не умеющие», «ничего не знают». Ругательства так и сыпались: «невегласы», «невежды», «прости невежды», «оные расколники грубые мужики», «мужики-пропойцы и бесноватии неуки», «простолюдини и незнающий», «неуки, простаки непосвященнии», «мужички-орачики», «пустачи». Их мысли и писания обзывались соответственно: «срамный их ум и лестное учение», «бабии басни», «безумие», «мракодержимая словеса», «безумные писма», «неразумие», «безумство», «паучинное их ткание», «скудость ума», «глупство», «грубость и глупость», «невежество», «несмыслство», «разума неимение», «простые разглаголства и шутства», «безделство и своеумие». (Приведены выражения из «Слова на Никиту», «Устава», «Увета», сентябрьской патриаршей грамоты, «Книги приветство», «Слова благодарственного», поучения для патриарха, «Созерцания», «Известия», «Щита», «Православного исповедания», «Толкового евангелия», а также из «Отрачительного писания».)

Невежество своих противников верхи общества превращали в абсолютно непреодолимое качество: «...и таким неуместным слепцом и невегласом писания божественных книг знати есть невозможно», «таким невеждам... полагати разсуждения не подобает» (Слово на Никиту, 7, 29—29 об.); «не лучилося им грамматического, не токмо философскаго и богословскаго, учения видати, знати же — ни» (Увет, 264 об.); «не могут право разсуждати» («Созерцание», 92); «...яко святыи апостол вещаше: не во всех бо есть разум»; «сам же малосмыслящий и не учився да не разсуждает безделством и своеумием» (Толковое евангелие, 3, 6). Подобные же отсекающие утверждения, в свою очередь, использовали и старообрядцы: «Не могут они окаянники книжных словь разобрати, когда может слепая узоры вышивати» («Отрачительное писание», 87—88). Рассекание общества на взаимоисключающие группировки возобладало в умах.

Господствовавшее в верхах и низах умонастроение разделенности общества сопровождалось комплексом дополнительных социальных чувств. Верхи отдавали себе отчет, что «простолюдины, не ведая истинного писания», «такожде неразумии суще»; что «злии человецы... учат невеждам и простых людей»; «простой народ возмутили», «блазни испустиша в простой народ», «яко и мужик вереща песнь ину»; что «безумнии невегласи-мужики, иже не знают истинно и аза, с ними же», то есть со «злыми людьми»; что «болшая часть не наказанных поселян в них»;

что с ними «и инии невежди-миряне и неуки, самыя худыя люди и ярыжныя з кабаков пропойцы» (ноябрьское постановление, 117; Слово на Никиту, 3 об., 25 об.; Увет, 57 об., 64, 13; «Книга приветство», 19; Слово благодарственное, 42; «Созерцание», 59; и др.).

И вот чувства: верхи желали как можно дальше отодвинуться от «невежд» и поэтому давали себе волю в уничижениях. Уничижительность могла быть не очень заметной, когда писатели бегло касались мнений «невежд»: «На Москве всяких чинов люди пишут в тетрадех и на листах и в столбцах выписки, имянуя из книг божественнаго писания...» (ноябрьское соборное постановление, 117); «мнози неразумливии человецы всякаго чина — священники, монахи, и прости, по монастырям и пустыням, во градах, по (так!) домах прелстишася, мнящеся быти во святом писании разумни»; «яко бы лучше хочет написати, а разумом своим не может того слова ради неискусства познати» (Слово на Никиту, 57); «мнятся мудри быти» (поучение для патриарха, 258); «мнящимся неким ведение закона и писаний имети» («Щит», 498). Так же не силен был тогда и саркастический оттенок: «...не ведяще яже глаголют и о чем утверждаются» (Слово на Никиту, 3 об.); «не разумеюще ни яже глаголют и ни яже утверждают», «и что глаголют и что пишут, — не знают» (Слово благодарственное, 35., ср. еще 37).

Намеренное уничижение становилось явственным, когда писатели приступали к разбору речей и писаний раскольников и мятежников. Рисовались комические сцены их полнейшей неосведомленности: «Иже вопрошени быша о вере: Что есть вера? — И они ея не знают. Вопрошени о книгах: Кия новыя книги и кия старыя и что писано? — Отнюд не разумеют»; «вопрошени же: Что есть вера и кая старая в новая? — Ничего не знают» (Увет, 13 — 13 об., 65 об.); «Что есть вера и кая старая и новая? — И они... сказаша бо, что ничего не знают» («Созерцание», 86); «глаголют... яко бы zde, в российской церкви, учинилася вера новая, а кая новая вера и что есть вера, — того не знают» (Слово на Никиту, 5 об.). О том же в ином, гротескно-высоком стиле: «Воздуваху скверными усты лживыя ветры учения и, яко пеною текущими, безгласием противу истины связани, демонствуеми же, упором скрежещуще зубы, оцепенеша» (Увет, 16 об.).

Саркастически цитировались речи противной стороны: «И еже бы перво что съделано и болши бы того ненадобно» (Увет, 260); «Тогда и тогда пиян бех и похвалихся без ума и церковное торжество во праздники Господня проспях»; «Како сей чин в церкви и для чего творится тако? Несть в том ползы: человек сие содела; без того жить мощно» (поучение для патриарха, 258).

Ход мышления противной стороны представал странным, «вещающая странная ушесам человеческим»: «Кричаще: „Победихом, победихом“, — а что — неведомо что» (Увет, 54 об., 69); мысли противной стороны показывались сбивчивыми: «...ово не в том разуме... полагают,

ово лукаво толкуют, ово точию начало емлют, ово средину, ово конец»; утверждения представляли не соответствующими друг другу: «Глаголют... яко уже ныне антихрист в мире, друзии же глаголют, яко уже и царствует; инии глаголют, яко вскоре имать православных рабов христовых мучити»; высказывания противной стороны представляли алогичными: «Начаша всех нас, правоверных, нарицати не православными христианы, но еретиками и богоотступниками, и церкви святыя не церкви глаголюще, но простыми храминами и конскими стоялищи» и т. д. (Слово благодарственное, 73, 77, 39; ср. еще: Слово на Никиту, 6 об., 28 об.; Увет, 12 об. — 13, 54 об. — 55; «Созерцание», 77; «Известие», 72 и др.).

Да и что требовать с них, если это все «неуки-мужики и бабы говорили невозбранно, собиралися бо... все мужики простыя купами» («Созерцание», 76); «и не токмо мужие, но и жены и детищи испытнословят... у мужей и жен то и слово» («Слово поучательное», 3 — 3 об.).

Обычные места сборищ противной стороны говорят сами за себя: «Злии человецы, иже по дворах, истиннии суще волки, тайно ходяще», «из лесу и ис кустов приходяще» (Слово на Никиту, 25 об, 29 об.); «паки ис кустов и от ветров»; «они расколники живуще по кустам, по лесам и по дворам всякого чина люди духовнаго и мирскаго»; «бродяги» «в лесу и щелях содержатся... в дебрях непроходных и незнаемых» (Увет, 54, 56 об., 63 об., 72 об. — 73 и др.). Раздраженное презрение к низам явилось одним из ведущих социальных чувств верхов общества в конце XVII в.

Но аналогичные чувства не были чужды и низам. В разных слоях русского общества конца XVII в. существовал определенный параллелизм чувств. Например, старообрядцы испытывали сходное презрение к «невеждам» — к отделившейся от них секте «капитонов». Обильно отразилось это ироническое презрение в сочинении Евфросина: у «капитонов» «в огонь да в воду толко и уходу»; «тетратки свои чтучи, Евангелия не весте»; «а то вы, бедныя, вси на тетратках пали, а книги все попрали»; «а мужик тот, што мерен-дровомеля деревенской... вякаеть и бякаеть»; «вякает, бедной, что кот заблудящей»; «яко ершь из воды, выя колом, а глава копылом, весь дрожа и трясыйся... брада убо плясаше, а зубы щелкаху»; «и скакал ты, веселяся, на одной ношке вертяся» и т. д. и т. п. («Отразительное писание», 38, 42, 44, 49, 51, 57 и др.). Игрой слов выражалось представление о полной никчемности «капитонов»: «И ты-су Данило Шунской, шумитель, полно шуметь»; «проповедник Назарь пришествие намь сказаль» и т. д. (46, 51 и др.). Не забыто было и уничтожение «капитонов» местом их деятельности: «...а самь «из свинарника в свинарникъ и по хлевамъ все быраешь»; «достойни они окаянии со свиниями жировати» (58, 83).

У общественных низов тоже проявлялись презрение и сарказм по отношению к верхам. Правда, примеров этого сохранилось мало. Но вот некоторые из них. В старообрядческой «Истории о вере» Саввы Романа не без иронии отмечалось: «...и бросился из кута холмогорский

епископ пустобородый... и нача громко говорить, а речей не слышать»; передавался отзыв стрельцов о властях: «Добром с ними не разделаешься, пора-де опять за собачьи кожи приниматься» (138, 147). В антистарообрядческом «Щите веры» не без причины начислялся раскольникам еще один грех: «...осмеяюще предания церкви» (498). Произведение демократической сатиры — «Калязинская челобитная» — еще пример тому. В разных общественных слоях конца XVII в. ощущению резкой разделенности общества неизменно сопутствовало в той или иной степени презрительно-ироническое отношение к противоположной социальной или идеологической группировке.

Комплекс социальных настроений конца XVII в. включал еще одно распространенное чувство. Особенно оно было характерно для верхов. Судя по обобщающим формулам и определениям в сочинениях, верхи постоянно чувствовали острую враждебность низов, их «злое умышление», «безумное невежливое прекословие», «злое безумство и упор», «бурь и невежество»; верхи видели в низах «злоделцев, бедне ся взносящих и о господстве зело не радящих»; верхи знали, что низы «всем ученным себе людем не благожелателствуют», что они «великих государей указом во всем чинятся противны», «бьют многих знатных и честных людей...», что «уже бо в царствующем граде гнев Божий от налогов начальных и неправедных судов возгаратися нача и мысли у людей такожде начата развращатися», что «служивыя... возсвирепели тако, яко никому же дающе с собою и глаголати», что низы «возмущают все государство»; верхи считали, что низы хотят «властей поставить, кого изберут народом», «для того, чтобы им Московским государством завладети», что «тщяхуся безумнии и глупии государством управляти», «невегласом-мужином владети или началствовати людами разумными и величайшим господам и самодержцам всего многонародного государства указывати» (июньская челобитная, 360; Слово на Никиту, 23 об., 25 об., 26 об.; Увет, 68 об.; сентябрьское письмо, 369; сентябрьская окружная грамота, 373, 375; «Книга приветство», 19; «Созерцание», 40, 57, 58, 119; «Известие», 41).

Понимание верхами социальной опасности рождало на первых порах внешне решительные рифмованные угрозы: Бог «вредословцем и возмутителем тщетновозносимыя на ню гордостным беснованием ломит роги, но и текущая на зло ноги, яко вдавшися суете и не стаща на правоте благочестия»; «сокрушал бо и сокрушит проклятым лжесловцем не токмо зубы, но досады вещающъ изрежет язык и губы» (Увет, 6 об., 244). Но затем такие угрозы больше не повторялись, а сменились многочисленными призывами к уклонению от инакомыслящих, — не к бою с ними: «...от таковых прелестников сообщения и собеседования, яко от змий, бегайте и от учения их прелестнаго, яко от яда смертоносна, гонзайте... и в дома их себе не приемлите и к ним не входите, но весма, яко от смертоносных язвы, уклоняйтесь» (Слово благодарственное, 85—

86). Сами названия полемических противораскольнических книг имели в первую очередь скорее оборонительный, чем наступательный смысл — «Остен», «Щит веры»: «Аще же Остну сему напнется кто-либо, той, яко Саул, прободется, и, яко Арий, он разсядется, и, яко Иуда-предатель, излиет внутренняя своя» («Остен», 424); «книга Щит веры... иже защищает... от ражженных лукаваго стрел, пущаемых на святую восточную церковь... Сим Щитом, читатели православнии, от блядословцов защищайтесь...» («Щит», 502). В конце XVII в. верхи по своим эмоциям больше находились в обороне, чем в наступлении.

Сравнения, которые использовались в документах и сочинениях конца XVII в., тают отражение существенного оттенка «оборонительных» социальных чувств писателей. Например, в одной из царских грамот говорилось о стрелецком мятеже 1682 г., что стрельцы делали то, «чего и босурманя творити страшатся, и побиша бояр наших, и думных, и ближних, и иных чинов многих людей, над теми побитых телесы паче босурманов поругающесея» (сентябрьская царская грамота, 373). Стрельцы казались более чуждыми и опасными, чем босурмане. Летописное же «Описание о сем... колико бысть смятение и убийство» в Москве так изображало мятеж 1682 г.: «...стрелцы и салдаты, дьявольским наветом колеблющесея, яко волны морския, возшумеша и устремипася, яко зверие дивии»; «внидоша же и в царский дом за преграду, по всем царевым палатам, яко на приступ»; «зле вопиюще, яко волки ревуще» («Летописец», 192, 194, 196). Аналогично в «Созерцании кратком»: «И начаша паче волны свирепства народного воздвизати и шум, аки вод многих, умножати»; «готовящесея, яко лвы на лов» (82, 112). Между летописным «Описанием» и «Созерцанием», вероятно, были текстуальные связи, но авторы вряд ли ограничивались только заимствованиями. «Созерцание» содержит и уникальный образ закипающего народного гнева: «...яко котел, вреющий дров, под гнетою паче вретти начинает, тако сердца своя гневом... паче и паче огонь ярости умножатися и гнев их свирепства воспалятися, и от того зело острожелчия их пламень гнева возвысися» (51). Эти сравнения выдавали уже не презрение верхов к низам, а лаконично выраженный страх перед низами.

Сочинения и прямо указывали на страх: «...и бысть на всех властей страх» («История», 130); «яко в страсе вси и близ смерти быша» («Книга приветство», 19); «кто уже убо ону нужду, страх и трепет, во оно время бывшу в Москве, повествовати возможет?» («Созерцание», 77); «не имать быти безстрашен приятель от приятеля, товарищ от товарища...» («Известие», 1). Более расплывчатых же признаний в страхе «со жалостию велиею» не счесть: «трудности», «бедно терпети», «скорби», «напасти», «туга» и т. д.¹¹

¹¹ Ср.: «Страх перед народными „бунтами“ объединил во второй половине XVII в. абсолютистское правительство, дворянство, русское купечество...» (Буганов В. И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969, с. 84, 207 и др.).

Относительный лаконизм большинства соответствующих сравнений у писателей объясняется тем, что они вспоминали о событиях уже прошедших, о страхе пережитом. Но и после острых событий, после подавления мятежа страх все-таки точил их душу: «А злоба еретическая между православными множится и ширится, яко лютый недуг, глаголемый гагтрена, все тело церкви святых мало по малу обкруживает и изъядает» («Щит», 500).

Страх способствовал появлению у верхов целой гаммы минорных настроений. В природе стали видеть почти одно только злое и печальное. Если в благополучные 1620-е годы приход комет толковался благополучно же, то в конце XVII в. — все наоборот: «Лета 7189-го году на Московском государстве бысть знамение велие: на небеси явися против самой Москвы на зимней запад звезда... хвост у нее велик, стояще хвостом на Московское государство... Мудрые ж люди о той звезде растолковаху, что та звезда на Московское государство стоит хвостом не к доброму делу. Так и учинилась. О той звезде толкуется: „... А на кои государства она стоит хвостом, в тех же государствах бывает всякое нестроение и бывает кровное пролитие многое и междуусобныя брани и война великие меж ими“. Тако же и збытись в Московском государстве: от стрельцов и от салдатов учинилося смятение великое...» («Летописец», 173). Евфимий Чудовский в своем стихотворении на ту же комету в декабре 1680 г. сказал примерно то же самое:

Комита, егда в небе видена бывает,
Ни кое благо быти на земли являет,
Токмо гнев Божий и казнь людем возвещает... (596).

Авторы с особой значительностью стали описывать плохую погоду, бури: «В сий же час возмутишася человецы и сотвориша кровопролитие, и того времени вся тварь не возможе зрети, на земле солнце облаки закрыся и теплота в хлад претвореся... и солнечная теплота пременися во хлад и небеса облаки закрышася в то время, в не же возмутишася людие»; «в та времена... хладными облаки покрься небо, солнце на землю не сияше и ветры зело хладны быша» («Летописец», 192, 198); «тогда... зима люта... воста, яже роди прелютыя облаки уныния... и бурю мятежей и отчаянная страхования презелно возстави... воздух мраки и мятежи исполняшеся...» («Созерцание», 158). Буря в обществе сливалась с бурей в природе. Впервые в русской литературе эти две стихии были объединены с такой четкой, нарочитой ясностью: не для меланхолического параллелизма, а для выражения ощущения страшного вселенского «смущения» мира, в котором даже облака назывались «смущенными».

Страх, минорные настроения рождали у верхов подозрительность, неверие в хорошее у человека: «Человек же кладязь преглубокий сущ, не скоро подает действие своих дел знаки явные и несумнительныя его

склонности... и неудобно объявляется внутрь живущее его изволение» («Известие», 34). Настроениям верхов конца XVII в. не позавидуешь.

Однако и низы испытывали в какой-то мере сходные чувства: они, по словам старообрядческой «Истории о вере», стали «опасны, потому чтобы вымыслу и коварства какого не было над нами» (134); они опасались, что верхи «будут царством владети паче прежняго и людьми мять и обидети бедных и продавать» («Летописец», 189). Придворные писатели подтверждали: «Тако то время исполнися злога, яко страх обят нища и убога» («Книга приветство», 20); «ибо и воздух во оное время пременися тихости и воздвижеся буря ветрена зело и облаки мрачны ношахуся, народу вящий страх деюще»; «страх и невинным людем всякого чина»; «ибо люди единыя державы... едини единих боятся: служивыя — боярских холопей, бояре и холопи — служивых, посацких же и иных чинов, всякия люди отсюду и всех боятся» («Созерцание», 52, 94, 111).

Конец XVII в. в России отличался выразительным набором отрицательных социальных чувств и умонастроений: ощущением резкой разделенности общества, презрением каждого общественного слоя к противоположной общественной группировке и одновременно страхом и унынием. Сформировалась целая поэтика хулений.

В самом конце XVII в. в верхах эпизодически проявлялось желание смягчить нарастающую социальную напряженность. Первой ласточкой явилось обращение писателей к «обыкновенной в людех пословице» (Увет, 84, 260 и др.), к тому, какая «в жителстве убо человек обшая пословица носится» (поучение для патриарха, 258), к утверждениям, что «в правду збывалася тоя пословица в людех» («Созерцание», 94). Цитируя пословицы довольно часто, придворные писатели и издатели как бы начинали подыгрывать массовому читателю.

В «Созерцании кратком» вдруг высказывалась примирительная мысль: «...и никто един благороден без единого мнимаго и меншаго жити возмогает», а поэтому надо «дело государево строити без гнева и ненависти» (19). Но сказано это было мельком. Более ощутимую перемену тона показала полемическая «Книга о пресуществлении тела и крове Христова», составленная Афанасием Холмогорским в 1688 г. Проявивший себя острым и беспощадным полемистом несколько лет тому назад, Афанасий теперь успокоительно обещал: «Яко же мяккою некоею губою, теплу воду и чисту имущую, сице реченная вся омываем, потщимся утолити тех надмение и напыщенно очищати все»¹².

¹² См.: *Верюжский В.* Афанасий, архиепископ холмогорский: Его жизнь и труды... СПб., 1908, с. 614. Ср. об этой «Книге»: «Но что особенно замечательно, она проникнута чувством христианской любви к противникам, которая совершенно отсутствует в произведениях московских полемистов той и другой стороны» (Там же, с. 618).

Но с особенно искренним старанием хотел уравнивать-примирить знатных и незнатных, богатых и убогих автор стихотворного произведения 1691—1692 гг., которое называлось «Рифмы краесогласнии о прелести суетнаго сего мира... изъяснительны бедств, кая зла страждут в мире сем живущии сановитии-богатии и убозии людие. Вразумительно чтый сия, велие умиление и ползу обрящет». Заглавие ясно раскрывало «умилительный» замысел произведения. Те же мысли о равной доле и общности бед богатых и убогих многократно варьировались в произведении:

Днес повелителя
Тя и властителя
Славна творит многим.
Утре со убогим
Равняет...
Иде же вси славни?
Худородным равни.
И домов владыки?
Почтены суть с лики
Убогих!..
Поне бедства многа
Снедают убога...
Сущым в славном чину
Безпокойство в ыну
И опасение...
И купецка чина
Сущих всех кручина,
Скорь, туга снедает... (87, 90, 91, 92).

В другом списке этого необычного произведения добавлялись еще примирительно-«умилительные» строки к читателю:

Вем, яко обрящещи ползу в них всем многу
Властелину богату и мужу убогу...
Ты, о благочестивый сих рифм читателю...
Умягчи прежде ниву внутрь сердца своего (93).

Произведение действительно уникально по отчетливому тону потерянности и миролюбивости¹³. Но все-таки оно не одиноко. И позже тема социального примирения всплывала вновь и вновь. Например, в печатном «Слове на Иоанна Воина» 1695 г. предлагалось делать некий шаг навстречу друг другу: «Сего ради непрестанно в доброе и полезное обучатися и сами, и в дому суцзых дети, и рабы, и подданныя в строение и в помощь

¹³ А. М. Панченко впервые издал и прокомментировал это сочинение: «Замечательное стихотворение такого анонимного одиночки», который был «вне-сословен и надпартиен»; «эта духовная свобода, столь необычная для человека XVII столетия, и сообщает „Краесогласным пятерострочиям“ качество художественной уникальности» (*Панченко А. М. Стихотворный отклик... с. 85, 86*).

порученные люди всякого добронравия должны наказывати»; «сего ради должно, должно всякой души — малому человеку и великому, мужу и жене, отроку и деве, рабу и господину, госпоже и рабыне...» (Служба, 64 — 64 об., 67 об.). Подобное тяготение к уменьшению социальной напряженности входило в ту эмоциональную «оборонительную» позицию, которую волей-неволей заняли верхи общества в конце XVII в. Но на их туманной мечте о социальном мире лежал налет очень знакомой насильственности: «И добродетель добродетели, яко некая верига или цепь членоскованая держится» («Служба», 65). Нет, эмоциональное напряжение, настроения ожесточенности оставались в силе и их смягчения не предвиделось.

1985 г.

ТЕАТР В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ XVII—XVIII ВВ.

1. РУССКИЕ ПЬЕСЫ 1670-х ГОДОВ И ПРИДВОРНАЯ КУЛЬТУРА

Сохранившиеся семь пьес придворного театра 1670-х годов очень разнородны в жанровом отношении, они представляют собой конгломерат различных влияний, не выясненных до конца. В пьесах замечается воздействие западноевропейских школьных драм и «английских комедий», влияние кратких украинских школьных драм и духовных мистерий, наблюдаются некоторые отзвуки моралите и гуманистических влияний¹. Фактически каждая пьеса является произведением особого «жанра», где каждый раз по-иному смешиваются различные драматургические традиции, притом с разнообразными модификациями на русской почве. Единство, казалось бы, отсутствует.

Отсюда становится понятным, почему исследователи обычно предпочитают изучать каждую пьесу в отдельности. Между тем пьесы русского театра 1670-х годов составляют в своем роде уникальную группу памятников, которые, несмотря на жанровую разнородность, в сходной форме отразили комплекс идей и представлений русской придворной среды того времени. Именно эта черта объединяет пьесы 1670-х годов в единую группу.

Предлагаемая далее идейно-стилистическая характеристика пьес имеет предварительный характер. Мы не даем очерка представлений и взглядов придворной среды времени царя Алексея Михайловича, но лишь указываем на них в той мере, в какой это позволяет содержание драм. Первые пьесы русского театра касаются многих тем. Но одна из тем проходит через все пьесы, и на ее примере удобнее всего показать их сходство. Это тема счастья и благоденствия людей. Пьесы обычно начинаются монологами о благоденствии и радости и кончаются тем же. Радуется Артаксеркс в «Артаксерксовом действе» («Сы ныне аз бо сам в радостех пребываю» — 3)²; радуется Адам в «Жалобной комедии об

¹ Ср.: *Державина О. А.* К вопросу сравнительно-исторического изучения европейской и русской драматургии XVII в. (Традиции средневековья и новые элементы в пьесах XVII в. об Иосифе) // *Славянские литературы: VI Международный съезд славистов (Прага, август, 1968). Доклады советской делегации.* М., 1968, с. 141—165.

² При цитировании отрывков в скобках указываются листы или страницы по следующему основному списку пьес: «Артаксерксово действо» — РГБ, фонд 354, № 208; «Иудифь» — БАН, 31.6.2; «Темир-Аксаково действо» — РГБ, фонд 92, № 5946; «Малая прохладная комедия об Иосифе» и «Жалобная комедия об

Адаме и Еве» («О, како усердно возрадуюся, како возвеселюся о Бозе моем... Идеже бо очеса моя вождену, тамо возрадуется весма сердце мое» — 1354—1355); радуется отец блудного сына в «Комидии притчи о блуднем сыне» («Даде богатства Господь мой предрагий...» — 602).

Пьесы имеют обязательный счастливый конец. Но дело не только в этом. Авторы пьес изображают не столько благоденствие отдельных персонажей, пусть даже самых значительных, сколько устроенность мира в целом, гармонию мира, нарушаемую назревающим конфликтом, но непременно вновь восстанавливаемую. Радуются или возвращаются к благоденствию целые народы и громадные царства, вся земля, природа и вселенная. Поэтому во вступительных монологах пьес персонажи, в сущности, рисуют картины мирового благополучия.

Артаксеркс в начале «Артаксерксова действия» призывает жить в веселии все свои народы: «Прехвальный народ персов и медов, возрадуйтеся» (3). Подданные Артаксеркса перечисляют страны, на которые распространяется благополучие под властью этого персидского владыки:

О можнейший монарх, его же скифетр достизает
даже до Аравии и муринов обладает!
Твои бо силы, вем, индиане трепещут,
И аще они золото, яко же прах, там мещут

Ты правиши сто тридесять странами, (3).

В начале «Иудифи» уже сам Навуходносор перечисляет подчиненные ему страны, упоминая тех же индиан, богатых золотом: «Како великодушие мое сие объяти может! Быстрая река Тигр киванием руки моей точию установится должна... и самая Адосон река, богатством исполненная, в ней же черныя индиане купаются, принужденна ми дань от своего золотого песку подавати» (3 об.). Навуходносор в пьесе Симеона Полоцкого начинает свою вступительную речь в том же духе: «Видите крепость десницы моя: вся побежденни суть страны от нея» (618), и тд.

Благополучное царство в «Артаксерковом действе» напоминает цветущий сад, «вертоград». Артаксеркс развивает этот образ:

Весте сами все. Стоит в моем вертограде,
мало не посреди, доброзрачные масличные древа

Ныне же стоит то изрядное древо в достоинстве сугубом,

Адаме и Еве» — сборник Ad 10 из собрания гимназии шведского города Вестерос, «Комидия притчи о блуднем сыне» и «О Навходносоре-царе, о теле злате и о трех отрочех, в печи не сожженных» Симеона Полоцкого — ГИМ, Синодальное собрание, № 287. Основные списки установлены: первой пьесы — И. М. Кудрявцевым; второй — Е. К. Ромодановской; третьей — В. П. Гребенюком; четвертой и пятой — О. А. Державиной; шестой и седьмой — И. П. Ереминым.

издает не токмо изобилно себя масло, но и во красе своей пребывает, зеленеется кругом и беспрестанно, и стоит не едино, и украшает все оное место (20).

И подданные царя сразу поясняют: «Да сей красной образ — царская будет трава!»; «Ей, велие масличное древо — ты еси...» (20 — 20 об.).

Благополучие, перенесенное на природу, встречаем и в «Жалобной комедии об Адаме и Еве», где Змей описывает рай: «Имянно ж видите и слышите лепотных струев шумы, видите и слышите красных птиц пение, имете также прохладение ваше и радость в зверях и рыбь в водах; возможно вам утешитися в прекрасных злаках и древесях, и в различных цветах. Аз днес по утрии, — продолжает Змей, — зело рано пред солнечным въсходом стояще, не возмогль до воли утешитися изь умильного пения птиц во вертограде, очеса мои удоволны бяху в прекрасных овощах на древесех. По сем, егда пресветло сияющее солнце мало росу о трав осуши, пошель есмь ни что прогулятися и обретох различные красовитые овощи» (1362).

Этот редкостный пейзаж с движущимся солнцем и высыхающей росой изображает не только благоденствие в раю, но и благоденствие всего мира. В этом убеждает пример из другой пьесы. Блудный сын в «Комидии притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого вернулся домой к отцу после перенесенных побоев и голода. И весь мир для него приобретает утраченную благоустроенность и гармонию. Он восклицает:

Горé прекрасно светила сияют,
землю пространну плоды украшают;
Рибами море зело исполнися,
воздух птицами красно удобрися! (615).

Тема благоденствия, нарушения и восстановления мировой гармонии является важнейшей темой первых пьес русского театра. Настоячивое обращение к ней, притом в сходных формах, вряд ли объяснимо только общностью источников пьес. Например, главным источником большинства пьес 1670-х годов послужила Библия. Однако не все пьесы написаны на библейские сюжеты; а монологов и описаний, подобных приведенным выше, в Библии нет. Они сочинены авторами пьес. Драматурги московского двора намеренно затрагивали тему всеобщего, мирового, вселенского благоденствия. Она, как увидим далее, имела для них определенный социальный смысл.

Основой мировой гармонии в пьесах мыслится забота царя о подданных. Не только подданные верно служат царю, но и царь заботится о подданных. Это новое представление, которое ранее, в XVII в., в русской литературе не выражалось так ярко, как оно выразилось в драматургии и поэзии 1670-х годов.

Артаксеркс в «Артаксерксовом действе» говорит: «...и нам, царем, достоит сотворяти, всех подданных своих в щедротах призирати» (3 об.). Примечательно, что правитель говорит здесь от имени всех царей, — «нам царем». В другой раз он признается, имея в виду своих подданных: «Мя же мое великое стадо во дни же и в нощи сокрушает...» (49 об.). И действительно, заботы о подданных «сокрушают» Артаксеркса даже по ночам. Страдая бессонницей, он просматривает «царственные книги», проверяя, чтобы все подданные получили награды за благодеяния, оказанные царю. «Хощу, аще сна не имам, — поясняет Артаксеркс, — время туне не испустити, зане сплю и бодрствую в корысть моих подданных» (58). Есфирь, ставшая царицей, высказывается еще решительней. Один из придворных передает ее слова: «...и в своем шествии сказати велела, яко и самой свой живот за тя и всех не хощет щадити»³.

Если бы подобное изображение царя встречалось только в «Артаксерксовом действе», то его можно было рассматривать как единичное явление. Однако и в «Темир-Аксаковом действе» кесарь Темир-Аксак рисуется сходными чертами, хотя и менее прямолинейно. Узнав о поражении своего союзника кесаря Палеолога, Темир-Аксак прежде всего беспокоится о подданных: «Я не токмо печален о своем брате и союзнику Палеологосе, но и паче простых невинных душ, которые побиты от того варварского Байцета» (4 об.).

В пьесе «Иудифь» один из подданных Навуходоносора произносит перед царем монолог о том, что цари должны заботиться о подданных. «Всемиловивейший царь государь! — начинает он. — Изобретаются два столпа, ими же не точию каждо царство, но и вся вселенная утверждена есть и содержится. То есть правда и милосердие... похотящему же выну праведным быти, царство скоро изпустошеет и подданных лишит-ся... убо милосердие содержит весь мир во изобилии...» (18—18 об.).

У Симеона Полоцкого есть несколько стихотворений, посвященных рассматриваемой теме. Одно выразительно названо «Любовь к подданным». Подобно Есфири из «Артаксерксова действа», царь в стихотворении Полоцкого способен положить жизнь за своих подданных. «Оле любве царския! — восклицает придворный поэт Полоцкий. — Сам хощет умерети, аки отец ли мати за любья дети». В другом стихотворении, названном «Началник», Симеон Полоцкий предлагает правителям: «Тако началник должен есть творити, бремя подданных крепостно носити». Наконец, еще в одном стихотворении разбирается разница между царем и тираном:

Кто есть царь и кто тиран, хощеши ли знати,
Аристотеля книги потщися читати.

³ Рукопись Лионской публичной библиотеки, № 1346, л. 104 об. — «Артаксерксово действо»: Первая пьеса русского театра XVII в. / Изд. подгот. И. М. Кудрявцев. М.; Л., 1957, с. 234.

Он разнствие обою сие полагает:
 Царь поданным прибытков ищет и желает.
 Тиран паки прижитий всяко ищет себе,
 О гражданстей нимало печален потребе⁴.

Конечно, ссылка на Аристотеля в последнем стихотворении Полоцкого не означает, что пересказывается только мысль античного мудреца. В те же годы, к которым относятся стихотворения Полоцкого и первые драмы русского театра, большое рассуждение о том, «как Бог нечестивых царей и тиранов наказует и смиряет», было включено и в «Хрисомологион» Николая Спафария⁵. Взаимоотношению царя и подданных уделялось большое внимание в русской придворной литературе.

В трактовке этой темы заметных разногласий не было. В пьесах совпадают традиционные метафоры — символы: Артаксеркс в «Артаксерксовом действе» сравнивает себя с солнцем, равно освещающим всех подданных:

И яко же звезд всех князь то солнце есть златое,
 всем луча дарует, всем дает равное,
 тако и нам, царем, достоин сотворяти (3 об.).

И точно такое же, равно освещающее всех солнце, переходит в пьесу Симеона Полоцкого «О Навходоносоре-царе», правда, в качестве сравнения с царем Алексеем Михайловичем:

Благовернейший, пресветлейший царю
 всем православным яко солнце данный,
 Да нам светиши ясне добротами,
 яко же солнце светлыми лучами! (617).

Такова картина социальной гармонии в первых пьесах, связанная, по-видимому, с настроениями московского двора того времени.

Придворная ориентация пьес выражается не только в идеях, высказываемых авторами и персонажами, но и в изобразительных элементах. Материальный фон, на котором разворачиваются основные события пьес, пышен и богат. Например, в «Артаксерксовом действе» постоянно упоминаются чистое серебро и золото и дорогие камни, не соответствующие библейской легенде. Полководец Артаксеркса Аман обещает: «Ручаюсь тма талантов чистого сребра отдати и вручити абие казенным и приказным» (40). Артаксеркс вспоминает, какими подарками он одарил людей: послу — «двесте перских коней со збуриими и толико же сабель со многим каменнем и з драгоценными вещми... Ему же прибавлено драги лук со стрелами» (58 об.); «свой перстень возложих цены зело

⁴ Симеон Полоцкий. Избранные сочинения // Изд. подгот. И. П. Еремин. М.; Л., 1953, с. 18, 11, 15—16.

⁵ РНБ, собрание Эрмитажное, № 27, с. 195 и сл.

безценной. Еще же азь даровах ему златую гривну со образом своим и чепь зело дивну» (59) и т. п.

Материальным богатством своего фона «Артаксерксово действие» не выделяется среди остальных пьес, в которых богатства и золото тоже постоянно на виду. Например, Навуходоносор чрезвычайно богат и в «Иудифи», и в пьесе «О Навуходоносоре-царе, о теле злате». Если в Библии кратко сказано, что Навуходоносор велел сделать золотого тельца, то в пьесе Симеона Полоцкого этот царь распоряжается сделать тельца именно из чистого золота в таком количестве, какое потребуется: «Слыши, козначей! Се велим мы тебе: даждь чиста злата, елико есть тебе» (618).

Страны, соседние с теми, что изображаются в пьесах, по словам персонажей, также богаты золотом и камнями. В «Иудифи» обсуждают богатства Иерусалима, в «Темир-Аксаковом действе» — камня Турецкого государства. Даже рай выступает в сопоставлении с палатой, украшенной драгоценными камнями. В «Жалобной комедии об Адаме и Еве» Адам сожалеет о таком потерянном рае: «Пресветлые драгоценные камение, аспид и яхант сиянию полаты моя уступали, ныне же и то от меня отиде» (1372).

Особенно показательно внимание авторов всех драм 1670-х годов к одежде персонажей. Хорошая, ценная одежда — важный признак гармоничного мироустройства. Как только Мардохей в «Артаксерковом действе» раздрает свои «ризы», то царица Есфирь присылает ему новую одежду. Когда блудный сын в «Комидии притчи о блудном сыне» с позором возвращается домой, то он стыдится плохой одежды. Симеон Полоцкий специально отмечает подобное чувство у персонажа: «встыдится люте худыми ризами» (613). Такого рода деталь отсутствует в евангельской притче о блудном сыне.

Обычной нормой в пьесах является богатая одежда. В богатых одеждах появляется Иудифь. Красивую ризу дарит отец Иосифу. И даже во сне царя окружают люди в золоте и в шелках. «А видел во сне я то, — рассказывает Темир-Аксак, — будто многие честные храбрые люди... стали при моей правой руке; после сего пришли жь таковы дородные и честные люди и в таких платиах, что прежние в золоте были, так же последние в шолковом платье были...» (2).

Внимание к одежде в пьесах 1670-х годов явно подсказано не столько библейскими сюжетами или стилем западноевропейских, «английских», комедий, сколько русским придворным обиходом. Симеон Полоцкий, например, посвятил одно из своих стихотворений значению «красных риз» при царском дворе. Рассказав о том, как скромно одетого человека приняли при дворе лишь после того, как он надел богатые одежды, поэт восклицает: «Оле суетства суетств! Доброта не зрится, красная риза паче человека чтится»⁶.

⁶ Стихотворение «Риза» — Симеон Полоцкий. Избранные сочинения, с. 21. Упоминания о шелке связаны с русско-персидскими переговорами тех лет.

С придворным укладом, по-видимому, связано и обилие «прохлаждающихся» персонажей в пьесах, частые картины пиров и трапез, уходы персонажей «почивати».

Полководец Артаксеркса Аман собирается к царю на пир:

Мя ныне царь к столу прийти велел
И тако у него в вине аз все забуду:
Ярость, гнев и печаль, дондеже там пребуду (44 об.).

Сходное желание выражает и блудный сын: «Желаю погуляти, тем быти блаженный» (606). «Еще на печаль кто врачество знает?» — спрашивает блудный сын. И ему отвечает слуга: «Утехою печаль обычно лечити, сладкоигрателем вели приходити» (608—608 об.). Навуходносор в пьесе Симеона Полоцкого тем же способом хочет отвлечься от печалей, приказывая слугам: «Вы днесь печалей нам не поминайте, о мусикии сладцей промышляйте» (618 об.). Так три персонажа из разных пьес одинаково лечат «печаль». Нескончаемая вереница «прохладств», пиров и веселий тянется через все пьесы.

Но «прохладство», богатство одежд, щедрая заботливость царя⁷ входили в «светлую» сторону придворного идеала, отразившегося в пьесах. В придворных представлениях о мире была и «темная» сторона, которую пьесы также отразили. Гармонично устроенный мир в изображении тех же пьес оказывается чрезвычайно неустойчивым.

Представление о неустойчивости счастья, о быстрой переменчивости жизни, о недостаточности небольшого толчка, чтобы перевернуть все в судьбе отдельных людей и народов, — вот «минорная» сторона взглядов московского двора 1670-х годов, которая отразилась во всех дошедших до нас пьесах того времени. В «Артаксерксовом действе» и автор, и его герои одинаково рассуждают о «непостоянном счастье». Первый после Артаксеркса вельможа Аман так говорит, стоя теперь под виселицей:

О дерзость, дерзость моя
со проклятым счастием,
как упадаю твоим лицемерием!

Яз того ради высоко возшел,
дабы паче паки низвержен был

⁷ Эту черту Артаксеркса в пьесе отметил А. А. Мазон. По его словам, Грегори у Артаксеркса «смягчает тени, которые Библия бросает на его облик. Так, например, Артаксеркс, представленный пастором Грегори, не похож на библейского пьяницу, который на седьмой день пира цинично приглашает королеву Власти открыть свою красоту перед всеми гостями; этот деспот неожиданно сентиментален и нежно влюблен» (Мазон А. А. «Артаксерксово действо» и репертуар пастора Грегори // ТОДРЛ, т. 14, с. 358).

Счастье убо токмо есть жития сокращение:
его же возвысит, того приведет в бедное низпадение

Непостоянное счастье уже лежит (71 об. 73).

Об «изменном счастье» размышляют и другие персонажи. Артаксеркс даже особо велит придворным думать об изменчивости счастья на примере судьбы царицы Астинь. «Вспять подумайте, — советует царь, — что заповедь мою так же разрушила, притом свое щастие» (11). В предисловии к пьесе тоже обращается внимание царя на эту основную мысль «Артаксерксова действия»: «Сице пременяется счастье не без Божия смотрения: Бог... счастье вспять возвращает... Но зри, коль чудно и пречюдно превращает великий Бог советы человеком» (2 об.). (Примечательно, что слово «счастье», а также производные от него «бессчастье», «несчастье» употребляются в пьесе преимущественно в смысле «повышение по службе», «приближение к царю», или наоборот — «опала», «изгнание» и т. п.; ср. речи честолюбца Амана: «И счастье мое есть высоко...» — 44; «О сщастие!.. царь мя хочет чтити...» — 60 об.).

В «Иудифи» та же идея выражается теми же способами. Царя предупреждают в предисловии: «Зри, великий царю, zde ти, ей, изъяснитя в комедии сие, объявляя, како Бог наш чудесно... променяет печаль зелную в счастье» (1 об.). Опальный вельможа в пьесе так же проклинает «предателное счастье»: «Ныне же аз zde вишу, непостоянства изображение и прелестнаго колебимаго счастья свидетельство. О проклятое и предателное счастье!..» (57).

В «Жалобной комедии об Адаме и Еве» мысль о сочетании счастья и несчастья в жизни также развивается в предисловии к пьесе. «Человеческое житие... — пишет автор, — во оном такожде все прохладнение и радость взыскуем, но обретаем скорбь и беду. Ей, взыскуем в нем меру, но что же обретаем? Несмирение и бран. Взыскуем посмешение, но обретаем плачь и рыдание. Взыскуем в нем здравие, но обретаем болезн и недуг» (1353).

О том, что идея о «счастье — несчастье» занимала придворные круги, свидетельствует, например, стихотворение Симеона Полоцкого «Щастию не верити». Здесь выступает иной исторический персонаж, чем в пьесах, — мудрец Солон, который внушает лидийскому царю Крезу:

Да во щастии си не уповает,
Непостоянство того помышляет,
Яко обыче оно не стояти,
Люди прелщати.

В конце стихотворения Симеон Полоцкий обращается непосредственно к читателю:

И ты, кто-либо еси та читай,
не буди в щастии твоём уповая⁸.

Творчество Симеона Полоцкого является своего рода энциклопедией придворных вкусов и представлений Москвы того времени. Первые пьесы русского придворного театра существенно дополняют наши знания об этих представлениях.

Конечно, многое нам известно еще в далеко не полном и упрощенном виде. Мы можем лишь догадываться о том, как представления царского двора о «счастье — несчастье» были связаны с определенными социальными событиями XVII в., а также с обстановкой двора. Кроме того, мы условно говорим о придворных кругах как о некоем целом. В действительности по своему составу придворная среда была, несомненно, пестрой. Придворные идеи и представления кажутся нам готовым, оформленным комплексом, хотя, несомненно, они формировались длительное время. Западное влияние на эти представления также еще недостаточно выявлено. Но решение этих сложных вопросов выходит за пределы нашей темы.

Пока еще остается недостаточно изученной проблема формирования духовной придворной культуры в царствование Алексея Михайловича, неотъемлемой составной частью которой стал театр.

Социальная основа этой культуры была достаточно широка, ибо центрами ее служили Посольский приказ, Оружейная палата, Аптекарский приказ, Печатный двор с достаточно разнообразным составом их сотрудников.

Нельзя не отметить также, что при дворе XVII в. в качестве очень тонкой общественной прослойки возникла русская интеллигенция⁹.

Как явление еще формирующееся, придворная культура XVII в. была относительно восприимчива к разным формам и веяниям и к плодам деятельности разных людей, могущих сослужить ей службу. Поэтому именно при дворе испытывают новые для России литературные жанры — стихотворство, драматургию, барочное красноречие. Поэтому при дворе получает развитие новая манера иконописания: «...икона новая светло и румяно, тенно и живоподобне воображается»¹⁰. Поэтому много значат отдельные талантливые личности и их инициатива — Артемон Матвеев, Симеон Полоцкий, Симон Ушаков и некоторые другие, судьбу которых мы можем проследить сравнительно подробно, в то время как подобное знание жизни деятелей русской культуры XV—XVI вв. составляет редкое и ценное исключение.

⁸ Симеон Полоцкий. Избранные сочинения, с. 25—26.

⁹ Мысль об этом была высказана Д. С. Лихачевым в 1969 г. на обсуждении доклада А. М. Панченко «Писатели-профессионалы XVII в.». Ср.: Панченко А. М. О русском литературном быте рубежа XVII—XVIII вв. // ТОДРЛ, т. 24, с. 271.

¹⁰ См.: Овчинникова Е. С. Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве // Древнерусское искусство: XVII век. М.; Л., 1964, с. 52.

Недостаточная исследованность русской придворной культуры XVII в. (несмотря на большое количество накопленных, но разрозненных фактов) заставляет нас оставить в стороне вопрос о взаимоотношениях придворной культуры с фольклором, так как этот вопрос требует специального изучения. Д. С. Лихачев выдвинул предположение о том, что театр в России возник в результате «отступления» фольклора: «Литература существовала параллельно фольклорным жанрам... Сказочники и скоморохи восполняли недостаточное развитие некоторых жанров в литературе... В самом деле, почему до XVII века у нас не было регулярного театра?.. Театральность была „разлита“ во многих фольклорных жанрах... Новые жанры появляются в XVII в. в результате вакуума, созданного отступлением фольклора. Конечно, причины появления новых жанров не только в этом, они многообразны. Однако отступление фольклора должно быть принято во внимание... по той же причине именно при царском дворе и в палатах бояр Милославских начинает заводится театр...»¹¹.

Объяснения причин возникновения русского театра в данном случае не противоречат друг другу и даже идут друг другу навстречу: формирование придворной культуры XVII в. совпадает по времени с отступлением фольклора. Возникновение русского театра и драматургии было результатом сложного процесса, все стороны которого мы, возможно, еще не знаем. Сейчас мы выделяем лишь одно обстоятельство, до сих пор отмеченное все-таки недостаточно: появление начальной русской драматургии 1670-х годов было обусловлено формированием придворной культуры в России XVII в.

Конечно, придворный театр был «потехой». Но тут уместно вспомнить замечание, сделанное И. Е. Забелиным по поводу «потешных книг», которые художники XVII в. готовили для царевичей. «Под словом „потешный“, — замечает исследователь, — в этом случае не должно разуметь того только, что забавляло, увеселяло. Этим именем обозначали нередко и те предметы, которые не принадлежали к главному, то есть церковному направлению древнего образования и попросту служили светским, мирским целям»¹².

В том, что театр 1670-х годов был не только развлечением, убедить-ся не трудно, если обратить внимание на определенные обстоятельства. Финансовая система страны была расшатана после неудачи денежной реформы 1660-х годов, не хватало денег, чтобы платить артистам, но театр все же открыли¹³. На спектакли созывались в обязательном по-

¹¹ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 65—67.

¹² Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI—XVII столетиях. Посмертное издание. М., 1915, т. 1, ч. 2, с. 173.

¹³ Эта мысль была высказана И. М. Кудрявцевым при чтении материалов данной работы. См. также неопубликованную челобитную И.-Г. Грегори 1674 г., в которой он жаловался на долгую неуплату жалованья за его «камединые труды» (РГБ, фонд 178, собрание Музейное, № 8424, л. 113 об. — 114).

рядке все бояре и придворные, за некоторыми даже посылали гонцов¹⁴. «Потеха» не была добровольной. И сами пьесы, с которыми знакомились зрители, были далеко не потешными.

Отметим любопытную черту — свидетельство четкой социальной предназначенности нового зрелища. Когда в 1672 г. полковник Николай фон Стаден по царскому поручению искал за границей актеров, то согласившиеся выехать в Россию комедианты поставили условие: «А за всякую б игру или окомедию, что перед великим государем учнут творить, давать по 50 руб. всем вобче. Да им же б волно было перед всякими людьми за денги играть». Об этом писал фон Стаден из Риги в Посольский приказ. Очевидно, последнее условие комедиантов — «перед всякими людьми за денги играть» — было отвергнуто, потому что ни в каких последующих документах оно не упоминается, в то время как об остальных условиях найма постоянно говорится. Лишь музыкантам было разрешено свободно играть перед немецким обществом в Немецкой же слободе¹⁵. Каков бы ни был повод для запрета, но придворное предназначение русского театра строго соблюдалось.

Добавим в заключение, что индивидуальные особенности пьес 1670-х годов дополняют картину придворных вкусов и представлений времени царя Алексея Михайловича. Особенно интересны пьесы Симеона Полоцкого, который в инсценировках библейских легенд неуклонно смягчал конфликты, убирал все грубое, вводил сцены, по-видимому, с камерной музыкой. Стиль пьес Симеона Полоцкого напоминает стиль «смягчающей» иконописи его друга Симона Ушакова. Однако анализ пьес Симеона Полоцкого, как и других отдельных драм, является особой темой. В данной работе мы отметили лишь черты, общие для придворной драматургии 1670-х годов в целом, исследование которых позволяет поставить вопрос о формировании русской придворной культуры XVIIв.

1972 г.

2. «АРТАКСЕРКСОВО ДЕЙСТВО»

Первое представление «Артаксерксова действия» состоялось 17 октября 1672 г. Эту дату называет Лаврентий Рингубер в своих «Записках о поездке в Россию»¹.

¹⁴ Веселовский Алексей. Старинный театр в Европе. М., 1870, с. 319—320.

¹⁵ Богоявленский С. К. Московский театр при царях Алексее и Петре. М., 1914, с. 3, 19.

¹ Relation du voyage en Russie fait en 1684 par Laurent Rinhuber... Berlin, 1883, S. 29.

На представлении присутствовал царь Алексей Михайлович. По мнению И. М. Кудрявцева, «нет оснований отклонять предположение, что пьеса шла на русском языке», так как немцы — исполнители основных — ролей уже давно жили в Москве, а перед постановкой пьесы актеры из Немецкой слободы занимались изучением русского языка².

По предположению И. М. Кудрявцева, в перерыве между действиями пьесы разыгрывались интермедии, в том числе сцены между мужем и женой, а вся пьеса заканчивалась эпилогом типа эпилога в «Темир-Аксаковом действе» (Кудрявцев, 41, 64—65, 299. О подготовке первого спектакля и его дальнейших повторениях см. 9—31).

Автором «Артаксерксова действа» был магистр Иоганн-Готфрид Грегори, пастор лютеранской кирки в Немецкой слободе Москвы, человек образованный и литературно одаренный, известный не только начальнику Посольского приказа, но и, возможно, самому царю. Авторство Грегори подтверждается документами Посольского приказа и свидетельствами современников, а также сведениями о литературной деятельности Грегори и содержанием пьесы. Помощниками Грегори в сочинении пьесы являлись ассистент лейб-медика царя Лаврентий Рингубер и, вероятно, сам лейб-медик Лаврентий Блюментрост и, возможно, учитель Юрий Гибнер, будущий руководитель придворного театра (Кудрявцев, 11—14, 18, 20—21, 67—68).

Источниками Грегори, написавшего пьесу стихами на немецком языке, послужили следующие произведения: лютеранская Библия в немецком издании XVII в.; «Книга Есфирь» и «Псалтырь» на древнееврейском языке; «Иудейские древности» Иосифа Флавия; «История в девяти книгах» Геродота; басни Эзопа в латинском и греческом изданиях XVI—XVII вв., вероятно, в немецком переводе; «Комедия о царице Есфири и гордом Амане», изданная в сборнике «Engelische Comoedien und Tragedien» 1620 г.; немецкие духовные песнопения. Кроме того, Грегори использовал некоторые сюжеты античной мифологии (об источниках пьесы см.: Кудрявцев, 42—44, 50—54, 311—329).

Грегори творчески перерабатывал свои источники и создал не компиляцию, а новое произведение: «...из многочисленных драм об Есфири XVI и XVII столетий (до 1672 г.) ни одна... не может считаться оригиналом, ни даже прототипом «Артаксерксова действа». Насколько мы можем судить, текст, приписанный пастору Грегори, среди всех этих произведений является оригинальным и своеобразным произведением»³.

Перевод пьесы на русский язык местами превратился в ее переделку, так как русские переводчики иногда неточно понимали смысл не-

² «Артаксерксово действо»: Первая пьеса русского театра XVII в. / Изд. подгот. И. М. Кудрявцев. М.; Л., 1957, с. 71—75. Далее сокращенно: Кудрявцев.

³ Мазон А. А. «Артаксерксово действо» и репертуар пастора Грегори // ТОДРЛ, т. 14, с. 358.

немецкого текста, а в некоторых случаях сознательно изменяли его смысл, приближая к условиям русской жизни. Переводя библейские цитаты и выражения, они обращались, по-видимому, к «Библиям», изданным в Остроге в 1580—1581 гг. и в Москве в 1663 г. Перевод разных частей пьесы был осуществлен с различной степенью тщательности. Начало пьесы, особенно первое действие, переведено с большим умением, — почти целиком стихами, с нередким употреблением типично русских выражений. Затем качество перевода резко ухудшается. Встречаются в русском тексте и полонизмы (Кудрявцев, 76—81).

Как полагает И. М. Кудрявцев, над переводом пьесы, очевидно, работало несколько сотрудников Посольского приказа, среди которых могли быть и стихотворцы. В числе переводчиков, возможно, находились подьячий Посольского приказа Петр Долгово, который принимал участие в составлении перечисленных выше книг, «сделанных» в Посольском приказе, и польский шляхтич Иван Поборский, учитель сына боярина А. С. Матвеева⁴.

Пьеса отвечала политическим обстоятельствам своего времени. На одном из примеров этого, не замеченном исследователями, остановимся подробнее.

Дело в том, что авторы не случайно сочинили пьесу на тему из жизни Персии, хотя бы древней. В предисловии к пьесе упоминается и современная Персия, так как авторы просят царя оказывать милость не только Персии, но и немцам. «Тогда не на Персию лучь своего милосердия послещи, — обращаются авторы к Алексею Михайловичу, — но во время оно да будут Артаксерсовы люди точию немцы»⁵.

«Артаксерсово действо» было сочинено в то время, когда правительство Алексея Михайловича особенно интенсивно стремилось наладить дружественные отношения с Персией. «В последней трети XVII в., — пишет один из исследователей этого вопроса, — опасность со стороны Турции заставила царское правительство смотреть на Персию как на дружественное государство, могущее оттянуть часть турецких сил от русских границ»⁶.

В 1660-е — 1670-е годы между Россией и Персией активизируются дипломатические отношения. В обе стороны следуют посольства с богатыми дарами. Так, в 1660 г. царю из Персии был привезен престол, украшенный алмазами и различными драгоценностями. В 1662 г. царь Алексей Михайлович отправил персидскому шаху богатую кровать, по замечанию И. Е. Забелина, самую дорогую кровать в Москве XVII в. В

⁴ Кудрявцев И. М. Издательская деятельность Посольского приказа. (К истории русской рукописной книги во второй половине XVII в.) // Книга: Исследования и материалы. М., 1963, сб. 8, с. 242—243.

⁵ РГБ, фонд 354, № 208, л. 2 об.

⁶ Зевакин Е. С. Персидский вопрос в русско-европейских отношениях XVII в. // Исторические записки. М., 1940, т. 8, с. 157.

1663 г. в Москве по велению царя сделали для персидского шаха громадный орган в десять голосов, доставленный затем в Персию⁷.

Незадолго до создания «Артаксерксова действия» русско-персидские отношения стали более тесными. В 1667 г. Россия заключила договор с Армянской компанией в Персии о вывозе всего персидского шелка исключительно в Россию. В 1668 г. к шаху было послано посольство с царскими грамотами об этом (а также для того, чтобы побудить шаха выступить против Турции). Подобный договор был равносителен русско-персидскому торговому договору; причем с казны шаха не брали пошлин⁸.

Правда, восстание Степана Разина несколько затормозило активное развитие русско-персидских связей. «После восстания Разина, — пишет Е. С. Зевакин, — произошло некоторое охлаждение в русско-персидских отношениях. Недовольство шаха отказом царского правительства компенсировать понесенные персами убытки повлекло временное прекращение присылки персидских послов в Россию, несмотря на то, что царь продолжал отправлять своих посланников и гонцов»⁹.

За четыре месяца до постановки «Артаксерксова действия», в июле 1672 г., когда уже велись приготовления к спектаклю, в Посольском приказе состоялся созыв выборных торговых людей по поводу закрепления условий договора с упомянутой Армянской компанией. Когда в конце 1672 г. в Москву приехал представитель из Персии, то боярин А. С. Матвеев предъявил ему обвинение в нарушении договора (вспомним неоднократное упоминание в «Артаксерковом действе» о том, что в Персии указы, раз утвержденные царем, уже не меняются: «персидский закон есть — никогда разрушати, еже царь едино повеле написати»¹⁰). В феврале 1673 г. русско-персидский торговый договор был подтвержден¹¹.

Первая пьеса русского театра писалась в самый разгар русско-персидских переговоров; к тому же авторы пьесы находились «в ведомстве» того учреждения, которое эти переговоры вело. Глава Посольского приказа А. С. Матвеев, участвуя в переговорах, находил время следить и за ходом подготовки театрального представления. Подобные обстоятельства, думается, сыграли роль в выборе темы первой и последующих пьес.

Кроме политических обстоятельств, авторы пьесы учитывали образ жизни и интересы московского двора. Тема «Артаксерксова действия» была удачно выбрана еще и потому, что сюжет библейской Книги

⁷ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1961, кн. 6, с. 565; Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях, 4-е изд. М., 1918, т. 1, с. 274; Цветаев Дм. Протестанство и протестанты в России до эпохи преобразований. М., 1890, с. 735.

⁸ Зевакин Е. С. Указ. соч., с. 158; Зонненштраль-Пискорский А. А. Международные торговые договоры Персии. М., 1931, с. 100.

⁹ Зевакин Е. С. Указ. соч., с. 158—159.

¹⁰ РГБ, фонд 354, № 208, л. 78; ср. л. 9.

¹¹ Соловьев С. М. Указ. соч., с. 569—570; Зонненштраль-Пискорский А. А. Указ. соч., с. 82.

Есфирь пользовался особенно большим распространением в Москве 1670-х годов, когда события из легенды об Есфире начали изображать в царских дворцах (в новых царских «постельных хоромах», в хоромах царицы Коломенского дворца, в Измайловском дворце) и излагать в стихотворной форме: монах Мардарий Хоников в стихах к «Библии» Пискаatora 1674 г., Симеон Полоцкий во «Френах о смерти царицы Марии Ильиничны» и в «Гусли доброгласной» (см.: Кудрявцев, 34—39).

Отмечается также отражение в пьесе увлечения царя Алексея Михайловича соколиной охотой, отражение придворного «чина» поведения, суеверности верхов русского общества XVII в., роли думных дьяков при дворе, наконец, отражение деятельности придворных врачей (Кудрявцев, 49—50, 54—56, 304, 309, 326—327).

1972 г.

3. «О НАВХОДОНОСОРЕ - ЦАРЕ» СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО

Пьеса была написана Симеоном Полоцким в 1673 — начале 1674 г., ранее 24 февраля 1674 г., так как имеется документ, датированный этим днем, о жалованье мастерам за переплетение «книги комидии о царе Навуходносоре»¹.

По тому, как в пьесе уничижается Навуходносор, а царю в эпилоге желают «противники въскоре побеждати», В. Н. Всеволодский-Гернгросс предполагает, что пьеса была написана во время или незадолго до войны с Турцией, начатой Россией в 1673 г.²

Пьеса Симеона Полоцкого о Навуходносоре в некоторой степени отражает творческий быт придворного писателя 1670-х годов. Характерно, например, что для своей пьесы Симеон Полоцкий использует не только библейскую книгу пророка Даниила³, но и какое-то историческое сочинение о Навуходносоре и трех отроках. Исторические знания Полоцкого были, как известно, огромны. Видимо, из исторического сочинения, остающегося пока неизвестным для нас, Полоцкий берет персонажей для своей пьесы — вельмож Зардана, Навусара и Амира. Эти имена не известны ни в библиях, ни в хронографах, ни в прологах⁴.

¹ *Богоявленский С. К.* Московский театр при царях Алексее и Петре. М., 1914, с. 37; *Всеволодский-Гернгросс В. Н.* Русский театр: От истоков до середины XVIII в. М., 1957, с. 88, сноска 10).

² *Всеволодский-Гернгросс В. Н.* Указ. соч., с. 88.

³ Ср.: Библия. М., 1663, л. 353 — 354 об.

⁴ Ср.: Библия руска Франциска Скорины. Прага, 1517—1519; Библия. М., 1663, л. 10—15 об.; «Хронограф» редакции 1512 г. — ПСРЛ, т. 22. ч. 1. с. 169; «Хронограф» XVII в. — БАН, собрание Архангельское из библиотеки Архангельской духовной семинарии, № 132, л. 351—353 об.; Пролог. М., 1661, л. 116 об. — 118.

Однако имена вельмож явно не выдуманы Полоцким, так как имя, очень близкое к именам Навусара и Зардана, действительно упоминается в Библии и в летописях. Это начальник телохранителей Навуходоносора Навузардан⁵.

Остается неясным, как из Навузардана получилось два человека — Навусар и Зардан — и в каких источниках это произошло.

Симеон Полоцкий, сочиняя драму о Навуходоносоре, по-видимому, помнил и изобразительные произведения на тот же сюжет — гравюры и иконы. Почему Навуходоносор является в драме именно с шестью «болярами» и с шестью воинами? Почему вначале он говорит именно с двумя вельможами — Зарданом и Навусаром? Этого в Библии нет. Но это можно найти в изображениях XVII в., особенно в иллюстрированных польских, голландских и немецких библиях, а также на некоторых русских иконах. На одной русской иконе нарисованы даже музыканты, «гудци», стоящие поодаль Навуходоносора, его свиты и печи огненной⁶.

Симеон Полоцкий вполне выражает дух придворной среды того времени, когда, разрабатывая библейский сюжет, пользуется историческими сочинениями и изобразительными материалами, в том числе, вероятно, и западными. Характерно, что он не обращается к «пещному действу», в те годы уже запрещенному⁷, его пьеса резко отличается от школьных драм⁸.

Не удивительно, что сама идея пьесы Полоцкого о Навуходоносоре тоже относится к кругу идей, проводимых при дворе. Полоцкий противопоставляет Алексея Михайловича Навуходоносору. Первый светел и кроток: «Благовернейший пресветлейший царю... светиши ясне добротами... Бога в троице ты едина чтиши... со смирением кротость соблюдая». Второй — совершенно противоположен: «Навуходоносор не тако живяше». Он помрачен тьмою неверства и горд: «Тмою неверства бе он помраченны... К тому гордости в сердци исполнися, всех богов паче сам быти возмнися» (строки 1—23)⁹. Драма показывает путь исправления такого царя.

⁵ ПСРЛ, т. 1, с. 247, 249; т. 22, ч. 1, с. 161; см. также: *Солярский П.* Опыт библейского словаря собственных имен. СПб., 1883, т. 3, с. 10—11.

⁶ Складень XVII в. «На реках вавилонских» — *Антонова В. И., Мнева Н. Е.* Каталог древнерусской живописи. М., 1963, т. 2, с. 461—462, № 980; *Успенский А. И.* Иконы церковно-археологического музея Общества любителей духовного просвещения. М., 1906, вып. 3, с. 27(79) и таблица № 101; ср. еще икону Емельяна Московитина начала XVII в. «Три отрока в печи огненной» — *Ровинский Д. А.* Обзорение иконописания в России до конца XVII века. СПб., 1903, с. 34, 133; *Каргер М. К.* Материалы для словаря русских иконописцев // Материалы по русскому искусству. Л., 1928, т. 1, с. 118.

⁷ Ср. тексты «пещного действия» — Чин пещного действия. М., ок. 1630; Древняя российская вивлиофика, 2-е изд. М., 1788, ч. 6, с. 363—390.

⁸ Об отличиях см.: *Морозов П. О.* История русского театра до половины XVII столетия. СПб., 1889, с. 121; *Резанов В. И.* Из истории русской драмы: Школьные действия XVII—XVIII вв. и театр иезуитов. М., 1910, с. 298, 340.

⁹ РРД, т. 2, с. 161—171 / Текст памятника подгот. А. С. Демин.

В 1673 г., то есть в то же время, что и драма Полоцкого о Навуходоносоре, появляется сочинение иного жанра, но почти на ту же тему и с тем же ходом мыслей. Придворный переводчик Николай Спафарий создает трактат по поводу книги пророка Даниила — огромный «Хрисмологион, сиречь книгу перечнословную, от пророчества Даниилова сказание сония Навуходоносорова...». Навуходоносор нужен Спафарию для множества аналогий и примеров из жизни других царей, а все это вместе — для сопоставлений с царством Алексея Михайловича. «...Многих монархов, царей, кралеи и князей жития предлагаются, — пишет Спафарий в предисловии к книге, — и в их повестех яко в зеркале чистейшем зрятся совети их, дела и словеса, якоже благая, сице и злая, в ня же аще кто прилежно вникает, удобь приобрести что во своем нраве, и исправити, и от чесого отступить, и чесому последовати, и от чужих напастей опасно пребывати... может». Конечно, включена и глава о том, «како Бог нечестивых царей и тиранов наказует и смиряет»¹⁰.

Но Спафарий переводит и сочиняет совсем не для того, чтобы указать царю, каким надо быть кротким. И Полоцкого и Спафария интересует сопоставление царя Алексея Михайловича с другими царями и монархами, так сказать, место царя в мировой истории¹¹.

Причем оба сочинителя как бы дополняют друг друга: Спафарий создает трактат — толкование глав книги Даниила, кроме третьей; Полоцкий пишет драму на сюжет именно третьей главы. Возможно, Полоцкий знал, какой труд готовил Спафарий.

Полоцкий и Спафарий были не одиноки в своих попытках связать имя царя с мировой историей. Воплощение подобного замысла предпринималось не по их личной инициативе. Это было официальное мероприятие тех лет, «государево книжное строение». При дворе «строятся» «Большая государственная книга», или «Книга о описании великих князей и великих государей царей российских...»; «Книга о избрании на превысочайший престол царский и венчание... Михаила Федоровича»; «Родословие великих князей и государей царей российских...» Лаврентия Хурелича; «Книга, а в ней собрание, откуда произыде корень великих государей и царей и великих князей российских» и др.¹²

По тому же признаку — стремлению авторов связать царствование Алексея Михайловича с ходом мировой истории — к этим рукописным, роскошно иллюстрированным книгам можно присоединить и

¹⁰ РНБ, собрание Эрмитажное, № 27, л. 3 — 3 об., и сл.

¹¹ См.: Тихомиров М. Н. Исторические знания в Российском абсолютистском государстве XVII в. // Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955, т. 1, с. 97.

¹² См.: Калишевич З. Е. Художественная мастерская Посольского приказа в XVII в. и роль золотописцев в ее создании и деятельности // Русское государство в XVII веке: Новые явления в социально-экономической, политической и культурной жизни. М., 1961, с. 398—402.

печатный «Синопис» Иннокентия Гизеля, изданный в 1674 г. в Киеве, а из памятников изобразительного искусства — знаменитую икону Симона Ушакова 1668 г. «Насаждение древа Московского государства».

Таким образом, пьеса Симеона Полоцкого о Навуходоносоре вполне шла в ногу со временем, отвечая потребностям и интересам двора Алексея Михайловича.

Но как произведение литературное пьеса Полоцкого позволяет нам судить не только об идеологических намерениях, но и о художественных вкусах двора того времени. Все перечисленные выше памятники свидетельствуют о вкусах двора гораздо скупее, чем произведение Полоцкого. И это самое интересное для нас в драме о Навуходоносоре.

В драме Полоцкого Навуходоносор отличается неожиданной чертой: любит развлечься. Уже в начале пьесы Навуходоносор обращается к придворным:

Вы днесь печалей нам не поминайте,
о мусикии сладцей промышляйте.

Призывают музыкантов, и вельможа Навусар в соответствии с желанием царя велит им:

Елика весть утешная быти,
та потщитесь пред царем творити.

«Зде будут ликовствования», — замечает Симеон Полоцкий (строки 77—80).

Подобной склонности Навуходоносора к «мусикии сладцей» нет в Библии. У Симеона Полоцкого же все события получают оттенок некоего царского развлечения.

Готово «тело злато», которому должны поклониться народы. И вельможа Амир приглашает царя смотреть, как будут поклоняться (по Библии, Навуходоносор не смотрит на это, ему лишь доносят о непослушных отроках). У Полоцкого же Амир предлагает царю зрелище (строки 109—110):

И вся готова: изволь соглядати,
како вси будут образ почитати.

Отроков бросают в печь огненную, но их пение у Полоцкого напоминает своего рода концерт (строки 173—174):

Оле чюдесе! Врази не сгоряют,
некия песни сладце воспевают.

Это восклицает вельможа Амир, в его словах и удивление чудом, и восхищение «сладкими» песнями.

И кончается пьеса опять-таки веселием в палатах у Навуходоносора, чего также нет в Библии. Навуходоносор приглашает отроков (строки 247—248):

Но днесь в полату вы с нами грядите,
вашим приходом дом возвеселите.

Серьезность пьесы от таких нововведений Полоцкого не нарушается, но благодаря им смягчается конфликт, трагические события как бы окутываются «сладостной» дымкой. Недаром все страшное и грубое Полоцким по возможности удалено. Халдеев опалает огонь из печи, как в Библии; но царь тут же распоряжается убрать трупы и похоронить их (строки 169—172):

Кое то чудо? Пламень утекает
из печи и раб моих опалает.
Возмите трупы, земли предадите,
сами ся огня лютаго блюдите.

Отроки выходят из огня невредимые, и вельможи поражаются тому, что они не сгорели, что целы их волосы и одежды (строки 197—204). Об этом рассказывается и в Библии. Но Полоцкий опускает деталь, вероятно, показавшуюся ему не совсем пристойной, — о том, что от отроков не пахло гарью, что «вони огнены не бяше в них» (ср. в Библии: «...и видяху мужи, яко несть телесем их соодолел огонь, и власа главы их не опали, и ризы их не изменишася, и вони огнены не бяше в них»¹³).

Короче говоря, Полоцкий создает «смягченный» вариант истории о Навуходоносоре и трех отроках, желая развлечь, но отнюдь не потрясти царя и придворных. Придворный поэт и драматург Полоцкий так обращается к царю и остальным зрителям в «предисловце» к пьесе (строки 31—35):

То комидийно мы хоцем явити
и, аки само дело, представити
Светлости твоей и всем предстоящим
князем, боляром, верно ти служащим,
Во утеху сердец. Здрави убо зрите...

«Утеха сердец» царя и придворных была сознательно поставленной целью Симеона Полоцкого в этой пьесе. Для Симеона Полоцкого симптоматично, что у него «смягчается» не только страшное, но и веселое. В его драмах веселятся и пируют только в «палатах» — и Навуходоносор, и блудный сын, и отец блудного, и несожженные отроки. Это не безудержное веселье, которое мы находим в других первых пьесах русского театра — веселье под открытым небом, на больших простран-

¹³ Библия. М., 1663, л. 354.

ствах, веселье целых народов, когда «на радость трубят» («Иудифь»), когда «трубы и тимпаны возглашают... со пением и плясанием» («Артаксерксово действо») и пр. Симеон Полоцкий выделяется тем, что может, говоря его же словами, веселье «в пределах малых заключити» и сделать его «светлым» и «сладким». Веселятся избранные за дверьми богатых палат и дворцов.

«Смягчение» конфликта достигается также введением в пьесы различных «утешителей». Особенно это заметно в «Комидии притчи о блудном сыне», которую Полоцкий писал тоже «утехи ради» «государей благородных». Если в пьесе о Навуходоносоре подобный «утешитель» был предусмотрен Библией (ангел являлся в пещь к отрокам), то в пьесе о блудном «утешители» придуманы самим Полоцким. Они постоянно ждут момента, чтобы утешать блудного. У блудного сына болит голова — и его утешает слуга (строки 283—285)¹⁴:

Государю наш, тому не чюдися:
младый нрав, пити не научися.
Аз есмь искусен, вем, како лечити.

Блудный разорился — и его утешает купец (строки 365—366):

Что ти, юноше? Кая печаль тебе?
Не сумнив буди, а мужайся себе.

Блудного избили, но где-то его отец думает о тех, кто бы мог утешить его сына (строки 465—467):

Кая тя страна, сыне мой, питает?
Кто тя на разум правый наставляет?
Кто тя утешит, во печали суца?

Вряд ли подобный «смягченный» и «утешительный» характер пьес Полоцкого можно объяснить только чертами личности самого Полоцкого, который, по всеобщему признанию современников обладал мягким и миролюбивым характером.

Сходные особенности можно наблюдать в творчестве современника Полоцкого, придворного живописца Ушакова: «мягкую лепку лица, какой до Ушакова не знала русская иконопись»; «прием „плави“, мягких и тонких переходов от света к тени, который свойствен Ушакову»; «ноту скорбности» в ушаковских ликах, но вместе с «мягкостью, спокойствием выражения, скорее даже какою-то как будто улыбочностью», когда «во всем звучит спокойная, серьезная и мягкая нота» и т. п.¹⁵

¹⁴ РРД, т. 2, с. 138—160 / Текст памятника подгот. А. С. Демина.

¹⁵ *Грaбapь И.* История русского искусства. Л., 1927, т. 6, с. 119, 127, 145; *Данилова И. Е., Мнева Н. Е.* Живопись XVII века // История русского искусства. М., 1959, т. 4, с. 376.

«Троицу» Ушакова, написанную в 1671 г., можно, как нам кажется, сопоставить с картинами «смягченного» веселья в пьесах Полоцкого. «Троица» Ушакова тоже дает картину сдержанного и «мягкого» пира; «стол тесно уставлен утварью», икона проникнута «подлинным пафосом реальной предметности»¹⁶.

Недаром в «Троице» Ушакова заимствован мотив с копии картины Паоло Веронезе «Пир у Симона Фарисея»¹⁷.

Драматургия Симеона Полоцкого и иконопись Симона Ушакова сходны, как нам кажется, своей смягченностью конфликтов, «утешительностью», стремлением сгладить острые положения и нести «утеху сердцам».

Симеон Полоцкий и Симон Ушаков были связаны тесным сотрудничеством. Ушаков, как известно, рисовал фронтисписы к книгам Полоцкого — к «Рифмотворной псалтыри» и к «Истории о Варлааме и Иоасафе». Полоцкий был редактором окружной царской грамоты 1669 г. об иконописании и писал к царю, полностью поддерживая Ушакова¹⁸.

Однако сходство стилей Симеона Полоцкого и Симона Ушакова определялось не их дружбой (скорее, их дружба — результат сходных взглядов на искусство), а более общим явлением — обстановкой царского двора, где они оба служили. Ведь оправдание «смягченности» попадает даже в теоретические трактаты тех лет. Например, придворный иконописец Иосиф Владимиров в послании Ушакову критикует стиль прежних икон, когда святых писали худыми, смуглыми, изможденными; «иные и не походили на человеческия образы, но на диких людей...» — и требует писать их светлыми, румяными, полутонами: «икона новая светло и румяно, тенно и живоподобне воображается»¹⁹.

1972 г.

4. СТАРЕЙШИЕ ИНТЕРМЕДИИ

Семь интермедий, переписанных в сборнике 1737 г., Н. С. Тихонравов считал старейшими русскими интермедиями. Нет оснований оспаривать это мнение. Однако относительно точное время появления этих интермедий остается неизвестным: последняя четверть XVII в., может быть, самое начало XVIII в.

¹⁶ Данилова И. Е., Мнева Н. Е. Указ. соч., с. 382.

¹⁷ Сычев Н. Новое произведение Симона Ушакова в Государственном Русском музее // Материалы по русскому искусству. М., 1928, т. 1, с. 80, 99.

¹⁸ См.: Майков Л. Н. Симеон Полоцкий о русском иконописании. СПб., 1889.

¹⁹ См.: Овчинникова Е. С. Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве // Древнерусское искусство: XVII век. М., 1964, с. 26, 33, 52.

В указанных интермедиях, действительно, трудно найти отражение конкретной эпохи. Например, интермедия о Летяге¹ рассказывает о трех мошенниках; о том, как вор вора обманул. Действие, пожалуй, разворачивается в России, а не на Украине или где-либо еще. Один из мошенников, по имени Летяга, проводит время в кабаке, а не в шинке или корчме. Расплачивается рублями, а не червонцами, златницами или грошами. И хорошо помнит «Уложение» царя Алексея Михайловича, в части, касающейся вознаграждения за находку. Летяга находит на дороге мешок со ста рублями и предлагает потерявшему, — тот сразу появляется, — заплатить половину за возврат:

За находное потреба платити:
Половиною будет ся делити.

Действительно, по «Уложению» 1649 г. находчик получает вознаграждение в половину цены вещи. Но лишь тогда, когда он спас ее из воды или огня. Летяга знает эту оговорку и поэтому соглашается на меньшее вознаграждение:

За тридцать рублев сто ти вручаю.
Сим аз доволен, мало бо трудихся.

«Мало трудился» — только поднял мешок на дороге².

Датировка интермедии зависит от истолкования реалий, ею упоминаемых. Летяга возвращает потерявшему мешок с деньгами и получает вознаграждение. Но в мешок он ухитряется подложить вместо серебряных рублей медные деньги. Потерпевший, которого зовут Лакомец, в отчаянии. Он хочет покончить с собой. Глядя на мешок с медными деньгами, он кричит:

Горе мне, горе! В конец погубихся!
Своим лакомством излиха прелстихся!
Что се купих аз? Хотех их прелстити,
Но сам прелщен есм. Людем срамно явити:
Раздав вся денги, а в доме несть хлеба!
В беде ми жити уже несть потреба.

Медные деньги имели обращение в России не всегда. Впервые их стали чеканить после указа царя Алексея Михайловича 8 мая 1654 г., а прекратили их выпуск по царскому же указу 15 июня 1663 г. Денежная реформа привела к катастрофе. Медные деньги совершенно обесценились. В 1663 г. за рубль серебром брали более 15 рублей медью. Началась спекуляция. Цены на хлеб сильно поднялись. Например, на

¹ РДД, т. 2, с. 283—285 / Текст памятника подгот. А. С. Демин.

² См.: *Владимирский-Буданов М. Ф.* Обзор истории русского права, 7-е изд. Пг. — Киев, 1915, с. 526.

рожь цены повысились в 60 раз! Естественно, что даже на мешок медных денег почти ничего нельзя было купить. В течение двух недель после указа 15 июня 1663 г. обесценившиеся медные деньги сдавали в казну в обмен на серебряные³.

Интермедия о Летяге, где медные деньги играют главную роль в развитии сюжета, могла быть сочинена, вероятно, не ранее 1654 г. и не намного позже 1663 г.; по крайней мере, не позже середины 1660-х годов.

Вторично медные деньги в России были введены лишь при Петре I, указом 11 марта 1700 г., и, следовательно, сочинить интермедию могли в самом начале XVIII в. Таким образом, можно указать две возможные даты появления интермедии о Летяге — 1660-е годы и начало XVIII в.

Ряд реалий интермедии позволяет склоняться к первой дате. При Петре I равенство курса серебряных и медных денег в общем сохранить удалось. От мешка петровских денег Лакомец не впал бы в такое отчаяние, как во времена Алексея Михайловича⁴.

Летяга, который провел Лакомца и получил чистый доход почти 130 рублей, спешит в кабак и настойчиво зовет туда всех:

Слушайте, друзи! На кабак ходите,
Лишняя деньги туда относите.

Пойду на кабак: ждут мене там люди.

Такая «реклама» кабаков в небольшой интермедии, думается, не случайна. 11 августа 1652 г. царское правительство отменило кабаки и заменило их кружечными дворами, или, как их тогда называли, «кружалами» (по одному «цареву кружалу» на город). Предполагалось, что все питейные доходы целиком будут стекаться в царскую казну. Но расчет оказался неверным, как и надежда на устойчивый доход от замены серебряных денег медными. С 1 сентября 1664 г. кабаки были снова разрешены⁵.

Следовательно, интермедию играли тогда, когда кабаки были вновь открыты. Если учитывать, что кабаки в некоторых местах могли открыть-

³ Спасский И. Г. Русская монетная система: Историко-нумизматический очерк, 3-е изд., доп. Л., 1962, с. 114 и сл.; *Он же*. Денежное хозяйство русского государства в середине XVII в. и реформы 1654—1663 гг. // Археографический ежегодник за 1959 год. М., 1960, с. 124 и сл.; Очерки истории СССР: Период феодализма. XVII в. М., 1955, с. 433—435; *Базилевич К. В.* Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г. М.; Л., 1936, с. 9, 71.

⁴ См.: *Троцкий С. М.* Финансовая политика абсолютизма в XVIII веке. М., 1966, с. 198, 201; *Спасский И. Г.* Русская монетная система, с. 129—133; Очерки истории СССР: Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. М., 1954, с. 386.

⁵ Очерки истории СССР. XVII в. с. 429—430; *Прыжов И. Т.* История кабаков в России в связи с историей русского народа, 2-е изд. Казань, 1914, с. 109—113; *Милюков П.* Государственное хозяйство России в первой четверти XVII столетия и реформы Петра Великого, 2-е изд. СПб., 1905, с. 61.

ся и до 1 сентября 1664 г., то возможное время появления интермедии о Летяге — 1663—1664 гг. (или, как мы сказали, начало XVIII в.).

В интермедии действует еще один мошенник. Имени у него нет, и он просто назван обманщиком: «Тут обманщик изыдет, навезав в мешечик чего-нибудь подобием сорока соболей». Этот мешочек под видом сорока соболей обманщик сбывает тому же Лакомцу, уже раз обманутому. Но как-то странно осуществляется, казалось бы, обычная сделка. Обманщик торгует соболями из-под полы. Он продает их гораздо ниже средней цены, лишь бы никто не знал. «Изрядны товар, — говорит он Лакомцу, — стоит сорок рублей, а за тридцать отдам, аще не скажешь о мне никому». И Лакомец сразу соглашается: «Ты молчи, я молчи». Почему и торговец и покупатель заклиная друг друга молчать?

Торговать соболями в это время было, действительно, нелегко. Неудача денежной реформы привела к тому, что 9 февраля 1662 г. правительство ввело монополию на продажу соболей. Соболями имела право торговать только казна. Правда, 1 сентября 1662 г. монополия была отменена, но многие стеснения оставались. Поэтому частные лица припрятавали соболей, торговали ими тайком, лишь бы не сдавать в казну за медные деньги⁶.

Обесцененные медные деньги, вновь открытые кабаки, запрещенные для открытой продажи соболя, — суть объекты одного комплекса событий 1662—1664 гг. Они-то, по-видимому, и составили фон, на котором развивается действие в интермедии о Летяге (для начала XVIII в. они менее характерны).

Разумеется, далеко не все авторы интермедий подобно автору интермедии о Летяге брали сюжеты из современной им жизни. В большинстве интермедий авторы пишут о событиях, место и время которых совершенно неопределенно. Трудно сказать, например, в какой стране старик учится грамоте, богатырь хочет биться, а астролог проваливается в яму.

Источником подобных интермедий служили скорее какие-то литературные произведения, чем непосредственно события жизни. Например, для интермедий о старике подыскиваются украинские и польские аналогии. Интермедию «Старик и Смерть» П. О. Морозов определил как переделку известной Эзоповой басни. К интермедиям «Старик и Малец» и «Старик и Учитель» П. О. Морозов привел в качестве параллели украинскую или польскую интермедию о мужике и студенте и украинскую песню на сходный сюжет⁷.

⁶ Очерки истории СССР. XVII в. с. 434—435; *Базилевич К. В.* Указ. соч., с. 52—55, 63, 73; *Яницкий Н.* Торговля пушным товаром в XVII в. // Сборник статей студенческого историко-этнографического кружка при университете святого Владимира. Киев, 1913, вып. 1, с. 70—92.

⁷ *Морозов П. О.* История русского театра до половины XVIII столетия. СПб., 1889, с. 66, 331—332.

Можно добавить еще один пример сходства между интермедией «Старец и Малец» и польской интермедией «Puer edocet Senem». В обеих интермедиях старик хочет учиться грамоте у мальчика, но не может даже повторить названия букв; мальец подвергает бестолкового старика истязаниям, якобы повышающим умственные способности, и пр.⁸

Автор интермедии о Летяге тоже не пренебрегал литературными традициями своего времени.

Примечательно, как у автора интермедии Лакомец выражает свое горе: «Увы мне, грешну, — восклицает Летяга, потеряв мешок денег, — люте погибаю! Не хочу жити; иду утопаю». «Увы мне, бедному! — кричит он снова, обманутый мошенниками, — что се созерцаю?.. Горе мне, горе!.. Что се купих аз?.. сам смерти искати пойду...»

По той же схеме Симеон Полоцкий составляет горестные речи блудного сына. «Увы мне, увы мне!... — восклицает блудный сын, разоренный своими слугами, — что сотворю? Пойду, велю их имати...» (строки 353, 355)⁹. «Горе мне, бедну! Горе окаянну... — снова причитает он. — Кто мя напитает?» (строки 357, 361). «Увы мне, увы! — говорит он, избитый приказчиком. — Что имам творити?.. Пойду ко отцу...» (строки 443, 451). Так же в другой пьесе Симеона Полоцкого осуждает себя посрамленный отроками Навуходносор: «Увы мне, увы! Аз, грешный, прелстихся... Что убо имам аз, бедный, творити? О прощение хощу их молити» (строки 185, 189—190)¹⁰.

Однако подобное фразеологическое сходство не дает оснований приписывать Симеону Полоцкому рассматриваемую интермедию. Скорее всего и автор интермедии о Летяге, и Симеон Полоцкий пользовались общим стилистическим шаблоном, отражение которого встречается в различных стихотворных произведениях. Например, в интермедии «Старик и Смерть» сходным образом передаются сетования старика: «Увы мне, бедну! Весь изнемогаю... Увы мне, увы! Что имам творити?.. Уже днес время приде умирати». Даже в таком далеком от интермедий произведении, как «Повесть о Горе-Злочастии» используется сходное стилистическое построение. Молодец в следующих выражениях сожалеет о своей беспутности:

Ахти мне, злочастие горинское!
До беды меня, молотца, домыкало...
Ино кинусь я, молодец, в быстру реку¹¹

⁸ Ср.: *Dramaty staropolskie: Antologia / Opracował Julian Lewański. Warszawa, 1963, t. 6, s. 423—426.*

⁹ РДД, т. 2, с. 138—160 / Текст памятника подгот. А. С. Демин.

¹⁰ РДД, т. 2, с. 161—171 / Текст памятника подгот. А. С. Демин.

¹¹ Русская повесть XVII века / Изд. подгот. М. О. Скрипиль. М., 1954, с. 112.

Далее. Лакомец в интермедии, когда ему Летяга возвращает деньги, благодарит примерно так же, как блудный сын у Полоцкого благодарит отца, вернувшего ему прежнюю честь и богатство. Лакомец обращается к Летяге:

О мужу добрый! Буди Бог с тобою,
Яко сотворил ты милость со мною.
Протчее Бог имать возместити.
И аз готов есмь благодарен быти.

Ему как бы вторит блудный сын (строки 573, 577—582):

О что воздам ти, отче мой сладчайший
Что убо благо могу ти творити
и како имам тя благодарити!
За толикия твоя благодати,
яже изволи на мя излияти!
Отец небесный сам ти воздарует,
иже всем милость за милость готует.

Лакомец кается: «Но сам прелщен есм. Людям срамно явити». Ему вторит блудный сын: «А что пострадах, стыждуся являти» (стих 559). То же говорится о Молодце в «Повести о Горе-Злочастии»: «Стало молотцу срамно появиться своим милым другом...» (111).

Хотя старейшие русские интермедии писаны на русском языке и почти не содержат украинизмов, но даже в интермедии о Летяге замечаются какие-то «стертые» отражения украинских реалий. В именах действующих лиц проглядывает нечто украинское или польское. Например, Лакомец вначале называется «Лакомы» (ср. *łakomy* — падкий на деньги, скряга). Летяга — непонятное имя. Не связано ли оно со словами «ледака», «лотыга», «лотрыга» — бездельник, лентяй, лодырь? Ср. также *łatek* — голодранец¹².

В том, как Лакомец считает русские деньги — рубли, проглядывает привычка к украинскому денежному счету. Лакомец говорит: «Се денег готовых дают тридцать рублей считанных домовых». Почему Лакомец называет деньги «готовыми»? Это отражение обычной украинской формулы при обозначении денежной суммы: столько-то «готовых грошей», то есть наличных денег¹³.

В другой интермедии — о пьянице и «блудном» — деньги уже явно украинские. Блудный раздает не рубли, а червонцы и «златницы»

¹² Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1959, с. 463, 472; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Перевел с немецкого и дополнил О. Н. Трубачев. М., 1967, т. 2, с. 474, 523.

¹³ См.: Шугаевский В. А. Монета и денежный счет в Левобережной Украине XVII в.: Краткий очерк. Чернигов, 1918, с. 18, 20.

(«се сто червонных в чашу полагаю»). Это денежный счет, характерный для Украины¹⁴.

Кстати, интермедию о пьянице и «блудном» долгое время связывали с пьесой Полоцкого о блудном сыне. Предполагалось, что данная интермедия разыгрывалась в перерыве между «частями» пьесы Полоцкого. Но вызывает сомнение, допустил бы Полоцкий, чтобы один и тот же персонаж путал русские и украинские названия денег.

По-видимому, верно предположение, высказанное П. О. Морозовым, что старейшие русские «интермедии сочинены в Московской академии кем-нибудь из ее учителей южноруссов»¹⁵. Ср. интермедию о богатыре и русском воине, которая «представляет школьную обработку народной сценки, аналогичной интермедии «Лях и Запорожец» из украинского вертепа»¹⁶.

1972 г.

5. «ДЕЙСТВО О СЕМИ СВОБОДНЫХ НАУКАХ»

Текст этой малоизвестной и «политичной» пьесы дошел до нас в единственном списке XVIII в., который находится в РНБ, в рукописи собрания Погодина, № 2003 (памятник мне указала В. Д. Кузьмина). В рукописи отсутствует заглавие пьесы. По своему жанру пьеса относится к диалогам. Как характерно для школьных декламаций, или диалогов, в пьесе нет деления на сцены и явления, не предусматривается какая-либо особая сценическая обстановка, действующие лица почти не общаются друг с другом, поочередно декламируя похвалы наукам. В. Н. Перетц, В. П. Адрианова-Перетц и П. Н. Берков называют пьесу диалогом¹.

Вполне признавая правомерность отнесения данной пьесы к диалогам, мы тем не менее называем ее «действом». Именно таково ее обозначение в авторских ремарках и в речах персонажей. Например, в одной

¹⁴ См.: *Шугаевский В. А.* Указ. соч., с. 15; *Спасский И. Г.* Русская монетная система, с. 121, 138.

¹⁵ *Морозов П. О.* Указ. соч., с. 330.

¹⁶ Русская народная драма XVII—XX веков: Тексты пьес и описания представлений / Изд. подгот. П. Н. Берков. М., 1953, с. 336.

¹ *Перетц В. Н.* Отчет об экскурсии семинария русмской филологии в С.-Петербург 23 февраля — 3 марта 1913 года. Киев. 1913, с. 23; *Адрианова-Перетц В. П.* Библиография русской школьной драмы и театра XVII—XVIII вв. // *Старинный спектакль в России.* Л., 1928, с. 187; *Берков П. Н.* К истории русской театральной терминологии XVII—XVIII веков // *ТОДРЛ*, т. 11, с. 289—290.

из ремарок сообщается: «Первоначальный в действе юноша исходит, паки с собою купно отрочат изводит, глаголя» (13)². И этот юноша, выводящий отроков на сцену, также называет пьесу «действом»; он говорит: «Зде же о настоящем действе полагаю, увещателным глагол ныне предлагаю» (1 об.).

Название «действие», встречающееся в тексте пьесы, соответствует форме этого драматического произведения, которое, по сравнению с обычными школьными диалогами, довольно велико, включает около сорока больших монологов, предусматривает пение действующих лиц с музыкальным сопровождением и, таким образом, приближается к настоящему действию. Предлагаемое название соответствует и той традиции в театральной жизни начала XVIII в., когда пьесы назывались по преимуществу «действиями». Название же «диалог», по наблюдениям В. И. Резанова и П. Н. Беркова, получило распространение позднее, в 1720-х гг.³

Время составления «Действа» еще не было предметом подробного рассмотрения: В. П. Адрианова-Перетц в своей библиографии отнесла «Действо» к началу XVIII в., П. Н. Берков в статье о театральной терминологии приурочил появление пьесы к 1701—1702 гг.⁴

Так как оба исследователя не привели необходимых доводов, мы укажем на те места в тексте пьесы, которые позволяют ее датировать.

Нашу датировку мы основываем прежде всего на упоминаниях в пьесе о военных победах Петра I. Один из персонажей «царску победу являет» и декламирует стихи о том, что Петр, «царь российский»,

устрашает бусурман, агарян проклятых,
 Покоряет под нозе мечем, пленом взятых
 Всех храбро.
 Паче же еретиков всех богоотступных,
 Шведов, немцев проклятых, законопреступных
 Злодеев.
 Побеждает их войска, емлет же и грады,
 Разоряет их места, мнимыя ограды
 Их тверды (22 — 22 об.)

Эти стихи переносят нас во времена Северной войны; по ним можно установить, что «Действо» было сочинено не ранее августа 1700 г., когда Петр объявил Швеции войну; более того, не ранее первой победы русских над шведским войском под городом Эрестфер, 1 января 1702 г.

² РРД, т. 3, с. 127—192 / Текст памятника подгот. А. С. Демин. Указываются листы рукописи.

³ О названиях «действие» и «диалог» см.: Резанов В. И. Из истории русской драмы: Школьные действа и театр иезуитов. М., 1910, с. 46; Берков П. Н. Указ. соч., с. 283, 290; Кимягарова Р. С. Из истории театральной терминологии XVII—XVIII вв. Автореф. дис. М., 1970.

⁴ Адрианова-Перетц В. П. Указ. соч., с. 187; Берков П. Н. Указ. соч., с. 290.

Только после этой первой крупной победы русских (а до этого они терпели поражения от шведов) можно было сказать в публичном выступлении, что Петр «покоряет под нозе... шведов... побеждает их войска». О взятии же городов, а не «града», разорении шведских «мест» писать можно было еще позже, но не ранее весны — лета 1702 г.⁵

С другой стороны, то обстоятельство, что в этих стихах говорится о покорении именно шведских городов и мест, свидетельствует о времени не позднее осени 1705 г. С осени 1705 г. Прибалтика перестала быть главным театром военных действий, война вступила в другую фазу, русская армия сосредоточилась на территории своего союзника — Речи Посполитой, и там развертывались основные события⁶.

Итак, «Действо о семи свободных науках» было сочинено, по-видимому, не ранее весны — лета 1702 г. и не позднее 1705 г.

О победах Петра пьеса упоминает очень скупо и подчеркивает неокончателность этих побед. Знаменательно настоящее время глаголов в произносимых персонажами похвалах: Петр «покоряет под нозе», «побеждает» врагов, но еще не покорил и не победил. Это выражение лишь надежды Петра на будущий разгром врагов, лишь угроза врагам словами псалма, как бы декламируемого Петром:

Тем с пророком он к Богу вопиет,
В надеянии его пред ним возопиет,
Глаголя:
Пожену враги моя, присно аз потщуся,
Постигнув их, победжу и не возвращуся,
Скончая;
Оскорблю их до конца, не возмогут встати... (22 об.).

«Тогда он прославится... — тут же добавляет пьеса, — внемга врагов своих всех узрит во многом страсе погибших» (22 об.), — опять только ожидание будущих побед! В общем скромная оценка военных достижений Петра повторяется в качестве своеобразного лейтмотива на протяжении всего «Действа». Так, отроки, поющие от имени свободной науки — музыки, повторяют аналогичные пожелания Петру только в будущем времени: «Даждь же, Боже, ему... царства покорити до конца под нозе во страсе премнозе противных!» (30). И вкладывают в уста Петра выражение надежды лишь на будущую победу, как это делали предыдущие отроки: «...дондеже положу, вся враги поражу руками моими» (30 об.).

⁵ О ходе Северной войны см.: *Тарле Е. В.* Северная война и шведское нашествие на Россию. М., 1958, с. 73—76; *Шутый В. Е.* Борьба народных масс против нашествия армии Карла XII: 1700—1709. М., 1958, с. 114—120; *Устрялов Н.* История царствования Петра Великого. СПб., 1863, т. 4, ч. 1, с. 111—126.

⁶ См.: *Тарле Е. В.* Указ. соч., с. 93 и сл.

Подобная особенность этой панегирической декламации позволяет предположить, что «Действо» сочинялось во время самых первых побед Петра над шведами, то есть ближе к 1702 г., а не к 1705 г.

По печатным источникам 1702—1705 гг. можно, пожалуй, заметить тот рубеж, когда о больших и окончательных победах над шведами начинают писать не как о чем-то ожидаемом в будущем, а как о свершающемся в настоящем. Это вторая половина 1703 г. До этого времени различные печатные произведения — предисловия к книгам, программы представлений, газетные статьи — выражают только надежды о будущем разгроме врагов.

Например, в предисловии к «Патерику печерскому», вышедшему в Киеве в декабре 1702 г., в уста царя вкладываются те же слова псалма 17 «Пожену враги моя...», что и в «Действе»⁷. Автор предисловия киево-печерский архимандрит Иоасаф Кроковский также обещает царю лишь будущую победу над врагами. «Благовествует сию будущую и непременно до конца победу всех врагов победительница в царском орле сущи, его к Вашему царскому пресветлому величеству глаголет: наступиши и попреши два и змия», то есть шведов (нумерованн. 7 об.). О будущей победе говорят на фронтисписе книги и стихи, названные — и это тоже показательно — «Знамение победы»:

Яко сотрен змий, сиче и лев пораженный
Будет, Богородичен враг той заглаженный.
Поправши змия и льва врага победитель
Будет царь благоверный: вещает Спаситель (тит. об.).

В январе 1703 г. надежду на будущие, более крупные победы выражают и учащиеся Славяно-греко-латинской академии в панегирической драме «Торжество Мира православного», поставленной по поводу взятия Петром — впервые — сильной крепости шведов Нотебург. В дошедшей программе постановки сообщается, что одно из явлений «некая надписания его царскому пресветлому величеству, бо́лшия победы провощающия, полагает и борителем благочестия последний час выбивает»⁸.

Даже в петровские «Ведомости» за январь 1703 г. проникает выражение надежд такого рода: «Из Пскова генваря в 16 день. Господин фелт маршал... добрую победу над неприятели одержал... а впредь при помощи Божией ожидаем лучших ведомостей»⁹.

Со второй половины 1703 г., насколько можно судить по печатным источникам, тон высказываний о победах Петра становится намного увереннее; Петра называют непобедимым, непреодоленным во бранях,

⁷ Патерик печерский. Киев, 1702, л. нумерованн. 8 об. — 9.

⁸ Торжество Мира православного. М., 1703, л. 4.

⁹ Ведомости времени Петра Великого. М., 1903, с. 12, № 4.

покоряющим — уже не в будущем, а в настоящем — шведское государство и т. п. Примеров довольно много¹⁰.

По тону восхваления военных успехов Петра «Действо о семи свободных науках» соответствует времени до второй половины 1703 г. Таким образом, можно еще более сузить датировку диалога: не ранее весны — лета 1702 г., не позднее первой половины 1703 г.

Предполагаемое время появления «Действа» о науках уточняется следующими наблюдениями. Диалог предназначался для произнесения в присутствии царя Петра I и его сына царевича Алексея Петровича, о чем многократно заявляют действующие лица. Юноша, «предстательствующий» в диалоге, постоянно напоминает выступающим отрокам, что их слушают царь с царевичем (13, 31, 33 об. и др.). Хотя имя царевича не называется, это, несомненно, царевич Алексей Петрович. Диалог посвящен «важному» событию: Петр отдает царевича учиться семи свободным наукам, притом именно в «школы», в Славяно-греко-латинскую академию (так в начале XVIII в. называли академию — единственное учебное заведение России, где обучали «свободным наукам»). Отроки произносят монологи о содержании и значении каждой из наук. Для Алексея в «Действе» был написан даже особый монолог, «аще сам zde рещи... изволит», с выражением согласия обучаться наукам (7 об. — 8 об.). «Действо о семи свободных науках» по сути дела излагало программу обучения царевича в Славяно-греко-латинской академии, преподнесенную в привлекательной форме.

О программе, по которой предлагали обучать Алексея Петровича, известно уже давно. В начале 1703 г. Петр назначил барона Генриха Гюйссена (Гизена) наставником Алексея и в марте 1703 г. одобрил написанный Гюйссеном план учения царевича¹¹.

План Гюйссена во многом отличается от того, чему предполагает обучать царевича «Действо». Этим двум разным программам вряд ли могли следовать одновременно. Какой-то из планов обучения царевича (Гюйссена или Славяно-греко-латинской академии) появился раньше.

Намерение отдать царевича в руки учителей Славяно-греко-латинской академии у Петра возникло, скорее всего, до того, как он назначил ученого наставника Алексею, и, вероятно, вскоре после специального царского указа в июле 1701 г. о расширении числа предметов преподавания в Славяно-греко-латинской академии¹².

¹⁰ Ср. надписи на вратах, воздвигнутых учителями Славяно-греко-латинской академии к торжественному въезду Петра в Москву в ноябре 1703 г. и подробно описанных: Торжественная врата, вводящая в храм бессмертной славы. М., 1703, л. 2, 4, 7 и др. Ср. также предисловия к книгам Иоанна Максимова: Алфавит, рифмами сложенный. Чернигов, 1705, л. нenumерованн. 7; Зерцало от писания божественнаго. Чернигов, 1705, л. нenumерованн. 2.

¹¹ См.: Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Спб., 1859, т. 6, с. 14—15. Текст учебного плана см. на с. 298—304.

¹² Об указе см.: Смирнов С. История московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855, с. 80—81.

В таком случае «Действо» было сочинено, вероятно, не позднее начала 1703 г.

Следовательно, мы можем предложить две датировки «Действа о семи свободных науках». Одну более широкую: не ранее весны-лета 1702 г., не позднее осени 1705 г. Другую более узкую, но более предположительную: не ранее весны-лета 1702 г., не позднее начала 1703 г.

Неизвестно, состоялась или нет постановка «Действа» в присутствии Петра и Алексея Петровича в стенах Славяно-греко-латинской академии. Вопрос об этом остается открытым. Но, если исходить из узкой датировки «Действа», время его возможной постановки можно предположить с точностью до двух месяцев.

Отрок, декламирующий стихи о победах над шведами, обращается к царю с таким восклицанием:

Радуйся, победитель, приношу ти вести,
Яко с победителем возможеша сести
Во небе! (22 об.)

То, что отрок «приносит вести» победителю, наводит на предположения о недавности побед, вскоре после которых ставилось «Действо». С весны 1702 г. до середины 1703 г. крупными победами Петра были: выигрыш сражения под Гуммельсгофом 17 июля 1702 г., взятие Нотебурга 11 октября 1702 г. и взятие ряда сильных шведских крепостей в мае 1703 г.: 1 мая — Ниеншанца, 14 мая — Яма, 27 мая — Копорья¹³. Следовательно, «Действо» могли намечать к постановке или вскоре после 17 июля 1702 г., или после 11 октября 1702 г., или после майских побед 1703 г.

Выбор даты определяется временем пребывания Петра в Москве. С 18 апреля по 4 декабря 1702 г. Петра с царевичем Алексеем в Москве не было. 18 апреля Петр с сыном выехал в Архангельск, а затем, объехав несколько северных крепостей России, руководил осадой Нотебурга до его взятия (11 октября). Петр с сыном торжественно въехал в Москву 4 декабря 1702 г. на празднества по случаю нотебургской победы, то есть менее чем через два месяца после этого важного события. Пробыв в Москве несколько недель, 1 февраля 1703 г. Петр выехал в Воронеж и до самого ноября в Москве не появлялся (если не считать, что однажды, 10—11 марта, Петр буквально на пару дней заехал в Москву и тут же уехал в Шлиссельбург¹⁴).

Итак, постановка «Действа» наиболее возможна между 4 декабря 1702 г. и 1 февраля 1703 г.

¹³ См.: Тарле Е. В. Указ. соч., с. 76—83.

¹⁴ См.: Устрялов Н. История царствования Петра Великого. СПб., 1863, т. 4, ч. 1, с. 162, 186—225.

11 ноября 1703 г. Петр снова приехал в Москву. Это был тоже торжественный въезд в столицу по случаю майских побед. Но так как торжества происходили почти через полгода после взятия Ниеншанца и других крепостей, то вероятность постановки «Действа», где «принесут вести» о победе, в ноябре 1703 г. меньше, чем в декабре 1702 — январе 1703 г.

Авторы «Действа о семи свободных науках» остаются для нас неизвестными. Текст диалога позволяет выдвинуть лишь самые общие предположения. Прежде всего, авторов было несколько. Об этом упоминает в «предмове» «Действа» один из отроков:

предлагаем ныне
 Пред лицом вашим царьским вси в души едине
 О тех честных науках хошем вам явити,
 Седмо вящих свободных глагол предложити,
 Не яко своим детским мы умышлением,
 Но вещателей неких разположением (6 об.)

Эти «вещатели» (или некоторые из них), по-видимому, были украинцами, отчего в текст «Действа» проникли нередко встречающиеся лексические украинизмы, а также и полонизмы: «слична красота» (л. 9 об.), «сличность» (26, 32 об., 34 об.), «властна рука» (4, 6 об., 10, 22, 30), «спеваки драгия» (28 об.), «спевати» (26, 27, 27 об., 28, 28 об., 30) и мн. др.

В числе авторов «Действа», вероятно, были учителя-украинцы, которые в 1701 г. приехали из Киева в Москву, чтобы вести преподавание в Славяно-греко-латинской академии. Из дошедших до нас имен учителей возможны в качестве авторов «Действа»: Иерофей Бартошевич, Рафаил Краснопольский, Иосиф Туробойский, Антоний Стрешовский, Мелетий Канский, Игнатий Миштальский, Дорофей Кроткевич¹⁵.

Кто именно из перечисленных учителей был автором или соавтором «Действа», остается неясным. Однако по высказыванию одного из действующих лиц диалога — учителя — можно понять, что он сочинил музыку к «Действу». Выступая перед зрителями, учитель называет себя «явленным вещателем», то есть автором, появившимся перед лицом слушателей:

Днесь аз, раб ваш последний, со отроки предстатель,
 В сих свободных науках явленный вещатель
 Пред вами
 Вашему пресветлomu лицу zde предстою... (25 об.)

¹⁵ См.: Голубев С. Киевская академия в конце XVII и начале XVIII столетий. Киев, 1901, с. 95—97; Харламович К. В. Малороссийское влияние на великороссийскую церковную жизнь. Казань, 1914, т. 1, с. 645—646. Предположение об учителях-украинцах как возможных авторах «Действа» впервые было высказано В. Д. Кузьминой.

Этот учитель, по-видимому, также был украинцем, тем более что в его монологах в «Действе» украинизмы встречаются чаще, чем у остальных действующих лиц. Но мы не знаем, кто из приехавших в Москву учителей-украинцев преподавал музыку в Славяно-греко-латинской академии.

Составители «Действа» тяготели к использованию сочинений южнорусского и западнорусского происхождения, что вполне естественно для авторов-украинцев. Сильное влияние на «Действо» оказала «Книга избранная вкратце о девятих мусах и о седмих свободных художествах», составленная в 1673 г. молдавско-русским писателем и переводчиком Николаем Спафарием. Здесь нет необходимости подробно говорить о «Книге» Спафария, рассказывающей о семи свободных науках, но следует напомнить, что в ней содержатся и стихотворные похвалы, которые науки как бы декламируют о себе. Похвалы от лица грамматики, риторики, диалектики и арифметики в «Действе» текстуально сходны с тем, что декламируют эти же науки в «Книге» Спафария. Характер сходства текстов таков, что позволяет видеть в «Действе» хоть и не буквальное заимствование, но не очень сильную переработку ряда мест «Книги» Спафария¹⁶.

Возможно также, что авторы «Действа» обращались к источникам «Книги» Спафария. Некоторые похвалы Спафарий заимствовал из «Сказания о седми свободных мудростях», переведенного на Руси в конце XVI — начале XVII в.¹⁷; другие, как указывает сам Спафарий, взял из предисловия к московскому изданию «Грамматики» украинца Мелетия Смотрицкого 1648 г., где грамматика говорит о себе стихами¹⁸. Недаром текстуальное сходство между «Действом о семи свободных науках» и «Книгой» Спафария ограничивается похвалами, все-таки не принадлежащими Спафарию, а лишь использованными им.

В общем «Действо о семи свободных науках» является большой и сложной компиляцией-переработкой многих источников (круг которых выяснен еще недостаточно), включая сюда и различные предисловия к переводным учебникам риторики, диалектики, арифметики и пр.¹⁹.

Созданный в 1702—1703 гг. (или в 1702—1705 гг.) диалог о науках пользовался вниманием современников по крайней мере около тридцати лет. Так, те стихи из «Действа», которые были посвящены побе-

¹⁶ Ср., например, характеристики риторики, диалектики и арифметики в «Книге» Спафария по списку РНБ Q. XVII. 13, л. 24 об. — 25, 28 об. — 30 об., 34 об. — 35, и в «Действе о семи свободных науках», л. 15 об., 16 об., 17 об., 32 об.

¹⁷ См.: *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, с. 168.

¹⁸ См.: *Грамматика Мелетия Смотрицкого.* М., 1648, л. 40—42 об.; «Действо», л. 10 об. — 11.

¹⁹ Ср. похвалы от лица риторики и диалектики в «Риторике» первой половины XVII в. — *Бабкин Д. С.* Русская риторика начала XVII в. // ТОДРЛ, т. 8, с. 336—339.

дам Петра над шведами, почти полностью повторены в одном из стихотворений, написанном в честь Полтавской победы 1709 г.²⁰

Дальнейшая история «Действа» связывается со временем после смерти Петра I. Судя по дошедшему до нас списку РНБ, «Действо» было переписано в 1720-х годах. Но вряд ли диалог, посвященный злополучному царевичу Алексею, могли безбоязненно переписывать после процесса над ним в 1718 г., при жизни Петра I. Вряд ли список диалога о «единственном наследнике» царя Алексея мог появиться и при Екатерине I. Новый список диалога, скорее всего, стали готовить тогда, когда на престол вступил сын умерщвленного Алексея император Петр II, следовательно, не ранее 7 мая 1727 г., когда Петр II был объявлен царем, и не позднее 18 января 1730 г., когда он скончался.

К переписке диалога приступили, вероятно, несколько позже того, как произошло воцарение Петра II, а именно после царского указа 26 июля 1727 г., изданного 4 августа, о ликвидации всех документов и печатных манифестов по делу «блаженных памяти» царевича Алексея²¹.

К переписке диалога обратились, возможно, по желанию князя Д. М. Голицына, давнего сторонника царевича Алексея Петровича и одного из приближенных Петра II. Дошедший до нас список диалога, несомненно, находился у него в библиотеке²².

Есть основания предполагать, что текст «Действа о семи свободных науках» в дошедшем до нас голицынском списке был переписан не до конца (чего, кстати, не заметили ни П. Пекарский, ни В. Н. Перетц, занимавшиеся этим произведением²³). Об этом можно догадаться, исходя из сведений, которые сообщают участники диалога. «Отроки» под руководством «юноши-предводителя» и «учителя» поочередно декламируют и поют в «Действе» стихотворные похвалы семи «свободным наукам», перечисляя, между прочим, какие именно науки они восхваляют. Например, один из «отроков» говорит слушателям:

О тех честных науках хошем вам явити,
Седмо вящих свободных глагол предложити...

Первая грамматика с правописанием,
Вторая же риторика с красным вещанием,

²⁰ Текст стихотворения опубликован дважды: по неизвестному списку см.: *Шейн П.* Современные стихи в честь Петра I и сына его Алексия Петровича // *ЧОИДР.* 1862, кн. 4, отдел V, с. 3—6; по списку ИРЛИ, собрание ИМЛИ, разряд IV, опись 5. № 7 см.: *Бакланова Н. А.* *Вирши-панегирик Петровского времени* // *ТОДРЛ,* т. 9, с. 405—407. Ср. библиографическое примечание П. Н. Беркова: *История русской литературы.* М.; Л., 1958, т. 1, с. 395, 681.

²¹ См.: *ПСЗ,* т. 7, с. 831—832. № 5131.

²² Реестр библиотеки Д. М. Голицына с упоминанием диалога см.: *Материалы для истории имп. Академии наук.* СПб., 1887, т. 4, с. 188. № 293.

²³ См.: *Пекарский П.* *Наука и литература в России при Петре Великом.* СПб., 1862, т. 1, с. 457—458; *Перетц В. Н.* *Указ. соч.,* с. 21—23.

Еще диалектика, давша речь полезну,
 С нею же мусикия, певша песнь любезну,
 В пятых — арифметика, щет свой предложивша,
 В шестых — астрология, небеса явивша,
 В седьмых — философия, вся содержащая,
 Яко мати суши тех наук владающая.
 На ней же седит честно сопрестолна суша,
 О самом Бозе разум богословск имуща
 Наука суть нареченна богословия,
 В ней же содержать действо все философия (6 об. — 7).

И в самом деле, «Действо» построено именно по этому плану, сооб-
 щенному «отроком»: первой восхваляется грамматика, второй — ритори-
 ка, третьей — диалектика, четвертой — музыка, пятой — арифметика
 и, наконец, прославляется шестая наука — «астрология», состоящая из
 геометрии и астрономии. Но обещанная характеристика седьмой, по счету
 «отрока», науки — философии с богословием — в списке отсутствует,
 что и позволяет предположить незаконченность переписанного текста
 диалога.

На незаконченность дошедшего текста указывает еще одно упоминание — ссы-
 лка на конец «Действа», сделанная юношей во вступительном
 слове. Юноша упоминает, что конец «Действа» будет посвящен как
 раз богословской теме о божественном образе:

Каков же его образ, в ваши божественный
 О том при конце будет глагол zde явственный
 Подробну
 Тамо бо о всем мною ясно предложися,
 С церквью святою в ползу всем явися
 Истинно (1 об.).

Но, как видим, рассуждение о божественном образе вместе с харак-
 теристикой философии в списке РНБ отсутствует. Текст обрывается на
 монологе, который произносит «отрок» от лица астрономии: «Аз, астроно-
 мия, zde учиненная, в день седмый на тверди в твари явленная...» и пр.

Если даже отказаться от предположения о том, что похвалы фило-
 софии и богословию в список не попали, то все равно придется признать,
 что диалог здесь не доведен до конца. Цикл похвал, посвященных гео-
 метрии с астрономией, остается явно не завершенным. О каждой из «сво-
 бодных наук» в диалоге обычно декламируют три — пять «отроков»;
 причем первые «отроки» от лица науки восхваляют саму науку, а два
 последних «отрока» восхваляют царя и царского сына. Но когда речь
 заходит о геометрии и астрономии, то вслед за похвалами двух «отроков»
 этим наукам (или единой науке — «астрологии») не следует никаких
 обычных монологов, восхваляющих царя и царевича и завершающих
 «Действо». Текст «Действа» резко обрывается в самом верху л.36 об.,

на шестой строчке (обычно на листе рукописи уместается 25—26 стихотворных строк); далее на л. 36 об. пустое место, нет ни какой-либо концовки, ни хотя бы росчерка.

Рукопись в целом явно была не закончена и не проверена. Не было вписано заглавие произведения, хотя для него было оставлено место (пустые полтора листа — нумерованный л. и верхняя половина л. 1; текст начинается с нижней половины л. 1); не были вписаны ноты на л. 26, хотя для них также было оставлено место (нижняя половина листа — пустая после слов: «Зде в три гласы заспевают, на органех возыгра нот мусику»); не был дописан конец произведения; много описок не исправлено, в одном месте нарушено разделение на рифмующиеся строки (14), в другом — сделана ошибка в счете выступающих отроков (после монолога третьего «отрока», посвященного риторике, в авторских ремарках сообщается о выступлении сразу пятого и шестого «отроков», а четвертый «отрок» почему-то не упомянут (см. 15, 20 об., 22). Судя по контексту, здесь скорее ошибка в счете «отроков», а не пропуск монолога. Трудно сказать, почему бросили переписывать диалог. Но вполне возможно, из-за внезапной смерти Петра II.

1974 г.

6. ПОЗДНЯЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ

«По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного... Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения...»¹. Так писал А. С. Пушкин о времени после Петра. Характеристика эта подтверждается и развитием московской школьной драматургии. После смерти Петра она не отмирает, не возвращается к своей былой богословской абстрактности, но продолжает развиваться в направлении, определенном петровским временем. Однако теперь это развитие получает ограниченный, односторонний характер.

Судя по дошедшим пьесам, в конце 1720-х — начале 1740-х годов на первое место вновь выдвигается драматургическая деятельность Славяно-греко-латинской академии. (Пьесы Госпиталя, относящиеся к этому времени, до нас не дошли, а сведения о них неопределенны; дошедшая «Шутовская комедия» 1730-х годов лишь предположительно приписывается Госпитальному театру и тяготеет к интермедиям). Сла-

¹ Пушкин А. С. Заметки по русской истории XVIII века. // Полное собрание сочинений. М., 1949, т. 11, с. 14.

вяно-греко-латинская академия принимает деятельное участие в различных государственных торжествах второй четверти XVIII в., памятниками которых являются пьеса «Образ победоносия торжественного подвигоположника... иерусалимского царя Езекиа», сочиненная в 1728 г. преподавателем академии Исаакием Хмарным, и пьеса «Образ торжества российского доблственному подвигоположнику», написанная в 1742 г. также кем-то из преподавателей академии.

Несмотря на то что пьесы разделены довольно большим промежутком времени, они составляют относительное единство: не только потому, что посвящены однотипным событиям (первая — коронованию Петра II, вторая — коронованию Елизаветы I), но и потому, что первая пьеса в литературном отношении явно повлияла на вторую, вплоть до сходства заглавий и отдельных персонажей².

Обе пьесы продолжают ряд черт Госпитального театра 1720-х годов. Они прославляют Петра I, который, как говорится в «Образе победоносия», «днесь на вечность неоплакуемый воспоминанием России остаётся» (327)³.

Они противопоставляют Россию прежнюю — нынешней, пользуясь известной формулой «прежде — ныне». Они рисуют собирательный образ русского воина:

Стою бодрственно в брани недвижим ногами,
свирепо поступаю и страшу руками...
Егда на врагов поиду, ничто не внимаю,
аще и огни горят, на то не взираю.
Токмо слушаю, егда ударят в барабаны,
во оружие Беллионы, в трубы и тимпаны.
Тако храбро воскорее подвигнуся к брани,
аки лев пресвирепы, на всякия страны.
Зрю со прилежанием, где врага убити,
в сердце ли, или в груди, с центру не вступити.
Никако убо мене вои устрашают,
аще сердце и перси пулями пронзают,
Копиями, щитами аще вес збоденны,
стрелами и шпагами телом уязвленны.
Токмо Марсовым челом, на вся ся структуры
храбростию ни во что сия арматуры. (328 об.)

Однако в отличие от пьес Госпитального театра политический мир в драмах конца 1720-х — начала 1740-х годов уже не так конкретен и четок. Это уже мир вообще, который восхищается Россией. И лишь

² См.: Бадалич И. М., Кузьмина В. Д. Памятники русской школьной драмы XVIII века (по загребским спискам). М., 1968, с. 34, 36.

³ РРД, т. 3, с. 314—371 / Текст памятника подгот. А. С. Елеонская. Указываются листы рукописи.

изредка в пьесах встречаются элементы просторечия, — остатки очеловечивания аллегорических персонажей. Так, например, Геркулес в «Образе победоносия» однажды заявляет:

Петра Второго днес да бояться языцы,
и зело вси тресутся, малы и велицы. (350)

Дело в том, что в поздних пьесах Славяно-греко-латинской академии получает преимущественное развитие лишь одна черта госпитальных драм в ущерб развитию остальных черт. Если в госпитальных драмах действие в сущности отсутствовало и речь шла о событиях, уже происшедших, то поздняя московская школьная драматургия взяла эту черту за основу. Персонажи пьес лишь говорят о деяниях, обсуждают их, молятся о них, поздравляют с их свершением, но сами деяния не показываются ни разу. Действия в поздних московских пьесах нет настолько, что их можно считать большими поздравлениями коронованным монархам. Главным предметом изображения служит лишь то, как поздравляют царей в разные эпохи в связи с восхождением их на престол; изображается преимущественно только сама церемония поздравлений, и драматурги стремятся, чтобы она выглядела как можно более торжественной.

С поздравлениями к монарху обращаются самые различные персонажи, раздаются бесконечные торжественные звуки и «гласы». В «Образе победоносия» Слава, например, восклицает:

Вещаю во языцех и разпростираю,
торжество собывшее в ушеса влагаю... (348)

В златокovaných трубах согласно вострубите,
не молчите

В литавры и тымпаны, сипоши, сопелы,
тожде артелы (348 об.)

Все появляются в богатых одеждах; Фортуна носит торжественно звенящую «...одежду, златом вся кованну, яханътами, алмазы предраго звоянну» (328).

Даже в кантах, включенных в состав драм, изображается церемония встречи и чествования нового монарха «гражданами и поселянами». Например, в «Образ торжества» вставлена следующая «песнь», по предположению В. Д. Кузьминой, сочиненная самим драматургом⁴:

Радостни дние настоят гражданам
и поселяном,
Юныя дети, украсите власы,
торжественныя восклицайте гласы

⁴ Бадалич И. М., Кузьмина В. Д. Указ. соч., с. 48.

Победителю в подвизе толику,
 в славе велику.
 Доблия в силе, торжествуйте, вои,
 отвергше Марса мужественны бои,
 Купно же с своими народы ликуйте
 и торжествуйте.
 Аполлиновы приидите другини,
 воспойте, славете на торжестве ныне,
 Вы же, народи, с ветвми усретаите,
 путь устилайте.
 Отверзай всюду врата изваянный,
 прииде вскоре гость к нам возжаданный... (8).

Мир поздней школьной драмы оказывается чрезвычайно суженным (хотя и светским), и главные усилия драматурга тратят на то, чтобы его украсить. Недаром в эпилоге к «Образу победоносия» автор извиняется не только за неисправность отдельных мест, но и за то, что зрители могут счесть драму недостаточно украшенной: «Аще убо в чesом либо неизправленно или неукрашено зрению или слышанию благоохотных зрителей вознепщует что быти...» (324).

В общем московские школьные драмы конца 1720-х — начала 1740-х годов примыкают к той части панегирической, придворной поэзии, которая воспевала празднества, «посещения» императрицами различных городов и монастырей и т. п.⁵

В сочинениях, посвященных подобного рода событиям, причудливо переплетались русский, польский языки и латынь, стихи, проза и драматургия. Но если драматические произведения ограничивались лишь поздравлениями и изображением церемоний, то различные стихотворения, в особенности оды, затрагивали широкий круг патриотических тем и были гораздо богаче содержанием, чем московские школьные драмы 1730-х — 1740-х годов. Последние занимали еще заметное, но уже второстепенное место в официальной, панегирической литературе, а к середине XVIII в. исчезли из ее состава, как, впрочем, из всей русской литературы в целом.

Объяснение этого явления надо искать в том, что московская школьная драматургия вытеснялась новыми, более, так сказать, специализированными жанрами, — одой и классицистической драмой, которые были

⁵ Изображение самих церемоний стало основной темой «приветственных» стихотворений при преемниках Петра I. Ср.: Песнь приветственная в славном торжественном вхождении победителя и миротворца Петра Великого... в... Москву 1721 декабря. М., 1721; Песнь, ею же от моря Каспийскаго с победою над Дербеню и прочими грады возвращающагося... Петра Великого... в торжественном... Москву вхождении приветствоваше Академия московская 1722 году декабря 18 день (текст издан: Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862, т. 2, с. 579—581).

в состоянии глубже и шире ставить многообразные политические и общественно-этические вопросы современности. Школьная драматургия не отмерла, распадаясь как жанр, но просто была отставлена за ненужностью.

Эволюция школьной драматургии в Москве свидетельствует о ее пестроте и неустойчивости. Ни одно из направлений в ее развитии не продержалось достаточно долго. Проявившаяся в ней в начале XVIII в. ориентация на оппозиционно-церковную литературу была эпизодической. Научно-просветительные мотивы выразились неглубоко и тоже быстро угасли. Расцвет московской школьной драматургии наблюдаем во второй половине царствования Петра I, вместе с расцветом официальной, патриотической литературы. Но затем московская школьная драма сузила свои функции, ограничила тематику и отошла к разряду произведений официозно-придворного характера, чтобы вообще исчезнуть с литературного горизонта.

Пестрота судьбы московской школьной драматургии, успевшей менее чем за полвека поменять несколько идейно-стилистических направлений, объясняется, на наш взгляд, крайней нестабильностью культурно-политической обстановки в петровское время, нестабильностью культурных учреждений и их характера. Идеино-стилистическая переменчивость, по-видимому, была присуща не только русской школьной драматургии вообще, но и многим жанрам петровского времени.

1974 г.

7. «ШУТОВСКАЯ КОМЕДИЯ»

Пьеса, по-видимому, переведена с польского или составлена на основе польских и украинских интермедий. Многочисленные полонизмы лексики и синтаксисе пьесы уже были отмечены В.Н. Перетцем. В. Филиппов также считал комедию переводом или переделкой польского экста, который в свою очередь мог восходить к французским прототипам многих мольеровских комедий¹.

Нам не удалось установить польские или украинские источники комедии. Это затрудняет ее атрибуцию. Однако несомненным представляется то обстоятельство, что комедия не очень сильно перерабатывала источники, так как почти не содержит указаний на русскую действительность. Лишь однажды в пьесе встречается бесспорный намек на

¹ См.: Перетц В. Н. Памятники русской драмы эпохи Петра Великого. Тб., 1903, с. XXIV, 561—570; Филиппов В. К вопросу об источниках Шутовой комедии. Из истории русского мольеризма // Памяти П. Н. Сакулина. Работа написана мною совместно с А. Г. Мирзоян.

Россию, а именно тогда, когда Шут в своем духовном завещании передает жене пруд, «которой еще зделат возможно у реки Яузы... ныне в нем насажено много французской рыбы, по-русски лягушками нареченной» (46)². Вышучивание Яузы является характерной чертой русских юмористических произведений еще с XVII в. Напомним аналогичную завещанию Шута «Роспись о приданом»: «И всево приданова почитают от Яузы до Москвы-реки шесть верст»³. Но для датировки эта реалья мало что дает.

Отражением русской действительности, возможно, является и то, что Шут выступает в комедии в роли «толмача», переводчика при докторе-иностранце (1). Действительно, по крайней мере с начала XVIII в. доктора в Москве держали при себе толмачей. Об этом свидетельствует, например, письмо 1704 г. начальника московского Госпиталя Н. Бидлоо, который жаловался дьяку Головину: «...придан мне был толмач, без какого я не могу никакого повеления вашего выразуметь и исполнить. Теперь дьяк отнял у меня этого толмача... чтоб я другого толмача сыскал, как и другие доктора своих держат»⁴. Но датирующего значения подобная реалья также не имеет.

Этим ограничивается наличие русских реалий в пьесе. В остальном же «Шутовская комедия» содержит скорее польские или украинские реалии, чем русские. Например, Шута и его невесту Касеньку (польская огласовка имени Катенька) венчает не священник, а пастор, который к тому же упрекает жениха в неприлежном хождении в костел: «...и не гораздо прилежно ты в костел ходил...» (25 об.). Свадьбой в доме у Шута ведает «маршалок» (на поле рукописи поясняется: «дворецкий» — 28 об.). Эти детали в ироническом контексте комедии все-таки сохраняют характер реалий, так как само по себе появление пастора или маршалка или хождение в костел в пьесе не означает комедийной нелепости, но считается вполне естественным.

В содержании самих шуток пьесы также можно заметить местную польскую или украинскую тему. Через всю комедию проходят насмешки почему-то над городом Каменец-Подольском, принадлежавшим в то время Речи Посполитой. Каменец-Подольск, пруд под Каменцем и каменецкого полковника постоянно поминают и Шут, и дворецкий Шута, и его сосед Мельник, и другие персонажи пьесы (6 об., 19, 20—21, 46). Ср. также сцену беседы француза с испанцем⁵.

² РРД, т. 3, с. 372—429 / Текст памятника подгот. А. С. Демин. Указываются листы рукописи.

³ РДС, с. 99.

⁴ См.: Алелеков А. Н., при участии И. И. Якимова. История московского военного госпиталя в связи с историей медицины в России к 200-летию его юбилею 1707—1907 гг. М., 1907, с. 72.

⁵ О ней см.: Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Л., 1964, с. 34—40. Испанец научился «по-славенски» разговаривать «в войне против турка», когда «цесарю служил» (7 — 7 об.).

Из польских или украинских источников, по-видимому, заимствована в пьесе церемония приема Шутовича в доктора, которая пародирует порядки западноевропейских «докторских академий», а не московского или петербургского госпиталей. К собравшимся докторам обращается «академии ректор»; Шутович произносит врачебную клятву; секретарь облачает Шутовича в «епанчу» и вручает ему перстень и книгу Галена, Гипократа, Парацельса и т. п. (39 об. — 41). В России церемония приема в доктора была более скромной и совершалась несколько иначе⁶.

В общем, если не считать сцену с академией, комедия отражает быт мелкого польско-украинского местечка. Бедны Шут и его невеста (это отмечается неоднократно). Даже стол па свадьбу приходится занимать у соседей (29). Соседи Шута — крестьянин-мельник со своей старухой, которого даже площадный писарь называет мужиком (44). К Шуту и доктору приходит за лечением «поселянин», тоже бедный (34) и т. д.

Русский быт не находит явного отражения в комедии, и поэтому трудно сказать с определенностью, когда комедия появилась в России и какое отношение имеет к московскому Госпитальному театру. Несомненно лишь то, что пьеса была переписана, судя по бумаге, не позднее 1760-х годов, а в Россию могла проникнуть не ранее 1699 г., когда Каменец-Подольск, долго находившийся под властью Турции, в ходе польско-турецкой войны был присоединен к Польше. Завещание Шута недвусмысленно относит данную местность к этому государству, упоминая «великую пустош... в Полше, неподалеку от Каменца Подолского» (46)⁷.

Можно предполагать, что комедия была играна в России после окончания польско-турецкой войны конца XVII в., но до начала русско-турецкой войны 1735—1739 гг. Если о первой войне в пьесе однажды встречается упоминание, то никаких намеков на вторую нет. Маршалок, он же пьяный поляк, вспоминает, как турки застрелили под ним коня «на бою под Каменцем Подолским». А ныне, говорит поляк, его сабля не имеет «никакого дела» (19 — 19 об.). Речь, по-видимому, идет о закончившейся польско-турецкой войне и сражении под Каменцем. В следующую войну с Турцией боев под Каменцем не было. Знаменитая же битва 1739 г., произошедшая недалеко от Каменца, под Хотинном, уже не упоминается в комедии.

Датировку «Шутовской комедии» первой третью XVIII в. подтверждает и предположение В. Н. Перетца, связавшего пьесу с репертуаром придворной итальянской труппы, которая была послана польским королем в Россию из Польши и играла при русском дворе в 1731 и 1733—1734 гг. Впервые на русской сцене появились популярные персонажи

⁶ См.: Чистович Я. История первых медицинских школ в России. СПб., 1883, с. 61—62, 641—642.

⁷ О присоединении Каменец-Подольска см.: История Польши, 2-е изд., доп. М., 1956, т. 1, с. 325.

итальянской народной комедии — Доктор, Арлекин, Панталон, Испанец и пр. Но именно эти герои — Доктор, Шут, Панталон, Гишпанец — действуют и в «Шутовской комедии»⁸.

Вопрос о более точной датировке комедии остается открытым. В. Н. Всеволодский-Гернгросс предполагал, что пьеса была сочинена и петровское время. Отсюда некоторое сходство завещания Шута с текстом «Службы кабаку» и «Обрядом рукоположения в члены всешутейшего собора». Затем, при Анне Иоанновне, пьеса пополнилась персонажами итальянской народной комедии⁹.

Однако отмеченные элементы сходства с русскими и итальянскими юмористическими произведениями могли присутствовать уже в польских источниках пьесы. Поэтому появление «Шутовской комедии» в том виде, в каком она дошла до нас, нельзя относить именно к первой половине 1730-х годов. Пока правильной обозначить время ее появления в России первой третью XVIII в.

«Шутовскую комедию» в ранней русской драматургии выделяет «медицинский» сюжет. Б. В. Варнеке полагал, что составители комедии, высмеивая докторов и медицину, были настроены против петровских преобразований¹⁰.

Однако в пьесе обнаруживаем отражение как раз относительно просвещенного отношения к докторам и к медицине, хотя и облеченное в комическую форму.

Ранее, в XVII в., подход к медицине был иным. Если не считать узкоспециальных произведений, в общем не многочисленных, русская письменность XVII в. касалась вопросов здоровья человека преимущественно в связи с делами юридическими. В основном только в явочных челобитных, в челобитных ссыльных и заключенных и в различных судебных делах подробно описывались внешний вид и состояние больного, искалеченного, потерпевшего. Иногда составлялись статейные списки о ходе болезни и смерти какого-либо значительного лица. Главное же внимание уделялось здоровью царя, его болезням и их лечению; фиксировались предложения придворных докторов о способах лечения царя и членов царской семьи, учитывались прописываемые лекарства и пр. Все это делалось и для того, чтобы в случае ухудшения здоровья царя сразу найти виновных, заметить злой умысел и т. д.

⁸ Об итальянской группе см.: *Всеволодский-Гернгросс В.* Театр в России при императрице Анне Иоанновне и императоре Иоанне Антоновиче. СПб., 1914. Экземпляр этой книги с авторскими рукописными и машинописными добавлениями хранится в РГБ под шифром W 462/857.

⁹ См.: *Всеволодский-Гернгросс В.* Русский театр: От истоков до середины XVIII в. М., 1957, с. 180—181.

¹⁰ *Варнеке Б. В.* Из истории русского театра в начале XVIII века. // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, 1905, т. 21, вып. 4, с. 396—371.

Этот взгляд на медицину как часть придворного обихода давал себя знать и в течение XVIII в. Врачи, встречающиеся в повестях петровского времени, это преимущественно врачи придворные, лечащие королей и вельмож и принимающие участие в делах двора. Например, в «Повести о рыцаре Венцыане Францеле Гишпанском и испанской королевне Ренцыве» Францель видит затворенную королевну благодаря помощи придворного врача. Влюбившись в нее, Францель «поиде ко кралевскому лекарю, которому отдал крал отец ея на соблюдение телеснаго здравия». И подкупленный лекарь передает письмо королевне от Францеля: «...подал лекарство и потом подаде лист за печатью»¹¹.

Как заметил Я. Чистович, «еще и в начале XVIII столетия на аптекарскую канцелярию и аптеки смотрели как на учреждения, служащие для выписки из-за границы разных редкостей, диковин и дорогих товаров, не существовавших в народном обращении и пригодных только для исключительных случаев»¹².

Этот старый взгляд на лекарства также находит косвенное отражение в одной из петровских повестей. В «Повести о российском кавалере Александре» Александр упоминает о дорогих медикаментах, которыми можно было бы вылечить внутреннюю болезнь — любовь: «Дивлюся вам, государыня моя, — говорит он своей возлюбленной Елеоноре, — что медикаментов никаких не употребляеш, а внутренния болезни так искусно исцеляете, яко же собою вам засвидетельствую, что надеюсь нигде такой дохтур есть, которы драгими медикаменты возмог такую неисцелимую болезнь так скоро исцелить, яко же ты со мною во един момент часа учинила»¹³.

Почти ничего из этих старых взглядов на медицину, врачей, лекарства не заметно в «Шутовской комедии», в которой Доктор и Шут лечат «клишстерами» своих «поселян». Прибегать к помощи доктора и учиться медицинскому ремеслу теперь могут везде, «где люди умрети не хотят» (1). Доктор имеет дело со множеством больных, что видно при всей пародийности из наставления секретаря «докторской академии» новоявленному врачу Шутовичу: «...Буде тысящи умирают, то ни во что почитай, аще бы они по Галенову, Гиппократову, Парацелсову предписанному правилу и обычаю умирали» (41). Доктор теперь занимается если и не «тысящами» больных, то по крайней мере сотнями.

Новое отношение к медицине как к общественно важному делу вполне соответствует тому взгляду, который стал устанавливаться на нее в России в петровское время. Петром I и Сенатом был издан ряд указов, затем уточнявшихся и дополнявшихся, об организации медицинского дела в государстве сверху донизу, вплоть до отдельного горо-

¹¹ Рукопись РГБ 1729 г. фонд 310, собрание Ундольского, № 926, л. 4 — 4 об.

¹² Чистович Я. Указ. соч., с. 3.

¹³ Русские повести первой трети XVIII века / Изд. подгот. Г. Н. Моисеева. М.; Л., 1965, с. 223.

да. Были изданы указы о собирании различных медицинских курьезов и об исследовании некоторых болезней, например, падучей¹⁴. Даже проекты государственных реформ уже не обходились без учета того, чем на пользу обществу будут заниматься доктора и лекари¹⁵.

Для «всенародного сведения» начали печатать объявления, например, о лечебных водах и о том, как ими пользоваться людям всех чинов под надзором докторов¹⁶. Медицинские знания распространяли почти ежегодно издаваемые календари, содержавшие медицинские советы. Были составлены новые лечебники, предназначенные для «каждого человека» и с указанием доступных лекарств. Эта цель специально раскрывалась даже в заглавии одного из таких лечебников начала XVIII в.: «Фармакопеа, или Аптека, имеющая в себе преписание всех лекарств, которые обретаются в аптеках, описанные своим порядком, из которых может себе каждый человек употреблять в небытии доктора, имели оныя у себя в собрании, на то устроенной шкатуле или в посторонней келии, в шкафе на то устроенном месте, яко есть обычай великим особам имети»¹⁷.

Насколько глубоко новое представление о медицине и докторях проникло в сознание людей, можно судить по дневникам того времени. Авторы их подробно пишут о своих болезнях и способах их лечения, об искусных докторях, о лечебных водах и т. д. И это нередко делается для того, чтобы узнанное ими не было забыто и стало публичным достоянием. В этом отношении характерен, например, дневник 1705—1710 гг. князя Б. И. Куракина. Записав о том, что он видел в Лейдене у доктора Бидлоо, дяди начальника московского Госпиталя, Б. И. Куракин замечает в своем дневнике: «Желал бы о всем подлинно описать, токмо за временем скорым прекращаю; токмо всем, кому случится быть в Голландии, конечно, надобно быть в Лейдене...»¹⁸.

Новые взгляды на медицину и докторов, внимание к здоровью человека получили кокетливое отражение в художественной литературе первой половины XVIII в. В тех случаях, когда литературное произведение упоминало о здоровье какого-либо персонажа, то рассказ как бы считался неполным без довольно подробных сообщений, чем болеет герой, как его лечат и т. п. Поэтому, например, в «Истории о гишпанском

¹⁴ См.: Алелеков А. Н. Указ. соч., с. 41—43.

¹⁵ Ср.: Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения / Изд. подгот. Б. Б. Кафенгауз. М., 1951, с. 149—150.

¹⁶ См.: Подлинныя дознания о действе марццалныя Конъозерския воды, разными человеки изыскано... СПб., 1718; Объявление о лечителных водах, сысканных на Олонце, а от каких болезней и как при том употреблении поступать, тому дохтурское определение, также и указ его царского величества на оныя дохтурския правила... СПб., 1719.

¹⁷ РГБ, фонд 310, собрание Ундольского, № 698, л. 1.

¹⁸ Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Куракина // Архив князя Ф. А. Куракина, издаваемый под редакциею М. И. Семева. СПб., кн. 1, с. 143.

королевиче Декоронии» детально повествуется о том, как Декороний хотел отравиться, каким был яд и каков был вид пузырька с ядом, какая надпись была на пузырьке и пр. Декороний, «зашед в аптеку, спросил аптекаря. Аптекарь тотчас вышел. Видит пришедша принцесена каморъгера, которой велел подать опиуму. Аптекарь, хотя опасался дать опиуму, однако принужден, зная ево у принцессы в милости. И налив пузырек, завезав и подъяписал наверху подпись: „Опиум“. И каморъгер, взяв опиум, ввернув в платок, положил в карман». Далее обстоятельно изображается, как принц принимает яд. Декороний пришел домой и, «испустя слезы, взял стакан и пузырек, развезав... налил в стакан и воздохнул, сказал: „Простите, милостивыя государи...“ ...А выговоря, все выпил...» и т. д. Изложение в этом месте повести в некоторой степени напоминает руководство о том, где покупать, как хранить и как принимать опиум. «Медицинские» события в повести на этом не кончаются. Появляется доктор, уже известный нам тип придворного врача. Однако новым в повести является изображение того, чем доктор лечит больных. Принцесса, узнав об отравлении Декорония, падает в обморок, и ее следующим образом лечит доктор: «И призвав доктора, которой... обмазал спиртусом принцесу, которая, пришед в память, неоднократно приходила в безпамятство». Тот же доктор приводит в чувство и Декорония, выпившего по счастливой ошибке не опиум, а воду из иного стакана: «И видя, доктор обонял ему в нос спиритусу и прочими мастьми, отчего принц, яко от сна, пробудился. Подняв глаза, видит себя на полу...»¹⁹

Повести первой половины XVIII в. нередко уже не могут обойтись без своеобразного реального медицинского комментария даже тогда, когда это совсем неуместно. Например, в сказочной «Истории королевича Архилабона» львы выступают в функции врачей, носят пузырек с лекарством, которое мажут хвостом на раны Архилабона: «Львы же... трой сутки лизали Архилабоновы раны. И Божим произволением сим мазаньем все раны заживили, — отчего королевич телом получил здравость; потом один лев, распоров задней лапы исподнюю мякоть, и вынул пузырек с лекарством, и один другому сие лекарство на хвост поливая, мазали лице и все королевичы члены, а от сего властью Божескою он такое получил здорове, как и прежде имел без отмены...»²⁰

Отсюда понятно обилие медицинских сцен в «Шутовской комедии», с монологами ее персонажей о том, что болит, как лечить, чем лечить и т. д.; с медицинскими латинизмами в языке и атрибутами врачебной практики в реквизите пьесы. «Шутовская комедия», произведение большей частью переводное или составленное на основании

¹⁹ См.: Николаева М. В. «Гистория о гишпанском королевиче Декоронии» (первая половина XVIII в.) // ТОДРЛ, т. 21, с. 290—292.

²⁰ Русские повести XVII—XVIII вв. / Изд. подгот. В. В. Сиповский. СПб., 1905, с. 104.

нерусских источников, отвечало потребности в изображении нового человека в России, активно использующего врачей, лекарственные вещества, предметы медицинского обихода.

1974 г.

8. «О САРПИДЕ, ДУКСЕ АССИРИЙСКОМ»

Существенные нюансы в понимание этических представлений конца 1720-х — 1730-х годов вносит пьеса «О Сарпиде, дуксе ассирийском». События разворачиваются в пьесе не при дворе самодержца, как может показаться на первый взгляд, а в доме вельможи. Так, высший по положению персонаж пьесы Сарпид говорит лишь о своем княжеском, а не царском сане. «Зело аз предпочтен в сей ассирийской стране, владычеству пребогато в дукском сане», — таковы первые слова Сарпида (82)¹. Остается неясным, кем «предпочтен» Сарпид, но совершенно недвумысленно показано, что «дукс» не заменяет царя. Например, герои приходят не во дворец, а «в дом дукса служить» (84, 87, 96). На всем протяжении пьесы титулы Сарпида и членов его семьи не царские, а княжеские. К Сарпиду обращаются только с титулом «благороднейший господин», а упоминают о нем без всякого титула. Во вступительной речи Сарпид неопределенно отмечает, что ему послушен ассирийский народ, но затем оказывается, что он правит фактически одним градом. «О Сарпидо, мой господине благороднейший, в сем граде над всеми почтеннейши!» — восклицает, например, Зимфон (99). Князь вовсе не так значителен. Он униженно благодарит своих подданных за верность: «...за искреннюю верность благодарствую ныне, одолжен помнить и до смертной године» (83); и публично извиняется перед ними за принесенный вред: «...простите моя к вам злыя дерзости» (125). А один из подданных обзывает его «преокаянным», но не несет никакого наказания (114).

Дадим теперь очень краткий обзор памятников, с которыми пьеса о Сарпиде сходна объектом изображения. Относительно большие произведения, посвященные деятельности вельмож и жизни их «дома», стали регулярно появляться в русской литературе не ранее петровского времени. Напомним, например, о драме «Ужасная измена», где был выведен образ сластолюбивого богача. Однако при Петре I произведения о вельможах в основном были посвящены князю А.Д. Меншикову и имели документально-панегирический характер. После смерти Петра I вельможа, а не царь стал главным литературным героем в некоторых про-

¹ РРД, т. 5 / Текст памятника подгот. А. С. Демин.

изведениях, как, например, в пьесе о воцарении Кира. В конце 1720-х — 1730-х годах появились сочинения, изображавшие быт и поведение вельмож, притом не очень значительных, — например, сатиры А. Кантемира, комедия о возвышении и падении графа Фарсона, стихотворная книга о смерти и похоронах некоей баронессы². Думается, что в этом ряду пьеса о Сарпиде наиболее близка к сочинениям самого конца 1720-х — 1730-х годов.

Как и указанная группа произведений конца 1720-х — 1730-х годов, пьеса не принадлежит к произведениям любовно-авантюрной тематики, хотя и не проходит мимо этой темы. Главное в пьесе — изображение борьбы за влияние и чины. Сюжет пьесы составляют не перипетии любви, а хитросплетения служебных интриг. Подробно показана борьба Зимфона против Пилляда, Ореста и Памфила, а затем Памфила против Ореста.

Чувства, испытываемые героями, чаще всего связаны с их служебной деятельностью, радость — с успехами, а печаль — с неудачами по службе у Сарпиды. Например, Зимфон, жалующийся на то, что «в произхождении моей службы чинят спону» (84), бурно радуется, надеясь получить должность, занятую Пиллядом: «Ныне мне веселие и радость несказанна... опровержен будет Пилляд, и аз в сего чин сотворюся, во всяких благополучнейших веселиях водворюся» (85—86). А Пилляд, обгоняемый соперником, переживает «несносная волнения» (93), и т. п. О дружбе и любви герои иногда говорят как о службе или должности. Например, Зимфон объявляет о любви Ореста к Леоноре: «Орест Леоноре показывает службу и велию имеет сердечну к ней нужду» (87). А Орест так напоминает о своей дружбе Памфилу: «Я всегда, яко брат ти единокровный... во всем ти спомоществовал и охранял верно и служил по должности моей нелицемерно» (121). «Должность» друга состоит прежде всего в том, чтобы предупреждать о происках врагов. Недаром Орест, пользующийся взаимностью Леоноры, дочери Сарпиды, подчеркивает перед друзьями ее полезность как информатора: «Мышлю я итти к Сарпиду в дом, то о Земфоновых словах буду сведом, ибо дщерь его Леонора зело мне приятна, то о всем его коварстве учинит ми внятна» (96). Пилляд ставит себе в заслугу то же. «Ничто таяся, о всем вам глашаю, — говорит он друзьям, — зло или благо случится, вскоре извещаю» (91). Благородный поступок Пилляда, который подменил собою Ореста в темнице, выглядит одновременно и как ловкая интрига, погубившая Зимфона (124). Борьба между группировками идет самая беспощадная. Поэтому нежная Леонора провозглашает: «Да погибнут вси на ны злодыщущии... Токмо да здравствуют нам доброжелательнии» (123). У отрицательных героев чувства полностью вытеснены расчетом. Человек, ли-

² *Буслаев П.* Умозрительство душевное, описанное стихами о преселении в вечную жизнь превосходительной баронессы Марии Яковлевны Строгоновой. СПб., 1734.

шившийся чина, теряет их дружбу и любовь; поэтому Памфил предаёт Ореста, заключенного в тюрьму, и надеется, что Леонора тоже перестанет любить скомпрометированного: «Се уже не помыслит Ореста любити, зане могли его во оковах заключити» (119). Заканчивается пьеса указанием, кто в каком остается «сане» (125).

Обратимся к аналогиям. Тема зависти к чужим чинам впервые получила развернутое выражение в русской литературе, пожалуй, с конца 1720-х — начала 1730-х годов. Например, во второй сатире А. Кантемир коснулся того же вопроса, что и пьеса о Сарпиде. Подобно тому, как в пьесе Зимфон, близкий родственник княгини, завидует преуспевающим в чинах, хотя «в недавнем времени служат», подобно этому в сатире родовитый Евгений завидует тем, кто «достал перемену чина», несмотря на относительную краткость службы³. Еще ближе другая аналогия. В «Комедии» о графе Фарсоне, погубленном завистниками, действие развивалось сходно с пьесой о Сарпиде: сговор интриганов-сенаторов, арест невинного, пребывание его в темнице и в конце концов смертная казнь клеветников. Любовная тема занимала второстепенное место. Пьеса о Сарпиде, наряду с другими произведениями конца 1720-х — 1730-х годов, отразила, по-видимому, более сложную и разветвленную, чем, например, в начале XVIII в. систему представлений о служебных взаимоотношениях в верхах русского общества.

Общая норма поведения персонажей, которая утверждается пьесой, также ведет к концу 1720-х — 1730-х годам. Персонажи многократно напоминают о необходимости быть скрытными. «Не потреба чуждую совесть кому знати», — вот их основной принцип (92). Худший порок — «рот отверстый», «должайший язык» (93, 94). Важно скрыть свои мысли, попытаться обмануть собеседника, но подслушать его неосторожные слова. Персонажи пьесы почти непрерывно лгут друг другу — Зимфон Астарбе, Элвира Зимфону, Памфил Пилляду, Зимфон Сарпиду, Пилляд воинам и т. д. Разница между положительными и отрицательными персонажами заключается лишь в том, что положительные обманывают и подслушивают в интересах своей группки, а отрицательные персонажи хотят провести вообще всех.

Однако главная цель пьесы о Сарпиде состоит не в стремительном нагромождении интриг честолюбцев. Основная задача пьесы — этическая и заключается в изображении и оценке типичных путей, образцов поведения людей на высоком служебном поприще. Поэтому, прежде чем действовать, герои пьесы обращают внимание на сам способ действия, — «иду, не медля, буду способа искати», «прииму орудия разных родов во свете»; настойчиво спрашивают других о том, «который путь себя устрояеш» и «коим образом се может учинится» (86, 90, 107, 115,

³ Кантемир А. Сатиры и другие стихотворческие сочинения. СПб., 1762, с. 15 и сл.

117 и др.). Много говорят о принципах своего поведения. Например, Пилляд произносит целый монолог: «Аще когда радость, тогда не возношуся, и в находящих печалех никогда не колеблюся» (92). Причем под радостью и печалью подразумеваются успехи или неприятности по службе. Герои повторяют, насколько пагубно «чрез свою меру приступить к каковому-нибудь делу», — действовать не по чину (83, 89), и сами же дают моральную оценку своим поступкам. Так, Астарба открыто заявляет, что занимается клеветой: «Иду днесь до Сарпида и буду лести предлагати», — говорит она Зимфону (85). Наконец, герои понимают, какие общественные типы они воплощают. Например, Зимфона неоднократно характеризуют как представителя всех интриганов, льстецов, злодеев. «Между доброплодною пшеницею терние и волчцы чините вы, проклятыя и злонравныя лестцы», — обращается Леонора к Зимфону во множественном числе (104).

Вновь привлечем аналогии. По подробному изображению обычаев и правил поведения в доме «вельможи» пьеса тяготеет к произведениям конца 1720-х — 1730-х годов, в частности к упомянутым уже сатирам А. Кантемира. Как и в сочинениях А. Кантемира, в пьесе обрисован уже не какой-либо один, а многие типы поведения вельмож и их приближенных, с выразительными деталями их обихода и обхождения (тонкое белье, благоухание духами, обязательность любезных приветствий, умение со скрытой иронией беседовать с врагом, нежелание говорить с низшим себя и т. п. — 89, 90, 94, 107). Вниманием к этическим правилам пьеса перекликается с появившимися в России в 1730-х годах переводными руководствами по поведению человека, «который живет при дворе или при великих лицах обретается». В этих руководствах были главы и о друзьях, «которые бы... уведомляли о неприятельских намерениях», о завистниках и о клеветниках⁴. Если в XVII в. разрабатывался в основном царский церемониал, то после петровских регламентов, уставов, инструкций в центре внимания оказались нормы служебного и общественного поведения вельмож, крупных должностных лиц вне непосредственного общения с царем. Пьеса о Сарпиде вместе с другими сочинениями конца 1720-х — 1730-х годов отражала процесс развития этих, более широких этических представлений.

Остается ли переменчивым мир, населенный скрытными, недоверчивыми, потрясенными героями? По драмам 1720-х — 1730-х годов и, например, по той же пьесе о Сарпиде видно, что идея переменчивости жизни сохраняется. Почти все герои пьесы поминают «фартуну обращенну», «прелютую фартуну», «щастие от фартуны» и переживают, куда

⁴ Истинная политика знатных и благородных особ / Перевод с французского В. К. Третьяковского. СПб., 1737, с. 87, 88. Ср. также переведенную в 1735 г., но изданную позднее книгу: Грациан, придворной человек. СПб., 1742.

фортуна «коло свое обратила». Чередой следуют уже знакомые нам рассуждения героев о смене радости на печаль и печали на радость: «Любезную мою радость изнурила тяжка жалость, в ни во что пременила» (122); «ах, кто бы сию мою несносную тягость подщился обратить в прежнюю радость» (103); «иже бо прежде сокрушался... днесь же благонадежен щастие прияти» (85).

Но недоверчивость драматических персонажей к жизни, полной интриг, порождает специфические черты в понимании «пременности». К мельканию перемен во внешнем положении героев присоединяются непрерывные колебания внутреннего отношения персонажей к окружающим людям. Верность начальнику, другу или возлюбленной ценится превыше всего. Герои часто говорят о желанной верности, чтобы никто «не бывал изменны», но пребывал бы «неотменен». Автор пьесы даже называет главных действующих лиц именами из греческого мифа, обозначающими двух неразлучных друзей, — Орест и Пилад (Пиллад). Притом под верностью подразумевается верность совести. Герои требуют «искреннюю верность» (83) и клянутся «никогда не иметь в совести моей пременности» (103).

Увы, прочность чувств — редкое исключение в этом мире. Орест сетует: «Имел бо во благополучии друзей себе много, а ныне не вижду у себя в печали никого» (116). Но примечательно, что и результаты неверности в пьесе расцениваются с психологической точки зрения. Так, Зимфон, уверявший Сарпида в преданности, оказался хитрым лжецом. За что же Сарпид казнит Зимфона? За реальные дела? Нет, за потрясение своей души. «Достоин казнь приять люту, — объявляет Сарпид, — что учинил в души моей превелику смуту» (125). Зыбка, переменчива сама «душа» героев, и преступников, и их жертв.

Точка зрения героев на явления мира тоже изменчива, тоже двойится. Один из персонажей поясняет это состояние сравнением. Одно и то же ведь можно увидеть по-разному, будучи внутри дома и будучи вне дома:

Сие, может быть, не так видят в доме живущии,
яко всякую вещь со страны приидуция.
Как видится сия вещь зело противно
и нечто находится ис того и дивно! (87).

В пьесе нередки парадоксальные пояснения такой «дивной» перемены взглядов. Например, девичья мягкая постель, предмет мечтаний героя, оказывается роковой страстью:

Веси бо, яко з девицами страшно есть спати,
многая отого успеха пропасти.
Сей одр, аще кто к нему прилепится
той всячески умом омрачится.

Тая мягкость сокрушает и вся кости...
 Ту бо мечи лежат весма изощренныи
 и стрелы Перуновы, зело напряженныи (89).

Или, например, друг верный: «Сей, яко яд, скрытый под сахаром вида» (121). Все напоминает оборотней. Вот почему для героев мир зыбок в своей неправде:

О, неистовая неправда весь свет окружает,
 вся концы, вся языцы благи и злы в ни во что обращает,
 наполнена лести, вражды, непостоянства... (102).

Они лишь могут мечтать, когда «непостоянство и неправда во свете погибнет» (121). Но мечтание это несбыточно.

Обманчивость окружающего мира доведена до грани со смешным в поведении Гаера среди интриганов. Он, например, однажды страшно пугается, но испуг оказывается беспочвенным:

Великой был страх волосы на мне, как щетина.
 Увидел: гнилой лежит некакой детина.
 Очень боялся, чтобы не вскочил
 и меня не умучил.
 Насилу одумался. Аждно одне кости.
 Не сделают мне ни малой злости.
 Один испужал меня зрак (113).

Такие ошибки небесмысленны: зыбок сам мир. Вот повешенного преступника Гаер принимает за спесивого человека: «Что же спесив, говорить ленив?.. Захотел щеголять, не хочеть по земли гулять...» (126). Эти слова совсем ненаивны. Повешенный действительно был спесивым, за что в конце концов и был казнен. Шутки пьяного Гаера приоткрывают иную сторону видимых событий. Например, Зимфон хочет войти в доверие к Гаеру: «Меня имей себе за брата». Гаер вроде верит новому брату: «Братец родной, только не погневайся, что матушки не одной» (97). Но оказывается не братство, а лицемерие одно. Даже чувства вполне положительных героев представляются не совсем цельными благодаря шуткам Гаера. Так, Леонора, разлученная со своим возлюбленным, страдает: «Доколе пребуду мразом одержима в настоящем лете?» И Гаер, здесь же присутствующий, соглашается: «Ох, ох, и у меня на брюху ворчит мороз, очень озябно, ажно и назади не малой понос» (105). Становится ощутимой некая искусственность, условность экзальтированных воздыханий Леоноры о «мразе», в них привносится даже оттенок плотского желания. Гаеру «смутно» и от вина, и от двуликости мира.

9. «О ПРЕМУДРЕЙ ИЮДИФЕ, КАКО ОЛОФЕРНУ ГЛАВУ ОТСЕЧЕ ИЮДИВ»

Точное время создания пьесы неизвестно. Ее связь с произведениями петровского времени убедительно показал П. Н. Попов¹.

Пьеса появилась, вероятно, не ранее 1711 г., так как в ней действуют сенаторы (Сенат в России был учрежден в 1711 г.), и не позднее середины 1730-х годов, потому что список пьесы находится в сборнике, переплетенном в 1735 г. или немногим позже: обложка сборника склеена из деловых документов 1735 г.

По нашему предположению, пьеса была сочинена во время правления Анны Иоанновны, не ранее января 1730 г. В пьесе упоминаются такие подробности жизни Иудифи, которые заставляют предполагать намек на биографию именно Анны Иоанновны. Например, говорится о сиротстве Иудифи: «Без отца и матери в сиротстве живуца» (47 об.)². Библия об этом не сообщает³. Раннее сиротство же Анны Иоанновны было широко известным фактом. Или другой пример. Свою любовь к отечеству, к родному городу Вифулии Иудифь в пьесе объясняет только тем, что здесь жили ее отец и мать: «Како мне любве к нам днесь от сердца не явити, понеже zde отец мой, мати имели жити» (41 об.). Это несколько странное, притом отсутствующее в Библии, объяснение точно соответствовало перипетиям в жизни Анны Иоанновны: в Москве жили родители Анны; сама же она в течение двадцати лет, вплоть до 1730 г., пребывала вне России.

Возможность того, что в пьесе под Иудифью подразумевалась Анна Иоанновна, подтверждают другие произведения тех лет. Анну с Иудифью сравнил, например, Феофан Прокопович в поздравительном письме царице 1730 г., опубликованном в «Санкт-Петербургских ведомостях». «Получили к заступлению отечества великодушную героину, — писал Прокопович, — искусом разных злоклучении не унывшую, но и паче утвержденную... восклицати нам к тебе, что иногда восклицаю к Иудифы...» Феофан Прокопович упомянул и о сиротстве Анны — Иудифи: «В летах отроческих поспело сиротство»⁴.

С другой стороны, относить пьесу ко времени Анны Иоанновны позволяет ее идейное содержание. Сравнительно с источниками — Библией и придворной драмой «Иудифь» 1673 г.⁵ — в пьесе о премудрой Иудифи усилена тема обязательной проверки слов и намерений челове-

¹ Попов П. Н. Неизвестная драма петровской эпохи «Иудифь» // ТОДРЛ, т. 3, с. 202—205, 212, 215, 196.

² РРД, т. 5, с. 437—465 / Текст памятника подгот. А. С. Демин. Указываются листы рукописи.

³ Ср.: Библия. М., 1663, л. 209 об. — 213 об.

⁴ Санкт-Петербургские ведомости, 1730, № 21, марта 12, с. 83—84.

⁵ Об источниках см.: Попов П. Н. Указ. соч., с. 208—209.

ка. Многочисленные сентенции в тексте подчеркивают, что надо смотреть не на слова, а на дела людей. «Словом должно начати, делом требно кончати», — говорит царь Навуходоносор (36). Подвиг Иудифи трактуется как проверка — испытание стойкости героини — подобно тому, как «есть злату и серебру огонь искушение» (44 об.). Олоферн допрашивает Иудифь: есть ли «закрытая в сердце ея ярость» (50 об., 51, 57 об.). Иудифь в свою очередь проверяет Олоферна. Но он не выдерживает проверки, не понимая двусмысленности ее слов.

Изображение непроницательности Олоферна последовательно проходит через всю пьесу (в то время как в «Иудифи» 1673 г. непроницательности Олоферна касаются лишь две-три реплики). Укажем кульминационный момент. Когда Олоферн зовет Иудифь на ложе, она на словах соглашается, но добавляет: «Токмо желаю, дабы в мысли мне устояти...» (имеет в виду свой тайный замысел). Олоферн, не понимая, переспрашивает: «Не о сем ли мыслиши, еже честь кратку непщущи?» Иудифь поясняет: «Не о сем, господине, мыслю, что честь прияти, но о сем разсуждаю... а за сие не могу сама что воздати». Олоферн не может сообразить, о каком «воздаянии» идет речь. «Иду, господине мой, понеже мне то радость, пременити вещь сию общу — фортуна — сладость», — наконец говорит Иудифь (53 об., 54 об.). Последние слова Иудифи являются напоминанием предсказания, произнесенного перед Олоферном одним провидцем: «Тебе ныне радость. Чаю, пременится всем фуртона в сладость» (38). Но опьяненный Олоферн не чувствует предупреждения в речах Иудифи и отвечает ей благодушной песней. Лишь гораздо позже, чем надо, ассирийские вельможи осознают многозначность слов Иудифи. Одного из вельмож, которого Иудифь спрашивала, какой подарок ему подарить, вдруг осеняет: «О злая жена, тот ли подарок мне обещала, которым Олоферна ныне ты подарила?» (58).

Тема проверки обещаний и намерений — важнейшая и всеобъемлющая в пьесе. Недоверие проскальзывает даже по отношению к ангелам. Иудифь много раз допытывается у Ангела, как ей удастся одолеть Олоферна, и на его заверения о победе отвечает с сомнением: «Боюся, дабы не соблазн были твои глаголы» (43 об.). В Библии таких эпизодов нет. В пьесе часты сцены споров об истинности слов, высказанных персонажами. Не только Бес спорит с Ангелом, но и Олоферн обвиняет в неправде то одного, то другого вельможу, и они препираются друг с другом.

Тема проверки человека в пьесе об Иудифи находит наиболее близкую аналогию в произведениях времени воцарения Анны Иоанновны. Как известно, обстоятельства сложились так, что в Москву на свадьбу Петра II съехалась вся знать и представители дворянства. Им пришлось стать свидетелями внезапной смерти императора и активно участвовать в борьбе придворных партий, из которых одни стремились ограничить, а другие восстановить самодержавные права Анны Иоанновны. Преобладающим в это время было настроение неуверенности и крайней подо-

зрительности. Сама Анна признавала, что «его время было такое критическое, что она не знала, кто ей друг и кто враг», и навсегда сохранила «пребезмерну подозрительность ея, что во всех без причины сомневаются, как бы кто верен ни был, без подозрения миновать не может»⁶.

События начала царствования Анны Иоанновны наложили отпечаток на сочинения 1730-х годов. Публицисты, писатели и поэты стали обсуждать и изображать такие человеческие черты, как хитрость, скрытность и пронизательность. В «Истории» 1730 г. о восшествии Анны Иоанновны на престол Феофан Прокопович подробно рассказал о хитрости и притворстве членов Верховного тайного совета и о пронизательности некоторых «остроумнейших голов». В 1731—1732 гг. Феофан выступил с публичными речами, посвященными Анне, в которых вновь призвал слушателей к пронизательности, «дабы человек истотне и непогрешительне хотящий нечто увидети, не скорым ока мгновением, но постоянным и пронизательным ока зрением смотрел» на все, в особенности на хитрецов и интриганов⁷.

Вслед за Феофаном Прокоповичем о том же стал писать Антиох Кантемир, например, в басне «Пчелиная матка и змея» 1731 г., — о царице пчел, разгадавшей хитрый замысел змеи⁸.

У Кантемира тема хитрости — пронизательности приобрела общечеловеческий смысл. Во второй сатире поэт описал придворного, который крайне осторожен и скрытен: «Клит осторожен — свои слова точно мерит, льстит всякому, никому почти он не верит... истинная мысль его прилежно таится в делах его...»

В течение 1730-х годов тема пронизательности была разработана литературой в разнообразных вариациях. То проповедовались максимальная честность и открытость, как, например, в панегириках В.К. Тредиаковского. «Жаль, что не говорят человека сердца!» — повторял Тредиаковский⁹. То оправдывалась скрытность. Кантемир поощрял умение, избегая лжи, не говорить правду: «Кто правду молчит, виновен не стался, буде ложью утаить правду не посмеет. Счастлив, кто середины той держаться умеет»¹⁰. Но осуждал чрезмерную подозрительность. В третьей

⁶ Слова Анны записаны испанским послом Иаковом, беседовавшим с ней в октябре 1730 г. См.: Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при императорском российском дворе в звании посла короля испанского. 1727—1730 годов / Перевел с французского Д. Языков. СПб., 1845, с. 111. Высказывание об императрице принадлежит личному секретарю Анны Эйхлеру. См.: Уланов В. Я. Эпоха дворцовых переворотов // Три века: Россия от Смуты до нашего времени. Исторический сборник под редакцией В. В. Каллаша. М., 1913, т. 4, с. 101.

⁷ Феофан Прокопович. Слова и речи. СПб., 1765, ч. 3, с. 54, 156.

⁸ Кантемир А. Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1867, т. 1, с. 327—328.

⁹ Панегирик, или Слово похвальное всемиловитвейшей государыне императрице самодержице всероссийской Анне Иоанновне... СПб., 1732, с. 18—19.

¹⁰ Кантемир А. Указ. соч., с. 46—47.

сатире писал: «Часто быть обманутым предпочту конечно, нежели недоверием мучить себя вечно»¹¹.

Высмеивалась ложная проницательность, как, например, в «Шутовской комедии». Шут полагал, что можно «тотчас по носу познать, что у кого на уме»; а подозревая свою невесту в неверности, пытался определить, беременна ли она, по склянке с кобыльей мочой, и т. д.¹².

Наконец, наиболее распространилось убеждение о необходимости спокойно, вдумчиво взвешивать свои и чужие намерения и поступки, — частично уже в «Акте о Калеандре и Неонилде»: «Подщись с разсуждением гораздо подумат», — нередкий призыв персонажей пьесы друг к другу¹³. В особенности же последовательно принцип деятельности героев «во уме трезвенном» был воплощен в «Акте о Кире и Тамире».

Существование драм 1730-х годов на тему скрытности — проницательности, возможно, отразилось в теоретической работе 1739 г. «О пользе театральных действ и комедий к воздержанию страстей человеческих». Эта статья, напечатанная в «Санкт-Петербургских ведомостях», опиралась на представление о человеческой скрытности и в заслугу театру ставила то, что актеры на сцене проницательно изображают людей. «На одном с нами свете живущия люди, — отмечалось в статье, — истинную причину своих дел редко кому объявляют, а внутренности своего сердца почти никогда и ни одному человеку не открывают; хотя же иногда внешним своим видом нечто и покажут, и то употребляется малой искре, происходящей от великова огня... И то не редко случается, что мы, желая мысль других людей узнать, сами себя прельщаем или они нас обманывают. А комедианты, — продолжала статья, — уже перед нами лица не закрывают... А театральныя и в комедиях употребляемые стихи все страсти человеческия натурально описывают...»¹⁴.

1976 г.

10. ПЬЕСА О ВОЦАРЕНИИ КИРА

В основу пьесы положено повествование римского историка Юстина о том, как Кир стал персидским царем вопреки коварным замыслам своего деда, царя Астиага¹.

¹¹ Там же, с. 74.

¹² РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. А. С. Демин, с. 396.

¹³ РРД, т. 5 / Текст памятника подгот. З. Т. Лихтман, с. 133, 147, 151.

¹⁴ Примечания на Ведомости. СПб., 1739, ч. 85, октября 23, с. 338.

¹ Ср.: Феатрон, или Позор исторический, изявляющий повсюдную историю священнаго писания и гражданскую... СПб., 1724, л. 71 об. — 72 об.; *Роллен Ш. Древняя история...* СПб., 1751, т. 2, с. 173; Юстин, древней универсальной истории Грога Помпея сократитель. СПб., 1768, с. 6—9.

Сходная история воцарения Кира рассказывается Геродотом; но автор пьесы придерживался версии Юстина. Пьеса содержит эпизод, имеющийся только у Юстина: брошенного в лесу младенца Кира кормит волчица. Пастух удивляется, глядя на Кира, «яко безсловесны зверь сего наблюдает младенца и, как дитя родное, питает» (27 об.)².

Автор пьесы использовал текст Юстина, а не Геродота, вероятно, потому, что рассказ первого был издан еще в петровское время; сведения же второго стали достоянием печати намного позже³.

Драма о Кире появилась не ранее 1722 г., когда царь в России стал императором, — в пьесе неоднократно говорится о «монархе державном, императоре славном», — и не позднее отмены смертной казни при Елизавете Петровне, в 1754 г.: одно из действующих лиц в пьесе свидетельствует о существовании смертной казни, притом не в древней Персии, а в петровской России. Пастух описывает, какова «городская управа» в его время:

А когда меня в суд поведут к допросу,
То уже имам пролить кроваваю росу.
Веть я знаю управу гороцкую нашу:
За убивство смертную принудят пит чашу (27 об.).

По наблюдению Н. И. Петрова, пролог предупреждал о связи пьесы с современными, а не древними политическими событиями: «...как ясно наступающее действие наше вам изывит, — говорилось в прологе, — его же не без вины мы учинили... случается бо яко и в недавнем времени случаи бывши, аки отнюд небывалая пребываем, того для, да не... забвению предается, возобновити ю сицевым образом умыслихом. Вы же, слышателие, приклоните ушеса ваша» (21 об.)⁴.

Н. И. Петров считал, что пьеса представляет полную аналогию с судьбою императрицы Елизаветы Петровны и рисует обстоятельства ее восшествия на престол в 1741 г., однако доводов в пользу своего мнения исследователь не привел. Внимательное ознакомление с пьесой позволяет видеть в ней отражение событий более ранних, относящихся к жизни императора Петра II.

Пьеса подчеркивает два обстоятельства — то, что на престол вступил «отрок млад летами», внук предыдущего царя, и то, что царский вельможа Гарпаг помог воцарению отрока. Подобная ситуация в русской истории XVIII в. сложилась лишь однажды, когда «светлейший князь» А. Д. Меншиков помог одиннадцатилетнему отроку Петру II,

² РРД, т. 4, с. 293—314 / Текст памятника подгот. А. С. Демин. Указываются листы рукописи.

³ Ср.: Повествования Иродота Аликарнасского. СПб., 1763, с. 79—90.

⁴ См.: Петров Н. И. Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков: Киевская искусственная литература, преимущественно драматическая. Киев, 1911, с. 338—339.

внуку Петра I, занять царский трон в 1727 г. Обстоятельства восшествия на престол других царей XVIII в. не подходят под те, которые изображены в драме.

Правда, Елизавете Петровне тоже помог при дворцовом перевороте лейб-медик Лесток. Однако характеристика Кира и Гарпага не может быть связана с этими событиями. Елизавета Петровна давно вышла из отроческого возраста, ей было за 30, когда она стала императрицей. В драме же постоянно подчеркивается, что Кир еще отрок, и это не является данью лишь историческому сюжету. Тема «царь-отрок» широко варьировалась именно на торжествах по случаю коронации Петра II, например, на триумфальных вратах в Москве, украшенных соответствующими изображениями и надписями⁵.

Положение Гарпага напоминает положение А. Д. Меншикова, а не Лестока. Лесток не был приближенным Петра I, да и при Елизавете Петровне не играл исключительной роли. Между тем Гарпаг в пьесе — «первосоветник» Астиага, затем «первосоветник» Кира, подобно тому, как А. Д. Меншиков был наиболее близок к Петру I, а затем к Петру II. Астиаг видит в Гарпаге «своего друга, паче всех любима», что также не расходится с отношением Петра I к «ближнему другу» А. Д. Меншикову.

Кир в пьесе торжественно объявляет о том, что жизнью и тронном он обязан Гарпагу: «Радуйся наипаче и торжествуй ты, первосоветниче Гарпаже, всю бо царствия моего славу твоему причитаю хранению; дражайши паче всего живот мой твоему приписую хранению!» (31). Эти слова намекают на реальные заслуги А. Д. Меншикова и перекликаются с его обращением к Петру II в своем политическом завещании: «...сами известны... каким отчаянным образом служил Вашему величеству в восприятии престола российского, что Божиим благословением Вы и получили»⁶.

Гарпага в пьесе неоднократно называют князем, чего нет ни у Геродота, ни у Юстина, но что прямо указывает на княжеский титул А. Д. Меншикова, которым он очень гордился. Титулы Гарпага сходны с теми, которые употреблялись в панегирической литературе по отношению к А. Д. Меншикову. Например, Астиаг следующим образом обращается к тому, кого он сотворил «перва с велможы сидети»: «Гарпаго вернейши, советниче избранны и вожде сильнейши» (26 об.). «Вождем» в панегириках, кроме царя, называется только А. Д. Меншиков⁷.

⁵ Ср.: Эмблемы и символы к триумфальным вратам на коронацию Петра II // Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего Синода. СПб., 1885, т. 7. Приложения, стб. CLIX — CLXI.

⁶ РГБ, собрание Меншикова, картон 15, № 42, л. нумерованн. 10 — 10 об. Копия завещания А. Д. Меншикова, снятая в 1833 г. для Николая I с подлинника, хранившегося тогда в Сенатском архиве.

⁷ Ср.: Лявреа, или Венец безмертвныя славы, торжеством побед похвалы и благородия красотою присноцветущии... Александру Даниловичу Меншикову. СПб., 1714, с. 2, 3 и мн. др.

Даже, казалось бы, отвлеченный пример из Библии, приводимый в прологе пьесы, может быть поставлен в связь с А. Д. Меншиковым. В начале пьесы осуждаются вельможи, хотевшие погубить пророка Даниила: «Вельможи вавилонския, некую с того себе отраду получить надеющиеся, блаженнаго Даниила в ров левск ввергнути старались, но, о, колико паче чаяния зло пострадали! Вместо бо онаго божественнаго пророка сами во оном рве люте зверми изядены погибоша» (21). Нельзя не вспомнить в этой связи, что незадолго до воцарения Петра II ряд вельмож составил заговор против А. Д. Меншикова, но заговор был раскрыт, а заговорщики были сосланы в первые же дни царствования Петра II.

Имя пророка Даниила в прологе пьесы намекало, по-видимому, на отчество Меншикова — Данилыч; в панегирической литературе это было принято. Например, в панегирической книге «Венец победы», посвященной прославлению А. Д. Меншикова, такое сопоставление проводилось совершенно открыто: «Даниил пророк уста затыкаше львом: Данилович-князь лвы погоняше...»⁸.

Вообще к вельможам, кроме Гарпага, автор пьесы относится отрицательно. Сравнительно со сведениями Геродота и Юстина, конец драмы о Кире сильно изменен. Древние историки сообщают, что Астиаг, узнав о том, что Гарпаг спас Кира, приказал убить сына Гарпага и накормить ничего не подозревавшего отца мясом сына. В пьесе же о Кире мысль о расправе с Гарпагом подают царю именно вельможи, и Гарпага ведут в темницу. Сына Гарпага хотят «вскоре» казнить, но еще не казнят. В этом отступлении от известного сюжета нельзя не видеть намека на упомянутый уже заговор вельмож, которым удалось было даже добиться указа об аресте А. Д. Меншикова⁹.

В пьесе о воцарении Кира главным героем является Гарпаг — Меншиков, а не Кир — Петр II, и большинство исторических намеков обращено к личности А. Д. Меншикова. Политической ориентацией всемогущего в то время А. Д. Меншикова определяется характеристика действующих лиц в пьесе. Так, царь Астиаг (то есть Петр I) изображается гонителем Кира, а затем и Гарпага. Такая парадоксальная трактовка образа Астиага — Петра I частично объясняется реальными историческими обстоятельствами. Знаменитый устав Петра I о порядке престолонаследия — «Правда воли монаршей» 1722 г. — лишил царевича Петра, сына злополучного Алексея Петровича, всякой надежды на трон. При жизни Петра I внук его находился в полном забвении; боль-

⁸ Венец победы. Львов, 1709, л. нумерованн. 3 об.

⁹ О заговоре см., например: *Вейдемейер А.* Обзор главнейших происшествий в России, с кончины Петра Великого до вступления на престол Елизаветы Петровны, 4-е изд. СПб., 1848, ч. 1, с. 35; *Андреев В.* Представители власти в России после Петра I, 2-е изд. СПб., 1871. Изд. 2-е, с. 33. В довершение сходства с Гарпагом, у А. Д. Меншикова тоже был сын.

ше того, как отмечали иностранные дипломаты, «при жизни его деда его держали как арестанта»¹⁰.

Показателен и тот факт, что в календаре 1725 г. впервые появляются имена великих княжен Анны и Елизаветы Петровны как членов царского семейства, но исчезают из календаря имена Натальи и Петра, детей царевича Алексея¹¹.

Причины быть недовольным Петром I были не только у его внука Петра II, но и у «первосоветника» А. Д. Меншикова. По единодушному мнению историков, А. Д. Меншиков в последние годы жизни Петра I уже не пользовался прежним доверием царя; тянулись судебные процессы по делу о злоупотреблениях Меншикова, и о них знал царь. За месяц до своей кончины, в декабре 1724 г., Петр I издал указ о том, чтобы от Меншикова не принимались устные распоряжения, делаемые якобы от имени царя. Неизвестно, как развивались далее события, если бы не умер Петр I. (Для датировки пьесы важно знать, что аналогичный указ о Меншикове был издан Петром II в сентябре 1727 г., когда А. Д. Меншиков окончательно попал в опалу¹²).

Обрисовка образа Астиага в пьесе как злодея объясняется не только недовольством А. Д. Меншикова Петром I, но и той позицией, которую «светлейший князь» занял в то время. Он заключил союз с представителями старинных княжеских родов, с врагами Петра I и петровских реформ; он даже женил своего сына на дочери фельдмаршала М. М. Голицына; он открыто поддерживал злейшего врага Петра I архиепископа ростовского Георгия Дашкова; он активно содействовал нарушению устава Петра I о порядке престолонаследия; он назначал на высокие должности людей, репрессированных Петром I, и т.д. Все это делалось в своекорыстных интересах, чтобы оставаться «первосоветчиком» царей и фактическим правителем России. Вопрос об эволюции политики А. Д. Меншикова достаточно выяснен в исторических работах, и указанное явление интересует нас постольку, поскольку объясняет характеристику действующих лиц в драме о воцарении Кира¹³.

Невозможное раньше сопоставление Астиага — «злообразного» царя — с Петром I стало возможным, потому что изменился дух време-

¹⁰ См.: Брикнер А. Русский двор при Петре II. 1727—1730 // Вестник Европы, 1896, январь, с. 110.

¹¹ Андреев В. Указ. соч., с. 30.

¹² О первом указе против А. Д. Меншикова см.: Голомбиевский А. А. Сотрудники Петра Великого. М., 1903, с. 98; второй указ см.: ПСЗ, т. 7, с. 857—858, № 5151.

¹³ О союзе А. Д. Меншикова со знатью см.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1869, т. 19, с. 101 и сл.; Алексеев А. С. Сильные персоны в Верховном тайном совете Петра II и роль князя Голицына при воцарении Анны Иоанновны. М., 1898, с. 17—18; Барсов Н. И. Черты русской истории и быта эпохи императора Петра II // Исторический вестник, 1891, ноябрь, с. 414; Павлов-Сильванский Н. П. Очерки по русской истории XVIII—XIX вв. СПб., 1910, с. 378, 389, 393—401.

ни при Петре II. Недаром испанский посол записал тогда о Петре II, что многое делается, «чтобы вселить в него... некоторую ненависть к законам и благим учреждениям Петра I»¹⁴.

Характерно, что в пьесе о Кире ни в какой форме не упомянуто имя Петра I, хотя сопоставление имен Петра I и Петра II было общим местом множества панегириков. Это еще одно свидетельство антипетровской направленности драмы, имеющее аналогии. Например, в явно антипетровском указе от 26 июля 1727 г., принятом царем и Верховным тайным советом, объявлялось о конфискации всех манифестов Петра I по делу царевича Алексея Петровича и об отмене петровского устава о порядке престолонаследия; причем ни словом не был упомянут Петр I¹⁵.

Итак, драма о Кире связана с обстановкой при воцарении Петра II и первостепенное внимание уделяет прославлению князя Меншикова, возведшего на престол царя-отрока.

Нужно отметить, что в годы царствования Петра II манера иносказательно называть то или иное реальное лицо именем исторического, мифологического или даже литературного героя распространилась настолько, что с театральной сцены проникла в придворный и дворянский быт. При дворе многие имели свои клички, даже члены царского семейства. Так, сестру Петра II Наталью Алексеевну называли «Минервой», тетку царя Елизавету звали «Венерой», а А. Д. Меншикова — «Голиафом» и «Левиафаном». Сам Петр II как-то сравнил себя с милостивым римским императором Веспасианом¹⁶.

Отсюда ясно, что сеть намеков на действительность в драме с историческим сюжетом была вполне привычным явлением. В пьесе о Кире можно заметить и более мелкие намеки на Петра II и его придворных. Например, Астиаг говорит о том, что Кир родился во время его царствования и что Кир похож на мать («...дщери моей сына, вижду его з составов тела — его быть, не инна» — 29 об.). Петр II, действительно, родился при Петре I, в 1715 г., и был похож на свою мать, принцессу Шаролотту¹⁷.

Одним из действующих лиц пьесы является Пастырь, принимающий участие в спасении Кира. Он ассоциируется с С. А. Мавриным, ду-

¹⁴ Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при императорском российском дворе в звании посла короля испанского 1727—1730 годов. СПб., 1845, с. 58. Об антипетровской реакции при Петре II см.: *Савлучинский П.* Русская духовная литература первой половины XVIII века в ее отношении к современности (1700—1762 гг.). Киев, 1878, с. 83—87.

¹⁵ См.: ПСЗ, т. 7, с. 831—832, № 5131.

¹⁶ *Валишевский К.* Преемники Петра. М., 1912, с. 85, 327. Ср., как в переписке Бестужевых одно лицо называется «Козлом», а другое «Панталоном». — *Соловьев С. М.* Указ. соч., с. 113, 159.

¹⁷ *Валишевский К.* Указ. соч., с. 77.

ховным пастырем Петра II, воспитателем царевича с самых ранних его лет. Подобно тому как Гарпаг передал Кира Пастырю, так и А. Д. Меншиков в свое время уклонился от чести быть воспитателем царевича и передоверил его С. А. Маврину.

В пьесе глухо упоминаются родители Кира — Мандана, дочь Астиага, и ее «худородный супружник», не называемый по имени. Можно предполагать, что автор пьесы, оставаясь верен историческому сюжету, «подменил» родителей Петра II (имя Алексея Петровича еще было под запретом) и ловко намекнул на тетку Петра II, дочь Петра I Анну, и ее супруга Карла Фридриха Голштинского. Намек на «худородность» объясняется реальным положением этого «супружника» и тем, что его не любил Петр II и ненавидел А. Д. Меншиков.

Из предлагаемого истолкования пьесы (Астиаг — Петр I, Кир — Петр II, Гарпаг — А. Д. Меншиков) вытекает довольно точная датировка этого драматического произведения. Драма о Кире была сочинена не ранее восшествия Петра II на престол, 7 мая 1727 г., и не позднее ареста и опалы А. Д. Меншикова, 8 сентября 1727 г. Датировка пьесы 1727 годом подтверждается намеком на будущее коронавание императора, которое еще не состоялось: «Восприимет под свою власть мидския страны, в Вавилон торжественны внидет со тимпаны» (25). Коронавание Петра II состоялось по приезде его в Москву — 28 февраля 1728 г.

Время написания пьесы можно сузить еще более. Пьеса была сочинена, по-видимому, до 25 мая 1727 г., когда произошло официальное обручение Петра II с дочерью А. Д. Меншикова Марией; с того дня было указано поминать Марию даже в церковных службах как «великую княжну, обрученную невесту его императорского величества». О таком событии не могла умолчать пьеса, прославлявшая А. Д. Меншикова. Таким образом, драма о Кире появилась где-то в двухнедельном промежутке между 7 и 25 мая 1727 г. и совпала с рядом праздничных мероприятий, проведенных А. Д. Меншиковым в честь воцарения Петра II¹⁸.

О том, что пьеса могла быть написана в очень короткий срок, свидетельствуют, во-первых, ее сравнительно небольшая величина и небольшое количество ее персонажей и, во-вторых, ее полнейшая шаблонность с литературной точки зрения. Шаблоны не только выражения и отдельные стихи, но и целые монологи действующих лиц. Ограничимся одним примером. Астиаг, узнав, что Гарпаг спас Кира, в отчаянии:

О кое смущение в сердце мне вселися!

О кая печал моей старости случися!

¹⁸ Ср.: Поденные записки А. Д. Меншикова, за 1726—1727 гг. — РГАДА, бывший Гос. архив, раздел XI, № 53. О царствовании Петра II написано сравнительно немного. Довольно полный сборник вырезок статей о Петре II из различных журналов XIX—XX вв. хранится в Рукописном отделе РГБ под шифром «архивная группа 9 с/ПЗО».

Егда о сей ехидне ныне помышляю,
 Что уже в болезни сей сотворить аз чаю?
 Понеже от Гарпага совсем есмь погранны,
 За мою к нему любовь от него проданны,
 Что не токмо отрока сего той убить
 Восхотел, но и тайно умыслил вскормить!
 Сего ради смущаюсь о внуке вскормленном,
 Во времена царствия моего рожденном.
 Самоволно оному мидскую державу
 Вручаю, царства моего вящую впредь славу
 З тым же злодеем моим что имам творити,
 Вы, друзи мои, даждте здравыя советы. (29 об.)

Точно такой же монолог мы встречаем в другой драме, «Действии на рождество Христово», помещенной в том же рукописном сборнике, что и пьеса о воцарении Кира. На этот раз царь Ирод опасается Христа:

О кая печаль мою старость постизает!
 О кое смущение сердце ми пронзает!
 Егда о сей прискорбной вести помышляю,
 Что сотворить в скорбе сей аз более чаю?
 Понеже от волхвов есмь весьма поруганный,
 За прошение мое от них посмеянный,
 Что не толко о Христе вести мне дадоша,
 Но и тайно во своя страны отидоша.
 Чего ради смущаюсь о царе рожденном
 И во время царствия моего явленном,
 Зане аще отрок сей воспримет державу
 В возраст пришедши, мою испровержет славу,
 То уже непременно аз ему служити
 Имам, о, дабы вместе сей во век не слыти!
 Что ж от скорби протчее имам сотворити?
 Вы, друзи мои, даждте здравы мне советы¹⁹

Сходство обоих монологов является не результатом влияния одной драмы на другую, а скорее следствием того, что в памяти авторов драм существовала одна и та же схема, «заготовка» речи, которую должен произносить царь-злодей, опасющийся своего наследника. Эту схему нетрудно развернуть в стихах или в прозе, с теми или иными различиями. Так, в драме о Кире Астиаг вторично повторяет монолог, подобный приведенным выше, но уже в прозе: «О, кое содержит мя смущение, кая печал постиже мою старость, егда начну помышляти о сем злохитром славы моей лишении...» и т. д. (26). На написание небольшой драмы,

¹⁹ Резанов В. И. Памятники русской драматической литературы: Школьные действия XVII—XVIII вв. Приложение к исследованию «Из истории русской драмы». Нежин, 1907, с. 10.

состоящей из шаблонных монологов, по-видимому, не требовалось много времени.

На спешность подготовки пьесы, возможно, указывает и необычная настойчивость извинений автора в погрешностях. Он просит извинить его и в начале и в конце пьесы. Притом заключительные оправдания настолько длинны, что занимают почти весь эпилог.

В нашем распоряжении нет данных о том, была ли где-нибудь поставлена рассматриваемая пьеса. Судя по тексту, на ее представлении не ожидалось присутствия ни А. Д. Меншикова, ни царя. Автор в прологе обращается лишь к «мужам почтенным»: «Потом же вас просим, мужие почтенны... поелику могли услужити вашей любве, змыслили сие предложити» (32).

Несомненно лишь то, что пьеса предназначалась для постановки в русском, а не украинском театре. По наблюдению Н. И. Петрова, пролог пьесы написан прозой — по московскому обычаю, а не стихами, как было принято на Украине²⁰. Украинизмы в пьесе почти совершенно отсутствуют. Кроме того, по сообщению В. И. Резанова, список пьесы был куплен именно в Москве и лишь оттуда попал на Украину²¹.

Судя по быстрой отклику на политические события и осведомленность ее автора, пьеса скорее всего появилась в Петербурге или в Москве.

Кроме пьесы о воцарении Кира, намеки, направленные против Петра I и его деятельности, прослеживаются и в других драматических произведениях времени Петра II. В 1728—1729 гг. в Киеве шла пьеса «Милость Божия» неизвестного автора и «Трагедокомедия» С. Ляскоронского, в которых Украина ужасалась при имени своего мучителя Петра I и ее положение при Петре сравнивалось с библейским египетским пленом²².

К этой группе пьес нужно причислить также «Действо о семи свободных науках», сочиненное в 1702—1705 гг. и восхвалявшее царевича Алексея Петровича. После известного судебного разбирательства Петра I по делу Алексея Петровича злосчастный царевич умер или был умерщвлен в Петропавловской крепости. Однако в 1727—1729 гг. был сделан новый список пьесы, очевидно, в связи с реабилитацией Алексея Петровича, отца Петра II, и отменой всех указов Петра Великого по данному делу. Инициатором возрождения пьесы был князь Д. М. Голицын, давний сторонник Алексея Петровича, противник преобразований Петра I и один из приближенных Петра II.

Обозревая круг драматических произведений 1727—1729 гг., отличавшихся антипетровскими тенденциями, нельзя не заметить, что недовольство Петром I выражалось в них лишь по отдельным поводам и не составляло их главного содержания. Более того, ни осуждение, ни вос-

²⁰ Петров Н. И. Указ. соч., с. 346—347.

²¹ Резанов В. И. Указ. соч., с. 11.

²² См.: Петров Н. И. Указ. соч., с. 268—269, 274.

хваление Петра I в этих пьесах уже не имело самостоятельного значения, но выступало в роли панегирического приема при восхвалении нового императора, Петра II.

В панегирических произведениях Петр II и уподоблялся и противопоставлялся Петру I, притом нередко в одном и том же произведении. Противопоставление Петру I допускалось в тех случаях, когда Петра II пытались прославить как поборника справедливости, восстановившего то, что разрушил Петр I. Если Петр I отнял гетмана у Украины, то Петр II его вернул; если Петр I якобы пытался нарушить законный порядок престолонаследия, то Петр II его восстановил — такова тематика пьес, восхвалявших Петра II. Даже драма о воцарении Кира, имевшая возможность дать развернутую критику деятельности Петра I, так как Астиаг, его изображавший, являлся одним из главных действующих лиц, ограничилась, однако, только вопросом о престолонаследии, чтобы с большим блеском представить картину вступления Петра II на царский трон.

Школьные пьесы времени Петра II, содержавшие намеки, направленные против Петра I, не составляли особого комплекса произведений, но были частью панегирической литературы, продолжая то, чем они стали еще при Петре I. Короткое царствование Петра II прибавило лишь новый панегирический прием противопоставления одного российского императора другому.

В это время увеличилось и число панегириков в честь вельмож. Еще при Петре I только за десять лет, с 1704 по 1714 г., появилось не менее семи печатных изданий, прославлявших А. Д. Меншикова, не говоря уже о рукописных панегириках в его честь и постоянных похвалах в русских и иностранных газетах и книгах. В доме А. Д. Меншикова даже жил специальный писатель-панегирист Иоанн Кременецкий. Распространялись портреты А. Д. Меншикова, и на них был большой спрос. В духовном завещании своему сыну А. Д. Меншиков с полным правом мог заявить, что «всему свету известно», как он «превзошел всех сверстников своих»²³.

В течение двадцати с лишним лет похвалы А. Д. Меншикону в панегирических произведениях претерпели определенную эволюцию. Вначале А. Д. Меншикова сравнивали с Гестеионом, верным слугой Александра Македонского, подразумевая под Александром Петра I. Затем А. Д. Меншикова стали уподоблять самому Александру Великому: «Великий Александр равен ти бывает... князь Данилович Александр Великий», — обращались к А. Д. Меншикову многие панегиристы²⁴. Правда, при этом сохранялась ясная дистанция в похвалах царю и его «светлейшему князю». Но когда престол получил Петр II, А. Д. Меншикова стали

²³ РГБ, фонд 166, картон 15, № 42, л. нумерованн. 13 об.

²⁴ Венец победы. Львов, 1709, л. нумерованн. 2, 3 и др.

восхвалять не меньше, чем самого императора. Примером тому служит не только драма о Кире, но и некоторые оды, появившиеся в то время. Например, в оде Ивана Верещагина, от Академии наук поздравлявшей Петра II с обручением с дочерью А. Д. Меншикова Марией, 25 мая 1727 г., утверждалось, что юный император называет своего «приятнолюбезного тестя» «светом», — Петр II был представлен в несколько зависимом положении от А. Д. Меншикова. В другой академической оде, посвященной обручению же, подчеркивалась важность для Петра II близости с А. Д. Меншиковым, которого император постоянно называет своей поддержкой и опорой. Петру II многозначительно предлагалось посмотреть на герб А. Д. Меншикова, возносящийся в царских горностаях.

Hoffe nun ein neues Glück,
Weil du ihren Vater kennest,
Den du jeden Augenblick
Deinen Arm und Stütze nennest.
Siehe, das gekrönte Hertz,
So des Fürsten Wappen zeigt,
Wie es gegen obenwärts
In die Hermelinen steigt²⁵.

Новой чертой панегирической литературы при Петре II было то, что императора стали восхвалять не отдельно, а только вместе с его вельможами. И драма о Кире, и названные выше киевские пьесы следовали такой манере. Например, пьеса «Милость Божия» содержала похвалы гетману Даниилу Апостолу, а «Трагедокомедия» С. Ляскоронского — похвалу Верховному тайному совету²⁶.

Можно предположить, что в списке XVIII в. первоначальный текст пьесы был уже сокращен. Результаты сокращения заметны не только по тому, что в рукописи оставлены чистые места для речей некоторых вельмож²⁷, но и по ряду смысловых несоответствий. Например, в первом же монологе царь Астиаг заявляет о своей радости, сменившей скорбь («се возыграся сердце мое в сие время, совлече скорби моей тяжкое днесь бремя» — 23), но в тексте списка ничем не объяснены причины прошлой скорби Астиага, хотя в пьесах подобного рода сам царь обстоятельно рассказывает, почему переменялись его чувства.

Далее, в начале пьесы к царю обращается вельможа Фулмен, скептически относящийся к похвалам царя о своей вечной славе, но затем Фулмен в пьесе больше нигде не упоминается и не соответствует нико-

²⁵ Тексты од см.: *Мордвинов И. П.* Академическое поздравление императора Петру Второму. На обручение его с княжною Меншиковою 25 мая 1727 г. // *Русский архив*, 1911, № 2, с. 297—300; *Материалы для истории имп. Академии наук*. СПб., 1885, т. 1: (1716—1730), с. 260—261.

²⁶ О «Трагедокомедии» см.: *Петров Н. И.* Указ. соч., с. 275.

²⁷ *Резанов В. И.* Указ. соч., с. 210, 227.

му из действующих вельмож. Речи Фулмена, возможно, также были опущены, как и речи некоторых вельмож царя.

В середине пьесы воины говорят Незлобию: «Удивляемся твоей так чудной премене: видехом та мертва, зрим же жива ныне» (26). Но данная «премена» также необъяснима, так как Незлобие до этого в списке еще не появлялось.

В пьесе подверглись сокращению, по-видимому, места, содержавшие слишком явные намеки на действительность. Недаром в первую очередь сделаны пропуски в речах вельмож. В результате смысл пьесы получился более отвлеченным. Такие изменения чрезвычайно характерны для школьных драм. Напомним, например, о списке пьесы «Страшное изображение», в котором были опущены важные сцены, изображающие отношения Петра I и польского сената, — но сохранены сцены церковно-богословского содержания²⁸.

О более отвлеченном смысле пьесы о Кире свидетельствует и философическое содержание рукописного сборника, в который была включена пьеса. Материалы сборника посвящены вопросу о том, как приходят к власти новые цари и чем надо удерживать власть. Так, основу сюжета всех трех пьес, открывающих сборник, составляет факт рождения нового царя (в первых двух — Христа, в третьей — Кира), который не без борьбы сменит старого. «Родилъся новы в мир царь — о сладкая мова! З новым царем ликую часть мирская нова», — говорится в анонимной «Рождественской драме»²⁹. В «Действии на рождество Христово» — тоже «о ином есть царе возвещенно»³⁰. В «Послании Александра Македонского Аристотелю» и в «Главах совещаельных Агапита-диакона», составляющих вторую половину сборника, речь также идет о царях и их обязанностях³¹.

1975 г.

11. «АКТ О КИРЕ И ТАМИРЕ»

Первоначальный текст пьесы по дошедшим двум спискам восстановить, по-видимому, невозможно, и поэтому высказывания исследователей об обстоятельствах ее возникновения остаются гадательными, как, например, замечание П. О. Морозова о связи пьесы с Госпитальным

²⁸ РРД, т. 3 / Комментарий к памятнику подгот. В. Д. Кузьмина, с. 476.

²⁹ Резанов В. И. Указ. соч., с. 31.

³⁰ Резанов В. И. Указ. соч., с. 7.

³¹ Описание сборника см.: Сперанский М. Н. Рукописное собрание библиотеки Историко-филологического института князя Безбородко в г. Нежине: Приобретения 1904—1905 гг. Нежин, 1905, с. 35.

театром или замечание В. Н. Всеволодского-Гернгросса о ее военно-панегирическом содержании¹.

По датировке В. Д. Кузьминой, пьеса появилась в 1720-х—1740-х годах и могла быть сочинена не ранее 1722 г., так как один из сенаторов в пьесе называет царицу Тамиру императрицей («всей нашей страны ты императрица» — 2 об.). В 1749 г. пьеса уже входила в репертуар московской труппы актеров, о чем свидетельствует челобитная руководителей этой труппы — канцеляристов В. Хилковского и И. Глушкова².

В основу пьесы положен рассказ римского историка Юстина о том, как персидский царь Кир хитростью пленил и убил сына скифской царицы Тамиры, но затем Тамира хитростью же пленила и казнила Кира³.

Указанный сюжет был обработан в пьесе в традициях школьной драматургии. Однако индивидуальная особенность пьесы в списке 1760-х годов выражена стройно и последовательно, а в списке 1790 г. отражена лишь отрывочно и затемнена рядом иных тенденций. Поэтому мы будем анализировать пьесу преимущественно по списку 1760-х годов, предполагая, что эта редакция продолжила те тенденции, которые наличествовали в первоначальном тексте пьесы.

В «Акте о Кире и Тамире» обращает внимание необычно большое количество сцен советов царей со своими приближенными. Фактически вся пьеса состоит из сменяющих друг друга сцен совета, а о действиях персонажей сообщается лишь в ремарках. Драма начинается сценой совета Кира с сенаторами о войне с Тамирой; затем следует совет Тамиры со своими сенаторами о выгодном месте сражения с Киром; далее Кир советуется с воинами о том, как обмануть сына Тамиры, а сын царицы обсуждает вопрос, преследовать ли Кира. В конце драмы Тамира совещается с воинами о поимке Кира и т. д. «Акт о Кире и Тамире» изображает не столько внешнюю картину событий, довольно неслож-

¹ Морозов П. О. История русского театра до половины XVIII столетия. СПб., 1889, т. 1, с. 281; Всеволодский-Гернгросс В. Н. Русский театр: От истоков до середины XVIII в. 1957, с. 171. Список 1760-х годов РГАДА, собрание М. А. Оболенского, фонд 201, № 158; список 1790 г. РНБ, собрание А. А. Титова, № 4179.

² Кузьмина В. Д. Русский демократический театр XVIII века. М., 1958, с. 142, 145. О челобитной 1749 г., упоминающей пьесу, см.: Забелин И. Е. Из хроники общественной жизни в Москве в XVIII столетии // Сборник общества любителей российской словесности. М., 1891, с. 560. Челобитная хранится в Московском областном историческом архиве, фонд 46, опись 7, дело 22000, л. 4.

³ Ср.: Феатрон, или Позор исторический, изыявляющий повсюдную историю... СПб., 1724, л. 72 об.; Юстин, древней универсальной истории Грога Помпея сократитель... СПб., 1768, с. 15—16. Пьеса не использовала рассказ Геродота о тех же событиях, отличающийся от рассказа Юстина; в частности, по Геродоту, сын Тамиры кончил самоубийством, а не был убит Киром. Ср.: Роллен Ш. Древняя история... СПб., 1751, т. 2, с. 173—174; Повествования Иродота Аликарнасского. СПб., 1763, т. 1, с. 147—155.

ных, сколько раскрывает степень разумности решений и поступков действующих лиц. Не только сцены советов, но сами герои в своих речах подчеркивают значение трезвого ума для принятия верного решения. Например, царица Тамира, узнав о смерти сына, рыдая, откладывает на утро размышления о делах, чтобы в здравом уме обдумать планы мести. «Ах, како совещаше? Весма есть слезны, — говорит Тамира, — не могу аз ничто же мыслить лукавым. Утре лутче разсужду во уме моем здравом» (6 об.)⁴. Воины Тамиры тоже хотят действовать, по их словам, «во уме трезвенным, чтоб нам не явится пленению уязвленным» (5).

Разумность поступка состоит, по пьесе, в том, чтобы рассудить дело не торопясь, со всяким «сумнением». «Токмо разсудити сие подобает, никогда то знаимо, что ум наш желает», — провозглашает первый же царский советник, начинающий свой монолог в пьесе (1). Кир же, напротив, требует скорых советов и быстрого исполнения своих желаний. Первые его слова, открывающие пьесу: «Царству перска мудрыи сенаторы! Монарху вашему дасте совет скоры!» (1). Легкомысленный сын Тамиры, «отроча безумный», и некоторые воины также склонны к проворству без раздумий: «подобает паче ничто творити, — восклицает один из них, — токмо бы суть во всем проворну быти... Отложите, вои храбры, сумнение всяко...» (5 об.).

Разумность поступка далее состоит в том, чтобы по рассуждении принять мнение большинства советников. Царица Тамира так постоянно и поступает, ее называют «искусной в советех» (3 об.); поэтому она побеждает Кира. Зато Кир в решительные моменты следует мнению меньшинства советников; он заявляет: «Что бы кто ни глаголал, ни на когс взираю» (1 об.) и в конце концов терпит поражение. Тамирин сын погибает от руки Кира тоже потому, что слушает меньшинство и даже, как говорит о нем царица, «ниже от кого имея совета» (7).

«Акт о Кире и Тамире» (по списку 1760-х годов), думается, не был подчинен определенной политической или панегирической цели; под Киrom и Тамирой не подразумевались конкретные исторические лица послепетровского времени. Тема разумности поступков правителей, пронизывающая все содержание драмы, имела преимущественно нравоучительный смысл.

Нравоучительность драмы выразилась в обилии советов и афористических назиданий, сопровождающих каждый поступок действующих лиц. Так, например, воин предупреждает сына Тамиры: «Юноше храбры! Что се хочещи творити? Не видя дела и войны, начинаеш пити. Не пиршествовати пришел еси суду, егда наветы творят враги наши внею ду» (5). Или сенатор наставляет Тамису: «Подобает зуб за зуб, а око за око, егда кто поступает лстиво и жестоко» (8).

⁴ РРД, т. 4, с. 563—579 / Текст памятника подгот. В. Д. Кузьмина. Указываются листы рукописи.

Нравоучительным характером драмы объяснимо и ее отступление от своего источника — рассказа Юстина. Тамира в драме побеждает Кира не хитростью, заманив его войско в ущелье, как повествуется у Юстина, но захватывает его в честном бою. В пьесе Кир и Тамира являются антиподами потому, что первый идет на обман, а вторая абсолютно честна. Противопоставление честности и нечестности проводится через всю драму, и нечестность настойчиво осуждается, считается неразумной, ведущей к «безумию». Как только Кир поступает неправильно, от него отказывается Фортуна, предрешая его поражение: «О, что тебе не в честь! Чего для ти более не буду служить. Будеш с сего времени обо мне тужити» (5 об. — 6). Тамира и ее сенаторы многократно осуждают коварство Кира, который зарубил опьяненного вином сына скифской царицы. «Аще же разсудити, — обвиняет Тамира, — не терпит угодно, яко Кир на Марса показаша, егда смертно мечем пьяных поразилша»; и сенаторы призывают царицу отомстить Киру именно за обман, неблагородство, «за лстивое его действо воздать», чтобы все знали, «коль горко есть лстити» (7об.). Вначале Кир был «премудрым», теперь его называют «безумным».

В первоначальном тексте пьесы, возможно, говорилось об ответной хитрости Тамиры по отношению к Киру. Но в списке 1760-х годов версия о честности скифской царицы была развита настолько, что осталось лишь единственное, ничем не поддерживаемое, глухое упоминание Тамиры о ею предполагавшейся хитрости. «Како нам лстецу такову стерпети? Простру подобны ему ныне сети» (8).

По нашим наблюдениям, впервые в драматургии тема разумности поступков правителей была разработана Феофаном Прокоповичем в пьесе «Владимир» 1705 г. В ней мы находим монолог киевского князя Владимира о пользе трезвого разума и внимательном рассмотрении советов. Владимир, советуясь со своими сыновьями Борисом и Глебом, говорит:

обаче влекому
Волю ко желанному не всегда пользует
Свободно простирати, но да советует
Первее трезвий разум на мнозе, и тогда
Безбедно пойдет воля...
Коль мнози суть совети, их же аще красно
Мнитя быти, но, егда разсмотрим опасно,
Инако являются...⁵

Сравнительно с «Владимиром», «Акт о Кире и Тамире», сочиненный гораздо позже, трактует тему разума крайне упрощенно. Например, во «Владимире» князь, испытывая ответственность перед государством, предается сосредоточенным размышлениям наедине с самим собой.

⁵ Феофан Прокопович. Сочинения / Изд. подгот. И. П. Еремин. М.; Л., 1961, с. 188—189.

«Отъидете на время, — говорит он своим советчикам. — Аз посоветую наедине со мною». В «Акте о Кире и Тамире» же все сводится к механическому принятию царем или царицей одного из двух предлагаемых решений.

Упрощенность заметна не только в содержании, но и в форме «Акта о Кире и Тамире»; бросается в глаза простота композиции, краткость явлений, монологов, ремарок в пьесе. Сценическое оформление пьесы, очевидно, было также довольно простым, так как изображался то совет у царя Кира, то совет у царицы Тамилы. Остальные события происходили на некоем ровном поле, о котором упоминают различные действующие лица. То персидское войско идет скифов «как зверей диких, с поля згоняти» (1 об.), то Тамилра призывает скифское войско: «Изыдите на подвиг, изыдите на поле» (8).

Пьеса о Кире и Тамилре относится к широкому кругу историко-нравоучительных произведений, появившихся в России с конца 1710-х годов и, по-видимому, имевших одинаковое хождение в дворянских, школьных и мещанско-демократических слоях общества⁶.

Еще Симеон Полоцкий писал нравоучительные стихи на темы из всемирной истории; но писал их преимущественно для царя, царской семьи, царских приближенных. Эта традиция господствовала и в начале XVIII в., когда, например, Иоанн Максимович издал свою книгу «Феатрон, или Позор нравоучительный царем, князем, владыкам и всем спасительный, в нем же что имат творити и соблюдатьи начальник...» (Чернигов, 1708). И в заглавии, и в предисловии книги подчеркивалась ее предназначенность для «начальников».

Признаки демократизации взгляда на историю наблюдаются с конца 1710-х годов. В России публикуется, например, переведенная с польского книга «Деяния церковная и гражданская» (М., 1719), где в специально добавленном предисловии переводчик обращается к читателю: «Хощеши ли видети, аки на позорищи, комедию мира сего... — чти историю... К тому видя пременения не токмо малых и великих домов со владыками своими, но и царств и царей, и низвержения их тяжкая — не унывай в меньших своих злоключениях... История... всякому ко управлению себе или дому... подает разум»⁷. О том же пишет и Гавриил Бужинский в предисловии к книге «Феатрон, или Позор исторический, изьявляющий повюдную историю священнаго писания и гражданскую: «Увидит всяк в сем Феатре всея жизни своея состояние, обрящет примеры, их же подражати и их же устранятися долженствует»⁸.

Очевидно, в связи с этим новым взглядом на значение истории в первой трети XVIII в. возникают драматические переделки старых сю-

⁶ Ср. наблюдения над этим: *Сперанский М. Н.* Русские рукописные сборники XVIII века. М., 1963, с. 48—49, 110, 137.

⁷ Деяния церковная и гражданская. М., 1719, л. 1 об. — 2, 3.

⁸ Феатрон... СПб., 1724, л. 2 об.

жетов — пьеса о Иудифи, на библейскую тему, ранее уже представленную русской драмой, и пьеса о царице и львице, написанная на основе старинной русской повести и, как сообщалось в прологе, показывавшая зрителям, «что и царие иногда печали претерпевают». Эти пьесы близки к «Акту о Кире и Тамире», хотя нравоучительная направленность их менее заметна⁹.

Пьесе о Кире и Тамире по своему духу близки также «Апофегматы», книга нравоучительно-исторических рассказов и анекдотов, впервые изданная в России в 1711 г. и затем неоднократно переиздававшаяся и переписывавшаяся. Она перекликается с пьесой даже рядом своих тем. В книге подчеркивается, например, необходимость советоваться, прежде чем что-то предпринимать: «Антонин-кесарь имел обычай, яко ни домашних, ни воинских дел без совета разумных людей не делывал, а говорил: „Лучши мне держатися совета многих разумных людей, неже им многим управляемым быти от меня одного разсуждением“». В книге, как и в пьесе, осуждается нечестность в военном деле; приводятся, например, слова Александра Македонского: «Всегда честнее с неприятелем явным боем битися, а не обманом» и т. д.¹⁰.

Таким образом, «Акт о Кире и Тамире» вместе с рядом других произведений положил начало русской нравоучительно-исторической литературе дворянско-демократического характера, с развитием которой была связана и дальнейшая судьба пьесы.

В середине XVIII в. особенно возрастает количество издаваемых и переписываемых нравоучительно-исторических сочинений разнообразных жанров — от небольших рассказов из истории, сопровождаемых нравоучительными примечаниями и печатаемых в журналах, до отдельных книг, содержащих «наполненные наставлениями приключения», например, «Товарищ разумной и замысловатой» (СПб., 1764), «Нравоучительныя и полезныя разсуждения, выбранныя из разных авторов» (М., 1761) и мн. др. Среди подобных сочинений встречаются и произведения, написанные в драматизированной форме. Так, в журнале «Праздное время, в пользу употребленное», печатался длинный нравоучительный монолог Александра Македонского, убившего своего подданного¹¹. Появляется масса рукописных сборников нравоучительно-исторического содержания, причем панегирические пьесы, входящие в состав таких сборников, перерабатываются в отвлеченно-нравоучительные. Так было, например, с пьесой о воцарении Кира.

⁹ О сходстве формы этих пьес см.: *Щеглова С. А.* Неизвестная драма петровской эпохи о царице и львице // Труды Комиссии по древнерусской литературе. Л., 1932, т. 1; *Попов П. Н.* Неизвестная драма петровской эпохи «Иудифь» // ТОДРЛ, т. 3.

¹⁰ Апофегмата, то есть кратких витиеватых и нравоучительных речей книги три. СПб., 1723, с. 176.

¹¹ Праздное время... СПб., 1759, ч. 23—24, с. 161—181.

«Акт о Кире и Тамире», переписанный в 1760-х годах, являлся активным членом этого круга произведений, пополнявшегося в основном за счет переводов и получившего четко обозначенного адресата — юношество. Так, В. К. Третьяковский писал в предисловии к переведенной им многотомной «Древней истории» Ш. Роллена, что историк «всякаго чина и состояния людям вливает сладосно и нечувствительно в разум истинное просвещение; но все еще с толикою умеренностию, что будто б он ни о чем другом толь большаго и первейшаго не имел попечения, как токмо о наставлении юношества»¹².

В предисловии к книге «Политическия и нравоучительныя басни Пильпая, философа индейского» переводчик В. Волков объяснил издание книги той целью, «дабы юношество нечувствительно научить добронравию; ибо молодой и незрелой еще разум больше склонность оказывает к чтению таких забавных сочинений, нежели важных, преисполненных философскими разсуждениями»¹³. Другой довод добавлял переводчик С. Писарев в предисловии к «Священной истории Ветхаго и Новаго завета, с выбранными от святых отцов истолкованиями, к исправлению нравов каждаго христианина полезнейшими»: «...потому что примеры, а особливо знатных и право владательства имеющих персон обыкновенно сильнее действуют в душах человеческих, нежели как самая мудрыя предписания»¹⁴.

Наверное, можно определить одну из главных линий развития русского театра за первые 100 лет его существования: от политики к этике, от придворных интересов к общественным, от страстей к разуму.

1975 г.

¹² Роллен Ш. Древняя история... СПб., 1749, т. 1, с. нумерованн. 6.

¹³ Политическия и нравоучительныя басни... СПб., 1762, с. нумерованн. 5—6.

¹⁴ Священная история... СПб., 1763, с. нумерованн. 9.

IV

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАРОДАХ И СТРАНАХ

НЕСЛАВЯНСКИЕ СОСЕДИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XI—XIII ВВ.

Этнические представления древнерусских писателей накапливались по схеме более или менее однотипной, но своеобразной в каждый исторический период, начиная с древнейшего. Древнерусская литература XI—XII вв. больше рассказывала об отдаленном прошлом чужих народов, чем об их настоящем, — в переводных хрониках, житиях, повестях. Конечно, встречались исключения, вроде «Хождения» игумена Даниила в Палестину, однако и тут преобладал исторический, библейский материал. Современное состояние других народов интересовало писателей только попутно с русскими делами — в основном в летописях.

Писатели древнейшего периода XI—XII вв. держали в поле зрения преимущественно три географические стороны: юго-восток с половцами, а дальше с касогами и ясами; северо-восток с мерей, черемисами, мордвой, чудью, весью, югрой; и северо-запад с «литвой», ятвягами, ямью. Внимание летописцев было вниманием государственным, главными были сведения политические, деловые, внешние: где живут соседние народы и кому подчиняются, например: «на Белеозере седять весь, а на Ростовском озере — меря, а на Клещине озере — меря же... А се суть инии языци, иже дань дают Руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, морьдва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь...» и т. д. («Повесть временных лет», 28)¹. Летописцы постоянно отмечали, кто на кого «пошел» и кто кому платил дань, — интерес чисто феодальный.

¹ Цитируемые произведения: «Большая челобитная» Ивана Пересветова — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. М. Д. Каган-Тарковская; «Владимиросуздалская летопись» — Летопись по Лаврентиевскому списку; «Галицко-Волынская летопись» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева; «Есиповская летопись» — ПСРЛ, т. 36, ч. 1; «Житие Михаила Черниговского» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Житие Стефана Пермского» Епифания Премудрого — Пам. СРЛ, вып. 4; «Журнал» Н. П. Рычкова — Журнал, или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 году. СПб., 1770; «Задонщина» — «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Тексты «Задонщины» подгот. Р. П. Дмитриева. М.; Л., 1966; «Интерлюдии, или Междувброшенная забавная игралица» — РРД, т. 4 / Тексты подгот. О. А. Державина; интермедии — РРД, т. 5 / Тексты подгот. В. Д. Кузьмина и В. П. Гребенюк; «История о великом князе московском» Андрея Курбского — РИБ, т. 31; «Казанская история» — Казанская история / Изд. подгот. Г. Н. Моисеева. М.; Л., 1954; «Книга, глаголемая Козмография» — Козмография 1670 / Изд. подгот. А. П. Крыжин и П. Н. Тихонов. СПб., 1878—1881; «Новгородская первая летопись» — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950; «О стихотворстве камчадалов» А. П. Сумарокова — Сумароков А. П. Полное собрание сочинений в стихах и прозе / Изд. подгот. Н. Новиков. М., 1781, ч. 9; «Ода на день восшествия

При всем том в XI—XII вв. не нужно было далеко ходить за фантастическими сведениями даже о ближних народах. Та же «Повесть временных лет» под 1096 г. передавала тревожащий слух: рядом с югрой — горы до неба, и в тех горах разносится великий клик и говор, неведомый народ сечется сквозь гору и уже просек небольшое оконце; что говорят — непонятно, но руками показывают на железо и того, кто даст им нож или секиру, отдаривают мехом; эти люди «заклепаны» в горах еще Александром Македонским, и наступят «последние времена», когда они выйдут наружу (242, 244). Древнерусское общество было молодо, и его этнический кругозор не мог быть рационалистичным совершенно.

Следующий период — XIII—XV вв. — прибавил опыта, зачастую горького и трудного; знания и представления о современных народах отразились почти во всех жанрах средневековой русской литературы — в летописях, повестях, житиях, поучениях, посланиях, «хождениях». Мир раздвинулся. Авторы писали о Западе: не только о «литве» и ятвьягах, но, например, о шведах и немцах («Житие Александра Невского»), о

Елизаветы Петровны на престол» 1748 г. М. В. Ломоносова — *Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений*. М.; Л., 1959, т. 8 / Изд. подгот. В. Н. Макеева; «Описание новые земли Сибирского государства» — *Сибирские летописи* / Изд. подгот. Л. Н. Майков. СПб., 1907; «Описание торжественных зданий на Ходынке, представляющих пользу миру» В. И. Майкова — *Майков В. И. Избранные произведения* / Изд. подгот. А. В. Западон. М.; Л., 1966; «Повесть о нашествии Тохтамыша» — ПЛДР, т. 4 / Текст памятника подгот. М. А. Салмина; «Повесть о Петре Ордынском» — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Р. П. Дмитриева; «Повесть о разорении Рязани Батыем» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев; «Повесть о царице Динаре» — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; «Ремезовская летопись» — *Сибирские летописи* / Изд. подгот. Л. Н. Майков. СПб., 1907; «Симеоновская летопись» — ПСРЛ, т. 18; «Сказание» Петра Золотарева — ПСРЛ, т. 31; «Сказание о Железных вратах» — *Бегунов Ю. К. Древнерусское описание Дербента и Ширвана* // ТОДРЛ, т. 21; «Сказание о нашествии Едигея» — ПЛДР, т. 4 / Текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова; «слова» Серапиона Владимирского — ПЛДР, т. 3 / Тексты «слов» подгот. В. В. Колесов; «Слово о житии Дмитрия Донского» — ПЛДР, т. 4 / Текст памятника подгот. М. А. Салмина; «Слово о погибели Русской земли» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Слово похвальное Елизавете» М. В. Ломоносова — *Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений*, т. 8; «Стансы городу Синбирску на Пугачева» А. П. Сумарокова — *Сумароков А. П. Избранные произведения* / Изд. подгот. П. Н. Берков. Л., 1957; «статейный список посольства в Грузию Ф. Волконского» — *Полиевктов М. А. Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений: 1615—1640*. Тбилиси, 1937; «статейный список посольства в Грузию Ф. Елчина — Путешествия русских послов XVI—XVIII вв.» / Текст памятника подгот. Я. С. Лурье, Р. Б. Мюллер. М.; Л., 1954; «Хождение в Персию» Федота Котова — *Хождение купца Федота Котова* / Изд. подгот. Н. А. Кузнецова. М., 1958; «Хождение за три моря Афанасия Никитина» — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. М. Д. Каган-Тарковская; «Хождение на Флорентийский собор» — ПЛДР, т. 4 / Текст памятника подгот. Н. А. Казакова; «Хронограф» — РНБ, Ф. XVII. 21. Указываются листы рукописи.

поляках и венграх («Галицко-Волынская летопись»), даже об итальянцах («хождения» суздальцев во Флоренцию). Писателям было дело почти до всех северных народов: упоминались ижора, корела, воль, буртасы, лопари, вогуличи и особенно пермяне, то есть зыряне («Житие Стефана Пермского»). Очень далеко путешествовали писатели — физически и мысленно — на юге и юго-востоке — до Дагестана («Сказание о Железных вратах»), до Турции («Повесть о взятии Царьграда турками» Нестора-Искандера) и до Индии («Сказание об Индийском царстве» и «Хождение за три моря» Афанасия Никитина). Несмотря на тяжкие испытания, Русь оживленно знакомилась с Европой и Азией. Самой главной, самой больной и повседневной темой были ордынцы, или «татары», как называли их во множестве произведений древнерусской литературы — от повестей XIII в. о татарском нашествии до повестей XIV в. о Куликовской битве и сказаний XV в. о падении татаро-монгольского ига.

В системе контактов с соседними народами древнерусская литература XIII—XV вв. оставалась на уровне передачи впечатлений и сведений, в которых рано наметились географические стереотипы. Считалось, в частности, что северо-западные народы живут в болотистых местах. «А Литва из болота на светъ не выникываху», — отмечал в XIII в. автор «Слова о погибели Русской земли» (130); «болота ятвяжские» поминал галицко-волынский летописец под 1256 г. (334); рассказ о том, как русское войско заблудилось в озерах и болотах в стране карелов, ижор, вожан, поместил новгородский летописец под 1316 г. («Новгородская первая летопись», 95).

Северо-восточные же народы мыслились обитающими в лесах: «А мордва вбегоша в лесы своя... в лесъ глубокъ», — писал владимиросуздальский летописец в 1228 г. (428); зыряне же пребывают «въ блатехъ, и въ дубравахъ, и въ борехъ, и въ лузехъ, и въ порослехъ, и въ чащахъ, и въ березнике, и въ сосняге, и въ ельнике, и въ рамене, и въ прочихъ лесехъ», — перечислялось в «Житии Стефана Пермского» (141).

Летописцы пытались подвести под стереотип происхождения даже незнакомых народов. Вот впервые на Руси, в 1223 г., появились татары: «Явишася языци, их же никто же добре ясно не вестъ, кто суть и отколе изидоша», — признавался владимиросуздальский летописец и все-таки помещал их в некую легендарную пустыню: «Си суть ишли ис пустыня Етриевьскы, суще межю востокомъ и северомъ» (423).

Однако русское общество XIV—XV вв. нуждалось в неуклонном расширении круга реальных знаний, и географические стереотипы становились менее фантастичными и менее односторонними. Например, в середине XV в. русский автор «Сказания о Железных вратах» совершенно четко осознавал: «А земля за Железными вороты такова же, яко и здесь: лес ест, и дубравы, и горы, и реки. А озера, и блата, и городы, и деревни, и села, и сады, и винограды, и мельницы, и всякой овощ земный, и распространится до синева моря Хвалынъскова и до Инъдеи богатие»

(127). Другие же русские писатели-путешественники XV в. довольно подробно описывали прибалтийские города, например Юрьев-Тарту («Хождение на Флорентийский собор», 470).

В XIII—XV вв. обогатилась общая схема, по которой русские писатели характеризовали любой чужой народ: помимо традиционных пунктов о том, где селятся народы и какая земля кем «поимана», пленена, пожжена и т. п., получил развитие, так сказать, культурный раздел характеристики. Это видно по уже упоминавшейся заметке о татарах во «Владими́ро-Суздальской летописи» под 1223 г.: летописцу хотелось знать не только, «кто суть и отколе изидоша» татары, но и «что языкъ ихъ, и которого племени суть, и что вера ихъ» (423). Поначалу летописные (в «Повести временных лет») упоминания о языках соседних народов были лаконичны: «...мурома языкъ свой, и черемиси свой языкъ, морьдва свой языкъ» (28), «югра же людьє єсть языкъ немъ» (242) и пр., но постепенно формировались отчетливые представления писателей о языках и культурах; так, составитель «Жития Стефана Пермского» XV в. уже знал о зырянах точно: «Пермяне не имєяху у себе грамоты и не разумеваху писаниа, а отинудь не знаяху, что єсть книги, но точию у нихъ баснотворцы были, иже баснями баяху о бытъи и о миротворєнии» (151); герой произведения «изучися сам языку пермскому» и придумал письменную азбуку для зырян; приводились названия зырянских букв и пояснялись «речи пермского языка» (151—152).

В ряде литературных рукописных сборников XV в. появились русско-татарские словарики — названия месяцев и явлений погоды, названия должностей, татарский счет и пр.; а Афанасий Никитин часть своего «Хождения» написал по-тюркски — тюркскими ходовыми выражениями и с использованием персидских и арабских слов. Реальные знания о чужих языках переходили в практические навыки.

К знаниям о языках добавились представления русских писателей о верованиях, обрядах, социальном строе, быте других народов. Раньше, в XI—XII вв., писатель их меньше знал и больше им «чудился»; так, под 1071 г. в «Повести временных лет» летописец вспоминал удивительные рассказы бывалых людей о чуде: те, оказывается, думают, что их боги живут «в безднахъ. Суть же образом черни, крилаты, хвосты имущє» (192). В XV в. писатель хотя и громче порицал «поганые» обычаи, но доскональнее знал их, и знание спасало от слепой неприязни. Например, составитель «Жития Стефана Пермского» осуждал язычников зырян: делают они «блъваны истуканнѣя, извааннѣя, издлбленѣя, вырезомъ вырезаемѣя» (136); и все-таки автора «Жития» по-писательски привлекало «повешаное около идолъ, или кровля надъ ними, или на приношение, или на украшение имъ принесенное: или соболи, или куницы, или горностаи, или ласици, или бобры, или лисици, или медведна, или рыси, или белки» (136). Отсюда естественным был переход к сценам быта, например, к описанию охоты: с дрекольем, с топорами или с

секирами «единъ человекъ, или самъ-другъ, многожды исходить на брань, еже братися с медведемъ, и брався, победивъ, низложитъ его, яко и кожу его принесетъ» (141).

Особенно часто, хотя и кратко, писатели касались внутренней жизни Орды. Перечни татарских чинов содержались уже в «Повести о разорении Рязани Батыем» в 1237 г. (192) и многократно повторялись в летописях. О татарских обрядах поклонения солнцу, луне, земле, мертвым, о ритуале проведения приезжих меж двух костров и о питье кумыса говорилось в «Житии Михаила Черниговского» (228) и в «Галицко-Волынской летописи» под 1250 г. (312, 314). Летописцы также знали, что в Орде работали мастера всякие — седельники, лучники, кузнецы железа, меди и серебра (замечание под 1259 г. в «Галицко-Волынской летописи», 344), и не упускали случая отметить татарское богатство — дворы, и шатры, и вежи, и юртовища, и телеги, а в них товар бесчисленный (замечание под 1378 г. в «Симеоновской летописи», 127), «татарские узорочья, и доспехи, и кони, и волы, и верблуды, и вино, и сахар, и дорогое узорочие» («Задонщина», 540). Таким образом, при каких бы обстоятельствах, пусть самых драматических, не происходило общение с иным народом, оно усиливало этническую зоркость древнерусского общества.

В XIII—XV вв. в схеме писательских представлений о чужих народах обязательно присутствовала воинская характеристика, и тут пришлось отдавать должное татарам. Уже по поводу первого татарского нападения на Русь в 1223 г. летописец записал: «Приде неслыханная рать — безбожнии моавитяне, рекомыи татаръве... видети невиданьная рати и сущии с ними коньници... ратници суть и добрая вои» («Галицко-Волынская летопись», 256, 258). В XIII в. писатели с ужасом подчеркивали бесчисленность татарского войска, словно саранчи или песчинок: «Придоша иноплемьеници, глаголеми татарове... множество бещисла, акы пружи» («Новгородская первая летопись» под 1238 г., 286); «бещисленное множество, акъ песокъ морьскы» народу и «бещисла воеводъ» в Орде, а говора огромного татарского войска «не бе слышати от гласа скрипания телегъ его, множества ревения вельблудъ его, и рьжания от гласа стадъ конь его» («Галицко-Волынская летопись» под 1240 и 1266 гг., 294, 360).

Однако писатели стали изучать грозного врага; они видели не только его множество, но подмечали и его военные приемы: татары, в частности, идут на приступ города «с тмочисленными лествицами» и стреляют из «тмочисленных пороков» — осадных машин («Повесть о разорении Рязани Батыем», 190, 192). В XIV в. у писателей сложилась система знаний о военной тактике татар; вот, например, татары осадили город и прежде всего занялись осмотром укреплений: «И поехаша около града, обзирающе и разсматряюще приступы, и рвы, и врата, и забрали, и стрелницы»; затем они пытаются запугать горожан: «Татарове же прямо... на градъ голыма сабли машуще, образом аки тинаху, наживающе издалече»; по-

том методично обстреливают: «Бяху бо у них стрелци горазди вельми. Они, от них стояще, стреляху, а друзии, скоро рищуще, изучени суще, инии, на коне борзо гоняще, на обе руке и паки и напред и назадъ скорополучно без прогредыху стреляху» («Повесть о нашествии Тохтамышша», 194, 196).

Примерно ту же эволюцию от непосредственных впечатлений к более глубокому знанию писатели прошли, размышляя об отношении татар к другим народам, особенно к русскому. Сначала татары казались бессмысленно жестокими, не щадящими ни красоты юных, ни немощи старых, ни малости детей, — так вопиял Серапион Владимирский в своих «словах» в XIII в. (446). Но в XV в. ордынская программа стала понятной без лишних слов: «Ропаты поставлю и баскаки посажаю», — вот цель ордынских правителей («Слово о житии Дмитрия Донского», 210; «ропаты» — мечети); а вот их истинная политика: «Аще бо когда не мнози обретаются, то лестно и злоковарно честьми окладають князей наших и дары украшають, и тем злохитрство свое потаают, и миръ глубокъ обещавают имети съ князми нашими, и таковым пронырством... усобную рать межи нас съставляють» («Сказание о нашествии Едигея», 244). Обзор наиболее значительных памятников показывает, что в течение XIII—XV вв. русское общество прочно стало на путь всестороннего практического познания соседних народов и государств — с точки зрения военной, политической, хозяйственной, культурной, психологической.

В XVI в. литературные образы других народов довольно редки: накопление впечатлений продолжалось, но в менее широких масштабах. О других народах рассказывали в основном только повести, малые и большие, иногда — «хождения» и послания; повествовали же писатели чаще о татарах, реже — о турках, в единичных случаях — о Грузии.

К сложившемуся трафарету описаний авторы XVI в. мало что добавили, разве что указания на самые крайние проявления воинственности. Иван Пересветов в «Большой челобитной» Ивану Грозному выдавал за образец жесткую организацию турецкого войска. В произведениях поощрялось, чтобы за воинское ремесло брались даже женщины; так, в «Повести о царице Динаре» грузинская царица Динара (ее прототип — знаменитая царица Тамара) провозгласила: «Возложю броня и шлемъ на женъскую главу и восприиму копие в девичю длань» (42), и «навыче воиньской храбрости» (38), и победила персов в битве; автор «Казанской истории» полвека спустя тоже особо отметил, что татары собирали высоко-рослых женщин и сильных девиц и «учеваху их копейному бою, и стрелбе, и битися со стены, и воскладаху на них пансыря и доспехи» (135).

Автор «Казанской истории» восхищался воинственностью казанских мужчин. «И не бояхуся никого же, аще и вси царьства околная совокуплешеся востанут и подвигнутся на них... Креплеше же града сами бяху, умение велико имуще ратоватися во бранех и непобеждены

бываху ни от кого же, и мало таких людей мужественных злых во вселенней обретається» (128); «но и умирающе, грозяху» (146) — автор настолько ценил воинственность, что забывал, о ком пишет: ведь речь шла о врагах.

Но он, не смягчая, описывал и жестокое обращение татар с русскими пленными: «Ужем за шею оцепляху, и скакати и плясати веляще им... А старым коим очи избодаху, и уши, и уста, и нос обрезаше, и зубы искореневаху... яко скот, овех толпами, перевязанных, держаше на торгу, продаваху иноземцом поганым» (76—77). От литературных описаний воинственности и жестокости веет суровым веком небывало крупных войн Российского государства.

И одновременно писатели XVI в. острее, чем когда-либо, грезили о мирной жизни. Тема желанной «тихости» народов возникла в литературе на рубеже XV и XVI вв.; уже автор «Повести о Петре Ордынском» надеялся: «Орда же тогда тиха бе и на многа лета» (30). Сходное положение авторы повестей искали и в других землях: например, грузинская царица Динара «со многою кротостию правяше державу свою... печашеся, како бы ей (державе) быти в тихости» («Повесть о царице Динаре», 38), оттого в грузинской «державе... умножившимся народом и распространшимся» (42), «дажь до днесь неразделно дръжавство Иверьское пребывает» (46).

«Тихость» и радость писатели ожидали найти даже в Казани, и Иван Пересветов в «Большой челобитной» предупреждал: «Да слышал есми про ту землицу, про Казанское царство у многих воинников, которые в том царстве Казанском были, что про нее говорят, — применяют ее под райской земле угодием великимъ» (620). Ссылка Пересветова на «воинников» психологически обоснованна: именно в душе воинов слилось знание жестокости войны с жадной мирной, «райской» жизни.

Автор «Казанской истории» тоже мечтал пользоваться благами мирной, богатой, праздничной жизни — как казанцы. Именно казанцы были богатыми: «Казанцы... обогатися, и оттоле не ходити им во овчихах кожах ошившихся, и после убо ходяще в красных ризах, и в зеленых, и в багряных, и в червленых одеявшися, шапствовати пред катунами своими, яко цветцы полския, различно красящися, друг друга краснее и пестрее» (59). Именно казанцы предавались празднествам: «Граждане вси, мужи и з женами, гуляюще... пьюще в корчемницах царевых, покупающе на цены, прохладжахуся. Много же народу збирающися, — черемисы на праздники тыя с рухлом своим из далних улусов и торговаху з градцкими людми, продающе, и купующе, и меняюще» (61). Именно Казань превращалась в желанный «райский» город: даже Иван Грозный «удивился необычной красоте стен и крепости града» (127).

Потаенную мирную жизнь писателям хотелось найти и в малоодступных, глухих землях, например у лопарей, которые «людие зело просты, и кротцы, и отнюдь всякого лукавства неискусны», как отмечал Андрей Курбский в «Истории о великом князе московском» (332).

Новый период — XVII в. — в целом ознаменовался возвращением к разносторонности XV в., но с еще невиданным литературным размахом: о других народах повествовало буквально все — собственно литература, включая стихи и драмы, еще больше — полемические трактаты, рукописные и старопечатные, и еще больше — политико-географические сочинения и переводы (статейные списки послов, «скаска» о пребывании в плену, «космографии», «куранты» и пр.). Куда только не проникали русские писатели XVII в. и о ком только не рассказывали! О Китае («Описание Китайского государства» Н. Спафария), об Албании («Повесть о Скандербеге»), о Мальте («Путешествие» Б. Шереметева), о Португалии («Повесть бывшего посольства в Португальской земли»), конечно же, о поляках (произведения Смутного времени) и о турках («Проскинитарий» А. Суханова, повести о взятии Азова и азовском осажденном сидении донских казаков, «Описание Турецкой империи» и др.), о Средней Азии и даже об Америке (в «космографиях» и «хронографах»).

Впервые в истории русской литературы с одинаковой силой развивались и описание жизни других народов, и использование их литературных традиций. Переводы и переделки западноевропейских произведений (особенно западнославянских, латинских и немецких), наряду с сочинениями русских писателей о Западной Европе, составили огромный раздел русской литературы XVII в. Но в отношении соседних северных, сибирских и кавказских народов картина еще оставалась прежней: в русской литературе XVII в. преобладали записи впечатлений, правда, чрезвычайно обильные.

Как будто тяжкий груз упал с души, и писатели увидели мир (особенно неславянский) во всем его многообразии и пестроте. Старая схема описания народов еще давала знать о себе время от времени, но в литературе уже главенствовала объективная этнографическая наблюдательность, и пункты старой схемы по-новому смешивались в цельные бытовые картины. Вот писатель, он же купец, посол или воин, достигал дальней стороны и «озирался»: под Астраханью он видел татарские юрты, вкопанные в землю, плетнем оплетенные и глиною обмазанные («Хождение в Персию» купца Федота Котова, 31); в Сибири он даже входил в зимние деревянные юрты, в которых татары, вотяки, самоеды живут, «аки в погребах», а ночью спят в полах холщевых на высоких кроватях, под кровати же кладут огонь и курения, дабы комары и мошки дали уснуть («Описание новые земли Сибирского государства», 378). Все, отклоняющееся от привычного, в XVII в. прилежно описывалось.

Писатель обозревал одежды: остяки, например, одежду имеют от рыб, самоеды же — от оленей («Есиповская летопись», 45); а крымцы и литовцы — склонны к рукоделю риз золотых и шелковых и носят «одежды цветные» («Книга, глаголемая Козмография», 7). Многообразен быт!

Писатель рассматривал лица. В Грузии: царица молода, ростом высока, глаза и волосы черны, «рожеем чиста» (статейный список по-

сольства в Грузию Ф. Волконского 1637—1640 гг., 299); в Сибири: тамошние люди коренасты, плоские лица, смуглы, очи длинные и узкие («Книга, глаголемая Козмография», 350).

Писатель присутствовал на обедах. В Колхиде: вместо столов потесаны доски, а кладут их на землю, а сами сядут, подобрав ноги, а те доски используют вместо столов, и скатертей, и блюд; а «кашу» повар разносит, лопаткою из котла черпая, и всякому дает отдельно; а мяса положат на носилки, принесут к столу и делят (статейный список посольства в Грузию Ф. Елчина 1639 г., 224—225). Едал писатель и в Средней Азии, где-то за Самаркандом: пьют молоко кобылье, как вино белое; не имеют ни столов, ни скатертей, ни полотенец; пьют еще воду и бузу просяную («Книга, глаголемая Козмография», 350—351).

Литература шла вслед за путешественниками и землепроходцами и не могла поспеть всюду; главную ношу описаний тянула полудокументальная письменность, не чуждавшаяся литературности, ибо мир отличали нескончаемые контрасты. Одни народы ездят на лошадях, а другие — на псах, потому что на лошадях из-за великих снегов ездить невозможно («Описание новые земли Сибирского государства», 378). Как тут не изумиться! В одних местах (под Томском) дружно занимаются кузнечным делом, куют вместо наковален на камне, а железо то получается лучше шведского и мягко, как свинец («Описание новые земли Сибирского государства», 382); в другом месте (в Польше и Литве) заняты раздорами: подданные своих господ не слушают, вольготно живут и безбоязненно («Книга, глаголемая Козмография», 10); в третьем месте (в Татарии) готовы к войне и лишениям: и тот народ татарский силен и смел и может всякую нужду, зной, жар, голод перенести («Хронограф» конца XVII — начала XVIII вв., 816 об.); в четвертом же месте (в «земле Арменской») предпочитают торговлю: люди торговые богаты, а воинских мало («Книга, глаголемая Козмография», 14); а в пятом месте (в Шемахе) было землетрясение, и никакой человек на месте не устоял, и люди, дворы, имущество провалились сквозь землю («Сказание» Петра Золотарева, 208—209). Поразительное разнообразие!

Нагнетание контрастов делало чуть-чуть сказочными и фантастическими даже самые приземленные и фактичные описания. К примеру, как живут калмыки? Имеют скота много — верблюдов одно- и двугорбых, лошадей, коров, овец с курдюками величиной с ведро, ишаков с ушами в аршин («Описание новые земли Сибирского государства», 381) — вроде бы все правда, а диковинно до сказочности. Отсюда один шаг до совершенно фантастического рассказа «О Тартарии, сиречь Татарском государстве» из «Книги, глаголемой Козмография»: заводжские татары якобы из семян выращивают агнцев, те созревают, от корня отрываются и пасутся, а татары «зад того ягненка ядят» (342—343). Богатство неисчерпаемое.

Наблюдателям удавалось почувствовать лиричность чужого языка. Вероятно, поэтому пояснялось (правда, неточно) то, как татары поминали погибших: «Татара поють с плачемъ, при беседахъ в песняхъ

припеваючи: „Янымъ, янымъ, бишь казакъ, бишь казакъ“, сиречь: „Воины, воины, пять, пять человекъ победиша и разориша“. И сия песня ихъ словеть Царицынъ плач» («Ремезовская летопись», 342). Многообразные памятники XVII в. демонстрируют, что в период быстрого развития Российского государства и выхода его на мировую арену доброжелательное любопытство русского общества стало беспредельным.

Наступил XVIII век, и описание жизни народов постепенно перешло в ведение науки; литература же занялась изображением специфических литературных персонажей — шведов, немцев, французов, итальянцев, испанцев, турок.

В XVIII в. писатели, поэты, драматурги, публицисты взялись и за разработку темы России — гигантского многонационального государства. Но в поэтических произведениях XVIII в. народы Российской империи упоминались больше в качестве своеобразного антуража; главным образом подчеркивалось то, что они — подданные. М. В. Ломоносов утверждал это в стихах и прозе. У него императрица возглашала («Ода на день восшествия Елизаветы Петровны на престол» 1748 г.):

Там Лена, Обь и Енисей,
Где многие народы тщатся
Других мне в дар ловить зверей.
Едва покров себе имея,
Смеются лютости боря,
Чудовищам дерзают в след (223).

Весь риск не ради себя, а ради императрицы. Или еще определеннее: «По пространним полям Азийским разъезжая, степные обитатели хитрым искусством стрелы свои весело пускают и показывают, коль они готовы устремить их на врагов своя повелительницы» («Слово похвальное Елизавете», 237). Сами по себе «степные народы» были не интересны панегиристам.

Подобное отношение к народам выражалось вплоть до последней трети XVIII в., если не дольше. Так воспевал их А. П. Сумароков в «Стансах городу Синбирску на Пугачева»:

Народы тамошни гласят Екатерине:
«О мать подданных! Спасла от зол ты нас» (180).

Вообще-то это неправда: «народы тамошни» поддерживали Пугачева; но такую правду никто из поэтов XVIII в. не посмел писать. Отделялись условными, успокоительными образами, даже В. И. Майков в «Описании торжественных зданий...»:

Там жители степей Нагайских пиршествуют.
Они довольствие свое изобразуют (308).

Моральные и эстетические ценности народов, не учтенные официальной поэзией, предавались гласности в литературно-географических сочинениях и филологических заметках. Например, Н. П. Рычков в серии сво-

их книг уважительно писал о симбирских татарах, которые стараются воспитывать своих детей с младенчества в познании «закона и всех должностей человеческих» («Журнал», 5), с интересом пересказал «чудные повести», «ужас наводящую сказку» — татарское предание о черной собаке, которая стережет легендарные ханские сокровища в подземелье (19).

А. П. Сумароков пошел дальше и напечатал статью «О стихотворстве камчадалов»: «Природное чувства изъяснение изо всех есть лутчее, чему приобщенная при сем Камчатская песенка изрядный свидетель:

Потерял жену и душу
И пойду с печали в лес,
Буду с дров сдирать я корку
И питаться буду тем...» (248).

Тут важна настроенность искать поэзию у далекого и отсталого народа.

Анонимная драматургия первой половины XVIII в. внесла оригинальный изобразительный нюанс: на сцену вышли национальные типы. Чаще всего это был цыган — «над барышниками первы атаман, над коньми милосерды гетман», красавец «з усами», — который похвалялся:

А при мне всяк веселитца...
Наше дело...
...поворожить о щасти и приходе...
хочь не поможет ни трокси,

и одновременно жаловался:

Мы есмы бедные цыгане.
Коликий день хлеба не ели.

Так с юмором и сочувствием изображались цыгане в интермедиях (интермедии, 617, 705; «Интерлюдии», 469 и пр.). Каждый народ приносит свою пользу — вот общее мнение писателей XVIII в., официальных и неофициальных.

В целом же с XI в. по XVIII в. русские писатели, рассказывая о соседних неславянских народах, несомненно, эволюционировали: от впечатлений — к творческому усвоению чужого литературного опыта, от описаний — к художественному изображению².

1991 г.

² Отношение русских писателей XI—XVIII вв. к другим народам нуждается в дальнейшем изучении. Общие размышления об этой теме: Лихачев Д. С. Заметки о русском, 2-е изд., доп. М., 1984. Об отношении к славянским народам см.: Мильников А. С. Об истоках становления славяноведения в России. (К вопросу об изучении «предыстории» славистики) // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984, с. 5—42. См. также: Культура и общество Древней Руси (X—XVII вв.): (Зарубежная историография). Реферативный сборник. М., 1988, ч. 1.

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» ЭТНОСЫ В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Экспрессивные писательские представления о «своем» и «чужом», буквально пронизывают «Повесть временных лет»¹. Главный объект таких авторских представлений — этносы. Речь пойдет об этнических представлениях летописцев, создавших «Повесть временных лет» и зачастую сходных в своей общей ментальности. Поэтому условно можно говорить как бы об одном летописце, хотя его контуры дwoятся или трoятся, преимущественно, пожалуй, о Несторе — основном собирателе, продолжателе и завершителе текстов этнического содержания².

Важнейший итог наших наблюдений: летописцу весь мир не был «чужим». Прежде всего заметна приверженность летописца к категории «всеобщего», без экспрессивного различения «своего» или «чужого» этносов, разделения их границами.

Это видно на примере варягов, которые первыми из народов получили устойчивую характеристику в летописи, правда, крайне скупую. Варяги недолго упоминались в «Повести временных лет» (с самого начала и по 1036 г.), но постоянно связывались с морем: «по сему же морю седять варязи» (3), «изгнаша варяги за море» (18, под 862 г.), «пославъ за море, приведе варягы» (127, под 1015 г.) и пр.³.

В пояснениях о «заморскости» варягов летописец отразил не только знание географических обстоятельств. Не при всех упоминаниях варягов такие пояснения были сделаны, хотя явно имелись в виду пришлые варяги. Например, не пояснялись упоминания о нанятых на дело группах варягов (при перечислении этнического состава того или иного войска киевских князей). Деления на варягов заморских и на варягов, прижившихся на Руси, в летописи не было.

Обозначения «заморскости» варягов не диктовались и принятыми в летописи способами пояснения. Например, в очень краткой статье под 859 г. сообщалось о том, с каких племен «брали дань варязи изъ заморья»

¹ О подходах к проблеме «своего» и «чужого» см., например: *Бибиков М. В.* Византия — славянский мир — Русь — христианство. По материалам дискуссий XVI Международного конгресса исторических наук (Штутгарт, 1985 г.) и XVII Международного конгресса византинистов (Вашингтон, 1986 г.). (Обзор) // *Культура и общество Древней Руси (X—XVII вв.): (Зарубежная историография)*. Реферативный сборник. М., 1988, ч. 1, с. 223—247.

² О Несторе см.: *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 2, с. 113—132. Ср. рассмотрение того, что «добавлено составителем ПВЛ, вообще проявлявшим интерес к этнографическим подробностям» (*Творогов О. В.* Повесть временных лет и Начальный свод. (Текстологический комментарий) // *ТОДРЛ*, т. 30, с. 11.

³ «Повесть временных лет» — Летопись по Лаврентьевскому списку.

как властвующий народ, а с каких другой властвующий народ — хазары (18). Уточнение по поводу варягов — они «изъ заморья» — нарушило обычную манеру повествования «Повести временных лет», в которой было принято единожды пояснять, что за народ упоминается. Последующие упоминания народа не сопровождались пояснениями, даже если между упоминаниями случался большой перерыв. Такого правила придерживались все редакторы «Повести временных лет». Оттого в статье под 859 г. не уточнялось, кто такие «козари», упомянутые в тексте летописи уже в третий раз и поясненные при первом их назывании (10). Варяги же, названные в седьмой раз и охарактеризованные во вступительной части летописи (3), получили вдруг пояснение. В тексте же небольшой, но знаменитой статьи под 862 г. о призвании варягов летописец даже дважды подряд повторил свое уточнение: племена, которые давали дань варягам, затем изгнали «варяги за море», а потом снова пошли «за море къ варягомъ» (18).

Частота упоминаний о «заморскости» варягов объясняется устойчивостью представления, которое у летописца свернулось в ассоциацию «варяги — за морем» и выразилось в виде лаконичных словосочетаний: «посла по варяги за море» (44, под 941 г.), «посла за море по варяги» (144, под 1024 г.) и мн. др. Реже слова «варяги» и «за море» несколько отстояли друг от друга: «бежа за море... приде... съ варяги» (74, под 977 и 980 гг.), «бежати за море... приведоша варягы» (140, под 1018 г.). Вероятно, благодаря большой прочности ассоциация переносилась и на отдельных варягов, вроде варяга Рогволда, который, по замечанию летописца, «пришелъ изъ заморья» (74, под 980 г.), или варяжского князя Якуна, который «иде за море» (145, под 1024 г.) — оба замечания летописца, пожалуй, были не обязательны для сюжетов тех эпизодов. Нечто, противоречившее этой ассоциации, сразу ощущалось летописцем, который поэтому оговорил странность одного варяга: «Варягъ той пришелъ изъ грекъ» (80, под 983 г.), а не из-за моря.

Почему же в сознании сухопутного киевского летописца варяги как народ связывались с морем? Конкретно ответить на вопрос затруднительно. Биография летописца начала XII в. нам неизвестна, а заимствование им такого представления от кого-нибудь сомнительно, потому что ассоциация «варяги — за морем» не была распространенной на Руси XI в. Скорее всего, она усилилась у летописца при редактировании им текстов. Недаром в «Новгородской первой летописи», отразившей донесторовский текст, ассоциация «варяги — за морем» иногда отсутствует там, где она есть в более поздней редакции, например, под 859 и 941 гг. Аналогия: благодаря редакторской работе в начале «Повести временных лет» возникли схожие повторы «поляне — горы», — «поляномъ же жившимъ особе по горамъ симъ» (6), «подем же жившемъ особе... Сядяше Кий на горе... а Щекъ сядяше на горе... а Хоривъ на

третьей горе» (8), «поляномъ же живущимъ особе, якоже рекохомъ» (II), «седающая на горахъ сихъ в лесехъ... поляне... въ лесе на горахъ» (16).

Но почему варяги ассоциировались у летописца именно с географическим местом? По-видимому, потому, что летописцу вообще было свойственно находить у каждого народа крупный географический ориентир его расселения. Народы мыслились занимающими место у определенного моря. Летописец перечислял, например, какие народы «преседять к морю Варяжьскому» (3). Чаще же обозначалось место у реки: «сели суть... по Дунаеви», «седоша на реце имянемъ Марава», «седоша межю Припетью и Двиною» (5), «седять на верхъ Волги», «седять... по Оце реце, где втечетъ в Волгу» (10), «живяху по Бугу» (12) и мн. др. Реже указывались объекты поменьше. Озеро: «седоша около езера Илмера» (6), «на Белеозере седять» (10). Совсем редко — возвышенности, лесные массивы: «живяху в лесехъ» (13). Летописец сам сформулировал принцип связи народов с приметными местами: «по земле... где седше на которомъ месте... на реце...» (5), «живяху кождо... на своихъ местехъ... на горе» и пр. (8).

Конечно, существовало немало неясностей, и летописцы выходили из положения, называя легендарные места обитания народов: «Ищъли бо суть си отъ пустыня Етривьскыя» (226, под 1096 г.), пребывают там, где «суть горы заидуче в луку моря, им же высота ако до небесе» (227, под 1096 г.). Или обозначалось неопределенно широкое пространство расселения: «приседять отъ запада к полуденью» (4), «жить в странахъ полунощныхъ» (10), «пришедше отъ вьстока» (24, под 898 г.), «живущей на конецъ земля» (13). Либо указывалось только, чье место занял новопришедший неизвестно откуда народ: черные «угри прогнаша волъхи и наследиша землю ту» (25, под 898 г.). А иногда уточнить было нечего: «возвратишася половци вспять, отнюду же пришли» (158, под 1054 г.). Однако в целом преобладал принцип предметно-ландшафтного определения народа — по месту «сидения».

Этот принцип в летописи установился не сразу. Вот почему по поводу местообитания печенегов, половцев, торков было приведено запоздалое свидетельство под 1096 г. — гораздо позже первых сообщений о них в «Повести временных лет». Упоминания же ясов, касогов, берендеев под 965 и 1097 гг. так и остались глухими, «безместными». Но то сохранились единичные отклонения от в общем выдерживаемого правила.

Но «сидение» народов по своим местам не подразумевало у Нестора их разделенности. На предметно-географические реалии Нестор смотрел как на маршрутные ориентиры, сообщая о том, как народы «разидошася по земле» и где «пришедше седоша» (5), очерчивая именно «путь изъ варягъ въ греки и изъ грекъ» (6) или «путь до горъ техъ» (227, под 1096 г.), показывая, кто куда «можетъ ити» и куда «дойти» (6). Все упоминаемые летописцем ландшафтно-географические объекты были связаны с сообщениями о людских передвижениях: «по тому морю ити» (6),

«покрыли суть море корабли» (45, под 944 г.), «проиде въ вустье... въшедь на горы сия» (7), «дошедшу... реки» (20, под 866 г.), «устремишася чересь горы великия» (24, под 898 г.), «прииде на место» (38, под 912 г.), «хожаше... на холмъ» (152, под 10511.), «бежа в пустыню» (226, под 1096 г.) и мн. др. Любопытно, что уже цитированное словосочетание «варязи изъ заморья» под 859 г. «Лаврентьевской летописи», вероятно, более правильно читается в «Ипатьевской летописи» и в большинстве других летописей: «варязи, приходяще изъ заморья»⁴.

Маршрутно-транспортные очерки «Повести временных лет» не находят аналогий в ее переводных источниках, в том числе в «Толковой палее», предпочитавшей формально-статичные перечни названий стран, рек, островов, народов и пр., и больше объяснимы общим взглядом летописца на мир как на сборище приметных мест и достопримечательностей, которые можно посещать «по всей земли... и до сего дне» (59, под 947 г.). Они могут быть огромными — моря, горы, реки, озера: «озеро великое Нево» (6). Могут быть сравнительно небольшими: «градок малъ... еже и донине наричють» (9), «есть же могила его и до сего дни, словеть могила Ольгова» (38, под 912 г.), «полата же... стоять и до сего дне» (109, под 988 г.), «Перуня рень, якоже и до сего дне словеть» (114, под 988 г.) и пр. Они могут быть давними, а могут зарождаться только что: «ста на месте, идеже убиша Бориса» (140, под 1019 г.). Ранняя достопримечательность может подменяться более поздней: «на горе, идеже ныне увозъ» (8), «на горе... иде ныне... дворъ» (23, под 882 г.), «на томъ холме ныне церкви стоять» (77, под 980 г.) и т. д.

Теперь можно задать наш главный вопрос: «своими» или «чужими» ощущал летописец «заморских» варягов? Ведь заморскость воспринимается нами сейчас как косвенное указание на закордонность, чуждость или «не нашествъ». Напомню, что я исследую не точные политические, юридические либо языковые категории «своего» и «чужого», а сравнительно расплывчатые чувства и экспрессивно-образные представления летописца, проявившие себя отнюдь не терминологически и не в единообразных высказываниях.

Итак, принимал ли летописец море за некую границу между «своими» и «чужими», когда говорил о варягах? Оказывается, нет. То море, конечно же, Балтийское, летописец упоминал всегда как нейтральное пространство: по этому морю беспрепятственно удавалось «йти», за него легко посылали и легко бежали в летописных эпизодах. Другие моря представляли в ином свете. Так, Черное море казалось, как правило, опасным: в нем люди постоянно гибли или находились на краю гибели: «Абье буря вѣста с ветромъ и волнамъ вельямъ вѣставшимъ... руси

⁴ Повесть временных лет. М.; Л., 1950, ч. 2 / Статьи и комментарии Д. С. Лихачева, с. 233.

корабля смяте... изби я» (21, под 866 г.), «русь... вметахуся въ воду морьскую» (44, под 941 г.), «избило море русь» (151, под 1043 г.) и др. Даже в тексте договора Олега с греками, включенном в летопись, предусматривалась ситуация, когда «лодье ли от буря... боронима» (34, под 912 г.). Черного моря остерегались, напоминая: «Ли с моремъ кто светень? Се бо не по земли ходимъ, но по глубине морьстей» (45, под 944 г.). Кроме того, Черное море, возможно, представлялось далеко простирающимся. За него ссылали: «поточиша и за море Цесарюграду» (198, под 1079 г.). Через него плыли: персонаж «пойде чрьсь море», а не мгновенно оказался за ним (108, под 988 г.). Однако при понятной разнице в отношении летописца к морям⁵ ни Балтийское, ни Черное море не считались в летописи границей между народами или странами. Хотя одно море было названо «Варяжским» (3), а другое «Русским» (7), оба они выступали никому не принадлежащими территориями — не «своими» и не «чужими», а «всеобщими» магистралями. Варяги, следовательно, тоже не ощущались летописцем ни как «свои», ни как «чужие».

Объяснение такой нейтральности получим не из скрупулезного исторического расследования, было или не было Балтийское море к началу XII в. поделено на сферы влияния, а опять из экскурсов в этно-географическую психологию летописца. Летописец, разумеется, знал, что почти все в окружающих землях и водах так или иначе кому-то принадлежит. Обозначения «наша земля», «их земля», «моя земля» и пр. рассеяны по всей летописи. «Своя земля» и «чужая земля» неоднократно противопоставлялись: «Чюжея земли ищещи и блюдеши, а своя ся охабивъ» (65, под 968 г.). О территориальном распределении власти летопись регулярно извещала, в том числе в тексте договора Игоря с греками под 945 г.: «А о Корсунъстей стране. Елико же есть городовъ на той части, да не имать волости князь руский» (50). Тонкие различительные оттенки между властвованием и владением, возможно, присутствовали в летописных статьях. Например, под 862 г. варягов пригласили не столько владеть землей-страной, которая была и остается «нашей», сколько княжить-управлять народом, «нами»: «Земля наша велика и обильна... да поидете княжить и володети нами» (19). В других списках «Повести временных лет» оттенок властвования даже более отчетлив: «Да поидете у насъ княжити и володети» (19). Собственно землевладельческий же

⁵ «С норманнского Севера Русскому государству не угрожала более опасность. Иными были русские отношения к византийскому югу» (*Лихачев Д. С.* «Избранные работы в трех томах, т. 2, с. 122). Кроме того, возможно влияние традиционных мнений: еще у античных, а затем у византийских авторов вплоть до XII в. Черное море считалось бурным, недоступным для плавания и называлось «Негостеприимным» (*Петровский С. В.* Апокрифические сказания об апостольской проповеди по Черноморскому побережью // *Записки имп. Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1898, т. 21, с. 13—14).*

оттенок выражался иначе — в словосочетаниях «сести на место», «яти землю», «приятю землю», «наследити землю», «приятю волость», «заяти волость» и др. — и к варягам не относился⁶.

Летописец отрицательно оценивал нарушения устоев землеобитания и землевладения: «Не добро бо есть преступати предела чюжего» (178, под 1073 г.), «в чюжей волости не седи» (229, под 1096 г.). «Севший» в чужом месте — это насильник (6, 10). Еще хуже — потерять землю «грехъ ради»: те, которые «расточени по чюжимъ землямъ... сами отвержени отъ Бога» (84, под 985 г.). Прельщен бесом тот, кто верит, будто можно «землямъ преступати на ина места, яко стать Гречьскы земли на Руской, а Русьскей на Гречьской, и прочимъ землямъ изменитися» (170, под 1071 г.).

Стал намечаться в летописи и экспрессивный образ запредельной, «чужой» земли. Попастъ в место, никем не заселенное, никому не принадлежащее, значит оказаться в чуждом и зловещем месте: «Прибежа в пустыню межю ляхы и чехы, испроверже зле животь свои в томъ месте... есть же могыла его в пустыни и до сего дне, исходитъ же отъ нея смрадъ золь» (141—142, под 1019 г.). По чужой земле идти несладко: «Не блудиль ли бехъ по чюжимъ землямъ, именья лишенъ?» (194, под 1078 г.); «незнаемую страну, языкомъ испаленымъ, нази ходяще и боси, ноги имуще сбодены» (217, под 1093 г.).

Однако эти тягостные представления о чужой земле выразились разрозненно, в единичных случаях и только в конце «Начального свода»⁷. Они не получили развития у Нестора, который в новом начале летописи повествовал об истории местообитания народов и о различных достопримечательностях, вообще не затрагивая вопрос о «своем» или «чужом». Нестор писал о нейтральных маршрутных ориентирах, предназначенных для всех и для каждого человека на его пути, без ощущения, будто пересекается граница между «своим» и «чужим». Весь мир — «не чужой». Подобное мироотношение летописца, по-видимому, было связано с явлением, которое историки, со ссылкой на Б. А. Рыбакова, назвали «гибридизацией», «международным синкретизмом» культуры как особой качественной характеристикой раннефеодального общества⁸.

⁶ Ср.: «...разные северные Гуннары, Руальды и т. д., связанные на Руси не с землевладением, а с военными и торговыми делами, с дружинной службой у князей, с которой их соединили профессиональные, не территориальные интересы» (*Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в XI—XIV вв.: (Материалы и исследования)*. М., 1978, с. 138). Лишь позже в «Повести временных лет», например, под 947 г., «речь идет о расширении Ольгой своего землевладения» (Комментарии Д. С. Лихачева // *Повесть временных лет*, ч. 2, с. 305).

⁷ Выделение «Начального свода» см.: *Шахматов А. А. Повесть временных лет*. Пг., 1916, т. 1: Вводная часть. Текст. Примечания, с. 184. 254, 283.

⁸ *Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Русь и варяги (руско-скандинавские отношения домонгольского времени)* // *Славяне и скандинавы*. М., 1986, с. 237, 241.

Для столь открытого мировосприятия естественной была размытость в разграничении этнических полюсов. Действительно, кого летописец исходно относил к «своим» по родовой, конфессиональной или иной групповой принадлежности, а кого — безусловно к «чужим»? Это видно по употреблению в авторской речи (не в речах персонажей!) слов «мы» и «наш». «Своими» летописец считал христиан вообще, все их сообщество, и это провозгласил в начале «Повести временных лет»: «Мы же христиане, елико земля, иже веруютъ въ святую Троицу и въ едино крещенье, въ едину веру, законъ имама единый» (15). Это летописец повторял и далее: «Мы же, хрестьяне суще...» (128, под 1015 г.), «мы... ученье приемлюще книжное» (148, под 1037 г.) и пр. Так думали и Нестор, и его предшественники.

Безусловно «своим» выступало еще одно крупное целое, в которое включали себя летописцы, — Русь, Русская земля: «мы есмо Русь... намъ, Руси» (28, под 898 г.), «земли нашей... села наша и городи наши» (125, под 1093 г.). Для летописца естественно было обращаться к князьям Руси как «княземъ нашимъ» (136, под 1015 г.), к объединенному войску Руси как «нашему»: «наши же с весельемъ на конехъ и пеши поидоша» (268, под 1103 г.), «наши же почаша сечи» (271, под 1107 г.). Русская земля подразумевалась и в частых осуждениях летописцем «злюбъ нашихъ» и «грехъ нашихъ» (165—166, под 1068 г., и мн. др.). Он мог порицать «наших», но они оставались «своими».

Однако стройная система «наших» и «чужих» в летописи отсутствовала. Понятия «мы» и «наш» не были однотипны и в некоторых летописных статьях относились, например, лишь к одному монастырю: «намъ сущимъ по кельямъ почивающимъ... убиша бо неколико отъ братья наша» (224—227, под 1096 г.). Категория же «чужого», то есть «чуждого», резко противопоставленного «нашему», фактически не использовалась летописцем, пока он повествовал о прошлых временах. Словосочетания «чужая земля», «чужой предел», «чужая волость» употреблялись, как правило, в речах летописных персонажей, а не самого летописца, и во всех случаях означали землю брата или родственника. Представление действительно о «чужих», абсолютно не принадлежащих к «нашим», выразилось только в конце «Повести временных лет», когда летописец, в который раз рассказывая о половцах, внезапно заговорил уже о «врагах наших»: «побегоша наши предъ иноплемьники и падаху язвени предъ врагы нашими» (214, под 1093 г.), «наша погнаша... побежени быша иноплемьници... мнози врази наши ту падоша» (224, под 1096 г.). Летописец стал подчеркивать отделенность «их» от «нас» дополнительными обозначениями: «иноплемьники», «сыны Измаила», «народ посторонний», «лукавии сынове Измаилеви... намъ преданымъ быти в руки языку странну» (126, под 1093 г.).

Но пока же летописец не почувствовал остро «чужих», он был сосредоточен на обширной переходной области: на этносах и отдельных

людях, не абсолютно «чужих», но и не совсем «своих», а психологически посторонних «нашим» или странным для «наших». Мерилом для выделения «не своих», «не наших» у летописца служили частые загадки, которые словами или действиями задавали персонажи в эпизодах «Повести временных лет». «Не свои» — те, кому задают загадку исконно «свои», и те, кто задает загадку исконно «своим». Между ними некое отчуждение.

Обратимся к начальной части летописи — к знаменитой легенде о посещении апостолом Андреем новгородских словен. С точки зрения летописца, у словен существовал и существует вполне нормальный обычай: «идеже ныне Новъгородъ... ту люди сущая... обычай имъ... ся мыють и хвоцются» (7). Сообщение летописца звучит совершенно нейтрально, без юмора или насмешки. Новгородские словены для летописца, пожалуй, «свои». В «Повести временных лет» они неизменно причисляются к Русской земле: «Се бо токмо словенескъ языкъ в Руси: ноугородъци...» (10), «прозвася Руская земля, новугородъци... прже бо беша словени» (19, под 862 г.), «словени и прочи прозвашася русью» (23, под 882 г.). Нигде в речах, произнесенных от летописца, нет ни малейшего выпада против новгородских словен⁹.

Но апостолу Андрею словены задали нечто вроде загадки: что это такое, когда «пережгутъ я... и будутъ нази, и облекутся квасомъ усняномъ... и бьютъ ся сами... едва слезуть ле живи, и облекутся водою студеною, и тако оживуть; и то творять по вся дни, не мучими никим же, но сами ся мучать» (7—8). Андрей разгадал загадку: «Видехъ бани... то творять мовенье себе, а не мученье». Однако сам факт его столкновения с загадкой указывал: Андрей — психологически «не свой» для летописца. И действительно, судя по показанному взаимоотношению персонажей, «святой Ондрей» представлялся христианину-летописцу все-таки не очень «своим», но не «чужим», а ощутимо посторонним. Киевлян Андрей вообще не видел. Между Андреем и словенами, «своими» для летописца, но не для Андрея, сохранялась и даже увеличивалась душевная преграда. Сначала летописец отметил, что Андрею было «дивно» у словен и он «удивися имъ». Затем летописец указал, что Андрей «исповеда, елико научи и елико виде», и словены были отнесены явно к тем, кого апостол лишь «виде», а не «научи». Наконец, летописец пояснил, что Андрей рассказывал о словенах, когда «приде в Римъ», то есть в той среде, которая в «Повести временных лет» традиционно считалась чуждой по вере¹⁰. Легенду об апостоле Андрее пересказал в летописи, вероятно,

⁹ Ср. иное мнение: «В летописи имеется еще два иронических выпада против новгородцев: под 6415 годом... под 6578 годом» (*Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977, с. 324). Имеются в виду два неясных по смыслу и спорно толкуемых высказывания персонажей летописи, но не самого летописца.

¹⁰ Ср. иное мнение: «Упоминание о древнем Риме носит индифферентный характер» (*Мюллер Л.* Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород // Летописи и хроники: Сборник статей 1973 г. М., 1974, с. 53).

Нестор¹¹, который далее противопоставил Андрею апостола Павла: не Андрей, а «словеньску языку учитель есть Павелъ... Руси учитель есть Павелъ» (28, под 898 г.). Андрей — «не свой» и для всей Руси.

О других примерах, в основном из первой половины «Повести временных лет», скажем бегло. К «своим» летописец относил киевских князей, хотя и язычников¹², а к «не своим», посторонним, пришлым, — тех, кому князь задавал загадку. Так, если княгиня Ольга задавала загадки древлянам, то, значит, древляне «не свои», они послы, «гости» (54—55, под 945 г.). Прочие киевляне тоже могли предлагать загадки (в широком смысле слова). Киевский отрок задавал печенегам вопрос о несуществующем коне: «Не виде ли коня никто же?» (64, под 968 г.) — печенеги не «свои», пришлые, «приидоша печенези на Руску землю первое».

Под «не своими» подразумевались сиюминутные противники или насильники, с которыми вскоре будет заключен мир. Поляне задают загадку хазарам, озадаченным странной данью: им «вдаша отъ дыма мечь» (16) — хазары не «свои» для летописца, он их называет «околними». Поведение Святослава загадочно для греков, им приходится осмысливать «взора, и лица его, и смысла его» (69, под 971 г.) — греки не «свои» для летописца, что он и констатирует: «Суть бо греци лстивы и до сего дни». Жители Белгорода предлагают своего рода загадку печенегам в виде двух колодцев: «имеемъ бо кормлю отъ земле» (126, под 997 г.) — печенеги не «свои», летописец определяет их как «противныхъ» (122).

Соответственно, те, кто задает киевлянам загадки, тоже воспринимались летописцем как «не свои». «Не свои» были «ратнии» греки, которые, испытывая Олега, вдруг «вынесоша ему брашно и вино» (29, под 907 г.), печенеги, подавшие киевскому воеводе значащие предметы — «конь, саблю, стрелы» (65, под 968 г.), «колодники»-болгары с их интригующей экипировкой: «суть вси в сапозехъ» (82, под 985 г.).

Под «не своими» подразумевались также неродственники, хотя и претендующие на родство. Олег задает как бы загадку Аскольду и Диру, представляясь, «яко гость есмь» (22, под 882 г.). Аскольд и Дир относятся к «не своим»: «Вы неста князя, ни рода княжа». Ольга ставит византийского императора перед загадкой: что значит «крести мя самъ»? (59, под 955 г.) — византийский император, конечно же, «не свой», он несостоявшийся муж Ольги и сомнительный крестный отец, ведь сразу двое «крести ю — царь с патреархомъ».

¹¹ См.: Комментарии Д. С. Лихачева // Повесть временных лет, ч. 2, с. 129.

¹² Ср.: «В „Повести временных лет“ древние князья-язычники... осознают еще в полной мере как „свои“» (Ведюшкина И. В. О некоторых особенностях древнерусского этнополитического самосознания // Образование древнерусского государства: Спорные проблемы. Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Москва, 13—15 апреля 1992 г. Тезисы докладов. М., 1992, с. 12.

Кроме того, «не своими», почти что «чужими» у летописца оказывались конфессионально иные группы и люди, претендовавшие на духовное руководство на Руси. Новгородский князь задает загадочные вопросы волхву: «То веси ли, что утро хочеть быти и что ли до вечера?.. то веси ли, что ти хочеть быти днесь?» (176, под 1071 г.) — волхв, привлечший на свою сторону большинство новгородцев, явно «не свой», даже чуждый летописцу, «творяся акы богъ» (175). Олега озадачивает кудесник: «Конь... отъ того ти умрети» (37—38, под 912 г.) — кудесник, которого так или иначе слушались, тоже «не свой» летописцу, а чуждый, «отъ врагъ и слугъ злобы» (38, 40). На посланников Руси производят странное впечатление волжские болгары: «Стояще бес пояса; поклонився, сядеть и глядять семо и онамо яко бешеньъ» (105 106, под 988 г.) — эти болгары-мусульмане, которые предлагали принять их веру, «не свои», «несть добръ законъ ихъ».

Еще предстоит подробнее разобраться в проблеме загадок, загадочных речей, загадочных предметов и действий в «Повести временных лет», во многообразных оттенках категории «не своего» у летописца.

Можно полагать, что в «Повести временных лет», особенно в первой ее половине, летописец начала XII в. смотрел на мир прошлого как на мир, полный достопримечательностей и загадок и почти совершенно не «чужой», хотя и со множеством «не своих» этносов. Летописец выражал деятельное, не чувствующее преград, оптимистическое мироощущение и, в сущности, продолжал жить настроениями XI в.¹³ Горькое же деление народов на «своих» и «чужих» возникло совсем недавно и касалось только современности сначала у составителя «Начального свода», а вскоре и у Нестора.

В славянских литературах начала XII в. наиболее близкой к «Повести временных лет» по времени создания, по литературной форме и содержанию явилась «Чешская хроника» Козьмы Пражского, написанная, по всей вероятности, в 1119 — 1125 гг.¹⁴ Этно-пространственные представления Нестора и Козьмы Пражского были сходны. Тот латинский язык, на котором была составлена «Чешская хроника», как известно, не изменил славянской ментальности Козьмы, который тоже связывал места обитания народов или племен с крупными ландшафтными ориентирами. Например: «Как я полагаю, люди расположили свои первые поселения возле горы Ржип, между двумя реками, а именно между Огржей и Влтавой» (33). Эти ориентиры также были маршрутными: «Разбросанные вдоль и вширь земли, люди бродили по разным стра-

¹³ Об оптимистичности настроений X—XI вв. на Руси см., например: *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах, т. 2, с. 41—43.

¹⁴ О близости «Повести временных лет» и «Чешской хроники» см.: *Сухомлинов М. И.* Исследования по древней русской литературе // СОРЯС. СПб., 1908, т. 85, № 1, с. 139—158 и сл. «Чешская хроника» Козьмы Пражского — *Козьма Пражский.* Чешская хроника / Изд. подгот. Г. Э. Санчук. М., 1962.

нам» (31). Мир предстает заполненным достопримечательностями: «великий могильный холм; его видно по сей день — на берегу реки Мжи, у дороги, которая ведет в область Бехин и проходит по горе Осек» (36). Или: лапти первого чешского князя Пржемысла «хранятся в Вышеграде, в королевских палатах, донныне и вовеки» (43). «Чужого» тоже нигде не ощущалось, правда, только в очень давние времена: «Век этот был чрезвычайно счастливым... Никто не мог говорить „мое“, но... все, чем они обладали, они считали и на словах, и в сердце, и на деле „нашим“» (34—35). Мы, возможно, недооцениваем масштаб ментального единства древних славянских народов вплоть до раннего средневековья.

Однако к началу XII в. литературы разных народов занимали уже разные этно-психологические позиции, что видно на примере «Чешской хроники», более рациональной и резкой, чем «Повесть временных лет». Так, привязка к местному ландшафту делалась в «Чешской хронике» более досконально, чем в «Повести временных лет». Географическую пунктуальность Козьма соблюдал даже в стихотворных вкраплениях в свой прозаический текст. Например, говоря о постройке Праги, он называл некую деревню, затем добавлял: «Вижу великий я град... / В чаще стоит он, в трехстах стадиях от этой деревни, / Широкая Влтава-река границею служит ему» (45), и далее указывались еще некоторые ландшафтные ориентиры.

По мнению Козьмы Пражского, категорией «всеобщего» мыслить уже было просто нельзя: «Увы!... общее уступило место собственности» (35). «Свое» и «чужое» — противоборствующие стихии. Отсюда сентенция: «Любой человек, к какой бы стране он ни принадлежал, всегда не только любит больше свой народ, чем чужой, но даже чужие реки он повернул бы, если бы мог, в свое отечество» (133, под 1067 г.). «Чужие» чехам племена и народы давят своим исконно враждебным отношением. Козьма подчеркивал, например, «врожденную надменность немцев, спесь, с которой они всегда смотрят на славян и на славянский язык» (81, под 1021 г.). Сходно говорил и о лучанах: «Высокомерие свойственно и донныне этому народу» (52). Иногда враждебность, исходящая от другой стороны, более отдаленна и сдержанна, как, например, у «сурового племени лютичей» (58). Иногда же — более выплеснута: «Венгерский народ, столь же бесчисленный, как морской песок, или дождевые капли, заполнил всю поверхность земли... подобно саранче» (220, под 116). У Козьмы преобладала острота ощущения чуждости соседних этносов, а переходы между «своим» и «чужим», градации «нашего» и «не своего» в «Чешской хронике», в отличие от «Повести временных лет», почти не были выражены.

Психологически, наверно, позволительно проводить аналогию между ментальностью средневековых славянских авторов-современников и душевной позицией родственников разных возрастов в составе одной большой семьи. Нестор и Козьма Пражский кажутся как бы двоюрод-

ными братьями¹⁵, но первый еще сохранил детскую или отроческую гармоничность и ласковость мировосприятия, а второй уже приобрел юношескую резкость взглядов. Впрочем, исторически более конкретное сопоставление «семейной» ментальности писателей славянского средневековья — дело будущего.

1993 г.

¹⁵ Пожалуй, в двоюродном родстве представлены чехи и поляне-русь в изложении Нестора: «...сели суть словени по Дунаеви... И отъ техъ словенъ разидошася по земле... Яко пришедше, седоша на реце имянемъ Марава, и прозвашася морава, а друзии чеси нарекошася... Словени же ови пришедше седоша на Висле, и прозвашася ляхове, а отъ техъ ляховъ прозвашася поляне» (5). То есть: от «словен» — чехи и поляки, а от поляков — поляне. Значит, чехи и поляне — как дядя и племянник. Или другой вариант: от моравы — чехи, и тогда чехи и поляне — как двоюродные братья.

ЗАМЕТКИ О ВОСПРИЯТИИ ЗАПАДА ДРЕВНЕРУССКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ XI—XIV ВВ.

1. «СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ» ИЛАРИОНА

I. Общая характеристика

«Слово о законе и благодати» было создано первым русским митрополитом Иларионом не ранее 1037 г. и не позднее 1050 г. Более точные датировки «Слова» предположительны.

Отрывки из «Слова о законе и благодати» и их перевод цитируются по изданию: ПЛДР, т. 12 / Текст «Слова» подготовил А. М. Молдован, перевел А. Юрченко.

Комментарий посвящен одной из идейных особенностей «Слова».

II. Тексты и комментарий

О Риме

«Пришедше бо римляне, плениша Иерусалимъ и разбиша ѿ до основания его. Иудейство оттоле погыбе» (589).

«Хвалить же похвальными гласы: Римская страна — Петра и Паула, има же вероваша въ Иисуса Христа, сына Божия; Асия, и Ефесъ, и Патмъ — Иоанна Богословца; Индия — Фому; Египетъ — Марка. Вся страны, и гради, и людие чтуть и славять коегождо ихъ учителя, иже научиша я православней вере. Похвалимъ же и мы... великааго кагана нашае земли Володимера» (591).

«Подобниче великааго Коньстантина... Онъ въ елинехъ и римлянехъ царство Богу покори, ты же — въ Руси. Уже бо и въ онехъ и въ насъ Христос царемъ зовется» (594).

Перевод

Ибо, пришед, римляне пленили Иерусалим и разрушили до основания его. И тогда иудейство пришло к гибели (605).

Хвалит же гласом хваления: Римская страна — Петра и Павла, коими приведена к вере в Иисуса Христа, сына Божия; Асия, Ефес и Патмос — Иоанна Богослова; Индия — Фому; Египет — Марка. Все страны, грады и народы чтут и славят каждого своего учителя, коим научены православной вере. Восхвалим же и мы... великого князя земли нашей Владимира (608).

О, подобный великому Константину... Тот покори Богу царство в еллинской и римской земле, ты же — на Руси. Ибо Христос уже как у них, так и у нас зовется царем (612).

Комментарий: Рим

Особенности отношения Илариона к Риму, кажется, можно установить по его высказываниям в «Слове».

Иларион не полемизировал с латинянами, как это поощрялось на Руси со второй половины XI в. Для Илариона Рим — первооснова христианства: по словам Илариона, благодаря римлянам погублено «иудейство»; с Рима началось почитание христианских «учителей»; по примеру римского императора Константина I Великого киевский князь Владимир Русь «Богу покори».

Иларион уважал Рим, но не в пику Византии. Византия, по Илариону, тоже послужила примером для Руси, для Владимира: «слышано ему бе всегда о благовернии земли Гречьске, христоролюбиви же и силие вьрою... И сы слышавъ, въздела сердцемъ, възгоре духомъ, яко быти ему христианину и земли его» (592). Илариону Византия была даже ближе Рима: только свою Русь и Византию он называл «землей», а прочих «округъних», в том числе Рим, Иларион называл лишь «страной», то есть сторонним государством. А когда перечислял народы, то греков поставил первыми, а римлян вторыми.

Тем не менее уважение к Риму для Илариона естественно и отдает глубокой архаикой. Оно находит некоторые параллели не в оригинальной древнерусской, а в панноно-моравской и южнославянской литературе IX—X вв. Например, Рим как первое Христово царство или образ его толковало моравское «Слово на рождество Христово»: «Бысть единовластие румьскааго владычства при кесаре Августе по всей вселенней, его же не бе никогда было пръвее. И по Божию повелению бысть румлянѡ примучити все езыки и подъ единою властїю створше съ силою велиею. Сила бо сказаеть Румь. Да яко небеснии царь единый всьсячьскаа съдръжитъ, тако и земльскїи единый съдръжалъ въ образъ царства Христова. Темъ же и миръ гльбокъ бысть тогда, яко же иногда не былъ никогда же таковъ» (*Попов А. Библиографические материалы. VI. Слово на рождество Христово и Чтение на крещение Господне. (Древнеславянские памятники в сербском изводе XIV века) // ЧОИДР. М., 1880, кн. 3, с. 166).*

Рим как первоисточник, от которого всюду распространилась христианская вера, характеризовали тоже только западно- и южнославянские произведения. Например, «Похвала Клименту Римскому» Климента Охридского: «в Римьсте граде... кипящи благодать Христова... и напаяющи учениемъ его всю подъсолнечную» (*Климент Охридски. Събрани съчинения. София, 1970, т. 1. / Изд. подгот. Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, с. 301).* О том же свидетельствовало «Чтение на крещение Господне», возможно, одного из учеников Мефодия или того же Климента Охридского: «преемши... римьская церкви свещение, и сама дръжещи доселе, и всему Западу сему подала естъ» (*Попов А. Указ. соч., с. 263).*

Древнейшие славянские памятники более определенно, чем «Слово» Илариона, исходили из идеи о первенстве Рима и поэтому «латинское» упоминали раньше «греческого». Например, пространное «Житие Мефодия Моравского»: «службу церковную латыньскы, и гръчьскы, и словеньскы сътребиша» (*Климент Охридски. Събрани съчинения. София, 1973, т. 3. / Изд. подгот. Ст. Ангелов и Хр. Кодов, с. 192*). «Убъение святого Вячеслава, князя Чеська»: «книгы латыньския... греческия книги или словеньския» (*Востоков А. Х. Филологические наблюдения. СПб., 1865, с. 93*).

В общем, прав Г. Ф. Федотов, увидевший в сочинении Илариона «отпечаток» «кирилло-мефодиевской мысли» (*Fedotov G. F. The Russian Religius Mind. Cambridge (Mass.), 1946, p. 88 — См.: Поляков Л. В. Метод символической экзегезы в «исторической теологии» Илариона // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986, ч. 2, с. 65*).

Однако след римской ориентированности заметен и в древнерусском «Чуде о отрочати»: «святого священомученика Климента от Рима в Херсонъ, от Херсона в нашу Рускую страну сътвори приити Христос»; «умножи Господа своего талантъ не токмо в Риме, но и в Херсоне и в Руси» (*Соболевский А. И. Чудо св. Климента, папы римского. Древнерусское «слово» (домонгольского периода) // ИОРЯС. СПб., 1901, т. 6, кн. 1, с. 7, 8*). Римский папа в качестве главного общехристианского авторитета был выведен в статье под 898 г. «Повести временных лет» (см.: *Демин А. С. «Повесть временных лет» о Западной Европе // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1994, сб. 6, ч. 1, с. 30—31*).

Вполне возможно, что римская тема в древнейшей письменности на Руси занимала большее место, чем это может показаться по ее остаткам.

2. «ХОЖДЕНИЕ» ДАНИИЛА

1. Общая характеристика

Даниил, игумен монастыря, вероятно, в Черниговской земле, совершил свое паломничество в начале XII в., не ранее 1104 г. и не позднее 1115 г. «Западной» темы Даниил касался лишь мимоходом, и можно выделить лишь три существенных отрывка из его сочинения.

Отрывки из «Хождения» Даниила цитируются по изданию: ПЛДР, т. 2. / Текст «Хождения» подгот. и перевел Г. М. Прохоров. М., 1980.

Нами внесены некоторые изменения в перевод Г. М. Прохорова, — с учетом принципов ясности и литературности перевода древнерусского текста (см. пояснения к переводу «Повести временных лет»).

Комментарий на основе «западной» темы в памятнике подводит к характеристике личности писателя.

II. Тексты и комментарий

О Балдуине

«Поиде бо князь Иерусалимский Балдвинъ на войну к Дамаску путем-тем к Тивирьядскому морю... То азъ уведах, оже хочеть князь путем-темъ к Тивириаде, идохъ ко князю-тому, и поклонихся ему, и рекох: „И аз бых хотел пойти с тобою к Тивириадскому морю, да бых походил святаа та места вся около Тивириадскаго моря. Да Бога дея поими мя, княже!“ Тогда князь-еть с радостию повеле ми пойти с собою и приряди мя къ отрокомъ своим» (84).

«...идох къ князю-тому Балъдвину и поклонихся ему до земли. Он же, видев мя, худаго, и призва мя к себе с любовию, и рече ми: „Что хочещи, игумене русьский?“ Познал мя бяше добре и люби мя велми, яко же есть мужь благодетенъ, и смирен велми, и не гордить ни мала. Аз же рекох ему: „Княже мой, господине мой! Молю ти ся Бога дея и князей дея русских: повели ми, да бых и азъ поставил свое кандило на гробе святемъ от всея Русьскыя земля“. Тогда же онъ со тщанием и с любовию повеле ми поставити кандило на гробе Господни» (106).

«И ть самъ князь Балъдвинъ стоитъ съ страхом и смирениемъ великим, источници проливаются чюдно от очию его... поиде Балъдвинъ князь ко гробу Господню и з дружиною своею из дому своего, и вси бо сии пеши... И приидохом ко князю-тому и поклонихомся ему вси. Тогда и онъ поклонися игумену и всей братии... а иным игуменом и чернцем всем повеле пред собою пойти... И князь по нас прииде и ста на месте своем... ту бо есть место княже, создано высоко... И пришед епископъ съ 4-рми дияконы, отверзе двери гробныя, и взяша свещу у князя-того у Балдуина, и тако вниде въ гробъ, и вожже свещю князю первее от света того святаго, изнесше же из гроба свещу-ту, и даша самому князю-тому в руде его. И ста князь-ет на месте своемъ, свещю держа с радостию великою» (108, 110).

Перевод

Иерусалимский князь Балдуин собрался на войну, идти на Дамаск дорогой к Тивериадскому морю... Когда я узнал, что князь задумал путь к Тивериаде, то я пришел ко князю, поклонился ему и попросил: «Можно, и я пойду с тобою к Тивериадскому морю, чтобы обойти около Тивериадского моря все святые места? Ради Бога, князь, возьми меня с собой». Князь тотчас с радостью позволил мне идти с ним и пристроил меня к своим слугам.

...Я подошел к князю Балдуину и поклонился ему до земли. Он заметил меня, ничтожного, с любовью подозвал меня к себе и спросил: «Чего хочешь, русский игумен?» Он, оказывается, хорошо меня запомнил и отнесся ко мне с большой любовью, — такой уж он человек благо-

детельный, очень смиренный, совсем не гордый. Я попросил его: «Князь и господин мой! Молю тебя ради Бога и ради русских князей, позволь и мне на святом гробе поставить свою лампаду от всей Русской земли». Он сразу с готовностью и любовью разрешил мне поставить лампаду на гробе Господнем.

...Сам князь Балдуин стоит с боязнью и великим смирением, из очей его дивно истекают потоки... Из своего дома князь Балдуин со своей дружиной пошел ко гробу Господа, притом все пешие... Мы приблизились ко князю и все поклонились ему. Тотчас и он поклонился игумену и всей братии... а всем игуменам и монахам повелел идти впереди себя... Князь пришел лишь после нас и стал на своем месте... Тут устроено возвышающееся княжье место... И подошел епископ с четырьмя дьяконами, открыл двери гробницы, взял свечу у князя Балдуина, затем вошел в гробницу, первой зажег княжью свечу от святого огня, вынес эту свечу из гробницы, отдал ее в руки самому князю. И князь стоял на своем месте, с великой радостью держа свечу.

Комментарий: Балдуин

В «Хождении» говорится о встречах игумена Даниила с крестоносцем Балдуином Фландрским, который был королем Иерусалимского королевства с 1100 до 1118 г. Изображение Балдуина, отбор деталей и выражений помогает увидеть некоторые черты Даниила как писателя.

Даниил преимущественно в церковных стилистических и фразеологических традициях описал Балдуина, представив его, в сущности, церковником. В древнерусских памятниках того времени принято было изображать именно церковных деятелей, особенно монахов, как самозабвенно старательных людей, всегда с радостью, любовью и тщанием делающих все им положенное. С той же благодетельностью действовал у Даниила Балдуин: он «с радостью повеле» (84), он «призва... с любовию», он «познал... добре и любии», он «со тщанием и с любовию повеле» (106), «свещю держа с радостию великою» (110) и пр. Князя, мирские и вовсе не святы, обычно так не изображались, даже если речь шла об их участии в церковных церемониях.

Именно у церковных деятелей, включая монахов, памятники часто отмечали тихость, кротость, смирение. Например, Феодосий Печерский «имеаше бо съмерение и кротость велику» и учил других монахов «съмерену быти... и не величати ся» («Житие Феодосия Печерского» — Успенский сборник, с. 97, стб. 2; с. 99, стб. 1). То же описал Даниил у Балдуина: «есть мужь благодетенъ, и смирен велми, и не гордить ни мала» (106), «стоять съ страхом и смирениемъ великим» (108). И это тоже было не типично для изображения древнерусских князей в литературе XI—XII вв.

Характернейшая черта святых, преподобных, блаженных — рыдания, слезы. Так, апостол Петр «источники испустивъ от очию слъзьныя»

(«Слово о десяти девицах» Иоанна Златоуста — Успенский сборник, с. 314, стб. 2). То же, по словам Даниила, делал Балдуин: «источници проливаются чудно от очию его» (108). Древнерусские властвующие князья (не блаженные) обычно не слезливы в произведениях XI—XII в.

С просьбой «Бога деля» в памятниках обращались обычно к церковникам или по поводу церковных дел: «Бога деля... сътвори молитву» («Синайский патерик» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. В. В. Колесов. М., 1980, с. 124). Но именно так, словно к церковному деятелю, обращался во время аудиенции к Балдуину Даниил: «Да Бога деля... княже», «молю ти ся Бога деля...» (84, 106).

Именно церковному лицу кланяются до земли: «вся братия поклониша ся ему до земля» («Житие Феодосия Печерского», 99.1), «поклонишеса ему до земля» («Киево-Печерский патерик» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев, с. 438), «поклониша ся ему до земля» («Синайский патерик», 122) и мн. др. Показательно, что так же отнесся Даниил к Балдуину: «поклонихся ему до земли» (106).

Обычно только о церковных лицах памятники сообщали, что стороны кланяются друг другу: «да ся поклоняете къжно другъ къ другу» («Житие Феодосия Печерского», 99.1). Именно о взаимных благочестивых поклонах сообщил и Даниил, говоря о Балдуине: «поклонихомся ему вси, тогда и он поклонися» (108). Подобная деталь никогда не упоминалась по поводу других князей.

Наконец, всегда сугубо церковной в памятниках являлась сцена держания свечей в руках: во время переноса мощей Бориса и Глеба «предъидущем черноризцем, свеща держаще в рукахъ» («Повесть временных лет» под 1072 г. — ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов. М., 1978, с. 194), при переносе мощей Феодосия Печерского «изыдоша же от града народи... свещи въ руках держаще» («Киево-Печерский патерик», 444), при новом переносе мощей Бориса и Глеба «черньцемъ упредъ идущимъ съ свещами» («Киевская летопись» под 1115 г. — ПСРЛ, т. 2, стб. 280) и т. д. Такая же деталь упомянута Даниилом в заключительной сцене с присутствием Балдуина: «свещу... даша самому князю-тому в руце его. И ста княз-ет на месте своемъ, свещю держа...» (110). Ни один князь, кроме Балдуина, не представлен в подобном виде в памятниках XI—XII вв.

Кроме того, церковные лица в памятниках, особенно монахи, показаны вполне доступными для людей. Даниил беспрепятственно посещал Балдуина, о чем запросто сообщал: «идохъ ко князю-тому», «и приидохом ко князю-тому» (84, 106, 108). Даниил с легкостью оказывался около Балдуина в самых разных ситуациях: «в тою месту ста обедати князь Балдвинъ с вои своими. Ту же и мы стахом с нимъ» (88); Балдуин «мне, худому, близь себе пойти повеле» (108), «и ста княз-ет на месте своемъ... и от того вси свои свещи въжгохомъ, а от наших свещъ вси людие вож-

гоша свои свечи» (110). (Ср.: «...по рассказу Даниила выходит так, что он имел совершенно свободный доступ к королю... На самом деле в окружении Балдуина не было такой патриархальности и простоты» — Данилов В. В. К характеристике «Хождения игумена Даниила» // ТОДРЛ, т. 10, с. 94).

Почему Балдуин превратился у Даниила в наихристианнейшего государя? Ведь реальный Балдуин, славившийся огромным ростом и физической мощью, необычайной воинственностью и храбростью, большую часть времени проводил в войнах и в конце концов пал на поле брани. О его набожности ничего не известно. (см.: Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., б. г, т. 4, стб. 834. Правда, хронист Вильгельм Тирский отметил, что по одеянию «Балдуин I... более казался епископом, чем мирским лицом» — см.: Данилов В. В. К характеристике «Хождения игумена Даниила», с. 94. Но Даниил охарактеризовал не одежду, а поведение Балдуина).

Дело, по-видимому, в том, что Даниил глазами церковника смотрел на Балдуина и на весь мир. Поэтому о походах Балдуина игумен упомянул очень глухо и только как о подспорье своему паломничеству. Поэтому о людях — местных «отцах», а также о фрягах, корсарах, сарацинах и прочих «поганах» — Даниил упомянул тоже только с точки зрения того, насколько они помогают или мешают в паломничестве, церковном строительстве, монастырской жизни и пр. (ср. однотипные по содержанию упоминания о «фрягах»: «стоит Христос, сделанъ сребром, яко в мужа более, и то суть фрязи сделали», «есть ныне ту манастырь фряжский, богат зело», «фрязи обновили место то суть и устроили добре» — 34, 86, 100 и мн. др.). Поэтому, наконец, у всех посещенных им мест Даниил описал только святыни, церковные достопримечательности, условия для церковного благополучия (ср.: *Переверзев В. Ф.* Литература Древней Руси. М., 1971, с. 46: «герой „Хождения“ обнаруживает себя путешественником узкого кругозора»).

Повествование Даниила хотя и искренне, но вовсе не восторженно, постоянно толково, трезво, а иногда даже несколько скептически. Например, о латинской вечерне Даниил рассказал не без противопоставления православных и латинян: «начаша вечернюю пети на гробе горé попове правовернии... Латина же в велицем олтари начаша верещати свойскы» (110). Или: греческие «кандила вожгоша тогда, а фряжская кандила... ни едино же възгореса» (106).

Даниил отметил: Балдуин «познал мя бяше добре» (106). Оценка «добре» — одна из самых частых в «Хождении». По Даниилу, все хорошо и прекрасно. Даже если дождь пошел: «дождь малъ... смочи ны добре» (110). «Ничто же зла не видехом на пути сем, но все добро показа нам Богъ видети очима своима» (104). Даниил предстает защищенным от опасностей, редкостно удачливым и благочестиво радостным паломником.

«Хождение» написал и Балдуина обрисовал пожалуй, самый поглощенный религиозным чувством, убоготворенный и незатейливый автор в древнерусской литературе XI—XII вв.

Всепоглощающий церковный взгляд на мир, и на князей тоже, был присущ ряду ранних, но не таких трепетных древнерусских авторов, начиная со «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона. В «Поучении» же Владимира Мономаха, наиболее близком по времени к «Хождению» Даниила, были сформулированы общие идеи, близкие к смыслу и фразеологии Даниилова изображения Балдуина. Мономах призывал князей: «Епископы и попы и игумены... с любовью взимайте от них благословенье» (ср., как Балдуин «с любовью» обращался с игуменом); «паче всего гордости не имейте в сердци и въ уме» (ср. о Балдуине: «не гордить ни мала»); «боле же чтите гость... или солъ» (ср., как Балдуин почтил Даниила: «повеле поставити высоко» — 110); «и человека не минете, не привечавше, добро слово ему дадите (ср., как приветил Даниила Балдуин: «познал добре»); «победити... покаяньемъ, слезами и милостынею... а Бога дея не ленитесь» (у Балдуина тоже проливаются слезы покаянно, и он все делает «со тщанием»); и пр. (ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов, с. 398, 396, 400).

В древнерусской литературе начала XII в. нет прямых аналогий уважению Даниила к латинянину Балдуину и к современному Иерусалиму. Однако можно предположить, что подобную тему книжность того времени затрагивала. Так, возможно, не случайно «Киевская летопись» под 1110 г. вдруг вспомнила об Иерусалиме, о том, что ангел пригрозил Александру Македонскому смертью за намерение напасть на Иерусалим и повелел ему, напротив, поклониться до земли некоему тамошнему мужу: «...умрьши, поне же помыслилъ еси взити въ Ерусалимъ, зло створити ереемъ Божьимъ и к людемъ его... Иди путемъ твоимъ к Иерусалиму, и узриши ту въ Ерусалими мужа... и борзо пади на лица своемъ, и поклонися мужу тому, и все, еже речеть к тебе, створи» (ПСРЛ, т. 2, стб. 263—264).

3. «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

1. Общая характеристика

Знаменитая летопись начала XII в. — «Повесть временных лет» — самое содержательное произведение о древнейшей истории Руси и ее международных связях. Целесообразно собрать воедино важнейшие летописные упоминания о западноевропейских странах и людях.

Отрывки «Повести временных лет» цитируются по изданию; ПЛДР, т. 1 / Древнерусский текст по «Лаврентьевской летописи» подгот. О. В. Творогов, перевел на современный русский язык Д. С. Лихачев.

М., 1978. В перевод внесены некоторые изменения (см. далее Комментарии к переводу).

Комментарии к летописным отрывкам написаны об этнических представлениях и чувствах летописцев как части их мироотношения.

Очень облегчает подыскание параллелей справочник: *Творогов О. В.* Лексический состав «Повести временных лет»: (Словоуказатель и частотный словник). Киев, 1984.

II. Тексты и комментарии

Вступление в летописи

«По потопе трие сынове Ноеви разделиша Землю — Симъ, Хамъ, Афетъ. И яся вѣстокъ Симови... Хамови же яся полуденная страна... Афету же яшася полунощныя страны и западныя... В Афетове же чаети седять русь, чюдь, и вси языци: меря, мурома, весь, морьдва, заволочская чюдь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимегола, корсь, летьгола, любь. Ляхове же, и пруси, чюдь преседять к морю Варяжьскому... Афетово бо и то колено: варязи, свеи, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва, римляне, немци, корлязи, венъдици, фрягове и прочие, ти же приседять от запада къ полуденю и съседять съ племянемъ Хамовымъ» (22, 24).

Перевод

После потопа три Ноевых сына — Сим, Хам, Иафет — разделили Землю. Восток достался Симу... Хаму досталась южная сторона... Иафету достались северные страны и западные... В Иафетовой части Земли обитают русь, чюдь и всякие иные народы: меря, мурома, мордва, заволочская чюдь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. Ляхи, пруссы, чюдь распространены вплоть до Балтийского моря... Иафетов род вот еще кто: варяги, шведы, норманны, готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, генуэзцы и прочие, которые распространены от запада к югу и соседят с Хамовым племенем.

Комментарий: Запад

«Повесть временных лет» начинается с рассказа о разделе всей Земли между сыновьями библейского Ноя. Это начало летописи составил около 1113 г. киево-печерский монах Нестор (см.: Повесть временных лет. М.; Л., 1950, ч. 2 / Статьи и комментарии Д. С. Лихачева, с. 107).

Вступительная летописная статья позволяет высказать предположение об отношении Нестора к Западу и даже о географических приоритетах летописца. В летописном вступлении сообщается, что Симу достался земной восток, Хаму — южная часть Земли, а Иафету — «полунощныя страны и западныя» (22). Нестор, знавший библейскую историю (в Библии подробности раздела Земли вообще отсутствуют), заим-

ствовал изложение этих сведений из переведенной на славянский язык «Хроники» византийского монаха Георгия Амартола, а также из не дошедшего до нас болгарского компилятивного «Хронографа» (См.: *Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ, т. 4, с. 42—44, 72—73*). Однако в греческом тексте «Хроники» Запад не упомянут: Симу досталось «то, что к востоку», Хаму — «то, что к югу», а Иафету — «то, что к северу». В славянском переводе «Хроники» тоже нет упоминания Запада (см.: *Шахматов А. А. Указ. соч., с. 44*). Значит, Нестор или сам вставил упоминание Запада, либо был согласен с такой вставкой, сделанной в болгарском «Хронографе». На навеянное источниками деление Земли по трем сыновьям Ноя в данном отрывке летописи наложился другой способ деления — по четырем сторонам света. Понятие Запада было привнесено Нестором из другой, не библейской, а географической системы понятий.

Отношение Нестора к разным сторонам света (и частям Земли) несколько различалось. Восток он считал первенствующей областью и с него обычно начинал перечисление частей Земли: «И яся въстокъ Симви», «от въстока и до полуденья» (22). Первым был назван Восток и в перечислении, касавшемся уже потомков Ноевых сыновей: «прияша сынове Симвы восточныя страны, а Хамовы сынове — полуденныя страны, Афетовы же — прияша западъ и полунощныя страны» (24). Называние Востока первым из сторон света обычно встречается в отрывках и в цитатах, восходящих к переводным произведениям: «от въстока и до запада имя мое прославися въ языцех» (112. Под 986 г., Ветхозаветная цитата. См.: *Шахматов А. А. Повесть временных лет. Пг. 1916, т. 1. Вводная часть. Текст. Примечания, с. 123*); «от пустыня Етвивьскыя, межю востокомъ и севером» (242. Под 1096 г. Из сочинения Мефодия Патарского. См.: *Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники, с. 92, 101—103*). Но и сами летописцы предпочитали называть Восток первым в своих собственных перечислениях. Ср.: «от въстока, и уга, и запада, и севера» (268. Под 1102 г.).

Представление о важности Востока выразилось и в частом указании его исходной или конечной областью людских движений и устремлений. В начале летописи передвижение именно на Восток было упомянуто многократно: «Текуци на въстокъ», «сущимъ же ко востокомъ», «идеть на востокъ, в часть Симву», «ко въстоку, до предела Симва» (22, 24). И далее в летописи у Нестора: «потече Волга на въстокъ... и на въстокъ дойти въ жребий Симвъ» (26). Восток как исходная область тоже часто обозначался в летописи: «пришедше от въстока» (40. Под 898 г.), «пришедъшемъ воемъ от въстока» (58. Под 941 г.), «придоша от въстока» (116. Под 986 г.) и пр.

В отличие от Востока, Запад не занимал первого места при перечислении сторон света или частей земель и не выступал как исходная или конечная область движения. Летописцы ощущали Запад лишь пе-

реходной, так сказать, транзитной областью между другими областями. Оттого Нестор закончил изложение о разделе Земли упоминанием не Запада, а последующей области или стороны света (юга); «Афету же яшася полунощныя страны и западныя... Ти же присеждать от запада къ полуденю и съседятъся съ племянемъ Хамовымъ» (22, 24). При обозрении владений отдаленных потомков Ноя Нестор снова поставил Запад на переходное место: «сынове... Афетовы же прияша западъ и полунощныя страны» (24). То же повторялось в летописи и дальше (ср.: «взиде на восточныя страны... и загна их на полунощныя страны» — 244. Под 1096 г. Единственное исключение — библейская формула «от вьстока и до запада», но и она не делала упора на Запад, будучи продолжена: «на всякомъ месте» — 112. Под 986 г.).

В общем, надо признать, что Нестор и прочие составители летописи без особого внимания отнеслись к Западу (как стороне света и части Земли).

858 г.

«Въ лето 6366. Михайль-царь изиде с вои брегомъ и моремъ на болгары. Болгаре же, увидевше, яко не могоша стати противу, креститися просиша и покоритися грекомъ. Царь же крести князя ихъ и боляры вся и миръ створи с болгары» (34).

Перевод

В 858 г. Царь Михаил с войском отправился в поход на болгар по берегу и по морю. Болгары увидели, что не смогут противостоять, просили крестить их и обещали покориться грекам. Царь крестил их князя и всех бояр и заключил мир с болгарами.

Комментарий: болгары

Это летописное сообщение о походе византийского императора Михаила III на болгар и крещении болгарского царя Симеона позволяет поставить вопрос об отношении летописца к дунайским болгарам. Приведенное летописное сообщение Нестор составил на основании продолжения «Хроники» Георгия Амартола (см.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники, с. 47—48). У Нестора опущены некоторые детали греческого изложения, явно уничижавшие болгар, но тем не менее в древнерусском пересказе уничижительный оттенок получился даже насыщенной. Во фразе объединены три мотива, принижающие проигравшую сторону, — невозможность противостоять, смиренное прошение о чем-либо, покорность: «Болгаре... не могоша стати противу, креститися просиша и покоритися грекомъ». Каждый из этих мотивов нередок в летописных рассказах о походах и сражениях, но вместе все три мотива были отнесены только к болгарам. Подобный штрих побуждает предположить, что древнерусский летописец низко ставил болгар.

Сходная сдержанная или скрытая уничижительность по отношению к болгарам заметна и в других рассказах о поражениях болгар, например, в летописной статье под 967 г., где в краткой фразе опять объединены три мотива — одоление болгар, взятие городов у болгар, вокняжение единого победителя у болгар: «одоле Святославъ болгаромъ, и взя городъ 80 по Дунаеви, и седе княжа ту...» (78). В отдельности эти мотивы постоянно встречаются в летописи, но вместе и оттого так веско — только о болгарях. Факт тоже мелкий, но подтверждающий предположение о низком статусе болгар у Нестора.

Поддается распознаванию уничижительный оттенок и в летописной статье под 902 г., где тоже объединены три мотива, направленные против болгар, — пленение болгар, их поражение и их бегство: «Угре... всю землю Болгарьску пленоваху... и победиша болгары, яко одва Семионъ... убежа» (42). Этот отрывок летописец заимствовал из продолжения «Хроники» Георгия Амартола (см.: *Шахматов А. А. Указ. соч.*, с. 49), притом полностью сохранил усилительно-уничижительные слова в адрес болгар: «всю землю», «одва убежа». Данное обстоятельство снова указывает на вовсе не положительное отношение Нестора к болгарам.

Та же уничижительность проглядывает в статье, вернее, фразе под 942 г., объединившей два мотива — поражение и смерть болгарского князя: «Симеонъ... побеженъ бысть храваты и умре» (58). Нестор так сократил свой главный источник — продолжение «Хроники» Георгия Амартола (см.: *Шахматов А. А. Указ. соч.*, с. 57), что выделились и сгустились принижающие болгар мотивы. Сходная последовательность изложения была использована в летописи еще только по отношению к отъявленному злодею Святополку Окаянному: «одоле Ярославъ, а Святополкъ... испроверже зле животь свой» (158. Под 1019 г.).

Принижающий смысл в летописи имели сообщения не только о разгромленных болгарях, но и о болгарях-победителях. Например, в летописном вступлении Нестор рассказал о закреплении болгар на Дунае. Это сообщение представляет собой амальгаму фраз из разных источников (см.: *Шахматов А. А. Указ. соч.*, с. 45, 85, 90). В результате Нестор ничего хорошего не сказал о болгарях. Во-первых, он назвал их насильниками: «придоша... болгаре, и седоша по Дунаеви, и населници словеномъ быша» (28). Во-вторых, Нестор принизил значимость господства болгар, сразу сменив их другими завоевателями: «Посемъ придоша угри белии и наследиша землю Словеньску».

Подобный способ преуменьшения значимости военных успехов некоторых народов быстрым вытеснением первоначальных насильников славян последующими Нестор неоднократно использовал в начальной части летописи. Например, по Нестору, не удалось господствовать волохам у славян: «Волохове прияша землю Словеньску. Посемъ же угри прогнаша вольхи и наследиша землю ту» (40. Под 898 г.). Нестор

сразу вывел славян из-под удара волохов: «Волкомъ бо нашедшемъ на словени на дунайския... насилящемъ имъ. Словени же ови, пришедше, седоша на Висле» (24). Следы экспансии обров, по изложению Нестора, незамедлительно были стерты даже дважды: сначала «Богъ потреби я, помроша вси, и не остана ни единъ обръинъ»; потом «по сихъ же придоша печенежи» (30). Господство хазар, по Нестору, также подверглось неотвратимой смене: «си владеша, и после же самими владеють... володеють бо козары руський князи и до днешнего дне» (34). Наконец, в изложении Нестора, господствовавшие у словен варяги тоже быстро сменились. Под 859 г. Нестор сообщил: «Имаху дань варязи изъ заморья... на словенехъ» и пр. И тут же, под 862 г. (а 860 и 861 гг. — пустые), объявил: «Изъгнаша варязи за море и не даша имъ дани», а на смену им пришли уже другие варяги, называемые русью: «пояша по собе всю русь и придоша» (34, 36). Так что болгары у Нестора выступали в ряду, так сказать, нехороших народов.

Нестор и прямо выразил свое отрицательное отношение к нападавшим болгарам. В статье под 929 г. об успешном походе Симеона на Царьград летописец вставил осудительные эпитеты, отсутствовавшие в его главном источнике: болгарский царь пришел «въ силе въ велице, в гордости» (56. См.: *Шахматов А. А. Указ. соч.*, с. 54) Только к злейшим врагам летописец применял подобные выражения и эпитеты, — к печенегам («въ силе велице, бещислено множество» — 78. Под 968 г.; «с печенеги в силе тяжьце» — 198. Под 1019 г.), к обрам («теломъ велици и умомъ горди» — 30), к деревяням («гордящеса» — 70. Под 945 г.), к Святополку Окаянному («сего убийцю и гордаго» — 158. Под 1019 г.), к дьяволу («его... гордымъ помысльомъ» — 224. Под 1091 г.). Болгары у Нестора опять вошли в нехороший ряд.

Не только в военных эпизодах проявились неблагоприятное отношение летописца к болгарам или сравнительно низкая оценка их значимости. Так, в рассказе о начале славянской грамоты под 898 г. Нестор перечислил славянские народы, обретшие грамоту, но при этом нарушил историческую последовательность овладения народов грамотой, поставив болгар после Руси: «Симъ бо первое преложены книги — мораве, — яже прозвася грамота словенская, яже грамота есть в Руси и в болгарех дунайскихъ» (40). Как бы ни объяснять появление такой фразы, не очень складной, но бесспорно, что к болгарам Нестор отнесся не как к народу первостепенной культурной значимости.

В летописных политических перечислениях стран Болгария никогда не занимала первого места, начиная с первого же упоминания, когда Нестор назвал страны «по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска» (24), — на первом месте Венгрия. Показательно, что в договоре 971 г. с греками Болгария указана последней по важности. Святослав клялся грекам не нападать «на страну вашу..., на ни власть Корсуньскую... ни на страну Болгарьску» (86).

Свое неблагоприятное или не очень уважительное отношение к болгарам лаконичный Нестор предпочитал выражать завуалированно или же бегло. Однако это отношение выражалось и более настойчиво, когда летописец упоминал об участии болгар в борьбе с Русью. Так, под 944 г. летописец рассказал о походе Игоря на греков, используя сведения из «Жития Василия Нового» (см.: *Шахматов А. А. Указ. соч.*, с. 69—72). Но в «Житии» не сказано, какое именно сообщение о Руси болгары тайно послали к грекам, а летописец его привел: «болгаре послаша вѣсть, глаголюще: „Идутъ русь и наяди суть к собе печенегѣ“» (58). В летописи нередки упоминания о посылках просьб о помощи, когда, например, осажденной стороне удается переслать просьбу через вражеское кольцо. Однако послание болгар имело принципиально иной характер: болгары формально не участвовали в войне Руси с Византией, и, специально процитировав болгарское предупреждение грекам, летописец показал, что болгары сыграли роль шпионов, передавших стратегически важную информацию о составе войска Игоря и помогших грекам ускользнуть от поражения.

В той же шпионской функции болгары выступали у Нестора неоднократно. Под 941 г. летописец заявил, что «послаша болгаре вѣсть ко царю, яко идутъ русь на Царьградъ, скедий 10 тысящъ» (58), — снова было сказано, что болгарами послана грекам упреждающая стратегическая информация о величине русского войска в 10 тысяч кораблей. И вот что самое показательное: летописец взял сведения о 10 тысячах кораблей из продолжения «Хроники» Георгия Амартола (см.: *Шахматов А. А. Указ. соч.*, с. 55); но там сведения о русском войске сообщались в изложении от автора; Нестор же превратил болгар в передатчиков этих сведений и фактически сделал болгар шпионами; благодаря им греки смогли подготовиться и расправились с русским флотом.

Роковую роль, как показал Нестор в статье под 971 г., сыграли болгары в судьбе Святослава. Болгары у летописца опять выступили в качестве тайных информаторов о маршруте и состоянии русского войска и даже в роли провокаторов. Недаром Нестор раскрыл содержание болгарского послания: «послаша переяславци къ печенегомъ, глаголюще: „Се идетъ вы Святославъ в Русь, вземъ именье много у грекъ и полонъ бещисленъ, съ маломъ дружины“» (88). Печенегі точно узнали, чем можно поживиться и что им делать, и смогли убить Святослава. В отрицательном отношении Нестора к болгарам, кажется, нельзя сомневаться.

Под тем же 971 г. летописец рассказал об открытой стычке болгар с Русью еще до гибели Святослава: «Приде Святославъ в Переяславецъ, и затворишася болгаре во граде, и излестоша болгаре на сечю противу Святославу» и т. д. (84). В летописи достаточно часты однообразные по трафарету и деталям рассказы о подобного рода стычках и о затворениях осажденной стороны в том или ином городе. В данном же рассказе летописец показал ожесточенную враждебность болгар русам, ибо упо-

мянул о болгарской контрвылазке, а такой элемент повествовательной схемы Нестор вводил, говоря только об особо упрямых врагах («деревляне затворишася въ граде и боряхуся крепко изъ града» — 72. Под 946 г.; «затворишася корсуняне въ граде... и боряхуся крепко изъ града» — 124. Под 988 г.). Так что и тут летописец представил болгар в отрицательной роли.

Неблагоприятное отношение Нестора к болгарам, со всеми его оттенками, вероятно, объяснимо политическими причинами. Нестор составил «Повесть временных лет» во время полной зависимости Болгарии от Византии. Вполне естественно слились антивизантийские и антиболгарские настроения киевского летописца, перенесенные им на прошлое, на IX—X вв.

859 — 862 гг.

«В лето 6367. Имаху дань варязи изъ заморья на чюди и на словенех, на мери и на всехъ кривичехъ. А козари имаху на полянех, и на северех, и на вятичехъ. Имаху по беле и веверице от дыма.

Въ лето 6368.

Въ лето 6369.

Въ лето 6370. Изъгнаша варяги за море и не даша имъ дани... И реша сами в себе: „Поищемъ себе князя...“ И идоша за море къ варягомъ... Реша...: „...Да поидете княжить и володети нами“. И избрашася 3 браться с роды своими... и придоша» (34, 36).

Перевод

В 859 году. Варяги из заморья взымали дань с чуди, славян, мери и всех кривичей. А хазары взымали с полян, северян, вятичей. Брали по серебряной монете и белке от семьи.

В 860 году.

В 861 году.

В 862 году. Изгнали варягов за море и не дали им дани... А сами надумали: «Поищем себе князя...» Пошли за море к варягам... Попросили: «Пойдите княжить и управлять у нас». Вызвались три брата со своими родами... и пришли.

Комментарий: варяги

В первых датированных статьях летописи рассказывается о варягах-скандинавах и, возможно, отражается прямо не оговоренная летописцем группировка народов, в которой свое место занимали и варяги.

Словосочетание «варязи из заморья» можно рассматривать как кратчайшую их этническую характеристику, данную Нестором. (У Нестора фраза, вероятно, выглядела так: «варязи, приходяще из заморья», и большинство летописей содержат ее, а в «Лаврентьевской летописи» она

сокращена. См.: Повесть временных лет, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 233).

Упоминание о варягах под 859 г. имело естественное продолжение в тут же следующей летописной статье под 862 г.: «Имаху дань варязи, приходяще из заморья... Изъгнаша варяги за море и не даша имъ дани». Цельное (в своде Никона 1073 г.?) повествование о варягах было затем разорвано маленьким отвлечением Нестора к казарам и его вставкой «пустых» годов между 859 и 862 гг.

Первоначальный, цельный рассказ о варягах, по-видимому, велся летописцем по повествовательному шаблону, состоявшему примерно из трех частей: «Послали к варягам за море... и пришли варяги из заморья... и ушли варяги за море». Полностью такая последовательность изложения была соблюдена, например, в статье под 1024 г., упоминавшей варяжского князя Якуна: Ярослав «посла за море по варяги. И приде Якунъ с варяги... Якунъ иде за море» (161).

Шаблон легко варьировался и прерывался летописцами в зависимости от сюжета. Обычно использовались лишь его первые две части: «пославъ за море, приведе варягы» (144. Под 1015 г.), «хотяше бежати за море и приведоша варягы» (158. Под 1018 г.), «бежа за море... приде Володимиръ съ варяги» (90. Под 977 и 980 гг. Изложение прервано перечислением «пустых» годов). Иногда летописцам достаточно было только одной части шаблона: Игорь «посла по варяги многи за море» (58. Под 941 г. Подразумевалось, что затем варяги и пришли), «Рогъволодъ пришелъ из заморья» (90. Под 980 г. Подразумевалось, что он как-то был вызван).

Таким образом, статьи под 859—862 гг. содержали два эпизода о варягах: приходящих из заморья и затем изгнанных за море (вторая и третья части шаблона), приглашенных из-за моря и пришедших (первая и вторая части шаблона).

В указанном шаблоне отразилась и устойчивое представление летописца о варягах как о приморском или заморском народе. Ведь повторявшиеся высказывания о них неизменно упоминали море (замечания о местопребывании других народов и племен делались в тексте летописи, как правило, один раз, при первом их назывании). Встретившийся как-то редкий случай несоответствия привычному представлению сразу же был оговорен летописцем: «Бе же варягъ той пришел изъ Грекъ» (96. Под 983 г. Тот варяг пришел из греческой земли. А не из-за Балтийского моря). Летописцам важно было отметить способ передвижения варягов или к варягам — морское плавание. Это они поясняли выражениями «иде за море», «посла за море», «бежа за море», «пришли из заморья» и пр. «Заморскость» — специфическая особенность варягов сравнительно с остальными народами в летописи.

Другое же представление о варягах не так уникально. Указанные шаблоны изложения, означавшие быстроту передвижения, использова-

лись в «Повести временных лет» только по отношению к народам кочевым или мигрирующим. Например, о печенегах летописцы много раз рассказывали в повторявшихся выражениях и по одинаковой схеме: 1) «придоша» — 2) «сташа» или «оступиша» — 3) «отъидоша» или «побегоша». Угры: «идоша» — «придоша» — «находиша». Половцы: «придоша на Русскую землю» — «воююще по земли». В эту кочевую компанию попали и варяги, которых летописец прямо назвал «находниками» (36. Под 862 г.). Варяги приходят из-за моря, как «половци, иже исходятъ от пустыне» (242. Под 1096 г.). Сходство между варягами и кочевниками ощущалось только в находничестве извне. Однако это бросало тень на варягов в летописи.

898 г.

«Неции же начаша хулити словеньския книги, глаголюще, яко не достоить ни которому же языку имети буквъвъ своихъ, разве евреи, и грекъ, и латинъ, — по Пилатову писанью, еже на кресте Господни написа. Се же слышавъ, папезъ римский похули тех, иже ропщють на книги словеньския, река: „...Да аще хто хулитъ словеньскую грамоту, да будетъ отлученъ от церкви, донде ся исправитъ“» (42).

Перевод

Некоторые люди стали ругать славянские книги, утверждая, что никакому народу не следует иметь своей собственной азбуки, кроме евреев, греков и латинян, — соответственно надписи Пилата, которую он написал на кресте Господнем. Услышал это римский папа, поругал как раз тех, кто осуждает славянские книги, и произнес: «...Если кто ругает славянскую грамоту, тот да будет отлучен от церкви, пока не исправится».

Комментарий: римский папа

Под этим годом рассказывается о миссии славянских просветителей Кирилла и Мефодия, которые составили славянскую азбуку и перевели библейские и богослужебные книги на славянский язык. Упоминание о римском папе позволяет задаться вопросом об отношении летописца к папе и вообще о круге лиц, авторитетных для летописца. Римский папа в рассказе выступает как влиятельное лицо, определяющее ход событий. Оттого к нему применена формула «се же слышавъ», с которой в летописи постоянно начинались сообщения о важных, переломных решениях влиятельных людей. Оттого в летописи передана речь папы, содержащая глаголы в повелительном наклонении, типа «да будетъ».

Однако отношение к римскому папе как к влиятельному лицу нашло отражение только в данной летописной статье. При последующем упоминании римского папы (тоже без имени, под 986 г.) он уже не представал решающим и вменяющим что-либо. Его слова недолго слу-

шал и сразу отвергал киевский князь Владимир Святославич. Влиятельность же римского папы, обозначенная в статье под 898 г., возможно, объяснима особенностью заимствованного летописцем источника — западнославянского «Сказания о преложении книг на словенский язык» (см.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники, с. 80—92).

969 г.

«В лето 6477. Рече Святославъ къ матери своей и къ боляромъ своимъ: „Не любо ми есть в Киеве быти. Хочю жити в Переяславци на Дунаи. Яко то есть середя земли моей. Яко ту вся благая сходятся. От грекъ — злато, паволоки, вина и оwoщеве разноличныя. Изъ Чехъ же, из Угорь — серебро и комони. Из Руси же — скора и воскъ, медъ и челяд“» (80, 82).

Перевод

В 969 году. Святослав объявил своей матери и боярам: «Не нравится мне пребывать в Киеве. Буду жить в Переяславце на Дунае. Потому что там — центр моей земли. Потому что туда отовсюду стекаются все ценности. Из Византии — золото, шелка, вина и разнообразные плоды. Из Чехии, Венгрии — серебро и кони. Из Руси — меха, воск, мед и слуги».

Комментарий: Чехия, Венгрия

После повествования о варягах-правителях Руси — Рюрикe, Олеге, Игоре Рюриковиче и Ольге — в летописи следуют рассказы об успешных походах сына Игоря и Ольги Святослава, который, покорив дунайских болгар, остался княжить в Переяславце (ныне село у границы Румынии с Украиной, южнее Дуная, растекающегося на черноморские гирла). Данная летописная статья начинается с изложения программной речи Святослава, в которой он положительно отозвался о Чехии и Венгрии.

Приведенный отрывок находился в «Древнейшем киевском своде» 1037—1039 гг. (см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, с. 548), однако уже, вероятно, тогда краткая речь Святослава отличалась странностями и неясностями.

1. Необычным являлось упоминание богатств Чехии и Венгрии. Об этом летопись не упоминала больше нигде, да и другие страны больше ни разу не характеризовала по их природным или иным богатствам.

2. Из речи Святослава не ясно, каким способом из Чехии и Венгрии в Переяславец «благая сходятся». Если под словом «сходятся» подразумевалась торговля, то такое указание тоже необычно для летописи, совершенно глухой (кроме текста договоров с греками) к торговым делам, но занятой преимущественно делами военными. Однако, скорее всего, тут могла подразумеваться дань, получаемая Святославом,

по крайней мере, от греков. Только что, под 967 г., летописец отметил, что Святослав «седе княжа ту въ Переяславци, емля дань на гръцех» (78), а в рассматриваемой летописной статье перечислил предметы, которые полностью соответствовали ранее бывшим даням и дарам от греков. Но если подразумевалась дань, то тогда непонятно, почему упомянуты Чехия и Венгрия, которые не платили дань Руси. Тем более необычно такое упоминание, что об отношениях Святослава с этими странами летопись ничего не сообщала, как и об отношениях предыдущих князей.

3. Вызывает недоумение, почему Чехия и Венгрия были названы вместе, без различия того, какое богатство свойственно каждой из стран.

4. Необычно также, что Чехия упомянута первой. В других местах летописи Чехия, никогда не упоминавшаяся в одиночку, всегда была называема после моравов или ляхов.

5. Само сочетание какое-то нескладное: «Изъ Чехъ же, из Угорь». Нескладность формы и немотивированность упоминания Чехии и Венгрии, по-видимому, ощущавшиеся переписчиками летописи, привели к перетолкованиям. Например, в одном из списков — Лаврентьевском — названия этих стран превратились в обозначения неведомых предметов и дополнили список греческих богатств: «Отъ грекъ — злато, паволоки, вина, оwoцeve разноличныя, ищехъ же и зурогъ, сребро и комони» (Летопись по Лаврентьевскому списку, с. 66).

6. В речи Святослава есть и другие странности. Например, Русь по отношению к земле Святослава представлена внешней, сопредельной страной, из которой блага текут в Переяславец, — наподобие Византии, Чехии, Венгрии. Из Руси в Переяславец поступает даже «челяд», которая в летописи упоминается только как объект внешних связей стран (дары, трофеи и пр.). Такое отношение к Руси как за границе абсолютно необычно для русских персонажей летописи.

7. Княжеская речь, обращенная именно к «своим» людям, тоже не типична для преданий о первых князьях. Ср.: «В Начальном своде и Повести временных лет речи приводятся весьма редко. Между тем, Святослав произносит три речи: одну в Киеве перед матерью и боярами... другую краткую речь — в сражении под Переяславцем... и, наконец, длинную речь — перед сражением с греками... Эта речь положительно единственная для нашей древней летописи» (Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах, с. 123).

Иностранность речи Святослава для «Повести временных лет» находит объяснение в предположении, высказанном А. А. Шахматовым: «Содержание этой речи едва ли могло быть придумано киевлянином: указание на торговое значение и богатство Переяславца ведет нас к другому автору, вложившему речь в уста Святославу, очевидно, при других обстоятельствах, иной обстановке. Мы убеждены в том, что речь сказана

Святославом в Болгарии, или, скажем точнее — она была вложена в уста Святославу составителем болгарской хроники» (Там же, с. 128). Что это за хроника, пока остается неизвестным. Но отсюда следует, что мнение о Чехии и Венгрии не принадлежало древнерусскому летописцу.

986 г.

«В лето 6494... Потом же придоша немьци от Рима, глаголюще: „Придохомъ послании от папежа“. И реша ему: „Рекль ти тако папежь. Земля твоя яко и земля наша, а вера ваша не яко вера наша. Вера бо наша светъ есть. Кланяемся Богу, иже створилъ небо, и землю, звезды, месяц, и всяко дыханье, а божи ваши — древо суть“. Володимеръ же рече: „Кака заповедь ваша?“ Они же реша: „Пощенье по силе. „Аще кто пьеть или ясть, то все въ славу Божию“, — рече учитель наш Павел». Рече же Володимеръ немцемъ: „Идете опять, яко отци наши сего не прияли суть“» (98, 100).

Перевод

В 986 году... Потом пришли немцы из Рима и сообщили: «Мы прибыли посланы папой». И передали Владимиру: «Так изрек тебе папа. Такая же земля твоя, как и земля наша, а вера — не как вера наша. Ибо вера наша — это свет. Мы поклоняемся Богу, который сотворил небо, землю, звезды, месяц и все, что дышит. А ваши боги — просто дерево». Владимир спросил: «Какова ваша заповедь?» Они ответили: «Посильное пощенье. Как сказал наш учитель Павел, „если кто пьет или ест, то все во славу Божию“. Владимир велел немцам: «Возвращайтесь назад. Ведь этого не приняли еще наши отцы».

Комментарий: «немцы», Рим

В повествовании о выборе веры киевским князем Владимиром Святославичем сообщается о приходе в Киев представителей разных народов с предложением принять их веру, в том числе говорится о «немцах», то есть о западноевропейцах. Отрывок касается нескольких этнополитических тем.

1. Объем понятия «немьци». Летописцы словом «немьци» обозначали родовое понятие, а словом «Рим» — видовое понятие. О том свидетельствует словосочетание «немьци от Рима». В «Древнейшем киевском своде» 1037—1039 гг. «немцы» были упомянуты, хотя и без уточнения «от Рима», однако немного далее было подтверждено, что эти «немцы» «приходиша от Рима» (см.: Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах, с. 147, 558, 638). Словосочетание «немьци от Рима» наличествовало в «Начальном киевском своде» 1093—1095 гг. (см.: Шахматов А. А. Повесть временных лет, т. 1, с. 104, 381), перешло в «По-

весть временных лет» Нестора, во все списки, кроме Лаврентьевского (ср.: Летопись по Лаврентиевскому списку, с. 83).

Нестор в своем введении к летописи, в перечне европейских народов еще раз передал эту связь, указав как близкие народы: «...римляне, немци...» (24). Не удивительно, что представления о «немцах» и о средневековом (не античном!) «Риме» у летописцев были сходными.

2. Пределы захода к «немцам». Эти географические понятия — «Рим» и «немцы» — представлялись летописцу поворотным пунктом поездок, куда занятые делами люди активно прибывают, но откуда быстро убывают. Оттого в описании пути из варягов в греки был очерчен замкнутый северо-западный круговой маршрут (Днепр — Балтийское море — Рим — Царьград — Черное море — Днепр), и именно Рим выступил местом резкого поворота и быстрого возвращения домой: «внидеть... в море Варяжское. И по тому морю ити до Рима, а от Рима прити по тому же морю ко Царюгороду» (26). Так же по скользящему маршруту к Риму сворачивал и от Рима возвращался апостол Андрей: «учащю въ Синопии и пришедшю ему в Корсунь... и въскоте поити в Римъ... И иде въ варяги, и приде в Римъ... бывъ в Риме, приде в Синопию» (26). Страну «немцев» Владимир тоже мыслил областью быстрого поворота для посылаемого им посольства: «Идете паки в немци, съглядяйте тако же, и оттуде идете в греки» (122. Под 987 г.).

3. Главный недостаток «немцев». В дошедшем до нас тексте летописи не ясна мотивировка отказа Владимира от веры «немцев»: «яко отци наши сего не прияли суть» (100). Чего не приняли предки Владимира? Слово «сего» двусмысленно. Оно могло подразумевать, что предки Владимира не приняли христианского Бога. Однако при выборе вер Владимир не высказывался о чужих богах. По дошедшему тексту, его интересовало, «кто како служить Богу» (122), сами службы и обычаи. Слово «сего», по-видимому, указывало на «пощенье по силе», упомянутое «немцами».

Но почему Владимир сослался на неприятие посильного поста именно своими отцами-предками, в то время как в действительности язычники вообще не соблюдали постов? Даже о постничестве княгини Ольги, крестившейся до Владимира, летопись ничего не упоминала. Зато об ориентации Владимира на предков летопись сообщала снова, даже после крещения Руси: «И живяше Володимеръ по устроенью отьню и дедню» (142. Под 996 г.). Ссылка Владимира на отцов не была случайной.

Думается, что первоначально, в «Древнейшем киевском своде», в данном эпизоде выражение «пощенье по силе» означало не пост, а близкое по написанию и звучанию, но иное по смыслу выражение: «потщенье», или «потщанье», — старание, устремление, усердие по силе в делах веры. Действительно, Владимир в «Древнейшем киевском своде» занимался оценкой вер, а не служб (см.: *Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах*, с. 150—151). Доводом за «потщанье»,

а не пост, служит, пожалуй, и композиция рассказа о выборе веры Владимиром, где указания правил еды или поста никогда не стояли первыми в характеристиках вер. Аналогичное выражение употреблялось уже под 912 г., в договоре Олега с греками: «потщимся, елико по силе» (48. Постараемся, насколько в наших силах), а слово «потщанье» употреблялось в похвале Владимиру под 1015 г.

У позднейших переписчиков летописи, вероятно, возникали какие-то догадки о специфичности смысла здесь слова «пощенье», и в одном из списков XV в. «Повести временных лет» данное место о Владимире и «немцах» было осмыслено без упоминания поста: «Како заповедь ваша?.. — Пущение по силе» (Летопись по Лаврентиевскому списку, с. 83).

Таким образом, отказ Владимира можно объяснить тем, что законченному язычнику не понравилась та необязательность, с которой «немцы» следовали заповедям, в противоположность истовости его «отцов», живших «по рускому закону». Таковой, быть может, была версия «Древнейшего киевского свода», позднее затемненная.

На эту версию указывают и добавочные свидетельства, правда, тоже неотчетливые. Как можно догадываться по не совсем внятному изложению, Владимир по-своему понял ссылку «немцев» на изречение апостола Павла: «Аще кто пьеть или ясть, то все въ славу Божию» (100. Первое послание к коринфянам, X. 31. Идентификацию см.: *Шахматов А. А. Повесть временных лет*, т. 1, с. 104). Владимиру не понравилась у «немцев» полная бытовая свобода еды, противоречившая навыкам его «отцов», далеко не все без разбора пивших и евших. Летопись подчеркивала, что не все языческие предки «ядяху вся нечисто» (30, 32).

Неправильность западного богослужения, вероятно, дополнительно к вере подразумевалась как причина отказа Владимира от предложения «немцев». Недаром в списке XV в. «Новгородской первой летописи», заключавшей донесторовский текст, в соответствующем месте была упомянута именно служба, а не слава: «Аще кто пиеть и ясть, все въ службу Божию творить» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950, с. 133). В следовавшем тут же продолжении рассказа о выборе вер, уже в так называемой «Речи философа», «немцы» осуждались за вольность именно в хлебном ритуале: «Служать бо опресноки, рекше оплатки, ихъ же Богъ не преда. Но повеле хлебомъ служити, и преда апостоломъ. Приемъ хлебъ, рек: „Се есть тело мое, ломимое за вы“. Тако же и чашю приемъ, рече: „Се есть кровь моя новаго завета“. Си же того не творять. Суть не исправили веры» (100. Они служат на опресноках, то есть на облатках, а этого не заповедал Бог. Но повелел он служить на хлебе, что и заповедал апостолам. Взяв хлеб, он изрек: «Вот мое тело, разламываемое за вас.». Взяв чашу, он еще изрек: «Вот кровь моя нового завета». Немцы же того не творят. Они не исправили свою веру).

И все же остается неясной история летописной версии о богослужбных претензиях Владимира: то ли она присутствовала уже в «Древнейшем киевском своде», то ли стала оформляться только позднее. Наиболее вероятным кажется предположение о том, что первоначальное развитое повествование «Древнейшего киевского свода» о переговорах Владимира с «немцами» затем было сокращено. Оттого в дошедшем тексте оно заметно короче повествования о переговорах Владимира с мусульманами и иудеями. Нестор застал уже сокращенный текст.

Можно высказать гипотезу о более или менее скептическом отношении всех составителей летописи к «немцам» по причине расчетливости, эгоистической рационалистичности «немцев», их нежелания себя утруждать в делах веры. Под 986 г., в «Речи философа», сказано еще мягко: «Ихъ же вера маломъ с нами разъвращена» (100. Их вера сравнительно с нашей лишь малость испорчена). Но далее, под 987 г., посольство Владимира к «немцам» категорично подтвердило: «видехомъ въ храмах многи службы творяща, красоты не видехомъ никоея же» (122. Мы видели их совершающими в храмах множество служб, но красоты не углядели никакой).

Мотив эгоистической, некрасивой и алогичной распущенности «немцев» в вере был продолжен в летописи под 988 г. в большом, открыто полемическом поучении против «немцев»: «Не преймай же ученья от латынь, ихъ ученье разъвращено. Влеэъше бо въ церковь, не поклонятся иконамъ. Но стоя, поклонится и, поклонився, напишетъ крестъ на земли и целует. Въставъ, простъ станеть на немъ нагами. Да легъ, целуетъ, а вставъ, попирает. Сего бо апостоли не предаша. Предали бо сут апостоли крестъ поставленъ целоват и иконы предаша... Паки же и землю глаголють матерю. Да еще имъ есть земля мати, то отецъ имъ есть небо. Искони бо створи Богъ небо, таже землю... Аще ли, по сих разуму, земля есть мати, то почто плюете на матеръ свою? Да семо ю лобъзаете и паки оскверняете? Сего же преже римляне не творяху, но исправляху на всех сборехъ, сходящесе от Рима и от всех престоль... На 7-мъ сборе... сходящесе исправляху веру. По семь же сборе Петръ Гугнивый со инеми шедъ в Римъ и престоль въсхвативъ, и разъврати веру, отвергъся от престола Ярусалимска, и Олексаньдрьскаго, и Царяграда, и Онтиахийскаго. Възмутиша Италию всю, сеюще ученье свое разно. Ови бо попове, единою женою оженивъся, служатъ, а друзии, до 7-ми женъ поймающе, служатъ. Их же блюстися ученья. Пращають же грехи на дару, еже есть злее всего. Богъ да схранить тя от сего» (128, 130. Не перенимай ученья у латинян. Их ученье испорчено. Войдя в церковь, они не кланяются иконам. Но, постояв, такой наклонится и, нагнувшись, начертит крест на полу и поцелует. Распрямившись, попросту станет на него ногами. То есть, лежа, целует, а встав, попирает. Но этого апостоли не завещали. А завещали апостоли целовать стоящий крест и иконы... Еще римляне землю называют матерю. Раз земля им мать, то отец им небо. Но

исконно Бог создал небо, да и землю... Если, по их разумению, земля — это мать, то что же вы плюете на свою мать? То есть, где ее лобызаете, там и оскверняете? Прежде римляне не творили такое, но исправляли на всех соборах, собираясь от Рима и от всех патриарших престолов... Однако после седьмого собора Петр Гугнивый с другими, войдя в Рим и захватив престол, развратил веру, отвернулся от престолов иерусалимского, александрийского, царьградского и антиохийского. Они взбаламутили всю Италию, сея свое розное учение. У них то служат попы, женившиеся на одной жене, то служат набирающие и до семи жен. Надо беречься их ученья. Они даже прощают грехи за мзду, что противнее всего. Сохрани тебя Бог от этого. — Истолкование фразы «працають же грехи на дару» см.: Кириллин В. М. Комментарий к «Слову о вере христианской и латинской» Феодосия Печерского // Древнерусская литература: Восприятие Запада в XI—XIV вв. М., 1996, с. 73—74).

Еще дважды в летописи можно заметить отражение мнения о склонности «немцев» к рациональным удобствам и выгодам (но уже не в делах веры) — в рассказе апостола Андрея, поразившем римлян («ты слышаще, дивляхуся»), о том, как моются новгородцы, «не мучими никим же, но сами ся мучать» (26), и в рассказе под 1075 г. о посольстве германского императора ко внуку Владимира Святославу Ярославичу: «В се же лето придоша сли из немецъ къ Святославу. Святославъ же, величаяся, показа имъ богатство свое. Они же, видевше бесчисленное множество, — злато, и серебро, и паволоки, — и реша: „Се ни въ что же есть. Се бо лежить мертво. Сего суть кметье луче. Мужи бо ся доищють и болше сего“» (210. В тот же год пришли послы от немцев к Святославу. Святослав, хвастаясь, показал им свое богатство. Но они, увидав бесчисленное множество всего — золото, серебро, шелка, — сказали: «Это ни к чему. Это лежит мертво. Лучше того воины. Мужи добудут и больше этого»).

«Немцы» здесь выглядят уже не «дивлящимися», но умело расчетливыми. Они тем более расчетливы на фоне вроде бы аналогичных немецкому приговору рассуждений киевских князей. В летописном рассказе под 996 г. Владимир говорил: «Сребромъ и златом не имам налести дружины, а дружиною налезу серебро и злато, яко же дедъ мой и отецъ мой доискася дружиною злата и сребра» (140. Серебром и золотом не соберу дружины, а дружиной соберу серебро и золото, как мой дед и отец добыли дружиной золота и серебра). Владимир имел в виду ближних людей, за верность которых ничем невозможно расплатиться: «Бе бо Володимерь любя дружину и с ними думая о строи земленем, и о ратехъ, и о уставе земленем» (140. Потому что Владимир любил дружину и с ними советовался о мирском порядке, войнах и мирской законности). «Немцы» же сухо рассчитывали на наемных ландскнехтов.

Под 1073 г. другой внук Владимира Изяслав Ярославич, подобно «немцам», открыто надеялся на наемников, но не смог обратить деньги в

воинов: «Изяслав же иде в Ляхы со именем многым, глаголя, яко „симвь налезу вои“, еже все взяша ляхове у него, показавше ему путь от себе» (196). «Немцы» же не выглядели такими незадачливыми. «Немецкий» недостаток постепенно стал переосмысливаться как достоинство.

4. Литературная манера летописных повествователей. Отношение к «немцам» не занимало летописцев. Оттого упоминания «немцев» в летописи были эпизодичны и не связаны друг с другом, а все прямые и косвенные оценки «немцам» содержались только в высказываниях летописных персонажей, совершенно отсутствуя в речи собственно летописцев.

987 г.

«Въ лето 6495. Созва Володимеръ боляры своя и старци градские и рече имъ: „Се приходиша ко мне болгаре, рькуще: Приими законъ нашъ». Посем же приходиша немци. И ти хваляху законъ свой. По сихъ придоша жидове. Се же после же придоша гръци, хуляще вси законы, свой же хваляще. И много глаголаша, сказующе от начала миру о бытьи всего мира. Суть же хитро сказующе. И чюдно слышати их. Любо комуждо слушати их“» (120, 122).

Перевод

В 987 году. Владимир созвал своих бояр и городских старцев и сообщил им: «Приходили ко мне болгары, предлагая: „Прими наш закон“. Потом приходили немцы. Те хвалили свой закон. Затем пришли евреи. После пришли греки, ругая все законы, а хваля — свой. Они много наговорили, рассказывая историю всего мира с самого его начала. Они искусные рассказчики. И слышать их чудно. Каждому понравится их слушать».

Комментарий: «немцы»

Эта летописная статья продолжила рассказ о выборе веры киевским князем Владимиром Святославичем. Приведенный отрывок находился уже в «Древнейшем киевском своде» 1039 г. (см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах, с. 148—151, 560). Летописцы видели у народов не только недостатки, но и достоинства.

Летопись упоминала о том, что «немцы» хвалили свой закон. Слово «хвалили» у летописца указывало не только на содержание речи «немцев», но и на красоту ее формы. Ведь греки тоже «хвалили» свой закон, и тут же в летописной статье пояснялись составные смысловые элементы понятия «хвалити»: это говорить много и «хитро», так что такую речь слушать «чюдно» и «любо». В других местах летописи обозначение «хвалити» тоже подразумевало красивую форму речи и сопровождалось примерами довольно больших изысканных похвал (под 969, 988,

1015, 1037 гг. и пр.). В том, как «немцы» хвалили свой закон, тоже можно убедиться по их речи, переданной летописцем под 986 г. Она довольно риторична.

Если посмотреть, какие относительно большие и, следовательно, ценимые речи иноземцев цитировались летописцами в «Повести временных лет», то это только речи греков и «немцев» («немецкие» речи — апостола Андрея из Рима во вступлении к летописи, моравского князя Ростислава и немецкого вассала Коцела под 898 г., римского папы под тем же 898 г., римского папы под 986 г.). Однако как примирить скептическое отношение летописцев к «немцам» со скрытым признанием «немецкой» речевой искусности? Дело не в греках или «немцах» самих по себе. Посланцы Владимира по странам искали красоту в богослужении, а летописцы — в христианских речах. Судя по статье под 986 г., болгары-магометане тоже говорили настолько неплохо, что Владимир их «послушаше сладко» (98). Однако по отношению к ним летописец не применил слова «хвалити», считая красивыми только христианские греческие и «немецкие» речи. Только в христианских речах летописцы отмечали красоту их содержания и формы, в том числе в христианских речах, звучавших на Руси (ср.: хотя апостолы не были на Руси, «но ученья ихъ, аки трубы, гласятъ» — 98. Под 983 г. После крещения: «Събытѣся пророчество на Русьстей земли, глаголющее: „Во оны днии услышать глусии словеса книжная, и яснъ будетъ языкъ гугнивых“ и Господь... хвалимъ от русьскихъ сыновъ, певаемъ въ Троици» — 134, 136. Под 988 г. Глеб о Борисе: «Кде суть словеса твоя, яже глагола къ мне... Ныне уже не услышу тихаго твоего наказанья» — 150. Под 1015 г. Летописец о митрополите Иоанне: «хытръ книгамъ... речистъ же» — 218. Под 1089 г. И пр.) «Немцы» были хороши лишь тем, что они христиане.

996 г.

«И бе живя съ князи околними миромъ — и съ Болеславомъ Лядьскимъ, и съ Стефаномъ Угръскимъ, и съ Андрихомъ Чешьскимъ. И бе миръ межю ими и любы» (140).

Перевод

Он жил в мире с окружающими князьями — с Болеславом Польским, со Стефаном Венгерским, с Андрихом Чешским. Между ними царил мир и любовь.

Комментарий: Польша, Венгрия, Чехия

В летописной статье рассказывается о церковной, благотворительной и законодательной деятельности киевского князя Владимира Святославича после крещения Руси; в том числе сообщается о внешнеполитическом положении страны.

Отрывок указывает на военно-политическое мироотношение летописца. Фраза «и бе миръ межю ими и любы» намекала на некие мирные договоры Владимира со странами, ибо подобное словосочетание было характерно именно для текстов договоров, в которых повторялась формула «мир и любовь»: «мира и любви» (52. Договор Олега с греками), «обновити ветъхий миръ... и утвердити любовь» (60. Договор Игоря с греками), «миръ с тобою твердъ и любовь», «миръ и свершену любовь» (86. Договор Святослава с греками).

Князья, то есть, в сущности, страны, были перечислены летописцем по напряженности военных отношений Руси с ними. Первой упоминалась Польша, потому что с ней приходилось воевать чаще всего. Летопись многократно сообщала о сражениях с поляками, о походах друг на друга, о бегстве в Польшу и приводе поляков кем-либо из русских князей, о избиении поляков на Руси и пр. Второй упоминалась Венгрия, потому что хотя память о венграх тоже была в основном военной, однако о них летописцы вспоминали гораздо реже. Третьи — чехи: совсем редкие упоминания летописи о чехах затрагивали тоже их военные отношения, но не с Русью, а с другими странами. Польша, Венгрия и Чехия воспринимались летописцем лишь как военные факторы. Прочие «околные» западные народы, (например, хорваты, мазовшаны), как правило, упоминались в летописи тоже в связи с военными событиями.

Преимущественно военный подход к народам и странам, включая восточные и южные, в свою очередь, объясняется слежением летописцев (до Нестора и особенно самого Нестора) за разделением земель и владений между властителями. Разделение и перераспределение земли — главнейшая тема «Повести временных лет» с начала и до конца. Тот же владетельный интерес отразился и в вышеприведенном отрывке. Ср.: «Здесь метко оценена вся деятельность Владимира I по территориальному определению Киевской державы и введению ее в устойчивые международные отношения» (Повесть временных лет, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 350). Вот почему каждый «князь» был четко назван по обладаемой стране.

В целом же этот перечень правителей передал представление о блеске внешних связей Владимира, завершив серию перечней, относившихся к Владимиру (перечисление разнородных богов его пантеона и иностранных его жен под 980 г., перечисление посольств к нему из различных стран под 986 г.). Аналогичный мотив был использован уже в речи Святослава под 969 г., а до того — при перечислении состава княжеских войск под 882, 907, 944 гг.

1015 г.

«И помолившюся ему, възлеже на одре своем. И се нападоша, акы зверье дивии, около шатра. И насунуша ѿ копьи и прободоша Бориса. И слугу его, падша на нем, прободоша с нимъ. Бе бо сей любимъ Борисомъ.

Бяше отрокъ съ родомъ сынъ угърскъ, именемъ Георги. Его же любляше повелику Борисъ. Бе бо возложилъ на нь гривну злату велику. В ней же предъстояше пред нимъ. Избиша же и ины отроky Борисовы многы. Георгиеви же сему не могуще вборзе сняти гривны съ шие, усекуша главу его. И тако сняша гривну. А главу отвергоша прочь. Тем же после же не обретоша тела сего въ трупии» (148).

Перевод

Помолившись, Борис возлег на своей постели. Но вот к шатру, как дикое зверье, прибежали убийцы. Они копьями проткнули шатер и пронзили Бориса, а с ним — его слугу, упавшего на него. Этот слуга был любимцем Бориса. Этот отрок, по имени Георгий, происходил родом из венгров. Его сильно любил Борис и даже возложил на него большую золотую гривну. В ней тот предстоял перед ним. Убийцы перебили и многих других Борисовых отроков. Когда убийцы не смогли сдернуть гривну у Георгия с шеи, то они отсекали ему голову. И так сняли гривну. А голову отбросили прочь. Оттого после не нашли его тела среди множества трупов.

Комментарий: венгр Георгий

В летописной повести о злодейском убийстве Бориса и Глеба, сыновей киевского князя Владимира Святославича, действовал слуга Бориса, персонаж западного происхождения — венгр Георгий. Можно предполагать, что эту повесть создал сам составитель «Древнейшего Киевского свода», а сведения о Георгии он вставил из не дошедшего до нас «Жития Антония Печерского» (см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах, с. 86—87, 92—93, 573).

Однако сведения о Георгии летописец изложил, вероятно, по-своему. Для него главным была, конечно, верность слуги князю, но характеристика этого слуги отразила и подспудное отношение летописца к Георгию как, так сказать, к неправильному человеку, с которым все происходило не по чину. Летописец только косвенно выразил неотчетливое ощущение отличия от «своих»: «чужие» — «неправильны».

«Неправильным» являлось положение Георгия, которое летописец подчеркнул: «Бе бо сей любимъ Борисомъ... его же любляше повелику Борисъ». В летописи князья любили своих отцов и сыновей и пр., а не слуг. (Разве что под 986 г. в «Речи философа» пересказывалась библейская история о четырехлетнем Моисее, которого полюбил египетский фараон. Но Моисей был слишком мал, чтобы стать слугой и наперником фараона, да и потом им не стал). Летописцу показалась неправомерной княжеская любовь к собственному слуге, да еще любовь «повелику». Интересно, что в «Сказании о Борисе и Глебе» более явно выражено неодобрение: «Бе любимъ Борисъмъ паче меры» (Успенский сборник, с. 48, стб. 2).

Выражение «любить кого-либо повелику» подразумевало и следствие — обильную материальную поддержку от любящего: «любяше дружину повелику, именья не щадяше, ни питья, ни еденья браняше» (164. Под 1036 г.); «попы любяше повелику... и дая имъ от именья своего урокъ» (166. Под 1037 г.) и пр. Летописец указал на странное, чрезмерное материальное внимание князя к своему слуге, украшенному гривной. «Неправильной» являлась и внешность Георгия: Борис «възложилъ на нь гривну злату велику. В ней же предъстояше пред нимъ». Но ведь не княжеский слуга, а, наоборот, князь перед окружающими должен был красоваться в золотой гривне, да еще большой. Автору был знаком библейский мотив отличия героя золотой гривной (ср.: Бытие, гл. 41, стих 42: «И възложи гривну злату на выю его»; Книга пророка Даниила, гл. 5, стих 29: «И гривну златую възложиша на выю его» — Библия. Острог, 1581, л. 20, стб. 1; л. 154, стб. 1. Благодарю Л. И. Щеголеву за указание этих параллелей). Но в Библии отличали вовсе не слуг и отсутствовал мотив их предстояния перед господином.

«Неправильной» была и дальнейшая судьба Георгия. Он погиб, пронзенный вместе с Борисом одним копьем: «падша на нем, прободоша с нимъ». Слугам же положено было находиться на расстоянии от князя. С Георгия сорвали гривну: убийцы пытались с него «вборзе сняти гривны съ шие... и тако сняша гривну». Ведь так с уважаемым человеком обычно не расправлялись, — странная, отвратительная ситуация. У Георгия отсекли голову: «усекнуша главу его... а главу отвергоша прочь», — так свирепо в летописи не убивали, тело не расчленяли.

Наконец, тело убитого не смогли опознать: «после же не обретоша тела сего въ трупии», — заключительный беспорядок, ибо опознание чьего-либо тела обычно не вызывало затруднений, даже среди множества трупов (см., например, под 977 г.). Логика рассказа вовсе не требовала упоминания о безрезультатных поисках тела Георгия (без этого упоминания изложение развивалось бы без перескока через события: убийцы пронзили Бориса и его слугу, у слуги отрубили голову и сняли гривну, Бориса же завернули в шатер и повезли на повозке). Вероятно, летописцу хотелось сообщить все известные ему детали необычной судьбы Георгия как персонажа все-таки «чужого».

Необычны были имя и происхождение Георгия: «родомъ сынъ угърскъ, именемъ Георги». Когда надо было выделить происхождение человека или его имя, летописец употреблял пояснения «родом такой-то» и «именем такой-то», а не просто обозначал национальность и имя персонажа. Так он сделал и тут, обозначив двойную необычность персонажа, ибо конкретные венгры упоминались в летописи очень редко (еще дважды: король Стефан под 996 г. и король Коломан с епископом Купаном под 1097 г.), а имя Георгий относилось лишь еще к одному реальному человеку (к греку митрополиту под 1051, 1072, 1073 гг.). Венгров летописцы не раз связывали с необычными (не половецкими ли?) предмета-

ми обихода — с вежами (под 898 г.), с серебром и особыми конями (под 969 г.), с игрой в мяч (под 1097 г.). Необычный — значит, «чужой».

Украшенная или почетная одежда иноземцев ощущалась как зловещий признак. Она несла неудачи и несчастья тем, кто ее носил; деревянные (а они «чужие») «в великихъ сустугахъ гордящися» (величались в крупных застежках), были убиты (70. Под 945 г.); варяг Якун, на котором была маска, отделанная золотом (или плащ), проиграл сражение и потерял свое украшение («луда бе у него золотом истъкана... отбеже луды златое» — 162. Под 1027 г.). На Георгия тоже была наложена тень чуждости и зловещести. Но не все оттенки здесь распознаны.

1018 г.

«В лето 6526. Приде Болеславъ съ Святополкомъ на Ярослава съ ляхы. Ярославъ же, совокупивъ русь, и варягы, и словене, поиде противу Болеславу и Святополку. И приде Волыню. И стаха оба полъ реки Буга. И бе у Ярослава кормилецъ и воевода именемъ Буды. Нача укаряти Болеслава, глаголя: „Да то ти прободемъ трескою черево твое толстое!“ Бе бо Болеславъ великъ и тяжекъ, яко и на кони не могы седети. Но бяше смыслень. И рече Болеславъ къ дружине своей: „Аще вы сего укора не жаль, азъ единъ погыну“. Вседъ на конь, вбрде в реку. И по немь — вои его. Ярослав же не утягну исполчиться. И победи Болеславъ Ярослава. Ярославъ же убежа съ 4-ми мужи Новугороду. Болеславъ же вниде в Кыевъ съ Святополкомъ» (156, 158).

Перевод

В 1018 году. Болеслав со Святополком и поляками пошел войной на Ярослава. Ярослав, соединив русь, варягов и новгородских словен, пошел навстречу Болеславу и Святополку. Он подошел к городу Волыню. Они остановились по противоположным сторонам реки Буга. У Ярослава служил дядька и воевода по имени Буды. Тот начал уязвлять Болеслава, выкрикивая: «А вот проткнем колом брюхо твое толстое!» Ибо Болеслав был так дороден и грузен, что не мог усидеть даже на коне. Однако он был умен. Болеслав обратился к своей дружине: «Если вас не обидело такое оскорбление, то я один погибну». Воссел на коня и поехал вброд через реку. А за ним — его воины. Ярослав же не успел исполчиться. Болеслав победил Ярослава. Ярослав всего с четырьмя мужами бежал в Новгород. Болеслав со Святополком вошел в Киев.

Комментарий: Болеслав

Рассказывается о произошедшем после смерти Владимира Святославича захвате Киева польским королем Болеславом I Храбрым, который поддержал князя Святополка Владимировича Окаянного, боровшегося за власть со своим сводным братом князем Ярославом Владимирови-

чем. Этот отрывок позволяет коснуться вопроса о делении людей на «своих» и «чужих», в «Повести временных лет».

Рассмотрим, в частности, как летописец (предшественник Нестора) отнесся к польскому королю Болеславу, внезапно пришедшему «с ляхы» из Польши. Летописный текст содержит выразительную характеристику короля: «чеверо тольстое», «великъ и тяжекъ». Хотя первая оценка, броская и грубая, высказана персонажем, а вторая, более общая и мягкая, принадлежит самому летописцу, но они поставлены вместе, вторая поясняет первую. Летописец был согласен с первой оценкой Болеслава и подчеркнул физическую ненормальность или необычность короля, который в действительности вряд ли был так уродлив или удивителен. Летописец, в сущности, отделил польского короля от нормальных людей, а неприятно необычный — значит, «чужой».

К характеристике Болеслава летописец добавил еще одну яркую деталь: король был настолько грузен, «яко и на кони не могы седети», то есть, как можно понять, не садился на коней вообще. Это тоже ненормально, тем более для короля. На самом деле Болеслав, конечно, ездил на коне, что невольно подтвердил летописец двумя-тремя строчками ниже («вседъ на конь»). Отлучив Болеслава от конской езды, летописец снова отлучил его от нормальных людей, подтолкнув в разряд «чужих».

В характеристике Болеслава присутствовала деталь, не столь бросающаяся в глаза, но существенная: «Да то ти прободемъ трескою». Королю угрожали позорящей смертью — не от меча, сабли, копья или стрелы, а от жерди, кола. Недаром Болеслав так оскорбился: его выключали из состава благородных воинов. Сам летописец понимал оскорбительность этой угрозы (назвав ее словом «укаряти»), однако по ее существу не возразил, допуская возможность перевода Болеслава в более неблагородный ряд.

Смысл данного места «Повести временных лет» помогают проверить его переписчики, которые в списках XV в. заменили непонятное слово «треска» словом «тростие»: «Да чрево твое тольское прободемъ ти тростью» (Летопись по Лаврентиевскому списку, с. 139). В результате, возможно, изменился смысл фразы. «Тростью» обычно оборонялись от вредных существ, нечистой силы и пр. Например, в «Успенском сборнике»: «Тръсть пагуба есть змиемъ» (349). В той же «Повести временных лет» «тростью» избавлялись от нечистой силы в рассказе под 912 г. (54), стали Перуна «тети жезльемъ», отделяясь от него, в рассказе под 988 г. (132). Так что Болеславу, словно нечистой силе, грозили воткнуть «трость» в брюхо. Хотя подобная ассоциация у переписчиков не была четкой, но показательно, что они даже чуть решительней отнесли польского короля к чуждым существам.

Отметим еще одну деталь в эпизоде с Болеславом. Воевода Будый как бы стоит напротив короля («стапа оба поль реку»), рассматривает его, притом неприязненно. Будый относится к Болеславу как к «чужо-

му». Летописец, пожалуй, был солидарен с Будыем. В общем, летописец находился лишь на подступах к обрисовке необычного персонажа как «чужого».

Разные летописцы, участвовавшие в создании «Повести временных лет», тоже только приближались к резкому различению «чужих» персонажей от «своих». Способы характеристик аналогичны в рассказах: об обрах во вступительной части летописи, о печенежине под 992 г., о «детище» под 1065 г., о богах народа чуди под 1071 г., о митрополите Иоанне под 1089 г. Все это незванные пришельцы в той или иной мере: обры (авары) напали на славян, печенежин вместе с печенежским войском пришел на Русь тоже извне, митрополит Иоанн был приведен из Византии, неведомого «детища» (младенца) выловили со дна реки, чудские боги поднимаются из «бездны».

Летописцы постоянно отмечали неприятную, необычную внешность неожиданных пришельцев: обры — «теломъ велици и умомъ горди» (30), печенежин — «превеликъ зело и страшень» (138), «детищъ» — «на лицю ему срамнии удове» (178), чудские бо «суть же образом черни, крилаты, хвосты имуще» (192), о митрополите Иоанне, очевидно, очень изможденном, люди сказали: «Се навье пришелъ» (220. Это мертвец пришел. Как бы с того света).

К этим главным признакам «чуждости» пришельцев летописцы иногда добавляли замечания о неприязненном рассматривании их необычной внешности, очевидно, нормальными людьми: уродливого «детища... позоровахомъ до вечера... иного нелзе казати срама ради» (178. Младенца мы разглядывали до вечера... о прочем же и упомянуть стыдно); страхолюдного митрополита «видевше людье вси рекоша: „Се навье...“» (220. Все люди, видевшие его, обозвали его: «Это мертвец...»); хромого Ярослава рассмотрели, пока «стояша месяца 3 противу собе», и стали его «укаряти» (156. Стояли около трех месяцев друг против друга и стали его поносить).

Сравнительно редко указывалось на странный, чуждый нормальному образ жизни пришельцев: обры «не дадяше въпрячи коня, ни вола», но ездили на людях (30), чудские боги «живуть... в безднахъ», боятся креста (192), митрополит Иоанн — «скопчина» (220. Скопец)...

Иногда в той же летописной статье добавлялась еще одна примета «чуждости» пришлых персонажей — их недостойный конец: обры — «Богъ потреби я, помроша вси, и не остана ни единъ обьринъ» (30. Бог истребил их, все они перемерли, ни одного обрина не осталось в живых), страшный печенежин — «удавлен славянином, который «удави печенежина в руку до смерти» (138. Удавил печенежина до смерти своими руками), уродливый «детищъ» — «паки ввергоша ѿ в воду» (178. Снова выбросили его в реку), пугающий худобой митрополит — «от года бо до года перебивъ, умре» (220. С год протянув, помер). Рассказ о Болеславе находился в ряду рассказов о неприятных — «чужих» пришельцах.

Признаки, по которым персонажей можно было отнести к «чужим», еще не составились у летописцев в четкую систему. Поэтому в некоторых рассказах они использовали далеко не все, иногда и не самые главные мотивы «чуждости». Например, в повествовании под 945 г. о деревлянах, пришедших из своей деревлянской земли в Киев, и в повествовании под 1015 г. о туровском князе Святополке Окаянном, насильно вокняжившемся в Киеве, не сообщалось о дурной внешности этих пришельцев, однако говорилось об их странном поведении (деревляне объявили: «Не едемъ на конех» — 70. Святополк же совсем «не можаше седети на кони» — 158), а затем упоминалось об их позорной смерти (деревлян было велено «засыпати я живы, и посыпаша я» — 70. Засыпать их живыми, и полностью засыпали их. Святополк же «прибежа в пустыню... испроверже зле животъ свой» — 158. Прибежал в пустыню... мерзко испустил свой дух). Среди рассказов о чужаках рассказ о Болеславе содержит, пожалуй, самый полный набор соответствующих мотивов.

Однако характеристику Болеслава летописец закончил неожиданной похвалой: «Но бяше смыслень» (156). Этот эпитет в «Повести временных лет» прилагался только к «своим». Болеслав не воспринимался летописцем как абсолютный чужак. Смысловой оттенок «свой» или «чужой» еще был расплывчатым и колеблющимся. В других рассказах летописцы учитывали вдруг отношение «чужого» персонажа к «нашему», и тогда, например, печенежин неприязненно разглядывал русского воина («узре ѿ печенезинъ и посмеяся» — 138. Печенег увидел его и надсмеялся над ним). Нечетко оформившееся и неустойчивое, обозначенное как бы необязательными деталями деление людей на «своих» и «чужих» было типично для «Повести временных лет».

1019 г.

«В лето 6527... Святополкъ бежа... Не можаше терпети на единомъ месте и пробежа Лядскую землю. Гонимъ Божимъ гневомъ, прибежа в пустыню межю Ляхы и Чехы. Испроверже зле животъ свой в томъ месте» (158).

Перевод

В 1019 году... Святополк бежал... Ему было невыносимо осесть на каком-то одном месте, и он пробежал через всю Польскую землю. Гонимый Божим гневом, он прибежал в пустыню между Польшей и Чехией. В том месте он мерзко и подох.

Комментарий: пустыня между Польшей и Чехией

В этой статье рассказывается о бесславной смерти Святополка Окаянного, первого князя-братоубийцы на Руси. Обозначение места его смерти — «межю Ляхы и Чехы», — вероятно, восходило к западносла-

вянской поговорке «между чехы и ляхы», которая имела иносказательный смысл «Бог знает где», но была осмыслена летописцем как указание реальной местности (см.: *Ильин Н. Н.* Летописная статья 6523 года и ее источник: (Опыт анализа). М., 1957, с. 43—44, 138, 156—157).

В упоминании о «пустыне» между ляхами и чехами отразилось представление летописца о границах между странами. Пустыню между Польшей и Чехией летописец мыслил не единственной в своем роде. Пустыни еще назывались в летописи. Например, пустынями отделялась Мадиямская земля от Египта и от Красного моря (108, 110. Под 986 г.); Еттивская пустыня существовала «между востоком и севером» (242. Под 1096 г.); некоторые запустелые, ставшие безлюдными места в Византии и на Руси напоминали пустыни (84. Под 971 г.; 232. Под 1093 г.). Кроме того, между Византией и Русью отмечались и «страшны места» (48. под 912 г.). Все это были области, пограничные между населенными землями. Летописцы не проводили линейных границ между землями, не руководствовались зримыми картографическими линиями, а вместо границ подразумевали промежуточное пространство между «точками», то есть ориентирами политическими, географическими или ландшафтными. Так обозначались переходы не только между странами, но и между раем и адом, владениями братьев, городом и пригородом и пр. Зачаток будущей категории линейной границы можно отметить у летописцев лишь при упоминании ими ограды («столпья») монастыря или ворот городской стены. Из сочинения Мефодия Патарского было заимствовано также упоминание о пограничных воротах в цепи гор, сомкнувшихся вокруг «нечистых» народов (под 1096 г.). И это все. Границу между Польшей и Чехией летописец просто не был в состоянии провести.

1024 г.

«В лето 6532. Ярославу сущю Новегороде, приде Мьстиславъ ис Тмутороканя Кыеву. И не прияша его кыяне. Онъ же, шедъ, седе на столе Чернигове. Ярославу сущю Новегороде тогда... Ярославъ... посла за море по варягы. И приде Якунъ с варягы. И бе Якунъ слепъ. И луда бе у него золотомъ истъкана. И приде къ Ярославу. И иде Ярославъ съ Якуномъ на Мьстислава. Мьстиславъ же, слышавъ, взиде противу има к Листвену... И бысть сеча силна... Видев же Ярославъ, яко побежаемъ есть, побеже съ Якуномъ, княземъ варяжскимъ. И Якунъ ту отбеже луды златое. Ярославъ же приде Новугороду, а Якунъ иде за море» (162).

Перевод

В 1024 году. Когда Ярослав находился в Новгороде, Мстислав пришел из Тмуторокани в Киев. Но киевляне не приняли его. Он ушел и все же сел на княжеском престоле в Чернигове. Ярослав тогда оставался в Новгороде... Ярослав... послал за море за варягами. С варягами

приплыл Якун. Якун был слепой. У него имелась маска, вытканная золотом. Он пришел к Ярославу. Ярослав с Якуном пошел на Мстислава. Мстислав, услышав об этом, вышел навстречу им к городу Листвену... Произошла сильная сеча... Ярослав, увидев, что его побеждают, побежал с Якуном, варяжским князем. Тут Якун и потерял золотую маску. Ярослав вернулся в Новгород, а Якун уплыл за море.

Комментарий: Якун

В повествовании о борьбе за киевское княжение между сыновьями Владимира Крестителя Ярославом и Мстиславом упомянут варяжский князь Якун, летописная характеристика которого остается двусмысленной: то ли он был слеп (если текст читать, как написано в списках: «и бе Якунъ слепъ»), то ли был красив (если текст реконструировать: «и бе Якунъ съ лепъ»). См.: Ламбин Н. П. О слепоте Якуна и его златотканной луде // ЖМНП. СПб., 1858, ч. 98, № 4—6, отделение 2, с. 74—76). Пока не удастся найти бесспорные доводы в пользу одного из двух возможных прочтений, что побуждает внимательнее присмотреться к манере литературной работы летописца.

Имеющиеся данные делятся на несколько групп.

Исторических данных о Якуне — Акуне — Гаконе, упоминаемом также в «Эймундовой саге», нет (см.: Повесть временных лет, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 371).

Текстологические данные свидетельствуют как будто о слепоте Якуна. Слово «слепъ» стоит во всех важнейших списках «Повести временных лет» (см.: Летопись по Лаврентиевскому списку, с. 144; Ипатьевская летопись» — ПСРЛ, т. 2, стб. 135; «Софийская первая летопись» — ПСРЛ, т. 5, с. 135). Однако можно предположить, что слово «слепъ» распространилось в результате очень давнего искажения; что в «Древнейшем киевском своде» 1039 г. стояло выражение «съ лепъ», но уже в своде Никона 1073 г. оно заменилось словом «слепъ». Текстологически опровергнуть или подтвердить такое предположение нечем. Вопрос о слепоте или красоте Якуна на основе текстологии пока не разрешаем.

Фразеологические данные, пожалуй, позволяют отрицать прочтение «съ лепъ», потому что оно делает не совсем обычной форму всей фразы. Тут два довода. Во-первых, при таком прочтении указательное местоимение оказывается стоящим после имени («Якунъ съ»), в то время как в тексте «Повести временных лет» указательные местоимения «съ», «сей» и пр., как правило, ставились перед именами личными. Однако есть и два исключения: «Георгиеви сему» (148. Под 1015 г.), «Ярославъ же сей» (166. Под 1037 г.). После нарицательных же существительных соответствующие местоимения встречались нередко. Так что этот довод нетверд.

Второй довод: слово «лепъ» не имеет пояснения, в то время как в тексте летописи обычно уточнялось, чем именно «лепъ», «добръ» или

красив персонаж, — ростом, лицом, взором, душою (эта неловкость изложения отмечена: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских рукописных сводах, с. 646). Однако уточнение делалось не всегда. См., например, под 986 г.: «женъ красныхъ», «едину красну» (98), «отроча красно» (108). Так что не удастся решительно отвергнуть прочтение «съ лепъ».

Более того. Напрашивается довод за прочтение «съ лепъ». Ведь фраза начинается с глагола: «Бе Якунъ съ...» А при таком глагольном начале определение, в том числе местоимение «съ», постоянно ставилось после определяемого слова: «Бяше отрокъ съ...» (148. Под 1015 г.), «да буди... крестъ съ» (260. Под 1097 г.), «бе же варягъ той...» (96. Под 983 г.), «бысть же князь ихъ...» (35. Под 1061 г.) и пр. Однако не так уж редко определение находилось в препозиции: «И бе вся земля...» (106. Под 986 г.), «бе же и другой старецъ...» (202. Под 1074 г.), «бе же сей мужь...» (220. Под 1089 г.), «быша си злая» (230. Под 1093 г.) и т. д. Значит, и этот довод не срабатывает. Таким образом, фразеологические данные тоже не вносят ясности в вопрос о слепоте или красоте Якуна.

Данные контекста рассматриваемой летописной статьи можно толковать как косвенные указания на слепоту Якуна. Ведь сообщается, что на нем была маска («луда»), уместная для слепца (см.: *Карамзин Н. М.* История государства российского. М., 1988, кн. 1, т. 1—4. Примечания ко второму тому, стб. 13—14, примечание 27). Однако же опять: значение слова «луда» не ясно, оно могло означать и шлем, латы, плащ (см.: *Повесть временных лет*, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 371; т. 1, стб. 49; *Крымский А. Е.* Древнекиевский говор // ИОРЯС. СПб., 1906, т. 11, кн. 3, с. 396).

Другое контекстное указание: Ярослав с поля битвы «побеже съ Якуномъ». Почему он побежал с Якуном вместе? Обычно потерпевшие поражение бегут «разно», то есть врозь. Ярослав же бежал с Якуном, как можно предположить, потому что тот был слеп, а слепого необходимо было сопровождать. Сходная ситуация в летописи была обрисована только что, под 1015 г. Бежавший с поля битвы и разболевшийся Святополк не мог сам передвигаться, его несли на носилках. Поэтому он требовал от отроков: «Побегнете со мною». И рассказчик подчеркивал: «бегающе с нимъ», «бежаху с нимъ» (158). Некоторые другие упоминания совместного бегства в летописи тоже были значащими, хотя подразумевались не болезни, а иные неприятные обстоятельства в жизни действующих лиц. Например, под 977 г.: «побегъшю же Олегу с вой своими» в такой панике, что Олега эти воины спихнули с моста (88); под 1093 г.: «побеже и Володимеръ с Ростиславомъ» настолько спешно, что Ростислав утонул в реке рядом с Владимиром (230); под 1018 г.: «Ярославъ же убежа съ 4-ми мужи» — так поразительно мало осталось от его войска, что после ему пришлось набирать воинов заново (158). Однако иногда подобные словосочетания не означали ничего, кроме парности лиц:

«Изяславу же со Всеволодомъ Къеву побегшю» (184. Под 1068 г.); «бежа Игоревичъ Давыдъ с Володаремъ Ростиславичемъ» (216. Под 1081 г.). Следовательно, нельзя с полной уверенностью утверждать, что бегство Ярослава с Якуном было обусловлено слепотой Якуна. Контекстные данные не дают возможности сделать однозначный вывод.

Наконец, приходится учитывать соответствие той или иной характеристики Якуна типичным мотивам в летописи. Если Якун был слепым и носил маску, оттого имея зловещий вид, то такой облик варяжского пришельца перекликался с летописной обрисовкой неприятной или угрожающей внешности других пришельцев. Золотая маска делала Якуна похожим на идола, «кумира», а у идолов летопись обычно отмечала золотые или позолоченные части, либо их золотое тело (94, 106, 112. Под 980 и 986 гг.).

Однако мотив красивого Якуна, одетого в золотой плащ, тоже находит соответствие в летописи. Красивыми летописцы называли и не русских персонажей, употреблялось даже обозначение «бесовская лепота» (192. Под 1071 г.). Золотой наряд и вообще дорогая одежда оказывались знаком несчастья (см. комментарий к статье под 1015 г.). Конкуренция мотивов ничего не решает.

Итак, несмотря на обилие доводов, нельзя установить, какое чтение в летописи было первоначальным, был ли Якун красив или слеп. Удивляет равнодушие летописцев к двусмысленности этого изложения, хотя обычно летописцы были готовы давать нужные пояснения. Возможно, этот «текст намеренно был написан так, что допускал двойственное прочтение» (Данилевский И. Н. Библиизмы «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1992, сб. 3, с. 95).

Скорее всего, дело не в летописце. В данной летописной статье очень компилятивной (см.: Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах, с. 179, 223—225, 425), составитель, сводивший источники, невольно отразил литературные особенности какого-то источника, содействовавшие яркости, но не строгой ясности повествования. Действительно, «слеп» и «съ лепъ» — это как бы игра слов. Что-то похожее на каламбуры и игру словами в тексте статьи встречается еще: «привезоша **жито** и тако **ожиша**», «нача сечи варяги, и бысть **сеча** силна»; «видев же Ярославъ, яко **побежаемъ** есть, **побеже** съ Якуномъ, княземъ варяжскимъ, и Якунъ ту **отбеже** луды златое» (162). Кроме того, слово «гроза» было употреблено в статье сразу в двух смыслах — «дождь, гроза» и «страх, борьба» («И бысть сеча силна, яко посветяше молонья, блестящеться оружие, и бе гроза велика и сеча силна и страшна». В другом месте летописи слово «гроза» употреблялось лишь в смысле «угроза, противостояние»: «стояче в грозе сей» — 228. Под 1093 г.). На результаты только небрежности летописца при компилировании материалов все это как-то не похоже. Однако не ясно, каков был необычный

своей словесной изощренностью источник летописца XI в. (киевский? фольклорный? поэтический?).

1030 г.

«В лето 6538... В се же время умре Болеславъ Великий в Лясахъ. И бысть мятежь в земли Лядьске. Вставше людье избиша епископы, и попы, и бояры своя. И бысть в нихъ мятежь» (164).

Перевод

В 1030 году... В это же время умер Болеслав Великий в Польше. В Польской земле произошел мятеж. Восставшие люди перебили своих епископов, попов и бояр. Мятеж продолжился уже среди мятежников.

Комментарий: Болеслав Великий

Приведенное сообщение — это пример краткого официального летописного известия, составленного по специфическим правилам, позволявшим летописцу скрыть свою малую информированность о событиях или малую заинтересованность ими. Польского короля Болеслава I Храброго летописец назвал «великим» вовсе не от великого уважения. Несколько раньше, под 1018 г., возможно, тот же предшественник Нестора саркастически записал, что Болеслав был «великъ и тяжекъ» (156). В прочих местах летописи прозвание «великий» прилагалось только к библейским и церковным лицам. В данном же случае летописец не намекал ни на рослость, ни на духовность польского короля, но просто повторил то, как его именовали другие люди, поляки: Болеслав был «великий в Лясахъ». Составители летописи употребляли лишь широко бытовавшие прозвища, что и оговаривали: «И прослу яко же великий Антоний... И уведанъ бысть всеми великий Антоний» (170. Под 1051 г.); «си вси звахуться от грекъ Великая Скуфъ» (44. Под 907 г. Ср. 30); «и прозваша Олга вещей» (46. Под 907 г.); «Левонъ... иже Левъ прозвася» (40. Под 887 г.); «Ивану, нарицаемому Цемьскию» (86. Под 971 г.).

Упоминание летописца о мятеже в Польше было шаблонным: с теми же деталями и в тех же выражениях летописцы рассказывали и о других мятежах и избиениях (ср. под 1024, 1071, 1093, 1097 гг.) Нет уверенности в том, что летописец считал смерть Болеслава причиной мятежа. Все лаконичное повествование о Польше составилось, по-видимому, методом формальной сводки двух несвязанных сообщений — о смерти Болеслава и о мятеже. Поэтому Польша получилась названной в соседних фразах по-разному: «в Лясахъ», «в земли Лядьске».

Как только киевские летописцы касались событий собственно в западноевропейских странах, летописное изложение становилось отрывочным, шаблонным, малосодержательным. Рассказывая о поляках, летописец в основном отделялся формулами и привычной фразеологией.

Ср. другой рассказ о поляках, под 1069 г.: польский отряд пришел в Киев, и князь «распуца ляхы на покормъ. И избиваху ляхы отай. И възвратися в Ляхы Болеславъ, в землю свою» (186. Распустил поляков на покорм. Киевляне тайком убивали поляков. Болеслав возвратился в Польшу, в свою страну. — Речь шла уже о другом польском короле — Болеславе II). Этот рассказ, в сущности, явился сокращенным повторением предыдущего эпизода под 1018 г. о приходе поляков в Киев: «И рече Болеславъ: „Разведете дружину мою по городомъ на покормъ“. И бысть тако... Оканьный же Святополкъ рече: „Елико же ляховъ по городомъ, избивайте я“. И избиша ляхы. Болеславъ же побеже ис Киева... и приде в свою землю» (158). Таким образом, сообщение под 1030 г. о Болеславе I Храбром не дает возможности выявить авторское отношение летописца к польскому королю.

1073 г.

«В лето 6581. Въздвиге дьяволъ котору въ братьи сей — Ярославичихъ. Бывши распри межи ими, быста съ себе Святославъ со Всеволодомъ на Изяслава. Изиде Изяславъ ис Кыева. Святослав же и Всеволодъ внидоста в Киевъ месяца марта 22 и седоста на столе на Берестовомъ, преступивша заповедь отню. Святослав же бе начало выгнанию братню, желая болшее власти. Всеволода бо прелсти... И тако възстри Всеволода на Изяслава. Изяслав же иде в Ляхы со именемъ многим, глаголя, яко „симъ налезу вои“. Еже все взяша ляхове у него, показавше ему путь от себе» (194, 196).

Перевод

В 1073 году. Дьявол раздул ссору между братьями Ярославичами. Когда между ними началась война, то Святослав вместе со Всеволодом выступил против Изяслава. Изяслав ушел из Киева. В Киев 22 марта вошли Святослав и Всеволод и в селе Берестовом заняли княжеский престол, тем самым преступив отцовское завещание. Святослав стал зачинателем изгнаний братьев из-за своего стремления ко все большей власти. Он обманул Всеволода... Он натравил Всеволода на Изяслава. Изяслав же со многим богатством направился в Польшу, похваляясь: «На эти средства уж наберу воинов». Все это богатство поляки получили от него, да и отправили Изяслава от себя прочь.

Комментарий: поляки

В летописной статье, рассказывающей о распре между сыновьями киевского князя Ярослава Владимировича, поляки, хоть и не очень отчетливо, представлены как обманщики: плату получили, а оплаченного не дали. Аналогичная история рассказана далее, в статье под 1097 г. о распре уже между внуками Ярослава: поляки «обещашася помогати»

Давиду против Святополка «и взяша у него злата 50 гривен», но «солгаша ему, емлюще злато у Давида и у Святополка» (260). Хотя летопись сообщала о случаях корыстной непорядочности только поляков, не заметно, чтобы у летописцев существовало такое мнение о поляках вообще. И все же любопытно, что в статье под 1074 г. бес, заставлявший монахов заниматься обманом, появился именно «въ образе ляха» (202).

1074 г.

«Бе же и другой старец, именовемъ Матфей. Бе прозорливъ. Единою бо ему стоящу в церкви на месте своемъ, възведъ очи свои, позре по братьи, иже стоять поюще по обема странама на крилосе, и виде обиходяща беса въ образе ляха, в луде и носяща в приполе цветокъ, иже глаголется лепокъ. И обиходя подле братью, взимая из лона лепокъ, вержаше на кого любо. Аще прилняше кому цветокъ в поющихъ от братья, мало постоявъ и расслабленъ умом, вину створь каку любо, изидяше ис церкви, шедъ в келью и усняше. И не възвратяшется в церковь до отпетья» (202).

Перевод

Жил и другой старец, именем Матвей. Он был прозорлив. Вот однажды, стоя в церкви на своем месте, он поднял свои очи, оглядел братию, что стояла и пела по обеим сторонам на клиросе, и увидел беса в образе поляка, ходящего в маске и над полой носящего цветок, который зовется «лепок». Бес ходил около братии, извлекал из груди лепок и бросал его на кого-либо. Если цветок прицеплялся к кому-нибудь из поющей братии, то тот внутренне расслаблялся и, немного постояв, придумывал какой-либо предлог, выходил из церкви, шел в келью и засыпал. И не возвращался в церковь до конца службы.

Комментарий: поляк

Под 1074 г. в летопись было вставлено большое повествование о жизни первых монахов Киево-Печерского монастыря. Тут упомянут поляк, он же бес, связанный с представлениями летописца о «своих» и «чужих».

Описание беса, одетого под поляка, в приведенном отрывке вызывает целый ряд вопросов к отдельным деталям. Во-первых, не ясно, что такое «луда», — плащ или маска (см. комментарий к статье под 1024 г.). Вряд ли это плащ, потому что тогда непонятно, зачем бесу надо было заходить в церковь именно в плаще и как по плащу старец сразу определил поляка. Скорее всего, имелась в виду маска, которой бес в церкви прикрыл свою образину, чтобы походить на человека. А на поляка он был похож своим костюмом, а не плащом.

Во-вторых, неясно, что такое «приполь» и, соответственно, что обозначало выражение «в приполе». Если «приполь» — это пола, то тогда

непонятно, зачем цветки у беса были в двух, притом скрытых местах — под полой и за пазухой. «Приполь» — это на самом деле, пожалуй, не сама пола, а место около полы, может быть, над полой, нижняя часть «лона», то есть талия. «В приполе» — на талии костюма.

В-третьих, неясно, о каких цветках шла речь — реальных или изображенных (неважно, подразумевался репей, шиповник, ясенник или иной цветок). Для ответа на вопрос обратим внимание на выражение «носяща в приполе». Глагол «нести» в летописи имел отношение только к переноске тела человека или к ношению одеяний, украшений, знаков отличия. Ср.: «Ношаху сли печати злати, а гостье — сребрени» (62. Под 945 г. Послы носили золотые печати, а купцы — серебряные); «багрянницу... красно носяща» (152. Под 1015 г.); «се язвено... носить Всеславъ и до сего дне на себе» (168. Под 1044 г. Эту сорочку... Всеслав носит на себе и по сей день); «носимъ на себе креста» (192. Под 1071 г.) Таким образом, бес над полами, на талии своего одеяния носил цветок или цветки, — вышитые или пришитые изображения, которые и позволяли считать его одежду польской. Эту одежду, вероятно, украшали цветки, а не один цветок. Недаром в большинстве списков летописи сказано во множественном числе: «носяща в приполе цветки» (см.: *Шахматов А. А. Повесть временных лет*, т. 1, с. 242). Но, может быть, и один крупный цветок красовался над одной полой, тем более что в пояснении к этому украшению все списки употребили единственное число глагола: «еже глаголется лепокъ». Так или иначе, но бес извлекал из изображения цветка как бы настоящие цветок за цветком и бросал их в братию. Это волшебство, иллюзия. Далее в той же летописной статье приводились и другие примеры того, что бесы могут делать, «творяче в мечте» (208).

Самое интересное для нас в данном случае то, что летописец (вернее, автор сказания о киево-печерских монахах) подразумевал щеголеватость одежды как отличительную черту поляков. Это не случайно. Особенно красивые или дорогие наряды летопись обычно отмечала у чужаков — у грека («причинися въ святительские ризы» — 122. Под 927 г.), у деревлян, у венгра, у поляка и пр. (см. комментарий к статье под 1015 г.). Безобразно одетыми представлялись также чужаки — болгары: «въ храме... стояще бес пояса» (122. Под 987 г.). О красоте или некрасивости одежды же «своих» персонажей сами летописцы не упоминали ничего (они лишь во вставленных повестях сохраняли авторские указания на практические отклонения от обыденной нормы в одеяниях мучеников). Поляк, в образе которого скрывался бес, один из самых ощутимо «не своих» персонажей в летописи.

1097 г.

«Ярослав же, сынъ Святополчь, приде съ угры, и король Коломанъ и 2 пископа. И стаща около Перемышля по Вагру... Давыдъ бо в то

чинь пришедъ из ляховъ... И устрете ѿ Бонякъ... и пойдоста на угры... И наутрия Бонякъ исполчи вои свое. И бысть Давыдовъ вой 100, а у самого 300. И раздели я на 3 полкы и поиде къ угром. И пусти на воропъ Алтунапу въ 50 чади, а Давыда постави подъ стягом, а самъ разделися на 2 части, по 50 на стороне. Угри же исполчишася на заступы. Бе бо угръ числом 100 тысящъ. Алтунопа же пригна къ 1-му заступу... И Бонякъ погнаше, сека в тыль... И тако множицею убивая, сбиша е в мячь... И сбиша угры, акы в мячь, яко се соколь сбиваетъ галице. И побегоша угри. И мнози истопоша в Вягру, а друзии в Сану. И бежаще возле Санъ у гору, и спихаху другъ друга. И гнаша по них 2 дни, секуще. Ту же убиша и пископа ихъ Купана и от боярь многы. Глаголаху бо, яко погыбло ихъ 40 тысящъ. Ярославъ же бежа на ляхы» (262).

Перевод

Ярослав, Святополков сын, пришел с венграми, в том числе король Коломан и два епископа. Они стали около Перемышля по реке Вагре... А Давыд в то время вернулся из Польши... Его встретил Боняк... оба пошли против венгров... Наутро Боняк построил своих воинов. Давыдовых воинов было сто, а у самого Боняка — триста. Он разделил их на три отряда и пошел на венгров. Сначала он напустил на них Алтунопу с пятьюдесятью воинами, а Давыда поставил под стягом, сам разделил своих на две части, по пятидесяти воинов на каждой стороне. Венгры же выступили шеренгами. Венгров было сто тысяч. Алтунопа примчался к их первой шеренге... А Боняк погнал их, рубя с тыла... И так они, убивая венгров во множестве, стиснули их, словно мяч... Стиснули венгров, будто мяч, как в кучу сокол сбивает галок. Венгры побежали. Многие утонули в Вагре, другие в Сане. Бежавшие вверху, над Саном, спихивали друг друга в реку. Их гнали и секли два дня. Тут убили их епископа Купана и многих из бояр. Рассказывали, что погибло их сорок тысяч. Ярослав бежал к полякам.

Комментарий: венгры

В данном искусно изложенном эпизоде говорилось о сражении между внуками киевского князя Ярослава Владимировича — между Ярославом Святополковичем, на стороне которого выступило венгерское войско во главе с венгерским королем Коломаном, и Давыдом Игоревичем, на стороне которого был небольшой отряд половецких ханов Боняка и Алтунопы. Какого-либо личного отношения к венграм летописец не проявил.

В повествовании об этом сражении сделаны заимствования из разных устных источников (см.: Повесть временных лет, ч. 2 / Комментарий Д. С. Лихачева, с. 464). Видно, насколько органично летопись усваивала все не «свое». Характеристика венгерского войска полностью соответствовала канону воинского рассказа в летописи, обычно осведом-

дьявшего, каков был воинский строй сражавшихся, как нарушился этот строй, как побежали проигравшие битву, как их преследовали, как они погибали, сколько их погибло, кто именно был убит и пр. (ср. статьи под 1024, 1036, 1060, 1093, 1096, 1103, 1107 и др. гг.). Необычно только конкретное уточнение: венгры построились рядами, шеренгами. Но с венграми в летописи постоянно связывалось что-нибудь непривычное (см. комментарий к статье под 1015 г.). Так что и эта деталь оказалась на своем месте.

Но совершенно необычна для «Повести временных лет» фраза с поэтическими сравнениями: «И сбиша угры акы в мячь, яко се соколь сбиваеть галице». Слова «мячь», «соколь», «галица», названия каких-либо игр или игральных предметов больше не употреблялись в летописи, а птицы упоминались очень редко (голуби и воробьи — под 946 г., черный ворон — под 1074 г., птицы вообще — под 986 г. в «Речи философа», еще под 912 и 1065 гг. в выписках из «Хроники» Георгия Амартола). Сочетание двух сравнений подряд — «акы в мячь, яко се соколь» — также было необычно для летописи (двойные сравнения в летописном тексте попадают редко и только в церковно-риторических рассуждениях. В характеристике заслуг княгини Ольги: «аки деньница предъ солнцемъ и аки зоря предъ светомъ» — 82. Под 969 г. В цитате из Псалтыри: «яко коло, яко огнь» — 242. Под 1096 г.).

И все же, при всей необычности указанной фразы с двумя сравнениями, она вписывалась в общее летописное изложение, потому что в повествовании под 1097 г. многократно (больше десяти раз) использовались сравнения, а во всей летописи нередко использовались сравнения с животными (хотя и не с птицами).

Но, самое главное, потому что необычность фразы, возможно, входила в летописные «правила игры». Дело в том, что в свои рассказы о нападениях, сражениях, осадах и иных военных событиях летописцы открыто или скрыто включали речи проигравшей, потерпевшей стороны, тоже подводившей итоги. В результате появлялись странные, уникальные оценки и детали в повествовании. Так, в статье под 907 г. об успешном походе Олега на Царьград летописец привел слова греков, своеобразно оправдывавших свое поражение: «Нестъ се Олегъ, но святыи Дмитрей, посланъ на ны от Бога» (44. Это не Олег, но святой Димитрий, посланный на нас Богом). Святой Димитрий Солунский больше нигде не упоминался в летописи, и смысл ссылки на Димитрия нам уже неясен. В этой статье как бы со слов греков летописцем был описан погром Царьграда — поэтому о греках говорилось сочувственно, а о Руси отрицательно, тон получился парадоксальный: Олег «много убийства сотвори около града грекомъ, и разбиша многы палаты, и пожгоша церкви. А их же имаху пленники, овехъ посекаху, другиа же мучаху, иныя же растреляху, а другыя в море вметаху. И ина многа зла творяху русь грекомъ...» (44).

В прочих рассказах о сражениях греков и руси летописцы тоже использовали греческие источники и греческие речи, сочувственные по отношению к грекам, но отрицательные по отношению к руси, содержавшие редкие для летописи выражения. Например, под 988 г. после взятия Корсуня Владимиром греческие персонажи рассуждали между собой: «...Гречьскую землю избавишь от лютыя рати. Видиши ли, колько зла створиша русь грекомъ?» (126. Кстати, словосочетание «лютая рать» больше нигде не употреблялось в летописи). В составленной по византийским источникам статье под 941 г. о походе Игоря на Царьград войско руси выглядело злодейским: город «весь пожьгоша. Их же емше, овехъ растинаху; другия, аки странь, поставляюще и стреляху въ ня; изимахуть, опаки руце съвязывахуть, гвозди железныи посреди главы въбивахуть имъ. Много же святыхъ церквий огневи предаша, монастыре и села пожьгоша...» (58. Город весь пожгли. А кого пленили — одних распинали; других, поставив, как мишени, стреляли в них; третьих хватали, связывали руки назад, вбивали им в головы железные гвозди. Много святых церквей они предали огню, пожгли монастыри и села). Сравнение «аки странь» и слово «странь» были употреблены только в этом месте летописи. Статью под 866 г. о походе Аскольда и Дира на греков летописец тоже почти целиком составил на основе греческих источников (см.: Повесть временных лет, ч. 2 / Комментарии Д.С. Лихачева, с. 246—247), откуда проник резко отрицательный эпитет по отношению к руси («безбожныхъ руси») и редкостные для летописи детали и выражения («буря въста», «волнамъ вельямъ въставшемъ засобъ», «корабля смяте», «приверже» — 36, 38).

Таким образом, можно предположить, что в статье под 1097 г. вставленная летописцем необычная фраза «сбиша угры акы в мячь, яко се соколь сбиваетъ галице» явилась отзвуком как бы из венгерских речей по поводу венгерского поражения. Однако этому предположению противоречит поэтическое принижение венгров в данной фразе, что вряд ли было свойственно даже устному венгерскому источнику.

Вероятнее всего, рассматриваемое высказывание о венграх восходило к половецкому эпосу (так считал М. Д. Приселков, см.: Повесть временных лет, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 464). Но и в этом случае фраза вписывалась в летопись с ее изобразительными сравнениями, относившимися к различным народностям и людям: «яко же и всякий зверь» (30), «яко пси», «аки скоть бесловесный» (32), «аки волкъ» (70. Под 945 г.), «аки губа напаяема» (74. Под 955 г.), «аки пардусъ» (78. Под 964 г.), «аки луна в нощи» (82. Под 969 г.), «акы зверье дивии» (148. Под 1015 г.), «акы свинья в кале» (182. Под 1068 г.), «яко мухы» (208. Под 1074 г.) и др. Летописец с литературным профессионализмом, даже изысканно исполнил свое дело, но живого представления о венграх у него не было на этот раз.

1103, 1104 гг.

«В се же лето ведена бысть дщи Святополча Сбыслава в Ляхы за Болеслава месяца ноября въ 16 день...

В лето 6612. Ведена дщи Володарева за царевичъ за Олексиничъ Цесарюгороду месяца иулия въ 20. Томъ же лете ведена Передъслава, дщи Святополча, в Угры за королевичъ августа въ 21 день» (268, 272).

Перевод

В этом же году 16 ноября дочь Святополка Сбыслава была ведена в Польшу замуж за Болеслава...

В 1104 году. 20 июля дочь Володаря ведена в Царьград замуж за царевича Алексея. В том же году 21 августа дочь Святополка Передслава ведена в Венгрию замуж за королевича.

Комментарий: Польша, Венгрия

В конце «Повести временных лет» содержится серия сообщений о выдаче древнерусских княжен замуж за иностранных правителей: дочерей киевского великого князя Святополка Изяславича (внука Ярослава Мудрого) — за польского короля Болеслава III Кривоустого и за венгерского королевича Ладислава (сына Коломана), а дочери перемышльского князя Володаря Ростиславича (племянника Святополка) — за византийского царевича Алексея (сына Иоанна Комнина).

Несмотря на краткость, в этих сообщениях скрыто все-таки отразились представления летописца о землях или странах, «не своих» для киевских персонажей. Судя по форме сообщений о княжнах, Польшу, Византию и Венгрию летописец счел «не своими», отдаленными, не очень благоприятными для княжен странами. Поэтому он употребил выражения «ведена в Ляхы», «ведена в Угры», «ведена Цесарюгороду». Выражения «быть ведену куда-то», «вести куда-то» в летописи обычно означали «не свое» место, неприятное для насильственно или вынужденно ведомого: «на заколенье веденъ бысть», «въ пленъ ведени быша во Осурю», «ведоша на место краньево (лобное) и распяша», «ведяше... по пустыни» (110, 118, 110. Под 986 г.), «ведоша в веже» (234. Под 1093 г. Имелся в виду половецкий плен), «веде с собою» (158. Под 1018 г. Имелся в виду польский плен).

Отразившееся в подобных выражениях (с глаголом «вести» или причастием «веден») представление летописцев о «не своих» землях содержало различные неотчетливые оттенки. «Не своя» земля для летописного персонажа — это, прежде всего, не родная область, не «отчина». Поэтому о переводе князя из Ростова в Новгород летописец выразился с некоторым неблагоприятным оттенком по отношению к как бы чужому Новгороду: «Новгородци же идоша Ростову по Мьстислава Володимерича и, поемше, ведоша и Новугороду» (238. Под 1095 г.). «Не свое»

место — это не только не родное, но иногда и не приличествующее, умаляющее героя место. Ср., куда привели теребовльского князя: «ведоша и Белу городу, иже град малъ у Києва... и vedoша и в ыстобку малу» (252. Под 1097 г.). «Не свое» место могло быть даже приятным, оставаясь до поры все-таки непривычным для персонажей. Ср.: «И придохомъ же въ Греки. И vedoша ны, иде же служить Богу своему. И не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли» (122. Под 987 г.). Страны, куда были ведены древнерусские княжны, возможно, ощущались летописцем не только как «не свои», но и хуже — как чуждые для киевских невест. Оттого он упомянул в летописи больше не упоминаемые титулы женихов из тех стран: «царевичъ», «королевичъ».

Польша в летописи постоянно представлялась «не своей» страной для древнерусских персонажей. Недаром о польском короле, бежавшем из Киева в Польшу, летописец высказался так: «И приде в свою землю. Святополкъ же нача княжити Києве» (158. Под 1018 г.). То есть Польша — другая земля (выражение «в свою землю» не являлось шаблонной формулой). Для русских летописных персонажей Польша выставлялась подчеркнуто не родной страной. Ср.: «Святополкъ же бежа в Ляхы. Ярославъ же седе Києве на столе отъни и дедни» (156. Под 1016 г.); «Ярополкъ же, оставивъ матеръ свою и дружину... бежа в Ляхы» (216. Под 1085 г.).

Польша, как «не своя» для персонажей земля не дает им возможности остановиться, отдохнуть, осесть, ни выжить. Ср.: «Святополкъ бежа... и пробежа Лядскую землю... прибежа в пустыню межю Ляхы и Чехы, испроверже зле животь свой» (158. Под 1019 г. Ср. печенеги на Русской земле: «И побегоша печенези разво, и не ведяхуся, како бежати, и овии бегающе тоняху въ Сетомли, ине же въ инехъ рекахъ, а прокъ ихъ пробегоша и до сего дне» — 164. Под 1036 г. Торки на «не своей» земле: «прбегоша и до сего дне и помроша, бегающе» — 176. Под 1060 г.).

Наконец, Польша как «не своя» для русских земля вся необычно возбуждена, разрушительна, неблагополучна. Так, в Польше люди вдруг уничтожили церковь и власть (см. комментарий к статье под 1030 г.) Ср. о неблагополучии у других народов: «нивъздержаньно» творят у себя соседние «при насъ ныне половци» — 32; иступленно «секуть гору, хотяще высечися» окруженные горами «сквернии языки, иже суть в горах полунощных» (242, 244. Под 1096 г.). Летописцы удовлетворялись только мелкими литературными средствами выражения этой идеи.

III. Итоги: парциальность иностранцев в летописи

Западная тематика в «Повести временных лет» не отличалась ни разнообразием, ни глубиной. Летописцы охарактеризовали лишь несколько западных народов и стран: варягов, «немцев» и Рим, Польшу и поляков, Венгрию и венгров, Чехию (но не отдельных чехов). Преобладало

следующее отношение летописцев к западным странам и людям: иноземцы — это «не свои». О «не своих» летописцы писали без особой внимательности, внешне сдержанно и даже равнодушно, нередко по мелочному фразеологическому шаблону, чаще — как о соседях, находящихся где-то извне, далеко, или как о неприятных пришельцах, вдруг появившихся на Руси. Иностранцы, с точки зрения летописцев, отличались различными отклонениями от русских жизненных норм и вызывали у летописцев скрытые скептические и осудительные чувства. Запад не был чем-то авторитетным для летописцев. Редкие явно положительные упоминания стран и иноземцев, как правило, восходили к западным источникам, использованным летописью.

Категория «не своих» в летописи не была представлена последовательно, развернуто и отчетливо. Одна из возможных причин этого заключалась в главенствующем мировосприятии составителей летописи, в том, что летописцы постоянно стремились не к укрупнению, а к умелечению людских группировок. Это видно уже по самому началу «Повести временных лет», где трех братьев, сыновей Ноя, Нестор представил разделенными («живяху каждо въ своей части» — 24), первоначально единый род людской — тоже разделенным («расъеся по всей земли» — 24), владения каждого из сыновей — разделенными на множество стран и народов, славян — тоже разделенными на много народностей и племен («разидошася по земле... И тако разидеся словеньский языкъ» — 24, 26), поляков — в свою очередь, разделенными на племена, и так разделены каждое племя («жившимъ особе» — 26, 30) и каждый род («живяху каждо съ своим родомъ и на своихъ местехъ» — 26, 28). И далее летописцы, называя тот или иной народ, на самом деле имели в виду только его отдельные части или отдельных представителей (например, «варяги» — отряд воинов, «немцы» — посольство и пр.). Обратным путем — от частей к целому — мысль летописцев не развивалась. Поэтому они почти совсем не употребляли обозначений, объединявших все человечество в единое целое. Неостановимое разрушение или исконное отсутствие крупных целых, к пониманию которых еще только предстояло прийти, отвлекало от проведения граней между «своими» и «не своими», «чужими».

Правда, вопреки обычной манере изложения, в летописи встречаются обозначения стран или народов без их дальнейшего дробления на умелчающиеся части. Но во всех подобных случаях на летописное изложение и словоупотребление влиял какой-либо инородный источник. Например, во вступлении к летописи летописец, перечислив племена, вдруг объединил их в единое целое: «Бе множество ихъ. Седяху бо по Днестру оли до моря. Суть гради их и до сего дне. Да то ся зваху от грекъ Великая Скуфь» (30). Ясно, что тут не обошлось без греческого источника, а именно — сочинения Епифания Кипрского (см.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники, с. 80). Или, например, далее, под

998 г., неожиданно следовало заявление, объединявшее всех славян: «Бє единъ языкъ словенскъ» (40). Однако эта фраза в составе большого отрывка была внесена в летопись из западославянского «Сказания о преложении книг на словенский язык» (*Шахматов А. А. «Повесть временных лет»* и ее источники, с. 80—81; *Повесть временных лет*, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 256—257). Еще пример — сообщение летописи под 983 г.: «Иде Володимеръ на ятвягы, и победи ятвягы, и взя землю их» (96), — о ятвягах говорится как о недробимой цельности. Цельный взгляд на ятвягов заимствован из фольклорных преданий о войнах Владимира Святославича (см.: *Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах*, с. 485). Под 1071 г. приведено пророчество, оперировавшее целыми странами: «яко... землямъ преступати на ина места, яко стати Гречьскы земли на Руской, а Рускей земли на Гречьской, и прочимъ землямъ изменитися» (188). Это цитировалось предсказание языческого волхва, то есть тоже фольклорный материал. И т. д.

Преобладал же в летописи рассыпанный или рассыпающийся мир, — не панорама, а калейдоскоп. Пределом деления должен был стать отдельный, единичный человек, но и он в летописи распадался как бы на разных людей с резко различающимися, не сводимыми воедино качествами (например, апостол Андрей — на юге пророк, а на севере простак; угрин Георгий — и счастливчик, и неудачник; Болеслав Польский — и урод, и умен; и пр. Об этом явлении «расщепления» героев летописного повествования см.: *Еремин И. П. «Повесть временных лет»* как памятник литературы; *Он же. Литература Древней Руси: (этюды и характеристики)*. М.; Л., 1966, с. 85—97). Еще предстоит выяснить исторические причины восприятия мира в столь рассыпающемся виде киевскими летописцами конца XI — начала XII вв. Быстрота конфессиональных, политических, экономических и прочих перемен, резкая нестабильность феодальной обстановки X—XI вв., вероятно, способствовали формированию «умельчающегося» мировосприятия. Попытки же монументализации мира проявились в литературе позже, к концу XII в.

Комментарии к переводу

За основу взят ставший классическим перевод Д. С. Лихачева, в который нами внесены многочисленные изменения литературного характера. Наша цель — усилить ясность перевода и для этого дать не пословный, но оттого плохо читаемый перевод, и не архаизирующую стилизацию, создающую образ летописца для наших современных читателей, а легко воспринимаемый научно-литературный, актуализированный перевод, помогающий нам живо представить события и людей, поэтому отражающий нашу публичную, лекторскую речь, наши способы выражения экспрессии, но с преобладанием нейтрального стиля. Ясность — не в ущерб точности, но и точность — не в ущерб ясности.

Некоторые общие правила предлагаемого перевода таковы. 1. Типичным для летописи считаем спокойное, несколько отрывистое, энергичное повествование. Поэтому в переводе текст разбивается на короткие предложения с привычным для нас порядком слов (нарушаемым ради передачи явной экспрессии или заметных параллелизмов выражений), а также для более ясной связи предыдущего и последующего предложений). 2. В переводе опускаются по многу раз повторяющиеся в летописном тексте малосодержательные союзы, частицы, предлоги, притяжательные местоимения («и», «же», «бо», «се», «свои» и пр.). 3. В переведенных предложениях иногда добавляются необходимые пояснительные слова (имена собственные и нарицательные; наречия «еще», «уже», «сначала»; местоимения «весь», «сам», «иной» и пр.). 4. Очень распространенные глаголы («быти», «стати», «ити», «пойти», «прити», «рещи», «глаголати», «пустити» и др.) переводятся в зависимости от контекста в духе наших современных представлений о выразительном литературном повествовании. То же касается перевода союзов и частиц, существительного «земля», прилагательного «великий». Сочетание глагола и деепричастия, не обозначающее тесно связанные действия или состояния, обычно переводится двумя глаголами. 5. Даты переводятся привычными для нас словосочетаниями. 6. Из возможных вариантов перевода предпочтение отдается варианту, морфологически или синтаксически более близкому к древнерусскому тексту.

Обоснования нашего перевода отдельных слов и выражений приводятся ниже. Перевод древнерусских памятников — большая и неизученная проблема, связанная с выбором типа повествователя и побуждающая к отказу от идеи дать монополярный, всезаменяющий, нормативный для всех перевод. Сколько целей, столько и переводов.

Вступление в летописи

Слово «страна» здесь означало сторону Земли, и соответственно оно так и переводится: «Хаму же досталась южная сторона». Об Иафете во всех списках, близких к Лаврентьевскому, сказано с тем же словопотреблением, что ему досталась «полуночная страна и западная» (Летопись по Лаврентьевскому списку, с. 2). Север и Запад считались единой стороной (а не страной). Дальше речь шла тоже о сторонах, а не о странах. Земли. Однако в Лаврентьевском списке появилась искаженная фраза уже явно не о сторонах, а о странах — «полуночные страны и западные» (если бы имелись в виду, допустим, две стороны, то прилагательные стояли бы в единственном числе — «полуночная страны и западная»). Переводим, естественно, текст Лаврентьевского списка: «северные страны и западные».

Слово «часть» в летописи всегда обозначало отсчет от целого. Поэтому переводим с указанием такого целого: «В Иафетовой же части Земли».

Выражение «**седети въ...**» по отношению к народности не имело предметного оттенка и означало «обитать в...» (ср., например, в начальной части летописи: «седающая в лесехъ» — 32, «в поли седаху» — 42). Поэтому фразу «в Афетове же части сеждать...» переводим: «в Иафетовой же части Земли обитают...»

Выражение «**приседети къ...**» не имеет адекватного глагола в современном русском языке и может быть переведено приблизительно: «обитать вплоть до...», «распространяться к...». Поэтому переводим: «Ляхи, пруссы, чудь распространены вплоть до Балтийского моря».

Слово «**колено**» лучше всего перевести как «род»: «Иафетов род». Фраза «Афетово бо и то колено» более ясно передана в других списках: «Афетово бо колено и то» (см.: Летопись по Лаврентьевскому списку, с. 4; *Шахматов А. А. Повесть временных лет*. Пг., 1916, т. 1, с. 4). Местоимение «то» не относилось к «колону» в качестве определения, а являлось подлежащим и как обобщающее слово перед перечислением означало «вот это», «вот что», «вот кто». В соответствии с таким истолкованием переводим: «Иафетов же род вот еще кто».

Слово «**корлязи**» может быть переведено как «корляги», то есть «карлинги», и как приложение может быть присоединено к предыдущему слову: «немци-корлязи» (см.: *Повесть временных лет*, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 212).

Вступление в летописи выделяется своеобразной этно-географической фразеологией.

859 — 862 гг.

Выражение «**от дыма**» переводится как «от семьи» (см.: *Повесть временных лет*, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 233—234).

Фраза «**реша сами в себе**» в одном из списков, близких к Лаврентьевскому, не имеет предлога: «реша сами себе» (Летопись по Лаврентьевскому списку, с. 18), а в том же эпизоде «Новгородской первой летописи» имеет другой предлог: «реша к себе» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, с. 106). Несмотря на мелкость различия, эти три выражения переводятся по-разному: «реша в себе» — подумали (ср.: «рече в собе» — 86. Под 971 г.; «помысли въ себе» — 102. Под 986 г.); «реша себе» — сказали себе; «реша к себе» — сказали друг другу (ср.: «глаголаша к собе» — 248. Под 1097 г.). Местоимение «сами», будучи трижды повторено, явно подчеркивало самостоятельность, независимость племен от варягов: «И почаша сами в себе володети... И воевати почаша сами на ся. И реша сами в себе» (36). В результате фразу переводим так: «А сами надумали».

«**Володети нами**» — властвовать, управлять у нас (а не «владеть нами»).

Язык рассказа о призвании варягов неясен. Неясно, в частности, кто же «изгнаша» варягов, что конкретно означало слово «избращаша» и пр.

898 г.

«Хулити», «похулити» означало «ругать», «поругать». «Ни кому» в данном случае лучше перевести с максимальным нажимом: «никакому».

«Еже» относится не к Пилату, а к его «писанью». «Роптати» не на живое лицо, а на предмет, переводится как «осуждать что-либо».

969 г.

Слово «рече» переводится как «объявил», потому что речь Святослава перед княгиней Ольгой и боярами являлась официальным выступлением.

Выражение «любо кому-то» лучше всего перевести как «нравится кому-то». Ср.: «яко имъ любо, тако створять» (62. Под 971 г.), «чюдно слышати их, любо комуждо слушати их... И бысть люба речь князю» (122. Под 987 г.), «где ти любо» (124. Под 987 г.) и мн. др. Соответственно «не любо ми есть» переводится: «не нравится мне».

Выражение «быти в...», а не «княжити в...», применялось в летописи к людям, не властвующим или еще не пришедшим к власти, и значило «пребывать в...». Например, апостол Андрей — «бывъ в Риме» (26), Ольга после гибели князя Игоря — «бяше в Киеве съ сыномъ своимъ» (68. Под 945 г.). Поэтому выражение «в Киеве быти» из официальной речи еще не княжащего Святослава переводится как «пребывати в Киеве».

Глагол «хочю» (или «хоцю») в сочетании с инфинитивом в речах летописных персонажей имел оттенок официальности и обозначал будущее время, действие, которое определенно свершится. Из речей Святослава это следовало ясно. Например, когда Ольга уговаривала креститься противившегося Святослава, то он ссылаясь на нежелание его дружины: «Како азъ хочю инъ законъ прияти един?» (78. Под 955 г.) Ни о каком реальном «хочю» речи не было. Святослав вопрошал: «Как я в одиночку буду принимать (приму) иную веру?» Или, например, в договоре с греками Святослав клялся: «Хочю имети миръ» (86. Под 971 г.) — подразумевалось не только желание, а обязательство и действие: «Буду соблюдать мир». Так и в речи перед Ольгой и боярами Святослав высказал свое решение: «Буду жить в Переяславце».

По-видимому, нужно внести коррективы в перевод других речей Святослава. Знаменитое «хочю на вы ити» (78. Под 964 г.) — «пойду на вас»; «хочю на вы ити и взяти градъ вашъ» (84. Под 971 г.) — «пойду на вас и возьму ваш город». То же касается речей Ольги и прочих князей, где употреблялся глагол «хочю».

Определительная формула «то есть...» очень редка в летописи сравнительно с часто употребляемой формулой «се есть...», от которой она, возможно, отличалась неким оттенком отстраненности говорящего от указываемого объекта. Ср.: «то лъжа есть» (52. Под 912 г.), «то суть

неистовии» (90. Под 980 г.), «не суть то бози» (96. Под 983 г.), «то есть бесъ» (190. Под 1071 г.), «то есть ворогъ» (238. Под 1095 г.). Поэтому, если формула «се есть...» переводится как «это», то формулу «то есть...» лучше перевести как «то», «там».

Слово «середа» в данном случае обозначало не просто географическую середину, но экономический центр земли. Словом «центр» в переводе передается и официальность речи Святослава.

Параллелизм выражений «яко то есть... яко ту...» побуждает перевести слово «ту» несколько отстраненно — «туда» (а не «тут»).

Слова «благый» и «благо» в летописи употреблялись исключительно в церковно-богословском контексте, кроме данного отрывка. В его контексте же существительное «благая» имело сугубо материальный смысл, более узкий, чем «блага». Выражение «вся благая» можно перевести как «все добро», а с официальным оттенком — как «все ценности».

Глаголы «сходитися», «схожатися» и производные от них слова в летописи употреблялись только по отношению к людям, опять-таки кроме данного отрывка, где глагол «сходятся» был отнесен преимущественно к предметам, которые сами сходиться-собираться не в состоянии. Поэтому переводим: «стекаются» (в значении «своятся»).

«Паволоки» переводим обобщенно как «шелка» (см.: Повесть временных лет, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 280).

«Челядь» допустимо переводить более осторожно: не «рабы», а «слуги» (см.: Там же, с. 277—278).

Объяснительная часть речи Святослава отличается не совсем обычным для летописи словоупотреблением, что тоже может указывать на нерусский источник сообщения. Вся речь звучит как немного «переводная».

986 г.

Летописному широкому обозначению «немцы» нет соответствия в современном русском языке. Поэтому оставляем это слово, не переводя.

Глагол «кланятися» по отношению к кумирам, Богу, иконам и пр. обозначал «поклоняться». Так и переводим.

Смысл словосочетания «по силе» отчетливо выражен, например, в переводном «Житии Пахомия»: «Попущай когождо по силе ясти и пити. И по силе едущемъ имъ и дела имъ задежи. Да и пастити ся имъ възбрани, ни ясти. Крепъкая крепъкымъ и ядущимъ задеваи дела, худая же и льгъкая — трудящимъся и не мощънеимъ» (Успенский сборник, с. 208. Каждому разрешай есть и пить посылно. По их посылному деянию поручай им работу. Не запрещай им ни поститься, ни кушать. Трудные дела задавай крепким и сытым, неважные же и легкие дела — утрудившимся и слабым). Смысл словосочетания «по силе» можно было понимать в сторону еще большей вольности в соблюдении поста, чем «посильно», что проявилось, например, в «Летописце Переяславля Суздальского», где «немцы» отвечали Владимиру так: «Пост

по силе, какъ кто хочетъ» (Летописец Переяславля Суздальского, составленный в начале XIII в. (между 1214 и 1219 гг.) / Изд. подгот. К. М. Оболенский. М., 1851, с. 18—19).

Выражение «идете опять» двусмысленно, так как не содержит пояснения, куда именно идти предложил «немцам» Владимир. То ли резко: «Идите прочь». То ли сдержанно: «Идите назад в Рим». То ли даже уклончиво-любезно: «Придите ко мне когда-нибудь снова». Такая двусмысленность однажды обыгрывалась в летописи, в рассказе о четвертой мести княгини Ольги деревлянам, которая им обещала: «Смирившаяся с вами, пойду опять» (72. Под 946 г.). Деревляне поняли слово «опять» как «назад», в Киев, а Ольга вкладывала в это слово иной смысл — «снова, на Искоростень». Однако Владимир не занимался игрой слов, выражался однозначно и вежливо, да и немцы больше не приходили. Поэтому переводим: «Идите назад». Двусмысленность и неясность наслоились, по видимому, в результате позднейших переделок первоначального летописного повествования о переговорах с «немцами».

В цитируемом поучении против «немцев» под 988 г. фразу «**працають же грехи на дару**» перевожу, как предложил В. М. Кириллин: «прощают грехи за мзду». Ср. под 1097 г.: «вдасть дары велики на Давыда» (260. Дал великие дары за Давыда).

996 г.

Слово «околнии» употреблялось в летописи в значении внешнего окружения чего-либо, ближнего и дальнего. Поэтому выражение «съ князи околними» переводим: «с окружающими князьями».

987 г.

Слово «старци» (во множественном числе) в летописи означало собрание не столько старейшин, сколько советников (см.: Повесть временных лет, ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 350), однако советников пожилых. Поэтому слово «старци» не переводим.

Словосочетание «**бытие мира**», в первую очередь, имело в виду библейскую историю мира, которую греческий философ изложил Владимиру. Ср. в самой «Речи философа»: «научися от ангела Гаврила о бытии всего мира, и о первомъ человеце, и яже суть была по немъ и по потопе, и о смещеньи языкъ, аще кто колько летъ былъ» и пр. (108. Под 986 г.). Поэтому выражение «о бытии всего мира» переводим как «об истории всего мира».

Фразу «**суть же хитро сказующе**» нельзя перевести точно по форме («они — искусно рассказывающие», «они хитроглаголивые»). По нормам современного русского языка более приемлемо: «Они искусно рассказывают», а в данном контексте: «Они искусные рассказчики».

Слова «хитро», «хитрость», «хитрый» имели в летописи общее значение «искусно», «искусство», «искусный». Так и переводим.

О слове «любо» см. комментарий к переводу из статьи под 969 г.

1015 г.

Глагол «напасти» без последующего предлога «на» означал некое стремительное действие само по себе. Поэтому переводим «нападоша» как «набежали».

Собирательное существительное «зверье» соответственно переводим как «зверье».

Фраза «и се нападоша акы зверье дивии около шатра и насунуша и копы» явно испорчена и оттого не совсем вразумительна. Она может быть истолкована трояко: 1) убийцы окружили шатер Бориса и сначала проткнули копьями шатер; 2) убийцы появились около шатра, а затем уже внутри шатра они проткнули Бориса копьями; 3) убийцы напали на Бориса у шатра и сначала наставили на него копьё. Смысл этого места колеблется в разных списках летописи. Считаем, что в Лаврентьевском списке выражен первый смысл: Борис лежал на постели внутри шатра, когда убийцы набросились настолько зверски, что Бориса и его слугу пронзили через шатер, потому-то им не сразу удалось убить Бориса. Первоначально же, в «Древнейшем киевском своде», рассказ был яснее: шатер здесь не упоминался и употреблялись правильные словосочетания «нападоша на нь» и «зверье дивии», а убийцы тут же и прикончили Бориса (см.: Повесть временных лет, ч.2 / Комментарии Д. С. Лихачева, с. 573).

Фразу «и слугу его, падша на нем, прободоша с нимъ» переводим в нормах последовательности нашего современного связного рассказа: «...пронзили Бориса. И с ним пронзили...» Выражение «падша на нем» (правильней, быть может, «падша ся на нем») не содержало пояснения о том, что слуга именно заслонил собою Бориса, распростершись на нем. Поэтому переводим более неопределенно: «упавшего на него».

«Бяше родом сынъ угърескъ» — дословно: «бывал родом венгерский сынъ». Переводим более неопределенно: «происходил родом из венгров».

Глагол «избити» означал сплошное убийство всех упомянутых лиц подряд. Поэтому переводим: «перебить».

Собирательное существительное «трупие» (ср. выше «зверье») не удается перевести одним словом. Чтобы сохранить собирательный оттенок, предлагаем эквивалент выражению «въ трупии»: «во множестве трупов», «среди множества трупов».

Язык вставки о Георгии все-таки специфичен.

1018 г.

Формула «**приде на кого-либо**», употребляемая в летописных рассказах о военных событиях, все-таки требует уточняющего добавления в нашем современном словоупотреблении и поэтому переводится как «пришел войной на...».

Выражение «**совокупивъ русь, и варягы, и словене**» является в Лаврентьевском списке единичным видоизменением обычной летописной формулы «совокупити вои многы», которая обозначала собирание или набирание как бы однородного войска для успешного похода. Совокупление же разнородных отрядов для обороны привело к составлению объединенного, но не монолитного войска, которому затем и не удалось противостоять нападавшим. Оттого слово «совокупивъ» в данном случае лучше перевести как «соединив».

Формула «**пойти противу кому-либо**» имела оттенки, различавшиеся в зависимости от летописного контекста. Она означала «пойти против кого-либо», когда речь шла непосредственно о сражении двух сторон. Но она означала «пойти навстречу кому-либо», когда имелось в виду лишь продвижение к месту будущей битвы. Вот почему данное место надо перевести: «пошел навстречу».

О «**кормильце**»-дядьке см.: *Лихачев Д. С.* Комментарии / Повесть временных лет, ч. 2, с. 295.

Древнерусское слово «укаряти» имело общее значение «оскорблять», но с дополнительными оттенками в контексте летописных рассказов. В данном случае оскорбления были особенно наглыми, воевода поносил короля. Поэтому предлагаем в качестве перевода слово «уязвлять».

Сочетанию частиц «**да то ти**» в древнерусской поносной речи соответствует наше современное разговорно-задорное «а вот-те».

Сочетание «**великъ и тяжекъ**», по нашему мнению, прежде всего подчеркивало тяжеловесность короля, и оттого оно переводится как «дороден и грузен». Если же считать, что здесь указывалось на внешнюю толщину персонажа, то можно перевести: «огромен и массивен» настолько, что не помещался на коне.

Прилагательное «**смыслении**» с общим значением «умный» меняло оттенки в летописных рассказах. Круг его дополнительных значений определялся исходным словом «смысль», которое означало «мысль», «замысел», «намерение», «соображение» и т. д. Вполне возможно, что в данном случае слово «смыслень» подразумевало подвижность ума, сообразительность внешне неповоротливого Болеслава, сумевшего сразу ответить на оскорбление.

Наречие «**жаль**» в летописи обычно относилось к конкретным предметам и существам: «жаль» отчины, отня стола, лошади, смерда (80, 186, 268. Под 968, 1069, 1103 гг.). Сочетание «жаль» с абстрактным существительным «укоръ» необычно. Быть может, в первоначальном

тексте Болеслав говорил о себе: «меня не жаль». Тогда логика его рассуждения понятна: «Если после такого оскорбления вам всем меня не жаль, то я один...». В дошедшем тексте, возможно, получился пропуск, и приходится переводить: «Если вас не обидело такое оскорбление...»

В этой же фразе непонятно, почему Болеслав обещает погибнуть («погыну»), раз дружине не жаль его. Вероятно, в первоначальном тексте вместо глагола «погыну» стоял другой глагол, связанный со словом «гонити» или «погонити», и изложение развивалось логично: Болеслав пригрозил своей дружине, что он в одиночку «погонит» на Ярослава, что он тут же и сделал. Затем (очень рано) в речь Болеслава вкрались искажения.

Формула «всести на конь» обычно была нейтральна, однако иногда она обозначала быстрое движение — вскочить на коня. В данном же случае она указывала на несколько замедленное движение толстого и важного Болеслава — «воссел на коня».

Глаголы «вбрести», «побрести», «пробрести», «перебродитися» (возможно, «бродити» и «убрести») обозначали в летописи передвижение по броду. Поэтому выражение «вбрете в реку» переводится как «поехал вброд через реку».

Некоторые особенности словоупотребления из отмеченных выше побуждают к поискам польского источника эпизода.

1019 г.

Глагол «терпети», особенно с отрицанием «не», в летописи употреблялся в значении «выносить что-либо», обычно с пояснением того, чего не выносят персонажи. В данном случае Святополк, побуждавший своих спутников к непрерывному бегству («побегнете!»), явно не мог выносить остановки на одном месте. Поэтому добавляем глагол «осесть». Кроме того, выражение «не можаше терпети» переводим как обозначение внутреннего состояния человека: «Ему было невыносимо...»

Экспрессивную формулу «испроверже зле животь свой» адекватно, пожалуй, нельзя перевести. Если пытаться передать именно глагол «испроверже», то выражение переводимо нашей современной литературной формулой: «испустил свой дух». Слово «зле» осуждало то, как отрицательный герой испустил дух: «гносно», «мерзко». Но можно стараться сохранить точный перевод слова «животь» — жизнь. Ведь в летописи однажды было сказано: «испусти духъ Иисусъ» (118. Под 986 г.). Так что «испроверже животь» — это не столько «испустил дух», сколько «расстался с жизнью», «лишился жизни». А в общем, может быть, и «подох».

1024 г.

Слово «луда» переводим как «маска». См. комментарий к этому отрывку.

О выражении «**взиде противу има**» см. комментарий к переводу отрывка под 1018 г.

Выражение «**побежаемъ есть**» лучше переводится не в пассивной, а в неопределенно-личной форме: «его побеждают».

1073 г.

Фразеологическое сочетание «**въздвиге котору**», пожалуй, лучше всего перевести нашим современным фразеологическим же сочетанием «раздул ссору».

Формулу «**сести на столе**», не означавшую конкретное сидение на конкретном предмете, лучше перевести более абстрактным выражением «занять престол».

Выражение «**бе начало выгнанию братню**» в данном случае имело более общий смысл, подразумевая не один случай, а целую череду подобных преступлений. Поэтому переводим: «был зачинателем изгнаний братьев».

Выражению «**взострити кого-либо на кого-либо**» ближе всего современное выражение «натравить кого-либо на кого-либо».

Глагол «**налезти**» в зависимости от контекста можно перевести и как «собрать» (ср. несколько раньше, под 1054 г.: «землю отецъ своихъ и дедъ своихъ, иже налезоша трудомъ своимъ великимъ» — 174).

Выражение «**взяти злато или имение у кого-либо**» имело смысл не столько «забрать» или «отнять», сколько «получить от кого-либо» (ср. под 944 г.: «вземъ у грекъ злато и паволоки и на вся воя и възвратися въспяты» — 60; под 1097 г.: «ляхове же обещапаша ему помогати и взяша у него злата 50 гривен» — 260).

Фразеологическое сочетание «**показати кому-то путь**» лучше всего перевести как «отправить кого-то куда-то» (ср. под 980 г., когда варяги попросили Владимира Святославича: «Да покажи ны путь въ Греки». Этот путь варягам не нужно было показывать. Речь шла о разрешении отправиться в Царьград. И князь отправил их: «Идете» — 92).

Летописная статья под 1073 г. насыщена феодальной фразеологией.

1074 г.

Выражение «**позрети по кому-либо**» лучше перевести как «оглядеть кого-либо».

Словосочетание «**обиходящ бес**», не уточняющее, кого же бес обходит, лучше перевести как «ходящий бес». Так же и странное выражение «обиходити подле братью» переводим: «ходить около братии».

Слова «**умом**», «в уме» нередко означали «внутренне». Так и переводим.

Язык этого отрывка своеобразен.

1097 г.

«Исполчити вои» — в данном случае «построить воинов».

«Полк» — в данном случае немногочисленный отряд.

Выражение «пустити на воропъ», то есть «послать напасть», лучше перевести как «напустить».

«Пригнати» — в данном контексте, пожалуй, «примчаться».

Выражение «сбити в мячь» переводится как «стиснуть, словно мяч» (иные варианты перевода менее удачны: «сбить в мяч» — сейчас не говорят, да и слово «сбить» двусмысленно; «превратить, словно в мяч» — не передает усилий).

Словосочетание «возле Санъ у гору» означало не столько «вдоль Сана вверх», сколько «вверху над Саном», с высокого берега которого венгры и спихивали друг друга.

«На ляхы» — лучше перевести «к полякам», а не «в Польшу» (ведь не сказано: «в Ляхы»).

4. «НОВГОРОДСКАЯ ПЕРВАЯ ЛЕТОПИСЬ»

1. Общая характеристика

«Новгородская первая летопись» начинается с «Повести временных лет» (или с «Начального свода» 1093—1095 гг.), затем продолжается рассказами в основном о новгородских событиях и доводится в старшем изводе до середины XIV в.

Отрывки из «Новгородской первой летописи» цитируются по изданию: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950. Места, недостающие в списках старшего извода, цитируются по младшему изводу.

Принципы комментирования и перевода отрывков те же, что при комментировании и переводе «Повести временных лет». Перевод А. С. Демина.

1142 г.

«Въ то же лето приходи свѣискеи князь съ епископомъ въ 60 шнекъ на гость, иже и(з) Заморья шли въ 3 лодьяхъ. И бишася. Не успеша ничто же. И отлучиша ихъ 3 лодье. Избиша ихъ полтораста» (26).

Перевод

В том же году шведский князь с епископом на 60 судах напали на новгородских купцов, которые на 3 лодках плыли из Заморья. Сразились. Шведы ничего не добились. А 3 шведские лодки захватили новгородцы. Убили полтораста шведов.

Комментарий: шведы

Сообщение немногословное, но едкое, по содержанию. Летописец использовал сразу много противопоставлений, уничижающих шведов. Шведы подготовлены, а новгородцы — нет. Шведов — целое войско («въ 60 шнекъ»), а новгородцев — горстка («въ 3 лодьяхъ»). Во главе шведов — большое начальство, князь с епископом, а новгородцы — всего лишь купцы. Так что шведский князь не погнушался напасть на купцов («приходи свьискеи князь съ епископомъ... на гостъ»). Но шведы ничего не добились («не успеха ничто же»). У шведов большие потери («отлучиша ихъ 3 лодье, избиша ихъ полутораста»), а у новгородцев потери не упомянуты, их как бы и не было.

Новгородские летописцы писали о шведах всегда едко, но однообразно. В разных эпизодах они снова и снова противопоставляли одно и то же: войско шведов большое («придоша swei в силе велице», «ратью со всею своею силою» — 77, 360. Под 1240 и 1348 гг.), а новгородцев мало («с малою дружиною» — 360), но у шведов ничего не вышло («не успеха ничто же», «всуде трудишася» — 31, 77. Под 1164 и 1240 гг.), шведам пришлось плохо («нъ большю рану въсприяшя... пришли бо бяху въ полущестадысять шнекъ, изьмаша 43 шнекъ» — 31. Из 65 судов потеряли 43, «а мало ихъ убежаша, и ти езвни» — 31; «избиша немцовъ 500» — 360. И т. д.), а новгородцам сопутствовала удача («придоша вси здрави въ своя си», «приихаша новгородци вси здрави, разве 3 человеки убиша новгородцовъ» — 77, 360). Это официальная едкость.

Летописцы едко относились вообще к новгородским противникам — не только к шведам, но и к иным «немцам», литве, чуди, еми, лотыголе. Даже к суздальцам: суздальцев много, а новгородцев мало («беше новгородьць 400, а суждальць 7000»), но суздальцы потерпели сокрушительное поражение, а новгородцы относительно благополучны (у суздальцев «паде ихъ 300 и 1000, а новгородьць 15 муж... и придоша сторови вси» — 33. Под 1169 г.). Или: напавших литовцев очень много («придоша литва... бецисла... беше бо ихъ 7000»), а «новгородцевъ мало», но они разгромили большое литовское войско, у литовцев огромные потери, а у новгородцев их нет (литовцев «избиша 2000, а прокъ ихъ разбегошася»). Новгородские же потери летописец не упоминает — 64. Под 1225 г.). Или еще об иных побитых врагах, и о «здоровье» новгородцев: «не упусти ихъ ни мужа... а самъ приде сдравъ и дружина его» (79. Под 1245 г.); «множество много ихъ побиша... придоша вси здорови», «много ихъ повоеваша и приехаша вси здорови» (85. Под 1266 и 1267 гг.). И мн. др. Все официально, все по схеме.

1240 г.

«В лето 6748. Придоша swei в силе велице, и мурмане, и сумь, и емь, в кораблихъ множество много зело. Swei съ княземъ и съ пискупы

своими. И сташа... в Неве, устье Ижеры, хотяче восприяти Ладогу, просто же реку, и Новъгородъ и всю область новгородскую. Но еще преблагии, премилостивии человеколюбец Богъ ублюде ны и зашити от иноплеменикъ, яко всеу трудишася без Божия повеления. Приде бо вѣсть в Новъгородъ, яко свеи идутъ къ Ладоге. Князь же Олександръ не умедли ни мало, с новгородци и с ладожаны приде на ня. И победи я силою святыя Софья и молитвами владычица наша богородица и приснодевица Мария месяца июля в 15, на память святого Кюрика и Улиты, в неделю на сборъ святыхъ отецъ 630, иже в Халкидоне. И ту бысть велика сеча свеемъ. И ту убиенъ бысть воевода ихъ именовемъ Спиридонъ. А инии творяху, яко и пискупъ убиенъ бысть ту же. И множество много ихъ паде. И, накладше корабля два вятшихъ мужъ, преже себе пустиша и к морю. А прокъ ихъ, ископавше яму, вметаша в ню бещисла. А инии мнози язвни быша. И в ту ночь, не дождавше света понеделника, посрамлени отъидоша. Новгородецъ же ту паде: Костянтинъ Луготиницъ, Гюрята Пинециничъ, Наместъ, Дрочило Нездыловъ сынъ кожевника, — а всехъ 20 мужъ с ладожаны, или м(е)не, Богъ вѣсть. Князь же Олександръ съ новгородци и с ладожаны придоша вси здрави въ своя си, схранени Богомъ и святою Софьею и молитвами всехъ святыхъ» (77).

Перевод

В 1240 году. На огромном множестве кораблей приплыли большие силы шведов, и норвежцы, и финны, и емь. Шведы — со своими князем и епископами. Они стали на Неве, у устья реки Ижеры, намереваясь захватить город Ладогу и, проще говоря, Новгород и всю новгородскую землю. Однако преблагой, премилостивый человеколюбец Бог уберег и защитил нас от иноплемеников, так что они напрасно старались без Божия на то веления. В Новгород пришло известие о том, что шведы продвигаются к Ладоге. Нимало не медля, князь Александр с новгородцами и ладожанами напал на противников и победил их в воскресенье, 15 июля, в день памяти святых Кирика и Улиты, и собора 630 святых отцов в Халкидоне, силою храма святой Софии и молитвами Богородицы и приснодевы Марии. Тогда произошло великое избиение шведов. Тогда был убит шведский воевода Спиридон. Некоторые утверждали, что тогда же был убит и шведский епископ. Пало огромное множество врагов. Наложив два корабля трупов самых знатных вражеских воинов, новгородцы сплывили их к Балтийскому морю. Прочих убитых врагов без счета сбросили в выкопанную яму. Многие иные были ранены. В ту же ночь, не дождавшись понеделничного рассвета, шведы ушли посрамленными. Новгородцев тогда пало: Константин Луготинич, Юрий Пинецинич, Намест, сын кожевника Дрочило Нездилович, — а всего 20 человек вместе с ладожанами, или даже меньше, — Бог его знает, сколько точно. Князь Александр с новгородцами и ладожанами вернулись до-

мой все целы, сохранены Богом, и храмом святой Софии, и молитвами всех святых.

Комментарий: шведы

В данной летописной статье, рассказывающей о знаменитой Невской битве, летописец проявил официально-едкое отношение к шведам, знакомое нам по предыдущему изложению; шведы пришли с необычайно большим войском («в силе велице... множество много зело»; перечислены их союзники), с необычайно высоким начальством («съ княземъ и съ пискупы» — даже не с одним, а со многими епископами), с чересчур обширными планами («хотяче восприяти Ладогу... и Новгородъ и всю область новгородскую»), но шведы ничего не достигли, быстро потерпели поражение (Александр Невский «не умедли ни мало... и победи я»), понесли исключительно большие потери, («бысть велика сеча свеемъ», «множество много ихъ паде», убиты их воевода и епископ, трупами знатных шведов набито два корабля, а трупами остальных заполнен ров «бецисла», «а инии мнози язвни быша»). На шведов пал позор, они «посрамлени», они «всуге трудишася без Божия повеления», их убитые позорно брошены, а оставшиеся в живых бежали ночью («не дождавше света... отъидоша»).

Новгородские летописцы нередко подчеркивали провал наступления противника, не только шведов, на новгородскую или псковскую землю. Схема подобных рассказов была сходной: большое войско и большие приготовления врагов, большие их претензии и цели, но неожиданно большие их потери, большой их позор. Ср. другие рассказы в летописи. Большое войско противника: «придоша изъ Заморья свеи в силе велице» (91. Под 1300 г.), «придоша немци в силе велице» (87. Под 1269 г.), «придоша свеи, и емь, и сумь, и Дидманъ съ своею волостью и множество» (81. Под 1256 г.) и пр. Большие потери врагов: «чюди множество избиша» (35) и т. п. Большой позор: «извязавше, поведоша» (91), «они же, оканьнии, услышавше, побегоша» (81), «яко уведаша немци новгородский полкъ, побегоша» (87), «зле отбегоша» (33. Под 1169 г.). Иногда добавлялась иная ехидная концовка — о покорности побитого врага: «немци прислаша с поклономъ» (78. Под 1242 г.), немцы «прислаша... хотяще мира на всеи воли новгородской и на пльсковской» (80. Под 1253 г.).

1262 г.

«Того же лета, въ осенине, идоша новгородци съ княземъ Дмитриемъ Александровичемъ великимъ полкомъ подь Юрьевъ. Бяше тогда и Константинъ князь, зять Александровъ, и Ярославъ, брат Александровъ, съ своими мужи, и полотский князь Товтивиль, с ним полочанъ и литвы 500. А новгородского полку бецисла, толко Богъ вестъ. И бяше град твердъ Юрьевъ, въ 3 стены, и множество людий в немъ всякихъ, и бяху

пристроили себе брань на граде крепку. Но честнаго креста сила и святой Софьи всегда низлагаетъ неправду имеющихъ. Тако и сии град. Ни во что же твердость та бысть. Но помощьюъ Божиею однимъ приступлениемъ взять бысть. И люди многы града того овы побиша, а други изъимаша живы, а инии огнемъ пожжени, и жены ихъ, и дети. И взяша товара бесчисла и полона. А мужа добра застрелиша с города. И Петра убиша Мясниковича. И приде князь Дмитрии в Новъгородъ со всеми новгородци, съ многымъ товаромъ» (83).

Перевод

Осенью того же года новгородцы большим войском во главе с князем Дмитрием Александровичем пошли под Юрьев. Тогда приняли участие зять Александра князь Константин, брат Александра Ярослав, со своими воинами, и полоцкий князь Товтивил, а с ним 500 полочан и литовцев. Новгородского войска было неисчислимо много — один Бог знает, сколько. Город Юрьев был укреплен тройными крепостными стенами. В нем находилось множество всяких людей. Они создали крепкую оборону на городских стенах. Но сила почитаемого креста и храма святой Софьи всегда побеждает неправых. Так произошло и с этим городом. Та его укрепленность оказалась напрасной. С Божией помощью город был взят с первого же приступа. Многих людей того города убили, а других взяли живьем, а третьи с их женами и детьми были обожжены. Новгородцы без счета захватили добра и пленников. Юрьевцы же с городской стены застрелили одного удалого новгородского воина. Убили и Петра Мясниковича. Князь Дмитрий со всеми новгородцами в целости и со многим добром возвратился в Новгород.

Комментарий: Юрьев

В данной летописной статье рассказывается о взятии (далеко не первом) немецкого города Юрьева (ныне Тарту) новгородским войском — на этот раз во главе с сыном Александра Невского переяславским князем Дмитрием вместе с зятем Александра Невского князем Константином Ростиславичем, а также с братом Александра Невского тверским великим князем Ярославом Ярославичем и с литовско-полоцким князем Товтивилом.

В описании города Юрьева отразился характерный для городской хроники, каковой является «Новгородская летопись», интерес к городам, притом интерес воинский. Во-первых, к строительству городов, крепостей и зданий (или к фактам их разрушения). Во-вторых, к овладению городами как важной черте военных походов (поэтому в летопись были включены повести о взятии Царьграда, Киева, Рязани; регулярно сообщалось также о невзятии городов). В-третьих, интерес к военной укрепленности, каменной «твердости» немецких городов (Юрьев: «баше

град твердь... в 3 стены» — 83; Ландскрона: «город... утвердиша твердостию несказанною, поставиша в немъ пороки» — 91. Под 1300 г. Ванай: «бѣше бо место велми силно, твердо, на камени висоце, не имея приступа ниоткуда же» — 93. Под 1311 г. Выборг: «твердь бо бе» — 96. Под 1322 г. Новый городок: «бѣшетъ твердь» — 371. Под 1370 г.).

1263, 1265 гг.

«Того же лета в Литве бысть мятежь. Богу попущышу на нихъ гневъ свой, вѣсташа сами на ся. И убиша князя велика Миндовга свои родици, свещавшеса отаи всехъ. Того же лета распревшеса убоици Миндовгови о товаръ его, убиша добра князя полотьского Товтивила, а бояры полотьскыя исковаша, и просиша у полочанъ сына Товтивилова убити же. И онъ вбежа в Новъгородъ с мужи своими. Тогда Литва посадиша свои князь в Полотьске, а полочанъ пустиша, которыхъ изымали с княземъ ихъ, а миръ взяша.

В лето 6773... Того же лета бысть мятеж великъ в Литве Божиемъ попущениемъ на нихъ. Не терпяше бо Господь Богъ нашъ зрети на нечестивыя и поганыя, видя ихъ проливающа кровь христьянскую, акы воду, и ины расточены от них по чюжимъ землямъ. Тогда Господь въздасть имъ по деломъ ихъ.

Бѣше у Миндовга, князя литовьского, сынъ. Имя ему Воишелгъ. Того избра Господь поборника по правой вере. Шедъ бо в гору Синаискую от отца своего и от рода своего и от поганыя веры своя, позна истинную веру христьянскую. И крестися во имя Отца, и Сына, и святого Духа. И научися святымъ книгамъ. И пострижесе въ мнишьскыи чинъ въ Святой горе. И пребывъ тамо 3 лета, поиде в землю свою къ отцю своему. Отецъ же, поганъ сы, ласкаше его остатися веры христьянскыя и чернечества и прияти княжение свое. Он же, въоруженъ силою крестною, не хоте и слышати ласкы отца своего, ни прещения его не убояся. Но, ишедъ от отца, огради собе монастырь въ христьянехъ. И ту пребываше, славя святую Троицю — Отца, и Сына, и святого Духа.

По убиении же отца своего, — не хотящю ему сего створити, но Богу попущышу на нихъ, на поганую Литву, за христьянскую кровь, вложи сему въ сердце, — соимя съ себе ризу. Обещася Богу на 3 лета, како прияти риза своя. А устава мнишьскаго не остана. Съвкупилъ около себе вои отца своего и приятели. Помоливъся кресту честному, шедъ на поганую литву и победи я. И стоя на земли ихъ все лето. Тогда оканымъ възда Господь по деломъ ихъ. Всю бо землю ихъ оружиемъ поплени. А по христьянской земли веселие бысть всюда» (84—85).

Перевод

В том же году у литовцев началась смута. Бог обратил свой гнев против них — и они восстали сами против себя. Великого князя Миндовга убили его же родственники, сговорившись в тайне от всех. В том же году убийцы Миндовга рассорились из-за его имущества. Они убили удалого полоцкого князя Товтивила, а полоцких бояр заковали. Потребовали от полочан выдачи сына Товтивила, чтобы убить и его. Но тот со своими войнами убежал в Новгород. Тогда литовцы посадили своего князя в Полоцке. Отпустили тех полочан, которых схватили вместе с Товтивилом, и заключили мир.

В 1265 г... В этом году у литовцев продолжилась великая смута по Божью ниспосланию на них. Наш Господь Бог не стерпел смотреть на нечестивцев и язычников и видеть, как они проливают христианскую кровь, словно воду, и как оставшиеся христиане разогнаны литовцами по чужим землям. А потом Господь полностью воздал им по их делам.

У литовского князя Миндовга был сын. Его звали Воишелг. Господь избрал его поборником правой веры. Воишелг ушел на гору Синай, отказался от своего отца, от своей семьи и языческой веры. Принял истинную веру христианскую. Крестился во имя Отца, Сына и святого Духа. Изучил святые книги. Постригся в монахи на Святой горе. Пробыл там 3 года. Затем он вернулся в свою страну к своему отцу. Отец, оставшийся язычником, уговаривал Воишелга принять княжеский престол, но отречься от христианской веры и от монашества. Воишелг, вооруженный силою креста, не хотел и слышать отцовских обещаний, не испугался и его угроз. Он покинул отца, у христиан устроил свой монастырь. В нем он жил, славя Троицу — Отца, Сына и святого Духа.

После убийства отца он снял с себя монашескую ризу. Сделать это он захотел не сам, но Бог вложил ему это в сердце, посылая его на языческую Литву из-за пролития ею христианской крови. Да и обещал он Богу, что будет носить монашескую ризу только три года. Однако монашеских правил он не оставил. Вокруг себя он собрал воинов своего отца и своих сторонников. Помолившись честному кресту, он пошел на литовских язычников и победил их. Весь год он стоял в их земле. Так Господь воздал окаянными по их делам. Всю их землю пленил силой оружия. А в христианской земле всюду стояла радость.

Комментарий: Литва

Рассказ о «мятеже» по схеме традиционен и официален. Ср. фразеологически сходный рассказ под 1381 г.: «В то же лето бысть мятежь

в Литве. Богу попущью на них гневъ свои, вѣсташа сами на ся. И убиша князя велика Кестутья Гедиминовича. И бояръ избиха. А сынъ его Витовтъ побеже в немце. И много зла створи Литовской земли» (378).

Официальную схему изложения летописцы повторяли неоднократно, говоря о самых разных мятежах. Первым делом сообщалось о начале смуты. Под 1263 г.: «в Литве бысть мятежь... бысть мятеж великъ в Литве» (ср. в других статьях летописи: «мятежь бысть великъ Новегороде» — 24. Под 1137 г.; «бе мятежь Новегороде» — 25. Под 1140 г.; «великъ мятежь бысть въ земли той» — 34. Под 1174 г.; «бысть мятежь въ городе великъ» — 67. Под 1228 г.; «бысть мятежь за Наровоу великъ» — 357. Под 1344 г.; «бысть мятежь силенъ въ Орде» — 366. Под 1360 г.; и мн. др.).

Затем следовало сообщение о самоуничтожении враждующих: «вѣсташа сами на ся» (ср. в сообщениях о других «мятежах»: «ся начяша бити межи собою» — 59. Под 1219 г.; «секошася межи собою» — 366. Под 1360 г.).

Элементом схемы служило сообщение об убийствах: «убиша князя велика Миндовга свои родици... убиша добра князя полотьского Товтивила» (ср. о других «мятежах»: «убиша... князя Андрея свои милостьници... и множество паде головъ, яко и числа нету» — 34. Под 1174 г.; «убиша муж прус» — 59. Под 1219 г.; «убиша Иванка» — 88. Под 1270 г.; «Смена Внучка убиша» — 353. Под 1340 г.; «избиша чюдь своихъ бояръ земьскихъ» — 357. Под 1344 г.; «мнози цесари побиени быша» — 366. Под 1360 г.; и т. п.).

В схему входило замечание о грабежах: «роспрешесея убоици Миндовгови о товаръ его» (подразумевается присвоение княжеского имущества мятежниками. Ср. о других «мятежах»: «възяша на разграбление дома ихъ» — 24. Под 1137 г.; «розграбиша дворъ его» — 67. Под 1228 г.; «пограбиша дворъ... села пограбиша» — 99. Под 1332 г.; и пр.).

Нередко указывалась причина «мятежа»: «Божиемъ попущениемъ на нихъ» (ср. об иных «мятежах»: «Богу попустившю» — 365. Под 1359 г.).

Рассказы о «мятежах» различались полнотой схемы. По подробной схеме рассказывалось о Руси, а по неполной — о других странах. Однако литовский «мятеж» удостоен подробной схемы, что является знаком внимания, с которым летописец относился к Литве.

Еще один признак внимания — дополнительная схема, использованная в рассказе под 1265 г.: «мятеж» как наказание Божие. О наказаниях Божиих летопись повествовала сходно. Упоминалось Божие пощущение («Божие пощущение се на всей Русьской земли» — 76. Под 1238 г.; «Господу бо Богу попущающую за грехи наша» — 80. Под 1251 г.; «бысть же то пощущениемъ Божиемъ» — 94. Под 1315 г.; и др.).

Упоминался Божий гнев. В рассказе под 1265 г.: «Богу попущью на нихъ гневъ свои» (ср. в иных статьях летописи: «убиваеми гневомъ

Божиемъ» — 62. Под 1224 г.; «видяще предъ очима нашими гневъ Божию» — 71. Под 1230 г.; «но уже баше Божию гневу не противитися» — 75. Под 1238 г.; и пр.).

Иногда говорилось о том, что Бог, видя грехи, не стерпел, не пожелал смотреть на грешников. В рассказе под 1265 г.: «Не терпяше бо Господь Богъ нашъ зрети на нечестивыя и поганыя» (ср.: «Того же Богъ видя наша безакония... его же ангели не могут зрети» — 69. Под 1230 г.).

Упоминалось кровопролитие христианам от «поганых». В рассказе под 1265 г.: «видя их проливающа кровь христьянскую, акы воду» (ср.: «да отмстыятъ крвьв крестьянскую» — 62. Под 1224 г.; «навель Богъ... звери дивияя... пити кровь боярскую» — 83. Под 1259 г.).

Наконец, упоминалось воздаяние грешникам по делам. В рассказе под 1265 г.: «Тогда Господь въздасть имъ по деломъ ихъ» (ср.: «И такы ны Богъ възда по деломъ нашимъ» — 71. Под 1230 г.; «въздажъ имъ, Господи, по деломъ ихъ» — 93. Под 1311 г.; и пр.).

Схема рассказов о наказаниях вполне традиционна. Ср. в «Повести временных лет», под 1093 г.: «Се бо на ны Богъ попусти поганыя... сего ради гневъ простресе... и по грехомъ нашим въздасть нам... и свою кровь за ны изляя, яко же ны виде неправо пребывающа...» (ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов, с. 232, 234). Отличие новгородского рассказа от традиционной схемы заключается в том, что летописец дважды повторил соответствующие формулы о пощении и воздаянии: «Богу попуцъшыю на нихъ гневъ свои... Божиемъ попуцениемъ на нихъ... Тогда Господь въздасть имъ по деломъ ихъ... Тогда оканьнымъ възда Господь по деломъ ихъ». Повторение формул могло возникнуть от того, что летописец свел два разных повествования — о «мятеже» и о Воишелге. Но повтор отразил официально-отрицательное отношение летописца к Литве.

Неприятно заметно по экспрессивным эпитетам, которыми летописец охарактеризовал литовцев, — «нечестивых и поганых». Подобные оценки присущи церковным отступлениям, встречающимся в «Новгородской летописи» (ср.: «И ту би съ безбожными — оканью литвою. И ту пособи Богъ, и крестъ честныи, и святая София, премудрость Божия, надъ погаными» — 73. Под 1234 г.). Неприязнь к литовцам у летописца преимущественно конфессиональная, то есть тоже официальная.

Отношение летописца к литовцам содержало элемент злорадности. Сразу много наказаний наслано на литовцев. Во-первых, «мятеж». Во-вторых, война самих с собой. В-третьих, убийства. В-четвертых, военное нашествие (Воишелг Миндовгович «шедь на поганую литву»). В-пятых, разгром Литвы («победи я. И стоя на земли ихъ»). В-шестых, пленение («всю бо землю ихъ оружиемъ поплени»). Обычно одно-два наказания упоминались летописью. Чаще всего голод или мор, а также

нахождение ратныхъ». Но в данном случае летописец торжествовал. И завершил перечисление наказаний противопоставлением: Литве лохо, «а по христьяньской земли веселие бысть всюда». Ср. проявления злорадности и далее: «Вси радости исполнишася, а злодеи омрачашася» (81. Под 1255 г.); «и бысть крестияномъ радость и веселье... а злодеи крестияньскыи помрачашася» (388—389. Под 1397 г.). Официальная едкость, характерная для отношения летописца к врагам, иногда ополнялась официальным же злорадством.

1269 г.

«И совокупившеся вси князи в Новъгородъ... поидоша к Раковору месяца генваря 23. И яко внидоша в землю ихъ, и разделишася на 3 пути, и много множество ихъ воеваша... И яко быша на реце Кеголе, и у усретоша стоящъ полкъ немецкыи. И бе видети, яко и лесъ. Бе бо въкупила вся земля Немецкая... и яко съступишася, бысть страхомъ побоище, яко не видали ни отци, ни деди. И ту створися зло велико: биша посадника... и много добрыхъ бояръ, а иныхъ черныхъ людий ещисла... а иныхъ много, Богъ и вестъ... Пособи Богъ князю Дмитрию новгородцемъ месяца ферваря 18, на память святого отца Льва, в субботу сыропустную. И гониша ихъ, бьуче, и до города, въ 3 пути, на семи ерсть, яко же не мочи ни коневы ступити трупиемъ» (86—87).

Перевод

Все князья собрались в Новгород... 23 января они направились к городу Раковору. Когда они вошли в землю раковорцев, то разделились по трем дорогам и принялись воевать с огромным множеством раковорцев... А когда новгородцы подошли к реке Кеголе, то тут натолкнулись на стоящее немецкое войско. Оно стояло, как лес. Ведь собралась вся Немецкая земля... И когда войска столкнулись, произошло такое ужасное побоище, какого не видали ни отцы, ни деды. Тут новгородцы понесли большой урон: убили посадника... и много знатных бояр, а прочих незнатных людей — бесчисленно... а многие иные пропали без вести. 18 февраля, в день памяти святого отца Льва, в сыропустную субботу, Бог помог князю Дмитрию и новгородцам. Они погнали немцев к городу, по всем трем дорогам, на протяжении семи верст избивая их так, что даже коню некуда было ступить из-за трупов.

Комментарий: «немцы»

Летописная повесть, из которой выше приведен отрывок, рассказывает о походе русских князей, в их числе Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, на «немцев» к городу Раковору (ныне Раквере на севере Эстонии).

Этот рассказ, когда речь идет о «немцах», содержит два образных отрывка, выдающих, так сказать, воинско-строевое восприятие летопис-

ца. Один отрывок сообщает о «немецком» войске, которое изготовилось к сражению: «...стоящъ полкъ немецкый. И бе видети, яко и лесъ. Бе бо съвкупилася вся земля Немецкая» (86). «Вся» Немецкая земля набилась на площади, явно меньшей, чем целая их страна. «Немцы» стоят густо, как деревья в лесу. Правда, данный пространственный образ не развит летописцем.

Другой отрывок сообщает о разгроме «немцев»: «ихъ бьуче... въ 3 пути, на семи версть, яко же не мочи ни коневи ступити трупиемъ» (87). Убитые «немцы» покрывают широкое пространство, семь верст, на трех дорогах. Лежат так тесно, что коню нельзя ступить на землю. Пространственный образ тоже не развит. Однако не случайно повторились два мотива, однотипно преувеличивающие пространственную скученность «немцев». Войско «немцев», живых или убитых, представлялось летописцу тесно сплоченным. Недаром он дважды упоминал «свинью великую» (особый воинский строй у «немцев»).

Сходная характеристика войска «немцев» встречается в летописи еще лишь однажды, в рассказе о Чудской битве: «немци и чюдъ... прошибаша свиньею сквозе полкъ» новгородцев, а затем врагов «гоняче, биша ихъ на 7-ми версть по леду» (78. Под 1242 г.). Некоторое ощущение тесноты «немецкого» войска, сначала набившегося, а потом павшего, передано, хотя и слабо. Иногда же говорилось не о войске, а о тесном скоплении вообще «немцев», горожан: «Немци възбегоша на детинець. Бяше бо место... на камени висоце, не имея приступа ниоткуда же» (93. Под 1311 г.), «сгоре немецъ в полатахъ 2000 и 500 и 30» (98. Под 1328 г.).

Нередко летописцы сходно характеризовали скученность прочих иноземцев, их войска или их «трупия». Например, скандинавов и прибалтов: «придоша в силе велице немци изъ Замория в Ригу. И ту совокупившеша вси, и рижане, и вся Чюдская земля» (74. Под 1237 г.), — многие войска иноземцев, «вся земля», «вси» угрожающе скопились в одном городе. Чудское войско тоже предстало сгрудившимся: вбежало в «пещеру непроходну, в ней же бяше множество чюди влезше» (86. Под 1269 г.). Убитых иноземных воинов также складывали густо. Например, погибших шведов: «множество много ихъ паде. И накладше корабля два вятшихъ мужь... А прокъ ихъ, ископаше яму, вметаша в ню бещисла» (77. Под 1240 г.).

Гиперболизирующее представление касалось и скученности новгородцев. Войско теснилось в Новгороде: «новгородци... сташа пълкомъ на княжи дворе... И скопишася о немь пруси, и Людинъ конецъ, и загородци...» (60. Под 1220 г.). Скапливались и горожане, весь город: «Людие же, боящеся, не смеяху в городе жити, нь (но) по полю, а инии по рли (лугу) живяху, друзии же по берегу... И бе видети весь град движашеся» (355. Под 1342 г.). Весь город переместился в поле. Теснились и новгородские трупы: «трупие по улицямъ, и по тѣргу, и по путьмъ, и всюду» (22. Под 1128 г.); «по тѣргу трупие, по улицамъ трупие, по полю трупие.

Не можаху пси изедати человекъ» (54. Под 1215 г.). Наряду с людьми теснились павшие кони: «Моръ бысть въ людехъ много, и конь мнѡжъство помре, яко нълзе беше дойти до тѣргу сквозе городъ» (30. Под 1158 г.). Больше того, летописец изобразил скопище насекомых: «паде метыль густъ по земли, и по воде, и по хоромомъ» (21. Под 1127 г.).

Скученность, как правило, неприятна, угрожающа. Это чувство опасности выражалось интенсивней, когда речь шла о «немцах», — летописцы ощущали, что данное качество больше, чем другим, присуще именно «немецкому» войску.

1300, 1301 гг.

«Того же лета придоша изъ Заморья свеи в силе велице. Приведоша изъ своей земли мастера. Из великого Рима от папы мастеръ приведоша нарочить. Поставиша городъ надъ Невою, на усть Охты-реки. И утвердиша твердостью несказанною. Поставиша в немъ пороки. Похвалившеся, оканънии, нарекоша его Венецъ земли. Бе бо с ними наместникъ королевъ именовъ Маскалка. И посадивше в немъ мужи нарочитыи с воеводою Стенемъ, и отъидоша...

В лето 6809... князь великий Андрей... иде с новгородци къ городу тому... твердость та ни во что же бысть за високоумье ихъ, зане всеу трудъ ихъ безъ Божия повеления. Градъ взятъ бысть... градъ запалиша и розгребоша» (91).

Перевод

В том же году из Заморья прибыли большие силы шведов. Из своей земли они привезли мастеров. А из великого Рима от папы они привезли наилучшего мастера. Они построили город над Невою, в устье реки Охты. Укрепили его несказанно. Поставили в нем стенобитные орудия. Похваляясь, проклятые, назвали его Венец земли. С ними был королевский наместник по имени Маскалка. Оставив в городе отборных воинов с воеводой Стеном, швелы ушли.

В 1301 году... великий князь Андрей... с новгородцами напал на тот шведский город... Его укрепления оказались ни к чему из-за самонадеянности шведов, ибо напрасны были их труды без Божия на то повеления. Город был взят... Новгородцы сожгли город и сравняли его с землей.

Комментарий: шведы

Рассказывается о постройке шведами города Ландскроны, о походе на него сына Александра Невского. Рассказ летописца едок по тону. Летописец подчеркнул огромность стараний шведов. Помощь у них — высшего уровня: с ними наместник шведского короля, поддержка — «из великого Рима от папы». Используется шведами все лучшее: «мастеръ нарочить», «мужи нарочитыи», шведы ограждаются крепостью

«несказанною», называют город «Венцом земли». Активность приговлений шведов обозначена словесными повторами: «приведоша... мастера... мастеръ приведоша»; «поставиша городъ... поставиша... пороки», «утвердиша твердостию» и пр. Но парадоксален результат: «твердость та ни во что же бысть за високоумье ихъ, зане всеу трудъ ихъ безъ Божия повеления: градъ взятъ бысть...» (91) Едкость тона входила в схему официального летописного повествования о врагах.

Степень едкости определялась злом, которое несли враги. В данном рассказе шведы названы «оканьными» (окаянными). Этот эпитет связывался со злом, принесением вреда. Ср. подобную связь в различных рассказах: «оканьнии» дьявол — он же и «злии» (73. Под 1238 г.); «оканьнии человеци» — «злии человеци» (93. Под 1311 г.); «оканьнии» князь «въ своемъ оканьемъ помысле» — это «зломыслънии» князь (58. Под 1218 г.); «оканьнии» татары — «умыслиша светъ (совет) золь» (82. Под 1259 г.); и пр.

Кроме того, летописец в данном рассказе конкретизировал, каков вред от шведов: они построили город в новгородской, а не в своей земле, «поставиша городъ надъ Невою, на усть Охты-реки» (91), то есть причинили «зло», ущерб новгородцам. Ср. пример с ясной оценкой: немцы «городъ учиниша в Копорьи-погосте. И не то бысть зло, но и Тесовъ взяша» (78. Под 1240 г.). Однако в рассматриваемом рассказе под 1300 г. летописец не употребил слово «зло». Оценку «зло» летописцы не употребляли, если писали только о постройке чужого города, о небольшом ущербе от чужеземцев. Тогда указывалось незаконное место постройки, использовался эпитет «оканьнии». Ср.: «Придоша свеи, и емь, и сумь... и начаша чинити городъ на Нарове... Они же, оканьнии...» (81. Под 1256 г.).

Слово же «зло» употреблялось в рассказах, повествовавших об ущербе непосредственно новгородцам, материальном и людском, — о захватах городов и сел, о разорении, поборах, грабежах и поджогах, о ранениях, убийствах, расправах и т. п. Причем западные иноземцы причиняли «зло» редко, буквально в единичных случаях. Открыто называемое, существенное «зло» новгородцам чаще причиняли свои, соседние русские князья.

Именно эпизоды о сравнительно небольшом зле летописцы излагали едко по тону. Вначале говорили о большой силе врагов, предпочитая называть впечатляющие круглые цифры: «придоша... ратью не въ тысящи» (28. Под 1143 г.); «бе бо ихъ пришло творяху 2000 или боле, Богъ вестъ» (65. Под 1228 г.); «беше бо ихъ 7000» (64. Под 1225 г.). Подчеркивали численность врагов: «в силе велице... множество много зело» (77. Под 1240 г.). Прибегали к гиперболам: «приходиша вся Чюдьска земля» (35. Под 1176 г.). Затем сообщали о неожиданном результате: быстром и полном поражении врагов. Это сообщалось с уничижающе-усилительными оценками: «всеу трудишася безъ Божия

повеления... посрамлени отъидоша» (77), «не успеха ничто же» (26, 31, 87 и др.) «не взяша ничто же» (349), «не взяша, но сами биты отъидоша» (357), от вражеского войска новгородцы «не упустиша ни мужа» (26, 28, 39, 79 и др.), «а то все мертво» (65) и т. д.

Если же зло называлось прямо, то есть говорилось о непоправимом ущербе, то тогда едкость отсутствовала, тон повествования был возмущенным и скорбным. Ср.: «изъехаша литва безбожная Пльсковъ и пожгоша... и много створиша зла и отъидоша» (52. Под 1213 г.). Нередко тон становился трагическим. Схема официального изложения зависела от ущерба, преимущественно материального, который иноземцы нанесли Новгородской земле.

1328 г.

«Того же лета погоре Юрьевъ немецкыйи всь. И божници ихъ, и полаты каменныи, скрушившесе, падоша. И сгоре немецъ в полатахъ 2000 и 500 и 30, а руси — 4 человекеы» (98).

Перевод

В том же году сгорел весь немецкий город Юрьев. Их молельни и каменные дома, обвалившись, упали. В домах сгорело 2530 иноземцев, а русских — 4 человека.

Комментарий: «немцы»

Это сообщение составлено по шаблону, обычному для летописных записей о пожарах: весь ли город погорел, сколько церковей сгорело, сколько людей погибло. Разрушение строений также отмечалось (ср.: «у камяныхъ вьрхы огореша и притворы» — 57. Под 1217 г.; «церковь та падесея» — 352. Под 1340 г.; «порушилася в великий пожаръ» — 357. Под 1345 г.). Однако сообщение о «немцах» гораздо суше, чем известия о больших русских пожарах, по поводу которых летописец выражал горестные чувства: «И бяше пожаръ зълъ... Отголе вьста зло...» (41. Под 1194 г.), «много зла створися... много пакости бысть...» (355. Под 1342 г.), «о горе, братье, толь лють бяше пожаръ...» (85. Под 1267 г.; 93. Под 1311 г.), «пагуба велика... печаль и сетование...» (90. Под 1299 г.), «такое бяше великъ и лють пожаръ... яко мнети уже концина...» (351) и др. Сочувствие летописца вызывали пожары на Руси, но не за границей.

Подобное отношение далее в летописи повторялось. Например, под 1335 г. летописец сообщил: «по грехомъ нашимъ, бысть пожаръ в Руси: погоре город Москва, Вологда, Витебско» (346), — тон покаянно-сочувственный. Но без всякого сочувствия летописец добавил: «И Юрьевъ немечкыйи всь погоре». Эмоциональное «по грехомъ нашимъ» к Юрьеву не относилось.

Так же и об иных несчастьях, вроде вражеских нашествий, мора или мятежей, сочувственно и эмоционально рассказывал летописец, когда гово-

рил о Новгороде или Пскове, но черство упоминал большие несчастья, поразившие литовцев, чудь, татар и пр. (ср. 74, 82, 84, 327, 357, 358). Жизнь иноземцев не волновала новгородского летописца.

В повествовании летописца замечен знакомый едкий нюанс, — в известии о юрьевском пожаре противопоставлено, сколько сгорело «немцев» и сколько — русских: «сгоре немец в полатахъ 2000 и 500 и 30, а руси — 4 человека». Сочетание цифр слишком разительно. Автор не без скрытого удовлетворения оттенил ущерб, понесенный «немцами».

Летописцы не без язвительности по отношению к «немцам» противопоставляли потери. Например: «избиша много немецъ в городе, а иныхъ извешаша», а новгородцев лишь «неколько муж добрыхъ паде» (96. Под 1322 г.). Или о «немцах» же: «люди многы града того овы побита, а другы изымаша живы, а инии огнемъ пожжени»; у новгородцев же убито два человека: «а мужа добра застрелиша с города, и Петра убиша Мясниковича» (83. Под 1262 г.). То же происходило с иными противниками, в том числе с суздальцами: их «вои паде бещисла, а новгородьць убиша», судя по перечню, шесть человек (57. Под 1216 г.). Взаимные потери никогда не равны. Ср.: у новгородцев убито «много добрыхъ муж, а суждальць боле» (23. Под 1134 г.); «много леже обоихъ, нъ суждальць бещисла» (28. Под 1149 г.). Даже в текст «Повести временных лет», переписывая, новгородский летописец вставил привычное ему противопоставление: «паде руси 1000, а сосоль бещисла» (183. Под 1060 г. Сосолы — чудское племя). И мн. др. Противопоставлять потери летописцы отказывались лишь тогда, когда рассказывали о больших поражениях новгородцев. Тогда скорбно перечислялись только свои несчастья. В остальных случаях летописцы следили, чтобы ущерб врагам был отмечен, подчеркнут, даже преувеличен. Таковы были правила официального повествования.

1344 г.

«В лето 6852. Бысть мятежь за Наровою великъ: избиша чюдъ своихъ бояръ земьскихъ и въ Колываньской земли, и в Ругодовской волости, 300 их. Потом сташа на них велневице съ юрьевци и избиша чуди 14000, а избытокъ убежа в Островскую землю. Тамо по них ходиша велневици въ Островскую землю. Их же не взяша, но сами биты отъидоша» (357).

Перевод

В 1344 г. за рекой Наровой началась большая смута: от Колываньской (Таллинской) земли до Ругодивской (Нарвской) волости чудь перебила своих бояр, 300 человек. Тогда против чуди вышли войска из городов Вельяда (Вильянди) и Юрьева (Тарту) и перебили 14000 чуди, остаток же чуди бежал в Островскую землю. Туда за ними пошли вельядцы. Но вельядцы не победили остатка чуди, а ушли биты сами.

Комментарий: «немцы»

Это отрывок из младшего извода летописи. О «немцах» летописец высказался с едкостью: велневичи (вельядцы) не только не побили чудь, «но сами биты отъидоша». Все оказались биты: не только чудские бояре («избиша... 300 их»), но и избившая их чудь («избиша чюди 14000»; в Воронцовском списке, возможно, более правильно: «избиша чюди 4010» — 459), и даже избившие чудь велневичи. Желаемых целей никто не достиг, взаимный неуспех. Формулу неуспеха врагов летописцы употребляли неоднократно, в двух экспрессивных видах: «но самехъ биша» (ср. 79. Под 1245 г.; 80. Под 1253 г.), чаще — «не успеха ничто же, нъ большю рану въспряшя» (ср. 31. Под 1164 г.; 87. Под 1269 г.; 95. Под 1316 г.). Неблагожелательное официальное изложение.

Итоги: едкая летопись

Едкость тона — характерная черта «Новгородской летописи» по отношению к западным неприятелям, постоянно досаждавшим Новгороду. Не только к «немцам», но и к шведам, литовцам, чуди. Эта едкость — не личностная черта летописца, а официально дозволенное и поощряемое отношение, выражавшееся относительно однообразным набором литературных средств.

Тон изложения зависел от степени досаждения. Если сосед напал лишь изредка, то о нем сообщалось без едкости. Например, о корелах. Без едкости упоминались народы, не выступавшие в роли неприятеля: варяги, угры, чехи, морава и пр. Без едкости однажды упоминались даже «немцы», когда они неожиданно выступили как друзья, оказав благодеяние новгородцам: «прибегоша немьци и(з) Замория съ житомъ и мукою и створиша много добра» (71. Под 1231 г.). С другой стороны, уже без едкости, но с проклятиями говорилось о врагах, принесших большие несчастья. Например, о татарах. Едкость же тона соответствовала обычным обстоятельствам, распространялась, так сказать, на обыденных неприятелей, досаждавших новгородцам постоянно, но сравнительно понемногу.

Едкость тоже имела свои оттенки, зловещие или же торжественные. Едко-зловещее отношение летописца касалось тех, кто изнутри досаждал новгородцам (или псковичам), — городских «злых людей», клеветников, грабителей, мятежников, убийц и т. п. Их, как указывали летописцы, настигало возмездие (по принципу: «сделал плохое, получил худшее»). Например, летописец подчеркнул основательность возмездия грабителям: «въ Пльскове почали бяху грабити недобрии людие села и двory в городе и клети на городе. И избиша ихъ пльсковичи съ 50 человекъ. И потомъ бысть тихо» (94. Под 1314 г.). Подчеркивалась неотвратимость возмездия интригану или клятвопреступнику: «не добро же бысть и самому. Еже бо сееть человекъ, то же и пожнеть» (97.

Под 1325 г.); «иже бо крестъ преступаютъ, то и сде казнь приимають, и на ономъ веце муку вечную» (87. Под 1269 г.). Летописцы настойчиво накликали кары на злодеев: «...на зло повелъ. Всякъ бо злыи зле да погыбнуть» (82. Под 1257 г.); «аще кто под другомъ копаеть яму, самъ упадется в ню» (347. Под 1337 г.) и др.

Существовал еще один постоянный досадитель, как считали летописцы, — дьявол. К нему летописцы относились торжественно-едко, пока беды были сравнительно небольшими. Дьявол не получал желаемого: «Не хотяшеть бо Богъ... дьяволу радости дати» (67. Под 1228 г.); «не попусти Богъ до конца диаволу порадоватися, нъ възвеличано бысть крестьянство в род и род» (366. Под 1359 г.). Дьяволу плохо, а людям хорошо: «бысть крестьяномъ прибежище, ангеломъ радость, а дьяволу пагуба» (29. Под 1153 г.); «хрестьяномъ радость, а дьяволу пагуба» (81. Под 1255 г.); «възвеличанъ бысть крестъ, а диаволъ посрамленъ бысть» (356. Под 1342 г.). Когда же несчастья были значительными, то едкость летописцев сменялась скорбным возмущением («не хотя исперва оканьныи всепагубныи дьяволъ роду человеческого добра...» и пр. — 73. Под 1235 г.).

В общем, подтверждается впечатление Д. С. Лихачева, навеянное «тем скептическим отношением, которое усиливается в записях летописца из года в год и становится типичным явлением в новгородском летописании XIV в.» и обозначенное ученым как «скептическое и недоверчивое отношение к происходящему»: «Чем дальше, тем яснее определяется скептическое и отрицательное отношение летописца к вечу, к народным волнениям и к тем известиям, которые доходят до его слуха» (Лихачев Д. С. Литература Новгорода XIII—XIV вв. // История русской литературы. М.; Л., 1945, т. 2, ч. 1, с. 116). Добавим: едкость и скептичность были официальны у новгородских летописцев XII—XIV вв., оттого и единообразно градуированы.

Комментарии к переводу

Повествование в летописи очень неровное — то приземленное, то пафосное, то едкое, но всегда официальное. Для перевода, пожалуй, подходит речь наших современных официозных дикторов, с ее стилистической разнородностью на фоне периодической возвышенности тона.

1142 г.

Во фразах «и отлучиша ихъ 3 лодье. Избиша ихъ полуторага» неясно сказано, какая сторона потерпела поражение: шведы или новгородцы. Такие неясности характерны для изложения «Новгородской первой летописи», составители которой избегали повторять существительные, указывающие на объекты действия. Местоимениями «они», «их» летописцы, как правило, указывали на новгородских противников независимо от синтаксического контекста. Ср. под 1169 г.: «И беше новго-

родьць 400, а суждальць 7000. И пособи Богъ новгородцемъ. И паде ихъ 300 и 1000, а новгородьць 15 мужъ» (33), — по нормам нашего современного изложения «ихъ» должно обозначать новгородцев, упомянутых в предыдущей фразе; но для летописца местоимение «они» имело не относительное, менявшееся, а постоянное, притом экспрессивное значение — «противники». Так толкуется местоимение «они» и во многих менее ясных случаях. Например, под 1164 г.: «Придоша съе под Ладугу, и... ладожане... по князя послаша и по новгородце. Они же приступиша подъ городъ» (31), — «они» — это шведы. Под 1176 г.: «приходиша вся Чюдьска земля къ Пльскову, и бишася с ними» (35), — «они» — это не псковитяне, а чудь. О новгородцах и их союзниках летописцы обычно не писали «они». Ср. под 1183 г.: «бишася пльковици съ литвою. И много ся издея зла пльковицемъ», — тут летописец не побоялся дважды повторить слово «псковичи» (37), но не назвал их «они». (В виде исключения новгородцы назывались «они» лишь при пересказе чужой легенды: например, под 1193 г. о том, как югра трижды удачно обманула новгородцев, подобно княгине Ольге, обманувшей деревлян, в «Повести временных лет»). Таким образом, несомненно, что в рассматриваемой статье под 1142 г. речь шла о поражении шведов.

1240 г.

Выражение «**бысть велика сеча свеемъ**» приходится перевести как «произошло великое избиение шведов» ввиду отсутствия эквивалента слову «сеча» («посечение», «рубка»).

Слово «**творяху**» переводим, исходя из контекста: «утверждали».

Выражение «**преже себе пустиша**» переводим как «сплавили»: новгородцы не находились на кораблях с мертвецами, а отбуксировали их вниз по течению Невы.

Выражение «**ископавше яму, вметавше в ню**» лучше перевести более лаконично: «сбросили в выкопанную яму».

1262 г.

Выражение «**баше град твердъ**» в соответствии с контекстом переводим как «город был укреплен».

Выражение «**пристроили собе брань на граде**» переводим: «создали оборону на городских стенах».

Словосочетание «**неправду имеющихъ**» лучше всего перевести одним словом; «неправых».

Выражение «**твердость ни во что же бысть**» в данном контексте переводится как «напрасная укрепленность» (можно перевести как «ничемная, ничтожная, обманчивая»).

Словосочетание «**муж добр**» переводим в соответствии с контекстом как «удалой воин».

Выражение «со всеми новгородци» указывало на то, что все новгородцы остались целы.

1263, 1265 гг.

Слово «мятежь» в данном случае означает «смута».

Фразу «Богу попущью на нихъ гневъ свои, вѣсташа сами на ся» более дословно надо бы перевести так: «Когда Бог попустил ни них свой гнев, то они восстали сами на себя». Однако предпочитаем дать более ясный литературный перевод: «Бог обратил свой гнев против них — и они восстали сами против себя».

Словосочетание «добр князь» лучше перевести как «удалой князь», ведь только что летопись сообщала об участии Товтивила во взятии города Юрьева.

Фраза «просиша у полочанъ сына Товтивилова убити же» явно обозначала требование, а не просьбу литовцев к полочанам. Ясный литературный перевод: «требовали от полочан выдачи сына Товтивила, чтобы убить и его».

Выражение «нечестивыя и поганыя», то есть субстантивированные прилагательные «нечестивые и языческие», переводим по контексту как существительные: «нечестивцы и язычники».

Выражение «зрети... видя ихъ проливающа» по современным литературным нормам лучше перевести: «смотреть и видеть, как они проливают».

Выражение «тогда Господь въздасть» в данном контексте целесообразнее перевести: «А потом Господь полностью воздал».

Слово «ины» в данном месте обозначало оставшихся в живых христиан. Поэтому переводится: «оставшиеся».

Слово «тогда» в данной фразе и в контексте последующего изложения о разгроме язычников было употреблено в значении «затем, вскоре».

Словосочетание «имя ему...» во избежание архаичного стиля лучше всего передать нашим современным выражением «его звали...».

В выражении «шедь в гору... от отца» сказуемое имеет двойное значение «пойти на гору» и «уйти от отца, отказаться от него». Поэтому в переводе требуется пояснение: «ушел на гору, отказался от отца».

Выражение «позна веру» означает «узнал, усвоил, принял веру».

Выражение «научися книгам», то есть «научился читать и понимать книги», можно перевести несколько усилительно: «изучил книги».

Фразу «пострижеса въ мнишьскыи чинъ» лучше перевести привычным для нас выражением: «постригся в монахи».

Слово «ласкати» значит «уговаривать, сулить, обещать, манить».

Выражение «сгради собе манастырь» означало огорожение, заложение, постройку, создание, устройство, сооружение именно своего монастыря, а не для себя одного.

Слово «устав» в данном случае значит «правила, предписания».

Неясно выражение «**вои отца своего и приятели**», — чьи «приятели»: отца или сына? В младшем изводе «Новгородской летописи» еще менее ясно: «вои отца своего приятели» (314). Предполагаем, что речь шла о воинах Миндовга и сторонниках Воишелга.

Словосочетание «**оружиемъ поплени**» все-таки требует пояснения при переводе: «пленил силой оружия».

1269 г.

Слово «**усретоша**» переводим не просто как «встретили», а более драматично — «натолкнулись на».

Выражение «**бе видети яко и лесъ**», дословно переводимое: войско «было видно, как лес», яснее можно перевести: «войско было видно, как стоящий лес», или короче: «войско стояло, как лес».

Слово «**състушишася**» переводим более драматично: «столкнулись».

Слово «**зло**» в данном контексте имело значение «ущерб, урон». Так и переводим.

Словосочетания «**добрые бояре**» и «**черные люди**» в данном случае переводили как антонимы: «знатные бояры» и «незнатные люди».

Выражение «**много, Богъ ѡвѣсть**» (многие, Бог их знает) переводим яснее: «многие пропали без вести».

1300, 1301 гг.

Словосочетание «**мастеръ нарочить**» в данном контексте переводим как «наилучший мастер».

Тавтологическое словосочетание «**утвердиша твердостью**» придется перевести менее экспрессивно: «укрепили».

Словосочетание «**мужи нарочитыи**» лучше перевести как «отборные воины».

Выражение «**твердость та ни во что же бысть**» в данном контексте переводим более решительно: «его укрепления оказались ни к чему».

Слово «**высокоумье**» в данном контексте лучше перевести как «самонадеянность».

Выражению «**всуде трудъ ихъ**» соответствует наше современное выражение «напрасны их труды».

Сообщение о том, что новгородцы шведский «**град запалиша и разгребоша**», то есть «град запалили, а сгоревшее разгребли», переводим с максимальной ясностью: «город сожгли и сравняли с землей».

5. «КИЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ»

1. Общая характеристика

Отрывки из «Киевской летописи», повествующей о событиях 1110—1199 гг., цитируются по изданию: ПСРЛ, т. 2.

Принципы перевода отрывков те же, что при переводе «Повести временных лет». Учтен перевод соответствующих отрывков «Киевской летописи», принадлежащий В. Панову (Древнерусские летописи. М.; Л., 1936, с. 172, 239—240).

В «Киевской летописи» содержится сравнительно мало сообщений, позволяющих судить об отношении летописцев к западноевропейцам.

II. Тексты и комментарии

1150 г.

«Изяславъ же от святое Софьи поеха и съ братьею на Ярославль дворъ. И угры позва со собою на обедъ и кияны. И ту обедавъ с ними на велицемъ дворе на Ярославли. И пребыша у велице весельи. Тогда же угре на фарехъ и на скокохъ играхуть на Ярославли дворе многое множество. Кияне же дивяхутся угромъ — множеству, и кметьства ихъ, и комонемъ ихъ» (416).

Перевод

Из собора святой Софии Изяслав с братьями поехал на Ярославов двор. Он позвал на обед к себе венгров и киевлян. Там, на просторном Ярославове дворе, он обедал с ними. Пообедали с большим весельем. Тогда на Ярославовом дворе огромное множество венгров ристало на арабских конях и на скакунах. А киевляне дивились венграм — их множеству, их витязям, их коням.

Комментарий: венгры

В большой летописной повести о борьбе князя Изяслава Мстиславича за киевский престол упоминается о торжественном обеде, который князь устроил, войдя в Киев, на великокняжеском дворе, куда позвал, очевидно, представителей поддержавших его киевлян и десятитысячного отряда венгров.

Венгерский турнир киевский летописец обозначил как нечто необычное для киевлян и, вероятно, поэтому употребил довольно необычные слова: «фари», «скоки», «кметьство». Летописец сказал, что киевляне «дивяхутся» уграм, а слова «дивляться», «дивитися», «дивно», «дивный» и пр. имели в летописи два противоположных смысловых оттенка. По отношению к церкви, к церковным зданиям, слова «дивитися» и пр. обозначали приятное удивление зрителей редкостной красотой. Соответственно под 1161 г. говорилось, что князь Андрей Боголюбский построил каменную церковь и «украси ю дивно» (511); под 1175 г. описывалась другая построенная им каменная церковь, в которой «всимъ приходящимъ дивитися» (581). Во всех остальных случаях слова «дивитися», «дивно» и пр. означали неприятное удивление сторонних зрителей от

зловещего или печального зрелища. Например, под 1151 г. рассказывалось о постройке князем Изяславом Мстиславичем грозных военных судов: «Бе бо исхитрилъ Изяславъ лодьи дивно, беша бо в нихъ гребци невидимо, токмо весла видити, а человекъ бяшетъ не видити» (423). Под 1153 г. говорилось о траурной церемонии: вошедший на княжеский двор и в княжеский дом увидел всех от слуг до князя в черном и «подивися, что се есть» (464). Под 1175 г. отмечалось, что злодейскому убийству Андрея Боголюбского «удивишася небеснии вои, видяще кровь проливаему за Христа» (585). Под 1161 г. княжеские мужи упрекали своего князя в смертельном риске: «Дивно есть, княже, оже... живота своего не блюдеши» (513—514). Под тем же годом сообщалось о зловещем знамении: «бысть знамение в луне страшно и дивно... изменяючи образы своя» и т. д. (516). Если летописец сказал, что киевляне «дивляхутся» венгерскому ристанию, то, думается, он имел в виду не умиленное, а отчужденно-настороженное удивление киевлян небывалому параду венгров, мощных союзников Изяслава.

Согласуется с такой ситуацией и характеристика обеда, на котором Изяслав, киевляне и венгры «пребыша у велице весельи», только в весельи, но не в любви. Обычно же любовь обязательно упоминалась в летописных сообщениях о княжеских обедах или съездах: «пребыша у велице весельи и у велице любви», «пребыша у велице любви и у велице весельи» (423. Под 1151 г.; 441. Под 1151 г.; 454. Под 1152 г.), «пребыша в весельи велице и в любви мнозе», «в весельи мнозе и во любви велици» (682. Под 1195 г.), «пробыше у весельи и у любви» (368. Под 1148 г.) и мн. др. Отсутствие упоминания о любви не бывало случайным и указывало все-таки на отсутствие близких, доверительных отношений между сторонами. Например, пошел князь к новгородцам, с которыми «не добре живяху», оттого и про их общий обед сообщалось без упоминания любви: «бысть радость велика въ ть день» (528. Под 1168 г.). Другой княжеский обед с новгородцами тоже прошел без любви: «обедавше, веселишася радостью великою» (369. Под 1148 г.). Как-то монахов позвал князь на обед, сдержанный, без проявлений любви: «позва манастыря вся на обедъ и бысть с ними веселье» (682. Под 1195 г.). А с отрядом иноземцев обед, устроенный князем, прошел как бы совсем без добрых чувств: «позва... чернии клобуци вси, и ту попишася у него вси чернии клобуци» (там же). За год до своего обеда 1150 г. с венграми князь Изяслав Мстиславич дал обед венграм и полякам, только что пришедшим ему на помощь, но реально еще не помогшим, и в сообщении об этом обеде тоже не упоминалось про любовь: пришли к Изяславу во Владимир «угре в помочь и Болеславъ, лядьский князь, съ братомъ своимъ Индрихомъ съ мноюю силоу. Изяславъ же позва я к себе на обедъ. И тако обедавше, быша весели» (386. Под 1149 г.) Неупоминание любви в сообщении 1150 г. об обеде Изяслава и киевлян с уграми, по-видимому, отразило еще отстраненное отношение к венграм.

Подтверждают такое отношение приводимые повсеместно под 1150 г. речи персонажей. Изяслав перед своей дружиной называл венгров гостями: «Уже ми толико доехати с гостьми, съ угры и с ляхы» (401). И венгры соглашались перед Изяславом: «Мы госте есме твои» (414). А дорогобужцы перед Изяславом отзывались о венграх еще определеннее: «Се, княже, чюжеземци угре с тобою» (410). В общем, сообщение об обеде под 1150 г. и вся повесть в целом засвидетельствовали несколько отчужденное отношение киевлян, войска Изяслава и самого Изяслава к венграм.

Возможно, автор повести, летописец, тоже без любви относился к венграм. Недаром в летописной повести было рассказано о ненадежности венгров, о том, как один из персонажей подкупил венгров, чтобы они не помогли Изяславу: «вда золото много и умьзди я, да быша воротили короля. И тако умолвиша короля пойти домови. Король же послуша ихъ» (406).

После того как венгры в конце концов реально поддержали Изяслава, отношение к ним, естественно, потеплело, и в 1151—1152 гг. обеды и встречи с венграми проходили уже «с любовью»: «пребыша у величи любви» (419), «обуястася с великою любовию» (447). Изяслав прочувствованно благодарил венгерского короля за помощь. Но, несмотря на это, отчужденное отношение к венграм сохранялось, и тот же Изяслав перед битвой с русскими, в присутствии союзного ему венгерского полка обратился к своей дружине, назвав тут же стоящих венгров чужими: «перед чюжими языки дай ны Богъ честь свою взяти» (449. Под 1152 г.).

Летописец тоже был настроен неблагоприятно и сообщил сведения, которые явно отрицательно характеризовали венгров: «угре же пьяни величахуся» и в решающий момент не помогли — «лежахуть пьяни, яко мертви» (442. Под 1151 г.). Сообщалось и еще об одной антикиевской попытке подкупа венгров (450. Под 1152 г.). Так что отношение в Киеве (в том числе и летописцев) к венграм в середине XII в. было, что называется, сложным.

1189 г.

«Угре же ведаюче лесть галичкую, аже галичане ищють себе князя руского, и почаша насилье деяти во всемь, и у мужии галичкихъ почаша отимати жены и дщери на постеле к себе и в божницахъ почаша кони ставляти и в ызбахъ, иная многа насилья деяти. Галичани же почаша тужити велми и много каяшася, прогнавше князя своего» (665).

Перевод

Зная об умысле галичан подыскать себе русского князя, венгры принялись во всем чинить насилие галичанам: отнимать жен и дочерей у галицкой знати — на постели себе, ставить коней в молельнях и

избах, творить прочее многочисленное насилие. Галичане же стали глубоко переживать и часто каяться в том, что они прогнали своего князя.

Комментарий: венгры

Речь идет о борьбе за Галич. В 1188 г. галицкая знать прогнала галицкого князя Владимира Ярославича, пригласив из Владимира другого князя — Романа Мстиславича. Владимир уехал за помощью в Венгрию, приближавшиеся венгерские полки вынудили Романа бежать из Галича. В Галиче был посажен править венгерский королевич. Тогда галицкая знать позвала княжить Ростислава Берладничича из Смоленска. Но венгры убили Ростислава и в отместку стали бесчинствовать в Галиче.

Обращает внимание то, что для автора летописного повествования почти не было хороших персонажей, но все участники событий поступали плохо, своекорыстно. Венгры поступали плохо еще и до бесчинств: когда венгерский король въехал в Галич, то «не посади в нем Володимера... посади в нем сына своего Андрея. А Володимера поя с собою во Угры опять, нужею отима добытокъ, и всади его на столпъ и с женою его. Король же бе великъ грехъ створи» (661. Под 1188 г.). Однако и русские персонажи оказались не лучше. Когда Владимир Ярославич княжил в Галиче, то был «любезнивъ питию многому, и думы не любящеть с мужми своими, и поя у попа жену и постави себе жену», а также «где улюбивъ жену или чью дочь, поимашеть насильем» (659—660. Под 1188 г.). За то «насилье» его и прогнали, а он: «поймавъ злато и сребро много», отправился к венгерскому королю. Галичане тоже вели себя худо, «переступишеть хрестъное целование» (657. Под 1187 г.), «восташа на князь свои» (660. Под 1188 г.), «не бяхуть вси во одной мысли», обещали поддержку Ростиславу Берладничичу, а потом большинство их перебежало к венграм. Как сказал Ростислав о галичанах: «суть ко мне крестъ целовало, ажъ ловять головы моя. Да Богъ судить имъ и тотъ крестъ, его же ко мне целовале» (664. Под 1189 г.). Однако затем предавшие венграм галичане снова захотели Ростислава. Вот отчего летописец упомянул «лестъ галичкую». Роман Мстиславич также вел себя подло: будучи зятем Владимира Ярославича, «слашеть без опаса к мужемъ галичкимъ, подътыкая ихъ на князя своего, да быша его выгнале изъ отчины своя, а самага быша прияли на княжение» (660. Под 1188 г.). Роман передал княжение Владимиром своему брату («отнудъ и крестъ к нему целова: „Боле ми того не надобе Володимеръ“» — 661. Под 1189 г.), но потом вопреки крестному целованию затребовал Владимир обратно. И т. д. и т. п.

Окружающий мир в изображении летописца жестко несправедлив, этически расшатан, летописец же все-таки был сторонником порядочности и порядка. Поэтому о Ростиславе Берладничиче, который верил крестному целованию галицких мужей и «не веды льсти ихъ», летописи-

сец рассказал более сочувственно: рыцарственный князь сильно пострадал и погиб, «причтеса к дедомъ своимъ и ко отцемъ своимъ» (665. Под 1189 г.). Можно составить целый список этических правил, сторонами которых выступали киевские летописцы.

Среди летописных персонажей, нарушающих порядок и обычаи, венгры были представлены летописцем как изобретательные и изощренные вредители. Они в Галиче «в божницахъ почаша кони ставляти и в ызбахъ». Они галицкого князя Владимира Ярославича не просто заточили, а «всади его на столпъ и с женою его, столп в виде «веже каменое, ту бо держашеть и король и с попадьєю его» и с двума детятама, поставленъ бо бе ему шатерьъ на вежи» (666. Под 1190 г.). Ростислава Берладничича венгры злодейски уморили хитроумным способом: «приложивше зелье смертное к ранамъ. И с того умре» (665. Под 1189 г.). Необычная вредоносность венгров имела объяснение у летописца: «се иноплеменьници» (663. Под 1189 г.), у них навыки другие, диковинные, особенно опасные.

1190 г.

«В то же лето иде цесарь немецкыи со всею своею землею битися за гробъ Господень. Проявилъ бо бьашеть ему Господь ангеломъ, веля ему ити. И пришедъшимъ имъ и бьющимся крепко с богостудными тыми агаряны. Богу же тако попустившу гневъ свои на весь миръ, зане исполнися злобъ нашихъ вся земля. И си вся наведе на ны грехъ ради нашихъ, — во истину судъ створи, и правы судьбы его, — и преда место святыня своя инемъ, иноплеменьникомъ. Сии же немци, яко мученици святии, прольяша кровь свою за Христа со цесари своими. О сихъ бо Господь Богъ наш знамения прояви: аще кто от нихъ в брани от иноплеменныхъ убьени быша, и по трехъ дньехъ телеса их невидимо из гробъ ихъ ангеломъ взята бывахуть. И прочии, видяще се, тосняхуться пострадади за Христа. О сихъ бо воля Господня да сбьется и причте я ко избранному своему стаду, в ликъ мученицкыи. Се бо створи Господь за грехы наша, казня весь миръ и пакы обраща, яко же сгрешихомъ, и безаконьновахомъ, и не оправдихомъся пред нимъ. Кто бо свестъ умъ Господень и тайная его творения кто вестъ?» (667—668).

Перевод

В этом же году немецкий цесарь с войском, набранным от всей его земли, отправился биться за гроб Господень. Господь через ангела внушил цесарю идти в поход. И немцы пошли и истово сражались с бесстыдными агарянами. Бог соизволил гневаться на весь мир, потому что вся земля наполнилась нашими пороками. Бог предал место своей святыни чужим, иноплеменникам, навел их всех на нас из-за наших грехов. Бог сотворил правый суд, верны его предопределения. А эти немцы, как святые мученики, со своими цесарями пролили за Христа свою кровь. В

их честь наш Господь Бог показал знамения: если кто из них бывал убит в сражении с иноплемениками, то через три дня их тела из гробов невидимо забирали ангелы. Видев это, и прочие немцы жаждали пострадать за Христа. И сбылось по воле Господа, он причел их к своему избранному стаду, к лику мучеников. Господь сотворил это из-за наших грехов, наказывая и снова исправляя весь мир, ведь мы согрешали, предавались беззакониям, не оправдались перед ним. Кто может познать ум Господа и понять сокровенные его деяния?

Комментарий: «немцы»

Слух о третьем крестовом походе с участием императора Фридриха Барбароссы дошел до киевского летописца в очень бедном виде, рассказ довольно невнятен, особенно в риторических отступлениях. По ним можно понять, что «немцев» и русских летописец в данный момент считал единым миром и этот мир называл «нашим», «нами», что подвиг немцев напомнил летописцу о единстве христианского мира. Ср.: «Не только отсутствует ненависть, предубеждение против немцев-католиков, конфессиональная вражда — наоборот: немцы — одинаковые с русскими христиане и борцы с богопротивными агарянами: Барбароссу против агарян, как некогда Мономаха на половцев, побуждает идти ангел» — (Панов В. Комментарии. Киевская летопись // Древнерусские летописи, с. 363. См. в летописи под 1190 г.: «Проявилъ бо башеть ему... ангеломъ, веля ему ити» к «иноплеменьникомъ». И под 1111 г.: «Се бо ангель вложи въ сердце Володимеру Манамаху пустити братью свою на иноплеменики» — 268). Судя по летописи, значительные христианские деяния рассматривались летописцами как объединяющие мир. Например, возведение крупных храмов: к знаменитой церкви, построенной Андреем Боголюбским «иногда бо аче и гость приходилъ изъ Царягорода и от инихъ странъ, изъ Руской земли, и аче латининъ, и до всего христьянства, и до всее погани» (591. Под 1175 г.).

Летописец с демонстративной экзальтацией относился к «немцам», на полном серьезе называл «немцев» мучениками, высказывался о них в том же сокрушенно-молитвенном тоне и в тех же выражениях, в каких в летописи говорилось о древних и о современных русских мучениках. Ср. в данной статье («мученици святии, прольяша кровь свою... причте я ко избранному своему стаду», «Богъ нашъ знамения прояви») и в статье под 1147 г. речь одного из князей: «...святии пророци апостоли съ мученики венцашася и по Господе крови своя прольяша... причти мя избраномъ твоємъ стаде... святии правовернии цари прольяша крови своя» (350—351); затем над телом этого мученически убиенного князя «Богъ прояви над ним знамение велико» (354). Те же выражения повторялись под 1175 г., в рассказе о мученическом убиении другого князя (588—589); под 1197 г., в предсмертной речи еще одного князя (704).

Необычное пристрастие летописца к «немцам» диктовалось религиозно-политическими соображениями, интересом летописца к мировой борьбе христиан с агарянами. В летописи просматривается сквозной сюжет. Под 1110 г. летописец рассказал о запрете ангела обижать Иерусалим. Под 1187 г. летописец сообщил о падении Иерусалима: «...во дни наша преда Господь градъ Ерусалимъ святы беззаконнымъ темь агаряномъ. Да кто свесть умъ Господень, кто ли свесть тайная его створеная... Богу же тако попустившю гневъ свои... и святыню завета Господня плениша». Но тут же летописец твердо пообещал: «И ни по колицехъ летъ, яко же исповедають царскыя книги, опять возвратить Господь скрижали завета Господня во Иерусалимъ» (655—656). И действительно, через несколько лет это предсказание начало сбываться, и под 1190 г., продолжая эту тему в сходных же выражениях («преда место святыня своя», «богостудными тыми агаряны», «кто бо свесть умъ Господень и тайная его творения кто весть», «Богу же тако попустившю гневъ свои»), летописец заговорил о «немцах», сам удивляясь Господнему выбору.

6. «ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЛЕТОПИСЬ»

I. Общая характеристика

Владимирский летописный свод начала XIV в. дошел до нас в составе «Лаврентьевской летописи» как непосредственное продолжение «Повести временных лет».

Отрывок цитируется по изданию: Летопись по Лаврентиевскому списку. Перевод А. С. Демина.

II. Тексты и комментарий

1194 г.

«Того же лета, месяца сентября, обновлена бысть церкы святая Богородица в Суждали, яже бе опадала старостью и безнарядьемъ, тем же блаженнымъ епископомъ Иваномъ. И покрыта бысть оловомъ отъ верху до комаръ и до притворовъ. И то чюду подобно, — молитвою святое Богородици и его верою, а иже не ища мастеровъ отъ немецъ, но налезе мастера отъ клеветрь святое Богородици и своихъ: иныхъ олову льяти, иныхъ крыти, иныхъ извистью белити. Отверзене бо ему беста отъ Бога очи сердечней на церковную вещь, оже пещися церковными вещьми и клирики, яко правому пастуху, а не наимнику» (390—391).

Перевод

В сентябре того же года в Суздале тем же блаженным епископом Иоанном была обновлена церковь святой Богородицы, разрушавшаяся

из-за ветхости и неухоженности. Ее покрыли оловом от верха и до комар и притворов. Получилось нечто, похожее на чудо, благодаря молитве святой Богородицы и Иоанновой вере, который не искал мастеров у немцев, а нашел мастеров среди прихожан церкви святой Богородицы и среди своих людей: одних, умевших лить олово, других — крыть им, третьих — белить известкой. От Бога у него были раскрыты сердечные очи на церковное дело, чтобы печься о церковных делах и церковнослужителях, как истинный пастух, а не наймит.

Комментарий: немцы

Может показаться, что летописец хвалил ростовского епископа Иоанна I за то, что тот при ремонте суздальского Богородичного собора не обратился к немецким мастерам, а патриотически обошелся своими силами. В действительности же смысл этого отрывка несколько другой, летописец не относился отрицательно к немецкой или вообще иностранной помощи и идейно или как-либо еще не противопоставлял немцев и русских. Летопись, напротив, вполне благожелательно отмечала иностранную помощь. Например, под 1160 г. она сообщала о постройке Андреем Боголюбским во Владимире тоже Богородичной церкви и участие иностранных мастеров представляла даже как божественное достоинство стройки: «Приведе ему Богъ изъ всехъ земль мастера, и украси ю паче инехъ церквий» (333). Военную помощь иностранцев русским князьям летопись отмечала многократно и без какой-либо ксенофобии, как дело обычное. И, напротив, очень жалели летописцы тех, кто не мог воспользоваться внешней помощью: «тяжко бысть ему, зане не бысть ему помощи ниоткуда же» (319. Под 1151 г.) и мн. др.

Суть отрывка вот такая: летописец похвалил епископа Иоанна за строительную энергию. О том, что кто-то намеренно не ждал помощи или подмоги, в том числе иностранной, а предпочитал действовать сам, летописцы рассказывали обычно для того, чтобы подчеркнуть личную заслугу данного человека. Правда, чаще речь шла об энергичных и успешных военных действиях князей: «князь же Ярополкъ, укрепивъся Божьею помощью, не жда иное помощи, ни брата, ни другаго, токмо с переяславци своими... дерзну с дружиною своею и победи поганяя» (281. Под 1125 г.). Ср. в «Житии Александра Невского», включенном во «Владими́ро-Суздальскую летопись»: «пойде на нь в мале дружине, не сождавъся со мною силою своею, но уповая на святую Троицю... Тем же многи новгородци не совокупилися беша, понеже ускори князь пойти» (455. Под 1263 г.). Однако энергичную строительную деятельность князей летописи обозначали таким же образом. Например, в «Киевской летописи» под 1199 г. содержалась похвала князю Рюрику Ростиславичу за постройку каменной монастырской стены: «и тако яться зданию не тощю во соблюдение честнаго храма, ни от кого же помо-

щи требуя, но самъ о Христе возмагая, помяная Господа, глаголющаго, яко вся мощна верующему» (ПСРЛ, т. 2, стб. 711).

К немецким мастерам суздальский или владимирский летописец не выразил своего отношения, то есть отнесся нейтрально. Реальных впечатлений от «немцев» летописец не имел.

7. «ПОВЕСТЬ О ДОВМОНТЕ»

I. Общая характеристика

«Повесть о Довмонте» была создана во Пскове, вероятнее всего, во второй четверти XIV в. и рассказывала о походах псковского князя Довмонта в XIII в. на литовцев и немцев.

Отрывки из первоначальной редакции повести цитируются по книге: *Охотникова В. И.* Повесть о Довмонте: Исследование и тексты. Л., 1985.

При переводе отрывков первой редакции нами учтен перевод иной, более поздней редакции повести, опубликованный и комментированный В. М. Охотниковой (ПЛДР, т. 4, с. 50—54, 535—536), а также использованы принципы перевода, изложенные при переводе отрывков из «Повести временных лет».

В комментарии дается филологическая характеристика упоминаемый о западноевропейцах в повести.

II. Тексты и комментарий

О походах Довмонта

«В лето 6773... Того же лета побихася Литва межи собою некия ради мужа.

...Домонт... ехав с мужы псковицы съ трими девяносты и плени землю Литовскую... Герденю же своими князи дома не бывшу, и приехаха в дома своя, аже домове их и земля вся пленена. Ополчився Гердинь, и Готорт, и Любми, и Лигайло, и протчии князи, в 7 сот погнаша вслед Домонта, хотяша его руками яти и лютой смерти предати, а муж пскович мечи иссечи. ...Тогда убиен бысть князь великий литовский Готорт, и инех князей многих избиша. А иная литва в Двине истопоша. А инех Двина изверже 70 на остров Гондов. А иные на прочия острова извержены быша. А иные вниз по Двине поплыша.

Паки же по том времени, в лето 6775, великий князь Дмитрий Олександрович з зятем своим з Довмантом, с мужи с новгородцы и со псковичи иде к Ракавору. И бысть сеча велика с погаными немцы на поле чисте, помощию святые Софеи-премудрости Божии и святые Троицы немецкие полки побиха. И прошед горы непроходимыя, и иде на вируяны, и плени землю их и до моря, и повоева Поморие... По том по

неколицех днех останок собравшеся поганой латыне, и пришедше тайно, и взяша с украины несколько псковских сел, и возвратишася вскоре. Боголюбивый же князь Довмонт, не терпя обидим быти от нападания поганых немец, выехав погонею малою дружиною, в пяти насадах съ 60 мужь, Божиею силою 800 немец победи на реце на Мироповне, а два насада бежаша во инья острова. Боголюбивый же князь Довмот, ехав, зажже и остров, и пожже их под травою. А инии побегоша, а власы их зажжени горят. А иных исече. А инии истопоша в воде...

Слышав же местер земля Ризкия мужество князя Довмонта, ополчився в силе тяжце, без Бога, прииде къ граду Пскову в кораблех, и в лодиях, и на конях, с пороки, хотя пленити дом святыя Троица, а князя Довмонта рукама яти, а мужей пскович мечи иссеци, а инех в работу ввести. Слышав же Довмонът ополчающаяся люди без ума, во множестве силы, без Бога... с малою дружиною с мужи псковичи выехав, Божиею помощию изби полки их. Самого же местера раниша по лицу. Они же, трупия своя многи учаны накладше, везоша в землю свою. А останок их устремишася на бег...

И паки же по временех княжения его начаша погании латыня силу деяти на псковичех нападанием и работою... Тое же зимы за умножение грех наших изгониша ратию немцы посад у Пскова, в лето 6806... и избиша игумены, и черньцы, и черницы, и убогия, жены и младыя дети. А мужей Бог ублюде. Во утрей же день погании немцы оступиша град Псков, хотяще его пленити. Боголюбивый же князь Тимофей... выеха с малою дружиною с мужи псковичи... удари на них... И раниша самого кумендера по главе. А вельневича изымав... А прочии вскоре повергоша оружия своя и устремишася на бег страхом грозы храборства Довмонтова и мужей его пскович» (189—192).

Перевод

В 1265 году... В тот год по некой необходимости литовцы сражались между собою.

... Довмонт... с 93 воинами-псковичами напал и захватил Литовскую землю... Герденя с его князьями не было дома, приехали они домой — а дома их и вся земля захвачены. Гердень, Готорт, Люмбей, Люгайло и прочие князья, всего человек с 300, погнались за Довмонтом, хотели его в свои руки взять и лютой смерти предать, а воинов-псковичей мечами иссечь. ...Тогда был убит великий князь литовский Готорт, и перебили многих иных князей. А остальные литовцы утонули в Двине. Из них 70 Двина выбросила на остров Гайдов. А некоторые были выброшены на прочие острова. Оставшиеся же поплыли вниз по реке.

...После того, в 1267 г., великий князь Дмитрий Александрович со своим зятем Довмонтом, с воинами-новгородцами и псковичами пошли к Раковору. И во чистом поле была великая сеча с погаными немцами. С помощью святой Софии-премудрости Божией и святой Троицы наши

разбили немецкие полки. И, преодолев непроходимые горы, пошли на вируян, захватили их землю до самого моря и разорили ливонское Поморье. ...Через некоторое время после того собрался остаток поганых латинян, подобрались они тайком, взяли на окраине несколько псковских сел и поскорее вернулись назад. Не желая сносить ущерб от набега поганых немцев, боголюбивый князь Довмонт выехал в погоню с малой дружиной, на пяти судах с 60 воинами, и на реке Мироповне у Острова Божьей силою победил 800 немцев, а два их судна бежали к другим островам. Боголюбивый князь Довмонт, подплыв, зажег и остров и сжег немцев в траве. Некоторые из них побежали, да волосы у них зажженные горят. А прочих иссекли. А иные утонули в воде.

Прослышал магистр Ливонского ордена о мужестве князя Довмонта, набрал весомую силу, но безбожную, приблизился к городу Пскову на кораблях, на ладьях, на конях и со стенобитными орудиями, намереваясь овладеть домом святой Троицы, князя Довмонта схватить своими руками, воинов-псковичей изрубить мечами, а оставшихся обратить в рабство... Довмонт узнал о людях, нападающих во множестве, но безумно и безбожно... выехал с малой дружиной, с воинами-псковичами, с Божьей помощью разгромил их полки. А самому магистру поранили лицо. Наклав трупы своих во много лодок, немцы повезли их в свою землю. А остаток напавших устремился в бегство...

По истечении некоторого времени поганые латиняне снова стали чинить насилие псковичам — набегами и уводом в неволю... В ту зиму из-за умножения наших грехов напал отряд немцев на посад у Пскова, в 1298 г. они убили игуменов, монахов, монахинь, убогих, женщин и малых детей. А мужчин Бог уберег. Утром на следующий день поганые немцы окружили город Псков, думая его захватить. Боголюбивый же князь Тимофей... выехал с малой дружиной, с воинами-псковичами... ударил по немцам... И самому командору поранили голову. А вельдцев пленили... А остальные сразу побросали свое оружие и ударились в бегство из-за страха перед напором храбрости Довмонтовой и воинов его псковичей.

Комментарий: литовцы, немцы

В приведенных отрывках повести рассказывается о походах Довмонта: сначала на Литву, затем — с сыном Александра Невского на ливонских рыцарей к эстонскому городу Раковору и к реке Мироповне у Чудского озера, потом — о сражении около Пскова с магистром Ливонского ордена и, наконец, о сражении Довмонта (церковное его имя — Тимофей) около Пскова с ливонским командором и пленении воинов из ливонского города Вельяд.

Сводя воедино летописные сообщения о разных военных событиях с участием Довмонта (об этом см.: *Охотникова В. И. Повесть о Довмонте*, с. 71), автор-книжник использовал немудрящие средства, чтобы сде-

дать изложение довольно однообразных фактов все-таки более выразительным и даже отчасти экспрессивным: пошел на свободное, эклектически разностильное повествование о врагах Пскова. Наряду с обычными для подобных сочинений церковными, летописными, воинскими формулами и документально-числовыми сведениями этот книжник для украшения речи вставил фразеологические заимствования из «Жития Александра Невского» (см.: *Охотникова В. И. Повесть о Довмонте*, с. 24—29), а сверх того — нетрафаретные и не всегда складные абстрактно-риторические фразы («побихася Литва межю собою некия ради нужа» — 189; «силу деяти на псковичех нападением и работою» — 191; «страхом грозы храборства Довмонтова» — 192), щеголевато-рифмованные сочетания («хотяша его рукама яти и лютой смерти предати... мечи иссечи» — 189; «а иные на прочия острова извержены быша, а иные вниз по Двине поплыша» — 190; «не стерпел дождати мужий своих большая рати» — 192), явственные разговорно-просторечные обороты («приехаша в дома своя, аже домове их и земля вся пленена» — 189) и внезапные фольклорные обозначения («кто стар, то отец, а кто млад, то брат» — 189; «бысть сеча велика с погаными немцы на поле чисте... и прошед горы непроходимыя... и плени землю их и до моря» — 190).

Возможно, для занимательности изложения автор повести сохранил краткие летописные упоминания и об иных происшествиях, не имевших прямого отношения к главной теме («и по том по мале времени бысть знамение в луне» — 191; «тогда беяше и мор на людех зол» — 192), ввел в изложение пусть не оригинальные, но сравнительно яркие детали («ста шатри на бору чисте» — 189; «побегоша, а власы их зажжени горят», «препоясавше ѿ мечем», «раниша по лицу» — 191; «глас их пред полки, аки труба, звенящи» — 192). Некоторое разнообразие вносилось стихийно менявшейся характеристикой врагов, которые представляли то лютыми (яростно собираются), то незадачливыми (погибают во множестве), то подлыми (исподтишка нападают на монахов, женщин и детей) и которых в повести автор называл в разных вариациях то «поганой литвой», «погаными немцами», «поганой латынью», то «супротивными врагами», то «людьми без ума». Тяготение автора к некоторой экспрессивности повествования выдают и постоянные его упоминания о чувствах псковичей при борьбе с врагами («и бысть радость велика во Пскове» — 189; «и возвратишася с радостию великою... и бысть радость и веселие во граде Пскове» — 190; «моляся много со слезами... во множестве ярости мужества своего» — 191; «плакахуся... бысть же тогда жалость велика во граде Пскове» — 193; и пр.).

Все эти особенности повести неотделимы от манеры такого же экспрессивного повествования «Псковской первой летописи», преимущественно за 1320-е — 1360-е гг. (о текстуальных совпадениях повести и остального летописного текста см.: *Охотникова В. И. Повесть о Довмонте*, с. 48—50). В данной части летописи встречаются, в частности, анало-

гичные разговорно-просторечные обороты (например: «поидоша в помощь псковичемъ, оже немцы стоять...» — Псковские летописи / Изд. подгот. А. Насонов. М.; Л., 1941, вып. 1, с. 16. Под 1323 г.; «послаша псковичи послове... аже князь Александръ стоит у городка...» — 17. Под 1327 г.; «сретошася с великою ратию с немецкою... оже они идутъ на стояние...» — 18. Под 1341 г.; и мн. др.). Повторяются фольклорные выражения («кто старъ, той отецъ; кто млад, той братъ» — 11. Под 1343 г.). Летопись тоже прослеживает, как с врагами псковичи борются огнем («их замышления зажьгоша, и отбегоша немцы со многимъ студомъ и срамомъ» — 16. Под 1323 г.; «зажгоша ѿ приметом, а немцы и чюдъ... овии згореша, а инии метахуся з городка» — 20. Под 1348 г.; и др.), тоже приводит яркую деталь из картины горения врагов («взяша город немецкый Кирыпигу и пожгоша... овых избиша, а инии, в погребех запечатавшеся, подхошася зноем, акы свиньи, погореша» — 23. Под 1368 г.). Летопись тоже постоянно упоминает о чувствах борющихся псковичей. На эмоциональную напряженность летописного повествования псковские летописцы указывали своими оговорками о том, что они о событиях намеренно пишут коротко («и иное зло писал бых, но горе и тако» — 11. Под 1230 г.; «а иное бых писалъ то розратие вельми приточно бяше, но за умножение словес не писано оставих» — 19—20. Под 1341 г.; и др.).

Отношение автора повести к литовцам и немцам совершенно не индивидуально по сравнению с летописью, а вместе с летописью — это отношение профессиональных книжников, в сущности, посторонних описываемым событиям, особенно военным, но настроенных на формальное оживление рассказов путем привлечения разговорных выражений и бытовых мотивов. Подобной же отчужденно-развлекательной настроенностью отличались псковские писцы XIV в., судя по сделанным ими припискам на полях рукописей.

ИНДИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XI—XVIII ВВ.

В Древней Руси XI—XVI вв. понятие «Индия» не связывалось с определенными практическими делами — с политикой, торговлей, путешествиями и проч. Ни один памятник древнерусской литературы не выражал стремления автора обязательно побывать в Индии. Даже знаменитый Афанасий Никитин в XV в. вовсе не намеревался забраться «за три моря» и описать свое «хождение». Он поехал из Твери торговать на Кавказ; но его и его товарищей ограбили около Астрахани — хорошо, не убили, а «отпустили голыми головами» (446)¹. Что делать? Афанасий Никитин, вероятно, был весь в долгах: «У кого что есть на Руси, и тот пошелъ на Русь. А кой должен, а тот пошел куды его очи понесли» (448). Очи понесли Афанасия Никитина все дальше на юг в надежде как-то поправить свои дела. Так, неожиданно-негаданно, он очутился в Индии, в чем и признавался со свойственной ему прямоотой: «Азъ же от многия беды поидох до Индея, занже ми на Русь поити не с чем, не осталось у меня товару ничего» (464). Индия поневоле оказалась темой записок купца Афанасия Никитина.

Обычно же древнерусские книжники XI—XVI вв. говорили об Индии в связи с духовными, умозрительными темами. Когда вставал вопрос о мироустройстве, тогда и упоминалась Индия — во множестве «космографий» (описаний стран и народов земли), в «Повести временных лет» (летописи, которая начиналась с рассказа о разделе мира между сыновьями Ноя), в «Александрии» (повести о походах Александра Македонского), в «Луцидариусе» (беседе учителя с учеником о небесах и земле) и т. п.

¹ Цитируемые произведения: «Александрия» Псевдо-Каллисфена — *История В. М. Александрия русских Хронографов: Исследование и текст.* М., 1893. Приложение; «Книга, глаголемая Козмография» — *Козмография 1670 / Изд. подгот. А. П. Крыжин, П. Н. Тихонов.* СПб., 1878—1881; «Козмографии» XVII — начала XVIII в. — РГБ, собрание Тихонравова, № 249; собрание Музейное, № 724; «Луцидариус» — *Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях, по рукописям Соловецкой библиотеки.* СПб., 1890; «Повесть о Варлааме и Иоасафе» — *Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI—XII вв. / Изд. подгот. И. Н. Лебедева.* Л., 1985; «Повесть о Еруслане Лазаревиче» — ПЛДР, т. 10 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; «Сербская Александрия» — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. Е. И. Ванеева; «Сказание об Индийском царстве» — ПЛДР, т. 3 / Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров; «Слово о рахманех» — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. Я. С. Лурье; статейный список посольства в Персию А. С. Романчукова — *Русско-индийские отношения в XVII в.: Сборник документов / Изд. подгот. Т. В. Лавренцова, Р. В. Овчинников, Т. В. Шумилов.* М., 1958; «Хождение» Афанасия Никитина — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. М. Д. Каган-Тарковская.

Индия мыслилась не просто как одна из частей мироздания, но как самый дальний и едва достигаемый земной предел — край земли, где «соткнулось» небо с землею, — так определяли местоположение Индии «Сербская Александрия» (112) и «Сказание об Индийском царстве» (466). Это представление бытовало на Руси более 700 лет, и даже в «космографиях» XVII в. повторялось: Индия — под самым «востоком» солнца («Книга, глаголемая Козмография», 17).

Индия была необходимым пространственным элементом древнерусского мироощущения. При всей нашей гордости современными знаниями, аналогия между нашим и средневековым обобщенным представлением о мироздании вполне допустима с психологической точки зрения: те или иные географически и космологически «предельные» понятия всегда входят в состав общественного мироощущения — только отодвигаются все дальше и дальше с течением времени. Сейчас для нас «Индией» служит понятие о дальнем космосе, о других созвездиях и галактиках; в повседневной жизни мы мало задумываемся о них, однако заходит речь о мироустройстве — и эти «предельные» элементы тут же вспоминаются.

И для нас и для древнерусских книжников «предельный» элемент мироощущения был не столько понятием, сколько образом: путь в Индию представлялся невыносимо тяжким — морем и «пучинами» («Повесть о Варлааме и Иоасафе», 113); а посуху еще труднее — великим полем, которое невозможно перейти за четыре года («Луцидариус», 430); богатырю Еруслану Лазаревичу понадобилось почти полжизни, чтобы после разных приключений достичь индийского рубежа («Повесть о Еруслане Лазаревиче», 310—311). Разве в принципе нет сходства с нашей современной фантастикой, которая изображает такой же напряженный и опасный путь человека к мыслимым пределам вселенной?

Фантастический образ Индии буквально расцвел в древнерусской литературе — примерно так же, как потом в литературе нового и новейшего времени был развит образ космоса. Дальний, почти бесплотный предел мира оказался огромным пространством с бесчисленными городами — такие свидетельства часто приводились в повестях и «космографиях». В один конец Индии идти 10 месяцев, а до другой границы вообще не дойти («Сказание об Индийском царстве», 466); царство-то в 36 «языков» («Сербская Александрия», 36); сам Александр Македонский не смог обойти всю Индию — поставил столп с надписью о том, что дошел до такого-то места, и повернул назад («Александрия» Псевдо-Каллисфена, 193; «Сербская Александрия», 112).

Воображение писателей вносило любопытные разноречия в описание местоположения Индии: хотя Индия вроде бы ближе всех стран к раю и даже примыкает к нему (а рай уже нельзя увидеть живому человеку), но за Индией оказывается еще много чего — пещера, ведущая в царство мертвых; еще какие-то царства; народы, «заклепанные» в не-

приступных горах («Александрия» Псевдо-Каллисфена, 186; «Сербская Александрия», 110, 138; «Луцидариус», 431); потом песчаное море, а дальше — неизвестно, есть люди или нет («Сказание об Индийском царстве», 468). И это тоже не конец, потому что у такого пространственного образа не может быть конца.

Занимательные и социально-утопические мотивы особенно пышно развились в рассказах об Индии, Древнерусские памятники полны описаний тамошних чудес: в Индии есть магнитная гора, которая на расстоянии выдергивает железные гвозди из проплывающих кораблей, и корабли распадаются («Луцидариус», 431); есть озеро: бросишь в воду сушеную рыбу, и она оживает и уплывает («Сербская Александрия», 112); там растут говорящие деревья, при заходе солнца предвещающие человеку его судьбу («Александрия» Псевдо-Каллисфена, 87—88); там гигантские муравьи и черви затаскивают в нору людей и коней («Сербская Александрия», 98; «Луцидариус», 434); гнездо гигантской птицы «ноги» занимает 15 дубов, а моча крокодилов вызывает пламя («Сказание об Индийском царстве», 466); но самое главное — люди: то рогатые, то трехногие, то четверорукие, то полупсы, то полуптицы, то полукони, то великаны, то карлики; мужчины — с зубами в три ряда, женщины — «очи на плечах» и сразу рожают по 15 детей («Луцидариус», 431—432). И т. д. и т. п. Неиссякаемая фантазия здесь всегда была резкой, яркой и даже отпугивающей.

Зато социально-утопические мотивы легенд и сказаний приближали Индию к сердцу древнерусских читателей. Дело не только в грезах о богатствах Индии — золоте, серебре, камнях, которыми, по рассказам сочинителей, изобиловали индийские земли и реки, были увешаны палаты и изукрашены людские процессии в городах. Русским книжникам XI—XIII вв. Индия казалась еще и страной христианской: там лежит апостол Фома, язычники принимают христианство, гонения на христиан прекращаются, умножаются храмы и монастыри, а индийский царь заявляет о том, что он поборник православной веры («Сказание об Индийском царстве», 466, 468, 472). Сверх того, древнерусская литература представляла Индию страной мудрецов — беседы этих мудрецов с царями и царевичами специально излагали «Повесть о Варлааме и Иоасафе» и еще одна повесть — «Стефанит и Ихнилат». Довольно распространенным было убеждение, что в Индии существует целый народ мудрецов — рахманы — с идеально справедливым социальным строем; один из книжников XV в. довел это представление до крайности: «В них же несть... ни царя, ни купли, ни продажи, ни свару, ни боя, ни зависти, ни велможь, ни татбы, ни разбоя...» («Слово о рахманех и о предивном их житии», 173).

Все это психологически напоминает обогащение образов в современной космической фантастике, особенно нашей отечественной: те же преодоления колоссальных пространств героями, встречи с удивитель-

ными и потрясающими явлениями, существами и общественными строями, участие ученых в перестройке миров, борьба за социальную справедливость... Конечно, наши идеалы отличаются от идеалов средневековья, но в общей структуре человеческого мироощущения есть вечные составные части — главные и второстепенные. К «закоулкам» мироощущения относится, в частности, и представление о «концах» вселенной, куда может проникнуть человек.

Не только лишь фантастические сведения об Индии ходили по Руси — имелось и рациональное зерно: знали и постоянно повторяли, например, что Индия «далече бо прилежить» Египта и Персии («Повесть о Варлааме и Иоасафе», 113), что в Индии течет река Ганг и живут слоны. Однако реальные знания были утоплены в фантастических представлениях, настолько сильных и устойчивых, что, вопреки логике, нередко фантазия влияла на знания, а не наоборот. Так, уже не в XII, а в XVII в. русский поэт и дипломат А. С. Романчуков, побывав в Персии, сообщал в своем статейном списке о разных политических и военных делах, а также о том, что царь индийский настолько богат, что может засыпать золотом любую «полату», что в Индии есть птицы, говорящие человеческим языком (33—34), — здесь проявилось застарелое ожидание индийских чудес, а не деловитость человека нового времени.

Точные знания об Индии все равно проникали на Русь, и чем дальше, тем больше². Но происходил странный процесс: новые знания были как бы бесполезны для мироощущения. Примером служит путешествие Афанасия Никитина (в основном по западной и центральной Индии в 1471—1474 гг.). Индию Никитин воспринимал не как предел вселенной, а вполне обыденно: ехал столько-то дней и еще столько, плыл столько-то дней, — «и тут есть Индийская страна» (448). А дальше тоже есть страны — Цейлон и Китай. Никаких страшилищ в Индии не встречается, люди как люди — «мужики и жонки все наги, а все черны». Не он им, а они ему дивятся: «Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому человеку» (450). Ничего потрясающего: «...и познася со многими индеяны... И они же не учили ся то меня крыти ни о чемь, ни о естве, ни о торговле...» (546). Никаких чарующих богатств, все стоит дорого: «А жити в Гундустани, ино вся собина исхарчити» (468). Нет выгоды: «А на Рускую землю товару нет» (452). Никакой надежды на родство вер, здесь их 84, и все иные, чем на Руси: «Ино, братие рустии християня, кто хочет поити в Ындейскую землю, и ты остави веру свою на Руси...» (452). А социальный порядок вовсе не справедлив и ох как знаком: «А сельския люди голы велми, а бояре силны добре и пышны велми» (454). Старые представления об Индии оказались отвергнуты по всем статьям. Силен был напор новых впечатлений и наблюдений —

² См.: *Сперанский М. Н.* Индия в старой русской письменности // Сергею Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности: 1882—1932. Л., 1934, с. 463—469.

но на уровне быта, стихийной россыпи, а не широких обобщений. Недавно в своем «Хождении» Никитин регулярно употреблял тюркско-персидские фразы: не мудрствуя лукаво, он перенял общеупотребимые на Востоке выражения или обозначения в основном из купеческого жаргона³. Афанасий Никитин словно бы забыл о старом мироощущении, а лавину новых фактов не мог или не успел переплавить в мироощущение новое (он умер по пути домой, не доезжая Смоленска, его путевые записки попали в чужие руки).

«Хождение» Афанасия Никитина было вставлено в летопись, как вставлялись «Хождения» иных лиц в летописание и хронографы; но вот что удивительно: сами сведения, сообщенные Никитиным, не произвели впечатления на Руси и потом никогда не использовались. Об Индии продолжали твердить по-старому. И не к одному Никитину так относились: и через 100 и через 200 лет в государственных архивах оседали записанные в приказах сообщения послов, купцов или возвратившихся пленников об Индии, но реальные сведения не получили распространения в древнерусском обществе и не поколебали фантастику, которую по-прежнему усердно переписывали⁴. Противоречия не замечалось, вероятно, потому, что отрывочные факты, как бы их ни было много, не могут заменить цельного мироощущения. Точно так же отдельные новые открытия в космосе (например, об отсутствии каналов на Марсе или о чудовищном атмосферном давлении на Венере) до поры до времени не меняют мироощущения нашего; мы с удовольствием продолжаем читать фантазии о прошлой высокоразвитой жизни на Марсе или о доисторической жизни на Венере. «Отсталое» мироощущение сосуществует параллельно с новейшими противоречащими ему научными фактами, пока те не объединятся в систему; замена происходит крупными блоками: мифа в целом — наукой в целом.

Системы реальных географических фактов были усвоены в России лишь в XVII в., и соответственно произошли изменения в отношении русских книжников к Индии. «Космографии» XVII в. излагали уже более или менее выверенные данные: Индия получила название по реке Инд; страна бедна медью и свинцом, но богата перцем, имбирем и другими пряностями; индийский жемчуг вывозится во «весь свет» и пр. («Книга, глаголемая Козмография», 360 и сл.). Эти сведения переписывались во многих сборниках. Но тем самым Индия «выбывала» из старого мироощущения и уже не представлялась пределом мира, становясь всего лишь одной из многих стран.

С середины XVII в. проявляется тенденция подключать Индию к новому, так сказать, хозяйственному мироощущению. В объемистой ком-

³ См.: Россия и Индия. М., 1986, с. 35. Раздел написан К. А. Антоновой, которая ссылается на польского исследователя А. Зайончковского.

⁴ «Книжный образ страны и конкретные знания о ней существовали параллельно, не вступая в конфликт» (Вигасин А. А. Представления об Индии в Древней Руси // Индия: 1981—1982. Ежегодник. М., 1983, с. 275).

пилятивной «Книге, глаголемой Козмография», составленной из 76 глав, глава 68 была посвящена Индии — отобраны факты по преимуществу хозяйственного значения: в Индии везде земля пахотная; в один год снимают два урожая, множество слонов приучено к сельским и военным делам; едят змей — те наподобие раков беловаты; «финиково листвие» используют вместо писчей бумаги, а пишут железным пером; мастеровые люди в великой чести и т. д. (360—370). Словом, можно туда поехать и с пользой поработать. Сведения увлекательны, но маловато фантазии, — скудное мироощущение!

Однако и такой подход к Индии остался в литературе эпизодом. Во второй половине XVII — начале XVIII в. возобладала еще более сухая, «учено»-географическая тенденция с соответствующим тяжелым повествовательным языком. Вот характерные отрывки из списков двух переводных «Космографий»: «Пятая часть Азии — во Индейских странах, за рекою Кганкис, многих царей державства, которые царства протягиваются от Арапского моря до великих гор Кгабоделам названных...»; «Земли великого могола называется... а от индицов великое Индастанское государство... Могольская земля граничит и с северу с великою Татариею и с востоку с лежащим по ту сторону реки Гангеса полуостровом...», — сплошная география, мировоззрение без фантазии, факты без образов.

С художественной литературой России Индия разминулась на длительный период, до конца XVIII в. Ведь нельзя считать литературой сообщение начала XVII в. о путешествии Семена Маленького «с товарищи» в Индию; неизвестно кем составленный в середине XVIII в. в Астрахани (где был торговый двор индийских купцов) сборник с «Азбукой индийских книжных слов»; публикации документальных материалов об Индии, подготовленные известным просветителем Н. И. Новиковым в 1791 г.; записки Филиппа Ефремова, а потом Герасима Лебедева об их деятельности в Индии в 1770-х — 1790-х годах (Герасим Лебедев даже организовал театр в Калькутте; книги Ф. Ефремова и Г. Лебедева были опубликованы лишь в 1794 г. и в 1805 г.). Довольно много времени понадобилось российскому обществу для того, чтобы художественно осмыслить новые факты и выработать новый, не средневековый образ Индии. Что ж, в современной космической фантастике тоже не обходится без пауз, нужных для образного освоения и домысливания изменившихся научных построений. Даже самые строгие научные факты должно дополнять образное мышление; без этого не возникнет мироощущения — одного из важнейших явлений нашей личной и общественной психологии⁵.

1987 г.

⁵ На тему реальных контактов Руси с Индией см.: Шохин В. К. Древняя Индия в культуре Руси: (XI — середина XV в.). Источниковедческие проблемы. М., 1988. Здесь же библиография предшествующих работ.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ XV—XVII ВВ. (к вопросу о типах связей)

Связи Руси с отдельными странами и народами изучены удовлетворительно, однако их простая сумма не составляет системы. Систему можно заметить, рассматривая формы и типы культурных связей, а это сделано как раз меньше всего¹.

Вот характерный пример. Изучение культурных связей России и Востока имеет более чем вековую традицию в русской науке. Основная заслуга в их изучении принадлежит, пожалуй, не славистам и русистам, а востоковедам — И. Ю. Крачковскому, В. В. Бартольд, Б. М. Данцигу, А. Н. Кононову². Напомним также о значительном количестве искусствоведческих работ XIX—XX вв. на ту же тему — Ф. И. Буслаева, В. В. Стасова, И. Е. Забелина, Н. П. Кондакова, А. И. Некрасова³ — и о многих языковедческих, археологических, нумизматических и этнографических исследованиях. Собраны обильные материалы о знакомстве Древней Руси с Востоком. Однако типы и виды этих связей остаются не дифференцированными до сих пор.

В данной работе на материале культурных связей Руси с тюркоязычными народами Востока мы пытаемся выделить некоторые виды литературных заимствований (в широком смысле слова). Наш выбор объясняется следующими соображениями. Литературные результаты

¹ Важность различения форм и типов культурных связей, насколько нам известно, впервые была подчеркнута в трудах И. Г. Неупокоевой, Н. И. Конрада и Д. С. Лихачева. Структура культурных связей Руси XI—XIII вв. исследована Д. С. Лихачевым. См.: *Неупокоева И. Г.* Некоторые вопросы изучения взаимосвязей и взаимодействия национальных литератур // *Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур: Материалы дискуссии 11—15 января 1960 г. М., 1961*, с. 13—51; *Конрад Н. И.* Литературы народов Востока и вопросы общего литературоведения // Там же, с. 158—173; *Лихачев Д. С.* Древнеславянские литературы как система // *Славянские литературы: VI Международная конференция славистов (Прага, август 1968)*. Доклады советской делегации. М., 1968, с. 5—48.

² См.: *Крачковский И. Ю.* Очерки по истории русской арабистики // *Избранные сочинения*. М.; Л., 1958, т. 5, с. 9—192; *Бартольд В. В.* История изучения Востока в Европе и России, 2-е изд. Л., 1925; *Данциг Б. М.* Из истории русских путешествий и изучения Ближнего Востока в допетровской Руси // *Очерки по истории русского востоковедения*. М.; Л., 1953, т. 1, с. 185—231; *Кононов А. Н.* К истории русской тюркологии (до XIX в.) // *Исследования по истории культуры народов Востока: Сборник в честь академика И. А. Орбели*. М.; Л., 1960, с. 202—214.

³ *Ремпель Л. И.* Искусство Руси и Восток как историко-культурная и художественная проблема: (Историография вопроса). Ташкент, 1969.

русско-тюркских связей были невелики и сводились к использованию в памятниках отдельных мотивов из устных сказаний и некоторых выражений и слов из документов и устной речи. Но эти в общем мелкие заимствования производились непрерывно, не прекращались практически никогда, были постоянно действовавшим фактором истории древнерусской литературы. Поэтому можно проследить, как в течение веков в русской литературе менялась смысловая роль заимствованных тюркских материалов. Их идейно-стилистические функции в памятниках древнерусской письменности четко различаются по периодам, что позволяет говорить о заимствованиях разных видов.

Оставляем вне рассмотрения период Киевской Руси ввиду его особой сложности. Целесообразнее изучить бесспорные тюркские заимствования в русской письменности более позднего времени, XIII—XVII вв., чтобы затем, в специальной статье, вернуться к восточным связям Руси XI—XII вв.

Кратко скажем о периоде XIII—XIV вв., который выделяется явным влиянием тюркской документальной письменности на документальную письменность Северо-Восточной Руси. Тюркское влияние выразилось прежде всего в том, что на Руси возник особый раздел официальной письменности, резко отличавшийся по стилю и по содержанию, — переводы ярлыков татаро-монгольских ханов русским митрополитам. По исследованию М. Д. Приселкова, переводы ярлыков на русский язык появились почти сразу после установления татаро-монгольского ига (самый ранний из дошедших датируется 1267 г.); ярлыки переводились в течение более ста лет (последний перевод относится к 1379 г.) и впоследствии были объединены в сборники⁴.

Тюркское влияние распространилось и на русскую дипломатическую письменность. Русские князья в переписке начали использовать формуляр татарских посланий. Например, как указывает Н. И. Веселовский, была заимствована широко употреблявшаяся формула «тяжелый поклон с легким поминком» («агыр селям илэ ве енгиль хадиэ илэ», то есть «низкий поклон с немногими подарками»)⁵.

Кальки с татарского в русских дипломатических и эпистолярных документах XIII—XV вв. в полном объеме еще не выявлены; однако косвенным доказательством большой сферы тюркского влияния на русскую документальную письменность служит высокий уровень организации делопроизводства в Золотой Орде, более совершенной, чем на Руси и в европейских государствах того времени. Отсылая к характеристике ордынского делопроизводства в книге С. Закирова, укажем лишь, что русские переводчики постоянно работали в ханских канцеляриях и

⁴ Приселков М. Д. Ханские ярлыки русским митрополитам. Пг., 1916.

⁵ Веселовский Н. И. Татарское влияние на русский посольский церемониал в московский период русской истории, СПб., 1911, с. 8.

почтовых учреждениях и могли пользоваться существовавшими уже тогда татарскими эпистолярными руководствами⁶. Правящие круги Северо-Восточной Руси в какой-то степени способствовали татарскому влиянию в русской письменности, когда, как раскрыли А. Н. Насонов и И. У. Будовниц, взяли курс на длительное сотрудничество с татарами и стали следить за лояльностью литературы, особенно летописания, по отношению к татарам⁷. Таков был первый, самый ранний вид заимствования — документальная калька.

Перейдем теперь к тюркским заимствованиям в русской письменности XV—XVI вв., когда началось использование и переосмысление тюркских документальных источников в собственно литературных целях. Этому помогало обилие материала. В XV—XVI вв. состав переводной тюркской документалистики сильно пополнился, причем материалами не только официальными. Интересы усиливающегося русского государства требовали перевода грамот и посланий не только глав государств — ногайских и казанских царей, крымских ханов, турецких султанов, персидских шахов, но — что очень интересно — и посланий лиц гораздо менее значительных — мурз, санчаков, купцов и т. д.; переводили, если было необходимо, даже их письма к женам и братьям.

Если в XIII—XIV вв. ханские ярлыки служили только официальными хозяйственно-политическими документами и переводились на русский язык исключительно в этой функции, то в XV—XVI вв. переводы разнообразных восточных грамот получили, пожалуй, и литературное значение. Обращает на себя внимание следующее. В то время как ханские ярлыки нередко переводились невразумительно, а некоторые из них оставались непереуведенными в митрополичьем архиве, переводы более поздних восточных грамот были и полными, и передавали выразительность подлинника. Например, перевод грамоты ногайского мурзы Мусы московскому великому князю Ивану III, сделанный в 1490 г., четко и лаконично формулировал принципы дружбы и союзничества, изложенные в татарском документе. «С моим отцом, — писал мурза великому князю, — твой отец друг и брат был; и дядя мой... с тобою друг и брат был; и яз хотя с тобою друг и брат... Кто тебе ратен будет, я рать пошлю; а кто мне ратен будет, и ты ко мне рать пришли. Братства нашего нелзе ли свыштити; мой посол к тебе пошел, а твой бы посол ко мне пришел...» (89)⁸.

⁶ Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом: (XIII—XIV вв.). М., 1966, с. 99—100, 113—114, 117, 125.

⁷ Насонов А. Н. Монголы и Русь: (История татарской политики на Руси). М.; Л., 1940; Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси: (XI—XIV вв.). М., 1960.

⁸ Цитируемые произведения: грамота казанского царя Махмета Аминя — Сборник Русского исторического общества. СПб., 1884, т. 41; грамота ногайского мурзы Мусы — Там же; грамота персидского шаха Аббаса — Памятни-

Искусно передавался торжественный тон восточных грамот. Если в копиях русских актов титул великого князя обычно сокращался, то в переводах восточных документов титульная часть была представлена со скрупулезной точностью. К концу XVI в. огромные «поздравления», как в дипломатической практике называли изложение титула, переводились полностью, со всеми деталями литературно-панегирического характера. Например, шах Аббас в своей грамоте 1592 г. сравнивал царя Федора Ивановича с легендарными персидскими героями, и в русском переводе начало документа выглядело как вполне литературная похва-

ки дипломатических и торговых отношений Московской Руси с Персией / Под редакцией Н. И. Веселовского. СПб., 1890, т. 1; «Житие Михаила Всеволодовича Черниговского» — *Серебрянский Н.* Древнерусские княжеские жития: (Обзор редакций и тексты). М., 1915. Приложения; «Казанская история» — Казанская история / Изд. подгот. Г. Н. Моисеева. М.; Л., 1954; «Никоновская летопись» — ПСРЛ, т. 13. ч. 1; «О мощах неведомых» — *Петровский Н.* Повесть священника Иакова «О мощах неведомых» по списку А. И. Соколова // Известия Общества археологии, истории и этнографии при имп. Казанском университете. Казань, 1895, т. 13; песня о Щелкане — Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М., 1958; «Повесть о взятии Царьграда» Нестора-Искандера — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть о Едигее» — ПСРЛ, т. 11; «Повесть о разорении Рязани» — Воинские повести Древней Руси / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М.; Л., 1949; «Повесть о разуме человеческом» — *Скрипиль М. О.* Неизвестные и малоизвестные рукописные повести // ТОДРЛ, т. 6; «Повесть о Темир-Аксаке» — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть о Тимофее Владимирском» — *Скрипиль М. О.* Повесть о Тимофее Владимирском // ТОДРЛ, т. 8; «Повесть о царице Динаре» — Русские повести XV—XVI веков; «Повесть об азовском осадном сидении» — Воинские повести Древней Руси / Текст памятника подгот. А. Н. Робинсон; «Повесть об Иване Пономаревиче» — Пам. СРЛ, вып. 2; похвала Василию III — *Демин А. С.* Отрывки из неизвестных посланий и писем XVI—XVII вв. // ТОДРЛ, т. 21; «Проскрититарий» Арсения Суханова — Православный Палестинский сборник. СПб., 1889, т. 7, вып. 3; рассказ Михаила Мисюря-Мунехина — *Шахматов А. А.* Путешествие М. Г. Мисюря-Мунехина на Восток и хронограф редакции 1512 г. // ИОРЯС, 1899, т. 4, кн. 1; рассказ о греческом иерее — *Перетц В. Н.* Рассказ о потурчившемся и раскаявшемся иерее // Библиографическая летопись. Пг., 1917; «Се татарскы язык» — *Симони П. К.* Памятники старинной русской лексикографии по рукописям XV—XVII столетий // ИОРЯС, 1908, т. 13, кн. 1; «Сказание о Вавилоне» — *Скрипиль М. О.* Сказание о Вавилоне-граде // ТОДРЛ, т. 9; «Сказание о Железных вратах» — *Бегунов Ю. К.* Древнерусское описание Дербента и Ширвана // ТОДРЛ, т. 21; «Сказание о Мамаевом побоище» — Русские повести XV—XVI веков; сочинения Ивана Пересветова — Сочинения Ивана Пересветова / Изд. подгот. А. А. Зимин. М.; Л., 1956; сочинения Максима Грека — Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1860, ч. 1; статья о жизни Магомета — *Симони П. К.* Указ. соч.; «Хождение» Афанасия Никитина — Хождение за три моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг., 2-е изд. / Текст памятника подгот. Я. С. Лурье, перевел Н. С. Чаев. М.; Л., 1958; «Хождение» Трифона Коробейникова — Православный Палестинский сборник. СПб., 1889, т. 9, вып. 3; «Хождение» Федота Котова — Хождение купца Федота Котова в Персию / Изд. подгот. Н. А. Кузнецова. М., 1958.

ла: «Бога бессмертного и всеми владеющего милостью, храброму и справедливому, и в велицей чести и славе пребывающему, и от святых помощь обретшему князю, царю Федору Ивановичю, высокостолнейшему государству заступнику, неисчетными славимому, честному, обладающему по божественной благодати и милостиво в славе пребывающему, великому царю смиренномудрому, аки солнцу, сияющую; подобен еси звезде Мерьриху и древним великим перским государем, храбростью Рустему, разумом Афрасьябу...» (164).

Обилие переводов тюркских документов не прошло совершенно бесследно для русской литературы. В частности, литературно-выразительное значение переводных похвал, подобных приведенной выше, видно при их сравнении с русскими похвалами великим князьям. Так, в 1493 г. была переведена грамота казанского царя Махмета Аминя, содержащая следующее обращение к крымскому хану Менгли-Гирею: «...над адамовыми детьми великий еси государь, в нынешние времена на всех землях твое велье, на сем свете государь еси, и над всеми богатыри государь еси, и грамотен и правосуд государь еси, силу еси и величество добыл надо всеми, и во все бессерменство силу даешь и помощник еси, и на сем свете над своею верою силен еси, и над осподари еси великой государь, и на сем свете божия стень еси, над аязмским и над турским свыше государь еси» (207).

Можно отметить сходство между переводом этого места грамоты и самостоятельно существовавшей похвалой великому князю Василию III, датируемой первой третью XVI в. Кроме общего содержания похвалы сходны синтаксическим членением речи с повторяющимся словом «еси». «Есть бо во всем морем и островом грозная твоя и крестная херугви, — обращается русский автор к Василию III, — ...царь мудрый, Божий слуга, князь великий Василей Иванович всея Руси. Ты еси мудрая держава, искони бе самодержавный государь ты еси» (191).

Знаменательно, что перевод казанской грамоты появился раньше похвалы Василию III. Переводы восточных грамот в некоторой мере, быть может, способствовали созданию в XVI в. литературной традиции похвал русским царям.

Русские повести также оказались восприимчивыми к восточным официальным формулам, особенно когда касались соответствующих тем. Из переводов тюркских официальных документов была заимствована манера перечислять в определенном порядке восточные чины и должности для обозначения представительности собрания. В летописях такие перечни часто повторяются, например в «Никоновской летописи»: «Приехал к великому князю Василию Ивановичю всея Руси ис Казани Кул-Дербыш з грамотою от сеита, и от уланов, и от князей, и от карачей, и от ичек, и от мурз, и от молы, и от шыхзод, и от всех казанских людей...» (31). С тем же оттенком торжественности эти перечисления широко использовались в повестях и сказаниях. Так, в «Повести о разорении

Рязани» (списки не ранее XVI в.) читаем: «Царь Батый посла по мурзы, и по князи, и по санчакови; и начаша дивитися храбрости, и крепости, и мужеству рязанскому господству» (14). В другой редакции повести перечень увеличен: Батый послал «по мурзы, и по князи ординская, и по санчакбеи, и по паши» (245). Любопытно, что в повестях перечни русских чинов и сословий появились позднее тюркских, не ранее середины XVI — начала XVII в.

Дополним наши примеры наблюдением М. О. Скрипиля. В «Повести о царице Динаре» конца XV в., рассказывающей о грузинской царице Тамаре, была использована грузинская официальная фразеология. Повесть завершается следующей концовкой: «Даже и до днесь нераздельно державство Иверское пребывает, а нарицается от рода царя Давида, царя еврейского от царского колена» (91). Последние слова являются переложением титула грузинских царей: «Яз, богом венчанный царь, царь от корене Иессея, и Давида, и Соломона, царей вседержителей» (416).

Необычайно яркий пример использования тюркоязычного материала с литературно-выразительной целью дало «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. В этом памятнике все основные темы выражены на двух языках — русском и «тюркском». (Конечно, лишь условно можно говорить о «тюркском языке» Никитина, представляющем, по определению И. П. Петрушевского, смесь слов и фраз разных тюркоязычных народов с добавлением отдельных арабских и персидских слов⁹. Отсюда условно говорим о двуязычии, а не о многоязычии Никитина.)

Никитин был склонен к дублированию по-тюрки отдельные части своего повествования. Так, о Боге и религиозных обрядах он писал не только на русском языке, но постоянно переходил и на «тюркский»; даже вставил в «Хождение» несколько тюркоязычных молитв и прославлений Бога. Светская тематика у Никитина также отличалась двуязычным изложением. Патриот своей родины, тверской купец молился о Руси и по-тюрки; на «тюркском языке» он записывал сведения о юридических отношениях, товарах, ценах (например, об условиях покупки рабынь).

Упоминания о себе Никитин тоже перемежал тюркоязычными интерполяциями. «И сказах им веру свою, — говорил Никитин местным жителям, — что семи не бессерменин, исаядениени есмь, христианин, а имя ми Офонасей, а бесерменьское имя Хозя Исуф Хоросани» (17—18). О некоторых своих делах и поступках он сообщал по-тюрки (например, «вратыйял ятмадым» — «с женщиной не спал»). «А иду на Русь, — повествовал Никитин и тут же переводил, — кетьмыштьыр имень, — и продолжал, — уручь туттым...» («постился я мусульманским постом») (20, 80).

⁹ Петрушевский И. П. Комментарий географический и исторический // Хождение за три моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг., с. 251.

Даже отдельные восклицания у Никитина напоминают о Востоке. Рассказывая о чем-либо удивительном, он вставлял разговорное тюрко-арабское восклицание «олло oak!», то есть «ей-богу!». Женщины ходят нагими — «олло oak!» (19, 325).

Необычайное обилие тюркоязычного материала в «Хождении» объясняется расширением языкового кругозора Руси XV в. Во времена Никитина русско-тюркское двуязычие имело, вероятно, распространение в быту; во всяком случае широко обращались монеты с тюркским текстом на одной стороне и русским — на другой¹⁰. Знакомство с тюркоязычными народами входило в круг знаний русских книжников, составлявших и переписывавших русско-татарские словари и разговорники, довольно краткие, но примечательные стремлением охватить все области жизни. Так, в рукописи XV—XVI вв. сохранился словарик «Се татарскы язык», содержащий названия явлений погоды, названия людей по их государственному и семейному положению, татарский счет, вопросы и ответы (180—185). В сборниках второй половины XV в., переписанных книжником Ефросином, также фигурировали татарский счет и названия месяцев на разных восточных языках¹¹. См. также «Сказание о Железных вратах» середины XV в. (126—127).

Не выглядела странной и попытка Афанасия Никитина объединить в произведении русское изложение с тюркским. Языковые эксперименты были характерны для того времени. Стефан Пермский, например, изобрел зырянскую азбуку, которой писал переведенные для зырян книги и которая была использована в русской письменности в качестве тайнописной¹². Резко изменились язык и даже орфография целого ряда русских литературных произведений, авторы которых обратились к опыту сербской и болгарской литератур (так называемое второе южнославянское влияние)¹³. Новые языковые процессы, возможно, получили свое отображение в «Сказании о Вавилоне-граде» XV в., где рассказывалось о чудесной лестнице, на которой частично по-гречески, частично по-грузински и частично по-русски была написана некая фраза, и, следовательно, надо было знать три языка и уметь читать три азбуки, чтобы понять смысл надписи: «А написано бо бяше на ней три слова греческы, обезскы, русскы. Первое слово греческы: которого человека Бог принесет к лествице сей... Второе слово обезскы: да лезеть чрес змея без боязни... Третье слово рускы: да идетъ с лествице чрес полаты до часовнице» (142).

¹⁰ *Спасский И. Г.* Русская монетная система: Историко-нумизматический очерк, 4-е изд. Л., 1970, с. 88—89.

¹¹ *Лурье Я. С.* Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. // ТОДРЛ, т. 17, с. 149, 152, 153.

¹² *Лихачев Д. С.* Культура Руси времени Андрея Рублева и Елифания Премудрого: (конец XIV — начало XV в.). М.; Л., 1962, с. 150.

¹³ Там же, с. 30—63.

Тюркские слова и фразы выполняли в «Хождении» разные функции: они, естественно, использовались со справочно-пояснительной целью; они употреблялись в качестве тайнописи, когда записывалась экономическая информация, важная для купца, или заносились наблюдения над чем-то очень постыдным: например, у статуи святого «кот ачюг» — «зад открыт» (18). Но доминирующим было экспрессивное значение. Тюркоязычные молитвы и речи автора являлись взволнованными декламациями, их торжественность очевидна. Недаром свое «Хождение» Никитин завершил большим восхвалением Бога, содержащим, между прочим, почти тридцать эпитетов подряд на букву «а»: «...альмелику, алакудосу, асалому...» и т. д. (30).

Эмоциональная роль тюркоязычных фраз в «Хождении» впервые была отмечена Н. С. Трубецким. «Употребление этих восточных слов, — объяснял ученый, — придает изложению... особую звуковую экзотичность... целью... является только создание определенного эффекта экзотики, достигаемого необычностью звукосочетаний». Н. С. Трубецкой видел в этом выражение «религиозного одиночества» Никитина, который привык молиться на непонимаемом другими языке¹⁴.

Последнее вряд ли приемлемо. Думается, что главное объяснение может быть более простым, чем «вздыхание волны интимно-религиозных переживаний» Никитина¹⁵. Обращение к тюркоязычным отрывкам для усиления выразительности «Хождения» подсказала Никитину, вероятно, восточная литературная традиция. Использование иноязычных элементов в этой функции было чрезвычайно распространено в литературах и устной речи народов Востока, где путешествовал Никитин. Прием этот носил особое название — «моламма», и сочинители христиане на Востоке прибегали к нему не менее часто, чем мусульмане. Например, современник Афанасия Никитина армянский поэт Григорис Ахтамарци вставлял в свои стихотворения турецкие и персидские фразы, преимущественно эпитеты и метафоры, чтобы, как отмечает исследователь его творчества, «усилить восприятие создаваемого образа»¹⁶.

В общем, двуязычие Никитина отразило важное, но недостаточно выясненное явление в мировой культуре XV в. — тенденцию Востока и Запада ко взаимному языковому сближению. Его отдельные яркие проявления, объяснимые отчасти и индивидуальными особенностями авторов, можно наблюдать в различных ближневосточных и западноевропейских

¹⁴ Трубецкой Н. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина как литературный памятник // Версты. Париж, 1926, № 1, с. 175—178.

¹⁵ Там же, с. 185.

¹⁶ Чукасян Б. Л. К вопросу о влиянии персидской литературы на творчество Григориса Ахтамарци // Известия АН Армянской ССР. Общественные науки. 1960, № 5—6, с. 195, 200—201.

странах. Например, в Турции во времена Афанасия Никитина султанам сочиняли панегирики с вкраплением греческих или латинских строк или целиком на греческом или латинском языке. Кстати, дипломатическим языком в Турции тогда служил сербский¹⁷. К западным границам Руси переселились группы татар, которые начали терять свой язык и, хотя переписывали книги — китабы, хамаилы, тефсиры, теджвиды — арабским письмом, но на польско-белорусском языке¹⁸. И наоборот, в некоторых западноевропейских сочинениях XV в. стали цитироваться восточные тексты, как, например, тюркские молитвы в записках старшего современника Никитина, баварского солдата И. Шильдбергера, который служил у Тимура и Едигея и в 1427 г. вернулся в Германию¹⁹.

Таков второй вид заимствования тюркских материалов в древнерусской письменности — использование их с литературно-выразительной целью. Этот вид заимствования внутренне неоднороден, так как его формированию способствовал целый комплекс причин, которые еще нуждаются в изучении.

Продолжим наблюдения. Ко второму виду заимствования тесно примыкает третий вид — полемическое переосмысление тюркских источников. В период падения татаро-монгольского ига литературно-выразительные цели использования тюркских источников переплетались с целями идейно-публицистическими. Приведем пример из «Повести о Едигее», татарском хане, совершившем в 1408 г. набег на Москву. В повесть была вставлена грамота Едигея московскому великому князю Василию Дмитриевичу и пересказаны другие его грамоты, чтобы разоблачить вероломство татарского хана. Полемика была довольно подробной. Едигей в грамоте писал о своем добром отношении к князю Василию Дмитриевичу; автор повести сопоставлял эти слова с действительными фактами и делал вывод: «Едигей же иногда зовыйся отцем великому князю Василью Дмитриевичю, а втайне лукавство свое крыаше; сына именоваше, а ратовати и пленити хотяше». И еще: «И несть еще дивно о татарах мыслити, понеже изначала измаилтяне лукав мир имеют с русскими князи, наипаче же к великому князю Василию Дмитриевичю, лестно мирующе с ним. Никогда же измаилтяне истинну глаголют христианам» (205, 208). Едигей в грамоте обещал московскому князю помощь; автор повести, полемизируя, приводил другую грамоту Едигея литовскому великому князю Витовту, которая содержала обещание поддержки против Василия Дмитриевича. Едигей в грамоте московскому князю объяснял свое внезапное нападение на Русь тем, например, что

¹⁷ Крымский А. История Турции и ее литература. М., 1916, т. 1, с. 235—237.

¹⁸ Антонович А. К. Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система. Вильнюс, 1968, с. 8—20.

¹⁹ Бартольд В. Указ. соч., с. 82.

Василий Дмитриевич якобы утаивал от него серебро; но в грамоте Витовту содержалось противоположное признание хана о Василии Дмитриевиче «и сребра и злата много посылает ко мне» (206). Едигей ссылался на «старцев», которые могли подтвердить, как раньше русские покорялись татарам; автор повести тоже сослался на «старцев», но имел в виду их слова о том, что никогда и ни в чем не надо прибегать к помощи татар (207, 210, 211).

Аналогичную полемику вело и «Сказание о Мамаевом побоище» XV — начала XVI в., использовавшее послания Мамай. Знаменательно, что в одном из списков «Сказания» был полемически переосмыслен традиционный перечень восточных чинов; теперь это были названия преступников: Мамай «нача глаголати ко преступникам — своим алпаутам, князем и воеводам...» (17).

Переосмысление, вызванное отрицательным отношением к татарам, охватывало не только документальные, но и некоторые устно-повествовательные тюркские источники. Так, претерпела некоторые изменения восточная легенда о Тамерлане²⁰, пересказанная в начале XV в. «Повестью о Темир-Аксаке». В пересказе слилось несколько мотивов, в том числе усиленный русским автором мотив страшного железного человека. Темир-Аксак живет за «Железными воротами», работает с железом, сделал себе железную ногу, за ним возят железную клетку, и зовут его Железным Хромцом: «О сем убо Темир-Аксаке некий поведаша, яко не царь бе рождением... но тако спросто един сый от худых людей... от Самарханская Орды, иже бе за Железными враты; ремесством же бе кузнец железный... перекова себе железам ногу свою перебитую, и такую нуждою хромаше, и того ради прозван бысть Темир Аксаком; темир бо зовется железом, а аксак зовется хромец... и таковою виною прозван бысть Темир Аксак, Железный Хромец... Царя Крещия турскаго в клеще железной возяще с собою, того ради, да еще бы видели многи земли такую его славу...» (49—50).

Кстати, выражение отрицательного отношения к татарским именам стало заметной чертой русской литературы с XV в. Можно предполагать, что именно в XV—XVI вв. в русской письменности была проведена систематическая вставка осуждающих эпитетов везде, где упоминались имена татар. Например, «Житие» черниговского князя Михаила Всеволодовича, рассказывавшее о его злодейском убийстве в Орде в 1245 г., в списках XIII—XIV вв. упоминало о Батые нейтрально: черниговский князь «приде ко царю Батыеву», татары «начаша звати я ко царю своему глаголемому Батыю», «и повелением царя убиен» и т. д. И только в списках

²⁰ Гребенюк В. П. «Повесть о Темир-Аксаке» и ее литературная судьба в XVI—XVII веках // Русская литература на рубеже двух эпох: (XVII — начало XVIII века). М., 1971, с. 190—191.

XV—XVI вв. появился «безбожный», «скверный», «нечестивый», «законопреступный» царь Батый (49—50, 52—53, 58, 60, 73).

Некоторые приемы неблагожелательного и открыто враждебного переосмысления тюркских источников и реалий использовались в литературе, возможно, под влиянием русского фольклора, всегда непримиримого к татарам. Так, фольклором могло быть подсказано выражение качеств героя в его имени. Например, в исторической песне, посвященной убийству в Твери в 1327 г. жестокого татарского наместника Чолхана, в качестве отрицательного героя выступал Щелкан Дуденьевич, который по приказу своего царя Азьяка Тавруловича выпил кровь собственного сына. В их именах слышалось зловеще щелканье, дуденье, звяканье (28—29).

Но переосмысление тюркских материалов в русской письменности XV—XVI вв. не ограничивалось одним противопоставлением русских и татар. В XVI в., во время крупных военных побед Руси, получило распространение новое переосмысление, отражавшее идею превосходства русских над татарами. Характерный пример находим в сочинениях Максима Грека. Этот писатель, говоря о мусульманах, цитировал даже «богодуховенную их книгу, глаголему по них коран», однако переосмыслял цитату так, что она доказывала исконную правоту христиан, подтверждаемую самим магометанским «писанием»: «Аще по истине, а не по лицемерию хвалите святое евангелие, — обращался Максим Грек к мусульманам, — и глаголите, яко „инзиль хак“ (евангелие истинно), престаните прочее досаждати и хулити на Христа...» (151, 155).

Особенно много татарских источников подверглось переосмыслению в «Казанской истории», произведении, которое излагало историю взятия Казани Иваном Грозным. Оно было составлено в 60-х годах XVI в. неизвестным русским автором, проводшим, по его рассказу, двадцать лет в татарском плену, усвоившим татарский язык, слышавшим местные сказания и читавшим татарские летописи.

Автор использовал татарские сказания, которые поэтически описывали Казань, настолько прекрасную, что «забываше всяк иноземец, видевше царство то, отца своего, и мать, и жену, и дети, и племя свое, и друзи, и землю свою; и жить в Казани, не помышляючи воспать во отечество свое обратитися» (162). Но эти сказания автор изложил для того, чтобы подчеркнуть, каким богатством завладела Россия: «на Руской земли есть ново царство срачинское, Казань, по рускому же языку котел-златое дно» (74), «яко не мощно обрести другаго такова места во всей Руской нашей земли нигде же таковому подобно месту красотою, и крепостью, и угодием человеческим; не вем же, аще есть будет в чужих землях» (47—48).

Тему обогащения Руси «красотой и угодием человеческим» автор внес и в похвалу красоте казанской царицы. Для татарских источников

было естественным превозносить красоту царицы как несравненную: «яко не обрестися такой лепоте лица ея во всех казанских женах и в девицах, но и во многих в русских на Москве во дщерях и в женах в боярских и во княжнах» (99—100). Автор «Казанской истории» не принизил красоты татарской царицы, даже, может быть, преувеличил ее, — но потому, что пленную царицу увезли в Москву, средоточие богатства и красоты. Автор этого произведения вполне мог надеяться на благосклонность русских читателей, когда просил: «Да никто же мя осудит от вас о сем, яко единовѣрных своих похуляюще и поганых же варвар похваляюще» (138).

Добавим, что цитируемые по-русски в «Казанской истории» отрывки из посланий и речей, например турецкого султана Ивану Грозному или нагайских татар туркам, возможно, не во всем документальные, тоже имели конечной целью прославление мощи русского государства. Так, турецкий султан писал Ивану Грозному: «Воистину ты еси самодержец и царь мудрый, верный и волный Божий слуга. Удивляет бо нас и ужасает превеликая твоя власть и слава, и огненная твоя хоругвь прогоняет и поплоняет воздвижущихся. Уже отныне вси боятся орды наши, на твоя пределы наступати не смеют» (175).

Автор «Казанской истории» руководствовался представлением о том, что мусульманам суждено быть покоренными силой христиан, а мусульманской культуре быть вытесненной или поглощенной христианской культурой. «Пишут бо наши книги и христьянския, — признавались у него нагайские татары, — яко в последняя лета соединятся все языцы, будут во единой вере крестьянской и под тою же державою» (103). Автор неоднократно упоминал, что татары изучают русский язык; причем один из пленных татар познает русскую грамоту лучше, чем сами русские: «и изучен бысть русския грамоты гораздо и препираше многих в беседе от книг стязующихся с ним, и никто не может претися с ним» (172).

«Казанская история» появилась в составе целого комплекса произведений XVI в., разделявших христианско-экспансионистское отношение к татарам и тюркской культуре вообще. Еще в начале XVI в. дьяк Михаил Мисюрь-Мунехин в кратком рассказе о посещении Турции не преминул отметить, что турецкий султан заимствовал придворные чины у христиан: «Царства цареградского устав чином 12 дворным людем царевым; чин паши... 2) аги, 3) чин санчаки, 4) чеуши, 5) чин испаги, 6) чин селевтары... А превел турской те чины как было у христьянских царей, да и имена им по-своему дал» (218). В середине XVI в. Иван Пересветов изобразил турецкого султана читающим христианские греческие книги: «Царь турской Магмет-салтан сам был фило-

²¹ Лурье Я. С. Комментарии к тексту Музейного списка Полной редакции сочинений И. Пересветова // Сочинения Ивана Пересветова, с. 279—280.

соф мудрый по своим книгам по турецким, а се греческия книги прочел, и написав слово в слово по-турски, ино великия мудрости прибыло у царя Магмета» (151). Максим Грек даже распространял легенду о крещении этого султана²¹.

Для формирования христианско-экспансионистского взгляда на Восток знаменательно, что в изображении русской литературы XV в. переход в мусульманскую веру не означал полного отрыва от христианских обычаев. Христианские обычаи оказывались «сильнее» мусульманских. Так, например, нравоучительная «Повесть о Тимофее Владимирском», написанная в те же годы, что и «Хождение» Афанасия Никитина, рассказывала о русском священнике, который, совершив преступление — растление девицы, — бежал в Казанское царство, принял магометанство и взял двух жен; однако это не мешало ему петь свой любимый стих богородице: «...отвержесе веры христианския, и священнический чин попра, и басурманскую срацинскую злую веру прият, и взят себе две жены... Едущу же ему на коне своем в полудни после полка своего далече остася, и пояше умилно красный стих любимый пресвятей Богородице: „О тебе радуется обрадованная всякая тварь“» (301).

С другой стороны, отмеченная для XV в. манера враждебного переосмысления тюркских источников продолжала бытовать и в XVI в., правда, в значительно ослабленном виде. Так, например, в «Великие Минеи Четьи» митрополита Макария, основной свод христианского чтения на Руси, была вставлена статья о жизни Магомета, которая с прибавлением обычной осуждающей фразы излагала рассказ какого-то «бакшея» (татарского чиновника) о мусульманском пророке. «Да тот же бакшей сказывал: Махмет жит лет 63, а 47 наймит быв, а 16 лет пророчества его было, сиречь прелщал языки измаильски» (186). Пересказ сведений «бакшея» не был острополемическим, даже наоборот. Приводя расчет, через сколько лет Магомет должен восстать из мертвых, составитель статьи подтверждал: «Ино татарского летописца осталось 100 и 16 лет, а русского 18 лет» (то есть 100 и 18 лет; немногим больше татарского) (187).

С усилением христианско-экспансионистских настроений авторы сочинений на восточные темы стали реже использовать тюркские выражения. Отсюда понятна причина уникальности тюркоязычия «Хождения» Никитина. После «Хождения» еще два крупных сочинения были написаны русскими людьми, долгое время проведенными на Востоке: «Повесть о взятии Царьграда турками» второй половины XV в. турецкого пленника Нестора-Искандера и «Казанская история» середины XVI в., о которой говорилось выше. В повести Нестора-Искандера, рассказывающей о войне христиан с турками, тюркские выражения встречаются лишь изредка, обычно в прямой речи турков (например, «Безверный Магмет взъярился до зела и возопи велицим гласом: „Ягма,

ягма!“ — сиречь „на разграбление града!“» — 61). В «Казанской истории» же тюркских выражений почти совершенно нет.

Итак, для русской письменности XV—XVI вв. был характерен особый вид заимствования тюркских материалов. От двух предыдущих видов заимствования он отличался идейно-публицистическим переосмыслением источников. Он прошел несомненную эволюцию и с XVII в. примкнул к новому, по нашему счету четвертому, виду заимствования.

С конца XVI в. общий объем использовавшихся тюркских источников, письменных, фольклорных и языковых, заметно уменьшился. Обращение к ним диктовалось в основном потребностями военно-дипломатической и хозяйственной практики. Составлялись титулярники, куда входили и официальные титулы восточных монархов; переводились в «расспросных речах» показания пленных и перебежчиков; довольно поздно стали появляться словари домашних вещей, скота, денег и пр., как, например: «Тетрадь науки татарского языка с русским переводом, для знания предложено»²².

Ослабление и сужение непосредственных русско-тюркских культурных контактов сопровождалось установлением стойкого отчужденного отношения к тюркским реалиям. Даже при переводе одного восточного слова нередко чувствовалось неприятие автором того явления, которое оно обозначает. Например, Трифон Коробейников в своем отчете о поездке («Хождении») на Ближний Восток в 1593—1594 гг. недоброжелательно написал о турке Мурате, который намеревался разорить христианскую церковь, но затем одумался. «И тое церкви, — заключал Коробейников сообщение о турке, — разорить не велел, да по своему закону к той церкви жертву богу, курбан, послал овец с десять» (94). Оговорка Коробейникова нам не кажется случайной. Это не христианская, а «по своему закону», чуждая христианской жертва — курбан.

Для отчужденного отношения русских к языку «поганых» в XVII в. показательное изложение одного эпизода в «Проскинитарии» Арсения Суханова, посетившего Турцию в 1649—1653 гг. Судно, на котором приплыл Суханов, стали досматривать турки: «и нам каравакирис велел положить на себя чалмы; и старец Арсений, — пишет Суханов о себе в третьем лице, — взял у каравакириса рычь, сиречь чалму, и положил на себя, и сел на корме на каравакирисово месте по-турски, подобрав ноги... И пришед один турчанин, на Арсения посмотрел прилежно и сказал двум начальным турчаном, и те стали глядеть прилежно и молвили Арсению: „Салом аликом“. Арсений же сидя моляся Христу-богу, о избавлении своем глаголя... Турки, поглядев на Арсения, отошли прочь... и старец Арсений возблагодари Бога, глаголя: „...мене, грешнаго, помиловал и вложил туркам мглу во очию, да не разумеют, кто есмь яз...“» (7—8).

²² Рукопись конца XVII — начала XVIII в. РНБ, О.ХVII.7.

Тюркское приветствие, приведенное в этом отрывке, подчеркивает полное нежелание Арсения как-либо общаться с турками. Между ним и турками стена, «мгла»; и в смысл тюркских слов, донесшихся сквозь эту стену, он даже не хочет вникать; они для него страшны и непонятны. Лишь позже, добавляет автор, он все-таки спросил у переводчиков о том, что же ему турки говорили.

Непонимание христианами языка мусульман и, наоборот, мусульманами христиан акцентировалось и в повестях первой половины XVII в. Существует, например, записанный не ранее 1634 г. рассказ о греческом иерее, который принял магометанство и стал служить турецкому монарху. Однажды причетник греческой церкви встретил потурчившегося иерея «пред царя на коне во множестве раб... и начат отметнику поносить своим языком... Той же обращаяся на коне против, проклиная причетника по-гречески, и тако разыдошася обо в пут свой», а окружающие остались в неведении, о чем шел спор (163).

Еще более выразительные примеры неприятия общения христианской и мусульманской культур находим в фактах переделок сочинений Ивана Пересветова, предпринятых в XVII в. Так, характерное для XVI в. пересветовское «Сказание о турецком султана Магмете», читающем греческие книги, было в XVII в. переработано в противоположное по смыслу «Сказание о том, как Магмет-салтан хотел книги греческие сожещи»²³.

Отчужденное отношение к тюркской культуре облегчало возможность сильного переосмысления и искажения сведений, дошедших из восточных источников. Привносились различные оттенки отрицательного отношения к туркам, поступки и обычаи которых представлялись странными, алогичными до смешного, отвратительными до ужаса. Так, в «Повести об азовском осадном сидении» донских казаков в 1642 г. оглуплялось содержание ярлыков, которые турки посылали казакам; за «пустое место» турки обещали громадные деньги: «А в ерлыках в своих они пишут — просят у нас пустова места азовского, а дают за него выкупу на всякого молотца по 300 тарелей серебра чистово да по 200 золотых червонных арапских... — „а нам лишь отдайте пустое место азовское“» (77—78).

Слухи об осаде турками персидских городов дополнились в «Повести» подробностями, превратились в упоминание о том, что турки засыпали землю целый город со всеми жителями. «Прислал турецкой царь,— писал автор, — под нас многую свою собранную силу и басурманскую рать... с лопаты и з заступы на загребение наше, чтоб нас, казаков, многолюдством своим в Азове-городе живых загрести и засыпати бы им горою

²³ *Пушкарев Л. Н. И. Пересветов и его связи с русской литературной традицией // Сочинения Ивана Пересветова, с. 74.*

великою, как они загребают своими силами людей в городех перситцкаго шаха» (59—60).

Усилилось враждебное переосмысление сведений о мусульманской вере. Даже в «Хождении» купца Федота Котова, путешествовавшего в 1623 г. в Персию и приложившего к своим запискам турецкий, персидский, арабский, армянский и грузинский счет и азбуку, выпады против мусульманства были постоянны. «И абдалы рассказывают, как их клятые жили, и веру свою отвергают», — Котов называл восточных святых «клятыми», то есть проклятыми. Или обязательно осуждал Магомета: «А сказывают, что в пятницу Бахмет родился, того для и празнуют еженедель, ему на вечный огонь, и на бесконечную муку, и на понос, и на укоризну» (44, 54).

Настроение почти полного неприятия мусульманской культуры служило преградой дальнейшему расширению фонда тюркских материалов в русской письменности XVII в. Ограничивалось даже использование, ранее довольно распространенное, переводных тюркских документов в литературе. Приведем следующий пример. В XVII в. в процессе обогащения русской литературы произведениями и формами деловой письменности появились пародии на различные документы, в том числе на турецкие грамоты, — явление широко известное по легендарной переписке Ивана Грозного с турецким султаном²⁴ и по «Повести об азовском осадном сидении». Но отчужденное отношение к тюркским документам выразилось в том, что пародировался формуляр не столько турецких грамот, сколько русских, или оскорбительные эпитеты нанизывались в вольном порядке. Вот как, например, излагался в послании азовских казаков туркам «титул» султана: «Ровен он, собака, смрадный пес, ваш турской царь, Богу небесному у вас в титлах пишется. Как он, бусурман поганой, смеет так в титлах писатся и подобитися Вышнему? Не положил он, похабной бусурман, поганы пес, скаредная собака, Бога себе в помощника, обнадежился он на свое тленное богатество, вознес отец его сатана гордостью до неба, опустит его за то Бог с высоты в бездну во веки» (67).

В XVII в. был составлен подложный ярлык «Ахмета, турского царя», тоже «a travesty of the style, in the form of a collage»²⁵. До сих пор этот ярлык был известен в одном списке²⁶; нами обнаружен второй список, содержащий разночтения²⁷.

²⁴ Каган М. Д. Легендарная переписка Ивана IV с турецким султаном как литературный памятник первой четверти XVII в. // ТОДРЛ, т. 13, с. 247—272.

²⁵ Keenan E. L. The Jarlyk of Axmed-xan to Ivan III: A New Reading. A Study in Literal Diplomata and Literary Turcica // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. The Hague, 1969, vol. 12, p. 43.

²⁶ ГИМ, собрание Синодальное, № 272, л. 401.

²⁷ Сборник начала XVIII в. РНБ, 0.XVII.58, л. 55 об. — 56.

Таким образом, XVII век был неблагоприятен для развития русско-тюркских культурных связей. Одно из объяснений их спада заключается в том, что непосредственно у восточных и южных границ России уже не существовало сильных тюркских государственных объединений; главное значение получили отношения с западными соседями, и внимание русской литературы было направлено на Запад в большей мере, чем когда-либо.

Усилившаяся ориентация на Запад ясно ощущается в произведениях на восточную тематику. В XVII в. многочисленные сочинения о Востоке предпочитали переводить с западноевропейских языков и не пользоваться восточными источниками. Барометр своего времени, Симеон Полоцкий, перевел, например, рассказы о магометанской вере из книг Петра Альфонса и Викентия из Бове²⁸. Легендарная переписка Ивана Грозного с турецким султаном примкнула к переведенному, вероятно, с польского языка циклу грамот турецкого султана к европейским государям²⁹. Если повесть описывала события в Турции, как, например, сказочная «Повесть об Иване Пономаревиче», то никаких турецких элементов в ней не было, турецкий посол носил отнюдь не турецкое имя Куарта и т. п. (319—322).

Изложенным нами фактам отчужденного отношения русских к тюркам в XVII в. противоречит загадочная «Повесть о разуме человеческого», датируемая Л. Н. Пушкиревым концом XVI — первой четвертью XVII в.³⁰.

Заглавие повести предупреждает о восточных источниках: «От книг бытей татарских и разуме человеческого»; и действительно, сюжеты восходят к восточному фольклору. Повесть состоит из двух притч о царе Ислам-Гирее и его мудром советнике Алтыне Золотое слово. В первой притче рассказывается о находчивости Алтына, объяснившего царю, как можно разом прострелить оленю правое ухо, левое ухо и заднюю левую ногу (когда олень «обивает левою ногою от левого уха мухи и мошки»). Вторая притча показывает, как Алтын устыдил жестокого Ислам-Гирея, пересказав ему, что о нем говорят две совы на мечети.

Основная идея повести — в подчеркивании преимуществ, которые дает умение пользоваться языком, своим и чужим. В первой притче брат Алтына навлекает на себя гнев царя, так как не может понятно рассказать о случае с оленем на охоте; это растолковывает Алтын, добавляя: «А брат мой не солгал, з глупости не умел рассказать царю». И

²⁸ *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII в. СПб., 1903, с. 89.

²⁹ *Каган М. Д.* Легендарный цикл грамот турецкого султана к европейским государям — публицистическое произведение второй половины XVII века // ТОДРЛ, т. 15, с. 225—250.

³⁰ *Пушкарев Л. Н.* «Повесть о разуме человеческого» // ТОДРЛ, т. 14, с. 324—325.

царь повторяет: «Он-де мне не умел рассказать». Во второй притче человек, знающий птичий язык, говорит о своей полезности для государства: «А человек есми надобной... Умею-де есми, государь, птичью языку и зверину: что говорит птица со птицею, а зверь со зверем». И царь подтверждает: «Мне такие люди в государстве годны».

Повесть не содержит осуждения мусульман; более того, в заключение она предлагает христианскому читателю поучиться у татар: «Видишь, разумей, каков человеческий разум. Разумной человек не одну душу свою спасет, но и людцкия многия» (325—326).

По своей идее «Повесть о разуме человеческом» ближе к сочинениям XVI в., чем к повестям XVII в. Объяснить это можно, по крайней мере, двояко: или обе притчи были записаны гораздо раньше XVII в., или же в литературе XVII в. отчужденное отношение к разным тюркским народам формировалось не одновременно. Например, крымские татары, возможно, продолжали рассматриваться как объект христианского воздействия. Так, в 1634 г. священник Иаков, ездивший в Крым с посланником Б. С. Дворяниновым, написал повесть-путеводитель «О мощах неведомых». В записках Иакова излагались сведения о положении христиан в Крыму, о деятельности христианских церквей и попутно включались сведения о различных местах, слышанные от татар (48—60). «Повесть о разуме человеческом», об Исламе-Гирее и Алтыне могла основываться на устных крымских источниках. (Ислам-Гирей — имя нескольких крымских ханов XVI—XVII вв.³¹.)

С русско-крымскими отношениями, возможно, связано также появление в 40-х годах XVII в. списка «Повести о Еруслане Лазаревиче», написанного подьячим Разбойного приказа Иваном Яковлевым и содержащего восточную терминологию и отдельные восточные мотивы, отсутствующие в других списках «Повести»³².

Крымские татары издавна оказывали значительное влияние на западную политику России, чем, видимо, и объясняется бытование крымских материалов в русских повестях XVII в. на фоне общего свертывания русско-тюркских литературных и культурных отношений в это время.

Попытаемся охватить единым, поневоле поверхностным, взглядом судьбу тюркских заимствований в русской письменности XV—XVII вв. Предварительная картина представляется следующей. Зачатки русско-тюркской литературной общности (самый заметный пример — «Хожделение» Никитина) не получили развития. Заимствованные тюркские элементы не вышли за естественные пределы произведений, затрагивав-

³¹ Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Османской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887, с. 401, 441, 527.

³² Пушкирев Л. Н. «Восточная» редакция «Повести о Еруслане Лазаревиче» // ТОДРЛ, т. 24, с. 214—217.

ших восточную тематику. Большинство видов заимствования — враждебная полемика с тюркскими источниками в XV в., переосмысление их в христианско-экспансионистском духе в XVI в. и отчужденное отношение к ним в XVII в. — служило своего рода преградой воздействию идей и форм мусульманской культуры³³. Это любопытный тип связи в истории мировой литературы, быть может, не столь редкий, как кажется на первый взгляд.

1974 г.

³³ Ср.: «Ни в Византии, ни в России, несмотря на торговые сношения с некоторыми культурными мусульманскими странами, не было общения между культурами христианской и мусульманской, не было и таких посредников между ними, какими на Западе были евреи» (*Бартольд В. В. Сочинения. М., 1966, т. 6, с. 228*).

V

ФАНТАСТИКА

ДРЕВНЕРУССКАЯ ФАНТАСТИКА

Древнерусская литература изображала примерно десять основных миров. Первый и главный изобразительный мир древнерусской литературы — это реальная земная действительность. Все знают, насколько исторична была литература Древней Руси с ее летописями, хронографами, повестями, «хождениями» и пр. Но девять иных миров древнерусской литературы — явственно фантастичны, заводят во внереальную или во вземную жизнь. Средневековая литература пропитана фантастическим содержанием намного шире, чем литература нашего времени, в которой фантастика все-таки отгорожена в отдельный жанр.

Итак, второй изобразительный мир древнерусской литературы раскрывал чудеса, происходившие в ветхозаветные и евангельские времена, а также позднее в различных странах, но особенно происходящие на Руси, — явление ангелов или бесов, глас свыше, чудотворение от икон, внезапное исцеление болящих и пр. Эти сюжеты встречались в огромном количестве памятников, их не избежало практически ни одно древнерусское произведение. При этом, судя по соответствующим эпизодам, чудесное занимало небольшое, даже камерное место в обыденной земной жизни. Оно обычно сопровождало лишь отдельного человека или нескольких человек, не касаясь остальных людей, и зачастую было заключено в узкие пределы какого-нибудь небольшого помещения или ограничено очень небольшим пространством.

Рассказами о чудесах был заполнен, например, сборник историй XI—XIV вв. о жизни монахов Киево-Печерского монастыря — «Киево-Печерский патерик». Так, раненый воин лежит на поле брани, и вдруг в небе ему является будущее — церковь, которую ему еще только предстоит построить, и тут некая сила извлекает его из скопища убитых и исцеляет от ран. Или трем человекам одновременно является Богородица со своей свитой и дает им золото. Или князь видит, как с неба падает огонь и выжигает яму на земле, обозначив место постройки церкви. Или монах в церкви смотрит на поющую братию, и один только он видит, что бес ходит среди монахов: кого коснется цветком, тот и заснет. Или ночью бесы набиваются в келью, рассаживаются всюду, начинают играть на дудках и гусях и бить в бубны, мучают инока. Рассказывалось бесконечное множество подобных историй.

В течение многих веков литература изображала реальный земной мир, который в обязательном порядке, но, так сказать, точно испещрен чудесными событиями. В XVII в. же чудесное временами перестало резко отделяться от бытового. Например, «Повесть о Савве Грудцыне» рассказывала о том, что к молодому купчику, прогуливавшемуся по загородному полю, подошел бес в образе хорошо одетого и вежливого юно-

ши, отрекомендовался его родственником, повел его в другой город, как оказалось, в «палаты» к сатане, потом занимался с ним торговлей по разным городам, служил у него денщиком на военной службе, и хоть бы кто распознал беса. В знаменитом «Житии» протопопа Аввакума чудесное совсем обмельчало: ангел кормил Аввакума щами в темнице, а бес пакостил в избе. Однако чудесное все-таки не растворялось в быту, но оставалось самостоятельным миром. В наше время научно не обоснованные чудеса составляют принадлежность мистической литературы, но не допускаются в фантастику.

Третий изобразительный мир древнерусской литературы — волшебный, сказочный. Он минимально религиозен, существует почти что без вмешательства божественных сил, а проявляется в земной жизни не а виде эпизодических вспышек, вкраплений, а как постоянная обстановка отдельных областей на земле. Это излюбленный мир древнерусских повестей и апокрифических, то есть внеканонических и псевдоисторических, сочинений. Среди них особенно фантастична «Александрия» — большое повествование о жизни, войнах и путешествиях Александра Македонского. «Александрией» увлекались на Руси с древнейших времен и до XVIII в. Еще бы: в ней изображался египетский царь, который «помощницу себе имея волшебную хитрость», входил в волшебную палату, наливал воды в золотую лохань и на воде из воска делал два войска, превращался в существо с головой орла, рогами аспида, ногами льва и крыльями грифона. Он-то и стал отцом Александра Македонского. Юный Александр схватил за ухо и укротил ужасного яростного коня, оцетинившегося длинным рогом между ушами и рогатой воловьей головой на правом бедре. И т. д.

Прочие произведения были неиссякаемы на сказочную выдумку. Так, в апокрифе о царе Соломоне и странном существе Китоврасе сообщалось о том, что Китоврас выпивал три колодца вина зараз; мог ходить только по прямой линии, не считаясь с домами; провидел несчастное ближайшее будущее встречаемых людей; а самого царя Соломона одним ударом своего крыла забросил «на конец земли обетованной». Другой апокриф повествовал о трехглавом змие длиной 60, а толщиной 12 локтей, который захватил и перекрыл колодец в одном граде и давал воду горожанам за большую дань — по 12 коров, 80 телят, 25 барашков, а однажды похитил у колодца молодую красивую женщину. Ее сын по имени Феодор Тирон бросился на поиски матери, рискнул войти в «жилище змиево», где обнаружил мать, украшенную золотом и серебром, под охраной вставших огромных змей, «облизающих уста свои». В сражении Феодор Тирон копьем поразил всех змей и извивающегося громадного змия тоже. Еле выбрались наружу Феодор с матерью из-под исполинских змеиных туш, и потекла из колодца вода, «яко река велика».

Сказочные змеиные мотивы были популярны в древнерусской литературе. Например, «Слово о Вавилоне» XV в. посвящалось описанию

опасного путешествия троих смельчаков в давно покинутый всеми город Вавилон, вокруг которого свернулся гигантский дремлющий змий. В городе страшно ходить, хотя там находятся большие, привлекательные ценности, и страшно переправлять их через змия: только запнешься о него ногой, как змий начинает пробуждаться, на нем волнообразно топорщится чешуя, и он засвистит с такой мощью, что даже в пятнадцати днях пути от места его лежки погибают люди и кони.

Волшебно-сказочные персонажи изображались в литературе действующими и на Руси. Хороший персонаж в «Повести о Петре и Февронии» XVI в. — добрая дева Феврония из Рязанской земли. Она сразу исцеляет от болезненных струпьев и язв, неподвластных врачам. Она с обеденного стола собирает крошки, которые в ее руке превращаются в благоухающий фимиам. Голые палки она превращает в развесистые лиственные деревья. Зловещий же персонаж — Горе в «Повести о Горе-Злочастии» XVII в. Судя по реалиям повести (кабак, лапти, изба, перевозчики через реку, крестьянские порты). Горе находится на Русской земле. Оно выскакивает из-под камня у быстрой реки, «серо Горе-горинское», «босо-наго, нет на Горе ни ниточки, еще лычком Горе подпоясано, богатырским голосом воскликано». Горе неотвязно пристаёт к доброму молодцу, то прикидываясь не больше и не меньше чем архангелом Гавриилом, то оно грает над молодцом злой вороной, то несется за ним серым ястребом, то является перед ним с косою острою и пр.

Сказочно-волшебный, очень уж фольклорный мир довольно поздно стал осваиваться литературной фантастикой нашего времени, и он, кажется, еще далеко не освоен. А в эпоху средневековья три изобразительных мира — реальности, чудес и волшебств — тесно сплелись и составили художественную основу древнерусской литературы, однако отнюдь не основу жанра фантастики.

Остальные миры занимали относительно более частное место в литературе Древней Руси. Четвертый мир — это изображение чрезвычайно далеких, экзотических, уже полностью фантастических земель, людей и животных в некоторых памятниках. Первенство тут опять принадлежит «Александрии». Александр Македонский в своих походах дошел чуть ли не до края мира и встречал гигантских муравьев, каждый из которых был в состоянии ухватить коня и затащить его к себе в нору. Гигантские раки тоже хватили коней и ныряли с ними в море. Если бросить сушеных рыб в одно из озер, то сушеные рыбы оживали и уплывали. Повидал Александр Македонский и множество диковинных племен и народов: крылатых волосатых женщин с огромными ногтями, как серпы; карликов ростом с локоть; великанов-людоедов; шестируких и шестиногих людей; псоглавых людей; видел мужчину высотой в тысячу сажен, прикованного к горе цепями; полулюдей-полуконей, то есть кентавров; одноногих скачущих людей.

К сведениям «Александрии» еще долго добавляли фантастические подробности другие произведения, вроде «Сказания об Индийском царстве» XIII в.: в этом царстве, которое, конечно, лишь условно обозначено как Индийское, есть передвигающееся по суше песчаное море, а с отвесных гор течет огромными камнями сухая каменная река; в этом царстве водится лютый зверь «коркодиль», от мочи которого все сгорает огнем; чудовищная птица вьет себе гнездо, опирающееся на 15 дубов; другая птица рождается в виде червя и, оперившись, живет пятьсот лет; на исполинских петухах верхом ездят люди; а сами люди — одни рогаты, иные трехноги, у третьих в груди глаза и рот, а головы, очевидно, нет, четвертые люди являются полуптицами.

Еще и в XVI в. «Книга, именуемая Луцидариус, сиречь Златой бисер» утверждала, что в той же Индийской земле обитают люди с 18 пальцами на каждой руке и ноге; что женщины там рожают сразу по 15 детей; что там на торжественных пирах поедают своих состарившихся отцов и матерей, а «пьют соленое море»; что есть люди, которые не выносят скверных запахов и умирают от них, если им не удалось защититься благовониями.

Из всех изобразительных миров мир древнерусской географической фантастики был больше всего близок к фантастике нашей современной, однако не стал ее непосредственным предшественником, потому что не являлся специально ценимым миром на Руси. Древнерусские книжники словно бы стеснялись столь резких отклонений от жизненного правдоподобия или опасались в сочинениях подолгу толковать о столь малосимпатичных отдаленных землях и быстро возвращались к более привычной тематике — исторической, хронографической, библейской, агиографической. Позднее, в русской книжности XVII в., фантастико-географические сведения уже проигрывали в авторитетности сравнительно с новыми, реально-фактографическими, суховатыми, в некоторой степени даже научными сообщениями из «космографий». Понадобились века развития науки, чтобы научная фантастика оформилась в четкое цельное явление и уверенно заняла приличествующее ей место в литературе.

В древнерусской же литературе устойчиво сохранялись только те фантастические миры, которые были связаны с христианской эсхатологией. Прежде всего это пятый мир — описание земного рая, эдема, в котором находились Адам и Ева и который после их изгнания продолжает оставаться где-то на земле. О земном рае повествовали большей частью апокрифы. Так, в апокрифическом «Слове о трех монахах» рассказывалось о том, как три монаха отправились из Иерусалима на поиски земного рая. Обильные фантастико-географические сведения допускались потому, что указывали путь к раю. Монахи шли все время на восток, прошли Индию, а затем — страну людей с песьими головами, поднялись на гору, кишашую змеями, аспидами, ехиднами и василисками.

ми, и потом попали в совершенно пустынную землю, а после — в место, где царил темная мгла. Дальше им пришлось миновать еще более страшные места: озеро, заполненное змеями и мучающимися грешниками, а также мужчин, палимых пламенем по всему телу, и женщин, душимых змеями, и т. п. Но тут начались места более приятные: путники увидели высокую ледяную церковь и текущий через нее источник, белый, как молоко. Это источник бессмертия, приготовленный для праведников. Три монаха последовали дальше и увидели, как с востока к ним приближается старец, совсем без одежды, но с головы до ног прикрытый седыми волосами. Старец предупредил их, что они находятся в 20 «поприщах» от рая, но туда живым людям путь закрыт. Сам старец дальше тоже не хаживал, однако ангел ему рассказал, что дальше находится железный город, потом город медный, а вне рая, огороженного стенами, стоят охраняющие его херувимы и серафимы с огненным оружием в руках. Удовлетворенные монахи повернули назад. Сам рай так и остался не описанным в апокрифе. Лишь глухо сказано, что в раю пребывают страшные силы и ангельские лики и что там почивает небо, смыкаясь с землею.

Но существовали памятники, которые отваживались вплотную живописать и сам земной рай. Таково апокрифическое «Хождение Агапия в рай». Этот монах попал-таки в эдем: задремал на корабле, и Бог повелел перенести его через море. Очнувшийся Агапий от встреченного Иисуса Христа узнал, что он в земном раю: стоят цветущие деревья, на их ветвях сидят, поют и щебечут златоперые, багряные, червленые, синезеленые и белоснежные птицы; в глубине сада от земли до небес возвышается стена; за стеной — свет всемеро ярче земного и огромный крест, блистающий сильнее солнца; а рядом — одр и украшенный драгоценными камнями стол, на котором лежит белый хлеб; тут же вытекает райский источник и растет виноград с разноцветными гроздьями.

Прочие произведения расцвечивали картину эдема различными деталями. Любопытно, что в XIV в. один из новгородских архиепископов уверял, будто три новгородских корабля бурей заносило к раю — к высокой горе, на которой лазоревой краской нарисованы Иисус Христос с Богородицей, а из-за горы виден свет и доносится пение. Современная наша фантастика иногда ищет подобие эдема, но без ангелов и святых, в каких-то иных галактиках.

Шестой изобразительный мир древнерусской литературы — это картины ада; его представляли где-то под землей в виде колоссальной подземной полости. Классическое его описание дано в апокрифе «Хождение Богородицы по мукам». Из тьмы вырисовывается множество вопящего народу. В огненную реку погружены мужчины и женщины — кто до пояса, кто до шеи, а кто по макушку. На берегу огненной реки висят повешенные за ноги или за зубы, либо за языки, даже за ногти. Далее течет огненно-кровавая река, грешники варятся в ее клокочущих вол-

нах. Есть в аду огненное озеро, целиком поглощающее народы, и пр. Другой апокриф — «Слово о видении апостола Павла» — сообщал, что в аду есть огненные пропасти и огненный колодец, уходящий в бездну, а в некоторых частях ада стоит лютая зима и лежит снег, который не растопить и семью солнцами. С течением времени, особенно с XVII в., ад в произведениях приобрел черты деловито-обыденного заведения. Говорилось, что ад начинается с вулканов и находится под Сицилией. Сам ад стал больше напоминать то смердящие темницы, то болото, то банное помещение, то мясную лавку, то фабрику или кузницу с массой страшных железных орудий пыток. Сейчас фантастика избегает изображать ад с его вечными муками и вечной неуничтожимостью человеческих тел. Для нас это вопиюще нелогично.

Седьмой, самый идеализированный, но зато и пустоватый и самый однообразный мир древнерусской литературы — изображение небес. Их насчитывали десять, хотя разные апокрифы по-разному описывали небеса. Наиболее полный обзор небес содержала апокрифическая «Книга о тайнах Еноховых». На первом небе, по свидетельству этой «Книги», находится великое море, хранилище снега, облаков и росы, там летают ангелы. Впрочем, они присутствуют и на всех остальных небесах. На втором небе — тьма и ангелы, отпавшие от Бога. На третьем небе — рай, посреди рая — древо жизни с четырьмя источниками, поют ангелы. На четвертом небе — солнце в колеснице и звезды, а также ворота, откуда выезжают солнце и луна. На пятом небе — какие-то унылые молчаливые воины, а на последующих небесах полно бесплотных сил. Наконец, на десятом небе сидит на престоле Господь, а рядом архангелы Михаил и Гавриил.

Апокрифы понемногу разнообразили стерилизованный мир небес, как обычно, за счет мирового фольклора и странствующих книжных сюжетов: на первое небо поселяли людей с воловьими лицами и оленьими рогами, а на второе — гигантского змея. Третье небо, то есть рай, превращалось в чудесную страну с золотыми воротами, молочно-медовой рекой, золотыми кораблями, золотым городом на острове, а посреди города перед алтарем стоит царь Давид, держит гусли и поет на весь город. На пятое небо ставили «хранильницу» для сбора людских молитв, а на седьмое небо помещали книгу, куда записываются дела каждого человека. Подобные небесные темы все-таки чужды современной фантастике, хотя как знать...

Восьмой мир древнерусской литературы касался будущего. Будущее человечества — излюбленная тема нашей современной фантастики, но древнерусская литература еще не изобрела машину времени и не пыталась заглянуть в отдаленное будущее, за одним исключением — предвидела «последние времена» и Страшный суд. Судя по апокрифическому «Слову Мефодия Патарского о царствии язык последних времен», предвестником конца света будет нашествие на всю землю тех

вырвавшихся на свободу страшных народов, которых Александр Македонский затворил далеко в горах. Начнутся войны, массовое кровопролитие, голод, падение нравов, гибель государств. Родится на земле антихрист с печатью числа 666 на челе и правой руке и всех покорившихся ему отметит такой же печатью. Начнется землетрясение, загорится земля, и сгорит все, что есть на земле. Ветры все развеют, и станет земля ровна и чиста. Архангел Михаил трижды вострубит в рог, и восстанут все люди, умершие за всю историю земли, а каждому восставшему будет по 30 лет. С неба спустится престол Господень, голос Господа будет слышен по всей земле и до бездны. Антихриста схватят. С неба упадут звезды, луна исчезнет, солнце померкнет, небеса сольются. Начнется Страшный суд. Нужно сказать, что в данной тематике апокрифы мало расходились, предпочитая повторять библейские пророчества и Апокалипсис. Религиозные фантастические миры не получили развития в светской, тем более в научной фантастике. Исконные и традиционные миры древнерусской литературы словно уклонялись от преобразования в фантастику.

Литература XVII в. в разнообразных повествованиях, добавила два принципиально новых изобразительных мира. Оба они восходили в конце концов к фольклору, большей частью русскому и славянскому, и оба эти мира уводили не в неведомые таинственные дали, а находились вроде бы по соседству с Русской землей, где-то за недалекой границей, составляли как бы продолжение Руси. Один мир — девятый, по нашему счету, — богатырский. Вполне типично он изображен в «Повести о Еруслане Лазаревиче»: «Бысть во царстве царя Картауса Картаусовича дядюшка ево, князь Лазарь Лазаревич, а жена у него Епистимия, а сына родила Еруслана Лазаревича». Этот Еруслан, будучи четырех лет, уже отличался богатырской силищей: «Ково хватит за руку — у тово рука прочь; ково хватит за голову — у тово голова прочь». Пошел ребенок Еруслан к морю, увидел богатырского жеребца: когда жеребец пьет, на море волны встают, по дубам орлы клекчут, по горам змеи свищут. Ударил Еруслан коня, и тот пал на карачки. Еруслан сел на этого коня и стал скакать с горы на гору, побеждать других богатырей и побивать огромные рати. А исполнилось тогда Еруслану семь лет. На просторах молодой богатырь имеет дело с гомерическими предметами и сборищами: разговаривает с богатырской головой величиной с крутой бугор; притаптывает конем 170-тысячное войско; залезает на трехголового змея и отсекает ему головы и пр. Общается Еруслан только со значительными людьми, большей частью с царями. Лет этак одиннадцати Еруслан женится на царевне Настасье Варфоломеевне, и она рождает ему такого же богатыря, а сам Еруслан становится царем. Еруслан немного напоминает здорового доброго киборга из фантастики XX в.

Другой новый мир русской литературы XVII в., а в итоге десятый мир древнерусской литературы, — фантастико-саркастический. Образ-

цом его изображения может служить «Сказание о роскошном житии и веселии», лукаво фантазирующее на темы материальной обеспеченности и богатства; мол, где-то за Дунаем находятся чудесные сытные места; там деревья сами наклоняются к человеку, предлагая свои сладкие плоды; там птицы сами залетают в дома, предлагая себя на снесь; там рыбы стадами подплывают ко дворам, чтобы их ловили хоть руками; туда беспрестанно прибывает бессчетное количество кораблей с заморскими товарами и торгует без пошлин. В сущности, это страна издевательского расточительства и беспорядка: в домах толкутся кони, буйволы, олени, лисицы, зайцы, бобры, куры; столы, заваленные яствами, одиноко стоят, загнанные куда-то к горе; озеро вина, пруд меду, болото пива — «на голову лей, коня своего мой да и сам купайся»; «виноград на все стороны лопатами мечут, дороги прочищают»; валяются драгоценные камни, алмазы, изумруды; разносится беспардонно громкая музыка. Вот только за въезд туда плата зловещая: берут с лошади по дуге, с человека — по шапке, а с обоза — по людям. В других произведениях этого карикатурного типа люди и животные представляли еще более нелепыми и зловеще-уродливыми, а весь мир — мерзостно-мусорным. Например, богатырский конь являлся в обличии клячи или полутрупа: «бур-космат... рот, как пасть; язык, как рукав; грива колесом, уши колпаком, окорка висли... а очи у добра коня, что великие питыи чаши, на лоб вышли». Оба новых фантастических мира русской литературы XVII в. отчасти приближались соответственно к утопии и антиутопии.

В целом же в качестве объективно существовавшей духовной данности фантастические миры древнерусской литературы — чудесный, волшебный, квазигеографический, эсхатологический, богатырский, сатирический (и дополнительные литературные темы, не переросшие в миры) — при всех их взаимосвязях были слишком разнородны, создавались все-таки случайными, по преимуществу переводными источниками и относились к настолько разным областям книжности, что в течение семи веков не возникало даже и вопроса о формировании единой фантастики с ее параллельными мирами. Опыт Древней Руси подсказывает нам, что фантастика как жанр — это всего лишь частный эпизод из гораздо более богатой прошлой и будущей жизни вообще фантастического в литературе.

ЗАГРОБНЫЙ МИР В ПАМЯТНИКАХ XI—XVII ВВ.

В данной работе обозревается эволюция эсхатологических описаний в древнерусской литературе. Об этом предмете опубликовано совсем мало работ, притом изложено в них преимущественно общее содержание памятников¹.

Эсхатология делится на две большие части. Одна часть — о небесах, о рае и аде. Другая часть — о Страшном суде, о судьбе всей Земли. Данная работа придерживается только первой темы — о небесах, рае, аде, увиденных некими путешественниками. Изображение Страшного суда не рассматривается, оно не содержит мотива путешествия в загробный мир.

Не Библия была для Руси первым сочинением, открывшим загробное путешествие, но ряд сравнительно небольших переводных произведений. Они текстологически не изучены, приходится опираться на старейшие списки памятников, а иногда на поздние, но зато не дефектные списки. Итак: кто видел и что видел и кому о том надлежит знать, или кратко изложенная нами топологическая тематика источников.

«Видение Исаии»

В «Успенском сборнике» XII — начала XIII вв. переписан один из древнейших переводных апокрифов «Видение, еже виде святыи Исаия пророкъ сынъ Амосовъ».

Крайне почитаемый человек — библейский пророк Исаия — запросто пришел к цесарю Иудеи, поцеловал его, сел на царский одр и вдруг заговорил другим голосом. Окружающие поняли, что им вещает святой дух. Затем Исаия внезапно замолчал, очи его были отверсты, но он никого не видел, — Исаию посетило видение (169.2, 170.1)². Когда Исаия

¹ *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу. М., 1869, т. 3, с. 16—38, 258—281 и др.; *Сахаров В.* Эсхатологические сказания и сочинения в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. Тула, 1879; *Попов Алексей.* Влияние церковного учения и древнерусской духовной письменности на миросозерцание русского народа... Казань, 1883; *Батюшков Ф.* Сказания о споре души с телом в средневековой литературе // ЖМНП. СПб., 1890, сентябрь.

² Цитируемые памятники: апокриф о Енохе, краткая редакция — Тихонравов, т. 1; пространная редакция — «Книга о тайнах Еноховых»; «Видение Исаии» — Успенский сборник; «Вопросы Иоанна Богослова Аврааму на горе Елеонской» — Тихонравов, т. 2; «Вопросы Иоанна Богослова Аврааму о праведных душах» — Там же; «Вопросы Иоанна Богослова Господу на горе Фаворской» — Там же; «Воспрошанье святого апостола Варфоломея» — Там же; «Двоесловие Живота и Смерти» — Повести о споре Жизни и Смерти / Изд. подгот. Р. П. Дмитриева М.; Л., 1964; духовные стихи — 1) *Бессонов П.*

пришел в себя, то он поведал, но уже не всем присутствовавшим, а только цесарю, цесаревичу и пророкам об увиденном на небесах. Апокриф предупреждал, что подобное видение невозможно увидеть никому, кроме Исаии, ни до него, ни после него, а содержание видения нельзя возвещать народу, только избранным (172.1, 176.1—2).

Вознесся на небеса не Исаия во плоти. Он ведь потом вернулся в свое тело, в свою плоть, в свою оболочку, «въ одежду свою». На небесах

Калеки переходные: Сборник стихов и исследования. М., 1864, вып. 6, 2) *Петухов Е. В.* Очерки из литературной истории Синодика. СПб., 1895; «Житие» Аввакума — ПЛДР, т. 11 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; «Житие Андрея Юродивого» — ВМЧ, октябрь 1—3; «Житие Василия Нового», первая русская редакция — *Виллинский С. Г.* Житие св. Василия Нового в русской литературе. Одесса, 1911, ч. 2: Тексты жития; «Житие Иоанна Милостивого» — ВМЧ, ноябрь 1—12; «Завет Левгин» — Тихонравов, т. 1; «Книга о тайнах Еноховых» — Библиографические материалы, собранные Андреем Поповым. IV: Южнорусский сборник 1679 года // ЧОИДР, 1880, кн. 3; «Книга откровения Авраама» — см.: «Откровение Авраама»; «Лествица Иакова» — Тихонравов, т. 1; «Луцидариус» — *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях, по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890; «Мучение Вита, Модеста, Крестьяница» — Успенский сборник; «Мучение Еразма» — Там же; «О всей твари» — Тихонравов, т. 2; «О памяти смертней» — см.: «Житие Иоанна Милостивого»; «О явлении Аврааму» — см.: «Смерть Авраама»; «Откровение Авраама» — Тихонравов, т. 1; «Павлово видение», краткая редакция — Пам. СРЛ, вып. 3; пространная редакция — Тихонравов, т. 2; «Пентатеугум» — *Горфункель А. Х.* «Пентатеугум» Андрея Белобочко. (Из истории польско-русских литературных связей) // ТОДРЛ, т. 21; «Повесть временных лет» — ПЛДР, т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Повесть Макария Александрийского» — см.: «Синодик»; «Повесть о грешной матери» — Пам. СРЛ, вып. 1; послание Василия о рае — ПЛДР, т. 4 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; «Притча о человеческой душе» Кирилла Туровского — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. М. В. Рождественская; «Разговор магистра Поликарпа со Смертью» — Повести о споре Жизни и Смерти. М.; Л., 1964; «Синодик» — 1) *Буслав Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861, т. 2; 2) Пам. СРЛ, вып. 1; 3) *Петухов Е. В.* Очерки из литературной истории Синодика. СПб., 1895; 4) *Шляпкин И. А.* Синодик Псковского Спасо-Мирожского монастыря. СПб., 1880; «Слово на Лазарево воскресение», краткая редакция — Пам. СРЛ, вып. 3; «Слово о видении апостола Павла» — см.: «Павлово видение»; «Слово о восшествии Иоанна Предтечи в ад» Евсевия Александрийского — Успенский сборник; «Слово о исходе души от тела» Кирилла Александрийского — Сборник из 71 слова. М., 1647; «Слово о погребении тела Иисуса Христа» Епифания Кипрского — Там же; «Слово о трех мнисех» — Пам. СРЛ, вып. 3; «Слово о царствии небесном» И. А. Хворостинина — *Петухов Е. В.* Из истории русской литературы XVII века: Сочинение о царствии и воспитании чад. СПб., 1893; «Смерть Авраама» — Пам. СРЛ, т. 1; «Ужасная измена» — РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. А. С. Елеонская; «Хождение Агапия в рай» — Успенский сборник; «Хождение Богородицы по мукам» — ПЛДР, т. 2 / Текст памятника подгот. М. В. Рождественская; «Чтение святого Варуха» — *Соколов М. И.* Апокрифическое откровение Варуха // Древности: Труды Славянской комиссии имп. Московского археологического общества. М. 1907, т. 4, вып. 1.

побывал его «дух», этот «дух» вошел в Исаию извне, «въдуновением», был наслан ангелом (170.1, 172.1, 173.2, 176.2). «Дух» Исаии, видимо, станет полноправной душой, когда окончательно отлетит от тела. Ангел на небе утешал Исаию, что тот, скончавшись, душой вернется на небо, а пока ангел называл этого «духа» плотским сыном (176.2). «Дух» выглядел иначе, чем душа, на нем еще не было «вышней» одежды (173.1). «Духу» не все разрешалось узнать. Он не имел права знать, как зовут сопровождающего ангела. Имен тех, кто встречается на небесах, «духу» также не дано услышать. «Дух» не все был в состоянии увидеть, в чем и признавался: «Не възмогъ видети» (170.1, 173.1, 174.2, 176.2). Когда он молил ангела, желая остаться на небесах, то ему мягко, но непреклонно отказывали: пока не время. А другой ангел даже негодовал, чего это на небе появился «дух», которому снова предстоит «въ плъти жити» (173.1).

«Дух» изображен призрачным двойником Исаии. У него тоже видно тело — не только очи, но и лицо, и руки: например, вознося «дух», ангел «взял его за руку». «Дух» передвигается, кланяется, говорит, даже поет, читает письма, переживает, радуется, удивляется, скорбит, боится, трепещет, ужасается. «Дух» помнит о земном мире (173.2, 170.1, 172.2, 174.1—2).

«Дух» напоминает паломника по святым местам, которого водит специально посланный сопровождающий, тот, кого называли «вож». «Дух» доволен, что сопровождающий оказался кротким и предупредительным. «Дух», как и положено паломникам, расспрашивает «вожа», лишь созерцает показываемое, но не вмешивается в события, хотя в общих церемониях участвует, занимая скромное место.

И все же это неординарный паломник, которому соответственно придан неординарный сопровождающий — не рядовой ангел, но ангел с высшего, седьмого неба, не кланяющийся низшим ангелам. И конечно, этот паломник — «дух» человека, легко восходящий «на высоту», «на въздухъ», «на аерь», передвигающийся как-то неопределенно, но мгновенно с места на место (170.1, 171.1—2, 173.2).

Загробный мир нечетко описан в апокрифе. Как можно понять по тексту апокрифа, не всегда вразумительному, для того, чтобы попасть в загробный мир, надо было двигаться сначала на восток, потом вверх. Первым следовал «воздух», очевидно над землей. Затем — «твердь», а выше небеса. У шестого неба отмечено два яруса: «воздухъ шестаго небесе» как преддверие неба, а после — само шестое небо. То же и у седьмого неба: «аерь седьмаго небесе» и небо само. Кроме того, упоминался ад, место которого не обозначено: где-то под «твердью» (170.1, 171.2, 173.1—2, 176.1).

Расстояния между небесами равномерны и невелики. Каждое небо простирается преимущественно горизонтально вширь. Чем выше небо, тем дальше оно простирается, занятое ангелами. На пятом небе их «ле-

геоны буцисльны», «непроходимыхъ силъ тьмы», то есть неисчислимое множество. На седьмом небе их еще больше, во главе их — архангел Михаил, они кланяются Господу, сыну Божию, ангелу «духовному», святому Духу (171.2, 173.1, 174.1).

Все небеса видны с седьмого неба, вплоть до «тверди», где воюют сатана и ополчение его (170.2, 175.1).

Загробный мир изобразительно схематичен. У каждого неба есть врата, а при вратах — стерегущие. На каждом небе — толпы разных ангелов стоят слева и справа вокруг престола. На шестом небе нет престола, а ангелы уже все одинаковы, «имеаху единъ възоръ». На седьмом небе стоят престолы, лежат одежды и венцы, приготовленные для праведников (172.2, 175.2). Пение, раздающееся на шести небесах, доносится до седьмого неба. На седьмом небе находится также книга, куда записываются дела каждого человека, ничто, произошедшее на земле, не утаится. Происходящее каким-то образом отражается и на «тверди» («яко же есть на земли, тако есть и на тверди»). Сын Божий проходит все небеса до «тверди», а потом снова восходит наверх (170.2, 174.1, 175.1).

Такова была туманная и несколько механистичная эсхатологическая картина, с которой первоначально могла познакомиться Русь.

«Хождение Агапия в рай»

Этот второй апокриф о рае, переписанный в «Успенском сборнике», служит дополнением к «Видению Исаии», рассказывая о человеке менее значительном, чем пророк Исаия, — об игумене Агапии, который записал свои впечатления в одиночестве, но заповедал «чтение се» читать во всех церквях (473.2).

Агапий в самом деле посетил рай. В том его уверил Бог, который представился Агапию и пояснил, какие места вокруг него: «Азь есмь господь Бог, творецъ небу и земли... Места же си райская суть». Другой встреченный персонаж подтвердил: «Аз есмь Илья Тезвитенин... съде живу... древа райская» (469.1, 471.1, 473.1).

Рай, описанный в апокрифе, находится где-то на земле. Чтобы попасть в него, не нужно возноситься в небеса, но достаточно переплыть море на корабле, очутиться, вероятно, на каком-то острове. Обитатели рая, как сказано в апокрифе, с земли воссылают славу на небо. Илья Тезвитенин вспоминает о том, как он очутился в райском месте: Бог вознес его в колеснице, благословил его под небом, но потом спустился («сниде»), посадив Илью уже не на небе, а в земном раю (469.1—2, 430.2, 471.1).

Агапий в раю видит Иисуса с двенадцатью апостолами, окруженно-го многими человеческими лицами (херувимами и серафимами), а также птицами. В центре рая — неземное сияние (469.1, 470.2). Но в целом — это спокойное место, где люди могут отдыхать, «испочивъ от труда». Райский остров покрыт роскошным лесом, напоминающим сад-«верто-

град» (так называет его Агапий). На цветущих и плодоносящих деревьях щебечут и поют птицы; узкая стежка ведет вглубь острова, к молельне, окруженной высокой стеной с маленьким оконцем; внутри молельни возвышается огромный крест; а недалеко от молельни приготовлены одр, стол с белым хлебом и колодец со сладостной водой. Душ в раю немного, редко, когда там кто-нибудь встретится (468.1—2, 469.2, 470.2—471.1).

Человек во плоти, посетивший рай, остается чуждым раю. Агапий не мог увидеть душ людей («живъ человекъ не может видети душъ человеческъ» — 471.1), поэтому вместо душ увидел виноградные гроздья (души, — объясняет ему Илья, — «тобе явилы ся грьздовиемъ»). Поэтому Агапий не узнал ни Христа, ни двенадцати апостолов, ни Илью Тезвятинина. Они называли себя, а Агапий видел лишь, что ему встретились то «великий мужъ», то мужи в белых ризах, то «человекъ старъ». Агапию постоянно приходилось спрашивать: «Господи, съкажи ми, чьто се, еже вижю?»

Очарованный местом, куда он попал, Агапий восклицает: «Да не излезу из дровъ сихъ, нъ да сде съконьчаю живот свой!» Агапия, несмотря на его желание остаться, выпроводили из рая (468.2, 469.1—2, 470.2).

Таковы две разные эсхатологические картины, с которыми могли познакомиться древнейшие читатели: одна — грандиозная в «Видении Исаии», другая — идиллическая в «Хождении Агапия».

«Хождение Богородицы по мукам»

Хорошо дополняло два предыдущих апокрифа еще одно переводное эсхатологическое произведение, которое читали с глубокой древности, — «Хождение Богородицы по мукам». Оно переписано в «Троицком сборнике» XII—XIII вв. Апокриф рисовал жуткие картины, рассказывая о том, как Богородица осмотрела ад.

В аду мучились не грешники, а души грешников: «Многи душа пребвають въ месте семъ» (166, 168). Душа сохраняла телесную внешность человека. У нее имелись ноги, и за них можно было вешать. У души различались талия, грудь, шея, голова, темя, поэтому видно было, как постепенно погружаются души в огонь: одни до пояса, другие по пазуху, третьи до шеи, а четвертые «до верха». Душа обладала лицом, с очами и устами, в которых то кишели змеи, то пылало пламя. Иногда в устах виднелись зубы, которыми души скрежетали. Язык тоже был у грешной души, за него подвешивали или палили огнем. Все тело сохранялось до мелочей, даже ногти на руках и ногах, за которые цепляли, подвешивая за них несчастную душу. Всегда ясно было, мужчиной или женщиной является душа (170, 172, 174, 176).

Души сохраняли и внутренние свойства живого человека. Из души мужчины хлестала кровь. Души чувствовали жжение огненной реки. Если душу подвергали изощренному мучению, то она «не можаше воз-

дохнути». Души часто кричали и вопили. Души не потеряли память. Они помнили, что Сын Божий приходил на землю; что с тех пор, как они в аду, их никто не посещал до Богородицы. Души остались такими же грешными, какими являлись на земле. Например, апокриф с досадой утверждал, что не только язычники на земле, но и их души, попавшие в ад, верят в идолов: «И доселе мракомъ злымъ содержи́ми суть. Того ради зде тако мучатся» (168).

Однако души не полностью дублировали людей, когда-то живших на земле, но представлялись более обезличенными. На них уже не было одежды. Конкретные личности оказывались неузнаваемыми. Распознавалась лишь их прошлая корпоративная принадлежность, да и то после пояснений архангела, характеризовавшего скопления грешников: вот, — показывал архангел Богородице, — плохие попы, вот — плохие патриархи, вот блудливые черницы и попадьи, вот ростовщики, клятвопреступники, клеветники, разбойники и убийцы; вот евреи, которые мучили Иисуса Христа; вот людоеды и т. д.

Души в апокрифе изображены неподвижными. Они не ходят, не передвигаются как-либо иначе, даже не стоят на ногах. Чаще всего они погружены в огонь, находятся в подвешенном состоянии или действительно висят.

География ада в апокрифе неотчетлива, оттого что неотчетлив маршрут хождения Богородицы. Богородица молилась на горе Елеонской, перед ней с юга отверзся ад. Но потом в тексте начинаются неясности. Сообщается, что Богородицу ангелы повели на юг. Значит, спустили с горы, затем, очевидно, нырнув под землю, полетели вглубь ада (168, 170). Неясность изложения далее усиливается. Сообщается, что ангелы повели Богородицу на север. Но непонятно, как Богородица повернула на север: пошла назад или продолжала спускаться вниз. Из изложения следует лишь, что Богородица дальше зашла на север, чем на юг, и, следовательно, северная часть ада была протяженной. Затем Богородица повернула на запад. Опять неясно, как это произошло. Сказано невразумительно: «изведоша пресвятую отъ востокъ на левую страну» (176). При чем тут восток? Богородица с севера пошла на запад. Но немного ходила, словно западная часть ада была наименьшей. С запада Богородица вознеслась на небо, на восток, в рай, путешествие окончилось.

Неясность географического пространства ада, по-видимому, намеренна. В апокрифах обычно неотчетливы подходы к загробному миру и маршруты по загробному миру, расстояния преодолеваются во сне, или в видении, или в чудесном полете.

Богородица все путешествие передвигалась над адом, над его поверхностью, не касалась никого и ничего, что видела в аду. Высота ее полета, пожалуй, менялась. То она смотрела с огромной высоты, и скопид грешников виднелись, как мельчайшие горчичные семена. То она

как бы подлетала вплотную, и отдельный грешник виделся крупным планом, даже его зубы и ногти.

Ад многонаселен. Его пространство заполнено не только грешниками, но и ангелами. Ведь к каждому виду мучений, которым подвергают массы грешников, приставлено по присматривающему ангелу.

Главные стихии ада — тьма и огонь, главная часть адского ландшафта — огненные реки, текущие во тьме по адской «земле». Одна река — кроваво-красная. Другая река — смоляная, бурная, клокочущая, «яко въ котле», с большими огненными волнами, река очень глубокая: погружает грешников на глубину 1000 локтей. Есть в аду и огненное озеро. Всюду разбросаны также отдельные огненные очаги (174, 176).

Предметный мир ада пустоват, даже скуден. Апокриф однажды упоминает «одры» и «столы», то есть постели и противни, на которых лежат грешники, постели и противни тоже огненные, в огненном же облаке. Упомянуто еще древо железное, с железными ветвями и железной вершиной, оборудованной разными железными приспособлениями, на нем подвешены за языки грешники (170, 172).

Картина мучений не беспросветна. Адский огонь не уничтожающ. Души, в сущности, неуязвимы. Души не сгорали, иногда лишь язык скручивался от жара, но видимые тела всегда оставались целыми: «мучатся на векъ» (172). Железное дерево не плавилось от жара. Даже вблизи пламени полно драконов, змей и червей. К тому же Богородица выпросила ежегодную передышку душам от мучений и от огня. Был момент, когда из ада стали видны семь небес, свет заставил отступить адскую тьму, сын Божий сошел, явил свое лицо грешникам в аду (168, 180).

Такова основная триада древнейших на Руси произведений о загробном мире, своего рода эсхатологический спектакль.

«Слово о видении апостола Павла»

«Слово о видении апостола Павла», или короче — «Павлово видение», компилятивно объединило сюжеты и мотивы разных апокрифов, в том числе «Видения Исаии», но особенно «Хождения Богородицы по мукам».

В «Павловом видении» душа более сильно связана с телом, чем в других апокрифах. «Павлово видение» предусматривало медленность исхода души. Ангелы собирались вокруг умирающего человека, ждали, когда душа выйдет из тела (43). Из большого грешника даже вытрясали душу. Душе велели присмотреться к своему телу, чтобы вернуться именно в него, когда наступит Страшный суд, ангелы трижды повторяли: «Душе, познай свое тело, отнюду же изиде», «возри на свою плоть, познай жилище свое» и пр. (43, 45).

Душа, вышедшая из тела, сохраняла компактность, оформленность. Душу брали, целовали, несли, вели или влачили. Каждую душу возноси-

ли ангелы, праведную душу — благие ангелы, ее ангел-хранитель и ее «дух». Душу ставили пред Господом. После разбора душу уводили, праведника архангел Михаил нес в рай, незаконная душа предавалась ангелу Тимелиху, а также в руку Аратарию: «да заключать ю в темьници адъстей» (43, 44, 45, 46). Душа облекалась в одежды. Грешная душа «имуща ризы осквернены», другие грешные души — в подпоясанных портах (52, 53). От окаянной души исходил смрад. Ангелы жаловались: «Смрадъ ся изиде въ вся ны» (45). У души различалось множество элементов тела. Их в «Павловом видении» названо больше, чем в прочих эсхатологических апокрифах: упомянуты пуп, брови, волосы на голове, до них погружаются в огонь, упомянуты ноздри, из них выползают черви (49—51).

«Павлово видение» страшнее рисует мучения душ. Цельность тел уже не сохраняется. Четверенными крючьями изо рта тянут внутренности, раскаленной бритвой срезают уста и язык, отрубают руки, ослепляют очи, терзают огненным жезлом, протыкают рогами. Души мучаются голодом и жаждой (50—53).

Существовала еще краткая редакция «Павлова видения», в которой душа, пожалуй, еще более очеловечена. У души, оказывается, есть сердце: «духъ ту завидливъ влезе въ сердце». Душам приписаны и человеческие состояния: «смерть... вражда, мечь и рана». Души уныло молчат в краткой редакции, ничего не разъясняют, несут зримое изображение своих земных грехов, «дель своихъ образы» (130.1—2, 131.2).

«Павлово видение» так скомпилировало всевозможные мотивы, в том числе взаимоисключающие, что возникла новая картина ада. Апокриф указал два разных пути, ведущие в ад. Один путь упомянут в начале апокрифа: сойти вниз, в бездну (42). Тот путь уточнен краткой редакцией: «подъ твердь земную» (130.1). Второй путь изложен в середине пространного апокрифа: из рая лететь вниз, на запад, к основанию неба, там течет великая река — «Окионъ», обходящая вселенную, за океаном находится ад (49).

Ад описан с усилением традиционных деталей. В аду пугающая тьма кромешная, «тма и скорбь и туга». В аду червь неусыпающий, длиной в локоть, с двумя головами (46, 49, 54), Топография ада отличается от той, которая представлена «Хождением Богородицы по мукам». В «Павловом видении» огненная река, текущая по аду, превращается в огненную пропасть, глубина огненной реки триста локтей, а в нее погружено множество душ, «друга на друге», мечутся. Есть еще много пропастей, где черви пожирают людей. Есть в аду и узкий колодец, уходящий в бездну, в него еле просунуть человека, «камень горящее во всехъ частехъ его», он забит палимыми душами. Сверху огненный колодец запечатан семью печатями, чтобы не выходил невыносимый смрад (50, 51, 54).

Упомянута принципиально новая деталь ада: снег. Зима царит на дальнем западе ада: «Нестъ сде ничто же, нъ тъчью снегъ и гроза» (55),

пусть хоть семь солнц воссияют, все равно не согреться. Краткая редакция апокрифа упоминает еще град (130.2). По утверждению краткой редакции, каждый грешник в аду страдал и от одиночества: «кождо сетуя, долу поникъ, уединенъ отъ другъ», «отъ помощникъ уединень» (131.2).

В «Павловом видении» сбивчиво описан рай, вернее, три рая. Один рай — на седьмом небе. Это как бы некое помещение, видны алтарь Божий, занавес и престол, около которого курятся благовония. Христос сидит справа от Бога-отца. Павел видел, как Христос сошел с разверзшегося неба, на голове Христа была повязка (49, 56).

Второй рай находится ниже, на третьем небе. Это уже целая географическая область. Ведут в нее врата, перед вратами стоят два золотых столпа, на каждом столпе золотая скрижаль, заполненная письменами с именами праведников, возможно, и с изображениями их деяний. За вратами простирается чудесная земля, там обитает пророк Исаия. Через землю течет молочно-медовая река, на ее берегах посажены деревья, полные сладких плодов, растут финиковые деревья высотой в 30 локтей. Свет всемеро ярче серебра. Далее находится озеро Херусийское. Золотой корабль перевозит к золотому городу, который зовется град Христов и, очевидно, находится на острове.

Остров описан крайне путано, изложение можно истолковать следующим образом. Город окружают четыре реки. На западе от города течет медовая река Фисьня, там живут библейские пророки. На востоке течет винная река Фипр, она поворачивает с востока на север, и там обитают библейские Авраам, Исаак, Иаков. На севере течет елейная река Гиония, она поворачивает с севера на запад, и там поют праведники, ожидающие прохода в город. На юге течет молочная река Евфрат. О ней больше ничего не сообщается (48).

Сам город огражден 12 стенами, в каждой стене по тысяче столпов. Посреди города высокий алтарь, у престола стоит библейский Давид, в руках держит псалтырь и гусли, и поет на весь город, ожидая схождения Христа с седьмого неба (47—49).

Третий рай, который увидел Павел, — эдемский. Описание его следует в конце апокрифа. Как и в «Хождении Агапия», эдемский рай Павла напоминает сад, расположенный где-то на земле, но в «Павловом видении» эдем величественней. Из эдема вытекают реки, напояющие земные области: Фигон, Гион, Тигр и Ефрат. Они берут начало из-под древа, которое стоит в раю. На древе почивает дух Божий, когда он вздыхает, то воды вытекают. Далее стоит древо животное, его стерегут херувимы с пламенным оружием, к древу приходят сопровождаемые ангелами: дева Мария, затем отцы людские — Авраам, Исаак, Иаков, потом — библейский Моисей, за ним — пророки Исаия и Иеремия, после — Ной, последними — пророки Илья и Елисей. Эдем посещают только очень избранные.

Эсхатология «Павлова видения» детальна, но не складывается в систему картин, местами приближается к сказке.

Иные памятники XI—XIII вв.

Эсхатологические сведения кочевали по различным памятникам, и общая картина постоянно дополнялась подробностями.

Некоторые переводные жития вразной уточняли судьбы душ, этапы их загробного существования. Так, утверждалось, что за душами праведников снаряжается летучее посольство, «ангели текуще по облакомъ небесьнымъ» («Мучение Еразма», 219.1).

Душа праведника, достигшая небес, изменялась, она ослепительно белела: «яви же ся душа его седмицею белеиши снега», «явиша же ся душа ихъ белы, яко голубие» («Мучение Еразма», «Мучение Вита, Модеста, Крестяница», 220.2, 229.1).

Древнерусские авторы участвовали в эсхатологических обсуждениях. Кирилл Туровский, ученейший древнерусский проповедник XII в., говорил, что души грешников сначала собирают, но не в аду, а неизвестно где: «блюдомы суть, иже Богъ вестъ». Лишь во время второго пришествия Христова, когда души вернутся в свои тела, отправят их в ад на муку («Притча о человеческой душе и о теле» Кирилла Туровского, 308).

Замечания Кирилла Туровского помогают объяснить, почему так телесны мучения душ в аду: души вошли в тело. Отсюда можно предположить, какое время подразумевал апокриф о Богородице, посетившей ад: Богородица посетила ад при втором пришествии, во всяком случае апокриф заканчивался тем, что Христос вторично сошел к грешникам (180).

Некоторые поучения сообщали, насколько надежно отделены от мира ад и рай. Ад закрыт, его огромные медные ворота затворены, заклеплены железными гвоздями, у ворот стоят «сторожа адовыя» («Слово о восшествии Иоанна Предтечи в ад» Евсевия Александрийского, 367.2; апокриф о Енохе, краткая, древнейшая редакция по пергаменной рукописи XIV в., 21).

Рай же огражден стеной-«оплотом», но его ворота не затворены. Однако, хотя ворота не замкнуты, рай «неудобъ въходим» («Притча о человеческой душе и о теле» Кирилла Туровского, 294, 296).

Памятники детализировали то, как отвратительна внешность исконных обитателей ада. Бесы напоминают зловещих животных: «Суть же образом черни, крилаты, хвосты имуще»; «яко аспиды велики, лица ихъ. И очеса ихъ, яко свеща потухлы. И зуби имъ обнажены до перси ихъ» («Повесть временных лет», 192; апокриф о Енохе, краткая редакция, 23).

Чернота — главное свойство ада и бесов, они выглядят, как «мурины мрачные», души грешников тоже «чернятся», становятся похожи на демонов в аду, где и земля — темная, а смола — мутная («Слово о исходе

души от тела и о втором пришествии» Кирилла Александрийского, 109 об., 114).

Ряд поучений неожиданно показывал первоначальное состояние ада. Первоначально в аду находились библейские герои: Адам, Ева, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, все пророки, включая Иоанна Предтечу и пр. Все они связаны, даже закованы, кто стоит, кто лежит («Слово о погребении тела Иисуса Христа» Епифания Кипрского, 609—609 об., 612 об., 613 об.). Мучаются они, скорее, от тьмы, от духоты, от ощущения какой-то тяжести. Нет ни солнца, ни ветерка, Авраам «тяжко въздышать», Давид «часто стоня, въздышать» (краткая, древнейшая редакция «Слова на Лазарево воскресение», 12. 1—2).

Ад напоминает тюрьму со многими камерами или же разветвляющиеся пещеры: «жилища же и темницы, сокровища и пещеры» («Слово о погребении тела Иисуса Христа» Епифания Кипрского, 611 об., 613. «Сокровища» означали «укрытия»). Как и положено тюрьме, ад крепко заперт: «замки каменя... твердо запечатано» (краткая редакция «Слова на Лазарево воскресение», 11.1). Этот ад отличался относительной камерностью. Давид сидит на дне ада, но, вероятно, не так уж глубоко. До него доносится происходящее снаружи, на земле, например, звук пастушеских свирелей, топот коней. Об этом Давид объявляет: «Уже бо слышу: пастыри собирают у вертепа. А глас их проходить адова врата, а в мои уши приходитъ. А уже слышу топотъ ногъ перскихъ коней» (11.1, 12.1). Конечно, то не простые кони и пастухи, — волхвы несут дары родившемуся Христу. Богословски оправдано, что пророк услышал об этом событии. Но он слышит их и физически.

Переводы эсхатологических произведений, бытовавшие на Руси в древнейший период, свидетельствовали, что невозможно полностью описать загробную жизнь, ни рай, ни ад, ни судьбы душ: «Ум человеческ недоумееет сказати».

Чувство бесконечности эсхатологических открытий объясняется исторически. Молодое древнерусское общество энергично развивалось, земной мир казался распахнутым для деятельности, а загробный мир — для познания.

Реально эсхатология не влияла на жизнь. Эсхатологическими сочинениями интересовались преимущественно ученые монахи. Вопрос о судьбе душ затрагивался также тогда, когда велись дискуссии с иноверными. В прочих ситуациях эсхатологию не вспоминали.

«Книга о тайнах Еноховых»

В XIII—XIV вв. на Руси занялись переводами произведений, которые обстоятельней повествовали о загробном мире. Среди переведенных — «Книга о тайнах Еноховых», или пространная редакция апокрифа о библейском Енохе, который увидел 10 небес.

«Книга» предназначалась всем людям и народам. Распространять ее велел Бог Еноху: «Да раздадутъ книги рукописания твоего чада чадомъ, и родъ роду, языки языкомъ». То же завещал Енох своим сыновьям: «Раздайте книги чадамъ вашимъ, въ вся рода ваша и в языки», «книги, еже азъ дахъ вамъ, подавайте ихъ всемъ хотящимъ», человечество «рукописание мое да держитъ твердо въ родъ и родъ» (116, 125, 129, 136. Текст списка близок к древнему переводу).

Путешествовал по загробному миру Енох телесно, как Агапий и Павел. На небе к нему обращались: «Человече Божий...» И он характеризовал себя как человека, но не как отделившуюся душу, и путешествовал он в земных одеждах. Только на десятом небе Бог распорядился совлечь с Еноха «земных рызь его» (93, 105).

Все увиденное Енох видел реально, не во сне, но «яве» (90). В конце повествования Енох подтвердил слушателям: «Азъ видець лица Господня... Вы убо слышите словеса уст моих, яко азъ слышах глаголы Господни... очи мои видесте от зачала и до конца» (119).

На небесах Енох не встретил людей, то есть человеческих душ, видел только множество ангелов. Правда, он наблюдал и неких узников, — на втором, третьем и пятом небесах, но это, скорее, отпавшие ангелы. Небеса лишь приготовлены для человеческих душ. Без душ яснее видно устройство небес. Описание такого устройства — главная цель апокрифа.

Никто еще не допускался так высоко: до десятого неба и престола Бога. Возносили Еноха три вида «вожей». Сначала — ангелы на крыльях своих, потом — архангел Гавриил, а напоследок Михаил-архангел. С десятого неба Енох увидел все, все звезды и всю землю. Разглядел он и преисподний ад. Апокриф претендовал на полноту эсхатологической картины.

Более того, апокриф проводил инвентаризацию небес. Енох занимался систематизацией космоса: «Азъ измерыхъ и исписахъ звезды... Азъ же имена всехъ написахъ... Часы изочтохъ... Азъ изследовахъ вся» и т. д. (120). На каждом небе описан свой набор предметов. Так, перед первым небом — облака, «аерь». На первом небе — превеликое море, потом — хранилище снега, облаков и росы. На втором небе — тьма, предметы неразличимы. На третьем небе — рай. Посреди рая — древо жизни, из-под древа исходят четыре источника. На севере третьего неба — «место страшно», тьма и мгла, лед, мрачные огни, течет огненная река. На четвертом небе — солнце на колеснице, звезды. На востоке четвертого неба — шесть ворот, оттуда выезжает солнце. На западе четвертого неба — шесть ворот, в них солнце заходит. От запада к востоку — двенадцать ворот для луны. У последующих небес предметы не указаны, разве что престол Господа на десятом небе (91—99).

На каждом небе заняты свои сонмы существ. На первом небе летают ангелы, они ведают звездами и хранилищами облаков. На втором небе плачут ангелы «темнозрачны». На третьем небе поют светлые ан-

гелы. На четвертом небе — шестикрылые ангелы сопровождают солнце, с солнцем же несутся финизи и халкадры — гиганты с двенадцатью крыльями, со львиными ногами и крокодиловой головой. Над четвертым небом, не доходя до пятого, поют ангельские воины, с тимпанами и органами. На пятом небе находятся воины, похожие на людей, их зовут григорами, лица их унылы, они молчат. На шестом небе поют архангелы. На седьмом небе — полки бесплотных сил, господства, начала, власти, херувимы и серафимы и пр. Последующие небеса упомянуты без живых существ. На десятом небе — сам Господь, рядом архангелы Михаил и Гавриил. Херувимы и серафимы покрывают Божий престол (96—105).

Описание небес напоминало о музыкальном действе. Звуки сменяли друг друга. Сначала — торжественные речи. Далее — плач. Потом непрерывное пение и неумолкающие голоса. Вдруг — холодная тишина. Внезапно раздается разнообразное пение. Снова молчание. Жалобное и умиленное пение. Затем пение сладкое и мощное. Наконец, пение тихими и кроткими голосами.

Переводом «Книги» на Руси обозначился переход к большей упорядоченности эсхатологических описаний, без «тайн».

«Чтение святого Варуха»

Перевод апокрифа дошел в раннем списке конца XIII — начала XIV вв. Пророк Варух тоже посетил небеса. Как и в апокрифе о Енохе, Господь повелел, чтобы Варух всем поведал об увиденном (219).

Изложение подчеркнуто конкретно. Хотя Варух осмотрел лишь пять небес, зато он обязался точно изложить увиденное. Произведение насыщено якобы точными цифрами. Например, шли 7 дней, летели 32 дня, течет 343 реки, трудятся 200003 ангела и др. Упомянуты или даже приведены тексты надписей, встреченные Варухом на небесах, вроде надписи, помещенной на правом крыле птицы феникс, о том, что птица родилась от престола Божия (205, 206, 208, 210, 213).

Апокриф выразительно обрисовал исполинские небесные объемы. «Толстота» первого неба — в семидневный путь. Высота второго — в семидневный полет ангела. На втором небе легко помещаются великое поле, высокая гора, множество рек, море, а также гигантский змей, «утроба» которого в широту и глубину, как ад. По четвертому небу летит птица величиною от востока до запада, она закрывает мир от солнечного пламени, «се есть хранило всему миру». На пятое небо сносят «хранильницу», в которую собирают человеческие молитвы, глубина этой «хранильницы», как от неба до земли (206, 208—209, 212—213, 217).

Обитатели небес явственно земные в «Чтении Варуха». Апокриф сообщает, что на первом небе живут люди с воловьими лицами, оленьими рогами, — детали все-таки из земной анималистики. На втором небе тоже пребывают люди, у них лица псы, ноги олени, рога козы.

Они живут в превеликой «клетки», то есть в доме. Их повседневные занятия тоже земные, они рубят деревья, жгут камни и пр. На горе лежат змеи, пьют море, понижают его на один локоть в день, едят землю, «яко и сено», словно гигантская домашняя скотина. Апокриф перечисляет названия рек, текущих по второму небу, среди необычных и очень знакомые названия: Дунай, Евфрат (207—208). На третьем небе расположен эдем. Апокриф опять упоминает приземляющие детали, например, какие деревья посадили в эдеме архангелы: Михаил — маслину, Гавриил — яблоню, Саразаил — калину, Сатанаил — виноградную лозу и т. д. Сообщается, что во время потопа вода залила рай, вынесла на землю прут от лозы, как будто рай — это заливаемый сад (210—212). Земной облик получили обитатели даже четвертого неба. Апокриф объясняет, что солнце — это человек на колеснице, запряженной четырьмя конями. Венец у солнца пачкается, когда оно проходит над землей, приходится венец очищать. А месяц подобен женщине, сидящей на колеснице, мчимой волами. На четвертом небе есть горячая река, а на ней озеро, из озера облака берут воду, «одождяють по земли» (212, 215, 216).

Апокрифы о Енохе и Варухе — различны, даже противостоят друг другу, но эти переводы внесли новый на Руси уклон в эсхатологическое повествование, тяготея к предметной инвентаризации небес.

«Житие Андрея Юродивого»

«Житие Андрея Юродивого» содержало несколько разделов, посвященных эсхатологии. Основной из них — «О видении рая». В нем сглажена несогласованность, которая царила в предшествующих переводах. Все-таки кто возносился на небеса? Душа бестелесно или человек целиком? Статья «О видении рая» засвидетельствовала, что возносилось нечто среднее. Андрей, во сне видевший рай, смотрел на себя и сомневался, тело у него или нет, очи плотские у него или духовные. Тело у него вроде сохранилось, в портах, сапогах, но в облагороженном виде: порты молниями вытканы, сапоги светящиеся, венец. Но тело как будто бесплотное. По словам Андрея, «видехъ себе яко же бес плоти суще». Не чувствовалось тяжести в теле. Не хотелось пить и есть. Однако разверзающихся перед ним глубин это тело боялось. В темноте ничего не видело, оттого держало горящую свечу (100, 103, 104, 162).

Полуматериальными мыслились и души прочих людей. В разделе «О душах» отмечено, как выходит душа из тела: «яко же раздранъ платъ». Грешные души темнеют, «яко сажа бывають» (181).

Кругозор Андрея более ограничен, чем у Варуха. Он видел лишь эдем да еще первые три неба. Их общий вид обрисован расплывчато. Статья «О видении рая» дает понять, что эдем состоит из садов, реки, леса, а на каждом небе висят занавесы, стоят кресты.

Зато обилие деталей и частных характеристик необычайное. Андрей полон чувств обходил эдем, то «ширяся по пространу», то скача

высоко, то стоя молча «на многы часы» и пр. В эдеме водятся воробьи, щуры, соловьи. Сады стоят, «яко же станеть полкъ противу полку». Древета и сады колышутся от ветра, «яко же волны». Пространство под первым небом, «яко бездна морская». Третье небо простерто, как кожа, через него перекинута золотая доска и т. д. (101—105).

Все зорко рассмотрено и мелочно описано, все покрыто узором или расцвечено. Недаром памятник говорит про «узороchia» (103). Земля эдема испестрена цветами. Виноград — с золотыми листьями, рубиновыми гроздьями. Райское поле: «Все красно, и светло велми, и муравно, и цветно велми часто» (107). Птицы удивляют золотыми, снежно-белыми, пестрыми крыльями. Голубь, который сел на небесную занавесь, описан с головы до ног: «Глава же его беаше, яко злато. А перси багряне. Крила чермнозорна, яко пламень. Нозе его червлене. Изо очию же его, яко заря светлы, исхожаю» (106). Даже сам воздух — цветной. Дуновение с запада «яко же дымъ бело, яко же снежно видение». А с севера ветер «чермень видениемъ» (102).

В другом разделе «Жития» был изображен ад. Упомянуто только несколько адских темниц, приготовленных для грешников. Но зато какие детали! В смердящих темницах затворены мухи, лисицы, ослы, змеи, враны, псы и пр. Одна храмина — с человеческим калом. Висит темная доска с надписью: «Обитель вечная и мука нудная» (163).

«Житие» отказывалось описывать, чем кончается загробный мир, крайние пределы, жилище Бога, однако кратко пояснило: «Выше же надъ Богомъ есть воздухъ. Яко же илкторъ любо ли яко снегъ, бель, яко светъ. Да той входить на высоту некончаему» (186).

«Житие Андрея Юродивого» явилось венцом картинной, но сугубо книжной эсхатологии на Руси.

«Житие Василия Нового»

«Житие Василия Нового» выделяется своим подавляющим объемом, его эсхатологический материал огромен. Ученик святого Василия Григорий посетил во сне загробный мир, и не один раз.

В загробном мире очутилась душа Григория, не тело, в чем он сам убедился: «Искахъ рукою руку свою осязати, есть ли въ мне кость и плоть. Яко же пламень огнени, видя» (438. Первая русская редакция). В загробный мир попадали только души. Например, встретила в раю преподобная Феодора, она поведала об исходе своей души, о путешествии на небо. Когда она умерла, явились юноши-ангелы, один из них рассек ее тело, секирой отрубил конечности, исторг ногти, отсек голову, дал что-то пить из чаши, настолько горькое, что душа вышла наружу и посмотрела на свое умерщвленное тело (416). Затем душу понесли к небу. Григорий встретил в раю еще людей, тоже уже бесплотных. Люди «безвеществены, яко же солнечныа луча. Объяти плотней руце не могу-

ще», «бяху бо не яко человецы», «плоти не имуще», составлены как бы из солнечных лучей (433, 436).

В загробном мире все бесплотно. «Безвещественные» юноши черпают «безвещественную» жидкость, вода — «умнаа». Строения тоже «умныа», «духовными хитростями состроены». Бестелесно движение. Обитатели рая признаются: «Мы зде умомъ преходимъ». Григорий вспоминает об их поцелуях: «Духомъ умнымъ целовахуть мя» (431, 432, 433, 438).

При этом исключительно часто «Житие» описывает разнообразную внешность душ и прочих существ тоже. Так, по смерти Феодору окружили эфиопы, они «синие», темны лица их (415). Когда затем Феодора проходит 20 мытарств, то описывается, перед какими бесами она предстает. Ее встречает собор черных эфиопов. Ближе к небу бесы крупнеют, становятся толстыми и тучными. Еще выше — бесы, как киты. На девятнадцатом мытарстве — бес в ризе, гноем перемазана риза и забрызгана кровью. На двадцатом мытарстве бес хиреет, он «отнюд тонокъ, и зело иссохшь, и вельми грыжавъ» (419, 425—427, 429).

Юноши-ангелы обрисованы детальнее. Они, в частности, высоки, как кипарисы, у них волосы, как молния, ноги белы, как молоко, лица, как снег. Праведники в раю — в белоснежных ризах, «веселом лицемъ вси друг къ другу прелетающе». О внешности грешников «Житие» тоже сообщает. Грешные души в аду раздеты, «обнажены от всякиа одежда духовныа» (431, 434, 436).

Если «Житие Андрея Юродивого» инвентаризировало предметы, то «Житие Василия» давало перепись существ, а описания предметов делало еще мелочней: подмечало вдруг, что именно расставлено на райском столе, даже что лежит в миске (435).

Все-таки оба жития принципиально сходны. Общество XIII—XIV вв. стало хозяйственной, ценило доскональные эсхатологические описи.

Прочие памятники XIII—XIV вв.

Книжники не стремились унифицировать эсхатологическую систему, им не надоедали повторы, их не затрудняли разноречия. Общество собирало богатства, в том числе и эсхатологические.

Эсхатологические картины содержал «Завет Левгин», то есть «Завет Леввитов». Текст сохранился в списке XIV в. Библейский Леввит рассказал о посещении небес, их он осмотрел во сне, дошел лишь до третьего неба. Ничего нового апокриф не сообщал, варьировались только частности. Так, Леввит увидел воду, висящую между первым и вторым небесами, отметил, что высота третьего неба «немерна» (103).

В «Сильвестровском сборнике» XIV в. дошло «Откровение Авраама». Здесь произведение называется «Книгой откровения Авраама». Апокриф велик, эсхатологический рассказ составляет лишь его часть, тоже повествует о путешествии на небо.

Видения в «Откровении» захватывающе-страшные. Библейский Авраам вспоминает, как от страха он окаменел: «Ужасе духъ мой. Избеже душа моя от мене. И быхъ, яко камыкъ. И падохъ ниць на земли. Яко ни бяше уже ми крепости стояти на земли» (38).

Перед Авраамом явился страшный ангел: «Бяше видение тела его сапфиръ. И взор лица ему, яко хрисалить. И власы главы его, яко снегъ... И одение ризъ его багоръ. И жезлъ златъ в десници его». Ангел пытался смягчить страх Авраама: «Да не устрашить тебе възоръ мой. Ни беседа моя да не съмущаеъ душа твоя» (39—40).

Дорога Авраама на небо страшна и таинственна. Он шел сорок дней и ночей, не ел и не пил, пришел в горную страну: «И бысть солнцю заходящу. И се дымъ, яко пещныи» (41). Ангел посадил Авраама на гигантского голубя, на правое крыло. Сам ангел сел на левое крыло. Они полетели через пламя. Наконец, долетели до неба.

Авраама встретило множество мужчин, все они говорили на непонятном языке, как вспоминает Авраам: «Зъвуца глаголомъ словесъ, его же не ведяхъ». Авраам опять устрашился: «Не могу ныне зрети, уже зане раслабехъ и духъ мой отступаетъ из мене». И ангел снова уговаривал: «Не бойся» (42).

Последующие зрелища тоже были пугающими. Авраам увидел, например, огненный престол, под престолом четырех ужасных животных. Каждое — с четырьмя головами. Первая голова — львиная, вторая — человеческая, третья — воловья, четвертая — орлиная. У каждого животного по шесть крыльев. Передними крыльями они прикрывают головы, задними — «одевают» ноги, средними — летят. Головы не прочь ссориться друг с дружкой. Авраам увидел также страшную колесницу, у которой огненные колеса, а каждое колесо заполнено очами (43—44).

Прочие апокрифы тоже добавляли устрашающие детали. Например, рассказывали о херувимах, охраняющих эдем. Они до пупа — люди, грудь — львиная, голова — «иною тварью», руки — ледяные, а в руках — пламенное оружие («Слово о трех мнисех», 139.2. Список XIV в.).

В XIV в. в литературу вносилось страшного больше, чем раньше. Страшное не противоречило систематизаторскому накопительству, свойственному книжникам того времени. Общество исходило из принципа: в хозяйстве все пригодится.

Существовал еще один апокриф о вознесении Авраама на небо: «О явлении Аврааму Михаилом-архистратигом», или «Смерть Авраама». Авраам путешествовал телесно. Это подчеркнуто в апокрифе особой процедурой. Авраам попросил архангела Михаила: «Съ телом хотел быхъ възити», то есть вознестись телесно. Тогда Михаил взошел на небеса, известил Господа о желании Авраама. Господь разрешил Михаилу: «Поими Авраама с телом». Это исполнил Михаил: «Взя Авраама с телом на облацех» (83—84).

Весь апокриф процедурен, он описывает церемонию за церемонией. Так, Авраам видит, как сортируют души. Двое ворот, одни — маленькие, другие — большие, между ними на престоле сидит Адам, мимо него ангелы влекут души людей. Адам плачет и смеется. Плачет, когда души влекут в большие ворота, то есть в «пагубу». Смеется, когда души ведут в тесные ворота, этим душам предназначена жизнь. Плач Адама всемо сильнее его смеха — соответственно распределению душ.

Видит Авраам и церемонию суда. Около рая находится судное место. Очередная душа предстает перед судьей, вопит и молится, отрицает свои грехи. Судьей выступает Авель, он велит херувиму принести две книги. При книгах — мужчина в тройном венце, с золотым жезлом, это Енох, «книгочии правдивыи». Енох раскрывает книги по повелению судьи, ищет записанное и обличает грешную душу. Слуги гnevаются и хватают несчастную, мучают ее (85—86).

Видит Авраам самую первую эсхатологическую церемонию: Смерть является умирающему и выводит душу. Перед праведником Смерть появляется красивой, в венце, «с покорением» идет к праведнику. Он умирает, словно впадает в сон. Перед грешниками же Смерть является многоглавой, головы у нее змеиные и пр. (89—90). Смерть ведет душу на судное место.

Формировалась систематизированная эсхатология в XIII—XIV вв., с, так сказать, специализированными описаниями предметов, существ, эмоций, церемоний.

Остальные апокрифы содержали отдельные кусочки мозаики. Чаще всего они указывали цифровые подробности, отягощающие или пугающие. Например, в ад ведет 500 ступеней, высота дьявола — 600 локтей, «уста же его, яко пропасть глубока», его держат 617 ангелов («Воспрошанье святого апостола Варфоломея», 17, 22. Список XIV в.). На небо ведет 12-ступенчатая лестница, по бокам лестницы 24 человеческих лица, по лестнице восходят и нисходят ангелы («Лествица Иакова», 91). На небе лежат книги, толщина их равна 7 горам, длину их невозможно охватить разумом, книги запечатаны 7 печатями («Вопросы Иоанна Богослова Господу на горе Фаворской», 175).

Некоторые произведения превратились в счетный перечень и бытовали в таком виде. Таков отрывок «О памяти смертней и об исходе души» из «Жития Иоанна Милостивого», изложение состоит из перечня 20 мытарств (866—867).

Иногда числовые выкладки сопровождалась объяснениями, например, о важных посмертных днях. Отмечается третий день по смерти, «третины», потому что тогда воскрес Христос, воскресил Адама, Еву и всех праведников. Отмечается девятый день, «девятины»: тогда Христос явился ученикам. Отмечается двадцатый день, «полусорочины»: тогда явился Христос Луке и Клеопе. Отмечается сороковой день, «сорочины»: тогда Христос вознесся на небо. Ангелы держат грешную душу

сорок дней. Если в эти дни помянут душу, сотворят ей службу, поставят свечу, то ангелы поставят душу перед Богом. Если нет, то ожидает душу ад («Вопросы Иоанна Богослова Аврааму о праведных душах», 194—195; «Вопросы Иоанна Богослова Аврааму на горе Елеонской», 198—199).

Наборы числовых данных — это эсхатология вкратце. Тенденция к сжатой эсхатологии тоже проявилась, особенно в вопросо-ответных произведениях.

Появилось и русское эсхатологическое сочинение. Послание об эдеме написал новгородский архиепископ Василий Калика в 1347 г., адресовав его тверскому епископу Феодору Доброму. Послание — плод длительных систематизаторских усилий Василия, о чем он упомянул: «Пребых много дний о възыскании» сведений, «темь, еже изысках, и се пишу...» (42). Не загробный мир интересовал Василия, а земные доказательства существования эдема на востоке, географические предместья эдема. Эдем, по видимому, окружен высокими отвесными горами, с земли до неба, с них стекают четыре реки: Тигр, Нил, Фисон, Евфрат. Из Нила вылавливают алоэ, которые течение выносит из рая, как и яблоки и финиковые ветви (44). Есть, очевидно, другой проход к эдему, открытый новгородцами. Там на горе лазоревой краской нарисован Деисус. Солнца не видно, оттого что сияет свет ярче солнца. Из-за гор доносятся ликующие голоса. Гора, вероятно, не так непроходимо высока. Достаточно вскарабкаться по мачте новгородской лодки, «юмы», с нее можно перелезть на гору к раю (46, 48). Люди, увидевшие эдем, ничего не рассказывают, потому что стремительно убегают к эдему, исчезают, или же от полученного впечатления мгновенно умирают на земле. Значит, нечего рассказывать и автору. Фантазировать прагматичный Василий не хотел, но все-таки обрисовал эдем как образцово организованный заповедник.

В XI—XIV вв. на Руси сформировался основной фонд эсхатологических памятников, преимущественно переводов с греческого. Тогда ощущалось близкое дыхание византийской культуры, благодаря которой древнерусское общество прошло полный курс эсхатологии. Точнее, не все общество, а монашество, служители церкви.

Памятники XV — XVI вв.

С XV в. поток эсхатологии ослабел. Переписывались старые произведения, добавления делались лишь по мелочам, притом очень даже земным. Так, в конце XV в. составили апокриф «О всей твари», обозрение того, что сотворил Бог. Загробному миру уделено мало внимания. Автор, в частности, задавался пикантным вопросом: видел ли кто-нибудь ангелов нагими. Оказывается был такой случай: «Богородица нагимь естествомъ видеда Гавриила» (349).

Перевели немецкое «Двоесловие Живота и Смерти», то есть диалог Жизни и Смерти. Существовало несколько редакций этого перевода-переделки. Первая редакция — конца XV в., в ней вообще не упомина-

лась душа, ничего загробного не было, речь шла о земных делах. Смерть представляла фантастической, но материально-земной. Она — страшный зверь, ревет, как пантера, полна червей и змеев, идет с кривой косою, простирает человека по земле, попирает его ногою (141—142).

В 1520-х — 30-х годах появилась третья редакция повести, где говорилось о душе, покаянии и пр. Но земные мотивы усилились. Душа напоминала птичку, выпарживала из тела, как птица из силков, юноша сажал ее на свою руку, держал. Смерть шествовала с обозом оружия, с мечами, пилами, серпами, бритвами и пр. (146). Детали были заимствованы из «Жития Василия Нового» (25, 28), но в повести все происходило уже не на небе, а на земле.

В 1530-е — 40-е годы с польского перевели «Разговор магистра Поликарпа со Смертью», которая выглядела совсем как человек, нищий, больной, старый, разбойный. Поликарп около церкви встретил эту Смерть: «Узрел человека нагаго. Образом велми шкаредна. Худа. Бледа. Жолта лица. Лщисть, акы медница. Конець носа ей отпало. Изо очию пловет кровава роса. Тело ся на ней сморщило. Превязала главу рубищем. Крива уста. Мещет очима. Закалающе грозно, косу в руке имея. Выпала свои кости» (198).

Оземнение описаний усилилось в XV—XVI вв. Вершиной поздней эсхатологии стал «Луцидариус», переведенный с немецкого не позднее первой трети XVI в. Второе название сочинения — «Златой Бисер». То, действительно, был бисер разнообразных сведений, в основном о мироздании, в том числе о небе, рае, аде, душах. «Луцидариус», в отличие от предыдущих рыхлых эсхатологических произведений, являлся отшлифованным ученым трактатом. Учитель конспективно и логизированно отвечал на вопросы ученика. «Луцидариус» явил чудеса книжной систематизации, в ответах учителя было собрано все, известное по заданным темам, о чем в предисловии и было объявлено: «Иже бо во иныхъ книгахъ что обрящемъ сокровенно, въ сеи же книге положено откровенно... въ краткихъ словесехъ зело лепо объявися» (421).

Например, о преисподнем аде сказано много в немногих словах. Ад сверху узок, а ниже широк, глубина ада безмерна, даже души, первыми брошенные в ад, еще не достигли его дна. Геенский огонь гораздо жарче огня земного. Ад полон огненных драконов и червей, там летает диавол, из его уст исходит огонь и смрад. Там же течет студеная река, которую не может нагреть адский огонь, она смердит смолой и серой.

Кроме преисподнего, есть еще верхний ад, расположенный на земле, в вулканах, где горит сера и смола. Там тоже мучатся души, но не навечно, им предстоит спасение.

Есть также места, близкие к аду. Это Сицилия, в Сицилийской земле много скважин, из них бьет горящая сера, больше ничего в том крае нет. Ад — непосредственно под той землей.

Вход же в ад — «на конце земли». Живые люди туда не могут пойти, там мрак и тьма, всегда полно дыма и смрада (425—426, 441, 466).

Все лаконично, но впечатляюще расписано в «Луцидариусе». Так, сказано, что небо «есть подобно видома воде», непрерывно «течет оно велики», перемещается вместе с солнцем, луной, звездами. Небо состоит из трех небес. Первое небо — от земли до луны, в нем обитают лукавые духи, они «пакости деютъ» людям, тело духов составлено из воздуха. Второе небо — от луны до звезд, это «воздухъ велики огнень», здесь находятся ангелы. Третье небо — огненное, на нем — Бог с небесными силами (426—427).

Эсхатологические сведения в «Луцидариусе» максимально схематизированы, в том числе об эдеме. Эдем находится выше всего на земле, рядом с небом. Дойти до эдема невозможно: великие горы, лесные чащи, «мраки и мглы», врата эдема охраняет пламенное оружие. Внутри эдема исходит источник, он разделяется на четыре реки, которые текут в раю под землю и, лишь пройдя рай, «прошибутся на верхъ земли» (427, 429—430, 457).

«Луцидариус» перевели не для монашеской «братии», а для «любезного читателя». Так назван в предисловии потребитель сочинения. «Любезному читателю» нужно было что попроще. Эсхатология распределилась на старую, подробную, и новую, сжатую. Разноречивые сведения стали разводить по читателям: ученому монаху положено читать про десять небес, простецу достаточно знать о трех.

«Синодик»

«Синодик» — целая книга в основном о поминовении умерших — сформировался в XVII в., имел варианты в повествовательном составе. «Синодик» стал образцом новой эсхатологии, он содержал лишь краткие предметные рассказы, нечто вроде эсхатологических выжимок. Так, предметно объяснялся обычай поминовения, заметно иначе, нежели в апокрифах. Когда умер человек, два дня ожидаем, двое суток ангел водит душу умершего: «Ово къ дому. Ово ко гробу. И где хочеть». Душа, как птица без гнезда (Шляпкин, 120. Ср.: Петухов, 17, 361. Это «Повесть Макария Александрийского, чесо ради третины, и девятины, и сороковины правят по умерших»).

Третий день отмечаем по двойной причине. Что-то происходит с телом, на третий день «человек изменяется вида». Нечто происходит и с душой, которую возводят по мытарствам. Безгрешную душу на небесах встречают ангелы со свечами и фимиамом, целуют душу, препровождают ее к престолу Господню (Шляпкин, 116, 120; Петухов, 366—368).

Девятый день отмечаем вот почему. На девятый день «все растечется здание», то есть тело распадется. А душу водят по райским местам с третьего дня до девятого. Праведная душа радуется будущему

своему местопребыванию, а грешная душа горюет, потеряв рай. На девятый день душа поклоняется Господу вторично, а грешную душу ангелы встречают с плачем (Шляпкин, 120; Буслаев, 121).

Затем душе показывают ад. В двадцатый день душа снова восходит, в великом унынии предстает перед Господом, ее крепко держат ангелы. Оттого отмечаем мы двадцатый день (Петухов, 363).

Объяснения в «Синодиках» разнятся. Одни «Синодики» утверждают, что душу арестовывают, она уподобляется заключенному, душу стерегут ангелы на небесах, «на уреченнемъ месте», душа содержится «в дряхлости и в сетовании» с двадцатого до сорокового дня (Петухов, 363).

Но другие «Синодики» умалчивают о заключении, сообщая, что душу тридцать дней водят по аду, показывают муки, с десятого до сорокового дня. На сороковой день «сердце тогда погибаетъ», «умершего до основания все тело в составехъ разрушится», а душа предстает перед Богом, в третий или в четвертый раз, для суда. Вот почему мы отмечаем «сорокоустие» (Шляпкин, 117, 121; Петухов, 356).

Суд над грешной душой страшен, «гнев Божий приходит на душу ту», шестикрылые херувимы закрывают лицо Господне, душа предается немилостивым ангелам, грешную душу изгоняют пламенным оружием (Буслаев, 121).

Некрещеную душу не поминают. Ангелы берут ее на первое небо, оттуда отсылают в ад (Петухов, 172).

В «Синодике» нет грандиозных картин, изображения отдают бытом. Например, ад напоминает банное помещение с огненными муками и студеными муками. Студеные муки сильнее огненных: «Ежели вложить в студеные муки превеликую огненную гору, тотчасъ ледъ будетъ». В аду собралось гомонящее, как в бане или огромном зале, сборище: «Во адских мукахъ безпрестани крикъ превелии, шум презелный, плачь, слезы, стенание, воздыхание, болезни, яко раждающей, скрежетъ ужасный зубовъ... Грешники ревуть, кричат... Инии рыдаютъ». И т. д. (Петухов, 251—254). Скопище людей пребывает во тьме. Иногда туда проникает свет, тогда грешники могут видеть друг друга (Петухов, 175).

В «Синодике» преобладают сугубо локальные рассказы о судьбе отдельного человека. Вот умер алчный человек, бесы привели его к сатане, отвели грешника в огненную баню, положили на огненное ложе, дали ему выпить чашу гнева Божия, стали трубить в уши огненными трубами, пламя выходило из его ноздрей, наконец, ввергли грешника в огненный колодец (Петухов, 182).

Рассказы из «Синодика» распространялись и как самостоятельные повестушки с одной элементарной эсхатологической картиной. Например, ад — это озеро в тине, по существу, болото. Головы грешников то всплывают по шею, то погружаются. Сунешь туда руку — рука смердит («Повесть о грешной матери», 100.2).

Нередко рассказ сводился к описанию позы, вернее, скульптурной группы. Вот грешница сидит на страшном змее, два великие ужа душат ее шею, два ужа сосут ее груди, два нетопыря дерут ее очи, два великих пса грызут ее руки, на ее голове — ящерицы, сколько волос — столько ящериц, в уши воткнуты огненные стрелы, из уст исходит огонь (Пам. СРЛ, 105. 2. Ср.: Шляпкин, 126).

Лубочным примитивом «Синодика» завершилась средневековая эсхатология. Эсхатологическое учение началось с монахов. Эсхатологическая популяризация распространилась у мирян.

Прочие произведения XVII в.

Многие произведения ориентировались на «Синодик», на упрощенность и узость его картин. Это, в частности, духовные стихи, сочинения протопопа Аввакума, пьесы так называемого школьного театра.

Духовные стихи не описывали загробный мир, они ограничились мотивом встреч души на том свете.

Душа с телом расставалась, как птенец со гнездом.
Возлетает и приходит в незнаемый мир.

Встреченные ангелы допытываются у души:

Ты куды, душе, быстро течешь путем своим?
(Бессонов, 316).

В другом стихе душу встречают бесы, душа подымается по небесной лестнице:

На первую ступень ступила.
И вот встретили душу грешную
Полтораста врагов.
На другую ступень ступила.
Вот и двести врагов.
Вот на третью ступень ступила.
Вот две тысячи врагов возрадовались.
(Петухов, 301 — 302).

Аввакум сильнее всех опростил эсхатологические картины, особенно в своем «Житии» 1670-х годов. Рай виделся им как городок или комнатка. Душа попадает «во светлое место», минуя «многие красные жилища и полаты», входит в самую красивую палату. В палате стоят столы, на них постлано что-то «бело», должно быть, скатерти. На скатертях «блюда з брашнами стоять». В конце стола «древо кудряво повеваает», украшено разными красотами, словно выставлено в кадке (395). Это скромный рай для бедных людей. Даже ангелы выглядят скромно, без разлета крыльев, «бело у ушей-техъ их», вот и все крылья.

Школьные драмы тоже давали обедненные картины, показывали муки в аду, но не как широкое зрелище, а рассказывали лишь о внутренних переживаниях только одного грешника, который вопиял в геенском пламени:

Но коль люта алчба стужает!
Коль люте жажда язык распалает!

Кто ми поможет? Кто другом явится?
Кто з огня люта изъята потщится?
Кто ми даст в муках лютейших отраду?
Кто краплю воды языку в охладу?

(«Ужасная измена сластолюбиваго жития с прискорбным и нищетным», 80). Эти жалобы сценически очень удобны, но почти не эсхатологичны: такой лирический монолог мог декламировать болящий или несчастный, не обязательно находящийся в аду.

Эсхатология не просто упрощалась, но замещалась чем-то иным в разных жанрах словесного искусства. Замещение началось уже в первой четверти XVII в. Так, в 1623 г. князь И.А. Хворостинин сочинил пространное церковно-догматическое «Слово о царствии небесном». Только о небесах, о рае. При этом автор обошелся без конкретики, без предметных деталей, написал в основном о чувствах души, попавшей в рай. Души в раю ощущают: «вечную радость... вечное веселие... неизглаголанное ликование... непрестаемое ликование... ликование радостное... утешение... покой... наслаждение... нескончаемое ликование... светлое радование... чюдное веселие». В раю «слаткая надежда в радости неизглаголанной... богодарованное веселие, неведомая сладость... неусыпаемое веселие... и возсияет во сердцах веселие и сладость страха Божия... надежда незыблемая... непрестанная любов к Богу... отимется тогда ярость, сице же и желание плотское... но неусыпная бодрость... тамо превелия свобода» и т.п. (23—47). И. А. Хворостинин, обвиненный в еретичестве и сосланный в Кириллов монастырь, там написал указанное сочинение, чтобы оправдаться. Автор тщательно избегал упоминания апокрифических сведений, эсхатологию, в сущности, заменил риторикой.

Обмельчанию эсхатологии в XVII в. способствовали две особенности древнерусского общества. С одной стороны, верность православным канонам, все строже контролируемая. Тут не пофантазируешь. Эсхатологическую тематику на Руси не выпустили за пределы узко церковные. С другой стороны, любовь общества к земному миру, усиливавшаяся с течением времени и особенно в XVII в. Потусторонним миром интересовались все меньше. Эсхатология выбыла из новоприрастающей части литературы.

Исключение составляет «Пентатеугум». «Пентатеугум» резко выделялся свободой эсхатологических картин, открыто индивидуальным

подходом к эсхатологии. Его автор — Андрей Белобоцкий, польский шляхтич, поступивший на русскую службу, перешедший в православие, но неоднократно обвиненный в ереси. «Пентатеугум» составлен им в середине 1690-х годов «на русском диалекте». Это довольно большое стихотворное сочинение из пяти «книг», 166 «песен» о смерти, Страшном суде, рае, аде, а также о суете человеческой жизни.

Ад был изображен как дрянной городишко. К нему ведет перевоз через реку. Людей «хватают, садят в лодку Ахерона». Стоят «караулы при порогах» с приставами (52).

Отворяются городские крепостные ворота, «у ворот гостей встречают ведьмы». Внутри града скачут мегеры и химеры. Приставы ведут людей «в двор сатаны», люди подсматривают в щели забора, видят дома языческих богов (52—54, 57).

Во дворе и городе — «окна», своего рода люки на земле, ими покрыты «ямы», пещеры, пучины. Когда «окна» раскрывают, — скрипят ржавые крюки. В «ямах» развернута бурная деятельность. В «окно» выскакивают искры. «Гремит стрельба, пуле летят, шум, дым под небо самое». «Ломят молотами» (53—54, 56). Ад напоминает фабрику, завод. На подобную ассоциацию наводит сам автор:

таковой пламень воздает,
На заводах тако страшный железных огонь не бывает (54).

Оттого в аду много орудий, приспособлений, чаще железных: «Печи, и ледники, и крюки», «веревки, цепи, вериги, кнуты, пилы и топоры, ножи, мечи» и пр. (52—53).

Одновременно ад — это некое мясное производство. «Огня много зело, кругом горшков под котлами», «рожнов много, и сковород, бань, печей розженных, бритов острых, кипящих вод». Автор снова сам подсказывает ассоциацию: «Телеса с душами варят... Жир плывет, что з лавок мясных» (54, 56).

Людей заставляют обжираться, как в корчме или как на пирушке. Питье и закуски отвратительные:

В рот им лиют место вина кисель дехтяной довольно.

Порчь сподобие подливка на их преславней пирушке.
Чрево мышей им закуска, черви, пауки, легушки.

Дело кончается дракой:

Всяк суседу творит пакость, не могут на ся смотрити,
Рвут ся, дерут и кусают, ранами ся уязвляют.
Беси з угла поглядают, з драки ся их улыбают (55).

Рай же, напротив, это столичный город. Автор так и называет рай: «Что возведу о столицы победоносцов Христовых?» (61). В раю разъезжают кареты знати:

Столько солнцов с коретами с золотыми ту увидиши.
Сколько князей тысящами многими в небе сочтеша.
Столько дворян, полководцов... (60).

В городе «золотые площади, и дворы, переулки, и улицы, и гульбище» (59).

«Пентатеугум» написал горожанин и для горожан. «Пентатеугум» не предвосхитил литературу Нового времени, но уже отделился от средневековой русской литературы.

В течение XI—XVII вв. эсхатологические картины в древнерусской литературе явственно переменились. Эсхатология на Руси началась со внезапного расцвета. Однако ранняя ее, надо сказать, заимствованная, зрелость сменилась долговременным усыханием. Древнерусская литературная эсхатология пополнялась только переводами или переделками зарубежных произведений, оставаясь на Руси несколько чужеродной, экзотической темой. В широкое общественное обращение вошли лишь немногие примитивные сведения. Эсхатологические темы были постоянными, но третьестепенными, их значимость неуклонно уменьшалась в литературе. Подобный тип развития этой темы можно определить как затухающий, непродуктивный, интересный только своим начальным периодом. Не в коня оказался корм.

1994 г.

«ПОСЛАНИЕ О РАЕ» ВАСИЛИЯ КАЛИКИ

Тип писателя — делового человека XIV в. явил собой Василий Калика, новгородский архиепископ, автор «Послания о рае» 1347 г. О рае писали многие средневековые авторы¹. Нас интересует не столько систематизация общественных представлений о рае, сколько мировосприятие самого Василия Калики. Хотя послание невелико, но душевная настроенность его автора все-таки различима в главном: Василий Калика был настроен практически. Он обещал читателям рай на земле, и не в будущем, а в настоящем. Это, якобы действительно существующее, земное место Василий с терминологической тонкостью называл «святым раем», или «честным раем» — в отличие от «мыслительного» рая, который установится на земле лишь после второго пришествия как продолжение небесного рая.

Василий внушал читателям ощущение, будто реально возможно подступиться к земному раю. Делал это он, по крайней мере, четырьмя способами. Во-первых, архиепископ собрал воедино важнейшие ориентиры рая: «рай на востоце, въ едеме» (42); из рая вытекает четыре реки — Тигр, Нил, Фисон, Евфрат; у рая на высоких горах живут счастливые рахманы; а в двадцати «поприщах» от рая обитал святой Макарий. Тот, кто увидит эти приметы, знай: рай близко.

Во-вторых, свою выжимку сведений из книг Василий сопроводил напоминаниями — «все ведаемъ», «всемъ явлено есть (42, 44), ссылаясь якобы на общеизвестность пути к раю. Однако вряд ли этот путь был известен всем или отчетлив для избранных. Даже в наиболее подробном на данную тему апокрифическом «Хождении Агапия в рай» герой уснул, пока его везли к раю, и маршрут остался таинственно не увиденным. Василий же словно подбадривал желающих².

В-третьих, автор послания лишь мельком предупредил о том, что перед раем «место непроходимо есть человекомъ» (44), не настаивая на непроходимости и не отпугивая, а как бы допуская попытки «человеков» все-таки там «проходить»: место непроходимо, а меж тем «верху его рахмане живутъ» — как-то туда попали. Пробуйте!

¹ См., например: *Гуревич А. Я.* Западноевропейские видения потустороннего мира и «реализм» средних веков // Труды по знаковым системам. Тарту, 1977, т. 8, с. 3—27; *Аверинцев С. С.* Специфика образа рая в сирийской литературе // Проблемы исторической поэтики литератур Востока. М., 1988с. 138—151. Из старых работ см.: *Сахаров В.* Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. Тула. 1879, с. 192—246.

² Цитируемые произведения: «Новгородская первая летопись» — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950; «Послание о рае» Василия Калики тверскому епископу Феодору Доброму — ПЛДР, т. 4. / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова.

Наконец, в-четвертых, Василий поведал о людях, добравшихся до земного рая. Судя по словоупотреблению, автор имел в виду не святых, не знаменитых, не знатных и не заслуженных, а совсем простых людей: к раю попали «Моиславъ-новгородецъ» с сыном и «другами» (46). Счет этим ни чем не выдающимся людям шел по-простому, так сказать навалом: «А всех ихъ было три юмы» — три лады. Окружены они просто называемыми вещами: «щегла» — сходни, «ужици» — веревки (46, 48). Дела их обозначены довольно просторечно, со снижающими деталями: «рая находилъ», то есть на рай наткнулся, «много блудивъ», «долго носило и принесло», «въсплеснувъ руками», «нимала възвратися», «привязавъ ужици за ногу», «здернуша его ужищомъ», «побегоша въспять». Дети их тоже мыслились из простых: «А тех... мужей и нынеча дети и внучата добри-здорови» (48). Вряд ли Василий не смог преодолеть просторечия слышанной легенды. Он вел основное изложение «по-писаному» — «яко не мочи человеку исповедати» нечаянного приближения к раю. Но о самих приблизившихся написал без уважительности, вероятнее всего, из-за их незнатности.

Демократичность персонажей обнадеживала читателей в практической достижимости земного рая. Недаром Василий перечислил множество рядовых очевидцев райских чудес, в далеком и недалеком прошлом: ветвь, вынесенную из рая, видели не только апостолы, но «множество и неверныхъ жидовъ ветвь сю видеша» (46). Некий игумен Василий держал в руках три райских яблока. Антипод земного рая — ад тоже видели многие простые современники автора послания, о чем архиепископ не преминул напомнить: «Много детей моихъ, новгородцевъ, видоки тому на Дышучемъ мори» (44).

В общем, Василий передал ощущение практической доступности земного рая. Думается, такая позиция соответствовала его деятельной натуре. Ведь принцип обязательного перехода от слов к делу Василий даже особо сформулировал в послании — на идеальном примере Бога и ангелов: те «скоро свершаютъ, без износимых речей», «во мгновении ока землю прорыщутъ и небеса преходять», у них «слово и дело есть въскоре» (46).

Василий проявил себя в послании также и «организатором», толкуя не вообще о чудесах и красотах земного рая, но именно об его устройстве. Рай для него был сделанным и приготовленным. Через все послание тянулась цепочка повторов: «раю сотворшаго» — «светлость сътвореную» — «творень» — «рай созданный» — «уготованое царствие» — «места уготова» — «еже уготова» и пр. (42—48).

Рай Василию представлялся как идеально организованный заповедник. Рай стоит прочно «затворенный» (42), «врата едемская» охраняет херувим с пламенным оружием (44, 46), ограждают рай горы, «еже суть от земли и до небеси» (44), «твердь запята есть» (48). Заглянуть туда не разрешается — «не речено Богомъ видети человекомъ святаго рая» (44).

Как практик, Василий знал о неизбежности исключений из заведенного порядка, будь это даже рай. Райский заповедник виделся ар-

хиепископу не намертво замкнутым, но действующим, хотя и по таинственным, неведомым законам. В него допускались счастливыцы — строго по Божьему повелению. Кого-то впускали, выпускали и вновь допускали: «Внидете паки в рай» (44). Иногда, в силу непредвиденной случайности, единичные посторонние вдруг узревали рай, как те три новгородца, взобравшиеся на высокую гору.

Василий в своем послании упорядочил чудеса в предместьях рая, провел своего рода режиссуру. В реке, вытекающей из рая, вылавливают алоэ («силолои» — 44), из рая приносят то цветущие финиковые пальмы, то яблоки, «от них же исцеления многа быша» (44), — какими же чудесными растениями «насади» Бог рай: «Да некли твоих цветецъ насыщуся!» (42), — может надеяться вслед за Адамом каждый человек; Василий даже подыскал интригующее сравнение: в раю, «яко же бо въ цареве дворе, утеха и веселие» (44). Ближе к раю, на горе, сверкает картина — «написанъ деиисусъ лазоремъ чюднымъ и велми издивленъ, паче меры» (46) — какие же чудесные краски в самом раю. Совсем вблизи рая свет распространяется «самосияненъ», «многочасътный, светлуся паче солнца» (46) — какой же ослепительный и разнообразный свет полыхает в раю. Из рая доносятся «ликования многа» и «веселия гласы поюща» (46, 48) — какой же мощный хор радости встретит райского посетителя. Тот, кто даже на мгновение узрел земной рай, не сможет жить на остальной земле — вне рая для него, как темница: поэтому новгородец, увидевший, но не вбежавший в рай, мгновенно «обретеса мертвъ» (48) — от огорчения. Василий ухитрился создать яркое впечатление о рае, сам рай так и не описав, только за счет эффектной организации «кулис».

Будучи по духу организатором, Василий не мог отказаться от наброска «административной» схемы, куда входил земной рай. Архиепископ упомянул ответственных за рай — Бога и «службу аггельскую» (46), а далее пояснил, как устроена эта служба: служат 9 чинов, «1 чинъ — аггели, 2 чинъ — архаггели, 3 — начала, 4 — власти, 5 — силы, 6 — престолы, 7 — господьствие, 8 — херувими многоочитии, 9 — серафими шестокрилатии» (48); в их ведении «пречистая Богородица и множесътво святыхъ» (44).

Сводка сведений о рае была индивидуальным трудом архиепископа, в чем он признался: «пребых много дний о възскании» такого дела. Облик практика и организатора, реконструируемый по посланию, совпадает с летописными характеристиками Василия как необычайно энергичного, быстрого деятеля (см. «Новгородскую первую летопись», 345, 348, 349). Еще за несколько лет до появления «Послания о рае» летописец уже проникновенно воздавал должное энергии Василия: «А даи, Госпоже, ему зде много лет жити в семь веце, а въ ономъ, Госпоже, постави одесную себе, иже много трудися о церкви твоеи» («Новгородская первая летопись» под 1343 г., 357). «Много потрудися» Василий и о рае.

«СЛОВО О ВАВИЛОНЕ»

Первыми по новому мироощущению и вносившими новый пласт образов в древнерусскую литературу обычно оказывались небольшие произведения. Так произошло и со «Словом о Вавилоне», датируемым временем между 1393 и 1408 гг.¹ и основанным на древней, вероятно, занесенной из Византии легенде о покинутом граде, который охраняется огромным змием. Мы не знаем, кто был составителем древнерусской повести и один ли он был, но текст повести настолько однотипен стилистически и эстетически, что условно можно говорить об одном авторе произведения, склонном к любопытному способу изложения.

Повесть, подобно притче, начиналась сразу, без каких-либо разъяснений, и объявляла о приходе путешественников: «Ехали 3 недеде до Вавилона и придоша тамо». Далее можно было ожидать описания Вавилона — это обычный, часто повторяемый в памятниках, включая и «хождения», ход повествования: пояснение о том, куда пришли персонажи и что они увидели. Но автор «Слова о Вавилоне» продолжил иначе: «И придоша тамо и не видиша града» — полная противоположность ожидаемому. Выйти точно к месту расположения города, но не увидеть его — образно обозначало некое «среднее», промежуточное состояние Вавилона: его и нет, однако он и есть — град не исчез абсолютно, оставив пустое место, а оказался цел, но скрыт, «обросль бо бяше былием, яко ни видити полаты»². Автор повести создал образ не живого и не мертвого, а дремлющего, словно зачарованного града, таящего какую-то жизнь под «былием». Подобный таинственный образ не имел отношения к реальному состоянию географического Вавилона, не был распространен ни в фольклоре, ни в древнерусской литературе, где обычно подчеркивались зримая огромность Вавилона (как например, в «Александрии» хронографической второй редакции 178—179). Автор «Слова о Вавилоне»

¹ См.: Дробленкова Н. Ф. Сказание о Вавилоне // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989, вып. 2, ч. 2, с. 351—357; Она же. К вопросу о средневековом историзме («Обежанин» Сказания о Вавилоне граде) // Русские и грузинские средневековые литературы. Л., 1979, с. 121.

² Цитируемые произведения: «Александрия» — *Истрин В. М.* Александрия русских Хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Приложение; Библия — Библия. Острог, 1581. Указываются листы и столбцы издания; «Житие Андрея Юродивого» — ВМЧ, октябрь 1—3; «Житие Михаила Воина» — Житие Михаила Воина / Текст памятника подгот. И. И. Срезневский // Известия имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности. СПб., 1859, т. 8, вып. 3; «Слово о Вавилоне» — ПЛДР, т. 5 / Текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова; «Слово о трех мнисех» — *Тихонравов*, т. 2; «Стефанит и Ихнилат» — ПЛДР, т. 6 / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева; «Стефанит и Ихнилат», русские интерполяции — Стефанит и Ихнилат: Средневековая книга басен по русским рукописям XV—XVII веков / Текст Синодального списка подгот. О. П. Лихачева. Л., 1969.

был настроен как своего рода «сказочник» — не как прямой рассказчик сказок, но как книжник, который ищет скрытые, таинственные, зачаровывающие «знаменания» (слово, не раз употребленное в тексте повести).

Загадочной, напряженной атмосферой были окутаны все события в повести, от начала до конца. Автор далее описал путь всадников непосредственно к стенам Вавилона. Привычное в древнерусской литературе представление об окрестностях большого города, тем более такого, как Вавилон, было примерно следующим: к большому городу ведет большая же, торная и оживленная дорога, остается только погонять скачущих коней, направляя их туда, куда едут все, — к воротам города. Но путники в повести не увидели никакой дороги. В повествовании опять столкнулись противоположности — ожидаемая дорога и ее отсутствие, в результате чего образно обозначилось нечто «среднее» между крайностями: путники «нашли бо бяху путець, малаго звери хождение» — наткнулись в «былии» не то чтобы на дорогу, но и не на полное бездорожье, а на «путець», на тропу, не оживленную, но и не совсем пустынную, а на такую, по которой все же шныряют мелкие животные. Жизнь не замерла, а тлеет. Опять автор был настроен на видение таинственной жизни. Он даже добавил еще одну деталь: «Бяше бо в былии томъ елико трава, а две части гада», то есть трава была переполнена гадами (а не прямолинейно: «Ни древа есть, ни трава ростеть, развее гадъ и змиямъ свистающим» — «Слово о трех мнисех», 60), и эта скрытая жизнь приобрела зловещий оттенок.

Дальше в повести рассказывалось о том, как путники проникли в Вавилон. В окруженном стенами и давно запустевшем граде, казалось бы, никому не было дела до путешественников. Но автор развернул изложение снова вопреки традиционно ожидаемому: путников встретила заботливая и достаточно подробная надпись на заранее приготовленной кипарисовой лестнице — пояснение о проходе в город. Автор передал ощущение «полузаботы» о посетителях: хотя путникам и не пришлось в отчаянии гадать, как проникнуть в Вавилон, однако и надпись прочесть им было отнюдь не легко, так как написана она была в своем роде тайнописью и разными шрифтами, — первая ее часть — по-гречески, вторая часть — по-«обезскы» (по-грузински) и лишь третья часть — по-русски. Но все-таки таинственный некто позаботился о доступности надписи именно для данной экспедиции, в которую вошли как раз грек, грузин и «русинь». Подобный мотив — надпись, ясная или же начертанная «грамотами темными», — встречался в литературе, но не в атмосфере таинственности (ср. «Житие Андрея Юродивого», 150; «Слово о трех мнисех», 61).

Затем следовал такой эпизод: путешественники пробрались в Вавилон и первым делом «влезоша в церковь». В церкви, покинутой с незапамятных времен, вещи, если они сохранились, брошены в небрежении и в пыли, а жидкости, конечно, давно высохли — так ожидалось бы

по обычному ходу повествования, но автор повести рассказал совершенно противоположное: путешественники в церкви поклонились гробам трех библейских отроков — Анании, Азарии и Мисаила — и обнаружили, что аккуратно «стояше кубокъ на гробе Онаньине», кубок был как новенький, «златъ с каменiemъ драгымъ, с женчугом украшенным», как будто только что наполненный, «полнъ мура и ливанъ... с виномъ». Питье, годное к употреблению, путешественники попробовали (184). Можно гадать, каким автору повести представлялся этот напиток: наверное, не затвердевшим, но и не очень жидким, а несколько загустевшим — недаром это была смесь мирра, дивана и вина. В общем, тот напиток относился к крепкодействующим и таинственным: едва его пригубив, «мужи» стали «веселе», а потом погрузились в глубокий сон, по-видимому, не только на всю ночь, но и далеко за полдень («воставше от сна» почти что «въ 9-й час дни» — не в девятом часу утра, а в девятом часу после рассвета, то есть, примерно, к трем часам пополудни). Склонность автора к изображению необычной, интригующей, сказочной обстановки проявилась здесь ощутимо.

В этом же эпизоде добавилось еще одно «зднамение». Внутри давно не посещаемой никем церкви, вопреки ожидаемой мертвой тишине (ср. пророчество о Вавилоне в Апокалипсисе, гл. 18: «И глас гудецъ, и мусикии, и пискъ, и трубъ не имать слышатися к тому в тебе... и шумъ жерновныи не будет слышанъ в тебе... и глас жениха и невесты не имать слышанъ быти в тебе» — 69 об. 2), раздался глас, повелевший путникам, что делать и куда идти. Опять столкнулись противоположности, породившие «средний» образ ситуации: разнесшийся глас мыслился автором «средним» по громкости, не гремел под сводами церкви и не нашептывал, а шел «от гроба», из-под гробовой крышки, негромко, но очень отчетливо и настолько впечатляюще, что путники, как отмечено в повести, «ужасны быша велми» и от ужаса, очевидно, даже остолбенели. Оттого глас раздался вторично: «Не ужасайте, идите». Здесь, возможно, был использован традиционный литературный мотив (например, в «Слове о трех мнисех» к путникам обращались встреченные «небесные мужи»: «Не боитес ничто же» — 62), но в контексте гораздо более сильной загадочности. Пусть в этот образ примешались авторские припоминания о церковных чудесах с гласом свыше, но по-сказочному таинственную атмосферу автор повести нагнетал несомненно.

Последующие эпизоды повторяли ситуацию. Так, путешественники посетили дворец Навуходоносора — «внидоша в цареву полату» (184) — и вместо ожидаемого запустения и забвения столкнулись с явлением противоположным: «И видиша ту одръ стоящъ, и ту лежаше 2 венца царя Навуходоносора и царице его», аккуратнонейшим образом приготовленные, неизвестно откуда появившиеся и неведомо кем принесенные. Столкновение ожидаемого с неожиданным порождало некий «средний» образ:

вещи казались зыбкими, то фантазмагорически исчезающими, то появляющимися. На это их состояние указывала особая грамота, написанная по-грузински и приложенная к венцам: «Си венци сокровены бысть доселе, а ныни положена бысть», — по чьей-то воле драгоценности могли то пропадать из поля зрения, то материализовываться, делая обстановку дворца крайне загадочной, даже волшебной. Настроенность «сказочника» у автора не ослабла и даже усилилась в этом месте повести.

Далее путешественники вошли во вторую палату дворца, и фантазмагория с вещами повторилась, правда, в новой вариации. Во второй палате путешественники «видеша запоны и памфиры царския» и даже потрогали их руками, но старинные одежды неожиданно утратили материальность, и «иде же приша руками, и бысть все, акы прах» (184) — «сказочник» продолжал нагнетать удивляющие детали.

Последний эпизод пребывания путников в Вавилоне являлся, в сущности, повторением их начального вступления в Вавилон, но опять-таки с некоторыми дополнительными вариациями. Путешественники вернулись в церковь, снова поклонились гробам трех отроков и уже привычно ожидали повелевающего гласа. Но снова произошло противоположное ожидаемому: «И не бысть им глас» (184). Опять введен «средний» образ: тишина, но не спокойная, а пронизанная ожиданием пропавшего гласа и поэтому напряженная, пугающая, жуткая. Путники «начаша тужити». Автор искусно поддерживал таинственно-сказочную атмосферу в повести.

Друг героини «узревше кубокъ церковный с водою», которая была так свежа и бодряща, что они «умывше лица своя» и «испивше по 3 стекляннице» — по три стеклянных чаши (184). Неведомо, откуда это все возникло и отчего так посвежела вода сравнительно со старым густым напитком в другой кубке. Изображалось не просто заснувшее-умершее царство (по пророчеству Иеремии, гл. 51, о Вавилоне: «Да уснуть и спать сном вечном и не восстанут» — 118.2), а сказочный, волшебный, непредсказуемый и страшный Вавилон с его «зднамениями».

В общую атмосферу вписались животные, «зднамениями» не считавшиеся, — мелкие «гады», кишевшие внутри Вавилона, и сам змий, окруживший Вавилон. Путешественники проходили через палаты и видели, что «бяху бо полаты полны гада» (182). Знакомая картина: «Образ опустелого Вавилона, населенного одними змеями и гадами, станет общим местом средневековой повествовательной литературы»³. Однако вопреки ожидаемой открытой агрессивности, гады, как отмечено в повести, «не створиша им ничто же», то есть проявили себя «средне», — конечно, неприятными, потенциально опасными, но вместе с тем

³ Веселовский А. Н. Отрывки византийского эпоса в Русском. Повесть о Вавилонском царстве // Славянский сборник. СПб., 1876, отдел первый, с. 149.

какими-то сонными, вялыми, заторможенными, зачарованными существами, внесшими свой оттенок таинственности в давящую атмосферу Вавилона. (Это не прямолинейное отрицание опасности, как в одном из эпизодов «Александрии» хронографической: «Изидоша змиа многы, и плъзяще, изидоша на путь... не бо суть ядовити гади» — 33).

Главное животное — змий. Он не летает, не возвышается, не изрыгает пламени, не издаёт рева, как во многих других литературных памятниках, бытовавших на Руси, — житиях Василия Нового, Феодора Тирона, Георгия Победоносца, Михаила Воина, Авраамия (творение Ефрема), «Повести о Варлааме и Иоасафе» и др. Змий заменяет стену и лежит давно и неподвижно: к нему, как к стене, даже лестницы приставлены кипарисные, не гниющие, чтобы перелезть «без боязни» (182). Что же, он окаменел навечно? Оказывается, это образ тоже половинчатый, автором обозначено промежуточное состояние змия, который не жив и не мертв, а спит, и даже чутко — достаточно споткнуться на лестнице и упасть рядом со змием, как тот начинает пробуждаться. Один из спутников «запенься съ 15 степени, и полете долу, и убуди змея» (184. В «Александрии» хронографической есть сходный мотив: «запенься, спадеся съ степене» — 23; но он не связан ни со змием, ни с чем-либо таинственным). В «Слове о Вавилоне» змий так и не проснулся до конца. Но какова же будет его ужасная мощь, когда он пробудится: ведь его всего не охватить взглядом; «толстота змея того» — с восемнадцатиступенчатую лестницу (182); полусонный, он пошевелился — и «въсташа на змеи чешуя, акы волны морьскыя» (184); вполсилы свистнул — и попадало и ослепло множество людей и «от стадъ их изомроша яко до 3000», притом отстоявших далеко — на пятнадцать дней пути (186). В повести изображен змий оглушенный, но чудовищно опасный. Не похож этот змий на фольклорного Змея-Горыныча⁴. Авторское изображение и тут прикасалось к чему-то огромному, волшебнo-зачарованному, сдержанно-грозному.

И заключительный «вавилонский» эпизод повести был изложен в том же стиле. Люди, отстоявшие от змия в безопасных шестнадцати днях пути, решили, что трое смельчаков, посланных в Вавилон и находившихся около змия, стали «уже мертве» после змииного свиста (186). Но разве от змииного свиста умирают? (Ср. в «Александрии» хронографической: «сътворивъся змиемъ великымъ... и посвиста страшне, яко потрястися основаниемъ полатнымъ... Видевше змиа въскочиша ужасни» — 13. Испугались, но не умерли). В соответствии с образной авторской логикой, действительно, произошло нечто «среднее»: путешественники успели отойти от змия на полдня и поэтому лишь попадали без сознания,

⁴ О фольклорном змее см.: *Пропл В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946, с. 197—201, 226—228, 244—247, 261, 265; *Новиков Н. В.* Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974, с. 183—185.

«яко от сна», когда их настиг свист, а потом все-таки очнулись «и поидоша» (Ср. в «Житии Михаила Воина»: от зминого свиста персонаж «мало бездушествовъ, паки скоро вста» — 154). Наглядно показано, какое таинственное и исполненное угрозы оцепенение царило во всем Вавилоне, включая змия; оно распространялось и на окрестности, лишь понемногу и неохотно ослабевая по мере удаления от града.

Автор «Слова о Вавилоне» всюду оставался фантастом-«сказочником», взявшим эстафету у фольклора. Политико-публицистическое мышление у автора вовсе не преобладало и сводилось к неясным «развлекательным» припоминаниям⁵. Мир сказочно интересен, но опасен, — вот главное ощущение автора.

Во второй половине XV в. на Руси появилась переводная повесть «Стефанит и Ихнилат», содержащая множество прихотливых по сюжету притч о животных. Завязка каждой притчи обычно основывалась на правдоподобных реалиях из жизни животного мира и излагалась по одинаковому принципу: хорошее обязательно сопровождается плохим. Мир в повести был обрисован с чувством настороженности и опасливости. Рассказывалось, например, что у ворона было хорошее гнездо, но туда «на всяко время» заползала змея и съедала его птенцов (164); что журавль жил на обильном рыбами болоте, но не мог их ловить из-за старости (164); что различные звери населяли богатое поле, но пребывали в постоянном ужасе перед львом (166); что рыбы плавали в тихом, сообщавшемся с рекой озерке, но его вдруг перекрыли рыбаки (168) и т. д.

В «Стефаните и Ихнилате» отсутствовала устремленность к опасной таинственности. Повесть отговаривала от дерзаний: «Иже в малых пребывают, беспечально житье живут» (214). Большинство русских интерполяций XV в. к тексту этой переводной повести продолжили сумрачные предупреждения дерзающим: «Яко же убо птицам многоплотным възлетети на высоту не мощно, сице и сим, много пекущим и великаа и высокая желяющим» (9), «также же презоривый, великаа исполнив, от малого и ничто же могущаго многажды побеждается» (14) и мн. др. Повесть притчами, а русские редакторы назиданиями выразили сходное мироотношение, суть которого была сформулирована в «Азбуковнике» 1596 г. при ссылке на названную повесть: «А пишет в ней, как беречись лукавых чело-

⁵ Ср.: «Развлекательность была по преимуществу представлена фольклором» (Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 1, с. 69). Общие замечания о сказочной основе «Слова о Вавилоне» см.: Пыпин А. Н. Опыт литературной истории старинных повестей и сказок русских. СПб., 1857, с. 100—101; Он же. Старинная русская сказка о Вавилонском царстве // Известия имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности. СПб., 1854, т. 3, с. 319; Дробленкова Н. Ф. О жанровой природе «Слова» о Вавилоне // т. 24, с. 130—133; Шайкин А. А. К вопросу о жанре «Сказания о Вавилоне граде» // Русская литература. Алма-Ата, 1975, вып. 5, с. 89, 91, 93, 94.

век»⁶. «Беречись» — вот преобладающее философическое настроение повести «Стефанит и Ихниллат» и интерполяций к ней.

Автор «Слова о Вавилоне» и книжники, работавшие над «Стефанитом и Ихниллатом», обладали сходной личностной чертой — опасливым отношением к миру.

1993 г.

⁶ Лурье Я. С. «Стефанит и Ихниллат» в русской литературе XV в. // Стефанит и Ихниллат, с. 187.

«ЖИТИЕ АВРААМИЯ РОСТОВСКОГО»

Опасливость перед парадоксами мира не возобладала в умонастроении русских писателей XV в., а заместилась спокойно-созерцательным мироощущением, примером чего служит «Житие Авраамия Ростовского». Его первая редакция датируется неопределенно: по В. О. Ключевскому, то ли «не раньше XIV века», то ли «не раньше XV в.»¹. Автор неизвестен, повествование развивается по житийному канону: преподобный Авраамий был сыном благочестивых родителей, стал монахом, сверг языческого идола, основал монастырь, боролся с бесом, служил братии, добился процветания монастыря и в великом смирении отошел к Господу. Однако при всем том «Житие» необычно — почти все его персонажи изображены нетрадиционно, а общая картина фантазмагорична.

В начале произведения описан языческий идол с индивидуальными особенностями. У идола названо определенное место пребывания — «Чюдеский конец» Ростова, а также и личное имя — Велес (130—131)², в то время как в древнерусских памятниках обычно не указывались ни место, ни имя идола, если говорилось о нем одном. Уделено внимание редкостному «идолу камену», в то время как в древнерусских сочинениях XII—XIV вв. от «Повести временных лет» до «Жития Стефана Пермского» Епифания Премудрого упоминались, как правило, деревянные идолы. Лишь однажды мелькнул в «Александрии» каменный «кумиръ» (35), а в «Повести о Варлааме и Иоасафе» каменные «боги» (238). В «Житии Авраамия» нельзя «разорити сего многокозненного идола» из-за его твердокаменности, а в иных произведениях идолы оказывались легко уязвимыми. Вокруг идола пусто: «яко близ его никому же смеяти ходити путем тем» — тоже нечастая изобразительная деталь. Но

¹ Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник / Изд. подгот. А. И. Плигузов и В. Л. Янин. М., 1988, с. 30, 35.

² Цитируемые произведения: «Александрия» — Истрин В. М. Александрия русских Хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Приложения; Библия — Библия. Острог, 1581. Указываются листы и столбцы издания; «Житие Авраамия Ростовского», Румянцевский список — Древнерусские предания: (XI—XVI вв.) / Текст памятника подгот. В. В. Кусков. М., 1982, «Житие Авраамия Ростовского», Четьиминейный список — ВМЧ, октябрь 19—31; «Житие Андрея Юродивого» — ВМЧ, октябрь 1—3; «Житие Василия Нового» — Вилинский С. Г. Житие Василия Нового в русской литературе. Одесса. 1913, ч. 2; «Житие Иоанна Богослова» — ВМЧ, сентябрь 25—30; «Житие Феодора Студита» — Выголексинский сборник / Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Голышенко. М., 1977; «иконописные подлинники» — Порфирий (Успенский). Сказания о внешнем виде святых мужей и жен и о возрасте их // Труды Киевской духовной академии, 1867, т. 1; «Повесть о Варлааме и Иоасафе» — Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI—XII вв. / Изд. подгот. И. Н. Лебедева. Л., 1985.

самое главное — у этого идола все время меняется внешность, потому что он из себя «творяще страшилища злым омрачением» и в конце концов исчезает, обратившись «в прах». Автор «Жития» изобразил, по его же словам, «мечты» то есть фантазмагоричного идола.

Второй описываемый в «Житии» персонаж — Иоанн Богослов, тоже необычный и тоже фантазмагоричный. Изображение его внешности не соотносится с «Житием Иоанна Богослова», а восходит к разным источникам: мы видим «человека страшна... плешива, възлыса... имуща в руце трость» (131) — детали взяты из «Жития Феодора Студита» («главою же плешивъ, възлысъ... ини идяху жъзлы въ рукахъ държашче... видение страшно» — 373—374), но кроме того Иоанн Богослов обладает «брадою круглою великою» — эта деталь уже из каких-то иных источников (ср. «иконописные подлинники», которые отмечают «браду круглу» у Иоанна Богослова — 13, 15 и мн. др.). В результате, описание объединило два противоположных мотива — «человека страшна» и человека «красна суца зело» (131). Сочетанием мотивов страха и красоты обычно подчеркивалась уникальность облика какого-либо места или лица; ср. «Житие Андрея Юродивого»: «Красота ужасаеть ми сердце» (101); «Житие Василия Нового»: «от страха страшнаго видения оно-го... такую бо красотою и лепотою» (479), «велику страшну красоту» (513), «видении страшными, зело чудными по красоте» (584). Иоанн Богослов в «Житии Авраамия Ростовского» тоже явил эти признаки уникальности.

Автор «Жития» ограничился описанием только внешности Иоанна, в то время как в памятниках внешность героев описывалась вперемешку с перечислением их душевных качеств, неотрывно от них. Но странная, невиданная, своеобразная, страшная или прекрасная внешность, действительно, изображалась отдельно (см., например, «Житие Христофора» в «Успенском сборнике», «Житие Макария Римского» по списку XIV в., статью о Кирилле Ростовском в «Суздальской летописи» под 1229 г.). Автор «Жития Авраамия Ростовского» самим описанием внешности подчеркнул уникальность Иоанна. Недаром в тексте «Жития» Иоанн предупредил Авраамия о своей особости: «Пришлецъ есмь земли вашей странный» (131). Но Иоанн и фантазмагоричен, потому что появившись в облике то одного, то другого старца «благоговейна образом», он затем «абие невидим бьсть».

Следующим, третьим по ходу изложения «Жития», был изображен сам Авраамий, тоже фантазмагоричный. На него, как признает автор, «странно очима зрети» (134). Авраамий то сидит в монашеском одеянии, то стоит «в единой власяници и не обуен в сандалиа» (133), то «на пезе осятици всажен... без седалища и в сандалиа женьскыа червълена обуен» (133, 134) — совершенно необыкновенный наряд «преподобного отца» (в использованной «Житием» «Повести о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим» упомянуты женские сан-

дали, но вовсе не предназначенные для обувания монаха, а об ослице и речи нет).

Наиболее фантазмагоричен в «Житии» бес, который появлялся в четырех облициях. Сначала он «жгом в сосуде, не могый изыти» (132). Сам мотив сосуда-тюрьмы беса был достаточно известен («Житие Николая Мирликийского», «Повесть об авве Лонгине», «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим»), но сосуд обычно не описывался, а лишь глухо упоминался. В «Житии Авраамия Ростовского» же сосуд получил индивидуальные черты — это «умывальница», «съсуд крестом накрыт» (132), говорилось о потертом «убозем съсуде» (134).

Затем бес «изыде из сосуда, акы дым, черн и злосраден» (133) — мотив тоже очень распространенный³. Необычно только указание черноты дыма — снова индивидуальная изобразительная деталь. Далее, «не по мнозе же времени преобразися бес в образ воина» (133) — на этот раз мотив взят, скорее всего, из «Жития Иоанна Богослова», где бес «примъ образъ воина» (1598). Но в «Житии Авраамия» воин снова описан колоритнее: мы видим «воина люта зело», этот «злый сверепый вѣин» приходит к Авраамию, «не глагола к нему не единого слова» и «не дадаше ни глаголати к себе преподобному», а сразу хватает его (133). Наконец, от заклинания Авраамия бес ослабевал — «нача трепетати» (ср. сходный мотив в «Житии Иоанна Богослова», 1602), называл свое странное имя: «Аз есмь бес Зефеус» (134. Так в Румянцевском списке. В Четьиминейном же списке: «Азь есмь бесъ Зефеогъ», 2030) — «и абие невидим бысть» (134). Бес тоже действовал «мечты своими» (132), фантазмагорично.

Фантазмагоричности общей картины событий способствовало изображение и второстепенных объектов в «Житии», например, клада: «в граде Ростове мних некий Авраам... налезе влагалище велие в земли» (133). Клад — вообще тема редкая в литературе (напомним лишь притчу в Евангелии от Матфея: «съкровищу съкровену на селе, еже обрет челоуекъ» — 8.2), ростовский же клад ошеломителен: «медян съсуд польн... имь же бо съсудом златым, и поясом златым, и чепем не мощно цене предати, серебру же и иным неким драгым не мощно поведати». Однако клада не существовало в действительности — это только слух, который распространил бес, но быстро удалось опровергнуть «прелесть диаволю» (134).

Фантазмагоричность большинства действующих лиц и предметов в «Житии Авраамия», возможно, служила занимательности произведения, хотя демонстративного стремления к тому у автора не заметно. Все же показательно, что он без осуждения, как о должном сообщил про постоянную занятость ростовских князей мирскими забавами: «Бысть

³ Дурново Н. Н. Легенды о заключенном бесе в византийской и старинной русской литературе. М., 1905, с. 8—9.

же обычай князем на поле ездити, лов деюще по вся дни» (132), а Авраамия освободил от затруднительной паломнической «долготы путной» в Царьград (131). Авторскую увлеченность отнюдь не тяжкими и не роковыми, а несколько калейдоскопичными жизненными перипетиями героя предположительно можно связать с облегчающей общественной атмосферой, понемногу установившейся на Руси с начала XV в. Художественное творчество русских писателей XV в. все больше уклонялось в сторону свободного опробования развлекательных средств, приемов, мотивов, образов.

1993 г.

«ПОВЕСТЬ ОБ УРУСЛАНЕ»

В «Повести об Уруслане Залазаревиче» — не в краткой редакции, а в гораздо более полной, так называемой Восточной редакции, дошедшей до нас в сборнике 1640-х годов — сложение деталей в многообразное художественное целое преобладало как способ создания гиперболических картин. Образ богатыря Уруслана родился из многократного повторения деталей. Уруслан силы своей не знает. В повести трижды говорилось: «выдет на улицу и ково возмет за руку, и у тово руку вырвет, а ково возмет за ногу, тому ногу выломит» (100—101)¹. Уруслан весом могуч. Дважды подчеркивалось: «ино никаков кон поднять ег не может» (102). Уруслан ростом велик: «ухватил жеребца за шею да ударил по бедрам, и жеребец пал на окарачки... а жеребец величеством мало не с полатою равен» (104). Уруслан спит так крепко, что добудиться его можно, только поколов ножом «в стегно». Уруслан громогласен. Трижды повторено: «и свиснул богатырским голосом и сколко рати побил, здвое тово от голоса с коней, попадаючи, померло» (106). Напряженные или резкие движения Уруслана нарушают равновесие, вызывают потрясения в окружающей среде: «И учнет Уруслан тянути лук, как орда закочаетца, а стрелит, ино как ис тучи сильной гром грянет» (102); «и Уруслан ударил одного по уху, да у двунатцети сторожей голов позбил» (113).

Уруслан совершенно непереносим в обычном человеческом быту. Недаром царь той страны, где вырос Уруслан, да и собственный отец Уруслана высылают богатыря, и он живет в одиночестве в огромной каменной палате у пустынного моря. Там он гуляет по лукоморью, по полям, изредка наезжая на чужие рати. Уруслан не «помещается» в пространственных пределах обыденного мира. Его место в необычном, сказочном, красочном «чистом поле», где стоят прелестные шатры («тут шатер стоит в чистом поле, а на шатре маковица красног золота аравитцкого, а у шатра ходит конь встроножен» — 107—108), скачут украшенные кони («кон под ним сив, тегиляй зелен», «сивой кон, алые тебенки», «кон под ним бур, кутас зелен», «жеребец кар», «кон под ним сив, кутас на нем червчат» и пр. — 103, 104, 106, 109), встречаются невиданные существа («и Уруслан ухватил девку, а девка учала изметоватися всякими зверми, и всякою птицею, и всякою гадиною» — 114).

«Повесть об Уруслане» можно назвать своеобразной энциклопедией предметных представлений о богатырях и мире их пребывания. Кста-ти говоря, в более ранней богатырской «Повести о Бове» такой пред-

¹ Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1859, ч. 2.

метной густоты изображения еще не было. Действие вилось прихотливо, и только. Обществу 1630-х — 1640-х годов хотелось какого-то мира, параллельного реальному, но не скучного, молодецкого и не страшного. В дело шло все, в том числе редкие для Руси того времени восточные мотивы. Однако беззаботность в литературе не протянула долго.

1989 г.

ПЕРЕВОДНЫЕ И САТИРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ XVII В.

Переводные, в том числе и вольно пересказанные по зарубежным источникам повести XVII в. отличались необычным для предшествующей русской литературы рационалистически приземленным, а затем и наглою саркастичным изображением мира.

Так, «Повесть о разуме человеческом», дошедшая в списке 1620-х — 1640-х годов, содержала две притчи. В первой притче говорилось об удивительном убийстве оленя, который был поражен одной стрелой, сделавшей как бы полукруг — «в правое ухо, и вон — в левое ухо, да в заднюю в левую ногу, в копыто» (484)¹. Царь, которому поведали о странном случае, не мог терпеть ничего таинственного и стал так «кручинница», что собрался казнить очевидца за ложь. Интригующий факт тут же разъяснили царю: «олень, стоячи в болоте, отбивает левою ногою от левого уха мухи и мошки» (485) — вот почему удалось прострелить сразу оба уха и заднее копыто. Царь испытал облегчение: «Станетца-де так!» Все стало на свои места без всякой загадочности — в этом суть рассказа.

Во второй притче ошарашивающее наблюдение тоже получило приземленное истолкование: «сидят... две совы, друшка к друшке носами, кабы что говорят» (486) — оказывается, «женит-де сова у совы сына» и торгуются они о приданом, «птицы розсуждают». Древнерусский книжник, имевший дело с данными сюжетами, превыше всего ценил обыденный человеческий разум и заканчивал повесть похвалой ему: «Видишь, разумъ каков человеческой. Разумной человекъ не одну душу свою спасть, но и люцкия многия».

О появлении у древнерусских книжников приземленно-рационалистического отношения к природе свидетельствовал и перевод «Повести о Брунцвике», ранние списки которой относятся к третьей четверти XVII в. Фантастический животный мир был демонстративно обытовлен в повести: диковинное существо — «женскую главу и руце, а ино все

¹ Цитируемые произведения: «Повесть о Брунцвике» — ПЛДР, т. 10 / Текст памятника подгот. А. М. Панченко; «Повесть о Ерше Ершовиче» — ПЛДР, т. 11 / Текст памятника подгот. А. М. Панченко; «Повесть о разуме человеческом» — ПЛДР, т. 10 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; «Роспись о приданом» — ПЛДР, т. 11 / Текст памятника подгот. Н. В. Понырко; «Сказание о Куре и Лисице» — ПЛДР, т. 11 / Текст памятника подгот. Н. В. Понырко; «Сказание о молодце и девице» — ПЛДР, т. 11 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Сказание о роскошном житии и веселии» — ПЛДР, т. 11 / Текст памятника подгот. А. М. Панченко; «Сказка о некоем молодце, коне и сабле» — ПЛДР, т. 11 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев; «Слово о мужах ревнивых» — РДС.

рыба, а нарицается Еуропа» (376) — деловитый Брунцвик приспособил для себя «потешение имети» как наложницу; гигантскую птицу Ног использовал для дальнего перелета; ее гигантских птенцов употребил в пищу, «и начат ему повеселее быти, поне же укрепися от глада» (377); встреченный Брунцвиком лев превратился в его лекаря, кормильца, повара, грузчика, наперстника, телохранителя и пр.; девица по имени Африка с двумя хоботами вместо ног «учини ему водку» (384) и, разумеется, стала очередной женой Брунцвика; прочим полулюдям-полужверям тоже было найдено будничное занятие — «королю от них служба» (380). Фантастические животные воспринимались в повести как громоздкая утварь или мебель: у девятиглавого змея «изо всякой главе огонь, яко ис печи, выходит» (378). Дракон-василиск толст, как бочка или «яко великая кафа винная», а окружающие его ящеры «толсти, яко бревно» (383). Остальных фантастических зверей (взятых из «Александрии», «Сказания об Индийском царстве» и «Луцидариуса») рачительный лев, «разбегшися прытко», разорвал надвое за ненадобностью (381) и выбросил, как мусор, за окно — стал «метати яко окнами» (383). Вслед за автором русский переводчик или редактор повести свел колоссальное и страшное к мелкобудничному; в его переводе даже потоки крови обмелели в ручей (из убитого дракона-василиска «потекоша потоки кровави, яко ручей» — 384). Сходную и даже бóльшую приземленность в изображении животного мира проявили и другие переводные повести XVII в. — о царице и львице, о древе и попугае, о португальском посольстве и пр.

Открыто саркастичным было изображение природы и животных в «Сказании о роскошном житии и веселии» по списку конца XVII — начала XVIII в.² Утверждение о том, что в «Сказании» изображен только «антимир», не совсем точно. Под «антимиром» сатирических произведений Д. С. Лихачев подразумевает, во-первых, внешний литературный прием перевертывания и оттого говорит об изнаночном, кромешном и опричном — от слов «кроме» и «опричь», — дублирующем, раздваивающем, снижающем, марионеточном, «петрушечном», балаганном, вывернутом, спутанном мире³. В «Сказании о роскошном житии и веселии», действительно, использован прием «антимира». Во-вторых, Д.С. Лихачев отмечает: «Позади изнаночного мира всегда находится некий идеал, пусть даже самый пустяшный», «антимир противопоставлен не просто обычному миру, а идеальному миру»⁴. Если полагать, что в «Сказании»

² О нерусских прототипах «Сказания» см.: Панченко А. М. Русская культура в канун Петровских реформ. Л., 1984, с. 137—143. Там же библиография вопроса. См. также: Былинин В. К., Грихин В. А. Комментарий // Сатира XI—XVII веков. М., 1987, с. 459.

³ Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 2, с. 343—417.

⁴ Там же, с. 358, 360.

изображен только «антимир», то авторские идеалы в повести предстают плоскими и неинтересными.

Обратим внимание на высказывания Д. С. Лихачева о еще каком-то ином, непривычном «антимире»: «Своеобразие древнерусской сатиры состоит в том, что создаваемый ею „антимир“, изнаночный мир неожиданно оказывается близко напоминающим реальный мир... Сатира в древнерусской литературе — это... сближение действительности с смеховым изнаночным миром»⁵. В сатирических повестях изображался не один мир, противостоящий реальному, а два мира: «антимир», расположенный где-то внизу, под реальным миром, и разрушающий нормальные связи вещей, и одновременно — мир, «соседний» с реальным, странный сосед на земной поверхности как продолжение нашего реального мира в виде сгущения его отрицательных черт. В «Сказании о роскошном житии и веселии» был изображен именно такой продолженный «соседний» мир: дворянину пожаловано поместье, видимо, за границей — «не в коемъ государстве» (189), но отнюдь не в дальнем заморском краю, а в крае, соседнем с нашим, и поэтому с «заморскими товары» сюда тоже приплывают корабли (190), а «прямая дорога» в это государство из нашего — скорее сухопутная, обозом (192), из нашего мира сюда может прибыть каждый — «сам увидит и услышит» (191). Странная неопределенность расположения упомянутого поместья — «межь рекъ и моря, подле горъ и поля» (189) — это продолжение и гиперболизация распространенного недостатка нашего мира, нечеткой обозначенности границ земельных владений, отчего возникало множество недоразумений.

Животный мир тамошнего «государства» до крайности приземлен и обытовлен в повести. Все фантастические, экзотические, редкостные и ценные животные издевательски низведены до рядовой дворовой живности: сирины, попугаи и струфокамылы (страусы), подобно воробьям, надоедливой стаей «прилетаютъ на дворъ и в дома, и в окна, и в двери приходять», и человек их «прочъ отгоняетъ» (189); белуги, осетры, семга, белорыбица, севрюги, стерляди, сельди, щуки, окуни и караси, подобно бычкам или мелкой рыбешке на мелководье, «под дворы великими стадами подходятъ» (190); по домам вместе с конями, курами и овцами, подобно домашней скотине, теснятся лисицы, куницы, буйволы, олени, лоси, соболи, бобры, зайцы и песцы. Привычные же птицы представлены только в жареном виде: «испоставлено преукрашенных столовъ множество... А на них... гуси жареные и журавли, лебеди и чяпли, и индейския куры, курята и утята, кокоши и чирята, кулики и тетеревы, воробьи и цыплята». Место крупных животных, на стаи которых охотятся с серьезным оружием, издевательски же заняли мухи: снаряжены «ослопы и дубины, пальки, жерди и колы, дреколие, роженье, оглобли и каменя, броски и уломки, сабли, и мечи, и хозы, луки, сайдаки и стрелы,

⁵ Там же, с. 396, 397.

бердыши, пищали и пистолеты, самопалы... — было бы чем, едучи, от мухъ пообмахнутися» (191—192. Если под мухами подразумевались действительно мухи, а не разбойники). В мире «Сказания» все старательно испоганено, драгоценные камни рассыпаны без присмотра, дорогие питья и напитки разлиты по земле и образуют пруды и болота: «пей-пей да и на голову лей, коня своего мой и сам купайся» (191), приправы навалено по дорогам «что сорю» — «лопатами мечють», одежды «накладены до кровель», ювелирных изделий «без ларцовъ валяетца много» и пр. В сущности, изображен богатый край, покинутый как бы после внезапного, беспорядочного разбойного погрома: недаром «тамошняя музыка за сто миль слышать» — как же оглушительна она поблизости; ведет туда разгульная, пьяная, качающаяся дорога — от Кракова до Варшавы, оттуда на Ригу, а оттуда на Киев, и на Стокгольм, и в Крым; въезд туда опасен — можно нарваться на пошлину «с шапки по человеку и со всево обозу по людям» (192). Автор-переводчик-редактор «Сказания о роскошном житии и веселии» исходил из саркастического, отталкивающего чувства, близкого к омерзению, и двусмысленно назвал эту страну «великим проходом» (190). Такова его оценка не только мира тамошнего, но и мира тутошнего.

Приземленно-саркастическое мироотношение привилось и в оригинальной русской литературе XVII в. Еще в «Сказании о Куре и Лисице» не позднее 1630-х годов в мире, «соседнем» с Москвой, где фигурировал крутицкий митрополит (221), ни одно из животных не было изображено без сарказма, даже несчастный петух: «закричал... будта тебя взбесила или варагуша подымала... Сам ты не велик, толка перьем досаждаешь» (220).

В «Повести о Ерше Ершовиче» первой половины XVII в. рыбий мир Ростовского озера, тоже «соседний» с Москвой, был изображен как порченный, уродливый, поганный, разбойно-противный. В изображении автора повести Ерш как рыба — отвратен и болезнен: у него противные «раковые глаза», он немьт — «загрязнилься и зачернилься» (176), он убого «живеть по рекамъ и по озерамъ на дне, а свету мало к нему бываетъ»; он исходит злобой — «что змия ис-под куста глядитъ» (179), «а с хвоста уставиль щетины, что лютые рогатины или стрелы» (181); движения у него какие-то спазматические — «вывернетца он, аки бесъ» (179), «скачетъ да пляшетъ» (180); то он неестественно раздувается — «щоки... до передняго пера, а глаза... что пивной котель, а очи, что пивные чаши, а нос... — карабля заморского... а хвостъ... что лодейной парус»; а то он усыхает — у него «перешиб», «бока свои о берег отер и носъ переломал» (180); и кончает свою жизнь Ерш неаппетитно: московские пьяницы им «оправливаютца» (177), «собакамъ за окно вымечють или на кровлю выкинуть» (179).

Другие рыбы тоже неприятны и неблагополучны; их движения конвульсивны: «Щука-трепетуха» (176, 181), позы неестественны, болез-

ненны: «Осетъръ стоячи» (179), внешность отталкивающая: Сом «у-ставя свою непригожую рожу широкою и усъ роздувъ» (180), судьба мучительна: «на берегъ выволокли да обухами... прибили» (180). Прочие рыбы — или уродливые гибриды, либо инвалиды с разросшимися частями тела: «Треска Жеребцовъ... Ракъ Глазуновъ... Стерлетъ с носомъ» (181), Мень — «брюхо... велико губы толъсты» (178). Неблагополучно озеро Ростовское, куда набились рыбы с больших волжских пределов, и из Каспия (176), и из Ильменя (181), «озеро позасохло... и голод великъ» (177), а «то Ростовское озеро горело» даже (179). В общем, автору повести был гадок современный ему и мир животный, и мир человеческий, — он все «пересморкаль» (179).

Ощущение патологической болезненной уродливости и загаженности мира тамошнего и тутошнего было устойчивым у юмористов, русских тоже, в течение всего XVII в. и дошло до максимума в «Сказке о некоем молодце, коне и сабле» в списке 1698 г., со смаком описавшей оседланного в «далных странах», мерзостного коня-полутрупа, который «быль бур-космат; на ухо лыс... ротъ, как пасть; язык, какъ рукавъ; грива колесомъ; уши колпакомъ; окорка висли... круглые копыты, что полные морские раковины, а очи... что великие питьи чаши, на лоб вышли» и т. д. (237). Конь придавлен и погребен чудовищной сбруей, нелепая сабля высунулась «за конемъ с сажень, а перед конемъ с локоть»; он засыпан бессмысленно огромным количеством предметов, тоже испорченных — «натрое колото и начетверо строгоно».

Мерзостно-мусорный мир предстает и в «Росписи о приданом», где находится на грани издыхания «конь гнед, а шерсти на нем нет, передом сечет, а задом волочет» (229), и в «Слове о мужах ревнивых», в котором все упоминаемые животные больны или покалечены: «недужная овца», «слепая кобыла», «бешеная собака», «недужная свиния», «недужная кошьяка», «недужная курица», «зарезаная овца», «зарезаная свиния» (104).

Этому ряду сатирических и юмористических произведений, на первый взгляд, противостоит небольшое мажорное «Сказание о молодце и девице», в котором использовано множество «звериных» сравнений, казалось бы, утверждающих ощущение ценности животного мира: медвежья голова (большая), щучьи зубы (острые), севрюжий нос (вздернутый), волчий рот (от уха до уха) и т. д. (232). Однако большинство таких упоминаний в тексте обозначало неприятные своей чрезмерностью качества и представляло животный мир довольно гадким. (То же, кстати говоря, встречаем в «Притче о старом муже», «Лечебнике на иноземцев» и др.). Несколько же упоминаний положительных качеств животных в «Сказании», когда молодец восхвалял девицу, в контексте повести получили оттенок памфлетности: «пелепелишныя твоя кости... ясна сокола очи, черна соболя брови, сера ястреба зрение, борза команя губы, бела горнастая скакание, павино твое поседание» (231—232) — пред-

ставьте себе девицу с тончайшими перепелиными косточками, но с острым ястребиным взглядом и огромными лошадиными губами и пр. — в деталях привлекательна, а в целом монстр.

Приятных, «легких» юмористических произведений на Руси не было, и в течение XVII в. скептическое, «отплевывающееся» отношение авторов к миру явно нарастало. Язвительные сочинители умножились в литературе.

1993 г.

НАДЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МИР ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАДЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МИРЕ В РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ НАЧАЛА XVIII В.

В начале XVIII в. в России появился новый драматический жанр — школьная драма. Новая литературная форма несла новое содержание.

О проникновении школьных драм в Россию, об их форме и сценическом воплощении написано немало¹. Иной раз внешняя история школьного театра заслоняет историю его идей и эволюцию его мироощущения. Школьные драматурги резко своеобразны своей специфической «ученостью», отчего не все идеи их сочинений могут быть восприняты сейчас легко, без усилий. А между тем художественные представления школьных драматургов отнюдь не были ни скучными, ни поверхностными, ни застылыми. Попытаемся очертить мир школьной драмы.

Русская школьная драматургия органично вошла в процесс развития мировой школьной драматургии и повторила ее некоторые традиционные черты. Первоначальная цель школьной драматургии, как известно, заключалась в содействии богословскому образованию учащихся².

Отсюда, по верному наблюдению В. И. Резанова, отличительным признаком школьной драматургии вообще и русской в частности было преобладание аллегорических персонажей. В школьных драмах «действующими лицами выступали, исключительно или преимущественно, олицетворения абстрактных понятий, пороков, добродетелей и т. д. Эпоха Возрождения и гуманизма к средневековым аллегорическим персонажам (добродетели и пороки, Время, Смерть, Мир и т. д.) присоединила длинный ряд фигур и образов античной мифологии»³. «Внутрен-

¹ Историей школьной драматургии, в особенности украинской и русской, занимались Н. С. Тихонравов, П. О. Морозов, Н. И. Петров, В. Н. Перетц, В. П. Адрианова-Перетц и более всех В. И. Резанов (см.: *Адрианова-Перетц В.* Библиография школьной драмы и театра XVII — XVIII вв. // *Старинный спектакль в России: Сборник статей.* Л., 1928, с. 184—197. См. также: *Всеволодский-Гернгросс В.* Русский театр: От истоков до середины XVIII в. М., 1957, с. 83—84; *Петров Н. И.* Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков: Киевская искусственная литература, преимущественно драматическая. Киев, 1911, с. 60—67; *Морозов П. О.* История русского театра до половины XVIII столетия. СПб., 1889, с. 41—47).

² О церковно-дидактических целях школьной драматургии см., например: *Poplatek J.* *Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce.* Wrocław, 1957, s. 13 и сл.; *Riedel E.* *Schuldrama und Theater: Ein Beitrag zur Theatergeschichte.* Hamburg—Leipzig, 1885, s. 10, 12, 20, 25.

³ *Резанов В. И.* Из истории русской драмы: Школьные действия XVII—XVIII вв. и театр иезуитов. М., 1910, с. 278—279.

няя схема громадного количества драм сводится к следующему: искушение и жизнь во грехе, затем — раскаяние и вечное блаженство или наоборот — коснение в пороках, упорное сопротивление попыткам обращения грешника и вечное осуждение, торжество в Небе или дикое ликование в адской бездне часто составляют эпилог драмы... Каждая драма должна служить цели доказательства какой-либо истины, подобно проповеди на известный текст или рассуждению, развивающему известный тезис»⁴.

Интересно, что аллегоризм школьной драмы, и это отмечал сам В. И. Резанов, нашел лишь скромное отражение в поэтиках XVII—XVIII вв., трактовавших вопросы драматургии. Поэтики отставали от драматургической практики, особенно украинско-польской. Между тем литературная роль аллегорических персонажей была очень важной. Благодаря им пьесы приобрели особый художественный смысл. Мы коснемся лишь некоторых его проявлений⁵.

В школьных драмах (особенно в прологах, эпилогах, в начальных и конечных сценах) изображался особый по его совершенству и бесконечности, высший, надчеловеческий мир. Ср., например, как Димитрий Ростовский определил в эпилоге суть своей «Успенской драмы» (конец XVII в.): «По силе нашей... покажем, како Дева безсмертна на небе царствует» (219). Общей чертой школьных пьес было крайне абстрактное представление о человеке и окружающих его обстоятельствах. Эта первая черта школьных драм, которую мы хотим отметить.

Конкретного, единичного человека школьные драмы не знают (в особенности пьесы на богословско-библейские темы). Отдельный человек выступает представителем целого человечества, это «всяк» человек от Адама и «доныне». Об этом в пьесах напоминает постоянно. И хотя, например, в польской пьесе «*Utarczka krwawie wojujacego Boga pana zastepów za greschy narodu ludzkiego*» («Схватка кроваво воинствующего Бога, Господа ангельских сонмов, за грехи рода человеческого»), как и во множестве подобных пьес, выводится один Грешник, но совершенно ясно, что он олицетворяет человечество. Судят Грешника, но приговор выносится всему человечеству: «*Czas do ludzi rzecze*» («Время людям речет»); ангелы вздыхают: «*O ludzie, ludzie, złość ci to wasza!*» («О люди, люди, все злоба ваша! — 32, 37) и т. д.⁶.

⁴ Резанов В. И. К истории русской драмы: Эскурс в область театра иезуитов. Нежин, 1910, с. 94—95.

⁵ Литературные особенности школьной драматургии изучены еще недостаточно. Об этом см., например: *Lewański Ł. Studia nad dramatem polskiego odrodzenia*. Wrocław, 1956, s. 216, 221.

⁶ Цитируемые произведения: «Божие уничижителей гордых уничижение» — РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. А. С. Елеонская; «Действо о семи свободных науках» — РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. А. С. Демин; «Диалог о страстях Христовых» — Резанов В. Драма українська. Київ, 1925, вип. 1; «Книга иероглифическая» Николая Спафария — РГБ, собрание Вологодское, № 170.

В школьных драмах наблюдается любопытное явление: когда речь идет о человеке, то не ощущается разницы между единственным числом и множественным, между видовыми понятиями и родовыми; «человек» — «люди» — «мир» означают одно и то же и нередко употребляются как синонимы. Например, в драме «Страшное изображение» Честь Божия осуждает человечество за грехи, называя его то словом «люди», то словом «мир», то словом «грешник»:

Безчестну творят и всех век мя люди,
Жиющи скверно, беззаконно всюди...
Сего ради аз не терплю зла многа,
Зле да погубит мир, умолку Бога.
Довлеет уже в гресех лежати,
Время геенне грешника предати. (93).

Речь Честь Божией поддерживают другие аллегорические персонажи, грозя карами грешному человечеству, или «грешнику». Всемошество говорит:

Указываются листы рукописи; «Орел российский» Симеона Полоцкого — Орел российский: Творение Симеона Полоцкого / Изд. подгот. Н. А. Смирнов. СПб., 1915; панегирическое слово братьев Лихуд — *Сменцовский* М. Братья Лихуды: Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца XVII и начала XVIII веков. СПб., 1899; «плач и утешение» Сильвестра Медведева — Древняя российская вивлиофика. М., 1790, ч. 14; «Политиколепная Апофеосис» Иосифа Туробойского — Политиколепная Апофеосис... М., 1709. Указываются листы издания; «Прение Живота и Смерти» — Повесть о споре Жизни и Смерти / Изд. подгот. Р. П. Дмитриева. М.; Л., 1964; «Преславное торжество» Иосифа Туробойского — Преславное торжество свободителя Ливонии... М., 1704. Указываются листы издания; «приповесть от старинных» о дочерях дьявола — РГБ, собрание Ундольского, № 1079. Указываются листы рукописи; проповедь Дмитрия Ростовского — Дмитрий Ростовский. Сочинения, 6-е изд. М., 1840, т. 2; проповедь Стефана Яворского — Проповеди... Стефана Яворского. М., 1805, ч. 3; «Ревность православия» — РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. В. В. Кусков; «Рождественская драма» Дмитрия Ростовского — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина; «Свобождение Ливонии и Ингерманландии» — РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. А. С. Елеонская; «Слово, пространне излагающе...» Максима Грека — Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1860, ч. 2; «Стефанотокос» — *Резанов В. И.* Памятники русской драматической литературы: Школьные действия XVII—XVIII вв. Приложение к исследованию «Из истории русской драмы». Нежин, 1907; «Страшное изображение» — РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. В. Д. Кузьмина; «Схватка кроваво воинствующего Бога» — *Dramaty staropolskie: Antologia / Opracował Julian Lewański.* Warszawa, 1963. Т. 6; «Торжество Естества человеческого» — *Резанов В. И.* Памятники...; «Торжество Мира православного» — РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. В. В. Кусков; «Трагедокомедия» Георгия Конисского — *Резанов В. И.* Драма українська. Київ, 1929, вип. 6; «Ужасная измена» — РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. В. Д. Кузьмина; «Успенская драма» Дмитрия Ростовского — РРД, т. 2 / Текст памятника подгот. О. А. Державина; «Царство Мира» РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. В. В. Кусков; «Царство Натуры людской» — *Резанов В. И.* Памятники...

Пошлю в мир лютыя и смертныя глады,
честь ти прочее, грешниче, отрады (94).

Истина подтверждает эти слова, так же смешивая единственное и множественное числа:

Убо грешницы да погрузнут в аде,
а не в небесной почият ограде...
Аки фараон, да погрязнет в море,
а не в небесном воцарится дворе (95).

Такие же вариации наблюдаются в монологе Долготерпения, которое говорит вслед за Истиной:

Аз, Долготерпение, терпех человеку,
елико мя оскорби в преждешедшем веку
Умолю Вышняго, да пошлет свои стрелы,
иже бы озлобивших люте поразили (95).

Абстрактный подход к человеку выражается и в том, что в пьесах как бы не различается человеческий пол, род. Грешник может одновременно выступать и как «он» (грешный человек), и как «она» (натура людская), и как «оно» (естество человеческое). В речах персонажей эти понятия употребляются одно вместо другого, что порой приводит к грамматическим несоответствиям. Например, в украинской пьесе «Торжество Естества человеческого» (1706) Ревность грозит грешнику:

Увидит окаянна, же за дерзост тую
Предам ю бездне адской на веки живуую.

Но когда Справедливость спрашивает у той же Ревности о грешнике, то Ревность, отвечая, называет грешника уже в среднем роде:

С п р а в е д л и в о с т ь

И кто ест заповеди Бога не хранивый?
Не весть ли, яко таков не пребудет живий?

Р е в н о с т ь

Естество человека, з блата сотворенно,
Образом, подобием Божиим почтенно (39, 40).

Не только человечество, но и вся вселенная в школьных драмах превращается в условное понятие: вселенную можно пробежать мгновенно, с быстротой мысли. Так, например, происходит в «Страшном изображении», в одном из явлений которого Навуходоносор посылает рабов за волхвами, могущими истолковать его сон, и рабы, пройдя «всю все-

ленную сквозе немедля», тут же возвращаются и докладывают о результатах поисков.

Необходимо добавить, что сцена, посвященная конкретному персонажу — Навуходоносору, в пьесе коротка и не имеет самостоятельного значения; она служит лишь для иллюстрации мысли о будущей гибели человечества из-за грехов: «Се дни последних образ достоверный, его же виде, слышателю верный» (126). Для сравнения напомним, что лет за тридцать до появления «Страшного изображения» придворный поэт и драматург Симеон Полоцкий написал пьесу о Навуходоносоре, которая, хотя и имела нравоучительную цель (превращение «плохого» царя в «хорошего»), но не была проникнута тем вселенским смыслом, которым во всех своих деталях проникнута данная школьная драма. Абстрактность сценической обстановки в школьной драме уже отмечали в конце XVIII в. Ср. замечание, сделанное в 1793 г. в списке украинской школьной «Трагедокомедии» Георгия Конисского (1746): «Действие происходит по большей части на полях и вне жилищ» (157).

Абстрактный характер школьной драмы нередко проявляется и в соотношении ее персонажей. Подобно тому как в формальной логике делятся и сливаются понятия, подобно этому разделяются и сливаются персонажи в школьной драматургии. Например, в украинском «*Dialogus de passione Christi*» («Диалог о страстях Христовых») выступает «Сердце найсвятейшей Богородицы» наряду с самой Богородицей (194 и сл.). В «Ужасной измене» Пиролобец, скончавшись, «делится» на два персонажа — Душу и Тело, а Лазарь превращается в Дух Лазарев. В «Страшном изображении» Смерть дробится на одиннадцать смертей, каждая из которых действует самостоятельно. Другой персонаж — Страх — отделяется от человечества, уже погибшего. Он сообщает: «Вси умроша, аз един спасохся» (105). Подобного рода логические (и алогические) операции для школьных драм характерны.

Школьная драматургия не претендовала на новизну в изображении «высшего», надчеловеческого мира. Многие понятия и категории она заимствовала, по всей вероятности, из богословских построений своего времени. Отсюда не только абстрактность, но и однообразие школьных драм в подборе аллегорических персонажей, в содержании, композиции и языке, вплоть до постоянного повторения отдельных выражений и метафор. Это вторая отличительная черта школьных пьес.

Развитие событий в школьной драме предусмотрено заранее. В начале драм действующие лица и хор обычно предупреждают о последующих событиях и объясняют их суть. Небесное «предуведение» правит всем. В конце драмы схоластические разъяснения вновь повторяются, притом в более пространным виде, особенно в сценах прений между аллегорическими персонажами и в сценах небесного суда над человечеством, нередко заканчивающих пьесы.

Подобная композиция пьес соблюдалась столь строго, что заметна даже по программам тех пьес, тексты которых до нас не дошли. Например, в начале программы пьесы «Царство Мира» упомянуто особое явление, где аллегорические персонажи толкуют о будущей развязке событий: «Благочестие и Рыдание, видяща Мир плененный и умножения умиров на земли, зело со жалостным пением плачутся; но от небес бещанием разрешения Мира и разорения идолов во утешительном пении, ослабу в жалости приемше, отходят» (194). В конце же программы «Царства Мира» говорится о небесном суде, которым руководит постол Петр: «Гениуш Петра святаго Идолослужение и Мир на судище Милости и Суда, Правды и Мира приводит; власть же судом над боими прият. Идолослужение убо с царскаго украшения обнажено в еенну изгонить, Мир же, в царския одежды украшен, на камена твердаго исповедания, аки на престоле царском, посаждает» (198). Характерно, что «Царство Мира» посвящено жизни апостола Петра — сюжету из деяний апостолов, не содержащему сцены суда. Подобно этому сцена уда не диктовалась собственно сюжетом библейской истории о Давиде Голиафе, но, однако, заканчивала школьную пьесу, посвященную этой теме, — «Божие уничижителей... гордых уничижение». В программе пьесы предусмотрено: «Является праведный Суд Божий, на нем же суются Смирение и Терпение Давидово с Гордостью и Непокорством весаломлим...» и т. д. (237).

Аллегорических персонажей, переходящих из драмы в драму, появляющихся при сходных ситуациях и произносящих сходные монологи, в школьной драматургии немало. Таковы, например, Отмщение, Исина, Суд Божий, Мир и Смерть, которые действуют в большинстве русских школьных драм начала XVIII в. (при всем различии московских и провинциальных пьес). Отмщение в «Ужасной измене» говорит решнику:

Лежит, бездушный трупе сластолюбче,
 Аду во користь упитанный глупче...
 Земле, отверзи пропастей утробу,
 Пожри грешника, пожри скверну злобу...
 Но да весть всякий тех сластей любитель,
 Яко пожертву будет сообщитель,
 Ад отмщение. Нанесу на нь раны,
 Аз в геенские пошлю его страны (78—79).

Сходные образы используются, например, и в речи Отмщения в «Рождественской драме» Дмитрия Ростовского, где упоминаются те же «труп», «глупче», «пожрение земель», «геена», о которых всякий грешник должен помнить. Примерно то же говорит Отмщение и в «Страшном изображении», и, по-видимому, то же говорило Отмщение в недоедшем «Божии уничижителей... гордых уничижении», где, как сказано

в программе пьесы, Отмщение грешника «судом праведным Божиим на смерть осудивши, в образ всем обезглавляет. При сих же отвергается ад и взимает к себе труп, Отмщением Божиим данный» (237).

В школьных пьесах постоянно замечается стремление соблюсти пропорцию, равновесие хорошего и плохого, темного и светлого, злого и доброго. «Яко бо солнце заход, восход мест, так и Бог деет», — поет хор в украинской пьесе «Царство Натури людской» (152). Авторы пьес стремятся уравновесить картины «всхода» и «захода». Как говорится в той же пьесе, «спит человек, но Фортуна не смежает брови. Една златом, другаго дарует окови» (155). Даже советы, которые подают царю или судье советники, равномерно сменяют друг друга: положительные — отрицательными, злые — добрыми, миролюбивые — воинственными, еретические — благочестивыми и т. д.

Всегда в численном соответствии друг другу находятся стороны, участвующие в прениях. Нарушение этого правила приводит персонажей в ужас, хотя тут же равновесие восстанавливается. Например, в «Царстве Натури людской» Отчаяние, оставшись одно перед лицом Гнева Божия, Истины и Суда, восклицает: «Ужасно ест самому з многими ся прети!» (150). Но сейчас же на помощь ему приходят Милость Божия, Вера, Надежда.

Пропорция и симметрия в соотношении положительных и отрицательных персонажей, нарушения равновесия, нагнетание и «перепады» настроений приобрели особое выразительное значение в школьной драме, внося экспрессивность и экзальтацию в изображение надчеловеческого мира. Это третья традиционная черта школьных пьес.

Экспрессивность развития темы в школьной драме в некоторой степени напоминает развитие темы в музыкальном произведении XVIII в. Построение, например, «Ужасной измены» таково, что вначале перед зрителем предстают радующиеся и пирующие отрицательные силы (Любовь земная, Мир, Слостолюбие, Пиролубец и его друзья), которым лишь постепенно противопоставляются равные по мощи силы положительные, рыдающие, негодующие и в конце концов побеждающие (Хор, Иов, Милость Божия, Помощь Божия, Суд Божий, Истина и пр.). Небольшим монологам сил отрицательных противопоставляются в целом большие монологи сил положительных. Торжество Зла сменяется победой Добра, и антиподы истины начинают осуждать себя в унисон речам сил положительных (ср. речи Пиролубца в конце пьесы между речами Отмщения и Церкви православной).

Архитектоника «Страшного изображения» иная, хотя финал пьесы такой же. Она начинается с симметричного противопоставления смятенных светлых и уверенных в себе темных сил (с одной стороны — Церковь с Добродетелями, а с другой — грешный Мир с Друзьями). Затем в действие вступают глубоко горящие и не знающие утешения положительные силы (Честь Божия, Всемощство, Суд, Истина, Долготерпение,

Милосердие, Незлобие)⁷. Далее с экспрессивными краткими, двустрочными репликами наступает множество отрицательных сил (одиннадцать Смертей, четыре Зверя и три Химеры, двенадцать Гладов и пр.). Происходят прения, тоже с краткими речами каждой из сторон, между Дьяволом и Ангелом, Отроками и Премудростью. Все завершается монологами успокоенной Жизни, Церкви и Премудрости. В «Страшном изображении», как видим, преобладание положительных сил наступает с большим трудом, чаша весов как бы все время колеблется, усиливая драматичность событий.

Заметим для сравнения, что в провинциальных школьных пьесах, например в «Рождественской драме» Дмитрия Ростовского или в «Венце Димитрию» Евфимия Морогина, драматический конфликт решен гораздо примитивнее. В «Рождественской драме» вначале заявляют о себе силы положительные (Омывная надежда, Век золотой, Покой, Любовь и пр.), затем силы отрицательные (Железный век, Брань, Ненависть, Ярость, Злоба и пр.), спор которых разрешается кратким монологом Жизни.

Однако и эти примеры подтверждают, что для школьных драм характерна отвлеченная экспрессивность, искусное сопоставление и столкновение противоположных чувств и настроений с последующим разрешением конфликта в пользу добра. Ср. «Успенскую драму»:

Радост объят ны толь велия зело,
Коль великую прежде сердце жалост мело (201).

Экспрессивность школьных драм усиливалась и тем, что все события небесного мира — хорошие и плохие — драматурги стремились показать страшными в их грандиозности. Недаром первые школьные пьесы русского театра были названы «Ужасная измена...», «Страшное изображение...». И, действительно, почти во всех школьных пьесах раздаются страшные для персонажей громы и блистают ужасные молнии, нередко появляются леденящие душу героев видения и т. д. Например, в «Стефанотокосе»:

Трепещут и трясутся прекрасные домы,
Слышаще страшные и ужасные громы.
Всякую зеницу ужасы пронзают,
Когда бьет молния, облацы ж блистают (249).

В общем в школьных драмах важное значение имело движение настроения, вносившее разнообразие и напряженность в развитие сю-

⁷ Уместно в этой связи напомнить, что «эффектом, которым сильно злоупотребляла школьная драма и на Украине и в Москве, были „плачи“» (см.: *Перетц В. Н.* Театральные эффекты на школьной сцене в Киеве и Москве XVII и начала XVIII веков // *Старинный спектакль в России: Сборник статей.* Л., 1928, с. 89).

жета, давно всем знакомого. Поэтому на один и тот же сюжет сочинялись разные школьные пьесы, которые оставались не похожими друг на друга.

По-видимому, между музыкой XVIII в. и школьной драматургией существовали тесные связи. Но это уже тема иной работы. Заметим лишь, что наибольшей выразительностью в драмах обладали как раз тексты, которые пелись хорами. Песни хоров поэты, очевидно, специально писали для музыкального исполнения: они отличаются мелодичностью, гладкостью, выразительными параллелизмами и умело интонированными строками, хотя содержание их также однообразно и состоит из общих мест. Примером может служить песня хора о смерти в «Страшном изображении»:

Смертное время днесь всем приближися,
 смертная коса на всех изострися,
 Хотя пожати и велика
 смерть человека.
 Смерть воцарися непреодоленна,
 смерть година есть всем непременна.
 Смерть равно реет нища и богата
 до земна блата.
 Кто ся от смерти рожденный избавит? (106).

Таковы три традиционных черты школьных пьес — абстрактность, однообразие смысла и отвлеченная экспрессивность, выступающие как результат стремления школьной драматургии взволновать, даже потрясти зрителей изображением «божественного», надчеловеческого мира.

Эстетический мир школьной драмы начала XVIII в. по сравнению с произведениями прошлого времени был резко новым. Трудно сказать, насколько он был непривычен и ошеломителен для русских зрителей, так как их высказывания на этот счет до нас не дошли. Однако новизну этого мира можно почувствовать при попытке подыскания аналогий. Главное здесь не в разнице жанров, а в различии героев.

Часто ли в отдельных жанрах и произведениях русской письменности до XVIII в. являлись воочию и действовали «надчеловеческие» герои? Бог и ангелы, разумеется, упоминавшиеся часто, тем не менее лишь в единичных случаях выступали в качестве литературных персонажей (обычно в апокрифах). Полный состав «небесных сил» перечисляли читателю богословско-догматические сочинения (например, творения Дионисия Ареопагита, «Зерцало богословии» Кирилла Транквиллиона, различные «шестодневы» и пр.⁸.

⁸ О богословских системах устройства мира по древнерусским памятникам см.: Райнов Т. Наука в России XI—XVII веков; Очерки по истории донаучных и естественнонаучных воззрений на природу. М.; Л., 1940, с. 37 и сл., 158 и сл.

Но была ощутимая разница между аллегорическими героями школьной драматургии и богословскими «силами небесными». Первые никоим образом не входили в число вторых. Аллегорические персонажи, хоть и выступали в пьесах наряду с «небесными» лицами, но образывали автономную группу. Какой-нибудь «Гнев Божий» не обозначал Бога; ангелы, как правило, не общались с аллегорическими персонажами, никогда не появлялись с ними одновременно и даже как будто не знали о них. Люди обращались к «небесным силам» с почтением и трепетом или с ненавистью и боязнью, если это был дьявол), но гораздо обыденней реагировали на вмешательство аллегорических персонажей. Аллегорические персонажи существовали где-то над людьми или в стороне от людей, вне людей, однако отдельно и от «сил небесных», так сказать, между небом и землей.

Вероятно, полезно было бы уточнить, где именно обитали аллегорические герои. Ведь мир по древнерусским пониманиям конструировался то из семи, то из четырех ярусов; небес тоже было то семь, то три. В старом миропонимании, возможно, и не найдется места аллегорическим существам школьной драматургии. Так или иначе для нас важна эта отдаленность аллегорических персонажей от «ангельского чина».

Но появлялись ли «надчеловеческие» аллегорические герои в древнерусских произведениях? В XV—XVI вв., пожалуй, нет. Редчайший случай в конце XV в. — «Прение Живота и Смерти». Образ Смерти в этой повести — аллегорический. Смерть имеет человеческий облик. Подобие у тебя человеческое, — говорит человек, глядя на Смерть. — Что есть сия снасть криваа, юже ты влечиши по росе?» Человек склонен читать ее косцом: «И ты, косец, коси свой плод», а в позднейшей редакции XVI в. называет ее даже «злообразной бабой». Пришло это существо откуда-то издалека: «И прихожу от единого царства», — представляется Смерть.

Однако история повести в XVI в. свидетельствует о том, что редакторов и переписчиков не занимал надчеловеческий мир, откуда явилась Смерть. В последующих редакциях выпущено было даже упоминание об ее исходном «царстве». Второй герой повести — Живот — вкупе со Смертью мог бы составить компанию аллегорических персонажей, но акковым не стал и превратился в «воина удалого». Все внимание редакторов было направлено на освоение одного персонажа, непривычного из-за его явной аллегоричности.

В течение XVI в. от редакции к редакции повести росли пояснительные описания Смерти, выпячивающие необычность аллегорического персонажа. Смерть ревет «поистинне яко пантер», полна «червей и миев»; в следующей редакции она несет с собой необычно много оружия: «...мечи, пилы, сечива, серпы, оскорды, рожны, теслы, бритвы и иная езнаемая оружия»; в последних редакциях XVI в. Смерть появляется сидя на звере лютот» с необозримым грузом оружия, — «яже что есть

в мире, у нее все суть не менее мирского» (165, 141, 176, 146, 168). В необычном виде Смерти отражается необычность аллегорического образа для русских читателей XVI в. В редакциях повести учащаются упоминания о необычайной страшности Смерти, значительно увеличиваются разъяснения Смерти о себе — подтверждение активной работы редакторов по осмысливанию и освоению еще непривычной аллегорической категории.

Чем объяснить проникновение аллегорического образа в русскую литературу в конце XV в.? Причина в основном внешняя. Как известно, «Прение Живота и Смерти» было переведено с немецкого диалога и отвечало идейным потребностям кружка новгородского архиепископа Геннадия⁹. Обращение именно к аллегорическому образу, судя по всему, явилось лишь попутным результатом перевода. Лишь в школьной драматургии начала XVIII в. Смерть стала популярнейшим персонажем.

Другой редкий случай использования аллегорического лица, на этот раз в XVI в., находим в одном из слов Максима Грека: «Инока Максима Грека слово, пространне излагающе с жалостью нестроения и безчиния царей и властей последняго жития». Максим Грек рассказывает о своей встрече с аллегорическим существом — Властью (некоторые аналоги этому персонажу в пьесах — Сила, Царства и пр.). Власть, как и подобает истинному аллегорическому существу, предстает в человеческом облике: «Обретох, — описывает Грек, — жену, сидящу при пути и наклонну имущу главу свою на руку и на колену свою, стоящу горце и плачущу без утехи, и оболчену во одежду черну, яко же обычай есть вдовам — женам». Станным и интригующим выглядит его окружение: «...и окрест беша звери, львы, и медведи, и волцы, и лиси». Поэтому пораженный останавливается сам автор: «...и ужасохся о странном оном и неначаемом сретении». Поэтому аллегорическое существо поясняет автору, кто оно: «...имя же мне не едино, но различно: и Начальство бо наричуся, и Власть, и Владычество, и Господство, суще же мне имя аки одержительне предреченных Василия имя есть мне». Прибыло существо откуда-то сверху: «Аз убо, о преходниче, едина есмь от благородных и славных дщерей всех Царя и содетеля и владыки» (319, 321—322)¹⁰. Через полтора века, в школьных пьесах, встреча человека с надчеловеческими аллегорическими персонажами не будет обставляться такой загадочностью. Во времена же Максима Грека введение аллегорического героя, очевидно, было явлением исключительным.

Правда, тот же Максим Грек сочиняет «Словеса, аки от лица пречистыя Богородицы» или прение Ума с Душой, причем в конце прения

⁹ Повести о споре Жизни и Смерти / Исследование Р. П. Дмитриевой. Л., 1964, с. 11—18.

¹⁰ Ср. «Притчу об истинне» конца XV в. — *Кудрявцев И. М.* Сборник последней четверти XV — начала XVI в. из Музейного собрания. Материалы к исследованию // Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1962, вып. 25, с. 265.

обращается к читателю само читаемое произведение: «Сия словеса аки от лица слова сего» (241, 51). Кажется, в конце XVI в. переводят речи «свободных наук» — Грамматики, Диалектики, Риторики — к учащимся и вообще к читателям. Однако все это разрозненные, малозаметные, единичные факты, прямо или косвенно связанные с внешним переносом западноевропейских литературных традиций, а не со специфическим интересом авторов к надчеловеческому миру.

Лишь к концу XVII в. аллегорические герои начали чаще мелькать в произведениях и появляться не в одиночку, а в компании себе подобных. Накопление соответствующих персонажей шло по трем изолированным направлениям, сходящимся вместе лишь в пьесах начала XVIII в. Во-первых, олицетворение понятий использовалось в нравоучительных и обличительных целях, как это делал еще Максим Грек. Так, в сборнике конца XVII в. небольшая «приповесть от старинных» излагала в стихах вот какую историю: «Дьявол окаянный поял себе жену нечестиву госпожу Мерзость урожену»; Мерзость родила ему восемь дочерей — Гордость, Лютость, Сребролюбие, Измену, Ненависть, Лицемерство, Спесь и Скверну. Дочери, «совершенных лет своих дошедши, за люди различных чинов удобно замуж пошли». Например, первая — Гордость — отдана была «за богатых и полных», вторую — Лютость — «велможи поняли»: «для того во многих местах кровь потоком течет»; третья — Сребролюбие — «торговым и промышленным за жену отдана» и т. д. (71 — 71 об.). Аллегорические персонажи по именам те же, что потом действуют в пьесах. Но в «приповести» они едва намечены, их общение с людьми больше подразумевается, а не изображается. Все это еще очень бледно. Сама «приповесть» — явно переводная¹¹, то есть знакомство с нравоучительными аллегориями продолжается в основном за счет переводов.

Второй путь проникновения аллегорических персонажей был положен сочинениями, связанными с нуждами светской школы, с обучением светской «премудрости». В «Книге избранной вкратце о девяти мусах и о седмих свободных художествах» в начале 1670-х годов Николай Спафарий объединил бытовавшие ранее в отдельности выступления каждой из семи «свободных наук», в том числе Музыки, Арифметики, Геометрии, Астрологии. Каждая наука говорила «от лица своего». «Книга» Спафария представила группу взаимосвязанных аллегорических персонажей, тем более что, например, Астрология объявляла не только о себе, но напоминала о своих «сестрах» и «другнях», — иных выступавших науках. Из речей наук намечались контуры строгого и стройного мира, который персонажи преподносили людям. Недаром текст «Книги» Спафария в начале XVIII в. был обильно использован в школьном диалоге, или «Действе о семи свободных науках». Образы наук в школьном

¹¹ «Оригинал — несомненно, на польском языке» (Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903, с. 177).

диалоге начала XVIII в. подготовлены литературной традицией на русской почве, правда, неглубокой, возникшей благодаря переводам и сохранявшей зависимость от переводного материала.

Спафарий интересовался также аллегорическими образами древних народов. В «Книге иероглифийской» он так описывал аллегорическое изображение вселенной, бытовавшее якобы у египтян: «Иероглифийское писание вселенная. Егда же хотяху вселенную или мир живописати, писаху человека лицом козлим, цветом красным двоерога пестрою козою пардовою одеянна» и пр. (245).

Самым многообещающим оказалось третье направление, а именно обращение к аллегорическим образам в торжественно-панегирических целях. В этом отношении одним из полноценных предшественников аллегорий русских школьных драм послужила панегирическая «книжица» Симеона Полоцкого «Орел российский» (1667), посвященная царю Алексею Михайловичу. Орел российский, постоянный аллегорический персонаж русской школьной драматургии, впервые выведен в стихотворной «книжице» Полоцкого. Аллегоричность образа ясна с первых же строк. Это «Орел Российския страны», «славою орлы вся превосходящий», он находится где-то в небе: «Вскую превыше облак водородных // париши крылы перий славоплодных»; и одновременно орел этот осеняет весь мир: «Глава ти небес самых достизает, // простертость крылу весь мир окривает» (14). Орел издает «глас на вси страны торжественны» (23), «солнце Орла окружает» (28) и пр. Аллегоричность усилена многозначностью. Орел — это Россия: «Россия Орлом себе образует» (34). Одновременно и род царя Алексея Михайловича: «яко отец си, присутствует сину» (15); это даже сам Алексей Михайлович. Наконец, это и герб государства: «Не всуе скипетр в десной ти держиши» (36). Подобная текучесть значений стала характерной затем для аллегорических персонажей пьес.

Заметный шаг Симеона Полоцкого навстречу XVIII веку выражается в создании атмосферы надчеловеческого мира вокруг образов России, царя и т. п. Алексей Михайлович «чудне славиться в странах удаленных, // где зловласый Титан наляцает... // где Океану суть пределы даны, // престол Нептунов амо же назданы... // Иде же Еоль повелествует... // Где Апилиот, Мессис, Кекиа... // Откуда Аргест, Иапикс исходит... // Откуда Керкий дышет и Левконот, // ломит облаки в Аере Ливонот...» (16). Слава царя Алексея Михайловича, таким образом, распространяется за пределы земного круга, в мир внеземной, мифологической. Там думают о России, оттуда стремятся к ней. Аполлон, действующее лицо книги Полоцкого, посылает в Россию мифологического Ариона: «Пльви в Россию по морской пучине, // Арион славный, хотя на делфине, // Амфиона привлеци з собою» (39).

Ощущение единства надчеловеческого мира, окружающего Россию, создается в сочинении Полоцкого благодаря свободному общению разных

надчеловеческих персонажей. В стихотворной книге переговариваются Аполлон и все девять муз. Музы говорят с аллегорическим Орлом российским; даже признают его своим отцом: «Орла есмы чада» (28). Калиоппа обращается и к иным аллегорическим персонажам — Орлу белому и Луне бусурманской; последней велят: «Потщися роги Орлу под ноги склонити» (29). Аполлон указывает на знаки зодиака, которые подобно неким существам также общаются с Россией: к примеру, «Овен... сам ся под ноги твоя постилает» (41), — извещает Аполлон Россию. «В конце книги к выступающим добавляется Образ Божия славы, а на его вопросы отвечает Эхо. Внеземные персонажи время от времени высказывают пожелания и приказания людям: «Пойте, вси роди, рукама плещите» (40) и пр. Место обитания аллегорических лиц — где-то вне людей или над людьми, но не на «божественном небе». Симеон Полоцкий в «Прилоге» к книге замечает: «В пророках сих мус ставить не дерзаю, // обаче право вещаша, то знаю» (76). В книге Симеона Полоцкого возникает надчеловеческий мир, уже очень близкий драматическому началу XVIII в.

Отличие от эстетического мира школьных пьес, пожалуй, лишь количественное. Сочинение такого рода у Полоцкого пока единственное, оно результат многообразных и нередко не повторявшихся более литературных поисков автора; с XVIII в. аллегории — уже мода, обязывающая многих авторов к постоянным повторениям. У Полоцкого — творение для царской семьи и в лучшем случае для очень узкого числа придворных; с XVIII в. же сочинения с миром аллегорических героев распространяются в различной среде и особенно в школьной. Использование аллегорических, мифологических и пр. персонажей у Полоцкого было панегирическим приемом: так необычайно расширялся мир, восхваляющий царя Алексея Михайловича. Драматурги же начала XVIII в. писали отнюдь не только для прославления того или иного лица. Иными словами, сочинение Симеона Полоцкого явилось той первой ласточкой, которая еще не сделала весны.

После Симеона Полоцкого заметного сдвига не произошло. Надчеловеческий мир, хотя и близкий к будущим пьесам, изображался только в единичных торжественно-панегирических сочинениях. Так, усвоив опыт Полоцкого, его ученик Сильвестр Медведев сочинил аналогичный «Орлу российскому» панегирик царю Федору Алексеевичу, правда, на этот раз на смерть царя «плач и утешение». Знакомый нам Орел российский переговаривался с покойным царем. От Орла (герба) отделялся еще один аллегорический персонаж — Воин, и следовал «плач сущаго в Орле царскаго пресветлаго величества Воина». Выступали Великая Россия, Малая Россия, Белая Россия, и их всех утешал Федор. Покойный царь обращался также к оплакивавшим его царице и царевнам. Надчеловеческий мир у Сильвестра Медведева не стал беднее, но даже обогатился (98 и сл.). В самом конце XVII в. надчеловеческий мир

иногда вырисовывался в некоторых панегирических словах братьев Лихуд. Например, в одном слове героиня «одарована» следующим образом: получила «от Бога — душу, от серафим — любовь, от херувим — мудрость... от Крона — велелепие, от Дия — благорастворение, от Афиса — мужество, от Солнца — веселие, от Афродиты — благообразие» и т. д. и т. п. (307).

Теперь можно корректировать утверждение о резкой новизне эстетического мира школьных драм для русской литературы. Эффект надчеловеческого мира в драмах эпизодически использовался в панегирических писаниях уже с последней трети XVII в. Резким было в начале XVIII в. распространение моды на такой эффект, и именно это явление нуждается в объяснении.

Главная цель авторов первых школьных русских пьес оставалась традиционной — воспитание благонравия у учащихся. Драмы повторяли обычные наставления о праведном житии: «Осужден будет всяк по своим делом... // Образ сих видево... // кто не восхоцет... // избежать ада, небо получить... // его же всем вам, се зревшим желаем» («Страшное изображение», 126). Но сам воспитательный прием был необычным. Надчеловеческий мир в драмах выступал в роли зоркого надзирателя за поведением каждого человека. Людей в пьесах постоянно «посещали» аллегорические персонажи. Аллегорические герои выходили не только к драматическим героям же, но проникали в жизнь, современную их зрителям. «И ныне гряду, в мире да владею», — говорило Слостолюбие; на что откликнулся ангел: «Се аз иду, но горе сему миру», если им завладеет слостолюбие («Ужасная измена», 57, 73). Имелся в виду и мир героев, и мир зрителей. Аллегорические герои декларировали царские права на людей, на каждого человека. Так, аллегорический персонаж Мир, подобно царю, выступал с монологом о всевластии: «Мир еси, всеми владушый, над всех вознесенный, // мне есть всяк земнородный во всем покоренный // ...Аз любящих мя люблю...» и т. д. («Страшное изображение», 90).

Аллегорические персонажи всегда «пребывали» с людьми; если отлучался один аллегорический персонаж, то оставлял взамен другого. Например, Милость Божия открывала Лазарю-нищему: «Аз, аз, Милость Божия, всегда пребываю // с тобою, о Лазаре!.. // Едино рекох ти: всегда пособляю; // отходя же, с тобою Помощь оставляю» («Ужасная измена», 67). У грешников были также свои постоянные сопровождающие. Например, с Пиролубцем всегда был Грех — «обретох всегда в нем обитель» (70). За грешными и праведными, нищими и богатыми равно следили Смерть и иные аллегорические образы: «Смерть равно реет нища и богата // до земна блата... // Смерть и на пирах в чаши заглядает» («Страшное изображение», 106). Учащихся, кроме того, окружали олицетворения наук (см. «Действо о семи свободных науках»).

Аллегорические персонажи смотрели на своих подопечных не холодно или равнодушно, а с чувствительной заинтересованностью и терпеливым снисхождением. «Аз же терпех тя чрез толико время», — укоряло лентяя Отмщение («Ужасная измена», 78). «Хощу пособити сыновом моим», — обещала Церковь православная зрителям в эпилоге «Ужасной измены» (83). Без аллегорических героев — судей и учителей — людям будет худо: «Без мене бо смутно // всем будет», — предупреждала, например Арифметика («Действо о семи свободных науках», 183). Под оком надчеловеческого мира усиливалась значительность поведения людей — вот важная функция аллегорических персонажей. Школьные драматурги начала XVIII в., вероятно, руководствовались представлением о повышенной ответственности человека за свои поступки.

Не станем вдаваться в анализ педагогических требований школьной драматургии. Интересней иное, а именно: связь традиционного (или даже заимствованного) художественного содержания первых школьных пьес в России с эволюцией представлений о насыщенности и переменчивости жизни. Подобная связь существует. Пьесы со знакомым нам постоянством констатируют: «Зри, человеце, кая есть премена. // Не пребывает в век вещь не едина» («Ужасная измена», 62). И хотя в школьных пьесах начала XVIII в. персонажи гораздо менее подвижны, чем в XVII в., ново теперь то, что «зашевелился» надчеловеческий мир. Идея подвижности и переменчивости не углубляется, но зато расширяет горизонт, охватывает новые сферы, в XVII в. не затронутые.

Некоторому «оживлению» надчеловеческого мира в русской драматургии начала XVIII в. одновременно способствовали разнородные социальные явления. Самым ранним фактором послужил нараставший конфликт между правительством Петра I и церковью.

В начале XVIII в. церковные круги были недовольны некоторыми (пока еще сравнительно небольшими) нововведениями Петра I, и это недовольство нашло свое отражение и в проповедях, и в школьной драматургии. В качестве примера сошлемся лишь на один эпизод, получивший значительный отклик в церковно-нравоучительных произведениях разных жанров, в том числе и в драматическом. Перед постом, в ноябре 1701 г. в Славяно-греко-латинской академии была поставлена «Ужасная измена». Написанная на тему евангельской притчи о богаче и нищем Лазаре, пьеса тем не менее не касалась проблемы богатства и бедности, а настойчиво призывала соблюдать посты и осуждала согрешивших. Эта основная мысль подчеркивалась и в эпилоге. Персонаж — Церковь православная — заключала пьесу нравоучением о необходимости соблюдать пост:

...пост врачевство драго,
Пост живот души, пост пагуба злаго
Яда житейских сластей, пост отрада

Телом тяжелым, пост ключ люта ада.
 Постом сподоблен Лазарь райска света,
 Постом избежа лукава навета;
 Пост ти во врачьбу вручаю, всяк верный.
 Тех мук избежав, внидешь в свет премерный (82—83).

Подобное смещение акцентов в пьесе сравнительно с евангельской притчей¹² объясняется, как можно думать, следующим обстоятельством: в феврале царь и придворные всю масленичную неделю и в великий пост ели мясо¹³. Несоблюдение поста повторялось и позже¹⁴, и в августе 1701 г. попы повсюду говорили, что царь в пост ест мясо и яйца. Как свидетельствуют дела Преображенского приказа, реакция духовенства на такое нововведение была очень острой¹⁵. Видные церковные иерархи начали выступать с проповедями, осуждающими несоблюдение поста.

Димитрий Ростовский в 1708 г. в московском Ивановском монастыре произнес проповедь, в которой осудил несоблюдение постов и прозрачно намекнул на Петра: «...паки смотря на пир Иродов вижу подле Венеры сидящего Бахуса, иже в Еллинех бе бог чревоугодия, бог объядения и пьянства... Но, яко же вижду, и нашим, глаголющимся быти православными христианом, той божишко не нелюб, понравился...» Димитрий иронически продолжал: «Не соблюдать постов — то не грех; день и ночь пьянствовать — то людскость, пребывать в гулянии — то дружба; а что по смерти о душе скажут, куды ей идти? — баснь то». Далее вновь следовала тема поста: «...речет Бахус, чревоугодий бог с учеником своим Мартином Лютером: надобно в полках не смотри поста и в пост ясти мясо, чтоб полковые люди в воинстве были сильны, в бою крепки, не ослабели б в брани от поста и воздержания» (478, 485—486)¹⁶.

Стефан Яворский в проповеди, сочиненной в том же 1708 г., обличал петровские ассамблеи: «...пьют нещадно сивач, кто не выпьет, штраф про здравие из сосудов церковных; все доброй мысли, все шумны (пьяны), все веселы»¹⁷. Эту проповедь осторожный Стефан не произнес; но несколько позже, в 1710 г., он публично говорил о несоблюдении постов: «Сияла Россия, мати наша, прежнии времена благочестием, светла и, аки столп непоколебимый, в вере православной утвержденна. Ныне же

¹² Ср.: Евангелие. М., 1701, л. 288—289.

¹³ См.: *Богословский М. М.* Петр I; *Материалы для биографии.* М., 1948, т. 4, с. 331.

¹⁴ См.: *Устрялов Н.* История царствования Петра Великого. СПб., 1863, т. 4, ч. 2, с. 204.

¹⁵ См.: *Голикова Н. В.* Политические процессы при Петре I: По материалам Преображенского приказа. М., 1957, с. 133.

¹⁶ Подробнее см.: *Савлунинский П.* Русская духовная литература первой половины XVIII века и ее отношение к современности (1700—1762 гг.) // *Труды Киевской духовной академии.* 1878. № 5, с. 282 и сл.

¹⁷ См.: *Пыпин А. Н.* История русской литературы, 4-е изд. СПб., 1911, т. 3, с. 190.

что?.. веет на тя ветер чревоугодный, посты святых разоряющий... ах, богоненавистное чревобесие, постом святым противящееся!»¹⁸.

Пьеса «Ужасная измена», видимо, связанная с отмеченными событиями, была, пожалуй, первым произведением, затронувшим тему несоблюдения поста. Правда, намеки на действительность в ней выражены очень осторожно. Возможным намеком являлось то место в пьесе, где Пиролубец, отвергающий пост, сравнивает себя с монархом:

Не поминаю богатства и злата,
В нем же, яко мню, не имею брата.
Не поминаю я одежд дражайших,
Ними сверстаю монарх высочайших.
Се токмо сердце мое убажает,
Як во всяких сластех оплывает (74).

В трактовке темы поста еще не чувствовалось ожесточения, как было позднее, и в 1703 г. Стефан Яворский еще хвалил Петра, надеясь, что тот вернется к прежнему благочестию: «Председания на сонмищах, и предвозлегания на вечерах, и целования на торжищах — давно то оставил фарисеом прегордым» (178). Однако надеждам Яворского не суждено было сбыться. Борьба между церковью и Петром только усилилась. Стефан Яворский с неудовольствием говорил: «...трудно тому поститься, который в объядении и пьянстве весь век свой проводил»¹⁹. В диалоге о науках 1702—1703 гг. тоже осуждались те, кто «вместо постов пиры устроят многи» (167).

В результате этой скрытой и открытой полемики надчеловеческий мир в школьных драмах (а также в проповедях) выглядел более напряженным, аллегорические персонажи становились участниками человеческой борьбы. Менялось (пока не очень заметно) традиционное представление о созерцающем, малоподвижном надчеловеческом мире.

Другим фактором, «оживлявшим» аллегорических персонажей, служили усиливавшиеся просветительские веяния. Отчасти поэтому пьесы Славяно-греко-латинской академии не только изображали высший, надчеловеческий мир, но с сопутствующими им материалами сообщали сведения об отдельных категориях этого мира, поясняли смысл аллегорических персонажей, содержали указания о пользе учения и о прочем,

¹⁸ См.: Морозов П. Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880, с. 94.

¹⁹ Савлучинский П. Указ. соч., с. 285. «В делах Преображенского приказа процессы духовных лиц занимали довольно большое место, составляя около 20% всех слушавшихся там политических процессов» 1699—1705 гг. (Голикова Н. Указ. соч., с. 130. Ср. также: Дмитриев А. Петр I и церковь. М.; Л., 1931, с. 51—52, 62—64; Церковь в истории России: (IX в. — 1917 г.). Критические очерки. М., 1967, с. 170—171). Ср. также отношение Петра I к нищим как к туеядцам, но иное отношение к ним в пьесе о нищем Лазаре, а также в проповедях (см. подробнее: Тарановский Ф. Русское проповедничество при Петре I-м. М., 1870, с. 57—58).

что выходило уже за пределы богословского круга знаний и могло обогатить культурно-исторический кругозор слушателей и зрителей. То есть пьесы академии стали выполнять и просветительскую функцию.

О новой, просветительской функции аллегорических изображений (а следовательно, и аллегорических персонажей драм) свидетельствует, например, то, что с 1703 по 1710 гг. в Москве было специально напечатано несколько книг, ряд гравюр, а также программы пьес, где истолковывалось множество различных аллегорий, — с краткими историческими сведениями, пояснительными стихами, девизами и афоризмами и пр. Показательно, что все эти книги и брошюры были тесно связаны с участием Славяно-греко-латинской академии в серии народных торжеств по случаю военных побед Петра I. В книгах описывались триумфальные врата, построенные в Москве, у которых произносили речи и стихотворные поздравления Петру учителя и учащиеся академии. На вратах нередко были изображены те же светские аллегорические персонажи, что действовали в академических пьесах²⁰.

Автором двух из таких книг являлся префект академии Иосиф Туробойский, который обращался к «благочестивому читателю» с просьбой не уподобляться невеждам и стараться вникать в смысл аллегорий; Туробойский обстоятельно объяснял, почему используются аллегории: «...понеже вемы всякому известно быти, яко великия вещи совершенно изобразити не возможно; не сущим бо равным или болшым от них, менщими токмо осеняются. Сиде превеликое светило солнце малым кружком описуется...» («Преславное торжество свободителя Ливонии...», 9 об., 10; «Политиколепная Алофеосц...», 1 — 1 об.).

Заботу о просвещении читателя выражала, например, программа пьесы «Божие уничижителей... гордых уничижение», поставленной в академии: «В самом же действии аще что мнится быти и несогласно с торжеством нынешним, — обращался неизвестный автор к читателю, — да не удивишися, образ бо или подобие с самым делом не во всем согласует. Omnis similitudo claudiat, всякое подобие храмает» (229). Объяснение, к тому же с латинским афоризмом, включено в программу, думается, не случайно: московская школьная драма и назидала и просвещала.

Традиционные темы в первых русских школьных драмах трактовались уже с новым оттенком: подчеркивались глубина, сложность и противоречивость мира, разобраться в которых может только человек ученый, наученный. Например, в «Страшном изображении» обычная сцена толкования снов Навуходносора (восходящая к библейской легенде) включала отсутствующие в Библии речи советников, единогласно заявлявших о пользе учения и знания. «Яко всяк рожденный тай-

²⁰ Примеры многообразных, притом не только церковных аллегорий в официальной литературе и искусстве петровского времени см.: *Пигарев К.* Русская литература и изобразительное искусство: (XVIII — первая четверть XIX века). Очерки. М., 1966, с. 49—76.

ная не познает, еще незъученный», — говорил царю один советник. «Мы вещь явленну есми готови судити, всяко же неявленно не можем открыти», — признавался в недостаточности знаний и мудрости другой советник. «Ибо наши разуми тайная не видят, точию та познают, яже очи видят», — уточнял еще один советник (99—100). В этих словах не содержалось открытого призыва к знаниям и просвещению, столь характерного для петровского времени. Рассуждения советников чисто схоластические. Но показательно, что, хотя и со схоластической точки зрения, школьная драма подчеркивает вред «незъученности».

В «Ужасной измене» тема более глубокого познания мира также нашла свое косвенное отражение в виде следующего оттенка в традиционном рассуждении. Пролог драмы посвящен обоснованию мысли: «скорбный живот всегда радость пременяет» (имеется в виду, что нищий Лазарь получает на небе награду за свои страдания на земле). Однако примеры, приводимые в прологе, шире этого тезиса, ибо они рисуют противоречивость мира и неоднозначность толкования его примет. Так, светлое небо и сияющее солнце — не всегда признак добра.

Не всегда добро, егда небо пребывает
Светло; не всегда солнце в пользу нам сияет.
Не всегда и океан, егда смирит волны,
Плавающим кораблем дает проход волний.
Многажди тогда небо прекрасней светлеет,
Егда туча вреднейша земным быти имеет... (55) и т. д.

На просветительскую функцию школьной драматургии в Москве в начале XVIII в. с несомненной очевидностью указывает и «Действо о семи свободных науках», сочиненное специально для пропаганды знания и учения, характеристики разных наук и их практического приложения²¹.

Просветительская тенденция в пьесах Славяно-греко-латинской академии уже многое меняла в том традиционном для школьных драм абстрактном изображении высшего, небесного мира, с высоты которого человечество казалось ничтожно малым и слабым. Например, в «Действе о семи свободных науках» человек уже мыслится в ином мире — в окружении наук и знаний, которые помогают ему в практической деятельности. Правда, этот мир тоже достаточно абстрактен и однообразно строен. Но важно, что в пьесах академии сразу была сделана по-

²¹ Пьеса «Царство Мира», по мнению И. П. Еремина, тоже «имела в виду прославить просветительскую деятельность Петра Великого» (*Еремин И. П. Театр и драматургия начала XVIII века // История русской литературы. М.; Л., 1941, т. 3, с. 110*). Ср. замечание Н. С. Тихонравова: «В архаических формах московской школьной драмы Петрова времени выражалось живое сочувствие просветительской деятельности царя... Ее сцена вводила в умы молодого поколения „политичные“ мнения образованных народов» (*Тихонравов Н. С. Задачи истории литературы и методы ее изучения // Сочинения. М., 1898, т. 1, с. 86*).

пытка к своего рода замене абстрактно-богословского мира окружением, более близким человеку.

Наконец, третьим фактором, менявшим художественные представления о надчеловеческом мире, был добровольный или вынужденный интерес драматургов ко внешнеполитическим проблемам. Напомним, что вообще происходило в это время в литературе и публицистике. Быстро усиливалось государственное влияние на все жанры литературы. Отсюда понятно, почему из двух новых тенденций в русской школьной драме начала XVIII в. — антипетровской и просветительской, — явно стала преобладать вторая тенденция, шедшая в общем русле петровской политики. В это время в России и многие старые литературные жанры и средства начинают использоваться в новых целях, иногда, казалось бы, совершенно несовместимых с прежними. Например, церковнославянизмы и «тяжелые, вычурные книжные выражения и слова» в петровское время, как установил В. Н. Перетц, ложатся в основу «своеобразного жаргона любви, нового поэтического стиля», используются в любовной лирике, в «ариях», в повестях и пьесах, когда речь идет о любовных переживаниях, и т. п. Как писал В. Н. Перетц, авторы любовных песен этого времени избегают простонародных выражений, но «любят употреблять церковнославянизмы и вообще слова и выражения условного литературного языка, сложившегося главным образом под влиянием церковнославянского»²².

«Литературная деятельность, направленная на важные вопросы государственного и общественного быта, — замечает о петровском времени А. Н. Пыпин, — как было, например, у Посошкова, — еще не находит себе формы, не может стать книгой и является то в форме „дополнения“, то в форме старинного „поучения отца к сыну...“»²³.

С начала XVIII в. новые функции приобретают язык старинного делопроизводства и старые деловые жанры. Они используются теперь в формирующемся газетно-журнальном деле. И петровские «Ведомости», например, наполняются, по нашему наблюдению, сообщениями, форма которых нередко повторяет формуляр воеводских отписок, статейных посольских списков, росписей и пр. Печатные программы пьес Славяно-греко-латинской академии в некоторой степени напоминают о доношениях и реляциях, также издававшихся в виде отдельных листов и брошюр и в той же степени кратко и суммарно сообщавших о событиях. Усиление давления государственной власти на литературу сказалось на школьной драматургии, обратившейся к политико-панегирической теме. Церковные круги поддерживали военную политику Петра I, и тема прославления побед царя стала в пьесах главной. Эта функция давно

²² Перетц В. Н. Очерки по истории поэтического стиля в России: (Эпоха Петра Великого и начало XVIII ст.) СПб., 1905, I—IV, с. 33—36; СПб., 1907, V—VIII, с. 23.

²³ Пыпин А. Н. Указ. соч, с. 272.

уже отмечена исследователями. Однако мы не знаем, как конкретно совершался перелом: тексты панегирических пьес академии не сохранились, а в дошедшем до нас списке «Страшного изображения» собственно политическая часть драмы оказалась пропущенной. О развитии панегирического начала в основном можно судить по сохранившимся программам пьес 1703—1710 годов.

Программы позволяют заметить, что школьные драмы изображают уже не один, а два взаимопроникающих «высших» мира, первый из которых традиционно восходит преимущественно к богословским понятиям, а второй составляется из понятий и символов политического характера. Уже в «Страшном изображении» появляются Марс роксоланский, или российский, и Орел российский, олицетворяющие Российскую монархию затем почти во всех московских школьных драмах начала XVIII в. В «Свобождении Ливонии» предстает целый комплекс аллегорий русского государства — Ревность российская, Отечества российские, Крепость российская, Храбрость российская и пр.

Эти аллегории России по крайней мере равны традиционным богословско-библейским персонажам или даже превосходят их. Подобное равенство проводится, например, в «Свобождении Ливонии», где Россия и Крепость российская занимают равное место в совете вместе с Благочестием и Правоверием: «Сяду в совете Благочестию с Правоверием, с Крепостью российскою и трема Россиями...» (218). Насколько можно судить по программам пьес, Россия в качестве персонажа ставится выше богословских аллегорий и библейских символов. Они ей служат, они ее восхваляют. Так, Благочестие укрывается под крылья Орла российского; он покровительствует ей, а не наоборот: «Благочестие под крилома Орла великороссийскаго неврежденно Марсу российскому дает крест и мечь» («Торжество Мира», 205). Глас высшего велит библейскому Моисею идти на помощь России: «Иди на помощь Ревности... сие свободиши отечество Росска от Хищения неправедна» («Свобождение Ливонии», 225). Россия венчает главу библейского Иисуса Навина: «Россия... венцами венчает прехрабрых воинов главы, Иисуса Навина, Марса и Мужества православнаго, ключи же отдает воюющей Церкви...» («Ревность православия», 214). «Гениуш» апостола Петра составляет похвальную анаграмму Петру I: «Гениуш Петра, святаго апостола... его царскому пресветлому величеству, всея России самодержцу... похвальная анаграммата из имени его царскаго пресветлаго величества слагает...» («Царство Мира», 199).

С выдвиганием на первый план политических аллегорий усиливается торжественность драм, о чем мы можем догадываться по программам пьес, где эпитет «торжественный» постоянно применяется к персонажам такого рода. В «Торестве Мира» «час на знаменях торжественных некая надписания его царскому пресветлому величеству, большия победы провещающия, полагает...» (206); в «Ревности право-

славия» «знамения торжественные» изображаются не раз и, наконец, «Россия на торжественной колеснице является» (214); в «Свобождении Ливонии» Россию не только «сретают ю на торжественной колеснице», но «со трубным торжественным гласом... и торжественными вратами въехавше... И се приходит пред ню Торжество в лявре со палмами...» (227).

Таким образом, сравнительно с традиционной изменилась в пьесах художественная трактовка надчеловеческого мира. Аллегорические персонажи перестали надзирать за благонравным поведением юношей и занялись политикой. Их преимущественным вниманием пользовалось не абстрактное человечество, а Россия. Так готовились предпосылки для резкого «оживления» надчеловеческих персонажей.

2. «ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ» АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.

В московской школьной драматургии в течение первой четверти XVIII в. произошли значительные перемены. Школьная драма выходит за стены учреждения, близкого церкви (Госпиталь уже заведение чисто светское). В пьесах Госпиталя все подчиняется уже одной главной цели — политико-панегирической. Для драматургов 1720-х годов ясность и четкость выражения их общественно-политической позиции становится главнейшей целью. Эта черта определяет поэтику их сочинений и приводит к созданию новой разновидности школьных драм.

Пьесы 1720-х годов прежде всего сравнительно коротки, композиция их проста, действие развивается прямолинейно, без излишних украшений и отвлечений в сторону. Собственно действие в пьесах, в сущности, отсутствует. Все служит тому, чтобы разъяснить политическое положение в мире, уже установившееся в результате какого-либо известного всем события. Например, «Слава российская», написанная по поводу успешного персидского похода Петра I, в основном состоит из ряда статичных сцен, которые изображают признание главенства России странами, ранее ей враждебными (Швецией, Польшей, Персией, Турцией). В «Славе печальной» — так же статично показывается смятение тех стран (и всей вселенной) в связи со смертью Петра Великого. Зрителям предлагается понятный политический комментарий к событиям, подготовленный в драматической форме.

Пьесы 1720-х годов своим подходом к теме напоминают многочисленные слова и речи проповедников тех лет. Недаром авторы стихотворных драм 1720-х годов включают в тексты большие прозаические проповеди — на те же темы, о которых говорится и в стихотворных монологах. Подобно проповедникам, драматурги прибегают к латинским выражениям — не для того, чтобы затемнить основной смысл пьесы, а

чтобы сильнее привлечь к нему внимание. И подобно тому, как авторы в печатных изданиях своих проповедей выделяют отдельные важные фразы крупными буквами, так и авторы драм выставляют перед зрителями специальные пирамиды с надписями (в «Славе российской») или заставляют аллегорических персонажей не только декламировать, но и писать некоторые стихи перед зрителями (в «Славе печальной»).

Сходство проповедей и школьных драм в 1720-х годах свидетельствует о следующем. К концу царствования Петра I сильно изменились почти все литературные жанры, в том числе церковная проповедь; формировалась поставленная на службу государству новая русская официальная литература. Школьные драмы 1720-х годов участвовали в выработке стилистических признаков официальной литературы, что мы покажем далее на некоторых примерах.

Стремление драматургов к максимальной ясности политического смысла своих произведений вступило в противоречие с традиционным отвлеченным аллегоризмом школьной драматургии. В пьесах 1720-х годов мы можем наблюдать значительное проникновение «земного» образительного начала в систему аллегорий и символов. Речь идет не только о прибавлении более «земных», аллегорических действующих лиц, например, России, Швеции, Персии и т. д. Подобное произошло к середине 1700-х годов. В пьесах же 1720-х годов обнаруживается новая, необычная для русских школьных драм особенность: события и церемонии, имеющие политический характер, не только обозначаются символически, но и непосредственно изображаются (хотя все-таки в условной сценической форме).

Так, в «Славе печальной» показываются похороны императора. На сцене стоит гроб, и Россия обращается к предстоящим у гроба:

Что же надолзе стоите, храбры кавалеры?
 Аще есте пред Петром несумненно веры
 благочестны, вы гроб сей со страхом возьмите,
 с феатра днесь в печали уже отнесите (310)¹

И под пение народа гроб несут:

Сей последний наш Петру возносим глас,
 драгий гробнося в печалны оны час,
 Петр Алексеевич, прости, государю,
 россиски царю (313).

¹ «Слава печальная» и «Слава российская» — РРД, т. 3 / Текст памятников подгот. О. А. Державина.

Сноски в данном разделе удобнее делать по мере упоминания источников.

Сходное явление замечается и в «Славе российской», второй акт которой изображает коронование Екатерины, жены Петра: «Слава гласит о короновании Добродетели российской; Истина, Благочестие и Предупреждение короны приносят». Если политические намеки школьных драм начала XVIII в. можно толковать по-разному и они не всегда понятны, то политический смысл пьес 1720-х годов предельно ясен.

Изменения такого рода произошли не только в драматургии. Стремление дать максимально четкую оценку изображаемых общественных явлений и событий, в ясной форме многократно подчеркнуть, даже выпятить, главную идею и тем самым избежать двусмысленности и недоговоренности стало преобладающей стилистической нормой для различных жанров официальной литературы петровского времени. Напомним о множестве изданий, в особенности второй половины царствования Петра, которые, как правило, снабжались гравюрами, чертежами, картами и иными иллюстрациями, пояснявшими смысл текста. И сами тексты нередко выделялись картинностью изложения.

Симптоматично, например, следующее явление. Если ранее печатались краткие программы больших театральных постановок, то в 1720-е годы начинают издавать подобные «объявления» даже о сравнительно коротких цирковых представлениях, не только перечисляющие все цирковые номера, но и описывающие почти каждое движение артиста в номере (ср.: Объявление о чудном муже: его же иные вторым Сампсоном называют. СПб., 1719; Объявление всякаго чина персонам особам, какие поспешные дивотворствии и протчие забавные действия в государствах презентованы. СПб., 1723). Будущие зрители могли совершенно точно знать, что они увидят и в чем смысл зрелища.

Изобразительность, способствующая ясности основного смысла произведения, входит как элемент стиля даже в проекты реформ и различные «регламенты» петровского времени. Так, И. Т. Посошков в «Книге о скудости и богатстве» 1724 г., говоря о многообразных «неисправностях» в России, включает в книгу описания эпизодов из своей жизни, позволяющие яснее обосновать необходимость предлагаемых им реформ².

Необычную образность языка «Духовного регламента» 1721 г., основного наставления для духовенства, исследователи отмечали неоднократно³.

Проповедники 1710—1720-х годов, также усиленно заботившиеся о том, чтобы аудитория могла легко следить за ходом их мыслей, вставляли в свои речи облегчающие восприятие повествовательные картины. Так, Гавриил Бужинский, произнося перед царем речь в похвалу Петру как основателю Санкт-Петербурга, развертывает целый рассказ о

² См.: *Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения* / Изд. подгот. Б. Б. Кафенгауз. М., 1951.

³ См., например: *Морозов П. Феодан Прокопович как писатель*. СПб., 1880, с. 227—255.

топографии нового города, о поворотах и протоках Невы, об островах на реке и пр.⁴.

Подобного рода описания, необычные для проповедей более раннего времени, к 1720-м годам все чаще используются в «словах» проповедников. Тот же Гавриил Бужинский в «слове» по поводу взятия Шлиссельбурга, произнесенном в 1719 г., рассказывает о штурме крепости, не забывая упомянуть, как русские воины под вражеским огнем подплыли под стены, нашли подходящее место для высадки, как обнаружили, что их лестницы коротки, чтобы штурмовать стены, и как преодолели и эту трудность и т. д.⁵. Другой проповедник — Феофилакт Лопатинский — также образно говорит о победе русской армии: «Трудно дом оставить, мушкет и фузею носить, различные далекие страны и земли обтицати, маршеровати по Ингерманландии, Лифляндии, Финляндии, Естляндии, Карелии, Померании, Полши, Саксонии, Пруссии, Дании, Меклембургии, Госации, Молдавии и прочих»⁶. Торжественный характер приведенного перечисления несомненен, но для духовных проповедей необычны и содержание, и реалии изображаемой картины.

Даже Феофан Прокопович, в своих «словах» менее склонный к конкретным, зримым деталям, все-таки напоминает слушателям о том, как Петр чудом избежал смерти во время Полтавской битвы: «Засвидетельствова страшный случай мужественное его смерти небрежение, — рассказывает Феофан Прокопович о Петре, — шляпа пулею пробита. О, страшный и благополучный случай! Далече ли смерть была от боговенчанной главы!»⁷.

Стремление авторов к ясной и точной досказанности преобладало над прочими литературными соображениями. Умер Петр, и, чтобы все уяснили причину его смерти, Феофан Прокопович публикует «Краткую повесть» о смерти царя, где вместо обычных общих рассуждений по поводу несчастья дает подробную, детальную, даже натуралистическую картину болезни и смерти императора российского⁸. Такое же точное обозначение явлений жизни вместо намеков или философствования о них выделяют и повести петровского времени, например любовные. Здесь также все называется своими именами.

⁴ Полное собрание поучительных слов, сказанных в высочайшем присутствии государя императора Петра Великого преосвященным Гавриилом Бужинским... / Иждивением Н. Новикова и компании. М., 1799, с. 15—17.

⁵ *Гавриил Бужинский*. Ключь Дому Давыдова на рамо богохранимой державе российской от трипостаснаго победителя данный, благочестивейшему же императору и монарху всероссийскому Петру Первому врученный. М., 1722, л. 14, 16 об.

⁶ *Феофилакт Лопатинский*. Слово о богодарованнем мире. СПб., 1722, л. 7.

⁷ *Феофан Прокопович*. Слово похвальное о баталии Полтавской. СПб., 1717, л. 9.

⁸ *Феофан Прокопович*. О смерти Петра Великого императора Российскаго краткая повесть. СПб., 1726.

Стремление к ясности и образительности в известной мере подрыывает саму основу школьной драмы, изменяет абстрактный характер ее аллегорических персонажей. Если в школьных драмах начала XVIII в. аллегорические персонажи действовали где-то в надземном, надчеловеческом мире, то в пьесах 1720-х годов происходит их «опущение» на землю, их «очеловечивание». У персонажей появляются руки, ноги, колени, голова, глаза, сердце и пр. Они начинают напоминать людей и внешностью, и чертами характера. В них начинает преобладать земное, светское начало. Вот некоторые примеры. В «Славе российской» Марс говорит самому себе: «Вы, нозе трудолюбны, ныне отдохните» (271). А в «Славе печальной» тот же персонаж добавляет: «Военну шапку сниму, так светлу шпагу, лучше мне скитаться и ходити нагу» (294).

Россия также превращается в человеческое существо с «веселой персоной». В «Славе российской» Персия обращается к России: «Того ради под нозе себе повергаю, рабски же и колене тебе преклоняю» (275). Нептун обещает России: «На мори ти помощи подам щедру руку... Соплетай главе твоей и лавры пернаты» (264). О России поют: «Россия кажет веселу персону своему трону» (281).

Земная, человеческая сущность даже самих абстрактных аллегорий уже совершенно не скрывается. Россия называет Предуведение «человеком добрым»: «Загадку отгадай нам, Гениуше бодры, загадал сию вчерась так человек добры», — говорит она о Предуведнии («Слава печальная», 291). А самого Гениуша называет «мальчиком малым»: «Мальчик малы, не диво, гадать не умеешь, еще во младости ты толко что цветнеешь» (292)⁹.

В школьных пьесах 1720-х годов нередко используется подобный литературный прием, грубовато, наглядно и ясно представляющий реальные отношения государств и ход политических событий тех лет. Примечательно, что аллегорические герои в пьесах как бы объединены в человеческую «компанию», в которой они ворчат, препираются, угрожают и даже дерутся. В язык их прорывается просторечие. Нептун говорит России: «Убоятся тя врази, не сотворят драки» («Слава российская», 262). Марс обещает: «Врагом твоим закуски твои будут слани» (264). Турция угрожает: «Кто ко мне днесь кинется з голою рукою?» (265) — и ворчит на другие страны: «И у вас в том, как вижу, разума не стало» (269). Персия примирительно предлагает: «Что много думать, тебе мир с Россы имети» (270) — и укоряет других: «Умеете за печью разсуждати смело», «Билася с Россиею, что ж там поживилась?» (273). Даже Гнев в этой компании аллегорических персонажей заявляет так: «Мы и в ус

⁹ Члены тела отмечаются, например, у персонажей украинских школьных пьес XVII в., но в абстрактно-символическом смысле. Так, в «Царстве Натури людской» 1698 г. Гнев Божий говорит: «Вежд се, что завет Божи цел не сохранить, ест то в уста вдарити, купно заушити» (Резанов В. И. Памятники русской драматической литературы. Нежин, 1907, с. 138).

не дуем!» (280). А в «Славе печальной» следующим образом рассуждают о Смерти (тоже аллегорическом персонаже): «Когда б тогда Смерть вшедшу мы бы увидали, чем ни попадя, тотчас всю бы забросали» (309).

Аллегорические персонажи действительно мыслятся объединенными в некую «компанию», что подтверждают их речи. Например, Россия сообщает о себе остальным государствам и аллегорическим лицам: «Се и российский скипетр в компанию срящет, суть днесь едино, убо всяк покой обращет» («Слава российская», 270).

Даже «тот свет» в пьесах представляется в совершенно земном, светском виде, — как человеческое объединение, как особое государство, другая «нация». Так, Россия возвещает о Петре: «Преставися, умре, отиде от России в другую нацию, государство небесное» («Слава печальная», 310). Нептун вместе с Мудростью и Марсом считают себя чем-то вроде учреждения, наделенного определенными полномочиями: «Истинно мы России днесь есмы врученны и помогати во всех нуждах учрежденны» («Слава российская», 263).

Произведения иных жанров официальной литературы, имея дело с аллегорическими и абстрактными понятиями и символами, также персонифицируют их в целях большей ясности и наглядности излагаемых мыслей. Персонификация аллегорических персонажей, в том числе государств, не имела юмористического характера в литературе Петровского времени. В противном случае образы России и российского Марса получили бы совершенно неуместный комический оттенок. Но изображение других государств нередко сопровождалось саркастическими и сатирическими выпадами, отчего персонификация аллегорий стала чаще встречаться именно в сатирическом контексте. См., например, в брошюре 1723 г. «Книги политическия, которыя продаются в Гаге», — политическом памфлете, написанном в форме объявления о содержании якобы продаваемых в Гааге книг: «Жалостное вздыхание Франции, сетующей о приближении совершенного возраста короля своего», «Европа в болезнях при начатии рождения с прогностиками о юрде...», «Гибралтар и порт Магон, на торг вынесенные для продажи, кто больше даст» и т. д.¹⁰ Даже в текстах церковных служб замечается это новое влияние. Например, в церковной службе 1725 г., сочиненной Гавриилом Бужинским, упоминается Варяжское море, которое подобно человеческому существу плещет руками. «Веселися Ижерская земля и вся Российская страна, — говорится в церковном песнопении, — Варяжское море, восплеши руками; Нево-реко, распространи своя струи...»¹¹.

¹⁰ См.: *Рейсер С. А.* Книги политические, которые продаются в Гаге // Описание изданий гражданской печати: 1708 — январь 1725 г. / Составители Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.; Л., 1955. Приложение VII, с. 561, 563.

¹¹ *Гавриил Бужинский.* Месяца августа 30 дня. Служба благодарственная Богу, в Троице святей славимому, на воспоминание заключенного мира между империею Российскою и короною Свейскою. СПб., 1725, л. 4.

Такого рода образные (и поэтому доходчивые) благодарения возносятся в честь победы России над Швецией.

Официальная литература 1710-х — 1720-х годов, по крайней мере в литературной трактовке событий, отходит от Бога и переходит к человеку, уподобляя политику государств поведению отдельных людей. Так, Феофан Прокопович объяснял создание флота в России примером жизни в деревне: «Не сыщем ни единой в свете деревни, — говорил он в слове по поводу морских побед над шведами, — которая над рекою или озером положена, не имела бы лодок: а толь славной и сильной монархии, полуденная и полуночная моря содержащей, не иметь бы кораблей... Стоим над воюю и смотрим, как гости к нам приходят и отходят, а сами не умеем»¹².

Подобным же образом Феофан объяснял возникновение войны между Россией и Швецией — завистью этого государства к крепнущей России, подобной зависти и соперничеству соседа к соседу. «Не живет зависть в разности, живет в близкости, — пояснял Феофан, — воин воину, властелин властелину, художник такожде дела завидит художнику... Кто же не видит, аще не тако деется и в ближних себе народах, аще не тожде содеяся и в соседях наших»¹³.

Процесс формирования стилистических черт официальной литературы петровского времени замечается и в том, что школьные драмы 1720-х годов демонстрируют особое искусство выражения политических идей и представлений, ранее в драматургии не развитое в такой степени. Круг подобных идей и представлений в пьесах довольно узок — это в основном темы зависимости одних стран от других или преобладания одних стран над другими, темы взаимопомощи, военного «труда», славы и процветания государств. Но свое выражение перечисленный круг идей находит в огромном количестве разнообразных повторений и синонимических фраз, что способствует ясности и рельефности смысла пьес почти в каждой строке. Например, тема величия России, важнейшая для всех пьес 1720-х годов, выражается многократно повторяемой формулой «прежде — ныне»:

Прежде злыя пагубы Россию сретали,
 Ныне на ню вся блага себе излиляли;
 Все, иже прежде на ню роги возносиша,
 Ныне ся ей покорно под нозе смириша (266).

¹² Феофан Прокопович. Слово похвальное о флоте российском и о победе галерами российскими над кораблями шведскими. СПб., 1720, л. 5.

¹³ Феофан Прокопович. Слово похвальное о баталии Полтавской. СПб., 1717, л. 3.

Эта формула о России повторяется в «Славе российской» почти в каждом монологе:

Слышах прежде бесчестну, ныне благородну;
 прежде и дань даяше, а ныне свободну.
 Аще бо и бедна бо прежде Россия,
 Но ныне возсияша времена благия (268).

Не менее часто используется эта формула и в «Славе печальной»: «Россия бех прежде посмеваема, поругаема, озлобляема, бесчестна, неславна; ныне обогащаема, почитаема, поклоняема, страшна врагом...» (286) и т. д. Количество повторений формулы и ее разнообразных вариаций очень велико. Свои формулы в пьесах имеют и иные темы, упомянутые выше; притом у каждой пьесы 1720-х годов есть своя главная тема, формула которой варьируется особенно многообразно.

Формула «прежде — ныне», как и многие другие, чрезвычайно широко использовалась в литературе петровского времени, преимущественно в сочинениях «высоких», «торжественных» жанров светского характера. Государственная власть была заинтересована в том, чтобы пропагандировать и разъяснять свою политику, и даже регламентировала способы разъяснения и убеждения, вплоть до отдельных доводов и формул, которыми нужно пользоваться. Недаром в одной из своих проповедей, произнесенных в присутствии царя, Феофан Прокопович определял, каким должен быть ход рассуждений оратора, говорящего о победе России над Швецией, притом им была подчеркнута роль формулы «прежде — ныне». «Долг великий лежит на всех, — говорил Феофан, — как духовных пастырях, так и мирских начальниках, и прочих, кто либо и известнее ведает и яснейше сказати может о богоданных нам в прошедшей войне поспешествах и благополучиях. Долг на всех таковых лежит беседами, разговорами, проповедями, пении и всяким сказания образом голковать и изъяснять вслух народа, что мы прежде войны сея были и что уже ныне, какова была Россия и какова есть уже...»¹⁴.

Интересно отметить, что драматурги 1720-х годов, очень внимательные к формулам с публицистическим содержанием, небрежно относятся к формулам и выражениям риторического характера. Так, желая жазать о полной победе библейского Самсона над врагами, автор «Диалога о Гофреде» не замечает, к чему приводит неудачное использование формулы «попирать ногами» — победить.

¹⁴ Феофан Прокопович. Слово о состоявшемся между империею Российскою и короною Шведскою мире. СПб., 1723, л. 2. Ср. ту же формулу у Гавриила Бужинского, который обращается к России: «...сотвори ты прежде укоризненную, ныне всем ужасную и преславную». (Гавриил Бужинский. Слово благодарственное Богу троипостасному о полученной победе над Карлом вторым надесять королем шведским и войски его под Полтавою. СПб., 1720, л. 2).

Самсон, глаголют, сильный, иже побеждаше
тысящей фелистимов и их прогоняше,
Ослею челюстею главы сокрушая,
острые их ногами мечи попирая (225)¹⁵.

Но попираание острых мечей ногами скорее напоминает о мученичестве святого, чем о победе воина; фраза получается двусмысленной. Недаром именно к этой строке писцом или читателем XVIII в. в списке драмы были сделаны пояснения смысла.

Сочинители пьес иногда забывают о стилистических оттенках той или иной формулы или выражения, употребляя их не совсем к месту. Например, в «Славе российской» выражения «сломить роги», «престать взносить роги», обычно применяемые только при характеристике врагов России, однажды употребляются и по отношению к самой России. Если это выражение уместно используется, например, в монологе Истины, предсказывающей поражение враждебных России сил («престанет взносить роги гордая измена» — 260) и во многих иных случаях, то оно явно неудачно, когда Гордость говорит о России: «но крепкия роги сломим» (280), ибо и друзья и враги в драме, говоря о России, не обращаются к этому выражению.

Дело не в случайных ошибках, а в своеобразном стилистическом эклектизме драматургов. Одни и те же выражения, метафоры, сравнения в одной и той же драме могут употребляться в разном смысле — то книжно-церковном, то публицистико-политическом, то народно-лирическом. Например, в «Диалоге о Гофреде» метафора «крын» (цветок) имеет не только традиционно-церковный смысл, обозначая правую веру («Паде благочестие злата диадима... Увяде крын прекрасный в руках сарацина» — 239), но служит лирическим символом гибнущего человека (Смерть говорит: «И ныне кто противо мне, пресилной, станет, аки крын от мороза, вскоре увянет» — 255) и одновременно относится к светским политическим понятиям, символизирует мирное время:

Коль благо, коль приятно изобилно жити
в сластех, нежели в крови на бранех ходити:
Вместо меча, кровию в руках обогренна,
носить крын, красотою всюду испещренна (250).

Точно так же в пьесе о Гофреде стилистически разнородно противопоставление «свет — тьма». То оно имеет церковное содержание, обозначая «веру — безверие» («из тмы неверствия во свет изведена» — 253), то входит в состав описания битвы в стиле воинских повестей:

¹⁵ «Диалог о Гофреде, победившем сарацины» — РРД, т. 3 / Текст памятника подгот. О. А. Державина.

День — ночь, свет — тма на бранех бывает,
 брат брата превеликой тмы ради не знает (250).

В школьных драмах 1720-х годов, очевидно, наблюдается разрушение старой стилистической системы, представленное, правда, гораздо слабее, чем, например, в повестях Петровского времени, где разнотильность составляет один из важнейших и ярких признаков этих произведений¹⁶. Стремление к ясности и точности, отмеченное нами в драмах и иных произведениях первой четверти XVIII в., преимущественно официальных, концентрировало внимание авторов на новых проблемах и на новом языковом материале и делало авторов относительно равнодушными к устаревшим «высоким» формулам и выражениям.

О несомненной принадлежности школьных драм 1720-х годов к официальной литературе свидетельствует и эмоциональная настроенность авторов. Отвлеченная экспрессия сменилась у них гражданским чувством, вызванным тем или иным государственным событием. Особенно сильно лирическое чувство выразилось в «Славе печальной». Изображение смерти Петра I в драме стало лирическим образом, породило цепь художественных ассоциаций.

Петр, по пьесе, не просто умер, но его «не стало». Он вдруг все оставил, покинул, ушел: «Ему моря любима, он ли их оставит», «что б за премена ему науки покинуть» (292); «отшел от сего света до века кончины и нас не взял с собою, сам толко едины» (309); «оставил тя, Россие, сам в вечность прешедши. „Прощай, моя Россие“, — он рече отшедши» (293). Драма передает щемящее воспоминание об умершем, словно куда-то ушедшем человеке.

Но принцип четкости и ясности проводится и в изображении смерти Петра, несмотря на искреннее потрясение автора пьесы. Не остается романтической недосказанности о том, где же Петр. Автор видит его в гробу перед собой: «Не на поли, но в гробе уже почивает, не с Марсом, но с смертью нам себя являет» (294); «зрю Петра Российскаго, зрю во гробе бледна» (296) и т. п.

Примечателен в пьесе финал. «Слава печальная» заканчивается в оптимистических, радостных тонах. Конечно, «россы рыдают», оплакивая смерть Петра. Но радуется Вечность: «торжествует днесь Вечность, яко зрит уже в вечных благих покоях того, иже в житии своем не единого покойнаго часа имеяше, видит храбрейшаго храбрейших, кавалера приемлет, веселящися. Триумфует... Вечность» (302). И Вечность поздравляют с приходом Петра: «Вечносте драгая, днесь тебе поздравляем, добродетелей Петра глас неумолкаем», «годен авдиенцие в полате небесной» (305—306). «Батюшка-государь, — обращаются персонажи к

¹⁶ См., например: Русские повести первой трети XVIII века / Исследование и подготовка текстов Г. Н. Моисеевой. М.; Л., 1965, с. 54—56, 149.

Петру, — у Бога днесь в царстве, ликуй, торжествуй храбро в горнем государстве» (308).

Характерно, что в этой пьесе впервые появляется, правда, только однажды, не получая развития, образ громадной России, ставший обычным затем в одах. Россия в пьесе восклицает:

Горких слез ввидите в мя полны окояны,
остры мечи России люты дайте раны,
И звери вся созданны мене раздерите,
горы, яже суть везде, се ныне падите (293).

Перед нами, пожалуй, одно из первых больших произведений на пути формирования русской гражданской лирики.

Что же касается образа «ушедшего» Петра, то даже в проповедях и стихотворениях, специально посвященных его смерти, художественное развитие темы остается в зачаточном виде. Так, Гавриил Бужинский в «Слове в день годищнаго помяновения по блаженной памяти преставившагося благочестивейшаго государя Петра Великаго...» не выходит за рамки обычных риторических восклицаний: «Воззри всяк на сей пред очесами нашими предлежащий плачевный саркофаг; он всякаго проповедника яснее, всякия трубы гласнее проповедует, чесога мы, российстии сынове, лишихомся, кая благополучия наша в нем суть погребенна» и т. д.¹⁷. Риторично, например, и большое стихотворение — почти поэма — о смерти Петра «Что за печаль повсюду слышится ужасно?»¹⁸.

Школьные драмы 1720-х годов были более лиричны, чем проповеди и слова. В составе официальной литературы к драмам по своему настроению были близки так называемые «петровские канты»¹⁹. Недаром отдельные канты включались в состав драм, и ни одна пьеса школьного театра не обходилась без них.

Формирующаяся официальная панегирическая литература петровского времени, несомненно, выражала чувства с разной степенью интенсивности; школьная драма с кантами составляла «экспрессивный» раздел официальной литературы, в то время как проповеди и речи (в том числе стихотворные) больше предназначались собственно для разъяснений и рассуждений.

¹⁷ Гавриил Бужинский. Слово в день годищнаго помяновения по блаженной памяти преставившагося благочестивейшаго государя Петра Великаго... СПб., 1726, л. 1.

¹⁸ Перетц В. Н. Заметки и материалы для истории песни в России. СПб., 1901, I—VIII, с. 59—63.

¹⁹ О кантах см., например: Ливанова Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII в. в ее связях с литературой, театром и бытом: Исследования и материалы. М., 1952, т. 1, с. 453 и сл.

Итак, в какой связи находились две группы художественных представлений — о мире надчеловеческом и о мире человеческом? Иными словами, «очеловечивание» аллегорических персонажей имело ли отношение к развитию представлений о переменчивости жизни, описанных нами ранее? Взаимосвязанность представлений четко прослеживается на примере «Действия об Есфири», сочиненного в 1722—1724 гг. на тот же сюжет, что и «Артаксерксово действо» XVII в.²⁰ Если в «Артаксерксовом действе» выразились представления об энергичности человека, насыщенности и переменчивости человеческой жизни, то в «Действии об Есфири» те же представления вполне распространились на надчеловеческий мир.

В «Действии об Есфири», как и в прочих школьных пьесах 1720-х годов, у аллегорических персонажей не только внешность людей — «зрятся» лицо, зубы, ноги (Слава, например, хвалит себя: «Едва ли в свете найдется так кулиер скоры, // не препятствуют ногам ни леса, ни долы» — 253)²¹. С аллегорическими героями люди ведут себя почти как с людьми. Хоть и опасаются неожиданных пришельцев, но просят назвать свое имя. Мардохей, например, настаивает: «Кто вы пришли, от страху не могу познати; // благоволите свое мне имя сказати» (240). Аман обращается к Злобе и Зависти как к своим знакомым — «другиням»: «Вас ныне, другини, в помощь себе призываю» (244). И «другини» охотно откликаются. Этих «другинь» человеку теперь с легкостью можно и презирать. Мардохею советуют: «Зависти и Злобе восмейся» (245), что он и делает. Надчеловеческие существа низведены на уровень людей.

И тут мы замечаем у аллегорических персонажей «Действия об Есфири» те черты, которые когда-то отметили у действующих лиц «Артаксерксова действа». Аллегорические персонажи теперь тоже подвижны, энергичны и деловиты. Так, если Гордость свергают, то она не иначе, как «стремглав с престола падает» (237). Если Зависть отвлекают разговорами, то она возражает: «Что долго разсуждат, обратимся к делу» (265).

Аллегорические герои «Действия об Есфири», подобно героям «Артаксерксова действа», принимают деятельное участие в «пременной» жизни. Малейшие перемены с человеком не проходят мимо их внимания. Изменилось настроение Мардохея, и сразу же Добродетели беспокоятся: «Почто тебе внезапно видим так переменна?» (240). Аллегорические персонажи верят в неотвратимость перемен в жизни человека. Например, по их уверениям, если плохо тебе сейчас, то «будет тебе благо, //

²⁰ Сопоставление сюжетов пьес об Есфири см.: Державина О. А. Русско-европейские литературные связи в области драматургии на рубеже XVII—XVIII веков. (История Есфири на школьной сцене западноевропейского и русского театра.) // Славянские литературы: VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. М., 1973, с. 282—294.

²¹ РРД, т. 4 / Текст памятника подгот. О. А. Державина.

днес видится скрыто, потом узриш наго» (241). В пьесе действует и особо склонный к переменам аллегорический персонаж — Фортуна, которая даже сама «изумевается, видев коло свое скоро обращающая» (253). Аллегорические персонажи включены в перменчивое течение жизни на одинаковых правах с людьми.

Любопытный факт свидетельствует о том, что надчеловеческий мир теперь опущен на землю. В «Действии об Есфири» Фортуна, «прелестное счастье», противопоставлена Промыслу Божию. В прологе пьесы осуждаются те, кто «на прелестную Фортуну уповаше, не знаючи промысла Божия». «...Зценического действия нашего, — продолжает автор, — зритель может чудному промыслу Божию удивитися и прелестной Фортуне посмеятися». Автор осуждает «скоро прменяющуюся Фортуну, не имущую утверждения от воли Божия» (238). Удивительно то, что в XVII в., в «Артаксерксовом действе», подобного противоположения Фортуны и Бога не было; по пьесе «чюдные и пречюдные» перемены счастья в конце концов были освящены Богом. Вероятно, в 1720-х годах аллегорические персонажи стали настолько «очеловеченными», что их деяния понадобилось резко отличать от деяний сил канонически-небесных. Вот почему в «Действии об Есфири» многократно повторяется разъяснение: лишь Бог смотрит на все сверху, «езде промысл Божияго ока, // иже на всех смотряет с высоты востока» (254).

«Действие об Есфири» раскрывает судьбу представлений о переменчивости человеческой жизни. К середине 1720-х годов, как мы уже знаем, эти представления существенно не усложнились, но зато они расширили сферу своего влияния и подчинили себе надчеловеческий мир школьной драматургии. «Очеловечивание» аллегорических героев неизбежно должно было привести к такому результату.

Исследователям нередко приходится сталкиваться с явлением тесной связи, иногда даже неразличимости произведений театров школьного, придворного и демократического в России первой половины XVIII в.²² Речь идет о связях не столько организационных, сколько творческих, ибо сходны были сами представления о жизни и человеке, совпадало само отношение к аллегорическим персонажам у школьных, придворных и демократических сочинителей пьес.

1977 г.

²² Об этом говорил в одном из своих выступлений П. Г. Богатырев. См. также: *Сперанский М. Н.* Рукописные сборники XVIII века. М., 1960.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ¹

1. Сокращения слов повсеместные

в. — век
вв. — века
г. — год
гг. — годы (точно указанные)
и др. — и другие (в конце фразы)
и мн. др. — и многие другие (в конце фразы)
и пр. — и прочее (в конце фразы)
и сл. — и следующие (страницы, столбцы)
и т. д. — и так далее (в конце фразы)
и т. п. — и тому подобное (в конце фразы)
см. — смотри
ср. — сравни

2. Сокращения слов в примечаниях и сносках

Автореф. дис. — автореферат диссертации
б. г. — без указания года
вып. — выпуск
гл. — глава (только при ссылках на Библию)
гос. — государственный
доп. — дополненное (издание)
изд. — издание
имп. — императорский
испр. — исправленное (издание)
кн. — книга
Л. — Ленинград (в выходных данных); лист, листы
М. — Москва (в выходных данных)
нenumерованн. — нenumерованный (лист)
новонайденн. — новонайденные (сочинения)
об. — оборотный (лист рукописи)
Пг. — Петроград (в выходных данных)
перераб. — переработанное (издание)
подгот. — подготовил, подготовила, подготовили
с. — страница, страницы
сб. — сборник (только в выходных данных)
сов. — советский
СПб. — Санкт-Петербург (в выходных данных)

¹ В списке не учтены: 1) сокращения, употребляемые авторами в названиях их книг и статей, а также в цитатах из их работ; 2) сокращения, принятые в обозначениях редакций произведений и в шифрах рукописей; 3) нерусские сокращения в отсылках на иностранные издания.

- стб. — столбец, столбцы
 т. — том, тома
 указ. соч. — указанное сочинение
 ч. — часть

3. Неполные названия изданий в сносках

- Адрианова-Перетц — *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968.
 Летопись по Лаврентиевскому списку — Летопись по Лаврентиевскому списку, 3-е изд. / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. СПб., 1897.
 Русские повести XV—XVI веков — Русские повести XV—XVI веков / Составитель М. О. Скрипиль. М.; Л., 1958.
 Срезневский — *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. М., 1958. Т. 1—3.
 Тихонравов — Памятники отреченной русской литературы / Изд. подгот. Н. С. Тихонравов. СПб., 1863. Т. 1—2.
 Успенский сборник — Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. Указываются страницы и столбцы издания.
 Шестоднев — Шестоднев, составленный Иоанном Экзархом болгарским. Слово в слово и буква в букву / Текст памятника подгот. О. М. Бодянский // ЧОИДР. М., 1879, кн. 3. Указываются листы и столбцы издания;
 Яковлев — *Яковлев В. А.* К литературной истории древнерусских сборников: Опыт исследования «Измарагда». Одесса, 1893.

4. Аббревиатуры в сносках²

- ААЭ — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Академии Наук. СПб., 1836, т. 1—3; 1837, т. 4.
 АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1841, т. 1—3; 1842, т. 4—5.
 АН — Академия Наук.
 АЮЗР — Акты Юго-Западной России.
 БАН — Библиотека Академии Наук.
 ВМЧ — Великие Минеи Чети, собранные всероссийским митрополитом Макарием. СПб., 1868, сентябрь, дни 1—13; 1869, сентябрь, дни 14—24; 1883, сентябрь, дни 25—30; 1870, октябрь, дни 1—3; 1880, октябрь, дни 19—31; 1897, ноябрь, дни 1—12; М., 1917, ноябрь, дни 23—25; 1901, декабрь, дни 1—5; 1904, декабрь, дни 6—17; 1912, апрель, дни 8—21.
 ВОИДР — Временник Общества истории и древностей российских.
 ГИМ — Государственный исторический музей.

² Сокращенные обозначения учреждений употребляются и в основном изложении.

- ГПИБ — Государственная публичная историческая библиотека.
- ДАИ — Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археологической комиссией. СПб., 1846, т. 1—2; 1848, т. 4; 1853, т. 5.
- ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
- ИМЛИ — Институт мировой литературы Российской Академии Наук.
- ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук.
- ИРЛИ — Институт русской литературы.
- ЛГПИ — Ленинградский государственный педагогический институт.
- ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
- МГУ — Московский государственный университет.
- Пам. СРЛ — Памятники старинной русской литературы, издаваемые Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860, вып. 1—2 / Изд. подгот. Н. Костомаров; 1862, вып. 3 / Изд. подгот. А. Н. Пыпин; вып. 4 / Изд. подгот. Н. Костомаров.
- ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси. М., 1978, т. 1: XI — начало XII века; М., 1980, т. 2: XII век; М., 1981, т. 3: XIII век; М., 1981, т. 4: XVI — середина XV века; М., 1982, т. 5: Вторая половина XV века; М., 1984, т. 6: Конец XV — первая половина XVI века; М., 1985, т. 7: Середина XVI века; М., 1986, т. 8: Вторая половина XVI века; М., 1987, т. 9: Конец XVI — начало XVII веков; М., 1988, т. 10: XVII век, кн. 1; М., 1989, т. 11: XVII век, кн. 2; М., 1994, т. 12: XVII век, кн. 3.
- ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830, т. 1, 2, 7.
- ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. СПб., 1846, т. 1; Л., 1927, т. 1, вып. 2 / Изд. подгот. Е. Ф. Карский; М., 1962, т. 2 / Изд. подгот. А. А. Шахматов; СПб., 1848, т. 4; Пг., 1915, т. 4, ч. 1, вып. 1 / Изд. подгот. Ф. И. Покровский; Л., 1925, т. 4, ч. 1, вып. 2 / Изд. подгот. Ф. И. Покровский; СПб., 1851, т. 5; СПб., 1853, т. 6; СПб., 1859, т. 8 / Изд. подгот. А. Ф. Бычков; СПб., 1885, т. 10; СПб., 1897, т. 11; СПб., 1904, т. 13, ч. 1 / Изд. подгот. С. Ф. Платонов; СПб., 1906, т. 13, ч. 2 / Изд. подгот. С. Ф. Платонов; М., 1965, т. 14 / Изд. подгот. С. Ф. Платонов и П. Г. Васенко; СПб., 1863, т. 15 / Изд. подгот. А. Бычков; Пг., 1922, т. 15 / Изд. подгот. Н. П. Лихачев; М., 1965, т. 15, ч. 2 / Изд. подгот. Н. П. Лихачев; СПб., 1913, т. 18 / Изд. подгот. А. Е. Пресняков; СПб., 1903, т. 19 / Изд. подгот. Г. З. Кунцевич; СПб., 1913, т. 21, ч. 2 / Изд. подгот. П. Г. Васенко; СПб., 1911, т. 22, ч. 1 / Изд. подгот. С. П. Розанов; СПб., 1910, т. 23 / Изд. подгот. Ф. И. Покровский; М., 1949, т. 25 / Изд. подгот. Е. П. Борисова, Т. Н. Протасьева, М. В. Щепкина; М., 1959, т. 26 / Изд. подгот. В. И. Буганов, Т. Н. Протасьева, М. Н. Тихомиров; М., 1965, т. 29 / Изд. подгот. М. Е. Бычков и А. А. Зимин; М., 1968, т. 31 / Изд. подгот. В. И. Буганов, В. И. Корецкий, Г. З. Мильготина; М., 1978, т. 34 / Изд. подгот. В. И. Буганов и В. И. Корецкий; М., 1987, т. 36, ч. 1 / Изд. подгот. Е. К. Ромодановская. Указываются столбцы или страницы изданий.
- РГАДА — Российский государственный архив древних актов.
- РДС — Русская демократическая сатира XVII века / Изд. подгот. В. П. Адрианова-Перетц, 2-е изд., доп. Н. С. Демковой. М., 1977.

- РИБ** — Русская историческая библиотека. СПб., 1875, т. 2; 1878, т. 4; 1908, т. 6, ч. 1; 2-е изд., доп. 1909, т. 13 / Изд. подгот. С. Ф. Платонов и П. Г. Васенко; 1894, т. 14; 1898, т. 18; 1903, т. 19; 1906, т. 24; 1913, т. 29; 1914, т. 31 / Изд. подгот. С. Ф. Платонов и Г. З. Кунцевич; Л., 1927, т. 39 / Изд. подгот. Я. Л. Барсков («Житие» Аввакума) и П. С. Смирнов. Указываются столбцы изданий.
- РНБ** — Российская национальная библиотека.
- РРД** — Ранняя русская драматургия: (XVII — первая половина XVIII в.) М., 1972, т. 1: Первые пьесы русского театра; 1972, т. 2: Русская драматургия последней четверти XVII века и начала XVIII в.; 1974, т. 3: Пьесы школьных театров Москвы; 1975. Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в.; 1976, т. 5: Пьесы любительских театров.
- СГГД** — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. М., 1819, ч. 2; 1822, ч. 3.
- СОРЯС** — Сборник Отделения русского языка и словесности Академии Наук.
- ССР** — Советская Социалистическая Республика.
- ТОДРЛ** — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома). М.; Л., 1934, т. 1; 1935, т. 2; 1936, т. 3; 1940, т. 4; 1947, т. 5; 1948, т. 6; 1949, т. 7; 1951, т. 8; 1953, т. 9; 1954, т. 10; 1955, т. 11; 1956, т. 12; 1957, т. 13; 1958, т. 14; 1958, т. 15; 1961, т. 17; 1962, т. 18; 1964, т. 20; 1965, т. 21; Л., 1969, т. 24; 1970, т. 25; 1971, т. 26; 1972, т. 27; 1974, т. 29; 1976, т. 30; 1976, т. 31; 1977, т. 32; 1979, т. 34; 1981, т. 36; 1983, т. 37; 1985, т. 38; 1985, т. 39.
- ЧОИДР** — Чтения в Обществе истории и древностей российских.

БИБЛИОГРАФИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ А. С. ДЕМИНА*

Внутри каждого года перечисляемые работы располагаются по типам публикаций: 1) в виде отдельных изданий; 2) во многотомных изданиях; 3) в составе различных книг; 4) в периодике; 5) на иностранных языках. Внутри каждого из этих подразделов расположение работ зависит от названия изданий (по алфавиту) и тома или номера. Из одного и того же издания сначала перечисляются статьи (в постраничной последовательности), затем — публикации текстов памятников. Редакторская и реферативная деятельность А. С. Демина не отражена в данной Библиографии.

Сокращения, введенные сверх Списка сокращений: Изд-во — Издательство; РЛС — Русская старопечатная литература (XVI — первая четверть XVIII вв.).

1961

1. Отчет об археографической экспедиции в верховья Печоры и Колвы в 1959 г. / Совместно с А. М. Панченко и Ю. К. Бегуновым // ТОДРЛ. М.;Л., «Наука», 1961, т. 17, с. 545—557.
2. Рукописное собрание Чердынского музея им. А. С. Пушкина / Совместно с А. М. Панченко и Ю. К. Бегуновым // Там же, с. 608—615.

1962

3. Две коллекции столбцов Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР // ТОДРЛ. М.;Л., «Наука», 1962, т. 18, с. 458—461.

1964

4. Русские письмовники XV—XVII веков: (К вопросу о русской эпистолярной культуре). Автореф. дисс. ... кандидата филол. наук. Л., 1964. 17 с.
5. Вопросы изучения русских письмовников XV—XVII веков. (Из истории взаимодействия литературы и документальной письменности // ТОДРЛ. М.;Л., «Наука», 1964, т. 20, с. 90—99.
6. Пинежская археографическая экспедиция / Совместно с А. М. Панченко // Там же, с. 397—403.
7. Столбцы XVII—XVIII вв. из архива М. Е. Салтыкова-Щедрина и собрания И. А. Шляпкина // Там же, с. 415—417.
8. О литературном значении древнерусских письмовников // Русская литература. Л., «Наука», 1964, № 4, с. 165—170.

* Библиографию составила Т. В. Нечаева.

9. Об одном письмовнике XVI века // Ученые записки Азербайджанского гос. университета. Серия истории и философии. Баку, Изд-во АГУ, 1964, № 4, с. 3—9.

10. Русский письмовник XV века // Ученые записки Азербайджанского педагогического института. Баку, Изд-во АПИ, 1964, № 1, с. 68—76.

1965

11. Демократическая поэзия XVII в. в письмовниках и сборниках виршевых посланий // ТОДРЛ. М.;Л., «Наука», 1965, т. 21, с. 74—79.

12. Отрывки из неизвестных посланий и писем XVI—XVII вв. // Там же, с. 188—193.

1966

13. Наблюдения над пейзажем в «Житии» протопопа Аввакума // ТОДРЛ. М.;Л., «Наука», 1966, т. 22, с. 402—406.

1968

14. Столбцы XVI—XVII вв. из архива академика А. А. Куника // ТОДРЛ. Л., «Наука», 1968, т. 23, с. 319—320.

1969

15. Для чего Аввакум написал первую челобитную? // ТОДРЛ. Л., «Наука», 1969, т. 24, с. 233—236.

1970

16. Челобитные Аввакума и одна из неисследованных традиций деловой письменности XVII века // ТОДРЛ. Л., «Наука», 1970, т. 25, с. 220—231.

1971

17. Послесловие к первопечатному «Апостолу» Ивана Федорова как литературный памятник // ТОДРЛ. Л., «Наука», 1971, т. 26, с. 267—279.

18. Реально-бытовые детали в «Житии» протопопа Аввакума. (К вопросу о художественной детали) // Русская литература на рубеже двух эпох: (XVII — начало XVIII вв.). М., «Наука», 1971, с. 230—246.

19. «Апостол» Ивана Федорова. (Статья) // Страницы великой культуры. М., «Изобразительное искусство», 1971.

1972

20. Причины появления театра и драматургии в России // РРД. М., «Наука», 1972, т. 1, с. 19—28.

21. Общие черты драматургии 1670-х годов // Там же, с. 29—41.

22. «Артаксерксово действо». (Статья) // Там же, с. 461—469.

23. «Комидия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого. (Статья) // РРД. М., «Наука», 1972, т. 2, с. 313—324.

24. «О Навходоносоре-царе» Симеона Полоцкого. (Статья) // Там же, с. 324—329.
25. «Кающийся грешник» Димитрия Ростовского (Статья) / Совместно с О. А. Державиной // Там же, с. 335—337.
26. Комедия об искуплении человека. (Статья) / Совместно с О. А. Державиной // Там же, с. 337—339.
27. Интермедии. (Статья) // Там же, с. 339—344.
28. «Малая прохладная комедия об Иосифе». (Подготовка текста) / Совместно с О. А. Державиной // Там же, с. 93—114.
29. «Жалобная комедия об Адаме и Еве». (Подготовка текста) / Совместно с О. А. Державиной // Там же, с. 115—137.
30. Симеон Полоцкий. Комидия притчи о блудном сыне. (Подготовка текста) // Там же, с. 138—160.
31. Симеон Полоцкий. О Навходоносоре-царе. (Подготовка текста) // Там же, с. 161—171.
32. Интермедии. (Подготовка текста) // Там же, с. 275—290.
33. Русские пьесы 1670-х годов и придворная культура // ТОДРЛ. Л., «Наука», 1973, т. 27, с. 273—283.
34. Близко ли далекое? (Рецензия) // Вопросы литературы. М., «Известия», 1972, № 10, с. 206—209.

1973

35. Эволюция московской школьной драматургии // РРД. М., «Наука», 1974, т. 3, с. 7—48.
36. «Действо о семи свободных науках». (Статья) // Там же, с. 483—491.
37. «Шутовская комедия». (Статья) / Совместно с А. Г. Мирзоян // Там же, с. 525—531.
38. «Действо о семи свободных науках». (Подготовка текста) // Там же, с. 127—192.
39. «Шутовская комедия». (Подготовка текста) // Там же, с. 372—429.
40. Элементы тюркской культуры в литературе Древней Руси XV—XVII вв. (К вопросу о видах связей) // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., «Наука», 1974, с. 517—539.

1975

41. Пьеса о воцарении Кира. (Статья) // РРД. М., «Наука», 1975, т. 4, с. 648—657.
42. «Акт о царе перском Кире и о царице скифской Тамире» (Статья) / Совместно с В. Д. Кузьминой // Там же, с. 686—692.
43. Пьеса о воцарении Кира. (Подготовка текста) // Там же, с. 293—314.
44. Литературное значение русских старопечатных книг XVI—XVII вв. // Рукописная и печатная книга. М., «Наука», 1975, с. 121—127.

1976

45. Новые художественные представления о мире, природе, человеке в русской литературе второй половины XVII — начала XVIII вв. Автореф. дисс. ... доктора филологических наук М., 1976. 32 с.

46. Аффекты драматических героев первой половины XVIII в. // РРД. М., «Наука», 1976, т. 5, с. 16—25.
47. «О Сарпиде, дуксе ассирийском». (Статья) // Там же, с. 773—776.
48. «О премудрей Июдифе». (Статья) // Там же, с. 789—792.
49. «О Сарпиде, дуксе ассирийском». (Подготовка текста) // Там же, с. 82—129.
50. «О премудрей Июдифе». (Подготовка текста) // Там же, с. 437—465.
51. Представление о переменчивости жизни в русской литературе XVII века // ТОДРЛ. Л., «Наука», 1976, т. 30, с. 149—164.
52. Активность литературных героев и деловая жизнь России второй половины XVII века // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., «Наука», 1976, с. 190—195.
53. Театр в художественной жизни России XVII века // Новые черты в русской литературе: (XVII — начало XVIII вв.). М., «Наука», 1976, с. 28—61.
54. Труды В. Н. Перетца по истории русского театра // Там же, с. 175—185.
55. Диалог «Школьное благочиние» Прохора Коломнятина // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник. 1975. М., «Наука», 1976, с. 48—51.

1977

56. Русская литература второй половины XVII — начала XVIII века: Новые художественные представления о мире, природе, человеке. (Монография) // М., «Наука», 1977. 296 с.
57. Своеобразие источниковеда. (Размышления литературоведа над работами И. М. Кудрявцева) // Записки отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., «Книга», 1977, т. 38, с. 5—12.
58. Ежегодник новых открытий. (Рецензия) // Вопросы литературы. М., «Известия», 1977, № 4, с. 278—281.

1978

59. Современные тенденции в источниковедении древнерусской литературы и задачи изучения печатного «Пролога» // РСЛ, т. 2: Литературный сборник XVII века «Пролог». М., «Наука», 1978, с. 9—25.
60. Первое издание «Пролога» и культурные потребности русского общества 1630—1640-х годов // Там же, с. 54—75.
61. Циклы сюжетов в «Прологе». (Подготовка текстов) / Совместно с О. А. Державиной и Ф. С. Капицей // Там же, с. 173—260.
62. Предыстория массовых форм литературы у восточных славян (XI—XVII вв.) // Славянские литературы: VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., «Наука», 1978, с. 166—181.
63. «Слово о полку Игореве» и предисловие к «Хронографу» 1641 г. // «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI—XVII вв. М., «Наука», 1978, с. 87—94.
64. Книжные предисловия XI—XII вв. и некоторые литературные потребности древнерусского общества // Там же, с. 207—226.

1981

65. Древнерусские рукописные книжные предисловия XI—XII вв. (На пути к массовому адресату) // РСЛ, т. 1: Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М., «Наука», 1981, с. 12—26.
66. Русские старопечатные послесловия второй половины XVI в. (Отражение недоверия читателей к печатной книге) // Там же, с. 45—70.
67. Русские старопечатные предисловия начала XVII в. («Великая слабая» в Смутное время) // Там же, с. 188—203.
68. Русские старопечатные предисловия 1660—1670-х годов. (Формирование литературы массового предназначения) // Там же, с. 222—253.

1982

69. «Жезл правления» и афористика Симеона Полоцкого // РСЛ, т. 3: Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. М., «Наука», 1982, с. 60—92.
70. Повести XII—XVII веков о южной границе Древней Руси // За землю Русскую: Древние русские воинские повести. Ростов-на-Дону, Изд-во Ростовского университета, 1982, с. 5—30.
71. «Задонщина». (Комментарии) // Задонщина. Летописная повесть о побоище на Дону. Сказание о Мамаевом побоище. М., «Художественная литература», 1982, с. 243—249.
72. Летописная повесть о Куликовской битве. // Там же, с. 250—253. (Комментарии)
73. «Сказание о Мамаевом побоище». (Комментарии) // Там же, с. 253—259.
74. «Задонщина». (Подготовка текста) // Там же, с. 11—24.
75. Летописная повесть о Куликовской битве. (Подготовка текста) // Там же, с. 25—42.
76. «Сказание о Мамаевом побоище». (Подготовка текста) // Там же, с. 43—90.
77. Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности. (Рецензия) // Вопросы истории. М., «Известия», 1982, № 8, с. 136—139.

1983

78. Новонайденный экземпляр печатного виленского «Апостола» 1591 г. в библиотеке Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР // ТОДРЛ. Л., «Наука», 1983, т. 37, с. 365—370.
79. Литература XI—XVII веков // История русской литературы XI—XIX веков: Краткий очерк. М., «Наука», 1983, с. 7—73.
80. Единицы художественности. (На материале древнерусской и южнославянских литератур X — начала XII вв.) // Славянские литературы: IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., «Наука», 1983, с. 25—37.

1985

81. Писатель и общество в России XVI—XVII вв.: (Общественные настроения). (Монография). М., «Наука», 1985. 352 с.

82. О художественности древнерусского текста // Проблемы изучения культурного наследия. М., «Наука», 1985, с. 342—350.

83. Для кого писать? (К 800-летию «Слова о полку Игореве») // Вопросы литературы. М., «Известия», 1985, № 9, с. 163—169.

84. Величие русского слова. (К 800-летию «Слова о полку Игореве») // Мелодия. М., «Музыка», 1985, № 3, с. 31, 36—37.

1986

85. Малая художественная форма как проблема исторической поэтики. (На материале древнерусской литературы) // Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., «Наука», 1986, с. 210—235.

86. Критерии ценности художественного образа. (На материале древнерусской литературы) // Контекст-1985: Литературно-теоретические исследования. М., «Наука», 1986, с. 49—73.

87. Зеркало таланта. (Рецензия) // Вопросы литературы. М., «Известия», 1986, № 3, с. 230—234.

1987

88. Драгоценность фантазии. (Древнерусские представления об Индии) // Бессмертный лотос: Слово об Индии. М., «Молодая гвардия», 1987, с. 36—43.

89. «Луцидариус». (перевод) // Там же, с. 44—48.

90. К определению понятия «ассоциация» // Исследования по древней и новой литературе. Л., «Наука», 1987, с. 54—59.

91. Литературные традиции в творчестве раннего Ломоносова // Ломоносов и русская литература. М., «Наука», 1987, с. 80—102.

92. The Precious Gift of Fantasy. (Old Russian Conceptions of India) // Soviet Literature. М., 1987, № 8, p. 139—145.

1988

93. К вопросу о пейзаже в «Слове о полку Игореве» // Литература и искусство в системе культуры. М., «Наука», 1988, с. 143—147.

94. Эстетическое сходство древнейших славянских литератур X—XII вв. (в изображении внешности человека) // Славянские литературы: X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., «Наука», 1988, с. 20—33.

95. Куда растекался мыслию Боян? // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. М., «Наука», 1988, с. 54—61.

96. Крещение Руси и древнерусская литература // Вопросы литературы. М., «Известия», 1988, № 7, с. 167—181.

97. «Память и похвала русскому князю Владимиру». (Перевод) // Там же, с. 182—188.

98. Verfahrengrundsätze einer Fundamentalgeschichte der altrussischen Literatur // Prinzipien der Literaturgeschichtsschreibung. Wiesbaden, Otto Harrassowitz Verlag, 1988, S. 137—145.

99. Хозяйственная «Задонщина» // Герменевтика древнерусской литературы. М., ИМЛИ, 1989, сб. 1, с. 320—332.

100. Герменевтика писательского высказывания (на примере «Сказания о Борисе и Глебе») // Византия и Русь. М., «Наука», 1989, с. 194—205.

101. Пути к художественной литературе в Древней Руси: хозяйственная «Задонщина» // Всесоюзная конференция «История культуры и поэтика»: Тезисы. М., «Наука», 1989, с. 65—67.

102. Фантомы барокко в русской литературе первой половины XVII в. // Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII — начала XVIII в. М., «Наука», 1989, с. 27—41.

1990

103. Отголоски «Слова о полку Игореве» в «Казанской истории» (гипотеза о промежуточном источнике) // ТОДРЛ. Л., «Наука», 1990, т. 43, с. 124—130.

1991

104. «Имение»: социально-имущественные темы древнерусской литературы // Древнерусская литература: Изображение общества. М., «Наука», 1991, с. 5—55.

105. «Языцы»: неславянские народы в русской литературе XI—XVIII вв. // Там же, с. 190—204.

106. Филологическая держава академика Дмитрия Сергеевича Лихачева // Известия Отделения литературы и языка АН СССР. М., «Наука», 1991, № 5, с. 486—490.

1992

107. Изобразительная анималистика «Слова о полку Игореве» и «Сказания о Мамаевом побоище» // Герменевтика древнерусской литературы. М., ИМЛИ, 1992, сб. 5, с. 61—98.

1993

108. Художественные миры древнерусской литературы. (Монография). // М., «Наследие», 1993. 223 с.

109. Изображение животных в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. СПб., 1993, т. 48, Изд-во «Дмитрий Буланин», с. 59—63.

110. Эстетика материального богатства в русской литературе последней трети XVII в. // Филевские чтения. М., «Сиринъ», 1993, ч. 1, с. 68—77.

111. «Свои» и «чужие» этносы в «Повести временных лет» // Славянские литературы: XI Международный съезд славистов. М., 1993, «Наука», с. 3—14.

112. Изобразительная анималистика «Сказания о Мамаевом побоище» // Старинные мастера русского слова. М.; Самара, Изд-во СамГПИ, 1993, с. 15—27.

113. Древнерусское сказание XV в. о таинственном граде Вавилоне // Русская словесность. М., «Школа-Пресс», 1993, № 1, с. 37—40.

114. «Слово о Вавилоне». (Перевод) // Русская словесность. М., «Школа-Пресс», 1993, № 1, с. 40—42.

115. Социальный облик автора «Жития Александра Невского» // Филологические науки. М., 1993, № 1, с. 3—10.

116. «Повесть временных лет» о Западной Европе // Герменевтика древнерусской литературы. М., ИМЛИ, 1994, сб. 6, ч. 1, с. 27—60.

117. Путешествие души по загробному миру (в древнерусской литературе) // Герменевтика древнерусской литературы. М., ИМЛИ, 1994, сб. 7, ч. 1, с. 51—74.

118. Скоринские предисловия к библейским книгам как литературный цикл // Великою ласкою: Францишек Скорина в традициях славянского просветительства. М., «Подвиг», 1994, с. 41—46.

119. К вопросу о древнерусском этническом сознании. (Поляки в «Повести временных лет») // Русская история: Проблемы менталитета. Тезисы... М., Институт российской истории РАН, 1994, с. 34—38.

1994

120. Что это такое — древнерусская литература? // Литература. М., 1994, № 22, с. 2—3.

121. Социальные традиции древнерусской литературы // Литература. М., 1994, № 35, с. 2—3.

122. Захватывающая «Повесть временных лет» // Литература. М., 1994, № 40, с. 4.

123. Путешествие души по загробному миру // Российский литературоведческий журнал. М., 1994, № 5—6, с. 355—376.

1995

124. «Хождение» игумена Даниила в Иерусалим. (Опыт комментария на тему «Россия и Запад») // Герменевтика древнерусской литературы. М., «Наследие», 1995, сб. 8, с. 62—69.

125. Типы художественных образов в древнерусской литературе XI—XII вв. // История и теория мировой художественной культуры. М., «Прометей», вып. 2, с. 3—39.

126. Древнерусская литературная анималистика // Древнерусская литература: Изображение природы и человека. М., «Наследие», 1995, с. 89—126.

127. Загробный мир // Там же, с. 182—207.

128. Древнерусская фантастика // Литература. М., 1995, № 30, с. 2—3.

1996

129. «Слово о законе и благодати» Илариона. (Статья-комментарий) // Древнерусская литература: Восприятие Запада в XI—XIV вв. М., «Наследие», 1996, с. 7—9.

130. «Хождение» игумена Даниила в Иерусалим. (Статья-комментарий) // Там же, с. 94—99.

-
131. «Повесть временных лет». (Статья-комментарии) // Там же, с. 100—156.
132. «Новгородская первая летопись». (Статья-комментарии) // Там же, с. 157—179.
133. «Киевская летопись». (Статья-комментарий) // Там же, с. 180—187.
134. «Владими́ро-Суздальская летопись». (Статья-комментарий) // Там же, с. 212—213.
135. «Повесть о Довмонте». (Статья-комментарий) // Там же, с. 214—219.
136. Отрицательное отношение Нестора-летописца к болгарам, или феномен осовременивания истории // Древняя Русь и Запад: Научная конференция. М., «Наследие», 1996, с. 50—52.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

Учитываются только реальные и прямо называемые авторы произведений, документов и исследований, а также переводчики, редакторы и ученые-издатели. Авторы до начала XVIII в. чаще всего указываются по именам, а с начала XVIII в. — по фамилиям или кличкам. В необходимых случаях делаются отсылки. Лица с совпадающими именами различаются пояснениями.

Не учитываются: исторические лица, упоминаемые не как авторы; создатели библейских книг; лица, входящие в названия литературных произведений, редакций, рукописных собраний и списков; литературные персонажи.

А

- Аарон 339
Аббас 676, 677
Абрамович Д. И. 89, 137, 209, 268, 298
Абстемий 184
Аввакум 5, 10, 55—73, 75—85, 117, 124—126, 182, 188, 192—195, 205, 248, 258, 260—261, 287, 291—293, 296, 318, 320—321, 327—331, 335—336, 338, 340—353, 360, 370—371, 378, 438, 447, 459, 696, 704, 725, 790, 792
Аверинцев С. С. 729
Авраамий, расколоучитель 331, 338, 340
Авраамий, старец 189, 461
Авраамий Палицын 48, 50, 63, 75, 117, 120, 187—188, 205, 248, 250—254, 315, 349, 387, 390—391, 396, 398, 406, 410—411, 413
Автократов В. Н. 466
Адам Олеарий 180, 354—355, 358
Адольф Лизек 377
Адриан 181, 460
Адрианова-Перетц В. П. 13, 18, 23, 46, 60—61, 215, 301, 394, 420, 423, 431, 504—505, 751, 788—789
Азарьин С., см. Симон Азарьин
Азбелев С. Н. 46
Александров В. А. 329
Алексеев А. С. 538
Алексеев М. П. 381, 519
Алексей Михайлович 63, 117, 122, 317—320, 323, 325, 337, 370, 419, 444—445, 499
Алексей Романчуков 186, 668, 671
Алелеков А. Н. 519, 523
Альберт Великий 179, 338
Амартол, см. Георгий Амартол
Ангелов Б. Ст. 13, 579—580
Андреев В. 537—538
Андрей Белобочкий 186, 704, 727
Андрей Курбский 110, 113, 115, 170, 177, 203, 242, 247, 298, 302, 309, 348, 409, 555, 561
Андрей Рублев 155, 158, 680
Аникст А. 373
Анисим Радишевский 385—386

* Указатель составила А. Г. Мирзоян.

Аничков Е. В. 141
 Антиох Черноризец 135, 150
 Антоний, архимандрит 339
 Антоний Подольский 298, 303
 Антоний Стрешовский 510
 Антонова В. И. 60, 493
 Антонова К. А. 671
 Антонович А. К. 682
 Аристотель 116, 373, 482
 Арсений Глухой 395
 Арсений Грек 444
 Арсений Суханов 180, 562, 677, 687—688
 Артемон Матвеев 117, 124, 318—320, 371, 486
 Афанасий Никитин 157, 202, 556—558, 668, 671—672, 677, 679—682, 686, 691
 Афанасий Холмогорский 182, 460, 475
 Афанасьев А. Н. 703
 Афанасьев Э. Л. 103
 Ахтамарци Г., см. Григорий Ахтамарци

Б

Бабкин Д. С. 511
 Бабрий 184
 Бадалич И. М. 515—516
 Базилевич К. В. 500—501
 Бакланова Н. А. 326, 461, 512
 Балашов Н. И. 9
 Барсков Я. Л. 63, 339, 790
 Барсов Н. И. 538
 Бартенева П. 317
 Бартольд В. В. 674, 682, 692
 Бартошевич И., см. Иерофей Бартошевич
 Батюшков Ф. 703
 Бахрушин С. В. 267, 320, 326
 Бахтурина Р. В. 739
 Бегичев И., см. Иван Бегичев
 Бегунов Ю. К. 152, 218, 224, 258, 278, 556, 677, 791
 Белецкий А. И. 369
 Белинский В. Г. 116
 Белобочный А., см. Андрей Белобочный

Белоброва О. А. 48, 387
 Белокуров С. А. 370, 460
 Бельский М., см. Мартин Бельский
 Берков П. Н. 504—505, 512, 556
 Берх В. Н. 380, 414, 437
 Бессонов П. 703, 725
 Бибииков М. В. 566
 Бидлоо Н. 519
 Блеу 179
 Блюментрост Л., см. Лаврентий Блюментрост
 Богословский М. М. 767
 Богатырев П. Г. 785
 Богоявленский С. К. 118, 488, 492
 Богуславский С. А. 145
 Бодянский О. М. 788
 Борис Шереметев 180, 562
 Борисова Е. П. 789
 Бороздин А. К. 338
 Ботер 179
 Брайловский С. Н. 317, 461
 Брикнер А. 538
 Брун Т. А. 418
 Буганов В. И. 387, 461, 473, 789
 Бударагин В. П. 39, 233
 Будовниц И. У. 216—219, 221—222, 245, 267, 676
 Бужинский Г., см. Гавриил Бужинский
 Буланин Д. М. 233, 242, 797
 Бурцев В. Ф. 316, 416
 Бурыкин А. А. 15
 Буслаев П. 526
 Буслаев Ф. И. 9, 100, 103, 418, 452, 674, 704, 724
 Быкова Т. А. 778
 Былинин В. К. 746
 Бычков А. Ф. 788—789
 Бычков М. Е. 789

В

Валишевский К. 539
 Ванеева Е. И. 23, 233, 258, 668
 Варнеке Б. В. 521
 Васенко П. Г. 171, 789—790
 Василий Бугор 339
 Василий Великий 151
 Василий Гагара 180

- Василий Гость 157
 Василий Калика 7, 150, 721, 729—731
 Василий Лихачев 116—117, 180
 Василий Позняков 165
 Василий Шуйский 387, 389, 391
 Васильев С., см. Сенька Васильев
 Вассиан, архиепископ 160
 Вассиан Патрикеев 168—169, 203, 242—244
 Ведюшкина И. В. 574
 Везалий А. 179
 Вейдемер А. 537
 Верещагин И., см. Иван Верещагин
 Веронезе П. 498
 Веружский В. 460, 475
 Веселовский Александр Н. 314, 735
 Веселовский Алексей Н. 488
 Веселовский Н. И. 675, 677
 Вигасин А. А. 672
 Викентий из Бове 690
 Вилинский С. Г. 23, 278, 704, 739
 Вильгельм Тирский 584
 Виноградов В. В. 9, 61—62
 Виппер Ю. Б. 373, 381
 Владимир Мономах 29, 137, 147, 200, 208, 216—218, 224, 231, 268, 275, 298, 300—301, 305, 585
 Владимиров И., см. Иосиф Владимиров
 Владимиров М. 59
 Владимиров С. В. 116
 Владимирский-Буданов М. Ф. 499
 Волков В. 551
 Волков М. Я. 461
 Волконский Ф. 556, 563
 Волькенштейн В. М. 116
 Востоков А. Х. 580
 Всеволодский-Гернгросс В. Н. 353, 356, 492, 521, 546, 751
 Всполохов Г., см. Григорий Всполохов

 Г
 Гавриил Бужинский 549, 775—776, 778, 780, 783
 Галактионов И. В. 317
 Галилей Г. 179
 Гарибян Д. А. 423, 426
 Гваньини 180
 Гевелий 179
 Гегель Г. 116
 Генсьорьский А. Ї. 35, 38
 Георгиевский Г. П. 59
 Георгий, монах 136
 Георгий Амартол 34, 36, 134, 150—151, 224, 230, 278, 282, 587—589, 591, 620
 Георгий Конисский 753, 755
 Георгий Писидийский 155
 Георгий Синкелл 134
 Герасим Лебедев 673
 Герасим Фирсов 439, 443
 Герман Тулупов 181, 396
 Гермоген 387—391, 393
 Геродот 489, 535, 537, 546
 Гиббенет Н. 339, 370, 444
 Гибнер Ю. 489
 Гизель И., см. Иннокентий Гизель
 Гильфердинг А. Ф. 23, 89
 Глушков И. 546
 Гоголь Н. В. 122
 Голенищев-Кутузов И. Н. 373
 Голикова Н. В. 767—768
 Голембиевский А. А. 538
 Голубев И. Ф. 123, 397
 Голубев С. 510
 Голубинский Е. Е. 38
 Голубцов А. 421
 Гольшпенко В. С. 23, 100, 208, 278, 739
 Гомер 30
 Горелов А. А. 426
 Горский А. В. 460—461
 Горфункель А. Х. 704
 Готье Ю. 380
 Гофман фон Гофмансвальдау 374
 Грабарь И. 497
 Гребенюк В. П. 4, 105, 110, 286—287, 317—318, 331, 479, 555, 683
 Грегори И.-Г. 119, 373, 381, 484, 487, 489
 Греков Б. Д. 210, 217, 267
 Грибоедов Ф., см. Федор Грибоедов
 Григорий Ахтамарци 681
 Григорий Всполохов 318, 320
 Григорий Котошихин 189, 356, 358, 437

Григорий Философ 136
 Грифиус А. 373—375
 Грихин В. А. 746
 Грог Помпей 534, 546
 Гудзий Н. К. 65, 75, 233, 258, 287
 Гумпольд 289
 Гуревич А. Я. 269, 729
 Гуревич М. М. 778
 Гурлянд И. Г. 380
 Гусев В. Е. 188, 258, 287
 Гюйссен Г. 508

Д

Даниил, игумен 7, 268, 275, 555, 580,
 582—585, 798—799
 Даниил, митрополит 60, 110, 113,
 168—169, 203, 242, 244—245,
 298, 302, 309
 Данилевский И. Н. 614
 Данилов В. В. 584
 Данилов К., см. Кирша Данилов
 Данилова И. Е. 118, 328, 497—498
 Данциг Б. М. 674
 Демир А. С. 7, 9—10, 85, 105, 110, 170,
 248, 286—287, 318, 331, 353, 381,
 396, 493, 497, 499, 502, 505, 519,
 525, 531, 534—535, 580, 635, 661,
 677, 752, 791—799
 Демкова Н. С. 9, 39, 48, 81—82, 233,
 242, 287, 387, 418—419, 446, 461,
 466, 556, 668, 704, 729, 745, 789
 Демьянов В. Г. 100, 208, 788
 Державина О. А. 48, 63, 105, 110, 117,
 248, 286—287, 317—318, 331,
 396, 478—479, 555, 753, 774, 781,
 784, 793—794
 Димитрий Ростовский 181, 752—753,
 756, 758, 767, 793
 Динеков П. 90
 Дионисий, архимандрит 387, 390—391
 Дионисий Ареопagit 759
 Дионисий Зобнинский 395
 Дионисий Павлович 38
 Дмитриев А. 768
 Дмитриев Л. А. 13, 23, 33, 39, 41—43,
 46, 100, 110, 137, 152, 208, 224,
 228, 233, 268, 298, 555—556, 583,
 745

Дмитриева Р. П. 39, 152, 156, 165, 224,
 233, 242, 418, 555—556, 703, 753,
 761

Доброклонский А. 393
 Долгово П., см. Петр Долгово
 Долинин Н. П. 394
 Дороеф Кроткевич 510
 Дороеф Монеувасийский 179
 Дробленкова Н. Ф. 48, 188, 248, 387,
 434, 556, 732, 737
 Дружина Осорьин 254
 Дружинин В. Г. 152, 397
 Дубов И. В. 571
 Дубровина В. Ф. 23, 208, 278, 739
 Дурново Н. Н. 22, 40, 218, 741
 Душечкина Е. В. 266

Е

Евгеньева А. П. 446, 677
 Евсевий Александрийский 704, 712
 Евсевий Павлов 339
 Евстратий 48—49, 52, 54, 387
 Евфимий Морогин 758
 Евфимий Чудовский 182, 206, 460—
 461, 474
 Евфросин 461, 464—465, 467, 471
 Едигей 682
 Эзоп, см. Эзоп
 Елеонская А. С. 287, 515, 704, 752—
 753
 Елчин Ф. 556, 563
 Емельян Московитин 493
 Епифаний, расколоучитель 81, 85, 189
 Епифаний Кипрский 624, 704, 713
 Епифаний Премудрый 155, 157—158,
 202, 233, 235, 240, 299—300, 308,
 680, 739
 Епифаний Славинецкий 123, 182, 206,
 439, 444—445
 Еремин И. П. 9, 13, 208—209, 287, 298,
 318, 351, 359, 479, 482, 548, 625,
 770
 Ермолай-Еразм 168—169, 203—204,
 242, 245—246
 Ефрем, агиограф византийский 736
 Ефрем, агиограф русский 208, 210,
 214—215, 219
 Ефрем, проповедник 221, 223

Ефрем Сирийский 136, 150, 181, 418, 420
Ефремов Ф., см. Филипп Ефремов
Ефросин 680

Ж

Жегин Л. Ф. 55
Жмакин В. И. 60, 110, 242, 298
Журова Л. И. 233

З

Забелин И. Е. 118, 354, 359, 487, 490—
491, 546, 674
Зайончковский А. 672
Закиров С. 676
Заозерский А. И. 117, 317—318, 320,
327—328
Западов А. В. 556
Запциц 183
Зарубин Н. Н. 137
Зевакин Е. С. 490—491
Зеленин В. В. 314, 318
Зёрнова А. С. 382, 384
Зимин А. А. 170, 233, 242, 298, 396,
411, 677, 789
Зиновий Отенский 168
Зобниновский Д., см. Дионисий Зоб-
ниновский
Золотарев П., см. Петр Золотарев
Зонненштраль-Пискорский А. А.
491
Зосима 157

И

Иаков, посол 533
Иаков, священник 691
Иван Бегичев 185
Иван Верецагин 544
Иван Грозный 110, 113, 170, 173, 176,
203, 242, 246, 298, 305, 308, 314—
315, 345, 409, 428, 466, 689—690
Иван Катырев-Ростовский 350, 396
Иван Наседка 182
Иван Неронов 338, 439—440, 444—
445
Иван Пересветов 167—168, 203, 241,
245, 298, 302—303, 305, 396, 411,
555, 560—561, 677, 685, 688
Иван Петлин 180

Иван Поборский 490
Иван Тимофеев 170, 187, 248, 252—
253, 396, 412
Иван Федоров 10, 169, 308, 384, 462,
792
Иван Хворостинин 182, 395—397, 400,
408, 704, 726
Иван Яковлев 691
Иванов Ф., см. Федор Иванов
Игнатий Миштальский 510
Игнатий Смольнянин 157
Игнатия 271
Иерофей Бартошевич 510
Иларион, митрополит 7, 21, 137, 139—
140, 150, 199, 209—210, 215, 268,
272—273, 282, 578—581, 585,
798
Иларион Великий 50—51
Ильин Н. Н. 611
Илья 136
Иннокентий, инок 297, 300
Иннокентий Гизель 337, 495
Иоаким, патриарх 181, 460—461, 466
Иоанн, агиограф 90
Иоанн Дамаскин 19, 40, 100, 104, 132
Иоанн Златоуст 13, 19, 21, 23, 25, 85,
100, 136, 151, 181, 209, 211, 213,
215—216, 224, 230, 444, 583
Иоанн Зонара 155
Иоанн Кременецкий 543
Иоанн Лествичник 181
Иоанн Максимович 508, 549
Иоанн Малала 134, 151
Иоанн Милютин 181
Иоанн Синайский 136
Иоанн Экзарх 23—25, 28—29, 34, 40,
89, 132, 219, 788
Иосаф, патриарх 396
Иосаф Кроковский 507
Иосиф, патриарх 181, 421
Иосиф Владимиров 117—118, 486,
498
Иосиф Волоцкий 168, 203, 233—235,
237, 241, 298, 300, 308
Иосиф Туробойский 510, 753, 769
Иосиф Флавий 33, 36, 100, 103, 133,
180, 224, 228, 232, 283—284, 489
Исаакий Хмарный 515

Истомин К., см. Карион Истомин
Истрин В. М. 23, 33, 219, 224, 278, 668,
732, 739

К

Каган-Тарковская М. Д. 241, 428,
555—556, 668, 689—690

Казакова Н. А. 242, 367, 556

Калишевич З. Е. 494

Каллаш В. В. 533

Каменевич-Рвовский Т. 180

Канский М., см. Мелетий Канский

Кантемир А. 526—528, 533

Капица Ф. С. 794

Каптерев Н. Ф. 447

Карамзин Н. М. 613

Каргер М. К. 493

Карион Истомин 181, 186, 206, 460—
461

Карнеев А. Д. 23

Карпов Ф., см. Федор Карпов

Карский Е. Ф. 789

Карягин А. А. 116

Катырев-Ростовский, см. Иван Каты-
рев-Ростовский

Кафенгауз Б. Б. 523

Кеплер 179

Кильбургер И. Ф. 354

Кимягарова Р. С. 505

Киприан 157, 233—234

Кирилл, канцлер 238

Кирилл Александрийский 188, 704,
713

Кирилл Иерусалимский 136, 151

Кирилл Транквиллион 759

Кирилл Туровский 13, 16, 21, 136, 151,
199, 208—209, 216, 704, 712

Кирилл Философ 594

Кириллин В. М. 601, 630

Кирпичников А. Н. 43, 571

Кирша Данилов 46, 446, 456, 677

Кланицаи Т. 381

Клибанов А. И. 242, 301, 394, 411, 467

Климент Охридский 13, 17, 579—580

Климент Смолятич 136

Ключевский В. О. 297, 320, 354, 393,
739

Князевская О. А. 788

Ковтун Л. С. 367

Кодов Хр. 13, 579—580

Козлов М. И. 9

Козловский И. П. 319

Козма Индикоплов 24, 132

Козьма Пражский 575—576

Козьма Пресвитер 208, 214

Колесницкая И. М. 100

Колесов В. В. 47, 100, 208, 241—242,
556, 583

Коломнятин П., см. Прохор Колом-
нятин

Колосова Е. В. 48, 63, 117, 188, 248,
396

Комарович В. Л. 284

Кондаков Н. П. 674

Кононов А. Н. 674

Конрад Н. И. 65, 381, 674

Константин Манассия 23, 30—31, 40,
43, 155—156

Коперник Н. 179

Корецкий В. И. 387, 394, 789

Корнилий Комельский 298, 300

Коробейников Т., см. Трифон Коро-
бейников

Костомаров Н. И. 354, 356, 358—359,
393, 789

Котков С. И. 342

Котов Ф., см. Федот Котов

Котошихин Г., см. Григорий Кото-
шихин

Кошелев А. Д. 9

Краснопольский Р., см. Рафаил Крас-
нопольский

Крачковский И. Ю. 674

Крижанич Ю., см. Юрий Крижанич

Кроковский И., см. Иоасаф Кроков-
ский

Кроткевич Д., см. Дорофей Кротке-
вич

Крыжин А. П. 555, 668

Крымский А. Е. 613, 682

Крюйс К. 426

Кудрявцев И. М. 479, 481, 487, 489—
490, 492, 761, 794

Куев К. М. 13, 90, 579

Кузнецова Н. А. 556, 677

Кузьма Попович 221

Кузьмин А. Г. 267, 573
 Кузьмина В. Д. 317, 504, 510, 515—
 516, 545—547, 555, 753, 793
 Кукушкина М. В. 387
 Куник А. А. 792
 Кунцевич Г. З. 789—790
 Куракин Б. И. 523
 Курбский А., см. Андрей Курбский
 Кургиян В. С. 116
 Курицын Ф., см. Федор Курицын
 Курц Б. Г. 354, 357—358
 Кусков В. В. 39, 208, 739, 753
 Кучкин В. А. 47

Л

Лабынцев Ю. А. 382
 Лаврентий Блюментрост 489
 Лаврентий Зизаний 395
 Лаврентий Рингубер 488—489
 Лаврентий Хурелич 189, 337, 494
 Лавренцова Т. В. 668
 Лавров П. А. 89
 Лазарь 331, 338, 340
 Ламбин Н. П. 612
 Лангрини 179
 Лебедев Г., см. Герасим Лебедев
 Лебедев Г. С. 571
 Лебедева И. Н. 100, 102, 668, 739
 Левина С. А. 170
 Леонид 53, 297, 421
 Лесин В. М. 62
 Лессинг Г. Э. 373
 Ливанова Т. Н. 783
 Лизек А., см. Адольф Лизек
 Лицца 179
 Лихачев В., см. Василий Лихачев
 Лихачев Д. С. 9, 13—14, 16, 19, 21—
 23, 29—33, 47, 61—62, 68, 72,
 98—99, 101, 104, 110, 112—113,
 119, 125, 131—133, 135, 137, 141,
 145, 152, 154—155, 158, 174, 188,
 190, 208, 211, 214, 218, 224, 229,
 233, 241—242, 247, 254, 258—
 259, 269, 274, 277, 284, 298, 306,
 308, 313—314, 331, 365, 367, 378,
 380, 394, 410—411, 413, 438, 452,
 454—455, 461, 486—487, 556,
 565—566, 569—571, 574—575,

585—586, 593, 604, 612—613,
 619, 621, 625, 627, 630632, 651,
 674, 677, 680, 737, 746—747, 797
 Лихачев Н. П. 152, 219, 298, 381, 789
 Лихачева О. П. 33, 39, 43, 555, 732
 Лихтман З. Т. 534
 Лихуды 753, 765
 Липин А. А. 431
 Ломоносов М. В. 556, 564, 796
 Лопарев Х. 446, 461
 Лопатинский Ф., см. Феофилакт Ло-
 патинский
 Лотман Ю. М. 17
 Лука Жидята 136
 Лурье Я. С. 100, 109—110, 233—234,
 242, 247, 297—298, 300, 314, 368,
 556, 668, 677, 680, 685, 738
 Лызлов А. И. 180
 Ляпон М. В. 788
 Ляскоронский С. 542, 544

М

Мавродин В. В. 141
 Мазон А. А. 373, 484, 489
 Мазунин А. И. 287, 318
 Майков В. И. 556, 564
 Майков Л. Н. 396, 498, 556
 Макарий, митрополит 166, 181, 686,
 788
 Макарий Александрийский 723
 Макарий (Булгаков) 218, 421
 Makeeva В. Н. 556
 Маковский Д. П. 394
 Максим Грек 168—169, 203, 241—
 242, 298, 302, 309, 368, 444, 677,
 684, 686, 753, 761,—762
 Максимов Ф., см. Федор Максимов
 Максимович И., см. Иоанн Макси-
 мович
 Малинин В. Н. 170
 Мальшев В. И. 117, 287, 331, 397, 446
 Манассия, см. Константин Манассия
 Мансикка В. П. 282—283
 Мардарий Хоников 116, 360, 492
 Мартин Бельский 165
 Мартиниус 180
 Матвеев А., см. Артемон Матвеев
 Матвей 339

Махмет Аминь 676, 678
 Машталский И., см. Иван Машталский
 Медведев С., см. Сильвестр Медведев
 Медовиков П. 380
 Мелетий Канский 510
 Мелетий Смотрицкий 181, 418, 511
 Мельц М. Я. 425
 Меншиков А. Д. 536, 540, 543
 Меркатор 179
 Мефодий, просветитель славян 579, 594
 Мефодий Патарский 587, 611, 700
 Мещерский Н. А. 15, 33, 100, 224, 283
 Милюков П. 500
 Милютин И., см. Иоанн Милютин
 Мильготина Г. З. 789
 Мирзоян А. Г. 7, 10, 518, 793
 Мисюръ-Мунехин М. Г. 677, 685
 Митрофанова В. В. 100, 425
 Михайловский Б. В. 57, 118
 Мнева Н. Е. 60, 118, 327—328, 493, 497—498
 Модржевский 180
 Моисеева Г. Н. 110, 170, 242, 297, 314, 348, 522, 555, 677, 782
 Моисей Выдубицкий 13, 19
 Молдован А. М. 209, 578
 Мольер Ж.-Б. 180
 Мордвинов И. П. 544
 Морогин Е., см. Евфимий Морогин
 Морозов П. О. 493, 501, 504, 545—546, 751, 768, 775
 Муркос Г. 317
 Муса 676
 Мыльников А. С. 565
 Мюллер Л. 573
 Мюллер Р. Б. 556

Н

Назаревский А. А. 49, 388
 Наседка И., см. Иван Наседка
 Насонов А. Н. 170, 208, 218—219, 387, 555, 599, 635, 667, 676, 729
 Невоструев К. И. 460—461
 Некрасов А. И. 674
 Неронов И., см. Иван Неронов

Нестор 10, 89—95, 100, 104, 138, 142, 208—216, 274—275, 566, 571, 575—577, 586—593, 598, 604, 608, 624, 799
 Нестор-Искандер 155, 305, 348—349, 557, 677, 686
 Неупокоева И. Г. 674
 Нефедов Г. Ф. 100, 208
 Нечаева Т. В. 7, 9—10, 791
 Никита Пустосвят 338
 Никита Фофанов 382—386
 Никифор 134
 Николаева М. В. 524
 Николай Спафарий 116, 123, 180—181, 183, 287, 294—295, 318, 321, 323, 331, 337, 369, 372, 482, 494, 511, 562, 752, 762—763
 Никольская А. Б. 59, 89
 Никольский Н. К. 89, 141, 439
 Никон, монах 137—138, 593, 612
 Никон, патриарх 63, 181, 339, 370, 420, 439—445
 Никон Черногорец 135, 150
 Нил Сорский 168—169, 203, 300
 Новакович С. 89
 Новиков Н. В. 736
 Новиков Н. И. 117, 318, 555, 673, 776

О

Оболенский К. М. 630
 Овчинников Р. В. 668
 Овчинникова Е. С. 117, 123, 323, 325, 329, 486, 498
 Олеарий А., см. Адам Олеарий
 Ольденбург С. Ф. 671
 Орешников А. С. 342
 Орбели И. А. 674
 Ордин-Нащокин А. Л. 317, 319—320
 Орлов А. С. 9, 22, 30, 36, 40, 43, 61, 89, 110, 247, 284, 348, 423, 430, 433—434

Ортелиус 179
 Осорьин Д., см. Дружина Осорьин
 Охотникова В. И. 663, 665—666

П

Павел Алеппский 317, 319
 Павлов Е., см. Евсевий Павлов

- Павлов-Сильванский Н. П. 538
 Паисий Газский 123
 Паисий Лигарид 123
 Палицын А., см. Авраамий Палицын
 Панкратова Н. П. 342
 Панов В. 655, 660
 Панченко А. М. 9, 186, 269, 287, 378, 419, 455, 457, 461, 476, 486, 745,—746, 791
 Пауткин А. А. 38
 Пахомий, архиепископ 116
 Пахомий Логофет 157, 297
 Пашуто В. Т. 38, 574
 Пекарский П. П. 117, 512, 517
 Переверзев В. Ф. 455, 484
 Пересветов И., см. Иван Пересветов
 Перетц В. Н. 100, 387, 504, 512, 518, 520, 677, 751, 758, 771, 783, 794
 Петканова Д. 90
 Петлин И., см. Иван Петлин
 Петр I 500, 537—538
 Петр II 512, 538
 Петр Альфонс 690
 Петр Долгово 490
 Петр Золотарев 556, 563
 Петр Мстиславец 169
 Петр Самсонов 186
 Петр Толстой 180
 Петров Н. И. 353, 356, 535, 542, 544, 751
 Петровский Н. 677
 Петровский С. В. 570
 Петрушевский И. П. 579
 Петухов Е. В. 152, 219, 704, 723—724
 Пигарев К. В. 769
 Пикколомини А. 372
 Писарев С. 551
 Пискатор 360, 492
 Платонов С. Ф. 388, 397, 789—790
 Плеханов Г. В. 422
 Плигузов А. И. 739
 Поборский И., см. Иван Поборский
 Пожарский Д. М. 390
 Позняков В., см. Василий Позняков
 Покровский А. А. 218
 Покровский Н. В. 59
 Покровский Ф. И. 789
 Поливий 91—92
 Полиевктов М. А. 556
 Поляков Л. В. 580
 Поновицкий П. 23
 Пономарев А. И. 100
 Понырко Н. В. 188, 745
 Попов Алексей 703
 Попов Андрей Н. 298, 379, 579, 704
 Попов П. Н. 531, 550
 Поппе А. 267
 Порошин Ф., см. Федор Порошин
 Порфирий (Успенский) 739
 Порфирьев И. Я. 23, 668, 704
 Поршнев Б. Ф. 408, 415
 Посошков И. Т. 523, 771, 775
 Постникова-Лосева М. М. 327
 Потемкин П. И. 180
 Преображенский А. Г. 503
 Пресняков А. Е. 789
 Приселков М. Д. 141, 621, 675
 Прозоровский А. 461
 Прозоровский Д. И. 354
 Прокопович Ф., см. Феофан Прокопович
 Пропп В. Я. 736
 Протасьева Т. Н. 396, 789
 Прохор Коломнятин 186—187, 794
 Прохоров Г. М. 23, 100, 219, 234, 268, 580, 668
 Прыжов И. Т. 210, 447—448, 500
 Псевдо-Каллистен 668, 670
 Пулинец О. С. 62
 Пумпянский Л. В. 373—375
 Пуришев Б. И. 57, 118, 373—375, 381
 Пустошкин Г. И. 339
 Путилов Б. Н. 46, 446, 458, 677
 Пушкарев Л. Н. 326, 397, 401, 407, 457, 459, 688, 690—691
 Пушкарева Н. Л. 104
 Пушкин А. С. 514
 Пыпин А. Н. 737, 767, 771, 789
 Пясецкий 179
- Р**
- Рабинович М. Г. 228
 Радишевский А., см. Анисим Радишевский
 Райнов Т. 759
 Рапов О. 267

- Рафаил Краснопольский 510
 Резанов В. И. 493, 505, 541—542,
 544—545, 751—753, 777
 Рейсер С. А. 778
 Рейтельфельс Я. 318—319
 Ремпель Л. И. 674
 Ржига В. Ф. 229
 Риккобони А. 372
 Рингубер Л., см. Лаврентий Рингубер
 Робинсон А. Н. 53, 61, 65, 75, 85, 138,
 188, 314, 423, 425, 430—431, 434,
 437—438, 677
 Ровинский Д. А. 61, 493
 Рождественская М. В. 23, 100, 233,
 704
 Розанов С. П. 789
 Розов Н. Н. 137, 171, 314
 Роллен Ш. 534, 546, 551
 Романов Б. А. 216—217
 Романов С., см. Савва Романов
 Романчуков А., см. Алексей Романчуков
 Ромодановская Е. К. 105, 110, 286, 317,
 479, 789
 Ротар И. 444
 Рублев А., см. Андрей Рублев
 Рыбаков Б. А. 269, 571
 Рыдзевская Е. А. 571
 Рыков Ю. Д. 242, 409
 Рыстенко А. В. 90
 Рычков Н. П. 555, 564
- С
- Сава Сербский 89—90, 92, 94, 96—97
 Савва В. И. 397
 Савва Романов 331, 444, 461, 471
 Савватий 186, 331, 418, 421, 444—445
 Савлучинский П. 539, 767—768
 Сакулин П. Н. 518
 Салмина М. А. 23, 40, 233, 418, 446,
 556
 Салтыков А. А. 119
 Салтыков-Щедрин М. Е. 791
 Самсонов П., см. Петр Самсонов
 Сансон 180
 Санчук Г. Э. 575
 Сарафанова Н. С. 287, 331
- Сафронов Ф. Г. 329
 Сахаров В. 703, 729
 Свириин А. Н. 120, 123
 Севериан Гавальский 155
 Семевский М. И. 523
 Семен, епископ 218, 223
 Семен Маленький 673
 Семен Шаховской 48, 50—54, 60, 187,
 348, 350, 396—397, 411
 Сенька Васильев 331, 339—340
 Серапион Владимирский 152—153,
 201, 218—220, 223, 556, 560
 Сергеев В. Н. 439
 Сергеевский Н. Д. 355, 449
 Серебрянский Н. И. 280—282, 284,
 677
 Сигал Н. А. 373
 Сидоров А. А. 61
 Сильвестр, игумен 138
 Сильвестр Медведев 186, 206, 317, 321,
 369—370, 460—461, 753, 764
 Симеон Полоцкий 6, 105—106, 108,
 110, 114—115, 118, 123, 126, 178,
 182, 186, 196, 206, 286—288,
 290—291, 294—295, 318, 321,
 326, 328, 331, 334, 345, 351, 353,
 355—360, 364, 368—369, 371,
 375—379, 446, 460, 462, 469,
 479—486, 488, 492—498, 502—
 504, 549, 690, 753, 755, 763—764,
 792—793, 795
 Симон Азарьин 187, 433
 Симон Ушаков 329, 486, 488, 495,
 497—498
 Симион П. К. 397, 425, 446, 677
 Синкелл Г., см. Георгий Синкелл
 Сиповский В. В. 524
 Скорина Ф., см. Франциск Скорина
 Скрипиль М. О. 255, 286, 298, 317—
 318, 397, 419, 502, 677, 679, 788
 Славинецкий Е., см. Епифаний Сла-
 винецкий
 Слейдан 180
 Сменцовский М. 753
 Смирнов В. Д. 691
 Смирнов Н. А. 753
 Смирнов П. П. 414—415, 420, 422
 Смирнов П. С. 338, 790

- Смирнов С. 433, 508
 Смотрицкий М., см. Мелетий Смотрицкий
 Соболевский А. И. 59, 179, 337, 367, 379, 511, 580, 690, 762
 Соколов М. И. 704
 Соколова В. Е. 424
 Соловьев С. М. 319, 491, 538—539
 Солодкин Я. Г. 50
 Соляровский П. 493
 Софоний Рязанец 161—162, 229
 Софронова Л. А. 9, 373
 Спасский И. Г. 500, 504, 680
 Сперанский М. Н. 100, 545, 549, 671, 785
 Спиридон-Савва 170
 Срезневский И. И. 13, 209, 212, 227, 279, 283, 732, 788
 Станиславский А. Л. 387
 Станкевич А. 318
 Стасов В. В. 674
 Стефан, стихотворец 397
 Стефан Новгородец 151
 Стефан Первовенчаный 89—92, 94—97
 Стефан Пермский 680
 Стефан Яворский 753, 767—768
 Стреповский А., см. Антоний Стреповский
 Строев П. М. 421
 Стрыковский 180
 Субботин Н. И. 439
 Сумароков А. П. 555—556, 564—565
 Сумароков Г. В. 22, 29
 Сумникова Т. А. 268
 Сутт Н. И. 423
 Суханов А., см. Арсений Суханов
 Сухомлинов М. И. 575
 Сычев Н. 498
- Т
- Тазбир Я. 394
 Тарановский Ф. Н. 768
 Тарковский Р. Б. 48
 Тарле Е. В. 506, 509
 Тарнава-Боричевский И. 377
 Тверская Д. И. 354
- Творогов О. В. 23, 61, 100, 109—111, 137, 208, 268, 297—298, 423, 566, 583, 585—586, 643, 704
 Тимофеев И., см. Иван Тимофеев
 Тихомиров М. Н. 39, 494, 789
 Тихонов П. Н. 555, 668
 Тихонравов Н. С. 23, 100, 314, 359, 396, 446, 461, 498, 703—704, 732, 743, 751, 770, 788
 Толстой А. К. 122
 Толстой П., см. Петр Толстой
 Третьяковский В. К. 528, 533, 551
 Трифон Коробейников 165, 677, 687
 Трифонов Ю. 89
 Трифунович Дж. 89
 Троицкий С. М. 500
 Трубачев О. Н. 503
 Трубецкой Н. С. 681
 Трутовский В. 120
 Тулупов Г., см. Герман Тулупов
 Туробойский И., см. Иосиф Туробойский
 Тхоржевский С. 431, 437
- У
- Ужанков А. Н. 38
 Уланов В. Я. 533
 Успенский А. И. 353, 493
 Успенский В. 59
 Устрялов Н. 506, 508—509, 767
 Ушаков С., см. Симон Ушаков
- Ф
- Фасмер М. 212, 503
 Федор Грибоедов 189, 337
 Федор Иванов 338
 Федор Карпов 242—243
 Федор Курицын 202
 Федор Максимов 339
 Федор Порошин 53—54, 197, 430, 438
 Федоров В. И. 9
 Федоров И., см. Иван Федоров
 Федоров-Давыдов А. 60
 Федот Котов 180, 556, 562, 677, 689
 Федотов Г. Ф. 580
 Феннел Дж. 284
 Феодосий Косой 394

Феодосий Печерский 136, 209, 214,
 271—272, 601
 Феофан Прокопович 531, 533, 548, 768,
 775—776, 779—780
 Феофилакт Болгарский 418, 420
 Феофилакт Лопатинский 776
 Филарет 181, 396
 Филипп Ефремов 673
 Филиппов В. 518
 Филиппова И. С. 342
 Филофей, монах 170, 204, 242—243
 Фирсов Г., см. Герасим Фирсов
 Флеминг П. 381
 Флемминг В. 373
 Фома 152, 157, 202, 298, 306, 309—310
 Фомичева З. И. 323
 Фофанов Н., см. Никита Фофанов
 Франциск Скорина 492, 798
 Фролов А. 339
 Фроянов И. 267

Х

Харлампович К. В. 295, 510
 Хворостинин И., см. Иван Хворостинин
 Хилковский В. 546
 Хлебников В. М. 421
 Хмарный И., см. Иосиф Хмарный
 Хоников М., см. Мардарий Хоников
 Храпченко М. Б. 345
 Хурелич Л., см. Лаврентий Хурелич

Ч

Чаев Н. С. 677
 Чемоданов И. И. 318, 323
 Черепнин Л. В. 227, 301, 414—415
 Чистов К. В. 407, 422
 Чистович Я. 520, 522
 Чистякова Н. А. 314
 Чорович В. 89
 Чукасян Б. Л. 681
 Чуркина Л. А. 39, 224

Ц

Цветаев Д. В. 491

Ш

Шайкин А. А. 737

Шаповалова Г. Г. 425
 Шарлемань Н. В. 22, 28
 Шахматов А. А. 137—138, 571, 587—
 591, 595—599, 602, 605, 613—
 614, 618, 624—625, 627, 677, 789
 Шаховской С. И., см. Семен Шахов-
 ской
 Шеин П. 512
 Шептаев Л. С. 418
 Шереметев Б., см. Борис Шереметев
 Шильдбергер И. 682
 Шляпкин И. А. 704, 723—725, 791
 Шохин В. К. 673
 Шугаевский В. А. 503—504
 Шуйский В., см. Василий Шуйский
 Шульгин В. С. 420
 Шумилов Т. В. 668
 Шутой В. Е. 506

Щ

Щеглова С. А. 550
 Щеголева Л. И. 606
 Щепкина М. В. 789
 Щепотьев Л. 319

Э

Эзоп 48—49, 184, 489, 501
 Эйнгорн В. 319
 Эйхлер 533

Ю

Юрий Крижанич 189, 314, 316, 318,
 322, 369
 Юрченко А. 578
 Юстин 534—537, 546, 548

Я

Яблонский В. 297
 Языков Д. 533
 Якимов И. И. 519
 Яковлев А. 393
 Яковлев В. А. 208—209, 788
 Яковлев И., см. Иван Яковлев
 Янин В. Л. 739
 Яницкий Н. 501
 Яцимирский А. И. 185

-
- Eggers W. 374
Flemming W. 374
Gryphius A. 373
Günther K. 375
Jakobson R. 30
Kecnan E. L. 689
Lewński J. 502, 752—753
Lohenstein D. C. 374
- Nuglisch O. 374
Pfeiffer J. 373, 375
Popłatek J. 751
Popp G. 374
Riedel E. 751
Rinhuber L. 374, 488
Schings H.-J. 373
Szyrocki M. 374

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ*

Учитываются прямо или косвенно названные конкретные произведения, документы, рукописные книги, старопечатные издания, изобразительные памятники. Названия в указателе унифицированы и не всегда совпадают с употребленными в книге, ибо приводятся в сокращенном виде, в том числе опускаются приложения и определения перед личными именами. Прилагательные ставятся перед существительными, если не иным бывает порядок слов в авторских названиях и в устойчивой традиции наименования памятников. При расположении названий по алфавиту не принимаются во внимание пунктуационные знаки — кавычки, запятые, скобки. Произведения с одинаковыми названиями указываются в их хронологической или номерной последовательности.

А

- «Агафонушка» 446, 457
- «Азбука» (М., 1634) 400, 402, 404—405, 413, 416
- «Азбука» (М., 1637) 316, 406, 412
- «Азбука индийских книжных слов» 673
- «Азбука о голом и небогатом» 192, 248, 286, 293, 317, 326, 372, 446, 456—458
- «Азбуковник» 737
- «Акт о Калеандре и Неонилде» 534
- «Акт о Кире и Тамире» 7, 534, 545—551, 793
- «Александрия» 22—26, 33, 35, 40, 108, 111—112, 133, 151, 156, 278, 283, 297, 304—305, 313, 368, 668—670, 696—698, 732, 736, 739, 746
- «Алеша Попович» 46
- «Алфавит, рифмами сложенный» Иоанна Максимовича (Чернигов, 1705) 508
- «Алфавитный патерик» 150
- «Амфитрион» Ж.-Б. Мольера 181
- «Анатомия» Везалия 179
- «Анфологион» (М., 1660) 181, 444
- Апокалипсис 278, 701, 734
- Апокриф о Енохе 703, 712
- Апокриф о Соломоне и двух женщинах 155
- Апокриф о Соломоне и Китоврасе 100, 104, 219, 223, 696
- Апокриф о Соломоне и Малкатошке 100, 102
- Апостол 271, 297, 302, 756
- «Апостол» (М., 1564) 10, 169, 308, 462, 792
- «Апостол» (М., 1606) 382
- «Апостол» (М., 1621) 395, 398—400

* Указатель составила А. Г. Мирзоян.

- «Апостол» (Вильно, 1591) 795
 «Апофегмата» (СПб., 1723) 550
 «Апофегматы» 182, 550
 «Аристотелевы врата», см. «Тайная тайных»
 «Арифмология» Николая Спафария 183, 295
 «Артаксерксово действо» 6, 105—107, 109, 112, 116, 126, 186, 286—287, 304, 317, 327, 329, 331—334, 361—366, 373—376, 379, 381, 478—485, 488—491, 497, 784—785, 792
 «Атлас» Блеу 179

Б

- «Баснословие Езопа» 48—49, 184
 «Беги небесные» 179
 «Бельский летописец» 396
 «Беседа валаамских чудотворцев» 168
 «Беседа о святых Царьграда» 151
 «Беседа трех святителей» 23, 25
 «Беседы на Евагелие от Иоанна» Иоанна Златоуста (М., 1665) 444—445
 «Беседы на Евагелие от Матфея» Иоанна Златоуста (М., 1664) 444
 Библия 10, 25, 36, 58, 82, 109, 141, 151, 224, 228, 232, 278—280, 297, 304, 321—322, 330, 336, 352, 361, 364, 376—377, 480, 483—484, 488, 490, 493—497, 531—532, 537, 550, 586—588, 606, 703, 718—719, 732, 739, 756, 769, 780, 787
 «Библия» Геннадия 165
 «Библия» лютеранская 489
 «Библия» (М., 1663) 353, 444—445, 490, 492, 496, 531
 «Библия» (Острог, 1581) 23, 25, 33, 224, 228, 278, 384, 490, 606, 732, 739
 «Библия» Пискатора 353, 360, 492
 «Библия» Франциска Скорины (Прага, 1517—1519) 492, 798
 «Благохотящим царем правительница» Ермолая-Еразма 168, 242, 245—246
 «Богоматерь вертоград заключенный» 329
 «Божие уничижителей... гордых уничижение» 752, 756—757, 769
 «Большая государственная книга» 494
 «Большая челобитная» Ивана Пересветова 241, 245, 396, 555, 560—561
 «Брашно духовное» 295
 «Букварь» Бурцева, см. «Азбука»
 Бытие 24—25, 606

В

- «Василиологион» Николая Спафария 180, 295, 331
 «Ведомости» 507, 771
 «Великие Минеи Четьи» 166, 181, 204, 686, 739, 741, 788
 «Великое Зерцало» 117, 120, 184, 186

- «Венец Димитрию» Евфимия Морогина 758
 «Венец победы» (Львов, 1709) 537, 543
 «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого 184, 369
 «Вечера душевная» Симеона Полоцкого (М., 1683) 182, 328, 460
 «Взятие Азова» 435
 «Видение Исаии» 63, 68, 132, 703—706, 709
 «Виршевая библия» Мардария Хоникова 116
 «Владимир» Феофана Прокоповича 548
 «Владими́ро-Сузда́льская летопись» 7, 34—37, 137, 142, 144, 146, 199, 209—
 210, 213, 215, 224, 227, 555, 557—558, 661—663, 740, 799
 «Возглашение...» Иоакима 460, 468
 «Воздержание» Симеона Полоцкого 376
 Воззвание Гермогена, первое и второе 387—389, 391
 Воззвание москвичей, первое и второе 387—390, 393
 «Вологодско-Пермская летопись» 160
 «Вольга» 23, 27
 «Вопросы Иоанна Богослова на горе Елеонской» 703, 721
 «Вопросы Иоанна Богослова на горе Фаворской» 703, 720
 «Вопросы Иоанна Богослова о праведных душах» 703, 721
 «Вопросы Варфоломея-апостола», см. «Воспрошанье Варфоломея»
 «Воскресенская летопись» 173
 «Восписание сопротивно...» Ивана Грозного, см. Послание Ивана Грозного
 турецкому султану
 «Воспрошанье Варфоломея» 100, 104, 703, 720
 «Временник» Ивана Тимофеева 187, 248, 252—253, 396, 407, 409, 412—413
 «Временникъ, иже нарицается летописание...», см. «Начальный свод»
 «Второй Киево-Печерский летописный свод», см. «Начальный свод»
 «Выголексинский сборник» 739
 «Выходы патриаршие», см. «Патриаршие выходы»

Г

- «Галицко-Волынская летопись» 5, 13, 17, 19, 33—40, 43, 137, 142, 144, 146,
 150, 201, 208, 210, 218, 220, 222, 224, 230, 555, 557, 559
 «Галицкое евангелие» 135
 «География» Линды 179
 «Гистория о Декоронии» 524
 «Главы совещательные Агапита» 545
 «Грамматика» Мелетия Смотрицкого (М., 1648) 181, 418, 511
 Грамота Аббаса 676—677
 Грамота Алексея Михайловича 1654 г. 439—440, 449
 Грамота Алексея Михайловича 1660 г. 439, 443
 Грамота Алексея Михайловича 1662 г. 444—445
 Грамота Василия Шуйского 387, 389, 391

- Грамота Д. М. Пожарского 390
 Грамота Дионисия и Авраамия Палицына 387, 390, 392
 Грамота донских казаков 387, 390, 395
 Грамота Иоакима 1682 г. 461, 465, 469
 Грамота Иоасафа 1668 г. 117, 119
 Грамота Махмета Аминя 676, 678
 Грамота Михаила Федоровича об исправлении «Потребника» 387, 390
 Грамота москвичей 390
 Грамота Мусы 676
 «Грамота Никона о Крестном монастыре» (М., 1656) 439—440
 Грамота смольнян 387, 389, 392
 Грамота Филарета 1622 г. 396, 409—410
 Грамота Филарета 1623 г. 396
 Грамота Филарета 1629 г. 431
 Грамота Филарета 1632 г. 396, 408
 Грамота ярославичей 390, 392
 «Гранограф» Пясецкого 179
 «Грациан, придворной человек» (СПб., 1742) 528
 «Грешных спасение» 186
 «Гусль dobroglasная» Симеона Полоцкого 492

Д

- «Двоесловие Живота и Смерти» 703, 721—722, 753, 760—761
 «Действие на рождество Христово» 541, 545
 «Действие об Есфири» 784—785
 «Действо о семи свободный науках» 6, 504—514, 542, 752, 762, 765—766, 768, 770, 793
 «Делати» Симеона Полоцкого 294
 «Деяния церковная и гражданская» (М., 1719) 549
 «Диалог о Гофреде» 780—781
 «Диалог о страстях Христовых» 752, 755
 Дневальные записки приказа Тайных дел 370
 Дневник Б. И. Куракина 523
 «Дневник путешествия» Петра Толстого 180
 «Добрый молодец и река Смородина» 458
 «Домострой» 108, 110, 114, 169, 204, 241, 246, 303—304, 309, 328, 348, 350
 «Домострой» Кариона Истомина 186
 Драма, см. Пьеса
 «Древнейший Киевский летописный свод» 137—139, 150, 595—600, 602, 605, 612, 631
 «Древние российские стихотворения», см. сборник Кирши Данилова
 «Древняя история...» Ш. Роллена (СПб., 1751) 534, 546, 551
 «Древняя российская вивлиофика» (М., 1788—1790) 117, 318, 493, 753

Духовное завещание А. Д. Меншикова 543
 «Духовный регламент» 775

Е

Евангелие 10, 133, 166, 271, 352, 684, 766—767
 «Евангелие» (М., 1606) 382, 385—386
 «Евангелие» (М., 1657) 439, 442—443
 «Евангелие» (М., 1701) 767
 Евангелие от Луки 353, 356—360
 Евангелие от Матфея 25, 741
 «Египетский патерик» 133
 «Еллинский и Римский летописец» 151
 «Ермолинская летопись» 152, 160
 «Есиповская летопись» 59, 189, 396, 403, 411, 555, 562

Ж

«Жалобная комедия об Адаме и Еве» 10, 105—107, 110, 113, 115, 118, 186,
 287—290, 318, 329, 331, 334, 336, 361—362, 365—366, 375, 379, 478—480,
 483, 485, 793
 «Жезл правления» Симеона Полоцкого 182, 286, 295, 460, 795
 «Житие» Аввакума 5, 55—73, 75—85, 188, 192—195, 205, 248, 258, 260—261,
 287, 318, 329, 331, 335—336, 341, 346, 348, 371, 378, 696, 704, 725, 790, 792
 «Житие Авраамия» Ефрема 736
 «Житие Авраамия Ростовского» 7, 297, 300, 739—742
 «Житие Авраамия Смоленского» Ефрема 39—40, 151, 208, 210, 214—215
 «Житие Адриана Пошехонского» 166
 «Житие Александра Невского» 6, 151—154, 200—201, 218, 222—223, 278—
 285, 556, 662, 666, 798
 «Житие Алексея, человека Божия» 133, 181, 282
 «Житие Анастасии Римлянки» 133
 «Житие Андрея Юродивого» 23, 25, 704, 716—718, 732—733, 739—740
 «Житие Антония Великого» 133
 «Житие Антония Печерского» 605
 «Житие Антония Римлянина» 233, 235, 237, 297, 312
 «Житие Аркадия Новгородского» 151
 «Житие Артемия Веркольского» 189
 «Житие Афанасия Александрийского» 33, 35
 «Житие Варлаама Керетского» 189
 «Житие Варлаама Хутынского» 151
 «Житие Василия Нового» 23, 25, 278—279, 591, 704, 717—718, 722, 736, 739—
 740
 «Житие Вита» 13, 17, 89, 91—92, 94, 704, 712
 «Житие Вячеслава Чешского» 89—92, 94—96, 99, 133

- «Житие Георгия Победоносца» 133, 736
«Житие Димитрия-царевича» 396, 399, 412
«Житие Евстафия Плакиды» 133
«Житие Евфросинии Суздальской» 103, 166
«Житие Епифана» Иоанна 89—90
«Житие Епифана» Поливия 89—91, 92
«Житие Епифания» 65, 81, 85, 189
«Житие Еразма» 89, 91—92, 94, 96—97, 704, 712
«Житие Ефросина Псковского» 166
«Житие Зосимы и Савватия Соловецких» 241—242, 244
«Житие Игнатия Ростовского» 151
«Житие Иоакима Сарданопорского» 89, 94, 96
«Житие Иоанна Богослова» 739—741
«Житие Иоанна Златоуста» 133
«Житие Иоанна и Логгина Яренгских» 63, 73—74, 189
«Житие Иоанна Милостивого» 704, 720
«Житие Иоанна Новгородского» 236, 297, 308
«Житие Иоанна Рыльского» 89—93
«Житие Иоанна Устюжского» 189
«Житие Иоасафа, царевича индийского» 59
«Житие Ионы Новгородского» 152, 158
«Житие Иосифа Волоцкого» 166
«Житие Иринарха» 48, 50
«Житие Иринии» 33—34, 89—91, 93, 95, 208, 210
«Житие Исая Ростовского» 151
«Житие Кирилла Белозерского» 60, 297, 300
«Житие Константина Философа» 89—91, 94, 96
«Житие Леонтия Ростовского» 142
«Житие Макария Римского» 23, 25, 150, 298, 310, 698, 704, 719, 732—734, 740
«Житие Мефодия Моравского» 133, 580
«Житие Михаила Воина» рукописное 732, 736—737
«Житие Михаила Клопского», см. «Повесть о житии Михаила Клопского»
«Житие Михаила Всеволодовича Черниговского», см. «Повесть об убиении
Михаила Черниговского в Орде»
«Житие Михаила Ярославича Тверского», см. «Повесть об убиении Михаи-
ла Тверского в Орде»
«Житие Наума Охридского» 89, 94
«Житие Никиты-мученика» 110
«Житие Никодима Кожеозерского» 63, 74
«Житие Николая Мирликийского» 133, 141, 741
«Житие Николы Чудотворца», см. «Службы, житие и чудеса Николы Чу-
дотворца»
«Житие Нифонта» 133
«Житие Пафнутия Боровского» 166

- «Житие Пахомия» 89, 94, 629
«Житие Петра Московского» 151, 218, 222
«Житие Прокопия Устюжского» 117, 121, 189
«Житие Саввы Освященного» 133
«Житие Саввы Сторожевского» 189
«Житие Серапиона Новгородского» 166
«Житие Сергия Радонежского» Симона Азарьина 433
«Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого 202, 233, 235—236, 240, 297, 299, 308
«Житие Симеона Неманя» Савы Сербского 89—90, 92, 94, 96—97
«Житие Симеона Неманя» Стефана Первовенчанного 89—92, 94—97
«Житие Симона Юрьевецкого» 63, 74
«Житие Стефана Пермского» Епифания Премудрого 152, 158, 202, 555, 557—558, 739
«Житие Трифона Вятского» 63, 74
«Житие Улиании Осорьиной», см. «Повесть об Улиании Осорьиной»
«Житие Февронии» 89—92, 94—96
«Житие Феодора Стратилата» 133
«Житие Феодора Студита» 133, 739, 740
«Житие Феодора Тирона» 110, 133, 696, 736
«Житие Феодосия Печерского» Нестора 89—93, 95, 99—100, 104, 142, 208, 210—216, 274, 276, 582—583
«Житие Христофора» 89—92, 96—97, 740
«Журнал, или Дневные записки...» Н. П. Рычкова (СПб., 1770) 555, 565

3

- «Завет Левгин» 704, 718
«Задонщина» 31, 39—43, 46, 152, 161—164, 202, 224—233, 555, 559, 795, 797
Записка Иннокентия о Пафнутии Боровском 297, 300
Записка об увещаниях Аввакума Симеоном Полоцким 371
Записки Г. Лебедева 673
Записки дюка Лирийского 533, 539
Записки И. Шильдбергера 682
Записки Ф. Ефремова 673
Запись о «нечаянном состязании» придворных ученых 123
«Записки о поездке в Россию» Лаврентия Рингубера 488
«Звезда пресветлая» 186
«Зерцало богословии» Кирилла Транквиллиона 759
«Зерцало от писания божественнаго» (Чернигов, 1705) 508
«Златая цепь» 151
«Златое иго супружества» 187
«Златой бисер», см. «Луцидариус»
«Златоструй» Иоанна Златоуста 136

- «Златоуст» 151
 «Зрелище жития человеческого» 184

И

- «Изборник» 1073 г. 136
 «Изборник» 1076 г. 100, 104, 136, 208—209, 217
 «Известие истинное...» Сильвестра Медведева 460, 466—467, 469, 471—473, 475
 Изветное письмо 1682 г. 461, 472
 «Извещение чудесе...» (М., 1677) 117, 121
 «Изложение на еретики» Ивана Хворостинина 182
 «Изложение на люторы» Ивана Наседки 182
 «Изложение противу римской веры» Ивана Хворостинина 182
 «Изложение титулов» 337
 «Измарагд» 100, 103—104, 151, 215, 301, 303, 788
 «Илья Муромец и Сокольник» 46
 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 46
 «Иное сказание» 187, 387—388, 391, 396—397, 402
 «Иноческий потребник» (М., 1639) 50, 417
 «Интерлюдии» 555, 565
 Интермедия о богатыре и русском воине 501, 504
 Интермедия о Летяге 499—503
 Интермедия о мужике и студенте 501
 Интермедия о пьянице и «блудном» 503—504
 «Иоасафовская летопись» 170, 172
 «Ипатьевская летопись» 36, 138, 569, 612
 «Ирмологий» (М., 1657) 439, 441—443
 «Исповедание Евы» 100, 103
 «Истинная политика знатных...» (СПб., 1737) 528
 «История» Авраамия Палицына, см. «Сказание» Авраамия Палицына
 «История Архилабона-королевича» 524
 «История вкратце о Бохеме» 180
 «История» Геродота 489
 «История ефиопская» 180
 «История Иудейской войны» Иосифа Флавия 33, 36, 100, 103, 133, 151, 180, 224, 228, 232, 283—284
 «История» Мартиниуса 180
 «История о Брунцвике», см. «Повесть о Брунцвике»
 «История о Варлааме и Иоасафе» (М., 1681) 182, 498
 «История о вере» Саввы Романова 461, 467, 471, 473
 «История о великом князе московском» Андрея Курбского 110, 115, 170, 177, 309, 348, 555, 561
 «История о Казанском царстве», см. «Казанская история»

- «История о Мелюзине», см. «Повесть о Мелюзине»
«История о невинном заточении...» (СПб., 1776) 117, 318
«История о Петре Златых Ключей», см. «Повесть о Петре Златых Ключей»
«История о семи мудрецах» 183—184
«История о царях» Федора Грибоедова 189, 337
«История Сарматии» Гваньини 180
«История» Феофана Прокоповича 533
Исход 228
«Иудейские древности» Иосифа Флавия 489
Иудифь 228, 379
«Иудифь» 105—107, 110, 112, 186, 286—290, 292, 295, 304, 317, 323—326, 363, 365—366, 374—376, 478, 481, 483, 485, 497, 531—532, 550
«Иудифь», петровского времени 531, 550

К

- «Казанская история» 110—112, 170, 174—175, 204, 242, 244, 297, 308—311, 314, 348—349, 368, 560—561, 677, 684—687, 797
Календарь 1725 г. 538
«Калязинская челобитная» 196, 205, 286, 293, 472
«Канонник» (М., 1636) 404—405, 416
«Канонник» (М., 1641) 419—420
Картина «как Иосиф бежал от Перфиевы жены» 118
«Катехизис» Лаврентия Зизания 395
«Кающийся грешник» Димитрия Ростовского 793
«Киево-Печерский патерик» 33, 36, 100, 104, 142, 208, 213—215, 275, 297—298, 300, 583, 695
«Киевская летопись» 137, 142, 144—146, 148, 200, 208, 210, 212, 279, 583, 585, 654—662, 799
«Киприановская летопись» 189
«Кириллова книга» (М., 1644) 417
«Ключь Дому Давыдова...» Гавриила Бужинского (М., 1722) 776
«Книга, а в ней собрание...» 494
«Книга бесед» Аввакума 55, 70, 77—78, 183, 258, 260—261, 343, 352
«Книга, глаголемая Козмография» 179, 555, 562—563, 668—669, 672—673
«Книга, глаголемая Новый летописец», см. «Новый летописец»
Книга Даниила-пророка 492, 494, 606
Книга Есфирь 492
«Книга Есфирь», древнееврейская 489
«Книга желательно приветство мудрости» Кариона Истомина 461, 469—470, 472—473, 475
Книга Иезекииля-пророка 33, 36
Книга Иеремии-пророка 33, 36, 735
«Книга иероглифическая» Николая Спафария 181, 752, 763

- «Книга, избранная вкратце о девятих мусах» Николая Спафария 181, 511, 762
- «Книга, именуемая История» Т. Каменевича-Рвовского 180
- Книга Иова 33, 35
- Книга Исаии-пророка 13, 20, 33—34, 278
- Книга Исуса Навина 279
- «Книга лошадиного учения» 338
- Книга Маккавейская 230
- «Книга на новгородских еретиков», см. «Просветитель»
- «Книга Небеса» Иоанна Дамаскина 132
- «Книга о избрании на превысочайший престол...» 123, 337, 494
- «Книга о Луне», см. «Селенография»
- «Книга о пресуществлении...» Афанасия Холмогорского 460, 475
- «Книга о псовой охоте» 338
- «Книга о сивиллах» Николая Спафария 120, 181
- «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова 523, 771, 775
- «Книга о тайнах Еноховых» 700, 703—704, 713—716
- «Книга о описании великих князей...», см. «Большая государственная книга»
- «Книга обличений» Аввакума 55, 183
- «Книга откровения Авраама», см. «Откровение Авраама»
- «Книга Полис» Кариона Истомина 181
- «Книга Стамна» Кариона Истомина 181
- «Книга толкований» Аввакума 55, 68, 258, 260, 336, 346
- Книга Царств 40, 228, 232
- Книга Чисел 33, 36
- «Книги политическия...» (СПб., 1723) 778
- «Комедия о Давиде и Голиафе» 118
- «Комедия о Есфири» 489
- «Комедия о Петре Сквенце» А. Грифиуса 374
- «Комедия о Фарсоне» 526—527
- Комедия об искуплении человека 793
- «Комидия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого 105—108, 110, 114—115, 186, 286—289, 318, 325—326, 353—361, 363—364, 366, 375, 377, 479—480, 483—484, 496—497, 502—504, 792—793
- Коран 684
- «Кормчая» (М., 1650) 417—418
- «Кормчая» (М., 1653) 439—440
- «Космография» 668, 673
- «Космография» Ботера 179
- «Космография» Козмы Индикоплова 24, 132
- «Космография» Мартина Бельского 165
- «Космография» Меркатора 179
- «Космография» Ортелиуса 179
- «Краткое известие...» И. Ф. Кильбургера 354

Крестоприводная запись 1652 г. 448

«Кунгурская летопись» 189

«Купель душевная» 183

«Куранты» 181

Л

«Лаврентьевская летопись» 13, 33, 89, 138, 147, 154, 208—209, 219, 224, 555, 566, 569, 585, 592, 596, 598—599, 608, 626—627, 661, 788

«Лавсаик», см. «Египетский патерик»

Легенда о происхождении винокурения 110, 114

«Лекарство душевное» 327

«Лествица Иакова» 704, 720

«Лествица» Иоанна Синайского 136

«Летописец» 1619—1691 гг. 461, 467, 473—475

«Летописец вскоре» Никифора 134

«Летописец начала царства» 170, 172—173

«Летописец Переяславля Суздальского» 629—630

Летописная повесть о Куликовской битве, см. «О побоище иже на Дону»

Летописный свод 1448 г. 158—159

Летописный свод Никона, см. «Первый Киево-Печерский свод»

«Лечебник на иноземцев» 749

«Лист», изображающий стрельцов 323

«Лицевой летописный свод» 176, 204

«Луг духовный», см. «Синайский патерик»

«Луцидариус» 23—24, 165, 169, 668—670, 698, 700, 704, 722—723, 746, 796

«Любовь к подданным» Симеона Полоцкого 481

«Лявреа, или Венец бессмертных славы...» (СПб., 1714) 536

«Лях и Запорожец» 504

М

«Мазуринский летописец» 396, 403—404

«Малая комедия о Баязете и Тамерлане», см. «Темир-Аксаково действие»

«Малая прохладная комедия об Иосифе» 105—107, 126, 186, 287—289, 318, 321, 325, 327, 330, 361, 366, 376—377, 478, 483, 793

«Маргарит» (М., 1641) 420

«Мерило праведное» 218

«Меч духовный» 295

«Минеи четьи», см. «Четьи минеи»

«Милость Божия» 542, 544

«Мирской потребник» (М., 1639) 180, 396

«Михайла Казаринов» 46

Молебное послание Алексея Михайловича 410

«Моление Даниила Заточника» 23, 25, 33, 136—137, 200—201, 208, 215, 218, 282, 303

Монастырский устав, см. Устав

«Московский летописец» 396, 403

«Московский летописный свод» 233, 237, 241

«Мучение Вита», см. Житие Вита»

«Мучение Еразма», см. Житие Еразма»

«Мучение Иринии», см. Житие Иринии»

«Мысль» Симеона Полоцкого 379

Н

«На несытное чрево» Максима Грека 241—242

«На реках вавилонских» 493

«Наказание богатым» 208, 215

«Наказание князем» 218, 220

«Наказание» Семена Тверского 218, 223

«Наказания» Даниила-митрополита 60, 110, 113, 125, 169, 242, 244—245, 298, 302, 309, 350, 368

«Насаждение древа Московского государства» Симона Ушакова 329, 495

Настольная грамота Иоакима 461, 465

«Началник» Симеона Полоцкого 481—482

«Начальный свод» 137—138, 566, 571, 575, 596—597, 635

«Небо новое» 186

«Никодимово евангелие» 155

«Никоновская летопись» 40, 42, 154, 170—171, 176, 204, 219, 677—678

«Новая повесть о преславном Российском царстве» 48—49, 187—188, 248, 250—252, 387—389, 392—393, 434

«Новгородская первая летопись» 7, 142, 144, 208, 216, 218—219, 221, 555, 557, 559, 567, 599, 635—654, 729, 731, 799

«Новгородская четвертая летопись» 152, 158

«Новый летописец» 187, 396, 402

«Нравоучительныя и полезныя разсуждения» (М., 1761) 550

О

«О бедах» 387, 389—390, 395

«О всей твари» 704, 721

«О добронравии» Запчица 183

«О изведении царского семени» 387, 391

«О исправлении гражданского жития» Модржевского 180

«О Июдифе премудрей», см. «О премудрей Июдифе»

«О мощах неведомых» 677, 691

- «О Навходоносоре-царе» Симеона Полоцкого 6, 105—108, 110, 115, 118, 186, 286—289, 334, 364, 366, 376—378, 479, 482—484, 492—498, 502, 755, 792, 793
- «О некую двою суседу» 298, 312
- «О памяти смертней» 704, 720
- «О побоище, иже на Дону» 39, 44, 159, 224, 227—228, 795
- «О поезде великого князя в Новгород» 233, 239
- «О пользе театральных действий» 534
- «О премудрей Июдифе» 7, 531—532, 794
- «О приходе Ахмата на Угру» 152, 160
- «О приходе Сафа Киреа» 170, 173
- «О рождестве Иисуса Христа» 298, 311
- «О России» Григория Котошихина 356, 358, 437
- «О Сарпиде, дуксе ассирийском» 7, 525—530, 794
- «О силах трав» Альберта Великого 338
- «О сказании евангельском» Кирилла Туровского 208, 216
- «О смерти Петра Великого... краткая повесть» Феофана Прокоповича (СПб., 1726) 776
- «О сотворении мира» Аввакума 55, 68
- «О стихотворстве камчадалов» А. П. Сумарокова 555, 565
- «О трех исповедниках слово» Аввакума 318, 327
- «О убыньи Борисове» 140, 270
- «О четырех великих монархиях» Слейдана 180
- «О явлении Аврааму», см. «Смерть Авраама»
- «Об искушении бесом старца-страннолюбца» 110, 114
- «Обед душевный» Симеона Полоцкого (М., 1681) 182, 286, 294—295, 369, 379, 460
- «Образ победоносия...» Исаакия Хмарного 515—517
- «Образ торжества...» 515—516
- «Обряд рукоположения в члены всешутейшего собора» 521
- «Общая минея» (М., 1609) 382, 385
- «Общая минея» (М., 1618) 395, 398, 400
- «Объявление всякаго чина персонам...» (СПб., 1723) 775
- «Объявление о лечителных водах...» (СПб., 1719) 523
- «Объявление о чудном муже...» (СПб., 1719) 775
- «Оглашения» Кирилла Иерусалимского 136
- Ода Ивана Верещагина 544
- «Ода на день восшествия Елизаветы...» М. В. Ломоносова 555—556, 564
- Ода по поводу обручения Петра II 544
- Окружная грамота Алексея Михайловича 1669 г. 117, 119
- Окружная грамота Петра и Иоанна Алексеевичей 1682 г. 461, 472—473
- «Октоих» 271, 404
- «Октоих» (М., 1594) 382
- «Октоих» (М., 1631) 395, 399, 406

- «Описание вин к погибели царств» 180
 «Описание Китайского государства» Николая Спафария 180, 562
 «Описание новые земли...» 556, 562—563
 «Описание Персии» Сансона 180
 «Описание плаваний в Индию» 180
 «Описание путешествия в Московию» Адама Олеария 180, 354—355, 358
 Описание путешествия Людовика 165
 «Описание света и всех в нем государств» Линды 179
 «Описание торжественных зданий...» В. И. Майкова 556, 564
 «Описание Турецкой империи» 562
 «Орел российский» Симеона Полоцкого 196, 753, 763—764
 «Остен» 460, 473
 «Остромирово евангелие» 135
 «От божественных писании...», см. «Соборное изложение» 1620 г.
 «От шестоденца избрано» 218—219
 Ответы Никона Н. Стрешневу 420
 «Откровение Авраама» 704, 718—719
 «Откровение Павла-апостола» 132
 «Отразительное писание...» Евфросина 461, 464—465, 467, 469, 471
 «Ох, в горе жить» 446, 457

II

- «Павлово видение» 700, 704, 709—712
 «Палея» 306
 Память 1653—1654 гг. 448
 «Память и похвала Владимиру» 141, 796
 Память Иоасафа 1636 г. 396—397, 399, 403—406, 408, 410—411
 «Пандекты» Антиоха Черноризца 135, 150
 «Пандекты» Никона Черногорца 135, 150
 «Панегирик, или Слово похвальное...» В. К. Тредиаковского (СПб., 1732)
 533
 Панегирическое слово Лихуд 753, 765
 Паралипоменон 228
 «Паралипоменон Иеремии», см. «Повесть Иеремии-пророка о пленении Иерусалима»
 «Параллели» Иоанна Дамаскина 40, 100, 104
 «Паренесис» Ефрема Сирина 136, 150
 «Паримейник» 218, 221
 «Патриаршие выходы» 117, 123
 «Пентатеугум» Андрея Белобочко 186, 704, 726—728
 «Первый Киево-Печерский летописный свод» Никона 137—138, 593, 612
 Песнопение о Никоне 446—447
 «Перевод с книги, именуемой Водный мир» 179

- «Песнь, ею же от моря Каспийского...» 517
«Песнь о непостоянстве счастья» Гофмана фон Гофмансвальдау 374
«Песнь приветственная...» (М., 1721) 517
Песня о возвращении Филарета 397, 403
Песня о Щелкане 677, 684
«Печерский патерик» (Киев, 1702) 507
«Пещное действо» 493
«Пир у Симона Фарисея» Паоло Веронезе 498
«Писание о преставлении и о погребении Михаила Скопина-Шуйского» 48, 50, 187, 206, 386
«Пискаревский летописец» 397
Письмо Аввакума Алексею Копытовскому 344
Письмо Аввакума Исидору 342
Письмо Аввакума Ксении Болотовой 342—343
Письмо Аввакума «отцу и брату» 331
Письмо Аввакума Ф. П. Морозовой и Е. П. Урусовой 343
Письмо Алексея Михайловича Н. И. Одоевскому 419
Письмо Алексея Михайловича Ю. Д. Долгорукому 370
Письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу 137, 268, 275
Письмо Н. Бидлоо Головину 519
Письмо Никона 1660 г. 370
Письмо Никона 1671 г. 339
Письмо приказного приказным 320
Письмо Сильвестра Медведева 369—370
Письмо Сильвестра Медведева иеромонаху 321
Письмо Феофана Прокоповича Анне Иоанновне 531
Письмовник XV в. 792
Письмовник XVI в. 791
План Генриха Гюйсена 508
«Планидник» 179
«Плач земли Российской» 387, 390
«Плач и утешение» Сильвестра Медведева 753, 764
«Плач о пленении Московского государства» 187, 387—390, 395
«Повествования Иродота Аликарнасского» (СПб., 1763) 535—537
«Повесть бывшего посольства в Португальской земли» 562
«Повесть временных лет» Нестора 7, 10, 13—14, 19, 33, 35—36, 100—103, 111, 113, 137—138, 140, 142—145, 147—148, 150, 199—200, 208, 210, 212—213, 216, 218—221, 224, 228, 267—271, 274—276, 298—299, 302—303, 555—556, 558, 566—577, 580, 583, 585—635, 643, 649, 652, 655, 661, 663, 668, 704, 712, 739, 797—799
«Повесть Давида-царя и Соломона, сына его» 117, 126—127, 185
«Повесть Иеремии-пророка о пленении Иерусалима» 13, 17, 33—34, 135
«Повесть, известно сказуема на память Дмитрия» Семена Шаховского 48, 50—53, 60, 348, 350, 396, 405—406, 409, 411—413

- «Повесть, како восхити...» 187, 388
- «Повесть, како отомсти...» 187, 387, 389—390
- «Повесть книги сея» Ивана Катырева-Ростовского или Семена Шаховского 59, 187, 350, 396, 398, 402—403, 406, 412—413
- «Повесть Макария Александрийского» 704, 723
- «Повесть о Басарге», см. «Повесть о Дмитриии Басарге»
- «Повесть о белоризце» Кирилла Туровского 208, 216
- «Повесть о Благовещенской церкви» 233, 236
- «Повесть о благочестивом рабе» 298, 312
- «Повесть о Бове» 47, 185, 206, 314—315, 317, 743
- «Повесть о бражнике» 411
- «Повесть о Брунцвике» 185, 745—746
- «Повесть о Вавилонском царстве», см. «Слово о Вавилоне»
- «Повесть о Варлааме и Иоасафе» 100, 102, 668—671, 736, 739
- «Повесть о Василии Златовласом» 185, 372
- «Повесть о Венцыане Францеле» 522
- «Повесть о взятии Азова донскими казаками» 197, 432, 562
- «Повесть о взятии Василием III Пскова» 170, 172
- «Повесть о взятии Иваном Грозным Смоленска» 166
- «Повесть о взятии Царьграда турками» Нестора-Искандера 155, 203, 298, 305, 311, 348—349, 557, 677, 686
- «Повесть о видении Варлааму» 187
- «Повесть о видении некоему мужу» 187, 387—389, 391, 394
- «Повесть о внезапной кончине Михаила Федоровича» 421—422
- «Повесть о выдропускской иконе Богородицы» 166
- «Повесть о Горе-Злочастии» 188, 190—192, 206, 233, 248, 258—259, 317, 325—326, 371—372, 397, 446—459, 502, 697
- «Повесть о грешной матери» 704, 724
- «Повесть о Димитрии», см. «Повесть известно сказуема на память Димитрия»
- «Повесть о Динаре, грузинской царице» 156, 298, 310, 313, 556, 561, 677, 679
- «Повесть о Дмитриии Басарге и о сыне его Борзосмысле» 100, 102, 110—111, 155, 202, 326
- «Повесть о Добрыне» 142
- «Повесть о Довмонте» 7, 151, 663—667, 799
- Повесть о домике Богородицы 165
- «Повесть о Дракуле» 111, 156, 202, 234, 237, 240, 298, 304
- «Повесть о Едигее», см. «Повесть о нашествии Едигея»
- «Повесть о Еруслане Лазаревиче» 7, 47, 185, 206, 314—315, 396, 401, 446, 452, 668—669, 691, 701, 743—744
- «Повесть о Ерше Ершовиче» 188, 192, 205, 255—257, 431, 438, 457, 745, 748—749
- «Повесть о женской злобе» 117, 126
- «Повесть о житии Михаила Клопского» 202, 233, 237

- «Повесть о зачале Москвы», см. «Повесть о начале Москвы»
«Повесть о Калкском побоище» 152
«Повесть о Карпе Сутулове» 126, 196, 304
«Повесть о Константине Муромском» 298, 308
«Повесть о Лонгине» 741
«Повесть о Луке Колочском» 233, 239—241
«Повесть о Марфе и Марии» 196, 418—419
«Повесть о Мелюзине» 185
«Повесть о Михаиле и Левтасаре» 185, 206, 746
«Повесть о московском взятии Тахтамышша», см. «Повесть о нашествии
Тохтамышша»
«Повесть о нападении Ахмата» 152, 160
«Повесть о нападении Магмет-Гирея» 170—171
«Повесть о начале Москвы» 59, 196
«Повесть о нашествии Едигея» 152, 159—160, 556, 560, 677, 682
«Повесть о нашествии Тохтамышша» 110—111, 202, 233—234, 236—239, 556,
560
«Повесть о некоей брани» Евстратия 48—52, 387
«Повесть о некоем мнисе» Семена Шаховского 48, 50, 53, 396, 399, 404, 406—
407, 409, 412
«Повесть о новгородском белом клубуке» 110, 114, 166, 204, 298, 307
«Повесть о Петре Златых Ключей» 119, 185, 317, 322, 324, 327—328, 368
«Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма 104, 111, 167, 204, 242, 246,
298, 301, 307, 311, 697
«Повесть о Петре Ордынском» 166, 233, 236—237, 240, 298, 301, 556, 561
«Повесть о португальском посольстве» 746
«Повесть о построении Благовещенского монастыря» 298, 310
«Повесть о походе Ивана III на Новгород» 233, 241
«Повесть о походе Ивана Грозного на Новгород» 166
«Повесть о преставлении...», см. «Писание о преставлении...»
«Повесть о путешествии Иоанна Новгородского» 740—741
«Повесть о путешествии Симеона Суздальского», см. «Хождение» на Фло-
рентийский собор
«Повесть о разорении Московского государства» Симона Азарьина 187
«Повесть о разорении Рязани Батыем» 151—152, 201, 556, 559, 677—679
«Повесть о разуме человеческом» 396—397, 401, 403, 677, 690—691, 745
«Повесть о Савве Грудцыне» 67, 195, 206, 286, 293, 317, 322, 324, 326, 371, 695
«Повесть о Скандербеге» 180, 314—315, 562
«Повесть о Соломоне и Давиде», см. «Повесть Давида»
«Повесть о Соломонии бесноватой» 117, 121, 286, 292, 317, 330
«Повесть о старце» 202, 242—243
«Повесть о Сухане» 197, 206, 424
«Повесть о табаке» 186
«Повесть о тверском Отроче монастыре» 196

- «Повесть о Темир-Аксаке» 152, 160, 202, 677, 683
 «Повесть о Тимофее Владимирском» 39, 46, 233, 236, 239, 677, 686
 «Повесть о турках» 180
 «Повесть о Фоме и Ереме» 317, 326, 372
 «Повесть о Фроле Скобееве» 196, 258, 262—266, 461
 «Повесть о Хмеле» 186, 286, 295—296, 303, 446, 452, 457, 468
 «Повесть о царице и львице» 746
 «Повесть о Шемякином суде» 196, 205, 446, 456—458
 «Повесть о Щиле» 233, 240, 298, 301, 306
 «Повесть об Адариане» 298, 306
 «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» 48, 53, 188, 197, 206, 314—315, 423—438, 562, 677, 688—689
 «Повесть об Акире Премудром» 23, 25, 208, 211—212, 216
 «Повесть об Александре-кавалере» 522
 «Повесть об Антонии Римляnine», см. «Житие Антония Римлянина»
 «Повесть об Иване Пономаревиче» 185, 677, 690
 «Повесть об Ионе Новгородском» 233, 235—236
 «Повесть об осаде Пскова Стефаном Баторием» 110—111, 166, 304
 «Повесть об ослеплении Василька Теребовльского» 218
 «Повесть об Оттоне» 117, 119, 185, 317, 324, 329—330, 368
 «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» 208, 210, 212—213
 «Повесть об убиении Михаила Тверского в Орде» 151—152, 154, 201
 «Повесть об убиении Михаила Черниговского в Орде» 151, 153, 201, 555, 559, 677, 683
 «Повесть об Улиянии Осорьиной» 63, 74, 189, 206, 254—257, 298, 304, 396—397, 399—400, 406, 409—411
 «Повесть об Уруслане», см. «Повесть о Еруслане Лазаревиче»
 «Повесть, преславно сказуема» о пренесении ризы Христовой 52
 Поденные записки А. Д. Меншикова 540
 «Подлинныя дознания о действе...» (СПб., 1718) 523
 Подложная речь Ивана Грозного 466
 «Позорище всея Вселенныя», см. «Атлас» Блеу
 «Покаянен» по поводу казни Михаила Шеина 397, 408
 «Покаянен» по поводу украшения Спасских ворот 397, 408
 «Покаянные» стихи о Московском царстве 439
 «Политика» Юрия Крижанича 189, 314, 318, 322
 «Политиколепная Апофеосис...» Иосифа Туробойского (М., 1709) 753, 769
 «Политическая и нравоучительныя басни Пильпая» (СПб., 1762) 551
 Политическое завещание А. Д. Меншикова 536
 «Полное собрание поучительных слов...» Гавриила Бужинского (М., 1799) 776
 «Полное собрание сочинений...» А. П. Сумарокова (М., 1781) 555
 Портрет Алексея Михайловича 323
 Портрет Г. Фетиева 325

- Послание Аввакума Андрею Плещееву 73
Послание Аввакума Борису 342, 344
Послание Аввакума «братии» 346
Послание Аввакума «всей тысящи рабов Христовых» 344
Послание Аввакума Сергию 344
Послание Аввакума Симеону, Ксении Ивановне и Александре Григорьевне 55, 331
Послание Аввакума «стаду верных» 69, 345
Послание Адриана 460
«Послание Александра Македонского Аристотелю» 545
Послание Андрея Курбского Вассиану 170, 177
Послание Андрея Курбского Ивану Грозному, первое 110, 113
Послание Андрея Курбского Ивану Грозному, второе 242, 247
Послание Герасима Фирсова Никанору 439, 443
Послание Гермогена о исправлении церковного пения 387, 389—390
Послание Гермогена против гадательных книг 387, 389—391
«Послание дворительное» 247—248, 250
«Послание дворянина дворянину» 205, 247—249, 394
Послание Евфимия Чудовского 460
Послание Ивана Бегичева 185
Послание Ивана Грозного Андрею Курбскому, первое 110, 113, 173, 242, 247, 298, 305, 315
Послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь 113, 242, 244
Послание Ивана Грозного Василию Грязному 314
Послание Ивана Грозного митрополиту всея Руси 170
Послание Ивана Грозного турецкому султану 428, 689
Послание Ивана Неронова 439—440
Послание Илариона Великого «к некоему брату» 50—51
Послание Иоакима 1683 г. 461, 466
Послание Иосифа Владимирова Симону Ушакову 117, 119, 486, 498
Послание Иосифа Волоцкого Ивану Третьякову 233, 235
Послание Иосифа Волоцкого Марии Голениной 233, 237
«Послание к некоему иноку» Максима Грека 242, 368
Послание Киприана Сергию и Феодору 233—234
Послание Никона 1662 г. 444—445
Послание Никона 1667 г. 339
Послание Никона Алексею Михайловичу 1671 г. 63
«Послание о злых днях» Филофея 242—243
Послание о мздоимстве 396, 408
«Послание о рае» Василия Калики 7, 150, 699, 704, 721, 729—731
Послание Павла коринфянам 297, 599
Послание Павла римлянам 440
Послание Савватия Михаилу Федоровичу 418
Послание Симеона Полоцкого «государю имя рек» 345

Послание Спиридона-Саввы 170

Послание Стефана Арсению Глухому 397, 404

«Послание сына, от наготы гневного» 248

Послание Федора Карпова Даниилу 242—243

Послание Филофея Василию III 170, 204

«Постная триодь» (М., 1589) 383

«Постная триодь» (М., 1607) 382, 386

«Постная триодь» (М., 1656) 439, 441, 443

«Потребник» Дионисия Зобниновского и Арсения Глухого 387, 395

«Потук Михайла Иванович» 46

Поучение 1687 г. 460, 465, 469—470, 475

«Поучение» Владимира Мономаха 29, 137, 147, 208, 216—218, 224, 231, 298, 300—301, 305, 585

«Поучение, како подобает христианам жити» Козьмы Пресвитера 208, 214

«Поучение Кирилла Философа» 23, 25

«Поучение о моровой язве» Никона (М., 1656) 439, 441—443

«Поучения» Даниила, см. «Наказания»

«Поучения» Ефрема Сирина (М., 1647) 418, 420

«Поучения» Серапиона Владимирского 152—153, 201, 218—220, 223, 556, 560

Похвала Василию III 170—171, 677—678

«Похвала» грамматике 181

«Похвала Кириллу Философу» Климента Охридского 13, 17

«Похвала Клименту Римскому» Климента Охридского 579

«Похвала Ростиславу Мстиславичу» 142

«Похвала Феодосию Печерскому» 141, 268, 275

Похвальное слово, см. Слово похвальное

«Правда воли монаршей» Петра I 537—538

«Православное исповедание веры» (М., 1696) 460, 464, 469

«Праздное время» (СПб., 1759) 550

Предисловие или послесловие Никиты Фофанова (Нижний Новгород, 1613) 382—386

Премудрости Соломона 40

«Прение Живота и Смерти», см. «Двоесловие Живота и Смерти»

«Прение Лаврентия Зизания с московскими справщиками» 182

«Прение о вере скомороха с философом» 117, 124

«Преславное торжество...» Иосифа Туробойского (М., 1704) 753, 769

«Примечания на Ведомости» (СПб., 1739) 534

«Приповесть» о дочерях дьявола 10, 753, 762

Притча о временах года 298, 304

«Притча о старом муже» 749

«Притча о Хмеле», см. «Повесть о Хмеле»

«Притча о человеческой душе» Кирилла Туровского 704, 712

«Притча об истинне» 761

Притчи Соломона 213

«Про гостя Терентиша» 446, 452

«Прóлог» 134—135, 150, 166, 794

«Прóлог» (М., 1641) 187, 417, 420, 794

«Прóлог» (М., 1642) 417

«Прóлог» (М., 1661) 492

«Пропись» 1620 г. 394

Проповедь Димитрия Ростовского 1708 г. 753, 767

Проповедь Стефана Яворского 1703 г. 753, 768

Проповедь Стефана Яворского 1708 г. 753, 767

Проповедь Стефана Яворского 1710 г. 753, 767

«Просветитель» Иосифа Волоцкого 168, 234, 241

«Проскинитарий» Арсения Суханова 180, 562, 677, 687—688

Псалтырь 10, 82, 182, 271—272, 620

«Псалтырь», древнееврейская 489

«Псалтырь» (М., 1615) 382, 385

«Псалтырь» (М., 1619) 406

«Псалтырь» (М., 1625) 395, 400

«Псалтырь рифмотворная», см. «Рифмотворная псалтырь»

«Псковская первая летопись» 170, 177—178, 219, 221, 223, 666—667

«Псковская третья летопись» 172

«Пустозерский сборник» 81—82

«Путешествие» Бориса Шереметева 180, 562

«Путешествие» Макария Антиохийского 317, 319

«Путешествие» Олеария, см. «Описание путешествия...»

«Пчела» 40, 100, 104, 151

«Пчелиная матка и змея» Антиоха Кантемира 533

Пьеса о воцарении Кира 7, 526, 534—545, 550, 793

Пьеса о Егории Храбром 121

Пьеса о царице и львице 550

Р

«Разговор Поликарпа со Смертью» 704, 722

«Разговоры о владетьельству», см. «Политика»

«Разум» Симеона Полоцкого 379

«Рай мысленный» (Ивер, 1658—1659) 181

«Распросные речи» 1649 г. 450

Рассказ Михаила Мисюря-Мунехина 677, 685

Рассказ о греческом иерее 677, 688

Рассказ о Молуккских островах 165

Рассказ о мощах Иакова Боровицкого 189

«Рассуждение об Аргениде» 379

«Ревность православия» 753, 772

- «Ремезовская летопись» 556, 564
 «Речи мудрых философов и докторов» Ивана Пересветова 167—168
 «Речь Петра, молдавского воеводы» Ивана Пересветова 167
 «Речь философа» 135, 268, 302, 599—600, 605, 620, 630
 «Риза» Симеона Полоцкого 483
 «Римские деяния» 184
 «Римский патерик» 133
 «Риторика» 511
 «Рифмологион» Симеона Полоцкого 353, 355, 359
 «Рифмотворная псалтырь» Симеона Полоцкого (М., 1680) 182, 498
 «Рифмы краесогласнии о прелести...» 461, 467, 476
 «Рогожский летописец» 159, 219, 222
 «Родословие великих князей...» Лаврентия Хурелича 189, 337, 494
 «Рождественская драма» 545
 «Рождественская драма» Димитрия Ростовского 753, 756, 758
 «Розыскания о Доне» К. Крюйса 426
 «Роспись Китайскому государству» Ивана Петлина 180
 «Роспись о приданом» 519, 745, 749
 Рукопись БАН, 31.6.2 478
 Рукопись БАН, 32.11.7 423, 425, 429, 435
 Рукопись БАН, 34.3.27 59
 Рукопись БАН, собрание Архангельское, Дух. Сем., № 132 492
 Рукопись БАН, собрание Археографической комиссии, № 339 59
 Рукопись БАН, собрание Плюшкина, № 103 60
 Рукопись Вестеросской гимназии, Ad 10 479
 Рукопись ГИМ, собрание Синодальное, № 130 331
 Рукопись ГИМ, собрание Синодальное, № 207 390
 Рукопись ГИМ, собрание Синодальное, № 272 689
 Рукопись ГИМ, собрание Синодальное, № 287 353, 479
 Рукопись ИРЛИ, собрание ИМЛИ, разряд IV, опись 5, № 7 512
 Рукопись Лионской публичной библиотеки, № 1346 481
 Рукопись Московского областного исторического архива, фонд 46, опись 7, дело 22000 546
 Рукопись Нежинского историко-филологического института 541, 545
 Рукопись РГАДА, собрание бывшего Гос. архива, раздел XI, № 53 540
 Рукопись РГАДА, собрание Оболенского, № 158 546—548
 Рукопись РГБ, собрание Большакова, № 184 297
 Рукопись РГБ, собрание Вологодское, № 170 287, 318, 331, 752
 Рукопись РГБ, собрание Вологодское, № 208 478, 490—491
 Рукопись РГБ, собрание Долгова, № 5946 478
 Рукопись РГБ, собрание Меншикова, картон 15, № 42 536, 543
 Рукопись РГБ, собрание Музейное, № 724 668
 Рукопись РГБ, собрание Музейное, № 8424 487
 Рукопись РГБ, собрание Тихонравова, № 249 668

- Рукопись РГБ, собрание Троице-Сергиево, № 213 53
Рукопись РГБ, собрание Ундольского, № 526 298
Рукопись РГБ, собрание Ундольского, № 698 523
Рукопись РГБ, собрание Ундольского № 794 423, 425
Рукопись РГБ, собрание Ундольского, № 926 522
Рукопись РГБ, собрание Ундольского № 1079 753
Рукопись РНБ, О.XVII.7 687
Рукопись РНБ, О.XVII.41 298
Рукопись РНБ, О.XVII.58 689
Рукопись РНБ, Q.XVII.13 511
Рукопись РНБ, F.XVII.21 556
Рукопись РНБ, собрание Погодина, № 728 63
Рукопись РНБ, собрание Погодина, № 757 63
Рукопись РНБ, собрание Погодина, № 1773 446
Рукопись РНБ, собрание Погодина, № 2003 504, 512—514
Рукопись РНБ, собрание Титова, № 4179 546
Рукопись РНБ, собрание Эрмитажное, № 27 482, 494
«Русский хронограф» 155, 367

С

- «Санкт-Петербургские ведомости» (1730) 531
«Сатира» Антиоха Кантемира, вторая 527, 533
«Сатира» Антиоха Кантемира, третья 533—534
Сборник Ефросина 680
Сборник Кирши Данилова 46, 446, 456, 677
Сборник переводов Епифания Славинецкого (М., 1665) 444—445
Сборник пословиц XVII в. 425, 446, 457—458
«Сборник поучений» (М., 1643) 421
«Свобождение Ливонии» 753, 772—773
«Сводный патерик» 155
«Священная история...» (СПб., 1763) 551
«Се татарскы язык» 677, 680
«Северяна о древе спасенаго креста» 298, 307
«Селенография» Гевелия 179
«Сийский иконописный подлинник» 59
«Сийское евангелие» 59
«Сильвестровский сборник» 718
«Симеоновская летопись» 556, 559
«Синайский патерик» 23, 25, 133, 135, 278, 282, 583
«Синодик» 704, 723—725
«Синописис» Иннокентия Гизеля (Киев, 1674) 337, 495
«Сказание» Авраамия Палицына 48, 63, 75, 117, 120, 187—188, 205, 248, 250—
254, 315, 349, 396, 398—399, 402, 405—407, 409—413

- «Сказание Агапия о рае», см. «Хождение Агапия в рай»
«Сказание» Адольфа Лизека 377
«Сказание Афродитиана о Персиде» 133
«Сказание вкратце о Даниле Переяславском» 242, 244, 246
«Сказание известно о воображении книг...» 396, 399, 401—402, 412—413
«Сказание о Астрахани» 189
«Сказание о Борисе и Глебе» 72, 89—99, 137, 140—141, 208, 212, 268, 273, 279, 605, 797
«Сказание о Вавилоне», см. «Слово о Вавилоне»
«Сказание о греческих книгах» Ивана Пересветова 167
«Сказание» о Гришке Отрепьеве 48, 50
«Сказание о двенадцати снах Шахайши» 219—220, 223—224
«Сказание о Дракуле», см. «Повесть о Дракуле»
«Сказание о древе златом», см. «Повесть о Михаиле»
«Сказание о Железных вратах» 556—557, 677, 680
«Сказание о киевских богатырях» 196
«Сказание о князьях владимирских» 171, 204
«Сказание о Константине, греческом царе» Ивана Пересветова 167
«Сказание о крестьянском сыне» 248—249, 387, 394
«Сказание о Куре и Лисице» 205, 745, 748
«Сказание о Магмете-салтане» Ивана Пересветова 167—168, 242, 245, 302, 685, 688
«Сказание о Мамаевом побоище» 5, 39—47, 53, 110, 112, 152, 161—164, 203, 224, 228, 232, 298, 307—311, 318, 324, 677, 683, 795, 797—798
«Сказание о молодце и девице» 745, 749
«Сказание о нашествии Едигея», см. «Повесть о нашествии Едигея»
«Сказание о нашествии на обитель Макария Желтоводского» 189
«Сказание о новоявившейся ереси» Иосифа Волоцкого 168
«Сказание о новоявленных чудесах Сергия», см. «Житие Сергия Радонежского» Симона Азарьина
«Сказание о Петре Волосском» 302, 396, 411
«Сказание о пленении Русской земли от Батгя» 152
«Сказание о преложении книг на словенский язык» 595, 625
«Сказание о птицах небесных» 192, 446, 452, 456—457
«Сказание о распространении христианства на Руси» 137
«Сказание о роскошном житии и веселии» 60, 318, 328—329, 351, 702, 745—748
«Сказание о Саве-попе» 196, 446, 456—457, 459
«Сказание о семи свободных мудростях» 511
«Сказание о Соломоне», см. апокриф о Соломоне
«Сказание о хождении...» см. «Хождение»
«Сказание о Царьграде» 151
«Сказание о чудесах...», см. «Сказание чудес...»

- «Сказание об Индийском царстве» 23—24, 26, 133, 151, 219—220, 222—223, 557, 668—670, 698, 746
- «Сказание об убиении Даниила Суздальского» 446, 449
- «Сказание об Унженском кресте» 418
- «Сказание» Петра Золотарева 556, 563
- «Сказание чудес Бориса и Глеба» 89, 94—95, 97, 208—210, 268, 274
- «Сказания» Рейтенфельса 318—319
- «Сказка о некоем молодце» 702, 745, 749
- «Скифская история» А. И. Лызлова 180
- «Скрижаль» (М., 1655—1656) 182, 439—441
- «Слава печальная» 773—774, 777—780, 782—783
- «Слава российская» 773—775, 777—781
- «Слова» Серапиона Владимирского, см. «Поучения»
- «Слова и речи» Феофана Прокоповича (СПб., 1765) 533
- «Словеса, аки от Богородицы» Максима Грека 761—762
- «Словеса дней и царей» Ивана Хворостина 396, 399, 404—405, 407
- «Словеса еже убо правоверну веру имети» 209, 211, 214—215
- «Слово благодарственное...» Иоакима (М., 1683) 460, 467—472
- «Слово в великий четверток» Иоанна Златоуста 13, 21
- «Слово в день годищнаго помяновения...» Гавриила Бужинского (СПб., 1726) 783
- «Слово» Гавриила Бужинского по поводу взятия Шлиссельбурга 776
- «Слово» Гавриила Бужинского по поводу основания Санкт-Петербурга 775—776
- «Слово Иоанна Златоуста о добрых женах и о злых» 100, 103
- «Слово, како достоин имети челядь» Иоанна Златоуста 209, 211, 216
- «Слово, како подобает в ночь молиться» Иоанна Златоуста 209, 211
- «Слово, како подобает приходить в церковь» Иоанна Златоуста 209, 213
- «Слово» Кирилла Александрийского 188
- «Слово» Мефодия Патарского 587, 611, 700
- «Слово» Моисея Выдубицкого 13, 19
- «Слово на вознесение Господне» Кирилла Туровского 209
- «Слово на Иоанна Воина» 476
- «Слово на Лазарево воскресение» 704, 713
- «Слово на Никиту Пустосвята» Иоакима (М., 1682) 460, 465, 468—472
- «Слово на рождество Христово» 579
- «Слово некоего отца к сыну» 209, 211, 213
- «Слово о богатых и немилостивых» Иоанна Златоуста 209, 215—216
- «Слово о богаче и о Лазаре» 209, 211, 213
- «Слово о богодарованнем мире» Феофилакта Лопатинского (СПб., 1722) 776
- «Слово о Вавилоне» 7, 156, 202, 677, 680, 696, 732—738, 798
- «Слово о вере» Феодосия Печерского 209, 214, 601
- «Слово о видении Павла», см. «Павлово видение»

- «Слово о восшествии Иоанна Предтечи в ад» Евсевия Александрийского 704, 712
- «Слово о всех святых» Иоанна Златоуста 224, 230
- «Слово о десяти девицах» Иоанна Златоуста 13, 21, 583
- «Слово о желании богатства» 209, 216
- «Слово о житии Дмитрия Ивановича» 159, 202, 307, 556, 560
- «Слово о законе и благодати» Илариона 7, 137, 139—140, 150, 199, 209—210, 215, 268, 272—273, 282, 578—580, 585, 798
- «Слово о исходе души от тела» Кирилла Александрийского 704, 712—713
- «Слово о лихоимании» 215
- «Слово о Макарии Римском», см. «Житие Макария Римского»
- «Слово о Мамаевом побоище» Софония Рязанца 161—162
- «Слово о Меркурии Смоленском» 100, 104
- «Слово о мужах ревнивых» 318, 328, 372, 745, 749
- «Слово о мятежи» Ефрема 219, 221, 223
- «Слово о первых черноризцах печерских» 89, 95
- «Слово о гибели Русской земли» 152—153, 201, 218, 224, 231, 278, 284—285, 556—557
- «Слово о погребении тела Иисуса Христа» Епифания Кипрского 704, 713
- «Слово о полку Игореве» 5, 13—23, 25—34, 36, 39, 41—42, 46, 72, 100, 103, 110—112, 131, 137, 147—150, 152, 161—162, 164, 200, 202, 218, 224—233, 268, 276—277, 555, 788, 794, 796—797
- «Слово... о полученной победе...» Гавриила Бужинского (СПб., 1720) 780
- «Слово о прилюблении убогих» 23, 25
- «Слово о разсечении человеческого естества» 179
- «Слово о рахманех» 668, 670
- «Слово о самаряныни» Иоанна Златоуста 13, 19
- «Слово о слепце» Иоанна Златоуста 209, 215
- «Слово о создании Иверского монастыря» Никона 439, 441—442
- «Слово о состоявшемся... мире» Феофана Прокоповича (СПб., 1723) 780
- «Слово о старце» 301
- «Слово о терпении» Феодосия Печерского 209, 214
- «Слово о трех мнисех», см. «Житие Макария Римского»
- «Слово о царствии небесном» Ивана Хворостинина 704, 726
- «Слово об иссохшей смоковнице» Иоанна Дамаскина 13, 19
- «Слово ответно противу клеветующих» Вассиана Патрикеева 242—243
- «Слово по пасхе» Кирилла Туровского 13, 16
- «Слово поучительное...» Иоакима 460, 466, 471
- «Слово похвальное о баталии Полтавской» Феофана Прокоповича (СПб., 1717) 776, 779
- «Слово похвальное о флоте...» Феофана Прокоповича (СПб., 1720) 779
- «Слово похвальное» Василию III 171—172
- «Слово похвальное Елизавете» М. В. Ломоносова 556, 564
- «Слово похвальное Кириллу и Мефодию» 13, 19, 23, 25

- «Слово похвальное» на память митрополитам Петру, Алексею и Ионе 52—53
- «Слово похвальное на перенесение мощей Бориса и Глеба» 142
- «Слово похвальное» Фомы 152, 157, 202, 298, 306, 309—310
- «Слово, пространне излагающе...» Максима Грека 753, 761
- «Слововещания» Ивана Хворостинина 397, 400, 408
- «Служба, житие и слово на Иоанна Воина» (М., 1695) 460, 467, 476—477
- «Служба кабаку» 205, 287, 293, 318, 322, 372, 446, 456, 521
- «Служба... на воспоминание заключенного мира...» Гавриила Бужинского (СПб., 1725) 778
- «Служба на положение ризы...» (М., около 1625) 397
- «Службы, житие и чудеса Николы Чудотворца» (М., 1640) 181, 417, 420
- «Служебная минея» (М., 1607) 382, 385—386
- «Служебная минея» (М., 1609) 382
- «Служебная минея» (М., 1610) 382
- «Служебная минея» (М., 1619) 395, 398—400, 406, 410
- «Служебная минея» (М., 1620) 395, 398
- «Служебная минея» (М., 1636) 395
- «Служебник» (М., 1623) 398, 400, 405
- «Служебник» (М., 1627) 398, 400
- «Служебник» (М., 1655) 439—441
- «Служебные минеи», список XI в. 13, 15, 279
- «Смерть Авраама» 704, 719—720
- «Соборник из 71 слова» (М., 1647) 418, 704
- «Соборное изложение» 1620 г. 180, 396—398, 401, 410
- «Соборное постановление» 1681 г. 461, 466, 470
- «Соборное постановление» до 1689 г. 461, 466
- «Собрание некоего старца» Вассиана Патрикеева 242—244
- «Созерцание краткое» Кариона Истомина и Сильвестра Медведева 460—461, 465—467, 469—475
- Сообщение о путешествии Семена Маленького 673
- «Софийская первая летопись» 158, 224, 226—227, 239, 612
- «Софийская вторая летопись» 172, 239
- «Стансы городу Синбирску...» А. П. Сумарокова 556, 564
- «Старик и Малец» 501—502
- «Старик и Смерть» 501—502
- «Старик и Учитель» 501
- Статейный список А. С. Романчукова 668, 671
- Статейный список Алексея Михайловича о смерти Иосифа 63, 117, 122
- Статейный список Василия Лихачева 116—117, 180
- Статейный список И. И. Чемоданова 318, 323
- Статейный список П. И. Потемкина 180
- Статейный список Ф. Волконского 556, 563
- Статейный список Ф. Елчина 556, 563

- «Статир» 182
 Статья о жизни Магомета 677, 686
 «Степенная книга» 39, 47, 170—171, 173—174, 204, 244, 348, 350—351
 «Стефанит и Ихнилат» 156, 300, 670, 732, 737—738
 «Стефанотокос» 753, 758
 «Стиси, внегда чашу государеву пити» Симеона Полоцкого 359
 «Стих о жизни патриарших певчих» 461, 466
 Стихи к «Библии» Пискаatora 353, 360, 492
 Стихиры на перенесение ризы Христовой 397, 401—404, 410
 Стихотворение в честь Полтавской победы 512
 Стихотворение Евфимия Чудовского 461, 474
 Стихотворение И.-Г. Грегори о России 381
 «Стоглав» 204
 «Страшное изображение...» 545, 753—759, 765, 769—770, 772
 «Строгановская летопись» 60, 189, 348, 350
 «Стязание о известном иноческом жительстве» Максима Грека 242
 «Суздальская летопись», см. «Владимиристо-Суздальская летопись»
 «Супрасльская рукопись» 135
 «Сухман» 46
 «Схватка Бога за грехи...» 752—753

Т

- «Таинства женские « Альберта Великого 179
 «Тайная тайных» 156
 «Тверская летопись» 152—154, 157, 224, 227, 278, 282
 «Темир-Аксаково действо» 105—107, 110, 112, 115, 186, 287—290, 318, 324, 331, 333—334, 362—363, 366, 374—375, 379, 478, 481, 483, 489
 «Тестамент Василия Льву Философу» 183
 «Тетради» Авраамия 189, 461
 «Тетрадь науки татарского языка...» 687
 «Титулярник» 120, 337
 «Товарищ разумной и замысловатой» (СПб., 1764) 550
 «Толковая палея» 23, 25, 151, 569
 «Толковая псалтырь» 13, 14
 «Толковое евангелие» (М., 1649) 418, 420
 «Толковое евангелие» (М., 1698) 460, 463, 469
 «Толковый апостол» 297—298
 «Торжественная врата...» (М., 1703) 508
 «Торжество Естества человеческого» 753—754
 «Торжество Мира православного» 507, 753, 772
 Трагедия о Папиниане 374
 «Трагедокомедия» Георгия Конисского 753, 755
 «Трагедокомедия» С. Ляскоронского 542, 544

Трактат Иосифа Владимирова, см. послание Иосифа Владимирова Симону Ушакову

- «Требник» (М., 1623) 398, 404
- «Трефологион» (М., 1637) 416—417, 419
- «Трефологион» (М., 1638) 416, 419—420
- «Три отрока в печи огненной» Емельяна Московитина 493
- «Троица» Симона Ушакова 498
- «Троицкий сборник» 707
- «Троянская история» 110—112, 156, 298, 306—307
- «Трубы словес» 295
- «Труд» Симеона Полоцкого 294

У

- «Убьение Вячеслава Чеська» 580
- «Увет духовный» Афанасия Холмогорского (М., 1682) 182, 460, 462—466, 468—472, 475
- «Ужасная измена...» 525, 704, 726, 753, 755—758, 765—768, 770
- Указ Алексея Михайловича 1651 г. 447
- Указ Алексея Михайловича 1652 г. 447
- Указ Алексея Михайловича 1654 г. 499
- Указ Алексея Михайловича 1663 г. 447, 499—500
- Указ Алексея Михайловича 1664 г. 447
- Указ Петра I 1700 г. 500
- Указ Петра I 1701 г. 508
- Указ Петра I 1724 г. 538
- Указ Петра и Иоанна Алексеевичей 1683 г. 461
- Указ Петра II 1727 г., июль 512, 539
- Указ Петра II 1727 г., сентябрь 538
- Указные статьи Петра и Иоанна Алексеевичей 1682 г. 461, 468
- «Уложение Алексея Михайловича» (М., 1649) 353—355, 449, 499
- «Умозрительство душевное...» П. Буслаева (СПб., 1734) 526
- «Управление здравия» 179
- «Урядник сокольничья пути» 117, 122, 123, 337
- «Успение Кирилла Философа» 89, 92
- «Успенская драма» Димитрия Ростовского 752—753, 758
- «Успенский сборник» 13, 23, 33, 40, 63, 89, 208—209, 224, 268, 279, 582—583, 605, 608, 629, 703—704, 706, 740, 788
- «Устав» (М., 1610) 382, 385—386
- «Устав» (М., 1682) 460, 462—463, 466, 469
- Устав Иосифа Волоцкого 298, 308
- Устав Корнилия Комельского 298, 300
- «Устав ратных дел» 179
- «Утвержденная грамота» об избрании Бориса Годунова 383

- «Утвержденная грамота» об избрании Михаила Федоровича 383
 «Учение и хитрость ратного строения» (М., 1647) 316
 «Учительное евангелие» (М., 1629) 398, 400, 403—404
 «Учительное евангелие» (М., 1639) 417

Ф

- «Фармакопеа, или Аптека...» 523
 «Фацеции» 184
 «Феатрон, или Позор исторический...» (СПб., 1724) 534, 546, 549
 «Феатрон, или Позор нравоучительный...» Иоанна Максимовича (Чернигов, 1708) 549
 «Физиогномика» 179
 «Физиолог» 23—26, 52, 132
 «Френы о смерти Марии Ильиничны» Симеона Полоцкого 492

Х

- «Хиромантия» 179
 «Хождение Агапия в рай» 13, 17, 23, 25, 33—34, 63, 70, 132, 699, 704, 706—707, 711, 729
 «Хождение» Афанасия Никитина 157, 202, 556—558, 668, 671—672, 677, 679—682, 686, 691
 «Хождение Богородицы по мукам» 100, 104, 109—110, 132, 699, 704, 707—710, 712
 «Хождение» Арсения Суханова, см. «Проскинитарий»
 «Хождение» Василия Гагары 180
 «Хождение» Василия Гостя 157
 «Хождение» Василия Познякава 165
 «Хождение» Даниила 7, 268, 275, 555, 580, 582—585, 798—799
 «Хождение» Зосимы в Иерусалим 157
 «Хождение Зосимы к рахманам» 150
 «Хождение» Игнатия Смольнянина 157
 «Хождение» на Флорентийский собор 157, 298, 307, 556—558
 «Хождение» Стефана Новгородца 151
 «Хождение» Трифона Коробейникова 165, 677, 687
 «Хождение» Федота Котова 180, 556, 562, 677, 689
 «Хрисмологион» Николая Спафария 116, 180, 294, 323, 331, 337, 369, 372, 482, 494
 «Христианская топография», см. «Космография»
 «Хроника» Георгия Амартола 33—34, 36, 134, 150—151, 224, 230, 278, 282, 587—591, 620
 «Хроника» Георгия Синкелла 134
 «Хроника» Иоанна Зонары 155
 «Хроника» Иоанна Малалы 134, 151

- «Хроника» Константина Манассии 23, 30—31, 39—40, 43—44, 155—156
«Хроника» Мартина Бельского 165
«Хроника» Стрыковского 180
«Хронограф» 151, 155, 165—167, 492, 556, 563, 587, 597
«Хронограф» 1442 г. 155
«Хронограф» 1512 г. 492, 677
«Хронограф» 1617 г. 48, 50, 394, 396, 406, 408—409, 412
«Хронограф» 1641 г. 794
«Хронограф» 1679 г. 379
«Хронограф» Дорофея Монеувасийского 179
«Хронограф» Пахомия 116
«Художества огненные» Лангрини 179

Ц

- «Царственная книга» 170, 176
«Царство Мира» 753, 756, 770, 772
«Царство Натури людской» 753, 757, 777
«Царь Саул Леванидович» 46
«Царям правительница», см. «Благохотящим царем»
«Цветная триодь» (М., 1591) 382—383
«Цветная триодь» (М., 1604) 382, 385—386
«Цветная триодь» (М., 1621) 395
«Цветная триодь» (М., 1630) 395, 400, 403—404, 406
«Целование господина...» Симеона Полоцкого 355
«Церковный устав», см. «Устав»
Цикл грамот турецкого султана 690

Ч

- Челобитная Аарона 339
Челобитная Аввакума Алексею Михайловичу, первая 10, 66, 73, 335—336, 338, 340—341, 349, 792
Челобитная Аввакума Алексею Михайловичу, пятая 67, 73, 342
Челобитная Аввакума Федору Алексеевичу 343
Челобитная Авраамия 331, 338, 340
Челобитная Ал. Фролова 339
Челобитная Антония 339
Челобитная Артемона Матвеева 117, 124, 318—319
Челобитная В. Хилковского и И. Глушкова 546
Челобитная Василия Бугра и Евсевия Павлова 339
Челобитная Г. И. Пустошкина 339
Челобитная Григория Всполохова 318
Челобитная Ивана Неронова 338, 444—445
Челобитная Иоганна-Готфрида Грегори 487

- Челобитная Лазаря 331, 338, 340
 Челобитная Матвея 339
 Челобитная московских стрельцов 461, 472
 Челобитная Никиты Пустосвята 338
 Челобитная Савватия 331, 444—445
 Челобитная Саввы Романова 331, 444, 461
 Челобитная Сеньки Васильева 331, 339—340
 Челобитная Федора Иванова 338
 Челобитная Федора Максимова 339
 Челобитная холмогорцев 63
 «Четьи минеи» 140, 150
 «Четьи минеи» Германа Тулупова 181, 396
 «Четьи минеи» Димитрия Ростовского 181
 «Четьи минеи» Иоанна Милютина 181
 «Чешская хроника» Козьмы Пражского 575—577
 «Чин божественных литургий» (М., 1668) 123
 «Чин пещного действия» (М., около 1630) 493
 «Чтение Варуха» 704, 715—716
 «Чтение на крещение Господне» 579
 «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора 89—95, 142, 209—210, 213—214, 268, 274
 «Что за печаль слышится ужасно?» 783
 «Чудо Георгия о болгарине» 90, 97
 «Чудо Георгия о змие» 90—91, 100, 103
 «Чудо о отрочати» 580

Ш

- «Шестоднев» (М., 1625) 395, 400, 403
 «Шестоднев» Георгия Писидийского 155
 «Шестоднев» Иоанна Экзарха 23—25, 28—29, 34, 40, 132, 150, 219, 788
 «Шестоднев» Севериана Гавальского 155
 «Школьное благочиние» Прохора Коломнятина 186, 794
 «Шутовская комедия» 7, 514, 518—522, 524, 534, 793

Щ

- «Щастию не верити» Симеона Полоцкого 485
 «Щит веры» 460, 469—470, 472—474

Э

- «Эймундова сага» 612
 «Эмблемы и символы к триумфальным вратам...» 536

Ю

Юстин, древней универсальной истории... сократитель» (СПб., 1768) 534,
537, 546, 548

Я

Ярлык Ахмета 689

А

«Andreae Gryphii Trauer-Spiele...» (1663) 374

Д

«Dialogus de passione Christi» 755

Е

«Engelische Comoedien und Tragedien» (1620) 489

«Es ist alles eitel» von A. Gryphius 375

Р

«Puer edocet Senem» 502

Р

«Rélation du voyage en Russie» par Laurent Rinhuber 374, 488

U

«Utarczka Boga za grechy narodu...» 752

Анатолий Сергеевич Демин

О ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Издатель А. Кошелев

Портрет автора выполнен К. А. Барабановой

Корректор Л. Ю. Аронова

Подписано в печать 10.06.98. Формат 70x100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Школьная.
Усл. изд. л. 67,37. Заказ № Тираж 1500.

Издательство «Языки русской культуры».
129345, Москва, Оборонная, 6-105; ЛР № 071304 от 03.07.96.
Тел. 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: mik@sch-lrc.msk.ru

С апреля 1998 г. каталог в ИНТЕРНЕТ
<http://postman.ru/~lrc-mik>

Отпечатано с оригинал-макета во 2-й типографии РАН.
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

*

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 17 ч.).
Адрес: Zubovskiy b-r, 17, str. 3, k. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order the above titles
by E-mail: Lrc@koshelev.msk.su
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).

